ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ. ЧЕСТЬ ИМЕЮ + ТРИ ВОЗРАСТА ОКИНИ САН + МАЛЬЧИКИ С БАНТИКАМИ

Человек без имени

Эта книга имеет давнюю историю, и работал я над нею непростительно долго, иногда прерывая свой труд внутренними сомнениями — стоит ли продолжать? Была и своя предыстория. Я хорошо помню: это случилось в августе 1964 года, когда у нас и за рубежом отмечался трагический юбилей — ровно полвека со времени возникновения первой мировой войны.

Всегда свободный в выборе тем, я старательно вникал в подоплеку тех загадочных событий, которые эту войну вызвали. Мне было интересно забираться в дебри Большой Политики, которая выражалась в ультиматумах берлинской Вильгельмштрассе, в туманной казуистике лондонского Уайтхолла, в гневных нотациях венской Балльплатцен; мне хотелось знать, что думали тогда французские дипломаты на набережной Кэ д’Орсэ, как лихорадило римскую Консульту и чего боялись в Петербурге — в здании у Певческого моста, где располагалось министерство иностранных дел. Наконец, я был сильно заинтригован, прикоснувшись к тайнам разгрома армии генерала Самсонова… Какие злобные силы завели ее в топи Мазурских болот и оставили там на погибель? Кто виноват? И почему не сработала русская разведка?

Именно в эти давние дни, дни кровавого юбилея, мне привелось быть гостем в приятельском доме.

\* \* \*

Возник, помнится, разговор о Версальском мире. Казалось бы, немцам, потерпевшим поражение, только и радоваться условиям мира — ведь целостность Германии не пострадала, победители великодушно сохранили единство страны и нации. Но Германия взревела, словно бык, которого повели кастрировать. Немцы в 1919 году были раздавлены не тем, что Германия проиграла войну, — их угнетало сознание, что загублен идеал империи (с колониями и рабами). Таким образом, для немцев имперские понятия стояли выше национальных. В этом отчасти и кроется секрет успеха, с каким Гитлер пришел к власти, обещая воскресить «третий рейх» — с колониями и рабами. Фюрера вознесло на дрожжах, заквашенных задолго до него. От крестоносцев-тевтонов до Гитлера — слишком большой путь, но он старательно обвехован для прихода фашизма — маркграфами, курфюрстами, канцлерами, кайзерами, писателями, епископами, философами и лавочниками…

Напротив меня сидела миловидная дама с удивительно живыми глазами, она держала на коленях большую муфту. Когда я удалился в соседнюю комнату, чтобы выкурить в одиночестве сигарету, эта женщина последовала за мной.

— Необходимо поговорить. Именно с вами, — сказала она. — Я обладаю рукописью мемуаров, которые вас как исторического беллетриста должны бы заинтересовать…

Я смолчал, ибо к чужим рукописям испытываю давнее и прочное отвращение. Возникла пауза, весьма неловкая для обоих. Ради вежливости я спросил — кто же автор этих воспоминаний?

— А разве не все равно? — ответила женщина. — Сейчас некрасивое слово «шпион» принято заменять нейтральным — «разведчик». Пусть даже так! Но дурной привкус от «шпиона» сразу же улетучится, если я вам сообщу: автор записок до революции был видным офицером российского Генштаба, он получил Георгия высшей степени за неделю до того дня, когда германский посол Пурталес вручил Сазонову ноту, которой кайзер объявил войну России… Россия еще не начинала мобилизации, когда автор записок эту войну уже выиграл!

— Ситуация забавная, — согласился я. — Но я, мадам, терпеть не могу «шпионских» романов, в которых главный герой совершает массу глупостей и все равно остается хитрее всех. Я таких романов не пишу и сам их никогда не читаю.

— Рукопись не содержит ничего детективного, — возразила дама. — Все было гораздо серьезнее. Автор воспоминаний предупреждал внезапность вражеского нападения, он имел прямое отношение к анализу пресловутого «плана Шлифена». Но и тогда имя его не было опубликовано! После революции служба этого человека, как вы и сами догадываетесь, тоже не афишировалась. Генерал-майор старой армии, он закончил жизнь генерал-майором Советской Армии. Согласитесь, что в течение одной жизни дважды стать генералом не так-то уж просто…

Я согласился. Из глубины обширной муфты женщина извлекла рукопись, скрученную в плотный рулон.

— Копий нету, — предупредила она. — Это единственный экземпляр. Скажу больше: я дарю вам записки. Вы вольны поступать с ними, как вам заблагорассудится…

Мне показалось странным, что титульный лист в рукописи отсутствовал — ни названия, ни дат, ни имени. Повествование начиналось сразу — как обрыв в загадочную пропасть.

— Мадам, но тут не хватает многих страниц.

— Да, они изъяты умышленно. И пусть таинственный автор всегда останется для нас безымянным. Мало того, считайте, что этот человек был, но его и не было…

— Неужели при всех его заслугах перед отечеством он никогда не поминался в печати?

— Однажды, — тихо произнесла дама. — Совсем недавно о нем кратко сообщил Владимир Григорьевич Федоров.

— Напомните, какой это Федоров?

— Генерал-лейтенант. Ученый-конструктор.

— Федоров тоже не назвал его имени?

— Нет.

— Странно…

— Думаю, что Федоров имени его и не знал. Зато он хорошо запомнил внешность: когда этот офицер Генштаба поворачивался в профиль, это был профиль… Наполеона!

Я сказал, что образцовый агент должен обладать заурядной внешностью, чтобы ничем не выделяться из публики:

— А с лицом Наполеона разоблачение неизбежно.

Дама до конца затянула на муфте застежку-молнию.

— Значит, повезло, — последовал ответ. — Не забывайте, что у французов есть хорошая поговорка: если хочешь остаться незаметным на улице, остановись под фонарем…

Прошло немало лет, и я начал думать, что этой женщины давно нет в живых, она никогда не напоминала о себе. Между тем шли годы. Я не раз подступался к анонимной рукописи, не зная, как вернее использовать материал, в ней заключенный. Лишь после написания романа «Битва железных канцлеров» я начал улавливать взаимосвязь между зарождением Германской империи времен Бисмарка и теми дальнейшими событиями, которые коснулись анонимного автора.

Так по воле случая безымянные мемуары легли на мой письменный стол, я перекроил записки на свой лад. Читатель и сам догадается, где говорю я, беллетрист, а где говорит автор воспоминаний.

Анонимный мемуарист нигде не раскрыл секретной специфики русской разведки, и мне лишь остается следовать этому правилу. Впрочем, автор проделал эту работу за меня, о чем красноречиво свидетельствуют вырванные из рукописи страницы и большие изъятия в тексте, где, наверное, говорилось о деталях его трудной и благородной профессии. Но вот что удивительно — этот загадочный человек нигде не пытался предстать в лучшем свете, будто заранее уверенный в том, что все им сделанное совершалось ради высшей идеи — ради ОТЕЧЕСТВА, и потому, даже в своих ошибках, он оставляет за собой великое право мыслить самостоятельно.

Конечно, нелегко объяснять подоплеку той великой тайны, в которой войны рождаются! Но именно это мы и попробуем сделать сейчас, идя своим путем. Путем самых крайних возможностей, иначе говоря — следуя за историей путем литературным, наиболее для меня приемлемым…

Я предлагаю читателю роман-биографию человека, суть которого образно выразил Павел Антокольский:

В этой биографии богато отразился наш XX век — много от Берлина до Белграда истрепал подметок человек, много он испортил оробелых девушек, по свету колеся… Биография его в пробелах. Но для нас существенна не вся!

Часть первая

Лучше быть, чем казаться

Глава первая

«Правоведение»

Над желтизной правительственных зданий

Кружилась долго мутная метель.

И правовед опять садится в сани,

Широким жестом запахнув шинель…

Осип Мандельштам

НАПИСАНО В 1934 ГОДУ:

…дождь. Австрийский канцлер Дольфус, большой приятель Бенито Муссолини, умер хуже собаки — без святого причастия. Мало того, убийцы отказали ему, умирающему от ран, не только в помощи врачей, но даже в глотке воды. Если это рецидив аншлюса, то подобные настроения мне знакомы: в 1919 году сторонников аншлюса в Вене было хоть отбавляй, ибо — когда-то великая — Австрия (после отпадения Чехословакии и Венгрии, после создания самостоятельной Югославии) превратилась в ничтожную федерацию — подле еще могучей Германии, сохранившей свою территориальную целостность.

По слухам, Муссолини пребывает в ярости и выставил войска на границе с Тиролем; его нагоняй, сделанный Гитлеру, по-моему, превосходен. Дуче объявил, что XXX веков истории смотрят на Рим, а за Альпами живут люди, которые во времена Цезаря и Вергилия еще не ведали письменности и бегали в звериных шкурах с дубинами… Пока что Муссолини взирает на Гитлера, недавно пришедшего к власти, как породистый и зажиревший бульдог глядит на жалкого и бездомного щенка… Посмотрим, что будет дальше!

Опять дождь. Паршивейший дождь. Никак не ожидал, что надобность в моей поездке отпадет, о чем мне и сообщили сегодня в Генштабе, а я уже настроился побывать в Белграде.

— Не есть ли это знак недоверия к моей персоне?

— Нет, — успокоили меня. — Просто вы опоздаете в Сплит, а король Югославии спешит в Марсель на быстроходном миноносце «Дубровник». Конечно, его встреча с французским министром Барту интересна, но ваша поездка… рискованна.

Я ответил, что в роли нейтрального наблюдателя с чистым советским паспортом не вижу причин для риска:

— Осложнений не возникнет, паче того, я до сих пор дружески переписываюсь с Виктором Алексеевичем Артамоновым.

В. А. Артамонов до революции был военным атташе в Сербии и остался в Белграде референтом по русским вопросам, сохранив добрые отношения с королевской семьей Карагеоргиевичей. К тому времени белоэмиграция уже рассеялась по «лавочкам»: Югославия пригрела военщину, Париж и Прага — интеллигенцию, Америка дала приют инженерам и дельцам, а Берлин всосал в свои трущобы наше отребье… Продолжая беседу, я сказал, что зарождение «Восточного пакта» укрепит связи Москвы с Парижем:

— Именно через Белград и Прагу! В этом случае поведение короля Югославии важно и для безопасности Франции…

Со мною согласились: Луи Барту — реальный политик, и он прежде других политиков Европы ощутил угрозу, исходящую от Германии, ставшей гитлеровской, но Варшава уже предупредила Париж, что Польша не даст гарантий ни в отношении Литвы, ни в отношении Чехословакии:

— Напротив, пан Юзеф Пилсудский отказывается от участия в «Восточном пакте», беря в этом пример с Гитлера… Ваше приятное знакомство с Карагеоргиевичами — это лирика юности, а с начальником сербской разведки Аписом вы так наследили от Сараево до Берлина, что теперь по вашим кровавым следам до сих пор шляются всякие там историки…

Я ответил, что не «всякие», а весьма почтенные:

— Хотя бы Покровский или Тарле, но они еще не скоро узнают то, что известно одному мне. А что касается моих связей с разведкой Сербии, то полковник Апис давно расстрелян в глубоком овраге на захолустной окраине греческих Салоник.

На это мне чересчур резко ответили:

— Останься вы тогда с Аписом, Карагеоргиевичи не пощадили бы и вас — за компанию с этим авантюристом… Так и догнивали бы оба во рву с простреленными головами!

В этот день у меня была лекция по военной статистике в Академии Генерального штаба РККА. По плану я должен был говорить о железных дорогах Бельгии, но в связи с визитом короля Югославии во Францию задержал внимание слушателей на Балканах. Чтобы оживить скучный предмет статистики, я всегда прибегал к личным воспоминаниям, рассказывая о тихих улочках Дубровника, как одеваются женщины в Загребе, Македонии или в Цетине. Меня просили объяснить — что такое конак?

— Конак — от слова «конаковати», что значит по-сербски обитать, жительствовать. Так же называется и дворец. Кстати, — сказал я, — из окна белградского конака был выброшен король Александр с его дражайшею королевой. Только прошу не путать двух Александров: тот, что сейчас спешит на миноносце в Марсель, из династии Карагеоргиевичей, а тот, что вылетел в окно, из рода Обреновичей. Сербия не знала аристократии, потому тамошние короли имеют своими предками кого угодно, вплоть до свинопасов. Балканы этим характерны: там сын разбойника служил в полиции, а внук разбойника становился министром внутренних дел, и это никого не шокировало…

В перерыве между лекциями я навестил начальника нашей Академии, милейшего Б. М. Ш[апошникова] в его кабинете. Он предложил мне билет на прием в литовском посольстве.

— Это сегодня вечером, — сказал он мне. — Москвичи не очень-то любят навещать чужеземные посольства, но обстановка в мире сейчас такова, что литовцев надо уважать…

В посольстве меня приветствовал Балтрушайтис.

— Рад видеть вас у себя, — сказал Юрий Казимирович. — Англичане подозревают, что вас уже не найти в Москве.

— А не догадались, где я?

— Говорят, большевикам пригодились ваши старые связи на Балканах, и вы уже гуляете по набережной Савы…

Не скрою, мне иногда было жаль Балтрушайтиса: видный поэт-символист, приятель Брюсова и Бальмонта, он всей душой хотел бы войти в среду наших писателей, но они явно сторонились его, ибо теперь Балтрушайтис выступал перед ними в роли посла буржуазной Литвы. Мы поговорили, и поэт был рад слышать, что недавно я с удовольствием перечитал д’Аннунцио и Гауптмана в его прекрасных переводах на русский язык.

— Все это в прошлом, — вздохнул Балтрушайтис. — Сейчас у мира иные заботы. Меня беспокоит, что Пилсудский вступил в сговор с Гитлером, а этот ненормальный альянс заострен не только против вас, но и против моего бедного народа.

— Что может сделать Пилсудский? — спросил я.

— Он считает Вильно-Вильнюс польским городом.

— А что может сделать Гитлер?

— Он считает Мемель-Клайпеду городом немецким.

— Они так считают, но боюсь, просчитаются…

Дома я прослушал белградское радио. Где-то в ослепительном море двигался югославский эсминец «Дубровник»; по его палубе, наверное, гуляет сейчас король, которого я помню еще лопоухим и скромным мальчиком. Простой подсчет времени и скорости миноносца показывает, что Александр Карагеоргиевич прибудет в Марсель завтра около полудня…

А для чего мне это писать? Для чего, если мемуары пишут, как правило, только те люди, которые в чем-то хотят оправдать себя и свалить все грехи на чужие головы?

Тяжко! Пожилой человек в старой московской квартире. Возле меня нет жены, нет детей, и никогда не станут бегать вокруг меня внуки. Я одинок. Виноват в этом не я — судьба…

Не сходить ли мне завтра в церковь? Как хорошо, что в античном мире боги частенько спускались с Олимпа и жили среди людей, помогая им или карая их… Господи, внемлешь ли?

Годы берут свое. Если забылся номер телефона венской акушерки Шраат, любовницы императора Франца Иосифа, а из головы вылетела нумерация домов по правой стороне Портенштрассе в Берлине, тогда лучше сидеть дома и писать мемуары…

Новый день. Страшный день! 9 октября 1934 года.

ТАСС передал сообщение: в Марселе король Александр встречен министром Луи Барту. Мобильный эскорт выделен не был. Барту и Александр ехали в открытом лимузине старого типа, который имел вдоль корпуса широкую подножку. Международный протокол для передвижения глав правительств издавна предусматривал скорость не меньше 18 километров, а сегодня они тащились на скорости 4 километра. Из публики вдруг раздался свист — как сигнал! Убийца прыгнул на подножку автомобиля. Барту закрыл лицо руками и был тут же застрелен. Югославский король рванул дверцу автомобиля, чтобы выскочить, но точная пуля пронзила его между лопатками, раздробив позвоночник. Смерть короля была мгновенна, а министр Барту через три минуты был мертв…

Когда радио умолкло, я сидел в оцепенении.

«Неужели новое Сараево?» — спрашивал я себя.

1934–1914 = 20 лет. Всего двадцать лет прошло со времени того рокового выстрела, который явился предлогом для мировой войны. Мир теряется в догадках. Вечером я прослушал передачи Берлина, Парижа и Лондона — всюду недоумение. Вроде бы никто не знает — в чем смысл убийства? Полиция Марселя в момент покушения буквально размазала убийцу по мостовой, и я подозреваю — не сознательно ли его прикончили с таким неловким усердием? Я попытался настроиться на Белград, но слышимость была отвратительная… Между тем анализ политической обстановки привел меня к мысли, что следы преступления уводят в Берлин, прямо в отель «Колумбия», где ныне расположилось гестапо.

Барту совсем недавно посещал нашу Москву — и это понятно: гитлеризм уже чувствительно беспокоил Францию, а Барту смело шел на сотрудничество с Россией; к созданию «Восточного пакта» он привлекал и короля Югославии; таким образом, убийство в Марселе вполне отвечает целям политики Гитлера…

Что-то частенько стали постреливать в Европе!

Сегодня в Столешниковом переулке я нечаянно обнаружил за собой наблюдение. Если мне стали не доверять, к чему эта примитивная слежка? Неужели я, опытный агент с большим стажем работы в Европе, не замечу за собой индифферентного дяденьку в демократической кепочке? Уж кого-кого, а меня-то обмануть трудно: я шкурой предчувствую любую опасность… В свое время я отлопатил срок на Беломорско-Балтийском канале в обществе всяких пижонов: неожиданно посаженный, я неожиданно был освобожден, хотя никаких оправдательных «слезниц» к Ягоде и Сталину не сочинял, ибо считал это бесполезным занятием…

Р. S. Вот еще новость! Я просмотрел «Petit Parisien», и мои подозрения подтвердились. Французская полиция в Марселе даже не удосужилась снять отпечатки с рук убийцы. Теперь он эксгумирован. На трупе обнаружена едва заметная татуировка, якобы указывающая на принадлежность к македонским нацистам. Может, македонца спутали с усташом из Хорватии? Мне, офицеру старого русского Генштаба, который столько лет варился в котле Европы, многое сейчас подозрительно.

Ночью зарубежное радио передавало, что в конаке Белграда появился новый король — малолетний Петр II, регентом при нем назначен принц Павел Арсеньевич, мать которого сыграла такую зловещую роль в моей жизни. Стоит ли помнить об этой женщине? Лучше сберегу в памяти иной светлый образ, который растворился надо мною еще в молодости, как весеннее облако…

Ночной звонок по телефону. В трубке — молчание. Видать, кому-то захотелось узнать, дома ли я.

Вчера я был в церкви. Хорошо помолился…

Помню, как справедливо сказано у Мольера:

Было время для любви, Остались годы для молитвы…

\* \* \*

Неожиданный вызов в особый отдел Генштаба, где меня донимали двумя каверзными вопросами:

1. Почему я еще с дореволюционных времен значусь бывавшим в 1903 году в Париже, тогда как в Париже я не был?

2. Из каких соображений я скрываю свое дальнее родство с королевской династией Карагеоргиевичей?

На первый вопрос я ответил, что у меня были особые причины скрывать перед царской охранкой свое отсутствие в Париже, ибо сам я тогда участвовал в кровавых событиях в белградском конаке; по второму вопросу я ответил, что моя мать была чистокровной сербкой:

— Где-то в дальнем генеалогическом колене, это правда, соприкоснулись линии предков матери с Карагеоргиевичами, которые в ту пору были, скорее, гайдуками и резали турецких янычар, еще не думая стать королями…

К этому времени Б. М. Ш[апошников] уже стал начальником Генерального штаба и депутатом Верховного Совета СССР. По его настоянию мне было присвоено звание профессора, после чего я продолжал чтение лекций по военной статистике и военной администрации стран Европы в Академии нашего Генштаба.

Б. М., поздравляя меня, весело сказал:

— Вы теперь как никогда напоминаете мне Наполеона, но уже после его побега с Эльбы. И я от чистого сердца советую вам избежать поражения при Ватерлоо…

Очередную лекцию в Академии я начал с Германии:

— Вспомним недавнее крушение немецкого экспресса у Луккенвальде с такими тяжкими жертвами. Не прошло и получаса, как к месту катастрофы собрались пожарные и санитарные машины даже с больничными сиделками — и столь быстро, будто крушение поезда было заранее в Берлине запланировано. Пусть этот факт послужит для вас, товарищи, примером административной дисциплины, какой мы, русские, к сожалению, еще не воспитали в себе. Я говорю это к тому, чтобы среди наших командиров не возникло шапкозакидательских настроений: Германия — мощное и активное государство, а с приходом нацистов к власти оно способно на самые крайние решения…

Мне возразили: Гитлер никогда не рискнет на войну с СССР, ибо Германии не выжить без поставок русского хлеба. На это я ответил, что урожайность полей Германии при высоком развитии агрокультуры и большом количестве калийных удобрений не даст немцам умереть с голоду.

— Еще раз коснемся военной статистики! — сказал я. — Английская блокада Германии в предыдущей мировой бойне себя не оправдала. Вот вам несколько цифр: в те годы каждый датчанин съедал 750 килограммов масла — в неделю, а каждый швед поглощал 800 тонн шоколада — в месяц! Теперь вам ясно, что и в новой войне найдутся подобные «нейтралы», которые, закупая товары как бы для себя, тут же насытят ими магазины нашего эвентуального противника. Не забывайте, — напомнил я, — что Швейцария уже поставляет немцам свою превосходную зенитную артиллерию, какой у нас с вами еще нету, а шведские рудники давно привыкли насыщать железной рудой крупповские домны…

Сегодня мне почему-то вспомнился Карл Гревс, любимый кайзеровский шпион. Перевербованный англичанами, этот нахал писал в своих идиотских мемуарах: «Есть три вещи, до которых моему читателю нет никакого дела. Это мое происхождение, это моя национальность и моя нравственная физиономия…» Я сейчас благостно спокоен, желая рассказать о своем происхождении, а мнение о моей морали пусть сложится само по себе на этих страницах… Для меня всегда было существенно самое главное, ради чего я жил и страдал на белом свете:

— Я, русский офицер, честь имею!

Но пусть мое имя останется неизвестным в народе. Очевидно, так надо. Мы едим хлеб насущный, никогда не спрашивая: кто этот хлеб посеял, кто собрал его с наших полей?

1. Прощание Славянки

Я возник на этом свете вскоре после кризиса 1875 года, когда Бисмарк, ожесточив Германию легкостью побед, готовил новый разгром Франции, еще не успевшей вооружиться заново. Людям той суматошной эпохи, умеющим мыслить, было даже странно, что война не началась сегодня, они удивлялись — почему она не разгорелась вчера? И ложились спать в смутной тревоге — как бы война не грянула завтра! Мое время прошло среди кризисов, военных и политических, а моя жизнь, если к ней присмотреться, тоже сложилась из кризисов — личных и гражданских…

Теперь мертвые в гнилых гробах лежат под землей, и они много обо мне знают, а живые проходят мимо, ничего обо мне не ведая. Почему я, уже старик, без слез не могу слышать музыку старинного марша «Прощание славянки»? Ах, мама, мама! Нельзя было так безжалостно бросать маленького сына, любящего тебя, и оставлять в сраме постыдного одиночества бедного русского чиновника, экономящего каждый полтинник жалованья.

Боюсь, что такое начало не всем будет понятно, посему я не постесняюсь расшифровать свое прошлое…

\* \* \*

Моя жизнь началась в те благословенные годы, когда над Балканами отшумела очистительная гроза, за Московскою заставой Петербурга возвысились триумфальные ворота, под сень которых и вступила русская армия, принесшая свободу болгарам и сербам; тогда же и проспект, идущий от Пулкова в центр столицы, был наречен Забалканским — и это историческое название, казалось, донесет до потомков всю пороховую ярость небывалого накала внешней политики Российского государства…

Я ношу простую, но очень старинную русскую фамилию, называть которую не желаю, памятуя о главном:

Да возвеличится Россия, Да сгинут наши имена! В этом вопросе я придерживаюсь того принципа, который сверхчетко выразил германский генерал Ханс фон Сект:

Офицеры генерального штаба не должны иметь имени.

Впрочем, моя фамилия внесена в знаменитую «Бархатную книгу»; читателям, которые по тем или иным причинам захотят узнать ее, советую раскрыть второй том «Бархатной книги», изданной Н. И. Новиковым в 1787 году. Чтобы не затруднять ваших поисков, сообщаю: род мой числится происходящим в XX колене от самого Рюрика, а пращур мой имел житейское прозвание «Оладья».

Когда я появился на свет божий, моя фамилия уже растеряла древние грамоты, никто из моего рода не занимал высоких постов в чиновной иерархии России, мы обнищали, разбазарив свои поместья по лошадиным ярмаркам и цыганским оркестрам, а потому, когда возникла «освободительная» реформа, нам уже некого было «освобождать». Представителей моей фамилии можно было встретить инженерами-путейцами на полустанках, журналистами в редакциях, врачами в клиниках, офицерами в гарнизонах, а мой батюшка, достигнув чина коллежского асессора, почти всю жизнь учительствовал в петербургских гимназиях. Личные невзгоды и некоторая бедняцкая «пришибленность» сделали из него человека сухого и желчного, и теперь я понимаю, что под этой оболочкой, не совсем-то приятной для посторонних, скрывалась правдивая и благородная душа, способная любить только один раз, что он и доказал, когда мама покинула нас — столь безжалостно и по-женски эгоистично.

Я давно заметил, что вся великая литература зиждется на гиперболах. Один славный писатель даже утверждал, будто он помнит, как его крестили. Я не могу похвастать такой памятью. Но я хорошо помню вечер над столицей и маму, держащую меня на руках. Она стоит на балконе нашей квартиры, а под нами, далеко внизу, затаилось глубокое ущелье Вознесенского проспекта (ныне проспект Майорова). Теплый воздух, выдуваясь из нашей квартиры, всплескивает над балконом паруса тиковых тентов. Совсем еще маленький, в чепчике и кружевных панталончиках, я радуюсь жизни и этому ласковому сквозняку: мне приятны обнимающие меня чуть влажные руки молодой матери.

А внизу под нами — идут, идут, идут… идут!

Это русская гвардия возвращается из лагерей на зимние квартиры. Издалека колышется длинная полоса тысяч и тысяч колючих штыков. На балкон выходит и мой отец:

— Узнаю курносых — павловцы! А вот и преображенцы — краса и гордость лейб-гвардии, вологодские Гулливеры…

Буйствуя, ликовала военная музыка. Вровень с окнами вторых этажей, где дозревали на окнах фуксии и герани чиновных семей, качались штандарты русской боевой славы, проносимые в марше. На жезлах тамбурмажоров вспыхивали алмазы, полыхали огненные рубины. А потом вдруг ударили звончатые тарелки, трубачи в бронзовых наплечниках, гарцуя на белых конях, пропели на горнах щемяще-тревожно.

— Ага! — сказал папа. — Вот вам, сударыня, и конная артиллерия — полк, в котором трубы из чистого серебра, полученные за Аустерлиц, за Бородино, за Плевну…

Шестерки могучих першеронов увлекали лафеты за повороты улиц. С тихим шелестом шагов, словно торопясь куда-то, под нами двигались низкорослые крепыши в белых рубахах, и все они были в сапожках из ярко-алого хрома.

— Будто из крови вышли! — сказала мама. — Страшно…

— Апшеронцы, душечка, — пояснил отец. — У них и сапоги-то красные, ибо в битве при Кунерсдорфе стоял Апшеронский полк в крови по колено. Стоял — и выстоял!..

Войска прошли — наша улица разом поскучнела.

Для меня, еще ребенка, вдруг выяснилось, что рядом со мною живет нечто, осмысленное и грандиозное, расставленное по ранжиру и одинаково одетое, — что-то невыносимо сильное, жестокое и доброе, очень страшное и очень заманчивое.

Таково мое первое детское впечатление.

Я свято сберег его до седых волос.

И верю: русской армии можно нанести отдельное поражение, но победить ее нельзя.

Наверное, это и есть тот главный камертон, который раз и навсегда определил звучание моей удивительной жизни.

Пусть я был несчастен, но это была сама жизнь…

А трагический марш «Прощание славянки» до сих пор невыносим для моего слуха, для моих нервов.

— Ах, мама, мама! Зачем ты оставила нас тогда?..

\* \* \*

По словам Ларошфуко, «ум и сердце человека так же, как и его речь, хранят отпечаток страны, в которой он родился». Вполне согласен, и потому всегда считал себя русским. Но моя мать была сербкой, иной раз мне даже мнится, что с молоком матери я всосал в себя все тревоги и горести южных славян.

У нас дома было так принято: с няней я говорил по-русски, с бонною — по-французски, с отцом — по-немецки, с мамой — только на сербском. Со слов матери, которую звали Марицей Николовной, я знал, что через нее — через ее кровь! — я родствен сербам, носившим прозвание Депрерадовичей, Шевичей, Милорадовичей, Руничей и многих других семей, которые давно натурализовались в России; это были потомки виноделов, торговцев и пастухов, ставшие на русской службе сенаторами, генералами, дипломатами, сановниками… Однажды мама показала мне фотографию изможденного господина с обвислыми усами, скромный сюртук которого украшал орден Почетного Легиона.

— Запомни этого несчастного человека, — сказала она. — Петр Александрович Карагеоргиевич, внук отважного гайдука Георгия, прозванного турками «Кара», что значит — черный или страшный. А мать Петра была из рода Ненадовичей, которые очень давно породнились с Хорстичами…

Я всегда был горд за своих родичей. Это мой пращур Милован Хорстич, раненный ятаганами, с последней пулей в ружье, горными тропами — вровень с облаками! — прошел через Балканы и Карпаты, выбираясь на Русь, куда и прибыл с единственным сокровищем — маленькой Зоркой. Это случилось в 1817 году, когда Обреновичи подло убили грозного Кара-Георгия: они отрезали ему голову и в грязном мешке отослали ее к Порогу Блистательной Порты. Турецкий султан плюнул в потухшие очи борца за свободу, а власть в Белграде отдал Обреновичам… Я был еще мальчиком, но мама уже тогда напитала меня ненавистью к сербским королям из династии Обреновичей.

— Когда вырастешь и станешь умнее, никогда не прости Обреновичам вероломства, как не простила и вся Сербия…

Первые песни, которые я слышал, были «лбзарицы» матери, в которых не слышалось слов о любви и радости, зато всегда воспевались народные герои, павшие в битвах. А первые стихи, заученные мною наизусть, были стихами Пушкина:

Черногорцы? Что такое? — Бонапарте вопросил. — Правда ль, это племя злое Не боится наших сил?..

Мама рассказывала мне, как отличить серба от черногорца:

— Серб обстоятелен в поступках, его поступь даже величава. Черногорец же весь настороже, всегда готовый выхватить из-за пояса пистолет. Полтысячи лет они держались на Черной Горе в изоляции от мира, зато отстояли свободу…

Но каждый год — в день 28 июня — мама погружалась в печаль. Это был день святого Витта, день национальной скорби славянского мира. 28 июня 1389 года на печальном Косовом поле, что лежит между Боснией и Македонией, турецкие орды сломили мощь Сербии, и с того дня началась ее новая история — история борьбы за свободу… Я помню даже слова матери:

— А когда полегли витязи на Косовом поле, храбрый Обилич прокрался в шатер турецкого султана и зарезал его кинжалом. Обилич умер под пытками, но остался в наших песнях и былинах. А битва случилась в день святого Витта, сербы называют его Видовданом, и этот день стал для нас днем траура…

Поражение сербов на Косовом поле стало так же близко моему сердцу, как и победа русичей на поле Куликовом! Но мог ли я тогда думать, что именно в такой Видовдан выстрелы огласят Сараево, столицу Боснии, а вся Европа исполнит пляску святого Витта, стуча зубами от страха. Этот день потом и отразит Ярослав Гашек в своем романе о бравом солдате Швейке:

— Убили, значит, Фердинанда-то нашего… Укокошили его в Сараево. Из револьвера. Ехал он там со своей эрцгерцогиней…

Отец выписывал для чтения газеты «Фигаро» из Парижа и злющую «Тетку Фосс» из Берлина, а мама читала журнал «Славянский мир», я часто заставал ее с номером «Славянских известий» в руках, плачущую. Мне запомнились дни, когда Россия чествовала память Кирилла, соратника Мефодия, в 1889 году отмечалось пятьсот лет со дня Косовой битвы. В годы моего детства Петербург часто объявлял дни «кружечных сборов», когда по квартирам ходили студенты и курсистки с кружками для сбора подаяния. Помню, мама жертвовала дважды — в помощь Черногории, пострадавшей от неурожая, и на устройство детских школ в Сербии… Не только она! В кружку опускали свои медяки прохожие, солдаты, дворники, ибо мир славянства казался всем нам единым домом, только жили мы под разными крышами.

\* \* \*

Никак не могу объяснить, почему мой отец, потомственный русский дворянин, стал отчаянным германофилом, поклонником философской мысли старой Германии, почему он с удовольствием беседовал по-немецки; отец считал Германию чуть ли не идеальной страной, и я не раз слышал от него:

— Немцы любят порядок. У них попросту невозможны такие несуразности, какими преисполнена жизнь в России…

От папы же я слышал и такие сентенции:

— Француз работает ради славы, англичанин изо всего старается извлечь прибыль, и только немцы делают свое дело ради самого дела. Оттого и продукция Германии — лучшая в мире.

— А ради чего надрываются русские? — спросил я однажды.

— Русские? Они и сами того не ведают…

Замкнутый ипохондрик, гораздо старше матери, отец жестоко страдал от приступов ревности, никогда не ожидая от жизни ничего хорошего, всегда готовый к злоключениям судьбы. Не знаю, чем он мог прельстить мою мать, но, кажется, я возник на свет против ее желания, явившись жертвой несчастного союза. Быстрое старение отца, женский расцвет мамы, пылкой и страстной, привели к тому, что бес ревности стал вроде домового в нашей захламленной квартире. Я не раз засыпал вечером под аккорды семейного скандала и просыпался средь ночи — от новых скандалов. Как это ни странно, папа с мамой заключали перемирие, когда возникал насущный вопрос о мерах воздействия на меня: отец с большим воодушевлением восхвалял достоинства своего ремня, мама нежным голосом ворковала о великом воспитательном значении классической розги, а бонна, не теряя времени даром, упражнялась в выкручивании моих ушей.

Конец нашей семьи был, кажется, запланирован свыше…

Как и все южные славянки, мама была натурою своевольной и экспансивной, живущей порывами души и сердца. Однажды, когда мы поселились на даче в Красном Селе, она вдруг пропала и вернулась через день, покорно-молчаливая, с затаенной улыбкой на тонких губах. Не желаю вникать, что случилось меж моими родителями, но квартира вдруг наполнилась лубяными коробками для шляп, в большие кофры укладывали туалеты мамы…

Поймите мое детское горе — мама уезжала!

Настал судный день. Мне уже не забыть сводов вокзала, прокопченных паровозами, поныне вижу таблички на зеленых вагонах: «С.-ПЕТЕРБУРГ — ВАРШАВА». Не знаю, какое невыносимое, какое преступное счастье ожидало маму в этой Варшаве, но в день расставания была она радостна, как весенний жаворонок. Отец скорбно молчал, а мне хотелось кричать: «Мама, не бросай нас… мама, не уезжай!» На прощание она, стройная и красивая, обнажила руку из перчатки, погладила меня по щеке.

— Будь умницей, — сказала мама. — И слушайся папу…

В тесном жакете с золотыми пуговицами, она поддернула тяжелый подол турнюра, смело шагнула в двери вагона.

Поезд медленно тронулся. Отец громко зарыдал.

Колокола петербургских храмов звонили к вечерне.

Стали приходить письма — все реже и реже. Только первое из Варшавы, потом я разглядывал казенные штемпели Рима, Вероны, Праги, и наконец письмо последнее — из Фиуме… Мама навсегда растворилась в непонятном, но красочном мире, а я остался со скучным отцом в пустой громадной квартире.

Где же ты, сербская гордячка? Ах, мама, мамочка!

Не грешно ли было тебе покидать бедного учителя и так жестоко забывать русского мальчика?

Потом в газетах промелькнет сообщение, что Обреновичи казнят и сажают в тюрьмы патриотов Сербии; в числе многих узников однажды вспыхнет, как искра на ветру, имя моей матери.

Но это случится гораздо позже, когда я уже не боялся ни мрака, ни чертей, ни сказок про Кащея Бессмертного.

Память снова возвращает меня в тускло освещенные казармы Дунайской дивизии, где я впервые повстречал балканского карбонария по кличке Апис…

О боже! Как все переплетается в этом подлунном мире, и я до сих пор ужасаюсь:

— Почему я тогда уцелел? Даже не верится…

Наверное, здесь будет уместно рассказать о той пакостной обстановке, какая царила в белградском конаке.

2. Драки в Конаке

Югославии тогда и в помине не было… Но возле Сербии расположились Босния, Герцеговина, Далмация, Хорватия, Словения, Воеводина, Истрия и независимое княжество Черногория. К единению их обязывала историческая, этническая и языковая общность балканских народов. Но создание такого обширного государства славян (каким позже и стала Югославия) не могли допустить ни султанская Турция, ни кайзеровская Германия, ни далекая Англия, ни близкая Австрия, ибо славянское возрождение обязательно станет союзно России, а царь не замедлит получить базы для своего флота в Адриатическом море.

Главным же врагом славян на Балканах была габсбургская Вена, уже наложившая свое гербовое клеймо на Боснию и Герцеговину. Чтобы задобрить славян, Габсбурги заливали улицы в Сараево асфальтом, они пустили по рельсам трамвай, но… бойтесь данайцев, дары приносящих! Белград стоял у самого слияния Дуная с Савой, с австрийского берега крепостные орудия Землина держали столицу Сербии на постоянном прицеле…

Турки прозвали Белград «Вратами священной войны», их зеленое знамя Пророка было спущено над столицей Сербии лишь в 1876 году, когда сербы, заодно с Россией, объявили войну за свободу славян. И сербы никогда не забывали об этом:

— Поговорим, друже, по-русски, — стало для них паролем.

Все было бы хорошо, если бы не династия Обреновичей!

\* \* \*

Милан Обренович родился через 13 месяцев после смерти отца, но никто в королевстве не смел сомневаться в его законном происхождении, ибо его мать серьезно утверждала:

— На то я и королева, чтобы у меня было все не так, как у других женщин. Допустим, немножко запоздала с родами… Так и что с того? У меня просто не было времени родить к сроку.

Начиная с короля Милана династия Обреновичей стала позором для Сербии — при Милане были замучены тысячи патриотов, а страна обрела 255 миллионов государственного долга. Сам же король цинично признавался перед придворными:

— Едим прошеное, носим брошеное, живем краденым…

Мародер, хвастун, спекулянт, пьяница, игрок, предатель народа, распутник, трус и, наконец, он же генералиссимус великой Сербии — таков далеко не полный перечень криминальных заслуг короля Милана Обреновича!

Хроника династии Обреновичей — хроника скандальная.

Милан отыскал жену для себя в Одессе: красивая Наталья Петровна Кешко, дочь русского офицера, стала королевою сербов. Не станем преувеличивать ее «русофильство», ибо женщина, оскорбленная в своих чувствах, поступала чисто по-женски: она примыкала к той партии, которая осуждала ее мужа, а муж выдвигал в министры подхалимов, которые обливали грязью его жену-королеву. В таких-то безобразных условиях был зачат сын — Александр Обренович, которому лучшие психиатры Европы с детства предсказали очень быструю карьеру дегенерата.

Стрельбу по Милану начали женщины-патриотки, и две из них, Елена Маркович и Елена Кничанина, были задушены косынками в тюремных камерах. Сербия волновалась. Покои белградского конака король уже превратил в лупанарий; средь множества авантюристок одна только греческая гетера Артемизия брала из казны столько золота, сколько бережливым сербам и во сне не снилось. Все народные восстания Милан подавлял с жестокостью, напоминавшей прежние ужасы правления турецких султанов. Земля уже горела под ногами Милана, но пожарную команду он вызвал из Вены! В 1883 году король, втайне от Народной Скупщины и министров, вступил в сговор с Габсбургами, обещая им не претендовать на Боснию и Герцеговину, за что Вена сулила Милану беречь его престол от покушений народа и притязаний Карагеоргиевичей. С этого времени на смену турецкому угнетению пришло угнетение немецкое: Австро-Венгрия сделала из Сербии нечто вроде своего протектората. Покорить Сербию венские Габсбурги вряд ли были способны, но они подчиняли ее своему грубому диктату, чтобы Сербия стала придатком Австрии — и политически и экономически. Милан Обренович грабил не только свой народ — к его услугам Габсбурги нарочно открыли сейфы венского Zander-Bank’а, закабаляя сербов займами.

Милан предал свою страну! Вместо того чтобы крепить славянское единство, он — по наущению Вены — втравил сербов в войну с Болгарией, и болгары в битве при Сливнице разгромили Милана, после чего он, побитый, и присвоил себе чин «генералиссимуса». Между тем скандалы в королевском семействе перешли в настоящие драки — король валтузил королеву, королева лупила короля. Желая оторвать сына от беспутного отца, Наталья хотела спровадить Александра в Одессу, а Милан утверждал, что и сам воспитает сыночка — какого надо! Наконец семейные свары в конаке увидели улицы Белграда; прохожие отбили королеву от короля, ибо никакой серб не выносит унижения женщины. Избитую до крови королеву спрятали от мужа в ближайшей пиварне, вмешалась полиция, но горожане побили и полицию; Милан вызвал войска — и мостовые Белграда окрасились кровью… А пока на улицах дрались, наследник престола играл в кегли!

Наталья обратилась с «меморандумом» в Скупщину:

— У меня больше нет сил скрывать слезы улыбкой, и вы сами видите, что муж способен погубить королевство…

Милан объявил брак с нею расторгнутым. Но вся эта мерзость конака, выплеснутая на страницы европейских газет, окончательно уронила престиж короля, и Милан был вынужден отречься от престола — в пользу сына-мальчика.

Но при этом он еще продолжал угрожать народу:

— Могу и совсем уехать, если дадите мне миллион…

Иначе говоря, король требовал с народа взятку. Патриархальная страна по грошику собрала для него деньги — только бы он убрался ко всем чертям и больше не осквернял их своим поведением. Милан получал «пенсию» и от сына, но все проигрывал — в рулетку или на скачках, продолжая шантажировать Скупщину:

— Не дадите денег — снова вернусь в конак!

Сербия платила. Милан опубликовал в Европе заявление, что он не душил женщин, покушавшихся на него, — их душил сам министр внутренних дел Милутин Гарашанин. Гарашанин тоже выступил в печати: «Как я мог их душить, если в это время меня не было в Белграде?» Тогда Милан стал оправдываться:

— Наверное, их задушил пьяный начальник тюрьмы…

Наконец сербам надоело оплачивать долги короля.

— Хватит с него! — заявили в Народной Скупщине.

Но от Милана не так-то легко было избавиться.

— Еще один миллион франков, — требовал он. — Я продулся в Монте-Карло, и мне срочно следует отыграться…

В 1894 году король неожиданно вернулся в белградский конак, чтобы управлять страной из-за спины своего безвольного сына. Теперь Вена распоряжалась в Сербии, как в своей вотчине. В 1899 году, желая вызвать террор в стране, Милан спровоцировал покушение на самого себя. Именно тогда, в самый разгар бесчеловечных репрессий, наш писатель В. А. Гиляровский разоблачил перед Европой злодейские козни этой семейки!

Русская дипломатия вняла голосу писателя, и Петербург в грозном ультиматуме потребовал от Милана немедля освободить арестованных патриотов… Сербы говорили:

— Спасибо России! Если б не наши друзья-русские, всем бы нам сидеть в тюрьме «Главняча», всем бы нам таскать в цепях тачки на Пожаревацкой каторге. Спасибо и друже Гиляровскому, который не испугался наших драконов…

На этот раз Милан собрал манатки и навсегда покинул страну. Он скончался в Вене, но император Франц Иосиф не выдал его праха, и негодяй с титулом «его величество» был зарыт в австрийской земле. Так часто бывает, что самых верных лакеев господа хоронят подле своих фамильных усыпальниц.

Милана хорошо изобразил сербский писатель П. Тодорович в своем романе с характерным названием — «Долой с престола!».

\* \* \*

На престоле остался его сын Александр, описанный Альфонсом Доде в его знаменитом романе «Короли в изгнании».

С явными признаками дегенерации на пасмурном челе, хмурый и некрасивый, коротко остриженный, словно прусский кадет, с очками на мутных беспокойных глазах, молодой Обренович блуждал по темным залам конака — слабосильный деспот в окружении всесильных деспотов-министров. Он не раз говорил:

— Я хочу любить и хочу быть любимым…

Еще мальчиком он привык сидеть на коленях фрейлины своей матери — это была вульгарная Драга Машина, урожденная Луневац. Драга качала толстого кретина-ребенка, еще не думая, что из него получится. А получился король! И, став королем, Александр навещал Драгу в ее доме на окраине столицы. Адъютант Лазарь Петрович, сопровождавший короля, однажды не вытерпел и сказал, что сюда же возил и… короля Милана!

— Я это знаю, — отвечал Александр, — но знай и ты, что Драга станет твоей королевой, а потому… лучше молчи.

Сербы-эмигранты писали в газетах Парижа, что якобы Драга и спровадила Милана на тот свет чашечкой крепко заваренного кофе. Это похоже на правду, ибо в сомнительных случаях, подозревая в ком-либо врага, Драга подмигивала королю:

— А не заварить ли нам для него кофе покрепче?

Наталья Кешко, почуяв неладное, убралась в Биариц; опустевшие покои конака заняли братья Драги — молодые офицеры Никодим и Николай Луневацы; теперь уже не Милан, а семья Луневацев всосалась в народ Сербии, насыщая его кровью и золотом. Но король Александр очень любил Драгу, и вскоре женщина была объявлена королевой (так что недаром она качала его на своих коленях!). Александр в тронной речи публично объявил, что Сербия скоро может поздравить его с престолонаследником, и только теперь придворные заметили, что Драга имеет большущий живот… А жители Белграда уныло рассуждали:

— Видать, от этих Обреновичей не избавиться! Ну кто бы думал, что у такой потасканной суки еще приплод будет?

Лучшие акушеры Вены и Петербурга, вызванные в Белград, ничего не понимали: живот у королевы растет, но в организме не обнаружить даже слабых признаков беременности. Этот конфуз дал богатую пищу для карикатуристов Европы, но через год Александр снова заявил с высоты престола, что положение легко исправить, — и объявил наследником в конаке брата королевы Никодима Луневаца. В пиварнях и кафанах негодовал народ:

— Мало нам Обреновичей, так теперь сядут на шею Луневацы, которые даже усов завить не могут, а ездят для этого в венские цирюльни. Что от них ожидать доброго, если их мать была пьяницей, а отец не вылезал из сумасшедшего дома?

Александр Обренович за время своего правления сменил 24 правительственных кабинета; заодно с министрами вылетали писаря, швейцары и подметалы. Конак кишел австрийскими агентами, а венский посол Думба стал лучшим гостем короля. Бедная страна, уже ограбленная, стала кормушкой для Австрии, и без того пресыщенной; теперь Габсбурги без стыда и совести выгребали из Сербии зерно, виноград, шерсть, свинину с бараниной, чернослив, коринку, орехи, фанеру и кожи…

В это же время Петр Карагеоргиевич, проживая в изгнании, не раз делал заявления для печати, что от притязаний на сербский престол не отказывается: «Я вернусь в конак Белграда, когда обстоятельства призовут меня…» Он часто навещал Петербург, где имел немало друзей и где два его сына учились — один в Пажеском корпусе, другой — в Училище Правоведения.

А в казармах Белграда служил мрачный поручик Драгутин Дмитриевич — по кличке Апис, и для него все короли на свете были дешевле базарной репы.

3. Чижик-Пыжик, где ты был?..

Психологи давно доказали, что обширные помещения действуют на детей бодряще, побуждая их к активному настроению, и, напротив, тесные комнатенки с низкими потолками делают их вялыми, пассивными и сонливыми. Я благодарен высоким потолкам нашей квартиры, под сводами которых моя неукротимая фантазия уводила меня в иной мир. Наслушавшись сказок от няни и героических «лазариц» матери, я представлял битвы с драконом, который, истекая зловонной кровью, был однажды побежден мною, и его зазубренный, как пила дворника, громадный хвост исчезал в черном проеме ночного окна… Не он ли, этот дракон, и был выброшен потом из окна белградского конака?

Мне было лет восемь, когда отец сказал:

— Я хочу поставить тебя на ноги, чтобы затем не пришлось краснеть за себя. Одно дело — песни матери, но ты обязан помнить и девиз нашего рода: «ЛУЧШЕ БЫТЬ, ЧЕМ КАЗАТЬСЯ…»

Суровейший ригорист, он никогда не баловал меня, за что я позже остался ему благодарен. Я учился сначала в Annen-Schule, славной отличным преподаванием иностранных языков. Учиться я очень любил. И по утрам первым делом бежал к окну, дабы увидеть — какие знаки вывешены на пожарной каланче; если на фоне неба виднелись черные шары, это значило, что мороз перевалил за тридцать градусов, все гимназисты и гимназистки могли радостно хлопать в ладоши, ибо в такие дни занятия прекращались, но для меня морозные дни оборачивались ничегонеделанием, которое я ненавидел. Анненской школе я благодарен — учили замечательно. А владение языками привило мне вкус к человеческой речи вообще: я всегда с охотным любопытством вслушивался в разговоры татар-старьевщиков, в таинственный шепот менял-евреев, в звонкую перебранку чухонок-молочниц.

Единственное мотовство, какое позволял отец, — это субботние походы в бани г-на Мальцева. Отцу, наверное, казалось, что мальчик получит невыразимое удовольствие, если его чисто вымоют. Самый дешевый номер у Мальцева стоил 20 копеек, а самый дорогой — 6 рублей (в этом случае для мытья предоставлялась целая анфилада комнат с услугами банщиков и массажистов). Мы с отцом всегда мылись за 40 копеек в общем бассейне. Стены мальцевских бань были крыты корабельной обшивкой, а полы там заливал шершавый цемент. Убранство было в стиле древней Помпеи, из пены фонтана грациозно выступала мраморная Афродита, с нескромной улыбкой глядя на тощих санитаров и жирных купцов первой гильдии. Иногда под полом бань включали особую машину, отчего в бассейне начинался «шторм», как в море. Мне это безумно нравилось. Отец никогда не спрашивал, хочу ли я идти в баню, он просто брал меня за руку и отводил к Мальцеву. Так же никогда не интересовался, кем я хочу быть. Когда пришло время, отец деловито взял меня за руку и без лишних разговоров повел за собою, как водил и в баню.

Я оказался на Большой Монетной улице (ныне улица Скороходова), в глубине садов которой размещался Лицей, переведенный сюда из Царского Села в 1837 году — трагическом году гибели Пушкина. Но, увы, попасть в когорту «славных» мне не довелось: записи предков в «Бархатную книгу» оказалось маловато, желательно иметь тетушку в статс-дамах или дядюшку камергером. Тут впервые в жизни я ощутил уязвленность своего самолюбия.

— А как же Пушкин? — говорил я весь зареванный. — Почему Пушкина в Лицей приняли, а меня не захотели?

— Ты не Пушкин и потому помалкивай, — отвечал отец, забирая меня с Монетной улицы, и повел на Фонтанку…

Здесь, напротив Летнего сада, издавна размещалось длинное, издали похожее на конюшни, некрасивое здание «Императорского Училища Правоведения» (в быту петербуржцев именуемого кратко — «Правоведение»). По преданию, когда-то на этом месте был манеж герцога Бирона, позже размещалась военная канцелярия графа Барклая-де-Толли, проживал тут и граф Сперанский, немало хлопотавший за образование школы русских юристов.

Вот сюда, в этот угрюмый дом, меня и поместили — словно пихнули в бассейн с холодной водой, и я вскрикнул от испуга, но было уже поздно. Кажется, была как раз суббота. Отец пошел в баню — на этот раз без меня. Я выразил свой протест тем, что притворился, будто не умею говорить по-русски, а только на языке сербов… Меня вздули! Трудно передать мое детское горе, когда я очутился в дортуарах пансиона для казеннокоштных. Экзекутор из немцев лишил меня «бульки»:

— Глуп мальшик, нет булька, зачем три раза сдох?

На русском языке это значило: я лишаюсь булки за то, что осмелился три раза подряд печально вздохнуть. По просьбе отца, снисходя к его доходам, меня зачислили на казенный кошт, почему я, выпущенный из «Правоведения», обязан шесть лет жизни посвятить служению при шатких весах Фемиды. А хочу ли я быть юристом — об этом меня никто не спрашивал…

Мораль среди будущих законников не радовала!

Младшие классы обязаны подчиняться старшим. Подросток намазывал горчицей кусок хлеба и указывал мальчику:

— Изобрази удовольствие!

И тот ел, плача.

Юноша, курящий папиросу, повелевал подростку:

— Зверь, тащи сюда пепельницу!

И тот покорно вытягивал раскрытую ладонь, в которую стряхивали горячий пепел…

Существовало и невидимое для начальства разделение на плебеев и аристократов. Все время вспыхивали драки, богатый унижал бедного, сильный побивал слабого. В дортуарах Училища случались и массовые побоища, когда один класс рукопашничал с другим, — все это мало говорило о пользе будущего «законоправия империи». Я не любил драться, но горячая кровь матери побеждала флегму отцовского характера, и потому не раз ходил с «фонарем» под глазом. А инспектор классов, человек очень грубый, донимал нас хамскими выкриками: «Кво вадис, инфекция?» (что в переводе с божественной латыни на язык родных осин значило: «Куда прешь, зараза?»).

Здесь мне предстояло учиться целых семь лет!

Попав в казеннокоштный капкан, я все-таки нашел в себе сил, чтобы покориться обстоятельствам, и учился очень хорошо. Меня выручало умение сосредоточиться, когда это было нужно. Внимание человека — это ведь обычный приток крови к головным центрам его мозга, здоровью это никогда не вредит, и я никогда не боялся излишне напрягать свою сообразительность, а память у меня была превосходная.

Отец изредка навещал меня, каждый раз одаривал жалким фунтиком сушеной малины.

— У меня нет шестисот рублей, чтобы платить за тебя, как за «своекоштного», и потому радуйся, что здесь кормят четырежды в день, давая на обед даже бифштексы с поджаренным луком, за это ты должен только учиться, — внушал мне папа.

Ну что ж! «Лучше быть, чем казаться».

Впоследствии, когда я сидел над планами Шлифена о нападении Германии на Россию, в его наказе германскому генеральному штабу меня потрясли такие же слова: «Больше быть, чем казаться, много делать, но мало выделяться…»

Не правда ли, какое странное совпадение?

\* \* \*

Лицеисты гордились именами Пушкина и Дельвига, канцлера Горчакова и сатирика Салтыкова-Щедрина, зато в «Правоведении» часто поминали поэта Апухтина и критика Стасова; отсюда, из этого несуразного дома-конюшни на Фонтанке, вышли наши прославленные композиторы — Серов, Чайковский и Танеев, а позже прогремел на весь мир великий гроссмейстер Алехин.

Остальные же правоведы, не обладавшие «искрой божией», выходили на избитый проторенный путь: они метали с амвонов судилищ перуны смертных приговоров, из казенных канцелярий огненные рысаки увозили их в гудящие хмелем рестораны, они кутали в меха плечи драгоценных красавиц…

Конечно, никто не обучал нас ни цинизму жизни, ни умению «рвать» с несчастных бешеные гонорары. Напротив, в нас усердно втемяшивали идеалы гражданской добродетели. Впрочем, у меня хватило ума, чтобы заметить главное: формируя будущих законников для обиходных нужд империи, начальство старалось отливать нас по единому стандарту, как отливают поковки в кузнечном цеху. Все мы были тщательно отнивелированы до общего уровня, необходимого для усердных и верноподданных чиновников, — не более того! В один и тот же день нас заставляли стричь ногти, мы одинаково причесывались, одинаково грассировали в разговоре и одинаково танцевали. Таковы были «чижики», как называли правоведов в петербургском обществе за наши форменные мундиры желто-зеленого колера. Отсюда, кстати, и произошла дурацкая песенка, в которой указан наш адрес:

Чижик-пыжик, где ты был? На Фонтанке водку пил. Выпил рюмку, выпил две — Зашумело в голове… Это про нас! Ибо среди будущих стражей народной нравственности издавна было развито потаенное пьянство и самые отвратительные пороки, известные с библейских времен Содома и Гоморры. Ваш покорный слуга тоже не миновал греха винопития, в чем и сознаюсь с глубоким раскаянием. Не было бы несправедливо сейчас, на склоне лет, швырять камни в огород, вскормивший мою юность. Доныне остаюсь благодарен Училищу Правоведения, развившему мой разум до понимания даже юридической казуистики, необходимой в сложнейших вопросах жизни — кто прав, а кто виноват? Профессура была у нас лучшая в столице, экзамены мы сдавали сразу на четырех-пяти языках.

Потом, когда мы подросли, наши головы основательно загрузили науками специальными, как-то: финансоведение, история религии, философия права, судебная медицина и прочее. Нам читали всякие «права» — церковное, римское, гражданское, торговое, международное, государственное, тарифно-таможенное, морское и полицейское. Когда же мы вступили в пору цветущей юности, нас возили в анатомический театр с его тошнотворной изнанкой жизни. Желающие могли дежурить в полицейских участках, чтобы выезжать на места преступлений. Профессура не скрывала от нас, что «преступность — это нормальная реакция нормальных людей на ненормальные условия жизни». Мы часто посещали судебные процессы, на которых разбирались громкие дела, связанные с убийствами, подлогами, растлением малолетних. Иногда мы работали в архивах кассационного департамента Сената или в министерстве юстиции, где нам «давали для ознакомления запутанные дела, которые со времен Екатерины Великой никому не удалось разрешить. Помнится „дело о волчьих хвостах, оказавшихся собачьими“, мы потешались над „делом о неуместном употреблении латинских цитат при объявлении смертного приговора“. Но однажды мне попалось в руки „дело о желудочно-половых космополитах в Тамбовской губернии“. Что это такое — не знал тогда, не знаю теперь и никогда не узнаю…

У меня уже заметно пробились усы, а бедный папа по-прежнему угощал меня сушеной малиной.

— Малина полезна во всех случаях, — говорил он, правильный человек, правильные истины. — Особенно во время простуды.

— Да, папа, спасибо тебе, — отвечал я.

Признаюсь, я рано почувствовал, что сел не в свои сани, а одна случайная фраза, вычитанная у Лютера, довершила все остальное: «Чему учат в высших школах, — писал Лютер, — как не тому, чтобы все были дубинами и олухами?»

Будущее юриста меня никак не радовало, даже отпугивало, а жизнь — сама жизнь! — уже приманивала к себе ароматами духов, шелестом женских юбок и гамом вечерних ресторанов.

Я и сам не заметил, как превратился в мрачного юношу, мучимого ранними страстями. Понимая, что ни Апухтиным, ни Чайковским не стану, я не прельщался и адвокатской практикой, столь модной в ту пору, ибо пафос речей адвокатов зависел от ценности гонорара, который они получали от «обиженного».

Но при этом, во многом сомневаясь, я продолжал хорошо учиться, за что и приобрел «стипендию принца Ольденбургского».

— С такими успехами, — радовался отец, — ты можешь рассчитывать на завидное положение в министерстве юстиции.

— Да, папа, — соглашался я, не соглашаясь с ним…

С 1896 года для правоведов было введено обучение боксу, который преподавал француз Лустелло, имевший в Париже звание чемпиона. От занятий боксом меня отвлекло вмешательство театра. Меня уже тогда занимало перевоплощение человека на сцене: посредством грима и живости физиономии я умел изменять свой облик, и однажды на любительском спектакле, в присутствии корифеев русской сцены, даже заслужил похвалу Марьи Гавриловны Савиной… Любительское актерство пригодилось!

В аудиториях «Правоведения» разыгрывались настоящие драмы судебных заседаний — с преступниками, прокурорами, лжесвидетелями, роли которых импровизировали мы сами, будущие юристы. Иногда требовалось немало сноровки и хитрости, чтобы выпутаться из придуманных тут же — по ходу процесса — сложных юридических ситуаций. Я любил брать на себя роль подсудимого, скоро обретя славу ловкого и закоренелого «преступника», которому не требуется даже услуг «адвоката».

Так проходило мое время, а вечерами, прильнув к окну, я с нескромной завистью наблюдал, как за Фонтанкою, в зелени Летнего сада, разгораются цветные фонарики, под сводами «раковин» играют румынские оркестры, фланируют почтенные жуиры и кавалергарды, под купами старинных дерев живописно группируются легкомысленные дамы света и полусвета…

Что я знаю об этой жизни? И что эта жизнь знает обо мне, маленьком и некрасивом юнце с острым неприятным профилем молодого и замкнутого в самом себе Бонапарта?

В один из дней меня вызвал инспектор Училища, генерал Василий Васильевич Ольдерогге, и представил мальчика:

— Это Александр, сын Петра Карагеоргиевича, проживающего в Женеве на положении изгнанника. По просьбе претендента на сербский престол он будет учиться у нас. Проследите за ним как старший товарищ. Сирота без матери будет рад, если вы, знающий его родной язык, поможете ему в учебе…

Сколько лет прошло с того дня! Зимою мы выбегали на лед Фонтанки и лепили снежки, весною я гулял с Александром по островам русской столицы, угощая его мороженым и квасом, и, конечно, не мог же я знать, что он, тихий и послушный ребенок, станет королем Югославии, а потом рухнет на улицах Марселя под пулями хорватского бандита. Но теперь-то я понимаю, что этот мальчик, поедающий мороженое, купленное на мои жалкие деньжата, наверняка расстрелял бы меня в Салониках, попадись тогда я в его королевские руки…

В эти годы — на переломе веков — русские журналисты вполне серьезно, без тени улыбки на лицах, писали, что дуалистическая Австро-Венгрия — это двуединая монархия, которая с одной стороны омывается чистыми водами Адриатического моря, а с другой стороны она усиленно загрязняется старым императором Францем Иосифом. Если тогда о Турции дипломаты говорили как о «больном человеке Европы», то габсбургская империя в их беседах подразумевалась не иначе как «давно съеденная червями». Так было. Многое тогда было…

\* \* \*

Неожиданно вспомнилось. В доме своих дальних сородичей я однажды повстречал знаменитого юриста Владимира Даниловича Спасовича, когда-то профессора уголовного права, учебник которого был запрещен цензурою. Старик был известным теоретиком научной криминалистики, но удивлял современников разносторонностью своих познаний и много писал — о Гамлете, о дружбе Шиллера и Гёте, Пушкина и Мицкевича, о байронизме Лермонтова. Теперь он рассказывал о своем путешествии по Далмации, Боснии и Герцеговине — и столь же ярко, как писал Пьер Лоти о странах Востока. Внимая ему, я тогда уже уразумел, что на Балканах издревле затаился какой-то неведомый и волшебный мир, едва схожий с тем миром, о котором пелось в «лазарицах» матери.

Сейчас мне трудно воскресить подлинные слова Спасовича, и, чтобы оживить свою память, я нарочно перелистал III и IV тома собраний его сочинений, где он описывает свои впечатления, ставшие моими… Так уж получилось, что из гостей мы вышли на улицу вместе, помню, сыпал нудный осенний дождик. Спасович любезно предложил отвезти меня до дому в своей коляске. Прощаясь, он дружелюбно предупредил меня:

— Мой юный правовед, еще в мундире «чижика» вы обязаны заранее предрешить благородство юридической стези, избранной вами. Как бы вы ни изучили законы, вы всегда останетесь для народа в роли сатрапа и палача, если не станете руководствоваться правилами священного гуманизма.

Я честно признал, что освоение законов империи давно не тешит моего сердца, напротив, я все более отвращаюсь от юридической службы, с ужасом думая о своем будущем:

— Я очень хочу жить в будущем, но еще не знаю — как жить, что делать, куда идти, где поворачивать… Я читал ваши речи в судах и, простите, не вижу пользы от них, когда вы добела отмывали заведомо черное, достойное сурового наказания.

Вряд ли слова мои были приятны старому адвокату.

— С такими настроениями, — ответил Спасович, — вам, милейший, лучше оставить правоведение. Кто-то один из нас глупее — или вы, вступающий в жизнь, или я, покидающий ее юдоль. Если вам не нравится ваш путь, так пытайтесь проторить новый, а я с высот горних посмотрю, что из вас получится…

Я не хотел обидеть старика, но, кажется, обидел. А его рассказы о южных славянах глубоко запали мне в душу, и я уже видел себя на Балканах… Кем? Просто русским другом, а иной роли для себя я не мог придумать.

4. В пещерах жизни

В моем сознании, еще довольно шатком, афоризм Лютера стал перекликаться с известным заветом критика Писарева, который я твердо вызубрил наизусть: «Кто дорожит жизнью мысли, тот знает очень хорошо, что настоящее образование есть только самообразование и что оно начинается только с той минуты, когда человек, распростившись со всеми школами, делается полным хозяином своего времени и своих занятий».

Я заметно охладел к занятиям в Училище, загружая свою голову неустанным чтением книг по разным вопросам — от зоологии беспозвоночных до выводов Канта и Гегеля. Повзрослев, я начал испытывать молодое горячее нетерпение: «Как? Прожито почти двадцать лет, и за это время я не только ничего не создал полезного, но даже ничего не разрушил вредного…»

А что я мог разрушить? Только самого себя.

Перейдя в высший класс Училища, я обрел право носить шпагу, при мундире я надевал парадную треуголку.

Но, выходя в свет, сначала угодил в потемки…

Давно все растеряно! Я лишился в жизни четырех библиотек и собрал под старость пятую, я не раз мог сломать себе шею, но каким-то чудом уцелела у меня вот эта карточка:

ЖОЗЕФ ИППОЛИТОВИЧ ПАШУ

ЗАХОДИТЕ, ВСЕХ ПРОШУ!

Загородный, 26. Тел.: 2496

Только виноградные вина!

Мне даже самому интересно теперь писать об этом.

А все началось с венка — для покойника…

\* \* \*

XIX век заканчивался. Эйфелева башня в Париже уже была признана высочайшим сооружением мира, на улицах столиц появился бензиновый угар первых автомобилей, в квартирах зазвенели телефоны, публика спешила по вечерам смотреть «фильму», наконец, в домах возникло и паровое отопление…

Так что прогресс человечества не топтался на месте!

Россия энергично сближалась с Францией, она расходилась с Англией и побаивалась союза Германии с Австрией, но почему-то совсем не пугалась Японии; Нансен блуждал тогда в полярных просторах; в Афинах возродились забытые Олимпийские игры, граф Цеппелин создавал дирижабли, в Гааге открылась международная конференция о всеобщем разоружении, после чего все страны начали усиленно вооружаться… Германский император Вильгельм II даже не скрывал своего боевого азарта:

— Этот фокус в Гааге придумала Россия, но пусть в Петербурге не думают, что я покидаю в море свои пушки, лучшие в мире, и пусть русские торчат в Маньчжурии, а в Европе они всегда получат от меня коленом под зад…

Я вспоминаю. Однажды из газет правоведы известились о кончине престарелого актера С., одинокого человека, угасшего в номерах Пале-Рояля, давнем притоне художественной богемы столицы. Мы собрали деньги на венок артисту, мне выпал жребий отнести его на Пушкинскую улицу. Был, помнится, очень жаркий день, все плавилось в зное булыжных мостовых. Венок (кстати, громадный) оказался старым, пока я тащил его на себе от Фонтанки, он осыпался так, что по его шелухе можно было проследить весь мой путь от «Правоведения» до Пале-Рояля.

Я долго мыкался среди номеров, где по коридорам слонялись непризнанные гении и спившиеся трагики, просто неудачники и писательская мелюзга, не способная отличить гранок от верстки. Наконец франтоватая ведьма, украшенная под глазом дивным перламутровым синяком, с сатанинским хохотом указала мне нужную дверь. Кажется, я попал — куда надо! На убогой койке лежал покойник в рваных носках, лицо его было закрыто платком, по которому ползали черные отвратные мухи.

В этом же номере сидел за столом непомерно толстый человечище, остриженный «под новобранца», и что-то писал. Вкратце я изложил этому чудовищу, что мы, будущие правоведы великой и многострадальной России, высоко чтящие бескорыстное служение святому искусству, приносим праху усопшего скромный дар наших искренних чувств… Толстяк заплакал. Я никогда еще не видел столько бурных слез, — они обильным потоком заливали его рыхлое, разбухшее и болезненное лицо.

— Ах, как это благородно! — сказал он, обнимая меня.

После чего вернулся к столу и невозмутимо продолжил письмо. С улицы доносилось громыханье телег, матерная брань гужбанов-извозчиков, а венок так оттянул мне руки, что я был бы очень рад поскорей от него избавиться.

— А куда мне его возложить? — спросил я.

— Вали на дохлятину, — сказал толстяк, сморкаясь…

С некоторым благоговением я возложил венок на мертвеца и даже постоял над бездыханным трупом, имея выражение неподдельной горести на лице. Кажется, я еще сказал при этом:

— Какая утрата для нашего искусства… правда?

Толстяк согласился, что утрата для России ужасная.

— Садись, чижик. Выпьем рюмку, выпьем две…

Он вложил письмо в конверт, поверху коего уверенной рукой начертал без запинки адрес; краем глаза я прочитал:

Ищите в Саперном переулке дом, где продаются булки, квартира сороковая, для мадам Е. Б. Роковая. Обратный адрес: Пале-Рояль, Ничего от прошлого не жаль.

Назвавшись Михаилом Валентиновичем Щеляковым, толстяк большим, как лопата, языком увлажнил почтовую рамку.

— Беда со мною, — сказал он вдруг. — Я ее, стерву, обожаю до безумия, а она свою любовь раздаривает другим.

— Так бросьте ее, неверную! — посоветовал я.

Щеляков щедро разлил вино по стаканам.

— Я тебе не о жене — о литературе. Это женщину можно бросить и найти другую. А литературу разве бросишь?

— Так вы… писатель? — восхитился я.

— Грешен, — скромно ответил Щеляков [1] .

При этом он смотрел мимо меня. Я оглянулся. Покойник уже сидел на постели, просунувшись головой в мой венок, словно олимпиец, увенчанный лаврами. Он обложил нас «сволочами».

— Без меня пьете? — И сам двинулся к столу, развеваясь траурной лентой, на которой сусальным золотом было начертано:

НЕТ, ТЫ НЕ УМЕР — ТЫ

ВСЕГДА ЖИВЕШЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ

Даже не вчитавшись в надпись, он зашвырнул венок в угол. Я понял, что попал не в тот номер и накрыл венком не артиста, а кого-то другого. Впрочем, это уже безразлично. Воскресший, опохмелив себя шампанским, снова опочил сном праведника.

— А кто это такой? — спросил я писателя.

— Капиталист… типичный кровосос — издатель!

Я с недоверием глянул на рваные носки «капиталиста», из которых торчали грязные, заскорузлые пальцы голодранца.

— Дыркам не верь! — пояснил Щеляков. — На этом мерзавце начет в миллион рублей. Если он столько задолжал, так подумай — сколько же людей он ограбил! И скольких разорил. Плюй на него, плюй. Перед нами издатель газеты «Эхо сезона» [2] .

Оплевав пьяного с ног до головы, мы (тоже не очень трезвые) выкатились из Пале-Рояля на улицу. Щеляков поцеловал меня.

— Отчего ты ведешь себя не так, как все нормальные люди? (Я не понял его.) Ведь естественно, что при виде встающего покойника надо бы тебе бежать без оглядки… Прости, я ведь наблюдал за тобой: ты даже не удивился! Мало того, ты еще и чокнулся с этой падалью… Неужели не испугался?

— Не знаю, — ответил я.

— Тогда пошли ко мне. Манечка будет бить нас чем попало, но ты не обращай внимания: она очень хороший человек, сам увидишь… редкая, замечательная женщина!

Мы пришли. Щеляков сказал через дверь:

— Манюня, это я, твой Миша. И не один… с другом!

Дверь на мгновение открылась. Чья-то могучая рука, сграбастав писателя за воротник, втянула его в квартиру с такой быстротой, с какой жалкую лягушку всасывает в трубу мощного насоса. Я услышал какой-то непонятный шум, будто из одного ведра перелили жидкость в другое ведро. Затем двери распахнулись, и по лестнице, теряя котелок и тросточку, скатился необъятный бегемот-Щеляков. Внизу я помог ему подняться. Он пошарил у себя в карманах и вручил мне ту самую карточку, которая уцелела в завалах моего архива.

— Только виноградные вина! — провозгласил он. — Зато у Пашу мы встретим самое благородное общество Петербурга…

Через двери пробился визгливый голос:

— И больше не ходить. Шляются тут… всякие!

— Ничего, — говорил Щеляков. — Манечка золотой человек. Но мы пришли слишком рано. Выпьем и придем чуть попозже…

\* \* \*

В прошлом артист-неудачник, Михаил Валентинович порвал со сценой, чтобы стать неудачником в литературе. Но это не уменьшило его природного оптимизма и любви ко всему смешному. До сих пор жалею, что у меня пропала книга Щелякова о жизни домашних животных, собак и кошек, с его дарственной надписью:

Дай Бог, чтоб жизнь твоя шла просто. Чтоб деток было бы штук до ста. Полста — твоих, полста — жены… Мы для труда все рождены! Сейчас никто не читает Щелякова, а — жаль. Нет, пожалуй, забавнее книги, чем его «Поцелуй с точки зрения физиологии, гигиены, истории народов и философии». Щеляков сделал очень мало: ему всегда мешали любовь к раблезианским радостям жизни и страстная погоня за смешными случаями, которые он даже коллекционировал в своей уникальной картотеке. Михаил Валентинович был человек образованный, выпуклый и оригинальный, но обжора и сластена, которого позже сразил миокардит, вызванный приступом хохота. Я потому задержался здесь на Щелякове, ибо именно он, ныне прочно забытый писатель, заронил во мне первое зерно настроений, которые позже определили мое будущее.

А теперь спустимся в винный погребок на Загородном проспекте. Как сейчас вижу плотную фигуру караима Жозефа Пашу, выдававшего себя за француза, который давно плюнул на свой политехнический диплом, сделавшись хозяином подвала, пропитанного запахами вина и подгорелых пончиков. Здесь, в отдельном кабинете винницы, образовалось нечто вроде подпольной секты оптимистов-неудачников, взявших себе за правило по-масонски поддерживать друг друга в неурядицах жизни…

Боже, кого я там только не повидал! Князь А. Д. Голицын, известный винодел России, вина которого получали Гран-при на конкурсах в Париже, присылал в дар Пашу бочонки с вином лучшего крымского урожая, и тогда за общим столом можно было видеть почтенного сенатора и мелкотравчатого, забитого нуждою чиновника, репортера и артиста — всех объединяла бочка с вином и полное забвение житейских неприятностей. В подземной пещере на Загородном скрывался от надзора властей клуб «пашутистов», в который я был принят по рекомендации Щелякова.

Пашу приветствовал меня словами:

— Коль попали вы к Пашу, выпить сразу же прошу…

Я отстегнул от пояса шпагу и снял треуголку. Подле меня сидел герольдмейстер Е. Е. Рейтерн, племянник поэта В. А. Жуковского по его жене. Одинокий, неустроенный холостяк, он всю душу и все жалованье сенатора вкладывал в собрание графики и гравюр, которые потом и завещал Русскому музею. Оглядев мой «чижиковый» мундир, он сказал:

— Юрист, конечно, должен быть образован. Но в каждой области знаний всегда остается лишь дилетантом. А вас, юноша, разве не тревожит вопрос судейской морали?

При этом он без запинки процитировал мне из Байрона:

Юрист всегда в грязи — того не скроем, Как нравственности жалкий трубочист, Покрыт он сажи толстым слоем: Сменив белье, не станет чист… Среди «пашутистов» не было принято поминать правительство. Едва услышав это слово, Пашу стучал кулаком по стойке:

— Не выражаться! Правительство — слово нецензурное, критике недоступно, как доступно, например, варьете с раздеванием Бланш-Гандон или полицейский участок с «дантистами», где человеку бесплатно удаляют все лишние зубы…

Именно здесь, в подвале Пашу, я стал набираться впечатлений, каких мне так недоставало в «Правоведении». Русское общество занимали тогда два насущных вопроса: созыв первой Гаагской конференции о мире и телеграмма писателя Гиляровского из Белграда, в которой он обличал террор Обреновичей. Справа от меня сидел композитор В. И. Вердеревский, автор салонных романсов, а подле него карикатурист Э. Я. Пуарэ, более известный своим псевдонимом «Карандаш». По мнению композитора, всеобщее разоружение способно вызвать конфликты:

— Скажи дикарю, чтобы он оставил свою дубину. Дикарь оставит ее, но потом заберется в густой лес, где его никто не видит, и там — назло тебе — вырежет дубину еще потолще.

Пуарэ подмигнул актеру Люсьену Гитри:

— Русским можно ехидничать, у них нет Рейна, за которым лежит вооруженная до зубов Германия, а до Волги никакой кайзер не доберется…

Много говорили о Гиляровском: сам того не ведая, он превысил скромные права журналиста и, по сути дела, произвел против династии Обреновичей крупную политическую диверсию:

— При этом сделал для Сербии великое дело! Но сделал как писатель, а не как опытный пинкертон…

Стараясь не касаться правительства, «пашутисты» яростно обличали двор и окружение царя. Нигде я не слышал такой откровенности, как у Пашу! Открыто рассказывали, что столичный градоначальник генерал Клейгельс украл с Невы речной трамвай, обнаруженный позже на озере в его же имении; Победоносцев никогда сам взяток не берет, зато их берет его молоденькая жена.

К полуночи «пашутисты» раздвигали стулья, скидывали сюртуки и фраки, готовясь к ритуальному танцу перед закрытием заведения, и Вердеревский сиплым голосом запевал:

Если жены наши злятся. Где же нам от них спасаться? У Пашу, у Пашу — Заходите к нам, прошу. Рейтерн, опутанный долгами, вопрошал друзей:

Где средь шумных разговоров Я забыл о кредиторах? У Пашу, у Пашу — Всех друзей к нему прошу. Щеляков плясал на толстых ногах, импровизируя:

Где с утра и до закрытья На целкач могу кутить я? У Пашу, у Пашу — Убедиться в том прошу…

Теперь-то я понимаю, что в пору тогдашнего «безвременья» пещера «пашутистов» на Загородном была необходимой отдушиной, где образованный человек мог выговориться, не боясь сказать правду. А сколько было тогда подобных «пещер»! Еще император Николай I выразился, что в России царит полная свобода, ибо каждый россиянин может думать что хочет, лишь бы он не болтал своим языком. Русские люди всегда мыслили чересчур крамольно, но у каждого из них была своя «пещера», где он не боялся распахнуть душу… Не помню, как я добрался до дому, в дымину пьяный.

\* \* \*

Спасибо родителям: от матери я воспринял слишком пылкую кровь, наследовав от отца расчетливый разум и умение верно оценивать обстановку («Долготерпение — русская добродетель», — часто слышал я от него). В результате мой характер образовывался из сплава двух нетерпимых крайностей, отчего я привык обдумывать поступки холодно, зато действовал горячо и порывисто. Можно сказать, что, взяв от родителей самое существенное, я не был похож на них, — уже тогда, вступая в полосу зрелости, я становился самим собой…

Совсем неожиданно мне пришлось драться на дуэли. Случилось это из-за ерунды. Однажды в дортуаре Училища я заметил сокурсников, которые что-то горячо обсуждали шепотом, а в их руках шелестели бумажные ассигнации. Я сказал им:

— Уж не собираете ли денег на новый венок?

Эстляндский барон Аккурти повернулся ко мне.

— Ты появился как раз кстати! — обрадовался он. — Входи в нашу общую долю. Надеюсь, у тебя еще нет содержанки?

— Оплачивать таковую у меня нет и денег.

— Вот и хорошо. Нас, малоимущих, только четверо, а нам не хватает пятого, чтобы собрать для первого аванса. Мы решили сообща платить за одну красотку с удобной квартирой, а навещать ее станем все пятеро строго по расписанию.

— Неужели любовь в складчину? — возмутился я.

— А почему бы и нет? Если в складчину выпивают, так почему бы не иметь в складчину и женщину? Это дешевле и удобнее.

Я врезал Аккурти пощечину, после чего выпалил ему в лицо те стихи Байрона о нравственности юристов, которые запомнил со слов сенатора Рейтерна. Вскоре состоялась дуэль — на шпагах. Противник удачным выпадом распорол мне рукав мундира, слегка повредив мышцы, что вынудило меня три дня побыть дома — подле отца… Чем больше я взрослел, тем холоднее становились мои с ним отношения. Головою я понимал, что он человек далеко не глупый и вполне добропорядочный. Но сердцем не мог принять его чересчур правильных сентенций. Мы стали далеки.

Единственное, что еще связывало нас, так это смутная память о матери, пропавшей где-то в круговерти Европы, словно никогда и не было подле нас этой красивой женщины, которая когда-то стояла на балконе, держа меня на своих руках, а под нами, ощетинясь штыками, шли, шли и шли…

Они идут и сейчас! Я слышу их железную поступь.

Время неподвижно — это движемся мы, наивно думая, что летит время. Однако прав ли я в этом? Не сближаю ли библейский афоризм с казарменным острословием: «Солдат спит, а служба идет»? Календарь готов уронить последнюю страницу года, которая и опадет неслышно, как последний лист с усталого дерева.

Где лучше всего спрятать отживший лист? Оставьте его в лесу, и там его никто никогда не найдет…

5. Не надо стреляться

Не могу забыть, что однажды в Новой Деревне ко мне пристала цыганка с младенцем на руках и, отказавшись от гонорара, столь существенного для ее профессии, наворожила мне:

— Будешь часто болеть, но проживешь долго. Будешь иметь много заслуг, но спасибо тебе никто не скажет. А умрешь одинокий, зато в конце жизни найдешь свое счастье…

Эти слова почему-то преследовали меня всю жизнь, и теперь остается лишь ожидать в старости счастья.

Под влиянием афоризма Писарева я обрел почти мученическую усидчивость в самообразовании и смею думать, что к началу XX столетия вступал я в него уже вполне здравым, хорошо начитанным человеком. По мере того как близился срок выпуска, правоведы, мои однокашники, становились все откровеннее в своих притязаниях на будущее: при 12-балльной системе экзаменов получение чина зависело от набранных баллов; все чаще слышалась в дортуарах банальная песня:

Мы адвокаты — нам куш подай, и вот тогда ты речам внимай. Давай нам дело — чернее тьмы, и станет бело — клянемся мы!

Осуждая других, буду судить и себя. Если Россия моего времени и была вулканом, то я, конечно, как и мои современники, невольно отравлялся его ядовитыми газами. Правда, я старался не дышать полной грудью, но уже тогда осознал, что карьера законника не по мне. Но я презирал и бунтующий нигилизм, которым так гордилась тогдашняя молодежь, вместе с дурным отвергавшая и все доброе в русской жизни, и для нигилизма я нашел иное слово — нигилятина…

Перед Щеляковым я однажды честно сознался:

— Не знаю чего хочу, но я очень хочу.

— Только не иди в актеры, — предупредил он меня. — На сцене, как и на эшафоте, много людей потеряло головы.

— А если — в литературу?

— Посмотри на меня: где ты видишь мою голову?..

В ту пору меня очень привлекали сады с гуляньями и кафешантаны столицы — «Фоли-Бержер», «Шато-де-Флёр», «Монплезир», «Орфеум». Я любил толпу и любил сливаться с нею. Мне нравилась эстрада, ужимки площадных клоунов, виртуозность иллюзионистов. Помню, как знаменитая Франкарио изображала сцену купания. Прохожий оборванец воровал ее одежду, брошенную на сценическом берегу, оставив женщине только шляпу. Но из этой шляпы Франкарио извлекала чулки и туфли, нижнее белье и платье, наконец, в ее руке раскрывался зонтик — и она исчезала за кулисами, полностью одетая. В этом фокусе меня потрясла не вульгарность женщины, а технические возможности ее шляпы.

Наверное, по этой причине меня стал привлекать уголовный мир с его профессиональными навыками. Мне как правоведу был открыт доступ в «Музей сыскной полиции», где я — с помощью одного взломщика — осваивал приемы вскрытия секретных замков. Когда однажды я открыл сейф с помощью обычной сапожной дратвы, мой наставник приподнял над головой котелок:

— Довольно, мсье! Если ваши успехи будут таковы и далее, боюсь, это увлечет вас в сторону от законности…

Общение с преступниками высокого класса и мастерами уголовной полиции сделало меня очень внимательным; в любой уличной давке я стал угадывать, у кого тут пальцы смазаны канифолью для изъятия кошельков из карманов; у меня развилась отличная память на лица людей, встреченных в толпе хотя бы однажды. Боясь огорчать отца, я не хотел порывать с «Правоведением», но все же испробовал себя в литературе. Часто дежуря в полицейских участках, бывая в тюрьмах и на допросах, я стал пописывать в бульварных газетенках скромные заметки о преступности. Но приобрел славу лишь «бутербродного» репортера, как называли всю газетную шушеру, ибо в редакции за мою информацию расплачивались рюмкою водки и бутербродом с колбасой. Когда недавно я рассказал об этом нашему артисту В. Р. Гардину, он долго смеялся, а потом сказал, что стопка водки с бутербродом — это еще замечательный гонорар.

— А вот я в свой первый театральный сезон в Риге (я, бывший офицер!) получал за каждый спектакль пирожок с рисом.

— Наверное, в рисе было и мясо?

— Ни мясинки! И продать нечего. Один револьвер в кармане, а его не продашь: иначе из чего бы застрелиться?..

Время было нехорошее. Люди как-то разучились ценить свою жизнь, а статистика самоубийств в России постоянно повышалась. Стрелялись из-за двойки по латыни безусые гимназисты, томные дамы умирали от порции аптечного хлоралла, а горничные сводили счеты с жизнью посредством фосфорных спичек.

Отец, кажется, уже заметил, что со мною происходит что-то неладное: он умолял меня сдать экзамены последнего курса. Мне совсем не хотелось оставаться в мире юриспруденции, но я все же закончил Училище, получив на экзаменах средний балл, выходя в этот пагубный мир по Х классу Табели о рангах — в чине коллежского секретаря. Все мои сокурсники сразу нашли свое место в жизни, а я в это время потерял свое место…

Потеряв это место, я заодно уж потерял и голову!

\* \* \*

Правда, из разряда «бутербродных» журналистов я незаметно для себя переместился в категорию «кредитных»; для таких, как я, редакция открывала кредит в кабачках на Казанской улице или в Фонарном переулке, где я пил свое «кредитное» вино, а слепой тапер играл на рояле (наверное, тоже в кредит?). В этот период жизни я стал неумеренно много выпивать, сознавая свою неустроенность и свое непонимание жизни…

Около 1901 года заболел дифтеритом в Пажеском корпусе Георгий Карагеоргиевич, старший брат будущего короля, и Петербург навестил их отец, с которым я тогда же и познакомился в доме № 6 по Адмиралтейской набережной, где он остановился на квартире своего брата — Арсения Карагеоргиевича, полковника русской службы. В этом же доме проживал и знаменитый художник Константин Маковский, друживший с Карагеоргиевичами.

Петр Александрович (это его фотографию показывала мне мама!) выглядел усталым и бедным человеком, огорченным житейскими невзгодами и недавней смертью жены. Он в совершенстве владел русским языком. Держался крайне скромно, но я-то знал, что скромность не есть личное достоинство — это национальная черта всех сербов, уважающих себя. Претендент на престол в Белграде, Петр Карагеоргиевич душевно благодарил меня за мое внимание к его младшему сыну — Александру.

По газетам я знал, что Петр уже пытался добыть престол, возглавив народное восстание в Боснии, но инсургенты потерпели тогда поражение; в войне 1877–1878 гг. Петр сражался с турками в рядах неукротимых черногорцев. Мне было интересно слышать, за что им получен французский орден Почетного Легиона.

— Я окончил Сен-Сирскую академию и, будучи офицером, сражался за Францию при Седане; раненный в битве, я сумел переплыть реку и тем спасся от германского плена… Сейчас я лишь частное лицо, — уныло признался Петр, — но в Сербии неспокойно, народ не выносит Обреновичей, многое может перемениться!

Именно в этом доме на Неве я встретил женщину ослепительной красоты, которую запечатлел на своем портрете Константин Маковский; маэстро окружил свою бесподобную натуру старинной бронзой, эффектно бросил на колени красавицы шкуру леопарда.

Для женщин ее круга эмансипация, о которой так рьяно хлопотали курсистки-бестужевки, казалась уже лишней — она была уже достаточно эмансипированной, как и все дамы высшего света столицы, но свою женскую свободу видела лишь в полном раскрепощении нравов — и не этим ли привлекла меня, глупого юнца?..

Эта женщина была замужем и намного старше меня.

В новое для меня время я вступил стоящим на коленях.

Перед высшим существом на земле — перед женщиной!

Впрочем, я не хочу называть ее имени, запятнанного пороками и явным предательством [3] . Я тогда не знал, что она была любовницей министра юстиции Муравьева, а недавно делала аборт после связи с Иренеем, викарием Киевским. Опытной светской львице, наверное, нравилось то привлекать меня к себе, то повергать в бездну отчаяния наружной холодностью.

Удивляюсь, как быстро была парализована моя юношеская воля, а все планы жизни разрушились этой блудницей.

Наконец настал день окончательного решения.

— Надо стреляться! — убежденно сказал я себе.

Помню, что действовал почти механически, как следует проверив работу револьвера. Потом присел к столу, сочиняя нечто вроде послания: «Вы, живущие после меня, должны быть счастливее нас, а я покидаю этот мир, не желая винить никого, ибо обстоятельства намного сильнее меня…» Как я был наивен!

Но все готово. Можно стреляться.

— А теперь встань! — услышал я голос отца.

Он неслышно появился на пороге моей комнаты, привычным жестом протирая стекла пенсне замшевым платком.

— Прочти, что ты там напортачил, — велел отец.

Я молчал. Папа подошел ко мне. Прочел сам.

— Пшют гороховый! — заявил он мне. — Я всю жизнь тянусь в нитку, чтобы сделать из тебя полезного для России человека… Подумал ли ты обо мне? Вспомнил ли ты о матери?

— У меня нет матери, — отвечал я, подавленный.

— Как у тебя поворачивается язык? — вдруг закричал отец. — Я давно наблюдаю за тобой, и ты давно мне противен и гадок. Встань прямо. Не смей отворачивать свою похабную морду…

При этом он хлестал меня по щекам. И это было так ужасно, так нестерпимо позорно, а голова так жалко моталась из стороны в сторону, что я не выдержал — заплакал:

— Прости, папа. Но я очень несчастен.

— Я… тоже, — ответил отец. — Я тоже глубоко несчастен. Потому что продолжаю любить твою мать, которая — я верю — еще вернется к нам, и я все прощу ей… все, все, все!

Мне вдруг стало безумно жаль его. Ведь он совсем одинок. И когда мама покинула нас, он продолжал любить, и это открытие ошеломило меня. Перед его трагедией жизни моя страсть показалась мне жалкой и мелочной…

Отец вдруг спросил:

— Что ты ценишь из житейских заповедей?

— Только одну: «Если все, то не я!»

— Так и следуй этой заповеди, а больше не дури…

Я всю ночь размышлял: где мне быть?..

Как раз умерла британская королева Виктория, опозоренная поражениями английской армии, которую избивали в Южной Африке буры. Пожалуй, на стороне буров были тогда все — не только народы, но все правительства, а в России даже дворники, подметая панели, во все горло распевали:

Трансвааль, Трансвааль, страна моя, Ты вся горишь в огне… Я оказался в Одессе, где собирались добровольцы, едущие на край света, дабы на стороне буров сражаться с английскими колонизаторами. Я не был одинок в своем стремлении: среди добровольцев встречались студенты и крестьяне, интеллигенты и просто разочарованные люди, искавшие благородной смерти в бою, немало было и врачей Общества Красного Креста. Нет смысла излагать дальний путь, скажу, что только в порту Джибути я впервые увидел африканцев; пароход «Наталь» доставил нас в гавань Делагоа-Бей, откуда мы поездом въехали в страну буров.

Я всегда был равнодушен к пейзажу, и, наверное, по этой причине природа Африки не произвела на меня сильного впечатления. Буры жили на хуторах-фермах, окруженных деревьями мимозы и стройными эвкалиптами. В каждом доме было обязательно пианино — для безграмотных женщин, на почетном месте лежала Библия — для полуграмотных мужчин. Интеллектом и культурой буры никогда не блистали, и лишь много позже я понял то, чего не мог понять раньше: буры такие же колонизаторы, как и англичане, но желавшие сохранить свое первенство в Африке, дабы и далее угнетать чернокожих.

При мне рабы-кафры заваривали кофе для господ фермеров и подавали трубки для буров, выслеживающих англичан в зарослях у железнодорожной насыпи. Все буры были прекрасные стрелки, я сам видел, как с расстояния в 600 метров один пожилой бур влепил пулю английскому офицеру точно между глаз. Прирожденные охотники на антилоп и жираф, буры и эту войну с колонизаторами, по-видимому, рассматривали как большую охоту на зверей, посмевших вторгнуться в их заповедный кораль. Городское же население Трансвааля состояло из подонков и аферистов, наехавших откуда угодно искать золото и алмазы, готовых сражаться сегодня за буров, а завтра за англичан, и потому отношение самих буров к русским добровольцам сначала было несколько настороженным. Надо было пожить с ними, попить с ними кофе и выкурить несметное количество табака, чтобы они стали тебе доверять. Теперь-то все знают, что англо-бурская война — результат давнего англо-германского соперничества из-за колонии в Африке, но тогда мне, как и большинству русских, казалось, что буры, воодушевленные любовью к самоизоляции, подобно черногорцам, сражаются только за свою свободу…

Немало запомнилось в этой войне, но я нарочно сокращаю свое описание, дабы не увлечься множеством любопытных деталей чужестранного быта. Выберу из копилки памяти главное. Я был ранен пулей в плечо, после чего валялся в госпитале Претории. Затем меня свалила жестокая малярия, приступы которой ощущаю и поныне. Наконец, однажды на поезд буров наскочил английский бронепоезд, я — с оружием в руках — попал в плен к англичанам. Сначала они никак не желали признавать во мне «нонкомбатанта», угрожая расстрелом на месте, а потом загнали меня за колючую проволоку своего концлагеря, где джентльмены морили голодом и жаждой тысячи женщин и детей буров. Русские люди уже достаточно изведали на своем историческом пути все виды тюрьмы и каторги, но до создания концлагерей они еще не додумались, а Гитлер только совершенствовал систему массового истребления людей, изобретенную англичанами.

Я вывез на родину из этой войны не только зверский аппетит и знакомство с малярией, но еще три весьма полезные вещи: умение маскироваться, пристрастие к защитному цвету — хаки и ловкость в стрельбе, ибо именно англо-бурская война вызвала во всем мире большой интерес к снайперскому искусству…

\* \* \*

В конаке Белграда все оставалось по-прежнему, и король-кретин обожал свою перезрелую Драгу, а в окружении его престола заглавная роль отводилась «напреднякам» — австрофилам.

В марте 1903 года на улицы сербской столицы вышли студенты и рабочие, демонстрируя под окнами конака:

— Долой деспотов… свободы! Живео Србия!

— Стреляйте в них, — требовали «напредняки».

Но солдаты гарнизона отказались выполнять приказ.

— Так вызовите жандармов, — повелел король.

— И пусть они перещелкают всех! — взывала Драга…

Жандармы убили восемь человек и десять тяжело ранили.

— Я хочу любить и быть любимым, — рассуждал король.

Вечером 28 мая в конаке должен был состояться «домашний» концерт. Драга обещала королю спеть веселую песенку.

Я появился в Белграде накануне этого концерта.

Как же это случилось? Да очень просто…

6. Хорошо быть сербом…

В моем поведении, как я понимаю сейчас, ничего странного не было, и вы, пожалуйста, не сочтите меня авантюристом. Дело даже не в сербской крови, доставшейся мне от матери. Слишком красноречиво высказывание поэта Байрона, павшего в борьбе за свободу греков: «Если у тебя нет возможности бороться за свободу у себя дома, так борись за свободу своего соседа». По-моему, лучше не скажешь…

После всего пережитого в Африке я проводил время в Петербурге, много читая и навещая своих «пашутистов». Однажды, после неприятного для меня разговора с отцом, я всю ночь не спал. И всю ночь скрипел расшатанный паркет под шагами неспавшего отца. Утром он вошел ко мне и деловито отсчитал для меня четыре сотенных «катеринки»:

— Обменяешь на франки в Париже! Проблудись, как паршивый кот, чтобы всякая блажь из головы вылетела. Делай что угодно, но ты обязан вернуться домой совсем другим человеком…

Заграничный паспорт до Парижа был легко раздобыт в канцелярии санкт-петербургского градоначальства; полиция подтвердила, что препятствий к моему отъезду не имеется: политически я был чист, аки голубь небесный. Я покинул столицу варшавским поездом, который когда-то увез в неизвестность и мою маму. Билет у меня был до Парижа, но, доехав до Варшавы, я пересел в венский экспресс. До сих пор не берусь четко объяснить, почему я так поступил, однако я сделал это в твердом убеждении, что поступаю правильно. И точно так же, как не прельщали меня соблазны Монмартра, так не манили меня и волшебные сказки Венского леса, мне был безразличен великолепный Пратер с его постоянным оживлением красивой, нарядной и привлекатальной публики…

Австро-Венгрия, по мнению газет, была давней тюрьмой славянских народов, и уже на венском вокзале «Вестбанхофф» я заметил, что немецкую речь заглушают голоса чехов, словаков, сербов, поляков, иллирийцев, русинов и украинцев, особенно галицийских. Мне, признаюсь, было отчасти даже забавно развернуть венскую «Русскую Правду», имевшую сногсшибательный подзаголовок: «Газета для русских мужиков». Возле меня на бульварной скамье расположилась семья беженцев из Белграда; суровый отец с двумя девочками, обутыми в нищенские «опанки», сказал, что у него был и сынок — студент-технолог.

— Но его в Белграде напредняки ухапшили. Ныне там, — добавил он, — пришло ванредно станьо…

Я кивнул сербу: ухапшись — это значит арестовать, а ванредно станьо — это осадное положение. Слова беженца из Сербии запали мне в душу жестоким укором:

— Почему не жить нам спокойно? Все это проклятые Обреновичи… неужели мать-Россия за нас, сербов, не вступится? Пусть он сгорит, этот проклятущий конак с королями вместе!

Он дал мне газету, просил читать имена арестованных радикалов и социалистов — что там с его сыном, жив ли? Но в длинном списке, среди множества узников башни Нейбоша, мне вдруг встретилось имя… матери.

Я, наверное, изменился в лице.

— Что стало, друже? — спросил серб.

Оставив ему газету, я поспешил обратно на вокзал в кассу и протянул деньги. «Куда же ехать дальше?»

— Билет до… Землина, — сказал я кассиру.

Землин — пограничный город Австрии, с его речных пристаней уже хорошо видны улицы Белграда и даже тюрьма Нейбоша.

— Вы серб? — спросил кассир, наверняка посаженный в эту будку, чтобы докладывать полиции о всех подозрительных.

— Да! — отвечал я с нарочитой гордостью.

На что я тогда рассчитывал — сам не знаю. Тем более что в своей соседке по купе, развязной и говорливой мадьярке, я без особого труда распознал служащую венской полиции. Она и сопроводила меня до Землина, игривою болтовней отвлекая от тяжких дум о матери, ждущей расправы в башне Нейбоша.

Итак, я появился в Белграде накануне концерта …

\* \* \*

Когда колесный пароходик Австро-Дунайской речной компании переплыл из Землина в Белград, на причале, совершенно пустынном, стоял лишь одинокий жандарм, встречая прибывших в королевство. Я предъявил паспорт, жандарм не вернул мне его:

— В день отъезда получите в русском посольстве…

Вечерело. Над Дунаем и Савой клубились тучи, в отдалении громыхнул гром, прошумели прибрежные ветлы и тополя. Жандарм свистком подозвал пролетку, я сел в нее и поехал по незнакомым улицам. Белград с его лачугами и грязью, с лужами и поросятами в лужах напомнил мне захудалую русскую провинцию.

Извозчик остановился возле «Хотел Кичево», где на первом этаже размещался дешевый ресторанчик, над ним располагались комнаты для приезжих. Начался дождь, и я был рад крыше над головой. Лакей проводил меня в комнату. Водопровода не было, а будка уборной находилась во дворе. Все выглядело убого и жалко. Но одно лишь сознание того, что я нахожусь близ матери, заточенной неподалеку от меня, взвинчивало нервы, и я был готов к самым дерзким решениям…

Лакей оказался очень внимательным ко мне.

— Друже, наверное, из Одессы? — справился он.

— Нет… из Кишинева, — приврал я.

— А где научились говорить по-сербски?

— От матери, а дед ее был серб — Хорстич.

— Значит, у вас полно родственников в Белграде?

— Даже в башне Нейбоша, — ответил я.

Странно прозвучала следующая фраза лакея:

— Жаль, что вы приехали в такое подлое время… Впрочем, в пиварнях можно выпить, а в кафанах послушайте анекдоты.

Он предупредил, что «Кичево» строено еще турками, обычай здесь старый: если комнат для гостей не хватает, приезжих кладут по два человека на одну постель.

— Эта манера осталась еще от мусульман, — сказал лакей.

Я не стал возражать и вышел прогуляться на двор. А когда вернулся, на кровати уже лежал какой-то молодой человек.

— Так вы откуда? — спросил он по-русски.

— А вы?

— Из Сараево. Но учился в вашем Славянском учительском институте, после чего был учителем рисования в гимназии Таганрога, преподавал черчение иркутским гимназистам…

Я прилег с ним рядом. Сосед загасил свечу.

— Не засыпайте, — предупредил он меня шепотом.

— Почему?

— Здесь оставаться нельзя. Опасно!

— Что может мне угрожать?

— О вашем приезде я узнал от лакея… Доверьтесь мне. Сейчас тихо покинем эту комнату, на углу Караджорджевой ожидает коляска с поднятым верхом. Мне поручено увезти вас отсюда, и чем скорее уберемся, тем лучше. Для вас и для меня.

— А разве я здесь в опасности?

— Да. Надо спешить. Все объяснят вам потом…

Мы покинули гостиницу (и в самом деле подозрительную), на коляске с верхом, застегнутым от дождя, подъехали к выбеленному известкой длинному зданию с одинаковыми окошками.

— Это… что? Казармы? — удивился я.

— Да. Казармы славной Дунайской дивизии.

Мы проникли внутрь со двора. Через кухню я был проведен в помещение, освещенное не электричеством, а газовыми горелками. Судя по всему, это было офицерское казино. Вдоль стола выстроились троножцы (по-нашему — табуретки), в буфете размещались бутылки с вином и горки посуды. В углу, возле икон, я сразу приметил портреты Суворова, Скобелева и Гарибальди. Иногда заходили с улицы офицеры, в мое сознание крепко впечатывались их сербские имена: Милорад, Божедар, Любомир, Радован, Душан, Светозар. Головы офицеров покрывали «шайкачи», чем-то очень похожие на пилотки современных летчиков. Поглядывая на меня, сербы выпивали по стопке ракии, тихо беседовали и удалялись, ни о чем меня не спрашивая. Я уже хотел прилечь на диване, когда в казино стремительным шагом вошли два офицера, и один из них, окинув меня острым, пристальным взором, представился:

— Поручик Драгутин Дмитриевич, но зови меня… Апис!

«Апис»? Но ведь Аписом называли священного быка из храма Мемфиса, о котором я читал у Плутарха, и я догадался, почему этот офицер так именуется: Драгутин-Апис был ростом под потолок и, наверное, как бык, обладал геркулесовой силищей. Могучей дланью он указал на своего товарища:

— А это поручик Петар Живкович. Сейчас поужинаем…

Живкович по-хозяйски достал из буфета посуду, на столе появились жареные цыплята, вареные яйца и бутыль с вином.

— Ты, друже, не удивлен? — спросили меня.

— Отчасти — да. Есть чему удивляться.

Но возле этих людей мне было уже хорошо.

— Мы забрали тебя из «Кичево» ради твоей безопасности. После случая с писателем Гиляровским здесь в любом русском подозревают опасного журналиста или шпиона, — пояснил Апис.

На это я ответил, что от литературы далек, зато невольно стал близок к матери, которую держат в белградской тюрьме. Заодно я сказал, что мои предки — Хорстичи, и потому я всегда чувствовал себя не только русским, но и сербом:

— А моя мать через Ненадовичей была в родстве с женою Петра Карагеоргиевича… не за это ли ее ухапшили?

Апис, поблескивая глазами, выслушал меня спокойно.

— Хорошо быть сербом, да нелегко — произнес он. — Сейчас в Сербии, как в Германии времен железного Бисмарка, который говорил: «Каждый немец по закону имеет право болтать все, что придет в голову, но только пусть он попробует это сделать!»

— Хорошо, что ты с нами, — добавил Живкович. — Если бы в конаке стало известно, ради чего ты приехал, твой чемодан нашли бы — отдельно от тебя — на пристани в Землине или даже на вокзалах мадьярского Пешта… Вот и все! Так что поживи в нашей казарме: здесь тебя, русского гостя, никто не тронет. А если твоя мать еще жива, мы освободим ее…

— Когда? — спросил я обрадованно.

— Скоро, — мрачно ответил Апис. — За любым громом слов обязательно должна блистать свирепая молния, а другая гроза и не нужна сейчас нашей Сербии. — Троножец отчаянно скрипел под массивною глыбою его тела. — Сербом быть хорошо, — убежденно повторил он. — Сам в тюрьму сядешь, сам и освободишься… А потому выпьем за последних Обреновичей в нашем конаке!

Апис взял бутылку за горлышко с таким злодейским выражением на лице, будто схватил кого-то за глотку и сейчас задавит. Ракия была крепкая, цыплята жирные, а сыр чересчур острый…

В казарме Дунайской дивизии я прожил четыре дня и стал здесь своим человеком. Моей наблюдательности хватило на то, чтобы сообразить: я попал в центр заговора военной хунты. По ночам просыпался от звонков телефонов, невольно вздрагивал от грохота оружия, которое привозили и куда-то опять увозили целыми грудами. Я подружился с молодым капитаном Ездимиром Костичем, окончившим наш Александровский кадетский корпус в Москве. Утром 28 мая Костич сказал мне:

— Сегодня вечером в конаке будет концерт. Все старые песни кончатся, Сербия запоет песни новые!

В опустевшем казино ко мне подсел Драгутин Апис:

— Нет смысла скрывать, что сегодня ночью победим или все погибнем… Победят или погибнут все, кого ты здесь встретил! На террор власти отвечаем террором. Но если народ сдавлен страхом, действовать обязаны мы — армия. От Обреновичей не дождаться чистой голубки радости — навстречу нам летит черный ворон отчаяния… Если Черногория — славянская Спарта, то Сербия станет для славян спасительным Пьемонтом, откуда вышел Гарибальди, чтобы спасти Италию… Уедненье или смрт! (По-русски это звучало бы: «Объединение или смерть!»)

Так вот, оказывается, ради чего собираются здесь эти мужественные люди, и смутная идея южнославянской общности (Югославия) вдруг оформилась для меня в громадном человеке с бычьей силой. Настроенный романтично, я выразил желание следовать за ним — ради свободы Сербии, ради свободы матери. Апис вручил мне два револьвера, барабаны которых уже были забиты патронами. Он сказал, что любая свобода добывается кровью:

— А в том случае, если нас ждет поражение, пытки и казни, ты настойчиво требуй свидания с русским послом Чарыковым, которому и скажешь, что примкнул к нашему святому делу лишь из благородного чувства сыновьей любви…

Ездимир Костич представил меня полковнику Александру Машину, брату первого мужа королевы Драги. Когда я спросил, какова конечная цель заговора, Машин дал мне прочесть газету белградских радикалов «Одьек», в которой жирным шрифтом были выделены слова:

«Мы хотим, чтобы не было личного культа, идолопоклонства, чтобы каждый серб выпрямился и больше ни перед кем не ползал. Мы хотим, чтобы закончилась эра личного режима, черпающего силу в моральной слабости слабых людей…»

— Вы желаете сделать из Сербии республику?

— Хорошо бы! — неуверенно отозвался Машин. — Но моя цель проще: я хочу выпустить кровь из гадюки Драги, которая и свела моего брата в могилу своими частыми изменами…

В полночь офицер Наумович доложил, что концерт в конаке закончился, королевская чета перешла в спальню:

— Король читает королеве роман… вслух!

Разведка у Аписа была великолепная, и потому, когда он спросил, что именно читает король, Наумович ответил точно:

— Роман Стендаля «О любви».

— Батальон вышел?

— Да. Артиллеристы выкатывают пушки из арсенала.

— Хорошо быть сербом, — отвечал Апис, смеясь. — Остались не завербованы мною только два человека — король и королева!

Я насчитал 68 заговорщиков и невольно залюбовался ими.

Немногословные люди, вышедшие в офицеры от сохи, от тяжкого труда пахаря; коренастые и загорелые, они носили форму, очень схожую с русской, от них пахло дешевым овечьим сыром, крепким табаком и потом. Чем-то они были похожи на русских, но что-то и отличало их от наших офицеров. Их гортанная, клокочущая речь, подобно крикам орлов в поднебесье, была деловой и краткой… Апис посмотрел на часы:

— Господа, не пора ли? Помолимся…

Перед иконой святого Саввы офицеры распихивали по карманам пакеты динамита. Потом все вышли, и я пошел за ними. Конак был темен, окна не светились, в саду ветер пошевеливал деревья.

— Роман «О любви» дочитан, — произнес Машин.

Адъютант короля, вовлеченный в заговор, должен был открыть двери конака. Он их открыл, и его тут же пристрелили.

— Не бейте своих! — прогорланил Живкович.

— Не время жалости — вперед! — призывал Апис…

Конак осветился заревом электрического света. Мы ворвались в вестибюль, где охранники осыпали нас пулями. Все (и я в том числе) усердно опустошали барабаны своих револьверов. Сверху летели звонкие осколки хрустальных люстр и штукатурка. Клянусь, никогда еще не было мне так весело, как в эти мгновения… Свет разом погас — мрак!

В полном мраке мы поднимались по лестнице, спотыкаясь о трупы. Двери второго этажа, ведущие внутрь королевских покоев, были заперты прочно. Кто-то нервно чиркал спичками, и во вспышках пламени я видел, как избивают старого генерала:

— Где ключи от этих дверей? Давай ключи!

Это били придворного генерала Лазаря Петровича.

— Клянусь, — вопил он, — я еще вчера подал в отставку…

Дверь упала, взорванная динамитом. Рядом со мною рухнул Наумович, насмерть сраженный силою взрыва. Задыхаясь в едком угаре порохового дыма, я слышал вопли раненых.

— Вперед, сейчас не до жалости! — увлекал нас Апис.

Из потемок конака отбивались четники Драги и короля. Мы ломились дальше — через взрывы, срывавшие с петель громадные двери, через грохот выстрелов. Наконец попали в королевскую спальню и увидели громадную кровать.

Балдахин над постелью еще покачивался.

— Но их здесь нету, — отчаялся Костич.

Полковник Машин запустил руку под одеяло:

— Еще теплая. Гад с гадюкой только что грелись…

Зверское избиение генерала Петровича продолжалось:

— Где король? Где Драга? Куда они делись?

Мне под ноги попалась книга, я машинально поднял ее. Это был роман «О любви»! Апис тяжеленным сапогом наступил прямо на лицо Петровича:

— Или ты скажешь, где потаенная дверь, или…

— Вот она! — показал генерал.

И его застрелили. Потаенная дверь вела в гардеробную, но изнутри она была закрыта. Под нее засунули пачку динамита.

— Пригнись… поджигаю! — выкрикнул Машин.

Взрыв — и дверь снесло, как легкую печную заслонку.

Лунный свет падал через широкое окно, осветив две фигуры в гардеробной, и подле них стоял манекен, весь в белом, как привидение. Электричество вспыхнуло, снова освещая дворец.

Король, держа револьвер, даже не шелохнулся.

Полураздетая Драга пошла прямо на Аписа:

— Убей меня! Только не трогай несчастного…

В руке Машина блеснула сабля, и лезвие рассекло лицо женщины, отрубив ей подбородок. Она не упала. И мужественно приняла смерть, своим же телом закрывая последнего из династии Обреновичей… Король стоял в тени белого манекена, посверкивая очками, внешне ко всему безучастный.

— Я хотел только любви, — вдруг сказал он.

— Бей! — раздался клич, и разом застучали револьверы!

— Сербия свободна! — возвестил Костич. — Открыть окно…

Офицеры выругались, но их брань, с поминанием сил вышних, звучала кощунственно.

— Помоги, друже, — обратились они ко мне.

Я взял короля за ноги, он полетел в окно. Развеваясь юбками и волосами, следом за ним закувыркалась и Драга.

— Мать их всех в поднебесную! — закричали сербы.

В углу гардеробной еще белел призрачный манекен, на котором было распялено платье королевы, в каком она только что пела на придворном концерте. Это платье мы разодрали в клочья, чтобы перевязать свои раны. Военный оркестр на площади перед конаком начал играть: «Дрина, вода течет холодная…» Только теперь я заметил лицо Аписа, искаженное дикой болью:

— Не повезло… три сразу. Три пули в меня!

Но с тремя пулями в громадном теле «бык» еще держался на ногах. С улицы громыхнули пушки, возвещая народу: ДИНАСТИЯ ОБРЕНОВИЧЕЙ ПЕРЕСТАЛА СУЩЕСТВОВАТЬ! Белград просыпался, встревоженный этой вестью, ликующие толпы сбегались к конаку:

— Хотим королем Петра, внука славного Кара-Георгия…

Я слышал, как Живкович спрашивал:

— Знать бы, что подумают теперь в Вене?

— Мнение Петербурга для нас важнее, — отвечал Апис…

Сквозняки перемещали клубы дыма по комнатам конака. Придя в себя, я начал сознавать, через какую я прошел мясорубку. В конак прибежал посыльный, доложил, что президент страны Цинцар Маркович и военный министр Павлович вытащены из квартир на улицы и расстреляны на порогах своих домов:

— Там их жены… плачут! Рвут на себе волосы…

— Так и надо, — ответил Апис. — Братьев Луневацев тащите в казарму Дунайской дивизии, всадите штыки в этих зазнавшихся франтов, пожелавших быть королями… Всех перебьем!

Мне дали коляску, чтобы я ехал в тюрьму Нейбоша.

— Уедненье или смрт! Живео Србия!

Оркестры, двигаясь по улицам, выдували из труб:

Дрина! Вода течет холодная, Зато кровь у сербов горячая… Дрина для сербов — как Волга для нас, русских.

(Существенное примечание: советские историки долгие годы обходили стороной майские события в конаке Белграда, и лишь в 1977 году была сделана попытка осмыслить все то, что повернуло Сербию от Австрии лицом к России.)

7. Еще лучше быть русским

Сколько я прожил на белом свете, всегда умел держать себя в руках, а истерика со мною случилась только однажды в жизни — именно в тени башни Нейбоша, когда мимо меня скорбною чередой прошли узники, освобожденные ночным переворотом в конаке. Они проследовали передо мною, молодые и старые, мужчины и женщины, но среди них не оказалось моей матери… Последнего узника вели под руки, он не мог идти сам, измученный страданьями, и, узнав во мне русского, протянул обожженные руки:

— Друже! Еще час назад меня пытали… на огне!

Вот тогда я зарыдал. Меня отвели в канцелярию тюрьмы, дали выпить из фляжки ракии. Я сел на лавку и безучастно смотрел, как на полу в страшных корчах помирает начальник тюрьмы.

— Пристрелите его, — сказал я, испытав жалость.

— Сам подохнет, — отвечали мне сербы…

Из тюремных ведомостей выяснили, что моя мать сумела доказать русское подданство, намекнув на свое «высокое» положение в Петербурге; напредняки, побаиваясь осложнений с Россией, тишком вывезли ее на другой берег Дуная, и там, в австрийском Землине, опять затерялись ее следы…

Для меня это был удар — непоправимый! Все стало безразлично. Даже разговоры, которые я слышал в уличной кафане:

— Кажется, дипломаты уже покидают нашу столицу. Сейчас хорошо будет жить тот, кто сумеет хорошо спрятаться…

В знак протеста против убийства королевской четы посольства спешно покидали Белград — все, кроме русского и венского. Австрийский посол Думба угрожал сербам мобилизацией пограничных округов, дабы навести в Сербии «законный порядок», но полковник Апис заверил Чарыкова, что отныне Сербия вручает свою судьбу в руки дружественного русского народа. Очевидно, в Вене сообразили, что любое передвижение их войск сразу же вызовет быструю мобилизацию Киевского и Одесского военных округов… Интервенция не состоялась!

Я навестил русское посольство, занимавшее плоский одноэтажный дом, напоминавший дачу средней руки где-либо в Гатчине или в Павловске. Чарыков, кажется, принял меня за туриста, встретив в кабинете такими словами:

— Немедленно возвращайтесь на родину. Вряд ли вы понимаете, что тут произошло… Не успели выкинуть Драгу в окошко, как из Софии примчались три офицера, ибо в Болгарии созрел заговор, подобный сербскому. Теперь в Софии готовят убийство правителя Фердинанда Саксен-Кобургского, сербы с болгарами объединят свои армии, а в мире возникнет Балканская федерация всех славян Европы, в которую заманят и чехов со словаками, вырвав их из-под власти Габсбургов.

— Разве это плохо? — спросил я.

— Это… опасно, — отвечал Чарыков, — ибо заговор способен выйти за границы Балкан, а цареубийство может превратиться в главное орудие славянской политики…

(Впоследствии мне довелось читать секретный отчет о событиях в конаке, где Чарыков говорил о возросшем авторитете Драгутина Аписа, о том, что республиканские идеи имеют быстрое распространение в народе, интеллигенция и радикально настроенные офицеры готовы примкнуть к социалистам, дабы дворцовый переворот использовать в целях создания Балканской республики.)

Чарыков еще раз повторил мне, чтобы я покинул Белград, а мой паспорт давно лежит в столе советника посольства…

Советник русского посольства носил тройную фамилию — Муравьёв-Апостол-Коробьин, а разговаривал он со мной грубо:

— Если паспорт у вас до Парижа, так какой же леший занес вас сюда? До нас уже дошли слухи, что в окружении негодяев-убийц был замечен и русский студент… Это не вы ли?

— Простите, но я уже коллежский секретарь.

Я сказал, что если меня и видели среди офицеров, так это простая случайность. Советник был крайне раздражен:

— Все несчастья происходят оттого, что русские разучились сидеть дома возле родимой печки, а шляются по всему миру, как бездомные цыгане. — Муравьёв-Апостол-Коробьин как бы нехотя возвратил мне паспорт. — На всякий случай предупреждаю: за любое, пусть даже случайное, вмешательство в дела иностранной державы придется нести суровую ответственность.

— Я к ним непричастен, — был мой ответ.

Муравьёв-Апостол-Коробьин поверил моей невинности и, сменив гнев на милость, немного порассуждал как политик:

— Обреновичи были для Сербии — словно Борджиа для Италии, но Борджиа при всех их пороках все-таки стремились объединить Италию, тогда как Обреновичи Сербию расчленяли… Петербургу есть над чем поломать голову!

Я покинул посольство в неясной тревоге за свою судьбу. Толпа возле конаки еще не расходилась, ожидая результатов анатомического вскрытия короля и королевы. А напротив стенки солдатских батальонов уже выстраивалась демонстрация студентов и рабочих. Как я понял из их речей, они представляли нечто новое в истории Сербии — партию социалистов. Между ними прохаживался Петар Живкович, его спрашивали — почему Обреновичей решили заменить династией Карагеоргиевичей?

Живкович объяснял в таком духе:

— Если вам нужна демократия, так мне нужна великая Сербия! Если престол в конаке будет пустовать, из-за Дуная сразу навалится армия Франца Иосифа, со стороны Македонии нас будут рвать по кускам турки… О чем спорить? Телеграмма в Женеву уже послана. Петр Карагеоргиевич выезжает в Белград…

Я даже не успел проститься с Аписом. На память о нем я оставил себе два австрийских револьвера, которые и рассовал по карманам. Молодости свойственна любовь к оружию, которое как бы дополняет недостаток наших моральных сил.

Скоро все пережитое мною в Трансваале и Белграде покажется мне лишь веселой садовой прощадкой для детских игр. Впереди меня ожидало более серьезное испытание…

\* \* \*

За окном раскинулись мадьярские долины, паслись стада, в усладу баранов пастухи играли не на рожках, а на скрипках. Моими соседями по купе оказались немцы — швабы, обсуждавшие результаты анатомического вскрытия Александра и Драги, о чем уже подробно писалось в газетах. Драга, смолоду ведя безнравственную жизнь, давно была неспособна к беременности, а лобовая кость Александра Обреновича имела феноменальную толщину, что и объясняет его жестокое тупоумие, вызванное постоянным давлением лобовой кости на мозговые центры.

Швабы, прочтя об этом, стали ругаться:

— Конечно, если хотят утопить собаку, то всегда говорят в оправдание, что у нее была чесотка… На самом же деле Обреновичи — благороднейшие люди, а вся нация сербов — это сплошь убийцы, торгаши и пьяницы! Их надо раздавить…

Я пришел в себя лишь на венском «Остбанхоффе». Все было писано вилами по воде, и я решил прежде ознакомиться с газетами. Авторитетная «K"olnische Zeitung», имевшая давнюю славу политического рупора Германии, писала конкретно: убийство в конаке сотворено исключительно в целях русской политики, дабы австрийское влияние в Белграде подменить русским влиянием; уничтожение династии Обреновичей сделано на русские деньги и русскими руками в сербских перчатках (увы, не лайковых).

Наконец, я развернул русский «Правительственный Вестник», прибывший в Вену ночным экспрессом. Народная Скупщина избрала на престол Петра Карагеоргиевича единогласно! Этого и следовало ожидать. Николай II, принося ему свои поздравления, тут же призывал «подвергнуть строгим карам клятвопреступников, запятнавших себя вечным позором цареубийства». Это меня даже не удивило: монарх всегда вступается за монарха. Но удивило меня другое: все русские, оказавшиеся в Белграде, обязаны срочно вернуться в отечество; замешанные же в тронном перевороте должны предстать перед судом — как убийцы … Конечно, король Петр не позволит упасть даже волосу с голов офицеров-заговорщиков, доставивших ему престол, но меня, русского, вернись я домой, могут привлечь к ответу.

«Надо как-то выкручиваться», — сказал я себе.

Возле меня оказался пожилой, бедно одетый венец. Я бы не обратил на него внимания, если бы не его… уши. Всю жизнь терпеть не мог длинноносых, лопоухих и шлепогубых. Но у этого оригинала уши были — как две калоши, неудачно прилепленные к его плоскому черепу. Заметив в моих руках свежий номер «Правительственного Вестника», он спросил:

— Вы, очевидно, русский?

— Честь имею быть им…

Совсем не расположенный к беседам, я бродил по улицам Вены, обдумывая свое дальнейшее поведение. Если до властей в Петербурге дойдет мое участие в белградских событиях, беды не миновать. В уличном кафе я позавтракал сметаной и сдобной булочкой. Помню, что обратный путь на трамвае поразил меня своей дороговизной. Я изнывал в сомнениях. Требовалось твердое решение, и это решение я окончательно принял: вернуться!

Кассир вокзальной кассы, оказывается, запомнил меня.

— Так куда же вы теперь? — спросил он с ухмылкой.

— Билет первого класса до Санкт-Петербурга.

— Через Киев или через Варшаву?

— Чем скорее, тем лучше.

— Тогда извольте ехать через Варшаву…

В любом случае я желал вернуться на родину, идя навстречу опасности. Варшавский поезд отходил поздно вечером, весь день я бесцельно блуждал по Вене, утешая себя словами: «Хорошо быть русским, да нелегко…»

К отходу поезда на перроне толпилась публика, слышалась русская и польская речь, среди провожающих я снова заметил человека с ушами-калошами. Меня, не скрою, даже передернуло от брезгливого отвращения к его уродству.

— Вы, кажется, надзираете за мной? — спросил я.

— Не имею надобности, — ответил он. — Если бы я следил за вами, так вы бы никогда меня не заметили. Напротив, я желаю найти порядочного человека из русских, который бы проездом через Варшаву оказал мне крохотную услугу…

В печальных глазах его было что-то жалкое, но в то же время и трогательное, как у бездомной, не раз битой собаки. Он показал мне конверт без марки, и я успел прочитать варшавский адрес: улица Гожая, 35, для пани Желтковской.

— Поезд стоит в Варшаве сорок минут, — сказал венец, — а улица Гожая неподалеку от вокзала. Не могли бы вы…

— А почему вы, сударь, не доверяете почте?

В глазах неопрятного старика мелькнули слезы:

— Вена очень дорогой город, где бедняку прожить трудно. У меня нет денег даже на почтовую марку, и потому я не раз пользовался услугами русских пассажиров. Все они так добры…

В этот момент мне стало жаль этого человека. В самом деле, виноват ли он, если природа наградила его такими ушами?

— Хорошо, сударь, я ваше письмо доставлю…

Поезд в Варшаву пришел рано утром. Я быстро отыскал Гожую улицу и нашел дом 35, нижний этаж которого украшали нарядные вывески — колбасные лавки и фотоателье. Но в подъезде этого дома меня неожиданно встретил вежливый господин.

— Пардон, — сказал он, приподняв над головой котелок. — Вы случайно не ищете ли квартиру пани Желтковской?

— Да. И буду вам благодарен, если…

Я скрючился от боли: удар кулаком пришелся ниже пояса. Сзади шею обвила чья-то сильная рука, и мои ноги поволоклись по булыжникам, словно ватные фитюльки у дешевой куклы. Я не успел опомниться, как очутился в коляске с задернутыми шторами на окнах, — кони понеслись. Вежливый господин извлек из карманов моего пиджака два австрийских револьвера:

— Вот что у него… сволочь поганая!

Чувствительный к грубости, я наивно спросил:

— Куда я попал? Вы — полиция, жандармы или воры?

— Бери выше — мы из контрразведки…

А я и не знал, что такая в России существует.

Постскриптум № 1

До января 1903 года Россия не имела контрразведки, зато, помимо уголовного сыска, она обладала политической полицией (охранкой), созданной для борьбы с революционерами. Охранка имела немало заслуг перед монархией, достаточно назвать Евно Азефа, внедренного в партию эсеров, или Романа Малиновского, входившего в состав ЦК РСДРП.

Русский обыватель, не мудрствуя лукаво, почитывал на сон грядущий трехкопеечные выпуски о подвигах Ната Пинкертона или Ника Картера, но, отложив книжку, он не догадывался, что подле него происходит таинственная борьба, перед которой меркнут самые дикие криминальные вымыслы. До того как в России была создана контрразведка, поимка иностранных шпионов была делом случая или частной инициативы бдительных граждан. Внутри государства постоянно оперировала громадная армия иностранных агентов, никем не выявленная и творившая свои черные дела как хотела — нагло и безбоязненно.

Здесь не место размусоливать эту тему. Скажем коротко. Сначала при военном министерстве образовался особый «Разведывательный отдел Генерального штаба», от которого отпочковалась молодая русская контрразведка, сразу же заявившая о себе смелой и напористой работой. Однако на первых порах контрразведка еще не могла отказываться от услуг министерства внутренних дел, и потому иногда невозможно провести четкие границы между самой контрразведкой Генштаба, политической охранкой и департаментом полиции…

Разведка — в точном ее назначении — раньше велась военными атташе при столицах враждебных государств, и атташе работали на свой страх и риск, имея немало удач и досадных провалов. Казань была единственным городом в России, где позволялось жить офицерам генеральных штабов Германии и Австрии, куда они приезжали под видом изучающих русский язык. С ними поступали цинично и просто. Этих явных шпионов сознательно спаивали, после чего, опутав их долгами, перекупали на свою сторону.

Вена боялась Киевского военного округа, где разведкой против Австрии заправлял умный и энергичный капитан Михаил Сергеевич Галкин. Германия остерегалась Варшавы, где агентурным «бюро» руководил полковник Николаи Степанович Батюшин, о котором ходили легенды. Однажды на маневрах присутствовал немецкий император Вильгельм II, сопровождаемый царем. Батюшин, недолго думая, забрался в карман германского кайзера, вытащил оттуда записную книжку, быстро перефотографировал ее и снова вложил в карман кайзера. Ни сам «Вилли», ни сам «Ники», ни их многочисленная свита даже не заметил этого…

Именно в штабе Варшавы был разоблачен русский полковник по фамилии Гримм, за деньги продававший Вене и Берлину планы русской мобилизации. Как бы в отместку за это предательство Гримма, полковник Батюшин перекупил «на корню» офицера-шпиона Б. Ройя, который и сделался главным осведомителем русского Генштаба о вооружении германской армии. Кстати, портфель от Гримма попал в руки Рэдля, который переправил его в Петербург, а взамен подлинных планов русской мобилизации подложил планы фальшивые…

Но после переворота в конаке Белграда разведке России выпало немало новых хлопот: следовало оберечь сербов от возможной агрессии Австро-Венгрии. По городам и весям Галиции, где стояли «под ружьем» австрийские гарнизоны, стали бродить с переносными станками точильщики, предлагавшие жителям точить затупившиеся ножницы, серпы и кухонные ножи. Венская контрразведка не сразу спохватилась, что в этих «мужиках», таскавших на своем горбу тяжелые абразивные круги с ножным приводом, затаились русские офицеры-разведчики…

Как и в каждой тайной борьбе, жертвы были с обеих сторон, были свои трагедии, были свои мученики. Шпионы, работавшие из-за денег, перепродавались дешево, становясь «двойниками» и даже «тройниками», зато в тюрьмах годами томились подлинные агенты разведки — офицеры русской армии, которые сознательно шли на любые муки ради своих патриотических убеждений, ради большой и неподкупной любви к родине. На этом мы и закончим нашу Первую главу.

Глава вторая

Разбег над пропастью

Пусть в его биографии, горькой и необычной, многое останется неизвестным, выдумывать я ничего не хочу и не буду…

Сергей Тхоржевский

НАПИСАНО В 1936 ГОДУ:

…портрет К. Е. Ворошилова на сцене подсвечивался специальным прожектором, а в его речи можно было выделить слова:

— Война теперь будет, товарищи, очень грозной, очень жестокой, с применением самых страшных, невиданных доселе нигде и никогда в мире средств.

Мне сразу вспомнилось, что еще в 1871 году — сразу после Седана! — русский канцлер князь А. М. Горчаков публично заявил, что предел вооружения в войне французов с немцами был достигнут, а совершенствовать оружие далее — это преступление против человека. Наконец, на маневрах 1909 года, пресытившись зрелищем мощных гаубиц и грохотом пулеметов, даже Альфред Шлифен оторопел, заявив кайзеру: «Все мыслимое и немыслимое нами уже изобретено, и развивать военную технику далее — это абсурд; всевышний будет на стороне многочисленных стрелковых дивизий…» В самом деле, где же конец?

5 мая 1936 года моторизованные дивизии Муссолини вошли в Аддис-Абебу. Странную позицию заняли европейские державы; в газетах Англии и Франции пишут о «неполноценности» абиссинского государства, как бы заранее оправдывая правомочность Италии, более цивилизованной, убивать и грабить. Но судить о «неполноценности» могут только невежды в истории, из которой известно, что арапы-эфиопы — наследники древнейшей цивилизации мира… Я прослушал по радио речь абиссинского негуса Хайле Селассие, который на пресс-конференции в Лондоне рассказывал о том, как вполне цивилизованные чернорубашечники Муссолини душили его народ в облаках иприта:

— Мы бросали винтовки и закрывали глаза. Едва заметный дождик осыпал нашу армию. В сражении при Макале погибло столько людей, что у меня не хватает мужества назвать их число. Мой народ умел голыми руками останавливать фашистские танки, но мы оказались бессильны в облаках отравляющего нас газа, который неслышным дождем опускался на наши тела, наши посевы, наш скот и наших детей… Нас буквально ослепили ипритом, на телах появились белые пятна, как от проказы, а через двадцать минут наступала смерть при явлениях тяжелого ожога. А ведь мы, — заключил негус, — все были босиком!

Мне все противнее вылавливать из эфира голоса радиодикторов Рима или Берлина, надоело присущее им бахвальство: нет уже просто решений дуче, а есть «исторические решения» Муссолини, уже не стало просто речей Гитлера, зато есть «речи фюрера, имеющие историческое значение», и, наконец, все, что ни делается, все обязано войти в «анналы истории». Когда потомки разгребут вилами эти анналы, сколько навоза они обнаружат на этих помойках истории.

Итальянский фашизм и германский национал-социализм, хотя и сомкнули свои ряды, но все-таки идут пока самостоятельно. Муссолини еще покрикивает в сторону Берлина, считая Гитлера лишь выскочкой, примазавшимся к его идеям. В своих лекциях я постоянно твержу об агрессивности Германии, хотя мне и пытаются возражать: мол, немецкий пролетариат не станет воевать с государством победившего пролетариата, а мы будем бить врагов на его территории, побеждая его малою кровью. На это я отвечаю, что речи наших оптимистов-ораторов не всегда согласованы с мнением военных специалистов:

— А бескровных войн не бывает! Вас приучают в Академии только наступать, но плохо, что вы не знаете законов отступления. Между тем искусство войны оборонительной зачастую сложнее войны наступательной. В отходе Барклая-де-Толли и Голенищева-Кутузова был заложен более здравый смысл, нежели в безумном уповании Наполеона непременно побывать в Москве…

Гитлер еще скорбит о Версальском договоре, как об удавке, намотанной на шеи всех немцев. Что за чушь! Ведь если разобраться, то Версаль нисколько не ущемил Германию в ее естественных границах, немцы полностью сохранили свое национальное единство. Но почему они с 1919 года ревут, как стадо быков, приведенных на бойню? Мне кажется, в этом вопросе имперские понятия немцам стали дороже национальных, и вот именно этим широко пользуется Гитлер… Сейчас очень неспокойно в Испании, а Гитлер уже проговорился, что для полноты счастья ему желательно видеть свастику в Вене и даже в Праге!

На очередной лекции слушатели спросили меня, как итальянская экономика справляется с расходами на военные нужды.

— Она и не справилась! — отвечал я. — Там проводится анекдотическая кампания по сдаче золотых обручальных колец, с холостяков дерут страшные налоги. Школьников гоняют по квартирам, чтобы они отвинчивали от дверей бронзовые и медные ручки. Вряд ли есть практический смысл в том, чтобы готовить искусственный каучук, если он в пять раз дороже привозного! Наконец, Муссолини, на мой взгляд, не обладает юмором. Иначе он не сдал бы на переплавку три тонны (!) своих бронзовых бюстов, повершив тем самым всех сборщиков утильсырья…

Сейчас по углам ходят тихие пересуды об отравлении Максима Горького врачами Левиным и Плетневым. Ежов, помощник Ягоды, доказывал, что «враги народа» пропитывали ядами обои в комнате «великого пролетарского писателя». Странно!.. Да простит мне бог, но «пролетарским» писателем я Горького никогда не считал, а его «Мать» — слабейшая из вещей, им написанных. А как понимать убийство сына Максима Горького теми же «врагами народа», если все в Москве знают, что он попросту сгубил себя алкоголем. Сейчас в колхозах царит почти крепостное право, какого крестьяне не ведали при помещиках, а в стране два хозяина — сам Хозяин и его ОГПУ, а кто там важнее — сам черт не разберет. Интересно, решится ли наш Хозяин пустить в переплавку свои многочисленные бюсты и монументы?..

\* \* \*

Летом 1936 года начался мятеж Франко в Испании. В эти тревожные дни меня попросили использовать в своих целях допрос немецкого шпиона. Это был русский. Отлично законспирированный, он служил в наших гарнизонах Белоруссии, и долгое время ни у кого даже не возникало мысли, что это отличный агент гитлеровского абвера. Прежде меня ознакомили с его делом:

— Заодно посмотрите — не ваш ли это приятель?

Я узнал его сразу: это был капитан Владимир Вербицкий, как и я, окончивший Академию русского Генштаба. На допросе я нарочно сидел за его спиной и по напряжению спины чувствовал, как ему хочется обернуться, ибо всей шкурой Вербицкий ощутил опасность для себя не столько спереди, сколько сзади… Во время допроса он держался твердо, ловко выскальзывая из логических «ловушек», и следователям это надоело.

— Обернитесь, — разрешили Вербицкому.

Наши глаза встретились, и он понял, что проиграл. Но проиграл не сотню рублей в картишки, а продул всю свою жизнь. При этом ожесточился, осыпая меня грубыми оскорблениями.

— Где ж тебе еще быть? — кричал Вербицкий. — Предатель, гадина, мразь… Я ведь не забыл, что тебя выкинули из Генштаба в дальний гарнизон за то, что ты не вернул долгов, жил на деньги своих любовниц… Только таких мерзавцев и держат большевики! Жаль, что тебя не придушили еще раньше…

Я остался спокоен, а следователи сказали:

— Мы вас покинем. Вы тут сами разберитесь…

Со своего стула я перебрался за стол:

— Сначала о моей совести. Я не полез в партию большевиков и до сих пор навещаю церковь, о чем, кстати, мои сослуживцы знают. Но именно совесть и разделила нас с тобой: я остался честным офицером российского Генштаба, а ты служишь германскому, точнее — гитлеровскому абверу… Разве не так?

— Не старайся поставить комару клизму, — в раздражении отвечал Вербицкий. — Все равно я ничего тебе не скажу.

— Не надо! Говорить стану я, а ты слушай. И пусть мои слова оживят твою память, а возможно, пробудят и твою угасшую совесть русского человека… Тебя вытащил из эмигрантского болота полковник Бискупский, когда-то бывший мужем очаровательной Насти Вяльцевой, а сам Бискупский давно замечен в окружении палача Гиммлера. Затем ты оказался в «Гроссмишеле», что в десяти верстах от Кенигсберга, где и повторил свою науку в школе шпионов «Абверштелле». После оказался на улице Магазинкату, дом восемь, в Хельсинки, откуда однажды финский полковник Меландер, лично подчиненный Карлу Карлычу…

— Хватит! Я не знаю никаких Карлов Карлычей.

— Его все знают — это барон, Маннергейм, который тебя и меня обучал когда-то в манеже верховой езде. Вспомни, наконец, как мы вместе ломали кости на парфорсной охоте в «Поставах» под Вильной. Так вот, этот самый полковник Меландер через свое «окно» и пропихнул тебя к нам…

— А хоть поджаривай — я ничего не знаю!

— Зато мы уже знаем. Ты провален. Но в случае провала тебе приготовлено обратно «окно», и ты не строй из себя дурака.

— Хорошо, — усмехнулся Вербицкий, — назови мне это «окно», и тогда я согласен остаться в дураках.

— Твое запасное «окно» в тундрах Мурманской области, в бывшей Лапландии, где лопари, к сожалению, еще плохо понимают значение границы, их оленьи стада гонимы из Финляндии к нам и обратно. С таким стадом ты должен пройти до Рованиеми, откуда точно по расписанию ходят на юг маршрутные автобусы…

— Ты много знаешь! — ответил Вербицкий, и я ощутил его растерянность. — Допустим, я сел в автобус. Что дальше?

— Далее ты из Хельсинки рейсовым пароходом доберешься до Кенигсберга… Может, назвать улицу и номер дома?

— Зачем?

— Мы оба проверим нашу стареющую память.

— Валяй, сволочь! Мне теперь все равно.

На клочке бумаги я написал: «Кенигсберг, улица Штейндамм, дом № 44, пансионат фрейлен Данти Дана для холостых мужчин».

— Убедился? — спросил я Вербицкого, когда он прочел этот адрес. — Так вот, — продолжал я, подходя к главной цели этого допроса. — Когда ты прибудешь на место, не забудь сказать майору абвера Целлариусу, что я, старый агент российского Генштаба, а ныне ответственный работник Генштаба советского, согласен передавать абверу интересующие его сведения…

Вербицкий вдруг вскочил и хотел вцепиться мне в горло. Я отбросил от себя его руки, просил сесть обратно.

— Успокойся! — сказал я ему. — Ты же сам понимаешь, что ждет тебя в будущем… Может, сейчас тебе предоставляется последний шанс исправить трагическую ошибку, которую ты совершил. Бискупский утащил в эмиграцию бриллианты Вяльцевой, а что утащил ты, кроме штанов на себе? Конечно, кое-кто за кордоном и живет, приплясывая. А тебя завербовали в тот момент, когда в кармане не было даже пфеннига на кружку пива…

Вербицкий разрыдался. Это был кризис. Я не мешал ему. Еще продолжая рыдать, он просил меня:

— Ну, ладно. Я не скрою, что ты обставил меня хорошо. Но я продолжаю не верить тебе… Так хотя бы ради нашего прошлого, ради России, ответь прямо — на чем я попался?

— Возможно, ты никогда бы не попался, ибо прошел две отличные школы — русскую и германскую. Но ты слишком стал выделяться в своем гарнизоне неестественным фанатизмом, слишком горячо распинался в любви к Сталину, уже больно правильно и крикливо хвастал успехами на партийных собраниях… Ты просто потерял чувство меры, необходимое любому агенту.

— Скажи! Только честно… когда меня шлепнут?

Я позвонил, чтобы в кабинет принесли чай и печенье. После чего вручил Вербицкому бесплатную путевку на две недели в санаторий имени Дзержинского — на берегу реки Луги:

— Красивые места! Для нас памятные тем, что мы еще в пору академической младости проводили там триангуляцию на местности. Только чухонские комары донимали… Помнишь?

— Счастливые времена! — оживился Вербицкий, и лицо его даже порозовело. — В тамошних лесах тебе попалась странная колдовская усадьба, где ты танцевал с привидением.

— Да, это история странная… Думаю, после отсидки в тюрьме и допросов тебе следует отдохнуть, — сказал я. — Через неделю я сам навещу тебя в санатории. Тогда и продолжим очень крупный разговор о моих заслугах абверу…

Потом следователи спрашивали меня — почему Вербицкий так пылко обвинял меня в пьянстве, распутстве и прочих грехах.

— Неужели все это можно приписать вам?

— Это правда, — не скрывал я. — Но об этом периоде жизни я расскажу как-нибудь в другой раз.

\* \* \*

…новости из Германии. Четыре миллиона мальчиков будут носить ножи, а подростки из организации «гитлер-югенд» не расстаются с боевыми кинжалами. В классах немецких школ снимают распятья с приказом — повесить на их место портреты фюрера. Символ мученичества Христа можно понять, но почему лопоухий Фриц или Ганс должен постоянно созерцать перед собой хамскую рожу Гитлера? Вот еще новость. Гитлер недавно перед дипломатами жаловался, что немцы задыхаются в тесноте:

— Скоро мы будем толпиться на территории Германии подобно пассажирам в переполненном автобусе. Теперь на одну квадратную милю в рейхе приходится уже триста сорок жителей.

— Если это так ужасно, — отвечали ему, — то почему же вы поощряете часто беременеющих женщин? Почему платите роженицам за третьего ребенка и, наконец, не жалеете пособий за рождение четвертого ребенка в семье?

Гитлер не нашелся с ответом, но эту беседу с дипломатами запретили публиковать в немецких газетах.

Сейчас у меня все по-старому, ничего нового. Вербицкий через «окно» пропущен за рубеж и, как мне стало известно, уже был принят в Миккеле, на личной даче Маннергейма, затем появился в Кенигсберге… Наверняка он доложил Целлариусу о моем желании «сотрудничать» с германской разведкой, которую я весьма охотно насыщал бы разной чепухой о вооружении РККА до тех пор, пока абвер не облопался бы ею, как удав.

Но пока немцы в Москве не ищут контактов со мною. Вчера в театре я сидел невдалеке от ложи, которую занимали члены германского посольства. Я дважды перехватил внимательный взгляд военного атташе. В антракте он, кажется, даже порывался подойти ко мне, но почему-то не сделал этого…

Вывод один: следует ожидать возвращения Вербицкого!

1. Чужое письмо

Итак, я угодил в лапы русской контрразведки… В большом кабинете меня ожидал немолодой армейский полковник (уже с брюшком), и он глядел на меня с презрением — как барышня на сороконожку. Перед ним выложили два револьвера, изъятые из моих карманов при аресте на Гожей улице Варшавы. Встав напротив окна, он проглядел их стволы на свет:

— Да-с… где ты, гнида, успел их так закоптить?

Эта «гнида» возмутила меня:

— Прошу обращаться ко мне с уважением. Я не только столбовой дворянин, но имею чин десятого класса.

— Так и что? Молиться нам на тебя? Лучше скажи сразу, за сколько продался сам и продал матушку-Россию?

Я решил, что мой арест связан только с событиями в Белграде, но полковник о делах в конаке даже не заикался.

— Клянусь, я не знаю за собой никакой вины.

— Все так начинают свои молитвы… Но мы ущучили тебя еще на вокзале Вены, где ты дважды любезничал с этим вислоухим обормотом… Вынь письмо! Положи его на стол.

Я выложил письмо без марки и свой паспорт.

— Парижанин? — усмехнулся полковник, глянув в него.

Тут появился тот самый вежливый господин, что принимал участие в моем аресте. Но теперь, переодетый в мундир штабс-ротмистра, он источал нежный малиновый звон шпорами. Не обращая на меня внимания, он по-домашнему присел на подоконник. В его руках оказалась вязальная спица, расплющенная на конце. Ротмистр просунул ее в угол конверта, намотал письмо на спицу, аккуратной трубочкой извлекая его наружу. Бегло просмотрев текст послания, он сказал полковнику:

— Ну, я пойду… подзаймусь химией.

— Что там? Щавель или пирамидон?

— Да нет. Скорее, опять мазня для сведения бородавок.

Он удалился, названивая шпорами. Полковник спросил:

— Когда тебя успели завербовать? (Я пожал плечами.) Ну, молчи. Надо же собраться с мыслями… А где ты так много палил из револьвера, кстати, австрийского производства?

Я сказал, что из Парижа завернул в Белград, чтобы развлечься, а в «Кичево» был лакей, хороший парень, состоящий в «Боб-клубе», вот мы с ним и поехали к Шести Тополям на Саве, где спортивный тир, там и палили себе на здоровье.

Моя информация вызвала злорадный смех:

— Неужели мы поверим, что, приехав в Белград, ты с первым же лакеем кинулся со всех ног в тир, чтобы стрелять из двух револьверов по мишеням? Наконец, чтобы развлечься, из Белграда ездят в Париж, а ты из Парижа поехал в Белград… Скажи проще: Париж — для отвода глаз, а на вокзале в Вене тебя ожидала встреча с майором Цобелем.

— Я не видел никакого майора!

— Зато тебя с ним видели… Ладно. Посиди.

Не хотелось верить, что вместе с чужим письмом я положил за пазуху ядовитую гадину, которая меня же столь сильно ужалит. Я был отведен в подвальную комнату без окон, поразившую меня отсутствием клопов, столь необходимых для тюремной обстановки. Через день меня снова отконвоировали по лестнице в кабинет, где — помимо полковника с ротмистром — присутствовал и неизвестный мне человек в штатском.

На этот раз полковник разговаривал вежливо:

— Мы допускаем, что нечаянно, но все же вы сыграли весьма некрасивую роль. Этот венец с большими ушами — майор Ганс Добель из «Хаупт-Кундшафт-Стелле»… Догадываюсь, что ранее вы никогда даже не слышали о такой богадельне?

— Нет.

— Так называется австрийская разведка. И не вы первый попались на эту удочку. К сожалению, наши головотяпы, бывающие в Вене, оказывают услуги Цобелю, с самым невинным видом переправляя письма для тайной агентуры, враждебной России. Надеюсь, вы не очень сердитесь за наше грубое обращение?

Господин в штатском представился:

— Подполковник Лепехин из Киевского управления… Именно ради вас я приехал сегодня утром в Варшаву, ибо ваше дело не так-то просто, как это кажется. — Он показал мне письмо, уже проявленное в лаборатории: между зеленоватых строчек самого невинного содержания о погоде в Вене и ценах на продукты явно проступали рыжие буквы тайного шифра. — Писано симпатическими чернилами марки «F», которые в аптеках выдаются за средство от выведения бородавок. Мы расшифровали, что в тексте изложен запрос о передислокации наших артиллерийских парков из Гомеля в Полтаву… Теперь вы поняли, молодой человек, сколько хлопот вы доставили нам и себе этим письмом?

В кабинет принесли ужин с вином и свежей клубникой. Меня пригласили к столу. Лепехин сказал, что, пока я был под арестом, департамент полиции «просветил» меня со всех сторон:

— О вас еще со скамьи «Правоведения» сложилось мнение как о будущем светиле российского правосудия. Но у меня к вам вопрос — имя Фитци Крамер ничего не говорит вашему сердцу?

— Поверьте, впервые слышу.

Мне объяснили, что пани Желтковская, владелица фотографии на Гожей улице, служит лишь «почтовым ящиком». А письмо предназначено для госпожи Крамер, кафешантанной певички из Будапешта, которая часто ангажируется в Киеве на летние сезоны, но это письмо тоже не для нее: она передаст его венским шпионам, давно орудующим в Киевском военном округе. В этом случае я мог бы помочь контрразведке их выявить…

Склонность к приключениям, наверное, заложена в моем характере. «Хаупт-Кундшафт-Стелле» — и я! Кто кого?

— Но чем же, господа, я могу быть полезен?

— Вот об этом сейчас и подумаем, — начал Лепехин. — Письму из Вены мы вернем прежний божеский вид, с ним поедете в Киев, где должны повидаться с певичкой. При свидании с Фитци назовитесь курьером от Цобеля. Эта курва, конечно, сделает большие глаза, ибо ждет письмо из «почтового ящика». Но вы скажите, что на Гожей заметили «хвост», а письмо следует передать срочно, этим и объясняется ваше появление в Киеве.

Нашу милую беседу прервал ротмистр:

— У венского курьера Фитци сразу запросит денег.

— В этом случае, — продолжил Лепехин, — вы предложите ей свидание где-либо в публичном месте, обещая вручить письмо и деньги. Наверняка ее где-то поблизости будут страховать венские агенты, а мы, в свою очередь, тоже не станем витать в облаках и окажемся возле вас…

Когда мы расходились от ужина, подполковник Лепехин проводил меня и наедине даже обнял — почти дружески:

— Об этом пока не знают даже в департаменте полиции, но контрразведке уже известно, что вы делали в Белграде…

Моя реакция выразилась в дурацком смехе.

\* \* \*

Прибыв в Киев, я профланировал в сад-буфф, где увидел Фитци Крамер, которая, задирая перед публикой шлейф своего платья, обдала меня каскадом игривых намеков. Она пела:

Кот пушистый, серебристый! С красным бантом, Ходит франтом. На крышах он мяучит, В подвалах кошек мучит… После концерта мы встретились за кулисами; вблизи Фитци показалась мне обворожительной в своей греховности. Я вкратце объяснил ситуацию с Гожей улицей, где меня ожидала опасность, но Фитци, не испугавшись, просила вручить ей письмо.

— И… деньги! — вдруг потребовала она.

— В какой сумме гонорар вам обещан?

— Триста… нет, пожалуй, чуть больше.

Я ответил, что такие деньги боюсь иметь при себе:

— Передам при встрече. Где и когда угодно?

— Я постоянно завтракаю в «Ротонде» на Бибиковском бульваре. Напротив же «Ротонды» магазин меховых вещей Габриловича, через стекло витрины вы сразу увидите меня…

Об этом условии я спешно известил офицеров контрразведки. Лепехин ответил, что действовать следует демонстративно, дабы поймать шлюху с поличным, а заодно надо вызвать к себе внимание возможных агентов венской разведки. С такими словами он вручил мне ассигнацию в 500 рублей:

— Скажите Фитци, что ей полагается лишь двести.

— Но кто же мне в кафе разменяет сразу полтысячи? Ведь на такие деньги можно дом построить.

— В том-то и дело, что разменять не смогут. Кельнер, наш агент, скажет: «Здесь вам не банк!» — и посоветует перейти улицу, чтобы вы сами разменяли ассигнацию на мелкие купюры в меховом магазине Габриловича. Вы так и сделаете, после чего считайте себя свободным. Остальное — наша профессия…

Утром следующего дня я встретился с Фитци в «Ротонде», где певичка завтракала топленым молоком с гренками. Посетителей было мало: в отдалении сидел грузный человек с тросточкой, по виду скучающий маклер или игрок на бегах, у окна с видом безденежного франта просматривал газеты знакомый мне штабс-ротмистр. Я передал женщине письмо и сказал:

— Могу вручить вам только двести рублей. Поманив лакея, я показал ему полутысячную купюру.

— Здесь вам не банк! — ответил он, как положено.

Вслед за этим я выразил желание пересечь Бибиковский бульвар, дабы разменять деньги в кассе магазина Габриловича. Но рука Фитци вдруг ловко вырвала у меня ассигнацию:

— Знаю я эти фокусы! Я ведь тоже стою немалых денег…

И письмо от Цобеля и все мои деньги мигом исчезли в ее ридикюле. Я невольно глянул в сторону ротмистра, но он глазами показал мне свое полное недоумение. Лакей тоже понял, что наша пьеса играется с отсебятиной, и не нашел ничего лучшего, как подсчитать стоимость заказанного мною завтрака:

— С вас тридцать восемь копеек. Можете не проверять…

Фитци уже направилась к выходу из «Ротонды». Ротмистр выжидал. А я как последний дурак сидел с раскрытым ртом. Но в этот момент грузный господин с тросточкой, безучастно ковырявший спичкой в зубах, встал и направился ко мне:

— Разрешите, я у вас прикурю. — И, прикуривая, он шепнул по-немецки: — В кафе переодетые «голубые». Разве не видите, что вашу даму уже взяли?

Через окно кафе я заметил, как подол платья певички исчезает в глубине черной кареты. А этот тип со склеротичным лицом наверняка принял меня за своего коллегу из Вены.

Лакей еще постукивал карандашиком по столу:

— Я жду! С вас тридцать восемь копеек…

— Сейчас, — ответил я и схватил агента за глотку.

Но, увы, воротничок на шее венского шпиона, внешне выглядевший гуттаперчевым, оказался стальной пластинкой. Трость взлетела кверху, и она, увы, тоже была не камышовой, а железной. Последовал удар по куполу храма — и я покатился на пол, громыхая падающими стульями. Ротмистр перестал изображать читателя газет: он метнулся через все кафе и сбил агента с ног. Лакей навалился на него сверху, а я, лежа на полу, перехватил руку шпиона с револьвером. Трах! — пуля со звоном высадила зеркальную витрину. Ротмистр уже брякнул наручниками:

— Берем и этого… в черную карету. Готов!

В управлении Лепехин встретил нас упреками:

— Дернул же черт ее выхватить деньги! Откуда знать, что она такая нахалка… Все получилось грязно, как в участке. Одно утешение — быстро. Британские джентльмены считают разведку делом спорта, а в спорте без синяков не бывает…

2. Без объявления войны

Сегодня я встретил на Мясницкой гражданина В., который, старчески опираясь на палочку, нес обывательскую кошелку, а из нее свешивался хвост трески, купленной в магазине. Я узнал этого человека: после всех завихрений в жизни он остался в СССР и теперь жил с того, что обучал молодых дипломатов игре в бридж и в покер. Случайная встреча с ним на московской улице надоумила меня записать здесь забавную историю, которая, по всей видимости, может иметь отношение и к моей судьбе…

\* \* \*

В числе многих гостей, приехавших в Москву на коронацию Николая II, была и румынская королева Мария — полурусская, полуангличанка. Женщина ослепительной красоты, она в Бухаресте разыгрывала роль византийской принцессы, возрождая своим поведением нравы времен упадка Римской империи. В Москве, как и положено в таких случаях, к ней приставили пажа. Это и был В. Когда он впервые взялся нести пышный трен платья королевы, она живо обернулась, сказав ему по-русски:

— Боже, какой Аполлон! А вы не боитесь моих когтей?

Перед отъездом в Бухарест она устроила пажу вечер прощания, затянувшийся до утра. Но самое пикантное в том, что женщина была под надзором русской полиции, ибо сношения Петербурга с румынской династией были крайне натянуты, и В. тоже угодил под наблюдение. Разведка отметила его ловкость, умение сходиться с людьми, знание светских обычаев и склонность к мотовству. Выйдя из пажей в лейб-гвардию, В. красиво волочил по улицам саблю и в шесть глотков — на пари! — опустошал бутылку шампанского. Он занимался не столько службою, сколько романами со столичными львицами и тигрицами. Вскорости задолжал в полку, разорил отца, а когда запутался окончательно, был приведен «на покаяние».

— Согласитесь, — сказали ему, — вы уже некредитоспособны, чтобы покрыть долги и проигрыши. Мы готовы великодушно предоставить вам случай исправить скверное положение.

— Что я должен делать? — приуныл В.

— Поедете в Вену, где будете прожигать жизнь, как это вы делали в Петербурге. Все расходы берем на себя. Деньги вы должны тратить не жалея, и чем шире возникнет круг ваших венских знакомств, тем щедрее вас будут субсидировать.

— Я начинаю кое-что понимать, — призадумался В.

— Нас не волнует, что вы понимаете и чего понять не можете. Нам важно, чтобы алчная до удовольствий Вена оценила вас как щедрого повесу, который не знает, куда ему девать деньги.

— Задача увлекательная! — согласился В.

— Не отрицаем. Она тем более увлекательная, ибо в Вене можно узнать все, если действовать через женщин…

В. закружило в шумной венской жизни. Он служил как бы фонарем, на свет которого тучей слеталась ночная липкая публика, падкая до денег и удовольствий, порочная и продажная. Русская разведка, издали наблюдая за окружением В., старательно процеживала через свои фильтры певцов и кокоток, ювелиров и опереточных див, королев танго и королей чардаша, интендантов и дирижеров, высокопоставленных дам и разжиревших спекулянтов венгерским шпиком. Однажды, вернувшись под утро в отель, В. застал в своем номере человека, узнав в нем одного из тех, кто его завербовал.

— Среди ваших приятелей, — сказал тот, — недавно появился некий майор Альфред Рэдль… Что можете сообщить о нем?

Непутевый В. оказался достаточно наблюдателен.

— Рэдль, — доложил он, — явно страдает непомерным честолюбием. Никогда не был богатым, завистлив к чужому благополучию. Подвержен содомскому пороку, который окупается дорого, отчего Рэдль вынужден кредитовать себя в долг.

— Очень хорошо, — заметил приезжий. — Но это все качества отрицательные. А что положительного в этом майоре?

— Он… противен! Вот это самое положительное мое мнение. Но согласен признать, что Рэдль человек необычный. Владеет массою языков. Большой знаток истории и географии. По некоторым его фразам могу вывести заключение, что Рэдль интересуется новинками техники… Ну и, наконец, могу повторить, что он замечательно отвратителен!

— Он просил у вас денег?

— Даже чересчур навязчив в таких просьбах.

— Вернул ли взятое?

— Нет!

— Чудесно. Давайте ему сколько ни просит.

— Слушаюсь. А теперь я спрошу вас… Рэдль до сих пор не проговорился о своей службе. Я хотел бы знать — кто он?

— Начальник агентурного бюро при австрийском генеральном штабе. Работает против нас — против России…

Вскоре В. при свидании с Рэдлем огорченно сказал, что он вынужден вернуться на родину — для продолжения службы.

— К сожалению, — отвечал Рэдль, — я не могу своевременно рассчитаться с вами за свои долги. И мне искренне жаль, что я теряю такого щедрого и приятного друга.

— Не огорчайтесь! — отвечал В. — Скоро у вас появится новый русский друг, который окажется щедрее меня…

На пост военного атташе в Вене заступил полковник Митрофан Марченко, знающий генштабист, отличный проницатель людских слабостей. Петербург вскоре же получил от него исчерпывающую характеристику на Рэдля: «Человек лукавый, замкнутый, сосредоточенный, очень работоспособный. Склад ума мелочный. Вся наружность слащавая. Речь мягкая, угодливая. Движения рассчитанные, замедленные. Глаза постоянно улыбающиеся, вкрадчивые. Более хитер и фальшив, нежели умен и талантлив. Циник!»

Марченко сначала обворожил Рэдля комплиментами, затем по-деловому припер его к стенке. Рэдль понял, что деваться ему некуда: сейчас он во власти этого русского полковника.

— Ну что ж. Я согласен… помочь вам!

Рэдль продался русской разведке в 1902 году. В его обязанности входило и оповещение о всех агентурных акциях со стороны Вены, направленных против России. Очевидно, я каким-то образом — через, майора Цобеля — тоже попал в сферу внимания Рэдля, и он сразу же предупредил русские власти о моем появлении с письмом на Гожей улице в Варшаве…

\* \* \*

После удара тростью по голове я три дня отлеживался в стерильной клинике доктора Маковского — той самой отдельной палате, где много позже скончался премьер Столыпин после выстрелов в него Богрова, агента царской охранки. Признаюсь, я пребывал в настроении, близком к умильному, романтизируя его на свой лад, может быть, очень далекий от реального мира.

С лирикой было покончено после визита Лепехина.

— А теперь, — сказал он, — поговорим серьезно… Те два револьвера, взятые у вас при аресте на Гожей, стреляли где угодно, только не в тире у Шести Тополей на берегу Савы.

— В чем вы меня подозреваете, господин полковник?

— В соучастии в убийстве короля Александра и королевы Драги. Потому вам нет никакого смысла возвращаться в Петербург. Если появитесь в столице, дорога в юридический мир будет для вас закрыта… Буду предельно откровенен! — предупредил он меня. — Русской дипломатии этим убийством Обреновичей оказана большая услуга в делах на Балканах. Но вы же сами понимаете, что наши держиморды хотя бы для видимости законности должны наказать кого-то, дабы за границей не думали, что Россия причастна к этому злодеянию… Вот вас и накажут!

— Что же вы мне теперь предлагаете? — спросил я.

— Если вы, образованный правовед, выпущены в свет с чином коллежского секретаря, то — по Табели о рангах — вам обеспечен чин поручика на военной службе.

— Господин Лепехин, к чему эти загадки?

— Никаких загадок! Для начала я предлагаю вам интересную службу в нашей погранстраже. Граница в безобразном состоянии, заборы на ней трещат: лезут через нее все кому не лень. А мы озабочены именно тем, чтобы офицеры погранстражи были из людей образованных, со знанием языков и законов.

— Благодарю. Но я хотел бы подумать.

— Сколько времени требуется вам для размышления?

— Ответ я дам двадцать восьмого июня.

— Я не возражаю… Думайте…

О службе на границе я ничего не знал, и во мне, кроме юношеского интереса ко всему необычному, пробудилось чувство патриота, обязанного послужить отечеству. Теперь-то, умудренный долгим опытом жизни, я понимаю, что все случившееся со мною в Трансваале, в Белграде, в Варшаве и в Киеве — все это должно было привести меня на тот единственный в жизни путь, где я полнее всего мог проявить себя. Помнится, я не скрывал от Лепехина, что потрясен этой сценой в «Ротонде»:

— Я никогда раньше не подозревал, что здесь, даже внутри мирного Киева, матери городов русских, можно встретить иностранных шпионов, ведущих себя столь нагло и без боязни.

— Да, — согласился Лепехин, — таких историй у нас немало. Уже давно длится потаенная война, о которой не станут трепаться в газетах. Поверьте, мы не сидим тут без дела. Наша разведка ежедневно занята работой, которая скажется в будущем. Мы ведем войну, когда она еще не объявлена… Однако почему вы свое решение откладываете до двадцать восьмого июня?

— Моя мать всегда высоко почитала этот день, Видовдан, день решающей битвы на Косовом поле…

Я отправил телеграмму отцу, что он может поздравить сына с чином поручика погранстражи. Человек иногда живет, сам не зная своей судьбы. Не потому ли так интересно жить?

3. Граница без замка

Теперь, когда граница СССР находится на постоянном и прочном замке, а сами пограничники стали народными героями, о которых немало пишут в газетах и книгах, надеюсь, не будет лишним напомнить о старой жизни русской погранстражи — какова она была раньше и успешно ли работала?

Пусть читатель не удивляется: военное министерство не совало нос в наши дела, мы были как бы автономной единицей в огромном аппарате вооруженных сил государства. Погранстража подчинялась министерству финансов и департаменту таможенных сборов. Отчасти это легко объяснимо: где граница, там контрабанда, там и доходы с таможен, обогащающих казну империи. Отнюдь это не значит, что мы вроде кладовщиков взвешивали товары или выступали в амплуа налогосборщиков, — мы оставались солдатами русской армии, и наша кровь не раз проливалась на узкую пограничную полосу…

Граница всегда привлекательна для людей, которые, помимо целей наблюдения и шпионажа, бегут от суда и наказания за преступления или селятся возле самой границы ради преступной наживы. Конечно, возникали горячие стычки и перестрелки, погоня и ловля в лесах бродяг, беспаспортных и дезертиров. Преследовать нарушителей «по горячим следам» мы имели право лишь на три версты от границы (после чего поиском занималась местная полиция). Но эти «горячие следы» иногда уводили нас и на территорию Германии, а немецкие пограничники — в азарте погони — иногда даже проскакивали с оружием через рубеж, что не считалось нарушением границы.

Много хлопот нам доставляли «факторы», занимавшиеся торговлей «живым товаром», — через их руки проходили за рубеж женщины для домов терпимости в странах не только азиатских, но даже европейских. Эти несчастные Акульки и Матрешки не знали, к чему их готовят, нанимаемые «факторами» под видом сезонных работниц для безобидной прополки полей с турнепсом или для сбора гороха.

Здесь скажу: в отличие от офицеров армии мы были крезами. Задержав контрабанду, наряд погранстражи получал 60 процентов стоимости товаров. Представьте себе арест трех тюков: в одном парижская парфюмерия, во втором дамское белье из Голландии, в третьем бельгийские кружева… Какие там сорок рублей месячного жалованья? У нас даже рядовые объездчики, у себя в деревне щи лаптем хлебавшие, в трактирах расплачивались «катеринками», а господа офицеры могли купать ноги в шампанском. Деньги на границе с Германией назывались с оттенком явного пренебрежения — «пенёнзами»!

Официально мы именовались так: «Отдельный корпус погранстражи». По табельным и праздничным дням Граевская бригада выстраивалась напротив штаба «Потемкинских казарм», мы разворачивали свое знамя, а гарнизонный оркестр играл «Марш Радецкого» — того самого генерала Радецкого, который обессмертил себя историческими словами: «На Шипке все спокойно».

Зато на границе никогда не бывало спокойно!

\* \* \*

Граево — захудалый городишко Ломжинской губернии [4] , важная станция железной дороги, соединявшей Белосток с прусским Кенигсбергом, где издревле короновались Гогенцоллерны, где они постоянно держали мощные гарнизоны.

От бурного когда-то прошлого, в котором мне мерещилась разгневанная Бона Сфорца, угрюмый Стефан Баторий и прекрасная Барбара Радзивилл, в городе ничего не осталось (или я, может быть, не сумел заметить). Тогда в Граево была фабричка, выпускавшая тесьму для корсетов и шнуровки дамских фигур, а центром всеобщего зловония и грохота служили костоломня и костеобжигательный завод. Общая же картина города, вписанного в пейзаж унылой лощины, не вызывала у меня желания называться граевским старожилом. Грязный дым из фабричных труб и мастерских депо, копоть от множества паровозов, уличные рейнштоки (канавы), переполненные нечистотами, копеечный дух грязных лавчонок, где ту же граевскую тесьму продавали втридорога, выдавая ее за изделие Парижа, — все это, вместе взятое, отвращало от лицезрения даже прекрасных костелов и древних синагог, где затрушенные евреи еще восхваляли красавицу Эстерку, соблазнившую грозного короля Казимира Великого. В довершение всего езда по граевским мостовым была сопряжена с неизбежным сотрясением мозга…

В штабе я сначала представился генералу бригады: такой-то, мол, и такой-то явился ради того-то… Но мой доклад не понравился генералу:

— Явились? Вы разве привидение в древнем замке, чтобы являться мне в полночь? Или вы чудотворная икона, которая вдруг явилась в монастыре, озабоченном новыми доходами? Нет уж, милейший, вы не явились, а — прибыли-с!

Понятно, почему он так меня встретил. У нашего генерала уже сложилось определенное мнение о правоведах:

— Недавно одного такого законника взяли! Пришлось перерыть весь уголь в тендере паровоза, идущего в Пруссию, пока его не выкопали. Служил юрисконсультом в обществе «Юнона», из кассы которого похитил сразу сто тысяч. Так вот, он на допросе тоже хвастал, что законы знает. А при жене его была астраханская селедка. Я думаю — с чего бы это даме с нашей вонючей селедкой по Европе таскаться? Резанул ей брюхо (не даме, конечно, а селедке), так оттуда, мама дорогая, бриллиант за бриллиантом — так и посыпались, будто тараканы…

Начальник штаба бригады указал мне:

— Сначала побудете на границе. Пообвыкнетесь. А потом, я думаю, послужите на осмотре поездов и пассажиров…

Я получил назначение в деревню Богуше, в пяти верстах от Граево, где располагались кордон и таможня. Там, близ нашей заставы, высился обелиск, поставленный еще в 1545 году, и на меня вдруг пахнуло временами Сигизмунда I и Альбрехта, магистра ордена крестоносцев. Теперь этот памятник древних рубежей, отделявший страну поляков от будущих захватчиков, обратился в обычный пограничный столб № 17, а со стороны Германии его украшал № 91. Начальник заставы в Богуше капитан Никифоров сопроводил меня до границы, дал бинокль.

— Для начала можете полюбоваться на Германию… Живут же, паразиты, позавидовать можно! — сказал он мне.

За чертой границы виднелась деревня Prostken. Отличное шоссе, обстроенное каменными домами, деревня с лавками и магазинами, меня удивило наличие в деревне ресторана и пивных (bier-halle). По шоссе ездили на велосипедах гимназистки и солидные фрау, торговал газетный киоск.

— Хороша наша дярёвня, только славушка худа, — сказал Никифоров словами известной песни. — В прусской гмине начальником майор Лунц, и я дал бы себя высечь, только бы знать, за какие дела он недавно получил Железный крест от кайзера. Наверняка в чем-то обдурил и меня, и нашу заставу…

К ночи линия границы высветилась жиденькой цепочкой электрических огней. От столба № 17 я впервые выступил в дозор. Никифоров дал мне в наставники фельдфебеля Маслова, знавшего границу, как извозчик знает улицы и закоулки своего города. Всю ночь шли лесом, пустошами, выгонами и околицами деревень, примерно каждые 400–500 метров Маслов обнаруживал «секрет», опрашивая незримых солдат — все ли спокойно? Я удивился, что «секреты» расположены на таком удалении. Маслов сказал:

— У немцев еще реже, да зато стреляют без предупреждения, а наши молчат. — Под утро, когда мы протопали верст пятнадцать кряду, фельдфебель меня пожалел: — Скушно вам будет тута, господин поручик. Однако, ежели повезет, года через три можете и в штабс-капитаны выйти.

— Так скоро? — удивился я.

— Можно и скорее. В энтих краях, ежели оглядеться построже, всегда повод для отличия сыщешь. Устрой облаву на любой хутор, непременно тайник с контрабандой сыщешь… Или убьют кого постарше вас, вот вам и повышение выпадет в чине!

Служба на границе стала для меня интересной лишь тогда, когда я начал понимать ее сложности. Хотя в «Правоведении» я изучал правила таможенной службы и тарифов, на практике же многое оказалось иначе. Например, химические реторты и колбы, завозимые из Германии, облагались высокой пошлиной, но эти же сосуды, запечатанные сургучом с надписью «Воздух для опытов», не облагались налогом, ибо воздух никогда не считался товарной ценностью. Свою первую благодарность я получил за сообразительность. Недавно в Осовец прибыли пятьсот новобранцев, и на телеграфе я арестовал телеграмму, идущую в Кенигсберг с таким невинным содержанием: «Прибыло стадо в 500 голов, но скот тощий и для выделки колбасы еще непригоден…» — информация немецких агентов была точной!

Постоянных нарушителей границы, которые преступили закон не только в России, но и в Германии, нам передавали сами же немецкие пограничники. Но я не помню ни одного случая, чтобы арестованный был возвращен нам трезвым; при аресте контрабандиста или вора немцы почему-то считали необходимым напоить их до потери сознания. Пойманных с контрабандным грузом в России ссылали на 21-ю версту от рубежей; при второй поимке на 51-ю и, наконец, в третий раз удаляли от рубежей на 101-ю версту. Если жулик там не мог успокоиться, его брали за цугундер и сдавали в арестантские роты. Но были и такие мастера незаконной наживы, разоблачить которых почти невозможно. Помню, я с трудом нашел предлог для ареста Рувима Петцеля, но в конце допроса он честно сознался, что с десяти рублей дохода имеет лишь один рубль. Это меня удивило:

— Так ради чего ты ревматизм по ночам наживаешь в болотах? Куда же деваются девять рублей из десяти?

Петцель и сам не знал. Но было ясно, что он лишь крохотная шестеренка в сложном механизме преступной наживы, дающей кому-то миллионные прибыли, и этот некто, опутавший всю границу круговой порукой, спокойно поплевывает на меня, поймавшего Петцеля, и на самого Петцеля, пойманного мною. Сломав в шестеренке один только зубчик, я не мог остановить сам механизм, и потому отпустил Петцеля домой, дав ему хорошего пинка на прощанье… Но бывали и такие случаи, когда мы, погранстражники, умышленно закрывали глаза на контрабанду.

Капитан Никифоров особо предостерег мое рвение:

— Анилиновые красители и германскую оптику фирмы Цейса пропускать беспрепятственно. Финансовая политика у нас такова, что, если эти красители и призмы закупать в Германии официальным порядком, они обойдутся казне во много раз дороже, нежели путем незаконным… Учтите это, поручик! Дрова всегда колоть можно, но ломать их кулаком не советую…

Мог ли я тогда знать, что из этих внешне безобидных красителей фирма «ИГ Фарбениндустри» выработает формулу отравляющих веществ, а немецкий химик Фриц Габер, будущий лауреат Нобелевской премии, обрушит на голову врагов кайзеровской империи страшную лавину смертоносного иприта!

Во время дежурств на железнодорожной станции мне пришлось немало повозиться с проверкою поездов, идущих через Граево на Кенигсберг или обратно. Особенно трудно было вести борьбу с «пантофельной почтой». Чуть отвернешься, и на стене вагона углем или мелом нарисуют кружочек с черточкой, какие-то углы или квадратики. Разгадать эту кабалистику невозможно, а местные жители при аресте клялись нам, что таким образом они пересылают сведения о ценах на товары своим сородичам, живущим в пределах Пруссии. Но ведь могло быть и так, что в «пантофелях» скрывался не только коммерческий интерес, а потому погранстражники ходили вдоль составов с мокрыми тряпками и, матерясь во всю ивановскую, стирали все надписи…

Вскоре я на личном опыте убедился, что хваленая германская разведка способна давать «осечки». Недавно в наших краях разместилась воздухоплавательная рота, при ней базировался дирижабль «Беркут», закупленный у французов, а в глуши Мазурских лесов строилась первоклассная крепость Осовец, которая в случае войны с Германией надежно прикрывала Брест-Литовское направление. Конечно, немецкий генштаб засылал агентов для изучения подходов к крепости. Их было, наверное, больше, чем раков в озерах, но лично мне удалось поймать одного.

По фамилии — Берцио! Он имел при себе «легитимационный» билет на право посещения русской территории, а по документам выехал из прусского Кемпена. На мой вопрос о целях визита в Мазовию Берцио наивно ответил, что давно пленен бесподобной красотой мазовшанок и приехал выбрать себе жену. Берцио было лет за сорок. Я, составляя протокол, нарочно спросил:

— Значит, вы холостяк?

Он охотно подтвердил свою версию. Но в его портфеле я обнаружил портативный теодолит с цейсовской оптикой:

— Это для чего? Разглядывать красоту мазовшанок на предельной дистанции? Извините, Берцио, вы арестованы…

Я уже обратил внимание, что при общей потрепанности костюма Берцио воротничок на его шее выглядел подозрительно чистым и даже упруго накрахмаленным. Как и следовало ожидать, под изгибом воротничка раствором пирамидона были изображены схемы наших крепостей и расчеты углов обстрела крепости Осовец.

Дело об этом шпионе попало на страницы наших и германских газет. Барон Брюк, немецкий консул в Ломже, заявил энергичный протест, требуя немедленного освобождения Берцио на том основании, что опасно заболела его… жена! Тогда ему был предъявлен мой протокол, подписанный самим Берцио, который заодно уж расписался и в поисках красивой невесты:

— Смотрите сами, господин консул. Или ваш подданный холост, или же он обманывает законы Германии, желая сделаться двоеженцем — на родине и за границей…

Очевидно, этот Берцио считался в Берлине весьма ценным агентом, потому что шум был большой, а скоро меня пригласили в штаб Граевской бригады, где и поздравили:

— Благодарим, господин поручик: Берцио сознался, что работал на германский генштаб, и ныне осужден по 111-й статье… Ему уготована ссылка в места близ нашей Тюмени.

— В каком же чине этот Берцио мне попался?

— Как выяснилось, он майор немецкой армии.

Будь проклят этот майор; Берцио, как и я, обладал профессиональной памятью и хорошо запомнил меня в лицо, что впоследствии сказалось на моей работе. Но не стану забегать вперед…

Постоянно связанный с пограничной таможней, я уже тогда начал собирать для себя библиотеку из конфискованных книг. Мне было любопытно знать, что пишут и что думают в других странах и что запрещает читать нам, русским, наша же, русская цензура. Случайно я приобрел книгу Тормана и Гётше, изданную в Берлине в 1895 году. Меня она сильно задела и крепко возмутила. Авторы писали, что к 1950 году всей Европой станут управлять немцы: «Они будут пользоваться политическими правами и приобретать землю. Они… будут народом господ; наряду с этим они дозволят, чтобы второстепенные (грязные) работы выполнялись для них иностранцами, находящимися в их подчинении», — то есть рабами! Так я невольно ознакомился с программой опасного пангерманизма, который впоследствии дал богатую пищу для развития бредовых идей Гитлера, но, судя по тексту, Гитлер тряс дерево, уже несущее ядовитые плоды…

\* \* \*

Службою я был доволен. Хотя начальство неодобрительно взирало на офицеров, желавших знать польский язык, я все-таки взялся за его освоение. В этом мне очень помогли знакомства с местной польской интеллигенцией, близкое приятельство с граевским и мышинецким ксендзами, людьми умными и высокообразованными. Зимою меня навестил в Граево отец, который, увидев сына в обширных солдатских валенках и в замызганной офицерской бекеше, перетянутой портупеей, предался отчаянию.

— Перед тобой открывалась такая широкая карьера! — горевал он. — Твои товарищи правоведы уже ездят на рысаках с подковами из чистого серебра, за одну лишь речь в суде берут бешеные гонорары, многие сделали блестящие партии в браке, а ты… Что ты? Жалкий поручик в занюханном гарнизоне.

У меня не нашлось для отца слов утешения:

— Ах, папа! Лучше уж быть, чем казаться…

4. От Бильзе до Куприна

Все-таки я, наверное, очень сухой человек. Сам не знаю почему, но всегда оставался равнодушен к природе. Я способен оценить ландшафт в целом, как общую картину, но меня никогда не тянуло в лес собирать грибы, я считал идиотами людей, гробящих драгоценное время на сидение возле реки с удочкой. Для меня ничего не значит куст черемухи или сирени, я ни разу не вздохнул над прелестями восхода или заката — мне они не были безразличны лишь по той причине, что определяли время суток. Меня интересовали прежде всего люди с их идеями и выкрутасами психологии, а не то, как ветерок слабо колышет на дереве пожелтевший листочек или поет птичка. Когда мне в книгах встречаются подобные описания, я их сразу же пропускаю, даже не вчитываясь в эти авторские излияния.

Зато я хорошо отношусь к животным! Как раз в мое время какой-то ученый дурак-орнитолог ратовал за уничтожение аистов, считая их вредными птицами, и я был душевно рад, что ни у солдата на границе, ни у местного жителя не поднялась рука наводить ружье на красивых и домовитых птиц, доверчиво строящих свои гнезда подле жилья человека. На заставе в Богуше я стал хозяином молодой кобылы по кличке Рава, и вот прошло много-много лет, а я не забыл нашей любви, нашей подлинной дружбы. Я вообще верю в любовь между животным и человеком. На моих глазах люди, потерявшие свою лошадь или собаку, жестоко спивались, умирали в скоротечной чахотке. До сей поры берегу память о незабвенной Раве: ее давно нет на свете, но я все еще думаю: «Какой-то ее конец? Не обижали ли ее злые люди? Была ли она сыта и напоена? Тепло ли ей было в стойле?..»

Вернусь к делам службы, к ее впечатлениям! Через наши кордоны вся иностранная литература, включая и запретную, поступала скорее, нежели в столичные таможни. Кажется, роман лейтенанта Бильзе «Из жизни маленького гарнизона» еще не появлялся в переводе на русский, когда в Граево мы уже читали его в немецком издании [5] .

Был хороший зимний вечер, в нашем гарнизонном собрании мягко светили абажуры, в печах уютно потрескивали поленья… Мы читали вслух о тщетности офицерской карьеры, о затхлом мещанстве офицерской среды, далекой от интересов общества, о низменности духовных запросов в быту офицеров. Лейтенант Бильзе четко обрисовал подлинную жизнь 16-го Обозного гарнизона на границе в эльзасском Форбахе, и, хотя роман был написан об офицерах кайзеровской армии, нам далеко чуждой, теневые стороны германской военщины были в чем-то схожи с недостатками нашей армии. Капитан Никифоров, послушав, сказал:

— Если такие книжки читать, так и служить не захочешь.

Штабс-капитан Потапов, мой приятель, даже смеялся:

— Верно — не захочется! И вот я думаю теперь: не за это ли и дал кайзер по шее этому лейтенанту Бильзе?

«Поединок» Куприна еще не был нам известен, а буря, которую он вызвал, нас еще не коснулась. Но мы уже знали, что «лейтенант Бильзе» — по велению Вильгельма II — за свой роман был предан военному суду. Автору в Германии инкриминировали злонамеренное отражение офицерской морали и дисциплины, оскорбление офицеров, являющихся — по мысли того же кайзера — образцом немецкой нации. За это Бильзе и поплатился очень жестоко: лишенный чести офицера, он был посажен в тюрьму, а его роман «Из жизни маленького гарнизона» был предан публичному шельмованию и сожжению под улюлюканье публики.

Многих больше всего затронули именно последние страницы книги, где Бильзе сравнивал службу в пограничных войсках с тяжким наказанием, а жизнь в захолустном Форбахе добивала в людях любые добрые намерения. Все мы дружно согласились, что, наверное, эльзасский Форбах не лучше нашего Граево:

— Но… не бежать же нам! Да и куда вырвешься?

Начальник штаба погранбригады сказал:

— Тут надо подумать! Безопасность отечества не требует, чтобы мундир офицера был застегнут обязательно на все пуговицы. Но ширинка, пардон, у офицера все-таки не должна быть расстегнута. Германия не ощутит нашей боевой слабости, если кто-либо из вас заведет шашни с дамою. Но пусть об этом знают лишь два человека — сам офицер и его дама. Любая оплошность офицера кладет пятно на знамя нашей славной бригады.

Штабс-капитан Потапов осмелился противоречить:

— Простите, но это всего лишь дисциплинарная нотация под видом критики книги. Но какие же выводы из самой книги?

— Да никаких! Пошел он к чертям собачьим… Сожгли его книжонку — и верно сделали: нельзя же так беспардонно выворачивать все кишки нашей офицерской касте. Да появись такой автор в России, ему бы руки оторвать надо! Вопросы кастовости ко многому обязывают — даже здесь, в захолустье в Граево…

Настала морозная ночь, а утром на санках привезли бедного Потапова: он был зверски убит в схватке с бандой контрабандистов на выезде из посада Мышинец. Его добивали прикладами по голове с такой силой, что костяшки пальцев, которыми он закрывал голову, оказались вколочены под череп и перемешаны с мозгами.

Никифоров сказал мне на кладбище Граево:

— Если уж наша служба вызывает у врагов такую лютую ненависть, значит, она необходима государству… Но службе не стоять на месте, а потому берите взвод бедняги Потапова.

\* \* \*

Это был взвод стражников и объездчиков, опытных в лесу и дозорах, но совершенно беспомощных в грамоте.

Понимая честь офицера на свой лад, я купил грифельные доски, детские буквари, географические карты и карандашики с тетрадками. Обучение солдат далось нелегко. Ведь для неграмотных людей большое значение имеют городские вывески; если на улице он походя читает обиходные слова «Баня», «Стрижка-брижка», «Продажа дегтю и сахару» — ему радостно познавание азбуки. Но в Граево вывески были польские или немецкие. И все-таки я горжусь, что через полгода в моем взводе каждый умел читать и писать, каждый был твердо уверен в том, что Волга впадает не куда-нибудь, а непременно в Каспийское море.

Начало войны с Японией застало меня в пограничном посаде Мышинец, дороги по направлению к которому были сознательно испорчены ради стратегических(!) соображений: перерыты канавами, перегорожены цепями, засыпаны грудами булыжника.

Здесь, вдали от Граево, я со своим взводом оказался в невольной изоляции, вынужденный принимать самостоятельные решения в пограничных спорах с немцами, а известие о войне с Японией мы в своей глухомани восприняли даже спокойно… Нет смысла описывать то, что пережили тогда все русские. Но даже сейчас, по прошествии долгого времени, немногие представляют едва ли не главную причину наших поражений. Имея фронт на полях Маньчжурии, Россия ожидала нападения на западе — со стороны Австро-Венгрии и Германии; одновременно мы усиливали армию на границах с Афганистаном, где можно было ожидать нападения англичан. Потому-то главные ударные силы России — заодно с гвардией — остались на западе, а с японцами сражались худшие войска, взятые из запаса. Но такого распределения сил требовало от нас франко-русское содружество.

Как результат поражения царизма (но только не армии России!) явилась и наша первая русская революция, отголоски которой доходили до гарнизонов в искаженном виде — а по газетам немного правды и узнаешь. Мы тогда больше следили за передислокацией германской кавалерии близ наших рубежей, нас тревожила усиленная работа германской агентуры…

В бригаде я держался независимо, не выносил угодничества, но это было общее явление, и офицеров, подхалимствующих перед начальством, бойкотировали, называя их «мыловарами». По каким-то причинам, для меня неясным, мне вдруг была предложена адъютантская должность Граевского погранокруга. Я отказался.

— Почему отказываетесь? — спросили меня.

В самом деле — почему? Ведь быть адъютантом — первая ступень для быстрой карьеры, и не надо больше мерзнуть в лесах, гоняться за бандитами, удирающими с мешками на спине, можно, наконец, жить в приличных городских условиях.

— Мне сейчас важен ценз, — отвечал я. — Но адъютантом я в своем формуляре теряю ценз командной выслуги.

В штабе бригады догадывались о моих намерениях:

— Да, без наличия ценза в Академию Генштаба вас не примут. А вы, кажется, именно туда устремляетесь… не так ли?

У меня не было причин разубеждать в этом:

— Не примите мои слова за излишний пафос. Просто я слишком унижен результатами этой войны. Не хочется думать, что моя служба в русской армии останется лишь случайным эпизодом, как беременность у чересчур порядочной барышни.

Начальник штаба попробовал меня отговаривать:

— Я лучше вас знаю, как невыносимо трудно офицеру из маленького гарнизона выбиться в элиту «корпуса генштабистов». Прежде экзаменов в Академии надо пройти образовательный конкурс в учебной комиссии Варшавского военного округа. Резать начинают уже здесь, и режут без жалости! В прошлом году под арку Главного штаба устремились сто двадцать офицеров, но Варшава оставила для академического конкурса лишь пятерых. А в Петербурге из пятерых выбрали одного… Воленс-ноленс, но два иностранных языка требуется знать превосходно.

Я сказал, что ручаюсь за знание четырех языков:

— Не тратя время на их изучение, могу целиком посвятить себя освоению других важных предметов… В частности, плохо еще знаю о расстановке и движении небесных светил!

Верхом на любимой Раве я вернулся на заставу, нагруженный учебниками и грудой уставов, которые требовалось вызубрить. Даже для экзамена в военном округе знать надо было немало — от алгебры до взятия барьеров на лошади. Всю дорогу до Мышинца я шпорил свою Раву, заставляя ее перепрыгивать через канавы. Вернулся на заставу к ночи, усталый, но счастливый…

Мышинец считался столицей курпов — мазурской ветви поляков (kurpie — по-русски «лапотники»). Я любил бывать в их уютных деревнях, где женщины красивы и добросердечны, а мужчины славились честностью, мужеством и физической ловкостью. Охотники и пчеловоды, рыбаки и дегтяри, курпы нравились мне неиспорченным радушием, их быстрая перемена настроений была почти актерской, а костюмы поражали театральной красочностью — с кораллами и лаптями, с перьями павлина на шляпах.

Когда я подал рапорт об отпуске для подготовки к окружным экзаменам, меня освободили от службы на два месяца, и все это время я провел в чистоплотной курпской деревне, носил белую рубаху с красными кистями, нарочно обулся в лапти. Я поселился в светелке избы, среди тарелок и цветов, развешанных по стенам; питался гречневыми блинами с медом, грибами и угрями из местных озер. Пьянства курпы не терпели, зато много курили, и, входя в какую-либо избу, я прежде всего разводил перед собой облака дыма, а потом уж говорил приветливо:

— Похвалони!

На что мне всегда отвечали:

— Похвалони на вики викув… амен!

Здесь я пережил серьезное увлечение курпянской крестьянкой — с волосами, как у русалки, с неправильными, но прекрасными чертами лица; она носила на груди ворох кораллов. Время и границы разлучили нас навсегда, но если она еще жива, если войны не разорили ее дом, дай бог этой женщине счастья — в детях ее, во внуках ее! Я поныне благодарен судьбе за то, что она была тогда рядом, едва коснувшись моих губ своими губами, и неслышно отошла от меня, навеки растворившись в лесах и болотах польской Мазовии, или точнее — Мазовше…

Когда я прочел купринскую повесть «Олеся», я вспомнил свою жизнь среди курпов и понял, что пережил нечто подобное.

\* \* \*

Я вернулся в Граево, исполненный лучших надежд на будущее, а знаменитая арка Главного штаба в Петербурге теперь казалась мне аркою триумфальной. Может быть, сомнения никогда бы не коснулись меня, если бы Куприн не создал свой «Поединок», который многое перевернул в моем, и не только в моем, сознании. Хотя мы, погранстражники, находились на особом положении, но мысли, высказанные Куприным в своей книге, так или иначе задели каждого офицера. «Поединок» никак не являлся русской репликой на роман «лейтенанта Бильзе»; он был страшнее, выпуклее, наконец, просто талантливее!

Казалось, самые нерушимые монументы офицерского долга свергнуты с пьедестала. Правда, среди нас, погранстражников, не нашлось солдафонов-бурбонов, никто не впадал в излишнюю амбицию, чтобы слать Куприну негодующие вызовы на дуэль, но многие призадумались. Задумался и я — не стала ли русская армия зеркалом того упадка, морального и политического, который разъедает нынешнюю Россию?

Я задавал самому себе конкретный и честный вопрос:

— Стоит ли продлевать скуку наших дальних гарнизонов, где офицеры сами не знают, ради чего учились, и пытаются учить других? С одной стороны, писатель преподнес нам «культ личности офицера», а с другой — показал психологическую дряблость офицерской натуры, разучившейся действовать и мыслить, показал офицера-мелюзгу, который держится за свои 48 рублей, считая себя центром всего людского миропонимания…

Много лет спустя, вспоминая 1906 год, я спросил Б. М. Ш[апошникова], тоже поступавшего в Академию Генштаба, каково было его личное отношение к купринскому «Поединку».

— К сожалению, — отвечал он мне, — типы офицеров дальнего гарнизона схвачены Куприным удивительно верно. Я сам испытал это на себе, сам наблюдал таких «поручиков Ромашовых».

Я сознался, что после прочтения «Поединка» хотел даже отказаться от экзаменов в Академию, спрашивая сам себя: не базарим ли свою жизнь напрасно в захарканных гарнизонах? Не лучше ли сразу порвать с позывами душевного честолюбия?

— Я тогда тоже прошел через Академию, — улыбнулся Б. М. — Однако подобных мыслей у меня никогда не возникало…

Слишком четко врезался в мою память последний вечер на вокзале в Граево, где готовился экспресс для пропуска его за черту границы. Машинист дал гудок к отправлению, мимо меня качнулись пассажирские пульманы и слиппинг-кары первого класса. Красивые, балованные женщины равнодушно смотрели из окон вагонов на ничтожного поручика, который только что — вот мерзость! — ковырялся в их чемоданах, пересчитывал валюту в их кошельках. И вдруг я уловил что-то постыдно-общее между самим собою и купринским офицериком Ромашовым, который с такой же завистью провожал поезда, отлетающие в волшебный мир, далекий от его убогого гарнизона с выпивкой и картами.

«К черту! — сказал я себе, потуже натянув перчатку. — Пора выбираться отсюда, пока не уподобился героям Бильзе и Куприна. Коли уж не упал до сих пор, так будь любезен не стоять на месте, как дубина, а — двигайся…»

Не могу судить, в какой степени это решение зависело от литературы, а может, повинна и революция, уронившая в глазах русского общества авторитет офицера, но конкурс в Варшаве был в этом году невелик — лишь 13 человек со всего округа, и я взял все барьеры учености, а моя нежная, моя любимая Рава взяла барьеры манежные. Канцелярия Академии Генштаба, ознакомясь с моими баллами, вскоре прислала в Варшаву официальный вызов на мое имя — в Петербург!

Открывалась новая страница моей жизни. Последний раз я углубился в черной таинственный лес и увидел в нем жидкую цепочку огней — это была граница, за которой россия кончалась.

Но именно здесь же Россия и начиналась…

5. Науки армию питают

После Портсмутского мира, заключившего нашу войну с японцами, в Европе наступило как бы выжидательное затишье, а политики даже утверждали, что война — пережиток проклятого варварства, и зачем, спрашивается, теперь воевать, если в современной войне обязаны страдать одинаково — и победитель, и побежденный. Кого они больше жалели, нас или японцев, это уж не столь важно.

Я приехал в Петербург, когда волнения после небывалого шторма революции медленно затухали, на обломках погибшего еще держались уцелевшие после страшных катастроф… Полиция отыскала на даче в Озерках казненного там Гапона; веревка, на которой он висел, еще не успела перегнить, но повешенный уже начал разлагаться. Впоследствии — уже в Берлине — в запрещенной у нас книге Д. Н. Обнинского «Последний самодержец» я видел редкую фотографию из архивов полиции: вскрытие брюшины Гапона, главного виновника «кровавого воскресенья»… В столичных газетах того времени стали очень модными словечки, начинавшиеся со слога «кон»: контора, конгресс, конвульсии, конспиратор, консул, конспект, но русский читатель, со времен Салтыкова-Щедрина поднаторевший в познании эзоповского языка, понимал, что ему намекают на «конституцию».

Я был очень рад возвращению в город, который стал моими Пенатами, где прошла моя бестолковая юность, и вот теперь я вступал на широкие проспекты столицы офицером с несомненным будущим, но которое еще предстояло завоевать. Над Невою полно было чаек и веяли прохладные ветры (по выражению моего отца — «чухонские зефиры»). Конечно же, появясь в столице, я не преминул заглянуть в клуб «пашутистов» на Загородном проспекте, однако на этот раз любезный Пашу напрасно нацедил для меня в стаканчик крымского вина.

— Рад, что у вас не иссякают бочки с вином доброго урожая, но отныне я обязан хранить свою голову ясной и чистой…

Число «пашутистов» в подвале заметно поубавилось; я думал, они пополнили исторический некрополь столицы, но Пашу по секрету нашептал мне на ухо, что уже немало былых весельчаков и анекдотистов просто «изъяты из обращения».

— Как? Люди ведь — не фальшивые червонцы!

Пашу растолковал, что так говорят об арестованных или сосланных. Издавна считалось, что в России угодить в тюрьму гораздо легче, нежели попасть на концерт Феди Шаляпина. Но теперь сесть в тюрьму оказалось даже затруднительно. Все тюрьмы столицы были заполнены до отказа, многие осужденные интеллигенты маялись в хвосте очереди, ожидая, когда освободится камера; некоторые чудаки даже искали протекции, дабы отбоярить свой срок поскорее, попадая при этом в тюрьму, как говорится, «по блату»… Пашу рассказывал, что из Мариинского театра со скандалом выгнали даже ведущую певицу Валентину Куза, которая однажды, проезжая в коляске мимо рядов Финляндской лейб-гвардии, крикнула офицерам:

— Поздравляю с великолепной победой над рабочими и студентами! Вы гордо несете на своих боевых штандартах дату — девятое января… Вот бы вам так же хорошо воевать с японцами!

Невольно загрустив, я спросил Пашу:

— А где Щеляков? Не изъяли его из обращения?

— Пройди в задние комнаты, он с утра выклянчил у меня журнал «Мир Божий», теперь читает и хохочет…

«Мир Божий», публиковавший Максима Горького, Тарле, Бунина, Джаншиева и Куприна, был весьма популярен среди радикальной интеллигенции. Щеляков, увидев меня, неохотно оторвался от чтения. Он оставался по-прежнему толст, но в необузданном раблезианстве его застольных речей появилась явная горечь. Он сказал, что скоро его засудят за покушение на убийство пристава столичной полиции.

— А вы разве способны на это? — удивился я.

— Конечно. Каждый террорист выбирает для себя любимое им оружие. Я выбрал смех! И так рассмешил пристава, что он не выдержал и лопнул от разрыва сердца. А теперь в юридической практике появится новый фактор кровавого злодейства: убийство казенного человека посредством вызова в нем хохота…

Узнав о моем решении делать военную карьеру, Михаил Валентинович не одобрил «академических» планов:

— Скучно быть офицером армии, проигравшей кампанию.

— Именно потому и хочу быть офицером армии, чтобы она следующую кампанию выиграла, — отвечал я.

Щеляков процитировал мне стихи Соловьева:

О Русь! Забудь былую славу, Орел двуглавый осрамлен, И желтым детям на забаву Даны клочки твоих знамен. — Сейчас, — продолжал он, — многие офицеры подают в отставку, ибо везде, где ни появятся, их подвергают презрению и насмешкам. Дело доходит до того, что офицер стыдится носить мундир, стараясь появляться в штатском. Даже израненные калеки не вызывают сочувствия, а безногим нищим подают намного больше, если они говорят, что ногу им отрезало трамваем на углу Невского и Литейного, а к Мукдену и Ляояну они никакого отношения не имеют… Так стоит ли тебе вставать под знамена, поруганные врагом и обесчещенные в народе?

Я ответил, что мне обидно за армию, тем более что ее офицерский корпус давно стал наполовину демократическим:

— Кого ни колупнешь, всякий сыщет отца, служившего писарем, или деда, который еще корячился с сохой на своего барина.

— Твоя правда, дитя мое, — кивнул Щеляков, — но ты не забывай, что идеология прежней кастовости никогда не сдается. Молодежь из кадетских корпусов, какова бы она ни была, сколько бы она ни начиталась Писарева или Белинского, но в полках легко осваивает традиции старого офицерства по самой примитивной формуле Салтыкова-Щедрина: «Ташши и не пушшай!»

Он развернул журнал, показал в нем статью Пильского, писавшего: «Сами офицеры большей частью нищи, незнатны, многие из крестьян и мещан. А между тем тихое и затаенное почтение к дворянству и особенно к титулам так велико, что даже женитьба на титулованной женщине кружит им головы, туманит воображение…» Щеляков усложнил вопрос своим замечанием:

— Не отсюда ли появляются в армии «мыловары», согласные стрелять даже в народ, лишь бы угодить начальству?

В чем-то, наверное, он был прав. Я стремился в Академию не в лучший период ее истории. Не только левая, но даже правая пресса, выискивая виновников неудачной войны, обрушилась с критикой на Генеральный штаб как средоточие военной доктрины; подверглась насмешкам и сама Академия Генштаба, давшая для войны неправильные рецепты этой доктрины. Критика задела генерал-лейтенанта Н. П. Михневича [6] , начальника Академии, и тогда профессор решил принять бой с открытым забралом.

Если мнение литератора Щелякова можно было счесть брюзжанием обывателя, то теперь — на призыв Михневича — откликнулись сами же офицеры, участники войны. Был проведен официальный опрос офицеров и генералов с военно-академическим образованием: в чем они видят причины неудач в войне с Японией? Генералы отмолчались. Зато офицеры в чинах до полковника завалили Академию гневными письмами. По их мнению, главным виновником поражений был бездарный Куропаткин, окруживший себя бездарными генералами, создавшими вокруг него «непроницаемое кольцо интриг, наветов, происков, сплетен и пустого бахвальства… никто не возвысил голоса, все молчали, терпя любую глупость». Канцелярщина штабной бюрократии замораживала любую свежую мысль — не только в стратегии, но даже в полевой тактике. Радиосвязь и телефонная бездействовали, а генералы рассылали под огнем противника пеших и конных ординарцев, как во времена Очакова и покоренья Крыма. Офицеры не только не умели владеть боевым маневром, но пренебрегали и психологией солдата. Между тем единственным и правильным лозунгом в этой неразберихе был бы только один: «Вперед — избавим Порт-Артур от осады!». А перед войной из офицеров старательно делали пешку, грибоедовского Молчалина, который ограничивал свою инициативу словами — «так точно» или «никак нет»; офицер стал вроде официанта в ресторане, готовый подать генералу любое блюдо по его вкусу!

В письмах досталось и самой Академии, которая в своих лекциях пренебрегала новинками боевой техники, от появления моторов попросту отмахивалась, уповая на молодецкое «ура» и на то, что пуля дура, а штык молодец. Вывод из опроса был таков: если даже Крымская кампания с ее неудачами породила реформы в стране, то поражение в войне с Японией должно привести страну к политическим и военным реформам.

…Царь и монархия — эти символы лишь для официального обихода, их задвинули в угол, как устаревшую мебель, чтобы изымать оттуда ради парадных случаев, а для патриотов все наше прошлое, все настоящее и все будущее воплотилось в одном великом и всеобъемлющем слове — Россия!

Вот ради нее и шли в Академию Генштаба офицеры…

\* \* \*

Было очень боязно видеть абитуриентов с пенсне на носу или с университетским значком поверх мундира; опасными соперниками по конкурсу казались и артиллеристы, отмеченные воротниками из черного бархата; все они были достаточно сведущи в математике. Первый отсев негодных случился в академическом манеже, где сразу отчислили офицеров, кои не могли управиться с незнакомой заупрямившейся лошадью. Не приняли и офицеров с дефектами речи, чтобы не получалось так, как это было с одним генштабистом, который, увидев царя-батюшку, вместо «какая радость!» — в упоении восклицал перед солдатами:

— Ну, какая гадость! Боже, какая гадость…

Мне по-настоящему стало жутко, когда провалились на экзаменах по математике два офицера с университетскими значками. Один из них даже рыдал:

— Режут! Без ножа режут…

Конечно, купринский герой Николаев никогда бы не сдал экзаменов в Академию. Всюду слышались разговоры, что при Михневиче еще ничего, а вот когда в Академии был генерал Драгомиров, так на экзаменах слезами умывались. Одному офицеру, приехавшему из Сибири, он сказал: «Охота было вам из такой дали тащиться, чтобы нам лапти плести». А другого абитуриента он спросил, известна ли ему песня «Огород городить».

— Я знаю другую — о камаринском мужике.

— За находчивость хвалю, — отвечал Драгомиров, — и потому поставлю вам за удачный ответ вместо нуля единицу.

Позднее в секретных германских справочниках я вычитал, что русская Академия Генштаба поставляет армии нервных карьеристов, постоянно нуждающихся в валерьянке. Но мы же не были котами! Такое мнение возникло у немцев, очевидно, по той причине, что среди военных академистов случались самоубийства. Я молчу о товарищах, молодых и талантливых, которые стрелялись только из-за того, что «она не так на меня посмотрела». Но представьте пехотного штабс-капитана, уже с лысиной, обремененного семьей, живущего аж на все 80 рублей жалованья, и вам станет понятно, что для него поступление в Академию — это вопрос его благополучия, его престижа. Не высчитай он параллакс светила, не вспомни дату битвы при Маренго — и надо возвращаться в гарнизон, где неизбежна обструкция со стороны однополчан, где заплаканная жена скажет: «На что ж мы жить будем дальше? Ты об этом подумал?..» В таких случаях тоже стрелялись. Я сторонник того, чтобы офицер всегда был при оружии. Но допускаю случаи, когда револьвер в кобуре лучше заменять салфеткой с куском туалетного мыла…

Постараюсь быть лаконичен. В мое время Академия Генерального штаба размещалась на Суворовском проспекте, близ музея Суворова (который она же и создавала!). Когда я приехал из Граево, полтысячи абитуриентов, различных по возрасту и окраске мундиров, мучительно изнывали перед серией экзаменов, боясь забыть высоту пика Монблана или глубину устья Одера, следовало помнить правила русской орфографии и артикли в немецком, дать исчерпывающую характеристику Валленштейна (не по Шиллеру) и рассказать о Морице Саксонском (не по драме об Адриенне Лекуврер). Спокойными и даже уверенными казались лишь титулованные офицеры старой лейб-гвардии, семеновской и преображенской, для которых неудача с экзаменами не являлась крахом надежд: они и без того были сливками общества.

Но зато пехота, но кавалерия, но артиллерия, но казачество… О, как униженно они «мыловарили», чересчур торопливо раскланиваясь перед каждым ассистентом в коридорах! В такую вот минуту, проходя мимо, старый генерал Константин Васильевич Шарнгорст, профессор военной геодезии, вдруг задержался возле меня. Не где-нибудь, а именно возле меня:

— Поручик, что у вас за странный мундир?

— Отдельного корпуса погранстражи, — отвечал я.

Шарнгорст на меня глядел с большим удивлением:

— Странно! Впервые вижу в этих стенах офицера-пограничника, и уж никак не пойму, ради чего вы здесь оказались… Вы там, на границах, и без того деньги гребете лопатой!

Наверное, этот же мундир и помог мне, ибо выделял меня из общей массы офицеров. Профессора, прежде чем донимать меня вопросами, сначала спрашивали о службе на границе, их интересовало — правда ли есть товары германского производства, которые нарочно пропускаются с контрабандой?

— Да, — рассказывал я, — раньше это касалось лекарств, оптики и красителей, а теперь появился новый товар, на нелегальную доставку которого следует закрывать глаза. Это особый лак, которым пропитываются оболочки аэростатов…

В непринужденном разговоре я скорее устанавливал контакт с экзаменаторами, и мне они даже простили, когда я не сразу вспомнил название реки в Камеруне — Рио-дель-Рей!

На экзаменах выяснилось, что профессура, составленная из светил военного и научного мира, чрезвычайно безжалостная к неграмотным, излишне придирчива и к образованным. Члены приемной комиссии выявляли не только знания, но ценили и сообразительность, умение фантазировать и привычку мыслить нетрафаретными образами. Система в Академии была 12-балльная, я умудрился набрать средний балл 10,87 — и таким образом оказался в числе счастливцев. Всех нас, принятых, собрали в конференц-зале и построили в порядке не чинов, а фамильного алфавита; я со своей фамилией оказался где-то в середине строя, между корнетом и подполковником.

Нас напутствовали на учебу не очень-то сердечно:

— Господа, никаких историй — ни женских, ни картежных, ни ресторанных, ни денежных. Помните, кто вы…

Отвергнутые Академией возвращались по своим прежним казармам, конюшням и батареям; эти несчастные со временем становились самыми вредными ненавистниками не только академического образования — они мстили и лично нам, счастливцам.

— «Моменты»! — так называли генштабистов в армии с оттенком презрения. — Они там не служат, а лишь моменты ловят, оттого и карьера у них моментальная… не как у нас!

Это правда, что карьера генштабистов складывалась скорее и почетнее, нежели в армии. Недаром учебой в Академии не гнушались даже великие князья, отпрыски самых знатных фамилий. Не скрою, что я тоже мечтал сделать карьеру, и не вижу в этом ничего постыдного для себя. Если чиновник служит ради жалованья, военный человек служит ради чести, и плох тот офицер, который не желает стать генералом…

В дальнейшем все мы были предоставлены своим силам, никто нас не «тянул», каждый отвечал за себя, и любая оплошность в учебе или дисциплине без промедления каралась изгнанием. Время не играло никакой роли: если оставалось, допустим, три дня до выпуска из Академии, но ты согрешил, в тебе уже не нуждались: проваливай! Думаю, что в этой железной строгости заключался немалый смысл. Офицер, делающий карьеру за счет обретения знаний, должен высоко нести эти знания. Если он заглянул в шпаргалку, значит, он бесчестен, а без чести нет офицера! И нужен очень крепкий лоб, чтобы пробить несокрушимую стенку наук, за которой твоему взору открывается великолепный стратегический простор для продвижения…

В моей жизни был один случай. Меня не пускали в дом, очень дорогой моему сердцу. В осатанении я треснул ногой в дверь, тогда из-за двери мне было спокойно заявлено:

— Ну, зачем же ногой? Попробуй лбом…

Именно лбом я и делал свою карьеру. Я буквально изнурял себя настойчивым поглощением самых различных знаний.

\* \* \*

В мое время уже нельзя было сказать, что Академия Генштаба — монархическое или реакционное учреждение. На моих глазах завершилась закладка памятника погибшим в боях офицерам «корпуса генштабистов», сложившим головы в войнах за честь и достоинство российской армии, — и в скорбном списке имен немало выходцев из гущи народа. Не грех в этом случае напомнить, что именно из наших академических стен вышел благородный «Протест Ста Шести» — под таким именем сохранился в истории России призыв 106 офицеров Академии Генштаба и Царскосельской стрелковой школы, в котором передовые русские офицеры смело и резко протестовали против телесных наказаний…

Я уже приступил к занятиям, а серьезного разговора с отцом до сих пор не состоялось. Наконец он сказал мне:

— Не понимаю тебя! Ты не пожелал носить значок Училища Правоведения, а теперь погнался за аксельбантами генштабиста. Неужели так интересно знать, какая должна быть соблюдена дистанция между зарядными ящиками в походном обозе? Какой толк от того, что ты затвердил все пристани по Волге от Казани до Астрахани — вниз по течению и вызубрил пристани на Миссисипи — вверх по течению? И уж совсем непонятно, для чего знать, где самый лучший инжир и где больше всего в мире плотность женского населения по сравнению с мужчинами.

Я ответил отцу слишком подробно:

— Офицер Генштаба обязан знать все или почти все об окружающем его мире. Он должен уметь вести войска даже без карты, держа карту в голове; сидя здесь, в петербургской квартире, я могу представить, какое болото встретится за лесом, ограждающим прусский город Алленштейн, и каковы источники воды в этом городе для водопоя кавалерии.

— Зачем? — хмыкнул отец.

— Именно затем, что наши генералы ни бельмеса не соображают, и потому необходимы именно офицеры Генштаба, которые бы подсказывали: сюда не ходить, а надо идти вот сюда… Если тебя так мучает мое заброшенное правоведение, так у нас в Академии читает лекции по статистике полковник Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич [7] , который ранее окончил Межевой институт и Московский университет и все-таки решил посвятить себя служению родине в мундире! До тех пор, пока Россия окружена врагами, всегда будут находиться люди, стремящиеся служить ей и народу именно в мундирах…

Отец на старости лет предался увлечению спиритизмом, столь модным тогда среди интеллигенции, упавшей духом после поражений в войне и угасания революции. Отец ходил «колдовать» в семью министра земледелия А. С. Ермолова, жившего на Мариинской площади, куда хозяин приглашал известного медиума Яна Гузика, который вызывал дух какого-то Шлиппенбаха… чуть ли не того шведского генерала, угодившего в плен под Полтавой. Духовным исканиям отца я никогда не мешал, лишь однажды предостерег его:

— Только не вызывай дух мамы… она жива!

Отец воспринял мои слова на свой мистический лад.

— Если это так, — сказал он, — то теперь понятно, почему ее дух не являлся ко мне, как я ни звал его…

Наверное, отец надеялся получить ответ из других миров, так и не получив ответа матери на этом свете. Вряд ли мама его любила, и мне отца было очень жаль. Мода на магнетизм, теософию и оккультные науки проникла тогда и в Зимний дворец. В обществе Петербурга блуждали слухи об остром помешательстве императрицы Александры Федоровны, свихнувшейся после убийства португальского короля; теперь она якобы все время плачет, отказывается от еды, царице ставят питательные клизмы. При этом она кричит своим лейб-медикам:

— Кровь! Всюду кровь… уберите от меня кровь!

\* \* \*

Что осталось в памяти об этом постылом времени?

Гаагская мирная конференция 1899 года, созванная по инициативе Петербурга, продолжила работу в 1907 году, и нам, будущим генштабистам, следовало знать, о чем рассуждают в «Рыцарском зале» гаагского замка Бинненгоф. Надо сказать, что Германия старалась не связывать себя международными правилами военной морали, нежно лелея главную формулу своей военной доктрины: «Война есть акт насилия, цель которого принудить противника исполнить нашу волю». Если в Гааге говорили о том, как «гуманизировать» войну, чтобы от нее никак не страдало мирное население, то немецкий генштаб доказывал немцам обратное: «Цивилизованная война — это абсурдное противоречие… бойтесь добрых поступков — старайтесь быть жестоки, безжалостны, хищны и немилосердны! Гражданские лица не должны быть пощажены от ужасов и бедствия войны».

Человечество слишком уповало на мирное разрешение всех спорных вопросов, но кайзер Вильгельм II увидел в Гаагских конференциях лишь заговор врагов, желавших ослабить его железную империю. В мае 1908 года он произнес знаменитую речь перед офицерами своей гвардейской кавалерии:

— Похоже, нас хотят окружить. Ну что ж! Германец всегда сражался храбрее при нападении на него со всех сторон. Пусть они посмеют сунуться. Мы готовы! Уже давно пора, чтобы дерзкая банда врагов испытала на себе гнев нашего гренадера…

Никто не думал «окружать» кайзера, никто не собирался «сунуться» в Германию, но кровью все же запахло. Европа ощутила ее запах в «боснийском кризисе».

6. Свинская история

Придется немного порассуждать, а читатель обязан прочесть невеселые страницы, дабы яснее стало последующее…

Если германцев можно обвинить в извечном «дранг нах остен», то габсбургская Вена повинна перед славянами в своем многовековом «дранг нах зюйд» на Балканах. Еще во времена Меттерниха из Вены было заявлено: «Сербия должна быть либо турецкой, либо австрийской, но только никак не сербской…» С тех пор Австрия сильно изменилась. Вена смирила гордыню перед железным диктатом Берлина, венский генштаб покорно выслушивал диатрибы Альфреда фон Шлифена, начальника германского генштаба. Названный человек был далеко не прост. Природа щедро наградила немецких генералов мясистыми затылками, а Шлифен выделялся среди них «осиной талией». Это был язвительный и остроумный человек, его военные размышления — как стихи в прозе, но пропитанные ядом сарказма. На маневрах армии он отстранял генералов с мясистыми затылками, доверяя водить дивизии юным лейтенантам с «осиными талиями». В ответ на их нерешительность Шлифен спрашивал — собираются ли они быть полководцами:

— Если такого желания у вас не возникало, тогда сразу ступайте торговать подтяжками или свекольным мармеладом…

Он являлся автором «блицкрига» (молниеносной войны).

Знаменитый, но сугубо секретный «план Шлифена» был уже готов. Двумя ударами на западе и на востоке следовало разом покончить с Францией и Россией. В недрах германского генштаба родилась анонимная книга «Контуры мировой истории», в которой сказано: Германия должна быть центром «Соединенных Штатов Европы». Император Вильгельм II красочно дополнял рецепты блицкрига словами: «Все будет утоплено в огне и крови, надо убивать мужчин и женщин, детей и стариков, нельзя оставлять целым ни одного дома, ни одного дерева…»

Язвительно улыбаясь, Шлифен рассуждал:

— Войну вызывает не завоеватель, а его жертва! Агрессор и не хотел бы обнажать меч, но как быть, если жертва добровольно не отдает того, что хочется иметь завоевателю? Сейчас нашим добрым венским друзьям приспичило получить у сербов Боснию и Герцеговину. Вот и пронаблюдаем из берлинского окошка, как вцепятся в них сербы, чтобы не отдавать…

Шлифен удалился из генштаба еще в 1906 году, его место занял Хельмут фон Мольтке, родной племянник Мольтке-старшего, прославленного под Седаном. Теперь Мольтке доказывал Францу Конраду-фон-Гетцендорфу, начальнику генштаба австрийского:

— Мое твердое убеждение, что рано или поздно разразится европейская война, и в первую очередь эта война будет означать борьбу между миром германским и всем славянством…

После уничтожения династии Обреновичей сербам объявили таможенную войну — в наказание за убийство в конаке. Вена не принимала балканские продукты и свинину, отчего эта история и получила название «свинской войны». Габсбурги рассчитывали, что, отказав в закупке мяса, они вызовут массовый падеж скота, гонимого к австрийским границам, и полное разорение сербских крестьян. Габсбурги отказывались от покупки свиней, согласные брать разделанные туши. Но сербский премьер Никола Пашич быстро соорудил бойни для скота и консервные фабрики. Сербия стала торговать «тушенкой» с Францией, Египтом, Италией, снабжала английский гарнизон Мальты. В результате доход Сербии резко увеличился, зато в магазинах Вены резко подскочили цены на мясо.

Франц Иосиф понял, что измором сербов не взять:

— Так откройте границы для сербских свиней!

— Увы, — отвечали императору, — ни одной свиньи не видно, а в газетах Белграда смеются над нашими ценами…

При свидании венского министра Эренталя с Николой Пашичем состоялся выразительный диалог. Эренталь обещал Пашичу, что ничто не нарушит их мира, но просил допустить в Белград прежних чиновников и офицеров, которые еще при Милане Обреновиче значились главными венскими шпионами.

— Всех примем! — ответил Пашич. — Но если наших свиней берете лишь тушами, так и мы возьмем вас… тушами!

В Берлине заметно был огорчен Мольтке-младший:

— Жаль, что все закончилось возней со свининой, а убийство в конаке не вызвало ответной оккупации на Балканах. Нами упущен был повод начала европейской войны…

Столицей Боснии был город Сараево!

\* \* \*

Желательно объяснить трагедию этого города. В жестокой войне 1878 года русский солдат избавил братьев болгар от гнета Турции, все Балканы охватило предчувствие свободы. Но тут же встала на дыбы Австрия, которая, издали следя за войной, никаких выгод от войны не получила. Венские аппетиты на Берлинском мирном конгрессе представлял граф Андраши, лощеный мадьяр с накрашенными, как у женщины, губами.

— Вена, — доказывал он, — столетиями скорбит, со слезами на глазах наблюдая, как ее соседи-сербы тонут во мраке невежества и суеверий. Австрия, их добрый друг и учитель, хотела бы помочь обездоленным славянам обрести свет знаний и приобщить их ко всеобщей мировой цивилизации…

Берлинский конгресс вручил Австрии мандат на управление Боснией и Герцеговиной. Сильно урезанная Болгария осталась жить, но Сербию обкорнали с севера. Габсбурги поспешно превращали захваченные земли в свою провинцию, которая и ответила Вене кровавым восстанием.

Турки, владычествуя на Балканах, терзали славян жестоко. Но они никогда не вмешивались в дела церкви и образования. При турках в Боснии была своя семинария, учительский институт и реальное училище в Сараево, босняки сами избирали для себя священников. Габсбурги закрывали славянские школы, под предлогом соблюдения тишины запретили петь народные песни, нельзя было устраивать праздников с игрой на гуслях. Вена сама назначала в священники своих клевретов, и духовенство в Боснии потеряло давний авторитет: храмы стояли впусте, а священников освистывали на улицах… Если усиливались католики, Вена искусственно подогревала мусульманские настроения, но стоило мусульманам взять верх над католиками, как Вена натравливала на них православных, после чего власть оставалась в руках той же Вены.

Австрийцы оценивали урожай только весною, когда цены на хлеб были самые высокие, и осенью требовали с крестьян не зерно, а… деньги! Ни налет саранчи, ни град, ни проливные дожди или засуха не учитывались: кто не заплатил, того без лишних разговоров отводили в тюрьму — и сиди там, пока не расплатишься. Стоило босняку пожаловаться, как к нему являлась комиссия санитаров: найдут в доме клопа — и дом жалобщика разламывали как источник «заразы», а семья оставалась под открытым небом. Когда же в 1897–1899 годах начался массовый голод и люди, чтобы не умереть, кормились травой и кореньями, Вена обложила голодающих налогом в три кроны — на траву и на подземные коренья, которыми раньше в Боснии питались свиньи. Гигантские леса трещали под топором оккупантов, объяснявших порубку деревьев борьбой с разбойниками. Теперь ясно, почему славяне Боснии и Герцеговины шли в шайки разбойников, убегали в Сербию и Черногорию или, продав свои дома и скотину, эмигрировали в далекую Канаду или Австралию.

— Мы здесь уже не хозяева! — говорили они. — На улицах Сараево у кого по-сербски ни спросишь, все морды отворачивают: там ответят тебе только по-немецки…

Цивилизация и прочие чудеса, обещанные графом Андраши на Берлинском конгрессе, сербам и во сне не снились. Они отсылали детей в Одессу, Киев, Москву и Петербург: там учили бесплатно, там славянским юношам давали повышенную стипендию, там образовывали будущих деятелей славянского Ренессанса.

Франц Конрад-фон-Гетцендорф доказывал Францу Иосифу:

— Не пора ли от методов управления Боснией и Герцеговиной перейти к методам энергичной аннексии? Генеральный штаб вашего императорского величества полагает, что можно захватывать даже всю Сербию, ибо Россия ныне ослаблена, а Германия преисполнена боевой бодрости…

\* \* \*

«Свинская война» накалила обстановку до такой степени, что русская печать, всегда сочувственная бедам славян, выступила за разрыв Петербурга с Веною. В самый разгар этой войны на пост министра иностранных дел пришел Извольский — фатовый говорун, выдвинувший лозунг новой политики:

— Мы слишком долго возились с Дальним Востоком, не пора ли России подумать о своем возвращении в Европу?..

В начале 1908 года граф Алоиз Эренталь, венский министр иностранных дел, произнес речь перед своим парламентом. Он заявил, что Австрии надобно протягивать железную дорогу из Боснии через Македонию к лазурным берегам морей, омывающих Грецию. Эта речь вызвала немалый переполох в России.

— Если такая дорога появится, — рассуждали русские, — Вена заполучит весь Балканский полуостров, разрезав на куски земли славян, а рельсы соединят Берлин и Вену с греческим Пиреем… Такое никак нельзя допустить!

В столице было срочно созвано Особое совещание, на котором премьер Столыпин четко пояснил для Извольского:

— Россия совсем не готова к войне, а потому во внешней политике сейчас не должно возникать никаких осложнений. На речь Эренталя мы способны ответить деловой и полезной для нас компенсацией: от берегов Адриатики проложим свою железную дорогу к портам Черного моря…

Но Извольский, опираясь на особое мнение царя, помышлял совсем о другой компенсации. После поражения при Цусиме на Балтике почти не осталось боевых кораблей, а корабли Черноморского флота не могли миновать турецкие Проливы, дабы усилить флот на Балтике. Извольский считал, что Эренталь поможет ему открыть Проливы для русских кораблей:

— Но он тянет время, желая узнать мнение Берлина…

Каждое лето дипломаты спешили в Биарриц или в венецианское Лидо, дабы бежать от скучных обязанностей, доверяя дела посольств секретарям и консулам. Так же поступали и министры иностранных дел, без дела околачиваясь на курортах, где они, вчерашние недруги, за партией в бридж вполне миролюбиво посмеивались над своим «политическим» задором. На курорты южной Германии выехал и министр Извольский, вдогонку которому русские газеты посылали напутствия: объединить усилия России, Франции и Англии, дабы принудить Австрию вывести ее войска из Боснии и Герцеговины.

Эренталь пригласил Извольского отдохнуть в моравском замке Бухлау, где ему доставит удовольствие осмотр пинакотеки, после чего они в интимной обстановке взаимного доверия начнут переговоры. Извольский приглашение принял, и они — встретились. Но лучше бы никогда не встречались…

Напротив друг друга сидели два разных человека!

Алоиз фон Эренталь (1854–1912) — внук спекулянта зерном из Праги, который всю жизнь носил длинные пейсы. Сейчас за его спиной стояла древняя монархия Габсбургов, империя казарм и монастырей, заводов Шкоды и Бати, империя наживы, в которой утонченная аристократка Полина Меттерних уже не гнушалась сойтись с Ротшильдом, а дипломаты Австрии роднились с заокеанскими Вандербильдтами. Эренталя окружал непробиваемый панцирь, ловко сочлененный из финансов, внешних связей с идеями пангерманизма и потаенных каналов быстро растущего сионизма.

Александр Петрович Извольский (1856–1919) — внук придворного, лицеист по образованию, пижон по привычкам, с неизменным моноклем в широко распяленном глазу. За Извольским вырастала империя Рябушинских, Носовых, Морозовых, Коноваловых и Терещенок, империя, пронизанная золотыми жилами иностранного капитала. Если за Эренталем пряталось подполье финансового космополитизма, то за Извольским стояли подпольные связи с международным масонством. О нем писали: «Ходивший всю жизнь в долгах, как в шелках, Извольский бывал порою в большой зависимости от неизвестных международных сил…»

В замке Бухлау они беседовали как бы на равных правах!

Все дело в одном — кто из них и кого перехитрит?

Эренталь, ранее посол в Петербурге, хорошо изучил русских, а потому стойко молчал, давая выговориться Извольскому. Русский министр поговорить любил, а граф Эренталь (человек со скучной внешностью стареющего парикмахера) слушал, лишь иногда одобрительно кивая. Сначала они условились о секретности переговоров, а коммюнике будет построено таким образом, чтобы извратить подлинный смысл их беседы. Извольский и Эренталь строили свои планы на предстоящем развале Турецкой империи, который неизбежен. (Между тем Турция, как известно, совсем не собиралась разваливаться…)

Беседа в замке Бухлау длилась весь день, а закончилась тем, что Эренталь поставил Извольского перед фактом — аннексия Боснии и Герцеговины дело уже решенное, которое и закрепит «мандат», выданный на Берлинском конгрессе. В ответ на это Извольский развесил над лысиной Эренталя пышные декорации славянофильских мечтаний; перед взором Эренталя возникли трепетные миражи Босфора и Дарданелл с воскрешением Византийского царства… Эренталь кивал, кивал, кивал.

— Я вас понимаю, коллега, — поддакивал он. — Россия без Проливов много веков живет со сдавленным горлом… Прошу рассчитывать на мое самое горячее участие в этом вопросе!

Извольский покинул Бухлау и, посверкивая моноклем, продолжал турне по Европе, дабы заручиться согласием великих держав на выход кораблей Черноморского флота через эти проклятущие Проливы. Берлин ему не возражал:

— Однако мы вынуждены требовать компенсации…

Италия тоже не спорила, но предупредила:

— В обмен на изменения режима Проливов мы, наследники гордого Рима, вынуждены аннексировать Триполи в Африке…

Подъезжая к Парижу, Извольский из случайной газеты узнал, что в замке Бухлау он дал себя высечь перед всем миром. Эренталь уже оповестил Европу об австрийской аннексии Боснии и Герцеговины. В оправдание же агрессии им было сказано:

— Присоединение славянских земель есть результат добровольного согласия с нами русского кабинета, что и было заверено министром Извольским при свидании со мною в замке Бухлау.

Извольский поспешил в Лондон, но там ему ответили, что к изменению статуса Проливов общественное мнение Англии… не подготовлено! Напрасно русский дипломат истратил весь запас своего красноречия — ничего ему не помогло.

— Возможен единственный компромисс, — отвечали милорды. — В случае выхода ваших кораблей из Черного моря Турция пропустит в Черное море корабли всех стран — без исключения.

Возвращаясь домой, Извольский сравнил Англию с псом:

— Видели ли вы пса, лежащего возле старой, высохшей кости? Он давно обсосал ее с таким небывалым усердием, что в ней не осталось даже запаха мяса. Пес вполглаза глядит на кость, которая давно ему не нужна. Но попробуйте выразить хоть слабое желание тронуть эту поганую кость, и пса не узнать: он издает такое ворчание, что приходится бежать…

\* \* \*

Австрия целиком поглотила Боснию и Герцеговину не потому, что так сильно нуждалась в них, а скорее для того, чтобы они не сомкнулись с Сербией, увеличения которой Вена опасалась. Это был такой же удар по Сербии, как если бы Франция лишилась Прованса или же Италию оставить без Тироля. Извольский, конечно, мог мечтать о Проливах, но русские думали о том, как бы помочь сербам, если разгорится война; только в Москве набралось десять тысяч добровольцев, желавших выехать в Белград, чтобы сражаться…

Весь мир славянства был возмущен, а доверие Белграда к русской политике пошатнулось. Сербия вооружалась, готовая отбить нападение. Но германский посол Пурталес вручил Извольскому ультиматум, чтобы Россия не смела вступаться за сербов, и будет лучше, если она промолчит…

Точнее всех в эти дни выразился Столыпин:

— Россия пережила ВТОРУЮ ЦУСИМУ, но уже в дипломатии! Мы никак не можем влезть в войну — ни в большую, ни в малую.

Помощник военного министра Поливанов [8] докладывал царю: «Военное обучение пошло у нас не вперед, а назад… Недостает неприкосновенных запасов… не хватает артиллерии, пулеметов, мундирной одежды… Мы не готовы!»

7. Но мы готовимся

В годы моей юности существовало мнение, будто в разжигании войн больше всех виноваты инженеры-металлурги: это они варят сталь, из которой делаются пушки и снаряды, — вот им, подлецам, и выгодна любая война! Говорить о «гуманности» войны — это, конечно, абсурд, но если можно так выразиться, то «гуманизм» войны исходил из моего отечества. Петербургская декларация 1868 года в своей преамбуле гласила, что единственная законная цель войны — это даже не уничтожение, а лишь ослабление боевых сил противника. Россия позже других стран ввела в армии пулеметы, и это понятно: русские долгое время считали, что пулеметы следует запретить как бесчеловечное оружие массового истребления людей… Боснийский кризис застал меня уже на втором курсе Академии, когда вся моя страна ожидала большой войны. Плохо образованный политически, я все же понимал: если отдаленная война с Японией вызвала в России революцию, то, случись большая и близкая к нам война с Германией, произойдет полное крушение монархии.

Именно в 1908–1909 годах мы были очень близки к подобной войне, а мои сокурсники не раз меня спрашивали:

— Отчего вы так обостренно переживаете все, что творится сейчас на Балканах? Вы похожи на человека, в квартиру которого уже забрались воры.

— В моем волнении повинна та часть сербской крови, что досталась мне от матери-сербки, а другая половина русской крови невольно бунтует…

Но среди товарищей по учебе бытовало и крайнее мнение; мой приятель Володя Вербицкий считал, что войны не избежать:

— А если мы откажемся от ведения большой войны, Россия потеряет все плоды многовековых усилий народа, из великих держав мира она переберется в число второстепенных государств, с которыми никто уже не считается…

В наших разговорах встречались казенные выражения: «германский милитаризм», «немецкий империализм» — не удивляйтесь этому, ибо в ту пору истории такие слова несли большую смысловую нагрузку, а иначе о военщине кайзера и не скажешь… Иначе можно только ругаться!

\* \* \*

Занятия шли своим чередом. Учили нас крепко. В любое время дня и ночи, даже не сверяясь со справочниками, русский генштабист мог дать точную справку: какова пропускная способность дорог Швейцарии, каковы баллистические данные французской или немецкой пули, сколько потребно лошадей, чтобы перетащить артиллерию через горные перевалы Испании… Мы умели делать доклады на любую тему и на любом из трех языков, умели стрелять, как буры, гробились до потери сознания в манеже, мы корпели ночами над подлинными документами по статистике и экономике иностранных государств. Времени конечно же не хватало, и только тут многие осознали, что всегда можно занять денег, но никто не даст в долг самого ценного для человека — времени! Мы были приучены регламентировать себя даже в минутах при сдаче экзаменов, как отсчитывали их шахматисты между перестановкой фигур. От нас, будущих офицеров Генштаба, требовали краткости выражений, профессор Колюбакин приводил классический пример из духовно-семинарского быта. Ученый теософ, увидев на улице бегущего семинариста, окликнул его с небывалой лапидарностью?

— Кто? Куда? Зачем?

— Философ. В кабак. За водкой, — был получен ответ…

Длинные, расплывчатые и неуверенные ответы строго преследовались, снижая нам баллы успеваемости. Обращалось внимание на культуру речи, офицера резко обрывали, если он делал неверное ударение в произнесенном слове. Когда в Петербург приезжал на гастроли Московский Художественный театр во главе со Станиславским, нам говорили:

— Сегодня всем быть в театре! Считайте это своей лекцией. При таком режиссере, каков Станиславский, актеры почти скрупулезно берегут чистоту русского языка, и вам не мешает поучиться у них, как правильно говорить по-русски…

Знакомство с военной статистикой Германии настолько увлекло меня, что сухие цифры вдруг ожили, как оживают листья из маленьких почек. В этом мне помогла общая начитанность и знание иностранных языков. Порядки в Академии были суровы: если надобной книги не было в переводе на русский язык, офицер все равно обязан ее знать, ибо в библиотеке Академии имелись все военные труды на иностранных языках, и потому никакие отговорки в оправдание не принимались.

Половник Баскаков, богатый сахарозаводчик, считался знатоком наполеоновских войн; на экзаменах он спросил меня:

— Что заимствовал Наполеон из тактики Валленштейна?

— Существование армии за счет местных ресурсов тех стран и народов, которые он грабил поборами, как это делал и Валленштейн в эпоху Тридцатилетней войны. Грабежами и объясняется быстрая маневренность армии Наполеона, которой уже незачем было таскать у себя на хвосте длинные обозы.

Баскаков, поклонник Наполеона, даже поморщился:

— Ну зачем же, мой милый, так дурно относиться к гению? Наполеон не грабил, он просто реквизировал.

— А какая разница? — отвечал я наперекор профессору.

Кажется, Баскаков хотел занизить мой балл по истории войн, но тут меня выручил Мышлаевский, автор множества научных трудов по тактике и стратегии:

— Что реквизиция, что грабеж — одинаково! Но коли вы коснулись личности Валленштейна, так скажите, в чем заключалась основа боеспособности его разбойничьей армии?

— Нажива! — отвечал я. — Со всех концов Европы в лагерь Валленштейна стекались бродяги, преступники и аферисты, готовые убивать и грабить, если Валленштейн им платит. Но стоило Валленштейну задержать выплату, и его лагерь сразу пустел…

На мое счастье, я посидел над книгой Альфреда Мишьельса, и потому легко доказал свое знание политической обстановки в империи Габсбургов, которая ради своих черных целей породила такое чудовище, каким был загадочный рыцарь Валленштейн.

— Мне кажется, — закончил я, стоя навытяжку, — что звериные инстинкты Валленштейна передались генеалогическим путем его внучке, ставшей женой австрийского канцлера Кауница, а затем по наследству перешли и к реакционеру Меттерниху, который первым браком был женат на внучке этого Кауница.

— А вы… женаты? — вдруг спросил Баскаков.

— Не собираюсь. Сначала желаю окончить Академию.

— Верно, поручик, — одобрил меня Мышлаевский…

Мало нам, русским, политических кризисов, так вдруг возник еще кризис и космический. В 1910 году весь мир в страхе ожидал 29-е появление знаменитой кометы Галлея, которая имела очень дурную славу: ее появление издавна связывали с катаклизмами природы, войнами, засухами и эпидемиями. Русские обыватели ожидали светопреставления, ибо ходил слух, будто комета своим хвостом заденет нашу планету. Всем памятно, что столичные семинаристы отметили появление кометы испытанным способом — выпивкой:

— Петруха, дуй за водкой — конец света приходит!

— Братцы, — слышалось в эти дни, — пришел наш остатний денечек! Попадись мне этот Галлей, я б его, гада, в облака зашвырнул, и пущай там болтается, покуда не подохнет…

Тогда не только семинаристы прощались с жизнью, из окон трактиров слышались плачущие мотивы:

Быстры, как волны, дни нашей жизни, Что час, то короче наш жизненный путь… Грешен, я тоже поддался всеобщим настроениям. Но визит кометы из космоса я невольно совмещал с аннексией Боснии и Герцеговины, которая в любой момент способна вызвать войну. Мои подозрения, кажется, начинали оправдываться, когда во главе Боснии был поставлен австрийский генерал Верешанин, проводивший в землях славян политику, угодную венским заправилам. В мае наша Земля удачно задела лишь «хвост» кометы, а 15 июля 1910 года сербский студент Богда Жераич открыл огонь по Верешанину, промахнулся и тут же покончил с собой. Австрийцы нашли в его квартире книги Бакунина и князя Кропоткина, после чего Вена объявила, что Жераич был анархистом…

Но одинокий выстрел патриота стал репетицией для Гаврилы Принципа в том же Сараево… Помню, отец мне сказал:

— Хорошо, что все хоть так кончилось.

— Ты говоришь о выстреле в Сараево?

— Нет, сынок. Я имею в виду только комету…

Среди моих товарищей по Академии Генерального штаба был и черногорец Данила Црноевич, учеба которому давалась с трудом; я помогал ему как мог, с Данилой мы очень откровенно беседовали о делах на Балканах. В летние каникулы Црноевич, уже в чине штабс-капитана русской армии, выезжал в Цетине навестить родственников, а в Белграде имел немало знакомств среди сербских офицеров. Однажды, вернувшись из отпуска, он передал мне в подарок коробочку, красиво перевязанную бантиком. В ней был аккуратно разложен балканский мармелад из ароматных фруктов.

— Спасибо, — сказал я, — мармелад я всегда любил.

— Ты его полюбишь еще больше, если доешь его до конца и прочтешь, что написано на дне коробки.

Там стояло только одно зловещее слово: Апис.

Это меня потрясло, а Данила Црноевич сказал:

— Не думай, что в Сербии тебя забыли, и та ночь в конаке, когда свергали Обреновичей, еще будет воспета в песнях…

Тут я не выдержал и прослезился. Вы меня поймете.

\* \* \*

Верховую езду нам преподавали два опытных кавалериста: Людвиг Корибут-Дашкевич, изгнанный из гвардии за женитьбу на певице Евгении Мравиной [9] , и барон Карл Маннергейм, в ту пору долговязый ухарь гвардии, балагур и бабник… Вот уж не думал я тогда, что этого человека прямо из седла судьба пересадит на высокое место правителя Финляндии, где он сделается врагом нашей страны! А в манеже — своя, особая жизнь, свои манеры и свой жаргон. Здесь еще со времен Дениса Давыдова бытовала жестокая гусарская истина: «Бойся женщину спереди, а кобылу сзади!» Полезное предупреждение, ибо мы, академисты, не раз справляли похороны и поминки по тем офицерам, что были убиты наповал ударом задних копыт… В чистых стойлах, помахивая хвостами, стояли манежные кони — Изабелла, Вельможная, Мисс, Раскидай, Лилиан, Янтарь и Авиатор. Хвосты у всех аккуратно подрезаны, на лбах лошадей красовались грациозные челки. Разговоры тут слышались гусарские:

— Ну и суставы! Как шарниры в паровой машине.

— Сколько платил за Глота?

— Всего две «катьки». Экспресс, а не конь!

— А моя вчера вынесла, но закинулась на барьер.

— Где же красавица Астория?

— Сломала бабку. Пристрелили, чтоб не мучилась…

Помню, что в жестоком «посыле» лошади, принуждая ее брать высоту, я тоже вылетел из седла, разбив о барьер голову, и потерял сознание, лежа на желтеньком песочке, какой привозили в манеж с арены цирка Чинизелли. Очнулся и, открыв глаза, первое, что увидел, были длинные кавалерийские сапоги и длинный хлыст в руке барона Маннергейма.

— Барьер — это ерунда, — сказал он мне. — Будет хуже, когда начнутся парфорсные охоты за лисицами, если вы пожелаете после второго курса Академии учиться и на третьем.

— Очевидно, пожелаю, — отвечал я, поднимаясь…

Я всегда много читал, но в Академии превратился в сущего пожирателя книжной мудрости по военным вопросам. Из казенной библиотеки я набирал домой такие тяжкие груды книг, что приходилось нанимать для перевозки извозчика. Русские издательства в эти годы завалили книжный рынок литературой о минувшей войне с Японией, почти каждую неделю появлялись в продаже новые труды о войне, переведенные с немецкого, английского и прочих языков, — все это надо было изучать. Многие не выдерживали подобных перегрузок. Один мой товарищ, вполне здравый, вдруг публично объявил, что не Лев Толстой, а именно он является автором «Крейцеровой сонаты». Его отвели к начальнику Академии, где он беседовал очень разумно. Но в конце беседы, когда его уже хотели отпустить восвояси, несчастный очень настойчиво хотел погасить папиросу о лоб начальника Академии Генштаба… До сих пор слышу его истошный крик:

— Куда вы меня увозите? Я не хочу… я ведь еще не получил гонорар за написание гениальной «Крейцеровой сонаты»!

Деньги, выслуженные в Граево, быстро разошлись, просить помощи у отца я стыдился, потому и не стал отказываться от академического пособия в 140 рублей, на которые закупил карт, чертежных инструментов и хорошую готовальню. Завтракать я старался в дешевой столовой при Академии, а обедать ходил на баржу-столовую, пришвартованную к набережной напротив здания Академии художеств — специально для малоимущих студентов. Кормили на барже просто, но сытно, а наличие мундира меня ничуть не смущало, ибо среди будущих живописцев, обедавших на пятачок, встречалось немало офицеров…

Порядки в нашей Академии были очень строгие, ежедневно приходилось вставать чуть свет, чтобы не опоздать на лекции. В восемь часов утра каждый обязан расписаться в особом журнале о своем прибытии. Очень хотелось спать. Лишь в четыре часа дня мы освобождались, но, вернувшись домой, я снова садился за книги, которые, словно пики Альп, грудами возвышались передо мною.

— Ты начинаешь мне нравиться, — говорил отец.

— Чем же, папа?

— Тем, что взял себя в шоры и, подобно беговой лошади, видишь только то, что впереди. Если не удалось с «Правоведением», так, может, после Академии пробьешься в гвардию. А это — почетно, это лестно, это всеобщее поклонение и успех в обществе. Надеюсь, еще изберешь себе достойную невесту.

На это я отвечал отцу словами известной пословицы:

— Не до жиру — быть бы живу…

Я прочитывал не сотни, а тысячи и десятки тысяч страниц, запоминая имена, даты, цифры и цифры. Стакан с крепчайшим чаем, дымящаяся на краю пепельницы папироса, початый флакон со спермином доктора Пелля и неистовое желание выдержать это адское напряжение… Только бы не «свалиться» на майских экзаменах, зато летом настанут геодезические работы с Шарнгорстом в полевых условиях, и там — на приволье свободного житья — позволительно чуточку расслабиться.

Почти каждый месяц — в самое неожиданное время — с лестницы раздавался звонок, меня навещал полковник Дагаев, инспектор Академии Генштаба, прозванный «классною дамой». Он беззастенчиво проверял наши черновики, следил за тем, чтобы топографические карты были исполнены лично нами — без помощи профессиональных чертежников, заодно ковырялся в наших книгах, и суровая кара грозила тому из нас, кого вечерами инспектор не заставал дома полусогнутым над столом.

На следующий день грешника вызывали к начальству:

— Где вы вчера вечером изволили прохлаждаться?

— Извините, гулял со знакомой.

— Гуляли? А умнее вы ничего не могли придумать?

— Простите, но я…

— Никаких «я». Если вы желаете со мной разговаривать, вы обязаны молчать и слушать, что вам говорят старшие…

В конце второго курса программы лекций сильно «военизировались»: помимо истории недавних войн, мы постигали приемы новейшей тактики и стратегии. Спасибо нашим профессорам: ничтоже сумняшеся они шпарили нам лекции по немецким источникам, сами того не подозревая, что германская доктрина ведения массовой войны не ошеломила нас, молодых, как она ошеломила в 1914 году старых генералов, гордившихся геройским «сидением» на Шипке… Сидя на войне, войны не выиграешь!

Тут и побегать придется, да еще как.

8. «Черная рука»

Мне была дана жизнь, но у каждой жизни своя судьба. Один человек лишь проводит жизнь, как лесной ежик или улитка, покорный судьбе, а другой человек сам созидает судьбу, для чего порою ему приходится всю жизнь выворачиваться наизнанку. Я не был доволен жизнью, зато приветствовал свою судьбу. Но для полного осознания счастья не хватало женской любви. Только одного взгляда… Мне тогда большего было и не надо!

Но для нежных чувств, увы, не хватало времени.

Летние занятия по геодезии и топографии обычно проводились в Лужском уезде, близ унылого Череменецкого озера, где мы вели съемку для составления собственных карт. При этом будущие генштабисты селились в деревнях, спали на полатях, как мужики, умывались возле колодцев, сливая друг другу на руки из ковшика, крестьянки охотно продавали нам яйца, творог, топленое молоко и комки желтого деревенского масла, завернутые в чистую тряпицу. Иногда сельская молодуха глянет из-под платка — так всю душу перевернет. И еще вспоминалось некрасовское, памятное со времен детства:

На тебя, подбоченясь красиво, Загляделся проезжий корнет… Здесь я чувствую надобность рассказать историю, настолько загадочную для меня, далекого от мистического восприятия жизни, что до сих пор не могу объяснить достоверность давнего случая. Если это был только сон, то, признаюсь честно, этот сон был загадочно-странным и почти достоверным.

Я делал триангуляционную съемку со своим напарником Володей Вербицким и однажды, оставив его в деревне Перловой, пешком ходил в Лугу на станцию, чтобы отправить письма. Рано стемнело, в лесу становилось жутковато. Дождя еще не было, но часто сверкали молнии. Я возвращался, не узнавая местности, надеясь по наитию выйти к какой-либо деревеньке, чтобы переждать грозу под крышей. Тропа подо мною исчезла, я понял, что заблудился. Вдруг — при очередной вспышке молнии — я заметил впереди себя тень большой собаки и подумал, что если это не волк, а собака, то она-то уж наверняка выведет меня к людям. Гроза усиливалась.

Но вот собака исчезла. Лес раздвинулся, и, пройдя немного вперед, я увидел темную аллею, в глубине которой едва-едва светились окна. Смутно белела старинная усадьба без флигелей, но с колоннами. На крыльце меня встретил лакей или мажордом, как будто меня здесь давно ждали. Я вошел внутрь, услышав игру на клавесине, словно попал в дебри XVIII века, и мне сразу вспомнились композиции Сомова и Борисова-Мусатова. В гостиной висели старомодные портреты вельмож — в париках и панцирях, неизвестные мне полководцы опирались руками в перчатках на подзорные трубы или эфесы боевых мечей. По углам комнаты, тихо потрескивая, горели свечи в бронзовых жирандолях. Я заметил, что лакей куда-то удалился.

— Эй, — позвал я, — здесь кто-нибудь есть?

Игра на клавесине умолкла, но за спиной был ощутим едва слышный шорох одежд. Я обернулся. В боковых дверях, открытых неслышно, стояла женщина лет сорока в старинных фижмах. На мой поклон она ответила жеманным реверансом и, сложив веер, расписанный в духе игривых картин Ватто, протянула мне ледяную, почти прозрачную руку. Снова заиграл клавесин, и тут… Клянусь, я не преувеличиваю, но я послушно начал танцевать старинный менуэт, после чего, как версальский маркиз, раскланялся перед дамой. Появился лакей в коротких белых штанах и, ударив в пол жезлом, объявил, что ужин подан.

— Прошу, — сказала мне дама, указывая путь в соседнюю комнату, где был накрыт ужин. Посуда за столом была тяжелая, словно гири. Женщина что-то велела своему лакею, но я ничего не понял в ее речи, и тогда она сама пояснила по-русски: — Я беседовала по-шведски… Вы попали во владения древней Ингерманландии, которую русские называли Ижорской землей, а ваш временщик Меншиков стал первым герцогом этих земель. Тут со времен короля Густава Адольфа, растоптанного копытами лошадей в битве с Валленштейном, жили шведы, и они не покинули Ингерманландии даже тогда, когда она была завоевана вашим императором Петром Великим…

Среди множества портретов я заметил парсуну, живопись которой уже потрескалась в древних кракелюрах, как трескаются стекла окон при сильных пожарах. Изображенная на портрете молодая дама держала на плече какого-то пушистого зверька.

— Что это за мех? — спросил я.

— Хорек.

— А кто же эта красивая молодая дама с хорьком?

— Не влюбитесь в нее, — получил я странный ответ…

Лакей потом указал мне тропинку, по которой я вышел к реке, и скоро отыскал Перловую, где меня ожидал Вербицкий.

— Что с тобою? — первым делом спросил он.

— Я в эту ночь, пока ты дрых на полатях, танцевал с каким-то привидением. Ей-богу, Володя, бывают же чудеса…

Повторяю, я никак не могу объяснить этой загадочной истории. Но картина старинной усадьбы и тень женщины в старомодном костюме еще плывут передо мною, и при этом мне вспоминаются картины наших «мирискусников» с их заброшенными судьбами, с их женскими бестелесными фигурами, словно привидениями канувшей в Лету эпохи. Через день-два я пытался вновь найти эту затерянную в лесах усадьбу, но обнаружил только руины, заросшие диким шиповником. В ближней деревне расспрашивал крестьян, нет ли тут поблизости такой усадьбы, где живет одинокая женщина лет сорока. Ответа не получил. Только один дряхлый старик сказал, что в этих лесах с незапамятных времен — место нечистое, проклятое:

— Мы туда и не ходим. Однась батюшка мой забрел в пущу, корову искамши, так вернулся, будто порченый. Уж на что кабысдохи наши отчаянны, да и те стороною лес обходят. А ежели какой охотник заблудится, так собаки сами от него убегают…

Эта загадочная история осталась для меня тайной. Но, очевидно, в нашем прошлом еще таится какой-то особый, зловещий яд! Историк П. И. Бартенев, ученый-архивист, без тени сомнения рассказывал, как его навещала императрица Екатерина II и даже треснула его веером по носу.

— Сукин сын! — сказала она. — Уж как я старалась укрыть многое от потомков, а ты все-таки узнал обо мне все…

Ясно, накануне Бартенев испытал страшную перенагрузку исторической информацией. Наверное, и со мною случилось нечто подобное: просто я переутомил свой мозг. Но самое странное в другом: вскоре я встретил женщину, лицо которой было словно списано с портрета той дамы, что держала хорька на плече. Мало того, эта женщина и стала моей мнимой женой…

\* \* \*

Данила Црноевич, мой черногорский приятель, сказал, что более не в силах учиться в нашей Академии Генштаба:

— Хотя профессора и делают мне скидку, но все-таки даже в Римской военной академии не столь требовательны, как у вас. Я решил перевестись в военную академию Белграда, где теорию военного искусства читает наш общий хороший друг…

Он с улыбкой протянул сербскую газету «Пьемонт», и я увидел в ней фотографию человека мне знакомого.

— Апис! — не удержал я возгласа.

— Да, а Сербия станет славянским Пьемонтом, почему такое и название у газеты… Ты никому не говори, — намекнул мне Данила, — но Апис замышлял убить даже не Верешанина, а самого императора Франца Иосифа, который как раз собирался навестить Сербию в те дни, когда появилась комета Галлея… Думаю, до этого рамолика мы еще доберемся!

Сопротивление славянских народов режиму венских Габсбургов постоянно усиливалось, и мой дорогой Данила прав: Апис из убийства монархов делал себе вторую профессию, хотя он никогда не страдал идеями погромного анархизма. Сознание того, что этот человек-бык помнит меня, а сейчас при короле Петре Карагеоргиевиче занимает высокий пост в Белграде, — такое сознание, не скрою, даже тешило мое самолюбие.

К тому времени, о котором я пишу, в конаке Белграда произошли перемены. Королевич Георгий, ранее учившийся в нашем Пажеском корпусе, считался наследником престола. Но однажды в запальчивости он ударил своего камердинера настольным пресс-папье. Падая, камердинер повредил грыжу, которой давно страдал, отчего и умер. Сербия возмутилась:

— Не хотим, чтобы наследником был убийца!

Отец не оправдывал сына и наследником престола объявил королевича Александра (моего приятеля, который позже и пал на улицах Марселя от руки хорватских убийц). Получивший образование юриста в Петербурге, Александр уже был вовлечен Аписом в тайную общину офицеров-заговорщиков «Объединение или смерть», которая в глубоком подполье называлась еще проще — «Черная рука»!

Волнения охватили и Словению, близкую к итальянскому Пьемонту, здесь возникло подполье «Народна Одбрана», которое подчинялось руководству сербского генерального штаба, а точнее сказать — тому же Апису! От внимания австрийской разведки укрылось многое: все славянские организации юношей и девушек бойскаутов, гимнастические общества «соколов», даже антиалкогольные братства трезвенников — все эти невинные и легальные союзы на самом деле были хорошо замаскированными ответвлениями «Черной руки», раскинувшей свои невидимые сети на Словению, Македонию, Боснию и Герцеговину…

В эти дни отец заметил во мне небывалое оживление, и я не стал скрывать от него своих мыслей.

— Знаешь, папа, — сказал я, — если мама жива, я верю, что она, пылкая патриотка славянского возрождения, не осталась в стороне, и сейчас ее водит по миру «Черная рука»!

— Можно иметь черные перчатки, — ответил отец, — но нельзя же иметь черные руки… Впрочем, ты уже достаточно взрослый, а я не хочу вникать в твои бредовые фантазии о матери.

\* \* \*

Наш разговор продолжился, когда я окончил младший и старший курсы Академии Генштаба, получив нагрудный знак из чистого серебра: на нем двуглавый орел распростер крылья в обрамлении лаврового венка. Мы распили с папой бутылку шампанского, я сказал, что отныне начинается самое интересное:

— Назрел момент боя, который нельзя проиграть. Конечно, даже с таким вот значком на мундире будущее лежит в кармане. Я могу вернуться на охрану границ, получу штабс-капитана, затем выберусь в подполковники, оставаясь на штабной работе. От таких, как я, окончивших два курса, требуется лишь выслуга двухгодичного ценза… Это, папа, не так трудно!

Отец не совсем-то понял меня и мои устремления:

— Опять ехать в это постылое Граево и рыться, как крыса, в чемоданах туристов, пересчитывая в их кошельках валюту?

— Погоди. Существует и третий курс Академии, выводящий офицеров в элиту нашей армии. Именно этого я и хочу.

— Чтобы сделать военную карьеру?

— Дипломатическую.

— Каким образом?

— Представь! Начав помощником военного атташе где-нибудь в Бразилии или Сиднее, я годам к сорока сам могу заиметь помощников, сделавшись атташе в одной из столиц Европы.

Отец перекрестился на материнскую икону.

— Благослови тебя бог, — сказал он, заплакав…

— Не плачь. Все это еще вилами по воде писано, и попасть на третий «полный» курс Академии не так-то легко. Число желающих ограничено вакансиями Генштаба, а отбирают людей титулованных самые жирные сливки аристократии.

— Вот что! — решил отец. — Возьми с полки «Бархатную книгу», открой второй том на странице двести восемьдесят первой, и пусть убедятся, что твой предок не под печкой родился. Ты имеешь право больше других претендовать на аристократизм. Сама династия царей Романовых перед нами — это выскочки!

— Но я, папа, этого делать не стану.

— Почему? — удивился отец, даже оторопев.

— Лучше быть, чем казаться…

Мне повезло: я был принят на дополнительный курс Академии, куда принимали лишь избранных, и с этого момента понял, что выбор мой окончателен. Отныне вся моя жизнь целиком, до последней капли крови, до последнего вздоха, будет принадлежать русской армии, только ей одной — единственной и неповторимой силе русского народа, которую я увидел еще младенцем с балкона нашего дома, качаясь на руках матери.

К тому времени достаточно определился мой внешний облик. Профиль лица, уже не юношеского, заметно обострился, образовались ранние залысины, которые я старался прикрывать маленькой челкой, и друзья говорили мне, что в медальном повороте я стал напоминать молодого Бонапарта.

Меня это сравнение всегда забавляло:

— Так стоит ли вам мучиться, запоминая мое имя и отчество? Зовите меня как можно проще… Наполеон!

Если на третий курс попали лишь избранные, которым помогали связи родни при дворе императора, то я попал в число счастливцев благодаря таинственному «коэффициенту», секрет которого был известен лишь комитету нашей профессуры. Мне предстояло в течение восьми месяцев сдать в Академию три научные разработки военных вопросов. А темы для них выпадали всем нам по жребию, чтобы ни у кого не возникло обид…

Офицерская форма усложнилась, и за наше бутафорское оперение нас иногда называли в обществе «фазанами».

— Ну что ж, — отвечал я, — если в «Правоведении» бывал я «чижиком», так теперь стал «фазаном»… Все-таки как-никак в стае пернатых это заметное повышение!

Слишком честолюбивый, я всегда был очень далек от мелочного тщеславия, но в тот период жизни приятно тешился сознанием своего превосходства. Во-первых, меня ожидало особое положение в Генштабе, и, наконец, меня не зыбыли в Сербии…

\* \* \*

Теперь — уже на исходе жизни — грустно перечислять события офицерской младости, и почему-то меня стали преследовать полузабытые стихи поэта, имени которого я не знаю:

Петербург, я еще не хочу умирать — У меня телефонов твоих номера. Петербург, у меня еще есть адреса, По которым найду мертвецов голоса… Номера телефонов давно переменились, не стало и Петербурга, адреса же мертвецов хорошо известны — на кладбище!

Сегодня в передачах варшавского радио я уловил новенькое для себя слово — «гитлеровцы» (у нас так еще не говорят).

Впрочем, поляки пока употребляют это слово лишь применительно к немцам, живущим в районе Познани, которые, пропитанные берлинской пропагандой «брат ищет брата», ревут на своих сборищах во славу фюрера. Вряд ли я ошибаюсь: слову «гитлеровцы» предстоит, наверное, большая судьба в лексиконе XX века…

Вообще, сегодня какой-то дурацкий день! Случайно я снял с книжкой полки давно не нужный «Шпрингер» — альманах австро-венгерского генштаба с перечнем служебных аннотаций на офицеров, занимавших ответственные посты в старой Австрии. И надо же так случиться, что «Шпрингер» сам по себе раскрылся на той странице, где обозначено имя генерала, связанное с именем моей бедной матери… «Черная рука» Драгутина Аписа была протянута над Балканами слишком далеко!

9. Парфорсная охота

Теперь нас, офицеров «полного» курса, осталось совсем немного, остальные разъехались по своим гарнизонам, где им предстояло реализовать давние надежды на повышение в чинах и в жалованье, чтобы их жены и дети оставались довольны папочкой. А нас собрали в конференц-зале Академии Генерального штаба, где стояли три широких стола; поверх скатертей заманчивыми веерами были разложены вопросные билеты.

Жеребьевкой заправлял ассистент Генштаба полковник Петр Ниве, монографию которого о войне со шведами в 1807 году я высоко ценил. Ниве объявил: каждый обойдет все три стола и с каждого стола возьмет по билету, где будут изложены темы будущей защиты. Я потянул первый билет:

— У меня теория военного вопроса, связанная с новейшими проблемами современной тактики и глубокой разведки.

Ниве записал. Просил тянуть второй билет.

— Разработка стратегической операции в пределах гористой местности южных побережий, — доложил я.

Ниве посоветовал взять хорошо изученный участок гористого берега на Кавказе, на что я, поблагодарив его, отвечал, что хорошо изученное меня не может заинтересовать.

— Как угодно, — ответил Ниве. — Берите третий.

— Военно-историческая тема: описание отдельного боевого случая в период войны 1812 года при освобождении Германии.

— Отлично, — сказал Ниве. — Остается пожелать успеха…

После жеребьевки мы редко показывались в Академии, больше сидели дома, занимаясь самостоятельно. Тему первой проблемы я освоил довольно-таки быстро, зато неожиданно для своих научных оппонентов. Суть ее такова. Не так давно возле газового завода столицы, откуда не раз поднимались в небеса наши аэронавты, произошла катастрофа с воздушным шаром «Генерал Ванновский». При наборе высоты над Петербургом погиб капитан Палицын, раздробило кости в плече его супруги, капитан Юрий Павлович Герман получил сразу пять переломов в ногах; уцелел лишь спортивный граф Яков Ростовцев, который под самыми облаками выпрыгнул из подвесной корзины и повис над нею, держась за ее ивовые прутья.

Вскоре германский граф Цеппелин на своем гигантском «цеппелине № 2» совершил полет в Берлин, заранее оповестив столицу рейха о своем прибытии; кайзер с семьей и громадная толпа горожан собрались на площади в Темпельгофе, чтобы чествовать национального героя. Но аэронавт обманул их ожидания, даже не показавшись в небе над столицей. Кайзер в досадном раздражении хлопнул дверцей автомобиля и сказал:

— Чтоб он лопнул, этот несчастный пузырь…

Слова оказались пророческими. Аппарат Цеппелина, пропарив над крышами Лейпцига, потерял из своей емкости много газа, отчего снизился и начал далее тащиться над самой землей. Граф Цеппелин не заметил впереди старой, давно высохшей груши, в которую и врезался, а сучья дерева распороли нос его «цеппелина»… Эти два случая из практики воздухоплавания я использовал как толчок для развития главной темы.

— Настроения в русском обществе таковы, — закончил я свой доклад, — что испытания с полетами будут продолжены, а трагедии в таком деле неизбежны, и это понимают все русские люди, штурмующие поднебесье, как поняла даже искалеченная вдова капитана Палицына. Полет графа Цеппелина примечателен не аварией, а тем, что его аппарат пронесся почти тысячу миль без остановки. Мы, русские, должны быть готовы к тому, что в войне будущего подобные летательные машины смогут безбоязненно проникать в глубокие тылы противника, проделывая ту работу, которую до сего времени поручали шпионам…

Оппонентам моя защита не понравилась именно новизной темы. Но меня храбро отстаивал генерал Кованько, энтузиаст воздухоплавания в русской армии. Он так горячо поддержал мой доклад, что критикам оставалось только поощрять меня.

— А вы сами-то не летали? — спросил Кованько.

— Никак нет, ваше превосходительство.

— Так полетите… сегодня же вечером!

Никогда не забыть, как воздушный шар оторвался от земли, устремляясь в сторону праздничных Островов; странно было в небесной тишине слышать земные звуки, в мареве жилищных огней подо мною пролетал большой город, донося до нас цокот копыт или свистки городовых; на Островах звучала музыка вечерних кафешантанов, а мы летели все дальше; уже разглядев бастионы Кронштадта и дымы из труб броненосцев, я был преисполнен счастьем парения. В этот момент даже не верилось, что только сегодня я доказывал об угрозе людям со стороны именно этой волшебной аэронавтики… Но во мне тут же проснулся человек с юридическим образованием. Я невольно задумался, что с развитием воздухоплавания обязательно возникнет новая форма преступности — в воздушных пространствах. Очевидно, со временем юристам предстоит изобрести новый вид международной полиции — воздушной! Кованько высмеял мои мысли.

— Да бог с вами, — сказал он. — Лучше вспомните Горбунова, который писал: «От хорошей жизни не полетишь…»

\* \* \*

Парфорсная охота входила в программу обучения Высшей кавалерийской школы, нас же привлекала в этой охоте практика совершенного владения лошадью. В парфорсе важен не результат охоты, а лишь умение всадника удерживать лошадь в направлении, какое избрала собачья свора, преследующая зверя. Но охотничьи собаки, как известно, в азарте погони не признают никаких препятствий, а потому, будь любезен, преодолеть на лошади любые озера и ограды, кусты и леса, овраги и пашни. В этом весь смысл парфорсной охоты, и мне всегда с ужасом вспоминалась арабская поговорка: «Рай на земле — у коня на хребте!..»

В этом «раю» я уже сломал два ребра, имел вывих ноги и пролом в черепе — только при взятии барьеров в манеже. Но в таких случаях с начальством не спорят: собака гонит зверя, а ты, как зверь, гонишься за собакой, а лошадь не всегда понимает желания своего наездника. После того как офицеры Кавалерийской школы испортили посевы крестьян и обрушили немало заборов, распугав своими воплями детей и скотину, с тех пор парфорсная охота сделалась упрощенной. Зверей вообще оставили в покое, а дабы собаки учуяли зверя, егеря заранее таскали на длинных веревках куски сырого мяса, пропитанные лисьим пометом. Собаки охотно «брали» след мнимого зверя, но сами-то егеря выбирали для себя путь попроще, намеренно обходя препятствия. Именно такая охота с «выволочкой» ежегодно проводилась в окрестностях столицы — между Красным Селом и дачной станцией Дудергоф. В охоте участвовали и женщины, иногда очень далекие от спортивного интереса, который они заменяли откровенным интересом к нам, мужчинам, кому обеспечена скорая карьера под аркой Генштаба…

Однажды вечером, сидя у костра и растирая скипидаром разбитые колени, я выслушал мнение барона Маннергейма:

— Охота с «выволочкой» это не парфорс! Настоящую охоту можно изведать только в «Поставах» графа Пржездецкого, у которого восемнадцать фокс-гундов, и каждый собачий «смычок» не сбить со следа настоящего зверя…

Вербицкий поддержал эту мысль, предлагая мне:

— Не махнуть ли в «Поставы»? Это же недалеко, в Виленской губернии, а места мне знакомые. Я служил в тех краях…

Мы поехали! Пржездецкий сдавал свое имение, свои конюшни и своих гончих факс-гундов в аренду своему министерству; здесь была совсем иная обстановка, нежели в Красном Селе, и я почуял, что попал в компанию людей, мало берегущих свои черепа и кости, зато обожающих самые острые приключения.

Цецилия Вылежинская была единственной дамой, украшающей общество отпетых сорвиголов, но женщина была чуть старше меня годами, и я не сразу обратил внимание на ее красоту. По ее поведению я догадался, что даму привлекают острые эмоции, но только не любовные. Однако мой пристальный взгляд вызвал ее чисто женский, весьма банальный вопрос:

— Вы как-то внимательно на меня смотрите.

Разговор между нами продлевался на польском:

— Простите, пани. Но мы, кажется, встречались.

— Где?

— В лесах бывшей Ингерманландии я нашел загадочную усадьбу, а в ней видел ваш портрет… Не верите?

— Напротив, я верю, — ответила женщина…

В этой настоящей парфорсной охоте я все-таки уцелел!

Но за нами, вооруженными длинными арапниками, когда мы возвращались в «Поставы» на замученных лошадях, тащились повозки с искалеченными. Плачевная серенада болезненных стонов и воплей сопровождала наше возвращение с охоты. Впереди же всех гарцевала на серой кобыле красивая пани Вылежинская, одетая в немыслимый ярко-красный фрак, облаченная ниже пояса в белые галифе жокея; она искусно трубила в рог, чтобы граф Пржездецкий заранее готовил врачей, бинты и лекарства для будущих инвалидов парфорсной бойни… Вечером среди уцелевших был устроен пикник с богатым застольем, а Вылежинская вдруг спросила меня: правда ли она похожа на портрет женщины, что повстречался мне в старинной усадьбе?

— Да, — отвечал я. — Наверное, роковое совпадение.

— Вы еще не сделали никаких выводов?

— Меня предупредили, чтобы я не влюбился в нее.

— Это мудрый совет, — сказала мне Вылежинская…

Я сопроводил ее до Вильны на бричке, она купила билет на поезд, отходящий в Варшаву. На прощание выставила руку для поцелуя, а сама чмокнула меня в щеку, как ребенка:

— Прошу об одном — не вздумайте влюбляться в меня. Если бы вы знали меня и мою жизнь, вы бы…

— Вы, наверное, замужем? — напрямик спросил я.

Цецилия Вылежинская ничего не ответила. На обрывке бумаги наспех, уже после второго звонка, она начертала свой варшавский адрес. Я долго махал ей рукой с перрона. Потом при свете фонаря развернул ее записку. Это был адрес: «Варшава, улица Гожая, дом № 35». Меня даже пошатнуло… Чертовщина! Ведь на Гожей, в подъезде этого дома, мне выкрутили руки и потащили в карету для арестованных. Что это значит?

Не от Гожей ли улицы начинается новый поворот?

Ганс Цобель из «Хаупт-Кундшафт-Стелле» с громадными уродливыми ушами снова встал передо мною, как живой, на перроне «Остбанхоффа». А вдали приветливо мигали желтые и красные огни уходящего варшавского поезда…

\* \* \*

По зачетной второй теме я не стал брать участок берега возле Анапы, отверг и район побережья между Либавой и Виндавой — я приготовил оперативный обзор малоизвестного «угла» Адриатики вдоль Кроатского и Далматинского побережий. В этом случае я как бы невольно пошел по стопам покойного адвоката В. Д. Спасовича, который описал эти края, а его красочные рассказы об увиденном еще не увяли в моей памяти. На этот раз материалами для доклада служили не только книги и атласы, но и документы главного статистического управления.

— Остался последний доклад? — спросил отец.

— Я избрал для него победу при Кульме.

— Напомни, где этот Кульм?

— По соседству со знаменитыми Теплицкими водами, на дороге из Праги в Дрезден… это древняя земля Богемии.

— Наполеон сам сражался при Кульме?

— Нет. Он все время впадал в болезненную сонливость и послал против русских своего маршала Вандама.

— А кто командовал русскими?

— Граф Остерман-Толстой, дальний сородич Льва Толстого. В битве при Кульме ему оторвало руку. Когда его сняли с лошади и положили на траву, он сказал: «Спасибо, ребята! Потерей руки я заплатил за высокую честь командовать гвардией…»

— А что сказал Вандам, когда его брали в плен?

— Просил скорее увезти его в тыл, ибо страшился мести жителей, которых он грабил. В городе Лауне его карета была забросана булыжниками. Вандама доставили в Москву и сдали на попечение тамошним барыням, которым он говорил злые нелепости и нахальные комплименты. Вот и все!

— Посмотрю, как ты с этой историей справишься…

Справиться было нелегко! Моя рукопись о Кульме разбухла до восьмисот страниц, следовало переписать ее обязательно от руки красивым писарским почерком. Приходилось ночи напролет чертить и раскрашивать жидкою акварелью множество карт. Согласно твердым академическим правилам, офицер — независимо от количества написанных им страниц — обязан был в отчетном докладе уложиться точно в 45 минут! Для этого в кабинете висели большие часы, стрелка которых могла оказаться ножом гильотины, отсекающим все надежды на успех. Не уложится офицер в срок — плохо, не успел досказать все существенное, члены комиссии сразу встают с готовым решением:

— Вы не умеете владеть чувством времени, которое столь необходимо для каждого штабного офицера…

Из восьмисот страниц текста требовалось выбрать самое главное. Я не раз репетировал перед отцом свое выступление, следя за часами, и никак не мог уложиться в срок, необходимый для подлинного триумфа. То отбарабанивал доклад за 42 минуты, то затягивал его за 50 минут. Наконец мне это надоело:

— Ладно. Буду следить за стрелками часов…

По выражению профессорских лиц я понял, что доклад о Кульме им нравится. Но — о, ужас! — я уже заканчивал речь пленением маршала Вандама, а до положенных регламентом 45 минут осталось еще три минуты… «Чем их заполнить?»

— Подвиг русской армии при Кульме, — сказал я, — спас от разрушения антинаполеоновскую коалицию. В награду за это король Пруссии наградил русских особым Железным крестом, вошедшим в историю под именем «кульмского». Австрийский же император Франц отдал нашим солдатам курзалы и пансионы в Теплице, чтобы они подлечились в живительных водах. Однако рядовые воины России не знали о целебных свойствах минеральной воды, в драгоценных источниках Теплица они устроили баню с прачечной, в которой перестирали рубахи и подштанники…

Стоп! Время вышло. Сражение мною выиграно.

— Итак, все кончено, — доложил я отцу.

Сейчас мало кто знает, что русская армия (единственная в мире) имела специальный «корпус генштабистов», и это важное обстоятельство резко отличало армию России от других армий Европы. Все окончившие третий курс Академии Генштаба получали особую форму. Золотой жгут аксельбанта проходил под локтем каждого, закрепленный сзади на плече, под эполетом или погоном. Мне присвоили чин штабс-капитана. Мои одногодки, вышедшие из кадетских корпусов, лишь через десять-пятнадцать лет могли достичь того положения, какое я обрел за эти краткие годы.

Для продвижения по службе предстояло теперь отслужить еще двухгодичный ценз командования ротой.

— Желательно, — было сказано мне в канцелярии Академии, — именно в той части, из которой вы прибыли для учебы…

Случайно я встретил на Невском полковника Лепехина. Мы зашли в кафе «Квиссисана», где лакомились кофе и ликерами. В разговоре, поминая прошлое, я невольно высказал свои подозрения относительно Гожей улицы в Варшаве, где проживает очаровательная пани Цецилия Вылежинская, встреченная мною на парфорсной охоте в «Поставах»:

— Что-то странное! В подъезде именно тридцать пятого дома на Гожей не мне ли выкручивали руки ваши агенты?

Лепехин подумал и вдруг стал смеяться:

— А, ерунда! Простое совпадение… Одну пани выслали, другая пани вселилась в пустующую квартиру.

Он настойчиво убеждал меня не возвращаться для отбытия ценза в Граево на прусской границе:

— Стоит ли мозолить глаза немцам на рубежах нашей империи? Пусть лучше думают, что вы провалились ко всем чертям.

— Вы такого мнения? — спросил я.

— Убежден в этом, — четко ответил Лепехин.

Он интересовался: есть ли у меня связи в верхах?

— Нету, — сознался я. — Да и какие могут быть у меня связи, если мой батюшка лишь скромный учитель гимназии.

— Вот и хорошо, — неожиданно произнес Лепехин…

По исстари заведенной традиции мы должны были представиться императору. Николай II проживал тогда с семейством в глухом месте Царского Села, а именно в Баболовском дворце, украшением которого служила гигантская ванна, вытесанная из графитного монолита. Оживленной группой, привлекая внимание дачников, мы пригородным поездом выехали до Александрии; от станции сразу вошли в прохладные кущи Царскосельского парка. Николай II принял нас на лужайке перед ванным корпусом. Здесь я впервые увидел царя так близко, и он поразил меня обыденностью своего невыразительного облика. Император счел своим долгом каждому из нас задать вопрос, при этом старался придавать своим словам показную значимость.

Затем нам предложили «гофмаршальский» завтрак. Это особый вид придворного этикета, когда угощение дается как бы от имени гофмаршала, но без царя и царицы. Усаживаясь за стол, мы припомнили остроумного генерала Драгомирова, который в подобных случаях говорил: «Гофмаршальский завтрак — это уже не честь, а лишь бесплатное кормление в харчевне для голодающих». Я запечатлел в своем сознании быструю смену тарелок и бокалов, но во рту не осталось ни вкуса еды, ни запаха вина — так быстро все делалось, а в присутствии гофмаршала двора мы остерегались разговаривать откровенно…

Когда же сели на поезд, чтобы возвращаться в Петербург, все дружно признались, что они голодные.

— Господа, а не махнуть ли всем нам к Кюба?

Так и сделали. В ресторане я запомнил не только тарелки и бокалы, но для памяти сохранил даже меню нашего торжественного обеда. Вот как оно выглядело: «Суп мипотаж-натюрель. Пироги демидовские. Холодное: ростбиф с цимброном. Фаже из рябчиков тур-тюшю. Зелень и раки. Пирожные крем-брюле».

С молодым аппетитом мы набросились на еду:

— Все-таки у Кюба лучше, чем в Баболове…

При выходе из ресторана нам случайно встретились армейские офицеры, одетые с нарочитым, но дешевым шиком, и я не забыл, сколько презрения было вложено в их реплики по нашему адресу.

— Фазаны приперлись! — услышал я за спиной.

— Момент паршивый! — добавил кто-то…

Простим их: эти гарнизонные офицеры, конечно, не могли гордиться аксельбантами, их никто не хотел видеть в Баболове, они даже не мечтали ознакомиться с роскошным меню у несравненного гастронома Кюба… Это могли позволить себе только мы, элита армии, офицеры «корпуса генштабистов».

Постскриптум № 2

После уничтожения презренной династии Обреновичей авторитета «Черной руки» и самого Аписа было вполне достаточно для того, чтобы подчинить себе правящую династию Карагеоргиевичей — а заодно уж! — и партию сербских радикалов, стоящую во главе правительства. Сербия при тайном воздействии «Черной руки» превратилась в буржуазно-парламентарное государство, а власть короля Петра была ограничена конституцией, точнее — личной диктатурой Аписа, ставшего полковником и начальником сербской разведки… Главное же в политике Белграда, как и хотели того все сербы, стало политическое сотрудничество с Россией и братским русским народом!

Австрийские власти весьма смутно догадывались о появлении «Черной руки», и то лишь по слухам, и в Вене наивно думали, что «рука» — это просто обычная компания офицеров, сдружившихся в 1903 году, когда они совместно убивали короля Обреновича с его королевой Драгой, а сам же Апис известен как любимец женщин. Подобное недомыслие Вены делает честь умелой конспирации сербской разведки!

Австрийская разведка уже сомкнулась с германской, чтобы заодно работать против России, а где-то она и подчинялась ей; так что все победы и все провалы «Хаупт-Кундшафт-Стелле» можно приписать и разведке берлинской.

Зато вот агентура Сербии, незаметно подключенная к русской, была, пожалуй, активнее венской, ибо действовала не в защиту устоев монархии, а ради освобождения народа, всегда поддерживаемая угнетенным миром славянства. Сербам в их борьбе всегда помогало неустанное «кипение в котле Австро-Венгрии», где враждовали за первенство мощные национальные силы, готовые в любой момент потребовать от Габсбургов самоопределения. Сами же руководители австрийского шпионажа с отчетливой ясностью признавались: «Если Балканы являлись лишь политическим барометром Европы, то Сербия все более и более превращалась в тот гремучий капсюль, который угрожал взорвать всю минную систему наших политических разногласий…»

Молоток для удара по капсюлю держал в своей руке Апис!

Переведем стрелки часов назад, когда даже враги Аписа признавали его главную роль в событиях на Балканах; вот что писал о нем С. Станоевич, белградский профессор истории:

«Талантливый, культурный, лично храбрый и честный, полный честолюбия, энергии и охоты к труду, убедительный собеседник, Драгутин Дмитриевич (Апис) имел исключительное влияние на окружающих его лиц… Он обладал качествами, которые очаровывают людей. Его доводы были исчерпывающими и убедительными. Он умел повернуть любое дело так, что самые ужасные деяния казались мелочью, а самые опасные планы невинными и безвредными. Великолепный организатор, он все держал в своих руках, и даже близкие друзья плохо знали о том, что замышляется им… Сомнения в том, что возможно, а что невозможно, никогда не смущали его. Он видел лишь одну цель перед глазами и шел прямо к ней без колебаний и невзирая на последствия. Апис любил опасность приключений, тайные козни и таинственные предприятия».

От себя добавлю: организация «Черная рука» вскоре стала как бы государством в государстве, и ни сам престарелый король, ни сам премьер Пашич не были уверены в своих действиях, ибо за них активно действовала разведка Аписа.

Недавняя аннексия Боснии и Герцеговины, столь позорная для политического престижа России, оказалась для Габсбургов лишней обузой; не только славяне, не одна лишь Россия, но даже Турция возмутилась агрессией Вены, и турки объявили беспощадный бойкот австрийским товарам, отчего Габсбурги понесли миллионные убытки в экономике, и без того хромающей на костылях берлинской выделки. Так что барон Эренталь, обдуривая русского министра Извольского, обманул сам себя. Он надеялся, что прикладом ружья расплющит любой гнев сербов, но вместо усмирения Балкан Европа наблюдала невиданный подъем национально-освободительного духа. Надо полагать, что теперь Вена много бы дала за голову Аписа!

Вся жизнь этого человека прошла в нескончаемых заговорах. Не успев завершить один, он уже готовил второй и третий. Это был удивительный виртуоз конспиративных замыслов. Конечные цели этого сильного человека слишком обширны и остались до сих пор неразгаданными. Но если бы все заговоры Аписа окончились удачей, он бы залил кровью престолы всех монархов Европы, а вместо тронов оставил бы одни смрадные головешки…

Создатель тайной организации «Черная рука», подполья патриотического, Апис был повержен «Белой рукой» — подпольем монархистов. Его прикончили за попытку свергнуть династию Карагеоргиевичей, которую сам же Апис и утвердил на сербском престоле в конаке Белграда.

Каждая минута жизни Аписа была посвящена будущему объединению южных славян в единое и мощное государство, каким позже и стала Югославия. Но, как говорят итальянцы, «каждая минута жизни ранит, а последняя — убивает…».

Последние минуты жизни Аписа были страшными!

…Я был удивлен, когда узнал, что Апис черпал свои силы в примерах русских народовольцев, его возносила наверх та самая волна, которая вознесла на гребень истории и героев первой русской революции. Но, кажется, его любимою книгой все-таки стали «Бесы» Федора Достоевского. На этом я пока и закончу.

Глава третья

Прыжок

Мне было бы весьма мучительно,

если бы кто-нибудь воспринял эту книгу

как роман, более или менее занимательный…

Илья Эренбург

НАПИСАНО В 1938 ГОДУ:

…это новость: фон Бломберг женился! Пожилой вдовец, он не стал брать себе в жены старую клячу, а женился на молоденькой. Матримониальное решение начальника германского генерального штаба поддержал сам Адольф Гитлер, а шафером на свадьбе выступал Герман Геринг. Казалось, дело в шляпе. Но выяснилось, что фон Бломберг просто мешал фашистам захватить всю власть над вермахтом, а посему они подсунули Бломбергу уличную проститутку. Теперь в Германии скандал: как мог глава германской стратегии связать себя со шлюхой? Долой его! Бломберга выгнали и даже не извинились, хотя Геринг давно имел коллекцию карточек, где жена Бломберга была заснята в пикантной роли, определяющей ее древнейшую профессию…

Мне просто жаль старого дурака Бломберга, который вляпался в это гитлеровское дерьмо. Но при этом я с подозрением вспоминаю старый Берлин, людское оживление Вильгельмштрассе, где стояло красноватое, будто слепленное из сырого мяса, здание большого германского генштаба, и неприметный дом на Кенигплац, где плелись военно-политические интриги… Они скрещиваются и сейчас в кошмарный клубок, подобно тому, как переплетаются змеи на солнцепеке в период их омерзительного брачевания!

\* \* \*

Слава богу, что Вербицкий «прошел» удачно, вернув к себе доверие немецкого абвера. Но ожидание подозрительно затянулось. Очевидно, пока Володя торчит в Германии, меня здесь, в Москве, как следует обнюхивает немецкая разведка…

Наконец-то вчера на приеме в шведском посольстве, где я был в группе военной профессуры РККА, ко мне подошел… — увы! — подошел не немец, как я ожидал, а японский военный атташе:

— Ваше интимное предложение, сделанное Германии, не может ее заинтересовать. Но оно могло бы интересовать нас…

Я понял, что у абвера в СССР имеются хорошие источники информации, и гитлеровцы, еще не смея доверять мне, решили оказать «услугу» своим союзникам. Это не входило в мои планы.

— Вас, — отвечал я, — должны бы волновать дела на Дальнем Востоке, а в этом случае моя информация была бы чересчур ограничена, потому Японию она никак не устроит…

Когда я доложил начальству об этой краткой беседе, мне заметили, что я напрасно отверг контакт с самураями:

— Сейчас в районе границы у Посьета японцы собирают свои войска. Наверное, хотят прощупать бдительность наших дальневосточных гарнизонов. Все равно ведь, — сказали мне, — вашей липовой «дезой», полученной от вас, японцы так или иначе стали бы делиться с Берлином. В любом случае будем ожидать возвращения Вербицкого…

10 марта я узнал, что в Зальцбурге вдруг перекрыли границу, поезда между Веной и Берлином остановились на путях, а в Мюнхене подняты по тревоге все дивизии. 12 марта случилось то, чего я давно ожидал: немцы вторглись в Австрию. Бенито Муссолини дал заверение, что Италия не вмешается, и выехал на охоту, а французский премьер Шотан подал в отставку. Лондон молчит, словно все там подавились. Пожалуй, одна наша страна выступила с осуждением аншлюса, открыто выразив готовность прийти на помощь Чехословакии. Наконец 2 апреля Англия разомкнула свои уста и признала реальность аншлюса Австрии, насильно включенной Гитлером в нацистскую систему; Гитлер, надо полагать, очень доволен, что его разбой средь бела дня сошел ему с рук, как мелкое мошенничество…

В лекции я нарочно коснулся богатой экономики Австрии:

— Гитлер получил почти даром великолепный арсенал. Австрия держала первенство в мире по добыче магнезита, она имеет залежи ценных ископаемых, которые могут иметь стратегическое значение для развития вермахта: молибден, медь, графит, свинец. Нацистам достались налаженный транспорт, производство автомобилей и мотоциклов, паровозов и вагонов, турбин и радиооборудования высшего класса…

Я уже перестал ждать возвращения Вербицкого, и теперь думаю — не было ли с моей стороны промаха? Если же Вербицкий продал меня абверу, тогда не только он дурак, но дураком буду и я, слепо ему доверившись. Я попросил сводку обо всех задержанных на границе или убитых при сопротивлении пограничниками, но средь таковых Володьки не оказалось.

Не устаю переживать за Австрию: какова бы ни была в прошлом политика Габсбургов, никто ведь не станет отрицать, что Европа потеряла на своих картах государство, во все времена имевшее большое значение на весах мира… По слухам, гестапо уже схвачены эрцгерцоги братья Эрнст и Макс фон Гогенберги, сыновья того самого Франца Фердинанда, который был убит в Сараево летом 1914 года. Переживаю за этих отпрысков династии Габсбургов, тем более что мать их, графиня Хотек, была чешкой, ее отец служил в Петербурге при австрийском посольстве. Давным-давно последний лицеист пушкинского выпуска и последний канцлер князь А. М. Горчаков, бывая на даче в семье Хотеков, не раз держал эту девочку на своих коленях. Просто чудовищно — как иногда смыкается время в истории!

…31 июля 1938 года. Японцы открыли боевые действия возле озера Хасан, захватив наши сопки Заозерная и Безымянная, выгодные в тактическом отношении. Маршал В. К. Блюхер готовится дать им по зубам, чтобы больше не лезли. Японский посол Сигэмицу по-прежнему улыбается на дипломатических приемах, будто собака не знает, чье мясо съела…

Тревога! Сегодня ночью неизвестный самолет без опознавательных знаков, тип которого не установлен, перелетел нашу границу. Один колхозный сторож видел, как с него над лесом сбросили какой-то чемодан. Правда оказалась ужаснее, нежели можно предвидеть: это сбросили Володю Вербицкого! Самолет шел очень низко над лесом, парашют не успел раскрыться, и агент абвера разбился вдребезги.

— Жив? — спросил я на службе.

— Жив, но в очень плохом состоянии…

Я навестил его в госпитале. Володя заплакал:

— На что я годен теперь? Мешок костей — и все. Сволочь этот пилот. Сопляк! Не сумел даже сбросить меня как надо.

— Успокойся, Володя, ты уже дома, а дома, как говорится, и солома едома. Все твои кости уложат в мешок по последнему слову науки и техники. Орденов и медалей ты, конечно, не получишь от Калинина, но советский паспорт будет тебе выписан. Не под собственной, вестимо, фамилией, а под другой, какая тебе больше нравится. А сейчас соберись с силами и скажи, чем тебя накачали в абвере перед полетом?

— Велели устроиться агрономом где-либо в колхозах близ западной границы. Сидеть там тихо и не чирикать, благо теперь я должен остаться беспартийным. Время от времени я обязан извещать абвер обо всем, что происходит в прирубежных районах. В случае конфликта надо раздобыть форму советского командира войск связи, влиться в число отступающих и, устроившись в какую-либо часть, вредить как можно больше.

— Хорошо, Володя, — ответил я. — Подлечишься, станешь агрономом передового колхоза и… трудись во славу отчизны!

Сигэмицу перестал улыбаться и 10 августа предложил переговоры, чтобы закончить миром провокацию возле озера Хасан. Но меня сейчас волнует происходящее в Германии: там уже открыто возвещают о ближайшей цели политики Гитлера — о захвате Чехословакии. Недавно мне удалось прочесть книгу некоего Е. Бергмана, выпущенную в 1936 году в Бреслау, где написано без стыда и совести: «На развалинах мира водрузит победное знамя та раса, которая окажется самой сильной и превратит весь культурный мир в дым и пепел… Нет ничего более высокого, чем завоевательная война. Война — это обязанность немцев!»

Из достоверных источников получена странная информация: Англия не будет отстаивать Чехословакию, в Лондоне не желают соперничать с Гитлером. По берлинскому радио передавали текст спича Риббентропа, произнесенного им за обедом в Лондоне: «Мы стремимся к искреннему пониманию с Англией…» Вслед за тем Гитлер выступил в Нюрнберге на партийном сборище: «Я не потерплю ни при каких обстоятельствах, чтобы в Чехословакии и дальше угнетали немецкое меньшинство…» Пражское радио объявило о мобилизации армии, но истинный джентльмен Чемберлен, встретясь с Гитлером в Мюнхене, уже предал чехов. В Берлине сейчас воют сирены, пугая немцев воздушной тревогой, в Париже покупают противогазы, а в наших домовых жактах сидят затрушенные бабки и слушают лекции пионеров об отравляющем действии хлорацетофена. Много они понимают!

…Гробовое молчание Европы: вермахт вступил в Прагу.

Предательство совершилось благополучно для Чемберлена, а Гитлер на этом, конечно, не остановился. В сентябре 1938 года наша армия стала концентрироваться на западных рубежах. Обдумывая будущее, я невольно вспомнил один из заветов Шлифена, который вполне бы устроил Гитлера и его камарилью: «Побеждает только тот, кто не боится свершать насилие, и победа тем более обеспечена, если противник избегает насилия».

Нечто подобное и случилось ныне в Европе…

Карта Европы стала казаться мне доской аварийного пульта: красная лампочка вспыхивала там, где лежит польский Гданьск (Данциг), она тревожно мерцала по соседству с литовской Клайпедой, бывшей германским Мемелем… Лишь вчера узнал: при захвате Праги немцы получили секретные документы о мощи «линии Мажино», ограждавшей Францию со стороны Германии.

\* \* \*

…был в цирке, где работа акробата под куполом показалась мне схожей с работой разведчика. Стоит промахнуться или выпустить из пальцев трапецию — кувырком летишь вниз, и нет такого всемогущего «блата», нет такой протекции у начальства, чтобы задержали твое падение. Но если акробата в конце полета еще может выручить страховочная сетка, то разведчик ничем не подстрахован и разбивается насмерть посреди враждебной ему арены… И никогда не услышит оваций публики!

После Мюнхена, заняв Чехословакию, Гитлер получил прямой доступ к продвижению вермахта на восток, но ему осталось лишь обрушить хилый забор «санации», выстроенный польским диктатором Пилсудским… Именно в эти дни абвер принял мои услуги.

Чиновник из германского посольства назвал себя по фамилии Геништа, едва намекнув, что действует по поручению посла.

Разговор он начал неожиданно для меня:

— Прочитайте вот эту справку, извлеченную из старых архивов тайной берлинской полиции времен кайзера…

Это была фотокопия характеристики на меня: «Все, кто его знает, немедленно сообщить в полицию… Работает по заданиям русского Генерального штаба. Блестяще владеет оружием, любит появляться в обществе, нравится женщинам. Хорошо управляет автомобилем, способен водить паровозы. Приметы: обычного роста, движения резкие. Лицо невыразительно, но при обороте напоминает профиль молодого Наполеона. Одинаково хорошо держится в блузе рабочего и в смокинге. В общении с людьми находчив. Отличается большой личной смелостью. С его помощью был разоблачен в России наш опытный агент, майор Антон фон Берцио…»

— Кажется, это про вас, — усмехнулся Геништа.

— Благодарю. Вы удачно расшевелили мою угасающую память.

— Надеюсь, приятные воспоминания?

— Не совсем, — ответил я. — Мне пришлось убегать от чересчур напряженного внимания вашей полиции.

— Да, — согласился Геништа, — нам известно, что вы покинули Германию при необычных обстоятельствах.

— А вы, — сказал я, — слишком утомили меня ожиданием этой встречи. Стоило ли абверу так долго кружить вокруг моей незначительной персоны? Впрочем, готов выслушать.

Геништа сразу перешел к делу:

— Абверу известно о вашем высоком официальном положении в составе мыслительной элиты Красной Армии. Вот именно это и заставило нас медлить с принятием ваших услуг. Каковы же главные причины, которые заставили вас пойти на связь с нами? Или вы очень нуждаетесь в деньгах?

Цинично, зато откровенно.

— Совсем нет! — отвечал я. — В моем возрасте, при отсутствии пороков, дорого оплачиваемых в подворотнях, мне деньги совсем не нужны. Я поступаю так из чувства российского патриотизма. Родина будет вечно возвышаться над людьми, над временем, над политикой, над партиями… Разве не так?

— Ваше здоровье? — поинтересовался Геништа.

— Не железное, — был мой ответ. — А что нужнее сейчас? Ритмичная работа моего стареющего сердца или информация о передислокации Красной Армии в сторону польских рубежей?

— Последнее для нас важнее вопроса о вашем сердцебиении, — согласился Геништа. — Но все-таки ваше предложение несколько странно: вы, бывший офицер русского Генштаба, горячий патриот России, вдруг высказываете готовность помочь Германии, против которой так много работали в молодости…

Мой ответ был заранее согласован с начальством:

— Сейчас я пришел к пониманию, что без помощи могучего германского вермахта нам, истинным патриотам России, не удастся свергнуть сатрапию Сталина и его чересчур бравых приспешников. В искренности моих чувств вы не должны сомневаться: я старый русский офицер, честь имею!

Мы поговорили о совместной работе. В конце беседы, уже ставшей вполне доверительной, Геништа задал вопрос, для меня опасный, но я, кажется, не разбился посреди арены.

— Моих коллег, — сказал он, — волнует одна существенная деталь. То, что вы работали до революции на царский Генштаб, это понятно. Но под вывеской какой фирмы вы занимались шпионажем в Германии? Какое у вас было прикрытие?

— Производство керамических труб, — ответил я. — Но это лишь в частном эпизоде с Гамбургом, а вообще-то я работал под видом легального агента «Общества спальных вагонов»…

Этим ответом я загнал абвер, как бильярдный шар, в самый дальний угол игрового поля. Дело в том, что международное «Общество спальных вагонов» в старые времена было никем не контролируемой организацией, и теперь абвер пусть копается до скончания века (все равно истины обо мне они никогда не откроют). Мы условились с Геништой: раз в месяц обычным почтовым отправлением я буду информировать агронома Чашкина, законспирированного в колхозе «Красный восход», который и был отныне советским агентом Вербицким…

Итак, с конца 1938 года я стал давать гитлеровскому абверу ложную информацию. Я получил кличку «Габсбург»! Мы условились о пароле: «Извините, мне нужно этажом выше…»

\* \* \*

Я не сразу выяснил дальнейшую судьбу братьев Эрнста и Маркса Гогенбергов, посаженных по приказу Гитлера в концлагерь Дахау. Здесь я вклеиваю в свой текст воспоминаний вырезку из одной английской книги, где о них говорится:

«Братьев Гогенбергов заставляли ползать на коленях и вылизывать языками гудронированную площадь тюремного двора. При этом тюремщики-эсэсовцы все время плевали наземь, так что Гогенберги вылизывали языками не только пыль и грязь площади, но и плевки гестаповцев. Когда издевательский „тур“ был пройден, братьев заставили в присутствии всей эсэсовской команды плевать друг другу в рот. В другой раз их заставили тачками очищать отхожее место. При этом обоих братьев Гогенбергов с нагруженными тачками столкнули в выгребную яму. Лишь с большим трудом им удалось выбраться живыми из этой зловонной трясины…»

Таков был ужасный конец австрийских Габсбургов!

Размышляя над этим, я пришел к выводу, что Гитлер издевался над братьями умышленно. Габсбурги — это прошлое Австрии, и не всегда бесславное, а вокруг прошлого группируется настоящее. Гитлер не дурак, он понимает, что, уничтожая прошлое, он уничтожает не только историю, но и будущее народа…

О господи! Как мне все это надоело!

1. Обстоятельства

В случайной беседе с Петром Ниве я спросил его:

— А какова подготовка офицеров в генштабе Германии?

— В идеале на одинаковый вопрос все офицеры должны давать одинаковые ответы. У нас такого шаблона мышления нет, ибо на Руси всякий на свой лад с ума сходит…

В жизни не всегда случается так, как хотелось бы. Человек борется с обстоятельствами, мешающими ему, но иногда бывает, что обстоятельства сильнее усилий человека, и порой лучше смириться. Я не слишком-то верю в фатум, но иногда возникают в жизни роковые моменты.

Сам любитель игры на бильярде, я частенько вспоминаю знаменитого бильярдного игрока Рейхардта, известного своим мастерством во всех столицах мира; когда-то, играя на деньги, он гастролировал и в клубах Петербурга. С ним произошло как раз такое, когда судьба явила ему игру волшебного рока. Это случилось в Париже; однажды вечером, почти накануне его свадьбы, Рейхардт сидел дома. Машинально поставил шар на поле бильярда и крепким ударом направил его в лузу. Но удар был настолько силен, что шар, отразившись от борта, вылетел в открытое окно на улицу. Он упал на стеклянную крышу оранжереи соседнего дома, пробил ее и попал в комнату чужой квартиры, расколотив при этом драгоценную сервскую вазу, за которой завтра должны были прийти, чтобы забрать ее в музей Лувра. Звон и грохот испугали беременную кошку, которая сладко дремала в корзине возле этой вазы. Выпрыгнув из корзины, эта бестия уронила лампу, отчего в доме возник пожар. Невеста Рейхардта была как раз дочерью владелицы этого дома. Пожилая женщина, увидев пламя, тут же скончалась от разрыва сердца. После чего, когда дом догорел, невеста отказала Рейхардту в своей руке и своем сердце…

Сцепление роковых обстоятельств, очевидно, всегда будет иметь влияние на судьбу человека, как это и случилось со мной после окончания «полного» курса Академии Генштаба.

Я получил превосходный балл успеваемости и, казалось, имел право занять какую-либо должность при военном министерстве или в том же Генеральном штабе. Но этого, увы, не произошло, ибо обстоятельства оказались сильнее меня. Для начала меня как следует обесчестили! Мои сокурсники, вышедшие из лейб-гвардии, близкие ко двору или носившие громкие титулы князей, графов и баронов, быстро расхватали вакансии при Генштабе, и судьба их покатилась как по маслу. Свои обиды я высказал лишь полковнику Ниве.

— А что вы обижаетесь? — отвечал тот. — Между штабной карьерой в корпусе генштабистов и кордебалетом в театре нет никакой разницы: одинаковое желание поскорее открутить волшебное па, чтобы тебя заметило начальство… Советую выждать, пока не появится вакансия!

Для выслуги служебного ценза мне советовали ехать обратно в Граево, но тут я припомнил советы Лепехина.

— Нет уж! — отказался я. — Если вернусь в Граево после трех курсов Академии, но лишенный вакансии при Генеральном штабе, меня могут заподозрить, что я воровал носовые платки из чужих карманов… Я ведь не могу вдудеть в ухо каждому, что вакантные места нашлись для людей, имевших выпускной балл ниже моего балла, но обладающих протекцией на самом верху государственной пирамиды.

Несправедливость глубоко оскорбила меня. Единственное, чего я добился, чтобы меня продолжали считать первым кандидатом на первое вакантное место. А пока мне предложили на выбор: адъютантскую должность при киевском военном губернаторе или быть ротным воспитателем в Неплюевском кадетском корпусе Оренбурга. Я решил, что лучше всего переждать это время в отдалении от суеты, и, кажется, поступил правильно.

— Но прежде я хотел бы получить право на отпуск…

Обо всем случившемся яснее всего высказался папа:

— Стоило три года мучиться, чтобы потом угодить в пекло Оренбурга, где будешь выстраивать по ранжиру балбесов в кадетских мундирах… Может, сразу просить отставку?

Огорченный, я поплелся на Загородный проспект, где над подвальчиком красовалась вывеска: «ЖОЗЕФ ПАШУ. Только виноградные вина». В подвале богемы пол был посыпан свежими опилками, в залах прохладно и пусто, но Михаил Валентинович Щеляков по-прежнему занимал столик. Выслушав меня, он сказал:

— А все-таки жить на этом свете заманчиво.

— Даже сидючи у Пашу? — спросил я.

— Даже здесь… Вот узнаю из газет, что Рудольф Дизель загнал шесть тысяч «лошадей» в свой двигатель внутреннего сгорания, а теперь немцы окружили его машину забором, на котором начертано: «За вход без разрешения — шесть лет каторжных работ». Разве не интересно проделать дырку в немецком заборе или перемахнуть через него — назло всем церберам кайзера?

Я ответил, что нас тому не учили:

— Мы осуждены просиживать штаны на стульях штабов, а не рвать их об гвозди, торчащие из заборов.

— Плохо вас учили… плохо! — загрустил Щеляков. — Великий химик Менделеев во Франции простым подсчетом вагонов с химическим сырьем вывел формулу бездымного пороха, которую держали в строжайшем секрете. Но мы не называем же Менделеева шпионом! Просто умный человек… Что ты хочешь, если даже большие писатели и мыслители не брезговали заниматься разведкой, требующей от человека самого высокого интеллекта.

— Кто, например? — засомневался я.

— Вольтер, Далиэль Дефо, Бомарше и даже легендарный бабник Джованни Казанова. Наверное, он таскался по всему свету не только ради знакомства с женщинами. Этот жуир хотел бы соблазнить и нашу Екатерину Великую, но бабенка была зело хитрющая и выставила его прочь из России.

— Да, я читал записки Казановы.

— Ты, наверное, листал и Библию? А тогда обнаружил в ней и первого шпиона на свете — это был Иисус Навин, дававший своим соглядатаям точные инструкции, как надо шпионить за землей Ханаанской. Вспомни, наконец, и филистимлянку Далилу, погубившую Самсона, — ведь это явная диверсантка в стане врагов… Не будь я таким толстым и жирным, — печально заключил Щеляков, — я бы непременно полез через забор, дабы поглядеть, что там замудривает для кайзера Рудольф Дизель!

Жозеф Пашу водрузил между нами бутылку кислого вина из ягод прошлогоднего урожая. Щеляков сказал:

— Жаль! Мне уже не дожить до того времени, когда ты, трясяcь от старости, будешь вшивать в свои офицерские штаны золотой лампас генерала. Однако я не забыл тот случай с тобою, когда ты был еще «чижиком». Ведь ты возложил венок на покойника и после чокнулся с ним как ни в чем не бывало.

Я сердечно чокнулся с Щеляковым, отлично понимая, что мой старый друг — уже не жилец на свете, скоро лежать ему на Литераторских мостках Волкова кладбища.

— К чему вам припомнился этот случай?

— Ты умеешь не теряться при любых обстоятельствах.

— Умею. Так за что мы выпьем?

Артист и писатель, он заплакал, целуя меня:

— Милый штабс-капитан! За обстоятельства…

\* \* \*

Из старых газет… Кайзеру Вильгельму II представили двести самых красивых девушек Лотарингии, кайзер, как водится, произнес перед ними напыщенную речь, затем велел бургомистру:

— Вы обязаны сделать из них хороших германских матерей, чтобы каждая родила для меня по солдату для армии.

На это бургомистр, испугавшись, ответил:

— Ваше величество, я всегда готов услужить вам. Но в мои годы… поверьте, одному мне это уже не под силу!

Зачинщиком новой войны выступал не рядовой немец, а сам император, окруженный свитою теоретиков и практиков грядущей бойни. По любому вопросу в жизни император Германии имел свое особое мнение, очень любил учить всех, как надо жить. Комплекс неполноценности, угнетавший кайзера в юности, позже превратился в комплекс переоценки своей личности. Если император видел плотника, он тут же отбирал у него молоток и показывал всей нации — как следует правильно забивать гвозди в стенку. Наверное, попадись кайзеру бродячая собака, он, кажется, стал бы поучать пса, как надо задирать ногу, чтобы пофурить. Многие подозревали в Вильгельме II только позера, потерявшего меру в своем превосходстве над людьми, но более прозорливые люди (вроде Бисмарка) считали императора полусумасшедшим. Недаром же сами берлинцы говорили:

— Наш великий и бесподобный кайзер желает быть новорожденным при всех крестинах, он хотел бы стать невестой на всех свадьбах и покойником на всех похоронах…

И если за спиной кайзера стояли лишь 65 генералов свиты, он не стеснялся делать программные заявления перед миром от имени 65 миллионов немцев, населявших тогда его могучую империю, будто выкованную из первосортной крупповской стали. Именно от кайзера очень часто слышались гневные слова:

— Цольре зовет меня на бой!

Это был древний боевой клич династии Гогенцоллернов, вступивших на стезю германской истории под именем «Цольре». И толпа уличных зевак и простофиль криками отвечала кайзеру:

— Цольре зовет и нас!..

Русские с юмором относились к подобным эскападам:

— Да пусть себе кипятится. Все равно ведь суп никогда не едят таким горячим, каким он варится на плите…

Русский художник Михаил Нестеров предрекал:

— Помилуйте, да ведь в конце жизни он угодит на остров Святой Елены. Невольно задумаешься: нормальный ли у немцев кайзер? Не говорит, как все люди, а вещает. Жалкий дилетант! Что взять с дурака, если у него рожок автомобиля, когда он катит по улицам Берлина, наигрывает мелодии из «Тангейзера» Вагнера… А усы-то! До чего лихо закручены… карикатура!

Мнение М. В. Нестерова смыкалось с мнением французского ученого Эрнеста Лависса, который называл кайзера «декоратором театрального пошиба». Германский император постоянно позировал, его жесты были внушительны, а речи бесподобны:

— Мы — соль земли! Бог возлагает надежды только на нас, на немцев… с прусским лейтенантом никто не сравнится.

С солдатами он разговаривал языком фельдфебеля.

— Эй, ребята! — орал кайзер на параде. — Никак, вы наклали полные штаны и теперь боитесь пошевелиться, чтобы не слишком воняло. Смелее вперед — весь мир лежит перед вами!

А ведь, по совести говоря, дилетант был талантлив. Император играл на рояле, на скрипке, на мандолине, в кругу семьи он щипал струны испанской гитары. Играл в шахматы и недурно распевал в концертах. Писал масляными красками большие картины-аллегории, обладал даром шаржиста. В творческом портфеле Вильгельма II лежали опера, драма, даже одна комедия. Он умел дирижировать симфоническим оркестром, а службу в церкви вел не хуже заправского епископа. Брал первые призы на яхтах под парусами и ловко швартовал к пирсам новейшие крейсера. Ловкий наездник, кайзер обладал славою прекрасного стрелка. Умел сварить вкуснейший бульон, недурно поджаривал бифштексы. Все это император вытворял лишь одной рукой — правой, а левая от рождения была скрючена врожденным параличом.

Вы теперь представляете, как этот шедевральный вундеркинд подавлял своими талантами нашего серенького и бесталанного Николашку, который с гениальной виртуозностью умел делать только одно великое дело — пилить и колоть дрова. Повторялась старейшая история соперничества, как у Салтыкова-Щедрина, о — «мальчике в штанах» и «мальчике без штанов».

После Боснийского кризиса Извольский, обманутый Эренталем, был удален. Столыпин сделал министром Сазонова, о котором в Берлине ничего не знали, кроме того, что он шурин Столыпина. Когда летом 1910 года царь приехал в Германию, чтобы подлечить нервы своей психопатки Алисы, кайзер предложил навестить его в Потсдаме. Эта встреча была последней и самой отчаянной попыткой Берлина перетянуть русский кабинет на свою сторону, оторвав Россию от союза с Англией и Францией.

Надо признать, что немцы к переговорам подготовились хорошо, настроенные почти благодушно. Сазонову было сказано, что Германия не настаивает на крайностях своей политики, заранее согласная посредничать в спорах Петербурга с Веною:

— Неудача переговоров в Бухлау между Извольским и Эренталем имела причины личного характера, а Германия не намерена поддерживать честолюбивые планы Австрии на Балканах, где, как нам известно, достаточно сильно русское влияние…

Немцы скромно просили русских не вступать в союзы, враждебные Германии; им хотелось, чтобы Россия не мешала немцам тянуть рельсы Багдадской дороги и дальше, а дальше эти рельсы непременно заденут и бесспорные торговые интересы московских воротил финансового мира. Этим немцы хотели навсегда испортить англо-русские отношения, ибо в Лондоне считали Персию своей полуколонией. Сазонов, вернувшись в Петербург, дал интервью для газет, в котором он как бы принес извинения союзникам за то, что осмелился посетить Германию и выслушать мнение берлинского кабинета; заодно он успокоил Уайтхолл, обещая не заключать с Берлином никаких договоров, прежде не оповестив об этом английское правительство.

Но своему родственнику Столыпину от сказал откровенно:

— Если мы и выиграли в Потсдаме, так мы проиграли в будущем сохранении мира на Балканах. Отказываясь от союза с Германией, мы теперь не можем уцепиться за обязательство Берлина, чтобы Берлин не поддерживал агрессивную политику Австрии на Балканах. Чувствую, что именно в этом районе мы еще встретим совместную австро-германскую экспансию…

Балканы по-прежнему оставались «пороховым погребом», вырытым под зданием всей Европы, насыщенной сокровищами ума и культуры, обставленной музеями и дворцами, хранившей в своих столицах самые ценные произведения искусства и уникальные библиотеки. Европа всегда останется для человечества образцом мировой цивилизации и ее следовало беречь.

Так было всегда, так требуется и сейчас!

\* \* \*

Богатые русские люди каждый год навещали Европу; маршрут их путешествий пролегал, как правило, знакомой, но избитой дорогой: Берлин, Париж и Рим, реже Лондон с Мадридом, а кто отваживался увидеть Египет или побывать — о, ужас! — на Корсике, на таких вояжеров смотрели как на героев. Но почти никто из русских не ездил в те края, где я намеревался провести отпуск. Не ездили по той причине, что никакие путеводители не зазывали посетить Истрию, Далмацию или Кроацию; русские люди очень смутно представляли себе, что там находится, и даже гимназисты неуверенно отвечали на экзаменах:

— Это полоса берега Адриатического моря, которое древними славянами называлось морем Ядранским… Что там растет? Там растут маслины, из которых выжимают масло. Еще я знаю, что в аптеках продают «далматский порошок» от блох и клопов…

Для меня этот район славянского мира был особо интересен, ибо я сдавал последний экзамен в Академии как раз по стратегической значимости восточного побережья Адриатики, и теперь мне хотелось взглянуть на него глазами туриста. Я покидал Петербург в те дни, когда на площади перед Исаакиевским собором сооружалось германское посольство. Это было громоздкое безобразное здание, облицованное красным гранитом, с узкими, как в тюрьме, окнами, и петербуржцы называли его «ящиком». Официальным архитектором проекта считался Беренс; столичные жители рассуждали, что это строение своим прямолинейным уродством разрушит прекрасный ансамбль площади.

Когда Столыпину показали план нового посольства, он пришел в ярость, повелев или прекратить строительство, или в корне изменить проект. Об этом он сам и доложил Николаю II.

— Ничего изменить нельзя, — ответил царь. — Здание посольства создается по плану, составленному самим германским императором Вильгельмом, и менять что-либо в проекте неудобно по причине политических обстоятельств.

Кайзеру казалось, что в этом «ящике» воплощена выпуклая идея величия германского духа — Цольре, подавляющего Россию, и два голых арийца из бронзы, поставленные на крыше здания, с трудом усмиряли двух разгневанных рысаков.

— Что делать! — огорченно вздыхали петербуржцы. — Теперь даже в архитектуру полезла эта поганая политика.

(Здание сохранилось в Ленинграде и поныне, но двух голых Зигфридов, ведущих вздыбленных ими Буцефалов, история свергла с крыши, и они разбились при падении.)

2. Мои главные эмоции

Перед отъездом мне дали дельный совет: во владениях Габсбургов лучше не называть себя русским, иначе полиция приставит «попутчика», от которого потом не отвяжешься. Бывалые люди предупреждали, чтобы избегал богатых ресторанов:

— Лучше перекусить в дешевой харчевне. Полиция Австрии так устроена, что каждый человек с деньжатами привлекает ее внимание. Там вообще не разберешь, кому можно хорошо жить, а кому нельзя. Даже офицер в Вене, проехав с дамою по Пратеру на таксомоторе, делается фигурой подозрительной: уж не передает ли он военных секретов русским? А иначе с чего бы это бедному офицеру кататься на моторах?

Я решил ехать под видом немца, возымевшего желание ознакомиться, как из дешевой коринки славяне делают отличное вино. Моим попутчиком от Будапешта оказался толстый баварец, поясной ремень для которого служил точным указателем талии. За время пути он дурил мне голову своими бреднями.

— Все величайшие в истории подвиги принадлежат нам, немцам, — важно рассуждал он. — Лучшие ученые в мире — немцы. А кто сильнее наших гимнастов? Промышленность Германии самая передовая. Самые толковые рабочие — немцы. Где еще можно видеть такие порядки и организацию, как не в Германии? А враги окружают нас, желая лишить немцев их места под солнцем.

Возможно, что с моим отцом-германофилом он и нашел бы общий язык, но я-то, черт побери, всегда оставался в душе славянофилом, и потому… терпел. Я думал, баварец выболтается и уснет, но он деловито пересчитывал:

— Смотрите сами! Великий Данте был немцем до мозга костей, а эти плюгавые макаронники присвоили его себе и теперь наслаждаются. Уже само имя Данте — Алигьери — есть исковерканное немецкое «Альдигер». Наконец, возьмем Боккаччо — это же наш родимый «Бухатц»! Тассо — немецкий собрат «Дассе». Кавур, Манцони и Леопарди имели голубые глаза, что доказывает их арийское происхождение. Казалось бы, что тут спорить? Однако весь германский мир окружен недоверием и врагами.

— Ну а как быть с Вольтером? — спросил я, зевая.

— У него типичный череп арийца, — последовал ответ…

Так я столкнулся с наглейшим проявлением пангерманизма, из потемок которого, аки гад из-под коряги, вылез германский фашизм. Национальное чванство начинается со сравнений: кто из народов лучше, а кто хуже? Кажется, любому из народов мира принадлежат разные качества, добрые и плохие. Я немало читал наших славянофилов, но, несмотря на многие завихрения их умов и сердец, они все же не додумались до того, чтобы русифицировать черепа Вольтера, Канта или Байрона. Наши ура-патриоты помалкивали даже о том, что «Берлин» (запруда) когда-то был рыбацкой деревушкой славян на берегах Шпрее, и никто не виноват в том, что именно там сложился административный и боевой центр всей Германии…

Триест был базой австрийского флота. Но я сразу услышал в этом городе певучую итальянскую речь. Не знаю, каково жилось итальянцам в Триесте, площади которого были обставлены памятниками Габсбургам, а на Пьяцца-гранде журчал фонтан имени Марии-Терезии, — все это напихала туда Вена, чтобы «макаронники» не слишком-то задавались. Но итальянцы отомстили немцам своим памятником великому Данте. О жителях лучше всего судить по газетам. Я купил их 34 штуки сразу, вышедшие из типографии Триеста только за один день. Простая статистика подсказала мне, кому должен принадлежать Триест: из 34 газет 29 печатались на языке итальянском, 3 — на словенском и греческом и лишь одна на немецком…

Я не стал задерживаться в этом странном городе!

Меня ожидал Фиуме, известный производством торпед, которые за большие деньги покупал русский флот для своих миноносцев. Но для меня Фиуме был значительнее по иным причинам: отсюда, из этого города (славянской Риеки), мама, покинувшая меня, еще мальчика, прислала свое последнее письмо…

\* \* \*

В своем описании ограничусь лишь главными эмоциями.

Сразу за Фиуме я попал в очаровательный мир, меня окружали магнолии, розмарины и бесплатные лавры, вполне пригодные для заправки супа: здесь же, среди развалин древности, торопливо бегали трамваи и шлялись австрийские патрули, с подозрением вслушиваясь в звучание сербской речи. Габсбургами был нарочно придуман «боснийский» язык, дабы лишний раз доказать покоренным жителям, что они не имеют ничего общего с сербами. Я купил грамматику «боснийского» языка, которая оказалась превосходным пособием по изучению именно… сербского!

Еще от Фиуме я заметил, что хорваты-католики не жаловались на гнет Австрии, покорные немцам, за что сербы нарекли их презрительной кличкой «шокцы». Габсбурги в своих владениях натравливали мадьяр на тех же самодовольных хорватов, а хорваты при каждом удобном случае третировали сербов. Таким образом, все живущие на лучезарных берегах Ядранского-Адриатического моря притеснялись не только оккупантами, но и сами грызлись меж собою, как бездомные собаки.

На пароходе австро-венгерского Ллойда я отплыл к югу до Котора (Каттаро), откуда неприступной стеной высилась Черная Гора — Черногория с независимым и гордым народом и где владения Габсбургов кончались, ибо австрийцы страшились черногорцев, как бес ладана. Я своими глазами видел, что в буфете парохода становилось пусто, едва плывший с нами черногорец брался за нож, чтобы отрезать кусок буженины.

Наш пароходик делал остановки в приморских городах Далмации. Все впечатления от Триесты и Фиуме разом померкли, почти раздавленные величием и красотой славянской старины, перемешанной с латинской. Древние базилики и капеллы, храмы и ратуши, статуи мадонн, глядящих с берега моря в синий простор, римские ворота и триумфальные арки — все это ошеломляло!

Тем же ножом я отрезал себе кусок пирога.

— Лепо място, — сказал я черногорцу.

Он шевельнул усами, обнажив в улыбке чистые зубы.

— Хвала, — отвечал черногорец, берясь за вилку…

Первые зачатки просвещения сербы Далмации впитали еще от Византии, от сказочной Венеции. Может быть, со временем здесь бы и сложилась страна необычной судьбы, если бы не трагический Видовдан в 1389 году, сразу уничтоживший на Косовом поле царство славян с политическим и культурным могуществом, способным влиять на другие народы Европы, как влияли потом на всех нас итальянцы и французы. Но, как сказано у мудрого Квинтилиана, «история существует сама по себе, и ей безразлично, одобряем мы ее или не одобряем…».

Наконец мы доплыли до Сплита (Сполато); тут я увидел славянскую Помпею — развалины древнего Салона, разоренного еще вандалами Аттилы. Глядя на расколотые мозаики и обломки барельефов, ныне украшавшие лачуги бедняков, я горестно размышлял: для того ли пролилось столько крови в этих местах, для того ли выпало столько бурь, чтобы теперь догнивать под ярмом Габсбургов и греться возле очагов, сложенных из руин великолепной древности? В гуще виноградников я набрел на столь обширное кладбище, что сделалось страшно: сколько веков жили люди, радовались и умирали, их голоса и смех навеки исчезли для нас, и тут я невольно осмыслил не только слабую тщету жизни, но и все ее подлинное величие! Но покинул я кладбище в тревоге. Наверное, никакой Везувий не мог принести столько вреда Помпее, сколько приносят в мир войны, изуверства и целые эпохи молчаливого народного отчаяния…

Дубровник показался мне родным городом, будто я тут и родился. Именно отсюда вышли наши отважные рыцари морей, зачинатели побед русского флота. В этих тенистых садах ученый серб Марко Мартинович учил «птенцов гнезда Петрова» плавать и сражаться на морях; под славным Андреевским стягом русского флота не раз сражались сербы из Дубровника, отличные моряки и точные навигаторы. Маленький Дубровник (Рагуза) когда-то был республикой, сюда слала приветливые грамоты Екатерина Великая, а местные жители снаряжали послов в Петербург; если Аттила разрушил Сплит, то Наполеон уничтожил Рагузскую республику; так погибли для мира «Славянские Афины», бывшие центром науки и художества, коммерции и навигации. Я долго копался в книжных завалах местного букиниста, встретив у него «Житие Петра Великого» на сербском, сочинения Ломоносова, оды Державина, поэмы Пушкина и даже «Историю…» Карамзина…

Я покинул пароход Ллойда в Каттаре, и краски в душе полиняли, едва я вступил в заплесневелый город с кривыми улицами, где царили темнота, смрад помоек и вопли каттарских кошек, насилуемых тощими ободранными котами. Сразу за Которской бухтой начиналась независимая Черногория, потому Каттаро был превращен в гарнизон, перенасыщенный австрийскими войсками, пушки Габсбургов мрачно поглядывали в сторону бухты. На берегу моря до утра шумел пропахший луком ресторанчик с итальянскими певицами, я здесь скромно ужинал, невольно разговорившись с австрийским офицером, уроженцем Праги. Пожалуй, только от чеха и можно было услышать такое откровение:

— Мне стыдно за то, что я поедаю местную пиццу, а не свои пражские кнедлики. Что делать? В моем представлении Габсбургская монархия — прекрасный Нарцисс, который много веков любовался в ручье собственным изображением, как в зеркале, а теперь даже не замечает, что он состарился возле ручья…

Думаю, этот офицер-чех не станет сражаться с сербами, попавшими под такой же гнет. Из своего путешествия я вынес глубокое убеждение, что на здешних обломках истории обязательно возродится великая славянская федерация, каковой позже и стала Югославия…

\* \* \*

Конечно, я не преминул сделать «крюк», дабы навестить и Сараево, где остановился в гостинице с ловкой прислугой и всеми удобствами. Гуляя по городу, не раз простаивал на Латинском мосту, любуясь кипением воды в бурной Милячке, и не подозревал, что «Черная рука» еще приведет меня сюда, а мост со временем станет носить имя Гаврилы Принципа…

Хорватов разъединяла с православными сербами католическая вера, но эта же вера сближала их с Австрией, которая нарочно ласкала хорватов, чтобы лишний раз унизить сербов. Даже когда сербы основали в Загребе свой университет, называя его «югославским», венские власти запретили название, указав именовать его «хорватским». Во время долгой борьбы за свободу южные славяне (когда-то бывшие едины) сами не заметили, что их разделили — на сербов, хорватов, словенцев, македонцев и прочих. Братья по крови и культуре, они пошли разными путями — хорваты за Ватиканом и Габсбургами, а часть сербов даже приняла мусульманскую веру (как это случилось в Боснии).

Мне в Сараево мало понравилось: типичный коммерческий город с массою витрин и вывесок; возле лавок раздобревшие торговцы выкатывали на улицу бочки, поверх которых резались в карты, и хлебали из бутылок минеральную воду. При этом хорваты беседовали по-немецки. Я не знаю, где и когда допустил промах, но однажды, вернувшись в гостиницу, заметил, что кто-то копался в моем чемодане. Это ускорило мой отъезд из Сараево, а на границе с Сербией меня откровенно обыскали.

Зато вот в Белграде никто не спросил у меня документов, и что бы я ни сказал, всему верили на слово! Доверие и честность сербов вошли в пословицу. Еще была приятная черта сербского характера — отсутствие любопытства к чужой жизни. В этом городе Сара Бернар или Томмазо Сальвини могли вылезти вон из шкуры, чтобы на них обратили внимание — сербы станут глядеть на них только в театре. Стареющий король Петр Карагеоргиевич шлялся по улицам без охраны, заходил в кафаны, выпивал свое пиво, просматривал газеты. Никто не сбегался смотреть на него, как это случилось бы в России, если бы наш царь закатился в пивную. Сербам все равно! Захотелось королю пива — пусть пьет, интересно в газете написано — пусть читает. Король подзывал лакея, расплачивался, брал сдачу и уходил, почти никем не замеченный. Пятивековая борьба с врагами сделала сербов гордецами, отчего они терпеть не могли, если кто совал нос в их дела, но и сами старались не заглядывать в чужую кастрюлю…

Я нарочно снял номер в захудалом «Хотел Кичево», напоминавшем мне юность, хотя мог бы устроиться и гораздо удобнее. Белград теперь обстроился новыми большими зданиями, средь которых выделялся дом страхового общества «Россия», появился удобный отель «Сербский краль», нарядные и модные магазины, мостовые были покрыты торцами. На 150 тогдашних улицах столицы было ровно 150 полицейских, но им нечего было делать: Сербия — страна, в которой никто не пьянствовал, никто не скандалил и не дрался, не было ни одного нищего.

— О, то лепо варош! — часто хвалил я город…

Конечно, я не набивался гостем в новый белградский конак, чтобы напомнить о себе Карагеоргиевичам или возобновить прежнюю дружбу с королевичем Александром: я ведь тоже наполовину серб, а потому должен оставаться независимым гордецом. Вместо этого я навестил русское посольство, где представился нашему военному атташе В. А. Артамонову. Виктор Алексеевич когда-то тоже окончил Академию российского Генштаба, он был со мною приветлив, как с младшим коллегой по ремеслу, а я раскрыл перед ним свое не очень убедительное инкогнито.

— К сожалению, оно раскрыто еще раньше, — буркнул Артамонов. — Вы напрасно показывались в Сараево.

— Почему?

— На вас там готовилось что-то вроде покушения.

— Не заметил!

— Вы и не могли заметить. Но, кажется, вас приняли за русского шпиона… Не думайте, — продолжал Артамонов, — что здесь, в Белграде, на окраине европейского мира, живут наивные простаки, ничего не знающие. Стоило вам появиться в австрийских владениях, как вас уже стала оберегать агентура разведки Сербии, чтобы у вас не возникло неприятностей.

— Кому же лично я обязан за такое внимание?

Артамонов не стал называть никаких имен:

— Завтра подъезжайте к полю на Баничком Брду, где состоится смотр войск сербской армии, там будет и король…

Не заметив короля, я на смотре войск встретил Аписа, который еще издали протянул мне свою могучую длань.

— Тебе, друже, — сказал Апис, — не стоит возвращаться через Вену или Будапешт, лучше ехать через Болгарию или Румынию, а оттуда пароходом прямо до Одессы…

В павильоне для гостей, изнывавших от жары, был накрыт стол. Среди присутствующих я заметил немало иностранных военных корреспондентов, но зато не было ни единого сербского жандарма. Каждому подали по тарелке с водою, в которой плавала кисть винограда, и отдельно — по стопке виноградной ракии. Чокнувшись со мною, Апис выразился иносказательно:

— Правду никогда нельзя скрыть целиком, как нельзя и раскрыть ее до конца… Будь осторожен, друже! А все враги нашей общей свободы скоро должны умереть.

Это было сказано слишком откровенно. Я отвел глаза от упорного взгляда Аписа и посмотрел на военного атташе: Артамонов спокойно выбирал из тарелки с водою виноградины покрупнее и чуть усмехался. Спросил меня совсем о другом:

— Вам ведь надобно в Оренбург?

— Да, явиться по месту службы.

— Явитесь, — ответил Артамонов. — Думаю, долго там не задержитесь. Рано или поздно, но при Генштабе обнаружится вакансия, и тогда… Тогда, наверное, встретимся!

Я вышел на берег Савы и смотрел вдаль, где за австрийской крепостью Землина, грозящей нам пушками Круппа, навсегда растворилась моя сербская мать. Я думал о том непоправимом счастье ее, если она ушла от нас ради подвига…

«Где же ты, мама?» Из отдаления, из садовой зелени «Жиче», донеслась музыка, и я сразу узнал знакомый мотив:

Дрина! Вода течет холодная, А кровь у сербов горячая… Каждый серб отлично стрелял. Сербия, можно сказать, с утра до позднего вечера гремела выстрелами в общественных тирах, шла трескучая пальба в школах и гимназиях, в городах и деревнях, стреляли старики, женщины и дети — каждый серб не только стрелял, но и метко поражал цель… Страна готовилась к обороне! Похвалим ее за это…

3. Вакансия

Прямо из Одессы я повернул оглобли на Оренбург…

Готовясь к роли ментора кадетской роты и чтобы не выглядеть «белой вороной», я заранее проштудировал доклады Первого съезда офицеров-воспитателей кадетских корпусов, в которых было немало сказано хороших слов о культуре поведения подростка, о развитии патриотизма в условиях коллектива, о вреде курения, алкоголя и прочее. Для себя я уяснил лишь одно: в педагогике масса светлых идеалов, но еще больше заматерелых шаблонов. Драть подростка за уши или не драть — этот вопрос остался не разрешен мною, но, подъезжая к Оренбургу, я сразу решил, что сажать в карцер буду…

Сам город показался мне привлекательным. Вполне благоустроенный, даже с водопроводом, очень богатый; с давних пор в нем проживало немало передовой интеллигенции, отчего в Оренбурге процветала книжная торговля. На улицах было полно всяких модниц, одетых как сущие парижанки. Но по тем же улицам, где фланировали красотки, вышагивали и караваны верблюдов с погонщиками из Персии или Афганистана, а в сторону мясных боен гнали стада покорных овец, впереди которых дефилировал красивый и гордый козел. На базарах Оренбурга встречались жители Бухары и Ташкента, Хивы и Коканда, они уходили обратно, нагруженные ситцами, чаем, халатами, искристыми головами рафинада и сверкающими тульскими самоварами. Здесь все покупалось и все продавалось: мерлушка и каракуль, перины и парики, бочки с коровьими языками и кишками, а топленое масло Оренбурга охотно скупалось Турцией и даже Германией.

Кадетский корпус в Оренбурге назывался «Неплюевским» — в честь Ивана Неплюева, делового гуманиста XVIII века, который еще в давние времена ратовал, чтобы готовить для армии детей в офицеры не только из местного казачества, но ласкою привлекать в науку детишек киргизов, башкир и калмыков. Само же здание корпуса поражало своей олимпийской помпезностью. С кадетами я сошелся легко и быстро, чего никак нельзя было сказать об офицерах корпуса. Среди них было немало порядочных и толковых людей, но многих уже засосала провинциальная рутина. Отчаясь выбиться в столичные города, они искали в Оренбурге купеческих невест побогаче, отстраивали роскошные дачи в Берде, где когда-то шумела «столица» Емельяна Пугачева, и я никак не подходил к дружной их компании, в которой здраво судили о том, что выгоднее сегодня продать, а что лучше завтра купить. Единственное, что я освоил в общении с офицерами оренбургского гарнизона, так это умение пить водку по всем правилам хорошего армейского тона: глотать ее залпом, медлить с закусыванием и никогда не морщиться…

Я не терял надежды оправдать звание офицера «корпуса генштабистов», рассчитывая, что в Оренбурге не задержусь, для меня обнаружится вакансия в Петербурге, и потому чувствовал себя более или менее независимо от высшего начальства. Директор Неплюевского корпуса, бывший кавалерист из улан, был помешан на достижениях гимнастики, желая сделать из кадетов Геркулесов, а я больше хлопотал о духовном и моральном развитии подростков. Стараясь не вмешиваться в классные занятия, я обращал внимание на несуразности в воспитании кадетов, следил за их языком и оценками прошлого.

— Пожалуйста, — внушал я в дортуарах корпуса, — при мне не говорите, что колокольчик «дарвалдает», надо произносить «дар Валдая», так что подзаймитесь географией. А вы, юноша, напрасно решили, что великий поэт Гёте был греком на основании того, что Карамзин любовался его «греческим профилем»…

Я строго следил за чтением кадетов, конфискуя у них книги низкого пошиба или ничего не дающие для развития ума, отчего заслужил в корпусе кличку «Цензор». Но если говорить откровенно, возня с молодежью мне даже нравилась, и если бы не ожидание выгодной вакансии, я, быть может, так и застрял бы в Оренбурге. В этом удивительном городе, поставленном на самом отшибе великой империи, были и свои житейские прелести. Вечерами нарядная публика фланировала по Николаевской, где размещался дом губернатора, и все наблюдали, как на балконе своего дома губернатор с женою пьет чай. Собирались интересные компании в Александровском садике, где струился фонтан. А военный оркестр гарнизона наигрывал беспечальные мелодии из оперетт Штрауса и Оффенбаха, брызжущие весельем…

Между тем время, в котором я жил и надеялся на что-то лучшее, не располагало к идиллическому спокойствию!

\* \* \*

Весь 1911 год либеральная Россия посвятила череде пышных застолий, отмечая тостами с шампанским полстолетия со дня уничтожения на Руси крепостного права. Печать исподволь уже готовила общество к столетнему юбилею Отечественной войны 1812 года; исправники заранее выискивали в провинциях дряхлых стариков и старух, помнивших пожар Москвы, слышавших гулы Бородина и лично видевших Наполеона.

Министерство финансов сделало официальный запрос: когда же в народных чайных «Общества российской трезвости» станут продавать водку, чтобы казна не терпела убытков? Среди молодежи усилилась тяга к наслаждениям, профессор Фриче выступал с популярными лекциями о «половом вопросе», а пока он там разбирался в этом непонятном вопросе, арцыбашевский герой Санин заявил, что человеку, как и скотине, все дозволено. Петербургские воры забрались в усыпальницу дома Романовых и стибрили с гробниц царей серебряные венки. В свете строго осуждали глубокое декольте актрисы Гзовской, пытавшейся соблазнить императора, а в военных кругах облаивали военного министра Сухомлинова, велевшего взрывать крепости, строенные на рубежах, сопредельных немецким. Русский купеческий капитал, смело побивая рекорды американских бизнесменов, занял первое место в мире по деловой предприимчивости, Россия вышла на второе место в Европе по количеству книжных изданий (первое же место прочно удерживалось Германией)…

Люди плакали и смеялись, крестили младенцев, провожали новобранцев, шли под венец смущенные невесты, взлетали под облака первые аэропланы, Иван Поддубный бросал на лопатки соперников, все старались думать о лучшей доле. Россия летом — вся в васильках и ромашках, а зимою плыли над ее погостами синие вьюги. Над одичалой церквушкой, что затерялась на косогоре, светила большая и желтая лунища… «О, Русь!»

Идут века, шумит война, Встает мятеж, горят деревни, А ты все та ж, моя страна, В красе заплаканной и древней. Доколе матери тужить? Доколе коршуну кружить?..

Германия в это время жила иными заботами. Ее канонерка «Пантера» появилась в Марокко, пушками угрожая выжить оттуда французов. Берлинские газеты ликовали: «Марокко может обеспечить нас ранними овощами, яйцами, мехами, ячменем, хлопком… такие страны дюжинами под ногами не валяются!»

Накануне, выступая перед гарнизоном Кенигсберга, кайзер Вильгельм II призвал войска Восточной Пруссии быть готовыми и при этом грозил отсохшей рукою в сторону России:

— Наша сила в том, что мы готовы начать войну без предупреждения. И мы не откажемся от этого преимущества, чтобы не дать врагам времени подготовиться к войне с нами…

Самые влиятельные газеты Германии ежедневно вколачивали в головы обывателей необходимость хоть завтра начать молниеносную войну. В пресыщенном свете Берлина никто не осуждал откровенное декольте Марии Ранцау, но здесь, как и в России, тоже предавались «столоверчению» и вызыванию духов.

— По теории доктора магии Мевеса, — утверждали немецкие спириты, — эпоха кровопролитий и небывалых разрушений продлится до 1932 года, который в предсказаниях ван Бейнингена окажется роковым: в этом году на весь мир снизойдет великий Сатана, а затем снова наступит райское блаженство…

На маневрах солдаты кайзера упоенно распевали:

Лишь подвернись русак — Перешибем костяк. Француз разинул пасть — По морде его — хрясть! А если не замолк, Добавь еще разок… Генеральный штаб Германии порождал чудовищные афоризмы один другого краше: «Продолжительный мир — это мечта, и даже не прекрасная; война есть существенный элемент божественной системы мира… Наихудшая вещь в политической жизни — апатия и душная атмосфера всеобщего мира… Война никогда не была великим и яростным разрушителем, но только заботливым обновителем и созидателем, великим врачом и садовником, сопровождающим нас на пути к процветанию…» Так рассуждали в кругу кайзера, а его генштаб пузырился от боевой ярости, как загнивающее болото, в котором не живут даже лягушки.

В 1911 году Германия имела 470 генералов. В этом же году бесславно удалился в отставку генерал Пауль Гинденбург — тот самый, который в 1933 году передал бразды правления всей Германией нахальному ефрейтору Адольфу Шикльгруберу (Гитлеру). Гинденбург, подавая в отставку, уверенно писал: «Война сейчас не предвидится…»

Эта фраза выдает его как последнего глупца!

\* \* \*

Нечаянно я вызвал недовольство директора, когда на учебном совете корпуса выступал с критикой затвержденного мнения: «в здоровом теле — здоровый дух». Чтобы полемизировать, мне пришлось сослаться на пример древней Спарты.

— Спарта, — сказал я, — дала непревзойденных атлетов, но от нее так и не дождались ни единого мыслителя, ни одного поэта. Так что физическое развитие не всегда способствует развитию интеллекта. На мой взгляд, слово «спартанец» в наши дни можно перевести на доходчивый русский язык всего лишь в двух убедительных словах: «здоровущий балбес!».

Генералу не понравилось мое замечание. Отношение офицеров ко мне стало хуже, когда в столичных газетах я опубликовал серию очерков под заглавием «У Ядранского моря»; правда, я укрылся под псевдонимом «Хорстич» (по фамилии матери), но о моем авторстве вскоре пронюхали в Оренбурге, и среди сослуживцев я встретил осуждение как выскочка.

— Не понимаю, — оправдывался я, — что тут дурного, если молодой офицер не только служит, но и посвящает досуг литературе? Не забывайте, что великий Суворов всю жизнь писал стихи, молодой Наполеон не мечтал потрясать мир своими победами, а писал драмы, мечтая о славе писателя…

Обо мне стали блуждать по Оренбургу всякие вздорные слухи. Когда о человеке ничего не знают, тогда начинают выдумывать, а выдумывая, редко говорят хорошее. Чаще забрасывают грязью. Конечно, любую грязь можно отмыть, но что-то грязное все равно остается. Скоро с этим печальным явлением я буду вынужден соприкоснуться вплотную, и моя репутация сильно пострадает. Я умышленно начал сторониться офицерского общества, заведя немало знакомств с инженерами-путейцами; они же — из лучших дружеских побуждений — завершили мою практику вождения паровозов, которую я чисто любительски постигал еще на границе в Граево. Там я, под надзором приятелей-машинистов, пробовал водить локомотив системы «компаунд», приспособленный для казенных дорог Восточной Пруссии, а в Оренбурге как следует освоил паровоз германских заводов знаменитого Августа Борзига, двигал вперед курьерский — системы «Н», строенный на Коломенском заводе. В каждом мужчине, наверное, остается что-то мальчишеское, и мне было приятно движение грохочущей, раскаленной машины, покорившейся мне…

Неизвестно, насколько бы затянулось мое командование ротой кадетов в Неплюевскам корпусе, если бы я не получил служебную телеграмму из Генштаба: «Просим срочно выехать в Петербург…» Я не замедлил прибыть, и мне было сказано:

— Нам известно, что вы покинули Академию, недовольные, что для вас не осталось вакансии. Таковая неожиданно обнаружилась, и мы рады оповестить вас об этом.

Естественно, я сразу же поинтересовался:

— В каком из отделов Генштаба мне придется служить?

Беседовавший со мною дежурный офицер загадочно переговорил с кем-то по телефону. Наконец трубка аппарата была оставлена в покое. Теперь он взглянул на меня как-то иначе:

— Все объяснят вам в кабинете сорок четвертом.

— Простите, а что там?

— Разведывательный отдел Генерального штаба…

Мне следовало появиться там завтра. Донельзя взволнованный, я проехал на Загородный проспект, и у Пашу встретился со старым запьянцовским другом. Конечно, я не стал рассказывать Щелякову о собственных переживаниях, я был одновременно и чуть растерян, и чуть подавлен, но пить вино отказался.

— Потом! Как-нибудь в другой раз… Лучше возобновим прежнюю тему разговора о том заборе, который непозволительно перелезать, Россия имеет сто одиннадцатую статью для наказания шпионов ссылкой в места отдаленные, где очень хорошо морозить волков. Как же к этому делу относятся немцы?

— К сожалению, у них нет Сибири, — ответил Щеляков. — Зато есть статья № 49а, карающая отсидкой в Моабите. Но в Англии к этому делу относятся совсем наплевательски. Там судья надевает черную шапочку, дабы прикрыть себе лысину, и любезно объявляет шпиону: «Вы будете повешены непременно за шею и будете висеть на веревке до тех пор, пока не сдохнете, да сжалится великий господь над вашей заблудшей душою!»

4. Плацкартой до Собачинска

— Разве тебе плохо служилось в Оренбурге?

— Хорошо. Но меня вызвали, — отвечал я отцу.

— Вызвали? Зачем?

— Наверное, ждет повышение.

— Слава всевышнему, — истово перекрестился папочка. — Я ведь всегда верил, что мой сын пойдет далеко. Может, это и к лучшему, что ты порвал с этой грязной девкой Фемидой…

Состоялся первый разговор в кабинете № 44. Моим собеседником оказался еще молодой офицер, уже с орденами, до этого мне совсем незнакомый, и, судя по его первоначальным вопросам, я догадался, что главная беседа состоится позже, а сейчас меня лишь деликатно прощупывают.

— Скажите откровенно, вы никогда не виделись с венским военным атташе в Санкт-Петербурге?

— Графом Спанокки?

— Выходит, вы его знаете?

— Нет. Просто его имя упоминалось в газетах.

— И вы это имя сразу запомнили?

— У меня отличная память.

— Кому писали последнее время почтой?

— Отцу.

— А на Гожую улицу, дом тридцать пять?

Вот уж никак не ожидал такого вопроса.

— Если вы имеете в виду варшавский адрес, который дала мне в «Поставах» некая наездница пани Валежинская, то я этим адресом для переписки никогда не пользовался, хотя женщина, живущая там, достойна всяческого внимания…

Мой собеседник перешел к делам Белграда:

— Вам известны причины, заставившие Георгия передать свои права на престол брату-королевичу Александру?

— Говорят, он в запальчивости ударил своего камердинера, что и явилось причиной смерти этого человека.

— Не совсем так, — поправил меня собеседник. — На удалении старшего сына от престола Сербии настоял сам отец, ибо Георгий резко выступал за немедленный разрыв с Австрией и бряцанием оружия слишком насторожил Вену. Но старый король понимал, что Сербия будет разгромлена, поскольку Россия ныне еще не готова поддерживать ее… Каковы ваши личные отношения с наследником Александром?

— Почти дружеские и весьма доверительные, ибо в Училище Правоведения я был его наставником, а Александр, еще будучи мальчиком, относился ко мне как к старшему брату…

— Где вы убиваете свободное время?

— Время, — ответил я, — это не жалкий комар, чтобы его убивать, а свободного времени у меня никогда не было.

— У вас есть на примете невеста?

— Нет.

— Связи с женщинами?

— Нет…

Неслышно отворилась боковая дверь кабинета № 44, вошел пожилой полковник и, послушав нас, спросил:

— А какими языками владеете?

Я назвал французский, немецкий, английский, польский.

— И два родных языка — русский и сербский.

— С последнего и следовало начинать.

— Начинать, — ответил я, — следовало бы все-таки с русского, а уж потом можно упомянуть сербский, освоенный мною еще с пеленок в разговорах с матерью.

Полковник представился по фамилии — Сватов. И после этого присел подле, коснувшись меня своими коленями. Он сказал:

— С такой внешностью надо бы играть в театре Бонапарта, который в молодости был чем-то похож на вас.

Это меня даже рассмешило:

— Скорее уж не Бонапарт на меня, а я похож на Бонапарта.

— Допустим, — согласился Сватов, переглянувшись с моим прежним собеседником. Уже вечерело, и за окнами кабинета виделись золотые огни царственного Петербурга. — А сейчас, — сказал Сватов, — вы должны откровенно поведать нам о своих отношениях с Драгутином Дмитриевичем.

— Аписом? — переспросил я, удивленный.

— Да. Только просим вас не утаивать свое участие в событиях третьего года, когда конак остался без Обреновичей.

Я откровенно рассказал обо всем:

— Можете верить, что в заговоре офицеров Дунайской дивизии я оказался случайной фигурой и мною двигало не столько желание перемен на королевском престоле в конаке Белграда, сколько желание найти следы матери в том же Белграде.

— У вашей матери были причины покинуть отца?

— Я не желаю вникать в интимные отношения между родителями. В подобных вопросах лучше не знать истины. Но мое мнение таково, что если женщина покинула мужа, то, надо полагать, виноват более жены муж…

Говоря так, я разволновался. Сватов сказал:

— Вы не потеряли надежды отыскать ее следы?

— Пока еще нет.

Сватов размял в пепельнице окурок папиросы.

— Мы… тоже! — вдруг сказал он. — Догадываясь, что эта тема обязательно возникнет в нашей беседе, мы заранее опросили русских консулов за границей, покопались в своих архивах, но все наши поиски пока остались безрезультатны. Если вам будет угодно, мы эти поиски еще продолжим.

— Премного буду обязан.

— Благодарить рановато, — хмуро отозвался Сватов. — Давайте сразу перейдем к делу. Вопрос с вакансией при Генеральном штабе, наверное, вскоре решится, а сейчас… Сейчас где бы вы хотели служить — в старой или в молодой гвардии?

Предложение было лестным. Я ответил, что старая гвардия, такие ее полки, как Семеновский, Преображенский, Измайловский и прочие, имеют дорогостоящие амбиции:

— Надо иметь собственный выезд или нанимать только «лихача» на резиновых шинах. В театре обязательно занимать кресла между пятым и десятым рядами, а другие места в партере для старогвардейца считаются уже «неприличными». Такая служба для меня просто не по карману! Так что лучше уж в молодой гвардии, где нет таких традиционных условностей.

Сватов предложил мне послужить в лейб-гвардии стрелковом батальоне, квартировавшем в Ораниенбауме:

— Такие люди беднее и проще, собрались одни трезвенники, деньги тратят на пополнение библиотеки батальона. А вам, учившемуся стрелять у буров, как раз место в компании наших Вильгельмов Телей… Ну как?

— Я не возражаю, господин полковник, но не могу сделать правильных выводов из нашей беседы, — сказал я.

— Могли бы и догадаться. Мы люди занятые и просто так не стали бы отзывать вас из Оренбурга, чтобы поболтать с вами. Разведывательный отдел Генерального штаба заинтересовался именно теми вашими качествами, кои могут быть удобны для ведения агентурной разведки внутри тех государств, которые в случае войны окажутся врагами России… Догадываетесь?

— Конечно.

— Только не старайтесь драматизировать свое положение, — продолжал Сватов. — Ваше согласие мы не станем вырывать из вас раскаленными клещами. Пусть совесть русского патриота подскажет вам, где вы нужнее всего сегодня: или опять причесывать кадетов Неплюевского корпуса, или забраться туда, куда Макар телят не гонял. А пока постреляйте себе в удовольствие. Наш разговор будет иметь продолжение…

Я ушел домой, встревоженный, даже ошеломленный. Возникали сомнения: готов ли я? достаточно ли умен? хватит ли мне сил? Наверное, всегда останется щепетильный вопрос, как относиться к разведке — или это вид искусства, вроде актерского, где все построено на эмоциях и перевоплощениях, или это подобие точной науки, как было в случае с химиком Менделеевым? Скорее всего, думалось мне, разведка — это совмещение эмоциональных и умственных качеств человека, а ценность агента разведки возрастает по мере его любви к родине…

— Где ты был? — спросил меня отец.

— Хлопотал, чтобы меня перевели в гвардию.

— Для этого, сын мой, надо иметь большие связи.

— Очевидно, они у меня нашлись…

Еще со времени службы в погранстраже Граево я знал понаслышке, что генштабисты, причастные к делам агентуры, служили по трем военным округам, примыкавшим к западным рубежам родины. Киевский был нацелен против Австро-Венгрии, Варшавский готовился отразить нападение Германии, а Одесский округ предупреждал возможные конфликты с боярской Румынией, отношения с которой в ту пору никого не радовали, ибо румынский король Карл I (из семьи Гогенцоллернов) ориентировался на Германию. Моего ума хватило, дабы оценить главное: служба в стрелковой лейб-гвардии — для отвода глаз, а работать предстоит по Киевскому военному округу, где с берегов Днепра я снова увижу балканские кручи…

\* \* \*

На самом же деле все было гораздо сложнее, нежели я полагал, будучи еще наивным простаком в таких делах. Оказывается, все офицеры «корпуса генштабистов», окончившие «полный» курс Академии Генштаба, давно учитывались в военных кругах Берлина и Вены как потенциальные разведчики, в любое время способные появиться в империях Гогенцоллернов или Габсбургов. Стоило нам прицепить к плечу роскошный аксельбант, как мы сразу же попадали под негласное, но пристальное наблюдение иностранной агентуры: где мы, что делаем, каковы успехи в карьере? Мы сдавали экзамены, ездили в Баболово представляться царю, мы кутили у Кюба, а сами уже сидели на крючке, пронизанные насквозь чужим и недобрым взором…

Об этом я узнал позже, а сейчас был зачислен в лейб-гвардии стрелковый батальон. Здесь была своеобразная обстановка: даже фельдфебели обвешивались шевронами и звенели медалями, полученными за отличную стрельбу, а меткость попаданий служила чуть ли не главным мерилом всех достоинств человека. Я не стал нарушать традиций батальона, и после упорной тренировки на стрельбище пробивал любую мишень точно в ее центре. Этим я заслужил уважение в офицерском казино, где вечерами устраивались собрания. Офицеры дискутировали на литературные и прочие возвышенные темы. Допоздна спорили о достоинствах поэзии Надсона и Фофанова, ниспровергали Лейкина и превозносили Чехова, восторгались «лапинскими» изданиями музеев Парижа, силились понять претензии «мирискусников» с их поисками в видении былой русской жизни.

В обществе этих культурных людей, брезгающих выпивкой, картами и анекдотами о неверности женщин, мне было интересно и хорошо, хотя в глубине души я уже истерзался ожиданием неизбежного прыжка над пропастью. Почему-то все чаще стал вспоминаться разоблаченный мною майор Берцио, его неловкая растерянность, когда я, отняв у него шпионский теодолит, просил расстегнуть запонку и снять с шеи воротничок…

Но как бы я ни мучился, будущее не страшило, а приятно волновало меня. В одну из пятниц, когда я приехал из Ораниенбаума в столицу, отец сообщил мне:

— Вчера телефонировали, чтобы в субботу ты был у полковника Сватова на его квартире. Вот и адрес…

На самом деле меня звали на «явочную» квартиру для нелегальных свиданий агентов с начальниками разведки; среди мещанской обстановки с неизбежными фикусами на полу и геранью на подоконниках, за плотными занавесками, укрывающими окна с улицы, можно было говорить откровенно. Сватов был не один, меня поджидал и какой-то мордатый господин в штатском, который и не подумал представиться.

— Очевидно, решение вами принято?

— Я весь к услугам Генштаба.

— Присаживайтесь… Хорошо, что вы не женаты. Холостому человеку легче владеть собой. Хитроумный Талейран утверждал, что человека, имеющего семью, легче заставить совершить нечестный поступок. Практика доказывает это…

Стол был накрыт к моему приходу, его убранство украшал «готический» графин с рябиновкой завода Смирнова и бутылка коньяку знаменитой фирмы «Шустов и сыновья». Я сразу заметил, что мордатый (буду называть его так) усиленно подливает мне в рюмку, очевидно, желая проведать, каков я на выпивку. Тогда я отодвинул от себя рюмку, а мордатый с явным огорчением, почти сердито затолкал пробку в бутылку.

— Все ясно, — сказал он. — А ваше решение окончательное?

— Иного и быть не может.

— И у вас, как у большинства людей, всегда сыщется вексель, который вам желательно, чтобы мы его оплатили?

Вопрос поставлен. Надобно отвечать:

— Вексель к оплате у меня только один. Помогите мне отыскать мою мать, и в награду мне больше ничего не надо. Если же вас интересует моя нравственность, могу доложить честно: выпить люблю, но я не пьяница, умею нравиться женщинам, но ловеласом никогда не был, карточного азарта не испытываю, долгов не имею, как не имею и лишних денег.

Мордатый господин не нравился мне, и я демонстративно повернулся к Сватову, который помалкивал:

— Какова же судьба майора фон Берцио?

— Отбывает срок в Тюмени, где его недавно навещала жена, приезжавшая для этого из Германии. Он разоблачен, и с ним все покончено, — объяснил Сватов. — Теперь давайте по существу. Не удивляйтесь, что вы где-то уже значитесь в криминальных досье наших будущих противников. На учете все ваши дела, все доблести и все пороки, которые одинаково уязвимы, если агент влипнет, как муха в чужую замазку… Вся сложность в том, как ввести вас в агентуру Генерального штаба. Эта задача гораздо сложнее, нежели вы думаете…

Мордатый стал выковыривать пробку из бутылки.

— Все-таки я выпью, — сказал он. — Нам желательно провести вас таким образом, чтобы соблюсти полную безопасность для вас и ради того дела, которое предстоит выполнить. Из множества клавиш рояля надо точно отыскать единственную, что станет необходима для нашей мелодии.

— Знание сербского языка, — заговорил Сватов, — заранее подсказывает, что вам лучше всего быть на Балканах. Но вы там уже наследили. Значит, удобнее начинать там, где вас никто не ждет, благо Вена уверена, что вы можете появиться в Австрии только со стороны Белграда, а мнение Вены, конечно же, давно известно в Берлине…

— Посылайте меня куда угодно! Ехать так ехать, как сказал попугай, когда кошка потащила его из клетки за хвост.

— Не спешите быть остроумнее попугая. Тут требуется особая осмотрительность. Чтобы запутать следы и надолго выпасть из поля зрения врагов, вам предстоит исчезнуть.

— Как исчезнуть? — удивился я.

— Именно это мы сейчас и продумаем… В любом случае, — было сказано мне, — вы должны совершенно выпасть из-под наблюдения тайной агентуры враждебных разведок. Я объясню вам ситуацию, весьма неприглядную для нас…

Не хотелось верить, что сама Россия и ее армия уже опутаны сетями шпионажа, что Берлин знает о нас все то, что держится в секрете, запертое в глубине несгораемых сейфов. Сватов подтвердил, что Германия имеет агентов в каждом из сорока восьми корпусных округов России:

— К тому же стремится и Австрия, но ее агентура работает слабее немецкой. К сожалению, многие из шпионов поныне еще не разоблачены, а наши ротозеи слишком откровенны во всем, где надо бы молчать! Сейчас мы растанемся, — заключил Сватов, — но прежде продумаем план, как вам предстоит вести себя, чтобы поскорее исчезнуть для всех…

\* \* \*

С этого дня началось мое моральное падение, всем видимая деградация личности, что никак не совместимо со званием русского офицера, тем более в гвардии. Я начал неумеренно пить, меня замечали в обществе игроков и дурных женщин. Я стал манкировать службою, являясь в свой батальон не в лучшем виде, городил чепуху и пошлости. Наконец я пал столь низко для офицера, что задолжал даже официанту в ресторане. Конечно, сослуживцы стали меня сторониться, выказывая этим свое презрение.

Но я ведь отныне и не желал им нравиться, а потому нарочно хвастал успехом у женщин, все поминал Шурку Зверька и Марусю Кудлашку (известных в ту пору гетер столичного полусвета). Никто уже не подавал мне руки. В создании вокруг меня отвратительной дым-завесы мне исподтишка помогал и сам отдел разведки Генштаба, распуская слухи, что я — негодяй и мерзавец, что давать мне в долг нельзя, ибо я долги не возвращаю. Наконец однажды утром я появился перед командиром стрелкового батальона в неудобопотребном состоянии, оправдывая себя известными строчками: «А кто с утра уже не пьян, тот, извините, не улан…»

Всему есть предел, и на «явочной» квартире я доложил Сватову, что больше так не могу жить:

— Легче застрелиться, нежели испытывать на себе брезгливое отношение порядочных людей, глядящих на меня как на падаль. Кончится все очень плохо.

— В этом у меня нет никаких сомнений, — ответил Сватов. — Но вы обязаны вытерпеть до конца все, что вам уготовано. А для создания удобной мимикрии необходима доля цинизма…

Вокруг меня образовалась зловещая пустота. Мне был объявлен негласный бойкот. Как бы то ни было, но своего я добился: собранием офицеров стрелкового батальона я был лишен чести, меня изгнали из рядов гвардии за недостойное поведение, позорящее русского офицера. Затем приказом по столичному округу меня исключили из «корпуса генштабистов», с моего плеча был сорван аксельбант, столь украшавший меня…

Сватов при очередной встрече заявил:

— Видите, как все удачно получилось? Теперь осталось дело за малым: загнать ваше ничтожество в самый захудалый гарнизон. Допустим, в город Собачинск… Знаете такой?

— Никогда даже не слышал.

— Потому что его не существует. Но в приказе он будет так и обозначен для видимости, необходимой лишь для приказа.

Мне предстояло сесть на сибирский поезд дальнего следования с плацкартным билетом… хоть до Иркутска!

— Подразумевается, что, доехав до этого запселого Собачинска, вы, конечно, подаете прошение об отставке, которое и будет нами в Петербурге оформлено по всем правилам. А после этого… Откуда мы что знаем! — со смехом сказал Сватов. — Может, вы уже валяетесь под забором или в игорных домах дикой провинции вас бьют как неисправимого шулера… Будем считать, что вы пропали для всех, вы пропали для резервов нашей разведки, — вас попросту не существует.

— Забавно! Но что же дальше?

Сватов протянул мне деньги и новенькие документы.

— С ними вы в Казани пересядете на поезд, идущий в Варшаву, а в Варшаве на площади перед вокзалом возьмете извозчика, бричка у коего имеет 217-й номер. Он вас отвезет на Гожую улицу, прямо к дому тридцать пятому.

— Опять Гожая?

— Да. Там вас будет ожидать автомобиль, можете довериться встречающим. Остальное вас просто не касается…

Я все понял! Но ничего не понимал мой бедный отец. Провожая меня на вокзале в далекую глухомань таежного «Собачинска», он откровенно рыдал, и его слова были упреками мне.

— Сын мой, — говорил папа, — ты ведь так хорошо начал… такая карьера открывалась перед тобою, и ты все сам испортил. Я отдал столько сил, чтобы поставить тебя на ноги! Я был одинок, я заменял тебе мать, я ничего для тебя не жалел… Теперь ты опозорил и себя, и мою седую голову!

Петербург медленно растворился в синем угаре наступавшего вечера. Я отъехал в гнусном настроении, жалея отца, которому никак не мог объяснить, что в моем мнимом «падении» затаилось скорое возвышение.

В купе я переоделся в штатское платье, вооружившись тросточкой. Стал пижоном. Как и договорились со Сватовым, я в Казани «отстал» от своего сибирского поезда и совсем другим человеком пересел в экспресс, идущий на запад. Теперь я изображал молодого приват-доцента Казанского университета по кафедре истории. В беседах с пассажирами, невольно возникавшими за время долгой дороги, я охотно рассказывал о себе.

— Понимаете, как это важно для истории! — ораторствовал я с папиросой в руке. — Профессор Мартенс сообщил мне, что в архивах Варшавы нашлась неизвестная переписка Наполеона с аббатом Прадтом, которого он перед нашествием на Москву назначил послом в Польшу. Я сгораю от нетерпения ознакомиться с этими уникальными документами и вот… еду!

Изображать молодого ученого, безумно влюбленного в свой предмет истории, мне было гораздо легче и намного приятнее, нежели в Ораниенбауме притворяться сволочью и пропащим забулдыгой. На одну из дам в поезде, ехавшую к мужу в Варшаву, я, кажется, произвел должное впечатление.

— Боже! — восклицала она. — Вам, непременно только вам и писать о Наполеоне… вы и сами-то — вылитый Наполеон!

Наконец показались затемненные предместья Варшавы, трущобы бедняков, кирпичные фабрички, бесконечные заборы, кладбища и костелы. На извозчике № 217 я прикатил на Гожую улицу, навстречу мне выехал «фиат»; помимо шофера, в автомобиле меня ожидал полковник, имевший на груди значок об окончании Академии Генерального штаба.

— Николай Степанович, — назвался он. — Я желал лишь убедиться в вашем прибытии. Далее вы доверьтесь шоферу, который и повезет вас в места старой польской Мазовии, где вас быстро научат, как правильно танцевать мазурку… Садитесь!

Это был знаменитый полковник Батюшин, управляющий разведкой против Германии, человек почти легендарный. В Петербурге меня только «закрыли» для общества, а теперь — под началом разведки Батюшина — мне предстояла трудная задача «раскрыть» самого себя и свои качества, пока что дремлющие втуне…

5. Расплата по векселю

Мы долго ехали в глубь Мазовии, но, кажется, шофер нарочно петлял по окружным дорогам, чтобы я потерял ориентировку. Уже стемнело, и только по звездам я определил для себя, что автомобиль удаляется к северо-западу от Варшавы. Наконец впереди показалось темное здание с колоннами, чем-то напоминавшее рыцарский фольварк. Издали оно почти сливалось с густою рощей, прикрывающей ее со стороны проезжей дороги. Шофер, нажав скрипучий клаксон, въехал во двор усадьбы, и за нами, как в заколдованном замке, сами собой со скрипом затворились железные ворота. Я оказался в секретной школе, готовившей агентов для засылки в соседнюю Германию.

— Нас никто не встречает, — сказал я шоферу.

— Встретят, — небрежно отозвался тот…

Было тихо в засыпающей природе, тихо было и внутри дома. В служебном кабинете меня ожидал хромой человек топорной внешности с маленькими кабаньими глазками, но в этих глазах посверкивал хищный огонек опытного и матерого зверя. Вот уж не знаю, какое впечатление он производил на других, но мне показалось, что я предстал перед главным инквизитором. Хромой никогда не называл мне своего имени, так и оставшись в моей памяти лишь Хромым… Хромой сказал мне:

— Не старайтесь выяснять, как называется место, куда вас доставили. Чувствуйте себя свободно, ибо в нашем убежище, вдали от мирской суеты, вы задержитесь недолго.

— На…

— На такой срок, какой окажется достаточным для вашей подготовки. Вы, наверное, устали после дороги? Прислуга уже ушла, окажите честь отужинать вместе со мною.

Хромой выключил электричество. Мы ужинали при свечах, воткнутых в позолоченные канделябры, изображавшие бегущего Юпитера и богиню Юнону, приветствующую полнолуние. Мне было хорошо и даже покойно в старинных апартаментах польского магната, от которого, наверное, и костей давно не осталось. В конце ужина Хромой скептически оглядел меня:

— Вы не очень-то удобный человек для разведки. Слишком выразительная внешность. Прическу следует изменить. Советую расчесывать волосы на прямой пробор. Надо отпустить усы, и вообще старайтесь привить себе видимость богатого пошляка.

— Постараюсь, — покорно отвечал я.

Хромой поднялся из-за стола, звеня связкою ключей, словно тюремщик, решивший открыть для меня свободную камеру:

— Пойдемте. Я проведу до вашей комнаты.

— Благодарю. Что у вас с ногой? — вежливо спросил я.

— А! Дело прошлое. Мне надо было любым способом избавиться от погони, и пришлось прыгнуть под мчащийся поезд, стараясь угодить между колесами. Вот немного и задело…

Я решил не удивляться, но прыгнуть под поезд я все-таки не был способен. Мы миновали громадный зал, где в прошлом кружились в мазурке волшебные пани и паненки, а теперь он служил для размещения большой библиотеки. При лунном свете я разглядел на корешках книг золотые гербы, но здесь же, среди старья, высились полки и с новейшими изданиями.

— Что вы умеете делать? — последовал вопрос.

И тут выяснилось, что я, всю жизнь что-то делая, ничего практически делать не умел. В оправдание себе я напомнил о юридическом образовании, о трех курсах Академии Генштаба.

— Я не об этом, — раздраженно пресек меня Хромой. — Я вас спрашиваю о навыках какого-либо мастерства.

Такового у меня не было. Что-то недовольно пробурчав, Хромой отворил для меня двери комнаты, где стояла кровать, убранная кружевами, словно здесь ожидали непорочную невесту, а я, наверное, должен был исполнить для нее брачную эпиталаму. Но здесь же размещались шкафы, плотно заставленные книгами, и Хромой указал на них связкою бренчащих ключей:

— Здесь не сыщете Вербицкую или романы Потапенко, здесь вам предстоит читать только серьезные книги.

Я ответил, что чтение никогда не утомляло меня, а голова натренирована к запоминанию даже цифровых таблиц.

— Тем лучше, — кивнул Хромой. — Вас решено готовить для Германии, ибо все австрийские шлагбаумы пока перекрыты. А потом, когда вас на Пратере никто не станет ждать, побываете и на Балканах… Пока все. Спокойной ночи.

Блаженно вытягиваясь на чистом ложе, я взял на сон грядущий из шкафа томик Жозефа Ренана. Думалось: «Как мог сюда затесаться Ренан?» С удивлением я прочел отрывок из его полемики с немецким философом Давидом Штраусом. «Политика, — писал Ренан, — должна отстаивать права народов. Немецкая же политика — расовая, и мы думаем, что наша лучше. Слишком самоуверенное деление вами человечества на расы… ведет к истребительным войнам! А каждое укрепление германизма вызывает отпор в мире славянства… Подумайте, какая тяжесть ляжет на весы мира в тот день, когда все славяне сомкнутся вокруг гигантского русского конгломерата, уже вобравшего в себя на своем историческом пути столько различных народов! России, — заканчивал полемику Ренан, — предназначено быть ядром будущего единства, подобно тому, как не вполне греческая Македония, не чисто итальянский Пьемонт, не чисто немецкая Пруссия стали центрами греческого, итальянского и германского единства…»

Книга выпала из моих рук — я очень крепко уснул.

\* \* \*

Не буду подробно рассказывать, как меня «вводили» в Германию: выражаясь образно, меня притирали к ней, словно пробку к флакону с дорогими духами. Изолированный от мира в этом замке Мазовии, я прошел хорошую выучку. Для каждой темы у меня был отдельный наставник. Мне прививали способность к оценке даже таких вещей, какие в обыденной жизни государства вряд ли оцениваются самими немцами.

Например, резкое сокращение поголовья гусиных стад в Германии должно навести агента на мысль о заготовке консервов. Если же они в продаже не появлялись, значит, лежат на складах армии, чтобы потом ими кормились в окопах офицеры. Я вникал и в политическую литературу, чтобы разбираться во внутренних делах рейхстага, где левые скамьи занимали социалисты. Пришлось пересмотреть заново труды почтенного географа Фридриха Ратцеля, который позже сделался «отцом» фашистской геополитики. Именно от него пошло такое понятие, как «Средняя Европа»; восточные границы ее Ратцель умышленно не указывал, давая понять, что Польша и Россия в будущем испытают силу немецкой экспансии. Зато «великая Германия» пангерманцами помещалась в центре Европы, уже поглотившей в себе Голландию, Румынию, Бельгию, Сербию, Прибалтику и Украину… Вот вам и Ратцель! Читал его труды еще раньше, но только теперь понял страшную подоплеку его вроде бы безобидной «географии», на самом же деле точно указывающей будущим фюрерам, куда идти, что делать, что присваивать…

Хромой хозяин замка, как всегда позвякивая ключами, иногда давал краткие, но полезные советы:

— Хороший агент разведки не будет считать документ уничтоженным, даже если он пройдет через фановую систему туалета. Лучше всего испепелите его, спустив пепел с водою через кухонную раковину. В сложных обстоятельствах дышите ровнее, старайтесь реже моргать: моргающий не так внимателен, как надо бы. Если чувствуете преследование, не стоит оборачиваться или глазеть на уличные витрины, дабы уловить в них отражение сыщиков. Для этой цели лучше носить очки. Человеку в очках стоит лишь принять нужное положение тела, и вы всегда будете видеть в отражении стекол то, что творится у вас за спиною…

Он оказался человеком знающим, многоопытным, и мне оставалось только догадываться, что жизнь преподала ему чересчур жестокие уроки. Однажды за обедом он вдруг смахнул со стола все ножи и вилки, оставив две тарелки, и спросил меня:

— Быстро! Чем бы вы стали убивать меня, если вам срочно понадобилось уничтожить меня насмерть?

Я замахнулся тарелкой, показывая удар плашмя по голове.

— Так дерутся в трактирах одни лишь пьяные извозчики, — высмеял меня Хромой. — А настоящий агент разведки уничтожает противника тарелкой, но иным способом… вот как!

И в его руках обычная суповая тарелка превратилась в смертоносное оружие. Под руководством Хромого я изучал способы шифровки системы «Цезарь», он же учил меня пользоваться «прыгающим кодом», более сложным. Немало повозился я с фотографированием карт и планов карманным аппаратом «Экспо» (американского производства), с английским фотоаппаратом фирмы «Тика», который был не больше дамских часиков; вделанный в искусственную гвоздику, такой аппарат носился на лацкане пиджака, позволяя незаметно снимать нужное.

Хромой натаскивал меня, как легавую на крупную дичь, своими советами, которые я оценил гораздо позже:

— Разведчику можно делать все, но все надо делать не так, как делают все. Не сразу садитесь в кресло, которое вам предложат, или небрежно отодвиньте его в сторону. Кресло может находиться под прицелом объектива аппарата, делающего снимки анфас и в профиль. Если предложат сигару, берите только сигару, но не трогайте коробку. Существует «шелковый порошок», незаметный для глаза, которым заранее покрывают подлокотники кресла, коробки сигар и конфет, чтобы предельно точно фиксировать отпечатки пальцев.

Дни умственной и физической нагрузки перебивались поездками в Варшаву на автомобиле. Бывая в бюро Батюшина, я не раз — под видом секретаря — присутствовал на допросах разоблаченных германских агентов. Это была практика для меня, да еще какая! Передо мною длинною чередой прошли разные гувернантки, землемеры, лесоводы, трубочисты, рантье, коммивояжеры по продаже швейных машинок «Зингер» и прочий люд, продававшийся за деньги и очень редко становившийся шпионами ради патриотических побуждений. При мне Батюшиным был разоблачен офицер германского генерального штаба, и Николай Степанович вежливо допытывался, какую школу тот окончил:

— Вы из Лорраха или из Фрейбурга?

Германия готовила самых ценных агентов в двух школах: Лоррах укрывался в горах Баварии, Фрейбург находился в Брейсхау. Попадались и «любители», которым все равно кому служить, лишь бы им платили. На моих глазах таких «любителей» быстро перекупали на русскую сторону; это были неприятные моменты — ведь всегда противно наблюдать чужое грехопадение. Такие шпионы-переметчики и двойники-шпионы на международном арго назывались «герцогами». Я удивлялся незначительности сумм, за которые они продавались сами и продавали своих нанимателей, а полковник Батюшин посмеивался:

— Чему дивитесь? В разведке издавна существет немецкое правило: отбросов нет — есть только резервы, а русские говорят: в трудной дороге и жук — мясо…

Иногда я совершал прогулки, радуясь свободе и одиночеству, уходя далеко от своего замка. Прекрасная земля Мазовии еще хранила остатки древней сарматской культуры. В ее леса и болота были вкраплены печальные польские «каплицы», руины монастырей, приаров, встречались обнищавшие фольварки гетманов и воевод. В фамильных усыпальницах давно вымерших шляхетских династий я разглядывал портреты усопших, ибо Польша имела давнее пристрастие к надмогильным портретам — «эпитафийным», и мне, стоящему над гробницей, иногда бывало жутко видеть надменных пани в кружевах и мехах, они глядели на меня, еще живущего, из мрачной тьмы XVII и даже XVI столетия…

В один из дней, когда я вернулся в замок после прогулки, Хромой, хозяин замка, встретил меня странными словами:

— Кто в разведке работает один, тот живет дольше. Но вам, милейший штабс-капитан, все-таки предстоит жениться…

Это было сказано с таким спокойствием, будто речь шла о режиме диетического питания. Зато я возмутился:

— Позвольте, это уж никак не входит в мои планы!

— А у вас не может быть никаких планов. Все планы составляют в разведке независимо от желаний агента. Кстати, мы же не сватаем вам кривобокую уродину с бельмом на глазу. Вы эту женщину знаете, и она вам, кажется, нравилась…

Сердечные чувства разведчика всегда учитывались лишь в отрицательном значении: их вообще не должно быть! Сколько опытнейших агентов погибло на виселицах только из-за того, что в их работу вмешалась любовь. Это касалось не только людей, мне вдруг вспомнилась одна смешная история. В 1915 году, на фронте в Вогезах, французам доставил немало хлопот громадный немецкий кобель по кличке Фриц, который в роли шпионского курьера не раз переходил линию фронта, всегда неуловимый. Тогда французские солдаты, которым в остроумии не откажешь, посадили на тайной тропе любвеобильную суку по кличке Жужу. Забыв о служебном долге, Фриц растаял перед красотою Жужу и, опустив хвост, потащился за нею… она его и привела в лагерь французов! Тут его схватили, извлекли из ошейника тайное донесение, после чего пес, изменивший своему кайзеру, и был расстрелян (а точнее — казнен) как опасный шпион Германии…

\* \* \*

Неожиданно в наш замок приехало начальство во главе с Батюшиным, с ним был и Сватов, нагрянувший из Петербурга; стало ясно, что их визит неспроста, сейчас, наверное, будет решаться моя судьба. Сначала меня спрашивали:

— Вы спокойны? Как спите? Нет ли сомнений в себе? Может, что-то вас тревожит или угнетает предстоящее испытание? Вы скажите честно. Наш оркестр согласен переиграть эту музыку обратно, и никаких упреков вам делать не станем.

Я ответил, что чувствую себя нормально, готов приступить к делу хоть сегодня, и пусть во мне никто не сомневается:

— Я все-таки офицер российского Генштаба, честь имею, и свой долг перед любимой отчизной исполню до конца.

— Нам это приятно слышать. По традиции, нигде не писанной, но святой, мы предоставляем вам право поставить перед нами какое-либо условие. Может, у вас имеются неприятные долги, которые мы беремся покрыть из казны. Может, вам просто желательно пожить в свое удовольствие перед разлукой с отечеством… Не стесняйтесь. Сейчас ваша жизнь уже поставлена «на бочку», и мы согласны исполнить любую вашу просьбу.

— Благодарю, — обозлился я. — Но вы еще не расплатились со мной по тому векселю, какой я вам предъявил к оплате.

Речь шла о матери, и все это поняли, хотя было заметно, что мое требование не доставило им удовольствия.

Гости деликатно, но довольно-таки внятно намекнули мне, что теперь я способен к работе тайного агента, на что я отозвался безо всякой любезности:

— У нас получается как в том анекдоте: «Играете ли вы на рояле?» — спросили даму. «Не знаю, — честно отвечала она, — я ведь еще не пробовала…»

— Ничего. Попробуете, — было сказано мне в утешение.

— Итак, — напористо заговорил Сватов, — ваше проникновение в Германию мы решили проводить через Гамбург… Вас оставят в гамбургском квартале Сант-Паули, куда порядочный человек соваться никогда не станет. Вы будете без оружия, без денег и без документов, как матрос, корабль которого ушел в море без него. Таких бродяг в Гамбурге много, полиция к ним привыкла, и для вас это будет намного безопаснее…

Меня просили выбрать для работы условное имя.

— Зовите меня просто… Наполеон!

— Нет уж, — засмеялся Батюшин, — с таким именем в Европе лучше не показываться. А если… Цензор?

— Выходит, вы извещены, что так меня прозвали кадеты Неплюевского корпуса за мое пристрастие проверять их читательские интересы. Что ж, я согласен и на Цензора.

Не знаю, какая муха меня укусила, но с этого момента настроение вдруг испортилось, и я не счел нужным даже скрывать этого. К обеду в числе многих блюд подали и заливного осетра, сервированного с большим вкусом, как в ресторане, в рот рыбине повар воткнул пучок зеленой петрушки.

— Наверное, — сказал я, — с таким же старанием и любовью вы сервируете и меня для последнего отпевания. Только не забудьте, пожалуйста, воткнуть мне в рот пучок петрушки.

За столом мои начальники переглянулись.

— Еще не поздно спрыгнуть с поезда, пока он не набрал большой скорости, — осторожно заметил Сватов.

— Жалко, если пропадет мой билет. Он ведь тоже чего-то стоит. Поедем дальше, и… будь что будет!

Обед закончился в тягостном для всех молчании, после чего Батюшин попросил меня выйти с ним в сад.

— У вас неплохо развито нервное предчувствие, что в разведке всегда пригодится, — похвалил он меня. — В самом деле, мы ехали сюда с известием, которое для вас, господин штабс-капитан, может оказаться весьма огорчительным.

— Что-нибудь случилось с отцом? Он жив?

— За отца не волнуйтесь. Жив и здоров. Но вдруг обнаружилась ваша мать, и совсем не там, где мы надеялись отыскать ее следы. Мы нашли ее в Вене, но уже под другой фамилией.

— Говорите все как есть, — взмолился я.

— Ваша мать сейчас проживает в Вене, будучи женой вдового австрийского генерал-интенданта Карла Супнека, и хорошо, что вас не успели послать в Австрию, ибо эта причина, чисто семейная, могла бы затруднить вашу работу.

Я ответил, что мне известен патриотизм матери, которая непомерно горда своим сербским происхождением:

— Мне трудно поверить, что она может состоять в браке с австрийским генералом, угнетателем ее родины.

— Вы правы, — деликатно согласился Батюшин. — Но генерал Карл Супнек из онемеченных чехов, каких немало в армии Франца Иосифа, и он хороший муж для вашей матери. Они живут в достатке, у них собственный дом на углу Пратерштрассе — там, где поворот на Флорисдорф с его загородными дачами…

Я долго не мог прийти в себя от такого сообщения:

— Не ожидал! Сначала она изменила отцу, бросила меня, а теперь предала и заветы своих сербских предков…

— Не горячитесь. Как говорят сами же венцы, «нур нихт худелн» (только не торопоиться)! В этом их мудрость смыкается с нашей, ветхозаветной: тише едешь — дальше будешь.

— Окажись я в Вене, могу ли я ее повидать?

— Ни в коей мере! — отрезал Батюшин. — Ваша работа на пользу разведки Генштаба возможна лишь при том условии, если вы не пожелаете с нею встретиться. Вы можете явиться пред матерью только в единственном случае…

— Где же он, этот единственный случай?

— Когда вопрос станет о вашей жизни или смерти.

Батюшин подал мне руку. Я пожал ее:

— Мой вексель оплачен вами. Отныне вы уже ничего не должны мне. Но зато очень много должен я сам.

— Кому?

— Своей матери — России… честь имею!

6. Встретимся в Германии

Надо отдать должное немцам: они умело обогащались за счет приезжающих лечиться или бездельничать на их знаменитых курортах. Берлин сознательно заманивал русских в Германию, издавая на русском языке дешевые, но прекрасные путеводители по курортам, перечисляя все выгоды для здоровья от посещения Кисингена, Эмса, Баден-Бадена или расположенного в горах Берхтесгадена (где позже Чемберлен продал Гитлеру чехов и словаков, открывая ворота для продвижения вермахта на восток).

Русский человек умеет беречь копеечку. Но еще лучше умеет транжирить деньжата, если они у него стали «бешеными». Каждое лето огромные толпы россиян навещали «фатерланд», как свою вотчину, до осеннего листопада заполняя гостиницы Шварцвальда, курорты и лечебницы Баварии и Силезии; в Германии их многое восхищало — новинки электротерапии и успехи немецкой химии в фармацевтике, ровные клумбы за свежепокрашенными палисадами, чистота прогулочных тротуаров, отсутствие пьяных на улицах, старинная посуда с пейзажами и цитатами из Библии по краям тарелок, приветливость прохожих, которые не говорили тебе вслед:

— Не толкайся! Не то я так толкну, своих не узнаешь…

Русские видели только внешнюю сторону Германии, не стараясь проникнуть в нутро ее, которое очень искусно было задрапировано от взора посторонних. Русских обывателей пленял даже аромат общественных мест, которые никак не сравнить с нашими нужниками на станциях и вокзалах.

— Куда нам до немцев! — говорили они. — Вы бы только посмотрели, как живут: у них даже писсуары и унитазы такой чистоты, что в них можно тесто месить…

Мне было мало дела до сверкающей эмали, что покрывала Германию снаружи, как благородная патина покрывает стареющую бронзу. Я готовился войти во владения кайзера не с парадного подъезда, где швейцар поразил бы меня золотыми «бранденбурами» своего мундира, а с черного хода Германии, где давно разлагаются отбросы немецкого общества, где укрывалось все то, что показывать посторонним стыдно и не положено.

Хромой хозяин нашего замка предупредил меня:

— Вообще-то, без ножа в кармане или без кастета на пальцах в Сант-Паули лучше не появляться. Зато в этом квартале Гамбурга нет даже политической слежки, ибо любая облава требует не десятков, даже не сотен, а сразу многих тысяч полицейских… Завтра у вас состоится свидание с дамой, владеющей особым гамбургским диалектом «плат-дейгом». Не мешает пополнить свой лексикон такими словечками, от которых даже у меня волосы на голове встают дыбом.

\* \* \*

Русская разведка Генштаба никогда не использовала в своих целях красоту женщин стиля «вамп», испепеляющих огненным взором каждого дурака в штанах. Напротив, любая разведчица обязана скрывать свои женские достоинства, должна уметь так стушеваться в толпе, чтобы ее даже не заметили. Работавшая в австрийских Сосновицах жена нашего ротмистра Иванова выходила из любых рискованных переделок, но была скорее дурнушкой, на которую мужчины не обращали внимания. Малозаметная скромница Лидочка Кащенко проникла в самую гущу маневров австро-венгерской армии и доставила в бюро Батюшина фотоснимки новой германской гаубицы…

Дороги Мазовии уже развезло от предзимней слякоти, когда казенный автомобиль доставил меня в Варшаву — прямо на Гожую улицу, где я уже не стал удивляться, встретив здесь симпатичную пани Цецилию Вылежинскую, памятную мне по сценам парфорсной охоты в имении «Поставы» под Вильно.

Я оставил в передней фуражку и тросточку. Женщина захлопнула крышку рояля, на котором она перед моим приходом что-то наигрывала, и теперь не спеша раскуривала дамскую папиросу.

— Позвольте, — сказала она, — представиться вам заново. Отныне я ваша жена, и пусть даже фиктивная, но все-таки прошу не ошибаться в моем новом имени: для вас я теперь Эльза Штюркмайер, вы женились на мне по страстной любви, хотя, не спорю, разница в нашем возрасте и существует.

— Вы моложе меня, — остался я благородным.

— Увы, — был мне ответ…

Я выдержал долгую актерскую паузу, которую не знал чем заполнить. Эту паузу я целиком посвятил беглому осмотру богатой обстановки квартиры. Но по вещам и множеству безделушек не удалось правильно распознать характер и вкусы моей «нареченной». В этот момент я еще не решил, как вести себя в подобной ситуации, каковы мои мужские права на эту женщину. Мне было неловко чувствовать себя мужем Вылежинской-Штюркмайер, которая с явной усмешкой продолжала говорить:

— Не советую отказываться от «брака» со мною, ибо в Германии я достаточно богата. Если не я сама, так, надеюсь, вас соблазнит мой завод по изготовлению керамических труб для дренажирования полей, еще у меня имеется мастерская в Ноунгейме по обжигу кирпича, приносящая немалые доходы.

Только сейчас я вступил в острую словесную игру.

— Понимаю, — кивнул я с нарочитым достоинством, — вам совсем не нужен муж, а лишь хозяин вашего большого хозяйства, и вы остановили случайный выбор на мне.

— Да. Мне рекомендовали вас с самой лучшей стороны, и все будет в порядке, только не влюбитесь в меня.

Все это становилось не только забавно, но даже обидно для моего мужского самолюбия. Я спросил Эльзу:

— А если я осмелюсь влюбиться в вас?

— Я большая недотрога.

— Неужели?

— И вы получите от меня оплеуху.

— Как у вас все просто!

— Напротив, в таком деле, какое нам предстоит начать и закончить, масса сложностей, и вам самому не захочется впадать в крайности амурной лирики… Теперь садитесь.

Я сел за столик, добрую половину которого занимала ее громадная шляпа, украшенная букетом искусственных цветов.

— Сейчас это модно, — произнесла Эльза, словно извиняясь, и перебросила шляпу на диван. — Вы не откажетесь от кофе?

Она скоро вернулась из кухни, неся поднос с двумя чашками, придвинула мне вазу с варшавской сдобой.

— Вы полячка, — не спрашивая, а утверждая, сказал я.

— Нетрудно догадаться.

— И, конечно, заядлая патриотка, как все полячки.

— Польшу обожаю.

— Что же заставило вас, патриотку Польши, служить России, которая — в глазах большинства поляков — предстает давней поработительницей ваших исконных прав и вольностей?

Ответ я получил самый обстоятельный:

— Я рискую собой уже не первый год не ради успехов вашего Генерального штаба. Поляки тоже начали сознавать главное: насильственный симбиоз Польши с Россией закономерен, как и семейное сожительство, в котором не все бывают правы, не все и виноваты. Как бы история ни ссорила наши страны, но вы, русские, не тронули нашего языка, вы не стали разрушать нашу культуру, а это непременно случилось бы, если б на вашем месте оказались германцы с их политикой своего превосходства. Именно так и поступили немцы в Познани, так же изнасиловали поляков австрийцы в Краковии, где уже не слыхать польского языка даже в школах. Таким образом, — заключила Эльза, — работая на пользу России, я стараюсь ради будущего той Польши, которая обязательно возродится заново на священных обломках когда-то могучей и великой Речи Посполитой…

Затем она сообщила, что в замок я уже не вернусь:

— Вам там больше нечего делать. Сегодня вечером из Варшавы отходит поезд на Ригу, с которым вы и уедете.

— Наша совместная жизнь уже разбита?

— Встретимся в Германии. Не пора ли приступить к делу? — напомнила Эльза. — Надеюсь, вы не станете записывать мой урок, ибо голова человека лучше всякого блокнота.

До отхода поезда она посвятила меня в тайны того квартала Гамбурга, из коего я должен выйти другим человеком. Эльза раскинула передо мною массу фотографий, я увидел трущобы и богатые магазины, лазейки темных пивных и фасады богатых борделей, из окон старых лачуг выглядывали толстомясые женщины в халатах нараспашку, какие-то подозрительные личности вглядывались в меня из глубины снимков.

— Перед вами моментальные снимки немецкой криминальной полиции. Итак, вы попали на главную улицу Репербан, от которой расходятся в стороны Петер и Мариен, Борделкайзерненштрассе, все они ограждены от города решетками, как зверинец. Запоминайте расположение домов и вывесок. Вот витрина с выставкой образцов татуировок, здесь мастерская японца Мару-сан. А вот «будка зяблика»! По сути дела, это притон-ночлежка, обжитый люмпенами всего мира, самое поганое «дно» сытой буржуазии, которая и отгородилась от него решетками.

Эльза спросила меня: все ли я запоминаю?

— Вам нужно все это знать, чтобы выжить в этом аду.

— Не беспокойтесь. У меня отличная память. Продолжайте…

— Если в Сант-Паули вы не встретите полицию, зато следует остерегаться особой «службы безопасности», организованной самими преступниками. У них налаженная, как часы, манера оповещения о каждом «желторотом», каким вы и будете для них. Далее — танцевальные залы Трихтера, рядом с ними расположен «Паноптикум», имеющий международную известность.

— Неужели музей? — удивился я.

— Нет. Выставка голых женщин… А вот снимок с местных «штрихюнгес». Это подростки, уже истерзанные кокаином, губы у них накрашены, как у женщин, и брюки чересчур узкие. Самые популярные «штрихюнгесы» носят солдатские обмотки.

— Зачем мне это знать? — отвернулся я.

— Затем, что они будут приставать и к вам, как продажные твари. Лучший способ отделаться от них — дать кулаком прямо в рожи, и тогда они сами отстанут. Далее, — деловито продолжала Эльза, — избегайте в кафе или барах заказывать выпивку. Распознав в вас «желторотого», могут подсыпать дурманящий порошок, после чего вы очнетесь раздетым в канаве…

Вылежинская-Штюркмайер говорила о Сант-Паули с таким знанием дела, с такими подробностями посвящала меня в тонкости «плат-дейга», что я даже заподозрил ее — не прошла ли она сама через это чистилище гомерических пороков?

— Это еще не все, — сказала она. — Ради собственной безопасности вы обязаны соблюдать полное равнодушие ко всему, что вас возмущает. Сант-Паули — во власти сутенеров, составляющих могущественный клан преступной элиты, с ними лучше не связываться. Если на ваших глазах станут избивать женщин, не вздумайте за них вступаться, этого в Сант-Паули никто не делает, наоборот, охотно злорадствуют. Любая попытка заступничества кончается плохо. И первой вцепится в ваши волосы та самая жертва, за которую вы по наивности заступились…

— Чем же это объяснить? — не поверил я.

— Очевидно, срабатывает обостренная форма мазохизма, свойственная всем продажным женщинам… Наконец, мы приближаемся к знаменитому во всем мире «дому Зеликмана», где творятся самые гнусные оргии и где, между прочим, заключаются миллионные сделки. Здесь вы можете встретить богатейших спекулянтов Германии, графиню или баронессу из самого высшего общества, которая денег не берет, но зато она сама платит деньги, чтобы испробовать на себе все способы извращений.

— Простите, но зачем мне все это знать?

Эльза Штюркмайер огорченно вздохнула:

— Милый вы мой! Затем и рассказываю все это, что именно в проклятом «доме Зеликмана» мы с вами встретимся, после чего и начнется наша волшебная супружеская жизнь…

…Вылежинская проходила под именем «Сатанаиса» — и в ней действительно было что-то сатанинское. Не стыжусь признать, что я ее всегда побаивался, ибо она, помимо связи со мной, жила какой-то двойственной жизнью, мало доступной моему пониманию. Забегая намного вперед, скажу, что она была обезглавлена на гильотине в Моабите — уже во времена Гитлера как тайный агент разведки Пилсудского.

\* \* \*

В Риге меня ожидал тот самый молодой офицер, которого я запомнил после разговора в кабинете № 44, еще в Петербурге. Теперь он выглядел заправским франтом и, стягивая с руки тесную лайковую перчатку, сказал:

— Чем меньше агент знает о других агентах, тем у него больше шансов уцелеть. Для вас будет выгоднее запомнить лишь мое нелегальное имя — «Консул»! Именно мне поручено проводить вас в дорогу, а заодно продлить деловой разговор, начатый с вами Эльзой Штюркмайер на Гожей улице. Сначала экипируем вас с головы до ног, чтобы всем своим видом вы напоминали матроса-бродягу без роду и племени. В Риге вы будете подсажены в экипаж парохода, совершающего долгий рейс с непременным заходом в Гамбург, где сойдете на берег и на корабль уже не возвратитесь…

С моей вольной жизнью было покончено. «Консул» стал обряжать меня как надо. Я натянул замызганные штаны с заплаткою, невольно поежился в колючем свитере, надел рваные боты.

— Выберите кепку сами. Похуже! — велел «Консул».

После этого мой «наполеоновский» облик был дополнен житейскими аксессуарами, без которых не обойтись. Если бы меня обыскали, то нашли бы рассованные по карманам: пачку дешевого табаку «Осман-2», обгорелый мундштук, порнографическую открытку, измятый трамвайный билет Петербурга, складной нож, а вместо платка — носок из фильдекоса, разрезанный вдоль шва. Настоящее обличье забулдыги, который запьянствовал и остался «на мели», а пароход не стал ожидать его возвращения.

Я испытал мерзкое отвращение к самому себе.

— Дайте мне хоть немного денег, — попросил я.

«Консул» отсчитал для меня семь немецких марок.

— Вообще-то это актерская «накладка» поверх нашей игры, — сказал он. — Деньги вам не положены. Входя в Сант-Паули босяком, выберетесь оттуда в смокинге и при цилиндре.

— Вы, наверное, подшучиваете надо мною?

«Консул» объяснил, как это произойдет, и способ моего будущего превращения показался мне таким простым, что с трудом в него верилось… Мы оба глянули на часы.

— Не пора ли? — начал я беспокоиться.

— Да, кажется, пора. — На прощание «Консул» просил меня работать, не думая об угрозе ареста, не озираться по сторонам, не психовать из-за излишней подозрительности. — Для этого в разведке есть другие люди… вроде меня. Мы со стороны будем следить за вами и в случае опасности сразу предупредим вас. Так что не стоит пугаться критических положений. Работайте смело на благо нашего отечества…

Через два дня утомительной качки я сошел с корабля на чужой берег. Передо мною сверкал огнями древний Ганзейский город, по Эльбе двигались встречные корабли, слабо постанывая сиренами, иногда вскрикивая тревожными гудками. Темнело. Я зябко вздрогнул в своем дырявом свитере и сунул руки в карманы штанов. Издалека мне виделась вытянутая к небу игла Микаэлискирхе, а сразу за божественным храмом начинался квартал Сант-Паули.

Добропорядочный и богатый Гамбург, гордящийся своей бюргерской моралью, был отгорожен от Сант-Паули железными воротами, увенчанными плакатом на трех главных языках мира:

ОСТАНОВИСЬ, НЕСЧАСТНЫЙ!

ПРЕЖДЕ ПОДУМАЙ, ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТ,

ЕСЛИ ТЫ ПЕРЕСТУПИШЬ ЭТИ ВОРОТА

Вы на моем месте остановились бы тоже…

\* \* \*

«Бойтесь быть слишком сильными», — предупреждали Германию еще в 1871 году, когда она — после битвы при Седане — создавала свое благополучие на крови растоптанной Парижской коммуны, на контрибуциях, которые требовали с побежденных…

Памятник Бисмарку в Гамбурге, поднятый на высоту пятиэтажного дома, не осенял нынешнюю Германию, а скорее он выражал идею скорби по старой Германии, уже потерявшей меру в своем насыщении. Как писал наш советский историк Е. В. Тарле, «железный канцлер» всю жизнь хлопотал, чтобы уберечь нажитое им для своей империи, зато кайзер и его подручные спешили как можно скорее нажить для Германии новое.

Ведя немцев к войне, Вильгельм II восклицал:

— Я веду вас навстречу великолепным временам…

Недаром же Лев Толстой, жестокий провидец, назвал кайзера «самым смешным, если не самым отвратительным представителем современного императорства». Сейчас уже доказано, что Германия в канун первой мировой войны получила бы неизмеримо больше выгод от мирной торговли с Россией, нежели от военной победы над той же Россией. На мой взгляд, роковая ошибка немцев в том, что они всегда хотели бы завоевать Россию, но теперь думаю, что придет такое время, когда они пожелают изучать ее, как мы, русские, всегда изучали Германию…

— Цольре зовет на бой! — все чаще слышалось из Берлина.

Быть сильным опасно, ибо другие, глядя на твои играющие мышцы, тоже начинают бравировать мускулами, чтобы не уступить в предстоящей схватке. До начала драки противники, как правило, осыпают один другого разными оскорблениями. Италия уже начала пробу своих незначительных сил в борьбе со слабосильной Турцией, отвоевывая ее африканские владения в Триполитании и Киренаике (там, где позже ржавели железные скелеты бронетанковых дивизий Роммеля и Муссолини); на Балканах неожиданно возникали торопливо состряпанные союзы славянских стран, и России не всегда были понятны цели этих союзов… В мире копилась страшная, изнуряющая, почти нестерпимая духотища, какая бывает перед сильной грозой!

Не так давно в Артиллерийском училище столицы русский полковник В. Г. Федоров (будущий инженер-генерал-лейтенант Советской Армии) делал научный доклад, демонстрируя первый в стране боевой автомат, должный заменить мосинскую винтовку. На его лекции присутствовал и царь, который горячо благодарил изобретателя, после чего сказал ему:

— Но ваши автоматы, Владимир Григорьевич, моей армии все-таки никогда не понадобятся.

— Почему, ваше величество?

— У меня не хватит патронов, чтобы палить даже из винтовок, а ваша штучка выстреливает их целыми пачками…

В это же время военный министр Сухомлинов объявил миру, что «Россия готова, но готова ли Франция?».

Я-то хорошо знал, что русская армия совсем не готова к войне, зато давно готова Германия, и в Германии немало охотников воевать, тогда как русский народ войны не хочет. Русская разведка никак не желала вредить Германии или ослаблять ее мощный потенциал, русский Генштаб, как и его тайная агентура, работал исключительно для того, чтобы предупредить войну в период ее начального вызревания…

Постскриптум № 3

Долгие годы (1891–1906) граф Альфред фон Шлифен, глава германского генерального штаба, был для кайзера Вильгельма II тем, кем позже сделался фельдмаршал Кейтель для Гитлера. Но между этими «умами» пролегла зияющая пропасть: Шлифен был деловито-умен и самостоятелен в мышлениях, а Кейтель податливо-угоден, стараясь подтверждать мысли Гитлера…

Шлифен говорил: «Наши враги убеждены в том, что германский генштаб владеет секретом побед». Издали наблюдая за поражением царизма на полях Маньчжурии, Шлифен еще в 1905 году создал теорию «блицкрига» — коротким ударом уничтожить силы противника в течение одного лета, не затягивая войну до осени, чтобы избежать дождей, слякоти на дорогах и, упаси бог, не дождаться морозов. Тогда же и родился «план Шлифена» о борьбе Германии на два фронта сразу: за разгромом Франции должен последовать стремительный разгром русской армии, оглушенной внезапностью нападения и не успевающей откатиться в глубину России, чтобы им, немцам, не повторить ошибки Наполеона. Гитлер и его генералы, по сути дела, летом 1941 года — при вероломном нападении на СССР — действовали в том варианте, какой был предложен «планом Шлифена».

Шлифен — тактик и стратег до мозга костей, даже лирика его мышления задыхалась в жестоких рамках теории. Однажды в поезде адъютант просил его посмотреть в окно:

— Ваше превосходительство, обратите внимание, какой дивный пейзаж перед нами, освещенный заходящим солнцем.

Шлифен почти равнодушно оглядел местность.

— Вы правы! — сказал он. — Но узость природного дефиле позволяет использовать его лишь для прохождения корпусной колонны, не больше, а действие артиллерии ослабится лучами заходящего солнца, которое станет мешать прямой наводке.

В этой оценке пейзажа весь Шлифен! Даже умирая, он в бреду агонии мыслил себя в гуще сражения:

— Я готов! Только прикройте мне правый фланг…

Под «правым флангом» будущей войны он подразумевал Россию. Основой политики Германии много лет подряд было нагнетание страха. «Ведь от страха, — писал Шлифен, — который внушает эта (немецкая) армия, и зависит мир в Европе…»

Наверное, русская разведка испортила себе немало нервов и потеряла много крови, выцарапывая «план Шлифена» из сейфовых тайников германского генштаба. Один наш историк (Е. Б. Черняк) уверенно излагает, что «план Шлифена» был удачно выкраден, «передан французам, но там сочли его фальшивкой». Если это так, то, возможно, в Париже попросту не поверили, что Германия готовится наступать на Париж, нарушив нейтралитет Бельгии и Люксембурга. Но другой наш историк (К. Ф. Шацилло) тоже пишет с большой уверенностью, но совсем не то, что его коллега: «План Шлифена» даже приблизительно не был известен русскому командованию…»

Где истина истории и где правда историков?

Случилось вот что. Дабы повести русскую разведку по заведомо ложному пути, Мольтке-младший и сам император Вильгельм разработали фальшивый «план Шлифена», который немецкая агентура подбросила в кабинеты русского Генштаба. Так возник лживый «Меморандум» о распределении боевых сил Германии в предстоящей войне. Но как его авторы ни старались утаить истинный смысл «плана Шлифена», все равно — через патину и кракелюры вранья — проступило то главное, чего не могли упрятать немецкие лжестратеги.

Обмануть российский Генштаб не удалось! Нашлись на берегах Невы умники, которые, едва глянув на «Меморандум», сразу же заявили:

— Документ поддельный! Спрашивается, к чему этот преднамеренный пафос, словно желающий излишне убедить нас в достоверности? Тут нашему брату предстоит немало потрудиться, чтобы из груды вранья извлечь толику истины…

Офицерами Генштаба была проделана колоссальная работа, схожая со скрупулезной работой реставраторов негодных картин: аккуратно снимая верхний слой красок, намазанных бездарными подмастерьями, русские специалисты восстанавливали первоначальную «живопись» самого мастера Шлифена.

Теперь позволительно думать: даже не имея на руках подлинного «плана Шлифена», русский Генштаб отлично знал его содержание, он уже предчувствовал ударную силу внезапных «блицкригов» в будущем.

От кайзера — до Гитлера!

Конечно, к 1941 году многое в планах Германии изменилось, но осталось главное — вероломство нападения, его потрясающая внезапность, и в горькое лето начала Великой Отечественной войны мы, глотая пыль на дорогах нашего отступления, даже не поминали Шлифена, зато мы хорошо помнили, чем закончил Наполеон. Беспощадной историей для него был уготован далекий остров Святой Елены, а для фельдмаршала Вильгельма Кейтеля, продолжателя дела Шлифена, была заранее крепко скручена петля в Нюрнберге…

Часть вторая

Живу, чтобы служить

Глава первая

Ивиковы журавли

И с ужасом

Я понял, что я никем не видим,

Что нужно сеять очи…

Вел. Хлебников

НАПИСАНО В 1939 ГОДУ:

…литература не живет одной книжкою, а целыми библиотеками; искусство выражается в собраниях музеев, но только не одной картиной, а жизнь человека сама по себе, хочет он того или не хочет, растворяется в эпохе, словно кристалл соли в разъедающем его растворе. Волею судьбы я ощущаю себя подобным кристаллом, полностью растворенным в политике, в страстях и войнах своего времени, безжалостного ко мне — как к личности!

Прага. Страшные подробности. Люди на улицах плакали, проклиная Даладье и Чемберлена, которые запродали их Гитлеру, словно курей на базаре. Но, как это и случалось не раз под солнцем, буржуазия не исходила слезами. Мне рассказывали, что некий славянский «патриот» раскрыл перед нашим атташе свой толстый бумажник, словно распахнул Библию.

— Смотрите! — сказал он. — Если пришел Гитлер, он все мое оставит при мне, а если в Праге появится ваш усатый маршал Буденный, я останусь при своих кальсонах…

Сейчас нашим командирам вменяют в обязанность читать роман Ник. Шпанова «Первый удар». Появившийся в январском журнале «Знамя», этот роман теперь издается массовыми тиражами, включая и «Роман-газету». По-моему, нет более вредной книги, расслабляющей нашу армию, и без того ослабленную арестами высшего командного состава. Судите сами! Не прошло и считанных дней, как Германия — по воле автора — повержена в прах. Наши самолеты сверхточно кладут бомбы на цеха заводов Круппа, а немецкие рабочие, сжимая кулаки в призыве «рот фронта», вельми радуются нашим бомбам и при этом — в грохоте рушащихся цехов — спокойно распевают «Интернационал»… Зачем нам суют подобную белиберду, если дурак понимает, что нашим самолетам АДД даже не хватит горючего, чтобы с полным бомбовым грузом добраться до заводов в Эссене!

Мне трудно живется, слишком часто заполняю всяческие анкеты. Обычно в них ставятся вопросы, на которые любой человек, будь то маршал или дворник, почти механически выводит спасительные слова: «не был… не состоял… не участвовал…» Мне это дается с трудом, но я остаюсь честным, явно портя свою карьеру откровенными признаниями: был, состоял, участвовал…

\* \* \*

Вокруг меня образуется мертвящая пустота, ибо в Академии, как и в Генштабе, я наблюдаю внезапное отсутствие своих знакомцев. На мои наивные вопросы, куда они делись, новые люди, занявшие их кабинеты, уклончиво отвечают:

— Кажется, срочно отбыли… на курорт!

Конечно, колымские трущобы или воркутинские тундры — прекрасные места для поправки здоровья. В эти дни лучший друг не пустил меня к себе, и он был так жалок в своем страхе, когда что-то мямлил в свое оправдание.

— Прости, — сказал он мне, — но ты же сам знаешь, какие сейчас времена. У меня жена, двое детей, а ты… ты был царским генералом, и мало ли что могут подумать обо мне люди! О тебе и так много ходит слухов и сплетен…

Мне пришлось уйти, и я всю дорогу до дому утешал себя тем, что вспоминал строчки Паоло Яшвили:

Не бойся сплетен. Хуже тишина, Когда, украдкой пробираясь с улиц, Она страшит — как близкая война, Как близость для меня сужденной пули… В стране нездоровая, удушливая атмосфера, все звенья управления расшатаны, а мораль народа в таком гибельном кризисе, какого еще не бывало. Все это после того, как Хозяин вырубил в нашем лесу самые ценные породы деревьев, оставив на вырост голые сучья, и на опустевшие места насаждают пустоголовую репу, вроде Г. И. К[улика], который ведает вопросами вооружения, разбираясь в этих делах, как свинья в парфюмерной лавке. Такой обстановки я еще не испытывал. Все это результат выискивания «вредителей» и «врагов народа», которые с угодливо-подозрительной торопливостью признают себя агентами разведок самых экзотических государств, согласные «вредить» нам от имени Патагонии или островов Фиджи, лишь бы их поскорее прикончили в застенках. Зато как гордо и нерушимо выглядел Вышинский, когда его награждали орденом Ленина за «укрепление социалистической законности»!

Меня удручает и другое. В обстановке поголовной шпиономании легко уживаются карьеристы, горлопаны и доносчики, наконец, настоящие враги народа (уже без кавычек) размножаются в этой питательной среде подобно микробам, и я даже не удивился, узнав недавно, что в Берлин поступает огромный поток секретной информации о наших делах, мало радующих честных патриотов Отечества… Я способен только страдать за поругание наших святынь, но возмущение народа проявится, наверное, гораздо позже, когда будут открыто называть имена главных виновников этих кровавых преступлений.

Я беспартийный, потому на все намеки, слышимые за моей спиной, отзываюсь смыканием уст. Хотя подлость и зависть тем и опасны для честных людей, что они не в меру горласты. Мне еще не забылись слова, сказанные немцами в вагоне поезда, идущего в Вену: «Если хотят избавиться от собаки, то всегда говорят, что у нее была чесотка…»

Недавно в Столешниковом переулке я случайно встретил генерала В. Г. Федорова, с которым мы были почти одногодки.

— Чем занимаетесь? — спросил я.

— Разгадками тайн былого: кто был автором «Слова о полку Игореве» и где расположена река Каяла.

— Позвольте, — удивился я, — как же обстоит дело с автоматическим оружием, дабы заменить винтовку Мосина?

Владимир Григорьевич тяжко вздохнул:

— Боюсь, что и эту войну с Германией мы встретим опять-таки с винтовкой, как при царе в четырнадцатом, да и хватит ли нам еще винтовок на всю армию.

— У вас неприятности? — точно определил я.

— Увы, — отвечал он. — Вы же знаете Кулика, главного вещателя истин в нашем болоте. Кулик, по сути дела, безграмотный невежа, уповающий на шашку и винтовку, а посему он лично тормозит вооружение армии автоматами. По мнению Кулика и его подпевал, автоматы — это оружие для полиции, чтобы подавлять забастовки на Западе, но никак не для войны… Мало того, противотанковые ружья снимаются с вооружения как дорогостоящие игрушки. Наконец, наш Хозяин согласился с Куликом, что пушки калибром семьдесят шесть, лучшие пушки в мире, выгоднее заменить громоздилами времен первой мировой войны, но большего калибра… Поверьте, — заключил Федоров, — в таких условиях легче отыскать истоки древней реки Каялы, нежели обнаружить смысл в мозгах наших головотяпов…

В конце беседы Владимир Григорьевич спросил:

— Чехословакия уже несет крест свой, а кто же дальше?

— Наверное, Польша — ответил я.

Вскоре в Генштабе стало известно, что польский посол Гржибовский сделал опрометчивое заявление: «Польша не считает возможным заключение пакта о взаимопомощи с СССР…» Как раз в эти дни я имел случайную встречу в театре с паном Масальским, корреспондентом варшавских газет в Москве. С некоторой гримасой своего превосходства он сказал мне:

— Напрасно у вас хлопочут, чтобы Польша заключила договор с вами, и обещают нам военную помощь. Вы сейчас гораздо слабее, нежели были при царе в четырнадцатом…

Я решил не щадить своего собеседника:

— А вы рассчитываете выстоять? Но Познанское воеводство не имеет «линии Мажино», чтобы сдержать напор вермахта.

— Зато у нас есть верные друзья… в Лондоне и в Париже, которые в два счета разделаются с Гитлером, если он посмеет нас тронуть. Впрочем, — почти весело заключил Масальский, — Берлин нас только пугает, но Гитлер никогда не придет. Немцы достаточно извещены о лихости поляков в бою, а наша кавалерия самая превосходная в мире.

— Зато у немцев, — отвечал я, — лучшие в мире танки и авиация, так что ваша гусарская лихость ни к чему. Наконец, взломав вас от Познани, Гитлер окажется на границах с нами, а в этом случае… куда денется великая Речь Посполитая?

Масальский сделал вид, что очень обиделся:

— Вы, русские, просто не любите нас, поляков.

Тут я был вынужден перейти на польский язык.

— Неправда, — возразил я. — Мои юные годы прошли как раз в польской провинции, и я всей душой люблю вашу страну…

На следующий день меня вызвали в особый отдел:

— О чем вы беседовали с этим белополяком?

— Для меня он был лишь приятным соседом по ложе в оперном театре, а наша беседа имела невинный характер.

— Невинный… Однако соседи слышали, что речь шла о танках и авиации, затем вы перескочили на польский язык.

— У соседей отличный слух, — согласился я. — Однако смею вас заверить, я не продавался польской «дифензиве», тем более что уже состою тайным агентом германского абвера, о чем вам хорошо известно. «Герцогом» же я никогда не был!..

Мучительно переживалось былое. Между Германией и славянами издревле лежал меч, и на протяжении многих столетий ни они, немцы, ни мы, славяне, не вкладывали этот меч в ножны, лишь время от времени оттачивая его для грядущих битв. Я думаю, что сейчас как никогда необходимо единение всего Славянского Мира… Между тем по материалам, кои были мне в ту пору доступны, я подозревал, что после Чехословакии под ударом вермахта окажется Данциг (Гданьск) — этот извечный, еще со времен Фридриха Великого, камень преткновения на путях польской и германской претензий. Но я оказался не слишком-то прозорлив: сначала немцы высадились в литовской Клайпеде (старом Мемеле) и с борта эсминца сошел на берег сам Гитлер, серый после долгого блевания при качке. Не скажу, чтобы население осталось равнодушным к прибытию фюрера, и множество немцев, издавна населявших этот город, забрасывали его машину цветами…

Балканы опять вселяли в меня тревогу, подогретую пылкими воспоминаниями молодости. В начале июня принц-регент Павел Карагеоргиевич навестил Берлин, где был не в меру обласкан Гитлером, который, словно удав свою жертву, прежде смочил принца своей слюной, дабы потом проглатывать без задержки. Павел поддался на эти ласки, паче того, Гитлер застращал регента намеками на то, что, откажись он от союза с Берлином, и тогда Югославия сделается добычей обжоры-Муссолини…

18 июня. Настроился на радиоволну Данцига, чтобы прослушать Геббельса, прибывшего в этот город с речью, наполненной угрозами по адресу поляков, якобы притесняющих данцигских немцев. История повторяется: такие же истерики Геббельс закатывал и перед нападением на Чехословакию, вступая за немцев судетских. В один из дней, жаркий и утомительный, я, придя на службу, обложился ворохом английских газет, чем и вызвал удивление своих коллег.

— Вы ждете реакции Чемберлена? — спросили меня.

— Нет. Но сейчас в Хельсинки находится генерал Гальдер, а наши газеты умалчивают об этом… как и немецкие! Однако Гальдер не засиделся на банкетах и сразу поехал в Выборг, осматривал наши границы и даже присутствовал на маневрах Маннергейма, словно его военный инспектор…

Вечером я подсел к радиоприемнику, уловив мощный голос радиостанции Берлина, сообщавший об успехах колхозной жизни в СССР, немецкая волна передавала о том, как счастливо живут народы Советского Союза «под солнцем сталинской конституции». После этой трепотни Берлин транслировал советские песни, начав с широко известной «Катюши», а закончил концерт выступлением русского хора белогвардейцев: «Если завтра война, если враг нападет, если черная сила нагрянет…»

— Вульгарно! — сказал я, выключая приемник.

Но смешное обернулось неожиданным прибытием в Москву Риббентропа, и 23 августа между Москвой и Берлином был заключен дружеский пакт о ненападении сроком на десять лет. Думаю, это решение Хозяина — абсурд, ибо клыки вермахта уже готовы вонзиться в нашу страну. М. М. Л[итвинов] выступил против пакта, за что и удален из аппарата правительства. Мне кажется, ничто так не повредило нашему государству и ничто так не подорвало престиж нашей страны, как именно этот фальшивый сговор Сталина с Гитлером. Ликование официальной пропаганды я расцениваю как пример образцовой глупости. И если Ленин называл Брест-Литовский договор «похабным» миром, то, на мой взгляд, нынешнее согласие с Гитлером можно именовать «похабным» пактом…

\* \* \*

1 сентября 1939 года пограничные шлагбаумы Польши разлетелись в щепки под натиском танков вермахта — началась оккупация Польши, начинается вторая мировая война.

Берлин под звуки фанфар передавал речь Гитлера в рейхстаге, и тут я услышал, как вибрировал его голос:

— Мою любовь к миру, мою беспредельную терпеливость не надо смешивать с трусостью, я уже начал разговор с Польшею иным языком… Сейчас, — говорил он, чуть ли не плача, — я не желаю ничего иного, как быть первым солдатом германского рейха. Поэтому я снова надел мундир, дорогой для меня и священный, который сниму только после нашей победы…

После чего в Берлине было объявлено о введении продовольственных карточек, населению предлагалось получить ордера «бецугшайнов» на получение промтоваров. Директор варшавского радио свирепо возвещал всему миру о победных атаках польских улан, о героизме юных панов поручиков, которые в ретивом галопе рубили саблями крупповскую броню немецких «панцеров»; скоро — по его словам — Берлин падет перед набегом непревзойденной польской кавалерии. Но в его речь время от времени вторгался испуганный женский голос, призывающий жителей Варшавы укрыться в бомбоубежищах:

— Надходзи, надходзи (приближаются, приближаются)! — выкрикивала она о близости немецких бомбардировщиков.

Когда я приходил на службу, сослуживцы спрашивали:

— Ну, что там немцы в Польше?

— Надходзи, — отвечал я…

23 сентября все было кончено. В 15 часов 05 минут радио Варшавы замолкло — разом оборвалась передача второй части концерта с-moll Рахманинова, а через три дня в Варшаву вошли немцы. Из немецкого посольства для нас, работников Генштаба, военный атташе Кестринг любезно предоставил ради общественного просмотра документальный фильм «Фойертауфен» («Огненное крещение»), чтобы мы своими глазами убедились в несокрушимости вермахта, а заодно помертвели от ужаса, увидев прекрасную Варшаву «городом без крыш», отчего столица поляков напоминала человека без головы…

Меня отыскал жалкий и растерянный пан Масальский:

— Что вы скажете, если я стану просить политическое убежище в вашей великой и прекрасной стране?

— Постарайтесь, — сухо отвечал я. — Но предупреждаю, вам будет очень нелегко… в нашей «великой и прекрасной».

Масальский уже покидал меня, но я задержал его словами:

— С какого года вы состояли в польской разведке?

— А… как вы догадались? — вырвалось у него.

Вот тут я очень весело расхохотался:

— Это моя профессия… Простите, об этом я догадался еще тогда, когда мы слушали оперу «Ромео и Джульетта».

…Кестринг в эти дни потребовал у меня новых «сводок» о вооружении нашей армии, что я и сделал как агент абвера, после чего атташе вручил мне явную «дезу» о том, будто германская армия увеличивает калибр полевой артиллерии.

— Найдите способ вручить эту липу вашему генералу Кулику, чтобы у него голова завернулась на пупок.

Я обещал. После этого мы беседовали на разные темы. Между прочим атташе признался, что в генеральном штабе вермахта боятся одного маршала Б. М. Ш[апошникова]:

— Нам его голова кажется самой светлой в нашей армии, и даже Гальдер относится к нему с должным почтением…

— Согласен! — отвечал я, чокаясь с ним бокалом.

В этом вопросе я нисколько не покривил душою, ибо наши маршалы Ворошилов и Тимошенко, венчанные лаврами новоявленных Ганнибалов, умели только размахивать шашками…

1. Паноптикум

Где-то очень высоко над Германией пролетали журавли, я внятно слышал их жалобные клики. Конечно, сейчас не время коринфских игр, и вспоминался не Анакреонт, а знаменитая баллада Шиллера о журавлях… «Не Ивиковы ли это журавли летят надо мною, — думалось мне тогда, — и не выдадут ли они мое имя?..»

Итак, любезный читатель, я невольно замер перед воротами гамбургского квартала Сант-Паули, вывеска над которыми предупреждала меня: «ОСТАНОВИСЬ, НЕСЧАСТНЫЙ…». Приятного в таком предупреждении мало. Но все объяснилось просто. При входе в злачный квартал располагался дежурный пикет так называемой «Полуночной Миссии» (это разновидность международной «Армии Спасения» для людей, алчущих вкусить от пороков). Всем желающим проникнуть в Сант-Паули почти силком впихивали листовки, предупреждающие об инфекции, которую разносят продажные женщины, в листовках красовался и «Верный путь к счастью», подкрепленный авторитетными ссылками на Библию.

Две страшные мегеры буквально повисли на мне, надрывно и сипло взывая к моей христианской совести.

— Остановись, безумец! — кричали они мне в оба уха. — Один только шаг за ворота, и ты пропадешь, как пропали до тебя уже тысячи. Лучше обратись к Богу и прочти молитву…

Я отбросил от себя крикуний и шагнул за ворота, как осужденный на эшафот, чтобы вписать свое имя в синодик павших на пышной ниве разврата. Длинная, ярко освещенная Репербан тянулась передо мною, а за спиной еще долго слышались оскорбленные голоса:

— Не испытывай судьбу! Ты сгниешь для счастья… еще не поздно бежать прочь. Не входи туда! Но если ты уже вошел, так отныне нет такой силы, чтобы спасла тебя от гибели и позора…

Так я погрузился в грязь и нечистоты Сант-Паули — и так состоялось мое вхождение в роль тайного агента…

\* \* \*

Сюда я вошел, но еще неизвестно, как отсюда выберусь.

В любом случае моя ближайшая задача — ждать появления «Консула». Ждать его здесь, в обиталище пороков, самому оставаясь непорочным, аки голубь небесный…

Я сидел в пивной, слушая, как со стороны «Трихтера» долетает музыка модного танго (которое нам, офицерам, в России было запрещено танцевать, ибо танго считалось неприличным танцем). Я почти равнодушно смотрел, как тут же — в гаме пивной — татуировщик накалывает на ляжках и ягодицах молодой проститутки одну и ту же сакраментальную фразу на трех сразу языках: на английском, немецком и французском — «ОДНОМУ ТЕБЕ…».

Все ходили вокруг, звеня пивными кружками, и делали вид, что голая задница бабы их не касается. Впрочем, и меня здесь ничто и никак не касалось. Расплатившись за пиво, я вернулся ночевать в свой опостылевший бордингхауз.

Так называлось прибежище бездомных моряков, потерявших работу или по пьянке отставших от своих кораблей. Согласно традиции, хозяин притона каждый день выдавал «ослиный завтрак», который жрать не станешь. Это был матрас, набитый трухой и клопами, вилка с ложкой — и все! Правда, матрос мог есть и пить сколько влезет на «книжку» бордингмастера, но попадал в такую кабалу, что, когда находилась работа, он уже торчал в «будке зяблика», где человеку один конец — это… конец! Вечерами тоска выгоняла меня на Репербан; я видел там выставку и продажу, какая и в дурном сне не приснится. Впрочем, женщины не выглядели задрипанными попрошайками, а вполне прилично; здесь, в Репербане, были представлены женщины разных стран, начиная от девочек и кончая старухами, а цена каждой из них колебалась от 3 до 10 марок. В толпе между конкурентками часто вспыхивали жестокие драки, формою обычного разговора была похабщина, а в зазываниях мужчин каждая цинично восхваляла свои женские прелести.

Потом я шатался в переулках Сант-Паули, где уродливая нищета никак не могла укрыться от взора, выпяченная наружу пузатыми детьми-рахитиками, бандами подростков-воришек, а ругань перебивалась воплями о помощи. Русская жизнь в самый пьяный базарный день казалась мне теперь веселой забавой по сравнению с теми картинами, которые я наблюдал в Сант-Паули. Со временем я хорошо понял передовых немецких художников — Цилле, Дикса, Нольде, Гросса или Нагеля, которые преследовались при нацизме именно за то, что не побоялись отразить «дно» немецкой буржуазии, они как бы открыли подворотню «великой империи», уже пораженную — после Версаля — язвами инвалидности, позором поражения, страшной инфляцией и духом оголтелого реваншизма…

Согласно прежней договоренности, я каждое четное число навещал по вечерам «паноптикум», но «Консул» не появлялся. Это меня заботило. Ведь я падал с ног от голода, воровать не хотел, а мои семь марок давно кончились. Счастье, что моим соседом по нарам в бордингхаузе оказался веселый дезертир из матросов кайзеровского флота в Киле, почему и звали его «кильской шпротиной». Так вот, этот добрый малый научил, как выжить в условиях Сант-Паули, нигде не воруя. К началу танцев мы шли к павильону «Трихтера», куда вход женщинам без кавалеров был строго запрещен. Немецкий историк Лео Шиндрович писал: «Запрет налагался на дам не из-за моральных побуждений, а лишь для того, чтобы предложение товара не превышало спрос на него». Естественно, каждая шлюха силилась проникнуть внутрь «Трихтера», где под звуки танго она быстрее улавливала добычу. Но как это сделаешь без кавалера? Тут являлся я с неразлучною «кильской шпротиной». Мы предлагали самих себя за пять марок тем же проституткам и, проведя их на танцы, быстро снимались с якоря, ибо остальное нас уже не касалось…

— Живем, черт их всех раздери! — радовался дезертир.

— Еще как живем, — отвечал я, тоже веселый…

Наконец долгожданная встреча в «паноптикуме» состоялась. В потемках зала кто-то легонько толкнул меня слева. Я скосил глаза. Рядом со мною стоял важный господин, в его глазу остро, как лезвие бритвы, посверкивала цейсовская линза монокля, а сам он был целиком погружен в созерцание позирующих на сцене женщин… Это был сам «Консул».

— За мной, — шепнул он тихо.

Мы заняли с ним кабинку туалета, где и произошла быстрая смена одежды. Я передал ему свои матросские обноски, а сам облачился в его костюм, сразу же превратившись в солидного, преуспевающего дельца, появившегося в Сант-Паули ради острых развлечений. Передавая «Консулу» складной нож, я невольно посочувствовал ему:

— Куда же вы теперь денетесь в моем рубище? Неужели и застрянете здесь, погибая за меня в этих ночах Сант-Паули?

— Не первый раз, — ответил «Консул», — за меня не беспокойтесь. Отныне я буду всегда рядом с вами, как надежный телохранитель, хотя вы и не станете замечать моего присутствия. Но не дай-то бог нам еще раз увидеться…

— Почему?

— Я могу появиться перед вами в одном лишь случае, если вам пришло время смазывать пятки салом. Но и в этом случае вы обязаны думать только о своем собственном спасении, нисколько не заботясь обо мне. А теперь ступайте к «дому Зеликмана», где вас ожидает любящая жена, от нее и получите самые убедительные инструкции. Честь имею!

Возле «дома Зеликмана» (так назывался изысканный бордель для богатых людей) стояла коляска на рессорах, запряженная парою лоснящихся от сытости лошадей, их спины были накрыты ковровыми вальтрапами. На диване коляски явно томилась в ожидании Вылежинская-Штюркмайер, нервно поигрывая сложенным в трубку зонтиком. Посильно своим актерским талантам я изобразил радость мужа при встрече с женою.

— Эльза! — воскликнул я. — Наконец-то я тебя вижу!..

Зонтик в руках «жены» оказался опасным оружием, наносящим весьма болезненные удары по моей голове. Эльза отделала меня так, что прохожие на тротуаре одобрительно гоготали над моими слабыми попытками закрыться от ударов.

— Мерзавец! Грязная свинья! — кричала Эльза нарочито громко, объясняя свой гнев праведной женской ревностью. — Я, несчастная, объездила весь Гамбург, заглянула во все вертепы на Швигере и Ульрикугассе, пока не отыскала его в этой помойной яме… Садись в коляску и молчи, пока цел!

Я, как и положено виноватому мужу, покорно стерпел все оскорбления. Наша дружная «семейная» жизнь началась…

Лошади выкатили коляску за ворота Сант-Паули, миновав озлобленные пикеты плоскогрудых и хищных сторонниц нравственности из «Армии Спасения», и я робко сказал:

— Однако вы были слишком откровенны в выражении своих чувств. Смотрите, от зонтика даже ручка отвалилась.

— Так не быть же мне притворщицей! — ответила Эльза с неподдельной яростью. — Уж если ревновать мужа, так надо так это делать, чтобы он навек запомнил…

Мы миновали мрачную Микаэлискирхе.

— Куда же теперь едем? — спросил я.

— На вокзал. Дома отмоетесь от грязи ночлежек, после чего я стану кормить и ублажать вас, как и положено в милой семье…

Высоко над городом торчал гигант-Бисмарк, а под ним, как во времена древней Ганзы, проплывали корабли всех стран и народов; опираясь на рыцарский меч, «железный канцлер» хмуро и сосредоточенно взирал с берегов Эльбы на восток — туда, где лежала великая, могучая и недоступная для врагов наша держава… Я попал в Германию, когда такие личности, как Людендорф или Гинденбург, еще пребывали в томительной безвестности. Зато повсюду виделись портреты гросс-адмирала Тирпица с его раздвоенной бородой и выпученными глазами, в витринах магазинов красовались профили. Мольтке, ну и, конечно, был силен культ личности кайзера…

Ночным экспрессом мы выехали в Берлин, где моя дорогая Эльза — слишком смело! — сняла номер в богатом столичном «Бремергофе». На мои опасения она ответила усмешкой:

— Э! Не стоит пугаться, я всегда останавливалась именно в «Бремергофе», где богатая публика вне подозрений…

Раскрыв ридикюль, она деловито отсчитала для меня пять немецких купюр по пятьсот марок каждая:

— Вот вам для начала пять «манлихеров», чтобы вы ощутили себя настоящим мужчиной, крепко стоящим на ногах. Вообще-то, мой милый, я, грешница, люблю настоящих мужчин.

— Что я должен делать?

— Докажите это…

«Семейная» жизнь определилась. Сначала зонтиком по башке, а потом пять хрустящих «манлихеров». Поживем — увидим…

Отчетливо помню, что я погрузился в тоску страшного одиночества, а пани Вылежинская, столь милая раньше, не сделала ничего такого, чтобы развеять мою хандру, и я, честно говоря, до сих пор не могу понять, что двигало этой женщиной. Не была ли она попросту аферисткой, для которой испытания риском доставляли столько же пикантных наслаждений, как и любовь?

2. Через трубы

Всю жизнь ненавидел зловонный дым из фабричных труб, которые наступали на пригороды Санкт-Петербурга, но вся Германия была окутана дымами заводов и фабрик, чудовищный «грюндерский» молох вращал колеса машин и с грохотом прокатывал ролики сталелитейных цехов. Я, слава богу, не пишу роман, а посему мне да будет дозволено отвлечься ради необходимых размышлений…

От меня не следует ожидать, чтобы я — на радость читателю — увлекал его в тайники германской военной мысли, не стану я похищать чертежи новейших гаубиц, не стащу из-под носа кайзера его секретный приказ, — этим занимались люди, более опытные и лучше замаскированные, а мне доставались дела попроще. Здесь мне желательно предпослать небольшую политическую преамбулу. Поверьте, я всегда уважал Германию — родину великих мыслителей, поэтов и ученых. Нет, я не стал германофилом, каковым был мой ущербный папенька. Но до чего же трудная эта работа — отделять сытные зерна от плевел, таящих заразу. Так, например, я уважал историка Теодора Моммзена, лауреата Нобелевской премии, но я же и проклинал его призывы к Габсбургам, чтобы они давили южных славян, будто негодные жмыхи, мне было противно читать его выводы о праве немцев репрессировать другие народы. «Неустанно копить гнев — последняя надежда истерзанной нации!» — призывал Моммзен, хотя никто не собирался терзать Германию. Напротив…

В своих обильных речах Вильгельм II изображал Германию страной изобилия и процветания, которой завидуют другие народы, лишенные того блаженства, в каком пребывают немцы. По словам кайзера, получилось так, что за рубежами Германии живут голодные нищие ободранцы с ножами в руках, которые только и ждут момента, чтобы наброситься на преуспевающую Германию, желая отнять у немецкого рабочего последнюю сосиску и лишить его кружки с пивом. Германия — это страна не только философов и мудрецов, но страна и мещан-дураков, которые, наслушавшись кайзера, охотно платили налоги на усиление армии, чтобы эта армия в жестоких битвах отстояла для них сосиску с пивом… Я высказал о Германии лишь свое личное мнение, и пусть читатель сам отделяет зерна от плевел. Но прежде малая доля статистики: в Германии, какой я ее застал, средняя продолжительность жизни мужчины была 24 года, а женщины — 28 лет. Убедительно? По-моему, даже очень…

Моя преамбула требует продолжения. Исторически ведь совсем недавно Германия считалась провинцией Европы, тихой и отсталой, о которой можно судить по живописным полотнам Карла Шпицвега. В те времена «бедный Вертер» с его страданиями долго определял в сознании европейцев большую часть всех немцев — слезливо-робких и не в меру чувствительных, склонных помечтать под луною или всплакнуть над увядшим цветочком.

Европа, кажется, и сама не заметила, как на смену томному Вертеру пришел всесокрушающий Зигфрид — тевтон, уже облаченный в крупповские доспехи. На протяжении жизни лишь одного поколения Германия вдруг разрослась в могучую империю-хищницу с высокоразвитой индустрией, с железной дисциплиной в быту, где, по словам очевидца, «слишком мало человеческого и слишком много бездушно-механического. Культ сабли, военного мундира и гусиного шага глубоко проникал в психологию всех классов населения, не исключая и пролетариата».

Германия переживала быстрый рост рождаемости, ее средневековые города сделались тесны для жителей. Крупп поражал воображение мира своими пушками, Цейс — хрустальною оптикой, Тирпиц выводил в море броненосцы, а Цеппелин вздымал под облака свои дирижабли. Тяжелая индустрия стремительно вывела Германию на второе место в мире (после США). Но… откуда все это? И почему так быстро развилась эта страна? Ответ прост: бедным Вертерам помогал разбой! ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ франков, которые они содрали с Франции после ее разгрома в 1871 году, эти безжалостные контрибуции с побежденных пролились на аккуратные немецкие огороды словно оживляющий в засуху дождик. Немцы и сами понимали, что их величие и богатство зиждутся на ограблении другого народа, но страшен был результат — Вертеры поверили, что грабеж соседей законен и даже полезен для их здоровья.

Маршировать немцы любили давно и относились к шагистике без тени юмора, свойственного славянам. Даже мирные члены туристских «ферейнов», трогаясь в путь, вскидывали зонтики на плечо по команде, словно ружья. Генштаб заметно оживился при Вильгельме II, в его офицерском корпусе рассуждали:

— Важно ударить сейчас, пока русские не очухались от возни с японцами. Европа не так уж страшна, как мы привыкли о ней думать… По сути дела, это большая куча гнилой картошки. Толкни посильнее — и она сразу развалится!

Немецкий генералитет пришел к мысли, что «Германия обладает теперь такой мощью, какой не обладала ни одна великая держава». Состарившийся Хельмут Мольтке-старший, сдавая дела своим преемникам, вручил им уже почти готовые планы превентивной войны против России.

— Только не опоздайте с нападением, — внушал он. — Лучше раньше, нежели… никогда!

На празднествах в Германии публично сжигали громадные макеты «варварской» Москвы; ревущая от восторга толпа окружала эти изуверские пожары, в огне которых корчился Московский Кремль и рушились купола Василия Блаженного. Пока был жив Бисмарк, он еще остерегал Германию от последствий мировой бойни, делая страшные пророчества: «В конце войны ни один из немцев, отупевший от крови, не будет в состоянии понимать, за что он сражался!» Но Бисмарка не стало, а Мольтке-младший сложил четкую, вполне готовую формулу войны для будущего фашизма:

— Мы отбросим все банальности об ответственности агрессора… Только успех оправдывает любую войну!

Пока они там горячились, русский военный атташе в Берлине, полковник Базаров, подкупил за деньги германских офицеров и чиновников картографического отдела немецкого генерального штаба. По тайной цепочке «почтовых ящиков» в Петербург потекла свежая и самая точная информация о дислокации германской армии на случай войны.

Скандал был велик, и Базарову было объявлено:

— Вам предлагается покинуть Германию в течение шести часов, иначе будете осуждены… Как вам это удалось?

— Чему удивляетесь, господа? — со смехом отвечал Базаров. — Если в этом безрадостном мире существует продажная любовь, то почему бы не быть и продажной совести?..

Конечно, попав в кайзеровскую Германию, охваченную нетерпением войны, я не мог предполагать, что рядом со мною, еще никому неведомые, уже варятся в громадном котле всеобщей ненависти такие жуткие личности, из которых история потом изберет будущих гитлеров, гиммлеров и герингов.

…Ивиковы журавли пролетали надо мною, и мне казалось, что я слышу с земли их печальную перекличку в небесах:

— Курлы-курлы… курлы-курлы… курлы!

\* \* \*

Постоянное общение с женщиной накладывало на наши отношения старомодную патину особой нежности, однако любовь, едва намеченная пунктиром, кажется, осталась за кордоном, а здесь, в Германии, я не столько любил эту прекрасную и смелую женщину, сколько исполнял, как актер, заглавную роль ее супруга. Пусть читатель не посетует на холодность моих чувств, но пани Вылежинская так и осталась для меня лишь кратким, хотя и выразительным эпизодом в моей сумбурной жизни.

Стану говорить о более важных фактах.

В первые дни, когда Вылежинская на правах законно разъяренной жены вырвала меня из гамбургских вертепов Сант-Паули, я не сразу пришел в себя. Не скрою, я испытывал страх скорого разоблачения, а больше всего боялся встретить какого-либо заезжего русского оболтуса, который еще издали распахнет передо мною свои жаркие объятия:

— Дружище! Вот не ожидал встретить тебя в Германии. Это, брат, здорово, что мы встретились. Как ты здесь оказался?

Я неохотно показывался в оживленных местах, избегал посещения ресторанов и людных улиц, часто ловил себя на том, что постоянно озираюсь по сторонам. Я бывал скован даже в пустяках и помню, как, впервые навестив пивную, был немало ошарашен грубым возгласом трактирщика:

— Ну что, приятель, пивка захотелось? А чего не приволок с панели какую-нибудь завалящую шмару?..

Страх вскоре прошел, но от постоянной настороженности зверя, всюду чуявшего засаду, я не избавился никогда. Впрочем, помнить об опасности было даже необходимо. Хороший агент разведки, если он не желает быть повешенным, обязан скрывать свои национальные черты: француз может выдать себя вежливостью, немец грубостью манер, англичанин обязан скрывать свою замкнутость. Но знали бы вы, как трудно было мне, природному славянину, вживаться в немецкую «шкуру», бывая нарочито мелочным в денежных расчетах или покорно ожидающим на панели взмаха руки шуцмана, чтобы перейти улицу. Все это далеко не пустяки для меня, с детства привыкшего к укладу русской безалаберной жизни.

Очевидно, давние уроки актерского ремесла, освоенные еще в молодости на любительской сцене, все-таки пошли мне на пользу, и я весьма скоро вошел в роль преуспевающего дельца, обладателя солидного счета в банке. Я гордо носил часы с золотой цепочкой, выпущенной поверх жилета, расшитого незабудками, и являл собою пример гордого носителя тех бредовых идей, которые легко умещались тогда в головах миллионов немцев, одурманенных собственным величием. Линза монокля, вставленного в распяленную глазницу, прекрасно и убедительно дополняла мой отвратительный облик…

Мои задачи агента были достаточно скромные. Я состоял лишь мужем, а заодно и коммивояжером при своей жене, которая владела небольшой, но хорошо налаженной фабричкой по производству керамических изделий. Фабрика работала в маленьком городке близ Берлина, откуда лежали хорошие пути сообщения, а мне часто приходилось мотаться в Пруссию, где всегда была нужда в керамических трубах для осушения заболоченной местности. Нелишне сказать, что в числе наших экспортеров была и Россия, скупавшая у нашей подставной фирмы трубы для водо- и фановых сбросов. Россия же покупала у нас и кафель для отделки помещений. С тех пор прошло немало лет, но даже теперь иногда я встречаю в домах печи, обложенные кафелем с маркировкой той фабрики, которой мы когда-то владели сообща с пани Вылежинской… мне смешно!

Впрочем, производством ведала моя «супруга», а я был занят делами своего «наследства» — связями с нашей тайной агентурой, разъезжая по стране вроде коммерсанта, озабоченного сбытом продукции фабрики. Денег хватало. Я обзавелся двумя квартирами — в Берлине и в Кенигсберге, а затем приобрел выносливый немецкий «бенц» на шести цилиндрах, который с удовольствием разгонял на дорогах провинции до скорости в сотню миль… Я твердо усвоил непреложную истину, что вокруг хорошего агента разведки всегда царит благословенная тишина, а вот когда вокруг него начнут грохотать выстрелы, значит, он провален, и в этом случае агенту остается лишь признать свое поражение. Впрочем, «Консул», обязанный предостеречь меня от опасности, ни разу не появлялся на моих путях, дела фабрики шли превосходно, а для связи со своей агентурой я имел два надежных «почтовых ящика»: в Кенигсберге это был газетный киоск возле ратуши, а в Берлине — цветочная лавка около Ангальтского вокзала.

Здесь я должен сознаться, что никакой вражды к немцам как людям никогда не испытывал. Мало того, мне часто приходили в голову слова Руссо: «Война не есть отношение человека к человеку, а лишь отношение государства к государству. Государство не может иметь врагами отдельных лиц, а только само государство же!» Живя среди немцев, сам выдавая себя за немца, я ненавидел не их, а лишь боролся с немецким государством, в потаенных недрах которого уже вызревали опасные бациллы будущих войн с их опасной доктриной молниеносных «блицкригов».

Мне осталось лишь поблагодарить читателя, если он вникнул в эти скучные страницы, ибо они во многом определяли мое отношение к Германии времен кайзера, которой в Европе все боялись, как гораздо позже народы Европы испытывали естественный ужас и перед Германией времен Гитлера…

\* \* \*

«Консул» возник внезапно, словно привидение с кладбища, и, весь в черном, как похоронный церемониймейстер, он не предвещал своим появлением ничего доброго.

— Нет, нет, — торопливо заговорил он, — никакой опасности нету, вы работаете хорошо. Но поручение Генштаба столь важное, что его нельзя доверить «почтовому ящику»…

Следовало раздобыть новый секретный код 1-й эскадры флота Открытого моря, которая базировалась в Вильгельмсгафене, оснащенном доками, пирсами, эллингами и… особым положением, при котором все приезжие сразу ставились под надзор полиции.

— Но вам, — сказал «Консул», — сделать это легче, ибо сейчас в гавани идет прокладка водопровода, нужны трубы для подачи пресной воды в крейсерскую гавань. Забейте конкурентов дешевизной своих труб, после чего получите транзитную отметку в паспорте как поставщик флота его величества.

— Что дальше? — спросил я.

— Дальше? — «Консул» с ухмылкой предъявил мне почти черную фотографию, сделанную при свете луны, на снимке был виден человек в форме шуцмана, залезающий в окно второго этажа. — Это нам попался старший полицейский гаванского участка как раз в Вильгельмсгафене, зовут его Эрнст Енике (запомните!). Он снят в момент, когда грабил денежный ящик из конторы своего же участка… Поверьте, ущучить его в такой забавной ситуации нам было нелегко. Мы долго его караулили.

— Не сомневаюсь, — отвечал я. — Но об этой истории ограбления кассы полиции в Вильгельмсгафене я уже читал в газетах, хотя преступник и не был обнаружен.

— Енике тоже читает газеты, — кивнул «Консул». — Зато он немало удивится этой фотографии, когда вы сунете ее прямо ему в морду… Далее, — продолжал «Консул», — у этого ворюги есть хорошенькая сестра, за которой бесполезно ухаживает некий Фриц Клаус, сигнальный унтер-офицер с крейсера «Таннер», имеющий доступ к секретным кодам. Девица отказывает ему, ибо загорелась сыскать жениха с квартирой и мебелью.

В эти годы высшим «шиком» для всех немецких обывателей было владение однокомнатной квартирой с кухней и прихожей, а эта девица, видите ли, пожелала еще и мебель.

— Мне все ясно, — сказал я «Консулу». — Сколько платить?

— Денег не жалейте…

Он медленно натянул черные перчатки, скрипящие свежей кожей, я подал ему черный котелок. «Консул» энергично взмахнул тростью из черного эбена, на которой серебряный набалдашник изображал голову льва с разинутой пастью.

— Учтите, — напомнил он, — в Вильгельмсгафене, чтобы раздобыть этот новый код, сейчас во всю ивановскую работает морская разведка англичан. Эти люди не слишком-то щепетильны в таких делах, и я не желаю вам переступать их дорогу…

3. Мобилизация

Я очнулся на полу после сильного удара по голове. Но долго не открывал глаз, сознательно продлевая свое беспамятство, чтобы обрести полное сознание… Что случилось? Ведь все складывалось отлично. Комендант Вильгельмсгафена только вчера заключил со мною контракт на поставку труб, явно соблазненный их дешевизной, а качество керамики нашей фирмы не вызывало сомнений. Мало того, главный инженер порта весьма любезно снабдил меня схемой водопроводов гавани, предупредив, чтобы я этих планов никому не показывал, ибо они считаются секретными. И вот я валяюсь на полу в своем же номере гаванской гостиницы и даже не могу понять, что произошло. Кажется, силы вернулись ко мне и пора уже открывать глаза, чтобы убедиться в своем провале…

— О-о-о, — простонал я как можно громче.

В кресле перед настольной лампой с абажуром мне виделась фигура гигантской женщины с папиросой в зубах.

— Очухался? — грубо спросила она, даже не обернувшись.

И тут я заметил, что эта дама из Валгаллы, достойная руки и сердца самого Зигфрида, с большим увлечением ковыряется в моем бумажнике. Из тьмы комнаты неслышно выступила юркая фигура маленького человека с большим острым носом. Наконец-то они доискались до сути, развернув кальку с изображением водопроводных путей военной гавани Вильгельмсгафена.

— Но… где же код? — вдруг спросил долгоносый по-английски, но с непонятным для меня акцентом.

— Обшарь ему карманы, — повелела громадная баба.

Подошвой ботинка этот мерзавец наступил мне на лицо.

— На кого работаешь? — был поставлен вопрос.

— Фирма известная… керамика и обжиг кирпича…

Я понял, что пришло время действовать. Это даже хорошо, что он наступил на меня. Я так удачно крутанул его за ногу с вывертом коленного сустава, что он с воплем покатился в угол. Но я, вскочив с полу, тут же перехватил его и швырнул, словно мешок с отрубями, через всю комнату… В конце своего краткого, но выразительного полета, достойного цирковой арены, долгоносик опрокинул со стола и вульгарную бабищу с дымящейся папиросой, а вместе с ней рухнула со стола и лампа.

Стало темно. Во мраке ярко пылал лишь окурок папиросы, докатившийся до меня. Я раздавил его, погасив. Тишина…

— Интеллидженс Сервис? — спросил я.

Ни гугу. Но сценарий требовал своего развития.

Пришлось чиркнуть спичкой, чтобы осветить искаженное болью и ужасом лицо червеподобного долгоносика.

Я взял его за глотку и встряхнул. Приложив несколько раз затылком об стену. После чего он обрел дар речи.

— Я… албанец, — сказал он.

— Отпустите меня.

— Кто тебе платит, сволочь?

— Вот эта лахудра…

Я пожертвовал второй спичкой, осветив лицо женщины.

— Мне плевать, кто вы… Но вы так бездарно работаете, что в полиции на Александерплац, уверен, уже заведена на вас карточка.

— К чему эти угрозы? — спросила дама.

— А к тому, что мне вас не жалко…

На шум драки и наши голоса сбежались обитатели соседних номеров, явился и молодой портье-мальчишка.

— Зови полицию, — кратко велел я ему.

Скоро она явилась, и ражий детина представился:

— Вахмистр гаванской полиции Эрнст Енике.

— Видите, что со мной сделали? — сказал я ему, показав свою разбитую голову. — Где это видано, чтобы честный немец в своем же отечестве страдал из-за какой-то швали?

В конторе полиции я дал свидетельские показания, а в лапу Енике я сунул целый «манлихер». Боже, как он ему обрадовался! Я предложил ему вернуться в гостиницу:

— У меня есть початая бутылочка… буду рад.

Он возликовал еще больше. Возле бутылки с мозельским я выложил как бы невзначай и эту черную фотографию.

— Что это? — удивился он.

— Присмотритесь, — отвечал я, щедро подливая ему вина. — Вы же читаете газеты? Там в статьях об ограблении вашей конторы не хватает только этой фотографии, которая сразу все прояснит. При желании всегда можно разглядеть черты вашего благородного облика… Кстати, — спросил я, — как ваша сестра? Она еще не дала согласие на брак с унтер-офицером Клаусом?

— Нет, — почти ошалело ответил Енике.

— Так скажите ей, что скоро Клаус станет богат и заведет для нее такую мебель, о какой можно только мечтать…

Кратко говоря, наша фирма не понесла убытков, продав свои трубы по дешевке, а сигнальный унтер Клаус, влюбленный в сестру Енике, оказался таким продажным, что я даже удивился — до чего же легко люди идут под трибунал, только бы у них завелись лишние деньги! В итоге этого контракта крейсера кайзера упивались пресной водой через наши трубы, код был в наших руках, а я покинул Вильгельмсгафен и всю ночь гнал свой «бенц», желая поскорее увидеть очаровательную пани Вылежинскую… Вскоре через «почтовый ящик» российский Генштаб уведомил меня, что мне присвоено звание капитана.

Ясно почему: секретные коды на улице не валяются!

\* \* \*

Минуло более пяти лет со времени того позора, который обрела Россия на печальных полях Маньчжурии, и русская армия, приученная всегда побеждать, еще горестно зализывала свои душевные раны после унижений Портсмутского мира, а между тем германская военщина воспаряла все выше, как тесто на добротных дрожжах, и мне иногда думалось: «Нет, мы не успеем… Уже опоздали!»

Мне было известно, что полное могущество в перевооружении Россия обретет лишь в 1917 году, но дожить до этого срока нам не дадут. Наши эвентуальные противники отлично осведомлены о том, что русский «паровой каток», способный растереть их в порошок, тащится слишком медленно, поэтому немцы приложат максимум политических усилий, дабы развязать войну как можно скорее, ибо сейчас они были гораздо сильнее нас.

Кажется, я уже говорил, что пресловутый «план Шлифена» в общих чертах был известен нашему Генштабу, и я, попавший в самое логово зверя, был обязан доложить в Петербург о боевом совершенстве его могучих, отлично заточенных клыков. Во время моей работы в Германии нашу разведку более всего тревожили планы мобилизации армии кайзера.

Читателю, не сведущему в военных делах, мобилизация представляется призывом запасных, гудками паровозов, рыданиями баб, виснущих на своих мужьях, пляскою пьяных новобранцев под визги гармошек. Увы, это лишь внешняя сторона дела, а сама суть мобилизации — это явление Большой Стратегии, от которой иногда зависит судьба государства. Результат подсчетов, добытых разведкою, был крайне неутешителен для нашего Генштаба, и надо быть сущим дураком, чтобы не ужаснуться… Судите сами: при обширности нашей державы, при нехватке путей сообщения и при гибельном бездорожье русская армия могла быть мобилизована за 32 дня. Немецкая — за 12 дней, за 16 дней вставала под ружье австрийская. Таким образом, знаний гимназистки первого класса хватало, чтобы подсчитать:

32 — 12 = 20 дней;

32 — 16 = 16 дней;

20 — 16 = 4 дня.

Получается, что за эти 20 дней, пока наше воинство подтягивается к границам, у Германии достаточно времени, чтобы расправиться с Францией, оставшейся в трагическом одиночестве; Австрия же, пока немцы избивают французов, сдерживает Россию со стороны Галиции. Когда же на 33-й день русский «паровой каюк» подкатится к своим западным рубежам, Германия успеет развернуть эшелоны с запада на восток, готовая обрушиться на русские эшелоны… Наш прекраснодушный обыватель, продев босые ноги в домашние шлепанцы и попивая чаек с булкой, конечно, ничего об этом не знал, и только мы, офицеры Генерального штаба российской армии, отчетливо понимали, что такое для нас успех скорой мобилизации…

Подозреваю, что я тогда был мелкой сошкой, а в германском генштабе работали наши агенты, умевшие творить чудеса. Вскоре стало известно, что кайзер Вильгельм II саморучно подписал три экземпляра «Приказа на случай войны» — только три! Я не знаю, какие были замки в секретных сейфах Мольтке, но чувствовалась рука опытного взломщика, после чего один из этих приказов кайзера был выкраден вполне успешно [10] .

Здесь я вернусь немного назад, к тем далеким временам, когда я служил на границе. Помните, что немецкие красители мы пропускали без задержки, дабы казна не платила за них по валютному курсу? То золотое время, когда человек добывал красители из ягод или насекомых, из муравьиных яиц или из печени животных, — это время закончилось торжеством немецкой химии. Лучшие немецкие ученые сплотились в «Фарбениндустри», добывая синтетические краски различных цветов. Талантливый Фриц Габер еще в 1904 году синтезировал аммиак, что позволило Германии добывать азот, необходимый для производства взрывчатки, и рейхсвер кайзера, таким образом, в выделке порохов перестал зависеть от привозной чилийской селитры. Но ни наша, русская, ни разведки других стран даже не заметили, что именно вызревает в колбах и ретортах интеллектуальной фирмы «Фарбениндустри». Тот же еврей Фриц Габер (позже пострадавший от Гитлера) выпустил из своей лаборатории новое оружие века — ядовитые газы, которые вскоре оросят поля будущих битв удушливыми дождями иприта и фосгена. Думаю, что беспечность разведок в отношении химического концерна «Фарбениндустри» объяснялась не ротозейством военных министерств, а просто тем, что никто в мире тогда не подозревал, что достижения химии станут средством для массового уничтожения людей.

Итак, газы мы прохлопали. Зато обратили внимание на развитие подводных лодок. Впрочем, заслугу в этом вопросе следовало бы целиком приписать фантазии Конан Дойла, который, сотворив образ гениального сыщика Шерлока Холмса, заодно уж предупредил человечество о той угрозе, какую несут под водой германские субмарины; так уж получилось, что его новелла «Опасность» была вроде сигнала гонга, объявляющего тревогу. Известно, что Германия просто украла у американцев проекты новейших подлодок фирмы Голланда. Но вскоре на «черном рынке» европейского шпионажа появились их подробные чертежи, которые обошлись бы русской казне в миллион русским золотом. Петербург с умом отказался от покупки, ибо русские судостроители уже осваивали свои проекты — более лучших подлодок, нежели были немецкие…

Наездами я часто бывал в Берлине, где меня больше всего поражали социальные перегородки в обществе — здесь каждый сверчок знал свой шесток: жена офицера презирала жену бухгалтера, жена канцеляриста не здоровалась с женою лавочника, которая, конечно же, воротила нос от жены рабочего. Заметил я тогда и другое. У нас в России было немало частных богатств, были богатые и бедные, но никогда я у себя дома не встречал той беспросветной нищеты, какую однажды встретил в бараках бедняков «Бараккиа», что расположились на пустырях в районе Темпельгофа. Бывая в Берлине, я еще издалека распознавал особые бравурные мелодии из опер Вагнера — это ехал сам император Вильгельм II, и в таких случаях я, как и все берлинцы, радовался, вскидывая руку в приветствии. Заодно с толпою раскормленных матрон и мужчин, украшенных трехрядными затылками, я вместе с ними, ошалевшими от восторга, сам ошалевший тоже, изо всех сил кричал хвалу кайзеру. Мог ли я думать тогда, что орущие рядом со мною люди осуждены в будущем кричать нечто похожее другому божеству немцев: «Хайль Гитлер!»

\* \* \*

Пока мы там ломали головы над планами мобилизации рейхсвера, немецкие генералы могли овладеть планами нашей мобилизации чуть ли не даром… Я к этому делу имел косвенное отношение, а посему оно вспоминается мне отчетливо.

Случилось это так. Однажды, завершив удачную сделку с мелиораторами в районе прусского Тильзита, я вернулся домой, застав пани Вылежинскую в крайне озабоченном состоянии. Она сказала, что мое возвращение кстати, еще немного — и случилось бы непоправимое. Русский генерал-майор Стекольников, служащий в Главном штабе, приехал в Берлин и уже договорился о продаже немцам секретных планов русской мобилизации в случае войны. Вылежинская выложила на стол фотографию предателя:

— «Консул» просил запомнить его лицо.

Я машинально вгляделся в сытую морду изменника, желая как следует выругаться. Я сказал, что меня суют затычкой не в ту бочку, это скорее дело самого «Консула»:

— А теперь, когда эта сволочь уже насквозь просвечена вниманием тайной полиции, я могу быть просвеченным тоже… Где остановился этот мерзавец?

— В чаянии будущих благ Стекольников снял роскошный номер в аристократическом «Адлоне», — понуро ответила Вылежинская. — Завтра к полудню его будут ждать на Вильгельмштрассе возле генерального штаба… Нужно опередить! Я понимаю твое возмущение, но именно «Консул» и просил тебя перехватить Стекольникова, чтобы тот не успел передать немцам свои бумаги…

Я подумал, хотя все было ясно. Вылежинская достала из шкафа полную форму немецкого майора штабной службы, при этом больно ударила меня по спине жгутом аксельбанта:

— Быстро переоденься… время не ждет. Если не собираешься прикончить Стекольникова, так надо успеть приобрести для него билеты в спальный вагон до пограничного Вербалена…

Я переоделся. Самый трудный вид маскировки агента — это играть роль офицера той страны, против которой работаешь.

4. Опасность

Мой «бенц» был в полном порядке, его шины приятно шуршали на мокром от ночной росы шоссе. К полудню я был на месте, остановив автомобиль на углу Вильгельмштрассе. Отсюда я отлично видел перспективу улицы, в конце которой со стороны «Под липами» должен появиться человек, желавший продать свое отечество подороже… Ожидание противно затянулось. Наконец среди прохожих я почти интуитивно распознал предателя. Этот человек шагал нерешительно, с оглядкою по сторонам, а большой багровый нос (свидетельство его основных пристрастий) напоминал красный свет на повороте, предупреждающий об опасности.

О чем он думал сейчас? Может, об обеспеченной старости в тишине сытой провинции, где цветут яблони и звонят колокола церквей, призывая его к благостной вечерне. Наверное, у него высохшая, как вобла, крикливая жена, а некрасивых дочерей женихи не желают брать без приданого… Пора! Я включил мотор и несколько метров следовал вровень со Стекольниковым, пока наши глаза не встретились, и тогда я повелительно распахнул перед ним дверцу своего автомобиля:

— Прошу садиться, герр Стекольникофф.

Он понял это предложение как вопрос к нему и торопливо заговорил, продолжая озираться:

— Да, да… гут, гут… я Стекольников.

Сразу выяснилось, что немецким языком он не владеет, и мне пришлось вернуться к языку родному, сознательно коверкая его безбожным «немецким» акцентом. Я строго спросил:

— Вы почему опаздываете?

Стекольников, держа увесистый портфель, уселся рядом со мной, и рессоры просели от тяжести его генеральской туши.

— Извините, что опоздал. Я же не немец… мы, русские, к порядкам не приучены… Я ждал не вас, а самого Шольпе.

Кто такой Шольпе, я, конечно, не знал.

— Именно Шольпе и просил встретить вас, — ответил я, включая мотор «бенца». — Планы русской мобилизации с вами?

Стекольников похлопал по своему портфелю.

— Туточки, — весело сказал он.

— Отлично! Вы договорились с Шольпе о цене?

— Он сказал, что сумма гонорара зависит от ценности моих документов, которые прежде надобно как следует изучить. Но меньше чем на сто тысяч я не согласен.

Мне стало тошно. Ему, значит, сто тысяч рублей, а России — сто тысяч загубленных людских жизней, рыдания вдов и всхлипы сирот. Красное здание Большого штаба осталось позади, я быстро проскочил мимо русского и французского посольств; за мостом, вдоль проспекта королевы Луизы, как раз напротив берлинского морга, я круто развернул «бенц» вправо и покатил по Эльзасской улице, название которой напоминало немцам об их торжестве над растоптанной Францией в 1871 году, после чего и возникла Германская империя… Только теперь, поминутно озираясь, Стекольников начал проявлять беспокойство.

— А куда вы меня везете? — насторожился он.

— В сторону Потсдама, — наугад сказал я.

— Вот как? Далеко еще ехать?

— Нет, уже скоро…

За тихим парком Фридриха Великого, миновав районы трущоб берлинской бедноты, я завернул машину на тихое еврейское кладбище. Здесь никого не было, а мертвецы не могли помешать мне.

— Приехали! Давайте мне ваш портфель.

— А деньги? — спросил мой земляк.

Мне хотелось разрядить в его обширное генеральское чрево всю обойму браунинга, но я ответил ему крайне вежливо:

— Разве вы не уверены в благородстве немецкого генштаба, который искренно заинтересован в вашей безопасности? А с большой суммой денег, ввозимой из-за рубежа, вы же сразу попадетесь на таможне. Поезжайте домой и ждите. Мы найдем лучший способ переправить вам весь гонорар за ваши услуги. И не задерживайтесь в Берлине ни одного лишнего дня… Вот вам билет в купе первого класса до Петербурга.

— Я могу вам верить? — ошалело спросил Стекольников.

— Вылезайте, — ответил я…

Портфель с планами русской мобилизации лежал у меня на коленях, я сразу запустил мотор, оставив иуду возле ограды унылого кладбища. «Черт с ней, с этой падалью! Пусть выбирается отсюда как знает…» Позже я узнал, что Стекольникова сняли с поезда сразу, едва колеса его вагона перекатились через германскую границу. В контрразведке ему без лишних слов протянули револьвер с единственной пулей в стволе.

— Этого вполне хватит, — сказали ему. — Не будем разводить церемоний с протоколами. Как видите, нам совсем не хочется размазывать эту грязь далее. Впрочем, вот вам лист бумаги. Можете состряпать последнее письмо своей жене…

Стекольников, горько рыдая, пустил себе в лоб пулю.

\* \* \*

…все эти Ришелье, Питты, Меттернихи, Талейраны, Нессельроде, Кавуры, Израэли, Бисмарки и прочие политики казались мне жалкими кавалерами, созданными ради придворных менуэтов; политики всегда больше старались сорвать овации с публики за очередное «красное словцо», но они мало думали о судьбах народов и, наконец, о естественных границах — политических, географических и даже этнических. Я уже знал о положении на Балканах, где началась грызня между братьями-славянами, но сейчас был вынужден оставаться на своем посту в Германии, делая то, что мне велят, хотя, честно говоря, не все дела были мне по душе. Если говорить о шпионаже в общих чертах, то я не могу дать точное определение, чего тут больше — цинизма или артистизма? Что в нем главнее — интеллект или умение импровизировать?..

Одно из поручений Генштаба я не смог выполнить. Мне следовало узнать, из каких металлических сплавов граф Цеппелин создает свои дирижабли. Совсем не понимаю, ради чего меня посылали во Фридрихсгафен, эту главную лабораторию немецкого воздухоплавания, если все можно было выяснить дома. Фердинанд Цеппелин был женат на русской подданной, некой баронессе фон Вольф, на деньги которой он и строил свои летающие чудовища, и все нужное было легче узнать, действуя через его русских сородичей. Впрочем, английская разведка тоже споткнулась на разгадке секретов дирижаблестроения. Жители Лондона имели особый повод отомстить графу Ф. Цеппелину, ибо в первый же год войны германские дирижабли вдрызг разбомбили гигантские запасы виски и коньяков на складах, а состав дюралевых сплавов и особых клеев был раскрыт ими гораздо позже…

Помню, я вернулся из Фридрихсгафена в дурном настроении, очень усталый, и тут появился, как всегда неожиданно, «Консул», который никак не улучшил моего настроения.

— Неприятные новости! — сообщил он с порога. — Надеюсь, вы не забыли вахмистра полиции Енике и сигнального унтер-офицера Клауса, продажность которых помогла нам раскрыть новый немецкий код… Сколько вы им заплатили?

— Сунул каждому по пять «манлихеров».

— Продажным дуракам, — был вывод, — никогда нельзя платить много, ибо они еще больше дуреют от денег… Прочтите!

В местной газете из Рура было отчеканено жирным шрифтом:

По полученным нами сведениям, на днях были смещены решительно все подряд чины вильгельмсгафенской полиции, начиная от ее начальника и кончая последним рядовым полицейским…

— Первым взяли унтера Клауса, — сообщил «Консул». — Разбирательство его дела происходит при закрытых дверях… Так что ничего путного наружу не просочится.

— А где же сейчас Енике?

— С него и началось! Енике разменял ваши «манлихеры» в Париже, где его засекла немецкая разведка, когда он раскутился с шикарными кокотками… Уже сидит в тюрьме Ганновера!

— Та-а-ак. Где и когда я допустил ошибку?

— С вашей стороны ошибок не было, — утешил меня «Консул». — Но к делу о полиции Вильгельмсгафена подключены и те двое… эта громадная бабища со своим напарником, которые работали на англичан, и очень скверно сработали.

— Час от часу не легче, — сказал я, поеживаясь. — Может, вы подскажете, что мне теперь делать?

— Затаите дыхание и продолжайте увеличивать выпуск керамики… У вас какие сейчас главные подряды?

— Для осушки болот в Восточной Пруссии.

— Вот, и поставляйте им трубы…

Через несколько дней пани Вылежинская развернула передо мною берлинскую газету, в которой сообщалось: из тюрьмы Кельна, выбравшись из камеры на крышу, бежал по штанге громоотвода вахмистр Енике; поиски преступника продолжаются…

— Мне в контору фабрики звонил «Консул», — подавленно сказала Вылежинская. — Немецкая агентура уже выследила Енике в Лондоне, и туда отправлен комиссар полиции Кельна, чтобы Скотленд-Ярд выдал его как уголовного преступника…

Казалось, моя карьера тайного агента русского Генштаба на этом и закончилась навсегда. Но далее события развивались вне всякой логики. Англичане выдали Енике на расправу, и доблестный вахмистр вскоре имел счастье лицезреть на скамье подсудимых своего шурина Клауса. Вот уж не знаю — почему, но эти негодяи обо мне даже не упоминали, а все грехи дружно валили на ту громадную мегеру и подручного долгоносика, причастных к работе британской морской разведки. Наверное, им, недоумкам, казалось, что измена Германии в пользу культурной Англии будет караться не так строго, нежели измена в пользу «дикой» России… Клаус получил шесть лет тюрьмы, а Енике к такому же сроку прибавили еще три года отсидки — за его грабежи.

«Консул» долго не тревожил меня своим появлением.

Наконец он явился — даже веселый.

— Вы следите за «Лебелевским альманахом»?..

Я ответил, что последний раз держал его в руках еще в годы обучения в Академии, а позже не интересовался. Генрих фон Лебель, к тому времени покойный немецкий генерал, издавал прекрасные справочники по всем видам вооружения, из его альманахов всегда можно было узнать, чем занят знаменитый Маузер, какие винтовки в армии Бразилии и прочее.

— Грядущая война будет скоротечна, — почти радостно известил меня «Консул». — Противники за один день выпустят один в другого столько пуль, сколько раньше выстреливали за всю боевую кампанию. О сути дела догадываетесь. Винтовка давно устарела, успех решит автоматическое оружие.

— Как понимать ваши слова? — спросил я…

Главное артиллерийское управление русской армии командировало в Германию известного оружейника В. Г. Федорова, который на месте, то есть в самой Германии, должен был ознакомиться с образцами новейшего вооружения рейхсвера и заодно выяснить, кто кого обгоняет в разработке автоматического оружия — мы Германию или, напротив, Германия нас.

— Хорошенькое дело, — сказал я в ответ. — Здесь же вам не магазин готового платья, которое можно примерить в отдельной кабине. И никакой Пауль Маузер не пустит нас в свои лаборатории.

— Я назову конкретных людей, которые, обремененные большими семьями, согласятся немножко изменить родимому фатерлянду. Конечно, инкогнито Федорова не может быть раскрыто, да он и сам не пожелает этого, — сказал «Консул». — Вместе с ним приедет в Германию оружейный мастер с наших питерских заводов. Тип природного русского «самородка», наподобие лесковского Левши, который блоху подковал… Сопроводите их в разъездах по Германии, чтобы наши «гости» не наделали глупостей.

Я поразмыслил над его предложением:

— При нашем первом знакомстве вы заверили меня, чтобы я работал вполне спокойно, ибо в вашем лице обязан видеть хорошего телохранителя, который в нужный момент сразу же предупредит меня об опасности… Ведь так?

— Какие у вас могут быть сомнения? — обиделся «Консул». — Работайте, как и раньше, ни о чем не заботясь. При возникновении любой угрозы вы сразу будете предупреждены мною и вернетесь за кордон как ни в чем не бывало.

— Ну хорошо. Давайте сюда этих «самородков»…

\* \* \*

ДОПОЛНЕНИЕ. В своих мемуарах, написанных перед смертью, генерал-лейтенант инженерно-технической службы В. Г. Федоров запечатлел нашего героя — это был «невысокого роста человек, напоминающий лицом Наполеона. Прежде всего он предупредил о необходимости соблюдать чрезвычайную осторожность… Меня поражало его умение и, прямо скажу, талант вести тончайшую конспирацию. Он сообщил также о том, что за нами повсюду следует наша же контрразведка, что она следит за каждым нашим шагом, охраняя нас от попыток ареста или провокации… Много интересных и опасных приключений пережил я вместе с этим офицером Генерального штаба».

…При первой встрече с Федоровым я предупредил его:

— Вы, наверное, извещены, что случилось с капитаном Михаилом Костевичем, служащим как раз по вашему ведомству. Немцы заподозрили его в излишней любознательности к устройству снарядных взрывателей, почему он и был упрятан в тюрьму Моабит. Нашим дипломатам пришлось немало попотеть, прежде чем Костевича выпустили пастись на травку…

В ответ на мои слова Владимир Григорьевич засмеялся:

— Кстати! В наших «Крестах» сидит тоже капитан германского генштаба Вернер фон Штюнцнер, который любил вечерние прогулки в окрестностях Сестрорецкого оружейного завода, и немецкий посол граф Пурталес даже плакал, доказывая чистоту его лирических намерений… Куда мы поедем?

Маршрут был опасный: заводы Маузера в Оберндорфе, заводы Эргардта в Дюссельдорфе и секретная фабрика в Шпандау, где тоже всякие черти водились… Поехали!

5. Считайте меня арестованным

Наверное, нет особой нужды подробно описывать мое последнее дело в Германии, и я берусь за перо лишь по той причине, что оно стало для меня последним. Громкий процесс капитана М. М. Костевича, заподозренного в шпионаже, был еще слишком памятен, а Федоров, доверившись моему опыту, кажется, сильно преувеличивал мои способности и мои возможности.

Милейший человек, Владимир Григорьевич и сам был достаточно наблюдателен, а наше турне по городам Германии привело его к печальным выводам. Он не переставал удивляться тому, чему я уже не удивлялся: немецкие города были переполнены великим множеством детей. Россию трудно удивить многодетными семьями, но Германия просто поражала высокой рождаемостью.

— Вот говорят, что страны, где мало детей, обречены на вырождение, и приводят в пример Францию. А здесь я вижу целые кучи сопляков и невольно думаю — неужели будущее Европы на стороне многодетной Германии?

Мне пришлось отчасти разочаровать Федорова:

— Заметьте, каждый шестой ребенок в Германии является незаконнорожденным, а каждая восьмая женщина в Берлине зарегистрирована полицией как проститутка. Наверное, во Франции столько детей не увидишь, а здесь всюду наткнешься на женщину, которая, выпятив большущий живот, тащит на руках двух младенцев, в юбку ее цепляются еще двое. Но сравнение не в пользу Германии: французский ребенок, как мне говорили, бодр и весел, он сыт и опрятно одет. А тут мы видим рахитичные создания на слабых от недоедания ножках, немецкий ребенок ютится обычно на дворах, развлекая себя среди помоек и общественных нужников…

Моих подопечных удивляло в Германии многое, особенно порядок в уличной толпе, более свойственный воинской дисциплине. Жизнь немцев постоянно была под надзором полиции, работавшей прекрасно, на каждом шагу немец бывал предупреждаем вывеской с надписью: «Запрещено».

— И все безропотно подчиняются, — дивился Федоров. — Это не как у нас в России, где человек, если его не пускают в ворота, самым преспокойным образом перелезает через забор…

Но Владимир Григорьевич заметил и более важное:

— Нашему офицерскому корпусу следовало бы поучиться у немцев их энергии, деловитости, пунктуальности… Я не видел ни одного офицера или генерала с брюхом, тогда как у нас часто «беременеют» от непрестанных выпивок и закусок!

(В своих мемуарах В. Г. Федоров не забыл обрисовать облик будущих противников: «В большинстве своем это были люди высокие, стройные и подвижные; в них не было и следа той одутловатости, тяжеловесности и, главное, усталости, которые я с прискорбием нередко встречал среди лиц, занимавших командные должности в русской армии».)

Федоров поражался тому, с какой «легкостью» я доставлял ему секретные чертежи, сводил его с нужными людьми, из которых он выуживал сведения. Наше положение осложнялось поведением попутчика, за которым приходилось следить, чтобы он не наделал глупостей. Это был пожилой пролетарий с Сестрорецкого завода, самородок, обладавший природным талантом механика. Кажется, его звали Иваном Ивановичем [11] , и в автомате его конструкции были некоторые неувязки. В ту пору еще ни одна страна не имела в войсках автоматов, но в Оберндорфе я раздобыл — всего на полчаса! — одну из автоматических винтовок системы заводов Маузера.

— Осмотрите ее скорее, — предупредил я оружейников. — Первая партия таких трещоток уже заказана Маузеру для рейхсвера как опытный образец… Поспешите, пожалуйста.

Федоров пришел к мысли, что немцы обогнали его не столько в конструкции, сколько опередили в баллистике особой пули и в составе особых порохов. Иван же Иваныч выражал свои мысли не ахти как вразумительно.

— Вишь ты, закавыка какая! — говорил он мне. — Когда энтот шпиндель дошлет патрон до места, тут и все… Мне одной хреновины не хватает, чтобы понять ее действие.

— А как она выглядит… хреновина эта?

— Если б я, мил человек, знал, как она выглядит, я бы сюда в жисть не заехал, а сидел бы дома. Сейчас в Сестрорецке благодать. Уж я бабе своей наказал, чтобы по вечерам не забывала грядки с огурцами поливать…

Расстались мы дружески. На прощание я сводил своих подопечных в пивную, где угостил их сначала дешевым «лагером», потом заказал пиво подороже — «байриш», а сам я предпочитал светлое «Кюле блонде», в кружку с которым добавил щепотку тмина… Иван Иванович тихо ужаснулся:

— На кой пиво-то портить?

— Привык… как немец, — отвечал я.

Прощаясь со мною, Владимир Григорьевич сказал:

— Жалко мне вас… скушно вам здесь!

…В. Г. Федоров, как и я, был в жизни дважды генералом — сначала в старой армии, затем в советской.

\* \* \*

Когда ничего не имеешь, тогда ничего и не жалко. Моя жизнь так причудливо сложилась, что я не мог испытывать тяги к оседлости, пристрастия к вещам, ко всему тому, что для многих людей составляет необходимость. Может быть, именно от неустройства личной жизни во мне выработалось стойкое и прочное пренебрежение к богатству, а деньги как таковые не имели для меня никакой ценности. Лишь перевалив за тридцать лет, я впервые задумался над необратимым течением времени, и роковая отметка «40 лет» стала пугать меня, словно пограничный столб, поставленный для устрашения перебежчика из одного мира в другой — с новыми эмоциями, иными опасениями и другими запросами. Говорят, что нормальный человек лишь после сорока лет жизни начинает бояться смерти… Не знаю! Мне казалось, что до сорока лет я не доживу. В лучшем случае посадят, в худшем — придавят в тюремной камере или пристрелят в темном переулке… Ладно! Самое главное — оставаться самим собой, какой я есть и каким, наверное, останусь до конца дней своих, утешая себя тем, что я — честь имею, а живу ради служения Отечеству…

Впрочем, само время, отведенное для прожигания моей жизни, не располагало к спокойствию. Мировая война могла возникнуть еще в 1911 году, когда германская канонерка «Пантера» совершила внезапный прыжок во французское Марокко, а мир вот-вот готов был взорваться. Затем итальянцы, не очень-то воинственные, которым едва хватало на макароны, вдруг ополчились на Турцию в ее африканских владениях — в Триполитании и Киренаике. Армия султана постыдно бежала, итальянцы образовали свою колонию — Ливию, а Турция взмолилась о мире…

Удивительно! В тот самый день, когда в Лозанне турки договорились о мире с Италией, именно в этот день разгорелась первая Балканская война. Эти балканские войны, так редко поминаемые в нашей стране, стали уже «белым пятном» для широкой публики, и потому я рискую восстановить примерную картину событий, которые отразились не только на делах балканских народов, но и разрушили приснопамятное равновесие нашей — русской — политики.

Балканский союз из четырех государств (Болгария, Сербия, Греция и Черногория) в России надеялись использовать вроде барьера, чтобы задержать развитие экспансии Вены и Берлина. Но братья-славяне и греки всю мощь своего союза развернули против Турции, столько веков угнетавшей их. Армия султана была выпестована немецкими генералами, главным ее инструктором был знаменитый «Гольц-паша» — точнее, Кольмар фон дер Гольц; кайзер накануне войны запросил его из Берлина, какова готовность турецкой армии, чтобы «разнести эту славянскую сволочь», и получил от Гольца ответ:

— Ganz wie bei uns (совсем как у нас)!

Эта фраза стала посмешищем для всех европейцев, ибо турки бежали. С первого выстрела выявилось полное превосходство балканских армий, вооруженных новейшим оружием Франции, перед турецкой ордой, оснащенной старьем из берлинских арсеналов. Балканский союз был рожден в колыбели русской дипломатии, которая баюкала его своими песнями, и в Петербурге царь надеялся, что, дергая потаенные веревочки, он сможет управлять своими народами на Балканах, будто марионетками. Но у каждого народа были свои национальные задачи: болгары вломились во Фракию, штурмовали Адрианополь; сербы и черногорцы взяли Скутари, чтобы закрепиться на берегах Адриатики; греки гнали турок из древнего Эпира и Македонии, вступили в Салоники, их десанты высаживались на легендарных островах — Хиосе и Лесбосе. Наконец, неутомимая болгарская армия вышла к самому Стамбулу, до которого оставалось всего 30 миль.

Английские корреспонденты сообщали в Лондон, что любимое оружие болгар — штык, владеть которым они научились у русских, а их пулеметы косили войска султана, как дурную траву. Все в кровище, грязные, зачумленные, голодные, покрытые рубцами и вшами, славяне привинчивали штыки.

— На нож! — звали их в атаку юные офицеры…

Воодушевление было всеобщим; война была явно освободительной, и призывы «На нож!» отозвались в министерских кабинетах Вены, Берлина и… Петербурга.

— Но так же нельзя, — говорил Сазонов. — Не сегодня так завтра они возьмут Константинополь… а как же мы?

Балканы выпали из-под контроля русской политики. Европа, еще верившая в могущество турок, была обескуражена. Кайзер в Берлине беспокоился за свою дорогу «Берлин — Багдад»:

— Ради чего мы стелили там свои рельсы и шпалы?..

Из Вены ему вторил престарелый Франц Иосиф:

— Моя мечта — увидеть Салоники австрийскими, а как же я приеду в Салоники, если там уже греки?..

…Но что они могли сделать? Вся Сербия поголовно стала под ружье — и стар и млад. Человек без «пушки» (ружья) в Белграде был уже неуместен, даже подозрителен. Один сербский учитель, жалея молодую жену, не пожелал воевать, доказывая ей: «Поверь, я не боюсь смерти, но я боюсь, что ты останешься одинокой вдовой». Тогда жена учителя повесилась в спальне, оставив ему записку: «Теперь у тебя нет жены, осталась только родина. Если вернешься из боя живым, принеси на мою могилу старые цветы нашей Старой Сербии».

Казалось, что Россия имеет право вмешаться…

\* \* \*

Авторов авантюрных романов часто упрекают за вымысел самых случайных совпадений, говоря им: «Вы преувеличили… этого не могло быть!» Но в работе тайной разведки никогда нельзя исключить такие совпадения, что голова закружится. Нет, я не встретил на улицах Берлина знакомца из русских, который кинулся мне в объятия, — я встретил другого человека, о котором, да простит меня бог, уже начал понемногу забывать…

В эти свои последние дни я почти равнодушно узнал, что Вылежинской-Штюркмайер надобно срочно выехать в Италию, которая уже зарилась на Албанию, дабы закрыть балканским славянам доступ к гаваням Адриатического моря.

На прощание мы расцеловались, и в момент поцелуя я вдруг вспомнил, что в глубокой древности осужденные на казнь были обязаны целовать своего палача.

— Мы еще увидимся, — сказала она без улыбки.

В этот момент я ее полюбил! Но встретиться в этом мире нам было уже не суждено. Я остался один, не имея никаких поручений, лишь руководя своей фабрикой. «Консул» в эти дни известил меня, что скончался мой отец и погребен на Новодевичьем кладбище. Я давно был готов к этому:

— А… моя мать? — спросил я.

— Она по-прежнему живет и процветает в Вене…

Тут я прерву свой рассказ. Очевидно, в нашем Генштабе допустили просчет с внедрением моей персоны, навязчиво торговавшей керамическими трубами, которые я широко рекламировал в немецких газетах. Дело в том, что немецкая агентура во Франции, в Бельгии и в Голландии размещала свои шпионские гнезда тоже под вывеской частных фирм, дешево ведущих водопроводные и канализационные работы. Естественно, где-то случилось короткое замыкание, и «Консул» предупредил меня:

— Сейчас вам лучше побыть в Кенигсберге, оставив фабрику на попечение своего инженера…

Я уже привык навещать Кенигсберг (бывший славянский Кролевец), отстроенный немцами безобразно, но примечательный тихим Прегелем, древним собором и зарождением здесь философии Канта. В гостинице я снимал постоянный номер, обедал в ресторане «Брудершафт», намеренно облюбовав, для себя отдельный кабинет, который через туалетную комнату имел отдельный выход во двор.

Был день как день. Но он уже заканчивался, не предвещая никакой беды. Я ужинал в своем кабинете, когда дверь распахнулась и напротив меня решительно уселся немецкий майор в мундире офицера генерального штаба. Мне пришлось напрячь все свои силы, чтобы не выразить удивления, ибо в этом майоре я узнал… Берцио! Да, того самого Берцио, которого я же сам и поймал на границе в Граево…

Теперь он улыбался. Я продолжал есть.

— Вы, конечно, не ожидали меня видеть? — спросил он.

— Нет. Но, судя по всему, вы не очень-то долго томились в нашей тюменской ссылке по статье сто одиннадцатой.

— Ах, стоит ли вспоминать об этом!

После этого восклицания он замолк. Я молчал тоже. В двери кабинета не раз заглядывали какие-то подозрительные типы, но Берцио каждый раз давал понять взмахом руки, чтобы они не мешали. Кажется, ему хотелось получить сполна порцию удовольствия, чтобы, поиздевавшись надо мною, расквитаться за свое прошлое унижение — еще там, в Граево.

— Вы работали очень чисто и до поры до времени нигде не дали осечки, — вдруг стал нахваливать он меня.

— Благодарю, — скромно отвечал я. — Вам, конечно, не угадать, когда эта осечка случилась с вами, после чего я и решил возобновить наше знакомство.

Я понял, что проиграл полностью: я разоблачен!

— Не помню, — сказал я, освобождая руку от вилки.

Берцио понял мой жест на свой лад.

— Не надо глупостей, — услышал я от него. — Ваше дело проиграно, и мы встретились за ужином не для того, чтобы тут валялись наши трупы. И ваш, кстати, тоже… Будем умнее!

— Хорошо, — согласился я, — будем умнее. Чувствую, что разговор предстоит серьезный. С чего мы его начнем?

— Для начала, — ответил Берцио, — положите на тарелку свой браунинг, который, если я не ошибся, находится в вашем левом внутреннем кармане пиджака.

Должен признать, что в этот момент Берцио даже понравился мне — как профессионал, и я оценил его самообладание.

— Пожалуйста, — сказал я, выкладывая перед ним браунинг, но положил его между тарелок.

Берцио аккуратно проверил отжатие его предохранителя и деловито спрятал оружие в наружный карман своего мундира.

— Итак, — сказал он, — мне выпала высокая честь объявить вам, что с этой минуты можете считать себя арестованным…

6. Ich lebe nоch (я еще жив)

— Давайте еще немножко посидим, — сказал я. — Вы-то уже бывали в подобной ситуации, а мне трудно смириться с тем, что я попался в ваши руки… именно в ваши, майор!

— Я уже полковник, — рассмеялся Берцио.

— С чем от души вас и поздравляю…

Берцио смотрел на меня почти с нежной жалостью.

— Увы, — сказал он, вроде сочувствуя мне, — мир так подло устроен, что за все надо платить. Даже за свои ошибки. Я ведь расплатился за свой промах в Граево, а теперь настала ваша очередь.

— Ваша правда, — согласился я. — За все приходится платить, а бесплатный сыр бывает только в мышеловках…

Тут мне вспомнились прежние уроки Хромого, и в этот же момент пустая тарелка в моих руках превратилась в смертельное оружие. Берцио лежал на полу. Из наружного кармана его мундира я извлек свой браунинг, а из внутреннего — его револьвер. Конечно, в иных условиях можно было бы и переодеться в его форму, но сейчас было некогда. Минуя туалетную комнату, я спустился во двор. На улице нанял пролетку, велев кучеру:

— На товарную станцию… можешь не спешить.

Просто мне было необходимо время, чтобы обдумать свое дальнейшее поведение. Товарная станция пришла мне в голову случайно, но явилась хорошей выдумкой. Наверное, меня станут ловить на вокзале или в порту, но вряд ли полиция догадается искать меня среди товарных составов. На окраине города я расплатился с извозчиком. Конечно, как и водится, забор, ограждающий станцию, был украшен немецким «запрещено», но я, как истинно русский и православный, ногой выбил одну из досок и протиснулся на зашлакованную территорию станции.

Мне повезло! На запасных путях, в неразберихе множества груженых платформ и остывших локомотивов, я нашел то, что мне надо. Это был пятиосный «компаунд» заводов Борзига, с управлением которого я был знаком еще смолоду, когда служил в Граево. Паровоз сердито попыхивал, уже готовый тащить «порожняк» в сторону польского Щецина. Я заглянул в будку — там никого не было, очевидно, машинист и его свита отлучились перед отправлением. Я понимал, что далеко от Кенигсберга мне уехать не дадут…

«Хоть бы выбраться за Прейсиш-Эйлау», — думал я.

Это была первая крупная станция на моем пути, место, известное в истории, где в 1807 году Наполеон сражался с нашими войсками, отрезая им пути отступления на родину, и в этом я вдруг уловил некий символический смысл для самого себя. Оглядевшись по сторонам, я разомкнул крюк сцепления паровоза от состава. Одним прыжком заскочил в будку. Семафор был еще перекрыт, но меня это не касалось. Одно движение кулисы — и мой «компаунд» взял разбег. На русских дорогах машинисты обычно держали давление пара на отметке в 12 атмосфер, а за границей держали выше, и я разогнал «компаунд» сразу на 15 атмосфер.

Пришлось скинуть пиджак и поработать лопатой, беря уголь из тендера. Помню, я был озабочен одним: «Только бы проскочить Прейсиш-Эйлау…»

Конечно, на товарной станции уже спохватились пропажею паровоза, и я теперь летел под семафорами, сигналящими мне красными фонарями. Стрелка манометра коснулась отметки «17», но мне сейчас было на это наплевать… Вот и Прейсиш-Эйлау! Мимо стремительно пронесло асфальтированный перрон, украшенный цветочными клумбами, редкие фигуры пассажиров и дачников, но меня здесь, кажется, уже поджидали.

Мой локомотив четырежды вздрогнул, когда под его ведущими колесами взорвались четыре предупреждающие петарды.

— Пора! — сказал я себе, надевая пиджак…

Станция исчезла за поворотом. Я отжал форс-кран, стравливая излишки пара в сифон, и долго стоял на узеньком трапе, примериваясь к прыжку. Наконец я заметил пологий откос, заросший густою травой, и — прыгнул. Потом, очухавшись, долго ползал по траве, отыскивая браунинг, выскочивший при падении из кармана. Встал. Все в порядке. От моего паровоза где-то за лесом виднелся дым.

Очень долго я шел лесом, мысленно рисуя в воображении карту Восточной Пруссии, дабы лучше ориентироваться. Мне вспомнилось, что близ границы множество озер, богатых рыбой, и там издавна живут русские староверы, занятые рыбным промыслом. Вряд ли они откажут мне в помощи, но до этих озер еще предстояло добраться… Было раннее утро, запели птицы, когда я выбрался из леса на шоссейную дорогу. Мне снова повезло. На шоссе застрял одинокий «бенц», в нем сидел злой, как тысяча чертей, немецкий генерал, жестоко ругая солдата-шофера, ковырявшегося под капотом. Видно у них испортился мотор. Я не спеша подошел к автомобилю, пожелав генералу доброго утра. Затем, нарочно мешая польские слова с немецкими, учтиво предложил неопытному шоферу:

— Не нуждаетесь ли в моей помощи? Я работаю на местной лесопилке и не раз возил ее хозяина. У него такой же «бенц».

Генерал просто взмолился:

— Я спешу в пограничный Летцен, а этот дурак совсем не умеет водить автомобиль… новобранец! Научите его…

Повреждение в моторе оказалось пустяковым. Я быстро его устранил, и генерал, прислушиваясь к моей речи, спросил, кто я — курп, кашуб или коренной прусс?

— Нет, я поляк, но уже второй год выезжаю на заработки в вашу Пруссию, где легче подработать. Если позволите, я сяду вместо вашего шофера, я люблю водить автомобиль.

— Пожалуйста! — обрадовался генерал. — А вы куда держите путь?

Я ответил, что мне хотелось бы в Летцен, где в офицерском казино гарнизона служит моя невеста.

— О-о! — восхитился генерал. — Так это не хохотушка ли Владка?

— Да, моя Владка очень любит смеяться… Покажи ей палец, так у нее от хохота в животе даже вода закипает…

Я гнал «бенц» без жалости. Генерал был столь любезен, что из своих рук угостил меня бутербродом, а солдату-шоферу отпустил хорошую оплеуху, сказав:

— Учись, дурак, как надо возить генералов…

Вот уж не думал я, что через два года вернусь в эти же края, где меня ожидал такой позор, после которого мне даже небо казалось с овчинку. Благополучно доставив генерала в Летцен, я, конечно, поспешил прочь из Летцена, пешком пройдя до узловой станции Лык, откуда шла прусская контрабанда (и с которой я когда-то боролся). От Лыка было совсем недалеко до границы, до нашей погранзаставы Граево.

Впереди мне предстояло самое трудное и рискованное — пересечение границы («рвать нитку», как говорят контрабандисты). Я очень хотел есть, но шляться по хуторам не решился. Сидя на пригорке, я долго присматривался к жизни маленького прусского городка, где лучше бы даже не показываться: каждый новый человек в Лыке сразу будет взят на заметку местной полицией, а меня наверняка уже ищут. Однако голод пересилил боязнь, и я рискнул зайти в ближайший трактир на выезде из города. Мне предстояло изобразить транзитного пассажира, ожидающего попутного поезда. Трактирщик чересчур подозрительно оглядел мой измятый костюм и мое небритое лицо:

— Вы сами откуда и куда путь держите, дружище?

— Да я из Клауссена… метил старые деревья, — небрежно пояснил я. — Проспал утренний поезд, а теперь жду вечерний.

— До Кенигсберга?

Знания генштабиста выручили меня:

— Да нет, я служу в Роминтенском лесничестве.

— Может, закусите? — сам предложил трактирщик.

— Охотно. Все равно делать нечего…

Наконец-то передо мною стояла яичница с колбасой, а над пузатой кружкой вздымалась шапка кружевной пены. В трактире было полутемно, но в уголку примостились какие-то типы, один из них однажды показал на меня через плечо отогнутым большим пальцем. Радости у меня не прибавилось, когда я узнал известного в этих краях контрабандиста Рувима Петцеля, того самого Петцеля, которого я однажды допрашивал и на прощание подарил ему хороший пинок под зад…

Теперь, поглядывая в мою сторону, его приятели весело посмеивались. «Этого мне только не хватало! — соображал я. — В ресторане угораздило нарваться на Берцио, а в этой пивнухе напоролся на Рувима Петцеля…» Как быть? Подумав, я решил, что из такой ситуации, какая возникла, можно извлечь выгоду. Ведь меня ждет впереди самое трудное — переход границы! Оставив недопитое пиво и недоеденную яичницу, я, уже достаточно взвинченный, встал и быстро покинул трактир. Дойдя до первого угла, я затаился в тихом переулке, ожидая появления Петцеля. Вот он выкатился со своими дружками, о чем-то еще договариваясь с ними, потом зашагал по улице…

Я — за ним! Он завернул в городской сквер. Я бесшумно нагнал его и, схватив сзади за шею, обмотанную косынкой, больно уткнул в спину ему дуло браунинга:

— Ты почему перестал здороваться с приятелями?

Контрабандист оказался очень догадлив:

— Господин поручик… это вы? Я узнал вас в пивнухе Штибера сразу, но подойти не решился. У каждого свое дело.

Я спрятал браунинг в карман, отпустил его шею.

— Здравствуй, — сказал я. — Это даже хорошо, что ты узнал меня. Кажется, ты еще не оставил своего веселого ремесла?

— Жить-то надо, — отвечал Петцель, сплюнув.

— Кого берешь за кордон?

— Своих. Немец. Два поляка. И три еврея.

— Плюс один русский — я!

— Шутите, ваше благородие? — удивился Петцель.

Я затолкал его в самую гущу кустов, чтобы никто из прохожих нас не видел. Спросил по-деловому:

— Возвращаешься с грузом?

— Да, — сознался Петцель.

— Что несете?

— Да так… всякая ерунда. Лекарства. Кружева. Духи. Есть даже пластинки для любителей граммофона с чудесным хоровым пением эмигрантов: «Вы жертвою пали в борьбе роковой…»

— Ладно. Петь будешь потом, когда окажешься дома.

— Дома-то у нас за такие мотивы сажают.

— Ну, тебя-то посадят не за песни…

Петцель вдруг озлобился, угрожая на своем жаргоне:

— Если вместе будем рвать нитку, а потом завалите мою хурду без гешефта, так вам до кладбища гулять в тапочках.

— Не пугай! Напротив, я обещаю тебе ни словом не выдать твою шушеру, если нитку порвем… Когда рвать будешь?

— Сегодня ночью.

— Вот и хорошо. Рвем вместе. Но если завалишь меня, так я даю тебе честное слово русского офицера, что не только ты, но и твоя Хайка со всеми твоими сопляками очухаются на морозе в Якутском королевстве… Понял?

Ночью, неся на спине мешок, я тайными тропами контрабандистов перешел государственную границу. Страшно подумать, что скоро именно в этих краях я обрету свое бесчестье!

7. Бочка с порохом

Дерево не станут трясти, если оно не приносит плодов. Наверное, я все-таки недаром торчал в Германии, ибо мои услуги вскоре опять понадобились нашей разведке. Но прежде мне в Генштабе пришлось выслушать немало упреков:

— Угораздило же вас нарваться на этого олуха — Берцио, бежавшего из нашей ссылки… вот и влипли. Сразу! Бонапарт никогда не стал бы Наполеоном, если бы начал свою карьеру прямо с битвы при Ватерлоо… позор!

— Ну, до Ватерлоо мне еще далеко, — огрызался я. — Пока что я удачно бежал, как бежал и Бонапарт из Египта…

После этого разговора, весьма неприятного, я навестил могилу отца на кладбище Новодевичьего монастыря. Мой отец успокоился на окраине столицы — подле могилы поэта К. К. Случевского, и я грешным делом подумал, что моему папе нескучно будет лежать в земле рядом с таким талантливым собеседником. Когда же я покинул тихую юдоль мертвых, то вышел сразу на Забалканский проспект, и в этом названии усмотрел что-то символическое, предупреждающее меня:

— Когда же и я буду там… за Балканами?

После всего, что было, началась полоса душевной депрессии. Ничто меня в жизни больше не радовало, я погрузился в унылую апатию, равнодушный к себе и другим, хотя разумом понимал, что это вполне естественная реакция после дикого напряжения воли и нервов. Часто вспоминалось, как на опасном перегоне до Прейсиш-Эйлау я стравил пар из котлов локомотива, а теперь мне казалось, что из меня самого выходит пар самого высокого давления…

Страшно одинокий, я снова оказался в пустынной родительской квартире на Вознесенском, где все отжившее больно напоминало о прошлом. Когда-то вот в этой комнате я листал первые детские книжки, а на этом балконе, нависшем над улицей, меня, еще маленького, держала на горячих руках молодая мама, и я, пуская пузыри, радовался войскам, проходящим под нами…

Как давно это было! Лучше не вспоминать…

Мне был предложен отпуск. Но прежде я приготовил подробный отчет о своей работе в Германии перед обер-офицерами Генштаба и, кажется, мало угодил им своим докладом. В конце этой тягостной церемонии меня спросили:

— Каковы же ваши общие выводы из тех наблюдений, что вы сложили за время пребывания в сегодняшней Германии?

Выводов было немало, но высказал я лишь суть:

— Германия вполне готова к войне, однако она совсем не готова к ней экономически. Мне представляется, что немцы еще не осознали всех проблем, выдвигаемых будущею войною. Все их теоретические работы, — я назвал имена Блауштейна, Артура Дикса и Отто Нейрата, — в области военной экономики посвящены только финансам, но они совсем забыли насущный вопрос, чем будут кормить свое население. Мне кажется, что Германия очень быстро станет шататься от голода! Народу нужен хлеб, а финансы варить и жарить не станешь.

— Если это так, — отвечали мне с большим недоверием, — то почему же экономическому процветанию Германии столь остро завидуют все другие страны Европы?

— Если они завидуют Германии, — сказал я, — то почему же, спрашивается, сами немцы, живущие в Германии, постоянно завидуют экономическому развитию Америки?

— Ну, это Америка… нам до нее нет никакого дела!

В отделе разведки меня выслушали внимательнее:

— Отныне дорога в Германию для вас надолго закрыта, но… Австрия вас еще не знает, что подтвердила наша венская агентура. Так что на берегах Дуная вы в безопасности.

— Уж не хотите ли вы, чтобы я выехал в Вену!

— Желательно, но не обязательно… Где вы рассчитываете провести отпуск? Может, вас заранее познакомить с женщиной стиля «вамп», которая не будет стоить вам ни копейки? Все расходы на ее обслуживание мы берем на себя.

— Благодарю — не ожидал! Но я не привык угощать женщин за чужой счет. Мне сейчас попросту не до женщин. Ныне я хотел бы видеть только одну женщину… мою мать!

Мне настоятельно советовали месяц-другой провести на курорте (конечно, отечественном). Я, наверное, очень удивил своих доброжелателей, сказав, что для отдыха мне достаточно купаний в Сестрорецке, с пляжа которого можно наслаждаться лицезрением наших твердынь Кронштадта:

— Тем более и ехать недалеко… дачным поездом.

Но никакого отдыха не получилось. Вскоре я был представлен высокому начальству, от которого выслушал:

— Веселого мало! Мы надеялись, что наша политика станет управлять Балканами, но теперь, когда там затянулась война, стало ясно, что Балканы управляют нашей политикой.

— Потребуется вмешательство? — прямо спросил я.

За столом генералы поежились.

— Вмешательство опасно, — уклончиво отвечали они. — Но зато негласное наблюдение желательно. Попробуйте писать…

Я-то догадывался, что типографская краска иногда густо замешивается на человеческой крови.

\* \* \*

Официальный Петербург всегда старался сделать нечто приятное Европе, нежели приносить пользу своему же народу. Храбрость наших политиков была приспособлена как бы «для домашнего употребления» — вроде ядовитого порошка для истребления клопов и тараканов. Это верно, что Балканы стали неуправляемы. Они выпали из-под контроля русской политики, балканские столицы уже не внимали Петербургу с должным почтением, и в дела на Балканах не боялись открыто вмешиваться Берлин и Вена, а Петербург более интриговал…

Итак, со мною все было ясно: в Германии я отныне буду видимым издалека, словно ворона на телеграфном столбе, зато в пределах Двуединой монархии Франца Иосифа могу затеряться, как желтый лист в осеннем лесу. Мне было указано ехать на Балканы под видом корреспондента, но только не военного, для чего предстояло оформить отношения с какой-либо столичной газетой, далекой от военного ведомства.

— Вы же смолоду уже пробовали свои силы в журналистике, — было сказано мне в Генштабе, — так вам и карты в руки. А-эс Пушкина из вас все равно не получится, но сможете же вы сочинять хотя бы на уровне полковника Вэ-а Апушкина.

— Господи! — отвечал я. — Да ведь я был всего лишь «бутербродным» журналистом, получая шикарный гонорар рюмкою водки и бутербродом с «собачьей радостью».

— Так мы и не просим от вас печататься в «Новом времени» у Суворина, найдите сами издателя поплоше, лишь бы заиметь официальное прикрытие… для маскировки.

Жаль, что Щелякова уже не было на белом свете, а то бы он мне помог. Но по старой памяти «правоведа» я все-таки заглянул в винный погребок Жозефа Пашу, где случайно встретил серьезно пьющих журналистов — Н. Н. Брешко-Брешковского и того же полковника В. А. Апушкина. Они не принадлежали к числу великих, украшающих мир, обладая особым талантом писать так, чтобы их не читали (и читать, надеюсь, не станут).

Апушкин, дядька добрый, меня же и надоумил:

— А вы Флору Мартыновну знаете?

— Да откуда? — отвечал я, удивляясь.

При этом Брешко-Брешковский тоже удивился:

— И чему только учат офицеров в Академии Генерального штаба, если они даже не знают жены Проппера?

— Вот Проппера я знаю, — похвастал я.

— Проппера никто не знает, — заострил тему полковник Апушкин. — Это такая превосходная гадина, каких мало. Сущий маг и волшебник! Во времена давние он стащил у Атавы-Терпигорева последние штаны, продал их, на эти деньги купил газету, а теперь стал барином, гребет миллионы с «Биржевых Ведомостей»… Но что бы мы, пишущие, делали без гада Проппера?

Проппер издавал газету «Биржевые Ведомости» и дешевый: журнальчик «Огонек», на пламени которого заживо сгорали в муках творчества непризнанные гении Н. Н. Брешко-Брешковский (сын известной «бабушки русской революции») подсказал мне, что завтра у Пропперов нечто вроде вечернего раута:

— Живут же паразиты! Будто аристократы… А тут не знаешь, где пятерку занять, чтобы с кухаркою расплатиться.

Пропперы жили на Английской набережной, 62. Паразитов собралось столько, что их мяса и жира вполне хватило бы на целый год для работы мыловаренной фабрики. Я пай-мальчиком сидел между известными Волынским-Флексером и Гореловым-Гаккебушем, которые с пристойным вниманием слушали Флору Мартыновну, распинавшуюся в том, что она… кровавая русская (вместо того чтобы сказать «кровная»). В этот вечер я покорил ее слабое сердце, поговорив с нею на русско-немецко-еврейско-польском жаргоне, после чего она рекомендовала меня мужу как своего человека. Я представился ему офицером в отставке, приехавшим из провинции.

Не знаю, каково было настоящее имя издателя, но приходилось величать его «Станиславом Максимычем». Мы договорились, что с фронта Балканской войны я стану поставлять очерки для вечернего выпуска его газеты, а те материалы, которые никуда не годятся, он обещал печатать в журнале «Огонек». Так я с завидною легкостью проник в число сотрудников Проппера, который не скрывал, что он природный австриец:

— Скажите, что вам надо, я все сделаю… в Вене!

Склонившись через стол, Проппер горячо нашептал мне на ухо, что знает в Вене шикарную куртизанку, согласную брать даже русскими рублями по валютному курсу.

— Хотите, сразу дам ее телефон? Ведь все равно вы никак не минуете Вены, чтобы попасть на Балканы…

Нахал просил записать ее номер «1-23-46», и я подивился тому, как он грубейше и подло работает. Ведь это был номер справочного бюро политической полиции в Вене. Конечно, будь я дураком и позвони туда, красотка по валютному курсу мне была бы сразу обеспечена. Но и меня самого, как приезжего из России офицера, сразу бы взяли на заметку. В разведотделе Генштаба я сказал, что Проппер, похоже, работает на Австрию, неплохо устроившись в русской столице:

— Мы об этом знаем, — уныло ответили мне. — Проппер давно под негласным надзором контрразведки, как и компания швейных машинок «Зингера». Да вот беда — его паршивый «Огонек» высочайше соизволит читать наша императрица, так что эту кучу лучше не разгребать, иначе вони потом не оберешься…

…Перед отъездом я спросил напрямик:

— Мимо Вены мне все равно не проехать. После всего, что произошло, и после кончины отца — могу ли повидать свою мать?

— Сейчас нельзя, — ответили мне, — ибо ваше свидание с нею сразу привлечет внимание к ней как к жене австрийского генерала. А внимание к ней обратится на вас…

И вот тут — впервые! — в мою душу закралось сомнение. Не является ли мама агентом «Черной руки»? Может, она затем и стала женой австрийского генерала, чтобы легче носить свою маску? С такими мыслями я покинул Петербург, на всякий случай проверив свою память — не забылся ли венский адрес мамы? Помнил: собственный дом на углу Пратерштрассе, там, где Пратер заворачивает в сторону дачного Флорисдорфа…

\* \* \*

Между тем положение на Балканах, этой стародавней «бочке с порохом», подложенной в погреб Европы, день ото дня становилось запутаннее, так что, живи сейчас Талейран, и тот, наверное, не смог бы разобраться — кто там прав, а кто виноват. Умные политики хорошо понимали, что грызня на Балканах — это пролог к мировой бойне, но, тоже беспомощные, они лишь могли разводить руками:

— Когда добрые соседи дерутся, стоит ли нам поджигать весь их дом, чтобы они прекратили драку?..

Наверное, русским дипломатам было не особенно-то приятно узнавать, что на Балканах дико зверствовали кавказские черкесы и крымские татары — из числа тех мусульман, которые не так давно эмигрировали из России, а теперь служили в армии турецкого султана. В министерстве иностранных дел Сазонов диктовал послу в Белград: «Категорически предупреждаем Сербию, чтобы она отнюдь не рассчитывала увлечь нас за собою…» Петербург опасался, что не в меру воинственные болгары вот-вот возьмут Константинополь. Австрию страшило, что сербы получат выход в Адриатическое море и, чего доброго, заведут свой военный флот, это же беспокоило и гордый Рим, зарившийся на Албанию, зато Берлин… Вот он, кажется, ничего не боялся, и кайзер душевно поздравлял Франца Иосифа с началом мобилизации австрийской армии. Румыния пока оставалась нейтральной, в ней правил король Карл I из династии Гогенцоллернов, родственный болгарскому царю Фердинанду из династии Саксен-Кобургской, — первый вышел из рядов-прусской армии, а второй служил в армии австрийской…

Турки, разбитые болгарами, взмолились перед Европой, чтобы она их спасла; в Петербурге тоже хотели разнять дерущихся, и по инициативе Сазонова в конце 1912 года в Лондоне открылась мирная конференция [12] . Дипломаты поторапливались, ибо вся Галиция уже кишмя кишела солдатами Франца Иосифа, готовыми наброситься на Сербию; венская дипломатия была в эти дни настроена очень решительно:

— Мы не уберем штыки, хорошо видимые с улиц Белграда, до тех пор, пока сербы не разойдутся по домам…

Пока в Лондоне мудрили, как принудить Балканы к общему послушанию, в январе 1913 года власть в Стамбуле захватила партия «младотурок», издавна уповавшая на помощь Германии, и Турция вновь напала на славян. Но войска Турции, уже разложившиеся морально, более похожие на скопище голодных инвалидов, чающих милостыни, эти войска снова — в какой уже раз! — были разбиты. Лондонская конференция попросила турок совсем убраться прочь из Европы, и даже кровожадная Албания, многовековой поставщик для султанов баши-бузуков и головорезов, даже эта дикая Албания теперь получила автономию, изгоняя из своих деревень турецких господ.

Первая Балканская война вроде бы закончилась. Но летом 1913 года, почти без передышки, началась вторая война, разрушившая весь Балканский союз. Военная «добыча» оказалась слишком велика, и вчерашние победители рассорились, не в силах решить, кому больше, а кому меньше достанется. Греки, давние борцы за свободу, заговорили о возрождении «Великой Эллады», в Белграде даже самые последние голодранцы стали мечтать о создании «Великой Сербии». Победители быстро перетасовали карты: на обломках Балканского союза образовалась новая коалиция — из Сербии, Черногории и Греции, а в эту компанию напросился и Карл I, желавший оторвать от Болгарии область Добруджи. Если раньше война была справедливой, освободительной, а идеалы ее были священны, то теперь она превращалась в братоубийственную, попросту грабительскую. Новая коалиция дружно набросилась на Болгарию — свои били своих же, но скоро к ним присоединились и чужие. Румынский Карл I двинул армию на Софию, а турки ударили с юга, сообща терзая несчастную Болгарию, которая вскоре и капитулировала…

Что добавить к тому, что уже сказано? В конце этих войн над кручами Балкан закружились аэропланы, на расквашенных дорогах застревали в грязи бронеавтомобили, а в походных шатрах стал тихо попискивать, готовый заговорить в полный голос, новорожденный зверь — радио. Мне сейчас трудно судить, в какое время автор мемуаров наблюдал за победами и поражениями друзей или врагов, но я уверен, что не ради литературной славы он явился на грохочущие Балканы…

8. Почти легально

Я ехал почти легально, да и трудно придраться к журналисту даже в том случае, если он проявит излишнее любопытство. Перед отъездом из Петербурга я побывал в тире столичного гарнизона, чтобы набить руку в стрельбе. Конечно, общение с оружием не развивает таланта, но я ведь и не стремился в классики. По договоренности с Проппером я должен был дать первую корреспонденцию с болгарского фронта, уже предчувствуя, что Болгарию я застану не в самый светлый час ее богатой, но трагической истории.

В Одессе я задержался на сутки в ожидании парохода и накоротке сошелся с Александром Пиленко, возвращавшимся из Болгарии, где он представлял газету «Вечернее Время». Пиленко был популярным профессором международного права, преподававшим в Лицее, и я высказал свое удивление, зачем ему понадобилось залезать в окопы этой Балканской войны:

— Неужели это результат ваших славянских симпатий? Или вам не хватало питерских клопов, так вы поехали кормить болгарских?

Пиленко отвечал с явным раздражением:

— Но сколько можно читать лекции в защиту угнетенных народов и не видеть, как эти народы дерутся? Я дошел с болгарами до самого Босфора, пережив с ними все ужасы. Вам же я не советую видеть Болгарию сейчас. Не надо.

— Почему? — удивился я.

— Мы теряем в Болгарии остатки своего авторитета. Если Россия — мать славянства, то эта мать слишком жестоко обижает своих славянских детей. Вы бы знали, как хотелось мне плакать на траурной панихиде Балканского союза!

Пиленко сказал, что теперь в Болгарии лишь старики по-прежнему боготворят Россию, помня о ее жертвах. Но молодежь уже не знает русского языка, а в окружении царя Фердинанда принято дурно отзываться о России. Впрочем, ничего нового от профессора я не узнал, уже достаточно извещенный о том, что русское влияние в Софии падает, зато оно возрастает в Сербии и Черногории. В конце нашей беседы Пиленко пришел к выводу:

— Мы долго ставили на «болгарскую лошадку», но теперь, кажется, пришло время седлать «сербского скакуна»…

Тогда в Одессе можно было встретить немало русских добровольцев, вернувшихся с Балкан, где они сражались под знаменами болгар, сербов и македонцев. Чтобы не остаться в долгу перед Проппером, я со слов этих добровольцев составил очерк под псевдонимом «Волонтер». Честно скажу, что ехать в Болгарию мне совсем не хотелось, пароход ушел без меня. В этом решении я утвердился окончательно после встречи с одним болгарским политиканом, который возвращался на родину из Петербурга, чересчур раздраженный результатами войны.

— Вы… предали нас! — заявил он мне. — Если нет друзей на Неве, так в будущем мы найдем их на голубом Дунае.

Помню, меня даже передернуло от намека на венскую поддержку. Я ответил этому талейрану (ответил спокойно), что русский народ оставил на болгарской земле двести тысяч солдатских могил, и это стало платой за свободу Болгарии, а личные амбиции царя Фердинанда здесь неуместны:

— Что вы будете делать с нашими могилами?

Тогда этот наглец без зазрения совести отвечал мне:

— Мы будем ходить с…ть на ваши могилы!

(Признаюсь, читатель, я не поверил в подобный цинизм, думая, что автор мемуаров преувеличивает, и хотел вычеркнуть эту фразу из его текста. Но в старом издании Центроархива СССР «Царская Россия в мировой войне» я нашел подтверждение этих циничных слов. Именно так Болгария скатывалась к союзу с австро-германским блоком.)

\* \* \*

Как и в 1903 году, я через десять лет вновь оказался на берегах Дуная… Кто я был тогда и кем явился сюда опять? Если раньше меня привело в Вену смятение юности, то теперь я смотрел на столицу Габсбургов совсем иными глазами.

У русских туристов были весьма примитивные представления: Вена для них — неизбежный шницель и вальс, а Будапешт — мясной гуляш и обязательный чардаш. Русских ошеломляла венская дороговизна: отель — двадцать крон в сутки, скромный обед в ресторане пять-шесть крон (два с половиной русских рубля). В Вене пировали только еврейские банкиры да международные жулики, которым денег не занимать. Так судили наивные люди, но я мыслил несколько иначе. Знаменитое венское очарование, наигранная веселость жителей, возбужденных музыкой, вином и красотою венских женщин, — это было как бы мишурным фасадом мрачного и торжествующего зла.

Конечно, я не преминул навестить район Флорисдорф, обстроенный дачными особняками венской знати, улочки которого были тихи и пустынны, и я долго стоял на углу Пратерштрассе, где в углублении сада виднелся дом — том самый, в котором жила моя мать. Непростительно долго я бродил вдоль вычурной изгороди, издали всматриваясь в зашторенные окна, и хотелось верить, что увижу ее… Я хотел только посмотреть на нее! Узнает ли меня мама, когда-то оставившая меня на вокзальном перроне и сказавшая на прощание, чтобы я слушался папу? Папы уже нет, а подчиняться мне пришлось распоряжениям Генштаба российской армии. «Ах, мама, мамочка!»

На улице вдруг появился фыркающий газолином автомобиль: сложив руки на эфесе сабли, в нем сидел старенький генерал. Шофер остановил мотор возле калитки маминого дома, и я догадался, что приехал мой отчим — генерал Карл Супнек. Он позвонил у калитки, которая и открылась перед ним, как по приказу, и было слышно, как Супнек сказал шоферу:

— Ты мне больше не нужен. Но вечером заедешь за нами, я с женою должен быть в «Национале» на Таборштрассе…

Конечно, я тоже буду сегодня ужинать в «Национале»!

…Да, теперь я иначе смотрел на Вену — город великих злодеев-кесарей, столицу музыкантов и вальсов, роскошное обиталище магнатов и кичливых придворных, банкиров и торговцев свиной щетиной, волшебное убежище элегантных сутенеров, барышников, спекулянтов, напыщенных швабов-офицеров, любующихся собой в отражении уличных витрин, и жалких нищих, для которых прокатиться на трамвае — это уже праздник.

Да, Вена была прекрасна, особенно вечерами, когда на Рингштрассе оживленная публика словно напоказ выставляла роскошь своих одежд и сверкание драгоценностей на красивых женщинах, в которых никогда не угадаешь, кто она такая — или герцогиня, вписанная в «Готский Альманах», или просто шлюха, давно занесенная в списки полиции как заразно-больная.

Габсбурги опутали подданных массою указов, распоряжений, законов, инструкций, параграфов и бесчисленных к ним дополнений, отчего австриец смолоду не умел самостоятельно мыслить. Одна лишь безнравственность не преследовалась, и в Вене сама аристократия подавала пример разврата, устраивая в Пратере оргии, достойные времен Сарданапала. Разврат свыше захватил и нижние этажи империи, почему каждая венская служанка торопилась поскорее забеременеть от господина, чтобы потом жить на доходы с его алиментов.

Меня не удивляло, что мужчина в Австрии становился самостоятельным лишь к тридцати годам, ибо университеты выпускали перезрелых невежд, но и то лишь «кандидатами на должность». Такие оболтусы подолгу «наживали» возрастной ценз, а до этого кормились подачками от богатых дам, берущих их на содержание. Подобные порядки поддерживались властями, дабы молодежь не задумывалась над вопросами политики, дабы ее волновало лишь устройство своей карьеры. Правда, что Вена — после Берлина — казалась мне беззаботно-жизнерадостной, в венцах отсутствовал налет угрюмой озабоченности, свойственный всем немцам Германии, а над военщиной кайзера Вильгельма II они откровенно потешались. Сами венцы относились к русским беззлобно, зато их пресса, их газеты…

О-о, тут на Россию изливалось столько грязи и столько вранья, что я диву давался. Ничтоже сумняшеся публиковали статьи о том, что Австро-Венгрия накануне нападения России, давно мечтающей о разделе двуединой монархии, а все русские туристы — это шпионы, желающие подкупить наших добрых и бедных офицеров, которым надо срочно повысить жалованье, чтобы избавить их от подобных искушений…

Я остановился в захудалой дешевой гостинице в районе Нижнего Деблинга, сознательно не давал чаевых лакеям, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Мне было тяжело ожидать вечера, собираясь ехать на Таборштрассе, 18, где в «Национале» я надеялся увидеть свою мать. Тут со мною начались несуразности, сначала для меня необъяснимые. Старик серб, бывший коридорным подметалой в гостинице, вдруг без стука вошел ко мне, плотно затворив за собой двери.

— Апис просил передать, что он ждет вас в Белграде.

Естественно, я на такие удочки не ловился:

— Простите, не знаю никакого Аписа…

Старик молча выложил передо мною визитную карточку, на которой было написано: полковник Драгутин Дмитриевич, и больше ни слова. Я поднял визитку к глазам напротив окна. При ярком свете проступили контуры человеческого черепа, а потом я разглядел и силуэт черной руки с кинжалом.

— Ерунда! — сказал я. — Вы меня с кем-то путаете. У меня нет никаких знакомств в Белграде и быть не может…

Затаив улыбку, старик протянул мне вторую карточку — с полным титулом русского военного атташе в Белграде.

— Господин Артамонов тоже извещен о вашем появлении в Вене, и он тоже настаивает на вашем прибытии в Белград.

— Кто вы такой? — конкретно спросил я.

— Я — серб, и этого вам достаточно…

Я отсчитал ему деньги в мелких купюрах:

— Закажите билет на ночной поезд до Землина…

В некотором смятении я отправился в «Националь». Но боязни не испытывал, ибо чувствовал, что уже повис на крючке Аписа и буду им подстрахован. Заняв столик поближе к выходу, я заказал себе очень скромный ужин, делая вид наивного простака, которому здесь все в диковинку, и теперь он рад поглазеть на красоту женщин. Наконец я высмотрел в отдалении компанию военных, среди которых сидел генерал Супнек, а рядом с ним была пожилая, но еще стройная дама с характерным профилем, который достался мне от нее по наследству. Она была очень красива в длинном белом платье, а над ее шляпой «апашу» колебались легкие перья лебедей…

Я сначала встал. Потом я резко сел.

Сомнений не было — да, это она, моя мать!

Столько лет я мечтал об этой минуте, но, конечно, в иных условиях, в другие времена, когда был еще молод. Узнает ли она меня теперь, как узнал ее я? Какая-то чудовищная магия сродства душ все-таки, наверное, существует. Я заметил, что моя бедная мама вдруг сделалась беспокойной, и неожиданно она… встала. Она как-то беспомощно озиралась, оглядывая публику, словно искала вещь, которую только что видела и вдруг потеряла… Наконец наши взгляды встретились.

И тут я понял — она узнала меня тоже.

Напрасно я отвернулся с наигранным равнодушием.

Разом взвизгнули скрипки румынского оркестра. Легко скользя между танцующих пар, устремленная в каком-то порыве, мама шла ко мне… Ко мне, ко мне, ко мне!

Она остановилась возле моего столика.

— Неужели… ты? — услышал я ее голос.

Внутри меня все оборвалось, но я глядел пустыми глазами, а мои губы источали дурашливую улыбку.

— Вы кого-то ищете? — небрежно спросил я.

— Да… ищу. И… неужели нашла?

— Простите, фрау, я вас не понял…

Что-то изменилось в лице мамы, сделавшейся жалкой.

— У меня был сын… там, далеко, в иной стране, — отвечала она скорбным голосом. — Если он жив, он может быть похожим на вас. Наверное, я ошиблась. Потому ошиблась, что, будь вы моим сыном, вы бы узнали меня, как узнала бы его я…

Она вернулась в компанию своего мужа, но ее взгляд по-прежнему излучал свет только в мою сторону, и это становилось даже невыносимо, словно меня преследовал луч прожектора. Не в силах терпеть эту невыразимую муку, я понимал, что лучше уйти. Именно в этот момент возле меня задержалась цветочница, приседающая в услужливом книксене. Из ее красивой корзины я выбрал букет понаряднее и щедро расплатился с девушкой. Затем на листке блокнота написал краткие слова и эту записку спрятал в цветах.

Мама еще смотрела на меня. Я подозвал лакея:

— Видишь эту даму, что сидит подле старого генерала с погонами в серебре? Передай ей эти цветы.

После чего я встал и резко вышел.

В записке, посланной мною, были слова:

МАМА, ЭТО БЫЛ Я. ПРОСТИ…

9. Дубовая корона

Положение на рубежах с Сербией считалось настолько тревожным, что венский «Ориент-экспресс» не шел далее Будапешта; к югу двигались одни воинские эшелоны, а для пассажиров, едущих до Землина, таскался обычный «подкидыш». Я не сомневался, что в этом поезде немало агентов тайной полиции, которых узнавал по их говорливости. Если все пассажиры помалкивали, то эти провокаторы с нарочитым вызовом порицали венских заправил, расположивших авангард австрийской армии между пограничными городами — Землином и Панчовом:

— Нашим пушкам лучше бы торчать возле Лемберга-Львова или в Перемышле, чтобы пугать русских, а Белград — открытый город, там остались одни старики с детишками…

Когда «подкидыш» дотащился до Землина, кишащего солдатами и расфранченными офицерами, маленький уютный Белград на другом берегу Дуная показался мне даже скромно-величественным, словно крепость. Надо же было великой шутнице-истории соорудить такую оплошность — выдвинуть столицу славян прямо под пушки враждебного гарнизона. Это ведь так же нелепо, как если бы человек имел сердце под ногтем указательного пальца! Речной трамвай, позванивая на корме рулевыми цепями, перебросил меня в иной мир. Я помнил пристань Белграда, заполненную гуляющими и торговцами, а теперь меня встретили седоусые добровольцы столичного гарнизона. Для них не хватило даже мундиров, они оставались в домашних овчинах, а ноги — без сапог, обутые в опанки (обычные лапти, но плетенные не из лыка, как у нас в России, а из кожаных ремешков). Один старик сказал мне:

— Все мои сыновья и внуки ушли на войну, а нас оставили беречь столицу. Пусть только посмеют нас тронуть. Я крови на своем веку перевидал больше, нежели выпил вина…

Город казался безлюдным — все мужчины ушли воевать, кафаны и пиварни пустовали, улицы, перерытые для заливки асфальтом, так и остались разрытыми, некому было работать. Даже почтальонов не стало — среди канав и мусора на велосипедах лихо носились гимназисты с сумками почтальонов. Я с трудом отыскал извозчика, который отверг мои деньги:

— Друже, я денег не беру. Сейчас война, а потому сербы должны работать бесплатно… Куда везти тебя, друже?

Я наугад назвал гостиницу «Дубовая корона» и, кажется, не прогадал. Внизу отеля размещалась обширная кафана, где народу было полно, словно мух на жирной помойке. Именно здесь иностранные журналисты, очень далекие от фронта, но зато всегда близкие к победам на кухне, высасывали один у другого те «новости», которые завтра в упоении станет читать европейский обыватель. Я решил не отставать от этой шатии-братии и, присев в уголку, одним махом схалтурил для Проппера великолепный очерк о мужестве гарнизона Белграда, который скорее умрет в честном бою, нежели уступит свою столицу, и так далее. Но при этом я старался быть подальше от корреспондентов, щеголявших в кавалерийских рейтузах, с хлыстами в руках, из кобур торчали рукояти револьверов. Такая экипировка скорее годилась для оперетты… Так бывает: чем дальше человек от войны, тем больше он старается изобразить из себя храброго вояку.

Человек в литературе случайный, я очень скоро сообразил: если журналист охотится за сенсацией, он неизбежно скатывается к обычной лжи, а затем не стыдится и клеветать — лишь бы его печатали. К моему счастью, из этой кафаны, перенасыщенной сплетнями, меня вытащил Артамонов, свидание с которым не предвещало ничего хорошего.

— Вы, наверное, плохо представляете себе нынешнее положение на Балканах, — хмуро сказал он. — Здесь, в Белграде, сейчас вяжутся узлы, которые никто не в силах распутать.

— Вы хотите… — начал было я.

— Ничего я не хочу, — резко оборвал меня атташе. — Но события уже созрели, словно бешеные огурцы, чтобы взорваться, разбросав вокруг себя страшные семена… Какие у вас отношения с полковником Драгутином Дмитриевичем?

Я напомнил о событиях в белградском конаке:

— По сербским понятиям, мы стали побратимами; связанные, как в шайке разбойников, единой кровью.

— А с королевичем Александром?

— Мы знакомы еще по Петербургу, однако напоминать о себе не считаю нужным, дабы не выглядеть перед ним искателем «милостивых взоров монарха». Я ведь, вы догадываетесь, весьма далек от скольжения на лощеных паркетах.

— Хорошо, — отвечал Артамонов. — Даже очень хорошо, что вы сохранили пристойную дистанцию между собой и друзьями юности. Со своим профилем «щелкунчика» вы останетесь незаметнее… Я вас представлю нашему послу Гартвигу.

Но прежде он свел меня с Раде Малобабичем, наборщиком белградской типографии, и я не сразу мог догадаться, почему Артамонов, блистательный генштабист, столь дружески доверителен с этим рабочим, а сам Раде держался с нашим атташе на равных, будто приятель. Артамонов сразу рассеял мои сомнения:

— Малобабич из числа людей Аписа, он информирован о всех наших делах в такой превосходной степени, о какой не смеют мечтать даже дипломаты в Петербурге. Вы можете смело довериться ему, ибо Малобабич доверенное лицо для связи полковника Аписа с русским посольством…

Артамонов вывалил на стол прошнурованные папки с документами о политике и военных делах на Балканах:

— Садитесь и вникайте. Здесь подлинные материалы о делах на Балканах, которые пригодятся вам для писанины в «Биржевые Ведомости», дабы вы могли отчитаться перед Проппером и его компанией. Все написанное вами прежде пройдет через рогатки цензуры… моей и посла Гартвига! Желаю удачи…

Малобабич легко сошелся со мною и однажды навестил меня в «Дубовой короне», настроенный чересчур откровенно.

— Я убежденный социалист, — сказал он между прочим, — но мои политические убеждения не мешают мне жертвовать во имя исполнения национального долга, ибо свободная Сербия во главе всех южных славян — превыше всего!

Я решил, что Малобабич близок к радикалу Николе Пашичу: премьер имел диплом русского инженера, смолоду поклонник идей Бакунина, он при Обреновичах уже бывал приговорен к смертной казни, а теперь, став премьером, опирался на военную хунту, считаясь в Сербии любимцем народа, — памятуя обо всем этом, я выразил надежду, что Малобабич близок не только полковнику Апису, но и Пашичу, в чем, однако, ошибся.

— Нет, — сказал Раде, — наш бородатый Никола не слишком-то любезен с полковником Аписом, а я навестил вас не ради изложения своих убеждений… Нас ожидают в Топчидере!

В этом пригороде столицы мы задержали коляску возле клуба «Общества трезвенников», весьма авторитетного, к мнению которого прислушивались даже министры кабинета Пашича, далекие от трезвого образа жизни. Я замерз, меня сильно знобило.

— Сейчас выпьем, — обнадежил меня Малобабич.

Он провел меня в задние комнаты клуба, где, как и следовало ожидать, из-за стола поднялась навстречу мне гигантская глыба человека ростом с гориллу — это был Апис, и моя жалкая ручонка надолго утонула в жаркой и громадной ручище начальника разведки генштаба Сербии. Драгутин мало изменился с той поры, как мы виделись последний раз на маневрах, широким жестом хозяина он обвел картину накрытого стола с живописным натюрмортом выпивок и закусок.

— Садись, друже, — радостно приглашал он. — Не скрою, я был удивлен твоему появлению в Вене… как видишь, моя разведка сработала превосходно. Скажи, какой павлиний хвост ты притащил за собой из столицы Габсбургов?

Я сел за стол, сравнивая батарею бутылок с красочными плакатами о вреде пьянства. Ответил в шутливом тоне:

— Хвост тащился за мной из Германии, но я хорошо обстриг его в Петербурге, сделавшись мелким наемным писакой…

Раде Малобабич покинул нас. Меня по-прежнему знобило, но я оставался крайне внимателен. Согласитесь, не слишком-то уютно быть в компании автора заговоров и покушений, в биографии которого такой впечатляющий проскрипционный список, каким не мог бы похвастать никакой русский эсер или анархист. Но что меня удивило, так это откровенность Аписа, даже не считавшего нужным прятать концы в воду.

— По сути дела, — говорил Апис, — ядро организации «Уедненье или смрт», которую втихомолку называют «Черной рукой», составилось из числа тех, кто десять лет назад прикончил последнего Обреновича, чтобы Сербия, отвратившись от Вены, открытым лицом повернулась в сторону России…

С тех пор, по словам Аписа, в его тайное содружество вошли почти все высшие офицеры армии, сам воевода (генералиссимус) Радомир Путник, самые видные чиновники министерств; об организации Аписа извещен сам премьер-министр Никола Пашич, хотя и побаивается козней разведки.

— На нижних этажах, — говорил Апис, — мы поместили людей, без которых немыслимо работать: таможенников, пограничников, учителей, коммивояжеров, студентов, священников, владельцев пивоварен. И, наконец, обрели в своих рядах даже Сашу.

Я не сразу понял, что под «Сашей» следует подразумевать самого наследника престола — королевича Александра Карагеоргиевича, памятного мне по учебе в «Правоведении».

— А как же сам король Петр? — спросил я.

— Король уже стар, он начал бояться мышей в темноте, словно ребенок, и мы строим свои планы на том, что королем Сербии скоро сделается наш дорогой друг Саша.

Я нарочно не реагировал на эти приманки, ожидая, что скажет Апис в конце, и только теперь, присматриваясь к нему, я заметил, что он все-таки изменился. Не внешне — нет, но в его речах сквозило явное высокомерие, очевидно, весьма тягостное для его подчиненных. По привычке, обретенной во время работы в Германии, я не касался лакированных поверхностей мебели, дабы «шелковый порошок» не сохранил следов моих пальцев. Апис это заметил и стал хохотать:

— Друже! Неужели нам нужны твои отпечатки ладоней, будто ты карманный воришка, разыскиваемый полицией?

Фразы его были отрывочными, словно он давал короткие очереди из пулемета, а последняя — убийственной для меня:

— В организации «Уедненье или смрт» не хватает лишь одного участника событий в белградском конаке — тебя!

Я смело выложил руки на подлокотники кресла:

— Благодарю. Но… спрошу совета в Генштабе.

— Тогда зачем ты нам нужен? Мы работаем в глубоком подполье, и лишних свидетелей нам не надо.

— Неужели слово Артамонова значительнее?

— Да, мы с Виктором большие друзья…

Тогда же я донес до Артамонова суть нашей беседы:

— Правомочно ли будет мое официальное вступление в тайную организацию «Уедненье или смрт»? Вы сами офицер Генштаба, а посему понимаете мою крайнюю озабоченность. Идя на такую связь с Аписом, не стану ли я «герцогом»?

В России «герцогов» именовали проще — «двойниками».

— Послушайте! — вспылил Артамонов. — Неужели вы думаете, мы вызвали вас в Белград, чтобы Проппер повысил вам ставки гонорара? Я могу ответить вам только согласием, и тут не стоит долго ломать голову. Если вы офицер России, вы должны лечь костьми ради Сербии, обязанные принять предложение Аписа.

— Смысл? — кратко вопросил я.

Атташе доконал меня безжалостными словами:

— Я не убивал короля Обреновича и не выкидывал из окна его любимую Драгу, а вы — именно вы! — замешаны в этой кровавой процедуре, и доверие Аписа к вам лично намного выше, нежели, скажем, даже ко мне, официальному представителю русского Генерального штаба… Неужто не поняли, что вам легче узнать о планах «Черной руки», чем это удалось бы мне?

Все стало ясно: российский Генштаб не откажется иметь своего информатора изнутри подполья «Черной руки».

— Смерть уже слепит кое-кому глаза. Впрочем, — неуверенно досказал я, — все мы ходим по проволоке, словно канатные плясуны, танцующие над пропастью…

— Кстати, — напомнил мне Артамонов, — у вас хорошее прикрытие питерского корреспондента, а посему не забывайте навещать литературную кафану под «Дубовой короной».

\* \* \*

Из русских журналистов я там встретил Василия Ивановича Немировича-Данченко, брата известного московского режиссера. Это был удивительный человек, а собрание его сочинений не умещалось в одном чемодане. Он корреспондировал русские газеты еще с войны 1877–1878 годов, сам сидел на Шипке, получил солдатского «Георгия» за личные подвиги, обличал наших дураков-генералов с полей Маньчжурии, но судьба не баловала этого милейшего и честного человека. Немирович-Данченко ратовал за братство народов — его обвинили в пацифизме. Он восхвалял ратные подвиги России — его называли шовинистом. Он утверждал, что в семье народов России русский народ самый главный — его называли черносотенцем. Наконец, он воспел земную и грешную любовь женщины — его обвинили в порнографии.

Теперь, поглаживая бороду, он скромно говорил мне:

— Вероятно, я плохо исполнил то, что задумал. Но это не вина моих намерений, а лишь недостаток моего таланта…

Затем Василий Иванович крыл на все корки русское правительство и особенно русскую дипломатию:

— А что этот наш министр Сазонов? Да ведь он спит и видит себя на Босфоре, посему и хватал болгар за шкирку, чтобы не опередили нас. Венские пройдохи умнее питерских, а мы на мобилизацию Австрии ответили жалким подобием квазимобилизации, и даже кучера в Вене сложили поговорку: мол, русских лошадей запрягали австрийские конюхи… Я думаю, в грядущей войне двух непримиримых миров, славянства и германизма, не мы поведем Балканы, а Балканы потащат Россию на войну, как новобранца…

За наш столик нахально подсел пьяный английский журналист Гамильтон, который в 1905 году состоял при японских штабах, красочно описывая разгром русской армии и крах Порт-Артура. Во время Балканских войн Гамильтон состоял при турках, а затем перешел линию фронта, желая «освежить» материал чисто славянскими впечатлениями. Но сербы арестовали его, приняв за турецкого шпиона, а во время обыска неосторожно вывихнули ему челюсть. Теперь, придерживая челюсть рукою, Гамильтон пытался убедить меня:

— Как же вы, русские, не видите, что связались с шайкою убийц, которые сами напрашиваются на развязывание войны? Разве вам неизвестна стоустая молва за Дунаем, что эрцгерцог Франц Фердинанд не займет престол Габсбургов: «Он осужден умереть на ступенях трона…»

Мне совсем не хотелось дискутировать с пьяным:

— То, что славяне передрались между собой, так это лишь семейная склока, после чего перемирятся. Но славяне имеют достаточно поводов, чтобы опасаться угроз из-за Дуная.

— Австрия, — парировал Гамильтон, — имеет немало причин для подозрительного отношения к сербам. В самом деле, приятно ли иметь соседа, бегающего под твоими окнами с ножиком в руках и распевающего с утра до вечера о том, что в Дрине вода течет холодная, а кровь у серба слишком горячая.

— Не преувеличивайте, — ответил я. — На белградской пристани дежурят старики с усами до пояса, а их ружья годятся для размещения в городском музее. Вена же содержит в Землине пушки, постоянно наведенные на крыши министерских зданий и даже гимназий Белграда… Кто же кого должен бояться? Лучше мы восхитимся мужеством жителей Белграда, живущих и работающих под гипнозом внезапного обстрела!

…Заезжих корреспондентов сербы величали «подписниками», как будто мы дописывали то, что они, сербы, уже написали. Сербы всегда были большими мастерами по части ругани, посылая своего партнера прямо «в гроб господень». Зато меж нами не возникало драк, дети на улицах никогда не видели пьяных, прохожие не задевали женщин, ибо женщина была для них свята. Полиция в Белграде не ведала, кого ей «ташшить и не пушшать», потому, наверное, городовые от нечего делать усиленно козыряли всем иностранцам, словно желая отблагодарить их за массовое истребление свиных котлет, бывших в те времена гордостью белградской кулинарии… По утрам меня в «Дубовой короне» рано будил звонкий смех молодых прислужниц гостиницы, имена которых хотелось повторять — Милена, Любица, Даринка, Света и Зорка.

Хорошо бы в них не влюбиться…

10. Не хочу умирать виноватым

О том, что австрийский эрцгерцог «умрет на ступенях трона», я уже не раз слышал. После Балканских войн Европу наполняли различные слухи и мистические пророчества. Одно из них врезалось мне в память, ибо происходило из научных кругов Германии: немецкий профессор Рудольф Мевес пришел к выводу, что в истории человечества события повторяются с последовательностью, схожей с чередою земных катаклизмов. Еще на исходе XIX века Мевес предсказал, что мир будет нарушен в 1904 году войною в Азии, после чего вражда в Европе с большими кровопролитиями продлится до 1933 года, когда в мир явится сам Великий Сатана, несущий народам царство вечного блаженства.

Последняя дата разрушает всю логику Р. Мевеса, ибо в 1933 году явился сатана-Гитлер, но до блаженства нам еще далеко, как до луны. Конечно, слишком велика тайна, в которой война рождается, но ее хранят и после войны. Свидетели зарождения войн обычно молчат — от страха, дабы избежать ответственности. Министры пишут мемуары, когда никто не помнит таких министров, а безропотные шпионы стряпают записки, когда они разоблачены. Но чаще бывает так, что никаких бумаг о подготовке войны не остается, хотя отсутствие документов ничего не подтверждает, как не является и отрицанием самого факта.

Много позже, уже после Версальского мира, австрийцы вернули сербам их секретные архивы, захваченные при взятии Белграда. На сербском же катере архивы были из Вены отправлены по Дунаю, но в Белград они не попали. Бесследно исчез и сам катер. Надо полагать, что катер вместе с архивами утопили сами же сербы, ибо тогдашнему королю Александру Карагеоргиевичу было невыгодно, чтобы историки докопались до той истины, что он всходил на отцовский престол, поддерживаемый «Черной рукой» военной хунты Аписа, ответственной за многие преступления… Хочу я того или не хочу, но тут неизбежно возникает вопрос о доле моей личной ответственности.

\* \* \*

Гартвига звали Николаем Генриховичем, и вряд ли можно было догадаться, что этот человек с немецкой фамилией являлся отчаянным славянофилом. В мое время он занимал важный пост русского посланника в Белграде, считаясь творцом Балканского союза; его популярность на Балканах сложилась еще в Петербурге, когда он ведал раздачей стипендий малоимущим студентам из Сербии, Македонии, Боснии и Черногории, приехавшим учиться в русских университетах, и, как говорили, помогал беднякам даже из своего кармана.

Когда-то посол в Тегеране и директор Азиатского департамента, Гартвиг сам сделался «азиатом», внеся в политику на Балканах нечто от восточной эмоциональности, и, если не возникало событий, нужных его замыслам, он сам эти события устраивал, дабы потом убедить министра Сазонова в своей правоте. Гартвиг не только пренебрегал советами Сазонова, но явно саботировал их, проводя в Белграде ту политику, какую считал необходимой. Один из сербских историков, вспоминая те годы, писал, что «Гартвиг был почти абсолютным господином в нашей внешней и отчасти даже во внутренней политике». Именно благодаря настояниям Гартвига в Петербурге стали уповать не на Болгарию, вышедшую к берегам лечезарного Босфора, а на Сербию, обставленную из-за Дуная пушками Франца Иосифа…

Я, русский «дописник», близкий к атташе Артамонову, был радушно принят в нашем посольстве. Николай Генрихович, кряжистый и плотный, почти лысый, чем-то напоминал мне своей внешностью фабриканта Савву Морозова. С первых же слов посла я догадался, что он знает обо мне если не все, то почти все.

— Вы слышали обо мне от полковника Артамонова?

— Нет, от полковника Драгутина Дмитриевича, а… какая разница? — спросил Гартвиг. — Они так хорошо спелись, что, кажется, уже способны подменять один другого по службе.

Меня насторожил следующий вопрос посла:

— Ваша мать сидела в тюрьме Главняча?

— В секретной башне Нейбоша.

— А где же она теперь?

— Ее следы затерялись… навсегда!

— Но остались же родственники в Сербии?

— Имеются, — заострил я эту тему. — Так, например, даже Карагеоргиевичи приходятся мне очень дальней родней…

Гартвиг пригласил меня на костюмированный бал в посольстве, предупредив, что с меня достаточно, если я украшу себя цветком в петлице. Гостей у входа приветствовали жена Артамонова в костюме казанской татарки и взрослая дочь посла в одеждах московской боярышни. Сам же Гартвиг прогуливался по залу среди гостей, держа под локоток австрийского посла — барона Владимира Гизля, которому меня и представил:

— Офицер в отставке… ныне корреспондент петербургских «Биржевых Ведомостей». Ужасно талантлив!

Гизль почему-то решил, что названная ему газета прислуживает бирже, и просил меня отметить, что таможенные тарифы Австрии на границах с Сербией значительно снижены:

— Мы охотно закупаем стада сербских свиней.

— Благодарю, — отвечал я, даже не стараясь быть остроумным. — Этот факт чрезвычайно обрадует наших читателей, ибо тема о свиньях и поросятах весьма насущна для русских…

Среди гостей русского посла было немало сербов, но я затруднялся понять, кому из них Гартвиг отдавал предпочтение, ибо рядом с министром или богатым коммерсантом были студенты и даже комитаджи (македонские партизаны). Гости танцевали, советник посольства за разгадывание шарад получил приз — поцелуй княжны Елены Черногорской, приехавшей из Цетине. Вовсю дурачился Пьеро в маске на лице, всем надоев своими ужимками и грохотом бубна с колокольчиками. Лишь после бала в нем признали племянника короля — Павла (Арсеньевича), в мать которого я когда-то был безнадежно влюблен. Мне стало печально видеть ее сына, и я удалился в библиотеку посольства…

Здесь было тихо. А на столе разложены для угощения каймак, овечий сыр, жареные цыплята, в бутылке светилась медовая ракия. Сдвинув треножцы (табуретки), рядком сидели два молодых серба, которым мое появление, кажется, помешало. Они, как я догадался, говорили о Богдане Жераиче, стрелявшем в австрийского наместника Верешанина.

— Жераич покончил с собой? — спросил я. — Мне помнится это время, когда над миром крутилась комета Галлея, от которой ничего хорошего люди не ожидали.

Один из сербов был одет с претензией на дешевый шик, а другой носил черную косоворотку — традиционный «мундир» всех русских социал-демократов. Мы познакомились. Неделько Габринович, показавшийся мне франтом, приехал в Белград из Сараево, по его речам я понял, что он социалист, но в голове его крутились мятежные вихри идей анархизма. Второй собеседник, одетый в косоворотку, назвался Данилой Иличем, он был сельским учителем из Боснии, а сейчас служил мелким клерком в банке того же Сараево. Из разговора выяснилось, что Данило — редактор социалистической газеты «Звоно» («Колокол»), переводчик Максима Горького на сербский язык, отсюда, наверное, и возникло его пристрастие щеголять в косоворотке.

— Да, мы говорили о Богдане Жераиче, — сказал он. — Дело в том, что с нами из Сараево приехал гимназист Гаврила Принцип, который несколько ночей провел на кладбище, где, впадая в состояние экстаза, беседовал с Жераичем над его могилой.

— Помешался? — спросил я.

— Напротив, здравомыслящий юноша. Ведь скоро будет юбилей битвы сербов на Косовом поле, а Гаврила Принцип слишком разгорячен желанием отметить эту дату.

— У русских все юбилеи отмечаются хорошей выпивкой.

Илич и Габринович откровенно рассмеялись:

— Наши страдания не залить никаким вином… У нас, живущих в Сараево под пятой австрийцев, свои счеты с Габсбургами. Рано или поздно Австрия все равно бросится душить нас, и война с нею неизбежна. Мы знаем, что поединок закончится плохо для нас. Но, возможно, случится иначе… для нас лучше!

Не стоило большого труда выяснить, что эти молодые ребята из Сараево, приехавшие в Белград с душевным трепетом, словно мусульмане в Мекку, мечтали о возрождении той «Великосербии», которая погибла на Косовом поле. Неделько Габринович так и выразился — почти доктринерским тоном:

— Любое политическое движение необходимо крепить не только кровью в битвах или вином на партийных банкетах, но его следует возбуждать национальной идеей, иначе все наше дело развалится на радость Вене…

Мне, признаюсь, было жалко этих ребят, уже отмеченных какой-то обреченностью. Во имя чего? Для них национальное единение всех славян под одной крышей стало идеей фикс, и я понимал, что после жизни в Белграде, где они отмолились на могилах сербских героев, им особено тяжко возвращаться в Боснию, порабощенную швабами.

— Габсбурги имеют такой богатый опыт в разобщении народов, что нам трудно с ними тягаться, — сказал Илич. — Они возвышают над нами хорватов, а подле их костелов высятся минареты мечетей, и стоит нам, православным сербам, сдружиться с хорватами-католиками, как Вена сразу же на нас и на тех же хорватов натравливает галдящие оравы мусульман.

— Да, я бывал в Сараево, — признался я.

— Тогда вы знаете Гришу Ефтановича?

— Впервые слышу!

— Да это же тесть Мирослава Спалайковича, сербского посла в вашем Петербурге… Если будете в Сараево, останавливайтесь только в его гостинице. Гриша Ефтанович посылает в день всего две молитвы к богу — за сербов и за русских, почему швабы уже не раз его разоряли до нитки…

В конце беседы Габринович объявил с ожесточением:

— Дело кончится топором! Лучший способ избавиться от перхоти — отрубить башку под самый корень, чтобы в ней более не шевелились гниды и не копилась перхоть!

Мне вспомнилась ночь убийства короля Обреновича в конаке, в ушах снова застучали громкие выстрелы. Я сказал:

— Понимаю: хорошо быть сербом, но — нелегко…

За окном пролился освежающий ливень. Мы поднялись из-за стола, и тут я увидел, что «франт» Неделько Габринович носит кожаные «чакширы» — крестьянские штаны. Бал закончился. В посольстве уже гасили огни, советник Гартвига, получивший приз в виде поцелуя, провожал последних гостей. Павел в костюме Пьеро на прощание ударил в бубен, глухо звенящий. Гартвиг, откровенно позевывая, раскрыл передо мною портсигар:

— Как вам понравились молодые люди из Сараево?

Я отвечал уклончиво — ни да, ни нет.

— Кстати, — пояснил Гартвиг, — эти беглецы из Сараево вчера ночью имели секретную аудиенцию у принца Александра Карагеоргиевича. Смею думать, что с наследником престола они были откровеннее, нежели с вами.

— В этом я не сомневаюсь, господин посол!

\* \* \*

Проппер из Петербурга затребовал у меня статью о делах в Македонии, уже покинутой турками, но теперь на нее яростно претендовали греки, сербы, черногорцы и болгары. Желание Проппера совпало с моими интересами: я давно хотел посмотреть, как партизанят сербские комитаджи. В канун поездки я посетил королевский парк Топчидер — ради тренировки в тамошнем тире «Народна Одбрана». Меня сопровождал ближайший друг Аписа — майор Войя Танкосич, отчаянный вождь комитаджей, излазивший все горные тропы Македонии, а в Белграде он прославил себя тем, что однажды набил морду принцу Георгу Карагеоргиевичу, и принц только утерся, но жаловаться отцу не посмел, ибо за Танкосичем стоял сам Апис, а за спиною Аписа черная рука сжимала кинжал возмездия…

Именно здесь, в стрелковом тире, я впервые увидел Гаврилу Принципа: мне он показался юнцом в последнем градусе чахотки, уже обреченным. Мне даже подумалось: не затем ли этот несчастный гимназист молился над мертвым Жераичем, чтобы тот потеснился в могиле, освобождая ему место рядом с собою…

Танкосич резким ударом выбил оружие из руки Принципа.

— Дерьмо! — внятно и грубо заявил майор. — Какой же ты серб, если не умеешь держать даже оружие, данное тебе страдающим нашим отечеством? Подними… пали дальше!

Мне не понравилась эта сцена, я тихо спросил:

— Вы к чему-то готовите этого гимназиста?

— Каждый серб должен отлично стрелять, — уклончиво отвечал майор…

Моя поездка в Македонию была короткой, статью для Проппера я подписал псевдонимом «Босняк», но в типографии допустили опечатку, и я вышел в свет под именем «Босяка». Я уже понимал, что в Сербии возникла «ситуация посторонних факторов»; страной правили не те, кто занимал ответственные посты в государстве, а те, что затаились в мрачном подполье организации Аписа. Мне казалось (и вряд ли я ошибался), что «Черная рука» даже премьера Николу Пашича заставляла плясать под свою волшебную дудку…

В беседах со мною полковник Артамонов с горячей убежденностью доказывал:

— Поймите! Такая страна, как Сербия, не может не опираться на военную хунту. А как же иначе? После расправы с династией Обреновичей сербская армия закономерно стала главною повелительницей в стране, и не только Пашич, но даже король Петр никого так не боится, как своих же офицеров…

С тех пор прошло уже много лет, не стало короля Петра, сына его Александра прикончили в Марселе хорватские усташи, а этот дуралей в костюме Пьеро, игравший на бубне в нашем посольстве, уже ездил на поклон к Гитлеру, — да, очень многое обратилось изнанкой, весьма отвратительной, и я часто спрашиваю себя: стоит ли говорить об этом? Стоит ли снова возмущать покой мертвых и тревожить память еще живых?

Ладно. Буду откровенен. Но в тех пределах, которые никак не задевают ни моей чести, ни чести моего государства.

Артамонов велел мне душевно приготовиться:

— Отнеситесь к этому так же просто, как если бы вы решили вступить в масонскую ложу. Но вы обязаны знать: войти в организацию Аписа вы можете, а выход из нее карается смертью. Отныне вы теряете право уклоняться от решений верховного совета «Черной руки», и даже самые страшные пытки не извинят вам измены, караемой очень жестоко… Вы сомневаетесь? — вдруг спросил меня Артамонов.

— Отчасти — да! Пристало ли мне, офицеру российского Генштаба, влезать в этот хоровод, в котором сами танцующие не знают, какой дракой это веселье закончится. Мне все-таки было бы желательно иметь согласие своего начальства, дабы не зависеть едино лишь от сатанинской воли Верховенского из «Бесов» Достоевского… Вы поняли, кого я имею в виду!

Артамонов словно и ждал такой реакции. Он развернул передо мною бланк шифровки из русского Генштаба, в которой было четко сказано: «От предложения А. не отказываться».

— Воля ваша, — сказал я, отбросив сомнения…

Что было, то было. Очевидно, в мою судьбу тоже вмешались «посторонние факторы».

— Ты будешь не один в этот торжественный день, — сообщил мне Апис. — Вместе с тобою даст присягу второй…

Странно! Меня привезли в ту самую одноэтажную казарму Дунайской дивизии, где я когда-то скрывался от ищеек Обреновичей и откуда начался мой путь в большую жизнь. Меня провели в комнату, где горела лишь одна свеча: в полумраке я глянул, кто же второй, и перестал всему удивляться: рядом со мною стоял гимназист Гаврила Принцип.

— А вам это зачем? — спросил я его шепотом.

— Я готов. Ко всему…

На столе, накрытом черным бархатом, лежали крест, кинжал и револьвер. Из боковой двери неслышно появился некто с черною маскою на лице, и я невольно вспомнил Пьеро с его бубном. Этот некто, колыша дыханием маску на лице, внятно зачитал жесточайшие правила организации «Уедненье или смрт», после чего нас привели к присяге. Вот ее текст:

— Клянусь солнцем, согревающим меня, клянусь и землей, питающей меня, клянусь кровью моих предков, моей жизнью и честью, что всегда буду готов принести себя в жертву нашей организации. Я клянусь перед всевышними силами, что все тайны организации унесу только в свою могилу.

Некто задул свечу и удалился, чтобы никто из нас не узнал его. В комнате сразу вспыхнул электрический свет.

— Я готов, — шептал Принцип, целуя крест. — Я готов… я готов… я готов… Господи, укрепи меня!

\* \* \*

Может, я напрасно разоблачаю себя?

Но теперь, думается, нет смысла скрывать то, что стало известно многим. Да, люди из России в Белграде были, пусть даже косвенно, причастными к событиям, послужившим причиной великой войны. Нашу причастность уже невозможно отрицать, и мне не стоит отказываться от того, что было.

Взаимодействие русской и сербской разведок подтвердил Лев Троцкий в книге «Годы великого перелома» (Москва, 1919); Анри Барбюс в своем журнале «Clart'e» (Париж, 1925) опубликовал показания очевидцев, это же дополнил барон Е. Н. Шелькинг, бывший царский дипломат (Берлин, 1922), и, наконец, нас разоблачил некий Н. Мермет (Вена, 1925) в журнале Балканской федерации коммунистических партий…

После всего этого стоит ли мне притворяться?

Я состарился и совсем не хочу умирать виноватым, хотя невинным ангелом себя не считаю. При этом мне вспоминается Сократ; когда он взял чашу с ядом, ученик спросил его:

— Учитель, зачем ты умираешь невинным?

На это Сократ отвечал ему так:

— Глупец! Разве ты хочешь, чтобы я умирал виноватым?..

Постскриптум № 4

Россия считалась тогда великой аграрной державой, к началу первой мировой войны имея 20 миллионов крестьянских дворов, в которых проживали и трудились в поте лица ТРИ ЧЕТВЕРТИ всего населения великой Российской империи…

С самого начала XX века многострадальная мать-Россия настрадалась от юбилеев со множеством банкетов и заздравных речей, а сами участники этих празднеств с полным основанием могли бы вспомнить на старости лет, как им было трудно:

Уж мы ели, ели, ели, Уж мы пили, пили, пили, Так что еле, еле, еле По домам нас растащили… В 1911 году Россия праздновала пятидесятилетие «освободительной» Крестьянской реформы, и по всем городам и весям великой империи водружались на стогнах памятники императору Александру I — хорошие и дурные, сидячие и стоячие, где одни бюсты, а где и головы на постаментах.

1912 год — год особый, величественный, и для народа он был священным. Россия дружно отмечала столетие Отечественной войны 1812 года. Весь двор, генералитет, историки, делегации из других стран и толпы народа стекались к Бородинскому полю — полю славы русского оружия. Устроители торжеств отыскали в деревнях стариков и старух, лично видевших Наполеона. Их приодели в чистые зипуны, согбенные, они шли, опираясь на палки, шли на Бородинское поле. Старцы были представлены царю, одна старуха пала в ноги Николаю II, и он поднимал ее с земли, вежливо приговаривая:

— Бабушка, ну хватит… не надо! Прошу вас…

В 1913 году династия Романовых-Голштейн-Готторпских праздновала трехсотлетие своего сидения на престоле российском. От первого царя Михаила Федоровича до самого последнего пролегла слишком долгая дорога, и Николай II, «ныне благополучно царствующий», еще не ведал путей господних, кои приведут его в дом тобольского купца Ипатьева, а этот юбилей явился как бы генеральной репетицией похорон дома Романовых.

1914 год обещал тоже немало банкетов для сладкоглаголющих прокуроров и адвокатов, ведущих свой корень от Судебной реформы 1864 года, а для военных людей он сулил немало почестей, ибо Россия не забыла 1814 год, когда русская армия, освободив Европу, вступила в Париж. Впрочем, эту дату старались особенно не выпячивать, ибо этот юбилей мог быть не слишком-то приятен для честолюбивых союзников-французов.

Наконец, ожидался еще один юбилей!

28 июня 1914 года сербский народ собирался отметить 525 лет со Дня национальной скорби. Именно в этот день (в 1389 году) в битве на Косовом поле Сербия была закована в цепи турецкой неволи, после чего и начались многовековые страдания южных славян.

Да, это был очень мрачный юбилей — день Видовдан в память св. Витта, и никто ведь еще не думал, что с этого дня вся Европа, словно потеряв разум, бешено задергается в конвульсиях той болезни, которую так и называют —

ПЛЯСКА СВЯТОГО ВИТТА.

Глава вторая

Пляска святого Витта

Не надо несбыточных грез,

Не надо красивых утопий.

Мы старый решаем вопрос:

Кто мы в этой старой Европе?

Вал. Брюсов

НАПИСАНО В 1940 ГОДУ:

…сомневаюсь. В таких условиях работать невыносимо, и в утешение себе почаще вспоминаю древнюю мудрость Нила Синайского: «Наложив узду на челюсти свои, ты причинишь чувствительнейшую боль угрожателям и поносителям своим». Теперь, когда все мыслящие люди оказались «врагами народа», их посты занимают трусливые и безграмотные личности, у которых анкеты в идеальном порядке; такие люди очень уважают сами себя, но больше всего им нравится, когда аплодисменты «переходят в бурные овации». Однако еще не было такого врага, которого бы устрашили аплодисменты, и не бывает войн, выигранных овациями…

\* \* \*

Наша армия застряла на линии Маннергейма, несет страшные потери, масса обмороженных, Питер сделался сплошным госпиталем. Об этом, конечно, у нас помалкивают. Зато всюду мелькает гладко обритая голова маршала С. К. Тимошенко, в газетах старательно подчеркивают его скромность. Конечно, знать об этом приятно, но все-таки не скромность — главное условие для победы. Сейчас на железобетонные доты Маннергейма он бросает массы пехоты, не задумываясь о количестве жертв. С. К. бьет в одну стенку, пока не проломит в ней дырку, совсем не думая о том, что обходный маневр — не сегодня же придуман! Помилуй бог, но подобная горе-тактика была осуждена еще в русско-японскую войну, так следует ли повторять зады минувшей истории? Я боюсь, что эта возня на линии Маннергейма раскроет перед Гитлером всю нашу слабость, ведь от Европы не скроешь, что красноармейцы вооружены винтовками еще из царских арсеналов, а финский солдат поливает нас из автоматов «суоми»…

Страшно, какой тяжкий крест несут поляки! Уничтожается цвет нации — аристократия, духовенство, интеллигенция. Во все времена тираны именно так и поступали, отрубая народу голову думающую, оставляя лишь безгласное тело. Подозрительны вести из Югославии, наводняемой загадочными «туристами». Через таможни хлынул с наклейками дипломатического багажа поток громадных чемоданов, которые исчезают бесследно, оказываясь потом в руках этих «туристов». Ясно, что идет доставка оружия из Германии… Что будет?

На Западном фронте без перемен. По утрам из окопов, французских и немецких, вылезают заспанные солдаты и совершенно открыто делают физзарядку. Война выражается через громкоговорители, противники облаивают один другого, а после короткой перестрелки боевой день заканчивается.

Одну из лекций в Академии я посвятил проблеме войны в условиях окружения, но тут же был вызван «наверх»:

— Вы с ума сошли! Кто вам позволил заниматься подобным паникерством? Красный командир целеустремлен в активном наступлении, и — только! Никаких окружений… Это вы еще не опомнились после того, как маршал Гинденбург устроил вам «Канны» под Алленштейном… Забудьте год четырнадцатый! Прошлое никогда не повторится…

\* \* \*

Меня вызвал к себе Ф. И. Г[оликов], выведывал сведения о начальнике финского генштаба при Маннергейме:

— Что вы можете сказать о генерале Энкеле?

Оскара Карловича я хорошо знал, и его жену Надю. Энкель не скрывал своих симпатий к Швеции и Финляндии, но как русский генштабист служил хорошо. Думаю, что Энкелю вряд ли приятно воевать с нами. Ф. И. допытывался:

— Он был царским шпионом, как и вы?

— Ну зачем же так грубо? Да, он служил в русской разведке, был военным атташе в Риме. Затем, состоя при Жилинском, начальнике Генштаба, Энкель вел слежку за Распутиным и даже не скрывал, что Гришка у него «случайно» попадет под колеса трамвая. До меня доходили слухи, что финны ставили в упрек Энкелю скорую карьеру при Маннергейме и женитьбу на русской… Больше я ничего не знаю.

— Или не хотите сказать? — посуровел Ф. И. Г[оликов].

— Если вы так думаете обо мне, своем подчиненном, — отвечал я, — так не лучше ли вам со мною расстаться?..

12 марта был подписан мир с Финляндией, и — по слухам — Энкель был одним из тех финских генералов, которые желали этого мира. Тимошенко назначен наркомом обороны СССР в звании маршала. Боюсь, что на этом посту он проявит свою похвальную скромность. Вряд ли он осмелится возражать Хозяину, как это делал не раз Б. М. Ш[апошников]. Была уже весна, Гитлер оккупировал Данию и Норвегию, его вермахт, отлично моторизованный, был упоен успехами, а у нас, слава богу, догадались ввести генеральские и адмиральские звания.

Печальный, я возвращался домой после очередной лекции в Академии Генштаба, где невольно порассуждал перед слушателями о знаменитом «стоп-приказе» Гитлера, который задержал лавину своих танков на подступах к Дюнкерку, позволив англичанам спокойно убраться восвояси.

— Вряд ли этот шаг продиктован легкомыслием или, паче того, боязнью. Скорее, в этом поступке заключен немаловажный политический смысл, вроде приглашения к танцу. Не исключено, что мало кому понятный «стоп-приказ» выразил желание Гитлера обратить Англию из противника в своего союзника…

В булочной на углу Столешникова я купил свежий батон и уже подходил к дому, когда возле меня, резко взвизгнув тормозами, остановилась черная легковая машина. Первая мысль была такова: «Ну, сейчас станут брать…»

— Здравствуй, — услышал я приятный голос. — У тебя есть свободная минута, чтобы поговорить?

В машине сидел епископ Нафанаил, в прошлом мой сокурсник по старой Академии Генштаба, в миру бывший князь Сергей Оболенский. Я сел подле него в машину, и мы медленно покатили по вечерней Москве. Долго молчали.

— Ты, кажется, очень печален?

— Мне присвоили звание генерал-майора.

— Поздравляю. Так надо радоваться!

— Ты бы, Сережа, на моем месте не возрадовался. Потому и печален, ибо вторичный путь к генеральскому чину оказался гораздо сложнее, нежели первый.

— Конечно, — засмеялся Нафанаил, — генерал без эполет, с черствым батоном в руках — это еще не генерал, а так… Заедем на подворье и отметим твое возвышение.

В покоях епископа было уютно, мягкие ковры глушили шаги, в клетке распевала канарейка, перед ликами святых теплились лампады, а неподалеку от киота висел портрет Хозяина. Служка в подряснике быстро накрыл стол, появилось вино.

— Ну, садись, — предложил Нафанаил.

Радио передавало последние сводки с западных фронтов: «панцер-дивизии» вермахта вторгались во Францию, Бельгию и Голландию. Нафанаил советовал мне закусить.

— У диктора, — сказал я, — такой ликующий голос, будто не Гитлер разогнал свои «ролики» до Парижа, а сам Хозяин освещает нам путь к победе.

— А я верю Сталину, — отвечал Нафанаил. — Да и стоит ли беспокоиться за Францию? У них же там «линия Мажино».

— Которую легко обойти через Бельгию, — добавил я, — как это сделал еще кайзер в четырнадцатом…

У нас тоже поговаривали о «линии Сталина», но я-то знал, что никакой «линии», ограждавшей наши западные рубежи, не было и в помине, вместо нее громоздились кучи строительного мусора: после переговоров Молотова с Риббентропом работы по укреплению границы забросили как ненужные и даже вредные, а тех, кто укреплял эту границу, всех пересажали по тюрьмам как паникеров и врагов народа, не верящих в силы Красной Армии. Я ни с кем не делился своими мыслями, но мне казалось, что было бы правильным — отвести наши войска на сто-двести миль от границы, дабы избежать первого мощного удара немцев, хорошо подготовив контрудар на отдельных рубежах… Но кто бы меня стал слушать?

— Скажи, что будет? — вдруг спросил Нафанаил.

— Война.

— С кем?

— Конечно, с Германией.

— А как же договор с нею?

— Не задавай наивных вопросов, Сережа. Ты ведь сейчас красуешься панагией, украшенной рубинами, но когда-то носил аксельбанты знающего генштабиста… Соображай сам!

— Скажи, а мы… готовы?

— Нет, — ответил я. — Впрочем, когда и в какие времена Россия была готова? Это же ее нормальное состояние — быть постоянно неготовой. Уж не в этом ли и заключена наша тайная, почти мистическая сила — ждать, пока жареный гусь не клюнет нас в задницу, чтобы очухаться и… ура! ура! ура!

Нафанаил, явно удрученный, долго думал.

— Все равно, — сказал он, — Россия способна вынести любые поражения, но побежденной ей не бывать. И нет такой силы, чтобы сломить ратный дух русского человека. И что бы ни случилось, но церковь всегда останется с народом…

14 июня немцы вошли в Париж. Приезжие из Берлина рассказывали, что город не узнать: витрины магазинов украсились айсбергами датского масла, громоздились, словно ядра, пирамиды голландских сыров «со слезой» (сыр немцам, а слезы голландцам), всюду французские вина, немки раскупают парижскую парфюмерию. Когда автомобиль Гитлера появился на Вильгельмштрассе, берлинцы сыпали под колеса букеты цветов…

У нас тоже новости. Последовал здравый указ о введении восьмичасового рабочего дня. Вместо дурацкой пятидневки образовалась старинная рабочая «неделя» с понедельниками и субботами, и я от души приветствовал этот указ, ибо народ уже разболтался, слишком радуясь успехам советского футбола. Хватит! Пора браться за дело. Теперь прогульщиков сажали, а не убеждали исправиться…

Но даже в Москве я слышал грохот немецких сапог…

\* \* \*

Летом 1940 года меня направили в Таллинн (бывший Ревель); к этому времени согласно договорам с СССР в государствах Прибалтики размещались наши воинские гарнизоны, а в гаванях дислоцировались корабли Балтийского флота.

Следовало ожидать, что Литва, Латвия и Эстония скоро вернутся в состав нашего государства — на правах республик.

Я ехал в Эстонию на птичьих правах «советника», заранее предчувствуя, что хорошего ничего не будет, ибо гитлеровский абвер давно опередил нас. Именно тогда — по договору с Германией — началась массовая депортация немецкого населения Прибалтики, которое со времен Ордена меченосцев по-хозяйски обживало эти края. Возникало немало конфликтных ситуаций. Под видом «немцев» желали удрать русские белоэмигранты, бывшие офицеры армии Юденича, а некоторые из природных немцев, напротив, отказывались выезжать в гитлеровскую Германию, слезно умоляя наши власти о советском гражданстве.

Перед моим отъездом сослуживцы завидовали мне:

— О! Да там, в Эстонии, всякого добра завались. За сущие пятаки можно приодеться джентльменом. Это не наш ширпотреб, когда на пиджаке забывают сделать дырки для пуговиц…

Тряпья действительно в магазинах Ревеля было много, но в канун моего приезда подорожали продукты, особенно бекон, ибо депортированные в «счастливую» Германию немцы вывозили жиры тоннами, так как боялись маргарина. Я, конечно, ехал в Эстонию не ради пиджака и бутербродов, но жизнь чужого города казалась мне любопытной. На улице Пикк по вечерам загорались огни ресторанов и баров, из лакированных автомобилей, украшенных флажками иностранных посольств и консульств, респектабельные господа выводили элегантных дам — все было так, будто ничего не изменилось, а советские корабли на рейде — это так, ради экзотики. Но за приятными декорациями укрывались непривлекательные детали. Наших матросов не пускали на берег, зато с немецких кораблей матросы валили по трапам толпами, быстро разбегаясь по закоулкам города и его злачным местам, отчего агенты абвера — под видом гуляк-матросов — становились для нас неуловимы.

Телеграфный кабель, протянутый по дну моря из Таллинна до Хельсинки, работал по-прежнему, и что там передавали для услуг абвера — оставалось тайной. Финская радиостанция «Лахти» транслировала для жителей Эстонии антирусские передачи на русском же языке.

Я снимал комнату в частной квартире старого еврея Хацкеля, который портняжил еще тогда, когда Эстония была Эстляндской губернией. Однажды Хацкель, не стесняясь меня, увеличил громкость радиоприемника до предела. Выслушав рассказ «Лахти» о том, что в одном колхозе жители, доведенные голодом до отчаяния, зарезали и съели своего председателя, я сказал хозяину:

— Арон Исакович, охота вам слушать такую ерунду?

— А цо? Рази васы не врут! — засмеялся он.

— Еще как врут! — не отрицал я. — Но врут в вашу же пользу, а не для пользы Германии…

С настоящей ненавистью я столкнулся в антикварной лавке, где осматривал старинное оружие. Какой-то потрепанный человек предлагал хозяину купить у него орден Станислава 3-й степени. Хозяин лавочки отказывался, говоря, что у него полный набор царских орденов. Было видно, что голодранец сильно огорчен, и мне стало жалко его, явно голодающего:

— Не изволите ли продать Станислава мне?

Он узнал во мне не только русского, но и советского человека, хотя я был в штатском. Почти наорал на меня:

— А-а-а! У себя в Совдепии все уже разорили, так теперь и сюда забрались, чтобы грабить… Нет уж! Лучше вот так… вот так… смотрите… вот так!

И, выкрикивая эти слова, он, когда-то русский офицер, злобно давил и плющил свой орден каблуком ботинка.

— Ну и напрасно, — сказал я. — Наверное, легко достался вам этот орден, иначе вы бы не поступили с ним так…

— А ты заработай себе хоть один! — крикнул он мне.

— У меня, ваше благородие, было их восемнадцать… вот таких, как ваш, и еще более высоких.

— Кто же вы такой? — оторопел он.

— Честь имею. До революции был «превосходительством»…

Мне трудно. Наша контрразведка, поставленная в необычные условия, работала вяло, арестовывая невинных, и наоборот, через ее фильтры проскакивали хищные акулы абвера. Однажды я не сдержался и наговорил дерзостей:

— В тридцать седьмом не боялись сажать людей за «измену родине» даже в том случае, если они смеялись над анекдотом о Кагановиче, а сейчас, попав сюда, вдруг стали такими добренькими, что боитесь тронуть явных агентов Гитлера.

— Но мы, — отвечали мне, — делаем все, чтобы не раздражать Германию, связанную с нами, договором о мире.

— А вот Гитлер плевать хотел на все договоры…

Я сказал своим сотрудникам, что они даром едят хлеб:

— Вот, пожалуйста! При аресте взяли у одного типа карту Эстонии, тут тебе все, что надо для абвера: дислокация наших частей, батарей и аэродромов.

— Мы же не гестапо, чтобы хватать всех подряд.

— А я думаю, что в гестапо работают точнее вас…

Этот «семейный» скандал притушили, а вскоре в наших фильтрах застряли два немецких агента. Я контролировал работу германского акционерного общества «Умзиедлунгс-трейханд-Акционен-гезельшафт» (УТАГ), которое ведало имуществом немцев, согласных на депортацию. УТАГ с утра до ночи таскал по городу и грузил на корабли гигантские контейнеры с мебелью и добром уезжающих. Я велел сотрудникам:

— Откроем один, какие черти оттуда выскочат?

В контейнере сидел видный германский агент Я. Штельмахер, бывший адвокат в Риге, который выдал своего напарника — Наполеона Красовского, и они сами навели нас на след еще одного агента абвера. Это был Борис Энгельгардт [13] , бывший паж, бывший полковник, бывший член Государственной думы, бывший член Временного правительства при Керенском, ныне работающий тренером на рижском ипподроме. Я допрашивал его сам 3 августа 1940 года, предупредив, что биографию его знаю:

— Вы, еще пажом, участвовали в коронации Николая Второго заодно с нашим генералом Игнатьевым, автором книги «Пятьдесят лет в строю». Игнатьев свято хранил честь мундира, я видаюсь с ним в Москве, и мы как-то даже вспоминали о вас. Что прикажете делать с вами, Борис Александрович?

— Расстреливайте, — грустно отвечал Энгельгардт.

— Жалко, — отвечал я. — Вы же прекрасный жокей… Лучше договоримся. Я обещаю вам пять лет ссылки, после чего с вас бутылка коньяка. Но прежде — сознание…

Энгельгардт признал, что работал на Германию с 1933 года, его резидентура засылала агентов даже на Чудское озеро, вся собранная информация поступала к главному резиденту германской разведки — Целлариусу. Я сказал, что мне нужны каналы для личной связи с Целлариусом. Энгельгардт предостерег:

— Я бы не советовал вам с ним связываться.

— Почему?

— Целлариус раскусит вас сразу, будто орех.

— А вот это уж не ваше дело…

\* \* \*

Целлариус повел себя со мною так, будто он мой начальник, даже покрикивал, но встреча с ним была выгодна для нашей разведки, ибо заводила нас в темные дебри абвера. Вскоре меня срочно отозвали в Москву, а на перроне Рижского вокзала, едва покинув вагон, я был арестован. Это надо же так: 1937 год меня миловал, так попался сейчас, когда я нужен не в тюрьме, а в абвере. Мне инкриминировали то, что я фашистский шпион, пробравшийся в советский Генеральный штаб.

— Но я этого и не отрицаю, — отвечал я.

1. Враги, съеденные червями

Миру не забыть пышных усов Франца Иосифа…

После войн и революций дезертиры, калеки и спекулянты торговали на барахолке мундирами с обветшалой позолотой:

— Бери, не прогадаешь! Мундир австрийского императора Франца Иосифа… да ему и сносу не будет!

Не было «сносу» и самому Францу Иосифу, который никак не мог умереть. Вопрос о вырождении венценосцев Европы поставлен давно, а в 1905 году этим занимались французские антропологи. Габсбурги, по их мнению, самый яркий образец вырождения. У них удлиненная нижняя челюсть, выдвинутая вперед, а нижняя губа, непомерно раздутая, безобразно выпячена. Сравнивая древние медали и монеты с профилями монархов, антропологи указывали, что в династии Габсбургов не все в порядке. Их способность к мышлению тоже отличается от здравого рассудка. С ними государство стоит — с ними оно и рухнет…

Император Франц Иосиф помнил еще Меттерниха, а пережил Бисмарка; из мира кабриолетов и дилижансов он дожил до того времени, когда над крышею его Шёнбрунна залетали аэропланы, а на подводных лодках в Адриатике загрохотали первые дизеля.

— Все умирают, — жаловался он придворным, — один я, несчастный, никак не могу умереть…

Австро-Венгрия по праву считалась «тюрьмой народов», в которой надзирателями служили немцы. Во владениях Габсбургов немцы всегда оставались в меньшинстве, но именно это меньшинство управляло «лоскутной империей». Венграм (мадьярам) в 1867 году была сделана уступка в автономии, и дуализм получил название Двуединой монархии, а на картах Европы возникло новое государство — Австро-Венгрия. Габсбурги высоко ценили удобство яркой «лоскутной» одежды, выражая свое кредо в таких словах:

— Наши подданные болеют разными болезнями. Если во Франции революция поднимает на баррикады всех французов разом, то у нас горячка по частям. Это очень удобно для правления. Коли бунтуют итальянцы, мы напускаем на них хорватов, на галицийцев кидаются мадьяры, а если бунтуют сами мадьяры, мы доверяем их усмирение богемским жителям. Взаимно все наши подданные ненавидят друг друга, но из этой взаимной ненависти как раз и рождается благопристойный порядок…

Великая Дунайская империя вальсов и чардашей, венгерского шпика и венских колбас, кулачного мордобоя и взяточников, католического засилья и шарманок — эта империя давно разваливалась… и никак не могла развалиться, ибо слишком велик был давний престиж венских кесарей. Настолько велик, что Наполеон, не раз бивший Австрию на всех перекрестках Европы, все-таки не устоял перед ее величием — и взял себе в жены капризную девицу из семьи Габсбургов…

Франца Иосифа любили изображать «добрым дедушкой» в окружении детей с букетами. Но скажите, какой деспот не любил, чтобы дети подносили ему цветы?! Он женился на Елизавете из баварской династии Виттельсбахов, которые из рода в род славились умопомешательством. От брака с психопаткой император имел дочерей и сына Рудольфа. Но Елизавету он вскоре отлучил от себя, его метрессой стала Екатерина Шраат, венская акушерка. Чем она прельстила императора — не знаю, но она осталась при нем до конца его жизни. Взяточница была страшная, и мимо нее никто не мог проскочить в кабинет монарха, прежде не одарив фаворитку кольцами, серьгами, бриллиантами. Если кто из венцев мечтал сделать карьеру, ему говорили:

— Прежде подумай, как понравиться Шраат…

Между тем вокруг Франца Иосифа возникала трагическая пустота. Вот краткий перечень несчастий этой семейки, отмеченной зловещим роком уничтожения: родственники императора сходили с ума, были застрелены на охоте, сгорали на пожарах, кончали самоубийством, пропадали без вести, разбивались при падении с лошади, испивали на пиру смертную чашу. Родной брат Максимилиан возмечтал стать императором Мексики, но мексиканцы привязали его к столбу и расстреляли, а вдова его тихо помешалась.

Нормальным считался лишь принц Рудольф, наследник престола, любивший общество артистов и писателей. Женатый на Стефании Бельгийской, он не оставил распутной жизни, и жена сама ездила по ночным вертепам, чтобы вытащить оттуда своего гулящего мужа. Наконец Рудольф скрылся в охотничьем «Меерлинге», с ним была красавица Мария Вечера. Отсюда он написал отцу письмо, в котором отказывался от престола Габсбургов, чтобы довольствоваться любовью красавицы… Что случилось далее — историки не понимают. Рудольф был найден кастрированным, а подле него лежала мертвая Мария Вечера.

Когда в Вене прослышали о позорной кончине наследника, придворные не знали, как оповестить отца. Но мать убитого Рудольфа выручила вельмож, посоветовав:

— Поручите это дело акушерке Шраат…

У историков мало поводов для того, чтобы восхищаться Францем Иосифом, так, позвольте, похвалю его я: что бы в мире ни случилось, Франц Иосиф никогда не терял хладнокровия, стойко перенося любые удары судьбы. Порою кажется, что календарь перестал для него существовать: к чему знать течение времени? Вокруг него обязательно кого-то калечили или убивали, а он, словно заговоренный, всегда оставался невредим и на здоровье не жаловался. Наверное, если бы в него стреляли в упор — все равно бы промазали.

— Сколько мух… сколько мух! — говорил Франц Иосиф, озирая свои апартаменты в Шёнбрунне. — Эти паразиты-ученые чего только не изобретают, а вот уморить мух не способны…

После безобразной смерти сына Рудольфа император провозгласил наследником престола своего брата эрцгерцога Карла Людвига, но в 1896 году братец загнулся, и тогда право на престол Габсбургов перешло к сыну покойного — эрцгерцогу Францу Фердинанду, родному племяннику императора.

— Терпеть не могу этого святошу, — говорил он акушерке Шраат. — Но что делать, если род Габсбургов мельчает на глазах… вот только я не могу умереть!

Императрица Елизавета, его отверженная жена, пребывала в мрачной меланхолии, оживляясь лишь в общении с лошадьми. Но в 1898 году она была зарезана итальянским анархистом Лукени, когда всходила на трап отплывающего парохода. Узнав о ее гибели, Франц Иосиф даже не дрогнул, повелев:

— Позовите ко мне Екатерину Шраат…

Шёнбрунн насчитывал 400 комнат, и по этим комнатам, переполненным сокровищами, блуждал выживающий из ума старик с хлопушкой в руках. Этой хлопушкой он перебил миллионы (!) мух, залетавших с улицы, и при этом бормотал:

— Странно! Все умирают, один я — бессмертен… А сколько мух, сколько людей… за что мы платим ученым?

\* \* \*

— Убили, значит, Фердинанда-то нашего, — сообщила Швейку его служанка в знаменитом романе Ярослава Гашека.

— Какого Фердинанда, пани Мюллер? — спросил Швейк, не переставая массировать колени. — Я знаю двух Фердинандов. Один служил у фармацевта Пруша и выпил у него как-то по ошибке бутылку жидкости для ращения волос. А есть еще Фердинанд Кокошка, тот, кто собирает собачье дерьмо. Обоих ничуточки не жалко.

— Нет, сударь, эрцгерцога Фердинанда…

Указанный служанкою Фердинанд родился в 1863 году.

Это был мрачный и нелюдимый человек с залеченным туберкулезом легких. Смолоду он мечтал о самой широкой популярности, почему и хотел бы нравиться всем — и немцам, и венграм, и даже славянам. Однако нравиться не умел, от него всегда исходил мертвящий холод, никто не слышал от него доброго слова, не видел даже приветливой улыбки. Франца Фердинанда боялись все жители Австрии, и не только сам народ, но даже аристократы говорили: «Чтоб его черви съели…» Русская печать информировала читателей об эрцгерцоге: «Он терпеть не может азартных игр, не любит официальных приемов, презирает банкетные речи, которые ненавидит больше всего».

— Он умрет на ступенях трона, — предсказывали другие…

Что же хорошего было в этом неприятном человеке? «Я большой мечтатель, страдающий музеоманией», — записывал он в дневнике, и был даже прав; из наследника престола мог бы получиться хороший экскурсовод по старинным музеям. В 1892 году эрцгерцог совершил кругосветное путешествие, посетив почти все страны мира, вплоть до Японии и Австралии. Лучше всего он чувствовал себя на обеде у вице-короля Индии, ибо лорд Лэндсдоун, жена лорда и сам Франц Фердинанд не произнесли за обедом ни единого слова.

Путешествуя, он усиленно осматривал арсеналы, казармы и броненосцы, не ленился узнать, мягкие ли у солдат матрасы и что им сварили на ужин. Япония поразила его способностью к быстрому освоению материального и научного прогресса, он тогда же пророчил: «Европе когда-нибудь в будущем придется еще горько раскаяться в том, что она открыла секреты своей мощи желтолицым сынам Азии…» Путешествуя, эрцгерцог никогда не забывал о собственном величии, а любое ущемление своего превосходства переживал трагически. Поводов же для гнева было достаточно. Так, на английском пароходе ему не позволили курить там, где он хочет. В США хозяин гостиницы похлопал его по плечу: «Ну, как житуха, герцог?» А на вокзале в Калифорнии носильщик стал ругаться, усталый от переноски чемоданов и кофров: «Еще холостой человек, а уже успел накопить кучу всякого барахла…»

Вернувшись на родину, он поселился в замке Конопишт под Прагой, в основном занимаясь охотою. Эрцгерцог поставил себе задачу — убить никак не меньше пяти тысяч оленей и слово свое сдержал: убил! Об экологии тогда еще не думали, но статистики Австрии подсчитали, что наследник угробил около ста тысяч штук дичи (включая сюда и зайцев). Кстати, стрелок был отличный: прицелился — смерть…

Окруженный всеобщей ненавистью, эрцгерцог отгородился от нее одиночеством, и, пожалуй, не было человека, которому он был бы симпатичен. Даже те люди, которые относились к нему благосклонно, писали о нем в таких выражениях: «Нельзя отрицать в нем ярко выраженного эгоиста и той жестокости, которые отнимали у него интерес к чужим страданиям… Горе всем тем, кого он преследовал своей ненавистью!» В 1898 году император Франц Иосиф разделил с племянником верховное командование своей армии. С той поры эрцгерцог стал привлекать внимание всей Европы, ибо понемногу оттеснял на задний план своего дядюшку. В политике Франц Фердинанд всегда оставался отчаянным русофобом. В популярной газете «Райхспорт», которую он издавал, Россию сравнивали с чудовищным осьминогом, удушающим беззащитную Австрию. Эрцгерцог не терпел русских: когда Пражская академия избрала Льва Толстого в свои почетные члены, Франц Фердинанд со злорадством вычеркнул имя писателя…

Вмешиваясь в политику, Франц Фердинанд лучше императора понимал, что «лоскутная» империя когда-нибудь треснет по всем швам, узники «тюрьмы народов» разбегутся в разные стороны. По этой причине ему хотелось дуализм заменить триализмом, чтобы из двуединой монархии «Австро-Венгрия» создать монархию триединую под общим названием «Австро-Венгро-Славия». Он хотел спасти будущее своей династии, давая хорватам права, одинаковые с теми, какие имели немцы и венгры.

— Тогда, — доказывал он, — примолкнут славяне, получив равные привилегии с мадьярами… Что им еще надо?

Ненависть к нему сразу усилилась. Немцы с трудом делили власть с Будапештом, а буржуазия Будапешта никак не желала делить власть со славянами. Особенно возмущались сербы: за призрачной автономией хорватов они разглядели причины для подавления их вольности. Сербы повторяли как клятву:

— Австрия сама давно съедена червями, а наследника престола скоро съедят могильные черви…

Желая развить идеи триализма, эрцгерцог сошелся с чешской графиней Софьей Хотек, от которой имел трех детей, сделавшись хорошим мужем и отцом. Но император не дозволил причислить чешку к семейству Габсбургов, и в 1900 году был оформлен брак лишь морганатический, а Софья Хотек получила титул «графини Гохенберг». Можно пожалеть эту женщину! Она была ненавидима венской знатью, которая откровенно издевалась над нею. Напыщенные аристократы травили Хотек насмешками, глумились над ее чешским происхождением, в придворных церемониях она тащилась, как побитая собака, в самом хвосте процессии… Император не желал видеть невестку, для которой отводили место в конце стола, как для отверженной. Франц Иосиф предупредил, что ее дети никогда не должны претендовать на престол Габсбургов:

— Я тебя однажды уже засадил в монастырь и упрячу снова, если будешь загрязнять мой престол всяким… мусором!

«Мусором» он называл ее детей. Женщину выручил германский император. Вильгельм II, однажды навестив Вену, зычно объявил в кругу придворных Франца Иосифа:

— Я не сяду за стол, пока не увижу своей соседкой благородную графиню Гохенберг, жену моего приятеля…

Не с этого ли случая Франц Фердинанд, благодарный кайзеру, и поплыл в русле германской политики? Резкая перемена в их отношениях произошла в 1908 году, когда Вильгельм II навестил эрцгерцога в замке Эккартзау, где они совместно охотились на оленей. О чем они там договорились, между прочим постреливая, никто не знает, но их беседы были чреваты огромными последствиями. Возвратившись с охоты, эрцгерцог радостно сообщил жене:

— Мы разрушим все козни! Наши дети будут королями Сербии и Славии, а ты станешь византийской императрицей…

2. Умрет на ступенях трона

Когда ничего не ясно, тогда неясности приобретают особую пикантность. Просматривая мемуары лорда Эдуарда Грея, знатока тайной дипломатии Англии, я невольно улыбнулся, отметив его фразу: «Миру, вероятно, никогда не будет рассказана вся подноготная убийства эрцгерцога Франца Фердинанда. Возможно, — писал Грей, — в мире нет и даже не было человека, знающего все, что требовалось об этом знать».

Не сразу, а спустя много лет я выяснил, что Апис перед расстрелом его в Салониках сделал важное признание: о том, что Франц Фердинанд обязательно будет убит, в Белграде отлично знали двое русских.

Гартвиг? Артамонов? А где же третий? Где я?

Если Апис не причислял меня к числу людей, посвященных в эту зловещую тайну, то, наверное, он считал меня сербом наполовину. Я так думаю. Мне так хочется думать…

Наконец, на сараевском процессе гимназист Гаврила Принцип сознался, что было некое третье лицо, включенное в заговор. «Имя этого третьего лица, а равно и сведения относительно его роли Принцип сообщить суду отказался».

Что было бы, если бы Принцип не отказался?

В этом случае из меня бы вытрясли всю душу наши знаменитые историки Покровский, Тарле и Полетика…

\* \* \*

В начале любой войны первая ее жертва — правда!

Посол не всегда проводит политику своего кабинета, и в этом я убедился. Гартвиг спокойно, как чиновник, «подшивал к делу» распоряжения министра Сазонова, но политику на Балканах творил на свой лад. Стараниями сербской разведки Белград превратился в некий вулкан, выбрасывающий, словно кипящую лаву, множество заговоров. В нем образовались как бы два правительства, гласное и тайное, но тайное во главе с Аписом управляло явным. Конечно, Гартвиг было достаточно умен, он с должным почтением относился к Николе Пашичу, но мне всегда казалось, что полковник Апис гораздо ближе ему по духу. Общение посла с этим человеком было глубоко законспирировано, зато велико было значение полковника Артамонова, который связывал русское посольство с сербской разведкой. Апис доверял свои замыслы Артамонову, тот оповещал о них Гартвига, и требовалось одобрение посла, чтобы замыслы воплощались в дело… При этом Апис оставался в прекрасных отношениях с королевской семьей Карагеоргиевичей, а министры, покорные воле короля, поддерживали разведку своими субсидиями… Круг замыкался!

В самом конце 1913 года, минуя Артамонова, разведка нашего Генштаба завела для меня надежный «почтовый ящик» в аптеке на Призренской улице, чтобы впредь я действовал самостоятельно. Мне вменяли в обязанность негласный контроль за событиями в Белграде, я информировал Генштаб о делах в Сербии и даже… даже в нашем посольстве, где под руководством Гартвига крутились всякие бесы и бесенята. Наверное, я вел себя достаточно деликатно, ибо Артамонов, доверявший мне, не заметил, что я веду наблюдение и за ним.

То ли в декабре 1913 года, то ли в январе 1914-го я узнал, что Апис замышляет что-то крупное, но кто им будет взорван или зарезан — не установил. В разговоре с Артамоновым я умышленно повел речь о Франце Иосифе:

— Не думаю, что Сербия выиграет, если рамолика не станет. Он уже достаточно дряхл и настолько поглупел, что скоро загнется без посторонней помощи. Скорее для Сербии будет опаснее его наследник-эрцгерцог.

— Пожалуй, — согласился Артамонов. — Но сейчас Белград наладил связи с болгарскими революционерами, чтобы сообща с ними свернуть шею царю Фердинанду Саксен-Кобургскому.

— А я-то думал, что Аписа тревожит другой Фердинанд.

— Этот пусть еще поживет, — хмуро отозвался Артамонов. — А царь болгарский слишком связан с Германией и Австрией, и нам, русским, выгоднее устранить в Софии немецкое влияние.

Я подъехал к Артамонову с другого конца:

— А кто такие Виктор Чернов и Лев Троцкий?

— Русские политэмигранты. Первый — матерый эсер, у которого руки по локоть в крови, второй играл немалую роль в нашей социал-демократии… Почему вы меня о них спросили?

— Потому что с ними связаны сербские студенты в Лозанне, посвященные в дела боснийского подполья. А эти господа эмигранты любят хлебать пойло даже из чужого корыта.

Артамонов понял. Понял и ответил, что сербские студенты в Лозанне могут знать «от и до», но никак не больше, ибо они кормятся в основном лишь слухами.

— Но… откуда вы, коллега, об этом узнали?

— У меня свои «от и до», — намекнул я.

— Молчание — золото, — предупредил Артамонов.

— На золото и покупается, — отвечал я со смехом…

На самом же деле, освоясь в Белграде, я никого не подкупал, да и не было надобности сорить деньгами. Просто у меня окрепли дружеские связи с офицерами сербской армии, помнившими меня по давним событиям в конаке Обреновичей, многие из них видели во мне своего кровного «побратима».

В эти дни я, как «дописник», взял краткое интервью для «Биржевых Ведомостей» у славного воеводы (генералиссимуса) Радомира Путника, окончившего русскую Академию Генштаба. Воевода тоже состоял в обществе «Черная рука» и на мой вопрос об угрозе войны ответил уклончиво:

— Мы, сербы, верим, что Россия не оставит нас, как оставила во время боснийского кризиса, как пренебрегла нами в последнем разладе на Балканах. Конечно, случись война с Австрией, мы все будем раздавлены мощной пятой германского содружества, но… Все может обернуться иначе, и даже из пламени руин, подобно сказочному фениксу, возродится та «Великая Сербия», которая станет маткой в этом балканском улье, гудящем семейными раздорами…

\* \* \*

Извольский, автор боснийского кризиса, был сейчас нашим послом в Париже, и оттуда он, связанный по рукам и по ногам французскими масонами, сознательно разжигал войну в Европе, считая, что этой войной он лично «накажет» Австро-Венгрию за свое унижение в период кризиса. Алоиза Эренталя, обманувшего его в Бухлау, как последнего дурачка, Извольский считал своим личным врагом, но Эренталь скончался в 1912 году, его пост министра иностранных дел занял граф Леопольд фон Берхтольд.

Этот человек, умерший при гитлеровском режиме, в самый разгар Сталинградской битвы, перед смертью уничтожил все свои бумаги, вместе с ними сокрыв и свои преступления. Берхтольд долго был венским послом в Петербурге, весьма памятный всем нашим проституткам с Невского проспекта, а русское общество интересовалось им лишь как внуком композитора Моцарта. Но ведь никто в Европе не думал, что этот ветреный бонвиван станет министром. Тогда ходил слух, что Франц Иосиф — по дряхлости и слепоте — перепутал бумаги на столе и подписал его назначение в министры по ошибке. Император и сам удивился, когда с докладом о политике к нему в кабинет вошел сияющий граф Берхтольд.

— Помилуйте! Я ведь назначал не вас, а графа Сечени… Впрочем, не все ли равно, чью болтовню мне выслушивать!

Моцарт умер в нищете, а его внук стал миллионером, владея огромными поместьями в Венгрии и чешской Моравии. Он выгодно женился на графине Карольи, которая принесла ему в приданое замок и конные заводы. Связанный по жене с венской аристократией, Берхтольд, сам капиталист, и служил, естественно, запросам венской буржуазии. Правда, служитель он был паршивый, и, отсидев на Балльплатцене свои часы, бежал на улицу срывать цветы удовольствия… с прекрасных венок… Римский нунций Чацкий, живший в Вене, точно определил будущее:

— Этот вертопрах доконает бедную Австрию! Я вижу германизм чистой воды, а венский Балльплатцен сделался отделением берлинской Вильгельмштрассе…

Это Берхтольд и доказал во время Балканских войн, угрозами не допуская сербов к Адриатическому морю, именно на его совести вся кровь второй Балканской войны, когда он натравил Болгарию против Сербии и Греции. Берхтольд говорил:

— Дайте мне только повод, и я сведу счеты с Белградом!

Знает ли Берхтольд о том, какие «поводы» вызревают сейчас в преисподней Сербии? Вряд ли. Австрийские власти издалека чуяли брожение сербской молодежи, особенно среди студентов из оккупированной Боснии, учившихся в Белградском университете. Конечно, на Балльплатцене могли догадываться о роли «Народна Одбрана», может, они даже проникли внутрь мятежной «Млада Босна», но «Черная рука» оставалась для Вены незримой, как рука циркового престидижитатора, показывающего фокусы на фоне черного бархата. «Народна Одбрана» ловко укрылась за вывесками спортивных корпораций и общества трезвости, но, как и «Млада Босна», она подчинялась «Черной руке» полковника Драгутина Дмитриевича (Аписа).

Белград не слишком-то церемонился со своим грозным соседом на Дунае, и в день 80-летия императора Франца Иосифа газета «Политика» напечатала портрет террориста Богдана Жераича, а чтобы вышло крепче, тиснула и такие стихи:

Император, ты слышишь в треске револьвера, Как свинцовые пули пронижут твой трон? В феврале мне казалось, что дни Фердинанда болгарского уже сочтены, в заговор против него включились революционеры Македонии; Гартвиг даже не скрывал, что стрелять в царя будут русскими рублями, а сам Апис высказал мне одну фразу, которую потом почти дословно повторил Бенито Муссолини на страницах своей газеты «Аванти!»:

— Профессия королей — занятие слишком доходное, но они обязаны платить народам высокие налоги своей кровью…

В один из дней я выехал на посольскую дачу в Сенжаке, где меня никак не ожидал видеть Гартвиг, пребывающий в подозрительном возбуждении. Я спросил:

— Николай Генрихович, вам нездоровится?

Посол молча протянул мне вырезку из сербской газеты «Србобран», которая издавалась в Загребе; в ней говорилось о предстоящих маневрах австрийской армии в Боснии.

— Не знаю, насколько это верно, — заметил Гартвиг, — но инспектировать армию приедет сам эрцгерцог, которому не сидится в своем Конопиште. А нетерпение сербской молодежи столь велико, что выстрел может грянуть раньше, чем Россия успеет пришить последнюю пуговицу на своем мундире…

При этих словах мои глаза не полезли на лоб, а брови не вздернулись в изумлении. Я извлек из своего портфеля сараевскую газету «Вечерне Пошта», извещавшую о том же.

— Откуда она у вас? — удивился Гартвиг.

— От Данилы Илича, переводчика Максима Горького; с ним я познакомился в вашем же посольстве. Сейчас он живет в Сараево, и вот… как видите, переслал!

— Это похоже на предупреждение.

— Меня не стоит предупреждать, — отвечал я. — Просто я сам хотел предупредить вас… Думаю, вовремя!

Я имел немало случаев присмотреться к белградской молодежи с ее «нетерпением». Их патриотические общества напоминали итальянских карбонариев, но в них было немало и от русских народовольцев — с культом жертвенности во благо светлого будущего. Студенты-белградцы читали Герцена гораздо больше, нежели русские студенты, они штудировали Чернышевского, а стойкий образ Рахметова казался им идеалом. Подражая Рахметову, они избегали женщин, отвращались от вина, у них была ясная цель — пострадать ради объединения всех южных славян под эгидой Сербии, но для этой цели они избрали путь террора. Королевский тир в Топчидере гремел от выстрелов — молодежь училась стрелять, по рукам студентов Белграда ходила измятая фотография Франца Фердинанда, и слышались восклицания:

— Живео Богдан Жераич! Уедненье или смрт!

Они смутно знали о «Черной руке» Аписа, но эта рука уже развернула над Сербией знамя, на котором оскалился череп, а по углам знамени красовались нож и бомба…

…Мне предстояли неприятные испытания.

\* \* \*

Я не предпринимал никаких попыток к возобновлению знакомства с королем Петром, столь любезным ко мне в Петербурге, избегал встреч с королевичем Александром, да и не было в том необходимости. Александр наверняка знал о моем пребывании в Белграде, при желании он мог бы и сам найти повод для встречи со своим однокашником по Училищу Правоведения, но он этого не сделал. Старый конак, в котором прикончили Обреновичей, пустовал, словно проклятый, Петр Карагеоргиевич селился в новом конаке. Сыновей короля в поездках по городу сопровождал эскорт, а король Петр шлялся по городу без охраны, уже сгорбленный от старости.

Меня в эти дни больше занимали герои будущей драмы, которые перед выходом на авансцену политики таились за кулисами. Войдя в дружбу с майором Танкосичем, большим приятелем Аписа, я заметил его особенное внимание к Габриновичу, Принципу и Грабечу; однажды майор и сам проболтался:

— Эти юнцы готовы на все.

— Не слишком ли они молоды? — спросил я.

— Для них же лучше! — цинично пояснил Танкосич. — Они австрийские подданные, а по законам Австрии смертная казнь угрожает только тем, кто старше двадцатилетнего возраста.

— Значит, они согласны и умереть в тюрьме?

— Нет такой тюрьмы, из которой нельзя убежать, а Гаврила Принцип болен туберкулезом. Все равно не жилец на свете…

От Артамонова я знал, что чахоточный Принцип учится на пенсию, получаемую от сараевского купца Гриши Ефтановича и доктора Сполайковича, сербского посла в Петербурге:

— Он болен туберкулезом, и потому сам догадывается, что смерти ему не миновать… — невнятно пояснил атташе.

Принцип был приятный шатен с голубыми невинными глазами. Он целыми днями просиживал в библиотеках, читая запоем, казался замкнутым и отчужденным от мира. Когда Неделько Габринович получил доступ в королевский конак, беседуя с наследником престола Александром, мои подозрения усилились. А вскоре после этой аудиенции вся троица сараевских студентов отправилась в Крагуевац, где им выдали оружие и метательные бомбы из государственных арсеналов. Пришлось потревожить Артамонова:

— За битые горшки дорого платят, и боюсь, что платить станет Россия… Полковник Драгутин Дмитриевич привык советоваться с вами по любому вопросу, так я вас прошу, Виктор Алексеевич, чтобы он не расколол горшки раньше времени.

Артамонов хорошо меня понял:

— Сейчас в военных кругах Белграда убеждены, что маневры под Сараево завершатся нападением на Сербию, и хотят его упредить. Я докладывал в Петербург о подобных настроениях в Белграде, но ответ получил невразумительный…

Зато меня вразумили… Через «почтовый ящик» на Призренской улице Генштаб уведомил меня, что графиня Хотек, жена эрцгерцога, уже выехала в Илидже — лечебный курорт под Сараево, где она и станет дожидаться прибытия мужа. Генштаб приказал мне выехать в Боснию, чтобы пронаблюдать за проведением маневров австрийской армии. Как и под каким видом я это сделаю — указаний не поступило.

Маневры намечались на день Видовдан 28 июня 1914 года, так что я не спешил: у меня было время подумать…

3. Форс-мажор

Навыки тайного агента я приобрел даже не в Германии, которую покинул «на полных порах», а, скорее, именно в Сербии, ибо местная жизнь часто ставила множество загадок, которые следовало разрешить без промедления. Вроде бы еще ничего страшного не произошло, но отдельные моменты уже давали материал для выводов. Из австрийских гимназий толпами бежали сербы-подростки, желая учиться в Белграде, а сербские офицеры, служившие в австрийской армии, массами дезертировали, чтобы служить своему народу. Все это частные случаи, но они складывались в общую картину, предупреждающую меня о том, что вскоре возникнет нечто непредсказуемое, что в дипломатии принято именовать «форс-мажором».

Существует версия, которую никто не подтвердил, но которую никто и не опроверг, будто накануне сараевских событий вдруг всполошился сербский посланник в Вене — Иован Иованович. Через своего брата Любу Иовановича, министра в кабинете Николы Пашича, он был предупрежден, что в Боснии запахло порохом. Напуганный этим, он посетил австрийского министра Леона Билинского, ведавшего делами Боснии и Герцеговины. Иованович говорил лишь намеками.

— В австрийской армии служат и сербы, подданные венского императора. Нет уверенности, что кто-либо из них во время маневров не заменит холостой патрон боевым, и кто знает — нет ли опасности для эрцгерцога.

Сказать больше того, что им было сказано, Иованович не осмелился, ибо тогда Билинский мог бы поставить вопрос: если Белград беспокоится, значит, в Белграде что-то известно? Билинский не придал словам Иовановича должного внимания, а может, и не захотел. Не захотел внимать намекам и канцлер Берхтольд… Во-первых, граф был слишком увлечен гривуазными приключениями, а во-вторых, Берхтольд принадлежал как раз к той элите венского общества, которая радовалась бы устранению Франца Фердинанда. Наконец, Берхтольд сам искал повод для нападения на Сербию, а в этом случае холостые патроны можно заменить боевыми…

Никола Пашич, в свою очередь, не слишком-то доверял Апису, ибо «Черная рука» откровенно ковырялась в его государственных бумагах, и потому, чтобы противостоять Апису, премьер ввел в тайную организацию своего личного агента. Так что глава сербского кабинета кое-что знал. В конце мая на тайном совещании Скупщины он ошеломил своих министров.

— Что-то замышляет против нас Вена, — примерно так сказал Пашич, — но что-то замышляют и у нас против Вены… Балльплатцен уже предупрежден мною. Молодые беженцы хотят вернуться в Боснию, чтобы там устроить эрцгерцогу такую пляску святого Витта, от которой затрясется вся Европа… Я вынужден, — здесь я цитирую точные слова Николы Пашича, — отправить особые инструкции нашим пограничным властям на реке Дрине, чтобы они воспрепятствовали молодежи возвращение в Боснию.

Говоря так, премьер рисковал очень многим, но старика пугала война, которая не оставит в Сербии камня на камне, и он действительно предупредил пограничников. Пашич не учел главного — на холодной Дрине служили подчиненные Аписа, у которых кровь была слишком горячая.

— Мы пропустим через Дрину хоть черта лысого, — решили они, — лишь бы Фердинанда не было на нашей земле…

Именно в эти сумбурные дни я навестил аптеку на Призренной улице. Аптекарь сказал, что «почтовый ящик» пуст, и тут же шепнул, что на днях к нему заходил майор Войя Танкосич, просил изготовить ампулы с цианистым калием.

— Вы приготовили?

— Как можно отказать Танкосичу?

— Сколько ампул?

— Три…

В ночь с 1 на 2 июня с помощью пограничников Гаврила Принцип, Неделько Габринович и Трифко Грабеч, обвешанные оружием, пересекли границу и тайными «каналами» прибыли в Сараево, где их с нетерпением ожидали Данило Илич и Раде Малобабич.

\* \* \*

Итак, у меня оставалось время до начала австрийских маневров, но его совсем не оставалось, чтобы упредить непредсказуемый «форс-мажор», замышляемый в Сараево. Кроме своего сердца и своих наблюдений, у меня сейчас не было иных советников — Генштаб далеко, а «Черная рука» уже собралась в крепкий кулак для решительного удара.

До сих пор считаю, что мои рассуждения были правильны: устранив Франца Фердинанда, Апис и его подручные окажут большую услугу не Сербии, а именно Вене, которая любое покушение на эрцгерцога воспримет как долгожданный и законный повод для нападения на Сербию. Артамонову я сказал:

— Вам желательно устроить хороший пожар в публичном доме во время сильного наводнения. Но подумали ли вы с полковником Дмитриевичем о кошмарных последствиях?

Далее наша беседа напоминала горячий бой: на все мои атаки военный атташе отвечал контрударами.

— Сейчас, — доказывал я, — самое лучшее для сохранения мира, если произойдет естественная «утечка информации», чтобы Европа узнала о подготовке покушения на Франца Фердинанда, и тогда Апис не рискнет на это убийство.

— Глупости! — отвечал Артамонов. — Именно сейчас самое удобное время разделаться с Австрией… Чего бояться? Это же не государство, а труп, давно изъеденный червями.

— Я боюсь, что одна лишь пуля может уподобиться мелкому камешку, который сдвигает в горах снежные лавины… Мы, разведка, не имеем права вызывать войны. Нам, разведке, более пристало предотвращать возникновение войн.

— Вы, — парировал Артамонов, — не хуже меня знаете обстановку на Дунае и понимаете, что Габсбургам пора заказывать роскошный гроб… довольно они насмердили! Даже у нас в России канцлер Нессельроде был покорным слугою Меттерниха!

— История, — отвечал я, — сама назначит Габсбургам свои сроки, а вы заодно с Аписом желаете толкать историю в спину, чтобы она поспешила, но история не любит насильственных понуканий… Виктор Алексеевич, вы разве не подумали о том, что выстрел в Сараево может вызвать мировой резонанс? Или вы имеете особые полномочия из Петербурга?

— Никаких полномочий от Генштаба я не имею, — сознался Артамонов. — Вы сами понимаете, что в Генштабе, узнай они об этом, мне просто свернули бы шею. Впрочем, — засмеялся Артамонов, — если вы так настоятельны, я могу показать вам то, что ответили из Генштаба на мой запрос…

Он предъявил мне копию шифровки, где было написано по-французски: «ДЕЙСТВУЙТЕ, ЕСЛИ НА ВАС НАПАДУТ…»

— Но ведь никто еще не напал, а вы уже начинаете действовать, — сказал я. — Однако эта шифровка достойна помещения на помойке, ибо напоминает фальшивку.

Виктор Алексеевич надолго застыл в молчании.

— Не ведете ли вы свою игру… помимо меня? — вдруг спросил он, обозленный. — Я, упаси бог, не собираюсь вам угрожать. Но сказанное вами в моем присутствии не может быть сказано перед Аписом, ибо характер этого человека вам хорошо известен. Он не простит, если вы нарушите его планы.

Не угрожая, Артамонов все-таки угрожал. «Черная рука» сама по себе цепко держала меня за горло, чтобы я не рыпался, именно так я и понял предупреждение Артамонова. Однако атташе ничего не выиграл, ибо я не покорился ему.

— Виктор Алексеевич… дорогой мой, — нежно проворковал я, — вы напрасно решили, что я устрашусь расправы со стороны сербской разведки. Повторить сказанное перед вами я берусь и перед полковником Драгутином Дмитриевичем.

— В таком случае сразу составьте завещание.

— Увы! Прожив сорок лет на этом поганом свете, я не нажил ничего такого, что следовало бы завещать…

Я не пошел в сербский генштаб, а направился сначала на Бранкову улицу, надеясь застать Аписа в старом ресторане «Милица», где он привык ужинать с влюбленными в него женщинами. Но там его не оказалось, а буфетчик сказал:

— Он теперь в «Казбеке» на Скадарской, где не пахнет свининой, зато шашлыки из баранины…

Скадарская улица с обветшалыми лавками напоминала трущобы времен турецкого владычества. Над крышами, перекошенными от ветхости, торчала башня минарета, а вдалеке высился кирпичный брандмауэр кинематографа «Балкан». В отдельной клетушке «Казбека» крепко почивал на тахте Апис в расстегнутом мундире. Я бесцеремонно разбудил его, высказав примерно те же соображения, что и Артамонову. Апис равнодушно выслушал меня и, ковыряя пальцем в ухе, сказал, что «утечка информации» уже произошла.

\* \* \*

— Но при этом на венском Балльплатцене даже кошка не шевельнулась… Наверное, — сказал Апис, — у кого-то из окружения Николы Пашича не выдержали нервы. Конечно, если бы Франц Фердинанд нанес в Белград визит вежливости, я бы сам кормил его шашлыками. Но ведь он, гадина, собирает войска на наших границах, чтобы грозить нам из Боснии. «Млада Босна» не позволит ему устраивать маневры под боком у нас. Генеральный штаб Петербурга извещен мною обо всем…

— Но Артамонов… — заикнулся я.

— Артамонов не знает того, что известно мне. А на твоем месте, друже, я бы срочно выехал тоже в Сараево.

Я понял, как далеко он метит, и сказал, что ответственность Сербии за покушение не стоит перекладывать на Россию.

— Войны не будет, — хмуро произнес Апис.

По его словам, Вена сама заинтересована в устранении эрцгерцога, в доказательство тому он заявил, что на Балльплатцене никак не реагировали на предупреждение, словно давая понять всем нам — убирайте наследника, нам его не жалко.

— В конце концов, — заговорил Апис леденящим тоном, — покушение на Франца Фердинанда всегда можно приписать самой Австрии, желающей найти предлог для нападения на Сербию. Не мы, а именно австрийцы нарочно прикончили своего эрцгерцога, чтобы потом расквитаться с нами…

Не скрою: изворотливость ума Аписа меня просто восхитила. В какой-то момент я даже подумал, что он прав. Ведь в запасе у Франца Иосифа был еще целый клан из 80 герцогов, каждый из которых мечтает заполучить престол Габсбургов, и после выстрела Гаврилы Принципа последуют восхищенные рукоплескания венских аристократов.

— Конечно, — вяло согласился со мною Апис, зевая, — конфликт с Австрией возможен. Но, скорее, все завершится сварою дипломатов, которые с того и живут, что грызутся словно собаки. Сербия же выигрывает в любом случае, если горизонт на Балканах очистится от автора идей триализма, который более всего опасен для славянского мира…

Я убедился, что мои доводы бесполезны, и хотел уйти, но Апис задержал меня, уговорив выпить с ним. Почти ревниво он пронаблюдал, как огненная ракия перемещается из фужера в мое нутро, и держал шашлык наготове.

— Теперь закуси! Мы одни не останемся, — вдруг захохотал он, словно Мефистофель. — Франция вложила в наши банки столько добра, она дала нам столько пушек от фирмы «Крезо», что Париж теперь не позволит России остаться в стороне, когда нас станут калечить. Хотят в Петербурге или не хотят, готова ваша армия или нет, — это уже безразлично, если один выстрел в Сараево соберет всех нас в едином окопе…

Провожая меня, он добавил с усмешкой:

— Кстати, друже, ты на Призренскую улицу больше не ходи. Этот твой аптекарь вчера помешался… Пришлось отвезти беднягу в дом для умалишенных. Но там мест свободных не оказалось, и потому я велел поместить его в тюрьму Главняча… Вот ведь как бывает! Береги себя, друже…

В самом деле — разве Апис не страшный человек?

4. Свидание в Конопиште

Странно! Я заново перелистал мемуары германского кайзера Вильгельма II и его гросс-адмирала Тирпица, но оба они, болтая о чем угодно, даже не заикнулись о том, что 12 июня 1914 года приезжали в Конопишт для свидания с эрцгерцогом.

Конопишт — замок в сорока милях от Праги, построенный еще в XIV веке. О том, как там было при Франце Фердинанде, мог бы лучше всех рассказать чех Позель, управляющий замком, который дожил до 1945 года, встречая здесь наших солдат. Позель провел их в громадный зал, и тут солдаты ахнули: весь зал от пола до потолка был плотно забит книгами, похищенными гитлеровцами из советских библиотек. Потом долго шли на восток эшелоны, увозя эти сокровища обратно на родину…

Позель, прожив долгую жизнь, повидал на своем веку многих знатных гостей замка и мог бы сказать русским солдатам:

— Здесь раньше процветал иной мир, а теперь Гитлер все разворовал для своего «музея фюрера» в городе Линце…

Конопишт был музеем, и Франц Фердинанд недаром писал о себе, что он страдает музеоманией. Эрцгерцог собрал драгоценную коллекцию старинного оружия, даже арабского и турецкого, любил похвастать ружьем Лоренцо Медичи, прозванного «Великолепным». Набожный католик, он молился перед староготическим алтарем, который сам по себе являлся уникальным памятником искусства. Все комнаты замка были обвешаны полотнами знаменитых мастеров и гобеленами, обставлены фарфором и старинною мебелью. Конопишт благоухал цветами, в которых эрцгерцог понимал толк, и в этот благоуханный «рай», где не хватало только порхающих над клумбами ангелов, однажды заявился сам грозный Цольре — германский император со своим гросс-адмиралом. Свидание в Конопиште до сих пор задернуто траурным флером, но до нас дошла четкая программа кайзера:

— Пора всем сербам выбить их последние зубы!

(«Советская Историческая Энциклопедия» по этому поводу сообщает, что в Конопиште «обсуждался план нападения Австро-Венгрии на Сербию, который был одобрен Вильгельмом II; при этом герм. император обещал Австро-Венгрии помощь и поддержку Германии», — таким образом, полковник Апис был прав в своих подозрениях…) Известен и вопрос эрцгерцога: гарантирует ли Германия свою военную помощь, если на защиту Сербии подымется вся Россия?

— Если мы за вас не вступимся, — отвечал Вильгельм II, — тогда сербы станут выбивать ваши последние зубы… С сербами надо покончить именно теперь. Цольре зовет на бой!..

Памятуя о детях эрцгерцога от графини Хотек, которым не хватало престолов, кайзер обещал их отцу, что, разгромив Россию и Сербию, он создаст два королевства для детишек: одно — польское, а другое — южнославянское, куда войдут и греческие Салоники… Управляющий замком Позель мог поручиться, что в Конопиште не было никаких шпионов, способных подслушать эти беседы. Но русская разведка сработала идеально. Генштаб почти мгновенно известил Артамонова о беседах в Конопиште. Артамонов сразу же оповестил о них Аписа.

— Теперь, — ответил тот, — не осталось сомнений в том, что Франц Фердинанд затем и устраивает маневры под нашим боком, чтобы с ходу развернуть войска на Сербию… Один хороший обстрел с фортов Землина — и от Белграда останутся руины!

Конопишт имел завершение. Пока там совещались, в Констанце проходила встреча Сазонова с Братиану, министром Румынского королевства. И вот тут-то последовал сногсшибательный вопрос Сазонова к Братиану:

— Что произойдет, если Франц Фердинанд будет убит?..

Неужели пророчество, взятое с потолка? Или предупреждение, основанное на раскрытии конопиштской тайны? Можно думать, Сазонов что-то уже знал. Но знали ли в Париже и в Лондоне? Возможно. Ибо космополитические связи масонства тянулись, как телеграфные провода, от самого Белграда до… до… до… Не знаю — докуда они тянулись, но международный конгресс масонов в 1926 году собрался именно в Белграде.

Подводя общие итоги своей подпольной работы, масоны сочли нужным не скрывать главное: «ИЗ БЕЛГРАДА НАЧАЛАСЬ МИРОВАЯ ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСУЩЕСТВИЛА МНОГИЕ ЧАЯНИЯ МАСОНСТВА».

Вот тут поневоле разведешь руками…

\* \* \*

15 июня — сразу после Конопишта, после Констанцы, где Сазонов договорился о союзе России с Румынией, — Драгутин Дмитриевич начал пороть горячку. Он срочно созвал исполнительный комитет «Черный руки», прямо поставив вопрос:

— Убивать эрцгерцога или не убивать?

Возникли жаркие прения, и все члены комитета выступили против покушения. Аписа поддержал только майор Танкосич, и тогда Апис решительно пресек все возражения:

— Хватит! Машина уже запущена мною, и остановить ее никому не дано. Мои люди готовы. Они ждут лишь появления Фердинанда в Сараево… предупредить их уже не осталось времени!

Июнь близился к концу, и я, связанный конкретным указанием Генштаба, просил Артамонова, чтобы он известил меня, когда эрцгерцог двинется в путь:

— Графиня Хотек уже выехала в Боснию.

— Значит, и вы решили быть в Сараево?

— Да.

— В таком случае примите от меня подарок…

Виктор Алексеевич вручил мне четыре стальные пластины. Две я вложил во внутренние карманы пиджака, а две другие укрепил на его подкладке, оберегая себя на уровне лопаток. Гартвиг сообщил мне адрес Гриши Ефтановича:

— Это наш человек в Сараево, страдающий за все беды Сербии, и на русских людей он готов молиться…

Что творилось тогда в конаке, чего домогался премьер Никола Пашич — этого я не знаю. Но историки иногда намекают, будто как раз в это время Апис готовил тронный переворот в Белграде с кровопролитием. Однако все обошлось без крови, и даже Никола Пашич не пострадал. Король Петр быстро дряхлел, «Черная рука» принудила его к отречению, а место старика на престоле династии Карагеоргиевичей занял его сын — Александр. Я догадывался, что в этой монархической рокировке, искусно проводимой гроссмейстером Аписом, военная хунта Сербии желала видеть в короле своего соратника, которого бы Апис превратил в своего подручного…

— Пора, — шепнул мне в эти дни Артамонов.

Я тронулся в путь одновременно с Францем Фердинандом: он ехал на маневры как генерал-инспектор австрийской армии, а я ехал, чтобы проследить за этими же маневрами как тайный агент российского Генштаба. Не сомневаюсь, что мы оба были заинтересованы в успехе. О своей безопасности мне говорить не пристало, но зато я коснусь вопроса о риске всей этой затеи. За четыре года до визита эрцгерцога Сараево посетил сам Франц Иосиф, задав немало хлопот тайной полиции. Подозрительных горожан выслали в деревни, туча шпионов кидалась туда, где слышалась сербская речь, а вместо нарядной и ликующей толпы, должной изображать радость при виде «обожаемого монарха», вдоль улиц Сараево выстроились плотные шпалеры войск и полиции. Император особенно боялся сараевских женщин-мусульманок, закутанных в плотные одежды:

— Откуда я знаю? Может, из-под их вуалей, закрывающих лица, вдруг выглянет бородатая морда анархиста Бакунина…

Как бы то ни было, но эрцгерцог не пожелал выселения подозрительных, не хотел он и войск для охраны:

— Если мне суждено умереть «на ступенях трона», так тут никакая охрана не поможет. Я верю в фатум, хотя дурные предчувствия, не скрою, с юных лет угнетают мою душу…

Леон Билинский, предупрежденный сербским посланником, все-таки выделил в Сараево трех филеров из состава венской полиции, велев им ехать в Сараево и пошататься по кафанам среди публики. Ему сказали, что трех филеров мало, а на целый отряд охраны потребуется семь тысяч крон.

— А где их взять? — отвечал Билинский. — Наш император уцелел при визите в разбойную Боснию, так помилует бог и его престолонаследника…

Когда поезд с эрцгерцогом тронулся в сторону Триеста, в вагонах погасло электрическое освещение, и в салоне Франца Фердинанда адъютанты запалили церковные свечи.

— Совсем похоронная обстановка! — воскликнул он. — Не хватает лишь пения херувимов, возносящих мою грешную душу на небеса… Великий боже, на тебя единого уповаю!

Из Триеста его на корабле доставили в устье реки Наренты, откуда он поездом добрался до Мастара, бывшего столицей Герцеговины, где Фердинанда никто даже пальцем не тронул. Не обидели наследника и в пути до курорта Илидже, где его устала ожидать любимая и любящая жена.

— Наконец-то, мой друг! — расплакалась Хотек. — Мне так страшно… такие ужасы рассказывают про этих сербов!

Вечером 25 июня эрцгерцог с женою анонимно навестили Сараево, чтобы пошляться по магазинам, придав себе вид досужих покупателей. Чету все равно узнали, супруги оказались в окружении публики, но — удивительное дело! — никто в них не стрелял, никто не кидался с ножиком, не рвались под ними бомбы.

— Я начинаю любить босняков, — признался эрцгерцог Софье. — Смотри, с какой любезностью они помогают нам выбрать ковны для детской комнаты в Конопиште…

Я снимал номер в гостинице Гриши Ефтановича и, глядя в окно, хорошо видел «высоких гостей», почтивших Сараево своим визитом, видел, как с коробками покупок они сели в открытую коляску, которая завернула в сторону набережной. Все это выглядело чересчур обыденно, даже трогательно, если бы… Если бы в толпе людей, махавших отъезжающим, я не увидел Гаврилу Принципа! Буквально через минуту он вбежал ко мне в комнату, не в силах перевести дыхание.

— Какой ужас! — простонал он, падая на диван и трясясь от рыданий. — Ведь я стоял в двух шагах от Фердинанда, я даже помог графине Хотек взобраться в коляску, а при мне… Боже праведный, при мне не было даже револьвера!

Я просил Принципа успокоиться, даже утешал его:

— Что вы так переживаете? Уж не думаете ли, что Фердинанду и его жене очень хотелось, чтобы в них стреляли…

— Но я себе этого не прощу! — поклялся Принцип. — Я сейчас же поеду в Илидже и там прихлопну обоих.

— Не делайте глупостей, — резко возразил я. — Иначе мне никогда не петь и не плясать на вашей свадьбе…

Получив «Вечерне Пошту», я еще раз подивился глупости австрийских властей, которые, кажется, делали все, чтобы сознательно подставить лоб эрцгерцога под пулю террориста. Сараевская газета четко вырисовывала будущий маршрут движения эрцгерцога по городу, который он торжественно посетит после маневров; указывались ратуша, музей, арсенал и прочее. Однако я разуверился в покушении и отбыл на маневры, в которых участвовали боевые дивизии Австрии, собранные из гарнизонов Герцеговины, Далмации и Боснии. Помимо эрцгерцога, на маневрах присутствовал и Франц Конрад-фон-Гетцендорф, начальник австрийского генштаба; наверное, по его почину для развертывания войск и горной артиллерии избрали труднопроходимые и совсем безлюдные места, чтобы здесь не появились посторонние. Я удачно маскировался под беднягу-крестьянина, был обут в опанки, в кожаных штанах-чакширах, и когда меня окликали часовые, я показывал им уздечку:

— Люди добрые, лошадь сбежала, какой день ищу…

В долинах проливались дожди, а выше — в горах — сыпал снег. Ничего такого, что могло бы встревожить наш Генштаб, я не высмотрел. Однако, издали наблюдая за маневрами, я лишний раз убедился в том, что армия занята своим обычным делом, никакого коварного нападения на Сербию не предвидится. «А значит, — решил я, — и повода к войне не возникнет…»

Вернувшись в Сараево, я сразу связался с русским консулом, прося его зашифровать мое донесение для Петербурга.

— Вы еще задержитесь в Сараево? — осведомился консул.

— Только до Видовдана, — отвечал я. — Поверьте, мне желательно как можно скорее убраться отсюда ко всем чертям…

Говоря так, я ведь не думал, что день святого Витта положит четкий рубеж не только в моей жизни, но и в жизни миллионов людей: Видовдан проведет четкую грань между войной и миром… В моем гостиничном номере было второе окно, выходившее на узкий двор, в котором размещались конюшни для лошадей Гриши Ефтановича. Я машинально запомнил, что вчера с улицы во двор привезли громадный воз с сеном…

5. Видовдан

Рано утром 28 июня эрцгерцог с женою и свитою выехал в Сараево на легковых автомобилях. В кортеже было четыре машины, Франц Фердинанд с графиней Хотек ехали на второй, в которой место подле шофера занимал боснийский губернатор — генерал Оскар Потиорек. В первом автомобиле (самом опасном, ибо он был первым) сидели начальник полиции Сараево и бургомистр города — Феким-Эффенди. Наступал чудесный день.

— Сначала по набережной Аппель едем в ратушу, — указал эрцгерцог. — Но я изменил бы сам себе, если бы после обеда в ратуше не навестил сараевский музей истории…

Город казался праздничным, Аппель и даже мосты через Милячку были переполнены народом. Восточный колорит Сараево сохранился во множестве бань, медницких и ювелирных лавок, в кофейных и мечетях, которые соседствовали с древними синагогами, остро вонзались в небо пики католических церквей, а в запустении трущобных переулков притихли православные храмы сербов. Мусульмане, каких в городе было немало, вели себя с показной преданностью венскому престолу; в каверзном вопросе, кому поклоняться — Вене или Белграду, турки не отставали от хорватов-католиков, восторженно приветствовавших Габсбургов…

Много лет прошло с той поры, и сейчас многое осмыслено заново — совсем не так, как думали раньше. В новом Сараево социалистической Югославии все так же грохочет под мостами Милячка, а в 1953 году распахнулись двери музея «Млада Босна», и теперь туристы замолкают на тротуаре набережной, где в жаркий асфальт вделан трагический отпечаток ступней человека… Именно на этом месте стоял Гаврила Принцип!

При нем был револьвер, а в запотевшем кулаке он сжимал ампулу с цианистым калием. Как хотите, но это был его праздник — день Видовдан, День национальной скорби всех сербов.

Первый автомобиль кортежа уже выезжал на Аппель…

\* \* \*

Приодевшись франтом, я тоже затерялся в толпе, разделяя с нею свой восторг верноподданного. Конечно, от меня не укрылось размещение террористов, занявших боевые посты вдоль всего маршрута кортежа. Возле здания Австрийского банка я встретил Данилу Илича, а возле проулка, ведущего к проспекту Франца Иосифа, заметил и Гаврилу Принципа, изнывающего в нетерпении. Мне бросилась в глаза и халатность охраны, явно видимая даже непрофессионалу. Грешным делом, я подумал тогда, что Апис все-таки прав: австрийские власти будто нарочно подставляли Франца Фердинанда под пули, чтобы сделать приятную сенсацию для венской знати…

Мне казалось, что лучше уйти, и я энергично начал пробираться через ликующую толпу, машинально отметив время — десять часов двадцать пять минут. Над моей головой летели букеты цветов, которыми католики и мусульмане забрасывали именно вторую машину в кортеже… Именно в это самое время, отмеченное на моих часах, возникла первая мировая война!

…Роскошный букет будто плыл по воздуху, запущенный издалека сильной рукой, а за ним, словно за ракетой, тянулся хвост дыма. В букете что-то щелкнуло, графиня Хотек вскрикнула, а Франц Фердинанд геройски отбил бомбу в сторону. Кортеж продолжал движение, и бомба лопнула под третьим автомобилем, в котором ехали придворные. Взрыв разметал начинку снаряда, составленную из ржавых гвоздей и мелкой «сечки» свинцовой проволоки. Но удар взрыва оказался очень мощным. Внутрь магазинов вогнулись даже металлические жалюзи, в ближних домах со звоном посыпались стекла из окон, а в толпе встречающих истошно завопили раненые люди…

— Стой! — велел Потиорек шоферу, и кортеж замер.

— Кто пострадал? — обернулся назад эрцгерцог.

Софья Хотек все время хваталась за шею.

— Жива ли графиня Ланьюс? — спрашивала она. — Если жива, пусть подойдет. У меня что-то случилось с шеей… жжет!

Придворная дама из третьей машины не пострадала. Подбежав, она сразу расстегнула кнопки на воротнике платья Хотек и увидела шрам — след от взрыва капсюля бомбы.

— Вам повезло, — сказала Ланьюс, — а вот бедняжка граф Мериции уже без сознания… из головы его — фонтан крови!

Франц Фердинанд обратился к Потиореку:

— Генерал! В хороший городок вы меня завезли… Не знаю, чем отблагодарить вас. Ведь если меня разорвут на сто кусков, убийца получит удобную камеру в тюрьме, а его белградские друзья помогут ему бежать, и тем все кончится…

Третий автомобиль был разворочен взрывом, бомба вырыла под его колесами громадную яму. Потиорек доложил:

— Не волнуйтесь! Преступник уже в наших руках…

Но бомбометатель не сдавался. Он ловко выкручивался из рук полиции и добровольных ее усердников из числа хорватов. Еще рывок — и вот он, перемахнул через парапет набережной Аппель, кинулся «солдатиком» в холодные воды Милячки.

— Держите его… уплывет! — завопил Потиорек.

Все боялись. Из парикмахерской вдруг выскочил цирюльник с расческой, заложенной за ухо, и защелкал ножницами:

— Во имя закона… расступитесь… я умею плавать!

Вслед за парикмахером сиганули в реку и стражи порядка. Настигнутый под мостом, преступник отбивался даже в воде, но все-таки был схвачен и вытащен на мостовую. Здесь его сразу начали зверски избивать. Били и спрашивали имя.

— Неделько Габринович, — сказал он, весь в крови.

Из кармана его пиджака вытащили мокрую газету и развернули ее. Это была газета сербских радикалов — «Народ».

— Ах, ты еще и серб? — и его стали бить снова.

— Да, серб, — кричал Неделько, — и горжусь этим…

Настойчиво продираясь через сумятицу галдящей толпы, чтобы поскорее укрыться в гостинице Гриши Ефтановича, я вдруг увидел Гаврилу Принципа, дежурившего у Латинского моста.

— А где Грабеч? — шепнул я. — Неделько взяли.

— Сейчас я пойду и… застрелю его.

— Чем он виноват?

— Ничем, но он может не выдержать пыток в полиции и всех выдаст. Лучше сразу конец ему. Затем я пущу себе пулю в лоб, чтобы никаких свидетелей не осталось.

— Где Грабеч? — повторил я вопрос.

— А черт его знает… в этой толпе не разберешь…

Я вернулся в отель, уверенный, что все кончилось.

\* \* \*

Нет, не все! Сараевские власти ожидали высоконареченную чету в городской ратуше, и Феким-Эффенди, стоя внизу лестницы, репетировал речь, чтобы приветствовать высокого гостя. Франц Фердинанд сразу перебил его болтовню:

— Хватит, господин бургомистр! Что мне с ваших слов, если на улицах города нас забрасывают бомбами?..

Феким-Эффенди заткнулся. Эрцгерцог сам произнес речь.

— Я надеюсь, — с пафосом заявил он, — ликование жителей Сараево вызвано даже не лицезрением моей особы, а именно тем обстоятельством, что злодейство сербских революционеров не удалось… Дорогие жители, я счастлив быть душой с вами!

Очевидцы заметили, что эрцгерцог был страшно бледен, графиня Хотек тоже белее полотна. Но оба они держались с большим достоинством и хладнокровием. Церемония в ратуше длилась краткие минуты. Начальник полиции настоятельно умолял эрцгерцога прервать поездку по городу, ибо поручиться за безопасность не мог. Об этом же просила мужа и графиня Хотек.

— Нет смысла испытывать судьбу далее. Помните, друг мой, что у нас дети… Не оставим же мы их сиротами!

В эрцгерцоге никогда не угасал пыл «музеомана»:

— Но я же еще не видел городского музея… как можно? Потом я сам буду горько жалеть об этом.

— Тогда, — подсказал Потиорек, — прикажите вооружить полицию палками, и пусть она разгонит всю сволочь с улицы, чтобы жители разбежались по домам и закрылись.

— Не делайте меня смешным, — возразил эрцгерцог. — Я ведь приехал сюда, чтобы люди видели меня. Наконец, я обязан заехать в госпиталь, чтобы навестить раненого графа Мериции!

На том и порешили. Потиорек предупредил шофера ведущей машины, чтобы гнал кортеж на большой скорости:

— Прямо по набережной Аппель. Жми клаксон, чтобы все разбегались. А я поеду с его высочеством на второй машине…

Тронулись. Замычал клаксон, распугивая зевак. Придворный граф Гаррах вскочил на подножку герцогского автомобиля.

— К чему это? Сойдите, — велел ему Франц Фердинанд.

— Нет, — возразил Гаррах, — я должен исполнить свой долг, согласный закрыть вас от пуль даже своим телом…

Кортеж двинулся очень быстро. И вдруг шофер первой ведущей машины круто завернул с набережной в тесный проулок улицы Франца Иосифа, а шофер второй машины, думая, что так и надо, тоже завернул свой автомобиль в проулок. Потиорек, вскочив с сиденья, треснул его по морде:

— Куда? Ведь было сказано, что ехать прямо…

— Слушаюсь, — отозвался шофер, резко затормозив.

Он пытался развернуть автомобиль в узком проулке, выкатив радиатор машины на панель тротуара, и здесь застрял. Народ, увидевший Франца Фердинанда, начал орать:

— Живео наш добрый герцог… живео!

Грянул выстрел. Графиня стала подниматься и упала, обнимая мужа. Принцип, даже не целясь, послал в нее вторую пулю. Третья сразила Франца Фердинанда, успевшего сказать:

— Софи, ты обязана жить… ради наших детей.

Эти слова были сказаны им уже полумертвой жене. Изо рта его хлынула кровь, и они оба застыли, упираясь друг в друга.

— Помогите! — завопил Гаррах. — Убивают!..

— Скорее в конак, — велел Потиорек шоферу…

Началась паника. Публика кинулась бежать, насмерть затоптав одну барышню-хорватку, другие накинулись на стрелявшего, зверски его избивая; Гаврила Принцип, уже лежа на мостовой, принимал удары как должное, восклицая:

— Живео Сербия… живео сербы… живео, живео!

— Бомба! — раздался чей-то возглас.

В стороне, под ногами людей, каталась из стороны в сторону, словно пустая бутылка, «адская машина», которую Принцип не успел швырнуть под колеса автомобиля. Избиваемый, уже почти искалеченный, он раздавил на зубах ампулу с ядом, но его тут же вырвало. Какой-то хорват в белой юбке и черном жилете подскочил к нему, сдирая с лацкана его пиджака трехцветный значок «Великой Сербии»… Хорват кричал:

— Смерть сербам! Всех вырезать сразу…

Лишь теперь полиция очухалась, Потиорек призвал ее:

— Немедленно провести обыски и аресты всех подозрительных в городе… Никого не жалеть! Всех тащите в тюрьму.

В сараевском конаке были созваны по телефону лучшие врачи города, но их попытки оживить эрцгерцога и его жену оказались бесполезны. Духовники провозгласили «глухую исповедь», уже не доходившую до сознания обреченных. Около 11 часов с четвертью врачи констатировали смерть эрцгерцога, а через несколько минут скончалась и графиня Софья Хотек, с которой Ланьюс тут же сняла бриллианты…

В соседней комнате Потиорек раздавал пощечины трем опытным венским филерам. Он их лупил и приговаривал:

— А ты куда смотрел? А ты что видел?

— Да мы смотрели, — отзывались филеры, покорно принимая удары. — Если бы это в Вене, а здесь… город чужой, народ какой-то сумасшедший… вон послушайте, что горланят!

Потиорек накинулся с кулаками на шофера первой машины, который непонятно почему завернул весь кортеж автомобилей в тесный проулок, где и нарвался на Принципа:

— Сознавайся, что был в сговоре с убийцами!..

…Почти сразу началось бегство сербов из Сараево.

\* \* \*

По городу уже двинулись демонстрации:

— Смерть сербам! Раздавим шайку Карагеоргиевичей!

Начался погром, схожий с еврейскими погромами. Мусульмане и хорваты, хлынув по улицам, разбивали витрины, грабили лавки сербов, а чиновники, разъезжая по городу, зачитывали приказ Потиорека о том, что в Сараево вводится осадное положение. Со стороны казарм трубили воинственные горны…

Ко мне в комнату вбежал Гриша Ефтанович:

— Они идут сюда, сейчас полетят и мои стекла… Простите, не лучше ли вам покинуть мой отель?

— Но я же — русский.

— Тем хуже для вас…

В комнату вломился служитель гостиницы, сказал, что внизу уже полно полиции, которая требует хозяина. Ефтановича зашатало от ужаса, он воздел руку кверху:

— На чердак… скорее, — велел он мне.

Я сразу накинул пиджак, тяжелый от стальных пластин:

— Задержите полицию разговорами. Я вас не выдам…

Со времени жизни в Германии я приучил себя снимать номера в гостиницах не выше второго этажа, оставляя за собой шанс на прыжок из окна. Но теперь черная лестница отеля, провонявшая кошачьей мочой, уводила меня наверх — третий этаж, четвертый, пятый… вот и чердак. Я прислушался. Снизу доносится грохот сапог, звоны сабель — и шаги. Полиция поднималась с этажа на этаж — выше! Я понял, что отстреливаться глупо. Их много, в барабане револьвера не хватит пуль. Я решил, что лучше уходить по крышам. Через слуховое окно мне виделось, что крыша очень крутая. Но выхода не было.

«Рискни… смелее», — внушил я себе.

Под моими ногами громко хрустела старая черепица, ее обломки скатывались в глубину двора. С трудом я выбрался на самый конек крыши; двигаясь вдоль него, я словно ступал по острой хребтине какого-то ихтиозавра. Из слухового окна вдруг выглянуло чье-то лицо, я услышал радостный возглас:

— Тут кто-то ходит… лезьте за мной!

Потеряв равновесие, я пошатнулся. Черепицы, словно клавиши, ходили у меня под ногами, и каждая издавала противную хрустящую мелодию. Вспомнилось, что вчера на двор завезли воз с сеном. Удержаться на крутой крыше уже не было сил. Лежа на спине, я покатился вниз и думал лишь об одном — что меня ждет там, внизу? Или двор, мощенный булыжником, или…

«Или этот воз остался на прежнем месте?»

Крыша кончилась — без барьера, словно обрыв в пропасть. Надо мною быстро неслись облака. Раскинув руки, я уже летел вниз, и сено приняло меня, как большая пружинящая подушка… хоп! Я жив, я спасен. Из раскрытых ворот дворовых конюшен на меня равнодушно глядели большие морды ломовых лошадей. Я спрыгнул с воза и выбежал со двора на улицу, где быстро растворился в толпе, галдящей в упоении праздничного погрома…

6. Хвала матери

Певческий мост, Вильгельмштрассе, Уайтхолл, Балльплатцен, Кэ д’Орсэ и Консульта в Риме — всюду, где копилась нервная и умственная жизнь дипломатии, сразу возникало ошалелое смятение, пугливая оторопь, алчная радость или предположения, кто выиграл, а кто проиграл от выстрелов в Сараево?..

Надо же было так случиться, что выстрелы на реке Милячке совпали с народным праздником, вся Сербия отмечала день Видовдан, в кафанах Белграда сербы поднимали стаканы с вином, поминая стародавний подвиг Милоша Обилича, который зарезал султана Мурада в его же шатре. Когда же до Белграда дошло имя Гаврилы Принципа, его сравнивали с Обиличем. Столицу королевства охватило всеобщее ликование, прохожие обнимались на улицах, поздравляя один другого:

— Наконец-то мы расправились с этим толстяком! Это наше право — мстить Вене за свои унижения… Нет, мы не простили этим зазнайкам потерю Боснии и Герцеговины!

По наблюдениям немцев, «нафантазированная чернь предалась самому необузданному взрыву страстей, который, если судить по многочисленным излияниям одобрения, можно характеризовать как положительно нечеловеческий». Это понял и премьер Никола Пашич, велевший пресечь все восторги на улицах, ибо народ, восхваляя Обилича, подразумевал убийцу эрцгерцога Франца Фердинанда. Когда же премьера навестил австрийский посол барон Гизль, Пашич выразил ему сочувствие, намекнув:

— Террористы из Сараево — это подданные вашей короны, вот вы сами и разбирайтесь… нам их не жалко!

О покушении в Сараево, как и обо всех других несчастиях в семье Габсбургов, императору Францу Иосифу осмелилась доложить акушерка Шраат. Старый император заплакал:

— Есть ли на этом белом свете хоть одно тяжкое испытание, какое бы миновало меня?.. В моей жизни ничего не пощадили! Нет сына, нет жены, а теперь убрали и наследника…

Никто в Австро-Венгрии — ни венгры, ни славяне, ни сами же немцы — слезинки по убитому не обронил; напротив, в кругах высшего света воцарилось веселье, и аристократы даже оскорбляли покойного, а дамы посмеивались над убитой графиней Хотек, которая — вот дерзость! — осмелилась носить титул «графини Гохенберг». Гулянье на Пратере не отменяли, улицы Вены наполняла музыка… Маркиз Монтенуово, внук императрицы Марии-Луизы (второй жены Наполеона I) от ее второго брака заявил архицинично, но вполне разумно:

— Нам давно был нужен предлог, чтобы поставить Сербию на место — в углу на коленях, и Франц Фердинанд дал нам его, а теперь его задача в этом мире окончена.

Еще точнее рассудил сам граф Берхтольд:

— Убийцам надо бы соорудить памятник! Они сделали нам в Сараево такой великолепный подарок, какого мы устали от них ждать… До сих пор мы только наступали сербам на пятки, а теперь сядем на них, чтобы услышать, как они пищат!

«Взрыв народной ярости» был умело подготовлен венской полицией, а заработать на лишнюю кружку пива — на это в Вене всегда немало охотников. Толпы людей, требующих отмщения, тащили по лужам мостовых сербские флаги, их сжигали на кострах, разведенных под окнами сербского посольства. При появлении на балконе посла ему устроили «кошачий концерт». Здание русского посольства заранее оцепили полицией, но мостовую перед фасадом посольства разобрали по камушку, чтобы высаживать оконные стекла…

Наконец на Балльплатцене стало известно, что в Сербии объявили траур по убитому эрцгерцогу. Накладывать траур поверх безудержного веселья народа — это все равно что готовить бутерброд, намазывая сверху варенья соленую икру. Конрад-фон-Гетцендорф доказывал графу Берхтольду:

— Я настаиваю на немедленной мобилизации, чтобы вразумить всю сербскую сволочь из пушек. Два-три хороших нажима дипломатии, после чего форты Землина и наши мониторы с Дуная превратят Белград в хорошее кладбище…

Берхтольд был настроен даже активнее генерала, признаваясь, что он сторонник войны без объявления войны:

— Но я боюсь, что в своей берлоге сразу заворочается русский медведь… Что тогда? Наконец, наши планы — это дерьмо, и это дерьмо станет чистым золотом только в том случае, если заслужит одобрения на Вильгельмштрассе…

Балльплатцен договорился с военщиной: не объявлять мобилизации до тех пор, пока не станут ясны результаты следствия в Сараево — кто стоял за спиной убийц, кто взводил курки их револьверов? Начинался удушливый, изнуряющий июль, памятный всему человечеству своим кризисом. Австрийская дипломатия уже засела за работу. Надо было так составить ультиматум Сербии, чтобы каждый его пункт заранее оказался неприемлемым для чести и достоинства суверенного государства.

— Пусть они даже отвергнут наш ультиматум, — посмеивался граф Берхтольд. — Нам и не требуется, чтобы Белград отвечал покорностью. Нам необходим именно отказ, чтобы с чистой совестью начинать войну… Не станем медлить!

\* \* \*

Не ожидал, что окажусь в западне: все дороги в сторону Белграда были уже перекрыты, вдоль границы с Сербией и Черногорией плотно расположились австрийские войска. Я понимал: выкручивайся как знаешь, но попасть на допрос в «Хаупт-Кундшафт-Стелле» попросту не имею права, ибо мое разоблачение заведет слишком далеко. И тут я решил применить старую тактику желтого листа в осеннем саду, который не отличить от остальных листьев. Надо ехать в Вену, ибо какой же агент рискнет появиться именно там, в австрийской столице?

Мой паспорт, заверенный градоначальством Петербурга, не вызывал подозрений, он был оформлен на мое подлинное имя. Такое же имя было проставлено и в документах журналиста «Биржевых Ведомостей». Буду полагаться на свою сообразительность, а там… что бог даст! Пока же не затихли в Сараево погромы и пока не прекратились избиения сербов, я два дня провел в библиотеке культурного общества «Просвет», обложив себя книгами о производстве дешевых вин из боснийской коринки. Чтобы не выглядеть сущим дураком, я старательно делал выписки…

Мне повезло, и в дороге никто меня не беспокоил. Но в числе пассажиров оказались сербы, ищущие спасения от погромов; полиция тщательно проверяла их документы, рылась в чемоданах. Я, наверное, переиграл, напустив на себя излишнее равнодушие, чем и привлек внимание полиции.

— Вы из Сараево? Ваш билет. Документы.

— Пожалуйста, — не возражал я.

Бланк «Биржевых Ведомостей», заверенный Проппером, навел проверяющих на мысль, что эта газета связана с биржей, и я подтвердил, что они недалеки от истины. Показав пачку бумаг с ценами на коринку, я сказал, что послан в Боснию от винодельческих фирм для будущих финансовых операций, связанных с закупками по сезону. Меня оставили в покое, и я до самой Вены демонстративно читал еженедельник «Гросс-Эстеррейх» («Великая Австрия»), удивляясь наглости, с какой в нем писалось: «Только в войне может возродиться новая и великая Австрия, поэтому мы желаем войны. Мы желаем войны потому, что только посредством войны может быть решительно и мгновенно достигнут наш идеал: это — сильная Великая Австрия…»

На что я мог рассчитывать, подъезжая к Вене, я и сам точно не знал, надеясь выйти на связь с нашим военным атташе Занкевичем; я рассчитывал вызвать его на встречу звонком по телефону, чтобы он передал мне другие документы. Я даже не волновался, когда поезд, миновав дачные станции Гольдберга, долго тащился вдоль Нового канала; справа проплыли массивные строения Арсеналов, и наконец вагоны остановились под задымленными сводами Венгерского вокзала. Помахивая портфелем, набитым бумагами, в сутолоке спешащих к выходу пассажиров я уже выходил на привокзальную площадь, и здесь… крах!

Здесь я напоролся на человека с громадными ушами, похожими на безобразные калоши. Встреча, какой никому не пожелаю! Кажется, за эти годы уши выросли у него еще больше, они даже обвисали на воротник пальто. Память, словно удар молнии, разом высветила из былого точную справку — майор Ганс Цобель из «Хаупт-Кундшафт-Стелле», именно он завел меня на Гожую улицу Варшавы с тем злосчастным письмом, а теперь оскал его радостной улыбки не предвещал ничего хорошего.

— Извините, — сказал он, приподняв котелок.

— Извините и вы меня, — отвечал я, обходя его…

Стало ясно, что он узнал меня, наверняка запомнив мой проклятый «профиль Наполеона». Мы разошлись, как посторонние прохожие, но я вынужден был обернуться. Все сомнения отпали: Цобель издали наблюдал за мной, потом поманил к себе носильщика, что-то говоря ему… С этого момента я попал под наблюдение венской агентуры и, петляя по улицам района Гофбурга, потащил за собой «хвост»…

Сначала филеров было двое. Но за собором св. Стефана к ним прилип и третий. Никакие мои уловки, чтобы отцепиться от «хвоста», не помогали; филеры были натасканы на слежке, как легавые собаки на дичь. После полудня, едва волоча ноги от усталости и даже не видя города, я не выдержал и зашел в уличное кафе, заказав себе венский шницель (о, горькая ирония судьбы!). Затем прошел за штору, где находился телефон. Соединившись с русским посольством, я попросил к аппарату полковника Занкевича.

— Михаил Ипполитович занят, — был ответ.

— Скажите, что время не терпит. Очень нужен…

Беда моя в том, что я не знал Занкевича, как не знал и он меня. На вопрос «кто его просит» я наобум отвечал:

— С ним будет говорить… Наполеон!

Скоро в трубке телефона послышался голос:

— Маршал Бертье… готов служить Наполеону!

Конечно, военный атташе мог заподозрить во мне провокатора. Я сказал ему, что мы оба из «одной богадельни».

— На мне, кажется, навис «хвост»… Я пропал!

Пауза. Тягостная. Занкевич соображал. Поверил.

— Ладно, — услышал я торопливую речь, — старайтесь оборвать все «хвосты». Лучше всего в аллеях за Большим рынком. Если возьмут, ссылайтесь на Пансион Ирис…

(Все агенты разведки знали, что Пансион Ирис — нелегальное бюро в Париже, где предлагали платные услуги французской разведке всякие продажные авантюристы и жулики, а заодно с ними кормились и «герцоги».)

— Адрес? — спросил я.

— Улица Мишодьер. Мадам Бернагу… запомнили?

— Да.

— Завтра в восемь сорок через Вену проходит цветочный экспресс из Ниццы в Петербург… более ничем помочь не могу!

Спасибо: все главные сведения я получил.

Разговор закончился. Мне предстояло самому думать, как дожить до утра. Конечно, филеры ждали меня на улице, и, едва я вышел из кафе, мне пришлось снова тащить за собою «хвост». Мною овладело отчаяние. Задержавшись возле мусорной урны, я у всех на виду стал разрывать свои записи о производстве вин из коринки, надеясь, что возле урны филеры и застрянут, решив, что я уничтожаю секретные бумаги. Верно! Один из них тут же с головой зарылся в мусор, собирая клочки моих бумаг, а другой… не отставал. Я ускорил шаги, он тоже. Почти инстинктивно меня тянуло в зеленый район Флорисдорф, где жила моя мать… Только бы сразу отыскать ее дачу!

В этом районе улицы были почти пустынные. Моему преследователю стало труднее скрываться от моих взоров, он даже отстал, и в один из моментов мною овладело желание пристрелить его. Вот и железная ограда, за которой дом генерала Супнека. Филер где-то затаился, я не видел его. Звонок был электрический, я раз за разом нажимал кнопку…

Калитка отворилась — передо мною стояла мама.

Раньше, год назад, когда я встретил ее в «Национале», она не казалась мне такой постаревшей. Но даже сейчас я угадывал в ее лице черты той молодой и красивой женщины, какой она осталась в моей памяти с детства… Нужных слов не было, я мог лишь повторять те слова, что оставил ей в записке.

— Мама, это я, прости… прости, — говорил я.

— А разве ты виноват?

— Виноват, ибо пришел, чтобы снова уйти. Но так надо. У меня нет спасения. Только ты, мама… только ты…

Она выглянула через решетку сада на улицу и, кажется, все поняла. Мне скрывать было нечего:

— Меня преследуют. Я офицер русского Генштаба.

— Пойдем, — сказала мама, и моя рука очутилась в ее руке. — Нет такой матери, чтобы не спасла сына… Там, за домом, вторая запасная калитка. Через нее сразу попадешь на другую улицу…

Она провела меня через комнаты дома, и мы вышли с другой его стороны. Опять не было слов. Мать зарыдала:

— Увижу ли я снова тебя?

— Да. После войны…

Было слышно, как с улицы ломятся в ворота.

— Беги. Я задержу их…

Я был уже в безопасности, когда моего слуха коснулись отдаленные выстрелы. Первый, второй, третий… Что там случилось — не знаю, как не знаю и конца своей матери. Но я продолжаю свято верить, что мать ценой своей жизни оплатила мне свободу. Иначе не могло быть…

\* \* \*

Ровно в 08.40 по среднеевропейскому времени от «Вестбанхоффа» отошел поезд, бравший в котлы свежую дунайскую воду.

Раз в неделю из Ниццы в Петербург пролетал курьерский экспресс, называемый «цветочным». В его составе был вагон-ванна, в котором итальянцы привозили для жителей русской столицы свежие фиалки. Итальянцам я сказал, что меня в Вене обворовали, денег на билет нету, и просил их принять меня в свою трудовую компанию:

— Я согласен делать, что надо…

Экспресс быстро наращивал скорость, в широких цинковых ваннах плескалась вода, в которой плавали нежные цветы. Итальянцы дали мне рабочий комбинезон, делились со мною вином и сыром. Я помогал им менять воду, ухаживал за цветами, чтобы они не потеряли свою природную свежесть. Границу мы проскочили благополучно, в наш вагон жандармы даже не заглянули. За время дороги я весь пропитался запахом цветов, и с тех пор не выношу аромата фиалок. «Цветочный» экспресс прибыл в Петербург на рассвете, итальянцы (добрые ребята) дали мне на прощание букет цветов.

— У каждого есть мама, — сказали они мне, — и пусть этим цветам порадуется ваша мама… Мы все — от мамы!

…Дома, на родине, мне присвоили чин подполковника.

7. «Мы готовы, но…»

Берта Зуттнер, лауреат Нобелевской премии мира за ее роман «Долой оружие!», вряд ли думала, что те «ужасы», которые она обрисовала, скоро покажутся детским лепетом по сравнению с ужасами войны, взявшей у Человечества почти десять миллионов жизней; дамское чистописание Берты Зуттнер способно вызвать у читателя только смех:

— Нашла мне ужасы! Пацифистка несчастная…

Военное министерство России возглавлял генерал Сухомлинов, прозванный «шантеклером» (петушком) за его повадки молодящегося донжуана. Потерявший голову от любви к молодой и красивой стерве, Сухомлинов экономил свои силы для ночных эмоций, но — как говаривал министр Сазонов — днем его не заставишь трудиться, а уж правды никогда не добьешься.

— Что вы мне толкуете о новинках боевой техники? — всегда возмущался Сухомлинов. — Никакая техника не может изменить сам характер войны. Как люди дубасили один другого в войне Алой и Белой розы, с таким же успехом они станут волтузить друг друга и с применением двигателя внутреннего сгорания… Драка всегда останется дракой!

Еще до выстрела в Сараево, весною 1914 года, Сухомлинов дал интервью для «Биржевых Ведомостей», открыто возвестив: «РОССИЯ ГОТОВА, НО… ГОТОВА ЛИ ФРАНЦИЯ?». Хотел он того или не хотел, но своим голосистым ку-ка-ре-ку Сухомлинов вызвал на бой берлинского Цольре, петушиная буффонада министра лишь раззадорила драчливых немецких генералов. Сухомлинова очень много ругали за это интервью — до революции и даже после. Ведь русская армия и русский флот не были готовы к долгой Большой Войне, ожидая нападения Германии никак не раньше 1917 года. Но к затяжной войне не была готова и Германия, во Франции и Англии тоже считали, что война будет молниеносной и продлится не долее шести месяцев. Именно на этот срок Россия была полностью обеспечена вооружением и боеприпасами, так что Сухомлинов искренне верил в готовность России. И никто ведь в Европе тогда не думал, что, продлись война долее полугода, и сразу начнется полное истощение ресурсов — не только в России, а во всех воюющих странах…

В простом русском народе, занятом своими делами ради добывания хлеба насущного, никто даже в затылке не почесал, узнав о сараевском покушении. В столице той поры самые въедливые читатели газет еще не испытывали тревоги:

— Какой-то гимназист-серб пришлепнул, как муху, герцога-австрияка… значит, тот заслужил! Но это же не повод для войны, а лишь забавная тема для карикатур Пуарэ или фельетонов Аверченко… Вспомните, господа! Французский президент Карно был убит итальянцем, но франко-итальянской войны не возникло. Австрийская императрица Елизавета была зарезана тоже итальянцем, но Рим даже не пошатнулся…

Находились в Петербурге даже сторонники войны с Германией, утверждавшие, что хорошая встряска «оздоровит наше больное общество, зараженное декадентами»:

— Я буду рад войне! Мы докатились уже до того, что стали читать «Синий журнал», русская нравственность пала так низко, что люди не стыдятся танцевать порнографический танец по названию «танго»… Вы, сударь, когда-нибудь видели, как в этом танго женщина трется своим пузом о брюхо партнера? Это ведь ужасно… Куда смотрит полиция! Сейчас только война образумит нас и поставит все на места…

Между тем война уже началась, и даже не Австрия, а Германия первой начала избиение русских. Знаменитый июльский кризис продолжался до 1 августа, но русским стало худо еще с 1 июля, и тут их приходится пожалеть.

\* \* \*

Если русский человек более или менее обеспечен, где же ему отдыхать летом? Конечно — в Германии, славной хорошим лечением, дешевыми пансионатами и культурным обслуживанием. Даже бедные земские учителя из провинции, едва сводящие концы с концами, в летние сезоны образовывали массовые экскурсии в Германию, чтобы — после великой Сюзьмы или прекрасного Свияжска — приобщиться к высокой немецкой культуре и хоть раз в жизни плюнуть не себе под ноги, как это водится в России, а в специально выставленную на улице плевательницу. Знаменитые курорты давно облюбовала богатая и знатная публика, тратившая по триста марок в день, а лечебницы и клиники немецких светил были переполнены приезжими русскими, делавшими операции или залечивавшими острые формы туберкулеза. Наконец, множество русской молодежи училось в университетах Германии.

Один выстрел в Сараево — и сразу все изменилось!

Если в Вене во всем обвиняли сербов, то в Берлине указывали на русских как на заядлых поджигателей войны. Сначала ударили их по карману, разменивая деньги по самому низшему курсу: 100 рублей шли за 100 марок. Потом перед ними закрыли банки, и русские были рады пообедать уличной сосиской. Спать не давали резервисты, горланившие по ночам воинственные песни времен Седана, всюду развевались знамена, грохотали барабаны, раздавались возгласы «пангерманцев»:

— Пусть все против нас, а мы против всех!..

Войны не было. Еще никого не убивали, а на улицах уже замелькали колпаки и фартуки сестер милосердия, маршировавших четким «солдатским» шагом. Еще вчера милые и услужливые, хозяева отелей сразу превратились в первобытных хамов, только разве не опустились на четвереньках. Заодно с полицией они вышибали русских на улицу. Из немецких клиник выбрасывали русских (даже тех, кто был согнут в дугу после вчерашней операции). Туристы из России не успели опомниться, как на стенах домов появились сакраментальные плакаты, призывавшие: «ЛОВИТЕ РУССКИХ ШПИОНОВ». Приказ получен — думать не надо. Не я выдумал, а свидетельствуют очевидцы: одна русская женщина была заживо растерзана. Всюду слышались крики:

— Вот бежит русский шпион… ловите!

— Где? Где ловить?

— Убегает… переодетый в женское платье!

Опять не я придумал: по улице, роняя шляпу и зонтик, бежала русская студентка. Толпа настигла ее, сорвала платье. Обнаженная барышня рыдала от стыда. Полиция бросила ее в кузов автомобиля и увезла, а толпа не унималась:

— Мы ошиблись совсем немного… Если это не шпион, так шпионка! Сейчас наши парни из полицайревира покажут ей…

С немцем, выпившим пива, еще можно было разговаривать как с человеком, но говорить с немцем, прочитавшим газету, уже невозможно. Переубедить тоже нет сил.

— Германия, — туго утверждал он, — всегда стремилась к вечному миру, а ваш царь только и делал, что разжигал войну за войной… Мало вам досталось от японцев! Так мы устроим вам второй Порт-Артур из вашего Петербурга…

Берлин наполнялся самыми гнусными, мерзкими слухами:

— Русские вывозят золото из Франции…

— Русские стреляли в нашего кронпринца Генриха…

— Русские казаки уже идут на Берлин…

— Русские насилуют даже старух…

— Русские посыпают раны пленных перцем…

— Русские выкалывают глаза нашим детям…

На митингах психопатки давали публичные клятвы, что они отравятся или повесятся, лишь бы не быть обесчещенными «diser Barbare» (этими варварами), уже толкающими в сторону Берлина свой безжалостный «паровой каток». Ораторы призывали всех немцев сплотиться в едином строю, чтобы дать достойный отпор подлым зачинщикам войны. Кажется, одни коммерсанты не потеряли разума, ибо им пришлось терять прибыль:

— Угораздило же этого сербского гимназиста попасть в эрцгерцога! Теперь, случись война с Россией, и мы лишимся хорошего рынка для сбыта залежалых товаров…

Только в одном Берлине скопилось до пятидесяти тысяч русских. Тех, кто протестовал против издевательств или вступался за женщин, таких немцы пристреливали. Мужья вступались за своих жен — расстрел, отцы за честь своих дочерей — расстрел! Униженные, избиваемые, оплеванные, русские думали об одном — как бы поскорее закончить этот летний сезон дома, где и солома едома. Беда людей в том, что, попав в необычные условия, оторванные от родины, лишенные денег и права переписки, русские потеряли возможность решать так, как им хочется, а решать иначе они не умели. Весь ужас был в том, что из Германии не вырваться. Немцы задерживали русских ученых, инженеров, политиков, профессуру, генералов и адмиралов. Наконец, молодых и здоровых мужчин призывного возраста без проволочек объявляли военнопленными, безжалостно разлучая их с семьями. Полицайревиры (русские «участки») с утра до ночи были забиты плачущими женщинами с детьми, которым мужья кричали из-за решеток:

— Дашенька, это недоразумение, скоро все выяснится!

— Петя, буду ждать в Марселе… пиши!

— Катя, поцелуй за меня Анечку…

— И я тебя целую, береги себя…

Доброжелательный шуцман утешал женщин:

— Что вы так переживаете? У нас тюрьмы намного лучше ваших. На завтрак дают даже по куску селедки. Обязательно выводят на прогулки и учат петь хорошие песни.

Одна из женщин кричала в ответ:

— Мой муж приехал к вам с язвой желудка… Ему не вынести самой лучшей тюрьмы, будь она хоть позолоченной!

— Возможно, — не возражал шуцман. — Но сейчас ведь будет война, может, я тоже не вынесу жизни на фронте…

Потом, когда дипломатические отношения Берлина с Петербургом были прерваны, русские толпами хлынули в посольство США, но там с ними разговаривать даже не пожелали:

— Все, имеющие российское подданство, отданы покровительству короля Испании… валяйте к испанцам!

А в испанском посольстве виконт де Молиньо охотно подписывал любую бумагу, ставил печати на любом документе, но этим помощь испанского короля и заканчивалась.

— Мы всегда уважали русских, — говорили его чиновники, — мы высоко ценим гений Льва Толстого… Разменять деньги? У нас и своих-то нету. Впрочем, спросите швейцара. Не надо плакать, мадам. Швейцар способен на все. Из Петербурга никаких инструкций не поступало. Обратитесь к швейцару…

Многие не могли выехать из Германии, и даже страшно читать, что пережили русские актеры во главе со Станиславским, изнуренным болезнью. Затерянные в массе беженцев, они никак не могли достичь границы нейтральной Швейцарии, их гоняли с поезда на поезд, из вагона в вагон, учили ходить строем, пассажиров били, издевались над ними. Перегруженные чемоданами и картонками, люди изнемогали от усталости и голода, а немецкие носильщики отказывались помочь им:

— Русские! Так сами и таскайте багаж…

Резервисты, вооруженные карабинами, сопровождали женщин даже в уборную, а молодые офицеры устраивали частые «обыски», раздевая женщин догола. Жене Станиславского, актрисе Лилиной, офицер чуть не выбил все зубы револьвером. Рядом с нею сидела старая баронесса из Москвы, совсем дряхлая, так офицерам понравилось давать ей пощечины.

— Что вы делаете? — кричала старуха. — Я же приехала к вам лечиться, а вы меня избиваете…

Станиславский, наблюдая, как немцы, еще вчера симпатичные и милые люди, превратились в зверей, сделал печальный вывод:

— Мы очень много рассуждали о культуре! Но теперь выяснилось, что даже в таких развитых странах, какова Германия, народ обрел лишь внешнюю культуру, под которой прячется человек с первобытными инстинктами. Очевидно, необходима совсем иная жизнь, чтобы буржуазная культура уступила место другой — более высокой и более духовной…

Страшно! Зал ожидания пограничной станции наполняли крики женщин, бившихся в истерике, плакали дети, ругались мужчины. В буфете к Лилиной подошла толстущая немка-кельнерша и с поклоном преподнесла ей пышную розу.

— Тут все посходили с ума, одна я нормальная, — сказала девушка. — Не судите о всех немцах плохо. К сожалению, не мы, а правительства делают войны… Разве бы я послала своего жениха воевать с вами? Хо! Зачем мне это нужно?

\* \* \*

Я вернулся в Петербург, когда обмолвка Сухомлинова о том, что «мы готовы», еще муссировалась в военных кругах столицы, и я, будучи надолго оторванный от родины и ее армии, видел, наверное, то, что другим генштабистам давно примелькалось и даже надоело.

«Готовы ли мы?» — часто спрашивал я себя.

Однажды посетив заседание Государственной думы, я был попросту ошарашен диалогом, который возник между одним думцем и представителем военного министерства.

— Вы давали заказ на полторы тысячи пулеметов?

— Да, — следовал четкий ответ.

— Отвечают ли они последнему слову техники?

— Это высочайше установленный образец 1905 года.

— Хорошо. А патроны к ним тоже заказаны?

— Безусловно.

— Порохом какого образца они начинены?

— Высочайше установленного образца 1908 года.

— А вам известно, — последовал вопрос думца, — что этот порох 1908 года в четыре раза разрушительнее того, которым начинялись пулеметные патроны 1905 года?

— Извещен. Достаточно.

— Таким образом, вы не удивитесь, если эти патроны при стрельбе тут же разорвут стволы ваших пулеметов?

— Да-а… выходит, что так.

— Если так, так зачем же вы это делаете?

— Но образцы высочайше установленные! — И лицо представителя военного министерства сделалось вдруг невинным, как у младенца, который в колыбели играет заряженным пистолетом…

Бесплановость рождается в моменты, когда возникает изобилие всяческих планов. В таких случаях наши генералы засучив рукава устраивают винегрет из чужих мыслей, подкрепленных устаревшими доктринами, и, сами не в силах постичь сути своих выводов, они поливают свое блюдо, как уксусом, весьма основательными ссылками на историю России:

— Это когда же нас били? Пожалуй, только от Емельки Пугачева бывало рыло в крови, а так… выкручивались! Господь праведный еще не оставил Русь-матушку своим вниманием.

Достаточно присмотревшись к немцам, я убедился, что у них возможен трафарет штабного мышления, зато отсутствует рутина в вопросах вооружения, и, как бы ни почитали они своего кайзера, но все-таки они отвергли бы его «высочайший» образец, если он непригоден. Но что можно было ожидать от наших генералов, застывших на уровне войны 1877–1878 годов, когда они были еще поручиками? Теперь все они давно превратились в реликты былого, почитаемые вроде «ботика Петра Великого», на который ходят глазеть, но который держат подальше от моря. Их стратегия давным-давно воплотилась в картежной игре по вечерам, и тут они оставались виртуозами. По моему мнению, бездарный полководец таит в себе «национальную опасность», от которой армию следует избавить еще до войны — отставкой! К великому сожалению, чистка армии после русско-японской войны коснулась не всех, русская армия оставалась перегруженной множеством генералов, умевших «составить компанию», чтобы как следует выпить и закусить чем-нибудь солененьким…

Замолкаю. Но мне вспомнился анекдот из старого офицерского быта, слышанный мною еще в Граево. Из одного зоопарка убежали три льва и разбрелись по разным странам, договорившись через год встретиться. Когда же встреча состоялась, два льва шатались от истощения, а третий был на диво тучный и сытый. Один лев-дистрофик сказал: «Я был в Америке и чуть не подох от голода, ибо там одни банки с консервами, но я так и не научился их открывать». «А я, — признался второй тощий лев, — жил в Англии, где одни засохшие пудинги и овсяная каша, так что едва унес оттуда ноги». Зато третий лев, очень жирный, начал смеяться: «А я, друзья, вернулся из матушки-России… вот где сытно! Каждый день я съедал по одному генералу, но их в России так много, что в Генеральном штабе Петербурга даже не заметили их исчезновения…»

8. Июльская лихорадка

Трудно понять возникновение мировой бойни, прежде не заглянув в кабинеты правителей, решавших этот вопрос: быть или не быть? В промежутке дней между выстрелом Г. Принципа и объявлением войны плотно сгустилась грозовая атмосфера целого столетия, все его раздоры и конфликты при дележе мира. Попробуем, читатель, восстановить картину июльского кризиса в коротких, как вспышка магния, фрагментах истории.

\* \* \*

«Кильская неделя» — праздник германского флота, сам кайзер в адмиральском обличье руководил парадом кораблей, шлюпочными гонками, вручал призы победителям. Было жарко, а вдали затаенно скользили британские крейсера. Но первый лорд адмиралтейства Уинстон Черчилль не прибыл на германскую регату; может быть, до него дошли слова гросс-адмирала Тирпица, сказавшего:

— За один стол с этим аферистом я не сяду…

28 июня в самый разгар парусных гонок, к борту флагманского «Гогенцоллерна» стал подходить катер. Но его отпихивали от трапов, чтобы не мешал праздновать. Тогда офицер на палубе катера совершил неслыханную дерзость. Он бросил к ногам кайзера свой портсигар, внутри которого лежала срочная телеграмма: «Три часа тому назад, — прочитал Вильгельм II, — в Сараево убиты эрцгерцог и его жена…»

— Теперь придется начинать!

Это были первые слова кайзера, которые он произнес. Вернувшись в Берлин, он на Вильгельмштрассе ознакомился с документами о покушении серба на эрцгерцога. Поверх доклада кайзер начертал: «ТЕПЕРЬ ИЛИ НИКОГДА! СЕРБОВ СОГНУТЬ В БАРАНИЙ РОГ…»

— Время вспомнить о Бернгарди, — намекнул кайзер.

Немецкий генерал Фридрих Бернгарди заявил о «праве» Германии господствовать над другими народами, менее жизнестойкими, нежели немецкая нация. При этом, утверждал Бернгарди, Германия имеет историческое «право» не стесняться ни дипломатическими трактатами, ни учением христианства.

В берлинской гостинице «Бристоль» собрались тузы капитала и промышленности Германии, за роскошным столом долго не утихали аплодисменты в честь Круппа фон Болена.

— Русская артиллерия, — закончил он свой спич, — находится еще в периоде формирования, зато германская не знает себе равных. Будем помнить слова Наполеона, который сказал о нас: «Пруссия вылупилась из пушечного ядра!»

\* \* \*

В эти дни встретились в Вене два человека. Карл — новый наследник престола Габсбургов, еще молодой человек, крепко веривший в союз масонов с дьяволом, которого он сам изгонял из спальни жены Циты, и дьявол исчез при ударах грома, оставив после себя запах серы. Карл беседовал с Конрадом-фон-Гетцендорфом, славным альпинистом, любившим гонять армию по высоким горам. Наследник сказал:

— Скоро решится вся эта история с Сербией.

— Плодородная страна, — причмокнул генерал. — Сербия станет дивным бриллиантом в вашей будущей короне.

— А Польша? — спросил наследник престола.

— От Польши никак нельзя отказываться, как не откажемся и от Украины, совместив ее с нашей Галицией.

— Ну а Греция с ее портом в Салониках?

— Греция, — отвечал любитель горных высот, — тоже будет неплохим приобретением, только бы в Берлине нам не подгадили… Знаете, какие там завидущие люди?

Тогда же престарелый мухобой Франц Иосиф заявил, что целиком полагается на военную мощь Германии, без которой Австрии не совладать с Россией, а Россия, несомненно, вступится за Сербию.

— Сейчас, — сказал император, — русский посол Гартвиг — хозяин в Белграде, и без его совета Пашич ничего не делает.

10 июля в Белграде венский посланник барон Гизль со сдержанной враждебностью принимал у себя Николая Генриховича Гартвига. После ужина Гартвиг вернулся домой, слег и умер. Чтобы разом пресечь дурные толки, жена Гизля собрала окурки папирос, которые накануне выкурил Гартвиг в гостях у посла, и отдала их в лабораторию для химического анализа. Население Белграда составляло тогда около ста тысяч жителей, а проводить посла России до кладбища тронулись восемьдесят тысяч, оставив дома стариков и детей. За траурной колесницей шли вдова с дочерью, семья Карагеоргиевичей и Никола Пашич.

— Что там с окурками? — спросил он Аписа.

— Обычные окурки, каких я могу набрать где угодно…

\* \* \*

15 июля, беседуя с германским послом графом Пурталесом, Сергей Дмитриевич Сазонов почти весело сказал:

— И все-таки, граф, ключи от мирного положения в Европе находятся сейчас не в Петербурге, а именно в Берлине, и вы можете отворить или затворить двери войны…

Впрочем, пока все было спокойно, и Сазонов лишь 18 июля вернулся с дачи; чиновники встретили его словами:

— Австрия серьезно ожесточилась на Сербию…

Пришлось снова повидаться с Пурталесом:

— Если ваша союзница Вена желает возмутить мир, ей предстоит считаться со всей Европой, а мы не будем спокойно взирать на унижение сербского народа. Еще раз подтверждаю, что Россия за мир, но мирная политика ее не всегда пассивна!

20 июля ожидался визит в Петербург французского президента Пуанкаре, и в Вене умышленно медлили с вручением ультиматума Белграду, чтобы вручить его Пашичу, когда Пуанкаре будет находиться в пути на родину, оторванный от России и от самой Франции… Это был ловкий ход венской политики!

\* \* \*

20 июля… Газеты в этот день писали об устройстве шлюзов на реке Донец, о пожаре моста возле Симбирска, о судебном процессе г-жи Кайо, застрелившей редактора газеты за клевету на ее мужа. Николай II во флотском мундире поднялся на борт паровой яхты «Александрия». Подали завтрак, во время которого царь сказал французскому послу Морису Палеологу:

— Говорят, у моего кузена Вилли что-то болит в ухе. Я думаю — не бросилось ли воспаление на мозг? Давно поговаривают, что он не в себе, но императора в бедлам не упрячешь…

За кофе было доложено о подходе эскадры. Воды Финского залива медленно утюжил дредноут «Франс», рыскали миноносцы эскорта. Кронштадт глухо проворчал фортами, салютуя союзникам. Раймонд Пуанкаре был принят царем у трапа «Александрии», взявшей курс на Петербург, и дивная сказка открылась во всем великолепии. Омывая золотые фигуры скульптур, фонтаны Петергофа взметали к небу струи сверкающей воды.

— Версаль, — заметил Пуанкаре. — Нет, Версаль хуже…

Вечером в старинной зале Елизаветы президента ошеломили выставкой придворного света. Женские плечи русских аристократок несли полыхающий ливень алмазов, жемчугов, аметистов, изумрудов, сапфиров… Алиса ужинала подле Пуанкаре, одетая в белую парчу, ее декольте было целомудренно закинуто бриллиантовой сеткой. «Каждую минуту, — отметил Палеолог, — она кусает себе губы, видимо, борется с истерическим припадком…» Пуанкаре произнес речь по вдохновению, а Николай II по шпаргалке.

Была ночь, когда Палеолог просмотрел питерские газеты.

— Обратите внимание, — подсказал секретарь, — сегодня бастовали в столице заводы, работающие на военную мощь.

— Их подстрекают германские агенты, — ответил посол.

\* \* \*

21 июля… Пуанкаре в Зимнем дворце принимал послов и посланников, аккредитованных в Петербурге. Первым подошел граф Пурталес, и президент любезно расспрашивал его о французских предках. Палеолог представил английского посла, сэра Джорджа Бьюкенена; это был спортивного вида старик с неизменной свастикой в брошке черного галстука. Пуанкаре заверил Бьюкенена в том, что царь не станет мешать англичанам в делах персидских. Наконец ему представили графа Сапари — посла австрийского, которому Пуанкаре выразил сочувствие по случаю убийства эрцгерцога Фердинанда:

— Но случай в Сараево не следует раздувать. Не забывайте, посол, что в России у сербов немало друзей, а Россия издавна союзна Франции… Нам следует бояться осложнений!

Сапари откланялся молча, будто не имел языка.

Сербскому послу Спалайковичу Пуанкаре сказал:

— Я думаю, все еще обойдется…

Вечером французское посольство давало обед русской знати; в городской думе угощали офицеров с эскадры. Играли оркестры, дамы танцевали, от изобилия корзин с розами и орхидеями было тяжело дышать… В этот день Берлин получил депешу Пурталеса, в которой тот докладывал кайзеру о беседе с Сазоновым: «Вы уже давно хотите уничтожения Сербии!» — говорил Сазонов.

Возле этой фразы Вильгельм II сделал пометку:

«Прекрасно! Это как раз то, что нам требуется».

\* \* \*

22 июля… Страшная жара, а в Петергофе свежо звенят фонтаны. После завтрака Пуанкаре отбыл в Царское Село, где раскинули шатры для гостей, а гигантское поле на множество миль заставили войсками — вплотную. На трибунах полно публики, белые платья дам казались купами цветущих азалий. Пуанкаре в коляске объезжал ряды солдат, рядом с ним скакал император. Потом был обед, который давал президенту великий князь Николай Николаевич — будущий главковерх.

Палеолога за столом обсели по флангам две черногорки, Милица и Стана, непрерывно трещавшие как сороки:

— Вы возьмете от немцев обратно Эльзас и Лотарингию, а наш папа, король Черногории, пишет, что его армия соединится с русской и вашей в Берлине… Германию мы уничтожим!

Потом был балет (Кшесинская свела всех с ума).

Русские войска сегодня маршировали перед Пуанкаре под звуки Лотарингского марша, ибо президент был родом из Лотарингии, которую в 1871 году Бисмарк похитил у Франции…

На следующий день, 23 июля, когда французская эскадра медленно растворилась в сумерках моря, покидая Россию, Австрия вручила Сербии ультиматум — провокационный! Эту бумагу состряпали в Вене так, что, не имей сербы даже крупицы гордости, Белград все равно отказался бы принять венские условия. Принять же такой ультиматум — равносильно отказу Сербии от своей независимости…

В этот же день кайзер очень крупно проболтался:

— Разве Сербия государство? Ведь это банда разбойников… Переловим их всех с помощью полиции!

Сербские министры, прижатые к стене, переслали ультиматум в Петербург, прося о помощи, а сами сели составлять ответную ноту, на писание которой Вена отпустила им 48 часов.

\* \* \*

24 июля… В полдень Сазонов посетил французское посольство, где завтракал с Палеологом и Бьюкененом.

— Нам нужно быть твердыми, — сказал Палеолог.

— Твердая политика — это война, — ответил Сазонов.

Бьюкенен дал понять, что Англия желала бы остаться нейтральной («Но мы постараемся сдерживать германские амбиции»). В три часа дня в Елагином дворце собрался совет министров, решили: провести мобилизацию округов, направленных против Австрии, а Сербии дать отеческий совет: в случае вторжения австрийцев отступить, сразу призывая в арбитры великие державы. На крыльце дворца поджидал решения посол Спалайкович.

— Пока ничего не ясно, — сказал ему Сазонов, садясь в автомобиль.

В министерстве у Певческого моста его ожидал германский посол Пурталес с красным носом и слезящимися глазами.

— А мы не оставим сербов в беде, — предупредил его Сазонов.

— Послушайте, — нервно заговорил Пурталес, — австрийскому императору Францу Иосифу осталось жить совсем немного, и неужели Петербург не даст ему умереть спокойно?

— Ради Бога! — воскликнул Сазонов. — Пускай он помирает! Весь мир только и делает, что дивится его долголетию.

— Вы, русские, просто не любите Австрию…

— А почему мы, русские, должны любить Австрию, которая принесла нам зла больше, нежели турки?

Сазонов отдал распоряжение, чтобы (втайне) срочно вычерпали восемьдесят миллионов рублей, хранившихся в германских банках. Германские послы в Лондоне и Париже, угрожая Европе «неисчислимыми последствиями», вручили ноты, в которых было сказано: в конфликте пусть разбираются Вена с Белградом.

\* \* \*

25 июля… Столичные вокзалы уже трещали, дачники метались как шальные, масса офицеров, загорелых и восторженных, скрипя новенькими портупеями, осаждали поезда дальнего следования, их провожали сородичи — с цветами, веселые, нервно-возбужденные. Никто ничего не знал, а пресса крупно выделила слова Сазонова: «АВСТРО-СЕРБСКИЙ КОНФЛИКТ НЕ МОЖЕТ ОСТАВИТЬ РОССИЮ БЕЗУЧАСТНОЙ…» В Царском Селе уже знали, что Германия проводит скрытую общую мобилизацию. Царь на общую не решился — он стоял за частичную. Тринадцать армейских корпусов против Австрии были подняты по тревоге. Но было еще не ясно туманное поведение туманного Альбиона…

Сазонов конкретно заявил Бьюкенену:

— Ваша четкая позиция, осуждающая Германию, способна предотвратить войну. Если не сделаете этого сейчас, прольются реки крови, и вы, англичане, не думайте, что вам не придется плавать в этой крови… Решайтесь!

Лондон не сказал «нет». Лондон не сказал «да».

В это время Никола Пашич (точно в назначенный срок) вручил ответное послание на австрийский ультиматум барону Гизлю. Сербское правительство выявило в этой ноте знание международных законов и кровью своего сердца, омытого слезами матерей, создало такой документ, который историки считают самым блистательным актом мировой дипломатии. Белград с тонкими оговорками принял 9 пунктов ультиматума. И не принял только 10-го пункта, в котором Вена требовала силами австрийских штыков навести «порядок» на сербской земле. Гизль мельком глянул в ноту, увидел, что там что-то не принято, и… потребовал паспорта. Это означало разрыв отношений.

Киевский, Одесский, Казанский и Московский военные округа вставали под ружье; по России катились грохочущие эшелоны:

Вагоны шли привычной линией, Подрагивали и скрипели; Молчали желтые и синие; В зеленых плакали и пели…

\* \* \*

26 июля… Сазонов жаловался Палеологу:

— Неужели события уже вырвались из наших рук, и мы, дипломаты, не способны управлять политикой? Подозреваю, что Германия обещала Вене слишком большой триумф великой державы, скатываясь в болото держав второстепенных… у нас тоже есть самолюбие!

\* \* \*

27 июля… Сазонов так издергался, что от него остался один большой нос, уныло нависающий над галстуком-бабочкой. Время виртуозных комбинаций, где не только одно междометие, но даже пауза в разговоре имела значение, это золотое время дипломатии кончилось. В кабинет министра ломилась распаренная толпа журналистов. «Что им сказать? Сам ничего не знаю…».

Сазонов долго откашливался, потом сказал:

— Можете метать стрелы и молнии в Австрию, но я вас умоляю не трогать пока в печати Германию — этим вы разрушите мою комбинацию, которая еще способна спасти, сохранить мир!

Увы, никакой «комбинации» у него уже не было…

\* \* \*

28 июля… Бьюкенен совещался с Сазоновым, а в приемной министра встретились Палеолог и Пурталес.

— Еще день-два, — сказал Палеолог, — и, если конфликт не будет улажен, возникнет катастрофа, какой мир еще не ведал. Докажите свое миролюбие, воздействуя на Австрию.

— Призываю бога в свидетели, — крепко зажмурился Пурталес, — что Германия всегда стояла на страже мира. Мы не злоупотребляем силой. История покажет, что Германия права.

— Очевидно, — пикировал Палеолог, — положение дурное, если возникла необходимость уже взывать к суду истории…

Бьюкенен выходит от Сазонова, Пурталес входит к Сазонову. В приемной министра появляется австрийский посол Сапари.

— Можете ли вы сообщить, что происходит? — спросили его.

— Коляска катится, — прищелкнул пальцами Сапари.

— Это уже из Апокалипсиса, — отвечал Бьюкенен…

Сазонов признался Палеологу, что ему не сдержать горячку Генштаба; там боятся опоздать с мобилизацией. Палеолог умолял не давать повода Германии для активных действий.

— Наш президент еще плывет во Францию на дредноуте.

— А немцы мобилизуются, — отвечал Сазонов. — Мы же еще гуляем, сунув руки в карманы, и поплевываем, как франты.

Кайзер (с большим опозданием) прочитал ответ Сербии на венский ультиматум. Он был потрясен железной логикой и примирительным тоном. Белградская нота мешала кайзеру катить бочку с порохом дальше. Он крепко задумался, признав:

— Это вполне достойный ответ! Если бы я получил такую ноту, я бы на месте Вены счел себя вполне удовлетворенным…

Он посоветовал Вене ограничиться захватом Белграда, сразу приступая к мирным переговорам. Но совет кайзера опоздал: австрийцы уже объявили сербам войну. Никто не верил, что война началась. Не верил и Николай II, отправивший кайзеру телеграмму, в которой умолял его помешать австрийцам «зайти слишком далеко».

\* \* \*

29 июля… Пурталес притащился к Сазонову, зачитав ему наглое требование Германии, чтобы Россия прекратила военные приготовления, иначе Германия, верная своей миролюбивой политике, ополчится против варварской агрессии России.

Сазонов вскочил из-за стола — весь в ярости:

— Теперь я понял, отчего Австрия так непримирима… Это вы! Вы стоите за ее спиной и подталкиваете на бойню…

В ответ Пурталес, натужно и хрипло, прокричал:

— Я протестую против неслыханного оскорбления!..

На стол министра легла свежая телеграмма: «Австрийцы открыли огонь по Белграду, рушатся здания, в огне погибают люди».

— Первая кровь наша — славянская, — сказал Сазонов.

Янушкевич, начальник Генштаба, все же уговорил царя на всеобщую мобилизацию. Францию об этом предупредили: «Россия не может решиться на частичную мобилизацию, ибо наши дороги и средства связи таковы, что проведение частичной мобилизации сорвет планы общей, когда явится в ней необходимость…» Вечером генерал Добровольский прибыл на Главпочтамт с указом царя о всеобщей мобилизации. Всю публику попросили немедленно удалиться. В пустынном зале сидели притихшие телеграфистки, понимая, что сейчас произойдет нечто ужасное. Добровольский, поглядывая на часы, гулял по залам почтамта. Остались считанные минуты… вся Россия ощетинится штыками… Звонок! Вызывал к телефону Сухомлинов:

— Отставить передачу указа. Государь император получил телеграмму от кайзера, который заверяет, что делает все для улаживания конфликта. Мобилизация возможна лишь частичная!

Николай II принял это решение личной (самодержавной) властью. Он поверил, что Вильгельм II озабочен сохранением мира.

\* \* \*

30 июля… Одно дело — мобилизация в России, другое — в Германии, где эшелоны катятся как по маслу. Утром встретились Сазонов, Сухомлинов и Янушкевич, удивленные, что царь так легко подпал под влияние Берлина.

Но частичная мобилизация срывала план всеобщей — об этом и рассуждали… Сазонов сказал «шантеклеру»:

— Владимир Александрович, позвоните государю.

Сухомлинов позвонил в Петергоф, но там ответили, что царь не желает разговаривать. Вторично барабанил туда Янушкевич:

— Ваше величество, я опять об отмене общей мобилизации, ибо ваше решение может стать губительным для России…

Николай II резко прервал его, отказываясь говорить.

— Не вешайте трубку… здесь и Сазонов!

Тихо свистнув в аппарат, царь сказал:

— Хорошо. Давайте Сергея Дмитрича.

Сазонов настоял на срочной аудиенции, царь согласился принять министра. Но до отъезда в Петергоф министр повидал Пурталеса, крайне растерянного и жалкого:

— Берлин требует от меня информации, однако моя голова уже не работает. Весьма нелепо, но я прошу вас посоветовать, что именно я могу предложить своему правительству?

Это было даже смешно. Сазонов взял лист бумаги, быстро начертал ловкую формулу примирения, которая обтекала острые углы конфликта, как вода обтекала камни в горной реке:

ЕСЛИ АВСТРИЯ, ПРИЗНАВАЯ, ЧТО АВСТРО-ВЕНГЕРСКИЙ ВОПРОС ПРИНЯЛ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЙ ХАРАКТЕР, ОБЪЯВИТ СЕБЯ ГОТОВОЙ ВЫЧЕРКНУТЬ ИЗ СВОЕГО УЛЬТИМАТУМА ПУНКТЫ, КОТОРЫЕ НАНОСЯТ УЩЕРБ СЕРБИИ, РОССИЯ ОБЯЗЫВАЕТСЯ ПРЕКРАТИТЬ ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ.

— Пожалуйста. Я всегда к вашим услугам.

— Благодарю, — с мрачным видом отвечал Пурталес.

В Петергофе министра поджидал удрученный император. Сазонов стал доказывать, что срыв общей мобилизации расшатывает всю военную систему, графики трещат, военные округа запутаются. «Война, — говорил министр, — вспыхнет не тогда, когда мы, русские, ее пожелаем, а лишь тогда, когда в Берлине кайзер нажмет кнопку…»

Николай II отвечал министру:

— Вилли ввел меня в заблуждение своим миролюбием. Но я получил от него еще одну телеграмму… угрожающую! Он пишет, что снимает с себя роль посредника и, — прочитал царь, — «вся тяжесть решения ложится на твои плечи, которые должны нести ответственность за войну или за мир!».

Сазонов разъяснил: кайзер затем и брал на себя роль посредника, дабы под шумок, пока мы тут балаганим, закончить военные приготовления. В ответ на это царь спросил:

— А вы понимаете, Сергей Дмитрич, какую страшную ответственность возлагаете вы сейчас на мои слабые плечи?

— Дипломатия свое дело сделала, — отвечал Сазонов.

Царь долго молчал, покуривая, потом расправил усы:

— Позвоните Янушкевичу сами… пусть будет общая!

Было ровно 4 часа дня. Сазонов передал приказ царя Янушкевичу из телефонной будки, что стояла в вестибюле дворца.

— Начинайте, — сказал он, и тот его понял…

Схватив телефон, Янушкевич вдребезги разнес его о радиатор парового отопления. Еще поддал сапогом по аппарату:

— Это я сделал для того, чтобы царь, если он передумает, уже не мог бы влиять на события. Меня нет — я умер!

Все телеграфы столицы прекратили частные передачи и до самого вечера выстукивали по городам и весям великой империи указ о всеобщей мобилизации. Россия входила в войну.

\* \* \*

31 июля… Хотя еще никто никого не победил, но все кричали «ура», а между Потсдамом и Петергофом продолжалась телеграфная перестрелка: «Мне технически невозможно остановить военные приготовления», — оправдывался Николай II, на что кайзер ему отстукивал: «А я дошел до крайних пределов возможного в старании сохранить мир…» День прошел в сумятице вздорных слухов, в нелепых ликованиях. Этот день имел ярчайшую концовку. Часы в здании у Певческого моста готовились отбить колдовскую полночь, когда заявился Пурталес.

Сазонов понял — важное сообщение. Он встал.

— Если к 12 часам дня 1 августа Россия не демобилизуется, то Германия мобилизуется полностью, — сказал посол.

Сазонов вышел из-за стола. Гулял по мягким коврам.

— Означает ли это войну? — спросил он небрежно.

— Нет. Но мы к ней близки…

Часы пробили полночь, как в сказке. Пурталес вздрогнул.

— Итак, завтра. Точнее, уже сегодня — в полдень!

Сазонов замер посреди кабинета. На пальце он вращал ключ от бронированного сейфа с секретными документами. Думал.

— Я могу сказать вам одно, — заметил он спокойно. — Пока остается хоть ничтожный шанс на сохранение мира, Россия никогда ни на кого не нападет. Агрессором явится тот, кто нападет на нас, и тогда мы станем защищаться! Спокойной ночи, посол…

Постскриптум № 5

В конце Сараевского процесса обвиняемые заявили, что они просят прощения у малолетних детей Франца Фердинанда, которых оставили сиротами (эти «сироты» были замучены Гитлером в концлагере Маутхаузен, о чем я писал уже раньше). В наше время Сараево стал городом-музеем, где ничто не забыто, все бережно хранится. Есть дома-музеи мусульманского и сербского быта, турецкая библиотека Гази-Хусрефбека, есть музей евреев, православной церкви и даже музей старинного сервиза, в котором легко убедиться, что раньше людей в гостиницах и ресторанах обслуживали во много раз лучше, нежели ныне. Музей «Млада Босна» и отпечатки ног Гаврилы Принципа на уличной панели стали святыми реликвиями народов Югославии…

Схема сокрытия тайны строилась очень просто. Едва грянул сигнальный выстрел «Авроры», как чиновники министерства иностранных дел в Петербурге моментально изъяли из архивов секретные депеши Гартвига к Сазонову. Это первое. А вот и второе. Осенью 1918 года, когда Европе, очумелой от крови, страданий и грохота орудий, было уже наплевать с высокой башни на эрцгерцога Франца Фердинанда и его сироток, протокол Сараевского процесса исчез при таинственных обстоятельствах. Можно догадаться, что он еще цел…

Настал 1920 год. Не было в живых Аписа, могилу которого сровняли с землей, чтобы исчезла даже память об этом человеке; не было и майора Танкосича, прах которого вырыли из могилы, чтобы развеять его по ветру. Но остались живы в песнях и школьных учебниках «преступники», возведенные в ранг «национальных героев». Их останки вынули из чужой австрийской земли для погребения в Сараево. Однако никто из Карагеоргиевичей не соизволил поклониться их праху, король Александр сознательно отвертелся от воздания почестей, чтобы не выглядеть соучастником сараевского убийства.

Почетный караул салютовал залпом из винтовок. Сгорбленная старуха, нищенски одетая, мать Данилы Илича, поставила над могилою сына четыре зажженные свечечки.

— Золотое мое дитятко, — шептала она.

Данила Илич был расстрелян австрийцами. Но, пожалуй, страшнее любой казни была участь тех, кого оставили жить. В декабре 1914 года Гаврилу Принципа, Неделько Габриновича и Трифко Грабеча перевели в имперскую крепость Терезиенштадт, и здесь они были замурованы в темницах. Европа о них не поминала. Красному Кресту хватало своих хлопот, потому об узниках все забыли. Это позволяло австрийским властям творить над ними расправу без страха ответственности.

Казалось, из каменной тесницы Терезиенштадта, этого габсбургского «Монте-Кристо», не вырвется наружу даже слабый стон человека. Но кое-что все-таки дошло до нас… лишь детали их жизни, которая была хуже смерти. Узников подвергли наказанию голодом и одиночеством. Они сидели в цепях, а звон ржавого железа был единственной музыкой, которая провожала их на тот свет. Наконец цепи сняли, ибо какой смысл заковывать живые скелеты?..

Венский психиатр, профессор М. Паппенгейм, не только сумел проникнуть внутрь крепости, но и вызвал доверие Принципа, который признался ему, что война не замедлила бы разразиться даже без его выстрела в Сараево:

— Мною двигали исключительные мотивы любви к народу и мести к врагам народа. Сейчас я не сплю по ночам. Думаю. Мои мысли о жизни и любви… Я понимаю, что жизнь кончилась. Лишь бы не кончалась жизнь моего народа…

Принцип был настолько истощен, что не мог удержать карандаш. На просьбу Паппенгейма изложить свои настроения он писал, что чаще пребывает в философском или поэтическом блаженстве. Врач сохранил записку Принципа: «Что существеннее в человеческой жизни — инстинкт, воля или дух? Что движет человеком вообще? Если бы я мог хоть бы два-три дня читать, то мыслил бы более ясно и выражался точнее…»

— Я не могу, — сказал Принцип, и карандаш выпал из его руки на каменный пол с таким стуком, что показался Паппенгейму чудовищным грохотом, почти обвалом древнего замка…

Неделько Габриновича перед смертью повидал поэт Франц Верфель; по его словам, перед ним предстала какая-то бесплотная, почти воздушная форма человеческого тела, которая фосфорически-прозрачной рукой цеплялась за стены тюремной камеры. Поэт запомнил «бледное видение, вроде невещественного пара, словно освобожденный из плоти дух человека готовился рассеяться в неестественном желтом блеске…».

Почти одновременно, весною 1917 года, все трое умерли от изнурения голодом. Для них, отдавших жизнь за родину, самое страшное в том, что они уже знали жестокую правду:

СЕРБИИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

Глава третья

Париж был спасен

Вздувается у площади за ротой рота,

у злящейся на лбу вздуваются вены.

«Постойте, шашки о шелк кокоток

вытрем, вытрем в бульварах Вены…»

Вл. Маяковский

НАПИСАНО В 1941 ГОДУ:

…узнал гораздо позже. В греках не умер дух прежней Эллады, они сами перешли в наступление, и столь удачно, что гнали легионеров Муссолини, отвоевав у него даже часть Албании. Дуче психовал, замерзая в своем Палаццо-Венеция, когда вдруг начался обильный снегопад. Распахнув окна, Муссолини неистовствовал: «Пусть идет снег! Пусть от мороза передохнут все мои бумажные итальянцы, пусть выживут лучшие представители нашей расы, способные побеждать!» Об Эфиопии-Абиссинии все уже перестали думать, — и вдруг 6 апреля босяки-партизаны, учинив разгром итальянцам, изгнали их из Аддис-Абебы — факт ошеломляющий, ибо в пору громких побед фашизма Муссолини опять получил по зубам, и… где?

Гитлер держал войска в Болгарии, моторы его панцер-дивизий алчно сосали румынскую нефть. Англия послала в Грецию новозеландские и австралийские войска, но… что толку с двух дивизий? Балканы в тревоге. Королем Югославии был тогда малолетний Петр II (сын Александра, убитого в Марселе), а повелевал страною принц-регент Павел — тот самый, что в костюме Пьеро когда-то дурачился с бубном на карнавале в русском посольстве. Павел решил включить Югославию в гитлеровскую систему, но за это желал получить греческие Салоники. В марте 1941 года он тайно посетил Гитлера в Берхтесгадене, после чего был подписан протокол о присоединении Югославии к Тройственному пакту.

Скрыть предательство от народа не удалось, и сербы ответили восстанием, демонстрации двигались мимо королевского конака, люди истошно выкрикивали в слепые окна:

— Лучше война с Гитлером, нежели пакт с ним! Верните страну к союзу с Россией, как делали наши деды и прадеды…

Павел был удален из конака, а королем провозгласили Петра II, которому исполнилось семнадцать лет. Москва предложила Белграду договор о дружбе, и эта дружба, памятная в истории, была бы согрета былыми традициями, скрепленная общей кровью «побратимов», какими всегда были сербы и русские.

Хронология событий потрясающая: 5 апреля в Москве был подписан договор о дружбе Югославии с СССР, а на следующий день, 6 апреля, немецкие бомбы разворотили Белград столь варварски, что город померк в пожарах; немцы с особым садизмом бомбили Сараево — город, в котором родилась первая мировая война… Свершая нападение на Югославию, Гитлер никак не «блеснул гением», повторив те же положения ультиматума Сербии, которые в 1914 году предъявила славянам и монархия Габсбургов. На четвертый день войны армия сербов была разгромлена. Петр II улетел в Каир, словно отрешаясь от прав Карагеоргиевичей на престол в белградском конаке. Южные славяне, столько веков страдавшие под гнетом османлисов и Габсбургов, теперь раздавлены и смяты пятою Гитлера…

Вся эта трагедийная информация о Балканах свалилась на меня позже, и не сразу мне стало известно это короткое имя — Тито! Изолированный от мира, я с большим опозданием освоил обстановку в нашей стране. Конечно, тогда я был лишен возможности раскрыть «Правду» от 14 июня 1941 года, где было опубликовано странное и непонятное коммюнике ТАСС, в котором Хозяин перед всем миром расписывался в добрососедских отношениях с Германией, будто она, эта Германия, собирает свои войска в Польше не ради нападения на Россию…

А тогда, простите, ради чего она собирает войска?

Документ невежественный и трусливый, мое отношение к нему самое отвратительное. Никто не переубедит меня в том, что это позорное заявление ТАСС пагубно отразилось на армии, деморализуя ее. Командиры и рядовые стали думать, что пришло время расслабиться, ибо там, наверху, Хозяин со своей легендарной трубкой в руках не спит по ночам, и он мудро-спокоен, зная то, что неизвестно другим олухам, не посвященным в тайны его Большой Политики.

Возникла преступная потеря бдительности, зато появилась пассивность. Дело дошло до того, что командиры стали ночевать по частным квартирам, а в казармах раздевались на ночь, благодушничая. Между тем, словно в насмешку над нашим разгильдяйством, в германском посольстве открылась фотоэкспозиция, дабы посетители убедились своими глазами: вот что осталось от Белграда, а вот и победный марш вермахта, вступающего в Афины…

О, эти Балканы — старая боль в моем стареющем сердце!

\* \* \*

Я сидел в одиночке и за время отсидки научился экономить каждую спичку, деля ее на четыре продольные спичечки с малюсенькой серной головкой каждая. Очевидно, со мною не знали что делать, ибо советского генерала разведки, верующего в господа бога, трудно оформить по статье «троцкистско-зиновьевского блока», а когда не найти вины человека по 58-й статье, тогда его лучше всего расстрелять, чтобы он сам не мучился и не мучились его следователи [14] .

Получивший клеймо «враг народа», я охотно признал себя «тайным агентом германского фашизма», тем более что я ведь действительно поставлял «дезу» немецкому абверу и установил прямые контакты с Целлариусом в Прибалтике, — что тут было скрывать? Но вскоре следователь, укрывший свое поганое нутро под псевдонимом «Шлык», оставил в покое мои личные услуги фюреру, настойчиво вынуждая меня признаться в том, что я был «агентом британского империализма». Чтобы сделать этому дураку приятное, я легко подмахнул протоколы допроса.

— Вижу, что вы меня раскололи как следует, — сказал я. — Потому решил сделать добровольное признание… Пишите. Я за деньги продался еще разведкам Эквадора, Гондураса и Гватемалы, заодно уж моими услугами пользовалось княжество Монако, обещавшее мне долю дохода с рулетки…

Шлык, потея от радости, вел протокол, прося меня говорить не так быстро, а то он не успевает записывать. Он даже устал, бедняга, и, наверное, стал сомневаться:

— А чем вы можете доказать свои показания?

— А вот это уж не моя забота, — отвечал я. — Вы на то здесь и посажены, чтобы доказывать даже недоказуемое… Я вас понимаю: надо бить своих, чтобы чужие боялись!

В свободное от допросов время я много читал, беря из тюремной библиотеки книги, которые нельзя было прочитать на воле. Так я проглотил залпом всю «Русь» Пантелеймона Романова и увлекся изучением этюда Мережковского о Достоевском. Кстати, Достоевский у нас был на полузапрете, объявленный вредным писателем, и мне вспомнилось, что Геббельс считался в Германии большим знатоком «достоевщины». Может, именно это и дало ему сильное оружие для целей своей пропаганды, построенной на хорошем знании психологических перегибов людской совести. Подумав об этом, я заказал в библиотеке две книги: «Психология толпы» француза Г. Лебона и «Преступная толпа» С. Сигиле, тоже француза, которые до крайних пределов разили теорию стадной управляемости народных масс, покорно следующих за преступной, но сильной личностью. Странно, что этих книг не выдали на руки. Следователь — в ответ на мой протест — советовал заказать для прочтения популярный роман Николая Шпанова «Первый удар».

— Эту книгу, — сказал он, — одобрил сам товарищ Сталин, и сейчас все краскомы и все красноармейцы обязаны изучить ее… такие книги мобилизуют массы в нужном направлении. Автор толково показал, как немецкий пролетариат, вооруженный могучими идеями Ленина-Сталина, сам свергает неугодный режим, а все немцы вступают в партию большевиков.

— Благодарю, — отвечал я, — но с этим романом уже знаком, прочтя его с неслыханным удовольствием…

После 22 июня 1941 года допросы прекратились. Шлык пожелал видеть меня лишь в конце месяца, и я с трудом узнал его — так он переменился, посерев лицом, и без того серым от беспощадного курения папирос «Казбек». Мне эту паскуду было не жалко, хотя я не мог угадать причины его подавленного, угнетенного состояния. Черт меня дернул сказать:

— Вам не кажется, гражданин Шлык, что скоро мы можем поменяться местами?

— Почему? — удивился он, даже растерянный.

— Потому что вы уже неспособны к работе, и вам, кажется, будет полезно общение с врачом в кабинете невропатологии.

Шлык запустил в меня тяжелым пресс-папье.

— Ну, ты… гнида старая! — заорал он, хотя прежней уверенности в его голосе я не заметил…

Этого следователя я больше никогда не видел, а при встрече с ним на том свете плюнул ему в похабную морду. Допросы прекратились, но кормить стали лучше. Я получил целый коробок спичек, не изнуряя себя расщеплением каждой на четыре доли. Однажды вечером меня в камере навестил молодой полковник НКВД, благоухающий одеколоном «Красная Москва», за ним надзиратель внес в камеру чернила с пером и большую стопку бумаги.

— Нет, допроса не будет, — утешил меня полковник. — У меня к вам разговор иного рода. Представьте себе, что на нашу страну вдруг напало некое государство Европы… Что бы вы, старый опытный генштабист, предложили сделать для борьбы с ним? Изложите свои размышления на бумаге.

Я сразу отказался от этой страшной затеи:

— Я не извещен, что творится в мире, и прежде всего должен бы знать, какое государство напало на Россию? Назовите мне противника, тогда получите и мой ответ. Но я догадываюсь, откуда пришла война…

Полковник удалился, чтобы вернуться на следующий день, и был намного откровеннее, нежели вчера:

— Нет смысла скрывать вероломное нападение Германии, наши войска отступают по всему фронту, и не в лучшем порядке… Нами оставлены многие города, под угрозой нашествия даже Киев — мать городов русских. Мне поручено узнать ваше мнение, что бы вы предприняли для противоборства?

Бояться мне было нечего, я отвечал честно:

— Сначала я бы убрал наркома Тимошенко с его высоким самомнением о своих талантах, убрал бы из области вооружения Кулика и всех прочих куликов, много взявших власти на нашем болоте. Я бы выпустил из тюрем всех репрессированных «врагов народа», специалистов военного дела и конструкторов оружия, а меня, — заключил я, — можете оставить в этой камере, ибо я сейчас уже мало пригоден для общего дела.

— Тимошенко уже нет, — ответил полковник, — как нет и многих куликов, а наркомом обороны назначен сам товарищ Сталин… Как вы мыслите борьбу с немецкой разведкой?

— Работа абвера совершенна, — отвечал я. — Сейчас, пока мы с вами беседуем, в Германии гребут горстями наших доморощенных Штиберов и Лоуренсов, все достоинство которых едино лишь в том, что в школе они сдали экзамены по немецкому языку на круглые пятерки и были весьма активны на комсомольских собраниях…

Меня избавили от неволи 22 июля — как раз в тот день, когда немецкая авиация совершила первый налет на Москву. Передо мною извинились, сославшись на «обстоятельства».

— Ваши извинения принимаю, — был мой ответ. — В конце концов можно понять: я дворянин и бывший генерал царской армии, мои понятия о чести не всегда схожи с вашими. Но вы никогда не сможете объяснить мне, почему «врагами народа» стали сыновья крестьян и рабочих, делавших революцию?..

И вот я снова в пустой затхлой квартире. Ночью прослушал немецкое радио. Боже, что творилось в эфире… какая свистопляска… как издевались над нами! Я плакал…

\* \* \*

Страшнее страшного страха было сокрытие правды. Власти утаивали от народа свой позор — Минск немцы взяли на шестой день войны, а по радио у нас сообщали о жестоких боях на Минском «направлении» (понимай как знаешь). 3 июля Хозяин заявил по радио, что лучшие дивизии врага разбиты, танки и авиация противника нашли могилу в нашей земле. И чем дальше на восток продвигался вермахт, тем все более миллионов немцев «убивало» Совинформбюро в своих кабинетах; иногда даже казалось, что в Германии давно не осталось людей, все уже давно похоронены нами…

Когда я снова появился в разведотделе Генштаба, меня встретили очень дружелюбно, сослуживцы наперебой спешили сказать мне, что они всегда верили в мою честность.

— Сейчас, говорят, будет издан указ о праве ношения царских боевых орденов, полученных за войну с кайзеровской Германией… Много у вас таких?

— Больше, чем у вас советских, — отвечал я…

Однако в разведке меня использовали, скорее, в роли «консультанта», а затем в том же амплуа перевели ради «укрепления кадров» в Радиокомитет, занятый тем, чтобы пропаганде Геббельса противопоставить свою контрпропаганду. Возглавлял эту архисложную работу Дмитрий Алексеевич Поликарпов, и я, не будучи знаком с ним ранее, был приятно удивлен, встретив в этом партийном деятеле человека умного и честного. Он всегда говорил со мною на пределе откровенности, что и позволяло мне отвечать ему тем же.

Здесь уместно дельное примечание. Со времен библейской давности народы мира, не надеясь только на грубую военную силу или разум своих правителей, всегда дополняли их важным фактором психологического давления на общественное мнение противников. К сожалению, наша страна оказалась совершенно неподготовленной к тому, чтобы бороться с Геббельсом и его компанией, уже имевшей большой опыт в демагогии, признаюсь, я не раз удивлялся, как искусно в Берлине отмывали черного кобеля добела. С тотальным государством вообще труднее бороться.

И не все в нашей контрпропаганде мне нравилось. Помню, когда немецкие коммунисты, живущие в Москве, составили первую листовку, обращенную к гитлеровским солдатам, ее отнесли — ради проверки — Льву Захаровичу М[ехлису], заседавшему в высоких инстанциях. Этот авторитетный товарищ, запросто вхожий к Хозяину, всю листовку снабдил множеством грубейших ругательств по адресу Гитлера, призывая немецких солдат сразу бросать оружие и сдаваться в плен, пока не поздно, иначе им худо будет… Помню растерянность Вильгельма П[ика], увидевшего свое творение в искаженном виде. Мне пришлось крупно поговорить с Поликарповым.

— Вы не верите в силу нашей пропаганды? — укорил он меня.

— В такую вот филькину грамоту, составленную из брани, я не верю. Немецкий солдат наступает, а наш драпает. В такой момент призывать немцев к свержению Гитлера — по меньшей мере нелепо. И до тех пор, пока мы не научимся побеждать, немцы будут нашими листовками подтираться. Убеждать побеждающего врага, чтобы он покорился побежденным, — это занятие для идиотов. Наконец, сами немецкие коммунисты сказали мне, что ругать Гитлера еще не пришло время…

Я советовал вести контрпропаганду осторожно, сначала на тормозах. Напомнить о временах Фридриха Великого, который был очень талантлив, но все-таки разбит русской армией; напомнить о железном канцлере Бисмарке, человеке громадного ума, который предупреждал немцев не задирать хвост перед Россией, иначе Германия разлетится вдребезги; напомнить немцам о том, что Германия еще не расплатилась с Россией за 1813 год, когда именно русский солдат спас Европу и освободил Пруссию от наполеоновской оккупации.

— Наконец, — сказал я, — надо читать по радио дуракам в Берлине стихи немецкого поэта и патриота Арндта, который говорил, что короли приходят и уходят, а сама Пруссия, сам немецкий народ остаются… Если мы сегодня еще не обладаем ораторским искусством Ганса Фриче, радиодиктора Берлина, так давайте подсунем им Бисмарка или Арндта, которые красноречивее Геббельса… Будем бить немцев примерами немецкой истории!

Однажды, прослушав запись передачи на Германию, я сказал Поликарпову, что выпускать ее в эфир никак нельзя.

— Почему? М[ехлис] одобрил текст.

— Нельзя, — объяснил я, — чтобы московский диктор, вещающий на Германию, зараженную антисемитизмом, говорил с сильным еврейским акцентом.

— Помилуйте, но Лев Захарович…

— Но… акцент, черт побери! — вспылил я. — Какой немец поверит Москве, если услышит голос еврея?

Не знаю, дошло это до Л. З. М[ехлиса] или нет, но при встрече со мною он осмотрел меня чересчур выразительно:

— Мало сидели? Еще захотелось? — и отошел…

Я предложил, помимо официальной («белой») пропаганды, вести иногда и «черную», когда источник ее неизвестен. Немец в Германии, случайно нащупавший в эфире незнакомую станцию, может подумать, что передачу ведет тоже немец, затаившийся со своим передатчиком где-то в Германии. Для этого я как следует подготовился, решив изобразить себя тем немцем, который не забыл еще старой, добропорядочной Германии; никаких призывов — одни эмоции… Мой голос был совершенно неизвестен в международном эфире, и я решил побыть в роли радиодиктора.

Помню, как раз в Москве объявили воздушную тревогу, когда я впервые подошел к микрофону. На пульте вспыхнул сигнальный свет — можно начинать.

— Германия! — начал я. — Где твои милые, уютные города, обвитые старомодным плющом, где твоя былая философская скромность бытия и твои прекрасные музеи, наполненные сокровищами старой мысли? Я люблю тебя, умная, деловая, скромная и просвещенная Германия — страна, давшая миру так много, всем европейцам и всем нам, немцам. Теперь у меня нет сердца — открытая рана, и она кровоточит гневом и страхом…

\* \* \*

В сорок первом, когда всем русским людям хотелось верить в близкую гибель военной машины Германии, находились горе-ученые, строившие в угоду нашим правителям добренькие прогнозы о том, что Германия вот-вот выдохнется, ибо в ней наступит истощение от нехватки сырья.

Наша армия по-прежнему отступала, обгоняя ревущие стада колхозных коров и многотысячные толпы изнуренных беженцев, а наш академик Е. С. Варга печатно заверял публику, что еще месяц-два, и все моторы танков и самолетов Гитлера умолкнут, ибо кончатся запасы горючего. Вот именно тогда, рискуя прослыть «паникером», выступил наш знаменитый ученый А. Е. Ферсман, подсчитавший экономические возможности стран гитлеровского блока, и пришел к самому точному выводу:

— Германия развалится к весне сорок пятого года…

Я увлекся своей работой, занимаясь «черной» пропагандой, как немецкий антифашист, живущий где-то в Германии, и, подходя к микрофону, я почему-то всегда вспоминал ценное изречение Ганса фон Секта: «Офицер генерального штаба не должен иметь своего имени!» У меня и не было теперь имени — и не надо мне имени, лишь бы осталось в святости имя Родины…

1. Наша Катерина просто кипит…

Я вернулся в Петербург еще до объявления войны, и в моей голове почти болезненно пульсировал идиотский рефрен для детского понимания: «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, и от волка уйду…» После двукратного бегства — из Германии и Австрии — меня угнетало чувство своей непригодности для работы в разведке, и я, страдая самолюбием, считал себя «мертвецом в отпуску». Тайный агент, я как бы перестал быть тайным после двух разоблачений, и даже не удивился, получив на домашний адрес почтовую открытку, украшенную целующимися голубками: «Дорогой Наполеон! Остров св. Елены — слишком роскошно для Вас, а потому приготовьтесь закончить свои гулянки на виселице. Сразу же заверяем Вас, что лишних свидетелей Вашего позора не будет…»

Хотя угроза войны была очевидна, но я почему-то не очень верил в то, что война возможна. Мне казалось, что июльский кризис так и останется лишь кризисом. Кажется, и сами петербуржцы, лучше других россиян осведомленные, не слишком-то верили, что доживают последние дни мира. Посетив однажды недорогой ресторан на Стрелке, я был удивлен легкомыслию публики, которая откровенно потешалась над сущей ерундой, преподносимой с эстрады балалаечниками:

В далеком ущелье Кавказа Царица Тамара жила, На ней треугольная шляпа И серый походный сюртук…

По возвращении в столицу первое, что меня поразило, так это бешеное падение цен на все товары и баснословная дешевизна продуктов, а цены все падали и падали — это было результатом июльского кризиса: вдруг не стало экспорта, а потому все торговцы спешили сбыть свои товары. Примерно за неделю до 1 августа (роковое число!) я был вызван в Генштаб, где без лишних свидетелей меня наградили высоким военным орденом. Почти тогда же — без публикации в газетах — я был жалован во французском посольстве орденом Почетного Легиона, который в присутствии посла Палеолога мне вручил военный атташе Маттон де ла Гиш…

После того как меня достаточно обмазали медом, я был причислен к «Разведывательному отделению Главного управления Генштаба», работа которого была почти легальна; моя фамилия появилась в официальных справочниках должностных лиц Российской империи, только начальную букву своей фамилии «О» я просил переделать на букву «А».

Я держался особняком от сослуживцев, чаще всего общаясь с Оскаром Энкелем, будущим начальником генштаба Финляндии, и полковником Сергеем Марковым, который — по словам Алексея Толстого — навсегда отравился «трупным дыханием» войны. Я занимался балканскими делами, поглощенный «изменой» болгарского царя Фердинанда, переставившего Болгарию на рельсы Тройственного союза — против России, и частенько сожалел, что Апис не довел заговор до конца, чтобы прикончить этого холуя Гогенцоллернов и Габсбургов. Мне кажется, мы просто не сумели «купить» эту продажную сволочь, а банковский концерн «Дисконто-Гезельшафт» вовремя отсчитал царю 500 миллионов франков… С высшим начальством я мало общался, и только один раз о моих делах справился генерал Янушкевич:

— Ну, чем можете порадовать?

— Радости мало, и, пожалуй, я солидарен с мнением Конрада-фон-Гетцендорфа, который недавно отпустил комплимент по нашему адресу, более схожий с оплеухой: «Победить русских очень трудно, но и самим русским трудно быть победителями!»

Поглощенный делами, я жил очень скромно, совсем не грешил винопитием и не нарушал седьмую заповедь, хотя соблазнов было — хоть отбавляй. Я сознательно избегал шипов и роз Гименея, ибо, сидящий, на самом верху вулкана, скоро уже сообразил, каким извержением закончится «июльский кризис», и не одна Помпея будет засыпана пеплом…

Случай возобновил мое давнее знакомство с Михаилом Дмитриевичем Бонч-Бруевичем, приехавшим в столицу из Чернигова. Он был старше меня лет на пять, если не больше; выделялся своей образованностью: помимо Академии Генштаба окончил Межевой институт и Московский университет. Я был извещен, что его брат Владимир Дмитриевич убежденный большевик, сотрудник ленинской «Искры», знаток религиозных культов. Теперь один брат готовил Россию к войне, а другой протестовал против войны… Что ж, и такое в жизни бывает!

Разговор у нас был короткий, но содержательный. Бонч-Бруевич — об этом было нетрудно догадаться — ведал делами контрразведки, и он не скрывал своей озабоченности тем, что на верхних этажах империи кто-то нам сильно гадит. Был упомянут и Сухомлинов, ослепленный старческой страстью к своей вульгарной Екатерине, даме блудливой и развязной.

— В конце-то концов, — уныло говорил Михаил Дмитриевич, — это просто баба, которой нравится быть первой в деревне. Но вокруг нее крутятся не только модистки и спекулянты бриллиантами. Через нее в дом военного министра проник и некий Альтшуллер, бывший у нас на примете еще в Киеве. Но едва раздался выстрел в Сараево, как он моментально скрылся, а следы его обнаружились в Вене. Подозрителен и полковник Мясоедов, окруженный всякой нечистью, недаром же Вильгельм II любил охотиться с ним в горах прусского Роминтена…

К чему я вспомнил эту беседу? Только к тому, что впоследствии, когда земля горела у меня под ногами, я оказался в секретном вагоне Бонч-Бруевича, стоявшем на запасных путях революционного Петрограда, и, может, именно потому из генералов царской армии я сделался генералом советским…

И вот настал судный день — день 1 августа 1914 года!

\* \* \*

Утро… Кайзер накинул поверх нижней сорочки шинель прусского гренадера и в ней принял Мольтке («как солдат солдата»). Германские грузовики с запыленной пехотой в шлемах «фельдграу» уже мчались по цветущим дорогам нейтральных стран, где никто их не ждал. Часы пробили полдень, но графа Пурталеса в кабинете Сазонова еще не было. Германский посол прибыл, когда телеграфы известили мир о том, что немцы уже оккупировали беззащитный Люксембург и теперь войска кайзера готовы молнией пронизать Бельгию… Пурталес спросил:

— Прекращает ли Россия свою мобилизацию?

— Нет, — кратко ответил Сазонов.

— Я еще раз спрашиваю вас об этом.

— И я еще раз отвечаю вам тем же — нет…

— В таком случае я вынужден вручить вам ноту.

Нота, которой Германия объявила войну России, заканчивалась высокопарной фразой: «Его величество кайзер от имени своей империи принимает вызов …» Это было попросту глупо!

— Можно подумать, — усмехнулся Сазонов, — мы бросали кайзеру перчатку до тех пор, пока он не снизошел до того, что вызов принял. Россия не начинала войны. Нам она не нужна! У нас достаточно и своих нерешенных проблем…

— Мы защищаем свою честь, — напыжился Пурталес.

Сазонов без надобности открыл и закрыл чернильницу.

— Простите, но в этих словах — пустота…

Только сейчас министр заметил, что Пурталес, пребывая в состоянии аффекта, вручил ему не одну ноту, а… две!

Берлин снабдил посла двумя редакциями нот для вручения Сазонову одной из них — в зависимости от того, что тот скажет об отмене мобилизации. Но Пурталес допустил чудовищный промах, вручив министру обе редакции. Затем, объявив России войну, германский посол сразу как-то ослабел и, шаркая, поплелся к окну, из которого был виден Зимний дворец. Неожиданно он стал клониться все ниже, пока его лоб не коснулся подоконника.

Пурталеса буквально сотрясло в страшных рыданиях.

Сазонов подошел к нему, похлопал его по спине:

— Взбодритесь, коллега. Нельзя же так отчаиваться.

Пурталес, горячо и пылко, заключил министра в объятия:

— Мой дорогой, что же теперь будет… с нами?

— Проклятие народов падет на Германию…

— Ах, оставьте… разве вы или я хотели войны?

На выходе из министерства Пурталеса поставили в известность, что для выезда его посольства завтра утром будет подан экстренный поезд к перрону Финляндского вокзала. Сборы были столь лихорадочны, что посол оставлял в Петербурге свою уникальную коллекцию антиков. Но в четыре часа ночи Сазонов разбудил его звонком по телефону из министерства:

— Кажется, нам не расстаться. Дело вот в чем. Государь только что получил телеграмму от вашего кайзера, который просит царя, чтобы наша армия ни в коем случае не нарушала германских границ. Я никак не могу освоить в своем сознании: с одной стороны, Германия объявила нам войну, а с другой — эта же Германия просит нас не переступать ее границ.

— Этого я вам объяснить не могу, — отвечал Пурталес.

— В таком случае извините. Всего хорошего.

На этом они нежно (и навсегда) расстались…

Примечательно: самые здравые монархисты — и в Берлине и в Петербурге — отлично понимали, что в этой войне победителей не будет — всех сметут революции! Но в 1914 году все почему-то были уверены, что революция сначала возникнет в Германии.

— А как же иначе? — говорили наши головотяпы. — Немцы, они, брат, культурные. Не то что мы, сиволапые…

\* \* \*

— Побольше допинга! — восклицал Сухомлинов. — Германия — лишь мыльный пузырь, заключенный в оболочку крупповской брони. Моя Катерина просто кипит! Дома сам черт ногу сломает. Лучшие питерские дамы устроили из моей квартиры фабрику. Щиплют корпию, режут бинты… Вот лозунг наших великих дней: все для фронта, все для победы!

Ему с большим трудом удалось скрыть бешенство, когда стало известно, что все-таки не он, а великий князь Николай Николаевич, матерый алкоголик и бабник, назначен верховным главнокомандующим, как дядя царя. Петербург давно не ведал такой жарищи, а Янушкевич уже хлопотал о валенках и полушубках.

— Помилуйте, с меня льет пот. Какие валенки?

— Еще и подковы с шипами на случай гололедицы.

— Да мы через два дня будем в Берлине, — смеялся министр. — Нынешняя война не Семилетняя, когда наша бедная Лиза не знала, как ей устыдить Фридриха Великого…

На Исаакиевской площади озверелая толпа «патриотов» уже громила германское посольство — уродливый храм «тевтонского духа», отвечающий призыву кайзера: «Цольре зовет на бой!». С крыши летели на панель бронзовые кони-Буцефалы, вздыбившие копыта над русской столицей. Толпа крушила убранство посольских покоев; рубили в куски старинную мебель, под ломами дюжих дворников с жалобным хрустом погибала драгоценная коллекция антиков графа Пурталеса… Настроение этой дикой толпы лучше всего отобразил Маяковский, еще молодой:

Морду в кровь разбила кофейня, зверьим криком багрима: «Отравим кровью игры Рейна! Громами ядер на мрамор Рима!» Берлин упивался тевтонской мощью, тамошние ораторы утверждали, что «железное исполнение долга — это ценный продукт высокой германской культуры». Немецкие газеты предрекали, что это будет молниеносная война — война «четырех F»:

Frischer. Frommer. Fr"olicher. Freier.

Освежающая. Благочестивая. Веселая. Вольная.

Кайзер напутствовал гвардию на фронт словами:

— Еще до осеннего листопада вы все вернетесь домой…

В русском Генштабе появился полковник Базаров, бывший военный атташе в Берлине, он просил дать ему свои же секретные отчеты с 1911 года. Был удивлен:

— Я не вижу пометок министра. Читал ли их Сухомлинов?

— Подшивали аккуратно. Наверное… читали.

Базаров отшвырнул фолиант своих донесений.

— Это преступно! — закричал он. — Что мне с того, что его Катерина кипит, как самовар, если я в Берлине напрасно вынюхивал, подкупал и тратил казенные тысячи… Не я ли предупреждал эту Катерину, что военный потенциал немцев превосходит наш и французский, вместе взятые.

— Вы забыли об Англии, — тихо напомнил Энкель.

— Да плевать я хотел на вашу Англию! — совсем осатанел Базаров. — Для англичан война — это спорт, а для нас, для россиян, война — это смерть…

Бравурная музыка лилась в открытые настежь окна. Шла русская гвардия — добры молодцы, кровь с молоком, косая сажень в плечах, — они были воспитаны погибать, но не сдаваться.

Ах, как звучно громыхали полковые литавры!

Столичные рифмоплеты поспешно строчили стихи для газет, чтобы завтра же положить в карман лишнюю пятерку:

И поистине светло и свято Дело величавое войны, Серафимы, ясны и крылаты, За плечами воинов видны… Сухомлинов названивал в Генштаб — Янушкевичу:

— Ради бога, побольше допинга! Катерина кипит… Хочется рыдать от восторга. Я уже отдал приказ, чтобы курорты приготовились для приема раненых. Каждый защитник отечества хоть разок в жизни поживет у нас, словно Ротшильд.

— Владимир Александрович, — отвечал Янушкевич, — люди по три-четыре дня не перевязаны, раненых не кормят. Бардак развивается по всем правилам великороссийского разгильдяйства. Без петровской дубинки не обойтись! Пленные ведут себя хамски — требуют вина и пива, наших санитаров обзывают «ферфлюхтерруссен»! А наша воздушная разведка…

— Ну, что? Здорово наавиатили?

— А наша артиллерия…

— Небось наснарядили?

— Я кончаю разговор. Неотложные дела.

— Допингируйте, дорогой. Побольше допинга!

Империя вступала в войну под истошные вопли пьяницы, с тихим ужасом воспринявшего сообщение газет о введении в стране «сухого закона». Все алчущие спешили напоследок надраться так, чтобы в маститой старости было что рассказывать внукам: «Вот кады война с германом началась… у-у, что тут было!»

Мерно и четко шагала русская гвардия. Под грохот ее сапог «кричали женщины „ура“ и в воздух чепчики бросали».

Из храмов выплескивало на улицы молебны Антанты:

— Господи, спаси императора Николая…

— Господи, спаси короля Британии…

— Господи, спаси Французскую Республику…

Литавры гремели, дождем хризантем покрывались брусчатые мостовые «парадиза» империи. Самое удивительное, что добрая половина людей, звавших сейчас «На Берлин!», через три года станет кричать «Долой войну!». А газетчики надрывались:

— Купите вечернюю! Страшные потери! Кайзер уже спятил и скоро окажется в бедламе… Последняя новость: наши войска пленили парадный мундир императора Франца Иосифа!

Звонок. Что вы, мама? Белая, белая, как на гробе глазет. «Оставьте! О нем это, об убитом, телеграмма. Ах, закройте, закройте глаза газет!» На пороге кабинета Сазонова уже стоял Палеолог:

— Умоляем… спасите честь Франции!

Август. Битва на Марне. Немцы шли прямо на Париж.

2. Париж надо спасать

Я никогда не бухался на колени перед громогласными доктринами германской военщины, всегда твердо зная: России можно нанести поражение, но победить ее нельзя. «Перевоевывать» войны на иной лад — занятие бесполезное, но повторять историю пришлось, и в 1944 году наши солдаты шли по тем же лесам и болотам, где в 1914 году погибали их отцы и деды. Они побеждали, чтобы освободить Европу от насилий фашизма, а мы ложились костьми, чтобы спасти честь Франции!..

Лето выпало жаркое: вокруг Петербурга горели леса и массивы торфа, столица плавала в едком дыму, который окутывал улицы пеленой, словно саваном, едко щекотал ноздри. Как мне было грустно в пустой квартире, где после смерти отца я все оставил так, как было при нем, а он оставил все так, как было еще при матери. Невольно я ужасался:

В квартире прибрано. Белеют зеркала. Как конь попоною, одет рояль забытый; На консультации вчера здесь Смерть была И дверь после себя оставила открытой…

Помню, что выходную дверь я закрывал, но она оказалась открытой, и потому появление полковника Базарова было для меня неожиданным. Равнодушно оглядев запустение моего жилья, он сразу заговорил, что войны могло бы не быть:

— Если бы проклятая Англия в самом начале кризиса твердо заявила о своем боевом союзе с нами и Францией, после чего кайзер поджал бы хвост. Но в Лондоне исподтишка радовались, как мы грыземся, и только теперь заявили, что не позволят немцам нарушать нейтралитет Бельгии. Впрочем, не буду чесать в понедельник то место, что чесалось еще в воскресенье. Война — факт!..

— Павел Александрович, — сказал я, — что вы тут выводите мне цыплят из вареных яиц? У вас ко мне дело?

Дело касалось меня. При штабах армий заводились разведотделы, но за неимением специалистов возглавлять их брали жандармов. Базаров сказал, что глупость подобного решения очевидна, ибо разведка — тем более в условиях фронта — это не полицейская облава.

— Сейчас образован Северо-Западный фронт под общим командованием генерала Жилинского, готовый к удару по Восточной Пруссии, дабы оттянуть немецкие силы от Парижа. В составе фронта две армии. Первая — генерала Ренненкампфа, известного по кличке «желтая опасность» [15] . Вторая — под командованием генерала Самсонова, прозванного за богатырскую стать «Самсоном Самсонычем»… В какой вы хотели бы служить?

Я спросил коллегу о генерале Ренненкампфе:

— Можно ли доверять Павлу Карлычу? «Желтая опасность» уже проявил себя ложью, хапужеством и негодяйством.

— Что делать? — со вздохом отозвался Базаров. — Ренненкампфу особо доверяет сам государь император, который не может забыть его услуги в пятом году… Кстати, Жилинский тоже склонен не доверять «желтой опасности»…

Разговор с Базаровым был у нас откровенным.

— Я не доверяю авторитету и Жилинского, который в войне с японцами возглавлял штаб при Куропаткине, подтверждая те глупости, которые делал тогда Куропаткин. Жилинский сберег свою репутацию при дворе, умея очаровывать придворных дам, но… популярности в армейской среде не обрел. По сути дела, это военный бюрократ, недаром в Генштабе его зовут «живым трупом»…

Выслушав это, я просил время подумать.

— Время не ждет. Я пришел за вашим «да» или «нет».

— А кто при Самсонове начальником штаба?

— Генерал-майор Постовский.

— Это «сумасшедший мулла»? — спросил я.

— Да, таковым именуют его, не считая вполне нормальным, ибо он делает себе «намазы», как правоверный мусульманин.

— А кто при Самсонове военным агентом? Француз?

— Нет. Англичанин. Майор Нокс.

— Павел Александрович, — спросил я, поразмыслив, — а в какой из армий, в Первой или Второй, хотели бы вы служить сами начальником разведотдела?

— Ни в какой, — ответил Базаров, поднимаясь. — Кстати, не держите свои двери открытыми. Вы уже на заметке германского генштаба, а потому советую быть осторожнее… В любом случае вы не имеете права попасть в плен.

— Так что же мне? Прикажете стреляться?

— Стреляйтесь. А я пошел. Всего доброго…

\* \* \*

Воюют не за власть — люди погибают за Отечество!

Дело историков разобраться, почему на войну с Японией русские шли неохотно, а нападение Германии на Россию вызвало пробуждение национальных чувств. Так было в 1914-м, так было в 1941 году… Наверное, в русском народе слишком сильно давнее недоверие к Германии, которая со времен Петра I поставляла для царского двора временщиков, а немцы входили в «элиту» придворного общества. Наконец, в эпоху крепостничества помещик брал в управляющие именно лесковского немца, и тот плетьми и палками выколачивал из людей оброки. Если собрать воедино цитаты из русской литературы, в которых обличается немец-поработитель, то соберется громадный томина, но достаточно вспомнить салтыковско-щедринский разговор «мальчика в штанах» с «мальчиком без штанов»…

Теперь против многонациональной России ополчилась единонациональная Германская империя, спаянная «железом и кровью» из четырех королевств, шести великих герцогств, пяти просто герцогств, семи княжеств и трех «вольных городов» (Гамбурга, Любека и Бремена). В эти дни я слышал выражение одного интеллигента «Сатана связался с Люцифером», но кто тут был Сатаной, а кто Люцифером — об этом не хотелось думать. Мне виделось иное. Крестьянин, выходя весной в поле, всегда надеется, что осенью соберет урожай. Армия, вступая в войну, обязана верить, что в конце ее будет победа. И пахарь и солдат одинаково терпят лишения ради конечного результата. Не будь этой манящей цели — к чему же тогда наши усилия?

Увлеченный общим патриотическим порывом (не боюсь высоких слов), я совсем не хотел оставаться в Петербурге на правах «тыловой крысы», и вскоре состоялось мое официальное назначение начальником разведки при штабе Второй армии Самсонова. Но прежде у меня возник разговор в кабинете генерала от инфантерии Н. Н. Янушкевича, который был памятен мне по Академии Генштаба, где он читал лекции по военной администрации. Николай Николаевич мог считать свою карьеру удачной, ибо теперь состоял начальником штаба при главковерхе, умея ладить и с барином, и с его кучерами. Оскар Энкель предупреждал меня, что в беседе с Янушкевичем следует быть осторожным, ибо он находит особое удовольствие от перлюстрации писем офицеров Генштаба, но я, помнится, утешил Энкеля ответом, что перепискою не грешу.

В разговоре с Янушкевичем я высказал сомнения:

— Пока что я имею хомут, не имея лошади. Налаживать разведку вслепую, не имея агентуры, дело трудное. На доверие немцев Восточной Пруссии нельзя рассчитывать, ибо, как вы сами догадываетесь, нас не встретят цветами.

— Вы же служили в погранстраже Граево, — сказал Янушкевич, проявив осведомленность в моей биографии. — Попробуйте наладить связи с местными контрабандистами.

— Простите, — отвечал я, — но прокурору, карающему вора, не следует прибегать к помощи воровского жаргона. Откуда мы знаем? Вербуя контрабандистов, можно быть уверенным, что они, часто бывая в Восточной Пруссии, уже давно завербованы германской разведкой и согласятся стать «герцогами», чтобы получать от немцев марками, а от меня — рублями… Нет уж! — сказал я. — С этой сволочью не стоит связываться, дабы сохранить чистоту мундира.

Янушкевич напомнил мне, что в таком «грязном» деле, как шпионаж, отбросов нет — есть только кадры.

— Верно! — согласился я. — Но меня взяли в разведку Генштаба не из отбросов общества, ночующих под мостами Обводного канала. Единственное, что могу сделать, так это привлечь к работе поляков или мазуров, населяющих Пруссию с давних времен, благо сейчас их древняя столица Эльк (нынешний город Лык) открывает нам дорогу в Пруссию.

— Прусские мазуры — лютеране, — возразил Янушкевич.

— Но они же и славяне, порабощенные крестоносцами, мазурам выпала участь наших ливов и эстов в Прибалтике.

— Воля ваша, — отвечал Янушкевич…

С удовольствием кота, поймавшего мышь, он открыл секретный сейф своего кабинета. Я считал его умным человеком, но он удивил меня глупостью, когда с таинственным видом извлек наружу роскошный бювар с казенной надписью: «Дело № 00001. МАРИЯ СОРРЕЛЬ». В бюваре хранилась фотография голой женщины, которая, лежа в постели, вздымала за здравие мужчин бокал с вином. Я не был бабником, даже возмутился:

— Помилуйте, при чем здесь эта дешевая порнография, если речь у нас идет о серьезных делах?

Янушкевич с тем же удовольствием кота плотоядно обозрел сочные прелести красотки.

— Вы, — начал он, — напрасно ополчаетесь противу жандармов, взявших в свои опытные руки дело фронтовой разведки. Как видите, жандармы тоже даром хлеб не едят. Именно они раздобыли не только эту карточку, но им удалось даже составить список господ офицеров Первой армии, имевших удовольствие «употребить» эту даму. А в конце этого списка, — сказал Янушкевич, показав и сам список, — мы видим «желтую опасность» со стороны самого генерала Ренненкампфа.

— Напомните, как зовут эту женщину?

— Мария Соррель.

— Француженка?

— Таковой считается.

— А вы уверены в этом? — спросил я, и мне стало тошно. — Вы меня извините, Николай Николаевич, но это еще не разведка. Если мы станем коллекционировать фотографии всех красивых б…, так нам не совладать с разведкой противника и уж, конечно, трудно наладить свою разведку.

Янушкевич с огорчением захлопнул бювар.

— Повезло же Павлу Карлычу… на старости лет! Хороша его Гильза Патроновна, хороша. А на меня вы напрасно обиделись, — построжел Янушкевич. — Этой фотографии придал немалое значение не только главнокомандующий. Его императорское величество тоже высочайше оценил вкус Ренненкампфа. У вас же, я вижу, иной вкус?

— Мне импонирует красота Надежды Плевицкой.

— Так у нее пасть как у лягушки. Когда она разинется, так будто сейчас тебя проглотит…

«Дурак ты дурак», — подумал я, поднявшись, чтобы откланяться. Мне стало ясно, что налаживать фронтовую разведку будет трудно. В 1918 году, когда Янушкевича арестовали, он был пристрелен конвоирами, и мне, признаюсь, не стало его жалко. Не жалел я потом и генерала Ренненкампфа, как не жалел и его Гильзу Патроновну — эту Марию Соррель!

\* \* \*

С началом войны среди офицеров появилась глупая мода — украшать себя разными побрякушками, чтобы произвести впечатление на слабонервных женщин. Идет, бывало, офицер, весь опутанный ремнями портупеи, при шпорах, а сам обвешался револьвером, биноклем, фотокамерой «кодака» и даже свистком для поднимания солдат в атаку — смотреть страшно! Я, конечно, этим барахлом не увлекался, мои сборы на фронт были скромнее: купил десять банок мясных консервов у Елисеева, обзавелся пачками кофе и табаку — этого пока хватит…

До сих пор я не распознал взаимосвязь событий, возникших после моих бесед с Базаровым и Янушкевичем. В кармане мундира уже лежал билет на варшавский экспресс, когда — совсем неожиданно! — со мною пожелал встретиться А. И. Гучков, слишком авторитетный в политических кругах Думы как один из лидеров кадетской партии. Поначалу я расценил его желание совсем иначе: Гучкова я чуточку помнил еще по англобурской войне, в которой он, как и я, участвовал добровольцем; я отделался тогда пленом, а Гучков тяжелым ранением…

Александр Иванович обеспокоил меня по телефону:

— Вас не затруднит короткая встреча, скажем, на Стрельне? С вашего соизволения, со мной будет Николай Виссарионович Некрасов, тоже думец и мой соратник.

Я согласился, хотя к политическим говорунам относился так-сяк. Бранить кадетов могут только праздные люди, ибо ловкачество входит в их партийную программу так же естественно, как желание человека обедать. Мы встретились в ресторане «Стрельна». Некрасов, знакомясь, почему-то не заикнулся о своем политическом кредо, представившись «профессором Томского университета по возведению мостовых конструкций». Мне это было безразлично даже в том случае, если бы он назвался «ученым по изготовлению кислых щей». Мы уселись за столик, и ведьма-цыганка, качнув в ушах громадными серьгами, запела низким, страдающим голосом: «Слышишь ли, разумеешь ли?..»

Я слушал и разумел, а Некрасов напомнил нам о «сухом законе», обязательном для всех:

— Коньяк подают только под видом чая в стакане, который надо помешивать ложечкой…

Гучков вдруг пылко заговорил, что война возникла совсем не потому, что была необходима России или Германии:

— Все гораздо проще! Стрела сорвалась с тетивы не потому, что ясна цель, а просто потому, что руки политиков устали держать тетиву в долгом напряжении. Но, поверьте, в мире есть еще над политические и над национальные силы, способные организовать человеческий материал в наилучшем общественном порядке.

— Это… — намекнул я, нарочно запнувшись.

— Это… — не решился Гучков сказать открыто.

— Смелее! — прикрикнул я. — Догадываюсь о тайном сообществе людей с благожелательными намерениями… Не так ли?

— Примерно так, — кивнул Гучков.

Не требовалась ума палата, чтобы сообразить, в какую шайку меня завлекают. Ясно, что оба думца желали бы втянуть меня в свои масонские плутни, в которых загробная мистика настояна на густых дрожжах тайной политики. Я ответил:

— Знаете, из кабака не идут в церковь, а из храма божия не станут шляться в кабак. Паче того, вы, господа, и ваша ложь являетесь лишь филиалом известной французской фирмы.

Об этом я был извещен достаточно точно.

— Неправда, — тихо возразил Гучков, — мы уже давно порвали с гегемонией французских масонов, ибо у нас, у русских, своя программа, более широкая… поверьте мне! И шкура у нас покрепче, самой высокой выделки — почти дубленая.

— Жизнь в России и без того сложная, — отвечал я, — так стоит ли осложнять ее розенкрейцерскими выкрутасами времен Очакова иль покоренья Крыма? Сейчас война, — рассудил я, — и Екатерина Великая правильно сделала, что во время войны со шведами и турками пересажала своих масонов за решетку, чтобы не вредили своими связями с врагами России.

— Вот мы и добиваемся… мира, — ляпнул Гучков.

— А зачем вам понадобился мир? — спросил я.

— Чтобы не было войны.

— У нас получается детский разговор. Но я всегда был далек от пацифизма. Не Россия напала на Германию, а Германия напала на Россию, в таких случаях мне, русскому офицеру, надо воевать, а не думать о символическом значении треугольника или «Розового креста» мальтийского рыцаря Кадоша…

Некрасов словно очнулся от сладкой дремоты:

— Видно, вы начитались Тиры Соколовской, которая с того и кормится, что не умеет разгадать, сколько будет дважды два… Между тем все гораздо сложнее! Интернациональная надстройка масонов всего земного шара способна разрушить узкополитические козни продажных правительств.

На этот вызов я решил не отвечать.

— Вы, я вижу, плохо относитесь к нам, политическим лидерам будущей России? — напрямик спросил Гучков.

— А почему я должен относиться к вам хорошо? Почти все политики, наобещав целый короб всяческих благ, молочные реки и кисельные берега, потом до самой смерти объясняют народу, что они хотели сделать и каковы причины, помешавшие им исполнить свои обещания. Между тем полнота политической власти не всегда влечет за собой и полноту ответственности.

— Вы… монархист? — вдруг спросили меня.

— Неубежденный. Всегда был далеко от людей, которых еще протопоп Аввакум именовал «шишами антихристовыми», и я приму любой строй, лишь бы он был угоден народу.

— Может, вам близки замыслы социалистов?

— Тоже нет, — отвечал я. — Социалисты требуют распределения жизненных благ из принципа «всем поровну», но я сторонник древней латинской формулы: «каждому свое».

Некрасов молчал, но почему-то — даже молчавший! — он казался умнее Гучкова, и я повернулся к Некрасову:

— Вы ошиблись во мне… Что честно, то не таится света. А что несет зло, то прячется в потемках. Если бы помыслы масонского братства были столь чисты, так они были бы всем известны. Ведь не желают быть тайными Общество народной трезвости или Союз взаимопомощи зубных врачей. Извините, господа. Я уже дал присягу, входя в состав русской армии, и вторую клятву давать не намерен. Честь имею.

Гучков с Некрасовым переглянулись, и по их взглядам я понял, что в конце разговора мне удалось поставить жирную точку. Кажется, я все решил правильно. Но я никак не мог предполагать, что этот витиеватый разговор обернется трагедией для меня через три года, когда Гучков станет моим военным министром, а потому он с превеликим удовольствием сделает из моей бравой личности последнее дерьмо собачье…

\* \* \*

Уже через день я был в Варшаве, похожей на переполненный госпиталь. С театральных афиш красовалась опереточная Люцина Мессаль, обещавшая передать доход с концерта в пользу увечных русских воинов. Накоротке я повидался с Николаем Степановичем Батюшиным, попросив у него казенный автомобиль.

— Вы сразу на фронт? — спросил он меня.

— Но прежде загляну на Гожую улицу.

— Зачем? — удивился Батюшин.

— А вдруг мне откроет двери пани Вылежинская?

— Не надейтесь. Она уже посажена нами в тюрьму.

— Вот как? На какой срок?

— Этого ей хватит, чтобы состариться.

— В чем же моя «жена» провинилась?

— Вернувшись из Италии, попалась на контактах с Юзефом Пилсудским, который сейчас в Вене создает польский легион «Стрелец», направленный против нас — против России, мечтая о возрождении «Великой Речи Посполитой» — от моря до моря… Так что забудьте навсегда об этой Гожей улице.

Я поехал по следам Второй армии генерала Самсонова, уже нацеленной для удара в подвздошину Восточной Пруссии.

Россия была обязана спасти Париж…

3. Двумя клиньями

Старое еще не сдавалось новому, наши генералы негласно делились на «огнепоклонников» и «штыколюбов». Первые уповали на массированный огонь, вторые — на молодецкое «ура», памятуя об известном афоризме Суворова: мол, пуля — дура, а штык — молодец… Штыколюбы не слишком-то жаловали громы пулеметов, вспоминая слова знаменитого Драгомирова:

— Чтобы укокошить человека, достаточно и одной пули. Но зачем всаживать в него десяток пуль сразу, если его можно прикончить одним точным выстрелом…

Вообще-то нет ничего труднее — писать о войне, и тут даже не знаешь, кому верить — историкам или очевидцам, оставившим мемуары. Авторы воспоминаний, на своей шкуре испытавшие, каково им было, доносят до нас боль своих ран и свои личные эмоции; порою они пишут столь выразительно, словно от них, авторов, зависела судьба всей войны. Винить их за это не стоит, ибо солдату всегда кажется, что его рубеж — самый главный, а враг обрушил свой главный удар именно на него. Личные впечатления в таких случаях затемняют главное.

Историки, сами не воевавшие, пишут иначе. В тиши кабинетов нет особых эмоций, кроме одной — оправдать победителя (своего) и на чем свет стоит разругать побежденного (чужого). Справедливость иногда отступает перед натиском «квасного» патриотизма. Стиль же писания научных монографий иной: читатель с трудом выкарабкивается из соотношения цифр, и, не имея высшего математического образования, он в них и погибает, как в трясине. Зато красноречиво звучат нумерации частей, названия никому не ведомых речушек и деревень, в голове возникает шурум-бурум оттого, что 13-й полк занял позицию раньше срока, а XIII дивизия не успела выйти к рубежу вовремя. Бывает и так, что историк, подгоняя события под современные настроения, из поражения делает победу и, наоборот, победу врага он превращает в постыдное поражение.

Август 1914 года… Мое мнение о тех днях: беспорядок и путаница рождались не в окопах, а в высших инстанциях, и чем выше стоял начальник, тем больше хаоса он порождал; русский солдат нес главные потери даже не в атаках, а при отступлении. Когда же солдат бежит, офицеры пускают в лоб себе пули, а с плеч генералов срывают погоны… Полно всяких эмоций!

В любом случае солдат, выбравшийся из кошмара боев, всаживает штык в землю и говорит с предельной ясностью:

— Сволочи! Предали… нажрали себе морды, как бураки, а мы пять дён не жрамши. Рази ж это война?

Убийство…

Тоже эмоции. Достоверные. Но в монографиях для них не хватает места. Историк мудро погружен в кабалистику дат и цифр, выводы им заранее сделаны. Но, как говорил наш маршал Жуков, нельзя судить о войне только со своей колокольни — надо взглянуть на себя и глазами противника. Всякий актер мнит о себе, что он красавец, но иногда полезно выслушать и мнение публики, то аплодирующей, то свистящей…

Да, нет труднее занятия — быть баталистом!

\* \* \*

Знаменитого «чуда на Марне» еще не было, а потому Франция каждодневно требовала от русских «чуда в Пруссии», чтобы Россия не забывала о союзническом долге, обязанная оттянуть от Парижа часть немецких сил…

Я проезжал знакомые места, напомнившие мне пограничную молодость, с поляками говорил на их языке, и все они, как я мог заметить, от души желали побед нашей армии. Батюшин снабдил меня в дорогу целым ворохом немецких газет, взятых у пленных, и я с немалым удивлением читал, что русскую армию сравнивают с ордами Чингисхана, желающими поработить мирную и культурную Германию. В сообщении из Франкфурта-на-Майне говорилось, что в этом городе уже нашли приют первые беженцы, прусские аристократки, взывающие лично к германской императрице, чтобы она своим авторитетом повлияла на военных, обязанных отстоять их древние замки, уютные фольварки и богатые фермы. В газетных карикатурах русские изображались косоглазыми уродами с волосами до плеч, на остриях казацких пик они поджаривали чудесных немецких младенцев.

Шофер, молодой парень, недавно призванный из запаса, гнал автомобиль по дороге на Пултуск. Он уже возил на фронт штабных офицеров, по себе знал, что творилось в Пруссии, куда недавно вошла Первая армия генерала Ренненкампфа.

— Грабят много? — спросил я его.

— А чего там грабить? Комод или трюмо на себе ведь не потащишь, — отвечал он, смеясь. — Вот один наш дурак шелковую обивку спорол с мебели, портянок себе наделал. Ну, как водится, получил по морде… А там, у немцев, и грабить не надо. Войдешь в дом — все открыто; сыр, колбаса — это пожалуйста. Зато хлеба не найдешь. Одни булки. Наши ребята, особо из крестьян, без хлеба прямо звереют.

— А что же хозяева? Разве не звереют, наблюдая, как вы портянки из шелка крутите, их колбасу с сыром жрете?

— Ха! — воскликнул шофер. — Да там хозяев и не ночевало. Все драпанули так, что весь скот остался непоен, некормлен. Свиней там — туча, и все жрать просят. Визжат.

— А как же ландштурм? Партизаны есть ли?

— Одного поймали. Пьян хуже сапожника. Залез на колокольню с ружьем и давай палить по нашим. Ну, ссадили его. Вмиг протрезвел. Отобрали ружье, дали хорошего тумака — и все.

Впоследствии я сам убедился, что наше командование вело себя с немцами чересчур либерально. Пултуск поразил меня невозмутимой провинциальной тишиной, даже городовые куда-то попрятались. Над городом нависла вязкая отвратительная жара. Возле древней синагоги, которая почти вросла в землю, словно надгробие, я зашел в убогий ресторанчик, где полно было жирных мух, отчаянно бившихся с налету в оконные стекла, а выводок тощих кошек встретил меня просительным «мяу». Из соображений брезгливости я ограничил свой обед вареными яйцами, а когда покинул ресторацию, мой автомобиль был окружен еврейскими детьми, между ними шустро сновали дремучие еврейские старцы в ермолках.

— А ну, цадики, — прикрикнул я. — Расступитесь…

Как и следовало ожидать, на бортах автомобиля я сразу разглядел таинственные знаки «пантофельной» почты, знакомой мне еще по службе на Граевской погранзаставе. Я тут же велел шоферу стереть их дочиста, учинив ему выговор:

— Разве ты знаешь, что тут намалевано? Может, в Сольдау только и ждут, чтобы узнать свежие новости…

Следующая остановка — в городке Прасныше, который возвестил о себе зловонием кожевенной фабрики, ощутимым издалека. Здесь временно разместился резерв Второй армии, которая уже была на марше, буквально погибая в глубоких и зыбучих песках бездорожья. На выезде из города я увидел наспех раскинутый, походный госпиталь, к большому шатру под флагом Красного Креста тянулась длинная солдатская очередь.

— Что тут происходит? — спросил я из автомобиля.

Последний в очереди солдат охотно пояснил:

— Так что, ваше высокоблагородие, всем нам тиф от холеры прививают, а оспой, слава богу, уже переболели…

Конечно, над темным человеком можно и потешаться, но иногда стоит и пожалеть таких «детей Отечества», которые у себя дома знали одно лекарство — верхний полок в родимой баньке.

Ехали дальше. Но после того как были стерты знаки «пантофельной» почты, я испытывал сумбурно-неприятное ощущение, будто уже нахожусь под негласным надзором…

— Стой! — заорал я шоферу, как бешеный.

Автомобиль замер. Перед нами, совсем близко за поворотом, прямо посреди шоссе, строился в железный порядок батальон немецкой инфантерии. Хищно торчали шишаки шлемов «фельдграу», обтянутых серою парусиной, блестела новенькая амуниция, сверкали бляхи на поясах. С ними бог! Тут шофер захохотал:

— Фу, как вы меня напугали.

— Да я и сам, братец, перепугался.

— Это ж — пленные. Передых делали, а теперь их дальше погонят… тудыть, где волков хорошо морозить.

Только теперь я заметил наших конвоиров, по-хозяйски гулявших вдоль строя пленных. Немецкие унтер-офицеры по праву заняли места во главе колонны, сплошь обвешанные гирляндами толстых свиных сосисок, два фельдфебеля держали под локтями круглые головы жирного прусского сыра.

— Трогай, — велел я шоферу…

Автомобиль медленно катил вдоль строя военнопленных, которые вполне равнодушно смотрели на меня, а я пристально вглядывался в их лица. Хотелось верить, что я неплохой физиономист и, казалось, угадываю: вот, наверное, баварец, тоскующий по кружке крепкого «мюншенера», вот долговязый пролетарий из рабочего Веддинга, а этот коротышка в очках сидел, может быть, в канцелярии, угождая начальству. Разные и в то же время поразительно одинаковые, какими их сделала серая униформа, а дисциплина сплотила всех в чеканном строю даже здесь — под охраною русских конвоиров. Каюсь, в этот момент я не хотел видеть в них заклятых врагов, а только людей… обычных людей, вырванных войною из привычного уклада жизни.

И вдруг — совсем неожиданно — мне вспомнился тот безграмотный парень-солдат, стоящий в очереди на прививку. Врачи прививали ему «тиф от холеры», а вот этим немцам, глядящим на меня, смолоду прививали страшную вакцину войны против мира. Я перестал смотреть на них и сказал шоферу:

— Ты можешь ехать побыстрее?..

\* \* \*

Теперь по существу дела. Не помню, кто мне это рассказывал, но история была широко известна в офицерских кругах русской армии. Случилось это в русско-японскую войну, когда Самсонов, лихой кавалерист, окончивший Академию Генштаба, командовал бригадой в Сибирской казачьей дивизии. Как раз было время жестоких боев под Мукденом. Прямо из атаки, еще не остывший от ярости боя, Александр Васильевич пришел на мукденский вокзал — к отходу поезда, переполненного ранеными и удиравшими подальше от фронта. На перроне появился и Ренненкампф; когда Павел Карлович садился в вагон, Самсонов, не боясь множества свидетелей, врезал Ренненкампфу жестокую оскорбительную пощечину:

— Вот тебе на вечную память… носи на здоровье!

Ренненкампф, ничего не ответив, скрылся в вагоне. Самсонов в бешенстве потрясал нагайкой вслед уходящему поезду:

— Ферфлюхтер проклятый! Я повел свою лаву в атаку, надеясь, что эта гнида поддержит меня с фланга, а он просидел весь бой в гаоляне и даже носа оттуда не высунул…

Если об этом случае хорошо знали в армии, то наверняка о нем был достаточно извещен и военный министр Сухомлинов, а потому он — хотя бы по нормам военной морали — не должен был давать две соседние армии под начало Самсонова и Ренненкампфа — армии одного фронта, должные взаимодействовать на едином направлении главного удара.

Ладно уж «шантеклер», у которого в голове «кипящая Катерина», но ведь об этой стародавней вражде генералов хорошо знал и немецкий полковник Макс Гоффман, который как раз в те времена состоял военным атташе при русской армии в Маньчжурии. А теперь Макс Гоффман сидел в штабе 8-й армии, оборонявшей Восточную Пруссию, и… И тут можно задуматься: забыл эту драку Макс Гоффман или учитывает ее в своих умозаключениях? Скорее всего, он — человек большого ума — учитывает, что Ренненкампф способен на прямое предательство, дабы отомстить Самсонову за ту оскорбительную пощечину на перроне мукденского вокзала…

В моем настроении что-то изменилось. Среди русских генштабистов Гоффман давно был на примете, ибо он мало напоминал тех шаблонных немецких генералов, которые любят неукоснительно следовать приказам. Прекрасно владевший русским языком, он презирал всех — и даже Шлифена, и даже Мольтке, при которых состоял в германском генштабе. Именно он, Макс Гоффман, умевший выпить два литра вина еще до завтрака, никогда не терял головы и упорно работал над планами нападения на Россию. Человек он был резкий, неуживчивый, себя ставил выше всех. Гоффман презирал любое начальство — как свое, так и чужое. Наверное, и сейчас он сидит в своем штабе прусского Мариенбурга, пожирая бесчисленное количество сосисок, и смеется над своим генералом Притвицем, издевается над указаниями из Берлина…

Ему попросту наплевать на меня, спешащего навстречу тем «Каннам», которые готовятся нашей армии.

Шофер завернул автомобиль в сторону просеки.

4. Вперед — с закрытыми глазами

Еще в июле — до объявления войны — немецкие аэропланы стали нарушать воздушные границы России, в небесах — лениво и сонно — плавали дирижабли, следя с высоты за передвижением русских войск. Зенитной артиллерии тогда и в помине не было, а солдаты, задирая головы, рассуждали:

— Во, гады, до чего додумались! Мало им на земле пакостей, так они еще в облака забрались…

Теперь, когда почти не осталось свидетелей тех событий, а время безжалостно вытоптало их могилы, писать о трагедии августа 1914 года все равно тяжело. Тяжело и горько! Будем же объективны. Не пристало нам, русским, похваляться успехами, как не пристало и принижать своего противника. «Да ведают потомки православных», что Первая армия Северо-Западного фронта повела наступление на Восточную Пруссию хорошо.

Тут, читатель, без карты не обойтись. Вот древний Кенигсберг (славянский Кролевец), вот и польская Варшава; если между ними провести линию, то где-то посредине ее и отыщем то памятное место, где русские солдаты решали судьбу Парижа — судьбу всей Франции! На карте хорошо видны Мазурские озера, а армия Ренненкампфа обходила их с севера, а Второй армии Самсонова предстояло огибать их с юга — так было задумано. Клинья двух армий должны были сомкнуться, чтобы в них увязло прусское воинство. Париж и Берлин лихорадило. Толпы берлинцев осаждали редакции газет, ожидая известия о том, что германская армия вошла в Париж, а в Париже французы расхватывали газеты, чтобы узнать — вошла ли русская армия в пределы Восточной Пруссии, когда же они услышат тяжкий грохот знаменитого «парового катка» России?..

Для немцев осталась загадкой быстрая мобилизация русской армии. На самом же деле секрета не было: Петербург послал на битву войска лишь наполовину готовые для войны; командующий фронтом Жилинский, сидя со своим штабом в Волковыске, не желал слышать, что нет походных пекарен, что слаба лошадиная тяга, что мало тяжелой артиллерии.

— Вперед! — указывал он. — Только вперед…

Всеми немецкими войсками в Восточной Пруссии (8-й армией) командовал генерал фон Притвиц; Мольтке считал его баламутом, которого лучше не трогать, ибо кайзер любил Притвица именно за его бесподобное умение рассказывать бравые «солдатские» анекдоты. Один корпус 8-й армии был целиком составлен из местных жителей-пруссаков, он считался самым стойким, а командовал им генерал Франсуа — потомок парижских гугенотов, искавших в Германии спасения от резни Варфоломеевской ночи. Полковник Макс Гоффман, презирающий всех, советовал Притвицу не мешать Ренненкампфу «лезть на рожон»:

— Ясно, что у Ренненкампфа генеральная дирекция — на Кенигсберг! Пусть он подальше оторвется от своих границ, пусть от него оторвутся тылы и обозы, а тогда его можно бить, пока с юга не успела подойти армия Самсонова…

Но не таков был генерал Франсуа, чтобы выслушивать советы, даваемые полковником:

— Казаки идут! — кричал он. — Дикари из Сибири!..

Франсуа предъявили первых военнопленных. Вряд ли эти люди понимали столь скорую перемену в своей жизни, но Франсуа тоже не понимал, что под Сталлупененом он разбил только передовой отряд русских, который попросту… заблудился. Тут и смеяться нечего: ведь русскому человеку нетрудно заблудиться в немецкой провинции. Франсуа вышел из себя, увидев перед собой адъютанта Притвица с приказом — отойти.

— Передайте генералу Притвицу, — не покорился Франсуа, — что я отведу войска, когда все русские разбегутся по домам и закроют за собой двери… Победа близка!

Вторая армия надвинулась на корпус Франсуа в районе двух городов — Гумбинена и Гольдапа; безжалостный «паровой каток» расплющил под собой лучший корпус 8-й германской армии. Узнав об этом, фон Притвиц даже не пошевелился, ибо врачи не советовали ему делать резких движений, а полковник Макс Гоффман пошел в казино и заказал себе десять порций сосисок.

— Так ему, дураку, и надо, — сказал он о Франсуа…

Следует заметить: Франсуа был разбит только офицерами и солдатами Второй армии — без вмешательства Ренненкампфа, который от начала боя и до конца подозрительно долго возился в палатке, отведенной для Марии Соррель.

— Конечно, — говорили офицеры его штаба, — от нашей Гильзы Патроновны так скоро не выберешься… Но это и лучше, что он не вмешивался в наши дела…

Гумбинен (ныне город Гусев) встретил русских настежь открытыми дверями квартир, контор и магазинов, но в них — ни одного человека. Жители, убегая из города, даже не погасили лампы, и город встречал русских ярким вечерним освещением. Кое-кто из немцев, покидая свои дома, оставил для русских записки, прося, чтобы они не забывали поливать цветы. На кухонных плитах еще не остыли кофейники, к ужину были накрыты семейные столы, наши солдаты впервые за весь боевой день как следует поели в спокойной домашней обстановке. Правда, обстановка им понравилась:

— А хорошо живут немцы! Не сравнить с нашим Крыжополем… опять же — порядок, занавесочки, подушечки, салфеточки. Вот вернусь домой, так накажу своей Размазне Ивановне, чтобы тоже эвдак старалась… Хватит щи лаптем хлебать!

Ренненкампф выбрался из палатки, изможденный завершением планов с Марией Соррель. Ему доложили, что наступать невозможно: все дороги плотно забиты громадными стадами коров, овец и свиней, гонимых жителями к станциям железной дороги. Павел Карлович решил, что немцы приступили к эвакуации войск и населения из Восточной Пруссии в районы за Вислою, о чем он сразу оповестил ставку Жилинского.

— Можно и расслабиться, — мудро изрек он. — Не в мои-то годы выносить такое напряжение битвы…

Ясно, что Мария Соррель была опытным полководцем. Между прочим от Гумбинена панически бежал только корпус генерала Макензена, а генерал Франсуа, отступив, энергично приводил свой корпус в порядок. Приказ Ренненкампфа об отдыхе своих частей был передан по радио таким детским кодом, что немцы разгадали его сразу, прибегнув к помощи учителя арифметики… Притвиц застыл в раздумьях о людской суете, а Макс Гоффман распечатал бутылку с вином.

— Последнее слово за мной, — сказал он. — Еще не ясно, куда провалился генерал Самсонов со своей армией…

Всю ночь за лесом вспыхивали разноцветные ракеты — зеленые, красные, желтые. А днем горизонт застилали дымы пожаров и костров. Но странно, что дым бывал разный. Не сразу в штабе сообразили, что это сигналы: белесый дым указывал расположение русской пехоты, а темный — артиллерии.

\* \* \*

Вторую армию я застал на марше, когда она, палимая солнцем, двигалась по столь глубоким пескам, что жалко было глядеть на лошадей, которые выбивались из сил, влача через холмы пушки, снарядные фуры и походные кухни. Пруссия была богата железнодорожным хозяйством, но колея германских дорог не совпадала с шириною российских, и чтобы пользоваться дорогами Пруссии, нам прежде следовало иметь трофейные паровозы и вагоны. Падали лошади, в их постромки впрягались люди, помогая себе лошадиными призывами: «Ннно-о… ннно-о…»

Самсонова я впервые увидел мельком, когда он знакомился с пополнением новобранцев, только что прибывших в его армию, еще замордованных унтерами, оболваненных наголо. Внушительно возвышаясь над молодняком, «Самсон Самсоныч» решил провести опрос жалоб и претензий:

— Не обижают ли вас младшие офицеры?

— Никак нет… рады стараться.

— Получали ли вы свои три фунта хлеба на день?

— Получали, ваше превосходительство.

— Получали ли портянки с сахаром?

— Получали…

И что бы ни спросил их Самсонов, на все следовал ответ: получали. Наконец и генерал заподозрил недоброе:

— Может, и ананасы вам выдавали?

— Давали, — радостно отозвались новобранцы.

— И угря под соусом крутон-моэль?

— Получали…

— Дураки вы все, мать вашу так! — внятно произнес Самсонов и, понурясь, пошел к своему автомобилю…

Начальник самсоновского штаба генерал Постовский («сумасшедший мулла») принял меня сдержанно и без радости, как в нищей семье, и без того несытой, принимают лишнего нахлебника. Молча он ознакомил меня с приказом Жилинского, похожим на понукание: «Задержка в наступлении 2-й армии ставит в тяжелое положение 1-ю армию», — писал он, как бы оправдывая Ренненкампфа. Между тем я даже без подсказок Постовского убедился, что армия Самсонова по двенадцать часов в сутки выдирается из песков, но еще не выбилась из графика движения.

— Люди измотаны, — огорченно сказал Постовский. — Мы словно тащимся через Сахару, лошадям нет овса, солдаты голодают…

На привале я подслушал такой диалог солдат:

— Опять чечевица! Раньше-то ее даже лошадям не скармливали, потому как лошадь лысеть начинала. А теперича нам суют — русский солдат, мол, все сожрет, а лысеть станет не сзаду, а спереду. Оно и видно, что хлебца нам не видать.

— А все они — офицеры! Сами-то небось рисинки кушают, а нам опосля чечевицы даже ребеночка бабе не сделать…

В направлении на Алленштейн армия выбралась из песков на гладкие дороги, связывавшие множество деревень и баронских фольварков. Шоссе были заранее перерыты поперечными канавами, подступы к сыроварням и спиртовым заводам опутывала колючая проволока. Яровые хлеба были немцами уже скошены, но остались на полях, не убраны; громадные просторы топорщились ботвою кормовых бураков. Жители уходили от нас, поджигая свои дома, в загонах оставались стада коров, жалобно блеяли бесхозные овцы. Солдат удивляло, что в домах прусских бауэров были телефоны, а в каждой деревне имелся ресторан, клуб с подмостками и бильярдные комнаты.

— А у нас — што? — рассуждали они. — На завалинке посидишь, с соседом полаешься — вот и все радости…

Это одна сторона дела. Но была и другая. Армию возмущало поведение немцев, бегущих от них, словно от чумы. Солдаты не понимали, в чем дело. Неужели они такие страшные? Все объяснилось очень просто. Пятьдесят тысяч русских, так и не успевших выбраться из Германии, уже были убиты, изнасилованы, ограблены, сидели в тюрьмах, разлученные с детьми и женами, — и вот, чтобы свалить грехи с больной головы на здоровую, Вильгельм II велел насытить Европу грязными слухами о нашествии азиатов, творящих в Пруссии неслыханные зверства. Берлинские газеты развопились на весь мир, будто в пределы непорочной Пруссии вторглись косоглазые орды дикарей, которым ничего не стоит вспороть животы почтенным бюргершам или разбить череп младенца прикладом…

Пропаганда страха перед русскими была поручена пасторам. На стенах домов, церквей или станций висели красочные олеографии, изображавшие чудовищ в красных жупанах и шароварах. Длинные лохмы волос сбегали вдоль спины до копчика, из раскрытых ртов торчали клыки, будто кинжалы, а глаза — как два красных блюдца. Под картинками было написано: «РУССКИЙ КАЗАК. Питается сырым мясом младенцев». Однажды на улице Омулефофена я увидел казаков, силившихся поднять с колен молодую немку с грудным ребенком на руках. Казаки ее поднимали, она снова падала. Мне пришлось вмешаться.

— О чем она причитает? — спросил урядник. — Бьемся с ней, бьемся… ровно припадочная, а мы ни хрена не понимаем, чего этой дуре от нас надобно?

— Она просит, — объяснил я, переводя речь задуренной женщины, — чтобы вы не съели ее ребенка, согласная даже на то, чтобы самой быть съеденной вами.

— Да типун ей на язык! — стали материться казаки…

Но постепенно, по мере продвижения армии в глубь Пруссии, эти слухи примолкли, жители стали возвращаться в покинутые жилища. Нас они уже не боялись, но, увидев конные разъезды, пугливо прятались, говоря: «О, Kosaken, Kosaken…» Наши офицеры стыдили их, выслушивая в ответ всякие басни:

— Пасторы в своих проповедях предупреждали, что в темных лесах Сибири, где еще не ступала нога культурного человека, водится особая порода зверей — казаки, и ваш царь специально разводит их для истребления немцев…

Брошенные селения понемногу оживали, возвращенцам велели открыть магазины и мастерские. Некоторые товары коммерсанты готовы были отдать офицерам даром, но никто и никогда не поддался этим искушениям, говоря:

— Нет, нет! Мы имеем приказ только покупать…

За один рубль шли три немецкие марки. Если же хозяин лавки не возвращался, ее запирали, а военный комендант накладывал на замки свою печать. При всеобщем житейском достатке пруссаков не было случая, чтобы они отказались от получения дармового обеда из нашей солдатской кухни. Постовский указал срывать всюду олеографии, изображающие «русских зверей», но я ему отсоветовал:

— Да пусть висят, вам-то что?

— Как что? Зачем эта гадость?

— Для контраста, — пояснил я…

Во время этой беседы в Постовском неожиданно пробудился «сумасшедший мулла», шепотом он предупредил меня:

— Если Александр Васильевич станет обижать вас, вы сразу жалуйтесь мне, а я с ним поговорю как надо…

В ответ на эту глупость я только козырнул, не совсем понимая, зачем Самсонову меня обижать? Меня в это время тревожило иное — не столько сам генерал Самсонов, сколько его армия. Зная о переписке с Жилинским, я чувствовал, что армия идет вперед, но идет с закрытыми глазами.

\* \* \*

У меня не было оснований для того, чтобы относиться к Самсонову плохо, скорее, я относился хорошо к этому массивному, грузному генералу с широким русским лицом. Самсонову недавно исполнилось 55 лет, я знал его за человека честных и твердых правил, он казался мне воплощением силы и прямоты храброго солдата. Наверное, эти качества Самсонова в свое время и привлекли в нем Пржевальского, звавшего его в свои азиатские экспедиции.

— Напрасно я не согласился, — рассказывал мне Самсонов. — Я романтик Востока, и в Азии мне легче дышится… подальше от начальства. Вообще-то, — признался Самсонов, — на мое место прочили Брусилова, и, может быть, Алексей Алексеевич, человек талантливый, лучше меня справился бы на посту командарма… Вы говорите, — продолжал он, — что моя армия бредет с закрытыми глазами? Допускаю. Но сие не от меня зависит. Я повинуюсь приказам Ставки и окрикам Жилинского, который толкает меня в спину…

Судьба баловала Самсонова, но начальство держало его подальше от Петербурга — на задворках империи. После войны с самураями он был атаманом войска Донского и Семиреченского, потом стал генерал-губернатором Туркестана, немало сделав для развития этого края. Самсонов осваивал новые площади под посевы хлопка, в пустынях бурил артезианские колодцы, в Голодной степи проводил оросительные каналы. В солидном возрасте он женился на молодой женщине, имел двух детей. Со вздохом тоскующего мужа Самсонов показал золотой медальон, внутри которого хранились изображения сына и дочери, показал и фотографию жены.

— Мое запоздалое счастье, — сказал он, не скрывая своей любви. — Что бы я делал без этой женщины?..

Мадам Самсонова показалась мне красивой барышней, очень довольной тем, что стала «превосходительной» дамой, которой позволено теперь заказывать платья в Париже у Демулена. Странно, но я запомнил ее облик, что мне пригодилось впоследствии. Пряча фотографию в бумажник, Александр Васильевич вернулся к нашему разговору:

— Вы правы, что бредем с закрытыми глазами. Но что делаете вы, разведка, чтобы открыть нам глаза?

При всем желании угодить Самсонову я не мог похвастать своими успехами, сославшись на отсутствие агентуры:

— Вот, разве что местные поляки, желающие нам победы… иногда помогают. Но я доверяю не всем, а больше доверяю тем, кто не берет денег за информацию. Невозможно мне оборвать и все телефонные провода, опутывающие Пруссию, словно цепи — опасного преступника. С любой захудалой фермы немец способен докладывать о нас прямо в штабы Кенигсберга. Я находил потаенные аппараты в погребах с картошкой и даже… даже обнаружил их в пчелиных ульях!

Наконец я сказал Самсонову, что были случаи поимки шпионов, переодетых священниками или в женское платье.

— Проверке такие случаи не поддаются, ибо кто же давал мне право задирать юбки на женщинах, вызывающих подозрение? Но разоблачать переодетых иногда приходилось. Их выдавала походка и слишком размашистые движения.

— Вешали? — отрывисто спросил Самсонов.

— Нет. Не вешал. Но одного пристрелил.

— Законно?

— Да, он очень хорошо от меня отстреливался…

В конце разговора Александр Васильевич Самсонов подкупил меня чересчур откровенным признанием.

— Ах, какой из меня полководец? — горестно сказал он. — Жена плохо переносила жарищу в Ташкенте, ради нее вывез семью в Пятигорск, чтобы попить нарзанов. Все было тихо да мирно, вдруг — бац! — этот выстрел в Сараево. Вызывает меня Сухомлинов и говорит: бери армию… Я, — признался Самсонов, — даже одной дивизией не смог бы командовать, а тут сразу — армия, в которой девять дивизий. А из Волковыска жмут: давай, давай, вперед, только вперед. Вот и гоню армию… Верно — с закрытыми глазами!

И об этом тоже «да ведают потомки православных»…

5. Обстановка

Постовский оказался дальновиднее других.

— Смотрите! — развернул он передо мной карту, — Жилинский, этот «живой труп» с охладевшим сердцем, вообразил, что после успеха Ренненкампфа у Гумбинена немцы отступают за Вислу, и теперь настоятельно требует от Самсонова отрезать им пути отступления. Ближе к истине будет другое: немцы сознательно открыли перед Ренненкампфом «дирекцию» на Кенигсберг, а все свои силы массируют против нашей армии… Макс Гоффман — скотина мыслящая!

— Вы не ошибаетесь? — намекнул я.

Постовский превратился в «сумасшедшего муллу».

— Побойтесь гнева Аллаха! — закричал он. — Если в этом бардаке ошибаются все, то я, начальник штаба Второй армии, волею судьбы лишен права делать ошибки…

Английский майор Нокс, приставленный к нам вроде официального соглядатая, не вызывал у меня симпатий. Казалось, его присутствие при штабе Самсонова понадобилось союзникам лишь затем, чтобы подталкивать нашу армию, и без того разогнавшуюся на маршах. Мне претило явное пренебрежение Нокса к нашим солдатам, которые, по его мнению, плохо готовы к войне, ибо никогда не играли в футбол. Нокс не заметил в быту наших офицеров и ни одного теннисного корта.

— Это правда, — согласился я, — что наши офицеры к сорока годам редко сохраняют осиную талию, а нашим солдатам, марширующим с полной выкладкой по сорок миль в день, не до футбола — лишь бы дотянуть ноги до привала. Но мы, русские, не понимаем и ваших солдат, идущих на войну с пачками разноцветного пипи-факса, не поймем и ваших офицеров, которые тащат в окопы резиновые надувные ванны. Если говорить объективно, — сказал я, — то самые крепкие вояки в Европе — это мы и немцы, и нам одинаково смешно, что французская пехота не может расстаться с красными штанами, а ваши кавалеристы красуются красными мундирами.

— Умирать надо красиво, — заметил Нокс.

Тут меня передернуло. Я вспомнил концлагерь в Трансваале и сказал, что буры сражались в тех же костюмах, в каких пасли скот, а к войне относились, как к охоте на диких животных. Вряд ли мои слова понравились Ноксу, но в ответ он сказал, что английская армия способна наступать только в тех случаях, когда обеспечит свой тыл, когда последний солдат пришьет последнюю пуговицу к своему мундиру.

— А вы? — с усмешкой спросил Нокс. — Ренненкампф не вошел в Пруссию, а просто свалился в нее, словно пьяный в ближайшую канаву. Первая армия едва отодвинулась от границ, как ее обозы уже застряли, и пушкам нечем стрелять…

Я смолчал, признав сущую правоту Нокса, который справедливо отомстил мне и за пипифакс и за надувные ванны в окопах. Лучше бы этой пикировки с Ноксом не возникало! Моих академических знаний не хватало, чтобы мудро оценивать обширную и зловещую панораму восточно-прусских сражений.

— Возможно, мне уже не дорасти до понимания Большой Стратегии, которая из подполковника делает полководца. Суть военного искусства даже не в звании! — сказал я. — Бывает же и так, что сельский фельдшер легко излечивает болезни, лечить которые не возьмется самый модный в столице профессор, окруженный сворою ассистентов…

Во многом, очевидно, повинен я сам, ибо оказался беспомощен в налаживании разведки на путях армии к Алленштейну. Сейчас, перебирая в памяти детали минувшего, я вижу, что, форсируя наступление, мы забыли о своих тылах с такой же легкостью, с какой обыватель летом забывает о сохранении зимней шубы. Обозы погибали в хвосте армии, не успевая подтягиваться за нею, а связи между частями не было… Увы! Об этом даже стыдно писать: армия Самсонова не имела запасов телеграфной проволоки, и мы были вынуждены вести переговоры по телефонам из квартир пруссаков, а кто нас выслушивал на другом конце провода — об этом можно догадываться…

Наконец, можно считать позорным, что Жилинский, словно кучер, настегивал Самсонова и Ренненкампфа, желая видеть в них своих «рысаков», а эти «рысаки» тянули в разные стороны. Ненавидя друг друга, наши генералы проводили не одну совместную, а сразу две самостоятельные операции. То, что принято в штабах называть «оперативной увязкой» между соседями, полностью отсутствовало, фланги армий не смыкались, а, наоборот, размыкались, и, усиливая их разобщенность, между ними в лесах загнивали Мазурские озера и болота, уже забросанные всякой падалью… Стоит ли продлевать эту тему? Думаю, нем смысла, ибо библиотечные полки ломятся от изобилия книг, в которых все сказано, и, пожалуй, лучше, чем у меня.

В один из дней я допрашивал пленного немецкого офицера, облик которого был словно скопирован с карикатур из юмористического журнала «симплициссимус». Но он оказался достаточно начитан в вопросах военного права и морали военного человека. В его словах я скоро уловил знакомые пангерманские интонации и даже не удивился этому.

— Если в жизни, — сказал офицер, — мы наблюдаем сплошь да рядом, что один человек возвышается над другим, то почему более сильная и более умная нация не способна возвышаться над другой, ослабленной физически и умственно… Разве вы осмелитесь отрицать породу аристократии?

— В отношении племенного скота вы правы, — ответил я. — Тут я с вами согласен, что племенные быки имеют право на содержание в улучшенных коровниках, но… Люди не скоты!

Этот офицер запомнился даже не беседою с ним, а тем, что в его сумке я обнаружил карту Восточной Пруссии.

— Я заберу ее у вас, — сразу сказал я.

Это была превосходная топографическая карта, изданная для офицеров рейхсвера еще в 1907 году, когда кайзер проводил в Пруссии маневры своей армии, чтобы попугать Россию. Карта указывала и все фортеции близ Мазурских озер.

— Когда вы нас ждали? — спросил я.

— На сороковой день после вашей мобилизации, учитывая русскую неорганизованность. За этот срок, пока вы наматываете портянки, мы бы успели разделаться с Францией.

— Значит, мы появились вовремя, — заметил я. — Кстати, Япония объявила вам войну… Как вы к этому относитесь?

Мой вопрос вызвал безудержный смех офицера:

— Никак! Японцы не полезут штурмовать Берлин, а станут обделывать свои делишки в Китае… вот уж о японской угрозе мы, немцы, плакать не будем!

Сообщить о планах 8-й армии в обороне и настроениях в штабе Притвица офицер отказался, а я не имел права настаивать на его признании. В эти дни Самсонов подарил мне хорошую ездовую кобылу — уже под седлом — по кличке Норма, верхом я часто выезжал на передовые позиции, знакомясь с положением дел на фронте. В самсоновской армии были два примечательных генерала, оба из образованных генштабистов. Командир 13-го армейского корпуса Николай Алексеевич Клюев показался мне маловыразительным человеком, наш знаменитый А. А. Брусилов отзывался о нем неважно: умный, знающий, но карьерист и свою карьеру ставил выше интересов России… Клюев жаловался мне:

— У меня большие потери. Все от германских пулеметов… стригут и стригут, словно косят…

Не сам Клюев, а его солдаты вразумили меня в старой воинской примете. После боя убитые немцы лежали с лицами, обращенными в сторону наступающих, и один ефрейтор сказал:

— Недобрый знак! Видать, драпать придется.

— Почему ты так думаешь? — спросил я.

— Эвон как лежат… и на нас смотрят. Примета на войне дурная. В нее еще наши прадеды верили и нам верить заказывали. Нехорошо, если убитый враг на тебя зырит…

15-м армейским корпусом командовал генерал от инфантерии Николай Николаевич Мартос, потомок великого скульптора. Это был человек с утонченным лицом русского интеллигента, а узкая бородка придавала ему сходство с Дон Кихотом. За личную храбрость в войне с японцами Мартос был награжден «золотым оружием». Недавно он разгромил из пушек немецкий городок Нейденбург, и я, естественно, спросил Мартоса:

— Была ли в этом крайняя необходимость?

— Иначе было нельзя, — пояснил Мартос. — Немцы выкинули на кирхе белый флаг, а когда мы вошли в город, из каждого окна посыпались пули… Почти всюду засели ландштурмовцы, вооруженные чем попало, даже охотничьими ружьями, а прусские мегеры поливали солдат из окон крутым кипятком… На войне как на войне, говорят наши союзники-французы, и они правы: щадить противника — не жалеть себя…

Вечерело. Через призмы бинокля я разглядел вдалеке ленту шоссе, по которой посыльные мальчишки мчались куда-то на велосипедах. В окрестных лесах рыскали лающие своры доберманов-пинчеров, натасканных на то, чтобы находить раненых. В лучах прожекторов, которые скрещивались в небе, подобно клинкам в поединке, вдруг ярко высветился русский аэроплан… Вот по этим же дорогам 1914 года в 1945 году снова будут проходить наши усталые солдаты, чтобы штурмовать древнюю цитадель Пруссии — Кенигсберг.

\* \* \*

Над лесными болотами Пруссии, казалось, парил загробный дух Шлифена, словно предвещая крах всему, что он задумал в жизни. Все планы Шлифена рушились, а теперь Притвицу предстояло своей шкурой расплачиваться за хвастовство, с каким генерал Франсуа вовлекал его в позор поражения.

— Лучше бы мне не знать, что случилось…

«Перед нами как бы разверзся ад, — сообщал очевидец. — Врага не видно, только огонь тысяч винтовок, пулеметов и артиллерии. Части быстро редеют. Целыми рядами лежат убитые… между орудий рвутся снаряды… по полю скачут лошади без всадников. Наша пехота прижата к земле огнем русских», — так писал немец, уцелевший под Гумбиненом, не вписанным в хронику русской военной славы, и не потому, что не хватило чистого листа, а просто о Гумбинене забыли. Однако не забыл даже Уинстон Черчилль, писавший: «Очень немногие англичане слышали о Гумбинене, и почти никто не оценил ту замечательную роль, которую сыграла эта победа…» Мы не виноваты, что нам достался позор «похабного» мира в Брест-Литовске, а когда сиятельные дипломаты стран-победительниц рассаживались за столом Версаля, русская кровь была списана ими со счетов, как лавочники списывают убыток в товаре на «утруску и усушку»…

…Гоффман, почти злорадствуя, известил Притвица в Мариенбурге, где Притвицу жилось спокойно:

— Что вы скажете об успехах Франсуа и Макензена? Два кретина поработали на славу. Теперь по шоссе к Гумбинену не проехать даже на телеге — все шоссе сплошь завалено трупами наших солдат. Приятно доложить, что запас русской артиллерии рассчитан по двести двадцать четыре выстрела на один пушечный ствол, но…

— Но сколько же они выпустили? — спросил Притвиц.

— Кажется, четыреста сорок… Теперь за Гумбиненом образовался «слоеный пирог», в котором солдаты лежат, как тесто, а начинкою к пирогу служат наши господа офицеры.

Притвиц, забыв о предостережениях врачей, начал делать резкие движения. Центр 8-й армии был взломан, Самсонов двигал войска к Алленштейну, и Притвиц, далеко не трус, уже видел себя в «мешке» окружения двух русских армий, которые вот-вот сожмут свои железные «клещи»…

— Где? — одним выдохом спросил он.

Макс Гоффман умел читать мысли начальства.

— Вот здесь, — показал он на карте, — под Алленштейном.

— Но Ренненкампф недвижим.

— Зато крайне подвижен Самсонов.

— Вы думаете…

— Я жду, когда все обдумаете вы.

На самом же деле, что бы там Притвиц ни думал, Гоффман надеялся управлять его мыслями, ибо — и это справедливо! — он по праву считал себя умнее генералов. Притвиц всем телом навалился на стол, блуждая глазами по карте.

— Знать бы нам, — рассуждал он вслух, — надолго ли застрял Ренненкампф в палатке своей шлюхи? Если он решил как следует выспаться, тогда мы, возможно, еще успеем отразить натиск Самсонова… Впрочем, — вскинулся Притвиц от карты, — срочно свяжите меня с Франсуа!

Франсуа он велел немедленно отходить, сознавшись, что не видит иного выхода, кроме общего отступления:

— Пруссию придется оставить… Конечно, жаль оставлять столько добра с молоком и маслом, но это необходимо. Вся восьмая армия займет новые позиции на Висле.

— Но сейчас, — грубо вмешался Гоффман, — уже не мы, а войска Самсонова ближе к Висле. Что ответил вам Франсуа?

— Он сказал, что русские не преследуют его. Но Самсонов не снижает темпов на марше, и может случиться так, что его войска окажутся на Висле раньше нас… Сейчас, — заключил Притвиц, — попрошу всех удалиться из моего кабинета.

— И даже мне? — удивился Гоффман.

— Даже вам. Я буду звонить в Кобленц — прямо в ставку его величества, дабы сообщить Мольтке о своем решении, ибо вы сами видите, что Пруссия для рейха потеряна…

Макс Гоффман ответил ему на берлинском жаргоне:

— Валяйте, — и, щелкнув каблуками, удалился…

Вскоре мы увидим, что останется от Притвица! Ничего не останется, кроме фамилии… Зато мы, читатель, ознакомимся с двумя воистину историческими персонами. Хочется думать, полковник Макс Гоффман нарочно не сказал Притвицу, чтобы тот не барабанил в Кобленц, чтобы не тревожил своего кайзера… «А пусть они все треснут»! — так, наверное, решил здравомыслящий Макс Гоффман, поглощая одну за другой жирные прусские сосиски.

…В лесах Пруссии следовало ожидать явления «богов»!

6. Явление богов

В «клубе господ» — среди господ — сидел господин…

Дело было в Ганновере, а господина звали Пауль фон Гинденбург унд Бенкендорф; лакей подносил ему пиво в персональной кружке, по краям которой плясали веселые чертики с бесенятами. Гинденбург пребывал в заслуженной отставке, а потому, спрашивается, почему бы ему, черт побери, и не выпить? Если пьет всякая нищая мелюзга, так генералу на пенсии сам великий господь бог велит наливать полнее.

Когда человеку 68 лет, торопиться некуда. Если же истории угодно, пусть она сама торопит его, а он лучше посидит дома, читая газету. Гинденбург не ведал своей судьбы. Сразу предупредим читателя: отставная шваль не представляла собою ничего замечательного, но в тех случаях, когда посредственность обретает значение великой личности, тогда любая тварь истории невольно делается превосходным явлением.

Итак, наш генерал пребывал в гордом унынии отставки, сохраняя невозмутимость камня, отодвинутого в сторону от большой дороги. Похвальное качество! Именно оно и решило судьбу Гинденбурга… Ставка кайзера находилась в Кобленце, и там, гордые успехами на западе, еще мало думали о делах на востоке. Однако Мольтке предупреждал Вильгельма II, что никакие успехи на западе не будут чего-либо стоить, если «русский медведь», выбравшись из берлоги, встанет на задние лапы. В Кобленце считали, что судьба Франции уже решена, а после взятия Парижа можно развернуть армию на восток; совершенство железных дорог Германии было неоспоримо, ибо их тянули не хапуги-подрядчики (как в России), а над ними поработали умнейшие головы аналитиков-генштабистов.

Истерический звонок генерала Притвица из прусского Мариенбурга даже не вывел, просто вышиб Мольтке из равновесия. Притвиц докладывал, что 8-я армия еще способна, наверное, унести ноги за Вислу, но он, ее командующий, уже не ручается, что 8-я армия на Висле удержится. Мольтке, вконец ошарашенный, перебирал варианты спасения.

— Притвица убрать … за полный развал фронта! На его место сгодится любой бездельник из отставки, зато штабом должен руководить человек небывалой энергии…

— Там уже есть Макс Гоффман, — подсказали Мольтке, — руководящий оперативным отделом штаба.

— Гоффман в Мариенбурге и останется, — решил Мольтке. — Но Гоффман не годится, ибо способен только критиковать… Вы же сами знаете, какой у него отвратный характер!

Как раз в это время в Бельгии пал Льеж, взятый Эрихом Людендорфом, который теперь приступил к осаде крепости Намюра. Людендорф когда-то был адъютантом Мольтке.

— Срочно отзовите Людендорфа из-под стен Намюра.

Людендорф прибыл в Кобленц моментально, еще не остывший после горячки боя с бельгийцами.

— Вы, — сказал ему Мольтке, — не будете отвечать за то, что случилось в Восточной Пруссии, но вы будете ответственны за все, что случится с Пруссией. Сейчас нам требуется для работы в штабе человек с вашими нервами…

Понятно. Людендорф спросил:

— Если генерал Притвиц вылетит на свалку, то кто же будет командовать Восьмой армией?

— Для этого нужен человек без нервов. Такого мы ищем, перебирая списки отставных генералов… Пока мы нашли только один застарелый пень, который еще не догнил до конца. Зная ваш горячий характер, Эрих, я понимаю, что командующий армией не должен мешать вам… — И Мольтке назвал: — Гинденбург!

Очевидец выбора Гинденбурга писал: «Единственной причиной его избрания было то обстоятельство, что при его флегматичности от него ожидалось абсолютное бездействие, дабы предоставить полную свободу Людендорфу». Пригодилась и такая подробность: Людендорф хорошо владел русским языком, а Гинденбург, уроженец прусского Позена, достаточно хорошо понимал русский язык. Вильгельм II, живший в Кобленце, сразу принял Людендорфа и оснастил его мундир орденом «Пур ле мерит», выразив уверенность в скорой победе.

— Я, — напомнил кайзеру Мольтке, — уже послал телеграмму Гинденбургу… может, вы его примете тоже?

— А зачем мне этот старый болван? — отвечал кайзер…

Берлинским газетчикам не стоило труда живописать подвиги генерал-майора Эриха Людендорфа, которому исполнилось сорок лет: вся жизнь впереди! Зато они здорово попотели, чтобы представить Гинденбурга в наилучшем свете. Сначала его просто не отыскали в списках генералов рейхсвера. Перерыли все что можно — никаких следов. Наконец случайно встретили его на букве «Б»: Гинденбург начинался с Бенкендорфа.

— А-а-а! — обрадовались газетчики. — Это же родственник графа Бенкендорфа, того самого, что был на святой Руси шефом корпуса жандармов и умер от нервного изнурения, истощив свои силы в борьбе с крамолой… Пишем!

Имя Гинденбурга стало приобретать особый блеск, доступный лицезрению немецкого читателя. Но тут случилась беда. Гинденбург за время отставки здорово растолстел от пива, штаны на нем никак не сходились. Жена Гертруда с двумя дочерьми (которым позже Гитлер столь нежно лобызал ручки) срочно кинулись вшивать в штаны генерала обширные клинья. В самый пикантный момент примерки расширенных штанов Гинденбурга обеспокоил почтальон с новой телеграммой от Мольтке.

— «Пур ле мерит»? — с надеждой спросила жена.

— Пока не награждают. Но Мольтке диктует мне сесть на ганноверский поезд, который отходит в четыре часа утра, а этот зазнайка Людендорф встретит меня в пути.

— Могли бы и уважить твои годы… орденом! — недовольно ворчала жена. — Смотри, тебя не приглашают даже в Кобленц, а сразу гонят на вокзал…

«Бракосочетание» Гинденбурга с Людендорфом, начальником его штаба, произошло именно на вокзале в Ганновере. Людендорф одним прыжком выскочил из салон-вагона, прицепленного к мощному локомотиву, а навстречу ему, не ручаясь за сохранность штанов, двинулся сосредоточенный Гинденбург, и первые его слова были таковы:

— Что ты скажешь?..

Людендорфу было что сказать, ибо, выехав из Кобленца, он по документам изучил обстановку на фронте Восточной Пруссии, и потому Гинденбург, выслушав его доклад, сказал:

— Лучше и не придумать! Пошли спать…

Они уселись в салон-вагоне экспресса, который сразу помчался в сторону Берлина, где их компанию хотела оживить прекрасная Маргарет — жена Людендорфа.

— Ей очень хочется поглядеть на мой новый орден, а потом мы выставим ее на перрон, — обещал Людендорф. — Теперь же я позволю изложить наши ближайшие планы…

Он сообщил, что армия Ренненкампфа — по материалам ставки Кобленца — начала подозрительное отклонение в сторону Кенигсберга, уже далеко оторванная от Самсонова грядою Мазурских болот и озер, а Самсонов по-прежнему гонит свои войска на запад, словно желая отрезать 8-й немецкой армии пути отступления.

— Я не вижу иного выхода, кроме одного: сначала обрушиться на армию Самсонова, выдвинутую вперед, чтобы использовать его отдаленность от армии Ренненкампфа…

Гинденбургу хватило терпения лишь на 15 минут.

— Ты здорово соображаешь, — похвалил он докладчика. — Но пойми правильно и меня — я должен сначала выспаться…

Маргарет, подсевшая к ним в Берлине, сама пожелала покинуть их в Кюстрине, и с перрона помахала мужу ручкой. Женщина не выдержала пытки скукою мужских разговоров. Позже, скандально разводясь с Людендорфом, она сообщила в своих мемуарах, что в такой компании тупиц и дураков, какими были Гинденбург с ее мужем, ей бывать еще никогда не приходилось. Так что она без сожаления рассталась с ними… Экспресс наращивал скорость, приближаясь к Мариенбургу, где располагалась ставка 8-й армии.

— Проснитесь, генерал, — с трудом разбудил Людендорф своего командующего. — Нас, кажется, встречают…

Среди встречающих был и Макс Гоффман.

— Явление богов, — саркастически заметил он, когда вслед за громадною тушей Гинденбурга появилась фигура Людендорфа, оснащенная высшим военным орденом Германской империи…

Гинденбург первым делом спросил встречающих:

— Все ли в порядке? Где тут можно выспаться?..

(Впоследствии Макс Гоффман, сопровождая ротозеев-туристов по местам боев Восточной Пруссии, никогда не терял твоего превосходного остроумия: «Вот на этом стуле фельдмаршал любил дремать до битвы при Танненберге, на этой кровати он крепко спал после битвы, и, между нами говоря, тут он всхрапнул во время битвы… Пойдем дальше! Я вам покажу места, где выспался наш легендарный полководец…»)

Всегда останется насущным здравый философский вопрос:

— Собака крутит хвостом или хвост крутит собакой?

То, что Людендорф раскручивал Гинденбурга как ему хотелось, это объяснять не приходится. Но тогда возникает вопрос: кем же будет крутить Макс Гоффман?..

Гоффману можно и посочувствовать: вертеть Людендорфом так, как он крутил Притвицем, ему было труднее, хотя он еще не терял веры в свои силы. Когда-то они оба проживали в одном берлинском доме и, кажется, не могли похвастать добрососедскими отношениями, — недаром же Людендорф ворчал: «Мало, что я имел Макса своим соседом, так теперь вижу в своем оперативном отделе». При появлении в Мариенбурге Людендорф напомнил:

— Надеюсь, вами исполнен мой приказ, переданный мною еще из Кобленца, чтобы Франсуа и вся армия скорее оторвались от противника, дабы переформироваться заново.

— Да, — отвечал Гоффман, — но такой же точно приказ я отдал еще раньше из Мариенбурга, а ваш приказ из Кобленца лишь подтвердил правильность моих распоряжений…

Людендорф тогда же, наверное, решил, что, если станет писать мемуары, так имени Гоффмана даже не упомянет, будто его и не было. В их соперничестве побеждал все-таки Гоффман, и как ни крутил своим хвостом Людендорф, но его предначертания каким-то образом всегда выглядели лишь повторением приказов Гоффмана, из чего можно сделать вывод: полковник Гоффман был той собакой, которая с большим умением крутила хвостом — генералом Людендорфом, а Людендорф раскручивал самого Гинденбурга.

Между тем Гинденбург недаром получил прозвище «Маршал Что Скажешь»; при любом вопросе он поворачивался к Людендорфу:

— Что ты скажешь? Лучше нам не придумать…

Чтобы раз и навсегда избавиться от влияния Гоффмана, Людендорф, минуя оперативный отдел, общался лично с командирами корпусов, используя телефоны и телеграф. Гинденбург не вмешивался. Он настолько закостенел в прошлом, которое было лучше настоящего, что один вид телефонного аппарата вызывал у него тошнотную слабость.

— Пусть этой штукой пользуется молодежь, — говорил он, — а мы при Седане побеждали своей глоткой…

Людендорф не отвечал за то, что натворил до него Притвиц, но он становился ответственным за все после удаления Притвица. Следовало принять решение — почти фатальное, от которого будет зависеть не только его карьера, но, пожалуй, и весь ход войны — как на востоке, так и на западе. Людендорфу снились еще бельгийские пожары, во сне бельгийские франтиреры стреляли в него из окон своих квартир.

— Когда же увижу прусские сны? — говорил он…

На разъездах и станциях между Инстербургом и Кенигсбергом нервно покрикивали паровозы. Одни эшелоны разгружались, другие грузились заново — пехотой, пушками и тюками прессованного сена для кавалерии: 8-я армия перетасовывала свои дивизии, словно опытный шулер карты, чтобы начать всю игру сначала. Некоторые части ландвера и ландштурма (из местных жителей) были сознательно распущены по домам, но вместе с оружием.

— Побольше ярмарок! — наказывал Людендорф. — Русские охотно поддерживают прежнюю торговую жизнь, чтобы народ торговал и веселился… Этим надо воспользоваться! В нужный момент вы прямо с ярмарочных площадей ударите им в тыл — взводами, ротами, батальонами…

Навещая Гинденбурга, Людендорф информировал его:

— Ренненкампф после ошеломляющего успеха при Гумбинене мог бы делать из нашего мяса отбивные котлеты, но вместо этого он снова застрял, даже не преследуя отступающих.

— Не могу уснуть, — жаловался Гинденбург. — Опять всю ночь лаяли собаки… откуда их столько?

Это лаяли своры доберман-пинчеров. Немецкая войсковая разведка рыскала по местам недавних боев, обшаривая карманы и сумки убитых русских офицеров, все документы без промедления поступали в штаб Людендорфа. Он планировал операцию по разгрому армии Самсонова на юге Пруссии, которую еще до него спланировал Гоффман, но… сомневался.

— Можем ли мы, собирая силы на юге, игнорировать армию Ренненкампфа, нависшую с севера подобно грозовой туче? Собрав все войска против одного Самсонова, — рассуждал Людендорф, — мы рискуем оголить пути, ведущие к Кенигсбергу, а «желтая опасность» в лице Ренненкампфа может развернуться, чтобы раздавить нас всех…

Макс Гоффман выложил перед ним оперативный план русских, подписанный Жилинским, и его перехваченную радиограмму, найденную в портмоне убитого офицера. «Энергично наступайте, — заклинал Жилинский Самсонова. — Ваше движение навстречу противнику, отступающему перед армией Ренненкампфа, имеет цель пресечения немцам отхода к Висле».

— Что вы скажете? — ухмыльнулся Гоффман.

— Все не вяжется.

— А не вяжется потому, что Ренненкампф врет, — объяснил Гоффман. — Он врет, обманывая Жилинского, а Жилинский, обманутый Ренненкампфом, невольно обманывает Самсонова. Ренненкампф давно потерял соприкосновение с нами, но продолжает врать Жилинскому, будто он нас преследует. Я все продумал… все, пока вы гостили в Кобленце.

Людендорф проглотил обиду. Он еще сомневался:

— Не случится ли так, что Самсонов, попав под наш первый удар, призовет на помощь армию Ренненкампфа, и тогда вся наша Восьмая армия окажется в мешке русских…

Пришло время смеяться Гоффману:

— Ренненкампфа я лично знаю по битвам на полях Маньчжурии, и он никогда не придет на выручку Самсонову. Гляньте на карту: какой разрыв между армиями русских, и мы этот разрыв должны использовать… Ренненкампф не придет!

7. Слышу голос Тангейзера…

Прошлое имеет привычку как бы перекликаться с будущим — это даже закономерно. В летописи событий, словно в преемственности поколений, затаилась своя удивительная генеалогия, иногда трудно поддающаяся анализу.

Откуда же было тогда знать нашим дедам и прадедам, что армия Самсонова залезла в те самые гнилые прусские леса, где укрывался тихий и никому не известный Растенбург, который много лет спустя Гитлер избрал для размещения своего знаменитого «Вольфшанце» («Волчье логово»). Русским солдатам из армии генерала Самсонова не могло быть известно, что, сражаясь с Гинденбургом и Людендорфом, они насмерть бьются с теми самыми людьми, которые привели Гитлера к власти…

Сейчас там тихо. Даже трагически тихо в болотистых лесах, что лежат близ мазурского Кенштына, а земля бывшей Пруссии стала землею народной Польши, но она, эта земля, не сберегла ни черепов, ни братских могил русских солдат, павших здесь в августе 1914 года.

Не остались в живых и восемнадцать тысяч узников, которых осенью 1940 года согнали в эти леса, чтобы они замуровали в бетон глубокие бункеры ставки Гитлера, готовящего нападение на Россию.

Теперь там — на месте минных полей — сеют поляки рожь и кормовой рапс, а на месте «Вольфшанце» остались лишь гигантские глыбы замшелого бетона, исковерканные взрывами чудовищной силы. Советские воины увидели их лишь 27 января 1945 года и не могли понять, какие циклопы и ради каких целей разобрали здесь эти чудовищные монолиты. Правда открылась нам позже, и теперь из Кенштына катят нарядные автобусы с туристами, чтобы люди могли увидеть страшное место, где почти все время войны прятался Гитлер.

Но разве не символично, что он избрал для себя «Волчье логово» именно в этих пропащих местах, неподалеку от места, где когда-то гремела первая великая битва первой мировой войны? Ныне не осталось людей, которые бы лично знали генерала Самсонова. Но еще бродят по миру, щелкая вставными зубами, те самые «волки», которых мы выгнали из «Волчьего логова»…

Говорят, что теперь там часто поют соловьи.

\* \* \*

Случилось это после страшного рукопашного боя…

Ночь была прекрасная. В глухом лесу — на бивуаке — я выбрал кочки посуше, накрыл их попоной, чтобы выспаться. Денщик задал Норме овса, и лошадь, погрузив морду в обширную торбу, громко хрупала надо мною, дополняя походный уют своим животным теплом. Я уже засыпал, когда лес пронизало диким, почти истошным воплем… Я схватился за револьвер:

— Что там? — вскинулся я, спрашивая солдат.

— Да кто ж его знает? На то и война…

Я снова улегся на попону, но вдруг послышалось пение. Сильный мужской голос выводил в ночном лесу знакомую арию Тангейзера из оперы Вагнера. Мне стало даже не по себе. Крик — это еще можно понять, но чтобы вот здесь, в этих чащобах Пруссии, давали бесплатный концерт… это никак не укладывалось в моем сознании. Один из солдат, разбуженный пением, поднялся с земли, возмущенный:

— Во, зараза какая! Не даст поспать… нашел время!

Я проверил барабан револьвера, мне сказали:

— Вы куда? Не надо ходить.

— Почему?

— Да страшно как-то.

— Мне тоже. Однако певец-то отличный… Ведь не граммофон же там кто-то заводит…

Я осторожно вошел в лес, следуя на призыв поющего голоса. Тангейзер — великий миннезингер XIII века, о котором в немецком народе слагали легенды, вдохновившие Вагнера, и вот теперь, казалось, он подзывает меня к себе. Из-за туч пробилась лунища, осветив лесную поляну, на которой я увидел немецкого офицера без фуражки. Лицо его было гладко выбритым, как у актера, и, прижав ладонь к сердцу, он хорошо поставленным голосом изливал свою душу в любовной арии. Наверное, решил я тогда, передо мною оперный певец, призванный из запаса, который так потрясен ужасами войны, что, бедняга, спятил… Я невольно заслушался его пением.

Но тут подо мною громко хрустнул сучок, певец смолк.

— Браво, браво, — неожиданно сказал я, похлопав в ладоши. — Сегодня вы превзошли сами себя…

Немецкий офицер как-то слепо-безумно смотрел на меня.

— Я — великий Тангейзер, — отвечал он вполне серьезно. — Но боюсь, что Елизавета ко мне уже не вернется.

У меня не оставалось сомнений: это был сумасшедший. Тут я заметил, что глаза певца полны слез, и во взоре невыразимая мука… Надо было увести его из леса.

— Я не хочу вам льстить, — сказал я. — Но директор театра послал меня к вам, чтобы продлить контракт до конца сезона… Поверьте, он ждет вас… пойдемте!

Но едва я сделал попытку увлечь его за собой, как певец вырвался из моих рук и, ломая кусты, скрылся в лесу, и долго-долго потом я слышал из мрака его чудесное пение…

Наверное, я был последним, кто слышал его голос!

Постскриптум № 6

Как говорили великие ораторы древности, «вернемся к нашим баранам»… Пора нам покончить с Ренненкампфом!

Я не желаю интриговать читателя, чтобы он гадал — а что будет дальше, а посему никогда не боюсь сразу раскрывать перед ним свои карты. Паче того, в такой проклятущей истории, какова наша, попросту необходим конец, чтобы добродетель восторжествовала, а зло было наказано…

Когда судьба армии Самсонова была уже решена, Ренненкампф не стал ждать своей очереди и подлейше бросил свою армию на произвол судьбы. Конечно, он забрал с собою Марию Соррель, вместе с нею уселся в автомобиль, который и умчал счастливых любовников в глубокий тыл. За такую активность Ренненкампфа с позором изгнали из числа русского генералитета — как труса, обманщика и невежду. Правда, царь пытался защищать своего любимца, но его дядя, великий князь Николай Николаевич, доказал царю, что Ренненкампф всегда был большой сволочью, а вместе с ним виноват и командующий фронтом Жилинский…

Английский историк Ричард Роуан писал, что предательское поведение Ренненкампфа известно, «но никому и уже никогда не удастся установить, в какой мере вина за катастрофу армии Самсонова падает на генерала, а в какой — на коварную шпионку Марию Соррель». Да, мы не знаем, какова роль этой женщины в сдерживании Ренненкампфа, чтобы он не спешил на штурм Кенигсберга, чтобы не торопился на выручку армии Самсонова… Разоблаченная офицерами штаба Первой армии, Мария Соррель нашла свой конец в прусских лесах, повешенная на суку ближайшего дерева. Повесили ее сами офицеры!

Осталось разобраться с П. К. Ренненкампфом…

\* \* \*

Место действия — Таганрог, время — март 1918 года.

Ф. И. Смоковников (из мещан города Витебска) копался в огороде возле одного из домишек на окраине города. Он был уже стар, не замечен в пьянстве, равнодушен к женщинам, и по всему было видно, что в огородных делах разбирается слабо. Ковырялся в земле — больше для приличия.

Соседи уже заметили, что огородник боялся белых, но боялся и красных, зато поджидал немецких оккупантов:

— Вот немцы придут, кулаком трахнут — порядок будет!..

Но сначала кулаком трахнули ночью в двери его дома:

— Гражданин Смоковников, откройте… телеграмма…

Он открыл дверь. На пороге стояли чекисты:

— Гражданин Смоковников, вы… Ренненкампф?

— Впервые слышу. Какой еще там Рененене…

— Ну, пойдемте. Хватит дурака валять…

Боровоподобная личность «желтой опасности» была настолько выразительна, его портреты столь часто мелькали на страницах газет, что отпираться было немыслимо. Ренненкампф понимал, что большевики не простят ему 1905 года, когда он возглавлял карательные отряды в Сибири. Но он был, наверное, удивлен, что его судили за события августа 1914 года:

— Ну-ка, расскажите, как вы предали армию Самсонова?..

Царская власть не рассчиталась с ним. Белогвардейская разведка тоже проморгала «огородника». Вот и получилось, что за гибель армии Самсонова ему пришлось держать ответ уже перед Советской властью… Возмездие было неизбежно, и ревтрибунал вынес ему смертный приговор.

«В расход!» — как говорили тогда…

Часть третья

При исполнении долга

Глава первая

Долгий путь

Долгий путь. Он много крови выпил,

О, как мы любили горячо —

В виселиц качающемся скрипе

И у стен с отбитым кирпичом.

Ник. Тихонов

НАПИСАНО В 1942 ГОДУ:

…под Москвой. Было очень много ликований, но мне, признаюсь, эта операция не принесла ощущения полноты победы. Не буду сваливать все на холода, заморозившие технику вермахта, ибо на русские морозы еще задолго до Геббельса ссылался и Наполеон в своем знаменитом «28-м бюллетене». Но все-таки наступление, закончившееся для нас успешно, не казалось мне таким сокрушающим ударом, чтобы радикально изменить положение на фронте. Отбросить противника далеко от Москвы не удалось. Ясно, что немцы отогреются по весне, перещелкают на себе вшей, обновят технику, и потому летом нам следует ожидать серьезных оперативных решений…

А я не ладил с начальством. Вскоре меня отстранили от пропаганды, но и других поручений не давали. Курс военной статистики в Академии Генштаба был сильно урезан, лекции занимали лишь четыре часа в неделю. Чувствовалось, что моя неприкаянность вызвана какими-то побочными соображениями, и я сознательно пошел на обострение обстановки.

— Мне, — заявил я в особом отделе, — не совсем-то понятно, почему в такое трудное время, какое переживает Отчизна, меня, кадрового специалиста, держат под шкафом, словно забытый мусор… Чем вызвано недоверие? Или виной тому мой последний арест? Так все уже выяснилось. Я вам преподнес Бориса Энгельгардта, я действительно вышел прямо на Целлариуса… Не понимаю! Лучше уж пошлите меня на фронт рядовым солдатом.

— У вас другие фронты, — ответили мне…

Было видно, что моего визита не ожидали, и дальнейший разговор никак не блистал крупицами народной мудрости. Сначала мне ядовито намекнули на мои расхождения с начальством:

— Говорят, вы не исправились.

— Но я же не ребенок, чтобы, нашалив, исправляться. Мои убеждения сложились не сегодня, и не вам меня перекраивать.

— А вы разве не боитесь противоречить людям, облеченным высокой доверенностью партии и народа?

— Я старею. Семьи нет. Дети не сидят по лавкам, ожидая, когда их накормят. Так чего мне бояться? Кажется, отжил свое честно, а теперь желаю умереть честным человеком, чтобы смерть застала меня при исполнении долга.

— Честным… ведь вы были в немецком плену?

— При царе это не считалось вселенским позором, напротив — мученичеством, и бывших в плену награждали орденами.

— За что? За трусость?

— Простите, — обиделся я, — тогда же в баварской крепости Ингольштадта сидели в одной камере два офицера. Одного звали Шарлем де Голлем, а другого Михаилом Тухачевским, и трусами их никак не назовешь, хотя они тоже сдались в плен…

Это озадачило моих собеседников:

— А вас взяли в плен? Или сдались сами?

— Сам… На войне случаются такие острые коллизии, когда даже смелый человек бывает вынужден поднять руки…

Этот корявый разговор был продолжен в более просторных кабинетах с гораздо большим количеством служебных телефонов, и портрет Хозяина не был литографией для всеядного ширпотреба, а был исполнен маслом на холсте, вставленный в золотую раму. Тут рассуждали более откровенно.

— Сколько у вас было орденов?

— До революции?

— До.

— Много! Но в семнадцатом я обменял их на пуд белой муки, о чем до сих пор горестно сожалею. Из советских же наград имею лишь нагрудный знак «XX лет РККА».

— У вас отличные аттестации по службе до революции.

— А как же иначе? Если уж дослужился до генеральских эполет, так, наверное, чего-нибудь стоил… Не так ли?

— Хорошо. Где бы вы хотели теперь быть?

Вопрос был поставлен напрямик, и потому он требовал от меня предельно искреннего ответа — без экивоков:

— Для работы в Германии я сейчас попросту не гожусь. Мои знания лучше использовать в Югославии, где началась народная война против немецких оккупантов.

Ответ был малоутешительным для меня:

— Вы плохо представляете себе обстановку в отрядах Тито, там война очень жестокая, и вам физически не выдержать всех ее тягот… Ведь вам уже далеко за шестьдесят.

— Но еще не семьдесят же, черт побери! — чересчур горячо возразил я. — Раньше в русской армии служили и позже, даже в отставке оказывая немалые услуги отечеству. Поверьте, что на здоровье я никогда не жалуюсь.

— Хорошо, — закончили разговор. — Мы подумаем, где вам удобнее сейчас быть. Всего доброго…

Мне почему-то казалось, что меня ожидают Балканы, и я даже удивился, когда мне предписали скорый вылет в Тегеран.

— Вы имеете представление о Персии, нынешнем Иране?

— Осмеливаюсь судить об этой стране лишь по экзотическим романам Пьера Лоти, где с большим толком воспеты женщины — ароматные, как розы Исфагана.

— Вот и хорошо, — сказали мне. — Сейчас там и нужен такой бабник, кажущийся совсем непригодным для разведки…

\* \* \*

Конечно, я знал о Персии не только по романам. Иран был перенасыщен агентами абвера, активность которых вызвала большую тревогу не только в Москве, озабоченной сохранностью бакинских нефтепромыслов, но и в Лондоне, где не могли смириться с угрозой нефтеносным источникам в районе Персидского залива. В августе 1941 года британские войска вошли в Иран с юга, а наша армия вошла с севера, чтобы обезвредить свои границы от диверсий на Каспии и на Кавказе. Тогда же над крышами Тегерана с воем пронеслись неопознанные самолеты, сыпавшие бомбы и зажигалки на жилые кварталы, а немецкое посольство объявило, что налет был произведен советскими бомбардировщиками… В таких сложных условиях наша разведка в Иране приступила к уничтожению вражеской агентуры. Это было чертовски трудное дело, тем более что немцев поддерживали племена кашкайцев и бахтиаров, которые терпеть не могли бумажных денег, зато абвер расплачивался с ними чистым золотом.

Я вылетел из Москвы в те самые трагические дни, когда немцы заканчивали окружение нашей армии в районе Барвенково, маршал Тимошенко оставил там 480 000 человек и всю боевую технику, а в нашей печати стыдливо признавались, что 90 000 «пропали без вести». Вермахт двигался на Сталинград! Наш самолет садился на дозаправку именно в Сталинграде, уже переполненном беженцами, город на Волге стонал от рева скота, гонимого на восток, все были взволнованы самыми мрачными слухами.

Мы летели через Астрахань и Баку, наш «дуглас» основательно трясло в тучах. Конечно, в мои годы не станешь ориенталистом, но я все-таки запасся в дорогу дешевым разговорником «Русский в Персии», изданным до революции, и теперь зубрил:

— Кэнди вэ чай дарид? — есть ли у вас чай с сахаром? Бераи бенда лехаф-э-э-табистани лазим ест! — прошу дать одеяло…

В разведуправлении Москвы меня предупредили, что в январе 1942 года немецкая авиация сбросила над Ираном сотню парашютистов, владеющих восточными языками, чтобы с их помощью оживить работу абвера на границах с Индией и СССР. Посадка нашего «дугласа» в сильно разреженном воздухе Тегерана показалась мне скорее падением самолета в облаке густейшей пыли, окутывавшей аэродром, заставленный авиацией англичан; здесь же, под крыльями самолетов, сновали юркие «джипы» и «виллисы» с хохочущими и орущими «томми». Дверь фюзеляжа открыли, и внутрь «дугласа» пахнуло такой жарищей, будто я угодил в ванну с горячим глицерином. Я спустился по трапу на землю, повторяя понравившуюся мне персидскую поговорку:

— Самый вкусный виноград всегда достается шакалу…

Английский контроль. Я предъявил документы — ревизор Управления банков СССР. Молодой британский офицер в шортах и безрукавке едва глянул в бумаги, спросив меня по-русски:

— Долкая дорога… верно, папаша?

— Долгая, сынок, — ответил я в том же духе.

Но это мимолетное «папаша» еще раз напомнило мне о моем презренном возрасте. Я появился в Тегеране для ревизии «Русско-иранского банка», солидного учреждения, которое с давних времен сотрудничало с персидскими деловыми кругами. Всегда плохо смыслил в вопросах денежных обращений, а теперь — в роли московского ревизора — я имел этот банк лишь прикрытием для своих дел, весьма далеких от развития экономики. Директор банка мог быть вполне уверен, что я не посажу его за растрату. Я входил в подчинение майору Сергею Сергеевичу Т[уманову], который возглавлял группу советской разведки, жестоко боровшейся с нацистским подпольем в Иране…

На выходе с аэродрома Т[уманов] ожидал меня в автомобиле. Тегеран к вечеру высветился неоновыми рекламами, сверкали витрины фешенебельных магазинов, в нарядной столичной публике царило некое оживление праздности, столь несвойственной москвичам; среди мотоциклов и автомашин бежали ослики с поклажей, тут же величаво выступали караванные верблюды.

— Вас прислали… — начал майор Т[уманов].

— …в помощь вам, — опередил я его вопрос.

При этом объяснил: мои задачи просты, хотя и хлопотливы — я должен установить связь с влиятельными белоэмигрантами, согласными помочь родине в ее трудные дни, мне следовало наладить контакты и с богатой армянской колонией, которая душою всегда была близка армянам нашего Еревана.

— Может быть, — сказал я Т[уманову], — кто-либо из этих людей, сочувствующих нашей стране, сумеет помочь нам…

Т[уманов], легко управляя машиной, сказал, что в Иране обстановка гораздо сложнее, нежели ее представляют в Москве, а вожди племен, живущих в горах, агентов абвера не выдадут:

— Немцы берут их за душу не только золотишком с дурной лигатурой, но и тем, что выдают себя за «освободителей мусульман от британского и русского империализма» — старая песня, известная нам со времен кайзера! Но сейчас, когда фюрер жмет на Сталинград, немцы рассчитывают — через Кавказ — объединить свои армии с армией Роммеля, которая — через Каир — выйдет в Палестину и Сирию, а потом развернется и далее — прямо на Индию… В каком вы звании? — вдруг спросил Т[уманов].

— Всего лишь генерал-майор.

Машина в его руках рыскнула в сторону.

— Простите, — сказал Т[уманов], — я ведь только майор, а Москва велела принять вас как своего подчиненного.

— Все верно. В таком деле, каково наше, чинопочитание излишне. Я охотно исполню все ваши указания.

— Благодарю. Вот и «Континенталь», где для вас снят номер с душем и ванной. Не пейте сырой воды. Директора банка легко запомнить: Иосиф Виссарионович Гусаков. Вот вам и мой телефон. В случае каких-либо осложнений — звоните…

Иосиф Виссарионович оказался милейшим человеком.

— Каковы ваши первые впечатления от Персии?

— О! — воскликнул я, взваливая на стол разбухший портфель, набитый пачками газет, которые я никогда не читал. — Пьер Лоти прав: розы благоуханны, персиянки очаровательны, а лохмотья нищих по-рубенсовски живописны… Итак, с чего мы начнем?

— Сначала я позволю себе отчитаться в кредитах.

— Надеюсь, вы меня не очень стесните во времени? Знаете, я человек в летах, а тут… такие шеншины… такие шеншины! Где мне, старому петербуржцу, устоять перед ними?..

Кажется, бедняга поверил, что я опытный ловелас и провожу свои вечера в самых темных кварталах Тегерана, куда женатые люди не заглядывают. В чем-то мне здорово повезло. Под видом важного московского финансиста я установил связи, нужные для группы Т[уманова]. От этих встреч с «нужными» людьми мне запомнились роскошные рестораны, обнаженные спины женщин, сверкание посуды в руках вышколенных официантов, надрывные возгласы джазов, а в глыбах тающего льда серебрилась наша каспийская икра и леденели бутылки с превосходным шампанским. Одному эмигранту, который сомневался, стоит ли ему связываться со мною, я сказал на ушко — как самое сокровенное:

— Не забывайте, что я лично знаком с Иосифом Виссарионовичем, и обязательно напомню ему о ваших заслугах…

Вскоре я был извещен, что нашей группе удалось перехватить секретный код, которым агентура абвера связывалась с фон Паленом, гитлеровским послом в Стамбуле; мы предотвратили серию взрывов и пожаров на нефтепромыслах Баку, которые были отлично спланированы во 2-м отделе абвера на Тирпицуфер в Берлине. Я был вполне доволен собой, но мое блаженство в Тегеране скоро закончилось… В один из дней, когда я подходил к банку, помахивая портфелем, возле меня резко затормозила легковая машина. Я не успел даже среагировать, как дверца ее распахнулась. Три выстрела в упор отбросили меня к стене здания, интуитивно я загородился от них портфелем.

Машина отъехала. Пули, пробив портфель, застряли в пачках газет; а одна засела во мне. Иосифу Виссарионовичу, когда меня внесли внутрь банка, я назвал телефон Т[уманова]:

— Скажите, чтобы Сергей Сергеевич приехал…

Меня поместили в английский госпиталь. Т[уманов] спросил:

— Вы запомнили лицо стрелявшего?

— Кажется, его лицо было русского типа.

— Лежите. Самолет в Москву будет вечером…

Итак, дело было сделано. Мы не смогли тогда выловить лишь двух матерых агентов абвера. Это был эсэсовец Юлиус Шульце, замаскированный под видом муллы, которого укрывал в Исфагане главарь кашкайских племен, и прохлопали опытного резидента Майера, работавшего под самым нашим носом — могильщиком на армянском кладбище Тегерана. Обратно домой я летел уже над калмыцкими степями, и в районе Элисты по нашему «дугласу» во всю ивановскую жарили немецкие зенитки…

\* \* \*

Орден боевого Красного Знамени мне вручили уже в московском окружном госпитале. Оправлялся я с трудом, благодаря всевышнего именно за то, что надоумил меня таскать в своем дурацком портфеле совсем не нужные мне пачки газет. Если бы не эти газеты, не видать бы мне ордена, как своих ушей…

Битва в Сталинграде была в самом разгаре, когда переполненный людьми поезд увозил меня в глубокий тыл — в самую глубь страны, где была очень трудная и голодная жизнь без тепла и уюта, с мучительным ожиданием весточек от мужей, с рыданиями женщин при вручении им похоронок. Всю дорогу я смотрел в окно, как ребенок, не раз готовый заплакать. В глубоких снегах стыли древние леса, картины русской провинции оживали передо мною в порушенных храмах без куполов, в запустении старых гостиных лабазов эпохи Екатерины Великой, в старинных зданиях губернских и уездных гимназий, где теперь разместились тыловые госпитали. Было морозное утро, кружился мягкий снежок, когда я сошел с поезда на перрон промерзшего вокзала древнего русского городка, тихо курившегося дымками печных труб. Здесь в годы войны — за очень высоким забором — располагалась школа для подготовки наших агентов и диверсантов, а я был назначен руководить этой школой… Мне выделили квартиру в городке; с утра до ночи для меня куховарила слезливая старуха Дарья Филимоновна, меня возлюбил ее кот Вася, и любовь кота бывала особенно пылкой в день получения мною генеральского пайка. Тут уж он не отходил от меня, издавая то нежное, то свирепое «мурлы-мурлы» с таким артистизмом, что надо иметь железное сердце, дабы устоять перед его желанием вкусить от моих благ.

Школа считалась интернациональной, в ее аудиториях слышалась речь поляков, чехов, болгар и немцев, в основном это была молодежь, и мне нравилось с нею общаться. Группы курсантов, уже готовые для работы в немецком тылу, я с офицерами школы всегда провожал на аэродроме, целуя каждого троекратно, и жалел каждого, как отец своих сыновей. Да простится мне эта сентиментальность: я ведь невольно вспоминал молодость…

В один из вечеров, томимый одиночеством и тоскою, я решил прогуляться по городу, занесенному снегом. Незаметно добрел и до станции. В зале ожидания возле холодной печки сидела изможденная женщина, вокруг шеи которой, словно веревочная петля, была обвита старая шкурка лисицы, когда-то, наверное, украшавшая эту даму. Возле нее сжались в комок две девочки. Вещей с ними не было, и поначалу я принял их за беженцев. Мне казалось, они так и останутся здесь, обреченные на тихое умирание. Что-то больно кольнуло мне в сердце.

— Куда вы едете? — спросил я женщину.

— Не знаю… мы теперь ничего не знаем.

— Билет у вас в какую сторону?

— Нет у нас билетов. Нет и никогда их не будет.

На меня с надеждой воззрились девочки. Чего они ждали от меня? Чудесной посадки на поезд? Или… куска хлеба?

— Продуктовые карточки у вас при себе? Тогда их можно отоварить, — подсказал я. — Утром, когда откроются магазины.

— Нет у нас карточек, — отвернулась женщина…

Руками без перчаток, посиневшими от стужи, она перебросила облезлый хвост лисы через плечо. Даже кокетливо!

— Кто вы и откуда? — спросил я.

— Мы… немцы, — услышал я. — Мы… высланы.

Не знаю почему, но в этот момент мне вспомнилось, что лучшая гроздь винограда всегда достается шакалу. Молча я вышел из зала ожидания. Постоял на перроне. Вернулся обратно.

— Но так же нельзя! — заговорил я. — Вы тут замерзнете… погибнете. Без билетов, без денег, без карточек.

— А кому нужны мы теперь? — вопросила женщина.

— Мне! — выкрикнул я так, словно отдал приказ…

Я привел несчастных в свой дом, отпихнул кота:

— Иди к чертовой бабушке… Дарья Филимоновна, — велел я на кухне, — ставьте самовар да печи топите пожарче…

Я сам накрыл стол. Смотрел, как пугливо едят женщина и ее дети. Чувствовал, что они боятся уйти из моего дома.

— Вы останетесь здесь, — сказал я женщине. — Вы и ваши дочурки. Не волнуйтесь. Как-нибудь проживем…

…Боже, как поздно я обрел тихое семейное счастье!

1. «Цо то бендзе?..»

Французское правительство покинуло столицу, вот-вот готовую пасть, перебравшись в Бордо, отчего французы, не потеряв остроумия, называли министров «говядиной по-бордоски»; вслед за правительством панически спасались из Парижа и богатые люди, а французы спешно обновили текст «Марсельезы»:

К вокзалам, граждане! Дружно штурмуем вагоны… В утешение парижанам газеты публиковали карты Восточной Пруссии, на которых мощная стрела русского наступления врезалась графическим острием прямо в Берлин. Французы более рассчитывали на помощь далекой России, нежели от ближайшей Англии, дружно осмеивая британских солдат, которые на союзном фронте старались занимать вторую позицию, благородно уступая первую французам. Положение немецких солдат в битве на Марне было незавидное, и когда французские врачи наугад вскрыли несколько трупов, то в желудках обнаружили лишь красные комки кормовой свеклы. Кажется, немцы уже созрели для поражения, натощак атакуя французов. Шлифен, наверное, был гениальный стратег, но вершиной германской стратегии стала все-таки продуктовая карточка. За широкие планы Шлифена немцы расплачивались мизерным пайком маргарина, добавляя в хлеб целлюлозу. Но когда Мольтке снял с фронта два корпуса и кавалерийскую дивизию, чтобы спешно перебросить их в Пруссию, положение французов на Марне резко улучшилось. Россия в эти дни была столь популярна, что французские патрули брали своим паролем названия русских городов, и на выкрик «Москва» они отзывались именами Рязани и Калуги…

В коалиционных войнах трудно найти примеры, чтобы союзник жертвовал собой ради успехов союзника. Но август 1914 года убедил весь мир в том, что Россия свято верна союзническому долгу. В эти дни Петербург информировал Париж: «С удовольствием констатируем факт переброски немецких сил против нас, чем облегчается положение французов…» Даже французский маршал Фердинанд Фош уж на что не любил делить свою славу, но и тот вынужден был открыто признать:

— Именно русским солдатам мы всегда останемся благодарны за то, что имеем право гордиться «чудом на Марне»…

Между тем в прусском Мариенбурге полковник Макс Гоффман объяснял пассивность Ренненкампфа эпизодом на вокзале в Мукдене, когда Самсонов дал Ренненкампфу по морде:

— Не думайте, что Ренненкампф забыл этот случай и не пожелает отомстить Самсонову за свое публичное унижение…

Пришлось потревожить сладкий сон Гинденбурга.

— Решайтесь, мой генерал, — сказал ему Людендорф.

— Я как ты скажешь, — мудро отвечал Гинденбург…

Самое пикантное во всем этом: хотел того или не хотел Людендорф, но так уж получалось, что все-таки не собака крутила хвостом, а хвост раскручивал собаку, — Людендорфу поневоле приходилось следовать за мнением Макса Гоффмана:

— Именно на том убеждении, что Ренненкампф не придет на помощь Самсонову, мы и будем строить всю операцию…

Неизвестно кто, Людендорф или Гоффман, но один из них подошел к телефону, на чистом русском языке сказал:

— Генерал Клюев? Здравствуйте, дорогой Николай Алексеевич, рад вас слышать… К сожалению, обстановка изменилась, вашему корпусу придется отступить назад. Понимаю, понимаю… отступать всегда неприятно. Но — что поделаешь? Так надо…

\* \* \*

…неоправданные потери в пехоте, особенно среди офицеров, бравировавших своей лихостью, считавших особым шиком дефилировать с сигарой в зубах под косящим огнем вражеских пулеметов. И все лишь ради того, чтобы не прослыть трусом и заслужить прозвище «молодчага». Во всех армиях мира офицеры шли в атаку позади солдат, а в русской офицер шел впереди солдат, помахивая тросточкой или былинкой травы, почему самая первая пуля доставалась непременно ему. Выговоры не помогали:

— Я же офицер, черт возьми! — оправдывались «молодчаги». — С кого же, как не с меня, брать пример солдату?..

Предгрозовые дни августа застали меня в ухоженном и уютном Нейденбурге, где немки почтительно кланялись нам, русским офицерам, а поляки снимали шляпы; по вечерам немцы закрывались на все запоры, а поляки, до нашего прихода в Пруссию принужденные говорить по-немецки, теперь свободно распевали гимны своей стародавней вольности:

Плыне, Висла, плыне по польской крайне, а допуки плыне, Польска не загине…

Постовский руководил самсоновским штабом тоже из Нейденбурга, недалеко от границы с Россией, и настроение «сумасшедшего муллы» было далеко не из лучших. Он сказал:

— Когда старый козел гоняется за молоденькой козочкой, тогда всем нашим козляткам бывать сиротами.

— Вы намекаете на Павла Карлыча? — спросил я.

Постовской протирал стекла пенсне с таким старанием, как артиллерист оптику боевого прицела родимой пушки.

— Да, — ответил не сразу. — Я вообще не доверяю генералам, сделавшим карьеру в пятом году, когда они играли незавидную роль карателей. Может, подобные люди тогда и были нужны его величеству, но для войны они вряд ли годятся… Ренненкампф уже попался (и не раз) на грязных махинациях с продажными интендантами, а теперь не стыдится таскать за собою молодую красивую сучку, словно желая доказать подчиненным и всем нам свое геройское «молодечество»…

Самсонов удивлял меня своей выдержкой и, даже ненавидя Ренненкампфа, никогда не бранил его открыто, признавая в нем своего боевого соратника, обязанного прикрывать его армию с правого фланга. На рабочем столе Самсонова я видел раскрытый том Масловского о Семилетней войне, когда Восточная Пруссия покорно присягнула на верность России, и рукою моего генерала были жирно подчеркнуты в тексте слова графа Шувалова, сказанные еще в 1760 году: «Из Берлина до Петербурга не дотянуться, но из Петербурга достать Берлин всегда можно…»

Я доложил данные разведки, которые никак не могли вызвать радостных эмоций. Активное перемещение немцами эшелонов за линией фронта казалось мне подозрительным.

— Вы меня не пугайте, — грузно поднялся Самсонов и, достав платок, смачно в него высморкался. — Русские генералы с детства пуганные… всякими сказками.

— Извините. Я не вправе вмешиваться в ваши распоряжения. Но мне думается, что 13-й корпус генерала Клюева, как и 15-й корпус генерала Мартоса, рискованно выдвинулся вперед, а «бедным михелям» никак не смириться с потерею Алленштейна, этого важного узла железных дорог всей Пруссии.

— Алленштейн… как его историческое название?

— Олштын — древний польский город, когда-то столица епископов… Наконец, — договорил я, — наши буквенные коды, придуманные для развлечения младенцев, надо полагать, уже давно расшифрованы немцами, а штаб вашей армии, смею заметить, ведет переговоры по радио даже открытым текстом…

Самсонов, явно раздраженный, захлопнул книгу.

— Клюев чего-то попятился назад, — сказал он, — хотя причин для отхода не вижу. Правда, у него большие потери. Николаю Алексеевичу, наверное, стало жалко солдат.

— Мне тоже их жалко. Тем более что наши солдаты четверо суток не видели хлеба. Там, в Алленштейне, пять пивоваренных заводов, но одним пивом сыт не будешь…

Самсонов признал, что обозы безнадежно отстали, а солдаты измотаны бесконечными переходами и боями. Но подвоза не было: узкая колея немецких железных дорог не могла принять на свои рельсы расширенные оси русских вагонов. Жилинский из Волковыска не скрывал, что все эшелоны с боеприпасами и провизией застряли где-то возле самых границ, образовав страшную «пробку» за Млавой.

— Если пробка, — диктовал Самсонов, — пускай сбрасывают вагоны под откос, дабы освободить пути под новые эшелоны.

Жилинский отбил ответ по телеграфу, что за Млавой откоса не имеется. Вся эта дурацкая перебранка происходила на моих глазах. Самсонов вызвал к себе Нокса.

— Дорогой майор, — сказал он ему, — вы уже достаточно пронаблюдали за успехами своей армии, а теперь… Теперь, я думаю, вам лучше бы покинуть армию.

Впоследствии Нокс, ставший генералом, сыграл зловещую роль в сибирском правительстве адмирала Колчака, а тогда, еще скромный майор, он с некоторым вызовом отвечал генералу, что в леса Пруссии его загнало не праздное любопытство:

— Я должен координировать совместные действия русской армии с нашей, желая видеть развитие вашего успеха.

— Это вам не удастся, — грубо ответил Самсонов, так грубо, словно отпихнул Нокса от себя. — Ваша армия слишком далека, а я не способен координировать свои действия даже с Жилинским и, стыдно сказать, даже со своим соседом по флангу…

Нокс, кажется, был смущен. Европейцы всегда много болтали о «загадочной русской душе», парижане восхваляли особый «славянский шарм», а Нокс выразился о нас конкретнее.

— Все русские похожи на сумасшедших, — сказал он, когда мы покинули штаб Самсонова. — Широта славянской натуры совмещается с узостью предвидения. Вы считаете нас, англичан, слишком осторожными на войне, но согласитесь, что именно этого качества вам никогда и не хватало.

Я не стал вдаваться в полемику, кратко ответив, что в калейдоскопе событий трудно выявить общую картину. Со стороны Мазурских озер в направлении Нейденбурга наплывали темные грозовые тучи, вдали, словно переблеск сабель, полыхали молнии, вонзавшиеся в гущу лесов. Было душно, смутно, тревожно.

Наверное, и Нокса угнетали дурные предчувствия.

— Вы, надо полагать, знаете больше Самсонова?

В этот момент я вспомнил старую солдатскую притчу о тех убитых врагах, которые пустыми глазами глядят на своих победителей, словно предсказывая им скорое отступление.

— Наше положение сейчас как при… Ватерлоо!

— Не понял вас, — оторопел Нокс.

— Наполеон выиграл бы эту битву, если бы на помощь ему вовремя подоспели резервы маршала Груши. Но Груши не пришел, и Наполеон перестал быть Наполеоном.

Нокс все понял и натужно засмеялся.

— Смелое сравнение Самсонова с Наполеоном, — сказал он. — Но еще смелее сравнение Ренненкампфа с Груши…

Вечер этого дня я закончил в польской семье, предки которой — увы! — давным-давно оказались германскими подданными. После грозы в природе наступило затишье, город засыпал, опустив ставни на окнах, а дочь хозяина, обворожительная в своей греховной красоте, навзрыд читала гостям Адама Мицкевича, глядя в мою сторону, словно спрашивала одного меня:

Тихо вшендзе. Глухо вшендзе. Цо то бендзе? Цо то бендзе? В этот вечер мне очень хотелось в нее влюбиться.

\* \* \*

Все началось как-то исподволь, хотя сведения с передовой еще не давали причин для нервотрепки. Накануне возле Орлау нами была полностью разгромлена немецкая дивизия. Но на этот раз противник, даже разбитый, крепко цеплялся за свою позицию. Мне удалось связаться с Клюевым раньше Постовского, и Клюев сказал, что он не «пятится назад», хотя все-таки немного отошел, ибо на этом отходе настаивали из штаба.

— Ерунда, — ответил я. — Вы не слишком-то доверяйте местным телефонам, а то узнаете даже базарные цены на говядину. Прежде, убедитесь, кто говорит с вами.

— Говоривший представился Постовским, и в разговоре с ним я убедился в его отличном знании обстановки.

— Вас обманули, а подключиться к нашим проводам это раз плюнуть…

В числе пленных стали попадаться «михели», еще вчера спокойно сидевшие в гарнизонах на Висле, и это настораживало. Мне казалось, что противник усилился в два раза, но я ошибался. Позже выяснилось, что немцы имели даже четырехкратное превосходство над нами в силах пехоты, противник подавлял нас артиллерией и множеством аэропланов. Однако мощное острие нашего клина еще вонзалось в самую сердцевину Пруссии, дорогу для Второй армии Самсонова прокладывали 13-й и 15-й корпуса генералов Клюева и Мартоса. Мне тоже удалось перехватить разговор немецких штабов, Гинденбург оповещал ставку кайзера в Кобленце: «ДУРНОЙ ИСХОД ДЛЯ НАС НЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ». Это признание Гинденбурга меня несколько подбодрило: значит, и противник не уверен в своем успехе…

После войны, вчитываясь в материалы германского рейхсархива, я убедился, что в восьмой армии Гинденбурга царила такая же неразбериха, как и в наших частях. Но «михелей» выручала отличная связь и быстрая передвижка резервов по рельсам, чего у нас-то и не было. Расплющить нашу армию немцы собирались в четыре часа утра 13 (26) августа, но планы были спутаны непокорным генералом Франсуа… Он отказался атаковать нас на рассвете, самовольно перенеся атаку на время полудня. Но в полдень Франсуа вторично ошеломил Людендорфа новым отказом. Атаку отложили на час, потом ее оттянули еще на три часа.

После всего этого Франсуа вообще забастовал.

— Ничего страшного, — весело сказал он, — бывает же так, что концерт откладывается по болезни артиста…

Гинденбург и его свита нагрянули в штаб Франсуа, который остался неколебим в сознании своей правоты:

— Пока я не получу перевеса в тяжелой артиллерии, я не строну свою дивизию с места, чтобы не видеть ее погибшей с воплями на русских штыках…

Макс Гоффман, не дослушав перебранки генералов, уселся в автомобиль, докатил до ближайшей станции, где ему вручили сразу две радиограммы — Ренненкампфа и Самсонова, переданные в эфир открытым текстом. С этими радиограммами Гоффман перехватил Гинденбурга и Людендорфа в дороге.

— Оставьте бедного Франсуа в покое, — сказал он. — Наш трамвай еще не ушел… Читайте сами: завтра генерал Ренненкампф останется далеко от Самсонова, а Самсонов расценивает бои с нами как бои с нашим арьергардом, прикрывающим отход восьмой армии в сторону Вислы…

В середине дня 6-й корпус армии Самсонова оставил позицию возле городка Бишофсбурга, но все попытки Гинденбурга потеснить, левое крыло русской армии не удались. Однако потери с нашей стороны были ужасающими.

— Дерутся страшно, — сообщил мне Постовский. — В седьмом пехотном полку не осталось ни одного офицера, а солдат полегло сразу три тысячи… Целое кладбище!

Ближе к вечеру до Нейденбурга дошло известие, что 4-я дивизия оставила на поле боя уже пять с половиной тысяч солдат. Фронт стал напоминать мясорубку.

— Пушки мы оставили тоже, — хмуро признался Постовский. — Что делать, если на один наш пушечный ствол немцы выставляют сразу четыре… Наконец, — сказал «сумасшедший мулла», — нельзя же уповать на одни сухари, ибо хотя бы раз в неделю русский солдат имеет право нажраться мяса.

— В чем дело? — отвечал я. — Вокруг все дороги забиты брошенным скотом, так не начать ли его реквизицию, как это всегда делалось в старые добрые времена? Наконец, — напомнил я, — у каждого солдата был неприкосновенный запас.

— Давно прикоснулись. Ни крошки ни осталось.

У меня сложилось убеждение, что мы вступили в бои не с арьергардом отступающего противника — напротив, перед нами возникла очень крепкая армия, обновленная резервами и хорошо передислоцированная для активного наступления против нас.

Александр Васильевич нехотя согласился со мною.

— Возможно, — сказал он. — Но Жилинский настаивает, чтобы я держался за Алленштейн, дабы оседлать главную железную дорогу, связующую Восточную Пруссию со всей Германской империей. В одном вы, конечно, правы: немцы усилились! Даже дивизия Макензена, недавно драпавшая от нас, теперь держится стойко. Тяжелее всех достается ныне бедному Мартосу, но его пятнадцатый корпус стоит как вкопанный…

Вот уж не знаю, сколько русских пленили немцы, но мы гнали и гнали в свой тыл длиннющие колонны пленных немцев. Жаркий день угасал, до окраины Нейденбурга едва докатывался грохот тяжелой артиллерии, где-то «пахавшей» позиции.

— Это не наша, — сказал Постовский за ужином. — Четвертая дивизия отходит, ибо у нее не осталось даже окопов.

— Куда же делись окопы? — спросил Нокс.

— Они сровнялись с землей, а земля перемешалась с людьми. Положение на флангах, чувствую, обострилось…

Это было еще мягко сказано. В согласное и почти мажорное звяканье посуды вдруг резонансом вмешались посторонние звуки с улицы. Мы оставили стол и, на ходу пристегивая оружие, вышли на площадь Нейденбурга… Перед нами катились санитарные фуры, шли солдаты без фуражек, иные топали босиком, перекинув сапоги через плечо, редкий из солдат тащил на себе винтовку. Вид людей был почти ужасен; покрытые коростой пыли и грязи, в кровавых струпьях, изможденные…

Самсонов повелительно окликнул одного из них:

— Эй… босяк! Ты почему оказался здесь?

— А где же нам ишо быть? — ответил ему солдат. — Пять дён не жрамши, и — держались… А чем? Чем воевать? — «Босяк» в бешенстве продернул затвор винтовки, но ни одна гильза не выскочила из пустой обоймы. — Вот так воевали… до последнего патрона, — с глубоким надрывом сказал солдат. — Ныне все кончилось… амба всем! Потому я здесь, а не там…

Самсонов не треснул солдата в ухо. Самсонов не покрыл его матом. Самсонов не велел солдату вернуться назад:

— Иди, братец, куда ноги тащат… Бог с тобою!

Эту чересчур выразительную сцену наблюдал и майор Нокс, наверняка запомнивший обоюдное бессилие — и солдата и генерала. Я понял, что мое место не здесь. Самсонову я сказал, что навещу корпус Мартоса. Александр Васильевич отвел меня в сторону, чтобы наш разговор остался между нами.

— Поезжайте, — широко перекрестил он меня. — Но вы начальник армейской разведки, слишком много знаете о наших делах, а посему… Простите, вам следует быть очень осторожным.

— Ясно. В плен сдаваться нельзя.

— Ни в коем случае, — подтвердил Самсонов. — И будет, наверное, лучше, если вы появитесь на передовой в форме солдата, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.

— Я вас понял. Понял и благодарю…

Самсонов со вздохом извлек из-под мундира золотой медальон с фотографиями своих детей и сказал мне тихо:

— Ради них… я обязан сохранить честь. Честь русского солдата! Чтобы детям не было потом совестно. Прощайте…

Больше я никогда не видел генерала Самсонова.

Денщик вывел оседланную Норму, я сказал ему:

— Спасибо, дружище. Ты оставайся здесь…

Навстречу мне бурно изливался поток отступающих и раненых, ковылявших по обочинам, а я ехал на фронт — навстречу гулу батарей, вспоминая ту удивительную красавицу, еще вчера вопрошавшую меня в тоскливом отчаянии:

— Цо то бендзе? Цо то бендзе?..

\* \* \*

На этом, читатель, мемуары нашего героя обрываются, свое повествование он продолжит потом, а сейчас придется далее говорить за него мне… Конец этого дня сохранил три подробности, место которым если не в анналах истории, то хотя бы в грязеотстойниках, необходимых для каждого скотского хлева. Штаб Жилинского в Волковыске вдруг посетил верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич — длинный и сухой, как заборная жердина. Редко кто видывал его трезвым.

— Где Самсонов? — вопросил он еще с порога.

— Очевидно, в Нейденбурге, — ответил Жилинский.

— А где сейчас топчется армия Ренненкампфа?

— Не знаю, — честно ответил командующий фронтом.

Могучая оплеуха чуть не обрушила его на пол.

— Сволочь! — сказал ему главковерх. — На кой черт тебя здесь посадили, если ты ни хрена не знаешь? Ренненкампф обязан двигаться к югу… к югу… к югу! Слышишь?..

Павел Карлович Ренненкампф, получив такой приказ, чуточку стронул кавалерию в сторону Алленштейна и вскоре задержал ее движение, что сразу же заметила с высоты небес германская авиаразведка. Между тем присутствие при штабе любвеобильной Марии Соррель становилось подозрительным, а на все доводы своего штаба Павел Карлович тут же приводил свои доводы:

— Если я стану гнать немчуру слишком напористо, она мигом окажется за Вислой, и тогда Самсонов не успеет посадить их в «мешок». Жилинский не возражает режиму моих марш-маршей, а нам следует помнить и о блокаде Кенигсберга…

Солнце скрылось за лесом. День 13 (26) августа заканчивался. Именно в этот день французский посол в Петербурге Морис Палеолог услышал от русского министра Сазонова:

— Кажется, там все не так, как надо бы… Но мы не подведем нашу доблестную союзницу — Францию! В любом случае вы можете считать, что Париж нами уже спасен…

«Цо то бендзе? Цо то бендзе?» — Что-то будет?

2. Танненберг — бывший Грюнвальд

14 (27) августа… Еще темно. С опозданием на сутки, но ровно в четыре часа утра генерал Франсуа перешел в наступление. Все командование восьмой армии заранее собралось на высоком холме, откуда оно и посверкивало оптикою биноклей, стереотруб, линзами очков и моноклей. Против русского корпуса стояли два немецких, которым нечего было делать, ибо за них работала одна лишь тяжелая артиллерия.

На походном планшете была укреплена карта: где-то впереди лежал городишко Усдау, от него тянулись рельсы железной дороги, минуя деревушку Танненберг — место слишком памятное, где в 1410 году войска поляков, русских и литовцев учинили полный разгром Тевтонского ордена; битва исторического значения именовалась Грюнвальдской, именно тогда была надолго задержана агрессия германского «дранг нах остен».

Теперь Гинденбург, позевывая в белую нитяную перчатку, стоял на том самом месте, где истлели в прах кости его предков. Гоффман оставил трубку полевого телефона:

— Усдау взят… русские отошли!

Гинденбург величаво кивнул, а Людендорф плотоядно потер ладонь о ладонь — типичный жест гурмана, вдруг увидевшего стол, накрытый для объедения. Сейчас там, где были русские траншеи, земля вставала дыбом, развороченными пластами она заживо погребала убитых и раненых, даже без помощи оптики было видно, как между огненных гейзеров мечутся жалкие фигуры русских солдат, тут же разрываемых на куски новыми взрывами. В редких паузах между залпами орудий Франсуа еще кричал, что он был прав, перенеся атаку на сегодня:

— Сегодня все и решится… даже без штыков!

Солнце стояло уже высоко, приближаясь к полуденному зениту, когда немцам стало ясно, что сражение выиграно:

— Господа, не пора ли нам вернуться в Лобау?

Походный штаб Гинденбурга был раскинут в Лобау, где рестораторы держали готовый стол для обеда. Рассаживаясь по автомобилям, довольные генералы обсуждали начало дня:

— Может, вчера Франсуа и был прав в своем неисправимом упрямстве. Русская оборона прорвана нами сегодня, словно жалкая промокательная бумага, и дорога на Нейденбург открыта…

Но обед был прерван сообщением с передовой:

— Корпус Франсуа бежит.

— Опять? — взревел Людендорф.

— Опять… на станции в Монтове его солдаты штурмуют вагоны поезда, чтобы удрать поскорее до Остероде.

Стекло монокля выпало из глазницы Людендорфа и качалось поверх мундира, как маятник, задевая орден «Пур ле Мерит». Мучительная тишина нависла над столом, как пороховой дым над развороченными траншеями русских. Людендорф спросил:

— Где вторая дивизия?

— Остановлена русскими возле Гросс-Таурзее.

— А где бригада генерала Мюльмана?

— Задержана к востоку от Хенрихсдорфа…

«Притвиц, Притвиц… неужели Притвиц был прав?»

Пожалуй, один только Гинденбург не терял хладнокровия, почти равнодушный, он продолжал насыщение желудка.

— С русскими всегда так, — ворчал он, тщательно пережевывая пищу. — За один день с ними никогда не справиться. Они умеют наступать даже в том случае, если им оторвать ноги. Но мы, слава всевышнему, уже вошли в Усдау, а потому…

— Усдау снова в руках русских, — сообщил Гоффман. — Сейчас на вокзале в Остероде стоит под разгрузкой свежая дивизия ландвера, прибывшая из Шлезвига. Но я не вижу возможности передвигать резервы, ибо все дороги забиты стадами скота и фургонами с барахлом. Жители деревень бегут в сторону станций, и солдатам ландвера предстоит бодаться рогами касок с рогами быков и баранов.

— Не до юмора! — резко заявил Людендорф, поднимаясь из-за стола. — Но если мы сегодня останемся в дураках, истратив массу снарядов впустую, то генерал Самсонов будет глупее нас, не используя выгоды своего положения…

Самсонов не воспринял трагически удар немцев по его флангу возле Усдау, но и сам не заметил, что его медлительное тугодумие оказывает противнику «любезную услугу» (слова об услуге — из материалов рейхсархива). 13-й и 15-й корпуса Клюева и Мартоса почти не встречали сопротивления. Постовский тоже не сразу сообразил, что немцы, открыв семафоры перед войсками Клюева и Мартоса, группируют силы по русским флангам, готовя корпусам Клюева и Мартоса хороший «мешок». Таким образом, мнимое улучшение на фронте грозило армии Самсонова ухудшением обстановки. С востока и запада фланги Второй армии оказывались обнаженными. Русских спасало пока лишь то, что немцы уже выдохлись, их пехота едва таскала ноги, давно не кормленная, как были не кормлены и сами русские…

— Резина, — сказал Самсонов, указывая на карту.

Да, фронт, словно резиновый, растягивался все шире, и на пространстве в 70 миль, не имея между собой связи, русские полки, бригады и дивизии перемещались не туда, куда следовало, а туда, куда их зачастую вела лишь интуиция офицеров. По этой причине русские, идя в атаку, кончали ее всеобщим хохотом, увидев, что атакуют своих. А вступая в деревню, где должны быть «свои», они погибали под огнем блиндированных автомобилей. Немцы гнали колонны пленных русских, которые нарывались на русских же, угонявших в тыл колонны немецких военнопленных. В этом всеобщем хаосе, крутившем жизнями трети миллиона человек, не могли разобраться ни Самсонов с Постовским, ни Гинденбург с Людендорфом.

Людендорф хотя бы четко знал, чего ему бояться. Попирая свое самолюбие, он повторял доводы Макса Гоффмана:

— Если генерал Ренненкампф еще не выжил из ума и развернет свою армию к югу, чтобы поддержать Самсонова, тогда вся наша комбинация треснет, как паршивая бочка, а к древнему позору германцев при Грюнвальде добавится новый позор… скорее всего вот тут! При Сольдау…

Самсонов часто спрашивал у Постовского:

— А что Жилинский? Думают они там или нет?

— Боюсь, в Волковыске ничего не знают.

— А что Павел Карлыч? Он-то, яти его так, знает?

— Знает, что между нами всего сто миль по прямой…

Только к ночи до командования Северо-Западным фронтом дошло, наконец, что там, в приграничных лесах и болотах Пруссии, завязывается узел, который пора распутывать. Жилинский диктовал Самсонову: «Отвести корпуса Второй армии на линию Ортельсбург — Млава, где и заняться устройством армии» (иначе говоря, привести ее, сильно потрепанную, в прежний божеский вид). Но этот приказ Жилинского до Самсонова не дошел. Одновременно из Волковыска отбили по телеграфу приказ для Ренненкампфа, чтобы он продвинул к югу свои левые фланги, дабы прикрыть отход Самсонова за рубежи государственной границы…

Было уже темно, когда на лужайке возле Лобау, постреливая мотором, как пулеметом, сделал посадку разведочный «таубе», завонявший цветочную поляну бензиновым перегаром. Людендорф с тревогой выслушал доклад пилота:

— Страшная пылища на дорогах, но я все-таки разглядел отряд русской кавалерии из армии Ренненкампфа.

— Где вы его заметили?

— На бивуаке возле Растенбурга.

Людендорф вздохнул с явным облегчением:

— На бивуаке? Впрочем, Растенбург от нас далеко…

Растенбург ныне слишком памятен — «волчьим логовом» Гитлера!

\* \* \*

15 (28) августа… Итак, приказа об отходе к рубежам Самсонов не получил, а Клюев и Мартос еще пробивали дорогу вперед своими корпусами. Постовскому сам Бог велел указать Самсонову, чтобы отводил 13-й и 15-й корпуса обратно до Нейденбурга, но он этого не сделал. Бои становились ожесточеннее. Убитых даже не пересчитывали, а раненых оставляли умирать на поле брани… Между тем в упорных схватках немцы умело расчистили себе путь для охвата «головы» геройски сражавшихся корпусов.

Было еще раннее утро, когда Александр Васильевич стал жаловаться, что приближается приступ астмы:

— Душно… дышу, словно через тряпку. Плохо…

Он уложил в чемодан личные вещи, велев ординарцу отправить их жене, затем указал свернуть работу штаба и сразу разбирать радиостанцию Второй армии:

— Отправьте ее в Остроленку, но прежде отстучите в Волковыск, что связи больше не будет. Я выезжаю на фронт, дабы разделить судьбу своих солдат… до конца! Душно…

На окраине Нейденбурга ему встретился майор Нокс, и Самсонов, уже сидя верхом на лошади, дружески сказал ему:

— Вам остался последний шанс. Удалитесь, пока есть время. Вы исполнили свой долг, теперь я прощаюсь с вами, чтобы исполнить свой… Военное счастье переменчиво!

Николай Николаевич Мартос руководил боем, уже не раз переходившим в рукопашные свалки, когда увидел Самсонова и весь его штаб верхом на лошадях — они спешили к нему. Подскакав ближе, Самсонов нагайкой указал вдаль:

— Что это за колонна… вон там? Немцы?

— Да. Пленные. Гоним в тыл, чтобы не мешали…

— Много набрали?

— Насчитали до тысячи, потом плюнули. Некогда…

Самсонов был отличным кавалеристом, но теперь, напуганная взрывами, лошадь под ним то давала «козла», то делала «свечку», вставая на дыбы, генерал с трудом удерживался в седле.

Он сказал Мартосу, что все надежды на его корпус:

— Вы один спасете честь армии.

Мартос думал о другом — о спасении людей:

— Я еще способен обрушить немцев, чтобы пробиться на север, выходя на соединение с войсками Ренненкампфа.

В их разговор вмешался начштаба Постовский.

— Верю вам, — сказал он. — Вы обрушите. Вы спасетесь. Но с какой совестью вы оставите на разгром корпус Клюева?

— Ваша правда, — горестно отозвался Мартос…

Наверное, в поступке Самсонова было немало гусарской бравады. Но, оторванный от связи с войсками, и без того разобщенными, он остался лишь генералом на передовой, а его армия лишилась всякого руководства. Не будь Самсонова с войсками, и войска сражались бы героически сами по себе. Одна из немецких дивизий буквально растаяла, как масло на солнцепеке, выстелив поле сражения трупами, другая была растрепана так, что откатилась на станцию — по вагонам… Самсонов, мучимый астмою, вел себя храбрецом, но, кажется, и сам понимал, что трагедия его армии определилась.

— Это… конец! — вдруг сказал он Мартосу…

Вечером генерал Франсуа, третируя приказы Людендорфа, самовольно отбросил русские войска и занял Нейденбург.

— Капкан с юга защелкнулся, — доложил он, — а Клюев с Мартосом уже отрезаны мною от выхода на границу…

Дабы усугубить положение русских, Франсуа развернул на марше дивизию на Ваплиц, чтобы она померилась силами с корпусом Клюева. Но вся дивизия Франсуа полегла замертво, оставив Клюеву 13 орудий и 2400 трупов. Советский историк А. К. Коленковский не скрывал своего восхищения: «Истомленные, полуголодные русские стояли непоколебимо, они победоносно атаковали…» Гинденбург в это время дремал в деревушке Танненберг, а Людендорф психовал, ругая Франсуа, который вел себя, словно киплинговская кошка, «которая гуляла сама по себе»:

— Вы здорово поможете русским, если и далее будете вытворять все, что взбредет в вашу дурацкую башку.

На эту отповедь по телефону Франсуа отвечал, что с детства рос непослушным ребенком. Близился вечер, и Людендорф с Гинденбургом, сострадая один другому, признали, что окружение Второй армии Самсонова им не удалось:

— Нам хотя бы разделаться с его центром, где застряли эти два проклятых русских корпуса…

Это понимал и Самсонов; он смотрел на заходящее солнце, почти не мигая, и, ослепленный, слушал доклад Мартоса:

— Офицеров выбили, солдаты наперечет… Решайтесь: или завтра всем здесь и умирать, или… Клюев уже отходит.

— Мы тоже, — ответил Самсонов.

— Куда?

— Домой… Где же Ренненкампф? Куда провалился?

Людендорф посылал в небо аэропланы разведки, мучимый тем же вопросом. Пилоты, вернувшись из полетов, отмечали в один голос «непостижимую неподвижность» Ренненкампфа, которого вдруг (!) потянуло к западу, но только не в сторону юга, чтобы выручать армию Самсонова. Людендорф даже повеселел:

— Выходит, этот забулдыга Макс был прав, когда говорил, что Ренненкампф не простит Самсонову оплеухи на вокзале в Мукдене. Оплеуха пришлась кстати!..

Ночь отведена полководцам для подведения итогов минувшего дня. Гинденбург согласился с Людендорфом, что мясорубка весь день работала великолепно, не зная перебоев, но Вторая армия все-таки не попала в немецкий «мешок». В ночь с 15 на 16 августа в Кобленц поступил доклад Гинденбурга, написанный под диктовку Людендорфа: «СРАЖЕНИЕ ВЫИГРАНО. Преследование будет продолжено. Окружение русских корпусов БОЛЬШЕ НЕ УДАСТСЯ».

Это было очень важное признание немцев…

\* \* \*

16 (29) августа… Самые горестные страницы! Все могло быть иначе. Под Варшавой как раз в эти дни бесцельно стояла мощная русская армия, нацеленная прямо на Берлин, которую можно было сразу развернуть в сторону Пруссии, но она не стронулась с места. Жилинский, отослав накануне приказ об отходе Второй армии, на том и успокоился, даже не проверив, дошел ли его приказ до генерала Самсонова. Слепо убежденный, что армия Самсонова уже на марше в сторону границы, Жилинский сам ускорил развязку трагедии, телеграфируя Ренненкампфу, что Вторая армия Самсонова отошла, а потому отпала необходимость спешить для ее прикрытия. По законам классической трагедии, когда уже ничего исправить нельзя, смерть главного героя становится обязательной…

Старинная немецкая пословица гласила: «Утренние часы с золотом во рту», и Людендорф с утра был на ногах, действуя с прежней оглядкой на север. Его страх можно понять.

— Заходя в тыл самсоновской армии, — говорил он, — мы невольно обнажаем тылы своей армии, подставляя их под удары армии Ренненкампфа… В такой ситуации совсем не надо быть Наполеоном, чтобы знать, как мы сегодня рискуем!

Но Ренненкампф, лучше Жилинского знавший обстановку на фронте, не пришел на помощь соседу, уподобясь тому мужику, который, глядя на пожар в деревне, говорит, почесываясь: «Моя хата с краю, я ничего не знаю…» В таких-то вот условиях Людендорф стал охватывать в кольцо 13-й и 15-й корпуса — весь центр самсоновской армии. В этом ему повезло.

— Kriegsgl"uck (военное счастье)! — сказал он. — Теперь мне жаль Самсонова… противник, достойный уважения. Сразу доложите, если он окажется в числе наших пленных…

(В докладе правительственной комиссии, которая исследовала причины поражения Второй армии, было сказано, что в окружении русские солдаты «дрались героями, доблестно и стойко выдерживали огонь и натиск превосходящих сил противника и стали отходить лишь после полного истощения своих последних резервов… офицеры и нижние чины честно исполнили свой воинский долг до самого конца!») Александр Васильевич Самсонов, задыхаясь от приступа астмы, лично — с револьвером в руке — водил солдат в безумные атаки против немецких пулеметов.

— Зачем вам это? — не раз укорял его Постовский.

— Я должен умереть, — отвечал Самсонов.

— Подумайте о молодой жене. О своих детях!

— Жена найдет себе другого, как поется в песнях, а дети будут гордиться именем своего отца…

На перекрестках лесных просек немцы установили пулеметные кордоны, по дорогам курсировали их блиндированные автомобили. Железнодорожные бронеплатформы посылали в стан окруженных крупнокалиберные «чемоданы». Прусская полиция и местные жители, взяв на поводки доберман-пинчеров, рыскали по лесам и болотам. Очевидец писал: «Добивание раненых, стрельба по нашим санитарам и полевым лазаретам стали обычным явлением». В загонах для скота держали толпы пленных, а раненым не меняли повязок. «Вообще, — вспоминал один солдат, — немцы с нами не церемонились, а старались избавиться сразу, добивая нашего брата прикладами». Один раненый офицер (позже бежавший из плена) писал: «Пруссаки обращались со мною столь бережно, что — не помню уж как — сломали мне здоровую ногу… они курили и рассуждали, что делать со мною. Один предлагал сразу пристрелить „русскую собаку“, другой — растоптать каблуками мою физиономию, а третий настаивал, чтобы повесили…»

Людендорф иногда сам допрашивал пленных:

— Где ваш генерал Самсонов?

Ошеломленные чистотой русского выговора, ему отвечали:

— Самсонов остался со своей армией.

— Но вашей армии более не существует.

— Как? Она ведь еще сражается…

Берлинские газеты откровенно писали: «Вся эта попытка (прорыва из окружения) являлась чистым безумием и в то же время геройским подвигом… русский солдат выдерживает потери и дерется даже тогда, когда смерть является для него неизбежной». Немцы методично прочесывали темень кустов разрывными пулями, они пронизывали лесной мрак лучами прожекторов. Рядом с генералом Мартосом пулеметная очередь разрезала пополам генерала Мочуговского, начальника его штаба. Адъютант на призывы Мартоса не откликался (а вместе с ним пропали все документы и компас). Мартос остался с двумя казаками, лошадей они вели в поводу. Прожектор высветил их, послышалась немецкая речь. Мартос вскочил на коня, но конь был сразу убит. Мартос упал, застряв ногой в стремени…

Так он оказался в плену. С него сорвали именное «золотое оружие» и отвезли в штаб Восьмой армии. Людендорфу, замечу я, не хватило воинского благородства, и он, как последний хам, стал издеваться над пленным Мартосом:

— Вы считали версты до Берлина, но теперь мы станем считать мили до вашего Петербурга… Глупо! Неужели ваши головотяпы способны побеждать нас, лучшую в мире армию?

— Позвольте! — возмутился Мартос. — Сначала в роли головотяпов были вы — немцы… Это я, а не вы, уставал пересчитывать трофейные пушки, это мы сбились со счета, пересчитывая ваших пленных. Наконец, вы раздавили меня не превосходством в полевой тактике, а только количеством… Так?

Людендорф недовольно фыркнул и вышел [16] . Гинденбург хуже Людендорфа владел русским языком, но был вежливее.

— Вы должны успокоиться и поспать, — сказал он Мартосу, пожимая ему руку. — А мы вернем вам «золотое оружие» как достойному противнику, которому сегодня не повезло…

Оружия, конечно, не вернули. И даже не покормили. Благороднее всех оказался Макс Гоффман, который достал из сумки сверток с бутербродами и протянул его Мартосу:

— Поешьте… коллега. Забыл, как вас зовут?

— Николай Николаевич.

— Верно! Мы с вами уже встречались.

— Где? — удивился Мартос.

— Еще на полях Маньчжурии… помните? Я был приставлен к армии Куропаткина в роли военного наблюдателя…

Мартос, вестимо, не знал, что сталось с корпусом Клюева, куда подевался Самсонов и его штаб. Комусинский и Грюнфлисский леса стали безымянной братской могилой для остатков разбитой армии. Здесь, в непролазных болотных чащобах (если верить документам), попали в окружение около 30 тысяч человек, уже расстрелявших патроны, и около 200 орудий с прислугой, расстрелявшей снаряды. Сообща было решено пробиваться на родину группами — на штыках! Самсонов, страдая удушьем, все еще доказывал Постовскому, что ему позора не пережить.

— Прекратите! — раздраженно отвечал ему тот. — Не имеете права так думать. В конце-то концов, ваша совесть чиста…

— Где Клюев?

— Его левая колонна, говорят, полностью уничтожена, зато правая еще сражается, а среднюю он ведет сам.

— Мартос?

— Ходят слухи сомнительных очевидцев, будто его в куски разнесло снарядом, когда он садился в автомобиль.

— А где… я? — вдруг вопросил Самсонов.

— Про вас говорят, что от вас ничего не осталось, ибо кто-то видел, как вы исчезли в облаке разрыва снаряда.

— Легкая смерть, — не сразу отозвался Самсонов. — Господи, смилуйся надо мною и пошли мне легкую смерть… и пусть от меня ничего не останется. Пусть!

\* \* \*

Русская пресса оперативно известила публику о гибели генерала А. В. Самсонова: «Он умер совершенно одиноким, настолько одиноким, что о подробностях его последних минут никто ничего не знает». Подробности стали известны лишь в 1939 году, когда Генеральный штаб РККА опубликовал подробный отчет Александра Ивановича Постовского — о том, как все это случилось…

Случилось же так! В стороне от шоссе, огибающего деревню Виленберг, Самсонов и приставшие к нему люди переждали время, чтобы наступила полная темнота. При командующем армией оставались несколько офицеров и один солдат по фамилии Купчик.

Купчик все время подставлял Самсонову свое плечо:

— Опирайтесь на меня, я сильный… выдюжу! Лошадям не раз помогал гаубицы через болота тащить, так уж ваше-то превосходительство как-нибудь… за милую душу! Не стесняйтесь…

До государственной границы было примерно верст десять, и сознание, что родина близка, вселяло в людей чувство уверенности. О том, что немецкие заслоны уже стояли на рубежах, расстреливая всех выходящих из окружения, как-то не думалось. Ночь же была очень темная, даже звезды укрылись за тучами, а сверять путь по компасу не могли, ибо, как назло, у всех кончились спички. Правда, на руке подполковника Андогского еще чуть-чуть фосфоресцировала стрелка компаса, и потому он шел впереди. Люди двигались гуськом в затылок один другому, держась за руки или за хлястики шинелей, часто спотыкаясь о болотные коряги и острые корневища деревьев.

Александр Васильевич Самсонов то и дело повторял:

— Мне бы лучше здесь и остаться… С какими глазами я вернусь, если меня спросят: куда делась моя армия?

— Тише, тише, — говорил ему Купчик, на которого Самсонов наваливался грузным телом. — Тут кругом «михели» и полно всяких собак, аль не слышите, как ихние псы заливаются.

Постовский писал, что Самсонов «не раз говорил мне, что его жизнь как деятеля кончена. Все мы следили за ним и не давали ему возможности отделить свою судьбу от нашей общей». В два часа ночи (уже наступили сутки 17 августа) был сделан короткий привал. Александр Васильевич малость отлежался, потом тронулись дальше. Самсонова, чтобы он не потерялся во мраке, нарочно ставили в середине цепочки. Время от времени эта цепочка людей размыкалась, когда возникали споры из-за того, верно ли их направление. «Тут же происходила перекличка, — писал Постовский. — На одной из ближайших таких остановок было замечено отсутствие командующего армией».

— Александр Васильевич? — тихо окликнули лес.

Но Грюнфлисский лес враждебно молчал.

— Вернемся, — решил Постовский.

Все повернули назад, окликая Самсонова, наконец Андогский вынул из портупеи офицерский свисток и свистнул — как бы означая призыв к атаке… В этот же момент где-то в глубине леса не грянул, а лишь слабо хлопнул выстрел.

Постовский все понял и сразу обнажил голову.

— Господа, — сказал он, — тело командующего армией, как и знамя армии, нельзя оставлять врагам. Будем искать…

Но поиски в ночном лесу оказались напрасными, хотя искали Самсонова до рассвета, пока окруженцев не стали обстреливать из пулеметов немецких автомобилей, разъезжавших по шоссе. Случайно им встретился лесничий — поляк из местных жителей, который указал тропинку, ведущую к деревне Монтвиц:

— Там уже ваши казаки… бегите скорее!

Самсонов покончил с собой возле молочной фермы Каролиненгоф в окрестностях Виленберга. Впоследствии обнаруженный немцами, он был там же и погребен в неглубокой яме — как неизвестный солдат. С него сняли генеральские сапоги и наручные часы, но — к счастью — мародеры не заметили золотого медальона, в котором он хранил фотографии своих детей.

…В самой первой советской книге, посвященной героизму и гибели самсоновской армии, было сказано почти вдохновенно: «НАД ТРУПОМ ПОГИБШЕГО СОЛДАТА ПРИНЯТО МОЛЧАТЬ — ТАКОВО ТРЕБОВАНИЕ ЭТИКИ ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ. НИКТО НЕ МОЖЕТ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ГЕНЕРАЛ САМСОНОВ ЭТОЙ ЧЕСТИ НЕ ЗАСЛУЖИЛ…»

3. От Гинденбурга до Гитлера

После революции, когда наша страна шаталась от голода и разрухи, бывшие союзники-французы требовали, чтобы Россия вернула им старые (еще царские) долги. Тогда же у нас вышла книга под характерным названием «Кто должник?», в которой спрашивалось: кто кому должен, русские вам или, наоборот, вы, друзья, должны русским?

Россия пожертвовала целой армией, чтобы спасти Париж, и тысячи людских жертв, принесенных во имя исполнения союзнического долга, никак нельзя окупить золотом. «Спасибо» от французов мы до сих пор не услышали, зато в Париже шумно праздновали «чудо на Марне», и когда маркиз де ла Гиш высказал Сазонову глубокое сочувствие по случаю разгрома самсоновской армии, министр мрачно ответил:

— Наши жертвы — ваши победы…

Франция о наших жертвах забыла. Но, к сожалению, у нас тоже забыли, чт'o было брошено на весы беспристрастной истории, почему планы Шлифена были скомканы и разорваны еще тогда — в топях Мазурских болот… Схема исторической правды всегда требует от нас внимания и справедливости!

А теперь спросим себя: что же случилось?

Ведь, по сути дела, ничего страшного не произошло, разгром армии Самсонова не стоил тех торжествующих воплей, которые издавала кайзеровская военщина, ибо наше поражение — на общем фоне войны — выглядело лишь эпизодом. Известие о нашей беде не вызвало в русском народе трагедийных эмоций. Как раз тогда, когда немцы окружали самсоновскую армию, вся Россия бурно переживала разгром генералом А. А. Брусиловым всей австрийской армии, которая с первых же дней войны оказалась полностью обескровлена и сдавалась в плен целыми дивизиями.

Недаром же Франц Конрад-фон-Гетцендорф, начальник австрийского генштаба, открыто утверждал, что Германия предала Австрию ради своих иллюзорных успехов в лесах Восточной Пруссии: «Они (немцы), — писал он, — забыли о нас и полезли защищать конские заводы Тракенена и охотничьи угодья в Роминтене, где кайзер так любил охотиться на оленей заодно с известным русским предателем полковником Мясоедовым…»

А что же немцы? Германия восприняла известие о победе «почти с ужасом», впав в полушоковое состояние, ибо немцы были уверены в непобедимости русских. Германская пропаганда сразу расшумелась о «триумфе при Танненберге», хотя географически деревня Танненберг была притянута за уши; но сражение 1914 года рисовалось теперь как историческая расплата за позор 1410 года, ибо поражение Тевтонского ордена при Грюнвальде случилось именно близ Танненберга.

Это еще не все. Берлинские газеты кричали, что одних пленных взято более девяноста тысяч… Наглое вранье, ибо в армии Самсонова никогда не числилось столько людей. В плен к немцам попали едва тридцать тысяч, еще двадцать тысяч штыками пробились из окружения, остальные пали в боях или просто остались умирать, брошенные на поле боя… Такова истина!

\* \* \*

Почти сразу начал складываться глупейший миф о доблестях Гинденбурга, спасителя Германии, сумевшего остановить «русский паровой каток» на подступах к Висле…

Все немецкие города сотрясал звон церковных колоколов, из окон квартир обыватели вывешивали трехцветные флаги империи, в гимназиях лопоухие школяры писали сочинения на тему «Наш добрый и любимый Гинденбург», а лучшие сочинения сразу отсылали в подарок Гинденбургу. Все поэты ринулись слагать хвалебные гимны в честь Гинденбурга, все города Германии торопились сделать Гинденбурга своим «почетным гражданином»; корабли флота и даже рыбацкие шаланды срочно переименовывались в «Гинденбургов»… Может, хватит?

Нет! Выпускались почтовые открытки с портретами Гинденбурга, рекламировалось мыло «Гинденбург», а необъятные бюстгальтеры для полногрудых женщин назывались теперь победным именем «Танненберг». В детских яслях, сидя на горшках после тощего обеда, младенцы хором разучивали кантаты в честь героя: «Ах, мой милый Гинденбург!» — после чего играли куклами, изображавшими опять-таки Гинденбурга. Кондитеры выпекали пряники в форме квадратного черепа Гинденбурга, оснащая их усами из цикория. Но все рекорды возвышения героя до небес побила ликеро-водочная фабрика, которая на бутылках со шнапсом наклеивала этикетки: «Целебные капли Гинденбурга». Наконец, немецкие зоологи, открывшие на Новой Гвинее дотоле неизвестный вид сумчатой крысы, дали ей гордое название — «Гинденбург»…

От Гинденбурга немцам уже не было никакого спасения! Осталось лишь покориться ему и послушать ораторов:

— Может ли Россия предъявить истории нечто подобное, что мы видим в нашем чудесном Гинденбурге? Сильный, как Зигфрид, он добродушен, как малое дитя. Какое трогательное спокойствие олицетворяет его стойкий характер! Мы видим в нем заботливого отца и верного мужа. Хорошо понимая нужды военного времени, Гинденбург донашивает старые штаны времен побед при Седане, а заботливая женушка расставила их вширь, своими руками вшивая в них клинья из лоскутьев парадного мундира…

Стоит ли удивляться? В истории немало примеров, когда посредственность венчается лаврами, ибо — на фоне всеобщего безголосья — воробьи всегда с успехом заменяют соловьев. Бывало не раз, что никому не известные генералишки, вознесенные к высотам власти, становились «гениальными полководцами всех времен и народов», без стыда и совести обвешивая себя гирляндами орденов, на которые не имели никакого права. Гинденбург очень быстро освоился с ролью идола нации, и он даже обижался, если на вокзалах его не встречали с оркестром:

— Трудно им, что ли, подуть в трубы или постучать в барабаны? Могли бы и флаги вывесить на перроне…

Скоро вся Германия покрылась памятниками Гинденбургу.

Нехватка цветных металлов заставила немцев увековечивать Гинденбурга памятниками, сколоченными из досок. Первый такой монумент был сооружен на берлинской набережной Лютцовуфер. Возле грубо размалеванной «деревяшки» всегда лежали молотки и кучи гвоздей. Каждый немец, желающий выразить свой патриотический восторг, платил налог, получая гвоздь, который и вколачивал в Гинденбурга. От патриотов не было отбоя, и очень скоро деревянный памятник Гинденбургу превратился в железный, весь истыканный шляпками гвоздей.

В этом памятнике были и те гвозди, которые с великим наслаждением забили в него немецкие социал-демократы…

\* \* \*

Разоблачая миф о «чудо-генерале», советские историки пишут, что «военная биография Гинденбурга не дает никаких материалов для объяснения того высокого авторитета, каким он пользовался». Это, кстати, отлично понимал и Людендорф, который никак не разделял всеобщих восторгов.

— Я, — говорил он с явной обидой, — подобрал этого завалящего барсука из отставки, словно бесхозный багаж, оставленный кем-то на пустынном перроне Ганновера…

Возникла какая-то историческая нелепость: Гинденбург похитил славу победителя у Людендорфа, хотя Людендорф присвоил себе ту славу, которая должна бы принадлежать Максу Гоффману, — получалось как в анекдоте: вор у вора украл. Людендорфа мы знаем как автора мемуаров, в которых досталось и Гинденбургу, и тому же Максу Гоффману, которых он низвел до уровня жалких исполнителей его приказов. (В скобках замечу, что Гинденбург не был способен писать, за него сочинял мемуары некий Мерц фон Квирнгейм, а Гинденбург их только читал сам или давал читать другим.) В 1925 году, когда Германия буквально корчилась в судорогах голода и инфляции, Гинденбург стал президентом страны, возрождая ее военный потенциал, чтобы «переиграть» войну заново. Лично он сделал все, чтобы фашизировать голодную и обнищавшую Германию…

Людендорф стал близким приятелем Гитлера, посвятив ему свою жизнь. В январе 1933 года Гинденбург вручил власть над страной Гитлеру, а сам вскоре умер. Благодарный ему, фюрер устроил фельдмаршалу торжественные похороны в Танненберге, а мавзолей над его могилой получил официальное название «Имперского почетного мемориала».

Над могилою Гинденбурга фюрер воскликнул:

— О, почивший вождь, так войди же в Валгаллу…

Наверное, только в Валгалле (этом древнейшем убежище германских богов) и было место для Гинденбурга…

Вы думаете, что это конец? Как бы не так!

О конце Гинденбурга читайте в постскриптуме этой главы, а сейчас мы вернем право голоса нашему главному герою…

4. «Соловей, соловей, пта-ашечка…»

Если человек попал в плен, не будучи ранен и при оружии, он всегда желает найти для себя оправдание, а мне оправдываться даже не хочется. Лучше я расскажу все, как было, а вы уж сами, пожалуйста, рассудите — прав я или виноват…

Самсонов словно предвидел, что меня ждет, и хорошо, что я внял его совету, переодевшись в солдатскую гимнастерку. От офицера у меня остались лишь наручные часы-компас и бельгийский браунинг, а в кармане штанов, мешая бегать, болтался тяжелый револьвер марки «диктатор». Я был пленен 5 сентября, когда нашей армии уже не стало, остатки ее разбрелись по лесам, пробиваясь к русской границе. Кажется, я перехитрил сам себя. Меня подвела теория «желтого листа в осеннем лесу».

Когда все окруженцы — кто как мог — прорывались на юг, черт меня дернул подумать, что я буду умнее других, если стану двигаться на север, где я рассчитывал встретить передовые разъезды армии Ренненкампфа. Благополучно минуя вражеские патрули между озером Спирдинг и городом Иоганнесбургом, я выбрался в знакомые места, памятные мне по службе на границе, и решил выйти сразу на Граево…

Вот тут я и попался! Почти на «пороге» своего дома.

На рассвете, когда я отдыхал в лесу, меня разбудил лай собак, громкий смех женщин и мужские голоса. Между редких стволов сосен я разглядел солдат местного ландвера. Каждый из них вел под ручку свою деревенскую пассию (очевидно, немцы возвращались после вечеринки). Я быстро рванулся в сторону, но собаки уже кинулись ко мне. Привлеченные их неистовым лаем, бежали на меня и солдаты, на ходу срывая с плеч карабины. Отбиваясь от собак, я лихорадочно соображал: как быть? Отсреливаться бесполезно, ибо на каждый мой выстрел немцы ответят пачками выстрелов, и потому я разбросал по кустам свой браунинг и «диктатор», избавился от офицерского свистка и часов-компаса. Удары прикладов тут же свалили меня на землю…

Сразу набежали и молодухи, оплевывая меня, словно падаль, а одна из них, встав надо мною и растопырив ноги, вызвала безумное веселье солдат, когда решила на меня мочиться. Ну, я, конечно, поднялся и сразу заговорил по-немецки:

— Перестаньте! Я ведь ваш военнопленный…

— О! — разом восхитились пруссаки. — Ты, приятель, наверное, из офицеров, если знаешь наш язык?

— Я… русский, — был мой ответ, — но я уроженец Саратова, где полно немцев и даже вывески магазинов на русском и немецком языках. А сам я служил приказчиком у бакалейщика Шейдемана, почему и владею немецкой речью, как и своей…

Тогда бабье успокоилось, отойдя подальше, а ландверовцы дружелюбно хлопали меня по спине и даже угостили русской папиросой марки «Элегант». Так просто и почти обыденно я угодил в плен. Читатель, наверное, сочтет, что я поступил не слишком геройски, а вот он, окажись на моем месте, принял бы неравный бой… Возможно! Но судить о моем поведении читатель может лишь в том случае, если он сам оказался бы в подобной ситуации… Докурив папиросу, я сказал старшему из немцев:

— Ну, веди меня… Тебе сегодня здорово повезло!

\* \* \*

Что бы там ни говорили, а плен есть плен, и он всегда ставит человека в постыдное, унизительное положение. Мое счастье, что я был пленен солдатом и таким образом не замарал офицерской чести. Покорившись судьбе, я давал себе точный отчет в том, что мне, как начальнику разведотдела при штабе армии Самсонова, никак нельзя «раскрывать себя», а потому я сразу решил слиться с толпою рядовых, заранее отрешившись ото всех привилегий, положенных военнопленному офицеру…

Всех нас, отмеченных злобным роком, немцы собрали на окраине Алленштейна; близ товарной станции был устроен загон — как для скота, опутанный колючей проволокой, безо всякого укрытия над головой. Я вел себя крайне осторожно, боясь нарваться на кого-либо из тех, кто знал меня раньше бравым подполковником, козыряя мне еще за десять шагов — издалека.

Однажды ко мне подсел на корточках пожилой вахмистр кавалерии Епимах Годючий, уроженец Мелитопольщины, сильно тосковавший по молодой жене и своим малым деточкам.

— Ты, кажись, судя по морде, из тилигентов будешь, — сказал он. — Коли образованный, так соображай, как бежать-то?

— Из Пруссии не удастся, — отвечал я. — Давай побережем нервы, пока не привезут в Германию… там и подумаем.

Епимах Годючий, мужик здравый, уже был у меня на примете. Он умел объясняться на немецком языке, ибо до призыва в кавалерию батрачил на хуторах у наших немецких колонистов.

— Ребятишек у меня двое, — часто горевал он, — кто приголубит их, сиротиночек? А жена така гулёна красивая, уж така стерва ладная, без меня вконец испакостится… Бежим, друг, коли ты в версититькитетах разных учился.

— Терпи, Епимах, — успокаивал я его…

Физических страданий я не испытывал, хотя кормили нас грязной баландой из картофельных очистков, немцы щедро высыпали перед нами целые бурты турнепса, которым почтевали своих тучных свиней. Мы ели! Перевозить нас в Германию не торопились, ожидая, пока в лесах не выловят нашего брата побольше. Мы лежали вповалку под открытом небом, днем нас палило солнце, поливали дожди, а по ночам, испытывая холод, пленные сползались, как черви, в неряшливые клубки, начинались стоны, бормотания, плачи, выкрики, призывы… Понятно: люди еще недовоевали, и теперь они героически сражались во сне, как бы заново переживая все кошмары минувших боев.

Наконец в лагере Алленштейна собралось столь много военнопленных, что мы не знали, где прилечь, где присесть, а чаще стояли толпой, как пассажиры в переполненном трамвае. Лишь тогда немцы подогнали к станции длинный товарный состав для перевозки скота, безжалостно распихали нас по вагонам. Конвоиров было мало, нам даже позволили настежь распахнуть двери теплушек. Мы поехали, и, помню, молодой белобрысый парень, свесив ноги из дверей вагона, надрывал душу в истошном и дурацком пении, более похожем на истерику:

Ёлки-палки, лес густой! Ходит Ванька холостой. Кады Ванька женится, Кудыть Манька денется?.. Епимах не отлипал от меня, настойчиво уговаривая:

— Бежим, прыгнем… гляди, и двери открытые.

— Терпи, — сдерживал я его. — Двери-то, правда, открытые, а вдоль насыпи бродят дозорные. Прыгни под насыпь, так после тебя, отец семейства, и могилки не останется.

Когда состав отгрохотал по мостам через Вислу, двери закрыли, и мы ехали невесть куда, глядя через крохотное окошко на тот ухоженный мир, что зовется Германией. Наконец поезд остановился, я прочел название станции: Гальбе.

— Это где же мы? — спросил Епимах Годючий.

— Недалеко от Берлина, так что не унывай…

Нас загнали за колючую проволоку лагеря Гальбе, где были отстроены длинные бараки без отопления и освещения; невдалеке находился лагерь Кроссен — для русских офицеров, которых содержали вместе с рядовыми французами и англичанами; оттуда вечерами лился электрический свет, дымились печные трубы.

Епимах Годючий чуть не отвалтузил меня:

— Тилигент проклятый! Сказывал же я тебе, что бежать надо было еще в Пруссии, а теперь завезли… на погибель!

— Будь умнее, — убеждал я вахмистра. — Еще повидаешь свою задрыгу, еще не раз надаешь ей по шее, чтобы себя на забывала. А сейчас — терпи… Главное — выжить.

— Попробуй выживи! На германской-то помойной яме даже ворона с голоду околеет. Сдохнем и мы, яти их в душу…

Пленные наладили в бараке печурку, грелись возле нее по очереди, жадно улавливая ладонями слабое тепло. С ужасом я заметил на себе вшей. Впрочем, и все пленные давно чесались. Ни один ученый не мог объяснить мне, отчего на человеке, даже очень чистоплотном, вдруг появляются вши. Думаю, эти твари — вечные и неразлучные спутники народных бедствий, которые только и ждут, когда грянет война или случится голод. Между тем близилась зима, и однажды, оглядевшись вокруг, я увидел, что вместо прежних людей меня окружают не люди, а какие-то призраки, обвешанные лохмотьями, кишащими паразитами. Теперь я сам пожалел, что ранее не послушался вахмистра, ибо стал понимать, что нас ждет… Я предупредил Епимаха Годючего:

— Бей их, проклятых! Сам знаешь, где зашевелилась вошь, там в скором времени явится тиф…

Комендантом лагеря в Гальбе был офицер запаса, бывший агент компании «Зингер» по распродаже швейных машинок, весьма популярных среди женщин разных сословий. Он долго мотался по градам и весям России, хорошо знал русскую жизнь, но особенно любил русские народные песни. По этой причине все мы, маршируя даже в направлении отхожего места, обязаны были услаждать его слух своими песнями. Я никогда не пел, ибо не считал себя обладающим вокальными способностями, как другие счастливчики. Комендант заметил мое молчание и огрел меня палкой:

— Запевай, русская скотина, или сгною в карцере…

Мне, солдату, пришлось исполнить персонально для него:

Соловей, соловей, пта-ашечка-а-а, канаре-ечка жалобно поет…

\* \* \*

Никаких ярких воспоминаний из плена я не вынес, но зато в памяти уцелели две выразительные встречи.

Однажды нас предупредили, что на обед будет гороховый суп с мясом и чтобы мы вели себя пристойно, не кидаясь на миски с супом, словно ненасытные звери. Нас посетит очень видное лицо, весьма близкое к его величеству — кайзеру! Вопросов лучше не задавать, а если он сам спросит, надобно отвечать, что мы очень довольны пребыванием в плену, не участвуя, таким образом, в «преступлениях кровавого царизма». Вообще, замечу, немецкие власти поощряли в нас ругань по адресу царя и царицы.

— Как зовут высокого гостя? — спросил я коменданта.

— Очень знаменитый человек… Свен Гедин [17] !

Нас построили возле обеденных столов, протянувшихся вдоль барака; перед каждым, искушая нас, стояла миска с гороховым супом, но мы лишь вдыхали аромат пищи, не смея прикоснуться к ней до появления гостя. Я не читал, но однажды листал двухтомник Свена Гедина о его маршрутах по Азии, а теперь мне было даже любопытно увидеть автора… Вот он появился, облаченный в богатую шубу, снял мохнатую шапку. Лицо его было сытое, холеное, стрижка волос короткая, как у прусского «фендрика», броско сверкали стекла пенсне. Гедин обходил наши ряды, вглядываясь в нас с таким же отвращением, с каким, наверное, микробиолог рассматривает бациллы, еще неизвестные научному миру.

Диалог между Гедином и нами строился таким образом:

— Почему вы осмелились развязать войну с Германией?

Все заткнулись. Только один храбрец из угла вякнул:

— Чтобы Австрия не издевалась над сербами.

— А вам-то какое дело до сербов?

— Сербы — наши братья-славяне.

На это последовал вполне «академический» ответ Гедина:

— Все славяне — отсталая, вымирающая раса, пригодная лишь для удобрения картофельных полей в Германии. Я не вижу надобности для России вступаться за сербов, которым Австрия желала нести яркий свет немецкой культуры и правопорядка.

Вот тут сорвался мой вахмистр — Епимах Годючий.

— Врешь, падла! — заорал он на весь барак. — Да у нас-то даже в конюшнях лампочки по сорок свечей под потолок вкручивали, чтобы лошади газеты читали, а здеся — гляди сам! — сидим впотьмах, при дённом свете пожрать радуемся…

— Переведите, — обратился Гедин к нашему коменданту.

Тот перевел, что оравший вахмистр выкрикивал проклятья царскому режиму, загубившему его жизнь и карьеру.

— Это очень хорошо, — сказал Гедин, шествуя далее.

Чем-то я, наверное, привлек его внимание, может, необычным профилем Наполеона, потому что Гедин любезно спросил меня:

— Вы из какой семьи?

— Мой отец держал лавку скобяных товаров.

— Зачем вы пошли воевать?

— Германия объявила войну России, а это значит, что русскому человеку следует браться за оружие.

— Сидели бы дома и топили печку… Неужели вы думаете, что бестолковая и немытая Россия способна победить Германию? Вы, русские, полтора столетия не воевали с нею, и Европа жила спокойно, довольствуясь всеобщим процветанием.

Тут я не вытерпел безграмотности Свена Гедина:

— Это вы, шведы, жили в процветании после прискорбного для вас случая, когда в 1809 году русская кавалерия гарцевала под стенами Стокгольма. Вы бы, — сказал я, — как приятель германского кайзера напомнили ему, что русские бывали в Берлине, а вот немцам бывать в Петербурге не приходилось…

Кто-то, заметив, что суп остывает, выкрикнул:

— Когда закончим трепаться? Не мешай кондер жрать, а то ведь, сам видишь, совсем остыл… апекит пропадает!

Свен Гедин надел роскошную шапку и величаво удалился, а мы алчно схлебали суп и облизали тарелки дочиста. Вскоре комендант объявил, что нам, дуракам, желает нанести визит важная дама, приехавшая из России, — как уполномоченная Международного Красного Креста. На этот раз супа с мясом не обещали, и потому глядеть на даму никому не хотелось. Но когда она появилась в нашем бараке, я сразу узнал ее — это была Екатерина Александровна, вдова генерала Самсонова, который показывал мне ее фотографию (память на лица у меня превосходная).

Самсонова в белом обличье сестры милосердия была принята немцами очень хорошо, но, кажется, ее мало волновали наши клопы и вши, она приехала искать среди пленных людей, знавших место гибели ее мужа… Я, подумав, рискнул.

— Екатерина Александровна, — назвал я ее по имени-отчеству, тем самым давая понять, что Самсонова я знал лично, — ваш супруг остался возле фермы Каролиненгоф, вблизи Виленберга.

— Почему вы так уверены в этом? — удивилась она.

— Мне так говорили, — уклончиво ответил я.

— Могу ли я опознать его?

— Да. Если его не обчистили местные мародеры, то на груди должен сохраниться золотой медальон с фотографиями ваших детей, сына и дочери. Извините, мадам, но более того, что мною сказано, я сообщить вам ничего не могу…

(Вдова отыскала мужа именно по этому медальону; с помощью немецких властей прах Самсонова был переправлен через линию фронта в Россию, и наш генерал успокоился на семейном кладбище в селе Егоровка Херсонской губернии.) Но визит «знатной дамы» в Гальбе завершился скандалом. Когда мадам Самсонова стала вручать пленным крестики и молитвенники, привезенные в дар от самого царя, Епимах Годючий страшно обозлился:

— Да у меня свой хрест имается! Ты бы, барыня, коли с царем чай пьешь, привезла нам утешенье, а не крестики. Докель мы тут в холодрыге да голодухе загибаться будем?

— Уповайте на скорую победу, и свободу обрящете…

Лучше б она этих слов не произносила. Какой-то захудалый стрелок, взятый в армию из студентов, выпалил прямо в лицо Самсоновой — так, словно всадил в нее заряд дроби, перемешанной с солью:

— Передайте царю, что, когда тысячи таких, как мы, вернемся на родину, царь увидит в нас тысячи революционеров, которые не простят ему ничего… Мы еще расквитаемся!

Нет, не германская пропаганда — сами пленные своим умом доходили до мыслей, до которых ранее они не додумались.

5. Два шага вперед

Конечно, после крематориев Майданека и Освенцима, концлагерей уничтожения Маутхаузена или Треблинки жалкое прозябание в немецком плену при кайзере можно считать райским блаженством. Но тогда (в четырнадцатом!) нам, угодившим в плен, казалось, что мы попали в сущий ад. Мне, в отличие от других, было еще намного легче, ибо подобное скотское состояние я еще смолоду познал на себе, испытав все прелести английского концлагеря, созданного для африканских буров. Но каково было другим? Правда, осенью между Россией и Германией состоялся обоюдный обмен пленными калеками, нуждающимися в серьезном лечении, однако у меня руки-ноги были на месте…

— Когда же? — мытарил меня Годючий. — Спасу не стало, конец терпежу приходит. Лучше бы мне ногу оторвало! Согласен калекой на родине быть, нежели здоровым в плену…

В углу барака с утра кипел, отвратно булькая, громадный чан, в нем варился суп из маиса, перетертого пополам с гнилою картошкою, — бурда бурдою, но выбирать по карточке меню нам не приходилось: ели что дают! По воскресеньям каждому давали по три вареные картофелины. Распределением их ведали немецкие унтер-офицеры, они же прекращали скандалы и драки, ибо для голодных людей всегда коварен вопрос: кому больше, а кому меньше досталось? Мы дрожали в своих бараках, и не только от холода, но даже от мерзости унижения, в котором приходилось жить и страдать нам, великороссам…

Наши соседи из Кроссена нужды не ведали, немецкой бурды не ели. Русские пленные с ведерками и мисками слонялись возле бараков пленных союзников, вымаливая остатки супа, за что и были обязаны перемыть грязную посуду, а заодно уж почистить обувь своих собратьев по оружию. Разве не позор? Но мне приходилось наблюдать и другое. Русский человек вообще чертовски сообразителен, по природе он большой выдумщик. Пока не пришла нужда, он плевать хотел на свои таланты. А теперь у него все шло в дело! Увидит наш Ванька калабашку, вырежет из нее фигурку бабы с коромыслом на плече. Найдет проволоку, и тут же скрутит ее в оригинальную подставку для горячего утюга. Из любой дранины мастерили коврики, кромсали свои сапоги, делая из голенищ красивые кошельки.

Все поделки наши мастера торговали немцам, но пфеннигов с них не брали, а просили хлеба… только хлеба!

Я даже близко не подходил к воротам Кроссена, боясь нарваться на кого-либо из пленных русских офицеров, способных узнать меня. Затаись. Терпи. Помалкивай. Выжди. Победим…

\* \* \*

Если раньше немцы придерживались соблюдения Гаагских конвенций, то к концу 1914 года они ожесточились сами и ожесточили свое отношение к пленным. Германия уже осознала, что Вильгельм II попросту трепался, обещая, что его солдаты вернутся по домам к «осеннему листопаду»; война «четырех F» (освежающая, благочестивая, веселая, вольная) превратилась в затяжную бойню, из которой Германия теперь сама не знала как выбраться. Сами голодные, немцы и нас морили голодом. Начались издевательства, побои и даже… даже пытки! В лагерях Гальбе и Кроссен разом умерло более полутора тысяч пленных. Голод, грязь и антисанитария вызвали эпидемию тифа, вот он и косил людей, как траву, а клопы вступили в боевой альянс со вшами, подвергая нас изуверским физиологическим истязаниям. Сидя на нарах, дрожащий от холода, я — сверху вниз — смотрел на своих товарищей по несчастью, и мне все чаще вспоминались гётевские строчки из его «Коринфской невесты»:

Жертвы валятся здесь. Не телячьи. Не бычачьи. А неслыханные жертвы — человечьи! В соседнем Кроссене англичане и французы имели право на переписку с родными, их правительства заваливали пленных посылками с калорийной пищей, слали теплую одежду и новую обувь. Наконец, немцы не лупцевали их — все беды обрушивались именно на нас, на русских, а из Петербурга мы крошки хлеба не видели, крестики да иконки, что привезла от царя Е. А. Самсонова, — вот и вся «помощь» благодарного отечества. Скоро немецкий комендант, любитель русских песен, запретил нам собираться группами, а беседовать меж собою мы должны были очень тихо, почти шепотом. Зато, маршируя до нужника, распевать мы были обязаны как можно громче: «Дуня, Дуня, Дуня я, Дуня ягодка моя…» В бараках слышались возмущенные голоса:

— Всех их в такую-то патоку с медом! Вот расписывали у нас в газетах, будто кайзер да наш Николашка друзья такие, что их, как собак, водою не разольешь. Если они, шкуродеры, меж собой разлаялись, так пущай бы на кулаках дрались, а мы-то за што страдать должны? Шоб она горела, эфта политика. Нам с ихней политикой, окромя вшей, никаких прибытков…

Наказания сделались изощреннее. Военнопленных подвешивали на столбе, так что они едва могли касаться земли пальцами ног, и эту пытку люди выдерживали не долее двух часов, потом начинали орать. Епимах Годючий — на удивление палачам — провисел в таком положении с утра до вечера. Но сознания не потерял, а в барак он приполз на четвереньках.

Я помог ему взгромоздиться на нары и шепнул:

— Долго не протянем. Надо выкручиваться.

— Может, пожар устроить? Спалить все к чертям собачьим.

— Это не выход. Сейчас хоть крыша над головой.

— Поесть бы, — зябко поежился вахмистр.

— А где я тебе возьму? Лежи…

Поначалу немцы не принуждали нас к труду на благо своего «рейха». Но острая нехватка рабочей силы, пропадавшей в окопах, заставила их обратиться к нашей помощи. Принуждения, впрочем, не было. На работы вне лагеря брали лишь тех, кто добровольно желал корчевать пни в лесах, мостить дороги или обслуживать коровники на фермах помещиков. Совсем неожиданно комендант лагеря объявил, что требуются чернорабочие в отъезд, но с обязательным знанием немецкого языка.

— Таковым будет выдано чистое белье, оденем в приличные костюмы, купим билеты на поезд, а за труд станете получать деньги… Кто согласен — два шага вперед!

— А где предстоит работать? — спросил я.

— На заводах в Эссене…

Люди молчали. Одни не владели немецким языком, другие не верили соблазнам коменданта, третьи — из патриотических убеждений — не желали, чтобы их труд использовали враги.

— Ну, Епимах, — сказал я, — два шага вперед… марш!

\* \* \*

Таких, как я с вахмистром кавалерии, набралось по лагерям немало, и всех нас, плохо или хорошо владевших немецким языком, рассадили по вагонам поезда, идущего в Дюссельдорф. К нам приставили только одного конвоира, который почему-то любил убеждать остальных пассажиров поезда:

— Вы не путайтесь! Я сам поначалу боялся. Но это не преступники, а русские пленные, которых надо занять полезной работой, чтобы не поедали наш хлеб даром….

Одни пассажиры уходили, а новым он снова внушал:

— Только не пугайтесь! У всех русских такие морды, что сначала я сам их боялся, но потом привык. И вы привыкнете…

Немцы сдержали свое слово, и при отправке из Гальбе мы с Епимахом были одеты вполне прилично, ничем не отличаясь от сезонных рабочих. На путевые расходы нам выдали по десять марок, которые мы сразу отдали нашему оболтусу-конвоиру, чтобы не запугивал немецких пассажиров своими комментариями относительно наших персон. Поезд шел на запад, чтобы в районе Эссена вышвырнуть пленных на прожор того чудовищного молоха, который зовется «империей Круппа». Попутчики мои были люди недалекие, понимавшие вещи чересчур упрощенно. Соответственно их развитию я рассказывал им житейские истории об этой семейке, которая поставляла миру орудия истребления:

— Недавно, братцы, умер Альфред Крупп, от которого женка сбежала, ибо вонищи не вытерпела. Этот Крупп держал в своем дворце «Хюггель» целые кучи коровьего навоза, вдыхание паров которого заменяло ему общение с подлинною природой.

Моим попутчикам таких фокусов было не понять:

— И на што эдаким идиотам божинька мильёны отсыпает? Мне бы стока денег, так я бы избу подновил, маслобойку отгрохал. И на што, хосподи, экие люди на белом свете живут?

— Это не люди… ненормальные! — нарочито упрощенно толковал я. — Круппы — миллионеры, но когда зовут гостей, то гости обязаны приходить со своими бутербродами. Они за грош сами удавятся и всех нас удавить готовы… Мужайтесь!

Многие из моих попутчиков даже крестились:

— Спаси и помилуй нас, царица небесная! Знал бы, что Круппы такие жлобы, лучше б в лагере на нарах остался…

Говоря откровенно, у меня еще не было никаких планов. Но в дороге вспомнилось Училище Правоведения, общение в участках полиции с уголовными типами; теперь их давние практические уроки пошли мне на пользу. Ни пассажиры поезда, ни даже сам конвоир ничего криминального не заметили, зато у нас с Епимахом завелись лишние деньжата, которых вполне хватало, чтобы задабривать нашего цербера выпивкой. Потом я обзавелся ручкой для открывания дверей, дабы, минуя услуги проводников, самому переходить из вагона в вагон — вдоль всего состава.

— Чего шукаешь? — обеспокоился Епимах.

— Привычка такая, — неопределенно отвечал я…

Чем ближе подходил поезд к Дюссельдорфу, тем более сторонился меня мой бравый вахмистр, отец семейства и прочее. Кажется, он решил, что я совсем не тот, за кого себя выдавал в Гальбе, и он не понимал, откуда у меня лишние деньги, к чему обзавелся я стандартной ручкой для открывания дверей.

— Послушай, ты не из этих? — спросил он меня ночью.

— Из этих, — не отрицал я. — Ты вот считал меня «тилигентом», а теперь скажу тебе сущую правду, только не удивляйся. Нет, я не карманник — бери выше. Такие дела проворачивал, что если будешь держать язык за зубами, так мы не пропадем.

— Христос с тобою! — испугался Епимах. — Вот уж не думал, что с ворами в компанию угожу. Одно дело в России, тамотко побьют и отпустят на покаяние, а здеся, в чужих краях, мне сразу шулята отрежут… Ты уж, милок, меня не подведи. Коли своруешь что, сам и слопай, а меня не угощай — не надо! Я, видит Бог, отродясь в жизни ничего ворованного не едал…

Средь ночи паровоз истошно взревел, в окнах вагонов проступило страшное багровое зарево. Все всполошились:

— Пожар! Никак горит вся Германия, туды-т ее…

— Нет, дорогие россияне, это мы горим… Рур!

Смятение моих коллег по несчастью легко понять: такого они не видели и видеть, наверное, не желали. Наша милая русская провинция еще наслаждалась ароматами старого «вишневого сада», а Германия давно утопала в производственной копоти, и величественная панорама Рура — даже мне! — показалась в эти моменты грозным видением торжествующего апокалипсиса.

Почти сразу за Дюссельдорфом, повернув на север, поезд долго-долго проезжал через монолитный город-завод (или завод-город), и русским было в диковинку, где же начало этому городу, а где этот исполин закончится. Наш поезд словно попал в самый центр ада: громадные окна железопрокатных и сталелитейных цехов полыхали уродливым пламенем, в ярком дыму метались тени людей-дьяволов, и даже грохот колес состава не мог заглушить работы крупповского чудовища, которое денно и нощно перекатывало что-то громоздко-железное, раскаленно-удушающее. Вровень с нашим поездом неслись груженные углем платформы, под насыпью мчались ярко освещенные трамваи, бибикали автофургоны, дребезжащие перевозимым металлом, и все это — в дымном едком чаду, в гуще которого тащились толпы людей, отработавших смену, а навстречу им двигались колонны других, чтобы заступить им на смену…

Один пленный смотрел, смотрел на все это и сказал:

— Не дай-то Бог, ежели и на Руси такое станется…

Наконец поезд замер под сводами обширного вокзала.

— Эссен! — объявил наш конвоир и, чтобы показать свою власть над нами, загнал в карабин свежую обойму. — Эссен — это Крупп, а Крупп — это Эссен… Пропустите пассажиров, а потом всем выходить и строиться на перроне. Мы приехали!

Когда нас погнали на окраину города, чтобы разместить в бараке для наемных чернорабочих, Епимах решил:

— Ну, ворюга, бежим, покедова не поздно.

— А куда бежать? Ты знаешь?

— Вестимо куда — домой.

— Ошибаешься. Сначала — в Голландию.

— Эх, пропаду я с тобой, — отчаялся бедный вахмистр.

А я и сам пребывал в подлейшем отчаянии…

\* \* \*

Над городом-монстром Эссеном, столицею Рура, возвышалась райская вилла «Хюггель», отстроенная Круппами на доходы от пушечных залпов, слышимых во всех уголках нашего мира. Рур всегда нуждался в дешевой рабочей силе, и мы, русские военнопленные, загнанные в барак, совершенно растворились во множестве наемных рабов; на Круппа трудились поляки, венгры, итальянцы, словенцы, галицийские русины, закарпатские украинцы, чехи, словаки и даже китайцы, взявшиеся Бог весть откуда. Мне стало так паскудно, я был так подавлен своим положением раба, что, закидывая котомку с барахлом на самые верхние нары, в минорном тоне сообщил Епимаху Годючему:

— Будешь моим соседом! Вообще-то ты дуралей и ни черта в жизни не смыслишь, а мне делается страшно, стоит подумать, что этот Крупп начинал с производства ночных горшков…

Эти «горшки» произвели на Епимаха сильное впечатление:

— То-то, я помню, ты сказывал, что Крупп любил навозом дышать. Теперь мне понятно — он сначала от ночных горшков как следует нанюхался дерьма всякого…

Я не стал просвещать своего приятеля, и без того чересчур премудрого. Засыпая на нарах, словно каторжник, я невольно реставрировал в памяти былое. Когда в IX столетии орден бенедиктинцев основал на берегу тихой речушки Рур женскую обитель, безгрешные монахи, конечно, не думали, что здесь возникнет адская преисподняя германского милитаризма…

Всю жизнь я мечтал о рае, а угодил прямо в ад!

6. Между Круппом и Кайзером

«Василий Федорович», как называли русские германского императора Вильгельма II (сына Фридриха), не раз говорил: «Когда случится война, я не буду знать никаких партий, только единую германскую нацию, покорную моей железной воле, а там, где наступает моя гвардия, там нет места для демократии!»

Конечно, за время агентурной работы в Германии мне было не до того, чтобы вникать в партийные программы немецких социалистов. Я знал, что облик русских социал-демократов житейски прост, отсидка в тюрьме или ссылка в Якутию была для них вроде «ордена», русские революционеры не страшились жертвовать собою ради того «светлого будущего», как они вообще понимали любое будущее… Немецкую социал-демократию я узнал в иной ипостаси. Помню, как «вожди» социализма, при котелках и смокингах, чем-то похожие на откормленных нуворишей, важно расселись в парадных экипажах и, приветствуемые толпой и полицейскими, покатили ко дворцу императора, дабы принести ему самые пылкие поздравления по случаю дня его ангела. Никто не хватал этих «революционеров» за шкирку, никакая «Якутка» им не грозила, но, если бы наш питерский рабочий увидел своих «вождей» с цилиндрами на головах, едущими на поклон к царю, он бы верно решил:

— Во, шкуры продажные! Зажрались, сволочи…

Мне, далекому от политики, признаюсь, всегда было неловко видеть немецких радикалов, когда заставал их вполне легальные сборища в ресторанах. Господа с сонными лицами, развалясь на стульях, открыто пережевывали свои партийные «тезисы» одновременно с жареными сосисками, а их пламенный радикализм тут же заливался кружками холодного пива. Думается, кайзер был прав, говоря, что во время войны у него не будет партий, и он не ошибся, ибо его социал-демократы дружно голосовали в рейхстаге за войну с Россией, после чего надо было кричать «Ура императору!». Но император, уважая своих социалистов, позволил им расширить свои права, и вожди германского пролетариата кричали: «Ура императору, народу и родине!..»

Мне — уже после революции — довелось читать дневник А. М. Коллонтай, которую начало войны застало в Берлине. Так вот, одна берлинская социал-демократка не подала ей руки:

— Вы мне теперь не товарищ — вы русская! А для нас, для немцев, сначала родина, а потом уж и партия. Теперь-то ясно, сколько зла наделали мы своей демагогией о всемирном братстве трудящихся всего мира… Нет уж! С этим уже покончено…

Волей-неволей, и не хочешь, да задумаешься.

\* \* \*

Барак пробуждался в шесть часов утра, и к столу, где каждый получал две остывшие картофелины с кружкой кофейного брандахлыста, подавали свежий номер рабочей газеты «Форвертс», призывавшей пролетариат всего мира сплотиться под знаменами кайзера, дабы противостоять «темным и диким силам Востока». Прихлебывая квазикофейное пойло, я читал своим русским газету, тут же с листа переводя на русский язык, чтобы мои товарищи не мучились в познавании немецкого стиля:

— «Марксисты много лет долбили нам в головы, что отечество лишь воображаемое понятие, а теперь мы видим, что нас обманывали. И мы, немецкие рабочие, не позволим, чтобы армия русского царя угрожала передовому пролетариату Германии созидать новое счастливое общество! Мы охотно идем на войну с русским царизмом, чтобы помочь тем самым русским братьям по классу…» Ну, что, ребята, скажете? — спрашивал я, складывая газету.

— Все это хреновина, — отвечал мрачный Епимах…

Сначала нас, пленных, использовали на разгрузке открытых платформ с углем, который за время пути смерзался в прочную массу, и мы разламывали ее ломами. Платили ничтожно мало, но охотникам до сидения в пивных хватало, чтобы вечером дремать над кружкою пива. Кормили же архибезобразно. Утром картошка «в мундире», запиваемая жидким отваром цикория, в обед вареный картофель с маргарином, а вечером опять картошка, но уже безо всякого намека на присутствие маргарина…

Епимах упрекал меня, что я откладываю время побега:

— Ведь ноги протянем у эвтого Круппа…

— Не канючь, — отвечал я. — Мне лучше известно, когда и где можно бежать, а где лучше сидеть на месте. Прежде надо освоиться, чтобы потом в «полицайревире» нам все зубы не выбили. Моя задача, Епимах: доставить тебя к молодой жене в полном здравии, обязательно веселым и богатым.

— Ну уж! Счудишь же ты, тилигент поганый…

По натуре я всегда был человеком замкнутым, может быть, даже излишне обособленным от людей, но, если требовалось, я всегда умел налаживать знакомства, внушая людям симпатию к своей малоприглядной особе. Вечерами я, погрузив руки в карманы пальто, подолгу и бессмысленно шлялся по улицам Эссена, вспоминая притчу, слышанную от немецкого конвоира: «Эссен — это Крупп, а Крупп — это Эссен». В самом деле, куда бы я ни пришел, всюду имя Круппа преследовало меня, как проклятое наваждение: проспект Альфреда Круппа, бульвар Берты Крупп, памятник Фридриху Круппу, изображенному у наковальни с молотом в руке, общественная библиотека имени Круппа! В витринах магазинов — альбомы с видами заводов Круппа, а женщины с одинаковыми кошельками в руках часами маялись в очередях, чтобы получить паек на мужей из лавок «кооператива» заводов Круппа; наконец, однажды я забрел на кладбище Эссена, и сторож сразу указал мне, по какой тропинке надобно следовать:

— Стыдно побывать в Эссене и не увидеть надгробия наших великих Круппов… О-о, какие дивные памятники! Идите…

Был, кажется, январь 1915 года; блуждая по городу, я сильно продрог и забрел в книжный магазин, где торговали открытками с видами Эссена и портретами семьи Круппов. Здесь я увидел немца, по виду рабочего, рыжеватого и чуть сгорбленного, а посеревшая кожа его лица и подозрительный кашель сразу подсказали мне, что это наверняка шахтер, унаследовавший традиционную болезнь всех углекопов — силикоз легких… Сейчас он, явный кандидат на тот свет, упиваясь вниманием случайной публики, взахлеб читал стихи о величии германского духа, который поднял пласты земли Рура, чтобы добраться до ее сокровищ, схожих с драгоценностями мифического Грааля. Я заметил, что он выронил из кармана бумажку в десять марок, и, нагнувшись, передал ее шахтерскому поэту Круппов:

— Пожалуйста. Вы обронили ее случайно.

— О, как я вам благодарен! — воскликнул поэт. — Это мои последние деньги, и, если бы не ваша честность, свойственная всем немцам, я бы с женою остался сегодня без ужина.

— Увы, — вздохнул я, — не имею счастья принадлежать к великой нации… я — русский. Русский военнопленный.

Фриц Руге (так звали этого немца) оказался недалеким, но симпатичным человеком; он сразу выделил в разговоре, как нечто очень важное, что состоит в партии социал-демократов, а свои стихи публикует в эссенской рабочей газете:

— К сожалению, только в Эссене… Муза вывела меня в мир из глубин рудничного штрека Бохума, но она, как и я, гонима из других редакций Германии. Однако шахтеры считают меня своим поэтом. А платят тут мало. Кому сейчас нужны мои стихи? Но с женою кое-как перебиваемся.

— Так вы мой коллега, — обрадовал я Фрица Руге. — Правда, я не грешил стихами, но печатался в петербургских газетах… Мне близки и понятны порывы святого вдохновения!

Руге, не в пример другим немцам, был далек от презрения к русским и даже пригласил меня навестить его. Мне было любопытно узнать, как живет и что думает рабочий поэт. Я не преминул быть гостем в его квартире, состоявшей из двух жалких комнатенок с уборной в конце длинного коридора, где надо выстоять очередь соседей, тоже имевших нужду оправиться. Обстановка жилья Фрица Руге была крайне убогой, все кричало об отвратной бедности, едва приукрашенной кружевными салфетками и дешевыми безделушками. Даже не это поразило меня — совсем другое! Над книжной полочкой поэта-социалиста, узревшего свою музу глубоко под землей, я увидел портреты, сочетание которых показалось мне нелепою шуткой: подле Фердинанда Лассаля красовался император Вильгельм II в каске с пышным султаном, а возле Августа Бебеля нашлось место и канцлеру Бисмарку. Не желая обидеть хозяина, я осторожно намекнул:

— Забавно видеть этих людей в единой компании!

— Почему же? — невозмутимо отозвался Руге, надрывно кашляя. — Все великие люди Германии вполне гармонично умещаются в едином Пантеоне немецкой славы… Зайдите в любой дом эссенского пролетария, и вы всюду увидите, что почитание Бебеля и Лассаля не мешает им высоко чтить кайзера и Бисмарка.

Бедный Руге! Мне эта мешанина напомнила русские избы, где наши бабы украшали горницы обликами святых, а каждый имел определенное назначение: один хранил от пожара, другой от нечистой силы, третий спасал мужа от запоев, а четвертый помогал при зубной боли. Вполне серьезно, без тени сомнения. Руге втолковывал мне о задачах германской социал-демократии:

— Свой долг перед партией мы уже выполнили, теперь как раз время исполнить долг перед кайзером. Нельзя позволить темной и отсталой России раздавить образованную и процветающую Германию — это была бы гибель всей мировой социал-демократии! Мои товарищи охотно идут добровольцами в армию, чтобы в борьбе с проклятым царизмом оказать помощь вам…

Получалось так, что немецкий рабочий, убивая на фронте русского пролетария, помогает ему в свержении ненавистного царизма, но при этом сам он никак не отказывается от любви к своему императору. Как подобная ахинея могла укладываться в головах одураченных немцев? Только вежливость гостя удержала меня от возражений. Тут хозяйка пригласила к столу, и я опять увидел ту же опостылевшую картошку, приправленную маргарином. Правда, супруги Руге — после долгих совещаний на кухне — вынесли еще и супницу с «селедочным бульоном». Это был рассол из бочек, в которых развозят селедку. Но бедный поэт настойчиво рекомендовал:

— Очень полезно! Вы попробуйте… разве не вкусно?

Я согласился, что никогда не пробовал такого прекрасного бульона. Руге очень много говорил, убежденный, что эта война будет последней, после чего все человечество погрузится в нирвану вечного блаженства и мира, германский кайзер, конечно, укрепит свой авторитет в немецком народе:

— А ваш царь потеряет остатки монархического престижа, и русские после войны вправе ограничить его самодержавие…

Про себя я решил, что с меня хватит «селедочного бульона», и к Руге я больше не ходил. Но этот наивный человек имел добрую душу, что и доказал мне в ближайшие дни. Помню, мы только что вернулись с погрузки угля, измученные до предела, а Руге поджидал меня в бараке, тихо покашливая. Вроде заговорщика, поэт затолкал меня в темный угол, сообщив по секрету:

— Я пришел ради пролетарской солидарности… только не выдавайте меня! От своих товарищей по партии я узнал, что среди иностранных рабочих скоро объявят набор в «похоронную команду», которую из Эссена направят в Бельгию. Вряд ли следует отказываться. Питание там будет намного лучше. Да и хоронить покойников легче, нежели перебрасывать тонны угля…

Спасибо Руге! Если силикоз не добил его до 1933 года, то, наверное, его портретная галерея пополнилась новыми «героями» немецкой истории. Епимаху Годючему я сказал, что будем настаивать на зачислении в «похоронную команду».

— Типун тебе на язык! — не соглашался вахмистр. — Чтобы я дохляков всяких таскал за ноги… да ни в жисть!

Я все-таки уговорил его и даже показал карту, на которой границы Бельгии смыкались с нейтральной Голландией:

— Не ерепенься: из Бельгии бежать легче, а из Голландии недалеко до нейтральной Швеции, считай, ты уже дома.

— Ну, ладно. Связался я с тобой, теперь не развяжешь. Ты, ворюга паршивая, видать, все ходы-выходы знаешь…

Годючий, как и все мужики, был бережлив, и свои марки на пиво не тратил. Однажды — уже перед отъездом из Эссена — мы с ним наблюдали такую картину. Прямо на панели сидел немецкий солдат-инвалид без ноги, перед ним стоял громадный брезентовый мешок, в каких перевозят деньги для банков. Мешок был плотно набит русскими ассигнациями. Калека менял сто наших рублей на десять немецких пфеннигов. Я спросил его:

— Камарад, откуда деньжата?

— Из русского казначейства в Калише.

— Повезло же вам, — с умыслом сказал я.

— Еще как! Все мы взяли, а золото офицерам досталось. Калишский казначей не хотел отдавать, так мы его шлепнули.

— А ногу-то где оставил?

— Да там же… под Калишем. Когда отступали.

Смотрю, мой кавалерийский вахмистр даже позеленел.

— В хозяйстве-то, чай, не пфенниги, а рубли понадобятся, — слишком уж страстно заговорил он, расстегивая ширинку штанов, где он берег от жуликов свой кошелек. — Брать аль не брать?

Я даже растерялся с ответом и махнул рукой.

— Нну-у… бери, — сказал я. — Ведь я же тебе, дураку, обещал, что вернешься домой веселым и богатым…

7. Через бочку — в Париж

Не мной замечено, но давно замечено: у себя в Германии немец воспитан так, что бумажки на улице не уронит; он сажает розы, любит чистоту тротуаров, ценит уют в семье, посыпает дорожки гравием, ласкает собак и кошек. Но это только дома, где его держат в тисках полицейского надзора. Зато «все дозволено» немцу, если он идет солдатом по чужой земле — тут можно отыграться за все ограничения, которыми был связан на родине: режь, грабь, взрывай, убивай, насилуй — тебе за это ничего не будет, даже не оштрафуют (ведь ты не дома!)…

Наш знаменитый психиатр профессор В. М. Бехтерев в 1914 году усмотрел в немцах проявление «массового психоза», охватившего весь народ манией собственного величия, при котором им — немцам! — все простительно. Не всегда было даже понятно, как немцы, народ высокой культуры, позволяют себе творить неслыханные зверства в нейтральных странах, куда они ворвались, словно разбойники. Бехтерев спрашивал: чем объяснить, что немецкие писатели и немецкие ученые призывали своих соотечественников не испытывать жалости к своим жертвам, исключить из сердец всякое сострадание, действовать беспощадно, уничтожая не только людей, но разрушать даже храмы, взрывать динамитом памятники искусства, а потом, как писали немецкие философы, «мы создадим соборы и храмы более величественные, чтобы под их сводами прославить деяния нашего великого кайзера».

По «планам Шлифена» первой жертвой должна быть нейтральная Бельгия, дружественная Германии, но через ее земли можно скорее выйти к Парижу. «Геройство Бельгии, — писал В. М. Бехтерев, — выше всякой меры, так как это движение души всего народа, а не одной лишь его армии…» Армия отступала, а народ достался кайзеру — на растерзание! Прекрасные древние города уничтожались, самые уникальные памятники древней архитектуры лежали в развалинах. Немцы убивали стариков и всех мужчин, убивали детей на глазах матерей, чтобы потом убить и матерей. Впрочем, еще не все немцы потеряли совесть, случалось, что солдаты сами предупреждали жителей:

— Убегайте от нас, мы будем уничтожать всех…

Бельгия считалась страной богатой. Семья, в которой была беременная женщина, за хлеб уже не платила, его выдавали даром, а роженицам сам король подносил «праздничные пироги». Страну населяли пылкие валлоны и флегматичные фламандцы, плохо уживающиеся в быту, но дружные в труде на одних шахтах, на одних заводах. Брюссель, Льеж и Лувен дышали довольством брабантской роскоши, нарядным людом, оживлением бульваров, а репутация бельгийской кухни зазывала в Бельгию гурманов со всего света. Даже улицы в этой стране будоражили аппетит — Хлебная, Мясная, Булочная, Сливочная, переулок Сочной Печенки или Жареной Курицы; живопись Джефа Ламбо давно затмила тучных красавиц с полотен Иорданса, и могучие телеса его раздобревших женщин заполняли картины обжорных оргий…

Все это разом исчезло! Газеты мира оплакивали руины и пожары Фландрии, Брабанта и Намюра — там проходила линия фронта, и вот именно в Бельгию, совершенно изувеченную, помертвевшую от ужаса, погибающую в развалинах, Германия слала «похоронные команды», чтобы они скорее заваливали рвы с трупами, дабы скрыть следы преступлений кайзеровской военщины…

Мы прибыли! Нас обрядили в какие-то солдатские обноски со следами споротых нашивок, каждому выдали по номерной бляхе с указанием: «ПОХОРОННАЯ КОМАНДА», которую велели пришить на грудь, словно орден. Русских в команде, кроме меня и Епимаха, не было, в основном ее составили из познанских поляков, давно запуганных немцами донельзя. Я удивился, что нашу группу сопровождали не конвоиры, а немецкий инженер с заводов Круппа, который с хохотом рассказывал, что было в Лотарингии, когда немецкая армия заняла Нюбекур — родину Пуанкаре:

— Мы отрыли могилы его предков и ходили по очереди испражняться в могилы — прямо на его бабушек и дедушек…

Я забыл название города, в котором увидел страшную картину разрушения; он был сожжен дотла, и мостовые, еще горячие, обжигали нам пятки даже через подошвы обуви; мне запомнилась убитая девочка, на грудь которой кто-то из сердобольных победителей положил ее любимую кошку с размозженным черепом. Множество трупов безобразно раздулись, потрескавшиеся от жары, а наш инженер не уставал радоваться:

— Мы всех научим уважать Германию! Пройдет тысяча лет, и даже тогда туристы будут приезжать сюда, чтобы убедиться, на что способен немец, если его вывести из терпения. Для нас нет сейчас иных примеров, кроме одного — пример Чингисхана!

Вскоре выяснилось, что семья Круппов менее всего была озабочена захоронением мертвых, и под видом «похоронной команды» Круппы направили нас в Бельгию, чтобы вывезти все цветные металлы, столь необходимые для процветания их фирмы. Нас возили из города в город, вооруженных клещами, отвертками и гаечными ключами, мы изымали в домах медные ванны, унитазы, рукомойники и кувшины времен д’Артаньяна и его мушкетеров; инженер требовал, чтобы в квартирах не оставалось ни одного медного крана, ни единой бронзовой ручки на дверях.

— Победа Германии близка! — возвещал он…

Терпимо, если дома стоят пустыми, покинутые бежавшими жителями. Но зато как было стыдно вламываться в квартиры, на глазах хозяев выкручивать на кухнях водопроводные краны, вывинчивать дверные ручки. Помню, одна пожилая дама-бельгийка внимательно наблюдала за нашей работой, потом сказала:

— Вижу, что Германия близка к победе…

От стыда я готов был провалиться сквозь землю.

— Да, мадам, — ответил я со значением, — осталось открутить ручку от дверей вашей спальни, и мир будет подписан.

— Вы… не бош! — вдруг догадалась женщина.

— Да, русский. Имел несчастье попасть в плен…

— Чем я могу вам помочь?

— Спасибо, мадам. Помочь нам уже никто не может.

— Если я вам дам булку? Не обижу вас?

— Нет, мадам, мы теперь редко обижаемся…

В подворотне дома мы с Епимахом разорвали булку пополам. Жадно ели. Множество бездомных, осиротевших собак издали облаивали каждого человека. Я пытался приманить к себе одного пса, но он, трусливо поджав хвост, скрылся в руинах.

— Чего же псина на ласку не идет? — удивился Епимах.

— Очевидно, собаки перестали верить в людей, ибо кодекс поведения животных не позволяет им проделывать все то, что проделывают теперь люди над людьми…

Здесь к нам подошел местный священник (думаю, что его подослала к нам эта дама, что подарила нам булку).

— Запомните название местечка: Бален-сюр-Нет, — тихо сказал он. — Не знаю, что там сейчас, но беженцы оттуда переходили голландскую границу… Желаю вам удачи, дети мои.

\* \* \*

Нас выручали бляхи с номерами «похоронной команды» и наше понимание немецкого языка. Мы легко добрались до голландской границы, но местечка с таким названием даже не стали искать. В районе границы стояла свежая немецкая дивизия, которая, как я понял из разговора немецких солдат, только что прибыла во Фландрию с Балканского фронта. В какой-то бельгийской деревне нас предупредили, чтобы мы убирались прочь, пока нас не схватили. Оказывается, для всех жителей Бельгии оккупанты ввели удостоверения с фотокарточкой и указанием домашнего адреса. Вдоль всей границы с Голландией были сооружены проволочные заграждения, по которым время от времени пропускался ток высокого напряжения, а через каждые сто ярдов дежурили немецкие часовые… Староста деревни сказал нам:

— Много беженцев погибло на проволоке. Могу посоветовать лишь одно: когда немцы дают ток высокого накала, тогда трупы на проволоке начинают сильно потрескивать, словно дрова в печи. Но когда треск прекращается, можно рискнуть. Извините, уважаю русских, но более ничем помочь вам не могу.

Несмотря на войну, в Бельгию еще ходил трамвай из голландского города Маастрихту, что в провинции Лимбург; конечно, контроль над пассажирами исключал любую нашу попытку «прокатиться» на трамвае в нейтральное государство.

Нам оставалось только лезть через проволоку…

Епимах Годючий измучил меня, спрашивая:

— Ну, што? Пойдем на рыск, али как?

Я ответил, что «рыск» возможен, если учесть, что у немцев не так уж много лишней электроэнергии, чтобы постоянно держать проволоку под высоким напряжением. А трупы с их треском — как хороший амперметр, предупреждающий об опасности. Вдруг мой Епимах выкатил из канавы бочку и двумя ударами ноги моментально высадил из нее трухлявые днища.

— Во! — просиял он. — Коли эту бочку подсунем под проволоку, так и пролезем… приходи, кума, любоваться!

Я одобрил смекалку вахмистра, а ночью мы осторожно двинулись в сторону границы с нейтральной Голландией, попеременно толкая пустую бочку ногами. Потом мы залегли, осматриваясь. Все было так, как говорил староста. Вдоль проволоки слонялись немецкие солдаты, а трупы погибших смельчаков висели на проволоке, не убранные немцами из тех соображений, чтобы нагнать страху тем, кто решится на «рыск».

— Трещат? — спросил я Епимаха.

— Трещат, проклятые, будто горох в пузыре.

— Рыск? — спросил я.

— Благородное дело, — по-книжному отвечал Епимах…

Мы залегли. Труднее всего было перекатить бочку так, чтобы ее не заметили часовые. Но им, видать, давно осточертела кордонная служба, и они покуривали в сторонке. Мы подпихнули бочку под нижние ряды проволоки — образовался круглый туннель, через который мы из оккупированной Бельгии благополучно переползли в нейтральную страну. Вполне довольные, мы не успели выпрямиться, как сразу же напоролись на патруль голландских пограничников. Я никак не ожидал от этих «нейтралов» такой грубости, с какой они ударами прикладов затолкали нас в сторожку погранстражи, где сидел молодой офицер, рассеянно выслушавший наши объяснения:

— Мы русские, бежали из плена, но между Россией и Голландией добрые отношения, а посему ваши власти могут интернировать нас. А лучше, если вы найдете способ предупредить о нашем появлении русское посольство…

Я расточал свои доводы напрасно. Офицер ответил, что сразу же передаст нас обратно — в руки немцев:

— Поймите и нас, голландцев. Мы совсем не желаем, чтобы немцы поступили с нашей страной так же, как они поступили с соседней Бельгией, потому мы обязаны поддерживать с Германией наилучшие отношения, чтобы не вызвать ее тевтонского гнева. Да, все понимаю, да, во многом сочувствую, но я вынужден звонить коменданту о вашем аресте.

— Постойте! — остановил я его, уже потянувшегося к телефону. — Вы не будете звонить немцам, а мы обещаем вам, что возвратимся обратно в Бельгию, проделав тот же рискованный путь — через бочку. Вас это устроит?

— Буду лишь рад, если вы облегчите мою совесть…

Голландский пограничник довел нас до того места, где между рядов колючей проволоки, образуя безопасный туннель, торчала наша спасительная бочка. Но теперь с другой стороны ограждения уже стоял вооруженный до зубов немецкий солдат.

— Грех на твоей душе, — сказал я голландцу.

— Ползи! — отвечал тот. — Мне до вас нет никакого дела…

— Чур, я первый, — сказал я Епимаху Годючему.

— Храни тебя Бог, — отвечал тот понуро…

Немец с другой стороны границы делал призывные жесты:

— Давай, шевелись… мы только вас и ждали!

Я просунулся через бочку, он схватил меня за шкирку, помогая мне выбраться, и тут же стал топтать меня сапожищами. Епимах, выставив из бочки голову и увидев, как меня встречают, не решался выползать наружу, а голландский пограничник лупил его прикладом по ногам, понуждая выбираться из бочки.

Тут я догадался крикнуть немцу:

— Камарад, ты сначала спроси, кто мы такие!

Я горячо заговорил, что мы здесь случайные люди, работали в Эссене, потом угодили в «похоронную команду»:

— Затем и ползали в Голландию, чтобы разжиться маслом и салом. Или не знаешь, что в Эссене одна картошка с «селедочным бульоном»? Или у тебя в семье никто не голодает?..

Немецкий солдат сразу переменился.

— Катитесь отсюда, — сказал он. — Только скорее, пока вас никто не заметил. И благодарите судьбу, что нарвались на такого доброго парня, как я. Другой бы на моем месте…

В этот момент трансформаторы подстанции, очевидно, дали на проволоку ток высокого напряжения, и мы застыли в удивлении, наблюдая, как между железными обручами нашей бочки стали проскакивать острые голубые молнии…

— Рыск! — сказал вахмистр, передернув плечами.

— Не подведите меня, — пугливо заговорил немецкий солдат. — Вон, уже идет моя смена… проваливайте подальше!

И мы «провалились», словно черти в свою родимую преисподнюю. Оглянувшись назад, я успел заметить, как голландец перебросил немцу кусок ливерной колбасы, а немецкий солдат передал ему бутылку со шнапсом. Товарообмен, как у дикарей в доисторические времена… О боже!

\* \* \*

После этого случая я осознал свое непростительное легкомыслие, которое могло стоить нам жизни, и решил действовать иначе. Немецкая армия начинала войну 2 августа нападением на нейтральный Люксембург, откуда она вторгалась во Францию и в Бельгию, но в герцогстве Люксембург, ставшем для них как бы «проходным двором» на Париж, немцы не так зверствовали, как в Бельгии, уповая на то, что после победы Германии все люксембуржцы захотят стать верноподданными кайзера… Мне пришлось вспомнить лекции в Академии Генштаба, чтобы представить себе маршрут, каким следовать далее.

— Куда ты опять меня потащил? — негодовал Епимах.

Я объяснил ему, что перейти линию фронта удобнее, нежели подвергать себя риску в оккупированных странах.

— Если все сойдет, как надо, — убеждал я вахмистра, — так мы плевать хотели на «Василия Федоровича»…

Кажется, я убедил Епимаха не поддаваться унынию, и мы, заметно повеселевшие, вторглись в Великое герцогство. Любой фронт всегда имеет разрывы между войсками противников; важно только верно найти промежуток, свободный от враждующих армий. По дорогам Люксембурга маршировали пехотные колонны, пылили штабные автомобили, обвешанные чемоданами офицеров, за мощными першеронами тарахтели походные кухни, на привалах немецкие офицеры проверяли солдатские фляжки, и горе тому солдату, у которого недоставало шнапса до самой пробки. Расправа была короткой, но внушительной — палкой! На фронте немцы пьянствовали сколько душе угодно, но до прибытия на фронт пить вино запрещалось… Однажды, пропуская мимо себя обоз, я указал Епимаху на цинковые ящики, перевязанные, словно рождественские подарки, красивыми трехцветными лентами:

— В этих ящиках дум-дум, запрещенные Женевской конвенцией.

— Дум-дум… А что это такое?

— Разрывные пули. Влепят в ляжку — и прощай ноженька; как треснут в голову — и череп разлетается вдребезги.

— Диву даешься, — отвечал Епимах, поразмыслив. — Чего бы доброго ученые придумали, а мы одни пакости от них видим…

Мы заночевали в живописной местности за Петанжем, где подле древнего виадука затаился маленький женский монастырь кармелиток. Утром нас разбудила аббатиса монастыря — молодая девка грубого вида с пастушьей палкой в руках.

— Нашли место, где валяться, — сказала она, перемежая французскую речь немецкими ругательствами. — Сейчас же убирайтесь отсюда, чтобы не навлечь неприятностей на нашу тихую обитель, и без того уже не раз ограбленную всякими проходимцами.

Мне с Епимахом оставалось только покориться.

— Мы не станем смущать ваш покой, — отвечал я аббатисе. — Но помогите отыскать верный путь… Наш дом очень далек, мы с приятелем совсем чужие люди в вашей стране.

Кажется, эта грубиянка поняла, куда нам надо:

— Идите вот этой дорогой до громадного камня, на котором высечен крест, от него тропинка в лес… Только не воровать!

Я покорно склонил голову, ожидая от нее христианского благословения, но получил палкой по шее, эта же палка благословила вахмистра ниже спины, что заставило нас поторопиться.

— Вот бисова баба! — говорил Епимах. — Не иначе как скаженная… мужа бы ей хорошего, чтобы поучил вожжами!

Аббатиса не обманула: указанная ею дорога вывела нас к валуну с крестом, откуда тропинка вела в лес. Скоро мы услышали говор французов и стук топора — солдаты в синих мундирах и красных штанах собирали дрова для походных кухонь. Увидев нас, они вскинули карабины, но я опередил их намерения.

— Vive la France! (Да здравствует Франция!) — провозгласил я.

Конечно, мы не рассчитывали, что союзники нас расцелуют, однако французские «паулю» оказались слишком жесткосердны: нас отвели в какую-то разрушенную деревню, где два дня продержали в темном погребе, пока нас не соизволил допросить офицер из 2-го бюро (французской разведки). Он очень скоро поверил Епимаху, что это русский беглец из плена, но меня долго изводил разными придирками, подозревая во мне очень опытного немецкого агента. Наконец это вызвало у меня горький смех.

— Наверное, я вам очень опротивел, — сказал я, — но вы мне надоели тоже. Найдите способ связаться с русским посольством в Париже, где ваши сомнения может разрешить русский военный атташе граф Алексей Игнатьев.

— Откуда граф Игнатьев может знать вас?

— Мы с ним почти одногодки, только Игнатьев окончил Академию российского Генерального штаба раньше меня…

Постскриптум № 7

Конец приближался… 1 сентября 1944 года, едва опомнясь после мощных ударов нашей армии, Гитлер устроил совещание в своем «Волчьем логове», затаенном в лесах близ Растенбурга. Неожиданно он отвлекся от карты, обведя всех глазами.

— Все ясно, — сказал он. — Здесь сижу я, здесь сидит мое верховное командование, здесь рейхсфюрер войск СС, тут и министр моих иностранных дел… капкан! Будь я на месте Сталина, я бы без размышлений сбросил на Растенбург две-три парашютные дивизии, чтобы всех нас взять живьем и потом посадить в клетку московского зоопарка…

Гитлер удрал вовремя. Началось победоносное наступление нашей армии, войска 2-го Белорусского фронта вломились в пределы Восточной Пруссии, и Гитлер вдруг вспомнил:

— Гроб! Мы забыли там гроб с прахом Гинденбурга! — закричал он. — Немедленно спасти его от нашествия большевизма, а имперский мемориал Танненберга… взорвать!

Гинденбург был спешно извлечен из своей «Валгаллы».

Тяжеленный бронзовый гроб с прахом фельдмаршала был водружен на железнодорожную платформу и под стук колес помчался в Пиллау (ныне Балтийск), где его почти торжественно, как святыню, переставили на палубу крейсера «Эмден».

— Полный вперед! — послышалось с мостика, и турбины крейсера развили небывалую скорость. — Гроб прибыл! — доложил командир корабля, когда пришвартовались в Штеттине…

Отсюда — опять на колесах — гроб умчался в Потсдам.

Эсэсовцы спрятали его в бункере, чтобы, не дай Бог, он не погиб при очередной бомбежке.

Гинденбург-Бенкендорф спокойно возлежал в гробу, наслаждаясь приятным соседством с прусскими королями и королевами.

Но Советская Армия уже подходила к Берлину, и пора было драпать дальше… Гинденбурга довезли до Тюрингии, и там эсэсовцы упрятали его в мрачной глубине заброшенного рудничного штрека, где не было соседей-королей, зато Гинденбург возлежал среди ящиков с награбленными драгоценностями.

Покойник не думал, что и сам сделается вроде какой-то исторической драгоценности. Наверное, он очнулся, услышав далекий грохот русской артиллерии. Эсэсовцы, проклиная свою судьбу (а еще более невыразимую тяжесть гроба), снова вытащили Гинденбурга из шахты и опять переставили на колеса. Семафоры дали зеленый свет — к отправке, и началось долгомесячное блуждание Гинденбурга из города в город, с вокзала на вокзал, ибо никто не ведал, где его лучше спрятать…

Наконец решили везти покойника на запад:

— Там как раз подходят американцы, люди практичные, и они-то уж знают, как надо уважать знаменитых полководцев!

Громадный и несуразный гробина достался американцам в качестве боевого трофея. Они его, не будь дураками, вскрыли, полагая, что в нем Гиммлер прятал свои бриллианты или тайные счета в швейцарском банке. Велико был их разочарование, когда они увидели…

— Лучше бы и не смотреть! — говорили бравые ребята, зажимая носы и отбегая подальше от гроба…

Война завершилась, в Нюрнберге уже заседал международный трибунал, судивший военных преступников, когда генералу Дуайту Эйзенхауэру доложили, что никто в армии не знает, куда засунуть гроб с телом Гинденбурга.

— Как не знаете? Где-нибудь закопайте, и дело с концом…

Совет был мудрый. Так и поступили. Конец.

Глава вторая

Крутые перемены

Вы не можете объяснить, как свершилась победа, но чувствуете, что она свершилась и что вчерашний день утонул навсегда. Vaf virtis! [18]

М. Е. Салтыков-Щедрин

НАПИСАНО В 1943 ГОДУ:

…охранявшие здание сталинградского универмага, в подвале которого укрывался фельдмаршал Паулюс со своим штабом, прекратили огонь в 13 часов 30 января 1943 года. Тогда же в сводке германского вермахта было сказано: «Положение в Сталинграде без изменений, мужество защитников непреклонно».

Чувствую, пора представить свою семью: Луиза Адольфовна имела дочерей, Анхен и Грету, учившихся до войны в саратовской школе. Мне было нелегко взять на себя заботы об этом семействе, ютившемся возле холодной печи на вокзале; после всех испытаний они разуверились в людской справедливости, а пребывание в моем доме, теплом и сытном, казалось им, наверное, сказкой, которую придумал я сам — добрый дядюшка Клаус, обязанный делать людям подарки. Луиза Адольфовна была намного моложе меня и, кажется, тихо радовалась тому, что я не строю никаких матримониальных планов в отношении ее руки и сердца.

Все складывалось хорошо и по службе, если бы… Если бы не внезапный приказ выехать в Москву. Я не ожидал ничего дурного, но и расставаться с обретенной «семьей» было не сладко, тем более к девочкам я сильно привязался, и они плакали, узнав о нашей разлуке. Я оставил «семью» на попечение Дарьи Филимоновны, вручив Луизе свой продовольственный аттестат, отдал ей и все свои деньги, какие у меня тогда были.

— Как-нибудь проживете, — сказал я на прощание. — Никуда не трогайтесь с места, будет надо — я вас найду…

Из Москвы меня сразу переправили в Суздаль, где в здании древнего монастыря, похожего на цитадель, располагался лагерь для офицеров и генералов, плененных в Сталинграде; здесь были, помимо немцев, итальянцы, хорваты, испанцы, румыны, а также, военные капелланы. Я не занимался воспитанием этой теплой компании, устанавливая контакты с теми из пленных, которые по роду моего ремесла казались мне более значительными. Меня интересовали и общие настроения пленных, о которых я регулярно оповещал московское начальство. Так, например, генерал Отто Корффес привлек мое внимание тем, что, впадая в уныние, исполнял старинный русский романс от имени Наполеона:

Зачем я шел к тебе, Россия, Европу всю держа в руках?.. Молодой граф Эйнзидель, внук Бисмарка, сказал мне:

— Вся наша беда в том, что этот ефрейтор Гитлер не внял заветам моего деда — никогда не соваться в Россию…

Не скажу, чтобы пленные дружно подпевали Корффесу или рукоплескали внуку «железного канцлера». У меня в глазах рябило от обилия орденов и нашивок, с мундиров пленных не были спороты хищные германские орлы со свастикой, и по утрам немецкие генералы приветствовали один другого возгласом «Хайль Гитлер!». Внешне мне казалось, что эти генералы вели себя как игроки популярной футбольной команды, которым сегодня не повезло, но завтра они поднатужатся, чтобы забить решающий гол в ворота противника. Кормили этих «игроков» лучше нас: хлеб, сало, мясо, колбаса, рыба, им давали туалетное мыло, хотя я — генерал — мылся хозяйственным. Каждый пленный раздобыл себе кусок стекла, которым выскабливал сталинградских вшей из своих мундиров (ибо за вшей комендант лагеря Новиков давал трое суток карцера). Раз в неделю пленных гоняли строем в монастырскую баню, и, печатая шаг, они с небывалым упоением распевали из надоевшей мне «Лили Марлен»:

Возле казармы у больших ворот столб торчит фонарный уже не первый год. Так приходи побыть вдвоем — со мной под этим фонарем… Вольнонаемные трудяги-суздальцы, работавшие внутри лагеря, возмущались хорошим питанием пленных: «Я с утра до ночи горбачусь тута, — говорил старый плотник, — а мне сахарку в стакан никто не насыпет». В городе ходили разные слухи, и я сам на базаре слышал, как одноглазый дед клятвенно заверял покупателей его «самосада», что в монастыре держат силу нечистую — самого Геринга с Геббельсом, но Сталин еще не придумал, что с ними делать — сразу удавить или погодить, пока Гитлера не словили. Пожалуй, никто из жителей Суздаля не знал правды, что в деревянном приделе монастыря обособленно проживали сам генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс, начальник штаба его армии Артур Шмидт и адъютант Вилли Адамс. Этот Адамс, ранее учитель математики в Саксонии, доверительно сказал мне, что его прозрение началось еще на берегах Волги, когда сам Паулюс еще слепнул во мраке подвалов универмага, убежденный в конечной победе фюрера:

— Фельдмаршал прозрел бы гораздо скорее, если бы его кровать отодвинули от кровати Артура Шмидта.

Я и ранее подозревал, что Шмидт и ему подобные нацисты рисовали по ночам свастику на беленых стенах монастыря. Бравируя своей наглостью, Шмидт иногда начинал ржать, словно жеребец, увидевший перед собой немятое овсяное поле.

— Это не так уж остроумно, — однажды заметил я ему.

— Но что же делать, — отвечал Шмидт, — если меня сегодня опять кормили овсяной кашей?

— А какой еще каши вы захотели, если всюду, где побывал ваш вермахт, после вас даже трава не растет…

Пожалуй, никто из пленных так не штудировал труды марксистов и самого Сталина, как этот заядлый нацист. Шмидт выписывал горы цитат, а потом, составляя из них невообразимую мозаику, доказывал, что вся наша философия ни к черту не годится. Мне было известно, что в «котле» Сталинграда Шмидт до последней минуты настаивал перед Паулюсом на борьбе до последнего патрона… Новикову я сказал:

— Терпение мое лопнуло! Слушайте, полковник, неужели у этого Шмидта не сыщется хоть одной завалящей вши или полудохлой гниды, чтобы он сутки-другие посидел в карцере?..

Вообще ладить с этой публикой было нелегко. Я, со своей стороны, вел себя корректно и осторожно. Отношениям с пленными мешали и некоторые шаблоны, укоренившиеся в нашей печати из-за политической близорукости журналистов. На этом однажды попался и комендант лагеря — полковник Новиков.

— Ты мерзкий фашист! — заявил он как-то одному немцу.

— Я? — возмутился тот. — Никогда не был фашистом и не стану им. Я убежденный национал-социалист. А фашисты… можете полюбоваться, вон они стоят, — и показал на итальянцев.

Зато итальянцы оскорблялись, если их сравнивали с национал-социалистами партии Гитлера:

— Посмотрите на меня — я же порядочный фашист, и ничего общего с этой гитлеровской сволочью не имею…

Я пояснил Новикову, что фашистами называли себя легионеры Древнего Рима, и Муссолини воскресил слово «фашист» для своих чернорубашечников. Между тем в лагере началось разделение пленных — на твердолобых нацистов и тех, кто искренне страдал за Германию, почему гитлеровцы называли их «антифами» или «кашистами» (Kaschisten — продавшийся русским за лишнюю миску каши). Откровенные нацисты подавляли упавших духом своими угрозами, своим бывшим партийным авторитетом:

— Твой адрес мы знаем и найдем способ сообщить в Германию, чтобы твоя семья переселилась в Освенцим. Не думай уйти от расплаты. В день нашего торжества ты будешь повешен!..

В таких условиях честному немцу было нелегко отстаивать свои убеждения, и я уважал генерала Отто Корффеса, который не боялся говорить о Гитлере стихами Генриха Гейне:

В Берлине я видел дряхлого пса, Умел он когда-то резвиться, Теперь же лишился зубов и горазд Лишь лаять на всех и мочиться…

Битва на Курской дуге многое переменила, а на мундирах генералов появились бледные просветы — от споротых «орлов». Многие погрузились в состояние депрессии, рассуждая:

— Вы слышали новость? Говорят, нас пошлют на восстановление руин Сталинграда. А там и столетия не хватит, чтобы все кирпичи разобрать. В этом случае мы никогда не вернемся в Германию, так и сдохнем на сталинских стройках…

Летом 1943 года был образован национальный комитет «Свободная Германия», издавалась газета «Фрайес Дойчланд»; осенью же возник и «Союз немецких офицеров», порывающих с Гитлером, президентом «Союза» стал генерал артиллерии Вальтер фон Зейдлиц. С этим оригинальным человеком я познакомился при анекдотических обстоятельствах. Перед порогом моего жилья лежал кусок гусеничного трака от танка, вместо коврика, чтобы очищать подошвы от уличной грязи. Зейдлиц долго скреб свои сапоги, а войдя ко мне, выкинул руку в нацистском приветствии.

— Что вы этим жестом хотели сказать, фон Зейдлиц?

— Вот на какую высоту прыгала моя любимая собака…

\* \* \*

Да, высоко прыгала его «собака», так что даже перемахнула высоченную изгородь лагеря для военнопленных!

Прямой потомок того самого Зейдлица, который во времена Фридриха Великого, заодно с Циттеном, водил в атаки прусскую кавалерию, он в армии Гитлера считался специалистом по «котлам». Так, в 1942 году Зейдлиц вывел из окружения войска под Демянском, но вскоре и сам угодил в «котел» Сталинграда, из которого вырваться не удалось. Зейдлиц с некоторой гордостью носил почетную нашивку «За Демянск», и я спросил его, почему он, мастер по деблокированию, не вывел армию Паулюса:

— Или вы стали хуже?

— Мы остались прежними. Зато вы стали лучше…

Кольцо наших войск еще только смыкалось вокруг Сталинграда, когда он призывал не исполнять приказов Гитлера и самим убираться от Волги подальше. Я сказал Зейдлицу:

— Из вас получился бы дальновидный политик.

— Нет. В политике я уважаю не декларации, а лишь смешные анекдоты об авторах этих деклараций. Но я, правда, решил капитулировать раньше Паулюса, пока мы еще не стали обгладывать копыта румынской кавалерии…

Зейдлиц жестоко поплатился, когда выехал на фронт, агитируя своих прежних друзей-генералов сдаваться в плен, за что вскоре гестапо арестовало его жену Ингеборг фон Зейдлиц, а через день и дочерей. Мы подружились с Зейдлицем осенью 1943 года, когда 16 сентября генерал Вальтер Модель (любимец фюрера) пытался объяснить в печати причины слабости вермахта, а Зейдлиц опубликовал во «Фрайес Дойчланд» достойный ответ, указав на слабость головы самого Моделя.

Паулюс, живший уединенно, оставался для меня загадкой и перестал быть загадкой, когда неожиданно выступил на защиту Зейдлица, подвергаемого обструкции своих прежних друзей.

— Немцы при Гитлере, — заявил фельдмаршал, — стали вроде дрессированных зверей в цирке: они все понимают, о многом догадываются, но сказать ничего не могут. Будем же уважать Зейдлица, первым разорвавшего этот заколдованный круг…

Вечерами Паулюс в своей «келье» переводил статьи из «Красной звезды», и я, узнав об этом, выразил свое удивление.

— Мне трудно, — отвечал он. — Но, как утверждал Декарт, «чтобы найти истину, каждый должен хоть раз в жизни освободиться от усвоенных им представлений и совершенно заново построить систему своих взглядов». Можете не проверять цитату — у меня отличная память, — заметил он с небрежной усмешкой.

Над его столом была приколота записка со словами: «Избрал немилость там, где повиновение не могло принести ему чести». Перехватив мой взгляд, Паулюс любезно пояснил:

— Эпитафия с могилы опозоренного генерала Марвитца…

Честно говоря, я так и не мог вспомнить, какую из битв проиграл этот Марвитц. Но эпитафия над его прахом, очевидно, ближе всего отвечала настроениям Паулюса. Фельдмаршал казался мне морально надломленным, но я отметил его колоссальную выдержку. Всегда подтянут и собран, Паулюс не был солдафоном, скорее напоминал интеллектуала, наряженного в генеральскую форму. Он очень ценил свое одиночество, разделяя его с Вилли Адамсом, ковырялся во фруктовом саду; в частных беседах Паулюс обнаруживал неожиданную эрудицию — мог со знанием дела судить о целебных водах Давоса, смело критиковал выводы, немецких физиологов. Вечерами прислушивался к далекому грохоту эшелонов, в которых тогда перевозили тысячи девушек.

— Интересно, куда они едут, едут и едут?

— Добровольцы. Чтобы восстанавливать Сталинград.

Паулюс тяжело и надолго задумался.

— Им будет там тяжело… Впрочем, — сказал он, — если я доживу до глубокой старости, я хотел бы снова побывать в Сталинграде… в новом, где не останется следов войны.

Паулюс очень внимательно изучал сводки Совинформбюро о положении на фронте, на школьной карте он — ведущий стратег вермахта, автор плана «Барбаросса» — делал штабные пометки, которые мог понимать только один он, полководец.

— Не думайте, что я переигрываю войну, — сказал он мне. — Просто я наблюдаю, как Гитлер проигрывает войну…

Паулюс не всегда был согласен с нашей пропагандой:

— Вы напрасно представляете Гитлера психом или придурком. Я лично проработал с ним несколько напряженных лет и могу заверить вас, что это человек вполне разумный, обладающий почти дьявольской интуицией.

— Согласен, — отвечал я. — Наша пропаганда перегибает палку, и если бы Гитлер был только психопатом, вы, господин фельдмаршал, не оказались бы на берегах Волги…

Паулюс завоевал мои симпатии после одного случая. В момент очередного «ржанья» начальника своего штаба он пресек его плоское и неумное шутовство выговором:

— Шмидт, я устал от ваших концертов! Я, как и вы, тоже хотел бы иметь иной гарнир к мясу, но мы же здесь не в берлинском «Адлоне», где дают гарнир по заказу. Русские, кроме пшена и овсянки, не могут разнообразить наше меню. Они сами кормятся по карточкам — хуже нас с вами! У них дети не имеют и доли того, что имеем здесь мы, сидящие за колючей проволокой. Так постыдитесь же, камарад, ржать!

Паулюс заметил мое внимание к нему, особенно в тех случаях, когда он хотел переосмыслить свои победы и поражения.

— Но зачем вам это? — спросил он меня.

— Кто забывает прошлое, тот остается без будущего. Наконец, — сказал я, — если на войну смотреть лишь своими глазами, получим любительскую фотографию, но, глянув на войну глазами противника, мы получим отличный рентгеновский снимок…

Вальтер фон Зейдлиц, человек горячий, порывистый, уже отбыл на фронт, где в полушубке советского бойца уговаривал через мегафон своих прежних коллег-генералов не затягивать безумие кровопролития. Паулюс, человек сдержанный, не был готов к таким крутым решениям. Но уже близился тот день, когда он, генерал-фельдмаршал разбитой армии, по доброй воле подойдет к микрофону московского радиовещания, чтобы обратиться к немецкому народу с призывом — свергнуть Гитлера и его партийную камарилью, после чего наступит мир…

\* \* \*

Я догадывался, что, объявленный на родине мертвецом, Паулюс душевно страдает от того, что его семья повергнута в траурную печаль по нему, еще живому, но он никогда не выдавал своих чувств. Лишь однажды спросил меня — совсем об ином:

— Мне известно, что многие из моей армии пытались вырваться из «котла» группами или даже в одиночку. Какова их судьба? Может быть, вы что-либо знаете о них?

— Знаю. Из сообщений берлинского радио мне известно, что из Сталинграда сумел вырваться только один опытный и выносливый фельдфебель. Он был принят Гитлером в ставке, даже награжден. Но вскоре умер, истощенный переживаниями.

— Вы, значит, слушаете берлинское радио?

— Почти ежедневно.

— А ваше радио извещало Берлин о том, что я жив?

— Нет…

Паулюс не стал продолжать разговор и, наверное, даже понял, что после такого радиооповещения развеется миф, созданный о нем пропагандой Геббельса, а положение его семьи может ухудшиться. Но все-таки душевный нарыв в нем прорвало:

— Меня возмущает, что по мне отслужена панихида, сам фюрер не постыдился утешать мою семью, которой назначил высокую пенсию. От имени генералитета на мой пустой гроб были возложены дубовые листья к Рыцарскому кресту. Но… ах, моя бедная жена! Но… ах, мои бедные дети и внуки!

Продолжение разговора возникло по моей инициативе через несколько дней, хотя беседу я начал издалека:

— Мне помнится, что Август Шлегель, знаменитый немецкий поэт и большой друг мадам де Сталь, был женат на Софье, дочери профессора богословия Генриха Паулюса… Разве не так?

— Откуда вам известно это родство?

— А ваша жена — Елена-Констанция из валашского рода бояр Розетти-Солеску имела родственные связи с теми Розетти, что служили в Петербурге еще до революции… Так ведь?

— Удивлен, — отвечал Паулюс. — Кто вы?

— Не скрою. Я офицер еще старого русского Генштаба и работал в разведке давным-давно, когда вы, фельдмаршал, лишь начинали свою офицерскую карьеру в армии кайзера.

Из сада хорошо благоухало созревшими фруктами, в окне «кельи» фельдмаршала виднелись звонницы древнего Суздаля. Искоса посматривая на меня, Паулюс ожидал продолжения разговора.

— Поверьте, я прибыл не ради «вытягивания» из вас каких-либо данных военного порядка, дабы провоцировать вас на отступление от пунктов присяги. Я предлагаю иное…

Паулюс очень подозрительно спросил меня:

— Что же именно вы можете предложить мне?

— Сейчас чудесная погода. Следует немного развеяться. Прогулка в лес за грибами, надеюсь, освежит вас. Воюя с Россией, вы, наверное, так и не видели настоящего русского леса.

— Позволено ли Адамсу сопровождать меня?

— Адамс вам не помешает, — ответил я…

На стареньком «газике» мы выехали подальше от Суздаля, с нами не было никакой охраны, ни я, ни солдат-шофер не имели оружия. Вся наша компания была облачена в простонародные ватники, каждый имел лукошко. Паулюс при очках и в ватнике напоминал не фельдмаршала грозной 6-й армии, дотянувшейся до Сталинграда, а бедного сельского учителя, весьма далекого от служения Марсу. Глядя на то, как он радовался каждому рыжику или опятам, я тоже забыл, что передо мною человек, стратегически разработавший для Гитлера коварный план нападения на нашу страну. Потом мы собрались в кружок на поляне, хвастаясь трофеями, на костре готовили скудный ужин, и все в этот день было чудесно… Паулюс неожиданно сказал:

— Странно, что сегодня меня никто не конвоирует.

— Позвольте, я отконвоирую вас… недалеко.

Мы отошли от костра. Я рассказал Паулюсу, что Геббельс и его подручные убедили немцев, будто все пленные в «котле» Сталинграда давно убиты или заморожены в диких лесах Сибири. Немцы из состава 6-й армии постоянно пишут письма на родину. Красный Крест пытается переправить их по адресам, но письма перехватываются гестапо, а полное молчание еще более утверждает версию Геббельса о том, что все немецкие солдаты в русском плену уничтожены… Паулюс сухо кивнул:

— Я об этом догадывался. Каков, по вашему мнению, выход?

Я пояснил: наша авиация дальнего действия не раз сбрасывала письма немецких пленных «по адресам» — прямо над Берлином или над Дрезденом, но их собирала городская полиция.

— Впрочем, — сказал я, — какая-то часть писем все же дошла до родственников, когда мы стали «бомбить» конвертами не Германию, а Венгрию, Чехословакию или Румынию… Понятно, что за вашей семьей в Берлине на Альтенштайнштрассе установлено особое наблюдение, и нужны особые методы, чтобы ваше письмо дошло до жены, а письмо жены дошло до вас.

Паулюс долго и напряженно молчал. Думал.

— Я глубоко сожалею о том, что моя семья не имеет обо мне никаких известий, кроме пошлого вранья, исходящего от фюрера. Но… что я могу сделать в условиях своего заточения?

— А вы напишите жене, и будьте уверены, что наша разведка вручит письмо лично ей в руки. У нас есть люди, чувствующие себя в Берлине столь же хорошо, как и в Москве, и они скорее пойдут на смерть, но никакого промаха не допустят.

— Догадываюсь, как это будет трудно…

Письмо было отправлено. Потянулось время — мучительное для Паулюса (и для меня тоже). Наконец однажды фельдмаршала пригласили в канцелярию лагеря. Новиков протянул ему конверт:

— Узнаете почерк, господин фельдмаршал?

— Да, почерк моей жены.

— Это для вас. Сугубо личное. Можете взять его…

Паулюс удалился к себе, отказавшись в этот день от ужина, не разговаривал ни с кем, даже с Адамсом, он переживал свою любовь — обычную любовь, чисто человеческую.

\* \* \*

А я из письма Луизы узнал, что добрейшая Дарья Филимоновна гонит мою «семью» прочь, когда узнала, что они немцы, и теперь оскорбляет их, провозглашая, что в своем доме не потерпит никаких «фашистов». Volens-nolens мне пришлось обратиться к местным властям, чтобы утихомирили не в меру разыгравшийся «патриотизм» моей прежней домовладелицы. Боже, как часто я думал о них и хотел повидать… особенно девочек! Я помогал Луизе Адольфовне чем мог. Пишу вот это, а сам думаю: как-то сложится судьба моих записок? Не растопят ли этими страницами сырые дровишки в печке? Понимаю, что после моей смерти не будет траурных митингов, в газетах не появятся некрологи о «безвременной» кончине, не будет и слез над могилой, ибо — так думаю — и могилы-то после меня не останется. Я согласен жить и умереть без имени, всегда памятуя о главном:

Да возвеличится Россия, Да сгинут наши имена!

1. Сердечное согласие

Меня никогда не тянуло в Париж, но, попав в Париж, я увидел в нем как бы парализованное тело, из которого война изъяла великую душу. Жорж Клемансо и Густав Эрве печатали в газетах заглавия боевых статей, но сам текст статей был запрещен цензурою (остались одни их заглавия). Вслед за министрами, бежавшими в Бордо, столицу покинули свыше миллиона парижан. На улицах было пустынно, бросалось в глаза отсутствие автобусов и таксомоторов, зато часто встречалась «пара гнедых», запряженных с зарею, будто я угодил в захолустье русской провинции. Вместо красочных витрин с манекенами — слепые затворы жалюзи, на дверях магазинов болтались неряшливые записки: «Жан Кошен с пятью сыновьями на фронте», «Не стучите напрасно — весь персонал фирмы мобилизован».

Париж не голодал, но и сыт не был. Молочные и мясные лавки, принадлежавшие до войны немцам, не торговали, зато англичане открыли свои гастрономы, в которых йоркширская свинина наглядно побеждала свинью франкфуртскую. Много приходилось читать о ночных кафе Парижа, но теперь все бистро закрывались с вечера, а распивание абсента было запрещено. Кинематографы и театры не работали, за пение на улицах штрафовали, смех исчез. Все оркестры (и даже в ресторанах) умолкли, кабаре сделались безголосы, префектура Парижа постановила: преступно сидеть в ложах и бисировать всяким глупым «флон-флон», если наши сыновья погибают в грязи фронтовых окопов!

Я так много был наслышан о толпе Больших Бульваров, суетливой и эротичной, но увидел ее померкшей, многие женщины носили траур. Уличные жрицы любви, как неприкаянные, сонно бродили в переулках, забывая накрасить губы помадой, их обычные уловки обольщения потеряли прежнюю привлекательность. Помню, я ужинал в гостинице, когда ко мне подсела растерянная, почти испуганная проститутка, вежливо спросившая:

— Вы иностранец? Не угодно ли вам немножко любви?

— Благодарю. Но я озабочен иными проблемами.

— Жаль, — ответила девушка. — Любовь теперь дешева, и с началом войны мы работаем со скидкой… едва хватает на хлеб. Если война затянется, нам уже не понадобятся жесткие корсеты, а кому будут нужны потом мои кости?

Я предложил ей поужинать. Благодарная, она сказала:

— Хотите, мы проведем эту ночь бесплатно, а то я уже чувствую, что стала терять былую квалификацию…

Да, Париж был совсем не тот, каким я представлял его раньше. Парижане сделались подозрительны, они хотели прочесть твои мысли и укрыть от тебя свои. Каждую ночь полиция без суда и следствия расстреливала сотни апашей, дезертиров и мужчин, уклонившихся от мобилизации. Сыщики в синих кепках катались на велосипедах, быстро окружая редких прохожих, требуя у них документы. Я тоже не раз попадал в их облаву. Но у меня уже была справка из русского посольства, выданная как бежавшему из немецкого плена, и сыщики дружески козыряли мне, на что я всегда отвечал верою в справедливость «Entente cordiale» — верой в «сердечное согласие» коалиции стран Антанты.

Русских в Париже было немало. Одни сами порвали с родиной, от иных родина сама отказалась. Тут были всякие люди, а их судьбы писались вкривь и вкось, вполне пригодные для сюжетов авантюрных романов. Теперь в сердцах изгоев и отчужденцев взыграл природный патриотизм, были забыты прошлые обиды — эмигранты с утра выстраивались в длиннейшую очередь, она тянулась от Сен-Жерменского бульвара до авеню Элизе Реклю, где размещалась русская военная миссия, которую возглавлял атташе граф Алексей Алексеевич Игнатьев. Пробиться к нему в кабинет не было возможности, и мы с Епимахом тоже пристроились в хвосте очереди, терпеливо выслушивая от соседей массу нелепых историй, которые разлучили их с отечеством, но французами не сделали. В тоскливой перебранке возникали разные признания.

— А у вас есть паспорт? — часто спрашивали меня.

— Откуда? Я прямо из плена.

— А я — с волчьим! Бежал из России после пятого года, имея честь принадлежать к партии эсеров.

— Которые тут без паспорта, лучше не стойте.

— А что? Вешать станут?

— Лучше уж без штанов, но с паспортом, а всех без «папира» сразу в Иностранный легион — и прощай молодость!

— Да, в легионе забьют… как собаку. Пронеси, господи. Что угодно, только б не таскать красный аксельбант.

— А я вот матрос с броненосца «Потемкин»! Желаю вернуться, чтобы верой и правдой… как положено русскому человеку.

— Вернись. Там тебя сразу на парашу посадят.

— А вы, сударь, кто будете? Эсер? Эсдек?

— Я бедный еврей, спасался из Кишинева… от погрома.

— Так спасайся и дальше. Тебе-то чего от России?

— Желаю служить в русской армии.

— А-а-а… тогда стой. Дождешься!

Епимах наслушался подобных речей и заскучал:

— Эх, легко человека оторвать от родины, зато вернуться под родимую крышу — так семи потов не хватит. Будь я дома, в шинке бы опрокинул сразу косушку, чтобы стоять веселее…

Связи с Россией были прерваны фронтами. В очереди часто поминали новорожденный Романов-на-Мурмане (будущий Мурманск), куда можно попасть лишь морским путем с помощью англичан. Мне надоело играть роль беглого солдата, я пробился к воротам посольства и тоном приказа велел швейцару:

— Доложи его сиятельству, что в очереди желающих видеть его находится коллега по работе в Генеральном штабе. Так и доложи. Граф Игнатьев поймет, о ком идет речь.

Корпоративная солидарность генштабистов четко сработала, и я был представлен Игнатьеву, которому назвал свое подлинное имя. Алекскей Алексеевич указал рукою на кресло:

— Не ожидал! Итак, слушаю вас.

— Я был начальником разведки при штабе генерала Самсонова, пленен как рядовой солдат, и, следовательно, моя роль в армии Самсонова осталась для немцев загадкой.

— Желаете вернуться домой?

— Нет. Я желал бы, чтобы вы доложили в Генштаб о моем появлении в Париже, и я не откажусь исполнить новые поручения Генштаба, ежели таковые последуют…

Игнатьев прошелся по кабинету. Потом выдвинул ящик стола, издали перебросил мне на колени пачку франков.

— Это вам, чтобы вы обрели божеский вид, — сказал он. — Вы извещены, что погубило армию Самсонова?

— Тут немало причин…

— Но главная в том, что немцы легко прочитывали все ваши буквенные шифры по радио. Слава богу, русский дипломатический код, в отличие от военного, не поддается расшифровке, и я сегодня же извещу Петербург о вашем появлении…

В облаках под Парижем медленно плавала «колбаса» германского цеппелина, с верхней площадки Эйфелевой башни по дирижаблю строчили гарнизонные пулеметы. Я сказал Игнатьеву, что моим попутчиком в скитаниях был вахмистр Епимах Годючий, который достоин того, чтобы по возвращении на родину получить отпуск, ибо он сильно тоскует по жене и детям. Игнатьев обещал мне об этом позаботиться. Я вышел от графа обнадеженный, снова напряженный в чаянии новых событий. В хвосте длинной очереди отыскал Епимаха Годючего, который, как и все, стоял, задрав голову, наблюдая за полетом цеппелина, бросавшего на крыши Парижа меленитовые (зажигательные) бомбы.

— Пойдем, — вытащил я его из очереди. — Я все уже сделал. Будь спокоен. Через месяц ты повидаешь семью…

Я приоделся сам, нарядил в приличный костюм и Епимаха, который пожелал купить жене зонтик. Я ни в чем ему не отказывал. Мы с ним как следует пообедали в хорошем ресторане. Пришло время прощаться, и мне стало грустно… Я сказал:

— Епимах Иваныч, я не всегда бывал вежлив с тобою, за что и приношу свои извинения. Но ты меня тоже не раз материл во всю ивановскую… Никакой я не вор и даже не солдат, а офицер Генерального штаба. Что я мог для тебя сделать, я все сделал. Граф Игнатьев не сегодня так завтра приготовит для тебя нужные документы, и, вернувшись в Россию, можешь ехать к себе на Мелитопольщину, чтобы повидать своих деток. А в конце всей этой истории давай, мой милый, поцелуемся…

Мы расцеловались. Епимах заплакал. Я тоже прослезился.

\* \* \*

Очевидно, в Генеральном штабе на мне давно поставили жирный крест, как на покойнике, и там, на берегах Невы (где гордый Санкт-Петербург превратился в обыденный Петроград), долго не знали, на каком масле меня лучше изжарить.

— Наберитесь терпения, — утешал меня Игнатьев. — Потерять офицера Генерального штаба равносильно тому, что спилить цветущее дерево. Пока новое дерево не станет плодоносить, пока еще генштабист обретет опыт работы… ждите! Так что не волнуйтесь. Генштаб вас никогда не забудет.

Но ожидание затянулось. Епимах, наверное, уже плыл к родным берегам, а я все еще пребывал в неведении своей судьбы. В военной миссии русского посольства я нарочно ни с кем не общался, а граф Игнатьев тоже не афишировал мою причастность к секретной кухне, умышленно не давая поводов посторонним знать обо мне больше того, что можно знать.

В томительном ожидании решения Генштаба, которое станет для меня обязательным, я, чтобы не терять времени даром, проникался переменами в европейской политике. Всех тогда волновала позиция Италии, и тогда же я впервые услышал это имя — Бенито Муссолини. В ту пору он, левый социалист, редактор рабочей газеты «Аванти!», вдруг круто переменил фронт, начиная ратовать за выступление Италии на стороне Антанты. Итальянцы в недоумении спрашивали: «Chi paga?» (Кто платит?). Платила, конечно, Антанта, которой было выгодно, чтобы Италия выступила против своих прежних союзников — Австро-Венгрии и Германии. Но, помимо власти и денег, Муссолини уже тогда снедала жажда величия. Будущий дуче провозгласил, что война ускорит победу социализма в стране нищих, которые радуются даже горстке горячих макарон. Сам талантливый журналист, Муссолини живо перетянул на свою сторону и людей из литературного мира. Его глашатаем сделался известный поэт-футурист Марио Маринетти, воспевавший отсутствие морали и разрушение музеев, который — еще в Москве! — пьянел от трехчасовых речей и трезвел от трех литров вина. Не менее знаменитым был поэт-декадент Габриеле Д’Аннунцио, остроносый карлик, влюбленный в нашу балерину Иду Рубинштейн; иногда я встречал Д’Аннунцио в ресторанах Парижа, окруженного сомнительными женщинами типа «вамп» с неестественно алыми губами. Мне он казался торжествующим тунеядцем, которого, мягко говоря, «лансировали» (то есть содержали) эти странные дамы. Но едва раздался призыв Муссолини к войне, как этот гений встрепенулся и, оставив Париж, ринулся в Италию, призывая народ к былому «величию Римской империи»; вот что он тогда возвещал своим «макаронникам»:

— Довольно Италии быть складом древностей для заезжих ротозеев или солнечным пляжем для новобрачных, где они проводят медовый месяц. Мы безжалостно сорвем с Мадонны золотые пышные ризы, чтобы облачить ее в броню твердых панцирей…

Примерно так — уже тогда! — исподволь вызревал фашизм с диктатурой дуче, но я, как и большинство европейцев, еще не понимал имперских амбиций Рима, раскладывая события по собственным полочкам. Меня, русского офицера, вполне устраивал воинственный дух Италии, ибо я учитывал ее военную помощь Сербии и Черногории, тем более надежной, что итальянский король Виктор Эммануил III был женат на дочери черногорского короля Николы — княжне Елене, получившей воспитание в нашем Смольном институте. Весною 1915 года Италия объявила войну Австро-Венгрии. В эти же дни состоялась моя встреча с графом А. А. Игнатьевым; по выражению его лица я понял, что вопрос обо мне в Генеральном штабе решен.

— Счастлив поздравить вас с присвоением вам высокого чина подполковника русской армии, — сказал Алексей Алексеевич.

— Простите, — обомлел я, — но я ведь уже давно в этом чине, а теперь не пойму — повысили меня или разжаловали?

— Очевидно, ошибка, — искренно огорчился Игнатьев. — Сами знаете, что наши питерские бюрократы, какое ни дай им дело, все изгадят. Вы уж, ради бога, меня извините.

— Да вы и не виноваты, ваше сиятельство. Впрочем, в любом чине я желаю знать, какие поручения на меня возложены…

Игнатьев ознакомил меня с шифровкой: мне приказывали состоять при сербской армии, державшей фронт в долине реки Дрина, войти в доверие сербского командования, дабы информировать Ставку о подлинном положении дел на Балканах.

— Но там же полковник Артамонов, — напомнил я.

— Артамонов, к сожалению, слишком подпал под влияние двора Александра Карагеоргиевича и, кажется, слишком опутан побочными влияниями сербской разведки… Вы меня поняли?

— Так точно, ваше сиятельство. Понял.

— Не мне учить вас, — продолжал Игнатьев. — Балканы вы знаете лучше меня, парижанина. Но хотел бы предупредить: в рядах сербской армии сейчас геройски сражается батальон русских студентов-добровольцев, там же работает отряд врачей и сестер милосердия. Россия уже отдала Сербии сто пятьдесят тысяч винтовок, хотя… Хотя нам самим не хватало оружия. Свой путь в Сербию вы проделаете через Италию, генштаб которой «Чифрарио Россо» уже предупрежден о вашем появлении…

На всякий случай Игнатьев предложил мне «пуговицу», которую в русской агентуре было принято носить пришитой к одежде — как опознавательный знак, чтобы в критические моменты свой узнал своего. Но я отказался:

— Уже столько наших людей разоблачены и повешены из-за этих пуговиц, так что лучше не рисковать…

Перед самым моим отъездом Игнатьев известил меня, что Генштаб исправил свою ошибку, и граф, открыв бутылку с вином, поздравил меня с чином полковника, пошутив при этом:

— Теперь-то вы имеете право носить галоши…

(В русской армии офицеры могли появляться в галошах на улице не ранее, нежели они дослужатся до полковника.) Судьба надолго разлучила меня с Игнатьевым, я встретился с ним позже, когда он, уже генерал Советской Армии, работал в Воениздате. При встречах со мною он всегда заманивал меня в уголок:

— Сознайтесь, как на духу, что пишете мемуары?

— Упаси меня Бог! — неизменно отвечал я.

— Напрасно. А то бы мы их напечатали.

— Сомневаюсь. Еще не пришло время как следует понимать меня, ибо я принадлежу одновременно и к тем, что давно лежат в могилах, и даже к тем, которые еще не родились…

\* \* \*

Итальянцы начали войну с того, что в поездах, идущих из Франции, гасили по ночам свет, а днем занавешивали окна черными шторами… Зачем? Я надеялся, что меня перебросят в бухту Катарро морем, но этому мешала блокада кораблей австрийского флота. «Чифрарио Россо» доверило мою судьбу вездесущим англичанам, которые уже завели в Италии аэродромы с отрядами своих аэропланов. Я не возражал, чтобы меня доставили в долину Дрины по воздуху, но британский майор Диксон почему-то воспринял мои слова как веселую шутку:

— Интересно, как мы вылетим обратно в Италию, если возле Дрины нет ни одного аэродрома. У нас отличный способ доставки людей с помощью надежного парашюта системы Жюкмесса.

При всем моем уважении к загадочному Жюкмессу я ответил, что все парашюты надежны, но я еще ни разу не слышал, чтобы парашютисты кончали свою жизнь в домашней постели:

— Нет уж, господин майор, я совсем не намерен собирать свои кости, дабы потом составить из них свой скелет…

Тут англичане дружно заговорили, что знают русских как самых отчаянных храбрецов, которым море по колено, им даже странно встретить русского офицера, который не горит желанием испытать на себе достоинства нового парашюта.

— Мы же деловые люди, — сказал майор Диксон, — и еще ни одного человека не сбросили на парашюте, предварительно не обеспечив его бутылкой отличного виски…

Меня задели слова англичан, заподозривших меня в трусости, и, выразив желание прыгать даже без парашюта, я был тут же снабжен большой плоской бутылью с крепким бренди.

— А где этот зонтик, на котором я должен спускаться?

Мне показали фотографию какого-то ненормального типа, который с крыла самолета кидался вниз головой на землю, явно желая доказать, как удобнее кончать самоубийством.

— Видите, как все просто? Но у нас система более надежная, и вам предлагается осушить бутылку до дна, а все остальное мы берем на себя… Но учтите, — напомнил Диксон, — парашют стоит очень дорого, и потому стоимость его мы вынуждены затребовать к оплате вашего посольства в Париже.

Про себя я подумал, что англичане настоящие джентльмены, ибо они благородно не высчитывают стоимость парашюта из моего жалованья. На спину мне укрепили громоздкий алюминиевый цилиндр, вроде большого мусорного ведра, которое мешало мне втиснуться в гондолу, укрепленную под кабиною самолета. Всю дорогу до цели я осужден был лежать, спрессованный, как жалкая килька в ревельской консервной банке. Диксон сам же распечатал для меня бутылку, настоятельно советуя начинать пить сразу же, едва самолет оторвется от земли:

— Не бойтесь. Парашют раскроется сам после того, как вы оторветесь от нас на двести метров. Сигналом для падения будет моя команда из кабины: «Дружно идем к победе!»

Это был девиз коалиции стран «сердечного согласия».

Я несколько часов лежал в гондоле, не видя земли и моря, опустошая бутылку. При этом я молил бога, чтобы меня не сбросили на высоте ниже 200 метров, иначе мое «ведро» сработает уже на земле, и я никогда не увижу, как действует хваленая система Жюкмесса, чтоб ему ни дна ни покрышки…

Сверху — из кабины — раздался голос майора Диксона:

— У вас осталось что-либо в бутылке?

— На один или на два глотка… А — что?

— Допивайте скорее. Мы приближаемся…

Я отпихнул пустую бутылку в угол гондолы, чтобы она не мешала мне, и в тот же момент услышал призыв:

— Дружно идем к победе!..

Далее случилось то, чего я никак не ожидал: гондола сама раскрылась подо мною, как половинки яичной скорлупы, я закувыркался в воздухе с громадным ведром на спине. Потом меня крепко вздернуло — парашют раскрылся. В этот же момент все содержимое бутыли выплеснулось из меня, словно из наклоненного кувшина, и смею заверить читателя, что я приземлился на родине своих предков лишенный даже капельки алкоголя.

Хорошо помню, что подо мною был виноградник. Внизу, уже поджидая меня, торчали острые пики виноградных кольев. Мое личное дело — заранее выбрать любой из них, чтобы усесться на него как раз тем местом, каким сажали на кол еретиков во времена инквизиции. В последний миг я извернулся, давя под собой сочные виноградные гроздья… Неподалеку стоял старик-крестьянин и, сняв шляпу, посылал к небесным силам горячие молитвы. Я со злостью пихнул ногой алюминиевый цилиндр, загудевший, словно церковный колокол, зовущий к обедне.

— Эй, отец! — крикнул я по-сербски. — Бери… это твое. Где еще найдешь такое отличное ведро, чтобы давить виноград для молодого вина? Все соседи станут тебе завидовать.

Во всей этой истории до сих пор не могу понять одного: зачем человеку, решившемуся прыгать с парашютом, англичане так настойчиво советовали опустошить целую бутылку виски? Но мне никогда не хотелось узнавать, кто такой был этот Жюкмесс, и был ли он вообще на белом свете…

2. Пламя над балканами

Считаю нужным обратиться назад, дабы читатель лучше проникся недавней бедою Белграда, вынесшего первый удар австро-германской коалиции, когда в Петербурге растерянные дипломаты еще надеялись на мирное разрешение июльского кризиса…

Славный многолетним опытом по уничтожению мух, император Франц Иосиф заранее обложил Белград пушками, обставил Дунай мониторами — и столица сербов рушилась под бомбами, сметало с домов крыши, горели театры и библиотеки, жители вместе с кроватями падали в раскрытые провалы лестниц, трупы женщин провисали с балконов длинными волосами, которые факелами сгорали в пламени пожаров… Так началась трагедия многострадального города, так открылась для сербов эта война. Для кого-нибудь она и была захватнической, империалистической, но только не для южных славян, и сербы все — как один человек — встали под ружье в едином порыве. Не было квартала в Белграде, даже самого нищенского, куда бы «старый и добрый монарх» не швырял свои бомбы; из католических храмов Словении и Хорватии долетали голоса епископов, воссылавших молитвы, чтобы кара господня постигла всех сербов без исключения:

— Господи, уничтожь эту нацию убийц и насильников, а мы волею твоей пошлем всех сербов на виселицы…

Как бы отвечая своим убийцам, сербы — и стар и млад — провозглашали в храмах свои молитвы:

— Чужого не хотим, своего не отдадим! Верую во единого бога — русса, который победит шваба и прусса…

Венский генерал Потиорек форсировал Дрину и Саву; правительство Пашича перебралось в Ниш, а командование сербской армией — в Крагуевац, поближе к арсеналам, в которых царила зловещая пустота. Воевода Радомир Путник признавал:

— Поклон России! Сама нуждаясь в оружии, она отдала нам полтораста тысяч винтовок, но от них уже ничего не осталось, а на каждое орудие имеем не более ста выстрелов в резерве…

Что там «чудо на Марне», если сербы устроили «чудо на Дрине»! Они так ударили по захватчикам, что Потиорек бежал, а сербские солдаты вошли в пределы монархии Габсбургов, осыпаемые цветами своих сородичей. Черногорский король Никола тоже объявил войну Вене, но лезть в драку не спешил, ибо боялся, что Карагеоргиевичи — в случае победы — приберут Черногорию к своим рукам, а его самого спустят с Черной Горы вверх тормашками. Пока же хитрый Никола получал деньги из Петербурга, пересчитывал крепкую обувь, получаемую из Лондона, а Париж завалил его склады в Цетине солдатским обмундированием. Никола имел свои планы, как бы ему — без лишнего шума, пока все заняты войною — оттяпать кусок земли от Албании.

— Если, — рассуждал он в своем конаке, — Карагеоргиевичи пекутся о создании «великой Сербии», то почему бы нам, черногорцам, не подумать о создании «великой Черногории»?

Потиорек сдавал сербам одну позицию за другой, он сбрасывал в ущелья свои пушки и безжалостно рассыпал по канавам запасы крупы — только бы скорей убежать. А русские моряки Дунайской флотилии, отражая атаки Венских мониторов, слали сербам боеприпасы, выгружали на пристанях бурты зерна. Сербы сражались с отвагою античных воинов, и потому, когда армия нашего Брусилова громила австрийцев в Галиции, армия Габсбургов была скована на Балканах атаками сербов. Позор для мухобоя-императора был слишком велик. Потиорек надеялся, что учинит в Сербии обычную карательную экспедицию, перевешает непокорных, перепорет недовольных, а вместо этого пришлось заново формировать армию, разбежавшуюся по кустам, подвозить артиллерию, чтобы подавить сербов превосходством силы огня в 10–20 раз. Сербская армия была измотана уже до предела, когда Потиорек почти без боя вступил в Белград, где и возвестил о полном уничтожении сербской армии. Для союзной Германии этот вопрос был очень важен, ибо — через покоренную Сербию — Берлин желал устроить «военный и политический мост» для связи с союзной Турцией. Людендорф не считал, что с сербами все покончено, как заявлял Потиорек:

— Потиорек слишком разбегался, но австро-венгерские войска я уже не считаю полноценными для наступательных операций. Не лучше ли оставить сербов корчиться от ран и голода, а все боевые части Потиорека перебросить на русский фронт… именно против генерала Брусилова, который опасен для всех нас!

Ошибались многие. Не только враги, но даже друзья.

Русский посланник в Сербии, князь Григорий Трубецкой, предсказывал полный развал фронта. Он видел, что сербы истощены, дороги переполнены беженцами, женщины бросают свой скарб, чтобы нести раненых солдат, и потому с душевным надрывом князь сообщал в Петроград: «Переутомление физическое и нравственное после четырех месяцев непрерывной борьбы овладело сербскими войсками до такой степени, что в середине ноября (1914 года) катастрофа кажется мне неизбежной…»

Австрийская армия очень скоро превратилась в карательную. Виселицы не пустовали, а всех, кто еще смел называться сербом, беспощадно расстреливали. Американский корреспондент Шепперт спрашивал офицеров из штаба генерала Потиорека:

— Господа, зачем вы казните сербских женщин?

Австрийские офицеры это отрицали:

— Вы плохо осведомлены! Да, мы уничтожаем сербских собак-мужчин, но мы не трогаем сербских кошек-женщин…

Получив новую помощь от России и Франции, сербская армия неожиданно оправилась, воевода Путник подписал приказ.

— Лучше смерть, нежели стыд оккупации, — сказал он.

В канун 1915 года сербы снова перешли в наступление. За двенадцать дней свирепых боев сербы — в который раз! — снова наголову разбили войска Потиорека, от армии которого осталась едва ли половина того, что было. При развернутых знаменах победоносная армия Сербии вернулась в поверженный Белград, и над руинами славянской столицы вновь развернулось сербское знамя… В эти дни Потиореку доложили:

— Что делать? Наши солдаты ложатся на землю и не встают. А если их бить, они вскакивают и убегают в тыл…

А на что тогда пушки?

Потиорек распорядился:

— Все отступающие полки расстреливать из орудий тяжелой артиллерии. Если они боялись умереть от сербской пули, так пусть их разнесут свои же крупнокалиберные снаряды…

Вена погрузилась в траурное уныние. «Старый и добрый монарх» шлепнул на стене кабинета очередную муху, когда ему доложили о разгроме армии на Балканах. Английская газета «Морнинг пост» сообщала, что Франц Иосиф при этом известии «склонился над письменным столом и горько заплакал…».

Ну, так ему и надо!

\* \* \*

Я попал в Сербию, когда линия фронта на Дрине стабилизировалась, шла позиционная война, сдобренная лихостью партизанщины. Сербия снова была очищена от австрийцев, теперь, сами голодные, сербы не знали, чем прокормить многотысячные оравы пленных. Я видел, как перегоняли табуны трофейных лошадей, выхоленных на конских заводах Венгрии, сербские солдаты делили между полками трофейные пушки (без снарядов) и пулеметы (без патронов), а знамена дивизий армии Потиорека отдавали бедным — на тряпки. Полы мыть, что ли?..

Однако радоваться было рано. Перейдя к обороне, австрийская армия укреплялась за счет свежих германских дивизий генерала Макензена, а сербское воинство, обескровленное в боях, едва насчитывало сто тысяч штыков. Сама же идея «великой Сербии» тоже давала трещины, словно корабль, выброшенный бурей на рифы и осужденный развалиться на куски. Я сам не раз слышал, как говорили вислоусые сербские ветераны:

— Великая Сербия нужна королям, но пусть лучше возникнет ЮГОСЛАВИЯ, страна южных славян, чтобы серб с хорватом, а словенец с македонцем не кидались один на другого с ножами…

Не ясно было еще положение Болгарии, хотя поезда из Одессы по-прежнему ходили в Софию строго по расписанию, а от Софии до греческих Салоник, как в мирные дни, мчались комфортабельные вагоны международных экспрессов. Но полковник Артамонов, с которым мы встретились в Крагуеваце, сказал, что верить в нейтралитет Болгарии никак нельзя, и обругал царя Болгарии:

— Фердинандишко, собачий сын, не сегодня так завтра продаст всех «братушек» «Василию Федоровичу» из Берлина, и тогда на Балканах начнется такая заваруха — хоть беги…

Я заметил в Артамонове перемену. Свои прежние симпатии к Апису он перенес на королевича Александра. Сам же Александр, огрубевший от загара, отнесся ко мне с наигранным радушием. Королевич даже обнял меня, рекомендуя мою персону всем офицерам штаба воеводы Путника — в таких словах:

— Господа, вот этот человек тратил на меня в Петербурге карманные деньги, чтобы угостить меня мороженым с вафлями… Мы вместе постигали уроки правоведения на Фонтанке!

Уже извещенный о перипетиях моей судьбы, которая из лесов Пруссии привела меня в лагерь Гальбе, а теперь снова воскрешала меня на высотах Балкан, королевич осведомился, кто, по моему мнению, самый даровитый из немецких генералов:

— Гинденбург? Или все-таки Людендорф?

— Макс Гоффман, — ответил я.

— А что вы знаете об Августе Макензене, который начинает подпирать Потиорека с тыла? Это правда, что он был адъютантом самого Шлифена и потому нам следует его бояться?

— Бояться не надо, ибо наш генерал Куропаткин тоже ведь был адъютантом великого Скобелева, но страха японцам не внушал… Ученик не всегда превосходит своего учителя!

Обычный разговор, ни к чему не обязывающий. Но для себя я отметил подобострастие Артамонова и заискивающий тон речей королевича, который не постыдился помянуть даже порцию мороженого, купленного на мои копейки. Александр обращался ко мне в таком тоне, словно вдруг пожалел реставрировать нашу детскую дружбу. Невольно думалось: к чему бы это? Мне, честно говоря, не хотелось бы услышать вопрос королевича — ради чего я появился в Сербии, но он почему-то не спросил меня об этом, и тогда я сам сказал — как бы между прочим:

— Мне желательно видеть батальон русских добровольцев… молодежь! Студенты, еще не обстрелянные.

— Да, средь них немало потерь, — кивнул королевич…

Я приглядывался ко всему и увидел столько горя, столько я сострадал людям, что все мои прошлые испытания казались мне теперь сущей ерундой. Дороги Сербии были забиты умирающими беженцами; средь них, в таких же условиях, ничуть не отличаясь от беженцев, без жалоб умирали тысячи раненых. Возле складов Красного Креста сербы уже не стояли в очереди, а — лежали, ибо стоять уже не было сил от истощения, и эта лежащая очередь полумертвецов терпеливо выжидала от общины Международного Милосердия кусок хлеба или обрывок бинта, чтобы перевязать свои раны. Сыпной тиф свободно гулял по дорогам, не щадя ни генералов, ни даже врачей. Все беженцы устремлялись в Ниш, где размещалось правительство Сербии, но именно в Нише люди здоровые становились больными.

Я вернулся в Крагуевац — повидать Аписа, который может сказать мне то, чего не знали другие. На окраине города был развернут в палатках госпиталь русских врачей, приехавших в Сербию от имени Славянского Общества. Меня встретил хирург Николай Иванович Сычев, плотный здоровяк, который еще издали по какому-то наитию сразу определил во мне русского.

— Вы по какой части? Из Москвы или из Питера? Каким чертом занесло вас сюда? — засыпал он меня вопросами.

Я показал доктору на тихо плывущие облака:

— Свалился прямо оттуда… совсем недавно.

Сычев вдруг проявил сильное волнение:

— Если так, то где же ваш парашют?

— Удивлен, что вы о нем спрашиваете. Парашют отдал местным крестьянам. Наверное, сгодится на рубахи.

— С ума вы сошли! — закричал хирург. — У нас давно идут комки пакли вместо ватных тампонов, а из вашего парашюта, знаете ли, сколько бинтов мы смогли бы нарезать?

— Извините. Не догадался. Да и откуда мне знать о вашей нужде в перевязочных средствах. Неужели все так плохо?

Сычев злобно растоптал каблуком окурок, прислушался, как заливается криком раненый на операционном столе:

— Без наркоза! А вы и в самом деле свалились недавно?

— Да, прямиком из Италии.

— Ох, не верят сербы в этого союзника!

— А почему, как вы думаете, доктор?

— Боятся, ибо у наследников прегордого Рима еще не пропал давний зуд к величию. То им подавай Сомали, то Абиссинию, то Ливию, а теперь не откажутся и от Далматинского побережья. И вот что самое удивительное: чем больше бьют макаронников, тем сильнее растут их претензии… Пойду! — заключил Сычев. — А то, чувствую, мой ассистент совсем зарезал бедного серба… Слышите, как надрывается? Ну, а где мы возьмем наркоз?

Маленькая доля статистики, думаю, не помешает: к лету 1915 года в Сербии — от тифа и голода — умерли около 130 000 человек. Это — не считая тех, что убиты на фронте.

\* \* \*

Апис оставался виртуозом в сложном искусстве подавления чужой психики, а свои инквизиторские приемы доводил до совершенства. Едва я попал в его кабинет, как сразу же — от самых дверей! — уперся животом в ребро стола, за которым восседал сам Апис, все такой же могучий, как мифический бык, и черный от загара, словно дьявол после жаркой работы в адском пекле.

— Не испугался, друже? — спросил он меня.

— Нет.

— Молодец, если так… Любой австрийский шпион, от самых дверей напоровшись на меня, сразу шалеет, ибо люди привыкли видеть начальство в глубине кабинета. А тут…

На полу кабинета — вниз лицом — валялся мертвец.

— Он еще нужен? — спросил я о нем.

— Держу эту падаль для опознания, — кратко пояснил Апис. — Какой-то паршивый македонец служил в нашей армии, а продавал нас турецкой разведке. Садись.

— Куда?

— Прямо на стол. Поговорим, друже… Всем шпионам, утверждающим, что они «ничего не знают», кажется, что этим они спасают себе жизнь. Но жизнь они могут спасти только в том случае, если они что-то знают и об этом буду знать я!

Мертвый македонец не мешал нам говорить откровенно, наша беседа напоминала разговор старых друзей, которые повидались после долгой разлуки. Та зловещая ночь в королевском конаке, когда вылетали в окна трупы короля и королевы Драги, эта историческая ночь связывала меня и Аписа страшным единством. С крайним раздражением Апис признал, что его разведка, отлично налаженная до войны, стала давать перебои во время войны.

Помнится, я ответил Апису примерно так:

— Чем больше расширяется театр войны, тем шире раскрываются глаза профессионалов разведки, и не только у нас, но и во всех враждующих странах разведка ослепла, а сами разведчики зачастую выглядят как прожженные авантюристы…

— Где у вас самое слабое звено? — спросил Апис.

— Кажется, в Варшавском округе.

— А где самое сильное?

— Точно не могу ответить. Но, насколько я извещен в этом вопросе, мы стали сильны в лабораториях заводов Круппа, там работают русские генштабисты самого высокого класса.

— Ты хоть одного из них встретил в Эссене?

— Если бы и встретил, то я бы отвернулся…

Неожиданным был следующий вопрос Аписа:

— Предупреждал ли тебя о чем-либо Артамонов?

— Случая для серьезного разговора еще не возникало.

— Но скоро возникнет, — строго предупредил Апис. — А как прошла встреча с королевичем Александром?

— Он был крайне любезен…

Апис надолго замолк. Мы сидели на разных концах стола, оглядывая один другого с непонятным для меня напряжением. Затем полковник Апис сказал, что в сербской армии стали таинственно исчезать люди, которые слишком много знали:

— И я думаю, что враги «Черной руки» связаны даже не с Николой Пашичем, их опекает кто-то повыше… более хитрый и более изворотливый, имеющий право единолично принимать самые крутые решения… В меня однажды уже стреляли, — тихо добавил Апис. — Советую и тебе, друже, быть внимательнее, не обольщаясь любезностями королей, королев и королевичей.

Мне было нелегко подобрать слова для ответа:

— Война… к чему нам лишние страхи?

— Лишние? — внезапно выкрикнул Апис. — Так смотри…

Он извлек из-под стола бумажный сверток круглой формы, и сначала мне показалось, что в этом ворохе старых белградских газет Апис бережет головку деревенского сыра.

— Узнаешь, — вдруг спросил он меня.

Посреди письменного стола, как раз между нами, он водрузил голову майора Войя Танкосича, своего сподвижника по всяким тайным делам — правым и неправым, светлым и темным. Отчаянный вождь сербских партизан-комитатджей, так много сделавший для свободы южных славян, теперь слепо глядел на меня потухшими, словно выпитыми, глазами мертвеца.

— Откуда его голова? — спросил я.

— Могилу Танкосича осквернили австрияки, вышвырнув его из гроба, чтобы опозорить вождя комитатджей. Вот здесь, — показал Апис, вращая голову, словно драгоценную вазу, — именно здесь след от пули, попавшей ему в затылок… Да, в затылок, когда Танкосич ночевал в лесу. В лоб — это еще понятно, но пуля в затылке всегда подозрительна. Потому я говорю тебе — берегись… особенно по ночам! Железные пальцы нашей «Черной руки», собранные в мощный кулак, медленно разжимаются…

В эту ночь мне совсем не хотелось возвращаться в Ниш, переполненный тифозной заразой, не хотелось вообще видеть крышу над головой. Я нарочно выехал на бивуак батальона русских студентов-добровольцев. В основном здесь собирались москвичи, будущие филологи, историки, химики и физики, инженеры и писатели, готовые жертвовать своим будущим ради будущего страны, которой еще не было на географических картах. В густой ночи, пропитанной ароматами трав и пронизанной звучанием цикад, ярко и жгуче полыхал костер, по кругу ходил кувшин с местной ракией, и русские студенты, обняв друг друга за плечи, как побратимы-комитатджи, мерно покачивались в такт песни:

Быстры, как волны, дни нашей жизни. Что час, то короче наш жизненный путь. Налей же, товарищ, заздравную чашу. Кто знает, что будет у нас впереди?.. Впереди всех их ожидала неминуемая смерть!

…Апис предупредил меня, что «Черная рука», ослабев, уже разжимается, но Апис еще не сказал мне, что сейчас опасно для всех нас крепчает другая рука — «Белая».

3. «Белая рука»

Женщины рожают детей не для того, чтобы поедать их, как бесплатное мясо. Однако еще со времен Марата и Робеспьера слишком памятны слова вопроса, обращенного в будущее: «Неужели революция — это гидра, пожирающая собственных детей?» На кошмарном фоне массовых потрясений балканских народов разворачивались и отдельные драмы, где добро совокуплялось со злом. Свержение королевской четы Обреновичей в 1903 году сербы считали «революцией», но в каждой революции заводятся гнилостные черви, и, сначала невидимые, тихо ползающие в погребах высшей власти, для них еще недоступной, они постепенно разрастаются в жирных дремучих гадов, способных убийственно жалить. Так бывает, что мелкая тля, рожденная революцией, разбухает до размеров наглой рептилии, чтобы затем убивать тех, кто революцию делал, и втайне она ликует, почти со сладострастием наслаждаясь бессилием своих жертв…

В числе убийц династии Обреновичей был и малозаметный поручик Петар Живкович [19] , который, будучи одним из пальцев «Черной руки», сумел полюбиться Александру, сделавшись при нем «ордонанс-офицером» королевской гвардии. (Советский историк Ю. А. Писарев не щадит этого мерзавца: «Это был прожженный делец, не уступавший в искусстве интриги самому Александру. У него не было ничего святого, ему были чужды такие понятия, как честь, чувство долга и т. п. Сблизившись с Александром, он предал своих прежних соратников — Дмитриевича-Аписа и других участников заговора 1903 года… Александру он, Живкович, внушал мысль об установлении единоличной диктатуры».) Конечно, прежде всего им мешал Апис…

Теперь-то я понимаю, что им мешал даже я!

Виктор Алексеевич Артамонов имел с Живковичем какие-то потаенные шашни, но со мною военный атташе сделался осторожным; его поведение я мог объяснить лишь тем, что он подозревает во мне негласного ревизора, а может, и хитрого карьериста, который желает спихнуть его, чтобы занять его место. В беседах со мною атташе предпочитал делать намеки, но открыто не выражал своих мыслей. Между нами возникла странная игра, схожая с шахматной, и мне совсем не хотелось бы видеть в Артамонове соперника, обдумывающего коварную комбинацию, чтобы загнать меня в угол доски. «Очевидно, — размышлял я, — партия будет разыграна кем-то другим».

— Но знать бы мне — кем? — не раз спрашивал я себя…

Никола Пашич был человеком, желающим знать все, и, пожалуй, он знал все, что ему требовалось. Но выходить на контакт с ворчливым и хитрым стариком не входило в мои планы. Я вдруг ощутил себя в нежелательной изоляции, и единственное, что удерживало меня на поверхности событий, — это проверенная связь с Аписом и его подпольем, доставляющим немало тревог, но зато дающая мне здравое ощущение силы и правоты в разрешении общеславянских задач. Кого еще я мог бы назвать своим конфидентом? Старого короля Петра? Но король совсем одряхлел и уже заговаривался. Александра? Но делаться королевским сикофантом я, офицер российского Генштаба, не имел морального права, да и не придавал значения тем шаблонным любезностям, что сыплются, словно карнавальное конфетти, с высоты престолов. В ту пору мне казалось, что еще нет особых причин для беспокойства, ибо сам воевода Радомир Путник горою стоял за Аписа. Доктор Сычев — совсем нечаянно — надоумил меня:

— Какой раз мне велят осматривать воеводу Путника, заведомо предупреждая, что он болен, а я как врач должен лишь подтвердить его непригодность по болезни.

— И вы?

— А что я? Воевода здоров как бык. Но моим диагнозом, кажется, не совсем-то довольны. Требуют еще раз посмотреть Путника, вот я и смотрю… самому стыдно!

Невольно закралось подозрение: Путника хотят видеть больным и, отставив от службы, лишить Аписа поддержки воеводы. От кого же исходило желание устранить генералиссимуса, чтобы он не мешал удалению Аписа? Вопрос темный, как темна и воровская ночь, созданная для взлома с убийством. Но мрак этой ночи вдруг рассеялся, освещенный явлением Петара Живковича, внешне очень доброжелательного. Однако «ордонанс-офицер» желал вести разговор при свидетелях, и при нем, словно телохранитель, состоял поручик Коста Печанац [20] , обвешанный оружием с такой же щедростью, с какой вульгарная шлюха обвешивает себя ожерельями, браслетами, медальонами и серьгами.

— Разговор серьезный, — предупредил Живкович, — и я не начинал бы его, если бы не желание одного высокого лица.

— Королевича Александра? — сразу расшифровал я.

— Допустим, — нехотя согласился Живкович.

Он сказал: «Поражения на фронте, хаос в тылах, общий голод, повальные эпидемии, недовольство в армии, кризис в министерских верхах — все это никак не укрепляет власть молодого монарха, желающего сплотить нацию узами своей любви».

— Согласен, — сказал я, чтобы не сказать большего.

— В нашем всеобщем развале, — продолжал Живкович, — усиливается влияние «Черной руки», которая вторгается не только в дела войны, но и в сферы той политики, где давно воцарилась народная мудрость Николы Пашича, признанная всем миром. Коста, не дергайся, — неожиданно закончил речь Живкович.

Замечание было правильное, ибо при каждом движении Косты Печанаца на его поясе стукались четыре бомбы.

— Продолжайте, — сказал я, экономя слова.

— Рука-то белая, только перчатка черная, — вдруг произнес Печанац. — Я сам подчинен полковнику Апису, но…

Продолжения фразы не последовало. Печанац вынул расческу и стал располагать свои волосы на идеальный прямой пробор, будто от состояния его шевелюры зависело очень многое.

— Но и черная рука может стать чистой, если поверх нее натянуть белую перчатку, — заговорил Живкович. Мне эта игра в кошки-мышки надоела, я просил выражаться точнее. — Точнее, — ответил Живкович, — эта «Черная рука» стала сильно мешать его высочеству Александру. Если его отец еще терпел выходки Аписа, то Александр Карагеоргиевич готов ампутировать всю «Черную руку», чтобы гангрена разложения не распространялась далее… Сейчас на карту поставлено все!

— И даже наши жизни, не так ли? — спросил я…

Все ясно, как божий день. Петр Живкович сначала прощупывал меня, словно мясник агнца перед закланием, а затем ринулся на меня в атаку, чтобы оторвать меня от Аписа. Для этого он выложил передо мною такого туза, которого нечем крыть, ибо в моей колоде не было козырей.

— Ты, друже, до сих пор не сомневаешься, что русского посла Гартвига отравил венский посол барон Гизль?

— В этом уверены даже в Петербурге, — отвечал я.

— Напрасно! — съязвил Живкович. — Гартвига отравил Апис, ибо Гартвиг вступался за авторитет премьера Николы Пашича.

Если бы это было правдой, я, наверное, должен бы свалиться в глубоком обмороке. Но я не поверил Живковичу, и он — хитрая бестия! — сразу ощутил мое недоверие. Тогда, чтобы придать своим словам большую достоверность, он таинственно прошептал мне на ухо — будто по секрету от Печанаца:

— Да, это Апис отравил Гартвига. Но зато Апис отказался отравить королевича Георгия, хотя его смерть расчистила бы дорогу к престолу для Александра…

Нужны слова. Я решил отделаться шуткой:

— Вижу, что не все благополучно в королевстве Датском, — кажется, так говорил еще старина Гамлет?

— Среди сербов полно всяких Гамлетов, — отпрянул от меня Живкович, — и они еще ждут своего Шекспира.

— А может, и… прокурора, которого явно не хватает, чтобы разобраться в ваших криминальных делах.

— Вот именно! — не растерялся Живкович. — Так давайте сообща отмоем свои руки, чтобы из черных они стали белыми…

Я предупредил Живковича, что обо всем слышанном вынужден поставить в известность не только Артамонова, но и русского посла — князя Григория Николаевича Трубецкого.

— Артамонов и так все знает, — проворчал Печанац, громко продув расческу от волос, застрявших между ее зубьями, — а посла в наши дела не впутывайте. Иначе кончится плохо…

Я понял, что эта угроза относилась лично ко мне.

\* \* \*

Обещаю не утомлять читателя датами или топонимикой, стараясь донести до него лишь самую суть событий.

Даже на стенах домов Ниша были размалеваны броские надписи: Vivent les alli'es! (Да здравствуют союзники!), но союзники безнадежно застряли в Дарданеллах. Под Одессой срочно формировалась армия в сто тысяч штыков для отправки в Сербию, однако Румыния не пропускала наши войска через свои земли. На пристанях Дуная работали наши матросы, русские мастеровые возводили разрушенные мосты, а минные катера Черноморского флота спешно ставили мины в изгибах дунайских фарватеров.

Австрия сама уже не могла справиться с маленькой Сербией, и задушить ее взялись немцы во главе с Макензеном. В октябре 1915 года Белград снова погибал под фугасами, пять тысяч свежих крестов вписались в тогдашний некрополь столицы. Два дня шли уличные бои, заодно с сербами геройски сражались за Белград русские матросы. Над Дунаем задувал ураганный ветер «кассава», разбрасывая немецкие паромы и пароходы, затем хлынули проливные дожди, дивизии Макензена форсировали Дунай и Саву — началось наступление противника, хорошо подготовленное. Никола Пашич издал старческий стон, умоляя Антанту о помощи, но лондонская «Дейли мейл» ответила ему передовицей с характерным названием: «Уже поздно…».

Поздно! Макензен давил на Сербию с севера и запада, а с востока фронт Сербии был обнажен, и в эту «прореху» фронта «собачий сын» царь Фердинанд, продавший Болгарию немцам, бросил свои войска. Они сразу вломились на станцию города Вране, разбросали лопатами полотно, взорвали телеграф — отныне сербы лишились связи с Салониками, где союзники выстраивали новый фронт, дабы не пропустить Макензена в Турцию. Между армиями сербов и союзников «собачий сын» вбил крепкий клин.

В союзных штабах Антанты академически рассуждали:

— Сербия сама виновата! Будь сербы благоразумнее, они бы заранее уступили Македонию царю Фердинанду, а теперь… Теперь поздно! Пусть сербы бегут куда глаза глядят…

Правда, англичане и французы пытались вернуть станцию Вране, но были отброшены обратно в Салоники, где маршировали под сводами триумфальной арки времен Марка Аврелия, прелестные гречанки дарили союзникам очаровательные улыбки, а заводы «Метакса» гнали для них превосходный коньяк. Черноморский флот держал давление в котлах, чтобы прийти на помощь. Петербург — устами Сазонова — взывал к странам Антанты:

— У нас собраны сто тысяч людей, но им не хватает винтовок. Дайте нам оружие, и мы вышвырнем немцев из Сербии, словно нашкодивших щенят… Только оружия! А кровь будет наша…

Радомир Путник принял решение, и оно было правильным, ибо оно было единственным, спасающим сербов от окружения…

— Будем отходить на Черногорию — через Албанию…

Из Ниша правительство перебралось в Кралево, за ним тронулся дипломатический корпус. Наступили осенние холода, послы и посланники раздавали беженцам пачки секретных архивов:

— Это вам для разведения костров… погрейтесь! Теперь от секретов политики одна польза — лишь бы горели пожарче…

Войска перемешались с беженцами, и часто солдат тащил на себе сундук с пожитками, а босая крестьянка несла на плече ружье. Пленные австрийцы брели по дорогам заодно с беженцами, проклиная свою судьбу — в один голос с сербами. Иные, обессилев, рыдали на обочинах, нищенски моля о подаянии:

— Сербы! Я не хотел вам горя… не виноват… меня послали! Поймите меня, простите. Хоть кто-нибудь… хлеба!

Пашич распорядился отворить все тюрьмы, чтобы заключенные подбирали на дорогах умирающих, чтобы подсаживали на телеги отставших детей. Я застал доктора Сычева на окраине Кралево, где была слесарная мастерская. С помощью ассистентки Логиновой-Радецкой он что-то обтачивал на токарном станке. В суппорте станка вращалась обыкновенная вилка из мельхиора.

— Я еще не сошел с ума! — закричал он мне. — Но я скоро сойду с ума, ибо нет инструментов для операций… Видите, из вилки у меня получается великолепный скальпель!

Социал-демократ Данила Лепчевич, депутат народной Скупщины, писал, что особенно много беженцев было из Белграда и его окрестностей, бежавших от диких зверств, творимых солдатами Макензена: «Сейчас, когда неприятель наступает со всех сторон, бегство происходит днем и ночью, на лошадях, по железным дорогам, пешком. Многочисленные беженцы не имеют кровли над головой, никто не получает даже краюхи хлеба. Детишки, полуголые и босые, пропадают в холодные ночи. Все трактиры и погреба переполнены. Люди повсюду — за столами, на столах, под столами на полу, а некоторые научились спать стоя…»

Артамонова я встретил в пути лишь однажды.

— Видите, что творится? — показал он вдоль дороги. — Сахара славится своими песками, Россия сугробами снега, Карпаты ветрами, а Сербия грязью, какой нет нигде в мире… Что там люди? Вы посмотрите на лошадей, тянущих пушки. Это же бесформенные груды липкой грязи, и даже сразу не разберешь, где тут лошадиная морда, а где ствол орудия…

На этом мы и расстались; по слухам, Артамонов примкнул к свите Александра и Пашича, которые в авангарде драпающей армии спешили к берегам Адриатического моря, итальянцы обещали прислать для них миноносец. Зато я повстречал безнадежно застрявшую в грязи коляску русского посла, князя Трубецкого, которого знал еще в Петербурге как сотрудника газеты «Русские Ведомости» (в неурожайные годы князь публиковал статьи о помощи голодающим). Сейчас он сидел на облучке, изо всех сил стараясь подражать залихватскому кучеру.

— Не удивляйтесь, полковник! Наверное, нечто подобное испытывали наши предки во времена нашествия Тамерлана… Вы случайно, — спросил князь, — не умеете ли материться?

— Умею, да только зачем вам это?

— Голубчик, поматеритесь, пожалуйста, как московский извозчик, чтобы мои пегасы воспрянули… Просто беда! Анатолий Дуров в цирке даже на кошках ездил, а мои клячи…

— Перестаньте, князь. Лучше сбросьте с коляски свой гигантский кофр с никому не нужными бумагами.

— Хороши бумаги! Тут миллионы лежат.

— Откуда? — удивился я.

— Русские люди по копеечке собирали, дабы помочь братьям-славянам [21] , а вы говорите «бумаги». Ннно, дохлые! Ннно-о…

Студенты-добровольцы приволокли пленного немца из дивизии Макензена, и меня, оборванного, грязного и голодного, больше всего удивило, что пленный был гладко выбрит.

— Допрашивать будете? — спросил студент-химик.

— Нет. И так все ясно. Обыщите его.

В ранце солдата обнаружили «железный паек» (в русской армии он назывался «неприкосновенным запасом»). В пайке были две банки мясных консервов и две банки консервов из овощей, две коробки пресных галет, пачка отличного кофе и фляжка со шнапсом; затем следовала всякая мелочь: спички, табак, катушка ниток с иголкой, бинты и сверток лейкопластыря. Но для меня, офицера разведки, интереснее всего оказалась найденная в кармане солдата свежая «Берлинер тагенблатт», в которой четко говорилось: «Было бы желательно, чтобы сербы опомнились уже сейчас и вовремя сообразили, что всякое сопротивление с их стороны БЕСПОЛЕЗНО…» Иначе говоря, в этих словах я сразу усмотрел намек на то, что Сербия еще может остаться целой, если она согласится на условия сепаратного мира.

Тут я взялся за «железный паек».

— Иди, — сказал я пленному немцу.

— Куда? — оторопел он, наблюдая за мной, мирно жующим.

— Проваливай ко всем чертям. А если еще раз попадешься, я повешу тебя на первом же гвозде, словно чумную крысу…

Потом я пригласил русских студентов разделить со мной трапезу. Странно, но я твердо запомнил их имена — Алеша Румянцев и Коля Колышкин, оба из Московского университета. Вскоре мне встретился доктор Сычев, сообщивший об их гибели.

— Королевич Александр принуждал меня лечить воеводу Путника, совершенно здорового, а теперь он и впрямь заболел. Но в госпиталь его не заманить. Путник решил разделить судьбу армии, и солдаты несут его на носилках…

Сербская армия отступала и дальше — по трупам!

4. Весь народ в эмиграции

Бывает ли так, чтобы весь народ эмигрировал?

Именно это и случилось с сербами…

Все, кто мог идти, те еще шли, а которые не могли идти, те умирали. Когда отступает целая армия или бегут от врага жители города — это еще можно представить, но когда весь народ покидает родину, чтобы не оставаться под пятою врагов, — это уже национальное бедствие, катастрофа.

Это попросту очень страшно…

Великий исход возглавлял престарелый король Петр Карагеоргиевич — с посохом в руке, обутый в опанки, набитые сеном, высоко поднявший воротник солдатской шинели. Он молчал и шел, даже не оглядываясь назад, равнодушно съедая то, что ему давали как милостыню, а если не давали, он ничего не просил, механически передвигая ноги, как заведенный истукан, ничего не видящий, ничего не желающий слышать. Многим казалось, что старый король превратился в тихо помешанного, до его сознания вряд ли уже доходит весь дичайший смысл трагического шествия множества тысяч людей, обреченных за ним следовать.

А за ним шли солдаты и чиновники, профессора и депутаты Скупщины, рабочие и министры, писатели и лесорубы, актрисы и монахи, педагоги и овцеводы, портнихи и гимназисты, шли иностранные дипломаты, с почетом аккредитованные при дворе короля, который двора уже не имел, а за их спинами — крики страданий, плач детей, стоны раненых, проклятья и ругань… Вся эта гигантская толпа (числом не менее четверти миллиона) поднималась все выше и выше — в нелюдимые ущелья Черногории, и люди еще не знали, что тысячи падут, не выдержав голода, стужи и крутизны на скалистых тропах…

Черногорский король Никола еще сидел на мешках с деньгами в своем Цетине, как старый орел в неприступном гнезде на вершине скалы, а сербы стремились в Шкодер, ближе к морю, где ожидалась помощь от итальянцев. Слухи, как и вши, заводятся в обстановке ужаса, и люди томились слабой надеждой:

— Союзники не оставят… из Бриндизи уже идут пароходы с зерном, а русские завалят нас валенками и полушубками…

Надеялись на склады в Призрене, но их захватили болгары; с севера Черногорию обступали немецкие войска, и сербы, рассеянные ими, спасались высоко в горах, где еще долго после войны пастухи находили скелеты, припавшие к ржавым винтовкам. Оставалась надежда на город Печ, где в хлевах — по слухам — полно всякой скотины, но скот уже выгнали в горы, животные погибли на вершинах гор от бескормицы и безводья, и мимо их замерзших туш солдаты на руках прокатывали в пропасть орудия. Декабрь обрушил на Черногорию морозные бураны, каких не помнили местные старожилы, и беженцы утопали в глубоких снегах, а многие так и оставались в сугробах, воздев над собою руки, как застывшие в трагической муке изваяния.

Немецкие корреспонденты, словно шакалы, шли по следам отступающего народа, интригующе сообщая берлинским и венским читателям: «Кровь эрцгерцога Франца Фердинанда, мученически погибшего, будет смыта потоками сербской крови. Мы присутствуем при торжественном акте исторического возмездия… В канавах, вдоль дорог и на пустырях — всюду мы видим трупы, распростертые на земле в одеждах крестьян и солдат. Здесь же лежат скорченные фигуры женщин и детей. Были ли они убиты или сами погибли от голода и тифа? Наверное, они лежат здесь не первый день, так как их лица уже обезображены укусами диких хищников, а глаза давно выклеваны воронами…»

Под навесом скалы я случайно увидел Сычева, который, чтобы не замерзнуть, сжигал книгу. Одна страница корчилась в пламени, быстро сгорая, но при свете ее доктор успевал прочитать вторую, после чего поджигал ее от первой, уже догорающей. Так страница за страницей: одна горит, другая читается.

— Вставайте! — велел я ему. — Не надейтесь, что одной книги вам хватит до утра. Вставайте и можете опереться на меня. Здесь недалеко черногорская деревня. Может, накормят…

Увы, в хижинах черногорцев, похожих на сакли наших кавказцев, было хоть шаром покати, а если что и оставалось, то никто не отдавал за сербские динары, уже обесцененные. Но я достал русский червонец, оживив взор старика-черногорца.

— Ты прав, отец, что Сербии больше не стало, — сказал я. — Но Россия непобедима, как и этот рубль. Дай нам кусок сыра, уступи до утра место на своих полатях…

Был уже конец декабря, когда беженцы из Сербии, вместе с остатками армии, перевалили Черную Гору, заметенную снегами, и, оставив после себя тысячи застывших трупов, вышли в жуткие теснины северной Албании, страны дикой и неприветливой, но зато нейтральной. В одном из домов Шкодера я застал королевича Александра, который давно покинул свою армию на произвол судьбы, считал ее обреченной (но вместе с армией оставил и своего отца). В горнице было тепло и чисто. Сытый албанский котище терся о ноги его королевского высочества. Не в меру услужливый Петар Живкович кулаками взбивал на постели пестрые подушки для ночлега, и без того пышные. Албанская «Шкодра» (она же итальянское «Скутари») почти граничила с морем, здесь когда-то жили турецкие властелины, насыщая свои гаремы славянскими одалисками, а теперь на оскудевшем базаре города дряхлые и ослепшие головорезы, дети и внуки турецких янычар, алчно торговали щепотками табаку для набивания трубки.

— Воевода Путник болен, — сразу сообщил мне Александр, — и потому, уважая его чин и былые заслуги, я удаляю воеводу в отставку. Дни черногорского короля Николы сочтены, с моря его «гнездо» обстреливают дальнобойные пушки австрийских дредноутов. Но старый хитрец так удачно сосватал своих дочерей, что его всегда примут и в Риме и в Петербурге. А его сын Данила, женатый на Мекленбургской принцессе, уже мотает деньги на лучших курортах Европы… кстати, ваши деньги!

Данила транжирил русские дотации, получаемые из России регулярно, словно чиновник жалованье. Я молча кивнул.

— Но принц Данила, — продолжал Александр, — уже предал великое славянское дело. Он ищет связи с Веною, чтобы Черногория заключила с Австрией сепаратный мир, и, снова сидя на Черной Горе, они будут спокойно наблюдать, как в низинах немцы станут доколачивать нас — сербов…

Все было так. Но из сказанного я выделил самое главное, что касалось и меня лично: убирая с дороги воеводу Путника, королевич готовит падение Аписа, а премьер Пашич, увидев Аписа падающим, спихнет его в пропасть. Цетине скоро взяли австрийцы, в подвалах королевского конака они обнаружили громадные завалы мешков с деньгами — вот куда ссыпал Никола «дотации» от русских царей. Мое молчание становилось уже неуместным, я должен был что-то сказать:

— Да, я знаю, что Франц Иосиф согласен на перемирие с Николой, но горные племена морачан, васоевичей и сами черногорцы еще не выпустили ружей из своих рук…

Но Черногория уже подписала акт о капитуляции.

\* \* \*

В этом разговоре, который закончился деловитой репликой Живковича, что постель готова (а значит, мне следовало удалиться), осталось что-то недосказанное, и я решил выложить все начистоту, но не Артамонову, который сделался клевретом Карагеоргиевичей, а самому посланнику — князю Трубецкому. Выслушав от меня смысл прежней беседы с Петаром Живковичем, включая и явную клевету, возводимую им на Аписа, будто отравившего русского посла Гартвига, Григорий Николаевич на мой длительный монолог ответил своим монологом:

— Война не излечила болезнь Сербии, а лишь загнала ее в глубь государственного организма, где она и созревает, словно раковая опухоль. Ни молодой Александр, ни маститый Пашич не желают даже слышать о создании «Югославии», утешаясь мыслью о возрождении «Великой Сербии», чтобы подчинить себе всех балканских славян. Вообще-то, — вдруг сказал князь Трубецкой, — я не верю здесь никому — ни королевичу, ни министрам Пашича, ни вашему Апису. Не стоит забывать, что Сербия — классическая страна заговоров, а нравы времен Борджиа иногда воскресают с кинжалом под плащом, повторяя историю…

— Вы имели честь беседовать с Пашичем? — спросил я.

— Да. Старик сказал, что, если союзники не окажут помощи, капитуляция Сербии неизбежна. Только в новогоднюю ночь от голода умерла рота сербских солдат… От голода! А эти проклятые итальянцы не дают кораблей для подвоза хлеба. Как будто в Европе все сговорились уморить народ Сербии…

Ради пущей достоверности процитирую очевидцев. «Изнуренные солдаты входили в Скутари малыми группами без намека на военную организацию… многие без оружия. Все выглядели крайне плохо, двигались с крайним трудом, как живые трупы. Худые, хмурые, черные лица, погасшие взоры… хлеб — вот единственное слово, слетавшее с их почерневших уст». Так писал французский корреспондент, а историк Ф. Дейта распахнул занавес трагедии еще шире: «Скутари и весь албанский берег — обширный госпиталь под открытым небом, где умирали тысячи, истощившие себя отступлением. Улицы Скутари завалены трупами, немецкие аэропланы бросают бомбы на этих несчастных, а у них нет даже сил, чтобы поднять винтовку…»

Да, так было. Но не только мне, а даже Пашичу хотелось верить, что в нейтральной Албании сербская армия оправится, беженцы опомнятся от пережитого. Однако сербам мешали сами албанцы, они не пускали больных к врачам, гнали солдат из своих пустующих казарм, а женщинам с детьми отказывали в приюте. Мало того, они убивали и грабили ослабевших людей, ни мольбы, ни слезы не трогали потомков безжалостных янычар: «Мы вас сюда не звали! — был один ответ. — Если вам здесь не нравится, так убирайтесь кобыле под хвост…» Чужбина никак не может быть отчим домом, но земля Албании стала братской могилой для многих тысяч сербских семейств, — недаром же в памяти сербского народа пребывание в Скутари сохранилось навеки под именем «АЛБАНСКОЙ ГОЛГОФЫ». Англичане с французами давно обещали Пашичу насытить голодных, Италия бралась доставить провизию и медикаменты морем. Но все грузы так и остались валяться на причалах Бриндизи, ибо итальянские адмиралы страшились австрийского флота, дымившего в Триесте из труб могучих дредноутов. Франция, правда, дала Италии двенадцать миноносцев, но зато Англия, державшая на Мальте большую эскадру, не ударила палец о палец, совершенно равнодушная к делам погибающей Сербии.

— Мы люди простые, — рассудил Никола Пашич, — и питаемся соками народной мудрости, которая гласит издревле: если корыто не идет к свинье, свинья сама бежит к корыту…

На основании этого афоризма сербские изгои тронулись до порта Сан-Джованни-ди-Медуа, куда итальянцам легче доставить провизию. К сожалению, этот городишко с таким прелестным названием был не готов принять беженцев, которые остались под открытым небом, а пшеничная мука таилась в трюмах итальянского парохода. Впрочем, капитан-итальянец оказался умнее всех:

— Да берите сами, кому сколько нужно. Макароны у вас не получатся, но поджарить лепешку любая баба сумеет…

Вдруг появился английский миноносец, с завидной лихостью подхвативший с причала казну Карагеоргиевичей. Королевича Александра я застал за укладкою чемоданов. Тут я выслушал от него все-все, что было недосказано им ранее:

— Теперь, мой друг, сами видите, чего нам стоили тайные происки афериста Аписа. Это он, это его проклятая «Черная рука» сдавили горло нашей священной монархии. Теперь я разглядел его подлинное нутро — нутро анархиста, карбонария, плута и масона, желающего смерти всем венценосным особам Европы. Если бы не эта сволочь, разве бы я остался при своих чемоданах, вынужденный удирать и дальше… Но чтобы разжать его «Черную руку», — быстро договорил королевич, — потребуется усилие «Белой руки», сцепленной в клятве перед престолом.

Все это Александр выпалил залпом, как давно продуманное, потом привлек меня к себе и поцеловал в лоб.

— Надеюсь, — сказал он тихо, — Петар Живкович уже предупредил вас, что я меняю свои перчатки. Советую и вам отбросить иллюзии о мифической «Югославии», чтобы верить, как верю и я, в божественный ренессанс «Великой Сербии». Не стану говорить вам — прощайте, ибо заведомо знаю, что ваше решение будет правильным, мы еще встретимся…

Только тут я понял, что мое отречение от Аписа — главное условие для существования на этой многострадальной земле, где упокоились предки моей бедной матери. Сейчас в Александре я увидел… врага. Я ведь знал, что он и раньше боялся Аписа, сознательно льстил ему, сам напросился в губительное подполье «Черной руки». Но и ненавидел он Аписа, как только может слабая личность ненавидеть человека сильного духом и телом. Тут вошел Петар Живкович и, присев на корточки, стал защелкивать замки королевских чемоданов, при этом каждый щелчок напоминал мне щелчки взводимых курков…

За горизонтом растворился дым отличных британских кардиффов, миноносец увозил прочь Александра и премьера Пашича, а войска и беженцы остались на берегу… Чего ждать?

\* \* \*

— Надо ждать, что завтра снова явится британский миноносец и заберет всех нас… со всем нашим барахлом, от которого остались жалкие крохи, — сказал мне Артамонов.

— А что армия? Что, наконец, массы беженцев?

— С ними все ясно. Как только флот австрияков перестанет вонять перед нами дымом и уберется в Триест, всех сербов союзные корабли эвакуируют на остров Корфу… Вы там были?

— Никогда.

— Это рай, — сказал Артамонов. — Недаром же все миллионеры Европы понастроили на Корфу свои великолепные виллы. Очаровательные гречанки, прекрасный климат. Природа как в ботаническом саду. Нет картошки, зато апельсинами кормят свиней…

Возвышенный панегирик красотам Корфу я перебил словами, что королевич Александр предложил мне свою «Белую руку». Надо было видеть, какой ужас исказил лицо Артамонова при этих словах — он даже отступил в угол, сжался:

— И вы… вы… неужели вы отказались?

По его страху я понял, что Артамонов уже изменил Апису, впредь согласный тешить свое честолюбие монархическим пожатием «Белой руки». Овладев собою, он строго предупредил меня:

— Учтите, на карту поставлено очень многое, и, может быть, даже покатится в канаву чья-то дельная голова…

Сначала я расценил эти слова чересчур упрощенно, ибо слишком уж много людей теряло головы, но по выражению лица Артамонова я понял, что он вложил в свою речь слишком жестокий смысл. Следовало дать достойный ответ на его угрозы.

— Не пугайте меня, — сказал я как можно развязнее. — Я ведь не шпион в стане врагов, которого могут повесить, я русский друг в стане союзников. Так кого мне бояться?

Артамонов помедлил с ответом:

— В полковника Аписа вчера опять стреляли.

— И конечно из-за угла?

— Вы догадливы.

— И конечно стрелявший остался неизвестен?

— Было бы глупо остаться ему известным…

Решено! Я застал Аписа спокойным (или почти спокойным). Он сказал, что армия и народ неуправляемы, об Александре и Пашиче солдаты говорят как о дезертирах и предателях, бежавших вместе с казной государства, и офицерам приходится сдерживать солдат, выступающих против монархии:

— Если бы не мое состояние, я бы сейчас запросто свергнул Карагеоргиевичей, как когда-то мы ликвидировали династию Обреновичей. Но делать сербскую революцию в паршивом албанском городишке столь же нелепо, как если бы вы, русские, свершали ее не у себя дома, а на островах Таити… подождем!

— Значит, вас все-таки ранили?

— Да. Прямо в мясо. Но ты же сам знаешь, какой я везучий, умеющий ловить пули руками и бросать их обратно в рыло тому, кто стрелял. Если королевич Александр решил от меня избавиться, то прежде я избавлю страну от его высочества…

Я ответил, что цветовая символика двух враждующих «рук» слишком выразительна по своей социальной разнице: первая возникла из Дунайской казармы офицеров, вышедших из низов народа, вторая же бесшумно явилась из потемок королевского конака. Апис почему-то воспринял мои слова равнодушно.

— Я дьявольски устал за эти проклятые дни, — ответил он и, присев на постель, сковырнул с ног сапожищи. — За меня не стоит бояться. Во мне прочно сидят три пули, но они никогда не мешали мне наслаждаться радостями жизни. Мой девиз остается прежним: «Уедненье или смрт!» Через горы трупов, наваленных вокруг меня, словно мусор, я уже прозреваю в будущем новую страну без королей — ЮГОСЛАВИЮ! Кто осмелится мешать мне в этом деле — тому пуля в лоб, и катись в яму…

5. Любовь и братание

Напиши, так не поверят, что тогда в общении противников еще уцелели остатки рыцарских нравов, чего совсем не стало в военной морали гитлеровцев. Наш французский пароход, переполненный сербскими воинами и беженцами, был задержан в море германской подлодкой, которая с шумом вынырнула на нашем курсе. Молодой немецкий офицер в свитере и с лицом, обрамленным шотландской бородкой, поднялся по трапу на палубу, невольно наводя ужас на всех пассажиров.

— Имею указание снять всех русских, после чего можете продолжать свой путь. Итак, русских прошу к трапу…

Конечно, среди множества больных и раненых было немало наших добровольцев. Но все они молчали, не желая оказаться в плену. Молчал и я. Вперед осмелился выступить один лишь Николай Иванович Сычев, сказавший подводнику по-немецки:

— Молодой человек, я русский врач. Вряд ли я составлю вам приятную компанию, чтобы заодно с вами нырять в этой дурацкой железной бочке. И вы не имеете права арестовывать меня, лишая тем самым больных людей медицинской помощи.

Немецкий офицер учтиво козырнул Сычеву:

— Извините, герр доктор! — И его субмарина погрузилась…

Италия, ссылаясь на боязнь эпидемии, отказала нам, сильно завшивленным, в своем убежище, римская Консульта желала спровадить нас на остров Крит, чтобы мы там тихо и мирно передохнули, никому не мешая. Англия, правда, обещала отличную санобработку, но при условии, что сербы грудью станут на защиту подступов к Суэцкому каналу. Франция же сговорилась с Россией, чтобы сербы сначала отдохнули на греческом острове Корфу, а потом их отправят для укрепления фронта в Салониках.

Вот мы и плыли…

Здесь не место для скрупулезной бухгалтерии, чтобы подсчитать, сколько было солдат в сербской армии и сколько теперь осталось; скажу лишь одно: с нами плыли ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ, потерявших папу и не знавших, куда делась их мама. А что мы, русские, ведали о Корфу? Едино лишь лирику старых преданий. Когда эскадра адмирала Федора Ушакова сражалась в этих краях, русские создали здесь Республику Семи Островов, многие переженились на гречанках, увезя их в Россию, на острове Корфу свято хранилась память о благородстве русских людей.

Нынешний Корфу был облюбован титулованной знатью, остров напоминал экзотический парк, наполненный ароматами, в кипарисовых рощах укрывались роскошные виллы и климатические курорты. Но в самом городе немудреные дома-коробки (которыми, наверное, здорово бы восхитился Корбюзье) излучали от своих стен нестерпимый жар, словно раскаленные противни. Мне-то еще повезло — я устроился в дешевом отеле, на самой окраине, и по утрам меня будила «пиккола-итальяна», девочка лет семи, распевавшая трогательные серенады под музыку нищенского оркестра — из двух гитар и пяти мандолин. Но райский Корфу, наполненный дворцами, руинами и памятниками, стал для сербов островом страданий. Смертность не убавлялась, а кладбищ не хватало, потому мертвецов топили в море, подальше от берегов, а крохотный островок Вид с древней крепостью превратился в «покойницкую»: сюда свозили тех, кто еще не умер, но должен умереть, и люди знали, что они обречены, а над «островом смерти» с утра до ночи кружили тучи стервятников, орущих от восторга небывалой сытости….

Вот уж не думал я тогда о любви! Но она пришла, неожиданная, как удар молнии при ясном небе; одно лишь имя женщины — Кассандра — напоминал мне о взятии Трои, где Кассандра досталась в добычу мне, новому Агамемнону в заплатанных штанах и в раздрызганных опанках. Нас свел случай. Я познакомился с Аристидом Кариади, который до войны спекулировал в Одессе оливковым маслом и теперь крайне сожалел, что война поневоле принудит русских полюбить масло подсолнечное. Кассандра была его дочерью, уже овдовевшей, но бездетной. Слушая дифирамбы отца, посвященные бочкам с оливковым маслом, она запускала гибкие руки под скатерть, и мои пальцы погибали в хрусте ее пальцев, словно жертва, угодившая в сплетение щупалец осьминога.

Кассандра жаждала любви и получила ее. Не жалею! Сколько счастья испытал я в эти краткие душные ночи, когда рядом со мною засыпала эта некрасивая, но пылкая гречанка, казавшаяся мне самой прекрасной женщиной на свете. Зато как убивалась моя Кассандра, как страдала она, вдруг известившись, что воинский долг повелевает мне отбыть в окопы Салоникского фронта. Плачущая навзрыд, облаченная во все черное, словно в день моего погребения, она провожала меня до пароходной пристани, забегая вперед, чтобы видеть мои глаза.

— Мы обязательно встретимся, — горячо убеждала она меня. — Обещай, что ты вернешься на Корфу… я буду ждать!

— Обещаю. Жди, — отвечал я.

— Когда? — допытывалась Кассандра.

— В шесть часов вечера после войны…

Так говорили женщинам тогда все мужчины. Так говорил и я, уверенный, что в шесть часов вечера после войны для всех нас откроется эпоха великого человеческого счастья и на развалинах Трои каждый Агамемнон отыщет свою алчущую любви Кассандру… Что я мог сказать тогда на прощание?

— Жди. Вернусь. Если ничего не случится…

Случилось многое. Но более никогда я не был на Корфу!

\* \* \*

Греция пока считалась нейтральной, а древние Салоники поминались на Руси как родина Кирилла и Мефодия, наших славянских первоучителей. Но в этом приморском городе было столько спекулянтов, шпионов и проституток, что имена наших просветителей поминались лишь всуе, как залежавшийся товар, на который трудно сыскать покупателя. Здесь ценилось совсем другое! Салоники сделались тогда центром международного шпионажа, где почти открыто торговала своеобразная «биржа секретов». В закоулках города таились самые матерые агенты Германии и стран Антанты, а завербованные ими женщины без стыда жертвовали своей красотой, чтобы за одну ночь узнать о незначительных переменах в устройстве нового английского пулемета…

Я появился в Салониках весною, когда Западный фронт наших союзников основательно вздрогнул от ужаса — там, во Фландрии, на берегах тишайшего Ипра, немцы впервые применили отравляющие вещества. Безобидные немецкие красители фирмы «Фарбениндустри», которые я пропускал через погранзаставу Граево, обернулись для миллионов людей сущей трагедией.

Настроение у меня было угнетенное. Радиостанция русских фронтов резко оборвала работу, из чего я догадался, что идет подготовка к переходу на новый шифр, которого полковник Артамонов не мог знать. Но он предупредил, что прежний шифр — не составляет тайны для немцев. Я спросил — не ошибается ли он?

— Вряд ли, — сумрачно ответил Артамонов. — Австрийцы, словно издеваясь над нами, этим же шифром передали в эфир, что для жителей оккупированного Белграда вводится месячная норма кукурузной муки в один килограмм на каждого человека… Кто-то, очевидно, гадит нам сверху.

— Может, снизу?

— Нет. Снизу гадят мелко, а сверху всегда крупно…

1915 год был для России крайне тяжелым. Весь военный потенциал Германии был запущен против Восточного фронта. Русское командование не раз обращалось к союзникам, чтобы они предприняли наступление на западе, дабы облегчить положение русской армии, погибавшей от нехватки вооружения. Но в ответ Генштаб получал от союзников жалобы на их трудности. Артамонов, появясь в Салониках, сообщил, что в России готовятся новые силы для Салоникского фронта, а про англичан сказал:

— Британский эгоизм известен. Они не дадут своих солдат, зато проведут множество конференций на тему: сколько им нужно солдат? Львиную долю трудов они возлагают на союзников, зато львиную долю чужих успехов приписывают себе…

Новости из России не радовали. Немцам удалось создать непрерывный фронт — от Риги до Багдада, а когда к ним примкнули царская Болгария и султанская Турция, Россия оказалась изолированной от союзников с юга. Черное море, как говорили моряки, действительно, стало для них «бутылкой», пробка от которой оказалась в руках противника. Черное море утюжили германские крейсера «Гебен» и «Бреслау» под флагами султанского полумесяца, а волны лениво укачивали мины с надписями белилами — по-русски: ДОРОГО ЯИЧКО КО ХРИСТОВУ ДНЮ. Болгарская армия, укрепленная германцами, вышла к границам с Грецией, но переходить ее рубежи еще не решалась…

Артамонов закупил в Салониках допотопную типографию, пригодную лишь для печатания визиток с приглашениями на свадьбу, полковник решил издавать газету «Русский Вестник».

— У вас все уже есть, — сказал я, — не хватало еще только газеты, чтобы сонные греки заворачивали в нее скумбрию.

— Не спорьте, — отвечал он мне, — скоро здесь, в Салониках, будет испытана союзная дружба, именно здесь решится взаимодействие русских, сербов, англичан и французов.

— Ну-ну, — сказал я. — Чем больше пауков в одной банке, тем кровожаднее драка меж ними… почитайте Дарвина!

— А что мне Дарвин? Что он понимал в наших делах?..

Союзники были активнее нас. Они арестовали консулов враждебных государств, взяли под контроль полицию, подчинили себе почту и телеграф в Салониках. Французы получали информацию от агентов-музыкантов, у которых передатчики были вмонтированы внутри роялей — пианистам оставалось только исполнить вечерний фокстрот на клавишах рояля. Англичане образовали сущие пиратские шайки для свершения диверсий (прообраз будущих отрядов «коммандос»). Офицер австрийской разведки Макс Ронге, мой противник, писал: «Это были бесстрашные, мускулистые парни, обвешанные пистолетами и громадными кортиками, они выходили на войну целой общиной, с женами, детьми и стариками; бродили по ночам, убивая неприятельских солдат и перехватывая множество сообщений». В этих шайках оказались и русские, ибо однажды, когда их рассаживали по катерам, я услышал:

Мы ребята-ежики, в голенищах ножики, по две гири на весу, револьверчик в поясу. Я отчаянный родился, вся деревня за меня, вся деревня бога молит, чтоб повесили меня… — Кто эти горлопаны? — спросил я Артамонова.

— А кто их знает. Наверное, бежавшие из плена. Побираться и воровать стыдно, вот и пристали к англичанам, которые не брезгают ничьими услугами, лишь бы не самим пакостить…

Не знаю, чем объяснить мое дурное состояние, но интуиция все время подсказывала мне, что я нахожусь под неусыпным наблюдением враждебных глаз, уже давно следящих за мною. Чтобы изменить внешность, я приоделся пижоном, носил дорогой перстень, курил дорогие египетские сигареты, а два пистолета, болтавшиеся под мышками на ремнях подтяжек, никак не вселяли в меня уверенности в безопасности. Я жалел, что не знаю греческого языка, иначе с моей «наполеоновской» внешностью вполне мог бы сойти за прожигателя жизни, мелочного спекулянта кокаином, туалетным мылом или презервативами, столь драгоценными в это любвеобильное время.

Салоники очень красивый город — особенно, если на него взирать издалека. Но внутри города, казалось, живут самые нечистоплотные люди на свете, которым, как во времена дичайшего средневековья, ничего не стоит выплеснуть содержимое ночной посуды из окна прямо на головы прохожим. Я мирился со зловонием и нечистотами Салоник, где Европа, казалось, собрала все религии мира, я не раз оставлял свою обувь на порогах мусульманских мечетей, навещал христианские молельни, а порою слушал дивное пение еврейского кантора в древней синагоге под «звездою Давида». Странно мне было думать, что я нахожусь на родине Кирилла и Мефодия, а в тени этих кипарисов, может быть, не раз отдыхал апостол Павел, диктуя своим ученикам «Послания к Солунянам». Боже милостивый, сколько здесь, в этом городе, перебывало апостолов, но еще более деспотов…

Сейчас Салоники видели новых властелинов!

В это время лорд Китченер, посетивший Салоники, настаивал перед союзниками вообще плюнуть на Балканы, оставив сербов и греков на съедение немцам, а все войска, включая и русские, перебросить в Синайские пустыни — для охраны Суэцкого канала и Египта. Русская ставка, вкупе с французской, доказывала обратное: если оставить Балканы на растерзание, тогда шаткая политика Румынии сразу подчинится диктату Германии (как это и случилось с Болгарией) и германский фронт — при подобном повороте политики — вплотную сольется с турецким, дивизии генерала Макензена могут оказаться на Кавказе.

Неожиданно в Салониках появился и Апис, а на мой вопрос, где его носила нелегкая, он скупо пояснил:

— Торчал в румелийской Битолии, где австрийцы устроили штаб, мешавший переброске сербов с Корфу в Салоники.

— Ну?

— Все в порядке. Штаба не стало. Перебили там всех, а циндарская ярмарка в Битолии веселилась, как прежде…

Казалось, что Апис в эти дни — дни создания союзного фронта в Салониках — переживал нервное состояние, близкое моему.

— Я не знаю, кто за мной охотится, но вечерами лучше не высовываться на улицы этого вонючего городишка. Не буду удивлен, — сказал Апис, — если я стал персоной нон грата не только для австрийцев или для Карагеоргиевичей, но даже… для англичан. Ты, друже, заведи себе хорошую гадючью нору, чтобы на всякий случай в ней можно было отсидеться…

В мае 1916 года сербская армия стала осваивать позиции под Салониками, добровольцы из Черногории поступили под начало французского командования, а Россия твердо обещала выставить под Салоники свой экспедиционный корпус — около сорока тысяч русских солдат. Арматонов нервно сообщил мне:

— Ваши предсказания о пауках в банке оказались верными. Союзники относятся к сербам, как породистые псы к шелудивым бездомным собакам. Им не дают оружия, не дают лекарств, от сербских офицеров скрывают штабные документы, английские и французские солдаты, эти «томми» и «паулю», каждый вечер гуляют в публичных домах Салоник, швыряясь деньгами, а сербским офицерам не разрешают появляться даже на базарах, чтобы купить кусок дешевого мыла…

Горькая правда. Союзники не говорили «сколько штыков», а ядовито спрашивали: «Сколько у вас едоков?» За каждый обрывок бинта или таблетку аспирина они попрекали сербов, которые ценою крови давно оплатили горы бинтов и эшелоны с аспирином. Больно мне было слышать, как жаловались сербские ветераны:

— Под немцем погано, а под союзником еще гаже. Лучше в своем окопе на соломе подохнуть, нежели попасть во французский госпиталь, где простыня чистая, а тарелка пустая…

Вскоре на фронт прибыла Особая русская пехотная бригада, уже обстрелянная в боях за Францию, где она прославила себя бесшабашной храбростью и кровавыми бунтами.

— А кто против нас? — спрашивали. — Немаки аль австрияки?

— Болгарская армия, — отвечал я с чувством стыда.

Узнав об этом, наши долго не думали: вешали на штык полотенце и махали им над окопом, крича в сторону противника:

— Эй, братушки окаянные! Вы на кой хрен немакам продались, в такую вас всех? Али не мы за вас кровь ведрами проливали? Мой дед до сей поры на деревяшках ползает, для вас же, сволочей, свободу от турка добывая…

Со стороны «братушек» слышалось — ответное:

— Перестань лаяться! Разве мы будем против вас воевать? Да нас послали, как скотину на выгон… вот и гнием здесь…

Французы и англичане старались отсиживаться в тылу, не забывали побриться утром в парикмахерских города, вечерами все кафе и рестораны были заняты ими, а фронт удерживали те же несчастные сербы и русские да в придачу к ним еще черные, как сапоги, сенегальцы и войска из Марокко.

\* \* \*

Я был причислен к Особой бригаде, ко мне иногда приволакивали «братушку» с другой стороны, для начала, чтобы он очухался, я давал пленному по зубам, а потом спрашивал:

— Номер полка? Кто командует?

Мне, откровенно говоря, было их жаль, но еще больше я жалел сербов, которые, осатанев от окопной тоски, уже начали стрелять один в другого — по обоюдному уговору, чтобы разом покончить с этой проклятой житухой. Наши еще не стрелялись, но, подсчитывая убитых, иногда с тоской вопрошали:

— И когдась эта чехарда кончится? Опять нафаршировали народу стока, что бумаги на «похоронки» не хватит…

Я усердно отписывал в царскую Ставку на имя начальника штаба генерала Алексеева: «Все зиждется на доблести и работе сербских и русских войск, постепенно тающих, так как на них возлагаются самые ответственные задачи…» Когда в дело вступала германская артиллерия, между наших окопов возникали воронки, в которые мог бы свалиться автомобиль. Снаряды большого калибра мы называли «чемоданами», а в английской армии их именовали «Джек Джексон» (по имени негра, знаменитого чемпиона по боксу, которому в Америке разрешили жениться на белой женщине). По вечерам марокканцы и сенегальцы с лязгом открывали банки с сардинами и пили кофе с коньяком, а мы, братья-славяне, жевали пресные галеты и бегали в соседнюю деревню к македонцам, чтобы купить у них виноградной самогонки…

Ей-ей, не скрою, я иногда начинал думать так же, как думали и мои солдаты: «И когдась эта чехарда кончится?» Однажды я ночевал в своей землянке, когда внутрь ее пластуны-лазутчики вбросили, как мешок, пленного «братушку». Я спросонья встряхнул его за воротник шинели, впотьмах размахнулся что было мочи и, как следует пугнув, крикнул:

— Номер полка? Кто командир?

— Здравствуй… — был ответ. — Номер полка семнадцатый, а командиром я — полковник Христо Иванчев… Неужели забыл?

Я торопливо засветил лампу и обомлел: передо мною стоял мой давний приятель Христо Иванчев, с которым мы вместе кончали в Петербурге Академию российского Генштаба.

— Извини, брат, — сказал я. — Конечно, я чрезвычайно рад встрече, но лучше бы ты мне не попадался.

— Так не в гости же я к тебе набивался, — ответил Иванчев, — только отошел в сторонку, тут на меня твои пластуны и навалились. Неужели твоя разведка прохлопала, что напротив вашей Особой бригады стоит как раз мой семнадцатый?

— Садись, — сказал я. — Плевать на всю эту дислокацию, лучше нам выпить. У меня есть бутылка местного вина… Такая кислятина — как раз для исправления наших косых глаз!

Разговор, конечно, получился нервный, сумбурный:

— Слушай, из-за чего мы воюем?

— А вы ради чего? — спрашивал Иванчев.

— На нас напала Германия, а на вас никто не нападал.

— Но мы, болгары, имеем исторические права на Македонию, которую оторвали себе эти зазнавшиеся Карагеогиевичи.

— Иди ты к бесу, Христо! Там половина македонцев оставляет тапочки на порогах мечетей, а другая половина грезит о былом величии Византийского царства… Уж если кому и сражаться за Македонию, так это — грекам, только грекам!

— Так чего же вы, русские, застряли в Македонии?

— Этого и сам не знаю. Но тебе рад. Давай выпьем.

— За что?

— Да хотя бы за то, чтобы разорвать эту Македонию, словно лягушку, и пусть каждому от Македонии по куску достанется. А вы, братушки несчастные, немца на подмогу позвали.

— Не мы! А наш царь Фердинанд…

— Так гоните его в три шеи.

— То же самое могу и тебе посоветовать… Гони своего царя, если ты такой уж храбрый! — отвечал мне старый приятель.

Прежняя дружба позволяла нам быть откровенными. Я сетовал на большие потери в бригаде. Иванчев признал большие потери в своем 17-м полку. Мы конфиденциально — без свидетелей — дружески договорились щадить людей, тем более что Россия и Болгария — как две родные сестры, надо беречь их нерушимые узы.

Утром я вывел Иванчева на бруствер окопа, часовому сказал:

— Болгарский полковник приходил по делу… не стреляй!

Иванчев сдержал слово, и наши потери уменьшились. Исподтишка, как бы ненароком, я вразумлял своих солдат:

— Вы не особенно-то прицеливайтесь. Голова — это тебе не мишень, чтобы очки выбивать. Головой думать надо. Братушки обещали палить поверх ваших черепушек, а вы тоже не старайтесь калечить людей напрасно. Им еще пахать надо…

По ночам случались сцены «братания», о котором на русско-германском фронте еще не ведали. Русские солдаты Салоникского фронта тишком от начальства сходились на нейтральной полосе, иногда запрыгивали в окопы болгар, чтобы их не видели свои офицеры, там они судачили о своих делах, обменивались всякой ерундой — табаком или спичками, а утром снова сидели в окопах как ни в чем не бывало и даже постреливали:

— Эх, мать твою так! Опять промазал…

Братание коснулось и сербов. У многих семьи остались на оккупированной территории, всякие связи с женами и родителями были потеряны. Теперь они перебрасывали письма в траншеи болгарам, а те брались доставить их по адресам.

Артамонов уже выпускал в Салониках «Русский Вестник», до наших окопов иногда доходили разрозненные номера «Военной газеты для русских войск во Франции». Для меня были интересны только перепечатки из иностранных газет, помещаемые под рубрикой «В стане врагов». Там я вычитал, что Вена давно превратилась в сплошной госпиталь, к ее вокзалам из Галиции и Македонии один за другим подкатывали санитарные поезда, пропитанные кровью, а на перронах вокзалов кисли зловонные лужи дизентерийного поноса. Венские врачи так спешили, что ампутации рук и ног проводили без анестезии.

Об этом я счел нужным поведать своим солдатам.

— Ну, совсем как у нас! — отзывались они…

6. В шесть часов вечера после войны…

Иногда трудно установить границу, где кончается разведка и начинается контрразведка, — так из обычного молока можно делать сметану или простоквашу. Но с молоком тоже надо уметь обращаться, иначе получится отвратная сыворотка, которую впору выплеснуть на помойку. Говорю это к тому, что, лишенный информации из Генштаба, изолированный союзниками от связи с русским командованием, я зачастую бывал одиноким Дон Кихотом на перепутье, в каждом встречном подозревая соперника, желавшего скрестить со мною меч свой. Я работал как разведчик, наступая, и оборонялся сам — как контрразведчик…

Первая русская бригада прибыла во Францию кружным путем — через Сибирь, грузилась же на корабли в китайском порту Дальний (близ Порт-Артура), откуда морем и прибыла в Марсель, где на удивление публике, встречавшей ее, бригада маршировала, распевая из Пьера Беранже — такое знакомое:

Грудью подайся, плечом равняйся! В ногу, ребята, идите, смирно, не вешать ружья! Раз-два, раз-два… Готовилась и новая партия русских войск, которые из Архангельска — дорогою древних викингов — плыли в Брест французский, а вскоре ожидались в загаженных окопах под Салониками, где им вместо привычных щей да каши предстояло научиться открывать консервные банки с мясом тех бычков, что лет тридцать тому назад еще резвились на фермах Техаса… Теперь и эта заваль пригодится: русские такие, что все сожрут!

Но сразу усилилась работа вражеских разведок; по ночам стали пропадать с постов часовые, австрийцам не терпелось узнать, как русские оказались в Македонии — через Архангельск или через Дальний; в соседних деревнях были умышленно отравлены колодцы, и теперь, куда ни ступи, всюду ноги разъезжались в осклизлых лужах эпидемийного поноса. Зараза не коснулась меня, а прибытия войск русской бригады я не дождался. Виною тому обстоятельства, не совсем-то приятные для меня. Сербская армия, несмотря на все ее бедствия, теперь окрепла, даже усиливаясь за счет славян, дезертировавших из австрийской армии, а из Америки приплывали в Салоники сербы-эмигранты, желавшие воевать за честь оскорбленной родины.

Братание с болгарами было выгодно нам, русским. Но оно становилось опасным для немцев, подозревавших болгар в сохранении давней русско-болгарской дружбы. Не нравилось оно и союзникам, которые в миролюбии русских заприметили желание покончить с войной. Французы натравили на нас свои колониальные войска, марокканцы часто прочесывали из пулеметов нейтральную полосу, пресекая возможные встречи братьев-славян; заприметив же в траншеях крадущегося русского, сенегальцы обыскивали его и, найдя хоть пачку болгарского табаку, давали такого хорошего тумака, что из глаз искры сыпались…

Англичане поступили с нами более радикально. Они попросту подкатили тяжелую артиллерию и открыли огонь по тем местам, где встречались солдаты для братания. Громадный валун, под которым хранилась сербско-болгарская «почта», был разнесен вдребезги. При этом один великобританский «Джек Джексон» вскрыл мой блиндаж, словно консервную банку с говядиной, и меня вынесло на свет божий — словно перышко. Свидетели моего полета рассказывали, что, описывая траекторию, я все время орал благим матом, пока не шмякнулся на землю, словно лягушка. Думали — конец, не стало полковника. Но меня лишь контузило. Я перестал слышать, долгое время не мог говорить. Смутно, будто во сне, помню, что меня навестил с вражеской стороны полковник Христо Иванчев и, плачущий, оставил мне полную фуражку смятых перезрелых слив…

Мне очень не хотелось тогда умирать!

\* \* \*

Наверное, это мое счастье, что я попал в госпиталь греческого Красного Креста; за ранеными ухаживали монашенки, весьма симпатичные, которые, подобрав полы халатов, иногда танцевали между кроватями, чтобы создать в палате для умирающих доброе игривое настроение. Здесь меня и отыскал полковник Апис.

— Артамонов проговорился, будто тебя отзывают в Россию… как я завидую тебе! Пожалуй, к лучшему, что тебя здесь не будет. «Черная рука» ослабела и сочится кровью. Александр раскассировал нас по разным фронтам, многие погибли, и при очень странных обстоятельствах. Помнишь, я показывал тебе голову майора Танкосича? А в меня недавно опять стреляли.

— Где?

— Здесь же, в Салониках. Не знаю, как случилось, но королевич Александр сдружился с главнокомандующим Салоникского фронта генералом Сэррайлем, и тот убежден, что я главарь шайки предателей, желающих открыть фронт перед немцами.

— Невероятная глупость, — сказал я.

— Чем невероятнее ложь, тем охотнее в нее верят.

— Попробуй сам объясниться с Сэррайлем.

— Глупо доказывать этому французскому генералу, что наша «Черная рука» с третьего года боролась за создание единого югославянского государства, в котором Карагеоргиевичи получили бы в полиции паспорта, как все остальные граждане, а их корона лежала бы под стеклом в музее Белграда.

Я подсказал Апису обратиться к старому королю Петру:

— Старик благороднее сына, и Петр наверняка не забыл твоей личной услуги, когда ты освободил для него престол в белградском конаке… такие услуги не забываются.

— Э! — отмахнулся Апис. — Старик после отступления через Черногорию и Албанию оказался на острове Халкидике, где его содержат в изоляции как умалишенного. Что он, сидя в золотой клетке, может сделать против своего сына, отнявшего у него власть и деньги… Честолюбие Александра тебе известно!

Из этого разговора с Аписом, могучая фигура которого невольно привлекала внимание субтильных монашек, танцевавших между кроватями, у меня сложилось убеждение, что Апис уже вступил в борьбу с королевской семьей и сам будет убит или разделается с Карагеоргиевичами столь же решительно, как однажды удалось ему расправиться с Обреновичами…

— Договоримся так, друже, — сказал Апис, — когда выйдешь из этого танцкласса, старайся каждый вторник и каждый четверг ужинать в ресторане «Халкидон»… Не будем даже подходить один к другому. Но я должен знать, что ты еще жив, а ты, увидев меня, будешь знать, что я жив тоже… Драхмы есть?

— Нету. Все взлетело на воздух в блиндаже.

— Прямое попадание. Понимаю. Подозрительно точное…

Апис щедро отвалил мне греческих денег, и мы простились. Но я уже понял: если охотятся на Аписа и его друзей, значит, я тоже попал в проскрипционные списки, лажащие на рабочем столе королевича Александра Карагеоргиевича. Я покинул греческий госпиталь раньше времени — после того, как однажды в тарелке с супом обнаружил странный привкус, от которого меня вырвало. Чтобы запутать следы, я умышленно укрылся в еврейском квартале Салоник, а мой «наполеоновский» профиль наводил местных аборигенов на мысль, что я принадлежу к их племени, и на иврит я отмалчивался, а на вопросы, сказанные на жаргоне идиш, отзывался охотно [22] . Я снимал комнатенку в бедной семье еврея-перчаточника, кормился же в еврейской харчевне с «кошерным» мясом, никогда не обнажая головы во время еды, чтобы ничем не отличаться от ортодоксальных евреев. Угрызений совести я не испытывал, ибо каждый разведчик Генерального штаба имеет моральное право на время исчезнуть, если он чувствует, что ему можно оставить игру…

Моя «отсидка» в еврейских трущобах пошла на пользу. Если за мной и велось наблюдение, то этот «хвост» отвалился сам по себе, как хвост у ящерицы, почуявшей опасность. Наконец я покинул свое «убежище Монрепо», провонявшее чесноком и луком, но разом — почти стремительно — изменил свой облик, приодевшись в лучшем магазине Салоник, после чего, благоухая «белой сиренью» марки Броккаров, разыскал Артамонова в штабе Сэррайля, и он непритворно обрадовался мне:

— Наконец-то и вы! Сознайтесь, кто эта Афродита, которая такой долгий срок удерживала вас в своих объятиях.

— Просто шлюха, — ответил я. — Не являлся по зову совести, ибо требовалось время, чтобы залечить свежий триппер.

— Тогда все ясно, — расцвел Артамонов, — и никаких претензий к вам не имею… Слушайте! Завтра в полночь отходит французский пароход в Марсель, и вы обязаны отплыть на нем. Генштаб уже не раз настаивал на вашем возвращении.

— В Марсель? — неуверенно хмыкнул я.

— Да. Игнатьев в Париже проинструктирует вас о дальнейшем. Ваше отплытие весьма кстати, — со значением произнес Артамонов. — И не вздумайте задерживаться. Вы слишком легкомысленно отказались от предложения Александра вступить в его «Белую руку», а «Черная» оставила здесь немало кровавых следов… Не мне вам, опытному разведчику, объяснять прописную истину: нельзя засовывать палец между деревом и его корою, иначе можете так и погибнуть возле этого дерева…

На прощание Артамонов сказал с небывалою грустью:

— Завидую вам! Увидите родину — передайте ей нижайший поклон от меня… заблудшего. Мне очень горько. Прощайте…

Сам он больше никогда не увидит России, так и завязнет на Балканах, притворяясь «специалистом» по русским делам, в которых сам черт не мог бы тогда разобраться. Был как раз четверг — день нашего свидания с Аписом. Ресторан «Халкидон» казался путынен, но Апис сидел за столом, углубленный в чтение французской газеты, и, проходя мимо, я тихо сказал:

— Вы, наверное, уже ознакомились с карточкой меню?

— Да, пожалуйста, можете воспользоваться.

— Благодарю, — отвечал я, добавив шепотом: — Завтра отплываю в Марсель и на всякий случай… прощаюсь.

Нарочитым шуршанием газеты Апис скрыл свой шепот:

— Хорошо, что вас не будет. Здесь начинается облава на всех нас… на всех, кто верит в «Уедненье или смрт».

Он не ушел, словно контролируя меня, за что впоследствии я остался ему благодарен. Я заказал себе легкий ужин, когда в ресторан вошли два рослых человека в белых брюках и черных пиджаках, оба в соломенных канотье, при одинаковых тросточках. Явно умышленно они задержались возле дверей, о чем-то бурно дискутируя. Вслед за ними появилась разряженная женщина, очень красивая, с большим родимым пятном на щеке; она сразу направилась к моему столику, без тени смущения сказав:

— Господин секретный агент российского Генштаба, наверное, изнывает в одиночестве. Ах, бедняжка! Надеюсь, за вашим столом найдется место для меня… и для моих друзей.

— Вот тех, что стоят в дверях? — спросил я.

— Да. Они не хотят мешать нашему разговору…

От женщины исходил приторный запах дорогих духов; садясь, она расправила юбку, которая отчаянно захрустела, отчего я понял, что эта бабенка напичкана секретами с ног до головы, ибо так сильно крахмалят юбки только германские шпионки, используя их вроде отличной бумаги для писания симпатическими чернилами. Я не успел ответить что-либо, как слева и справа от меня затрещали венские стулья под весомою тяжестью ее компаньонов. Красавица достала зажигалку и щелкнула ею под самым моим носом. Но вместо языка пламени из зажигалки выскочил забавный чертик, высунувший длинный красный язык, словно этот чертик решил поиздеваться надо мною.

— Итак… — начал было я, понимая, что теперь не успею выдернуть из-под левого локтя бельгийский «юпитер» с семью пулями в барабане, что не дадут мне выхватить из-под правой подмышки и браунинг «Астра» с очень мощными патронами.

Мужчины сдвинули стулья плотнее; я оказался зажатым между ними, а полковник Апис, зевая, равнодушно взирал в потолок.

Перед моим лицом часто прыгал забавный чертик!

— Я готов услужить такой прекрасной даме, как вы, — сказал я женщине. — Но прежде предупредите своих нахалов, что сегодня они будут застрелены, а завтра уже похоронены.

Мои соседи обняли меня, приятельски похлопывая.

— Забавный парень нам попался сегодня, — хохотали они.

Женщина без улыбки спрятала в ридикюль зажигалку.

— Все это очень мило с вашей стороны, — сказала она. — Но отчего такая жестокость? Мы как раз настроены миролюбиво и готовы вести деловую беседу… с авансом наличными.

Меня покупали. Очень нагло. Как последнего подлеца.

Смешно! Эти твари не жалели даже аванса…

— Но прежде, мадам, вам придется снять с себя юбку.

— А это еще зачем?

— Ее крахмальная трескотня уже стала надоедать мне…

Два выстрела Аписа грянули раз за разом, и мои соседи, даже не успев вскочить, припали лбами к столу, влипнув мордами прямо в тарелки с салатом. Красотка в ужасе вскочила.

— Сядь, — велел я ей.

— Что вам от меня нужно? — в панике бормотала она.

— Ничего. Мы только выстираем тебе юбку.

— Отпустите меня! — вдруг истошно завопила она.

Но мощная длань Аписа уже провела по ее лицу сверху вниз, ото лба до подбородка, смазывая с лица густую косметику, отчего лицо превратилось в безобразную маску клоунессы.

— Говори, сука, какие чернила? — спросил ее Апис.

— Колларгол, — призналась женщина, зарыдав.

— Это можно проявить вином, — подсказал я.

Апис взял со стола бутылку с вином и начал поливать юбку женщины, на которой, как на древней клинописи ассирийцев, вдруг проступили сочетания буквенных и цифровых знаков.

Еще выстрел — в упор! Женщина упала. Апис сорвал с нее юбку, смоченную вином, скомкал ее в кулаке и быстро вышел.

Я подозвал официанта, чтобы расплатиться по счету.

— Тут какая-то грязная семейная история, к которой я не имею никакого отношения, — сказал я. — К счастью, я лишь случайный свидетель и впервые вижу эту женщину…

\* \* \*

Впервые я видел эту женщину, но в последний раз я видел и полковника Аписа! Итак, все кончено…

Приняв сдачу от официанта, я даже не глянул на убитых.

На пыльной вонючей улице мне вспомнился цветущий рай острова Корфу и костлявая, некрасивая Кассандра, которая верила и будет верить всегда, что она еще станет моею.

Но только «в шесть часов вечера после войны».

Мне стало паскудно. Я и сам не знал, где я буду в шесть часов вечера после войны… и буду ли я вообще?

Постскриптум № 8

Был уже 1928 год, когда Артамонова буквально припер к стенке американский профессор истории Бернадотт Шмит:

— Можете ли вы хоть теперь честно ответить, давали ли вы деньги на организацию сараевского убийства?

— Нет, — отперся Артамонов, — я давал полковнику Апису деньги из кассы посольства лишь на проведение фотосъемок в Боснии. Но откуда же мне было знать, что Апис употребит их с иными намерениями, вызвавшими мировую войну?

— Апис на суде утверждал, что расписки в русских руках.

— По этому вопросу, — огрызнулся Артамонов, — можете справиться в архивах московского ОГПУ, если только эти расписки Аписа московские чекисты не извели на самокрутки…

В. А. Артамонов вовремя сменил перчатки, и потому остался цел, ведя жизнь эмигранта в Белграде. «Черная рука» разжалась, словно отпуская Артамонова на покаяние, а «Белая рука» приголубила его высокой монаршей милостью…

Апис остался в памяти народа, схожий с карбонариями, начинавшими освобождение Италии от австрийского гнета, облик их, обрисованный Герценом, чем-то сродни облику Аписа. «Красивая наружность, талант вождя, оратора, заговорщика и террориста, умение руководить людьми и внушать любовь женщинам» — так описывал его советский историк Н. П. Полетика.

Потребовалось время, и немалое, чтобы понять, почему Апис настоятельно уговаривал меня покинуть Салоники и быть вообще подальше от двора Карагеоргиевичей. Может, он предчувствовал, что я могу стать неугоден королевичу Александру и тогда меня уберут со сцены, как освистанного актера, а может быть, я стану неугоден и самой «Черной руке», которая тоже будет вынуждена учинить надо мною расправу.

Апис знал слишком много, и королевич Александр — в сговоре с Николой Пашичем — арестовал Аписа и его сподвижников. Это случилось в декабре 1916 года. Драгутину Дмитриевичу предъявили обвинение — будто он желал открыть перед немцами Салоникский фронт. Представив Аписа предателем Сербии, Александр хотел нейтрализовать попытки союзников вмешаться в дело процесса, а на самом деле, убирая Аписа со своей дороги, Александр желал одного — укрепить свою личную власть диктатора…

В таких случаях очень легко шагают по трупам!

\* \* \*

Процесс закончился лишь в 1917 году. Но демократы Сербии и комитет эмигрантов на острове Корфу выступили против смертной казни. Александру было открыто заявлено:

— Если вы расстреляете Аписа, то выроете себе могилу, а когда вернетесь в Сербию, в эту могилу сами и свалитесь.

На королевича был проведен сильный нажим с трех сторон — России, Франции и Англии. Русский Генеральный штаб и русская Ставка энергично требовали отмены жестокого приговора, ибо Апис сделал многое не только для Сербии, но и помогал разведчикам стран Антанты. Однако королевич Александр пренебрег просьбами ближайших союзников. Кажется, его более тревожила оппозиция своих же министров и депутатов Скупщины, кричавших:

— Что угодно, но смерть — ни в коем случае!

Александр ушел от них, гневно хлопнув дверями:

— И вы, министры мои! — и вы против меня…

Сына поддержал только его отец — король Петр, впавший в старческое слабоумие, уже почти безумный:

— Убей их, иначе они убьют самого тебя!

Предателем Сербии был не Апис — предателем был сам королевич Александр, который шел на сговор сепаратного мира с Австрией, но Вена властно требовала от него головы Аписа…

Ночью осужденных вывели на окраину Салоник, заранее выбрав глубокий овраг для погребения. Но когда пришли к месту казни, было еще темно, и конвоиры не могли стрелять прицельно.

— Придется подождать до рассвета, — сказали палачи.

В тюремной камере Апис оставил предсмертное письмо. «Я умираю невиновным, — писал он. — Пусть Сербия будет счастлива и пусть исполнится наш святой завет объединения всех сербов и югославян — тогда и после моей смерти я буду счастлив, а та боль, которую я ощущаю оттого, что должен погибнуть от сербской пули, будет мне даже легка в убеждении, что она пронзит мою грудь ради добра Сербии и сербского народа, которому я посвятил всю свою жизнь!»

— Уже светает, — сказал начальник конвоя…

Апис в ряд с товарищами вырос над обрывом оврага.

— Да здравствует Сербия! Да здравствует будущая свободная страна — ЮГОСЛАВИЯ! — были их последние слова.

Дали первый залп — Апис вздрогнул от пуль.

Дали второй залп — Апис лишь пошатнулся.

Дали третий залп — Апис опустился на корточки.

— Сербы, вы разучились стрелять, — прохрипел он.

— Добейте его! — раздались крики офицеров. — Добейте, иначе этот бык сейчас снова подымется…

Его добивали пулями и штыками. И — добили!

Правда от народа была сокрыта, а королевич Александр, умывая руки от крови невинных, сообщил русскому царю Николаю II, что уничтожил «революционную организацию», желающую гибели всем монархам. Долгие 36 лет никто в Югославии не знал ни вины, ни правоты Аписа — правда покоилась в личных тайниках королевской семьи Карагеоргиевичей, недоступная гласности. Но патриоты Сербии по клочкам выявляли истину, когда уже исполнилась мечта Аписа о новой свободной Югославии…

В 1953 году Иосип Броз Тито потребовал, чтобы народ социалистической Югославии узнал сущую правду о героях прошлого, умерщвленных с именами «злодеев».

Тогда же Верховный суд Югославии пересмотрел дело Аписа, и полковник Драгутин Дмитриевич (он же и Апис) был посмертно реабилитирован!

Вся его прежняя деятельность была признана полезной для освобождения балканских народов.

Из числа классических «злодеев» Апис перешел в историю под именем «национального героя».

Так бывало в истории. И — не раз бывало…

Глава третья

Последняя ставка

Рыдай, буревая стихия,

В столбах буревого огня!

Россия, Россия, Россия, —

Безумствуй, сжигая меня.

Андрей Белый

НАПИСАНО В 1944 ГОДУ:

…мой возраст насторожил врачей медицинской комиссии, когда я был отозван в Москву, но мое здоровье она нашли в хорошем состоянии, чему немало и сами подивились. На приеме у начальства мне указали готовиться в дальнюю командировку. Теперь уже никто в мире не сомневался в нашей победе, и для меня, кажется, нашлось важное дело. Я смирил свое любопытство, не спрашивая, куда забросит меня судьба, задав лишь вопрос:

— Надолго ли я буду в отлучке?

— Пожалуй, до конца войны, — отвечали мне.

Я сказал, что в таком случае мне крайне необходимо побывать в том городке, где я оставил женщину с двумя дочерьми, которых перевезу в Москву, поселив их в своей квартире.

— Это ваша семья?

— Нет. Беженцы, которых я приютил у себя.

— Вопрос отпадает, — указали мне. — Сейчас не время для разведения лирики. Москва и так переполнена наезжими. Вот если бы эта женщина была вашей законной женой, тогда…

Тогда все стало ясно. Пристроившись к эшелону, увозившему в глубокий тыл тяжелораненых, я добрался до городка ранним утром, когда в доме все еще спали, а постаревшая Дарья Филимоновна колола полено для самоварной лучины.

— Никак и вы объявились? — с трудом разогнулась старуха. — Подкинули мне жильцов, а сами пропали невесть где…

За чаем, разложив на столе засохшие в пути бутерброды, я — в присутствии дочерей — сделал предложение Луизе Адольфовне, объяснив ей причину своего внезапного появления:

— Я не претендую на ваши женские чувства, да это было бы и глупо в мои годы, но прошу вас быть моей женой. В этом случае моя совесть будет чиста перед вами и вашими дочерьми. Будем практичны. Квартира в Москве — к вашим услугам, а положение моей жены нельзя сравнить с нынешним…

В городском загсе заспанная, явно больная женщина растапливала печку. Скупо поджав морщинистые губы, она безо всяких эмоций внесла в книгу запись регистрации нашего брака. Наверное, мы, новобрачные, выглядели весьма странно, почему она и не поздравила нас. Когда же мы покинули жалкое помещение захудалого загса, Луиза Адольфовна разрыдалась:

— Господи, да что же это со мной происходит?

— Успокойся, — ответил я. — БРАКИ СОВЕРШАЮТСЯ НА НЕБЕСАХ, а в наших загсах только ставят печати в паспортах…

По дороге домой Луиза тревожно допытывалась:

— А разве твое сочетание со мной, ссыльной немкой, не повредит тебе и твоей судьбе? Неужели не боишься так легкомысленно связывать судьбу со мною и моими детьми?

— Человеку в моем возрасте уже ничего не страшно…

Луиза перестала плакать. Она даже успокоилась.

— Мои предки из бедных богемских гернгутеров выехали на Русь еще при Екатерине, я не знала иной родины, кроме России, и всегда верила, что русские люди добрые, но ты… Всевышний увидел мои страдания и послал тебя к нам, чтобы мои девочки, Анхен и Грета, не погибли на этом проклятом вокзале.

— Не благодари. Со мною еще многое может случиться.

— Только вернись. Не оставь нас одних. Заклинаю!

После неизбежных хлопот с московской пропиской и определением девочек в школу я стал собираться в дорогу. Лишь теперь я понял, что во мне что-то безжалостно рвется и может оборваться навсегда. Прощаясь, я умолял Луизу сберечь мои записки, как самое святое, и пусть накажет дочерям хранить их, никому не показывая лет двадцать-тридцать, чтобы справедливое время отсеяло все злачные плевелы…

…Эти страницы, как ни странно, я дописываю уже в итальянском порту Вари, надеясь, что первым же обратным самолетом их переправят по московскому адресу и они станут эпилогом всей моей проклятущей, но и замечательной жизни. Впрочем, у меня нет никаких дурных предчувствий. Однако я переживаю очень странные впечатления! Порою мне кажется, что сейчас я обрел вторую молодость и мне опять предстоит встреча с драконом — в тех самых краях, где начиналась моя зрелая жизнь.

\* \* \*

Земные катаклизмы, не раз губившие цветущие города и миры давних цивилизаций, вряд ли, наверное, были способны нанести такие разрушения, какие испытал Сталинград, жестоко истерзанный огнем и металлом. Пилот умышленно снизил наш «дуглас», чтобы мы, его пассажиры, воочию убедились в грандиозности панорамы той битвы, которая решила исход войны. Сталинград — я не ожидал этого! — уже курился дымами самодельных печурок, оживленный примитивным бытом его воссоздателей, но сам город еще находился в хаосе разрушения, а вокруг него — на множество миль — война раскидала по балкам обгорелые остовы танков, виднелись разбросанные вдоль насыпей скелеты эшелонов, сверху угадывались искореженные грузовики и обломки самолетов, торчком врезавшиеся в сталинградскую землю. Я невольно вспомнил фельдмаршала Паулюса, говорившего, что он хотел бы опять побывать в Сталинграде, уже в новом, отстроенном, но ему, как и мне, вряд ли это удастся…

Нас, пассажиров, было немало, и все мы понадобились на фронте, слишком далеком от России, но слишком важном для всех нас, русских. Тут были генералы, заслуженные партизаны, авиатехники, минеры, врачи-хирурги, опытные связисты, целый штат переводчиков и даже гордый московский дипломат, оказавшийся моим соседом, жестокий порицатель политики Уайтхолла.

— Черчилля, — рассуждал он, — еще смолоду так и тянет на Балканы, словно петуха на свалку, где зарыто жемчужное зерно. Он и сейчас ведет двойственную политику между народной армией маршала Тито и югославским королем Петром II Карагеоргиевичем, которого держит в Каире вроде кандидата на белградский престол, давно оплеванный самим же народом…

Я ответил дипломату, что согласен с ним:

— Но, извините, не во всем! Россия с давних времен тоже смотрела на балканские дела слишком заинтересованно, подобно тому, как богатый сосед заглядывает в огород бедного соседа, которому необходимо помогать. Так что тяготение Черчилля к Балканам я понимаю — хотя бы политически.

— Понимаете? Но, позвольте, почему?

— Так сложилось… Стрелка компаса Европы, как бы сильно его ни встряхивали, как бы ни отвлекали ее приложением к иным магнитам, все равно будет указывать именно на Балканы, и Черчилль это учитывает, именуя Балканы «подвздошиной Европы». Гитлер всюду вызвал сопротивление народов, но, скажите, где он встретил самое мощное противодействие? Только в южных славянах да в России. И, пожалуй, одни лишь русские да сербы способны сражаться до последнего, ибо никогда не сдаваться — этому их научила сама великая мать-история…

Над калмыцкими степями мы летели без опаски, и я припомнил, как недавно меня, раненного, мотало здесь в разрывах снарядов немецких зениток. А теперь — тишина, солнце, облака, впереди Астрахань; мой сосед-дипломат уже нервничал:

— Генерал, вы не боитесь летать над морем?

— А вам не все ли равно, куда падать?

— Я, честно говоря, побаиваюсь…

«Дуглас» уже пронизывал жаркий воздух над Ленкоранью, близилась Персия, и мой сосед потащил к себе чемодан:

— Коллега, как вы относитесь к пище святого Антония?

— Не откажусь от меню блаженного старца, если в его рацион не входят сороконожки, саранча и сколопендры…

Глянув в раскрытый чемодан, я воочию убедился, что библейские святые питались гораздо хуже наших дипломатов школы Молотова и Вышинского.

А вот и знакомый мне аэродром Тегерана. Англичане сразу предложили автобус, чтобы наша делегация прокатилась по городу, но я решил остаться в самолете, желая вздремнуть. Все пассажиры, и даже отчаянные заслуженные партизаны, искренне волновались, где бы им тут, в Тегеране, отоварить московские талоны на обед. Пилот вразумил их:

— Да идите в любую харчевню! Вы же доллары получили, так и шикуйте себе на здоровье… А продовольственных карточек здесь нету, и никто за обед стричь их не станет.

Далее мы летели на очень большой высоте, преодолевая горные пики, но даже здесь термометры показывали 25 градусов выше нуля, перегретым моторам нелегко было тянуть машину в этом опасном звенящем пекле. «Дуглас» совершил посадку в Багдаде, столице Ирака, и тут, как и в Тегеране, первая речь, которую мы услышали, была английская. Но прежде чем англичане успели подкатить трап к дверям фюзеляжа, выступил наш пилот:

— Товарищи, будьте бдительны! Здесь живет знаменитый «багдадский вор», которого все мы видели в кино…

Меня в Багдаде волновало совсем иное, попутчикам я объяснил причины своего лиричного волнения:

— Вы, молодые люди, знаете Тигр лишь по урокам географии, а я помню его по урокам «закона божия» в гимназиях Санкт-Петербурга. Мало того, в шестнадцатом году я должен был находиться неподалеку отсюда — в Кутэль-Амаре, где позорно капитулировал английский отряд генерала Туансайда…

После этого один из врачей прощупал мой пульс.

— С таким возрастом не шутят, — сказал он. — Даже мне, вдвое моложе вас, нет сил переносить эту жарищу…

Пилот, уже бывавший в Багдаде, предложил выкупаться. Но в Тигре, переполненном черепахами, плывущими по своим важным делам, это казалось даже опасно, мы купались в озере Хабанийи. Дипломат нагнал меня саженками подальше от берега:

— Простите, а кем же вы были в шестнадцатом?

— Увы, всего лишь полковником.

— А сейчас?

— Увы, молодой генерал-майор.

— Трудная карьера, — пожалел он меня. — Это надо же так: с шестнадцатого до сорок четвертого сидели в полковниках.

Снова мы в небесах. Глядя в иллюминатор, я не радовался бесконечной желтизне пустынь с редкими оазисами. Но я невольно вздрогнул, когда под крылом «дугласа» открылась зеленеющая Палестина, такая ветхозаветная. Конечно, сверху ничего не высмотришь, но я дополнил земной мираж воображением, невольно воскрешая в памяти «палестинский цикл» нашего знаменитого живописца Поленова… Под нами — в знойном мареве — уже простирались Синайские пустыни, и врач, снова проверив мой пульс, сказал, указав на иллюминатор:

— Удивляюсь, как в этих краях могут жить люди?

— Между тем, — ответил я, — библейский Моисей сорок лет гонял своих евреев именно в этой Синайской пустыне, чтобы вымерли все рожденные в египетском рабстве, а остались жить только те, кто никогда не знал оков рабства.

— Пульс нормальный… Неужели вы верите в эти глупые сказки, давно отвергнутые нашей передовой советской наукой?

— Из уважения к вам, доктор, не стану спорить, тем более что теперь можно любоваться дельтою Нила… Каир!

Каир в годы войны напоминал Вавилон с чудовищным смешением языков: тут было скопище греков, евреев, австралийцев, чехов, киприотов, сербов, мальтийцев, индусов, встречались и наши белогвардейцы, но все они дружно ругали хозяев положения — англичан. Впрочем, мы лично не имели причин для недовольства, ибо на аэродроме «Каиро-Вест» они встретили нас с приятным дружелюбием. Мы жили в палатках, снабженных холодильниками, набитыми бутылками с пивом, обедали с английскими летчиками. Эти бравые и веселые ребята с большим сомнением отнеслись к нашему маршруту — лететь сначала до Мальты, чтобы потом из Бари садиться прямо на свет сербских костров:

— Вы разве не боитесь лететь почти тысячу миль в сухопутном самолете над морем, над которым не затихает война? Есть ли у вас хоть надувные жилеты, чтобы барахтаться в них часика два-три, после чего можно смело тонуть?..

Увы, жилетов у нас не было. Под нами снова лежала пустыня — на этот раз Ливийская, где не так давно была разгромлена армия Роммеля, танки которого, выкрашенные в желтый цвет, нашли свою могилу под Сталинградом; все мы приникли к иллюминаторам, желая видеть панораму великой битвы, о которой так много кричали в Лондоне, но… пески, пески, пески. И вот, наконец, увидели море! Наш самолет словно повис над бездной, а мы, пассажиры, невольно поежились при мысли: что будет с нами при встрече с немецкими «мессерами»? Однако штурман, впервые летевший над Средиземным морем, вывел нас точно на Мальту, которая сверху казалась ничтожной горошиной, растущей посреди синего поля.

Никогда не забуду, что добрые мальтийцы, узнав о появлении русских, вывесили из окон своих квартир красные флаги. В тавернах Ла-Валлетты мы чуть не лопнули от избытка пива всяких сортов, ибо возле дверей стояли длинные очереди жаждущих — нет, не выпить, а только ради того, чтобы чокнуться кружкой с русским. Глава нашей миссии справедливо решил:

— Летим в Бари! А то все здесь сопьемся…

Южная Италия переживала дни освобождения. Мы благополучно приземлились на аэродроме в Бари. Это случилось в феврале 1944 года, а на всю дорогу от Москвы ушло больше месяца. Я заметил, что раньше из Одессы в Бари попадали гораздо скорее:

— Сюда ходил пароход под флагом Палестинского общества, продавая билеты по дешевке нашим богомольцам, плывшим в Бари поклониться христианским святыням. Но самое удивительное в том, что многие жители Бари тогда знали русский язык.

— Откуда вам это известно? — удивился дипломат.

— У меня была длинная жизнь, и не забывайте, что я окончил Академию старого русского Генштаба, а мы, генштабисты, были обязаны знать очень многое… Иногда даже такие вещи, какие в обыденной жизни вряд ли могли пригодиться. Но знать надо!

Барийский аэродром был плотно заставлен союзными «дакотами», «мустангами» и «аэрокобрами»; здесь же ютились итальянские самолеты типа «савойя», моторы которых издавали звуки играющего аккордеона, отчего нашей молодежи хотелось танцевать. Нас опекали шумливые и щедрые американцы. Не обошлось и без итальянской экзотики, включая неизменные спагетти. Но именно в Бари я впервые вкусил от бренного тела осьминога, испытав такие же приятные ощущения, какие, наверное, испытывает человек, которому привелось ради вежливости, дабы не обидеть радушных хозяев, жевать старую галошу…

Нам предстояло совершить прыжок через Адриатику, чтобы оказаться среди партизан героической Югославии. Однако начальник нашей миссии огорчил нас неприятным известием:

— Придется ждать. Янки перехватили сигнал тревоги. Партизаны маршала Тито дважды готовили посадочные площадки для нас, но усташи-четники перебили охрану площадок, устроив свои ложные площадки с фальшивыми кострами, чтобы вся наша миссия угодила в их западню. Погуляйте, товарищи…

Время ожидания я решил употребить с пользою для себя, предложив своим попутчикам составить мне компанию.

— А что здесь смотреть? Нищета, и только.

— За нищетой Бари увидится многое. Достойна всеобщего внимания древняя базилика святого Николая Чудотворца и очень пышное надгробие польской королевы Боны Сфорца, известной отравительницы, кончившей тем, что ее тоже умертвили ядом.

— Вы здесь бывали раньше? — спросил дипломат.

— Никогда.

— Так откуда вы это знаете?

— Но я ведь учился в старой доброй гимназии, а там преподавали не только «закон божий», как многим теперь кажется…

В один из дней американцы сообщили, что в районе Медено-Поле нам приготовили место для посадки, и ночью можно испытать судьбу. Мы вылетим вечером, чтобы в сплошной темени ночи разглядеть звезды партизанских костров… Моторы уже ревут, меня торопят. Не знаю, где найти слова для выражения своих чувств, и, кажется, я нашел их — самые верные:

Как хороши, как свежи будут розы, Моей страной мне брошенные в гроб…

\* \* \*

Читатель, конечно, достаточно извещен о легендарной судьбе Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ), возглавляемой подлинным героем славянского мира — маршалом Тито.

По сути дела, южные славяне создали в Европе даже не «сопротивление», образовали целый боевой фронт против захватчиков, и Гитлер никогда не забывал учитывать угрозу этого фронта для всего вермахта, для всей Германии.

Вплоть до осени 1943 года немцы, итальянцы и усташи провели шесть мощных наступательных операций против НОАЮ — с танками и авиацией, причем к этому времени югославские партизаны освободили от оккупантов уже половину всех территорий своего государства.

Примерный подсчет времени показывает: наш герой попал в Югославию где-то в начале марта, а 25 мая 1944 года немцы предприняли седьмое наступление, и оно было самым страшным, самым кровавым, самым жестоким…

1. Дома и солома едома

Вот она, жизнь офицера российского Генштаба — можете смеяться надо мною, но иногда можно и пожалеть меня…

Я отбывал домой в самом возвышенном настроении, часто поминая народную мудрость: дома и солома едома! Не помню названия парохода, но запечатлел в памяти компанию «Мессаджери Маритим», которой он принадлежал. На столе в каюте лежала инструкция «Как вести себя при торпедировании», — немецкие субмарины брали реванш в море за поражения кайзера на суше. Стюард сразу же снабдил меня спасательным жилетом, показав, как его надувать; в этом жилете, оказавшемся очень удобным, я завалился на койку и, прошу верить, до самой Мальты спал как убитый, ибо потрясения последних дней повергли меня почти в летаргическое состояние. Лишь иногда я слышал размахи бортовой качки, звонки аварийных тревог и четкую топотню ног матросов по трапам — мне все было глубоко безразлично.

До Марселя добрались нормально, каюта на пароходе с надувным жилетом показалась мне удобнее парижского экспресса. Граф Игнатьев не сразу узнал меня, настолько я изменился, но потом долго говорил о бессовестном поведении французов, алчущих русской кровушки на своих же фронтах:

— Да, мы просили у них оружие, это верно. Но Россия ни разу не снизошла до того, чтобы клянчить французских или английских солдат для затыкания своих дыр во фронте, хотя нашей армии было намного тяжелее, нежели союзникам…

Я, в свою очередь, рассказал Игнатьеву о горестном положении наших воинов под Салониками, где из полотенец сначала крутят портянки, а потом из портянок режут бинты для перевязывания ран; союзный Санитет ломится от изобилия медицинских инструментов, но русские врачи используют в качестве стерилизаторов жестяные банки из-под автомобильного бензина.

— В каком амплуа решили возвращаться в отечество?

— Для удобства лучше под видом серба…

Игнатьев вручил мне билет до Кале, откуда я должен переправиться в Англию, чтобы плыть далее — до Романова-на-Мурмане, который протянул рельсы от Кольского залива до Петрограда. Алексей Алексеевич предупредил, что англичане хорошо освоили путь до нашего Мурмана, где чувствуют себя хозяевами, а консерватизм их общества нисколько не пострадал даже после очень сомнительных успехов в Ютландском сражении на море.

— Один мой приятель, когда ему подали телятину с желе из смородины, осмелился — экий нахал! — заменить желе обычной горчицей, после чего в Лондоне на него смотрели как на дикаря, желающего вкусить человечины. На этом его карьера офицера связи при англичанах закончилась, и он сам догадался убраться домой, где с горчицею все в порядке!

В Кале шла посадка на миноносец № 207, я — в форме сербского офицера — никаких подозрений не вызвал. Но мне, как едущему в Англию, дали ознакомиться с путеводителем, из которого я узнал прописные истины для всех глупорожденных. Так, например, мне стало известно, что Англия находится на острове, что не мешает ей играть большую роль в политике материковой Европы. Если я страдаю морской болезнью, то в плавании через Ла-Манш придется потерпеть. Вино, гласил путеводитель, в Англии гораздо дороже, нежели на материке, но жажду можно утолять и простою водой. Если же вы не владеете английским языком, то пребывание в Англии может показаться для вас утомительным… Ну, спасибо за иноформацию!

На северных морских путях, ведущих в Россию, недавно взорвался крейсер «Хэмпшир», на котором британский лорд Гораций Китченер спешил в Петербург, дабы побудить наших генералов к большей активности. В книге Джона Астона сказано: англичане «надеялись, что присутствие этого сильного и беспристрастного человека будет способствовать принятию разумных решений» в русских военных кругах. Я знал Китченера как жесточайшего колонизатора, и, наверное, прибыв в Россию, он бы навсегда запретил нам потребление горчицы. Я появился в Англии, когда вся страна была погружена в печаль по случаю его гибели; в поезде, идущем в Портсмут, я наслушался всяких вздорных речей от морских офицеров, для меня оскорбительных:

— Как не уберегли тайну выхода в море «Хэмпшира»? Если же русские знали о визите к ним Китченера, не могли ли они за бутылкой водки подсказать немцам, где удобнее расправиться с их гостем, чтобы избежать его визита в Россию?..

Дикая нелепость подобных слухов была очевидна. Я плыл на родину тем самым путем, который в войне с Гитлером оживили союзные караваны с поставками по ленд-лизу. Думаю, нашим североморцам приходилось тут нелегко, но мое тогдашнее плавание к родным берегам было попросту утомительно-нервозным. Англичане требовали от меня, чтобы в случае гибели корабля я четко знал, в какой люк вылезать, в какую шлюпку садиться, за какое весло хвататься. Паче того, ради условий секретности они все время дурачили меня, будто наш корабль плывет в Америку. В кают-компании часто повторялись рассуждения:

— Россия уже шатается. Наша святая обязанность — или подтолкнуть ее, падающую, чтобы она долго не мучилась, или, напротив, удержать над пропастью, благо эта богатая сырьем держава еще может нам пригодиться… Дальний Восток более интригует японцев, зато вот Кольский полуостров, по данным ученых, таит в своих недрах удивительные сокровища…

Они рассуждали в моем присутствии столь откровенно, ибо я выдавал себя за дипкурьера с корреспонденцией от Пашича к сербскому посланнику Спалайковичу. Думаю, что хозяевам кают-компании было не очень-то приятно, когда однажды — в конце такой дискуссии — я сказал им на английском языке:

— Качка была сильная, но ваш корабль не потерял устойчивости, ибо в его трюмах полно артиллерии, из чего я понял, что вы решили Россию еще не толкать, а поддерживать…

Мурманск (Романов-на-Мурмане) остался для меня в тумане, как сказочное видение; хорошо запомнил только ряды унылейших бараков, возле которых дружно мочились какие-то лохматые типы явно преступного вида, слишком подозрительно озиравшие мое парижское пальто и мой чемодан из желтой кожи. Провожаемый их долгими и алчущими взорами, я выбрался к станции, которая тоже была бараком, но здесь уже пыхтел на путях состав из пяти вагонов с окнами, заклеенными бумажками.

Конечно, за кратчайший срок построить железнодорожную магистраль от Кольского залива до столицы попросту невозможно, и потому пассажиры героически выносили рискованные крены вагонов, грозившие перевернуть состав кверху колесами, а на синяки и шишки даже не обращали внимания. На редких полустанках я видел и создателей этой железной дороги — люто-мрачных германских военнопленных и русских землекопов.

Первые весьма охотно объяснили мне суть этой трассы:

— Под каждой шпалой — скелет померанского гренадера. Еще канцлер Бисмарк доказывал в рейхстаге, что все Балканы не стоят костей одного померанского гренадера, а здесь…

Кладбище! Русские мужики говорили о том же:

— Сколько тута шпал до Питера — столь и могилок. Округ болота, хоронить негде, так мы усопшего под шпалу какую ни на есть сунем — и далее гоним, а паровоз всех придавит…

До самой Кеми я не вылезал из вагона-ресторана, где кухня предоставила к моим услугам такие деликатесы, о которых я даже забыл в Европе: черная икра, осетрина, медвежьи окорока, налимы, рябчики и куропатки величиною с цыпленка. Петрозаводск, столица Олонецкой губернии, удивил меня музыкой духовых оркестров на бульварах, изобилием товаров и провизии в магазинах, — казалось, местные жители совсем не ведали лишений войны. Итальянский дипломат Альдрованди Марескотти, проезжавший через Петрозаводск чуть позже меня, тоже попал под очарование этого волшебного города — с его особой неяркой красотой, со множеством храмов и музеев. «За двойными стеклами окон, — писал Марескотти, — видно множество гиацинтов в полном цвету. Несмотря на жестокий холод, мы встречаем на улицах красивых женщин, одетых по последней моде, как в Париже или в Риме: короткие платья, у всех прозрачные чулки…»

— Когда будем в Петербурге? — спросил я проводника.

— В Петрограде, — поправил он меня, — будем точно по расписанию — в десять утра. Дорога славится точностью…

Что первое я заметил в военном Петрограде и чего не видел ранее в мирном Санкт-Петербурге? Мужские профессии доблестно осваивали женщины. Я видел их кучерами на козлах пассажирских пролеток, они браво служили кондукторами в трамваях, обвешав свои груди, словно орденами, разноцветными свертками билетов, наконец, они же сидели в подворотнях домов — их называли тогда не «дворничихами», а «дворницами»…

Господи, помилуй Акулину милую! С непривычки мне было противно видеть женщин, исполняющих мужскую работу.

\* \* \*

Проходят годы, минуют столетия, люди свято хранят память о великих певцах, славословят писателей, ставят на площадях памятники дипломатам и полководцам, но имена шпионов, за очень редкими исключениями, пропадают втуне, и лишь немногие из них осмеливаются оставить после себя мемуары.

Все люди, жертвующие собой во имя высших идеалов Отчизны, так или иначе, но все-таки верят, что их имена останутся на скрижалях истории. Иное дело — офицер разведки Генштаба, остающийся безымянным, как бы навеки погребенным в недрах секретных архивов, куда посторонним нет доступа. Именно так! И чем долее он никому не известен, тем больше ему славы, но эта слава тоже законспирирована, как и сам агент разведки. История не любит поминать людей нашей профессии, словно на них наложено гнусное клеймо касты неприкасаемых. Но, скажите, найдется ли такой актер, который бы согласился всю жизнь играть лишь «голос за сценой», оставаясь невидим и неизвестен публике? А вот агент разведки умышленно таится за кулисами, желая остаться неизвестным, ибо его известность — это гибель, и для него, разоблаченного и казнимого, нет даже парадного эшафота, чтобы народ запомнил его лицо. Так что ему ордена и почести? Что они могут значить, если офицер разведки не осмелится надеть их в «табельные дни» народных празднеств, ибо он не вправе объяснить людям, за что им эти ордена получены…

Агентов уничтожают без жалости. Враги! Но иногда их умышленно уничтожают свои же — тоже без жалости, ибо эти люди невольно делаются опасны, как носители чудовищной информации, для государства невыгодной. Знаменитая шпионка кайзера «фрау Доктор» (Элиза Шрагмюллер) была добита в гестапо, ибо не могла забыть то, что забыть обязана. На могильном камне английской шпионки Эдит Кавелль, расстрелянной немцами, высечены ее предсмертные слова: «Стоя здесь, перед лицом вечности, я нахожу, что одного патриотизма недостаточно». Много было домыслов по поводу этих слов, и если разведчику «одного патриотизма недостаточно», то спрашивается, что же еще требуется ему для того, чтобы раз и навсегда ступить на тропу смерти? Думаю, все дело как раз в патриотизме самого высокого накала, который толкал людей на долгий отрыв от родины, на неприемлемые условия чужой и враждебной жизни, чтобы в конечном итоге — вдали от родины! — служить опять-таки своей родине…

Я никогда не считал свою профессию выгодной в денежном или карьерном отношении. В конце-то концов, будь я инженером путей сообщения или грозным прокурором, я зарабатывал бы гораздо больше, а пойди я по штабной должности, угождая начальству, я бы выдвинулся в чинах скорее. Но я никогда не раскаивался в избранном мною пути, и не потому, что любил риск, вроде акробата под куполом цирка, — нет, мне всегда казалось, что я делаю нужное для народа дело, за которое не всякий (даже очень смелый человек) возьмется.

Я всегда был очень далек от политики, не вникал в социальные распри, не уповал на грядущее благо революции, но, смею думать, что именно любовь к отчизне и к справедливости ее народных заветов повела меня туда, где я должен быть, и не кому-нибудь, а именно мне, бездомному бродяге, пусть выпадет то, что я обязан принять с чистым сердцем…

Если угодно, эти слова можете считать моей исповедью!

\* \* \*

От вокзала я пешком прошел до Вознесенского проспекта, где долго стоял перед дверями своей старой квартиры, в которой меня ожидало лютое одиночество и… пыль, пыль, пыль. Подергал ручку двери и горько рассмеялся. Пришлось звать швейцара и городового с улицы, дабы в присутствии понятых-соседей произвести взлом дверей собственной квартиры.

— Вы уж меня извините, — сказал я людям, когда под натиском лома и топора двери слетели с петель. — Был у меня ключ. Был! Еще старенький. Но потерялся. Что тут удивительного, дамы и господа? Сейчас не только ключи — и головы теряют…

Было неприятно, что в ванне лежала мертвая иссохшая мышь. Наверное, она попала в ванну случайно, а погибла в страшных муках — от жажды, ибо краны были туго завернуты.

Я позвонил в Генеральный штаб, доложив о своем прибытии.

Интересно, где-то я теперь понадоблюсь?..

2. Мышиная возня

Где только не приходилось спать в годы войны, но самой дикой была первая ночь, проведенная в своей же квартире, на скрипучем отцовском ложе, где никто, казалось бы, не мешал наслаждаться желанным покоем. Никто, кроме этой соседки за стеною — мыши! Бедная, вот уж настрадалась она… и некому было ей помочь. Никогда не был сентиментален, но сатанинские муки крохотного зверька, не сумевшего выбраться из глубины ванны, ставшей могилой, были так мне понятны, будто я сам пережил страдания этой жалкой мыши.

Вскоре меня стала угнетать неопределенность моего положения. Генштаб, безусловно, зафиксировал возвращение своего агента, но более ничем не беспокоил. Это меня удручало. Иногда стало мниться, что я не оправдал доверия Генштаба, что там, в самых высоких инстанциях, мною недовольны, как простаком, а порою даже думалось, что, останься я в Салониках, ко мне бы отнеслись с бульшим вниманием. А без дела я был — как тот мышонок, который в поисках воды погиб от жажды. По чину полковника я теперь щеголял по слякоти в новеньких галошах, как бы давая понять нижестоящим, что эти блестящие галоши прокладывают мне прямую дорогу к генеральским чинам…

Смешно, не правда? Но я тогда не смеялся.

Без вызова я сам побывал на верхнем этаже здания Главного штаба на углу Невского, где и без меня забот всяких хватало. Поговорив с коллегами, я с немалым огорчением убедился, что наша агентурная разведка ныне занята не столько разведкой, сколько борьбой с агентурой противника, умело пронизавшей наш военный и государственный аппарат — сверху донизу, вдоль и поперек. Дело дошло до того, что недавно в столице открыто проводилась через швейцаров подписка на помощь сиротам-беженцам, а все собранные денежки спокойно уплывали в Берлин — на развитие подводного флота Германии.

Разговор с начальством был для меня тяжелый и неприятный, я сорвался, нервы мои не выдержали попреков:

— Послушайте, я ведь старался не ради того, чтобы дослужиться до галош. Если для меня не сыщется никакого дела, я могу просить отставки, не отягощая в дальнейшем свою судьбу тяжким бременем генеральских эполет. В конце концов я могу довольствоваться и пенсией полковника.

На это мне было сказано:

— Во время такой ужасной войны просить об отставке могут только совсем уж бестолковые люди.

— Так и считайте меня таковым. Я согласен на все, лишь бы не выслушивать ваших глумливых сентенций…

В самый острый момент разговора вдруг появился Николай Степанович Батюшин и, отвесив поклон в мою сторону, присел к подоконнику, листая какие-то бумаги. Потом сказал:

— Вернулись? Глаза целы? Руки-ноги на месте? Ну и скажите судьбе спасибо, что живым оставила.

— Благодарю. Но вы, Николай Степанович, появились не ради того, чтобы присыпать мои раны солью.

— А придется! — ответил Батюшин. — Ваше имя неожиданно попало в швейцарские газеты, в них обрисован — и довольно-таки точно! — ваш внешний портрет. Швейцарская полиция работает на руку германской, что вас, надеюсь, никак не обрадует.

Я уже привык балансировать на острие ножа, однако подобное сообщение меня достаточно обескуражило:

— Когда и где меня подцепили — не знаю. Очевидно, мое имя возникло чисто случайно… Хотя, — вдруг догадался я, — на фронте под Салониками англичане имели немало поводов для недовольства мною, и, чтобы дезавуировать меня как русского агента, они могли дать обо мне информацию в Швейцарию, дабы навсегда закрыть мне пути в Германию, а заодно уж сделать из меня кусок отвратительного дерьма.

— Похоже на правду, — согласился Батюшин. — Да, похоже. Тем более что майор Нокс, как очевидец гибели армии генерала Самсонова, не нашел ни одного доброго слова о вас лично. По его словам, вы занимались там всякою ерундой.

— Простите. Какой ерундой я мог заниматься?

— Нокс заметил: вы искали опору в поляках или в мазурах, всегда расположенных к России, а вам следовало вербовать агентуру среди местных жителей — пруссаков.

— Чушь! — отвечал я. — Не вербовать же мне было разъяренных прусских мегер, которые ошпаривали крутым кипятком наших солдат из окон. Там все население с детских яслей воспитано в ненависти к нам, русским. Местных славян немцы превратили в своих рабов, и тамошние юнкеры не уберутся из Пруссии, пока не вышвырнем их оттуда…

Среди офицеров разведотдела скромно посиживал и капитан Людвиг фон Риттих, который даже без злобы заметил:

— Любить свое отечество никому не запрещено. Мои предки вышли на Русь из той же Пруссии, два столетия верой и правдой служили династии Романовых. Но это не значит, дорогой вы мой, что я стану обливать вас из окна крутым кипятком.

Я постарался сохранить полное спокойствие:

— Вам легче, господин капитан, нежели мне. У вас в запасе имеется вторая отчизна, из которой вы явились на Русь и в которой снова укроетесь, если с Россией будет покончено. А куда… мне? — спросил я, сам дивясь своему вопросу.

Но фон Риттих оказался способным больно ужалить:

— Пока в Сербии существует полковник Апис, запятнавший себя цареубийством, вы всегда сыщете дорогу до Белграда…

Я почему-то опять вспомнил несчастную мышь, которую так и не выкинул из ванны, моя рука невольно вздернулась для пощечины, но Батюшин (спасибо ему) вовремя перехватил ее:

— Господа, мы же не извозчики в дорожном трактире, где сивуху заедают горячим рубцом. Оставайтесь благородны…

— Останемся, — сказал я, натягивая перчатки. — Но я чувствую, что наша разведка превратилась в какую-то лавочку, и потому будет лучше, если я завтра же стану проситься на передовую. Лучше уж погибнуть полковником с именем, нежели тайным агентом без имени… всего доброго, господа!

Я вернулся к себе на Вознесенский и, пересилив брезгливость, первым делом выбросил из ванны дохлую мышь, которая высохла, став почти бестелесной. Звонок по телефону вернул меня в прежнее бытие. Батюшин сказал:

— Я вижу, что Балканы вас здорово потрепали. Ваши нервы уже ни к черту не годятся. Знаете, в таких случаях иногда полезно общение с умными и приятными женщинами.

— Извините, Николай Степанович, по бардакам не хожу.

— Так в бардаках и не встретить приятных и умных женщин. А я зову вас вечером посетить салон баронессы Варвары Ивановны Икскуль фон Гильденбандт, урожденной Лутковской, которая в первом браке была за дипломатом Глинкой… Помните ее портрет Ильи Репина? Во весь рост. В красной кофточке. Широкой публике он известен под названием «Дама под вуалью».

— А к чему мне лишние знакомства?

— Я думал, вам будет весьма любопытно взглянуть на женщину, из-за любви к матери которой наш великий поэт Лермонтов стрелялся на дуэли с Эрнестом Барантом…

Тогда я не понял, что в разведотделе для меня готовили новое дело, почти домашнее, дабы я малость поостыл после всего, что мне довелось испытать вдали от родины.

— Ну, так что вы решили? — спросил Батюшин.

— Хорошо, Николай Степанович, я приду… О чем мне хоть говорить-то с этой баронессой?

— Да она сама разговорит любого…

\* \* \*

Вечером я появился в особняке баронессы на Кирочной улице. Знаменитая «дама под вуалью» была, естественно, без вуали, а в ее прическе элегантно серебрилась прядь седых волос. Я слышал, что в числе многих имений Варвары Ивановны одно, доставшееся от мужа, было в Лифляндии, почти под самою Ригою, и называлось оно «Икскуль», где сейчас шли жестокие бои…

— Предупреждаю, — с вызывающим юмором сказала Варвара Ивановна, — что все баронессы в театральных пьесах — злодейки и распутницы, а во время войны все шпионки — обязательно баронессы… Вас это не пугает, господин полковник?

— Меня давно уже так не пугали, — ответил я…

В числе многих гостей баронессы, великих артисток и сенаторов, скромных живописцев и модных адвокатов, я не сразу заметил и Батюшина, зато был рад увидеть в салоне Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича, который очень хорошо отозвался о хозяйке дома, как о женщине самых передовых воззрений:

— Она не только дружила с семьей Чехова, но в пятом году вызволила из Петропавловской крепости молодого Максима Горького. Я не принадлежу к числу ее друзей, мне просто понадобился план имения баронессы «Икскуль», возле которого немцы ведут активное наступление. Там же, возле имения, железнодорожная станция, и если немцы возьмут ее, то сразу перережут важнейшую магистраль Рига — Петербург…

Комнаты салона напоминали музей, так много было в них итальянских скульптур и живописных полотен, а во множестве женских портретов я распознавал черты самой владелицы дома. Ее салон был украшен редкостной коллекцией бронзовых часов — буль, ампир, люисез, форокайль, и все они бессовестно выстукивали свои мотивы, назойливо напоминая об уходящем от нас времени. Заметив мой неподдельный интерес к старине, Варвара Ивановна пояснила:

— Я имела несчастье быть женой дипломатов, которые торопились покинуть меня, дабы поселиться на другом свете. Многое тут осталось от них… А вы, как я слышала, лишь недавно вернулись в Питер? Что более всего вас удивило на родине?

Если бы об этом спрашивал Бонч-Бруевич, я бы сознался, что в столице заметил «немецкое засилье», но женщине, носившей фамилию Икскуль фон Гильденбандт, я не мог так отвечать и высказал свое мнение о социальном разброде в обществе:

— Народ в оппозиции к правительству, министры в оппозиции к царю. Дума в оппозиции к министрам. Мне, свежему человеку, многое кажется странным… Не знаю, насколько это справедливо, но, как говаривал еще Бенжамен Констан, «даже если народ не прав, правительство все равно останется виноватым». Можно лишь гадать — чем все это закончится.

Варвара Ивановна поправила седую прядь волос с некой небрежностью, как бы намекнув мне о своем возрасте, а следовательно, и о более глубокой ее житейской мудрости.

— Все кончится, как в опере Мусоргского «Борис Годунов», — услышал я неожиданный ответ дамы. — Под звоны колоколов царь умирает, народ восстает, но тут является самозванец, и, окруженный ревущей от восторга толпой, он входит в храм, а жалкий нищий-юродивый прозревает, становясь мудрецом, и при этом он начинает петь… Вы разве не помните его слов?

Мне пришлось сознаться в своем невежестве:

— Признаться, баронесса, забыл.

— А вы вспомните: «Плачь, святая Русь, плачь, православная, ибо во мрак ты вступаешь…»

— Страшно, — ответил я баронессе.

— Еще бы! — усмехнулась она. — Ежели все началось Ходынкой, так Ходынкой все и закончится… Сейчас, пока мы столь мило беседуем, немцы снарядами разносят мой древний замок на станции Икскуль, и что там уцелеет — не знаю…

Я покинул салон, озвученный биением ритма уходящего времени, заодно с полковником Батюшиным, и на улице между нами возник деловой разговор. Батюшин рассказывал о невосполнимых потерях среди кадровых офицеров на фронте.

Чтобы хоть как-то пополнить их убыль, началось массовое производство в подпрапорщики и прапорщики всех более или менее грамотных и смелых солдат, вчерашних рабочих, канцеляристов, детей лавочников и священников…

— Ну и пусть! — сказал я, думая о чем-то своем.

Николай Степанович встряхнул меня за локоть:

— Сразу видно, что вас давно не было в наших питерских Палестинах, иначе бы вы не остались равнодушны. Пусть-то оно пусть, но случись революция, и это новое офицерство, весьма далекое от старой кастовости, может породить таких Бонапартов, что от Руси-матушки одни угольки останутся.

— А как бои под Икскулем? — спросил я.

— С переменным успехом, — ответил Батюшин. — Впрочем, об этом гораздо лучше меня знает Бонч-Бруевич…

\* \* \*

…Ныне же станция Икскуль-Икшкиле — тихое дачное место под Ригою, и пассажиры поездов, равнодушно поглядывая в окна, никогда не задумываются, что здесь шли страшные бои, вся земля тут пропитана кровью латышских стрелков и русских солдат из штрафных батальонов и что именно здесь когда-то жила в древнем замке репинская «Дама под вуалью».

3. Детская игра

Ко времени моего возвращения на родину в политике слишком обострился «румынский вопрос», и я втайне надеялся, что скоро предстоит вернуться на Балканы, но — совсем неожиданно — меня вдруг пожелал видеть Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич.

Первые же его слова были расхолаживающими:

— Никаких серьезных дел за кордоном пока не предвидится, а посему, милейший, поработайте-ка на домашней кухне, чтобы не потерять присущих вам навыков…

Бонч-Бруевич занимал пост начальника штаба Шестой армии, составленной из частей ополчения для охраны подступов к столице со стороны моря и Псковского направления.

— К сожалению, — продолжил Михаил Дмитриевич, — в Питере меня не жалуют, именуя «немцеедом». Причиной тому, что среди подозреваемых в шпионаже я обнаружил немало сановных персон, занимающих высокие придворные должности… Разве вы сами не заметили вражеского засилья в наших верхах?

— Заметил! Мало того, некоторые офицеры и генералы, носившие до войны немецкие фамилии, быстро «русифицировались»: фон Ритты сделались Рытовыми, Ирманы стали Ирмановыми.

— Но говорить об этом опасно, — сказал Бонч-Бруевич. — Стоит коснуться этой темы, как сразу следует нападение доморощенных либералов, обвиняющих меня в великодержавном шовинизме и даже в черносотенстве. Однако мне все-таки удалось сослать в Сибирь для катания тачек немало остзейских немцев, мечтающих об «аншлюсе» Прибалтики к Германии…

Бонч-Бруевич подтвердил, что функции русской разведки растворились в насущных проблемах контрразведки. Пока что, дабы я не сидел без дела, он просил меня помочь разобраться в результатах хаотической эвакуации промышленности из Риги; при вывозе оборудования заводов выявилось, что самые ценные станки были сброшены из вагонов под насыпь, а кто виноват — не докопаешься. Запасы ценнейших цветных металлов вообще куда-то пропали, будто их никогда и не было.

— Так спешили, что умудрились где-то утопить даже памятник Петру Великому… Латыши держат нашу, русскую, сторону, формирования латышских стрелков показали себя на фронте превосходно, — рассказывал Бонч-Бруевич, — но первую скрипку в рижском концерте играют все-таки немцы… Впрочем, все это лишь предисловие, а суть дела вам доскажет Батюшин.

Батюшин встретил меня довольно-таки мрачно:

— Тут у меня в арестантской комнате штаба сидит капитан артиллерии Пассек с Двинского плацдарма, которым командует генерал Черемисов. Пассек явился с повинной… сам виноват, дурак! Не желаете выслушать его исповедь?

Пассек, явно страдающий, рассказал нелепую историю. В лифляндском городе Венден (ныне Цесис) имел жительство ротмистр фон Керковиус, дом которого славился гостеприимством. Невзирая на «сухой закон», вин и водок всегда было в изобилии. Офицеры прямо с передовой спешили провести вечер у Керковиуса, где их любезно привечала хозяйка, очень приятная женщина. Конечно, за вином следовали картишки, откровенные разговоры о делах на фронте, иногда в Венден наезжал «отвести душу» и сам генерал Черемисов, у которого ротмистр Керковиус состоял в роли офицера для особых поручений… Пассек рассказывал:

— По-моему, в вино добавляли какой-то дурман, ибо многие из нашей компании не выдерживали, хотя в окопах спирт лакали как воду. Таких оставляли отсыпаться до утра, а утром они объявлялись должниками в карточном проигрыше. Вестимо, никто не смел возражать, потому что ни бельмеса не помнили. Так случилось и со мною. Я понял, что мне не отыграться, хотя специально навещал Керковиусов в надежде «сорвать карту».

— Сорвали? — спросил я.

— Напротив, еще более запутался в долгах. Но при этом у меня возникли некоторые подозрения, — признался Пассек.

В глазах Пассека блеснули слезы.

— Мне стыдно, — сказал он, — даже очень стыдно… Когда все офицеры засыпали мертвецки пьяные, жена Керковиуса — внешне вполне пристойная дама! — проверяла их полевые сумки, даже рылась в офицерских бумажниках.

— Но денег, конечно, не брала?

— Нет. Деньги ее не волновали.

— А с каких пор вы знаете ротмистра Керковиуса?

— С начала войны. Еще с Либавского плацдарма.

— А его жену?

— Она появилась при нем тогда же…

— Какова ваша задолженность? — вмешался Батюшин.

— Страшно сказать. Уже под восемь тысяч рублей, или…

— Что «или»? — вдруг рявкнул Батюшин.

— Или передать план расстановки батарей возле станции Икскуль, где развернулись бои. Понимаю, что я достоин презрения. Что делать — не знаю. Помогите… такой позор…

— Ясно! — пресек его стенания Батюшин, выкладывая на стол пачки денежных купюр. — Карточный долг — это долг чести, даже дурак понимает: если проиграл — расплачивайся…

\* \* \*

— Поедете в Венден? — спросил Батюшин, когда Пассека снова увели в арестантскую комнату.

— Это же детская игра, — ответил я. — Достаточно одного жандарма, чтобы Керковиусы оказались в Сибири… Впрочем, давайте мне этого несчастного капитана Пассека, поеду вместе с ним, заодно он меня и представит.

— Представит вас командиром шестнадцатого стрелкового полка, прибывшего на пополнение. Заодно под видом интендантского чиновника с вами поедет военный юрист Шавров.

— Вы думаете, один я не могу разорить это гнездо?

— Нет, а Шавров мастер производить обыски…

Шавров, уже пожилой человек, я и Пассек дневным поездом отъехали в «Ливонскую Швейцарию», где меня нисколько не могли тешить красоты древнего Вендена, зато я заранее переваривал в своем желудке немалую порцию оливкового масла, которое помогло бы мне нейтрализовать винный дурман.

— Не дрожите, будто к вам подключили провода высокого напряжения, — заметил Пассеку. — Умели грешить, так умейте расплачиваться, если вы офицер и еще не потеряли чести.

— Извините. Я не знаю, как вести себя.

— С нами? Как можно проще.

— Нет, не с вами, а с мадам Керковиус.

— Проще простого, — надоумил его Шавров. — С самым нахальным видом вручите этой халде деньги, а потом ведите себя как обычно. Коли угодно, так продуйтесь снова на восемь тысяч! Наша контора давно обанкротилась и расходов не считает…

Навстречу нашему поезду медленно ползли длинные составы с оборудованием рижских заводов, в них же ехали горемычные семьи латышских рабочих, не желавших оставаться «под немцем». Проселочные дороги, ведущие к Двинеку, были забиты беженцами и подводами с их имуществом, что очень живо напомнило мне отступление сербов. В Венден поспели к вечеру. Пассек указал дом на Плеттенбергской улице, где царило шумное веселье. Моя полевая сумка не таила в себе ничего секретного, но в нагрудном кармане походного френча лежала диспозиция для моего полка с указанием сроков начала его развертывания. Среди множества подписей под документом легко угадывалось факсимиле командующего Шестой армией генерала Фан дер Флита, которое с легкостью базарного фокусника подделал сам Батюшин. Изнутри дома Керковиусов слышались вздохи граммофона, нетрезвые голоса банкометов. Со стороны недалекого фронта автомобили подкатывали офицеров, еще грязных после окопов, но желавших в винном и картежном обалдении забыться от военных невзгод. Шавров присел в уголочке, даже незаметный в тени громадного фикуса, а я проследил, как Пассек вернул долг хозяйке дома, и женщина, хорошо владевшая собой, ничем не выразила огорчения оттого, что «птичка» так легко вырвалась из ее «когтей».

Я был представлен даме, и тот же Пассек вполне к месту намекнул, что с прибытием моего полка возможны перемены в боевой обстановке у станции Икскуль. При этом я выразительно похлопал себя по нагрудному карману френча:

— Господин капитан Пассек прав — мой полк, составленный из резервистов столичного гарнизона, отступать не станет.

— Желаю успеха, — отозвалась мадам Керковиус. По расширенным зрачкам красавицы я догадался, что она уже достаточно взбодрила себя хорошею дозой кокаина. Пассек, оглядевшись среди гостей, вслух заметил отсутствие ее мужа, и женщина пояснила, что муж вернется позже — заодно с генералом Черемисовым. Я постоял в сторонке, оценивая общую картину дешевого и малоприглядного веселья. «Сухой закон» здесь был не в чести, толстая служанка Хильда обносила гостей винами и закусками. Шавров совсем затерялся в листьях громадного фикуса, только огонек его папиросы, вспыхивавший в потемках, будто сигналил мне о его непрестанной бдительности. Я взял с подноса рюмку водки, искоса наблюдая за хозяйкою дома, сидящей на диване с видом прожженной «львицы». Мне отчасти были знакомы шаблонные повадки немецких шпионок, подготовка которых к роли соблазнительниц была очень схожа с той «школой», что проходили высокооплачиваемые проститутки для фешенебельных борделей. За картежным столом возникла ссора, я прикрикнул:

— Господа, ведите себя пристойно. Вы здесь не на конской ярмарке, а между нами находится обворожительная женщина…

На диске граммофона сменили пластинку, и комната наполнилась повизгиванием кафешантанной певички:

А я люблю военных! Военных — дерзновенных…

Керковиус в томной позе перекинула ногу на ногу, покачивая носком туфли, — словно метроном, отбивающий ритм музыки:

— Вы смутили меня, господин полковник… так смутрите! Я пожалуюсь мужу. Он у меня страшный ревнивец…

Легко поднявшись с дивана, она провела меня в отдельную комнату, где возле буфета Хильда перетирала стаканы.

— У меня есть бутылка чудесного вина, — сказала Керковиус, присаживаясь подле меня за низенький столик. — Хильда, проверь двери, чтобы сюда не совались пьяные рожи…

Не знаю, какую роль сыграло оливковое масло, но удар алкоголя с дурманом был столь силен, словно меня по затылку огрели оглоблей. Я еле ворочал языком, решив отдаться во власть событий, и, как последний забулдыга, уронил голову на стол.

Впрочем, сознание не покинуло меня, я слышал:

— Хильда, загороди нас от окна…

Осмотр моей полевой сумки ничего ей не дал, зато из нагрудного кармана с нежным шелестом был извлечен секретный пакет, и Керковиус, уходя, строго наказала Хильде:

— Не отходи от окна, чтобы его не видели с улицы…

Мне оставалось ждать, когда она вернется. Ожидание затянулось, и я пришел к выводу, что копировальная фототехника у Керковиусов не самой лучшей берлинской марки. Наконец моя дульцинея вернулась и, вложив пакет с приказом в карман моего френча, была столь заботлива, что даже застегнула на мне пуговицу. Только теперь я оторвал голову от стола.

— Работа вполне профессиональная, — сказал я, — за которую вам, фрау Керковиус, наверное, хорошо платят…

Хильда с криком метнулась к дверям, но они уже были заперты снаружи. Я понял, что Шавров не сидел без дела, однако где же он сам? Молчание затянулось. Керковиус, чтобы выгадать время, нужное для обдумывания обстановки, медленно вытаскивала папиросу из моего раскрытого портсигара.

— Обычное дамское любопытство, — сказала она.

Но в этот момент из потаенной комнаты, где скрывалась подпольная фотолаборатория, вышел торжествующий юрист Шавров, на вытянутой руке он держал еще мокрую фотокопию секретного приказа, изъятую им из раствора фиксажа.

— Подобное дамское любопытство, — возвестил он, — карается всего лишь восемью годами каторжных работ… Сущая ерунда!

У мадам Керковиус прорезался грубый голос:

— Этот бандитский налет дорого вам обойдется… я буду жаловаться Фан дер Флиту и генералу Черемисову.

С улицы раздался гудок автомобиля, возле дома погасли фары штабной машины, освещавшие Плеттенбергскую улицу.

— Как по заказу! — сказал я. — Кстати прибыл генерал Черемисов с вашим супругом. Велите своей многоопытной служанке, чтобы она не дергалась, а сидела, держа руки поверх стола.

Шавров открыл дверь в гостиную, где шла игра в карты и царило пьяное веселье офицеров, но сам остался в буфетной, чтобы женщины не вздумали выскочить в окно. Я появился в гостиной как раз в тот момент, когда из сеней входил плотный здоровяк генерал Черемисов, движением плеч скидывая шинель на руки своего адъютанта Керковиуса. Тот принял шинель с плеч генерала, уже отыскивая на вешалке свободный крючок.

Меня даже прознобило. Но… сомнений быть не могло!

Керковиус, сопровождавший Черемисова, был не кто иной, как майор фон Берцио, когда-то схваченный мною на границе в Граево, а потом разоблачивший меня в Кенигсберге.

— Добрый вечер, господа! — басом произнес Черемисов.

Берцио увидел меня — наши глаза встретились.

Без секунды промедления опытный немецкий агент с размаху набросил на голову Черемисова его шинель, и генерал беспомощно взмахивал руками, силясь освободиться от нее.

В руке Берцио тут же сверкнул револьвер.

— На память… тебе! — выкрикнул он.

Пуля вжикнула над моим локтем, а Берцио исчез в темноте коридора, выводящего в уличный сад. Одним ударом я опрокинул на пол тушу Черемисова и, перепрыгнув через него, болтающего ногами в сапогах со шпорами, выскочил в коридор.

В раскрытых дверях — четкий силуэт убегавшего Берцио.

— На! На! На! — трижды выкрикнул я, стреляя…

Когда он упал, я еще постоял над ним, наклонившись, и, помнится, дулом револьвера расправил ему роскошные усы. Сомнений не было — да, передо мною лежал он, именно он. Я вернулся в гостиную, где после серии выстрелов все мигом протрезвели и теперь смотрели на меня с некоторым испугом.

— Господа! — объявил я. — Ваше казино прогорело, советую разъехаться по своим частям. Но прежде я позволю себе составить список присутствующих, отметив звание каждого.

— А это еще зачем? — стали галдеть офицеры.

— Затем, — пояснил я, — что своим пребыванием в грязном притоне вы нарушили правила благородного поведения, и всем вам предстоит суд офицерской чести. Полковников разжалуют в подполковники, подполковники станут капитанами, капитаны штабс-капитанами, а штабс-капитанам предстоит снова служить поручиками… Господин Пасейк, где вы? Идите сюда. Прошу вас к столу, и сразу начинайте составлять список.

Командующий боевым Двинским плацдармом наконец-то выпутался из шинели, которую в ярости разодрал кавалерийскими шпорами. Вскочив на ноги, Чермисов начал орать на меня:

— Это мы еще посмотрим… морда жандармская! Привыкли трепать честных людей, и даже на фронте легких лавров взыскуете? Не выйдут… хамло! Известно ли вам, что я только вчера из Могилева, где обедал подле его величества?

В дверях появился невозмутимый юрист Шавров:

— Не спорьте. Суд будет справедлив, и, лишившись эполет генерала, вы можете ездить в Могилев и далее… обедать.

Офицеров переписали, затем по одному выпускали из притона. И каждый из них на пороге дома Керковиусов тщательно обходил труп убитого Керковиуса-Берцио, который глядел на своих вчерашних партнеров пустыми стеклянными глазами, а в раскрытом рту мертвеца ярко поблескивала золотая коронка.

— Вы, наверное, из «Правоведения»? — спросил Шавров.

— Нет, окончил Военно-юридическую академию.

— Почти коллеги! Я ведь в юные годы был «чижик-пыжик», но ни Спасовича, ни Кони из меня не получилось.

— Сожалеете? — усмехнулся Шавров.

— Да как сказать… В компетенцию военного человека тоже ведь входят вопросы милосердия и возмездия. Кстати, очень ли плакала мадам Керковиус, когда услышала мои выстрелы?

— Совсем нет. Сразу понюхала кокаину, после чего глаза у нее стали громадные, как у кошки, завидевшей собаку…

Я позвонил в жандармское управление Вендена:

— Выезжайте на улицу магистра Плеттенберга… Зачем? Чтобы поставить клизму одной очаровательной дамочке.

— Сволочь! — послышался голос мадам Керковиус.

Отвечать на ее ругательства я не счел нужным:

— Берите с собой зимние вещи. Меха и прочее.

— К чему они мне?

— К тому, что Сибирь славится морозами…

Из морга прикатил фургон, и мортусы, закутав покойника в простыни, увезли его в анатомический театр. Вот уж не думал, что именно так закончится эта «детская игра», в которой я рассчитался с фон Берцио за свое былое поражение.

4. Лукулл угощает Лукулла

Вот и снова Питер, что «народу бока повытер», звончатые трамваи, переполненные инвалидами, уличные мальчишки, виснущие на «колбасе», все извозчики с утра нарасхват, а лихачи заламывали столько, что в публике слышалось:

— Скоро наши Ваньки да Маньки так возгордятся, что за один проезд по Невскому станут драть не меньше, нежели Матильда Кшесинская за тридцать два своих бесподобных фуэте…

После возвращения из Вендена мною опять овладело жуткое одиночество, и не было даже дохлой мыши в ванне, чтобы разделить мою тоску. Думалось! Если каждый человек — кузнец своего счастья, то я, наверное, лишь кузнечик, усердно стрекочущий на чужих полянах, не способный создать для себя даже примитивного семейного уюта. Мне все еще казалось, что главное в жизни — дело, а счастье где-то еще поджидает меня за поворотом туманной улицы. Но годы шли, и сам не заметил, как и когда перешагнул за сорок. Увлеченный событиями, я пропустил свою жизнь, но теперь, на пороге зрелости, словно споткнулся о камень. Возникло какое-то бессилие и даже пустота в душе. Разрешение подобных кризисов одни видят в поисках истинного Бога, другие уходят в толстовство и в политику, а мне… что мне? Осталось лишь навесить эполеты генерал-майора и на этом успокоиться — в отставке на пенсии.

Никто не знал дня моего рождения, следовательно, и гостей ожидать не стоило. Я позвонил в Елисеевский магазин, заказав множество дорогих деликатесов с доставкою на дом, и в полном одиночестве, ничего не желая, сказал сам себе:

— Если Лукулл не угощает своих гостей, тогда Лукулл угощает сам себя, и это должно быть приятно одному Лукуллу…

В одиночестве здраво думалось, но думалось, черт побери, опять-таки не о том, чтобы позвать с улицы первую попавшуюся Аспазию, — нет, события мира уже обглодали меня, словно голодная собака мозговую косточку. Отныне я не мог мыслить о себе, не связывая личной судьбы с тем, чту вокруг меня сегодня и чту мне и моей стране предстоит испытать завтра.

Весь прошлый год посвятив разгрому России, австро-германцы сумели овладеть лишь небольшой частью ее западных рубежей, почти не затронув исконно русских земель. Немцы оказались неспособны изменить ход войны на востоке, ибо Россия, даже ослабленная поражениями, сохранила свою боевую мощь, все поля ее были засеяны, как в мирные дни, заводы работали с небывалой активностью, приноровясь к нуждам фронта. Но пока русская армия сражалась один на один с врагом, союзники накапливали резервы, и в 1916 году кайзеру пришлось развернуть свои силы на запад, где его армия сразу напоролась на неприступные стены Вердена, который стал символом стойкости французского солдата. Между тем наши прошлогодние осложнения на фронте вызвали перемены в высшем командовании: великий князь Николай Николаевич был отправлен на Кавказ, Ставка перебралась из Барановичей в Могилев-на-Днепре, а главнокомандование водрузил на свои плечи сам император…

Бонч-Бруевич — при встрече со мною — спросил:

— А где вы успели нажить себе так много врагов?

— Для этого не надо быть гением. Делай свое дело, говори правду, не подхалимствуй, — и этого вполне достаточно, чтобы любая шавка облаяла тебя из-под каждого забора.

Разговор получился искренний. Я не скрывал, что служу ради чести, а значит, обязан из самых лучших побуждений делать карьеру, и мне не всегда приятно видеть своих однокашников по Академии Генштаба уже генералами. Бонч-Бруевич признал, что мое производство задерживается Ставкой:

— Государь утвердил законоположение, единое для всех: никакой полковник Генерального штаба не может претендовать на генеральство, не прокомандовав полком не менее года.

— Но известно ли государю, — отвечал я, — что полковник разведки Генштаба нигде не получит целый полк, чтобы целый год гонять его с песнями. Даже под Салониками, где застрял русский батальон, я так и не понял — кто кем командовал: я батальоном или сам батальон командовал мною?

— Ходят слухи, будто вы в этом батальоне устраивали сцены «братания» с нашим противником — болгарами.

— Так не грызть же им горло… Болгарам не хотелось стрелять в нас, а для нас болгары навсегда остались «братушками», ради свободы которых Россия в крови уже выкупалась.

Бонч-Бруевич не утаил от меня, что кто-то сознательно затирает мое продвижение до службе, хотя генерал Алексеев, начальник штаба при Ставке царя, человек рассудительный, хотел бы иметь меня в Могилеве. Я сказал, что удивлен.

— Напрасно! Алексеев достаточно наслышан о вас, и он даже советовал поручить вам какое-либо дело с выходом за кордон, чтобы вы смогли отличиться… для генеральства.

Мне было ясно, что в лице Михаила Дмитриевича я имею доброго советника, но планы Алексеева, пожелавшего видеть меня в Ставке, показались чересчур химеричными. Скоро в разведотделе Генштаба мне предложили работу, далекую от дел домашних, и, казалось, откажись я от нее, мне всю жизнь таскать бы по слякоти галоши полковника. Первый вопрос был таков:

— Знаете ли вы британского генерала Туансайда?

— Как пишут в учебниках по изучению иностранных языков, нет, я не знаю генерала Туансайда, но зато я имею двоюродную тетку, которая хорошо играет на виолончели.

— Не шутите! Туансайд командует экспедиционным корпусом в Месопотамии, близ Багдада, сейчас он застрял в аулах Кут-эль-Амара, где его корпус окружен турками и курдами. Однако вышенареченный Туансайд решительно отверг помощь нашей кавалерии князя Баратова, идущего к нему на выручку со стороны Кавказа, а сам не смеет пошевелиться в этом Кут-эль-Амаре.

— Отверг? Почему? Мы же союзники.

— Липовые. Или вы не знаете англичан? Они согласны претерпеть унижения турецкого плена, лишь бы не допустить нас в нефтеносные районы Месопотамии, Аравии или Южной Персии…

Тут я понял, что мои генеральские эполеты уже подвешены под куполом цирка, мое дело — не сорваться с трапеции, свершая тот смертельный прыжок, во время которого загадочно умолкают цирковые оркестры, а публика в ужасе закрывают глаза.

— Когда прикажете выезжать?

— Первым же поездом до Тифлиса, а в Карсе для вас приготовят проводника из армян и конвойных казаков. Все!

Чтобы изучить обстановку, времени не оставалось. До отхода поезда я уяснил лишь одно: англичане уже делали три попытки деблокировать корпус, но все они окончились неудачей, а вместе с Туансайдом в Кут-эль-Амаре парились еще пятеро британских генералов, которым Багдад только снился.

Сборы были недолгими. В самый последний момент, уже готовый покинуть квартиру, я вспомнил несчастную мышь, погибшую от жажды. На всякий случай, если опять произойдет подобное, я нарочно пустил в ванной тонкую струю воды из крана, чтобы животное могло напиться. Кажется, все. Ключ от квартиры я оставил у швейцара, и старик проводил меня низким поклоном.

\* \* \*

…ранняя весна. Но Тифлис встретил меня таким оглушительным градом, — словно я попал под обстрел картечью. Затем хлынул ливень, который я пережидал под крышей вокзала. Тифлиса я так и не увидел, но запомнил собачонку, которая плыла вдоль улицы, превратившейся в бурную речку, и, громко лая, низверглась с водопадом в каком-то кривом переулке.

Пассажиров ожидала пересадка на карсский поезд, а громадная толпа военных, ожидающих посадки, не слишком-то высоко оценивала мой чин полковника. При первом же ударе гонга, возвещавшего начало посадки, стремительная река многолюдья подхватила меня и понесла вдоль вагонов, как недавно уносила бездомную собачонку. Офицеры, их жены, солдаты, чиновники и сестры милосердия с такой быстротой заполняли вагоны, словно шла ускоренная киносъемка в комическом кинофильме. В этой железнодорожной суматохе XX века невольно вспоминалось лирическое «Путешествие в Арзрум» Пушкина — очевидно, еще и по той причине, что недавно наши войска отвоевали Эрзерум.

Минувшая зима в горах была на диво морозной и снежной, мой сосед по купе, участник эрзерумского штурма, наглядно хвастал белым маскировочным полушубком и альпийскою обувью:

— А ишо дали нам по два березовых полена, чтобы опосля победы над вражиной обогрелись у костерка…

Я соображал как генштабист: потеря турками Эрзерума заставит султана оттянуть войска из пустынь Синая, что сразу облегчит англичанам защиту Суэцкого канала. Карс, куда я направлялся, с 1877 года законно принадлежал России, уже не однажды омытый русскою кровью. В этих краях когда-то процветало могучее Армянское царство, но сейчас деревни армян напоминали пещеры троглодитов; убогие сакли не имели даже окон, я не видел ни огородов, ни даже цветочка, и только громадные кладбища предков подсказывали, что люди здесь жили очень давно. Как жили — не знаю, но «царство» у них было… Я дремал возле окна с выбитыми стеклами, а встречный ветер надул мне великолепный флюс. Карс, будь он неладен, оказывается, имел не только православный собор, но еще и памятник русским солдатам, отвоевавшим этот паршивый городишко, где — согласно преданию — Каин укокошил своего брата Авеля…

С невеселыми мыслями, пристыженный флюсом, я объявился в штабе Кабардинского полка; дежурный адъютант, чертыхаясь, никак не мог разобраться в ворохе телеграфной ленты.

— Только что получили, — сказал он мне. — Мы вас ждали. Это для вас. Впрочем, читайте сами, господин полковник…

Я прочитал и понял, что флюс заработал напрасно.

— Что вы опечалились, господин полковник?

— Печалиться станут в Лондоне… Генштаб извещает, что моя посадка в Кут-эль-Амар отпадает в силу тех причин, что генерал Туансайд сдался туркам на капитуляцию. Теперь мне приказывают срочно выезжать в Новороссийск.

— Хлопотная у вас служба, — пожалел меня адъютант.

— А у вас?

— О, мы в Карсе живем как в раю… Правда, сердечников тут прихватывает. Иные через месяц уже на кладбище. А иные, которые желают получать пенсию побольше, крепятся изо всех сил, но больше трех лет тоже не выдерживают.

— А как же вы, кабардинцы?

— А мне-то что? Я здесь родился…

Ох, и проклинал же я тогда Туансайда, по вине которого сорвался мой великолепный прыжок «под куполом цирка», а теперь следовало ехать в Новороссийск. Как раз в это время наши десанты готовились к высадке в Трапезунде, вся Новороссийская бухта была заставлена транспортами, на которые грузилась кавалерия кубанских казаков. Для сохранения тайны от самого Дуная до Батуми радиостанции хранили молчание, а на почтах лежали громадные мешки неотправленных писем. Но казаков провожали в «Туретчину» их деды и бабки, жены и молодухи, все это кубанское общество столько пило и так отчаянно плясало на пристани, что тайна будущей операции вряд ли укрылась от взоров вражеской агентуры. Я печально смотрел на красивых кубанских казачек, лихо отстукивавших каблуками в неуемном веселье, а самому думалось: сколько же их здесь, которые вскоре накроют свои головы черными вдовьими платками… Из газет мне стало известно, что германские крейсера «Гебен» и «Бреслау» недавно обстреливали Поти, Сухум и даже курорты в Сочи, а отважная армия генерала Брусилова, дабы помочь союзникам в их битве на Сомме, совершила дерзкий прорыв фронта возле Луцка…

Пожилой комендант города встретил меня со вздохом:

— Как бы я хотел побывать в Трапезунде, да вот… годы уже не те. Завидую молодежи. Восток. Яркие звезды. Дивные ароматы. Шеншины… ах, какие шеншины! Говорят, они от страсти даже не целуются, а сразу начинают кусаться.

— К этому добавьте, — сказал я, — скопища чумных крыс, несметные тучи блох, миллиарды заразных мух и москитов да еще лихорадку по названию «хава». Правда, если верить легендам, то именно в Трапезунде знаменитый Лукулл закатывал свои пиры, а древние хроники смутно намекают, будто из Трапезунда выехали на Корсику предки не менее знаменитого Наполеона Бонапарта, который закончил свой пир в Москве.

Мой краткий экскурс в историю изумил коменданта.

— А кто вы такой? — удивился старикашка.

Я ознакомил его с документами:

— Нет ли у вас чего-либо на мое имя из Петрограда?

— Есть, — отвечал он, порывшись в бумагах, — вам следует ожидать тральщик под номером триста второй.

— Все? — спросил я.

— Все.

\* \* \*

Тральщик № 302 пересек Черное море точно по диагонали, причалив в Одессе, где меня с нетерпением ожидал чиновник министерства иностранных дел Повалишин, первым делом показавший мне драгоценный золотой портсигар с бриллиантом.

— Эту дешевку, — сказал он, — от имени его императорского величества я обязан вручить румынскому министру Братиану, дабы он скорее подсадил Румынию в нашу общую колымагу. Сколько же еще ждать, когда румыны включатся в общую борьбу? Правда, в Бухаресте желают за свое участие в войне против Германии иметь Трансильванию, но… В таком деле мелочиться не станем. Ведь портсигар от русского царя тоже чего-то стоит!

Повалишин передал пакет из Генштаба, соответственно просургученный печатями. Мне вменялось в обязанность проследить, чтобы портсигар от имени Николая II не затерялся, а в разведотделе Генштаба будут ожидать мой подробный отчет о делах в Румынии, о настроениях при дворе короля Фердинанда, о готовности румынской армии к войне и прочее…

— Как сказано в Священном Писании, «мертвое — мертвым, а живое — живым…». Наверное, мы еще поживем.

Эти мои слова повергли чиновников в трепет:

— Послушайте, к чему вы это вспомнили?

— Да так, — вяло ответил я. — Порою мне кажется, что я давно устал жить. Но это ведь несуразица, ибо я еще ни разу не жил… как живут все нормальные люди. Вот тут сказано, чтобы проследить за доставкою портсигара по назначению. Так что, прикажете мне и за вами следить? Чепуха…

Повалишин истово перекрестился:

— Да Бог с вами, полковник! Какая-то мистика… меня даже прознобило. Уж вам-то, офицеру Генштаба, чего бы не жить?

А в самом деле — почему бы мне еще не пожить?

5. Возвышение

Если бы человек заранее знал, что его ждет впереди, он бы ничего, кроме смерти, впереди не видел. Судьба-злодейка тем и хороша, что иногда выписывает такие забавные кренделя на скользком льду жизни, каким, наверное, мог бы позавидовать даже российский чемпион-конькобежец Панин-Кломенкин…

Желаю немного позлорадствовать. Страны Антанты (как и германский блок) усиленно втягивали Румынию в войну на своей стороне. Румыния издавна жила с оглядкою на Германию, но воевать не спешила, занимая удобную позицию «вооруженного выжидания», как бы прикидывая — кто сильнее, кто побеждает, где выгоднее? Прорыв армии Брусилова возле Луцка, кажется, убедил молодого короля Фердинанда I (из династии Гогенцоллернов), что выгоднее ехать в «русской телеге», которая увезет далеко — даже туда, где не сыскать ни одного валаха.

Повалишин называл румынского короля «хапугой»:

— Теперь, по слухам, ему уже мало Трансильвании, он желает иметь и всю Буковину до самого Прута, включая и Черновицы, а заодно уж станет выклянчивать у нас и Бессарабию [23] …

Я в истории с дарственным портсигаром был вроде постороннего наблюдающего, но следовало ожидать, что Генштаб потребует от меня выводов, зрелых и обстоятельных. Пока там Повалишин будет разводить тары-бары с министром Братиану о выгодах, какие получит Румыния от войны, я должен общаться с полковником Семеновым, нашим военным агентом в Бухаресте, который сразу заявил мне, что если Румыния ввяжется в войну на стороне России, то Россия никакой пользы не обретет:

— Для нас такой союзник, как Румыния, станет вроде прикладывания компресса к деревянному протезу ноги…

Ладно! Расскажу о личных своих впечатлениях. Королевско-боярская Румыния напоминала мне самонадеянного пижона, под элегантным фраком которого грязная, заплатанная рубаха. Фальшивый блеск валашской аристократии казался подозрительным. Нищая страна донашивала обноски Европы, считавшей Румынию своими задворками. Слишком выразительны были босые ноги крестьянок на асфальте, их неестественно вздутые животы — не от бремени любви, а от питания мамалыгой. Бухарест иногда называли «балканским Парижем», но я-то, помотавшись по свету, уже знал, что жизнь столиц редко отражает облик страны и народа. Разве это неверно, что, прожив всю жизнь в Петербурге, можно удавиться от тоски по России? Киселевское шоссе в Бухаресте было принято сравнивать с нашим Невским проспектом, но… что я увидел? Вереницу колясок, в которых румынские генералы катали своих метресс, упитанность которых была такова же, как у нашей Иды Рубинштейн на портрете Валентина Серова.

— Жалко! — сказал я Повалишину. — Безумно жалко отдавать великолепный портсигар, чтобы потом проливать кровь русских солдат за эту выставку когтей, хрящей и сухожилий…

Семенов неожиданно огорошил меня новостью: в подвалах германского посольства в Бухаресте собраны тонны взрывчатки и бидоны с заразной сывороткой, вызывающей сап у лошадей, а в человеке фурункулез, — эти средства Вильгельм II желал употребить в Румынии, если она осмелится сражаться против него.

— Фердинанд влезет в войну, а потом нам предстоит защищать его королевство от нашествия армий Макензена. Все заводы Румынии дают столько вооружения, чтобы его хватало для стрельбы на маневрах, после чего румынские офицеры принимают пылкие поцелуи от своих дам… Вы, дорогой, будьте тут поосторожнее с дамами! — предупредил Семенов в конце информации.

— А что? — наивно спросил я.

— Здесь нет аристократки, которая не развелась хотя бы три-четыре раза. Мне страшно бывать на приемах, ибо сидишь, как дурак, между женщинами и никогда не знаешь — кто с нею рядом, вчерашний муж или сегодняшний? Бухарест — это такой Содом, что им не воевать, а судиться надобно!

Семенов советовал избегать свиданий с русским послом С. А. Козелл-Поклевским, ибо тот считался заядлым германофилом, но знакомство с ним все-таки состоялось, и я польстил послу, сказав, что пост посла в Бухаресте — самый трудный и едва ли не самый ответственный в мире:

— Наверное, вы обладаете умом Спинозы, ибо составить список гостей для посольского раута, чтобы разведенная жена не встретилась со своим бывшим мужем, это столь же сложно, как и составить головоломный ребус для журнала.

— Увы, это так. А вы зачем в Бухарест пожаловали?

— Как будто ради сопровождения портсигара.

— Вещь отменного вкуса, — сказал посол. — Удивительно, что вас не снабдили пулеметом для охраны царского дара…

Информация, которую я собирал, радовать никак не могла. Братиану уже хвастал перед дамами своим портсигаром, но, желая воевать за Трансильванию, клянчил у нас и Бессарабию. Я был возмущен, считая это политической наглостью.

— Повалишин говорил мне, что на вокзале в Бухаресте нельзя чемодан на одну минуту оставить — сразу стащат! Но Братиану, кажется, считает нашу Бессарабскую губернию вроде такого же чемодана. Если бы не мне, а вам, — сказал я Семенову, — пришлось давать отчет в Генштабе, что бы вы там выразили… как самое главное?

— Так и доложите, что через месяц после начала войны Макензен будет кататься по Киселевским аллеям, а все бухарестские дамы мгновенно станут женами его офицеров…

Грешен, я тоже не избежал общения с дамами бухарестского света и полусвета. Смею заверить читателя, что не было ни одной, которая бы не проклинала своей загубленной жизни в настоящем браке, желая образовать новый — более серьезный и страстный… именно с таким мужчиной, как я, о котором женщина может только мечтать! Все подобные намеки я геройски отражал ссылками на сложность политической ситуации, говоря:

— Мне было бы очень больно оставить вас вдовою в самую цветущую пору жизни. Вспоминайте иногда обо мне…

Побывать в Бухаресте и не показаться в аллеях Киселевского шоссе — это все равно что побывать в Париже и не увидеть Елисейских Полей. Семенов не раз катал меня вдоль шоссе в старомодном ландо, поименно перечисляя румынских Ганнибалов заодно с их женами — бывшими, настоящими и будущими. При этом я все более впадал в минорную апатию.

— О чем загрустили? — спрашивал атташе.

— Да опять о той же Бессарабии! Это очень плохо, если глаза у Братиану намного больше его желудка…

Повалишин вскоре сообщил, что нам здесь больше нечего делать, а Семенов подтвердил, что война решена. Перед отъездом я был представлен королю Фердинанду I, еще молодому человеку, женатому на внучке русского императора Александра II, женщине красивой и очень распутной. Мне сказать королю было нечего, а король тоже не знал, что сказать мне. По этой причине, весьма значительной, не тратя слов на пустые любезности, Фердинанд I сразу навесил на меня массивный орден «Короны Румынии» с латинским девизом: «Через нас самих», после чего он подал мне руку, пожелав доброго пути до Петербурга.

Орден был величиною с чайное блюдечко, и в Петербурге на меня смотрели как на бухарского принца. В Генеральном штабе меня ждали и, естественно, ждали моего доклада.

Но мой доклад был чрезвычайно лапидарен.

— Позволю высказаться в двух словах, — сообщил я. — Если румынский король выступит на стороне Германии, нашей России потребуется пятнадцать дивизий, чтобы разбить его армию. Если же румынский король примкнет к нам, то России потребуется тоже пятнадцать дивизий, чтобы спасти Румынию от разгрома ее немцами. В любом случае мы ничего не выигрываем. В любом случае мы теряем лишь пятнадцать боевых дивизий…

(Румынская армия была разбита немцами в рекордный срок, и почти вся страна была оккупирована. Но удивительно, что мнение нашего героя почти идентично мнению Э. Людендорфа, писавшего, что война с Румынией взяла у Германии дивизии, необходимые на других фронтах: «Несмотря на нашу победу над румынской армией, мы стали, в общем, слабее».) В эти дни Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич посматривал на меня иронически:

— Из вас никогда не получится хорошего дипломата.

— Почему?

— Орден-то не шире блюдечка… Вон чиновник Повалишин! Он до того понравился Братиану, что вывез на Русь румынский орден величиной с суповую тарелку.

— В любом случае — посуда! — парировал я.

\* \* \*

Неприятности ожидали меня дома. Едва я открыл двери моей квартиры, как меня сразу обдало таким отвратным зловонием, что я невольно подумал о самом худшем. Из комнаты в комнату носились гудящие эскадрильи непомерно разжиревших мух. Осторожно, словно криминалист, прибывший на место преступления, я на цыпочках обошел всю квартиру. Густая пыль на паркете и мебели не хранила никаких следов. Наконец я включил электрический свет в ванной комнате и… ужаснулся!

В глубоком резервуаре ванны сидела гигантская рыжая крыса, а днище ванны было сплошь завалено обглоданными костями крысиных ребер и черепов. Тут же валялось множество чешуевидных крысиных хвостов, чем-то похожих на длинные пружины, которыми крыса пренебрегла, достаточно сытая. С минуту я не двигался, оторопев, и молча смотрел — то на эту крысищу, пожравшую своих собратьев, то на тихую струйку воды из крана, нарочно не закрученного мною до конца. Крыса-монстр, уже облысевшая от старости, пристально взирала на меня из глубины ванны с какой-то лютейшей ненавистью. После долгой жизни во мраке глаза ее заплыли от гноя, а из острой пасти, мелко и противно щелкавшей зубами, торчали два желтых клыка.

Из прихожей вдруг стал названивать телефон.

Телефон надрывался. Он звонил, звонил.

Но мне сейчас было не до разговоров…

Содрогаясь от невыносимого зловония, я не спеша расстегивал кобуру, а сам думал. И — понял: это была не просто крыса, каких немало на помойках, а крыса-аристократка. В крысином царстве, как и в человеческом обществе, слишком велики социальные различия между особями. Крысы делятся на патрициев, повелевающих, и на плебеев, беспрекословно им подчиняющихся. Дисциплина жесточайшая! Лишь один взгляд крысы-аристократки вызывает разрыв сердца у крысы-плебея. Ясно и происхождение свалки крысиных останков — плебсы сами лезли в ванну, покорно отдаваясь на съедение, чтобы их королева была сыта.

Телефон истошно и надрывно звал меня к себе!

Я взвел на револьвере курок, и он тихо щелкнул…

Громадная гадина вдруг заметалась внутри ванны.

Боже, какой писк… боже, какое визжание!

Выстрела я почти не слышал, но с этого момента я почему-то решил, что проживать в этой квартире более не смогу.

С револьвером в руке, еще дымившимся после выстрела, я дошагал до прихожей и сорвал трубку телефона. Голос:

— Поздравляю…

— С чем? — выкрикнул я, размахивая револьвером.

— С редкостным возвышением…

По тону говорившего я понял, что со мною не шутят. Только что прикончивший крысу, я возвышался… я очень высоко взлетал, и тем больнее мне будет падать с той головокружительной высоты, на какую слишком щедро вознесла меня судьба, отныне смотревшая на меня снизу вверх, как эта крыса из ванны.

Впрочем, сейчас вы все узнаете сами…

6. Последняя ставка

Потаенные пружины высшей власти, незримо управляющие людьми, как марионетками в кукольном балагане, сработали неожиданно. Нарушив свои прежние указания о производстве генштабистов, царь лично присвоил мне чин генерал-майора. Я понимал этот жест царя — как одобрение моего визита в Бухарест, откуда я вывез орден неприличных размеров.

Странная жизнь! Сколько раз я рисковал головой, а моя карьера двигалась, как старик по лестнице с остановками на каждом этаже, чтобы отдышаться. Но стоило свершить прогулку в Бухарест, где я расцеловал сотни дамских ручек, и меня вознесло выше меры, а для вчерашнего полковника сразу нашлось место при царской Ставке. Это случилось со мною в сентябре 1916 года, когда Румыния была уже переставлена немцами на инвалидные костыли, а Западный фронт впервые ужаснулся, увидев новые чудовища военной техники — танки… Мне предстояло переселение в Могилев-на-Днепре, где я должен ведать вопросами координации всех фронтовых разведок, суммируя эти секретные данные для «высочайших» докладов.

Теперь мне всегда неловко, отчего люди делают круглые глаза, узнав, что я служил в царской Ставке, и почему до сих пор уцелел. Приходится объяснять, что пребывание в Могилеве — невелика заслуга, а более скучной и постылой жизни, чем в Ставке, я никогда не испытывал. Люди, мало искушенные в нюансах того времени, почему-то твердо убеждены, что Ставка состояла сплошь из оголтелых монархистов, скрежетавших зубами от ненависти к трудовому народу. А я отвечаю, что если бы не влияние генералов Ставки, то и отречение Николая II от престола не произошло бы столь обыденно, как это случилось в действительности… Иногда меня даже спрашивали:

— Вас изгнала из Ставки, конечно, революция?

— Точно так, — отвечал я. — Но если назову вам главного виновника моего удаления, вы немало тому подивитесь…

Впрочем, лучше не забегать «вперед батьки в пекло», как принято говорить среди щирых украинцев. Начну с начала.

\* \* \*

Могилев не стоит описания, хотя и богат историей. Здесь когда-то бывал и вездесущий Карл XII, который содрал с города столь много серебра, что даже чеканил деньги для своих шведов. При мне в Могилеве жило более 50 тысяч человек, половина русских, а половина евреев. Николай II занимал две комнатенки в доме губернатора, свита его заполнила номера гостиницы «Франция», а штаб во главе с Алексеевым размещался в здании губернского правления. Мне было выгоднее снять частный домишко с садом, чтобы по ночам незаметно принимать у себя фронтовых курьеров с секретными докладами.

Делать же доклады самому императору мне почти не доводилось, хотя я виделся с ним каждый день, и не один раз — в общей столовой, где стояли два накрытых стола, закусочный с бутылками и обеденный. Лакеев изображали солдаты, стеклянной посуды не было (ибо Ставка считалась на походе), а к бутылкам первым подходил царь, и по лейб-гвардейской привычке, никогда не морщась, он выпивал чарку, мы следовали его примеру (тоже не морщась и не спеша закусывать), после чего гофмаршал рассаживал нас по списку, кому сидеть ближе к его величеству, а кому подальше. Я сидел в конце стола, общаясь с сербским военным агентом полковником Леонткевичем. Напиваться при царе-батюшке позволялось одному лишь его флаг-капитану и адмиралу Косте Нилову, который однажды удивил меня чересчур откровенным возгласом:

— Скоро все будем болтаться на уличных фонарях! Россию ждет такая заваруха, что даже пугачевщина покажется всем нам лишь забавной оффенбаховской опереткой…

Никто из генералов не реагировал на этот бестактный выпад, Николай II тоже смолчал, хотя в Ставке уже знали, что в Петрограде не все спокойно. Леонткевич, давно обретавшийся в Могилеве, отчасти просветил меня в тех вопросах, которые оставались в тени событий, отлично закамуфлированные внешним почитанием императорской власти. Среди генералов Ставки давно сложилось мнение, что Николая II лучше бы заменить его братом Михаилом, командиром «Дикой дивизии», чтобы хоть на время оттянуть возникновение революции до победы в войне. Морис Палеолог, посол Франции, и Джордж Бьюкенен, посол Англии, были, кажется, осведомлены об этом заговоре, созревшем в Ставке, и этот военно-политический «комплот» поддерживали многие генералы, не исключая и умного, но осторожного Алексеева. По слухам, генералы хотели загнать царский поезд в маневровый тупик какой-то станции и, пока царь наслаждается там неведением, быстро произвести престольную рокировку, поменяв Николая на Михаила…

Мне, признаюсь, в это не особенно верилось!

Я был выше головы загружен делами, поглощенный событиями Рижского фронта, где наша разведка оказалась в руках латышских офицеров, а их агентура работала против немцев превосходно. Имея доступ к самым секретным источникам Ставки, я почти с ужасом обнаружил, что в стране насчитывалось полтора миллиона дезертиров (почти сто полнокровных дивизий!).

— Что случилось? — недоумевал я. — Эскадра адмирала Рожественского плыла к Цусиме на явную гибель, имела долгие стоянки в чужих портах, никто не держал матросов в клетках, но вся эскадра имела лишь одного дезертира, а тут…

Генерал Сергей Цабель, ведавший разъездами царя по железным дорогам, говорил, что в гарнизоне Петрограда служат если не дезертиры, то попросу отлынивающие от фронта.

— Зажрались они там на всем готовом, бесплатно катаются на трамваях по бабам и скорее согласятся на любой бунт, лишь бы их не гнали в окопы. Некоторые столичные батальоны насчитывают до пятнадцати тысяч человек, так что в казармах возводят для них уже четырехэтажные нары, каких не бывает даже в тюрьмах. Мало того, всю эту сволочь не успели даже привести к присяге, и, ничем не связанные, они — уже готовый горючий материал для любого возмущения…

Я не раз видел царя с фанерной лопатой в руках за очисткой от снега тропинки, ведущей к его «дворцу». Николай II был в черкеске, в черной папахе с красным башлыком и работал усердно, как старательный дворник. Но я заметил мешки под его глазами, дряблое лицо и нездоровый вид, невольно подумав, что его приятель Костя Нилов не только сам пьет, но и не забывает наливать и его величеству. Пока царь орудовал лопатой, начальник штаба Алексеев стоял возле него, листая какие-то бумаги, и сообщал о делах итальянской армии при Трентино.

— А что слышно из Петрограда? — спросил его царь…

3 февраля 1917 года Америка разорвала отношения с Германией (после потопления ею лайнера «Лузитания»), вот-вот готовая объявить войну кайзеру. Но Ставку и царя более тревожили известия из столицы, вначале успокоительные, а затем будоражащие, нервирующие. Во время одного из обедов я четко расслышал слова императора, сказанные им Алексееву:

— Я всегда берег не свою самодержавную власть, а берег только Россию. И я не убежден, что перемена формы правления даст спокойствие и счастье русскому народу…

Эти слова я мог бы и закавычить, ибо, вернувшись из столовой, сразу их записал. Было понятно, что Николай II хотел оправдать свое нежелание видеть в России парламентарное правление. Разговоры об очередях за хлебом в столице казались нам еще вымыслом, а император, получая телеграммы от жены из Царского Села, иногда облегченно вздыхал, будто с хлебом уже все в порядке. Для меня оставался некоторой загадкой генерал-адъютант Николай Рузский, командующий Северным фронтом, который вел себя в Ставке чересчур независимо, даже развязно, и, кажется, с каким-то необъяснимым злорадством выжидал нарастания столичных событий. Из-под стекол очков Рузский почти брезгливо оглядывал ближайшее окружение императора и не раз говорил так, будто ему все известно:

— Теперь уже поздно. Страна просила реформ, а ей дали Гришку Распутина, народ окривел от войны, а Брусилов мечтает о штурме Вены… Не знаю, хватит ли на всех нас фонарей и веревок и не лучше ли сдаться на милость победителя?

Лейб-хирург профессор Федоров сказал ему:

— Прекратите, Николай Владимирович! Да и где этот ваш победитель, у которого вы собрались в ногах валяться?

— Уже стоит за дверью, — невнятно отвечал Рузский…

Что-то уже, несомненно, таилось за дверями царской Ставки, готовое постучать костяшками пальцев и войти в наше общество, вроде гольбейновского скелета из его чудовищной «Пляски смерти», но… Но дни текли по-прежнему однообразно, редко отличаясь один от другого, а комендант Ставки, генерал Воейков, начинал ремонт могилевской квартиры, ожидая приезда жены, и носился по магазинам города, отыскивая обои — непременно желтые, но с розанами. Почти глумливо он говорил:

— Капитальный ремонт России что-то задерживается, так я хоть квартирку отремонтирую на радость женушке…

Не знаю, какова была точность информации, получаемой генералами штаба, но я знал много. Даже очень много. У меня был свой телеграфист, и я, занимаясь перлюстрацией, проследил за нарастанием революции в Петрограде из самого нервного источника — со слов императрицы, писавшей мужу по-английски. Вот как росла кривая на диаграмме ее личного беспокойства: «Совсем нехорошо в городе… волнуюсь относительно города… революционное движение продолжается… вчера революция приняла ужасающие размеры… известия хуже, чем когда бы то ни было…» И, наконец, последняя ее телеграмма — словно истошный вопль: «Уступки необходимы. Стачки продолжаются. Войска уже перешли на сторону революции…»

— Баба! — помнится, сказал я тогда.

Накинув офицерскую бекешу и опоясав ее портупеей, я вышел на улицу — прогуляться. Был вечер, Могилев осветился огнями окон, тихо падал снежок, ожидалась оттепель. Я думал, что в Ставке слишком увлеклись подсчетами, сколько муки осталось в Петрограде, а женским очередям возле булочных придают великое, чуть ли не решающее значение. Мол, побольше бы нам хлеба и булок, тогда все бабы разбегутся из очередей по домам — и все останется как прежде. Почему-то в Ставке много говорят о том, что оборонные заводы дорабатывают последние пуды инструментальной стали, но при этом забывают о забастовках на тех же заводах. Кое-кто намекает на черные замыслы масонов. Но я-то уже точно знал, что царская охранка еще в 1911 году выкрала в Париже списки думских масонов, а их суетливая возня возле престола нисколько царя не испугала…

«Тут что-то не так!» — сказал я сам себе.

В окнах обывателей уже погасли теплые огни, Могилев как бы смыкал свои очи, отходя ко сну, мало озабоченный очередями в столице. Меня эти буханки да булки с изюмом тоже не волновали — телеграммы царицы совсем об ином, более важном, нежели «хвосты» возле хлебных лавок. Переполненный смутными впечатлениями, я возвращался домой, чтобы работать до утра.

Давно я заметил в себе одно странное свойство. В самые напряженные моменты судьбы из шкатулки памяти вдруг возникали песенные или стихотворные строчки. И в ту ночь, шагая через засыпающий город, я тоже задавался трагическим вопросом:

Какие ж сны тебе, Россия, Какие бури суждены? Но в эти времена глухие Не всем, конечно, снились сны…

\* \* \*

Понедельник 27 февраля остался надолго памятен, и не только мне, уже приученному скрывать душевные эмоции.

В этот день Родзянко от имени Думы дважды телеграфировал государю, что требутся новое правительство из таких людей, которые известны возмущенному обществу столицы с положительной стороны. Николай II был необычно мрачен, малоразговорчив, а за обедом посадил подле себя ганерала Н. И. Иванова, носителя бороды лопатой, истинно русского, воистину верующего. Во время обеда они тихо беседовали. Смысл их беседы не стал «тайной мадридского двора», и вечером, когда я навестил Иванова в его салон-вагоне, украшенном множеством икон и живописных картин, Николай Иудович сам же и сказал:

— Государю благоугодно назначить меня командующим в Петрограде, дабы навести там благочинный порядок. С тем и еду, дабы карать и миловать, забирая с собой Георгиевский батальон с пулеметной командой. Еду через станцию Дно, а «голубой» поезд его величества проследует на столицу через Лихославль — прямо на Тосно, прямо в Царское Село…

Все ясно. И невольно думалось нечаянным каламбуром: «Вот она, последняя ставка последней Ставки царя…» А больше ничего не хотелось думать, и в каком-то отупении, разбитый за день обилием слухов и попросту болтовней наших лжепророков, я за час до полуночи хотел рухнуть в постель, чтобы выспаться, когда свет автомобильных фар ярко осветил мои комнаты. Запорошенный снегом, вошел генерал-путеец Цабель:

— Я за вами! Собирайтесь. Два литерных, государев и свитский, готовы к отправке. Нам следует сопровождать их.

— Когда надеетесь быть в Царском Селе?

— Первого марта…

Во вторник два литерных поезда А и Б (свитский и царский) миновали Смоленск и Вязьму, где все было спокойно, ярко светило морозное солнце. Наконец на одной из станций нас известили с перрона, что старая власть свергнута, взамен ей в Петрограде образовано «временное правительство». В свитском поезде, идущем впереди царского, возникло всеобщее недоумение, я тоже не понимал, что может означать «временное»? Мы рассуждали, что война продолжается и потому никакие перемены в верхах правления сейчас нежелательны:

— Никакой дурак не станет перепрягать лошадей, когда его коляска переезжает реку вброд… Это же абсурдно!

Наконец нас ошеломила телеграмма из Петрограда, гласившая, что литерные А и Б не имеют права следовать в Царское Село через станцию Тосно. Генерал Цабель свирепо рявкнул:

— Кем подписана эта телеграмма?

— Каким-то казачьим сотником Грековым.

— Ну, знаете ли, — заговорили все разом, — если уж такая мелюзга решает, куда нам надо поворачивать, значит, в столице настоящая кутерьма и нам лучше туда не соваться…

Сообща было решено: пусть лейб-хирург Федоров известит Воейкова, а Воейков доложит императору, что далее ехать опасно; разумнее через Бологое поворачивать на Псков, где штаб генерала Рузского предоставит гарнизон для защиты Ставки.

При этом в свитском вагоне все дружно согласились:

— Да, да, да! Псков — городок тишайший, там пересидим, пока бабы из очередей сами же не сковырнут всех этих «временных»… потом-то и развернемся!

— Куда? — спросил я, думая о своем.

— Ну, хотя бы обратно… в Могилев.

Записку с подобным предложением оставили с офицером, который высадился из нашего вагона, чтобы дождаться «голубого» поезда. В полночь на станции Бологое нас ожидала ответная телеграмма Воейкова, настаивавшего на том, чтобы в любом случае прорываться в Царское Село. Решили подчиниться, а в Малой Вишере к нам заявился офицер-путеец, доложивший Цабелю, что Любань и Тосно уже в руках революционеров.

— А где же Иванов с Георгиевским батальоном?

— А черт его знает. Я сам едва удрал на дрезине…

Станция была по-ночному ярко освещена, но людей — ни души. Мы вышли на платформу, и лишь в два часа ночи подкатил царский поезд, совершенно темный, будто неживой; с тамбура соскочил один генерал Нарышкин, и Цабель его окликнул:

— Кирилл Анатольевич, а где же все?

— Дрыхнут, — отвечал Нарышкин.

— Так разбудите! Теперь власть «временная», Любань и Тосно уже заняты. А на бороду Иванова все плевать хотели…

Воейков выбрался из своего купе, заспанный, еще плохо соображая, что происходит. Кто кричал, что надо возвращаться в Могилев, кто видел спасение в Пскове, а кто и помалкивал. Дворцовый комендант для начала сладчайше прозевался.

— Сам я ничего не решаю, — сказал Воейков.

— Так доложите его величеству…

Воейков разбудил царя, и тот решил ехать на Псков, откуда удобнее развернуть в сторону Петрограда все боевые силы фронта, подчиненного Рузскому. Пока паровозы брали на станции воду, я случайно заметил на заборе афишку, сначала приняв ее за театральную. Вчитавшись, понял — передо мною список членов «временного правительства», которое в кратком резюме, обращенном к народу, выражало уверенность в том, что, заменив слабую власть монарха, оно приведет Россию к скорой победе над Германией, а потом начнет созидать новую счастливую будущность. Я вернулся в вагон, и меня спросили: что, кроме похабщины, меня так увлекло на этом заборе?

Мне было скверно. Я ответил:

— Поздравляю, господа… дослужились! Теперь у нас новый военный и морской министр — Александр Иванович Гучков, и отныне все мы, как никогда, близки к победе…

Удивляюсь, как я мог тогда еще шутить, если в памяти не затерялась встреча с Гучковым, когда он говорил — да, а я отвечал ему — нет, и разошлись мы врагами.

\* \* \*

Пассажиры (назовем так) двух литерных А и Б на что-то еще надеялись, не ведая той правды, которая не оставляла им никаких надежд. Георгиевский батальон, врученный царем генералу Н. И. Иванову, распался сам по себе. Часть его офицеров просто покинула эшелон, не желая быть карателями, а солдаты, заподозрив неладное, всю дорогу скандалили и матерились, на каждой станции требуя петроградских газет:

— Коли нас везут, так хотим знать, на што везут?..

Яснее всех выразился Пожарский, командир батальона:

— Стрелять в свой народ мы не станем, и даже в том случае, если прикажет стрелять сам император…

Машинист отказался вести поезд и удрал. Геогиевский батальон, в котором каждый солдат таскал на себе по 120 патронов, этот героический батальон застрял в тишине дачной Вырицы, и здесь солдаты отказались повиноваться.

— Так хоть постройтесь ради прощания, — обратился к ним Иванов; а когда они построились, он стал плакать: — Воля ваша, но неужто вам, ребятки, старика не жалко?

В одиноком вагоне, прицепленном к паровозу, Николай Иудович окружным путем вернулся в Могилев, где уже не застал очень многих… никогда не увидел он больше и царя!

7. «Великая и бескровная»

Если заговор генералов и существовал, то они, наверное, своего добились: царский поезд притих, загнанный в тупик псковской станции. Между тем из Петрограда поступали сведения о поголовном избиении офицеров, в Ставке уже открыто поговаривали, что, пожалуй, только отречение царя может смирить кровожадные инстинкты толпы… Само слово «отречение» перестало быть крамольным, а Родзянко телеграфировал в Ставку, чтобы не снимали частей с фронта для подавления хаоса в столице, ибо сейчас любые войска перейдут на сторону восставшего народа, лишь усиливая всеобщий кавардак. Стало известно, что Николай II вроде смирился со своей участью, желая сохранить престол для своего сына Алексея, страдавшего гемофилией; ради этого он прежде имел доверительную беседу со своим лейб-хирургом Федоровым:

— Сколько лет проживет мой сын?

— Не долее сорока, — ответил ему врач.

— Я хотел бы остаться в России частным лицом и заниматься воспитанием сына, как и каждый отец…

Ко мне вдруг на цыпочках, словно крадучись, подошел чиновник Суслов — из штаба министра двора графа Фредерикса.

— Вы, наверное, многое знаете? — прошептал он, намекая на мои функции при Ставке верховного главнокомандования.

— Допустим, — нехотя согласился я.

— Скажите, если разом снять все войска с фронта и бросить их на Петроград, чтобы они, закаленные в боях, мигом раздавили гидру революции, тогда можно ли спасти монархию?

— Можно, — не отрицал я, обрадовав Суслова.

— Тогда я побегу… спасибо… так и скажу…

— Постойте! Но в этом случае мы вынуждены оголить фронт перед немцами и, спасая престиж монархии, сдать Россию под ярмо вражеской оккупации… Кто вас послал ко мне с подобным глупым вопросом? Подумайте сами, что важнее сейчас — или судьба престола, или честь Российского отечества?

— Вы меня не так поняли, — смутился Суслов, но его бред продолжался: — Разве нельзя пригласить в Петроград и немецкие войска, чтобы они совместно с нашими…

Он не договорил, остановленный моим вопросом:

— Вы по морде когда последний раз получали?

— В детстве, — лепетнул он и на цыпочках удалился…

Николай II еще уповал на генерала Рузского и его авторитет в Северной армии. Николай Владимирович вскоре появился — согбенный и бледный, он был в форме генштабиста и как-то нелепо-расслабленно шаркал ногами в громадных резиновых галошах. Офицеры подтянулись, отдавая ему честь. Рузский едва козырнул нам в ответ. Но, заметив свиту придворных, толпившихся на платформе, старик сказал им с усмешкой:

— А что, господа? Прав я или не прав? Кажется, и пришло время, чтобы платить дань победителям…

При этом мне снова вспомнилась «Пляска смерти» Гольбейна, и в ушах, словно дробные кастаньеты, весело застучали костями высохшие скелеты будущих жертв этого сумбурного времени. Я, конечно, не присутствовал при беседе Рузского с царем, но говорили, что генерал царя не пощадил, напротив, повышенным тоном он высказался, что вся политика за последние годы была дурным сном, а русский народ, самый терпеливый на свете, терпение потерял. Он же сообщил царю и о том, что карательная миссия генерала Иванова завершилась анекдотом.

— Итак… отречение? — тихо спросил царь.

— Иного и быть не может.

— В таком случае я хотел бы предварительно знать мнение командующих фронтами и флотами. Соблаговолите поручить Алексееву опросить всех по телеграфу из Могилева…

Связь Ставки работала хорошо, и вскоре все командующие (и даже дядя царя Николай Николаевич с Кавказского фронта) подтвердили необходимость отречения императора. Лишь один адмирал Колчак, командовавший Черноморским флотом, почему-то «воздержался», что для меня показалось странным, ибо Колчак-то как раз и был единомышленником Гучкова…

На перроне вокзала я встретил профессора Федорова [24] .

— Сергей Петрович, — спросил я его, — это правда, что наследник престола не доживет до сорока лет?

— Он может прожить и дольше, но всегда останется неизлечимо больным. Думаю, решение государя передать престол брату Михаилу, а не сыну Алексею, созрело после моих слов. Но государь напрасно думает, что останется крымским помещиком, сажая розы и воспитывая сына. Вряд ли ему позволят оставаться в стране, где он оставил немало позорных пятен…

Теперь в Пскове ожидали поезда из Петрограда, в котором должен приехать Родзянко, чтобы официально принять отречение от императора. День выдался бодряще-морозным, дышалось в такой день легко и приятно. Я решил прогуляться по городу. Ко мне приблудился, как бездомная собачонка, полковник Невдахов, из личной охраны царя, часто плакавший:

— Государь-то еще как-нибудь уцелеет, его и «Василий Федорович» примет, а вот что будет с нами?

Странно, что жизнь в Пскове текла в привычном русле, и, казалось, жителям было наплевать, что в тупике станции застрял «голубой» вагон с императором, решающим почти гамлетовский вопрос: быть или не быть? На базаре бойко торговали мужики и бабы, наехавшие из деревень, продуктов было много и все по дешевке, улицы Пскова оживляла публика, спешившая к кинематографу, юнкера из местной школы подпрапорщиков предлагали румяным гимназисткам проводить их до дому, а в витрине москательной лавки я увидел недорогие обои:

— Надо бы подсказать Воейкову, что как раз такие, каких он не нашел в Могилеве: желтые и с розанчиками.

— Голубчик! — зарыдал Невдахов. — До обоев ли тут, ежели скоро нашей кровушкой стенки начнуть красить… Или вы не знаете нашего народа? Это он притворяется смирным, а дай ему волю, так он… Знаете, что он с нами сделает?

На вокзале генерал Цабель злобно ругал Родзянко:

— Во, хитрая хохлятина! Сам-то со своим мурлом испугался ехать, так обещал прислать к вечеру собачьих депутатов — Гучкова да Шульгина… Теперь вот околевай, жди их!

— Когда они обещали прибыть во Псков? — спросил я.

— Да как будто часа в четыре… дерьмо собачье!

Но лишь около восьми вечера прибыл поезд из Петрограда, переполненный пассажирами донельзя, и машинист едва сбавил скорость, как на перрон, спотыкаясь и падая, уже посыпалась публика. Толпа, словно озверев от недоедания, скопом ринулась на штурм вокзального буфета. Впереди всех шариком катился толстый полковник в раздуваемой ветром шинели, и на мои вопросы, какова политическая обстановка в столице, он отвечал словами, очень далекими от политики:

— Фунт хлеба — пятачок, а масло — в полтинник… Извините, больше не могу, жена велела занять очередь поскорее!

Конечно, Шульгина с Гучковым в этом «обжорном» поезде не было, а разъяренная толпа уже обложила буфет по всем правилам великороссийского «благочиния», и откуда-то из недр гулкого вокзала слышался сдавленный женский вопль:

— Вера-а! Да тут даже ветчина с укропом… шницеля шире лаптя… и все — с гарниром!

А из хвоста очереди, мигом вытянувшейся вдоль перрона, звучало ответное — почти с трагическим надрывом:

— Надя! Хватай все, что видишь… еще настрадаемся…

\* \* \*

Поезд с депутатами Государственной думы прибыл в Псков лишь около десяти часов вечера, составленный из одного вагона, прицепленного к тендеру паровоза. Их встречали случайные люди, был одинокий выкрик «ура», а какой-то пьяненький даже спел: «На бой кровавый, святый и правый…» Я стоял поодаль от свиты, но уже тогда мне в голову пришла мысль, что Гучков и Шульгин — попросту самозванцы, берущие на себя право говорить от имени всего русского народа. Из вагона сначала выскочили два подозрительных солдата с винтовками, украшенные пышными красными бантами, за ними, косолапо ступая, вышел Гучков, а потом и Шульгин в котиковой шапке. Чувствовали они себя так неловко, как люди, испытывающие нужду, но стесняющиеся спросить: «А где здесь… это самое?» Почему-то думцы надеялись, что их проведут в штаб Рузского, но граф Фредерикс взмахом руки указал на ярко освещенный вагон царя:

— Извольте сюда — государь давно ждет…

Мне бы, наверное, лучше не торчать тогда на перроне, куда меня влекло обычное любопытство, ибо Гучков, проходя мимо, вдруг замер. Он узнал меня и с каким-то гадливым выражением на лице удивленно протянул слова:

— Ах, это вы… вот где! Уже в Ставке… ладно…

Сцена отречения императора описана во множестве книг, и потому нет никакого смысла повторять то, что давно всем известно. Помимо царя, в его «голубом» вагоне были министр двора Фредерикс, много плакавший, генерал Рузский, слезинки не обронивший, Кирилл Нарышкин, сурово молчавший, и другие лица свиты. Я тоже имел право присутствовать при этом историческом спектакле, но Воейков приставил к дверям вагона коменданта Гомзина, который раскинул передо мной руки:

— Александр Иванович просил больше никого не пускать…

Я не сразу сообразил, что Гучков — на правах военного министра — уже начал распоряжаться в Ставке, как у себя дома, и мне на миг стало даже смешно от такой его прыти.

— Передайте Воейкову, что в одной из лавок Пскова я случайно видел обои… как раз такие, какие он искал.

С этим я удалился, но в конце спектакля все-таки досмотрел его финальную сцену, которую великолепно разыграл Гучков после подписания царем отречения. Появясь из вагона и увидев людей, он, не сходя с тамбура, произнес краткий спич:

— Русские люди, обнажите головы и перекреститесь, как положено православным… Только что государь-император сложил с себя тяжкое царское бремя, и отныне наша великая Русь вступает на новый путь демократического обновления…

Черт меня дернул снова попасться ему на глаза!

И опять, следуя мимо, Гучков возле меня запнулся:

— О, уже генерал-майор… быстро, быстро вы скачете! Впрочем, хвалю служебное рвение… буду вас помнить!

Ночью в пятницу 3 марта оба литерных А и Б повернули назад — в Могилев. Я сидел в купе, бездумно листая последний номер журнала «Солнце России», и не знал того, что через сутки после нашего отъезда на путях Пскова остановился вагон Бонч-Бруевича, в советах которого я так нуждался… Перрон могилевского вокзала, как обычно, был ярко освещен электрическими фонарями. Свет их казался неестественно мертвым, а фигура Алексеева, отдающего честь свергнутому императору, выглядела игрушечной, омертвелой. Помнится, я сказал Цабелю:

— Сергей Александрыч, не кажется ли вам, что это лишь начало, в котором и конца не видно? «Временные» так и останутся временными, но русские качели будут раскачиваться и далее, а кому-то из нас лететь с них прямо в крапиву.

— Погодите, — мрачно отвечал Цабель. — Это сейчас радуются, что царя спихнули. Пройдет срок, и все эти болтуны из Думы еще взвоют, поминая его царствие, яко блаженное…

Внешне в Ставке мало что изменилось, и даже Алексеев по-прежнему делал доклады императору о положении на фронтах. Часовые дежурили, как и раньше, охраняя наш покой, стрекотали телеграфные аппараты, под настольными лампами, сладко потягиваясь, мурлыкали приблудные кошки. Наконец в субботу рог столичного изобилия высыпал в Ставку свежайшие деликатесы: Михаил продержался на престоле всего шесть часов и отрекся, обиженно считая, что брат «навязал» ему престол, словно лишнюю мебель в квартире, где и без того своего барахла хватает. Среди нас муссировались слухи о том, что — рядом с Временным правительством — возник Совет рабочих и солдатских депутатов. Как к нему относиться, никто толком не ведал, офицеры в недоумении спрашивали один у другого: «— Власть или не власть? Плевать или не плевать?» Затем телеграф принял свежую ленту — знаменитый Приказ № 1. Отныне солдаты имели право не выполнять распоряжений офицеров, прежде не обсудив их в своем кругу; они могли смещать офицеров и назначать новых — по своему усмотрению; отдавать офицеру честь стало не обязательно, а титулы вообще отменялись. Алексеев полтора часа сидел у телефона, уговаривая Гучкова об отмене этого идиотского Приказа № 1, способного развалить любую, даже самую стойкую армию.

Нервно бросив трубку, Алексеев сказал нам:

— Как говаривал светлейший Потемкин-Таврический, «все наше, и рыло в крови». Отныне мне остается разрешить господам офицерам носить статское платье, ибо тут уже не до чести, а как бы уцелела физиономия…

Приказ № 1 был подписан каким-то Н. Д. Соколовым, и в Ставке гадали — кто этот хорек, так здорово навонявший? С этим же вопросом обратились и ко мне.

— Не знаю, — отвечал я. — Но думаю, что большей ахинеи трудно придумать. Попадись мне этот эн-дэ Соколов, я бы расстрелял его моментально, как злостного врага русской армии, играющего на руку германской военщине…

— Да-а, — призадумались в Ставке, — вот и повеяло долгожданной свободой. Прав был Костя Нилов, говоривший, что скоро фонарей и веревок не хватит… Только не для нас! Не для того мы берегли Россию, чтобы нас вешали.

Воейков, так и не закончив ремонт квартиры, уже паковал вещички, собираясь в имение под Пензой, чтобы там в тишине провинции пересидеть это смутное время, — «пока все не уладится», говорил он нам. Приезжие из столицы офицеры стыдливо снимали с мундиров красные банты, искренне удивлялись:

— Как? Вы еще при погонах? А в Петрограде нас мордуют на каждом углу, на флоте творится что-то ужасное, офицеров режут в каютах, топят с грузом колосников на ногах, а вы еще с погонами, и на них — вензеля бывшего императора…

С передовой неожиданно нагрянул в Ставку генерал Черемисов, слишком памятный по встрече с ним в лифляндском Вендене, где мне довелось покончить с его адъютантом Керковиусом-Берцио. Человек мстительный, Черемисов сказал мне:

— А вам, жандарму, я бы не советовал щеголять царскими вензелями… как бы беды не вышло!

Меня замутило от подобного оскорбления:

— Я не жандарм! Я офицер разведки Генерального штаба.

— Может быть, — усмехнулся Черемисов. — Но сейчас при Гучкове уже работает комиссия, изучающая послужные списки всех генералов, так что, милейший, соберитесь с духом…

Цабель уже спарывал со своих погон царские вензеля, в которых буква «Н» была украшена римскою цифрой «II».

— И вам советую, — сказал он. — Лучше уж сразу, чтобы потом не доказывать на улицах, что еще в детской колыбели душевно страдал за нужды российского пролетариата…

8 марта из Петрограда нагрянули депутаты Думы, объявившие царя арестованным, и увезли его в Царское Село. Затем стали наезжать какие-то проверяющие, надзирающие, убеждающие, протестующие и митингующие. Все эти «варяги», самовольно явившиеся в Ставку, объедали нас в столовой, отнимали даже наше постельное белье, а по вечерам они читали офицерам лекции, доказывая, что счастье народа возможно лишь в том случае, если в стране восторжествует всеобщее и открытое голосование. Среди этих «орателей» с их примитивными «лозунгами» восседал в президиуме и свой брат-генштабист — полковник Плющик-Плющевский, которому сам Господь велел бы не позориться. Наконец, однажды меня навестил странный тип, который сначала выдул целый графин воды, после чего сказал:

— Чувствуете, какова жажда трудового народа? А ведь я к вам от самого Александра Федоровича… от Керенского!

При нем оказалась справка, отпечатанная на «ремингтоне», примерно такого содержания: гражданин такой-то по случаю наступившей эры свободы выпущен из психиатрической клиники д-ра Фрея и ныне назначается комиссаром от Думского комитета для упорядочения работы фронтовой разведки.

— Так вот, — сказал я этому господину, перенасыщенному самой трезвой водой, — с этой справкой можешь вернуться обратно в психиатричку и там устраивай революцию среди психов, а сюда, гад, не лезь… Понял?

Нет, не понял. Пришлось встать и, треснув его по мордасам, выставить за дверь с приложением колена. Этим поступком я вызвал большое недовольство Плющик-Плющевского:

— Разве можно так обращаться с представителем свободного народа? Подумайте о себе… Как бы вам не пришлось стоять на углу улиц, продавая газеты!

— Я не пророк, — обозлился я, — но я уже вижу вас в Варшаве торгующим папиросами поштучно. Более я вас не знаю…

Но Черемисов оказался прав: Гучков поклялся «освежить» армию, устроив генералам «большую чистку». Все это он проделал канцелярским способом, где, как известно ума не требуется. В списках русского генералитета он ставил «птички», которыми отмечал, кто годен, а кто негоден. Со службы изгнали тогда более сотни генералов, оставшихся на бобах без пенсии, и они могли утешаться только тем, что не дожили до полного развала армии. Чистка продолжалась до мая 1917 года, а в канун своей отставки Гучков наградил «птичкой» негодности и мою персону. Об отставке мне сообщил сам Алексеев, который, кажется, тоже приложил к этому руку, почасту беседуя с Гучковым по телефону. Что я мог сказать? Но я все-таки сказал старику, что в такое время, какое переживает Россия, играть нашими головами — занятие не только рискованное, но даже преступное.

— Однако я повинуюсь, ибо плевать против ветра никак не намерен… Прощайте, Михаил Васильевич!

Звезда Гучкова уже померкла, но разгоралась звезда Керенского, и, помнится, я простился со Ставкой сразу после 1 мая. Этот день для меня ничего не значил, но в газетах сообщали, что праздник был отмечен Пуришкевичем, явившимся на митинг с красной гвоздикой, которую он элегантно воткнул в ширинку своих штанов. Втиснувшись в переполненный вагон, я застрял в его прокуренном и заплеванном тамбуре, и, глядя на подталые поляны и леса, поникшие в какой-то нелюдимой печали, я переживал такую горечь обиды, такую страшную душевную боль…

Роковая страна, ледяная, Проклятая железной судьбой, — Мать-Россия, о родина злая, Кто же так подшутил над тобой? А в тамбуре вагона слышались глупейшие разговоры:

— Пущай уж энта республика, яти ее мать, останется, тока бы царя нам дали хорошего… чтобы с башкой был!

Впереди длинного состава истошно стонал паровоз.

\* \* \*

Поезд дотащился до Петрограда к утру, и я, затертый в толпе пассажиров, вышел на площадь, поставив чемодан с вещами подле себя, по старой привычке озираясь — где бы перехватить извозчика? Я даже не сразу заметил, что возле меня остановились солдаты, которые, поплевывая шелухой семечек, уже приглядывались ко мне чересчур подозрительно.

— Гляди-кось, недобитый… — услышал вдруг я. — Видать, ишо порядков новых не знает. При погонах… А ну, — крикнул мне со злобой, — сымай сам, пока всего не растрепали!

Терпеть подобное хамство я не собирался. Я огрызнулся на солдат, чтобы застегнули шинели и перестали плеваться семечками, если перед ними стоит генерал. Но в этот же момент с моих плеч погоны были вырваны с отвратительным хрустом, а потом меня попросту избили, как последнюю собаку. На прощание, очень довольные, солдаты еще как следует поддали сапожищами по чемодану, он раскрылся, из него выпали на грязную панель свертки белья. Не в мои-то годы было переносить такое!

— Тыловые крысы… окопались тут… сволочи…

В ответ на мои слова они только развеселились. Я начал собирать в чемодан разбросанное бельишко. В этом мне помогла стоявшая на углу старуха-нищенка. Я защелкнул замки чемодана, выпрямился. Попрошайка сочувственно оглядела меня:

— За што ж тебя эдак-то, сердешный?

— За карьеру, бабушка… я карьеру делал.

— Так ступай с оглядкой, ныне за эфто самое и убить могут!

«Великой и бескровной» назвал Керенский эту Февральскую революцию, но сам Александр Федорович по морде, кажется, не получал. Зато у меня в душе, переполненной гневом, сложилось иное мнение: «Все наше, и рыло в крови!» Утешаясь этим потемкинским афоризмом, рожденным еще в пугачевщину, я поплелся домой… пешком, пешком, пешком — как птица дергач, которая возвращается на родину без помощи крыльев…

Да и не было у меня крыльев — оторвали их с мясом!

8. Кому я теперь нужен?

Каждый агент разведки дорого заплатил бы, чтобы хоть раз увидеть «Черную книгу тысячи имен», хранившуюся у немцев в большом секрете. В самом конце войны американцы умудрились каким-то образом стащить ее, и с тех пор она считается бесследно пропавшей, во что я не верю. На протяжении многих лет в «Черную книгу тысячи имен» вносились грехи не только тайных агентов, но и всех людей, достаточно авторитетных в самом респектабельном обществе. Книга рассказывала, кто пьяница или наркоман, картежник или растлитель малолетних, кто живет (или жил) на содержании женщин, кто берет (или брал) взятки, кто не откажется от услуг проститутки или подвержен содомскому пороку. Все эти сведения в Берлине собирались чуть ли не со времен знаменитого Вильгельма Штибера, чтобы в нужный момент путем грубого шантажа использовать слабости человека в своих целях. Уверен, что моего имени в «Черной книге тысячи имен» никогда не было, да и быть не могло, ибо я вел жизнь очень скромную, а пороков всегда чужался…

Вы спросите, к чему я вам все это рассказываю?

А вот к чему. Так или не так, попал я в эту «Книгу» или нет, но американцы на меня все-таки вышли. Навестивший меня полковник Робинс представился членом американской миссии Красного Креста в России, и мне, поверившему ему на слово, пришлось выслушать его речь, звучавшую в те дни весьма убедительно. Робинс был конкретен. Он не стал развешивать у меня под носом тряпье благородных декораций, чтобы в их тени разыграть спекулятивную сделку с моей совестью, — нет, он резал правду-матку в глаза, и меня от этой правды корежило. По его словам, наша разведка осталась без хозяина, связи ее центра с заграницей прерваны, а «временным» в Петрограде нет никакого дела до таких специалистов… как я, например!

— Где сейчас ваше место? — напористо говорил Робинс. — Кому нужны вы теперь у себя дома, если армия вас отвергла? Всю жизнь вы знали только свое дело, а другого и знать не можете.

— Да. Так. Увы.

— Между тем ваша агентура может быть крайне полезна нам, и не только нам, а всем союзникам по блоку стран «сердечного согласия» [25] . У вас, русских, многолетние связи, не только в Европе, но даже в Азии, и центры вашей разведки, освоенные еще до войны, немцы даже не колыхнули, так отлично они законспирированы. Наконец, вы, русские, владеете такими трюками своего ремесла, каким можно лишь позавидовать.

— Благодарю. Приятно слышать.

— Чтобы не быть голословным, — учтиво подолжал Робинс, — я скажу, что самая сильная ваша агентура на заводах Круппа уже работает на нашего «дядю», и нам здорово повезло, ибо именно от ваших коллег мы получили ценнейшие сведения о германской пушке «Колоссаль», способной издалека обстреливать Париж… Подумайте над моим предложением!

Невольно припомнилось подневольное житие в бараках Эссена; да, я видел там толпы изнуренных рабочих, но мог лишь догадываться, что среди этого «быдла» скрываются мои же коллеги с отличным академическим образованием. Я поверил, что полковник Робинс не дурачит меня, а наша агентура в Эссене, оставленная за бортом России, уже перекуплена «на корню», как отличное зерно для будущего прибыльного урожая. Теперь понадобился и я, генерал-майор старой чеканки, а Робинс уже дал понять, что ни масла, ни меду на меня не пожалеют…

«Заманчиво! Но… где же моя честь?»

Робинсу надоело мое молчание.

— Время идет, а вы слишком долго думаете, как и все русские… О чем думаете, позвольте спросить?

— Конечно, о своей родине… Я не спрашиваю, как вы нашли меня, но в одном вы правы: мы сейчас никому не нужны. Но я еще не теряю надежды, что со временем в России все образуется, и такие люди, как я, еще смогут послужить отчизне, ныне поступающей с нами словно злобная мачеха.

— Разговор окончен? — резко поднялся Робинс.

— Нет! — резко ответил я. — Я верю, что вы состоите при миссии Красного Креста, но с миссией ко мне вы пришли чересчур опрометчиво, ибо я скрываюсь на чужой квартире, а ваше появление здесь угрожает людям, приютившим меня… Из вас, полковник, никогда не получится хорошего агента!

— Извините за оплошность, — откланялся Робинс.

Я закрыл за ним двери на все запоры, потом в ужасе подумал, что мне угрожало, если бы я сгоряча дал согласие.

И тут я проснулся и вскрикнул: «Что, если Страна эта истинно родина мне? Не здесь ли любил я? И умер не здесь ли? В зеленой и солнечной этой стране…»

…Я тогда скрывался на Почтамтской, дом № 5.

\* \* \*

Впрочем, вся эта история с Робинсом случилась позже, почти сразу после Октябрьского переворота, но повествование лучше начать с тех дней, когда я появился в столице.

Оскорбленный солдатским мордобоем, я тащился на Вознесенский проспект, уповая найти в тиши старой квартиры успокоение духа. Все писавшие о Февральской революции не забыли упомянуть, что столица утопала в шелухе подсолнечных семечек. Их грызли на Руси всегда, но теперь сугробы (не преувеличиваю!) шелухи, в которых утопали ноги прохожих, казалось, навеки погребут под собой самые светлые идеалы человечества. Никакой историк не брался объяснить, как и почему возникла эта массовая эпидемия грызения семечек, ставших вдруг столь популярными в публике, и вообще — откуда взялась эта шуршащая зараза, покорившая Петроград именно в лето 1917 года? Еще я заметил, что мусор и помои не вывозились, как раньше, а копились в кучах и лужах на задних дворах, отчего зловоние стало чуть ли не главным ароматом послефевральской столицы… Наконец, я — по дороге домой — видел много митингующих, но ликующих не встречал. Напротив, на лицах прохожих лежала несмываемая печать испуга и неуверенности; люди ходили скоробежкой, оглядываясь, словно их преследовали. Одну революцию они сделали, но теперь ожидали другую, и если первая не принесла радости, то второй просто боялись. Об этом я услышал в разговоре двух женщин:

— Со второй или с третьей, а Россия тогда кувырнется в канаву! Ни одного камушка не оставят, всех пронумеруют, одни шоферы выживут, развозя питание по начальникам…

Наконец-то, усталый, я поднялся на третий этаж, держа ключ наготове, чтобы отворить квартиру, но двери ее были распахнуты настежь. Сразу от порога громоздились какие-то сундуки и узлы с тряпьем, а худенькая девочка с косичками, держа на руках беременную кошку, завопила в глубину квартиры:

— Дядя Петя, а к нам лезут… с чемоданом!

Только тут выяснилось, что «дяди Пети» с окраин столицы уже теснили «классового врага» в его буржуйских пустующих квартирах, и явившийся на зов девочки дядя Петя, гордясь чистотою своих кальсон, внятно и толково объяснил мне, дураку:

— Будя! Попили нашей кровушки, а нонеча весь мир насилья мы разрушим. Но мы же не звери, а пролетарцы вполне сознательные, потому все барахлишко твое в угловушку спихачили, вот и живи себе на здоровье… Плохо, что ли?

Из дверей комнат выглядывали какие-то остроносые и юркие старушенции, шушукались. Они, конечно, не звери. А что мне-то делать? Не драться же с ними… Я заглянул в угловую комнату, отведенную для меня, увидел свалку вещей и мебели и даже не вошел внутрь. Но, проходя мимо ванной, я увидел, что в ее фарфоровой лохани, где недавно царила пирующая крыса, теперь свалены дрова вперемешку с книгами из моей библиотеки.

Да, жильцы, конечно, не звери. Но они еще и не люди…

— Не слишком ли это жестоко, — спросил я, — греть свое пузо сгорающими мыслями людей, которые были умнее нас?

На это дядя Петя с апломбом отвечал, что у него в голове полно новых мыслей, созвучных новой эпохе, а щи варить тоже ведь надо? Я скинул шинель (без погон) и остался в мундире генерал-майора при золотых эполетах; моя метаморфоза вызвала такой переполох, что юркие старушки мигом убрали носы из дверей, а дядя Петя, кашлянув, даже отдал мне честь.

— Прошлого не вернуть, — сказал я ему. — А к пустой башке руку не прикладывают. Бог с вами, живите. У меня лишь одна просьба. Позвольте постоять на балконе… одному!

— Тока без задержки, — предупредил дядя Петя. — Балкон после революции общий, как и уборная. Мало ли кому из соседей тоже захочется подышать бурей революции…

На балконе, вцепившись в перила, я дал волю слезам. Память живо воскресила праздничный день моего раннего детства, когда из летних лагерей возвращалась на зимние квартиры непобедимая русская гвардия. А я, еще маленький, видел ряды ее штыков, чувствовал блаженное тепло материнских рук… Как давно это было! Но и тот день, наверное, тоже ведь не пропал для меня даром, словно заранее наметив главную стезю моей жизни. Я вытер слезы, подхватил чемодан и, ничего никому не сказав, навсегда покинул свою квартиру, в которой родился.

Почти бесцельно я брел вдоль Вознесенского, по врожденной привычке все видя, все запоминая, все оценивая на свой лад. За мною топали двое, и я невольно слышал их разговор:

— Темные силы не дремлют, Ваня! Ты, милок, эти темные силы разоблачить должен… Теперь наше время.

Я обернулся, дабы лицезреть «светлые силы», и сразу понял, что ночью в пустынном переулке им лучше не попадаться. Конечно, я оставался при оружии, хотя имеющий оружие рисковал тогда очень многим. С чемоданом в руке я вышел к разгромленной «Астории», которую занимали анархисты-матросы вместе со своими барышнями. На улицах полно было солдат с винтовками, которые шлялись просто так, но спроси любого — ради чего они шляются, ответ был бы одинаков: «Охраняем революцию от темных сил!» Возле памятника Николаю I площадь бурлила очередным митингом, и какой-то оратор в черных очках старательно втемяшивал в толпу свой основной тезис:

— Мы за мир, но без аннексий и контрибуций! Это непременное наше условие на время текущего момента истории…

Все дружно аплодировали. Ради интереса я спросил одного солдата — кту такие аннексия и контрибуция?

— Эх ты… темнота! — отвечал он. — Не знаешь, что эфто два острова в окияне, вот капиталисты из-за них и грызутся, а мы за Аннексию и Контрибуцию кровью истекаем…

Я присел на скамейке в Александровском сквере. Возле меня оказался сухощавый малоприметный господин в сером костюме, с бородкою в стиле французского короля Генриха IV.

— Вы меня, конечно, узнали? — спросил он.

— Да, ваше сиятельство. Как не узнать князя Юрия Ивановича Трубецкого, командира кавалерийской дивизии в Прилуках.

— Я, кстати, шел рядом с вами, — сказал Трубецкой, — и по вашей походке догадался, что вам идти более некуда.

— Ваша правда. Даже голову приклонить негде.

— Сочувствую. Я ведь вас помню… мимолетно встречались в Ставке. Меня еще не уплотняли, и в моей квартире всегда сыщется комната для вас. Жена и дочери будут рады…

Так я оказался на Почтамтской улице, по дороге рассказав князю причину, почему я оказался вдруг неугоден Гучкову.

\* \* \*

А Юрий Иванович пострадал за крупу, которую не съели солдаты. Его конная дивизия объедалась на войне дармовой курятиной и свининой, а казенную кашу выбрасывали. Но в момент революции солдаты сразу вспомнили, что крупа миновала их желудки, и потребовали за нее деньги — наличными. Все началось с митингов, а закончилось убийством офицеров и взломом денежного ящика. Трубецкого не тронули, ибо он был любим солдатами, но князь удалился в отставку под графою «негоден».

Теперь он говорил с усмешкою:

— В юности страдал из-за несчастной любви, дрался на дуэлях за честь мундира, а в конце жизни… крупа. Если великой нации не стыдно жить так, как она живет, так буду страдать я, не последний отпрыск этой великой нации…

«Главноуговаривающим» в стране сделался Керенский, который мотался по фронтам, уговаривая армию наступать, но все его речи, зовущие к победе, вызывали во мне лишь смех:

— Армия хороша, когда исполняет полученные приказы, но армия гроша не стоит, если ее приходится уговаривать…

Меня, как и князя, раздражали красные банты, пришпиленные поверх пальто и кацавеек людей, до Февраля молившихся за царя-батюшку. Время было мерзкое, выражавшееся в анекдотах, недалеких от истины. Жена князя, тихая болезненная женщина, рассказывала, что в продаже не стало кускового сахару:

— А русский человек привык пить вприкуску. Так из Таврического дворца «временные» министры дали мудрый совет: завернув сахарный песок в тряпочку, можно с успехом сосать его, создавая сладчайшую иллюзию обкусывания рафинада.

Изменился даже язык, исковерканный временем лихорадочной торопливости. Прощаясь, люди стали говорить «Пока!», вместо ясных названий учреждений замелькали идиотские аббревиатуры, и перед обычной табличкой на дверях с надписью «вход» люди невольно замирали, гадая, что бы это могло значить? Скорее всего, что ВХОД — это «Высшее Художественное Общество Дегенератов». А что удивляться, если вскоре появилось «замкомпоморде» (заместитель командующего по морским делам)! Театры еще работали, но ходить в театры не всякий осмеливался. В самый разгар трагедии на сцену обязательно вырывался откуда ни возьмись Лев Троцкий и в бурной речи излагал партеру всю великую важность «текущего момента», а заканчивая речь, не забывал погрозить кулаком сидящим в ложах. Когда же публика разбредалась из театров, на улицах и в подворотнях ее грабили, убивали, насиловали. Выпущенные из тюрем уголовники образовали множество шаек; переодетые в солдатскую форму и украшенные красными бантами, они производили в квартирах самочинные обыски с липовыми «ордерами» на конфискацию имущества «для блага трудового народа». Юрий Иванович, набродившись по городу, вечерами рассказывал:

— Гришки Отрепьевы из числа «временных» назначили ноябрь для созыва Учредительного собрания. Но, думаю, учреждать ничего не придется, ибо к тому времени все само по себе развалится ко всем чертям. Партийные разногласия отныне будут разрешаться кровавой резней, как в турецком меджлисе…

Мои скромные сбережения давно кончились, а надо было как-то жить. Случайно к нам забрел юрист П. Н. Якоби, внук академика, бывший товарищ прокурора, который сказал, что сейчас стало очень модным «кооперироваться» по любому случаю:

— Я уже не говорю о куске хлеба насущного, но на кооператоров ныне смотрят как на людей самых передовых воззрений…

С легкой руки Якоби составилась компания, в которую, помимо меня, вошли генерал Н. Н. Шрейбер, сын сенатора, и адмирал И. Ф. Бострем, бывший помощник морского министра. Мы сообща облюбовали кинематограф на углу Суворовского и Кирочной, которому дали приличное название «Свет и тени». Труднее было добыть разрешение властей на прокручивание фильмов. Юрист и генерал с адмиралом дружно убеждали меня:

— Кроме вас, это никто не провернет. Что мы? Жалкие остатки «проклятого прошлого» — и все, а вы, как агент разведки, уже наловчились людей обдуривать…

Если при большевиках в искусстве царствовала несравненная М. Ф. Андреева, то при Керенском музами руководила его жена — Ольга Львовна, бывшая патронессой всех зрелищ столицы. У меня об этой женщине сложилось такое впечатление, что, будучи женой «главноуговаривающего», она и сама легко поддастся на уговоры. Мне хватило трех минут, чтобы произвести должное впечатление, и против создания кинокооператива она возражать не стала, после чего я поцеловал ей ручки.

Мы, вышеназванные, стали эксплуатировать «Свет и тени», имея по вечерам миллионные выручки («керенками», конечно!). Публика стонала от восторга, когда на экране вспыхивали названия таких кинолент, как «Экстазы страсти», «Отдай мне эту ночь», «Под знаком Скорпиона» или «Смертельный поцелуй». Мы даже усовершенствовали немое кино, озвучив его за счет талантов людей, согласных на все — лишь бы не подохнуть с голоду. Так, например, когда на экране герой с героиней сближали губы в единую «диафрагму», наши голодающие за кулисами громко причмокивали губами, а в сценах ужаса они потрясали зал такими бесподобными воплями, от которых слабонервные падали в обморок… Короче говоря, наш кооператив процветал! Правда, совсем не было выпивки, чтобы достойно отметить наши успехи, но мы быстро научились через комок ваты насасываться бензином, ради приличия именуя его «автоликером».

Однажды в поздний час я возвращался с актером Карновичем-Валуа, который рассказывал, как его недавно раздели на улице до кальсон. Я был переполнен дневной выручкой, имея при себе два-три миллиона. Актера я проводил до его дома и уже свернул в Саперный переулок, когда меня задержал патруль из трех матросов-клешников с винтовками. Еще издали они — мать в перемать и размать! — велели остановиться.

— Стой, падла, в такую тебя… Оружие е?

Я не сомневался, что это бандиты, нарочно принаряженные во флотские бушлаты. Они как тряхнули меня, так и посыпались мои миллионы. Двое кинулись подбирать «керенки» с панели, а третий — явный ворюга — сразу нащупал на мне оружие:

— Братва, шмон… да он, гад, с начинкой!

Даже не вынимая револьвера из кармана пальто, я через сукно перестрелял всех троих, а потом сказал покойничкам:

— Котята… с кем связались?

Но вскоре после визита полковника Робинса вдруг арестовали князя Юрия Ивановича, жена носила ему сухари в Петропавловскую крепость. За что посадили хорошего человека — не знаю. Княгиня все дни плакала, а взрослые дочери притихли, даже не разговаривали. Я счел своим долгом поддерживать семью Трубецких, благо доходы у меня были.

Вот примерно в таких условиях я встретил Октябрьский переворот, после которого лучше не стало! Новые владыки столицы, Зиновьев, Штейнберг, Урицкий и Бокий, все силы террора обрушили именно на «бывших», первым делом истребляя инакомыслящую интеллигенцию. Чуждые русскому народу и русской истории, эти людишки, Бог весть откуда взявшиеся, тащили на Гороховую в Чека правых и виноватых, по ночам расстреливали тысячами. Петроград опустел, скованный ужасом. Вот тогда-то и началось стихийное бегство людей из Петрограда на юг, где формировалась белая гвардия. Я тоже был близок к тому, чтобы скрыться, но я не решался покинуть семью Трубецких, давшую мне приют в самую трудную минуту моей жизни. Да, я плевал на «временных», но и новую власть не принимал тоже:

— Большевики считают насилием то, что происходило по вине чиновников царя, но свое насилие над людьми возвышают до уровня геройства, полагая, что от имени народа им все дозволено. Но у народа они никогда не спрашивали. Эти мерзавцы уничтожают людей, говоря, что это необходимо «во имя светлого будущего». Но какое же будущее ожидает Россию, если его строят на грудах трупов людей, ни в чем не повинных?

Я перестал понимать что-либо. Обещанная свобода превратилась в террор, братство — в гражданскую войну, а равенство кончилось возвышением новой бюрократии — более алчной и более прожорливой, нежели она была при царском режиме. В эти черные дни я начал замечать в людях отсутствие былой сердечности, исчезли все «душевные» разговоры, люди боялись говорить открыто, ибо страшились доносов. Мне порою начинало казаться, что уже сбывается давнее пророчество Пушкина:

Но дважды ангел вострубит, На землю гром небесный грянет — И брат от брата побежит, И сын от матери отпрянет… Новые власти рассылали повестки бывшим богачам, требуя от них внести контрибуции «на благо народа». Но это было уже невозможно, ибо деньги с их банковских счетов уплыли куда-то еще при Керенском. По вечерам я с княгиней раскладывал пасьянс, гадая, что будет дальше, и рассуждал:

— Какая б ни была революция, однако народу на хлеб ее не намазать. Очевидно, большевикам не хватает деньжат на строительство Вавилонской башни социализма, в рай которого они созывают всех нас следовать обязательно семимильными шагами.

Только я это выпалил, как в прихожей вздрогнул звонок, и бедная княгиня схватилась за сердце:

— Это он… Юра… мой Юрочка вернулся!

Вошли трое. Все в коже. И все при наганах:

— Вот ордер на арест князя Юрия Трубецкого!

Я спокойно перетасовал карты и даже посмеялся:

— Ах, господа-товарищи, до чего же паршиво работаете! Вы бы хоть у царской охранки поучились, как это делается… Вы опоздали — его сиятельство Юрий Иванович давно загорает в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, в той самой камере, в которой сидел его достопочтенный предок — декабрист князь Трубецкой. А вы, наивные люди, вдруг являетесь для вторичного арестования Юрия Ивановича…

Чекисты куда-то звонили по телефону, потом точно назвали мою фамилию и мое звание генерал-майора Генштаба:

— Известно, что он здесь, должный быть арестованным.

Я сложил карты и отбросил колоду от себя.

— Вот это другое дело, и разговор между нами становится серьезным, — ответил я. — Искомый вами сатрап и душитель трудового народа здесь… Отсыпается в соседней комнате. С вашего позволения, я сейчас его разбужу…

В коридоре я надел пальто, нахлобучил кепку, после чего по черной лестнице спустился во двор и вышел на улицу.

Во мне все клокотало от неуемного бешенства:

— Котята… не умеют даже арестовать человека!

9. На запасных путях

Полковник Апис… Гаврила Принцип… Выстрел в Сараево…

Боже! Как легко бывает вызвать войну, зато до чего же бывает трудно, почти невозможно выбраться из войны, тем более если война была коалиционной… Первая мировая бойня — это чувствовалось! — близилась к трагическому завершению. Впоследствии статистики подсчитали: во Франции на 28 человек приходился один убитый, Англия лишилась одного солдата из 57, а в России недосчитались одного на 107 человек. Так что, можно считать, наша страна имела меньшее количество жертв по сравнению с союзниками (чего никак нельзя сказать о второй мировой войне, тоже коалиционной).

Германия держалась из последних сил, доедая последнюю брюкву, чтобы затем испытать позор Версаля, а русская армия, полностью разложившаяся, оголяла свои фронты, чтобы изведать позор Брест-Литовского мира. На юге России уже выковывалось мощное движение белой гвардии, а в ноябре 1917 года Ленин выступил с Декретом о мире. Но генерал Духонин, тогдашний главнокомандующий, отказался предлагать немцам прекращение боевых действий, за что и был зверски убит солдатами. Однако советская комиссия по перемирию уже выехала в Брест, и в ее составе (что меня безмерно удивило) был и мой прежний коллега — полковник Владимир Евстафьевич Скалон…

Чтобы не забыть, сразу скажу, что сталось с князем Ю. И. Трубецким. Он был освобожеден из Чека по личному решению Урицкого, который — в обмен на свободу — потребовал от Юрия Ивановича сдать все драгоценности, после чего ему разрешалось вместе с женой и дочерьми выехать за границу. Об этом хорошем человеке я больше никогда ничего не слышал…

\* \* \*

Заодно с Керенским давно исчезли и семечки, как неслыханный деликатес былого гурманства. Ноябрь был холодный, продутый ветрами. «Свет и тени» прикрыли, а после ухода от Трубецких я умышленно порвал всякие связи с членами «кооператива», чтобы не подводить их под мушку. Случайно я нашел приют у одного бывшего правоведа, который пускал меня лишь для ночлега, а дни я проводил в блужданиях по городу… Насущным оставался вопрос: что делать и как жить? Я не мог вернуться в Сербию, ибо после расправы с Аписом король Александр и меня бы вывел к оврагу. Пробираться на белогвардейский юг, «разрывая нитки» фронтов, на это у меня не хватало сил — даже физических.

Я голодал. Кормился от случая к случаю. Крохами!..

Между тем мне пришлось немало удивиться, когда я узнал, что большевики приняли на службу генералов Каменева, Парского, Потапова, Лебедева, Раттеля, Гутора, Зайончковского и прочих, а ведь среди них было немало и генштабистов. С этим правоведом я не ужился, ибо он, дворянин старого рода, женатый на томной смолянке, игравшей на арфе, вдруг решил — по случаю революции — сродниться с простым народом посредством примитивного «опрощения», для чего не стриг ногтей и волос, мерзко рыгал после еды, а жене говорил, по-мужицки потягиваясь: «Ой, Марья, чевой-то мне хоцца, може, водицы студеной испить вволюшку?..» Ну его к черту! Дурак какой-то.

Разве одним рыганием можно породниться с народом?

Помню, я сильно озяб и зашел на Выборгской в уютную церковь св. Сампсония, строенную в честь победы при Полтаве. Молящихся было немного, а службу хорошо вел статный красивый дьякон, в котором я сразу узнал бывшего генштабиста князя Сергея Оболенского. Он тоже узнал меня и, завершая службу, поманил за собой в притвор, угостив там церковным кагором. Будущий епископ Нафанаил, сейчас он искал покоя в церкви и, кажется, вполне был доволен своим предназначением.

— Не удивляйся, — сказал он мне. — Хотя ныне церковь и гонима, но я решил посвятить себя служению самой высшей власти. Здесь мое последнее прибежище, где могу думать спокойно, и пусть не всем, но кому-либо облегчу душевные терзания…

Но моих терзаний он облегчить не мог, лишь озадачил:

— Будь осторожен и не сделай глупости…

— Какой? — не понял я.

— Разве не знаешь, что большевики устроили для генералов старой армии хитрую ловушку, в которую многие и попались, словно мухи в паучьи тенета… Ты ведь, насколько мне известно, был весьма доверителен с Михаилом Бонч-Бруевичем?

— Да.

— Так вот, — тихонько пояснил Оболенский, — его личный вагон давно стоит на запасных путях Царскосельского вокзала, и там его по ночам навещают… тайком, словно воры.

— Кто?

— Подобные тебе… Ты стал непонятлив! Но ведь все давно ясно. У него родной брат Владимир Бонч-Бруевич состоит при Ленине в Совнаркоме, вот два братца и спелись…

— Михаил Дмитриевич, — отвечал я, — всегда бывал со мною предельно искренен, и мне даже любопытно, что сказал бы он мне в моем нынешнем положении. Кто я? Кому я нужен?

Наверное, Оболенский в этот момент понял, что отговаривать меня бесполезно, ибо решение мною принято, и он, как священнослужитель, осенил меня широким крестом:

— Всевышний да наведет тебя на путь истинный…

Не кто иной, как Бог, и привел меня ночью на запасные пути Царскосельской дороги, на которые я выбрался со стороны Семеновского плаца, чтобы не привлекать чуждого внимания. В неразберихе путей и стрелок, спотыкаясь о рельсы, я отыскал вагон Бонч-Бруевича по лучам света в его зашторенных окнах. Издали я точно определил, что часовых в тамбуре не было. Как профессионал тайной разведки, я, конечно, не подгонял события, сознательно выжидая время, затаившись в потемках, и сначала пронаблюдал за этим вагоном… Все было тихо. Но вот взвизгнула дверь, тень человека, появясь из тамбура, метнулась в сторону. Мне в этом человеке показалось нечто знакомое.

— Стой! — крикнул я.

Он пустился бежать, высоко перепрыгивая через рельсы, но я все же нагнал его и остановил, чиркнув спичкой, чтобы увериться.

— Я не ошибся. Это же ты…

Да, это был Володя Вербицкий, однокашник по Академии Генштаба, с ним я вел триангуляцию в лесах Лужского уезда, мы вместе ломали шеи на парфорсной охоте в Поставах (и не знал я лишь одного — что встречу его потом агентом абвера).

— Ты так срочно вылетел из вагона, будто тебя там кипятком ошпарили… Можно узнать, о чем вы там говорили?

— Лучше бы этого разговора и не было, — пылко отозвался Вербицкий. — Я пришел узнать, каковы условия приема в большевистскую армию, которая пока еще только на бумаге, а этот старый дурак начал попрекать меня и все старое офицерство за поругание заветов святой отчизны, мол, мы, бывшие офицеры, потеряли не только офицерскую честь, но и…

— Постой, — перебил я Вербицкого. — Но, может, Михаил Дмитриевич и прав, ибо все-таки армия защищает не власть, какая есть, а должна прежде всего оборонять родину.

— Милый! — воскликнул Володя, едва не плача. — Да где ты видишь родину, если вместо нее осталась костлявая и крикливая уродина. Жрем павших лошадей. Сожрем собак и кошек. Примемся жрать крыс… это родина? Нет уж, такая власть от меня услуг не дождется. Махну на юг, а там… что Бог даст. Прощай.

— Прощай, — отозвался я, и Вербицкий скрылся во мраке, ныряя под товарные вагоны, мерзнувшие на путях станции…

По-прежнему светились окна вагона, в который мне следовало подняться, как на эшафот, чтобы проверить себя на прочность духа. Я не сомневался, что разговор с Бонч-Бруевичем будет неприятным и резким для нас обоих… Про себя я решил, что в случае чего всегда можно и отстреляться!

\* \* \*

Бонч-Бруевич в шинели, накинутой на плечи, сидел за столом штабного купе и писал. Я не явился для него привидением с того света, и он даже не удивился моему ночному визиту. Первое слово, конечно, не за ним, а за мною, и я нашел пусть не самые удачные, но все-таки выразительные слова:

— Как видите, я не спешил к вам, как другие, ибо торопливость необходима лишь при ловле блох.

— Я вас давно ждал, — последовал странный ответ.

— Вы? Меня? Давно?

— Прошу садиться. Из этого вагона я рассылаю многим генералам и агентам разведки Генштаба приглашения, дабы они соблаговолили почтить меня своим посещением… для разговора о будущем. Их личном будущем и будущем всей России. Я писал и вам по адресу на Вознесенский проспект, но… увы.

— Я теперь живу не там.

— Скрывались?

— Естественно.

Бонч-Бруевич опять-таки нисколько не удивился.

— Правильно делали, — сказал он. — Попадись вы теперь на Гороховой два, и вас бы пришлепнули, словно комара. А ваша голова еще может пригодиться для служения отечеству.

— Вы уверены в этом? — усмехнулся я.

— Да! Пока существует система государственного устройства, до тех пор будет необходима система оборонительная и охранительная. А следовательно, страна всегда будет нуждаться в людях, подобных вам… Как вы относитесь к новой власти?

Я душой не кривил, оставаясь предельно честным:

— Это не власть, а чума какая-то… зараза! Большевики изображают свою перетряску как некий народный праздник, а в моем убогом представлении революция — это не праздник, а подлинная беда народа, которая, боюсь, завершится для всех нас гибелью нации, истории, культуры и религии… Других ценностей в народе я не вижу, эти суть самые главные!

— Мне тоже не все по вкусу, — согласился Бонч-Бруевич. — Умный любит ясно, а дурак любит красно. Тошно от демагогии! Перегибов и свинства уже достаточно. Но мы не имеем права забывать о долге перед русским народом. Не сейчас, так позже армия возродится, отобрав все лучшее, что было в старой русской армии. Наконец, такая великая держава, как Россия, не может обходиться без глубокой и точной разведки…

Разговор принял профессиональный характер. Понизив голоса, словно остерегаясь чужих ушей, мы с великим огорчением пришли к выводу, что в этой войне наша разведка не проиграла, но и не выиграла. Не потому, что агентура Генштаба была плоха, а скорее по той проклятой причине, что предательство внутри имперского аппарата губило нашу кропотливую работу.

— Признаюсь, без службы мне тяжело, — сказал я. — Тянет в армию… без нее нет мне жизни! Но… кому служить? Родине — да, я готов отдать всего себя и все свои знания. Но служить хамам, которые меня, заслуженного генштабиста, излупили на вокзале… нет!

— Хамства много, — не возражал Бонч-Бруевич. — Нечто подобное пережил и я сам, когда меня выдвинули в командующие Северным флотом. Но, дорогой, по десятку гнилых яблок в корзине нельзя же судить обо всем урожае в нашем обширном саду. Скажите, вы готовы к чистосердечному разговору?

— Для этого я посетил ваш вагон, о котором ходят самые зловещие слухи. Меня волнует иное: я имел отличную аттестацию, верой и правдой служа его императорскому величеству. Таким образом, для новой власти я всегда останусь лишь «гидрой контрреволюции», которую надо душить рукою пролетариата.

Бонч-Бруевич поставил на плиту чайник с водою.

— А я разве не гидра? — проворчал он совсем по-стариковски. — Я ведь тоже служил царю согласно старинной немецкой поговорке: «У меня в Пруссии есть любимый король».

— Да, — отвечал я, — эта поговорка оправдывает всех нас, но я, простите, всегда ценил и слова Герцена: «У меня в России есть любимый народ». Пожалуй, ради этого и сижу подле вас и не откажусь от стакана горячего чая…

Чай пили молча, как извозчики в трактире, которые все знают друг о друге. Разговор, сначала острый, казалось, увял. Михаил Дмитриевич как бы между прочим спросил:

— А вы являлись на регистрацию офицеров?

— Чтобы сидеть в тюрьме? Не дурак же я!

— Документы у вас старые?

— Новейшие, — не скрывал я, тут же предъявив их. — Сами понимаете, что пришлось побыть в амплуа карманника.

— Догадываюсь. Значит, хорошо вас учили, если не забыли прежних уроков. Но если вы ждете от меня отличных рекомендаций, то я, милостивый государь, воздержусь.

Это меня просто ошарашило:

— Как? Разве вы знаете меня с дурной стороны?

— Напротив, с хорошей стороны. Но вы не первый, кто появился в моем вагоне, клятвенно заверяя в том, что согласен верой и правдой служить любимой советской власти.

— И…?

— И, к сожалению, получив паек, обновив себя внешне, вынюхивали наши штабные планы, после чего бежали на юг — к Каледину! А я, старый дурак, еще просил за них у Подвойского, сам нахваливал их перед Лениным, что нельзя бросаться такими драгоценными кадрами. С другой же стороны, — договорил Бонч-Бруевич, — от бывших коллег многого и не жду. Их столько трепали в разных исполкомах, столько издевались над ними в различных «чрезвычайках», что у них психика давно сдвинулась набекрень, а обид накопилось выше козырька фуражки.

Мне понравилось, что Михаил Дмитриевич не вставал горою на защиту благородства советской власти, которая третировала нас, бывших офицеров, а сумрачно признался, что он, Бонч-Бруевич, несмотря на свой богатый опыт контрразведчика, никогда не может поручиться за своих бывших коллег.

— Понимаю, — отвечал я с искренним вздохом…

Неожиданно раздалось близкое пыхтение паровоза, звонко громыхнули буксы сцепления, и тут Бонч-Бруевич удивился.

— Что-то новенькое, — сказал он. — Хотя бы предупредили с вечера… Еще завезут куда-нибудь в лес за Вырицу и в лучшем случае отпустят в одних кальсонах. Вы, кстати, при оружии?

— Конечно.

— Ловкий вы человек, как я посмотрю, — весело рассмеялся Бонч-Бруевич. — Документы у вас бухгалтера с Путиловского завода. Выбриты как следует. И даже при оружии.

— Так давайте решать, — настоял я. — У меня немалый опыт агентурной работы, и вы сами знаете, что генеральские лампасы я добыл не поклонами в министерских передних. Я человек чести, и, если дал слово русского офицера, я не подведу вас. Поверьте, не ради жирного пайка и не ради новых штанов я пришел к вам. А вы… вы боитесь поручиться за меня?

Бонч-Бруевич что-то слишком долго обдумывал. Потом извлек из своих бумаг фотографию немецкого генерала с очень гордым и злым лицом хитрейшего и всезнающего сатира.

— Поручусь! А вам знаком этот умник?

— Да. Это генерал Макс Гоффман, хорошо памятный по разгрому армии Самсонова, и, как я слышал, он сделал отличную карьеру, став начальником штаба всего Восточного фронта.

— Мало того, — добавил Бонч-Бруевич, — этот громила ныне возглавляет германскую делегацию по мирным переговорам в Бресте, а полковник Владимир Евстафьевич Скалон [26] , наш военный представитель в Бресте, застрелился, очевидно, не выдержав остроумных издевок со стороны этого Гоффмана… Вы не согласились бы заменить покойного Скалона в Бресте?

— Я бы на месте Скалона стрелял не в себя.

— Но и в Гоффмана стрелять тоже нельзя…

Во время этой беседы наш вагон ни с того ни с сего вдруг сильно дернулся, сцепленный с паровозом, и нас, двух генералов, медленно повлекло во тьму ночи, как в бездну.

— Интересно, куда мы поехали? — насторожился я. — Впрочем, я готов через угольный тендер проникнуть в будку машиниста, чтобы узнать о его намерениях…

Бонч-Бруевич откинул одеяло на своей постели:

— Не стоит! Вообще-то, милейший коллега, я не ожидал вас увидеть сегодня, вы сами пожаловали. Так потрудитесь разделить со мною все тяготы и приятности нашего путешествия.

— Но… куда? — снова спросил я.

Паровоз быстро набирал ход, под вагоном железно прогрохотал мост через Обводный канал, и скорость увеличивалась.

— Не советую прыгать на ходу, — заметил Бонч-Бруевич. — Все русские дороги теперь кончаются в Москве, куда скоро переберется и правительство, а посему именно в Москве мы договорим до конца. И нет в природе такого соловья, который бы умер, прежде не завершив своей прекрасной арии…

Укладываясь спать, я вдруг расхохотался.

— Что вас так сильно развеселило?

— Простите, Михаил Дмитриевич, но я нечаянно вспомнил, что ваш вагон называли «генеральской ловушкой».

— Вот вы и попались в нее… Спокойной ночи!

Он оказался прав. Впервые за все эти долгие и кошмарные дни я провел спокойную и благотворную ночь.

Постскриптум последний

В конце этой книги мне очень не хватало… конца!

Первая часть романа уже была опубликована в одном из журналов, и до меня дошли слухи, что сербы восприняли роман благожелательно. Но сам-то я еще долго страдал в трагическом неведении: финал судьбы моего героя оставался загадкой. Так бывает в истории, что дату рождения человека обнаружить подчас гораздо легче, нежели отыскать его могилу, дабы установить год смерти. Я мог лишь догадываться, что конец жизни автора записок следует, очевидно, искать в тех майских днях 1944 года, когда немцы предприняли в Югославии самое мощное наступление против народной армии маршала Тито.

Но все-таки где же мне раздобыть истину? Обращаться за справкой в компетентные органы я не мог (и даже не хотел) по той простой причине, что меня бы там сразу спросили:

— Позвольте, откуда вы знаете этого человека?

А мне совсем не хотелось разоблачать тайну его записок, которые достались мне совершенно случайно от неизвестной женщины. Стоп! Кажется, именно с нее, именно с этой женщины, и следует начинать… Я навестил своего приятеля, в доме которого мне однажды встретилась скромная дама с муфтой. Правда, с той поры миновало много лет, и потому я с большой неуверенностью спрашивал приятеля — помнит ли он тот давний вечер и кто была эта дама?

— Какая? Их было немало тогда на вечеринке.

— Ну, вот та самая, что не вынимала рук из муфты, как будто в муфте было спрятано ее самое дорогое.

— Постой, постой… я что-то припоминаю, — сказал приятель. — Да, среди моих гостей была немка.

— Немка? — удивился я. — Это все, что ты о ней знаешь?

— А зачем тебе знать больше? Вряд ли эта женщина может добавить что-либо существенное к тому, что уже сказано в подаренной ею рукописи. Довольствуйся тем, что имеешь.

— Пожалуй, ты прав, — был вынужден согласиться я. — Но пойми и меня тоже: я никогда не умел писать окончания своих романов. А теперь мне как раз и не хватает мощного удара в литавры, дабы завершить симфонию жизни человека.

— Сочувствую, но, увы, помочь ничем не могу. Выкручивайся сам как знаешь. За это ты и гонорары получаешь…

Роман давался мне с большим трудом, почти в муках. Инсульт и два инфаркта — это и был мой гонорар, полученный при написании книги. Шли годы. Я изымал из рукописи обширные куски, полагая, что их содержание не столь уж важно сегодня, и, наоборот, вставлял свои обширные комментарии, считая, что они по крайней мере необходимы моему современнику. Во всех сомнительных случаях в азарте работы я привык советоваться с женою, самым беспристрастным критиком, и на этот раз, душевно вникнув в мои сомнения, она сказала:

— Стоит ли долго мучиться? Оставь все как есть, а читатель сам додумает судьбу твоего анонимного героя…

Прошло еще какое-то время, работа была мною отложена — не хватало конца! Но вот однажды (как в хорошем романе) с лестницы раздался протяжный звонок, и он показался мне неожиданно роковым, ибо время было уже позднее. Жена вернулась из прихожей, сообщив, что со мною желает видеться какая-то женщина, назвавшаяся Анной Фрицевной.

— Говорит — по делу. Ты ей нужен.

— Да не знаю я никакой Анны, тем более — Фрицевны.

— Но она утверждает, что ты ей достаточно известен. Мало того, ей желательно вручить тебе какой-то подарок…

В моем кабинете появилась незнакомая пожилая дама, еще по-девичьи стройная, и, словно не замечая меня, сначала долгим взором обвела длинные стеллажи моей библиотеки.

— Садитесь, пожалуйста, — предложил я.

— Благодарю. Вы меня, кажется, не узнали.

— Признаться, нет… не узнал!

Но, вглядевшись в ее лицо, я вдруг вспомнил эту женщину, когда она была гораздо моложе. Правда, теперь она вместо муфты имела при себе обычную дамскую сумочку. По запискам своего героя я догадался, что судьба сама послала мне его приемную дочь, и тут многое прояснилось.

— Значит, это были вы… именно вы!

— Я. И опять я. Снова я.

— А сейчас проживаете в Германии… так?

— Так. Уже много лет я читаю лекции по истории русской литературы. Нередко навещаю свою родину, вот и сейчас приехала повидать сестру Грету, живущую в Казахстане, где осело немало немцев из бывшей республики немцев Поволжья. По дороге домой я решила напомнить вам о себе.

— Очевидно, для этого у вас есть какие-то причины?

— Причины имеются… Я прочла первую часть записок моего отчима, которые вы опубликовали под видом романа.

— Насколько я понял, эти записки и достались вам по наследству от отчима, имени которого мы не упоминаем.

— И вы, — ответила она, — хорошо поступили, что не стали придумывать ему фамилию, ибо это не столь важно, а важны лишь те события, в которых он участвовал.

— А если я вас немножко пошантажирую? — спросил я.

— Попробуйте, — согласилась гостья.

На клочке бумаги я четко вывел фамилию героя и придвинул к Анне Фрицевне, чтобы она прочитала.

— Все верно, — не удивилась она. — Но я уже заметила на полках вашей библиотеки и «Бархатную Книгу», из которой вы сделали правильный вывод… Впрочем, и это просто случайность, что я и моя сестра Грета не стали носить именно эту русскую фамилию, ибо отчим хотел нас даже удочерить.

— Наверное, перед самым отлетом в Бари?

— Да, в России удобнее жить под русской фамилией, и он сам отлично понимал это…

Я кивнул, охотно соглашаясь с нею:

— Мне известно, каково пришлось страдать немцам, когда они покидали свое Поволжье. Но вряд ли, — сказал я, — вы можете быть абсолютно уверены в своем немецком происхождении. При императрице Екатерине близ Саратова расселяли чехов, голландцев, швейцарцев, наконец, и малую толику немцев, а уж потом — при общей нашей безграмотности — всех потомков степных колонистов стали называть одинаково «немцами».

Анна Фрицевна невесело посмеялась:

— Вы правы. Вопрос запутанный. Но в сорок первом не разбирались, откуда вышли на Русь наши пращуры, чтобы осваивать приволжские пустоши, где тогда скакали неисчислимые стада диких кобылиц и тарпанов. Выслали всех подряд, а мы тогда с мамой и сестренкой натерпелись всякого горя…

Жена сама догадалась, что моя беседа с Анной Фрицевной будет долгой и, наверное, для меня даже необходимой, ибо на столе появился чай. Но Анна Фрицевна вдруг стала озабоченно посматривать на часы:

— Спасибо, но мне засиживаться у вас нельзя. Сегодня же ночным самолетом я должна вернуться в Берлин, а потому извините, если сразу перейду к делу, ради которого явилась…

Она потянулась к сумочке, на которую я давно уже посматривал с крайним любопытством, словно из нее — как когда-то из муфты! — вдруг явится нечто такое, что сразу разрешит все мои сомнения. Первая мысль была слишком наивна: мне казалось, Анна Фрицевна подарит фотографию героя, о котором известно лишь то, что он имел профиль Наполеона… Я даже сказал:

— Знали бы вы, как трудно писать о человеке, никогда не видя его лица. Я представляю его себе, но я не вижу его.

Анна Фрицевна поглядела на меня почти с испугом:

— Его лица вы никогда и не увидите. Я привезла вам совсем другое… такое, что вряд ли доставит вам удовольствие.

Да, в тот вечер все смешалось, И этот сплав неразделим, И то, что истиной казалось, И то, что вымыслом моим… Но, помимо этих стихов из «Югославской тетради» Николая Тихонова, следовало помнить и другое…

\* \* \*

1944 год стал годом наших побед, но в этом году положение НОАЮ маршала Тито сделалось трагическим. Партизаны отступали, их армия, рассеченная на части, всюду сражалась в окружении врагов, НОАЮ выдерживала последний — седьмой! — натиск гитлеровцев, которые откатывались из Греции, партизаны отбивались от озверелых банд усташей-четников. На едва приметный свет партизанских костров летели по ночам самолеты — наши и американские, взлетавшие с итальянских аэродромов. Образовался воздушный «мост», пронизанный струями огня зениток и острыми, почти режущими глаза лучами прожекторов противника.

Страшно вспоминать то время, когда в диких балканских ущельях гневно звучал славянский гимн «Гей, славяне!», и ведь даже умирающие, уходя из жизни, шепотом допевали «Мы стоiмо постоiано као клисурине…» («Мы стоим неколебимо, как утесы»…).

Москва слала братьям-славянам военные грузы, медикаменты и одежду, в горах Черногории и Македонии работали наши врачи и офицеры связи; перегруженные самолеты садились на гибельных «пятачках» — между горных ущелий, заканчивая разбег над обрывами в пропасти, они торопились вывалить груз и вывезти раненых из кольца окружения. Пилотам в их кабинах уже виделись слепящие фары немецких танков: наши асы взлетали при погашенных фарах, доверяясь лишь своему опыту да вздрагивающим, словно от ужаса, стрелкам приборов. Партизаны встречали русских возгласами «Живео руски войници!», а провожали словами «Живео Црвена Армия!». Одна сербская старуха босиком по снегу пришла издалека, чтобы перед смертью повидать русских. Увидев же их, она пала ниц, как перед святою божницей, и длинными седыми волосами, сама рыдающая, желала обтереть от пыли сапоги наших воинов… Я не выдумываю — так было!

\* \* \*

Щелкнули замки дамской сумочки. Я терпеливо выжидал, и Анна Фрицевна выложила передо мною большую фотографию.

— Что это? — поразился я, разглядывая мрачный, почти зловещий пейзаж лесистого ущелья, через которое был перекинут акведук, а среди камней бродили людские тени.

— Купрешково Поле… Так называется проклятое место в окрестностях Дрвара. Вы слышали о трагедии этого города?

— Да. Прямо на крыши и сады Дрвара немцы сбросили десант парашютистов СС, чтобы схватить маршала Тито и весь его штаб. Именно тогда наши летчики срочно прилетели из Бари, маршал с его штабом был вывезен на островок Вис, после чего и состоялся его визит в Москву.

— Это все в самых общих чертах, — сказала Анна Фрицевна. — Но подробности дрварских боев гораздо ужаснее, нежели вы о них начитанны… Я оставлю вам эту страшную фотографию.

— Откуда она у вас?

— Ее прислали мне из Югославии местные ветераны. В этой мрачной котловине — уже после войны! — похоронены многие из партизан, прикрывавших отход армии. Нет, это не могила вашего героя! Это лишь панорама братской могилы на том поле битвы, где нашел свой конец и ваш безымянный герой.

Фотография наводила страх, какого я давно не испытывал.

Мы долго молчали, и наше молчание понятно.

— Подробности сохранились? — наконец спросил я.

— Они таковы, что знать их тяжело. Но вам, как писателю, знать их обязательно надо…

Как и следовало ожидать, мой герой остался среди окруженных партизан, а самолет, прилетевший из Бари, чтобы забрать раненых, мог принять не более 21 человека.

Я догадываюсь, что двадцать второму, именно герою моей книги, не хватило места в фюзеляже этого последнего «дугласа». Наверное, потому он и остался здесь… именно на этом Поле!

— Вы ошиблись, — поправила меня женщина. — Транспортный «дуглас» имел гарантию фирмы на двадцать одного пассажира, но забрал… не поверите! Он забрал даже ТРИДЦАТЬ ВТОРОГО, перегруженный до такой степени, что люди в его фюзеляже лежали друг на друге. Но в нем не хватило места для тридцать третьего. Вы меня поняли?

— Не совсем. Объясните, пожалуйста…

Бой тогда шел почти рядом с самолетом, летчик даже не выключал моторов, и самолет прокручивал лопасти пропеллеров, чтобы сразу оторваться от земли. Посадка проходила под жестоким обстрелом. Кажется, наш пилот презрел все гарантии фирмы, готовый совершить почти чудо…

— А конец истории очень прост, — сказала Анна Фрицевна. — Пилот был предупрежден, что заодно с партизанами необходимо вывезти в Бари и моего отчима, он часто выкрикивал его фамилию, звал, звал, но тот… не отзывался. Он просто взял автомат и занял место в бою. «Дуглас», приняв тридцать два человека, так и улетел — без него.

— Почему?

— Свое место в самолете он оставил молодой сербской партизанке, на руках у которой был грудной ребенок.

— А дальше?

Дальше мой вопрос был попросту неуместен.

Дальше могла быть только смерть в неравном бою.

Уступив свое место в самолете, чтобы сохранить жизнь сербской матери, он нашел место в сражении, а для него нашли место в братской могиле…

Вот она, эта могила! Югославия до наших дней сберегла древние сербские обычаи, и сюда в начале сумерек всегда приходит старая женщина, одетая во все черное.

Она и есть олицетворение нашей всеобщей славянской Матери.

Каждый вечер, уже согбенная, она доливает масло в неугасимую лампаду, кладет поверх могилы свежие ароматные розы.

— Лако ночи! — желает она всем усопшим, и я, глядя на эту фотографию, вдруг невольно подумал, что, может быть, сербская старуха и есть та самая женщина, для которой уступил свое место в самолете герой моего романа.

Мне хотелось рыдать — это конец романа:

Как хороши, как свежи будут розы, Моей страной мне брошенные в гроб… Кажется, я сказал все, что знал.

Прощайте. Честь имею!

Возраст первый

ДАЛЕКИЕ ОГНИ ИНОСЫ

Вдвоем или своим путем,

И как зовут, и что потом,

Мы не спросили ни о чем,

И не клянемся, что до гроба…

Мы любим.

Просто любим оба.

Ёсано Акико

Это случилось недавно – всего лишь сто лет назад.

Крепкий ветер кружил над застывшими гаванями… Владивосток, небольшой флотский поселок, отстраивался неряшливо и без плана, а каждый гвоздь или кирпич, необходимый для создания города, прежде совершал кругосветное плавание. Флот связывал окраину со страной по широкой дуге океанов, корабли дважды пересекали экватор. Экипажи, готовые миновать не один климатический пояс, запасались тулупчиками от морозов и пробковыми шлемами от солнечных ожогов в тропиках. Европа прощалась с ними в тавернах Кадикса – теплым amontilado в бокалах и танцами испанок под гитару.

Оторванность от метрополии была невыносимо тягостна. Город еще не имел связи с центральной Россией, во тьме океанской пучины он выстелил лишь два телеграфных кабеля – до Шанхая и Нагасаки. Обыватель Владивостока, страдающий зубной болью, не надеялся достичь Иркутска – он покупал билет на пароход «Ниппон-Мару» и через 60 часов оглушительной качки имел удовольствие оказаться в удобном кресле любезного дантиста. Наши прекрасные дамы излечивались от тоски на минеральных водах Арима, где их, словно гейш, разносили к источникам неутомимые дженерикши.

Восточный фасад великой империи имел заманчивое будущее, но его оформление было нелегким. Дороговизна царила тут страшная. Книжонка, стоившая в Москве полтину, дорожала в дороге столь быстро, что попадала во Владивосток ценою уже в пять рублей. Тигры еще забегали из тайги в город, выедали из будок сторожевых собачек, по ночам кидались на часовых у складов, до костей обгладывали носильщиков-кули. Нищие обычно говорят: «Что бог даст»; во Владивостоке говорили: «Что флот даст». Флот давал все – даже кочерги и печные вьюшки, лопаты и колеса для телег; матросы лудили бабкам кастрюли, боцмана, кляня все на свете, паяли дырявые самовары. Здесь, на краю России, было неуютно людям и неудобно кораблям. Сибирская флотилия (эта одичалая и отверженная мать будущего Тихоокеанского флота) имела тогда в Японии постоянные «станции», где корабли привыкли зимовать, как в раю, и ремонтироваться, как у себя дома.

Дальний Восток приманивал моряков не только первобытной романтикой: тут платили повышенное жалованье, возникало больше надежд на скорую карьеру. Правда, не хватало женщин, и любая невеста во Владивостоке, на которую в Сызрани никто бы и не посмотрел, здесь становилась капризна, отлично разбираясь в числе шевронов на рукавах матросов, в количестве звезд на офицерских эполетах.

Один за другим плыли и плыли корабли – океанами!..

А великое постоянство пассатов сокращало пути-дороги.

Пора заглянуть в календарь: была весна 1880 года…

К тому времени Владивосток уже обзавелся собственным гербом: уссурийский тигр держал в лапах два золотых якоря.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Подхваченный ликованием весенних пассатов, парусно-винтовой клипер «Наездник» пересек Атлантику по диагонали, спускаясь к устью Ла-Платы, откуда мощный океанский сквозняк потянул его дальше – к мысу Доброй Надежды. В паузах неизбежных штилей офицеры допили казенную мадеру, команда прикончила последнюю бочку солонины. В запасе оставались жирный, никогда не унывающий поросенок и две даровые газели, закупленные у португальцев на островах Зеленого Мыса.

Пустить их в общий котел команда отказалась.

– Помилуйте, вашбродь, – доказывали матросы, – они же с нами играются, как детки малые, а мы их жрать будем?

– Но тогда вам предстоит сидеть на одной чечевице. Без мяса, – пригрозил командир, – до самого Кейптауна.

– Премного благодарны, вашбродь. А ежели разочек в неделю макаронцами угостите, так нам боле ничего и не надобно…

Макароны тогда считались «господской» пищей. Офицеры доедали жесткие мясные консервы, которые мичман Леня Эйлер (потомок великого математика) прозвал «мощами бригадира, геройски павшего от почечуйной болезни». Русский консул в Кейптауне оказался большим растяпой: почту для «Джигита» передал на «Всадника», а почту для «Всадника» вручил экипажу «Наездника». Старший офицер клипера Петр Иванович Чайковский флегматично рассуждал за ужином в кают-компании:

– Не бить же нам его, глупенького! Очевидно, консулу никак не освоить разницы между всадником, джигитом и наездником… Господа, – напомнил он, – прошу избегать закоулков по «изучению древних языков» мира. Обойдетесь и без этого! Лучше мы посетим обсерваторию Капштадта, где установлен величайший телескоп. Созерцание южных созвездий доставит вам удовольствие большее, нежели бы вы глазели на танец живота местной чертовки. Молодежь флота обязана проводить время плавания с практической пользой.

При этом Чайковский (педант!) выразительно посмотрел на мичмана Владимира Коковцева, которому лишь недавно было дозволено нести ночную вахту под парусами. Совсем молоденький мичман, конечно, не удержался от вопроса – правда ли, что в Японии можно завести временную жену, никак не отвечая за последствия этого странного конкубината?

– Все так и делают… Но я не сказал еще главного, – продолжил старший офицер клипера, раздвоив пальцами бороду. – Консул передал распоряжение из-под «шпица» не полагаться на одни лишь ветры, а помогать парусам машиною. На смену восточному кризису в делах Памира, из которого нам, русским, лаптей не сплести, явился кризис дальневосточный, и тут запахло гашишем. Лондон все-таки убедил пекинских мудрецов, чтобы собрали свои армии у Кульджи для нападения на Россию! Потому будем поторапливаться в Нагасаки, где «дядька Степан» собирает эскадру в двадцать два боевых вымпела…

Время было неспокойное: Англия, этот искусный машинист международных интриг, наслаивала один кризис на другой, держа мир в постоянном напряжении; «викторианцы» окружали Россию своими базами, угольными складами и гарнизонами, нарочно запутывали политику, и без того уже запутанную дипломатами. Со дня на день русские люди ожидали войны.

Минный офицер, лейтенант Атрыганьев, в свои тридцать пять лет казался мичманам уже стариком. Коллекционер в душе, он бдительно суммировал плутни коварного Альбиона, любовно наблюдал за нравами женщин всего мира и был неплохим знатоком японского фарфора… Сейчас лейтенант сказал:

– Господа! Вам не кажется трагичным положение нашего российского флота? Ведь мы крутимся вокруг «шарика» с протянутой дланью, словно нищие. Пока что англичане торгуют углем и бананами, но представьте, что однажды они заявят открыто: stopping!.. Интересно, куда мы денемся?..

Кейптаун был переполнен британскими солдатами в красных мундирах, спекулянтами и аферистами, шулерами и куртизанками: солдаты понаехали, чтобы размозжить пушками восстание зулусов, другие – нажиться на «алмазной лихорадке», уже сотрясавшей разгневанную Африку; внутри черного континента империализм свивал мерзкое гнездо, в котором пригрелся Сэсиль Родс, основатель будущей Родезии… Скромно и трезво экипаж «Наездника» встретил здесь пасху – пудингами вместо куличей и аляповато раскрашенными яйцами страусов; веселья не было! Потом, законопатив рассохшиеся в тропиках палубы и обтянув такелаж, ослабленный в штормах, клипер стремглав вырвался в Индийский океан; на южных широтах Антарктида дохнула такими метелями, что каждому невольно вспомнилась русская зима-зимушка. И было даже странно, повернув к северу, ощущать нарастающее тепло. А скоро матросы стали шляться по палубам босиком, как в родимой деревне. Из распахнутых люков кают-компании доносилось бренчание рояля, Ленечка Эйлер музицировал, а юные офицеры горестно ему подпевали:

В переулке за дачною станцией,Когда пели вокруг соловьи,Гимназисточка в белых акацияхМне призналась в безумной любви.О, неверная! Где же вы, где же вы?И какой карнавал вас кружит?Вспоминаю вас в платьице бежевом.Вспоминаю, а сердце дрожит…Эйлер с громким стуком захлопнул крышку рояля:

– Самое печальное, что у меня ведь так и было: тишайший дачный полустанок за Лугою, белая акация и… Однако легко же нам прокладывать курсы на картах и как трудно понимать сердцем, что все былое осталось далеко от тебя.

Атрыганьев с затаенной усмешкою раскуривал сигару:

– Вовочка, теперь мы ждем признания от тебя.

Коковцев стыдился говорить о своих чувствах. Он сказал, что отец его Оленьки служит по министерству финансов. Уже статский советник. А вход со швейцаром в богатой ливрее.

– Что еще? – задумался он. – Кажется, триста десятин на Полтавщине. Она очень хороша, господа… даже очень!

– Догадываюсь и сам, – захохотал Атрыганьев. – Где же ей быть очень плохой, если она с ног до головы обляпана жирным полтавским черноземом и украшена ливреей швейцара.

– Простите, но это гафф! – обиделся Коковцев.

К «гаффам» флот причислял все неуместные остроты, плоские шутки или бестактные неловкости. Атрыганьев сказал:ч

– С тех пор как нам в последний раз мигнул маяк Кадикса, «дядька Степан» в Нагасаки ожидает нас с нетерпением, а в Питере стали понемножку забывать. Но я так и не понял, была ли у тебя акация с полустанком, как у Ленечки Эйлера?

– Акация уже отцвела, но зато распускался жасмин.

– Вовочка, тебе повезло, – ответил Атрыганьев и крикнул в буфет, чтобы «чистяки» подали ему чаю…

Было переходное для флота время, когда машина усиленно побеждала парус, но машину считали лишь ненадежным помощником паруса. Корабельные офицеры жили замкнутой корпорацией, отгородясь от непосвященных в их тайны множеством старомодных традиций; между флотом и берегом был выстроен барьер мало кому понятной морской терминологии, которую офицеры осложнили еще и бытовым жаргоном. «Кронштадт» у них – жиденький чаек с сахаром, «адвокат» – чай крепкий с лимоном, «чистяки» – вестовые, «чернослив» – уголь, Петербургское Адмиралтейство – «шпиц», земля с океанами – просто «шарик», «хомяк» – офицер, избегающий женщин. Наконец, адмирал Лесовский был просто «дядькой Степаном».

Разобраться трудно, но при желании всегда можно…

Шли Зондским проливом, оставив по траверзу вулкан Кракатау (сорок тысяч жителей голландской Батавии, привычные к его содроганиям, еще не ведали, что им осталось жить всего два года). «Всадник» и «Джигит» прошли на Дальний Восток раньше «Наездника», но в Маниле стало известно, что недавно брал воду клипер «Разбойник» под командой Карла Деливрона, и это возбудило в экипаже спортивную ревность:

– Хорошо бы нам догнать разбойников и перегнать!

Чайковский остудил горячие головы юных мичманов.

– Ничего не получится, – сказал он. – Шарло Деливрон подобрал отчаянный экипаж. Даже в сильный ветер не убирают верхних брамселей, катят с большим креном, черпая воду бортами. Что вы, господа? Разве за Шарло кто угонится?..

На Филиппинах повстречали и земляков. Серая толпа крестьян, парившихся в нагольных тулупах и валенках, бабы в суровых платках тянулись на кладбище Манилы – хоронить умерших на чужбине. Коковцев окликнул похоронную процессию:

– Земляки! Вы бы хоть валенки скинули…

Это были переселенцы из оскудевшей России, которых ожидала Россия дальневосточная. В дебрях амуро-уссурийской тайги народ брался поднять целину, бросить в нее сытное зерно.

– Да нам чиновники сказывали, бытто далече от Рассеи холода ишо пуще! Вот и тащим на себе от самой Одесты…

Коковцев был так ошеломлен этой встречей, что безо всякой церемонности позволил мужикам лобызать себя; крестьянки, радуясь русскому человеку, целовали мичмана тоже.

– Родненький ты наш, – причитали они. – Скажи, долго ль плыть ишо? Измаялись в экой духотище. Сколь уж стариков да деточек по заграницам на погостах оставили. Погниют кресты на могилках наших – никто и не поправит небось…

Юность щедра: она транжирит время и расстояния, она не жалеет денег, и мичман Коковцев, раскрыв бумажник, одарил земляков деньгами, велел накупить фруктов для детворы.

– А отсюда до России, – объяснил он, – совсем уж близко: Гонконг, Формоза, Шанхай, Нагасаки и… вы дома! Потерпите. Нет ли средь вас псковских кого? Сам-то я Порховского уезда, маменька у меня там в именьице… скучает, бедная!

«Наездник» снова распустил паруса. Чего только не передумается юноше в океане с ноль нуля до ноль четырех. «Ах, маменька, маменька, отчего вы такая глупенькая?» Вспомнилось, как недавно навестил родительницу в ее захудалом порховском затишье. Счастливая, она возила Вовочку по сородичам и соседям – обязательно при шпаге, при треуголке и аксельбанте гардемарина. Напрасно он доказывал, что в будние дни к мундиру полагается кортик, маменька распалилась: «Уважь мою гордость – не ножиком, а саблей!» И весь отпуск Коковцев стыдливо ежился под обжадавелыми взорами уездных барышень, с тоскою озиравших морское чудо-юдо… Накануне отплытия в Японию Коковцев сдал экзамен на чин мичмана, а невесту отыскал, как это ни странно, в лягушатнике Парголовского парка. Хорошенькая девушка, спасая на глубине щенка-спаниеля, сама начала тонуть, но бравый мичман вытянул на берег обоих – девицу за прическу, а щенка за ухо. После этого купания, заранее влюбленный, Коковцев появился в богатом доме на Кронверкском проспекте, где события развивались строго по плану: спаниель при виде своего спасителя от счастья напустил в прихожей большую лужу, а Оленька дала на прощание поцеловать руку и обещала ждать – хоть всю жизнь… Эта волшебная сказка вдруг покрылась мутной водой, и мичман, абсолютно голый, но при сабле и эполетах, оказался на шканцах незнакомого корабля, наступив босыми ногами в центр медного круга с надписью: «Here Nelson fell» (Здесь пал Нельсон)!

– Вы спите? – пробудил его голос старшего офицера. – Между тем здесь следует опасаться клиперов из Кантона, которые носятся по морю, как настеганные, с дрыхнущими командами, а ветер задувает им бортовые и мачтовые огни.

– Извините, Петр Иванович, – очнулся от дремы Коковцев. – Я не сплю, просто кое-что вспомнилось.

На русских кораблях обращение в чинах презиралось, офицеры величали друг друга по имени-отчеству. Порывистый ветер завернул бороду Чайковского на его плечо, он сердито указал обтянуть нижние грот-марсели и пробурчал:

– О чем вспоминать мичману, стоящему вахту?

– Да так… сущую ерунду.

– Эта ерунда, конечно, не удержалась: дала вам клятву?

– Да, Петр Иванович, я тоже не удержался… дал!

Крепко обругав извержения копоти из трубы, изгадившей белизну парусной романтики флота, Чайковский сказал:

– Кажется, что Синоп стал лебединою песней парусов. Пассаты с муссонами еще шумят над нами, но погибать будем в шуме машин, освещенные ярким электрическим сиянием…

Он отправился в каюту – досыпать. В четыре часа ночи на мостик поднялся Атрыганьев, но Коковцев, сдав ему вахту, не спешил прильнуть к подушке. Минный офицер рассуждал:

– Хотелось бы жениться на англичанке из колоний, дабы иметь возможность высказывать ей в лицо все, что я думаю о викторианской породе. Иногда полезно разложить карту мира: все каналы и проливы, выступы суши и бухты с отличным грунтом украшены британскими флагами. А мы, несчастные, плаваем от Кронштадта до Камчатки, не имея даже угольных станций. И лишь в самом конце пути, когда до родины остается рукой подать, Япония открывает перед нами свои уютные гавани, не жалея для нас пресной воды, удобства доков, хорошего угля, сладкой хурмы и улыбок обаятельных женщин… Мне скучно в Европе, Вовочка, я давно стал неисправимым поклонником Востока!

Звездное небо быстро пролетало над гудящими от напряжения мачтами: «Наездник» лихо поглощал пространство. Загадочная страна таилась за горизонтом, и слабые контуры неведомой жизни, как бы вырастающей из глубоких недр пробуждавшейся Азии, казалось, уже заколебались над многовековой бездной…

Высокий маяк Нагасаки, окруженный лесом утонченных линий, послал в океан короткий, тревожащий душу проблеск.

Япония вступала в тринадцатый год «эпохи Мэйдзи». Она уже восприняла от Европы железные дороги и оспопрививание, организацию почты и фотографирование преступников в фас и профиль, она одела военных в европейские мундиры.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Нагасаки таился в глубине живописной бухты, заставленной кораблями. Над городом нависала гора, заросшая камфорными дубами и старыми камелиями, в их зелени виднелся храм Осува, во дворе которого японцы хранили бронзового коня Будды…

«Разбойник» был уже здесь. Деливрон окликнул:

– Наездники! Сколько шли от Кронштадта?

– Двести сорок три дня, – отвечали с клипера.

– Без аварий?

– Как по маслу…

– Так вот она, эта непостижимая Япония: розовые кущи миндаля и белый цвет мандариновых рощиц.

– Чем пахнет? – спросил Чайковский.

– Керосином, – сразу принюхался Эйлер.

– Да! Вон разгружается пароход из Одессы, привезший японцам бочки от нашего Нобеля… Салют нации – огонь!

Носовые пушки клипера провозгласили громкую здравицу японскому народу. Комендоры выбили из стволов звонкие стаканы, зарядили орудия снова – адмирал Лесовский, этот буйный «Дядька Степан», уже выжидал с «Европы» своей порции уважения, как заядлый пьяница ждет в гостях рюмочку водки.

– Флагу адмирала… салют! – Затем Чайковский спокойно снял перчатки. – Поздравляю, господа: мы в Японии… Эй, на баке: стопора наложить. Эй, в плутонгах: от пушек отойти!.. Бог уж с ним, с этим вонючим керосином, – заключил он. – Но вы, молодежь, все-таки дышите глубже. Япония имеет особый аромат, и, кстати, волосы японских женщин таят в себе невыразимое благоухание этой удивительной страны…

…Четверть тысячелетия Японией управлял клан могучих сегунов из самурайского рода Токугава, а сам микадо, потомок солнечной богини Аматерасу, наслаждался бессильным величием в вычурных садах Киото. Самоизоляция страны напоминала одиночное пожизненное заключение: одно поколение сменяло другое, а сёгунат не допускал общения с иностранцами. Японцам же, побывавшим в чужих краях, грозила смертная казнь по возвращении на родину. Островитяне были уверены, что все европейцы – варвары. Но морские бури не раз выносили японских рыбаков на чужие берега. Россия японцев крестила, они полностью растворялись в нашей бедовой, разгульной жизни. Какова же была растерянность в сёгунате XVIII века, когда стало известно, что в Сибири существует школа, в которой сами же японцы преподают русским свой язык…

А сейчас с рейда «Наезднику» салютовали корабли многих стран, и лейтенант Атрыганьев обратил внимание мичманов на забавное космополитическое соседство вымпелов – как результат политики открытых дверей:

– В газетах пишут, что капитализм нуждается в новых рынках сбыта. Как это понять – не знаю. Наверное, когда товар сильно подмочен и покрылся плесенью, королева Виктория дремлет, уже вполглаза, обеспокоенная – кому бы продать свое барахло подороже? А тут открылась веселая лавочка в Японии…

Открывшись перед миром, японцы поначалу давали очень мало – зонтики и гравюры, веревки и циновки, изящные веера и легенды о преданных гейшах, умеющих любить с изощренной тонкостью. Но зато брали японцы у своих нахальных «открывателей» чересчур много – секреты закалки бессемеровской стали и котлы системы Бельвилля, локомотивы фирмы Борзига и оптические линзы Цейса. С каждым годом Япония смелее вторгалась в международную жизнь, алчно перенимая все подряд, что попадалось на глаза, будь то пушечные затворы, изобретенные на заводах Армстронга, или исполнение капельмейстером Эккертом «Марша Бисмарка» на духовых инструментах. Казалось, островитяне действовали по принципу заядлых барахольщиков: вали все в одну кучу, потом разберемся…

С высоты марсов, закрепив паруса, матросы уже сбегали по вантам на палубу, как ловкие акробаты сыплются на манеж из-под купола цирка. Стало тихо. Коковцев расслышал стрекотание цикад на берегу, далекую музыку. Леня Эйлер спросил его:

– Тебе не кажется, что на этом берегу нас ожидает нечто странное? Такое, что никогда больше не повторится.

– Меня пленяет эта музыка, – ответил Коковцев.

– Играют японки, – пояснил Чайковский. – Очевидно, офицеры с наших крейсеров мотают последние деньги на иносских красавиц. Вы, – сказал он Коковцеву, – не туда смотрите: огни Иносы светят нам по левому борту. Когда-то была деревенька, а теперь стала пригородом Нагасаки….

В темнеющей зелени садов разгорались бумажные фонарики. Атрыганьев спрыгнул на мостик с ходового «банкета»:

– Вы не поверите! Когда я был в Нагасаки четыре года назад, нас окружили лодки – фунэ, с которых японцы торговали дочерьми, словно дешевой редиской. Теперь по указу микадо девиц разрешено продавать только на фабрики. Временное житейское счастье обретается в Японии по контракту. Этот обычай здесь никого не смущает, и вы, хомяки, не смущайтесь…

Офицеры покинули мостик, а Коковцев еще долго впитывал в себя запахи чужой, незнакомой земли. Большая, противная крыса, волоча по палубе облысевший от старости хвост, протащила в люк сухарь, украденный у зазевавшегося матроса.

Мичман нехотя спустился в кают-компанию. На столе валялись огрызки ананасов, початые коробки манильских сигар. Между абажурами, раскачивая их, прыгали резвые обезьяны.

– О чем разговор, господа?

– Обсуждаем, какой завтра будет нагоняй от адмирала…

«Наездник» провинился, и даже очень. По-флотскому положению, входя на рейд, клипер обязан «обрезать» корму флагмана, впритирку пройдя под его балконом, чтобы этим рискованным маневром засвидетельствовать особое почтение. Чем ближе пройдет, тем больше чести оказано адмиралу!

– Ладно, – поднялся Чайковский с дивана. – Утро вечера мудренее. Как-нибудь отбояримся. Пошли спать, господа. Клипер устал. Я устал. Мачты устали. Все мы устали…

Россия не открывала японских «дверей» пушками, ее отношение с заморской соседкой складывались иначе. Петербург не навязывал Токио унизительных трактатов, русские не глумились над чуждыми им обычаями. Попав же в общество вежливых людей, они вели себя вежливо. Было примечено, что русский матрос, вчерашний крепостной, с японцами сходится гораздо легче, нежели с французами или немцами. Иностранцы, презирая «желтых», издевались над японскими нравами, не признавая законов этой страны. Американец или англичанин обычно садились в вагон железной дороги без билета, требуя при этом особого к себе почтения. Русские такого хамства никогда не допускали, и наблюдательные японцы всегда выделяли россиян среди прочих иностранцев… Раненько утром клипер окружили фунэ с торговцами безделушками, владельцами гостиниц и хозяйками ресторанов, но Чайковский, весело здороваясь со знакомыми японцами, просил их подгрести к «Наезднику» чуть попозже:

– У нас играют большой сбор – ждем своего адмирала…

Экипаж выстроился на шканцах, горнисты исполнили сигнал «захождения», когда с вельбота на клипер поднялся эскадренный флагман – «дядька Степан», издавший первое рычание:

– Вы почему вчера не обрезали мне корму?

Ему объяснили: флагманская «Европа» зажалась между крейсерами «Азия» и «Африка», и кого-либо из трех они могли бы при маневре задеть шпироном или бушпритом.

– А нам не хотелось позорить себя перед англичанами!

– Верно, – одобрил их Лесовский…

Передовые идеи Чернышевского и Ушинского, пропагандируемые «Морским сборником», оказали влияние даже на этот грозный реликт былой розго-палочной эпохи, и «дядька Степан» уже не калечит матросов, допуская отныне лишь ловкие удары по носу пуговицей обшлага своего мундира. Оцарапав таким образом несколько носов в экипаже «Наездника», старец разматерил плохо обтянутые штаги и спустился в кают-компанию.

– Надо полагать, – сообщил он, – наши войска, чтобы не раздражать пекинских оболтусов, оставят Илийскую долину, а уйгуры просятся в наше подданство, ибо маньчжуры вырезают под Кульджей все живое, вплоть до кошек. Боевая готовность эскадры остается в силе: кризис не миновал, и надо ожидать от Лондона новых каверз. Стационироваться будете в Нагасаки, а во Владивосток я посылаю клипер «Джигит»…

После адмирала кают-компанию заполнили японцы и японки, громко шелестя шелками своих одежд, они разложили свои товары, при виде которых глаза разбегались, и все хотелось купить немедленно: костяные веера, расписные ширмочки, пепельницы с плачущими лягушками.

Атрыганьев брезгливо говорил:

– Все это дрова ! Прошу не тратить деньги на пустяки, паче того, в Иокогаме вещи большей подлинности стоят намного дешевле. А фарфор без меня вообще не покупайте…

Первое впечатление от Нагасаки таково, будто все японцы давно ждали мичмана Коковцева, наконец-то он прибыл, и теперь толпа, расточавшая улыбки, безмерно счастлива его видеть. Японцы, казалось, несли в себе заряд легкой бодрости, женщины двигались быстрыми шажками, в руках мужчин энергично взлетали сложенные зонтики, дети не отставали от взрослых. Второе впечатление от города – чистота и аккуратность, ровные мостовые, обилие цветов на клумбах и овощей на прилавках, всюду дымили жаровни, возле которых наспех закусывали прохожие. Третье впечатление – множество русских вывесок, рикши подвозили офицеров к ресторанам «Петербург» и «Владивосток», а для матросов круглосуточно работал дешевый «Кронштадт», в дверях которого дежурил опытный зазывала:

– Русика матросика, выпей воґдичка, закусай едишка…

Было странно, что в уличной сумятице японцы умудрялись двигаться, никого не толкая, все улыбчиво-вежливые, а если где и слышался грубый окрик, то он принадлежал обязательно европейцу или американцу.

Включившись в ритм движения японской толпы, Коковцев жадно поглощал в себя яркие краски незнакомой жизни, а молодой желудок, уставший от «консервятины», уже потребовал сытного обеда. Но мичман побаивался первой встречи с японской кулинарией, потому и навестил ресторан «Россия», где, соответственно названию, все было на русский лад, а хозяин в жилетке сразу же подошел к Коковцеву:

– Осмелюсь услужить вашему высокородию?..

Назвался он Гордеем Ивановичем Пахомовым; со знанием дела расспросил, долго ли пришлось штилевать, не погиб ли кто в море, как здоровье минера Атрыганьева. В карточке меню блюда и вина были расписаны в семи колонках на семи языках (вплоть до испанского), а в первом ряду, подле японских иероглифов, заманчиво перечислялись аппетитные кулебяки с визигой, солянка с грибами, щи кислые со сметаной.

– У нас товар самый свежий, получаем из Одессы с пароходов… Газетку английскую не угодно ли посмотреть? Тоже свеженькая – из Гонконга. Панихиду изволили служить в Петербурге по сочинителю Достоевскому. – Справившись о фамилии мичмана, Пахомов был крайне удивлен. – Вот те на! А капитан второго ранга Павел Семенович Коковцев кем вам доводится?

– Мой дядя. Недавно скончался в Ревеле.

– Добрый человек был, царствие ему небесное.

– Вы разве знали моего дядю Пашу?

– С него-то все и началось… Агашка! – кликнул Пахомов; явилась дородная бабища, завернутая в пестрое кимоно, но голова ее была по-русски повязана платком. – Агашка, ты в ноги кланяйся: вот племяшек благодетеля нашего… – Затем он скромненько присел подле юного офицера. – А ведь я из порховских, как и вы, сударь! Урожден был в крепостных вашего дядюшки. Состоял при нем камердинером. Когда поплыл он в Японию, и меня прихватил ради услужения. На ту пору как раз выпала реформа для нас. Для невольных, значица. Это в шестьдесят первом годочке от Рождества Христова… Помните?

– Да где же! Мне тогда три года исполнилось.

– Ну вот! А мы в Хакодате плавали, там и присмотрел я кухарку у консула нашего… Агашку! Ее самую. – Пахомов указал на обширное чрево супруги. – Пришел к Павлу Семенычу и – в ноги ему: невеста, мол, на примете имеется, держать меня в прежнем положенье не можете, так и отпускайте.

– А что дядя? – спросил Коковцев.

– Дурак ты, говорит, пропадешь здеся, и никто не узнает. А я, как видите, не пропал. Любой скобарь мне позавидует!

Владимир Коковцев вынул тяжелые (и неудобные для кошелька) мексиканские доллары, которыми платили жалованье офицерам в эскадре адмирала Лесовского. Сложил их горушкой, как оладьи на тарелке. Гордей Иванович искренно оскорбился:

– Э, нет! С вас, сударь, не возьму… Павел Семеныч, вечная ему память, в разлуку вечную двести рублев мне преподнес. На, сказал, дуралей, на первое обзаведение. С его денежек и рестораном обзавелся. Не обижайте…

Он вышел проводить мичмана на улицу. Коковцев спросил его о гейшах – хотелось бы посмотреть их танцы.

– На што оне? – фыркнул Пахомов. – Гейши вам никак не понравятся. Скучно с ними, да и кормежка плохая. С ихнего-то чаю без сахара не набесишься. Вижу, вас иное тревожит. Девки для того есть, называются – мусумэ, и по-русски кумекают. Вам и надо такую, чтобы разговоры вести по-нашему…

Ночевать Коковцев вернулся на клипер.

– Ног не чую под собой, так набегался.

Чайковский раскладывал пасьянс:

– Набегались? На что же тогда существуют рикши?

– Стыдно мне, человеку, ездить на человеке.

– А этот несчастный рикша благодаря вашей щепетильности сегодня, может быть, остался без ужина.

– Об этом я как-то не думал, – сознался Коковцев.

– А вы подумайте… Между прочим, внешним видом японцев не обольщайтесь. Здесь вы не встретите людей в нищенских отрепьях, как это бывает в России, но Япония – классическая страна бедняков! Кстати, вы еще не побывали в Иносе? Так побывайте… Там есть такая Оя-сан, дама очень ловкая, и вам ее конторы не избежать. Оя-сан содержит в Иносе резерв японских девиц. Ей наверняка уже известны списки молодых офицеров клипера, дабы обеспечить своих «мусумушек» верным заработком.

Коковцев пылко протестовал, говоря, что не может любить по контракту. Чайковский в ответ хмыкнул:

– А вы, чудак такой, сначала подпишите контракт, потом можете и не любить. Кто вас просит об этом? Никто… Но будьте уж так любезны обеспечить бедную девушку верным доходом. А иначе – с чего ей жить? Вспомните того же рикшу, от услуг которого вы необдуманно отказались…

Кают-компания была заставлена магнолиями, камелиями и розами – их прислали на клипер добрые женщины Иносы. С берега вернулся и мичман Эйлер:

– Здесь столько соблазнов, а среди японок множество красивых женщин. Но все они такие маленькие – как куклы!

Коковцев по-юношески стеснялся думать о женщинах откровенно. Чайковский, кажется, умышленно оберегал его всю дорогу до самой Японии, чтобы здесь, на виду Иносы, сдать прямо на руки маститой Оя-сан… Далее не его забота.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Устремляясь в будущее, Япония поспешно осваивала достижения Европы, но при этом японцы никогда и ничем не поступились в своих традициях. Иноса же вообще осталась частицей былой эпохи, а соседство великолепных доков, в которых чеканщики клепали обшивку крейсеров, лишь усиливало поразительный контраст между двумя Япониями – старой (Эдо) и новой (Мэйдзи)… Набережные купались в кущах глициний; между доков и мастерских фирмы «Мицубиси» виднелось здание русского военного госпиталя. Англичане в своих лоциях предупреждали, что Иноса вроде русского сеттльмента, куда им, англичанам, лучше не заглядывать: они встретят тут холодный прием… После грозного тайфуна 1858 года, который разломал русский фрегат «Аскольд», шестьсот человек экипажа, выброшенные на берег близ Нагасаки, нашли радушный прием при кумирне Госиндзи, и жители деревни Иносы стали лучшими друзьями моряков. В этом-то и сокрыт загадочный парадокс: сёгунат Токугава затворял «двери» Японии, а простые люди Японии сами открывали свои сердца. Жители Иносы поразительно скоро освоили русскую речь [1] , приноровились к русской кухне, переняли наши обычаи, а матросы усвоили что-то от японских привычек. Началась сердечная трогательная дружба, очень далекая от политики. С той поры осталось в Иносе кладбище моряков, с годами оно разрасталось все шире, японцы рачительно ухаживали за русскими могилами, как будто в них покоились их близкие родичи. Может быть, на улицах других городов улыбки на лицах японцев и были искусственными, явно фальшивыми, но в Иносе каждого русского человека жители довольствовали самой искренней улыбкой…

Эйлер ожидал у трапа дежурный вельбот. В статском костюме и при котелке, пухленький розовощекий мичман выглядел иначе, становясь похожим на преуспевающего в жизни биржевого маклера. Он забавно покрутил в руке камышовую тросточку:

– Вова! Я все-таки навещу эту злодейку Оя-сан. Пятнадцать мексиканских долларов в месяц – не деньги, все равно расшвыряются, а тут… такая свобода нравов!

Старший офицер клипера подошел к Коковцеву:

– Вы чем-то озабочены, Владимир Васильевич?

«Наездник» только вчера получил почту из России.

– Маменька жалуется. Осталось восемь десятинок земли – курям на смех! – сказал мичман. – А вокруг осели деловые мужики, у которых даже огороды шире. Пишет маменька, что еще год-два, и растащут наше гнездо, а портреты моих предков подложат под ведерные самовары. Связей в обществе у меня никаких, в лучшем случае годам к сорока вытяну до кавторанга… Ну, вытяну! А что дальше?

– Дальше… Я бы на вашем месте вспомнил старика Державина: «Жизнь есть любви небесный дар! Устрой ее себе к покою и вместе с чистою душою благослови судеб удар». Поняли?..

Коковцев понял. Близость Иносы, зажигавшей по вечерам разноцветные фонари, дразнила и соблазняла, как присутствие незнакомой женщины за стенкой, теплокровной и не твоей, но она живет рядом с тобою, она двигается, поет и дышит, смеется и танцует. Кому в такие мгновения не кажется, что эта женщина ожидает тебя, нарочно тебя волнуя?.. В один из дней Коковцев сбежал на днище вельбота, сам взялся за румпель.

– Навались, ребята! – скомандовал. – В Иносу…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В ухоженной роще росли сосны и пальмы, шевелился бамбук и зрели бананы. В этой благодати расположились домики, их передние стенки были раздвинуты – душно. В растворенных на улицу комнатах, облаченные в халаты, посиживали на циновках босоногие офицеры русской эскадры, лениво обмахиваясь веерами. Возле них хлопотали японские «мусумушки», и пусть жены были временными, как временна и стоянка в Нагасаки, но иллюзия подлинной семейственности не покидала этих забавных жилищ, распахнутых настежь для всеобщего обозрения…

– Вовочка! Уж не ищешь ли ты дом со швейцаром в ливрее?

Это окликнул мичмана лейтенант Атрыганьев; его миниатюрная Мицу-Мицу встретила Коковцева чаркой водки завода г-жи Поповой, придвинула гостю тарелочку с ломтиками сырой кеты и, отступив, опустилась на колени в углу комнаты.

– Садись, – сказал Атрыганьев.

– Куда?

– На пол! Оя-сан на тебя обижена… слышал?

– На меня? За что? – обомлел Коковцев.

– Невежливо с твоей стороны не визитировать эту даму, если даже «дядька Степан» целует ей ручки.

Мичман ответил, что в счастье по контракту не верит.

– Ты у нас умница! – похвалил его Атрыганьев. – Но я тебя умнее. Скажи, разве венчание в церкви не есть ли то же подписание контракта, только не временного? Не все ли тебе равно, где соваться в петлю – в конторе Оя-сан или у нашего попа в церкви? В любом случае жених с невестой вступают в сделку! Только здесь, в Нагасаки, ты отдашь пятнадцать долларов – и все. А там, в России, платить будешь всю жизнь…

Атрыганьев переговорил с Мицу-Мицу по-японски, и она вынесла бутыль абрикотина московских заводов Н. Л. Шустова.

– Как поют наши матросы, «со смехом, братцы, я родился, наверно, с хохотом помру…». Давай выпьем за любовь! Оя-сан приберегает для тебя, хомяка, одинокую мусумэ из Нагойи.

– Нагойя… что это значит? – не понял мичман.

– Только то, что самые красивые японки родом из Нагойи. Чувствую, – добавил Атрыганьев, – что застрянем в Нагасаки надолго, так не будь каютным хомяком – срочно женись!

– А зачем мне это нужно? – отвечал Коковцев.

– Послушай, – заговорил минер далее. – Я ведь плавал достаточно. Видел и фрески в спальнях Помпеи, бывал даже в банях Каракаллы, но, поверь, там нет ничего такого, что было бы неизвестно японкам, владеющим секретом тридцати четырех способов любви. – Нежинским огурчиком, продетым на вилку, Атрыганьев указал на сидевшую в углу Мицу-Мицу. – Ты глянь на эту скромнейшую японскую богиню… Какова?

Коковцев глянул (японка улыбнулась ему).

– Так вот, – заключил Атрыганьев, с хрустом поедая огурчик, – все эти гордые и пресыщенные патрицианки Древнего Рима перед моей Мицу-Мицу выглядят жалкими недоучками. А ты еще осмеливаешься пренебрегать женщиной из Нагойи!

Коковцев безо всякого аппетита дожевал кету:

– Но в Петербурге я же поклялся Оленьке…

– Все поклялись, – сказав Атрыганьев, морщась. – Но каждой невесте, даже обляпанной полтавским черноземом, известен в любви только один способ, а тут… Стоит ли долго раздумывать? Кстати, эта Оленька живет на… На какой улице?

– На Кронверкском, – ответил мичман.

Атрыганьев, хохоча, покатился по циновкам.

– Извини. Но я бывал там. Каюсь… Этот статский, что мечтает о чине тайного, считал меня женихом своей дочери.

– Не может быть! – оторопел Коковцев.

– Пожалуйста, не переживай. Все женщины таковы…

Г-жа Попова и г-н Шустов, эти знаменитые спирто-водочные фирмы, разом ополчились на невинность мичмана.

– Если так, я… Я сейчас же иду к Оя-сан!

Атрыганьев горячо одобрил его решение:

– Кстати, мне в ноль четыре принимать вахту у тебя. Будь другом, выручи: если я малость задержусь, ты склянки две-три отбудь за меня на мостике.

– Конечно, – согласился Коковцев.

– Вот и спасибо. Потом, в море, расквитаемся! Ступай!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Все было похоже на скромную гостиницу: пустоватая простота в комнатах, лакированные полы были покрыты мягкими татами из камыша. Коковцев уселся перед низеньким столиком и долго не знал, куда девать ноги, затекающие от неудобства позы. Его окружили восемь юных японок, напоминавших едва окрепших девочек-подростков. Чрезвычайное обилие косметики скрадывало их подлинные черты. Это были мусумэ из «резерва» конторы Оя-сан, под надзором которой они и жили. Коковцев часто благодарил, пока они расставляли перед ним крохотные чашечки с угощениями. Тут была рыба в тесте, приправленная соей, водоросли-тамоширага, мхи и корни, огурчики-киури, крылышко утки, чуть присыпанное анисом, желе из овощей с яйцами и непроницаемый черный сосус с подогретым сакэ. Угощая гостя, мусумэ наперебой щебетали, успев наговорить Коковцеву всяческих комплиментов – ах, какой красивый, ах, какой умный, ах, как хорошо, что навестил их сегодня, а то ведь они уже собирались сами искать с ним встречи. При этом девушки подливали ему сакэ, и теплая рисовая водка приводила мичмана в содрогание от небывалого вкусового отвращения. После чего, усевшись рядком напротив, девушки сыграли для Коковцева что-то очень печальное на своих сямисенах, похожих на мандолины, и тихонько удалились. Пустота. Никого…

Но тут бодро вошла миловидная японка лет сорока – сама Оя-сан; кимоно женщины украшала брошь с бриллиантом из алмазного фонда царствующей династии Романовых. Семь лет назад великий князь Алексей (сын царя Александра II) плавал до Владивостока на фрегате «Светлана»; навестив Нагасаки, он задержался в объятиях Оя-сан, с чего и началась карьера этой мусумэ, богатеющей теперь на эксплуатации себе подобных. Дама держалась по-европейски свободно, широким жестом, перенятым ею от русских офицеров, она чокнулась с Коковцевым чашечкой сакэ, и бедного мичмана снова как следует передернуло. Потом женщина деловито спросила – какая из всех мусумэ понравилась ему больше.

– Они все хороши, – ответил мичман, – но я слышал, что у вас имеется девушка из Нагойи.

Оя-сан со вкусом выговаривала русские слова:

– Если ты задумался об Окини-сан, голубчик, она полюбит тебя… вместе с домом! Но задаток немалый – двести долларов, голубчик. – О том, сколько из этой суммы она заберет для себя, об этом Оя-сан, конечно же, умолчала.

В планы мичмана никак не входило становиться домовладельцем в Японии, но русская водка, разбавленная японским сакэ, и горькая обида на Ольгу сделали его смельчаком. Он готов хоть сейчас платить за все в мексиканской валюте.

– Но сначала покажите мне красавицу из Нагойи!

Оя-сан легонько хлопнула в ладоши, и Коковцев услышал за спиной неприятное шипение. Он обернулся: перед ним возникло костлявое чудовище с громадными оттопыренными ушами.

– Это нотариус, – объяснила Оя-сан. – Он принес контракт на Окини, заранее составленный… Подписывайте его!

Глаза нотариуса были добрыми, но шипел он так замечательно, что ему позавидовала бы любая гадюка.

– У нас в России, – сказал Коковцев, поднимаясь с татами, – никто и никогда не покупает кота в мешке…

Оя-сан сердито крикнула что-то по-японски. С громким треском раздвинулись бамбуковые ширмы – и Окини-сан опустилась на колени, застыв в глубоком поклоне, а за нею вразнобой качались сухие бамбуковые палки: так-так, так-так, так-так.

– Гомэн кудасай, – были первые слова женщины.

Она просила у них извинения за то, что явилась.

Окини-сан кланялась очень долго, и Коковцев сначала видел только пышный бант-оби, завязанный высоко на спине, потом разглядел удивительно сложную прическу, в которой волосы были унизаны черепаховым гребнем и булавками из красных кораллов. Коковцев кинулся поднимать женщину с пола.

– Голубчик, – четко выговорила Окини-сан русское слово (которое в заведении Оя-сан, очевидно, заучивалось всеми мусумэ в числе самых необходимых слов).

Теперь мичман видел нежное матовое лицо с узкими блестящими глазами, а губы девушки, чтобы не казались большими, были подрисованы кармином только посередине. Окини-сан была так хороша, что раздумывать далее не приходилось:

– Давайте контракт… Подпишу!

Бамбуковые палки перестали стучать, шипение прекратилось. Нотариус из-под халата извлек чернильницу, протянул Коковцеву европейское перо, а не кисточку. Мичмана ознакомили с условиями контракта: подданная микадо, отзывающаяся на имя Окини, поступает в его жены с содержанием в 15 долларов за один месяц, а Кокоцу-сан обязуется предоставить ей помещение, стол, одежду и наемную прислугу с рикшей. Отсчитав серебро, мичман еще раз оглядел красавицу из Нагойи:

– Но почему на месяц? Мой клипер еще никуда не уходит.

Нотариус отвечал ему на хорошем английском языке:

– К чему загадывать вперед? Мы, живущие вдали от вас, европейцев, не привыкли верить ни женщинам, ни пьяницам, ни морякам: женщина склонна обманывать, пьяница ничего не помнит, а моряк рано или поздно все равно потонет. Через один месяц с удовольствием продолжу контракт.

– All right, – согласился Коковцев.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Обитель семейного счастья оказалась вполне прилична: через мизерный ручеек был перекинут карликовый мостик, с которого мичман чуть не упал, в миниатюрном садике имелся маленький прудик, в нем крохотные золотые рыбки виляли золотыми хвостиками. Коковцев и Окини-сан остались одни. Мичман извинился, что ему предстоит еще ночная вахта:

– А я чертовски много выпил и, прости, должен выспаться. Нет ли в этом домике чего-либо похожего на кровать?

Окини-сан придвинула к нему коротенькое бревнышко с валиком, ласково уговаривая положить на него свою голову.

– Забавно! А как зовется такая подушка?

– Макура, голубчик, это макура.

– Звучит вполне по-русски… макура… макура…

Окини-сан уселась напротив него и, скрестив под собой ноги, всецело погрузилась в отсчет времени, сокращавшего их первое свидание. За четверть часа до полуночи, отрывая от макуры наболевший затылок, Коковцев уже не мог вспомнить, как это бревно называется. Он быстро собрался на вахту.

– Конечно, – благодарил он, – если бы не ты, я бы наверняка все проспал. А завтра пришлю вестового – пусть привезет подушки и одеяло. Однако где я сейчас достану фунэ, чтобы поспеть к вахте на свой клипер?

Оказывается, Окини-сан, пока он спал, уже наняла лодочника на весь месяц их контракта. Мало того, женщина проводила его до пристани и не покинула мичмана, пока фунэ не подгребла к корабельному трапу. Только сейчас она попрощалась с ним, и с палубы корабля мичман застенчиво пронаблюдал, как в темноте рейда медленно растворяется белое пятно ее одежд. Издалека донесло певучий голос молодой женщины:

– Сайанара, голубчик! До-си-да-ня…

Чайковский с «Манилой» в зубах гулял по шканцам.

– Теперь, – сказал он, – за все время стоянки в Нагасаки за вас я спокоен: еще не было случая, чтобы молодой офицер, взявший в жены японку, опоздал на вахту! Да и вам лучше, милейший: меньше будете шляться по ресторанам…

После четырех часов вахты Коковцев с нетерпением отсчитывал склянки: корабли эскадры синхронно отбили первую, вторую, третью. Атрыганьев соизволил явиться с берега на рассвете.

– Ладно, – отмахнулся он от упреков. – Уж ты прости, Вовочка: не был я на Кронверкском, никакой Оленьки и в глаза не видывал. Все выдумал нарочно, чтобы твои эполеты, чуть-чуть забрызганные морем, потеряли блеск наивной гардемаринской святости. Вахту принял. Сейчас отходит вельбот…

Вестовой помимо подушек прихватил из офицерского буфета ложки, ножи и вилки. Качнув серьгой в ухе, он сказал:

– Вашбродь, а чем шамать будете… палками? Уж я ими ковырял, ковырял – все мимо рта просыпалось. Извиняйте нас!

День обещал быть жарким. Стенка дома была заранее раздвинута, в глубине комнаты, будто вписанная в тонкую рамочку, Окини-сан показалась мичману лучезарным идолом любви.

– Я тебя так жду… голубчик! – произнесла она.

Из широких рукавов кимоно выплеснуло две руки.

И нечаянно сложилась ласковая семейная жизнь.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Коковцев принадлежал к поколению, юность которого овеяли победы русского оружия под громы Шипки и в блеске молний Плевны, когда Россия несла свободу родственному народу Болгарии. Но зато юность омрачил Берлинский конгресс, унизивший достоинство России; по этой причине молодежь тех годов страдала за любое ущемление прав своего народа, национальную гордость которого сознательно оскорбляли юркий лорд Биконсфильд и плут Бисмарк… Германия еще только прилаживалась к завоеванию колоний, зато Англия имела их столько, что они в девяносто раз превышали размеры ее метрополии; во владениях королевы Виктории могли бы свободно разместиться три Российские империи. Викторианцы были ненасытны! Британские канонерки шли по следам фанатиков-миссионеров: если аборигены не внимали гласу божьему с должным трепетом, пушки Армстронга приводили их в английское подданство. Затем, приучив инакомыслящих надевать по утрам штаны и открывать бутылки с пивом, викторианцы делали вид, будто ими сотворено на благо цивилизации нечто великое. Лондон постоянно был озабочен: где только можно и любыми способами ослаблять могущество России, которая не боялась противостоять великобританской экспансии, ставшей уже глобальной… Переживаемый конфликт с Пекином тоже имел английскую подкладку: политики Уайтхолла натравливали китайцев на войну с Россией, на эскадре Лесовского уже поговаривали, что, очевидно, скоро предстоит плавание в Чифу, дабы забрать из Китая русского посланника и все посольство с его архивами.

– Бес их там разберет! – судачили в кают-компании «Наездника». – Ну, с моря-то, положим, мы на своих калибрах всех мандаринов раскатаем. А что, если они вломятся в наши пределы от Кульджи, где мы даже гарнизонов не держим?

Атрыганьев закрутил усы и расправил бакенбарды.

– Я, – начал он, – терпеть не могу английских газет и посему читаю их внимательно. «Таймс» обрадован: Пекин обзавелся «китайским Бисмарком», правда, не железным, а ватным – Ли Хунчжаном, а теперь якобы обнаружился «китайский Наполеон» по прозванию Цзо Цзуньтань… Было бы жестоко с моей стороны требовать, господа, чтобы вы запомнили эти имена, но все-таки я осмелюсь выделить их из нашей истории…

Атрыганьев не помянул еще императрицу Цыси, которую европейцы прозвали китайской Клеопатрой. В этот момент попугай, сидя на абажуре, расправил крылья и сделал что надо, а в дверях показался сияющий мичман Эйлер.

– Чистяки! – гаркнул Атрыганьев вестовым. – Сменить скатерть… Ленечка, а что вы там принесли с берега?

Эйлер радостно показал приобретенную вазу:

– Мне ее продали как редчайший фарфор «амори».

– Вы у нас молодцом! Если родственники просили вас купить у японцев макитру пошире, чтобы варить в ней вассер-суп на все знатное семейство фон Эйлеров, так я от души вас и поздравляю. Хотя вам продали фарфор из Кагасима, а он – лишь слабое подражание сатцумскому… Итак, господа, Цзо Цзуньтань, известный любимец английской публики, уже в пути! Но, двигая армию, он ведь больше похож на муравья, толкающего перед собой полудохлого навозного жука… Я хотел бы спросить англичан: где они видели этого Наполеона? Ленечка, – мягко обратился минер к Эйлеру, – не стоит впадать в отчаяние. Поставьте свое помойное ведро на рояль, и будем считать, что у нас, слава богу, имеется и «амори»…

Согласно давней традиции флота, командир корабля не имел права посещать кают-компанию, чтобы, упаси бог, не вмешиваться в дела и разговоры подчиненных, иногда жестоко его критикующих, – здесь владычил старший офицер, а командир прозябал в одиночестве салона, всегда благодарный, если офицеры, сжалившись над ним, приглашали к своему столу. Однажды его позвали, и он строго предупредил:

– Господа, возможен такой вариант обстановки, что скоро эта уютная Иноса останется далеко за кормою… Наберитесь мужества покончить со своими делами на берегу, чтобы за нашим клипером потом никаких хвостов не тащилось. Ежели у кого неоплаченные счета в японских ресторанах, расплатитесь заранее. Есть ли у нас белье в стирке на берегу?

– Есть, и очень много, – ответил Чайковский.

– Поторопите прачек, чтобы стирали быстрее…

После таких разговоров Коковцев спешил на свидание с Окини-сан, и женщина, внешне ненавязчивая в любви, чутко откликалась на каждую его ласку. Эти незабываемые ночи Иносы, пронизанные шумами теплых ливней, казалось, пропитались словами любви, всегда ненасытной в молодости. Не было случая, чтобы японка не проводила Коковцева до корабельного трапа, а вернувшись с клипера, мичман всегда заставал ее ожидающей встречи. Иногда казалось, что Окини-сан живет исключительно ради любви к нему.

– Я не знаю, как это тебе удается, – сказал однажды Коковцев, – но ты, сама того не замечая, сделала все-все, чтобы я уже не мог обходиться без тебя. Это правда!

Она молча взяла его руки и окунула в них свое прекрасное лицо. А когда освободила ладони, оно было мокрым от слез.

– Я люблю, голубчик, – сказала она…

В одну из летних ночей, когда мичман ночевал на клипере, его сорвала с койки резкая качка. Коковцев выбрался из каюты, под ногами кружило холодную пену открытого моря. «Наездник», постукивая машиной, нес на себе даже триселя над брамселями, отчего его мачты потрескивали от напряжения.

На мостике ходовую вахту «заступил» Атрыганьев.

– Что стряслось, Геннадий Петрович? Или… война?

Атрыганьев дернул шнур звонка в кают-компанию.

– Пока нет! Просто «дядька Степан», чтобы запутать англичан, перетасовывает эскадру, будто карты в колоде. Игра идет крупная: «Пластун» ушел к Дажелету, «Стрелок» помчался в Чифу, крейсера «Азия» и «Европа» в Иокогаму, а мы… Мы, кажется, во Владивосток, чтобы сменить там «Джигита».

На мостик в белом фартуке взбежал вестовой:

– Звонили, вашбродь? Что прикажете?

– «Адвоката» мне. Покрепче! С ромом.

– Есть! Я мигом, вашбродь…

Сочный ветер путал мокрые фалы в руках сигнальщиков. Снова начиналась походная жизнь, в которой, согласно моряцкой поговорке, вольготно живется одним попам, котам и докторам (остальные расписаны по вахтам, загружены работами).

Коковцев придержал на трапе Чайковского:

– Когда же будем во Владивостоке?

– При таком-то ветре… скоро придем.

– А когда вернемся в Нагасаки?

– Отвыкайте задавать наивные вопросы…

Иноса разом и безнадежно отодвинулась за горизонт, меркнущий в отдалении, а море, казалось, без следа растворяло в себе Окини-сан, застывшую в молчаливом ожидании. Снова возникли привычные картины суровой жизни: возле мачт, где меньше качало, группами собирались матросы, озверело разгрызали сухари, обсыпанные крупной солью, а на мостиках мотало фигуры вахтенных в дождевиках и зюйдвестках. «Наездник» легко перегнал громаду транспорта «Россия», с которого просигналили, что везут из Одессы тысячу солдат для основания пограничных гарнизонов на Амуре.

В зыбком тумане, словно размыло старинную акварель, едва проступили очертания скал Дажелета, сразу похолодало, а штурман вспомнил стишки:

Вплоть до острова ЦусимыВидишь летнюю картину.Коль попался Дажелет,Торопись надеть жилет.Офицеры поспешили в шкиперскую, за тужурками. Рано утром открылись берега; зеленые массивы нетронутых чащоб, острые зубцы нелюдимых сопок, а где-то страшно далеко струился к небу тончайший дымок охотничьего костра.

– Россия! – воскликнул Коковцев.

– Вы угадали, – отозвался Чайковский. – Правда, отсюда до нее очень далеко, но вы правы: это тоже Россия…

Убрав паруса и подрабатывая винтом, втянулись в Золотой Рог; издали панорама Владивостока даже впечатляла: красный кирпич казарм, ряды причалов, угольные склады Маковского, разноцветные хибары обывателей и козьи выпасы среди огородов; возвышались здание гимназии, штаба командира порта, особняк Морского собрания и магазин фирмы Кунста и Альбертса. Все это – на фоне беспечального синего неба… Посланец Балтийского флота звончайше салютовал кораблям Сибирской флотилии.

Коковцев взял бинокль. В окулярах его возникли пустынная улица, по ней шла расфуфыренная дама под зонтиком, за нею маршировал бугай-матрос, неся под локтем корзину с бельем. С берега громко и радостно крикнул петух. Чайковский снял фуражку и, подавая пример молодежи, истово перекрестился:

– Поздравляю вас, господа: вот мы и дома…

Атрыганьев, первым побывав на берегу, ругался:

– Что за город такой! Отличный цейлонский ананас – две копейки. Соленый огурец – гривенник. Дохлая индейка стоит пятнадцать рублей, а сотню жирных таежных фазанов умоляют взять даром… Кто в таких ценах что-либо понимает?

После чистеньких японских улиц здесь даже главная (Светланская) выглядела проселочной дорогой, покрытой кочками, ухабами и лужами. С трудным бытом Владивостока мичман Коковцев соприкоснулся сразу же, когда командир послал его раздобыть пресной воды для клипера. Следовало набрать четыре полных баркаса (для доставки воды шлюпку заранее как следует обмыли изнутри с песком и с мылом). А где взять? Прохожие обыватели советовали просить воду у знакомых.

– Но мои знакомые остались в Петербурге.

– Поспрашивайте тех, у кого колодцы имеются.

А владельцы колодцев руками на мичмана махали:

– Знаем, как кораблям воду давать! Опустят в колодец трубу и выкачают насосом до дна, вместе с лягушками. А мы как? Совсем без воды сидеть? У нас же дети малые. Пеленки стирать надо? Надо. А чайку попить? Или к соседям бегать?..

На берегу копошились гарнизонные солдаты в белых рубахах, возводя бруствер для установки пушек. Коковцев спросил:

– Никак, ребята, вы мандаринов ждете?

– Плевать мы на них хотели, – отвечали солдаты. – У нас на базаре своих мандаринов не знаем куды девать. Но сказывали, будто англичанка-стерва на энти края позарилась. Вот и стараемся: пусть тока сунется, все бельма повышибаем!

Командир встретил мичмана вопросом: где вода? Коковцев пытался объяснить положение в городе, но получил ответ:

– Меня это не касается. Вода должна быть…

Принарядившись, офицеры клипера беззаботной гурьбой отправились во владивостокское Морское собрание. На Светланской им встретились черные дроги: горожане хоронили инженера-самоубийцу. Провожавшие покойника объясняли:

– Здесь это бывает частенько! Не все выдерживают. Что вы хотите? Иногда ведь газеты четыре месяца не приходят…

В гардеробе, стоя перед зеркалом и уточняя на белобрысой голове прямоту идеального пробора, Эйлер сказал:

– Ты, Вовочка, не внимай Атрыганьеву с особым решпектом. Атрыганьев мало того что барин – он еще и циник.

После него стал причесываться Коковцев:

– Отчасти – да, я согласен, Леня. Но минер похож на рыцаря старинного и могучего ордена, вроде Мальтийского.

– Каста! – ответил Эйлер (проницательный). – Атрыганьев не понимает, как близка гибель его и ему подобных.

– Так ли это, Леня, а?

– Ты просто не слышал минера достаточно пьяным. А в пьяном состоянии он произносит страшные тосты…

По широкой лестнице поднялись в общий зал. Атрыганьев сразу обосновался в буфете. По стульям сидели дамы и невесты, быстро оценивая входящих офицеров с «Наездника». Коковцев краем уха слышал, как одна девица шепнула подруге:

– Мичман! Всего-то пятьдесят семь рублей в месяц. А еще надбавка за суровость климата и дальность плавания.

Это задело Коковцева, и через плечо он ответил:

– Шли бы вы домой… задачки решать по алгебре!

В собрании мичман повстречал немало однокашников по Морскому корпусу, почти все они были с молоденькими женами.

– Что ты удивляешься? – говорили они. – Здесь нам разрешено вступать в брак, даже не справляясь о нашем реверсе [2] .

Их жены выглядели счастливыми, одеты они были по последней парижской моде, и мало кто из офицеров раскаивался, что променял Балтику или Севастополь на эти дикие, но величавые края с грандиозным будущим.

– Дальний Восток, – посмеивались они, – это ведь фикция, придуманная еще дельцами Ост-Индской компании. Нам отсюда Дальним Востоком кажется уже Сан-Франциско или Патагония, а Ближний Восток становится для нас Дальним Западом. Здесь полная свобода слова, зато нет свободы печати из-за отсутствия самой печати… Кстати, можешь всех нас поздравить.

– С чем, друзья?

– Скоро на улицах Владивостока загорятся полтораста керосиновых фонарей, и, поверь, Вовочка, мы радуемся этому, как парижане недавно радовались электрическим «свечам» Яблочкова на Елисейских полях. Всякая жизнь познается в сравнении… Ну, расскажи, какова погода в Нагасаки?

Сибирская флотилия ремонтироваться ходила в Японию, сибиряки все там знали, все видели своими глазами, но отношение к этой стране у них было несколько иное, более жесткое, нежели у стационирующихся в Нагасаки.

– У нас немало японцев, – говорили они. – Мы охотно пользуемся их услугами. А японки изумительные няни. Но… нам отсюда виднее! Совсем недавно японцам отданы Курильские острова, чтобы отвадить их от Сахалина, на котором наши дуралеи устроили каторгу вроде французской Кайенны. Японцы присвоили острова Рюкю, где одна только Окинава – прекрасная морская база! Наконец, они пытались забрать и Формозу, покрикивают на корейцев… Подумай сам, Вовочка: едва успев открыть свои «двери» перед Европой, самураи уже расшибают «двери» корейские, а Корея вассальна от Пекина, и отвратная Цыси, конечно, вступится за свои владения. Не случится ли так, что японцы разрушат равновесие Дальнего Востока, и без того шаткое?

Коковцев воспринимал Японию в образе Окини-сан, а раскрытые веера улыбчивых японок укрывали многие тайны.

– Не слишком ли вы подозрительны к любезным японцам?

– Только не к няням! Мы их любим, как любят все русские дети, зовущие их «тетя Този» или «тетя Саго». Но мы подозрительны к самураям. Своими претензиями они вынудят вас вступиться за Корею, а это уже рядышком с нами… Владивосток – не санитарный барак, который можно перетаскивать с места на место. Его поставили здесь – и он должен стоять вечно!

Коковцева отыскал мичман Эйлер:

– Атрыганьев уже затоплен коньяком до ватерлинии и сейчас произносит в буфете тосты… Хочешь послушать?

– В другой раз, – ответил Коковцев.

Гарнизонный оркестр заиграл вальс «Невозвратное время», и мичман с нарочитой холодностью миновал девиц, трепетно ожидавших приглашения к танцу. Коковцев вызвал на вальс даму в летах, но еще красивую – жену командира порта мадам Ванду Щетинскую. Вступая с нею в круг, он спросил:

– Разве же вам никогда не бывает здесь скучно?

Женщина ответила, что здесь гораздо веселее, чем в Ковно, где она провела юность в монастыре урсулинок.

– Наверное, для полноты счастья нужен и… колодец?

Щетинская ослепила мичмана белым рядом зубов:

– Я-то, грешная, думала, вы позвали меня к вальсу ради взаимной симпатии, а вам, оказывается, нужна вода для котлов и для камбуза… Сколько вам ее надо? – спросила она.

– Четыре полных баркаса, мадам.

– До вас на рейде стоял клипер «Джигит», на котором мичмана были решительнее и водою быстро наполнились.

– Подскажите, каким же образом?

– Четыре мичмана при полном параде сделали предложение четырем дурочкам, в домах которых были колодцы. Вычерпав всю воду, они сразу же снялись с якоря.

– Но каково чувствовали себя невесты?

– Прекрасно! Зареванные до обморока, они долго бегали по берегу, как угорелые кошки. Их сердца были разбиты, а колодцы вычерпаны…

Оркестр умолк. Коковцев проводил даму к ее мужу.

– Завтра, – указал он, – идите на веслах в бухту Диомид и там накачивайтесь водой до самого планшира…

Спасибо за совет! Коковцев на следующий день наполнил у Диомида баркас водою, а гребцы, предварительно раздевшись догола, орудовали веслами, сидючи в воде по самые шеи. Таким способом пригнали к «Наезднику» пять баркасов хрустальной водички, но команда клипера разматерила их:

– Вы, пока гребли, паскуды, – говорили матросы, – ведь этой же самой водой все хвосты свои грязные выполоскали…

Командир выразил Коковцеву свое удовольствие:

– Убедились? Офицер русского флота, подобно библейскому Моисею, способен источить воду даже из твердого камня…

Было жаль покидать Владивосток. В последний раз посетив берег, Коковцев встретил на пристани старенького учителя.

– А где вы, сударь, такую тужурку купили?

Коковцев тужурке своей не придавал значения.

– Да это, знаете, еще в Копенгагене, в лавке морских товаров… неподалеку от музея скульптора Торвальдсена.

– Живут же люди! – отозвался учитель, сгорбясь. – А я и позабыл о таком скульпторе… Очень трудно в наши края забраться, но сил не хватит отсюда выкарабкаться.

Коковцев долго пребывал под впечатлением этой грустной беседы. Он понимал, что изнанка жизни во Владивостоке очень сложная, и не скоро еще люди заживут в этих краях полнокровной радостью бытия. «Наездник» держал три котла под парами, легко набирая узлы. Миновав скалу Дажелета, сдали тужурки в шкиперскую. Коковцеву опять выпала ночная вахта. Сверясь со штурманской прокладкой, он сказал, что, очевидно, ровно в два часа ночи клипер выйдет на траверз Цусимы:

– Вас не будить, Петр Иванович?

– Остров как остров, – зевнул Чайковский. – Ничего примечательного. Глубины приличные. Зачем меня дергать?..

Цусима – без единого огонька, будто вымерла! – сонным призраком исчезла за кормою клипера. Коковцев еще не забыл лекций в Морском корпусе: ведь недавно местный феодал Цу Шима уступил остров для размещения базы русского флота, но вмешались, как всегда, пронырливые англичане, и микадо прибрал остров в свое подданство. Но там остались наши дороги, наши грядки с капустой, наши мастерские и даже баня из бревен, пахнущих русским смолистым лесом. Ночная вода, отяжелев, нехотя расступалась перед таранным «шпироном» боевого клипера. И никто ведь не подозревал, что имя этого острова – Цусима! – острое, как сабля самурая, болезненно вопьется в сердце каждого русского человека…

«Окини-сан, ждешь ли? О чем думаешь, нежная?»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Никто не сомневался, что уже завтра они окунутся в разморенную влажностью духоту нагасакской бухты. Но проливом Броутона, оставляя Корею по правому борту, вошли в бурное Желтое море, и только здесь известились от командира, что «Наездник» следует в порт Чифу, сохраняя полную боевую готовность.

– Очевидно, будем снимать с берега наше посольство.

– А как же Окини-сан? – вырвалось у Коковцева…

В штурманской рубке страдал на диване жестоко укачавшийся Леня Эйлер. Коковцев быстро листал календарь.

– Что ты? Или прохлопал день своего ангела?

– Ангела, – подавленно ответил Коковцев. – Подумай, завтра кончается срок моего контракта, и Окини-сан уже не моя!

Эйлера мучительно и долго выворачивало в ведро.

– Море не любит меня, – сказал он, брезгливо вытирая рот. – Извини… Но я крестил свою Ибуки-сан в православную веру, и теперь ее опекает наш епископ Николай, а не эта пройдоха Оя-сан с брошкой вроде чайного блюдечка.

Страшный крен отбросил Коковцева к переборке, почти расплющив о стенку, рядом качался, как роковой маятник, медный футляр ртутного барометра, показывавшего: «Ясно».

– Все пропало! – отчаялся мичман.

– Погоди, – утешал его Эйлер со стоном. – Если доверяешься женщине, так и не думай о ней скверно… Так ли уж хорошо знаем мы этих «мусумушек», как они изучили нас, русских?

Коковцев, цепляясь за поручни, выбрался на «банкет» мостика. В сизом угаре вечера скользила, прижатая к воде, тень британского крейсера, и, указывая на него биноклем, Атрыганьев хохотал словно заправский опереточный злодей:

– Вот уж правда, что мир принадлежит одним джентльменам! Виктория ограбила полмира, но старой жабе все еще мало…

Перед заходом в Чифу решили отстояться в Порт-Артуре, хотя китайцы могли «салютовать» клиперу прямой наводкой. На всякий случай, вне видимости берегов, опробовали работу плутонгов и действия комендоров. Китаю поставлял орудия германский Крупп, однако Чайковский сказал, что любая пушка, побывав в руках китайцев один только год, превращается в ржавый скелет. Бросили якоря на внешнем рейде, подальше от батарей, на клотик фок-мачты «Наездника» сразу уселась ворона.

– Не к добру, – решил суеверный командир клипера.

Коковцев робко постучался в каюту Чайковского:

– Петр Иванович, у меня тошно на душе: месяц контракта кончился, а как удержать Окини – не придумаю. Оя-сан не станет держать ее даром и наверняка заставит переписать контракт. Тем более в Нагасаки вернулся холостой «Джигит»!

– Скорее всего так и будет.

– Что же мне делать? – приуныл мичман, чуть не плача.

Чайковский обнял его, как отец родного сына:

– Милый вы мой! Никак серьезно влюбились?

– Я уже не могу… не могу жить без нее!

– А не вы ли осуждали любовь по контракту? Ладно, – сообразил Чайковский, – в Чифу наш консул, поговорите с ним. А что там ворона? Еще сидит, падаль, на клотике?

– Сидит и каркает. Лучше бы пристрелить…

Ворона сорвалась с мачты, когда клипер развернулся в море. Чифу, оттиснутый в море мрачными скалами, показался гаже всего на свете. Коту все равно где спать, священнику тоже, но доктор просил не пускать матросов на берег. В первую же ночь стоянки «Наездник» был ослеплен ярким блеском фонарей английского крейсера, положившего якоря на грунт Чифу невдалеке от клипера. Дул сильный ветер, по рейду гуляла тяжелая зыбь, на камбузе из котлов выплеснуло матросское варево. Для офицеров были открыты консервы «Patе de lie

– От души поздравляю, господа! Уж если нельзя верить газетам, то как же можно верить тому, что писано на этикетках? Американцы давно передушили всех кошек в Чикаго и Нью-Йорке, понаделали из них паштетов и теперь продают их в консервах наивным французам. – Посещать берег он дружески отсоветовал: – В Чифу ничего любопытного.

Коковцев все же побывал в городе, дабы повидать консула, и тот, человек дела, сразу подсказал верное решение.

– Назовите фамилию дамы своего сердца, мы срочно переведем необходимую ей сумму для продления контракта.

Увы, Коковцев фамилии Окини-сан не ведал.

– Так-так, – поразмыслил консул. – А кого вы знаете в Нагасаки, помимо этой несчастной куртизанки?

– Гордея Ивановича Пахомова, у него там ресторан.

– Отлично! Вот пусть он вам и поможет…

На радостях Коковцев перевел в Нагасаки деньги за полгода вперед. Он вернулся на клипер, рассказывая, что в Чифу много винограду и черешен, а еще больше гробов, выставленных на продажу, – таких красивых, что глаз не оторвать.

– Упаси нас бог! – суетился доктор. – Тут, что ни год, всякие эпидемии. Стоит ли рисковать ради свежих фруктов? Вы лучше скажите – что говорил вам консул о войне?

– Он сказал, что все зависит от того, чье давление в Пекине пересилит – или давление Уайтхолла, тогда война, или давление нашего Певческого моста [3] , тогда войны не будет…

По ночам британский крейсер бесцеремонно освещал клипер, словно проверяя – здесь ли русские, не снимают ли с берега свое посольство? Потом с моря подползли две низкие, как сковородки, расплывшиеся на воде «черепахи» китайских канонерок. На их мостиках, похожих на этажерки, согревались ханшой и чаем важные и толстые мандарины императрицы Цыси. Нервы у русских моряков были крепкие, но все же неприятно видеть, когда враг пошевеливает пушками, словно хирург пальцами, стараясь нащупать твое сердце. В этот день Чайковский позволил открыть шампанское.

Офицеры «Наездника» рассуждали о судьбах Китая:

– Нищие сидят на улицах с открытыми ртами, внутри ртов черным-черно от набившихся туда мух, и ни один не догадается рот закрыть… Что это – лень или тупость?

Атрыганьев органически не выносил китайцев за их «особое» отношение к чистоте, но сейчас (будучи человеком справедливым) он яростно вступился именно за китайцев, доказывая, что весь этот ужас – результат наследия опиума:

– За упадок своих сил пусть они благодарят англичан. Лет сорок назад богдыхан отправил письмо королеве Виктории, чтобы она перестала отравлять Китай наркотиками, но эта респектабельная ведьма, любящая ростбифы с кровью, даже не ответила… А на что рассчитывает теперь Пекин, задевая Россию?

Эйлер завел речь о чиновном сословии Китая:

– Мандарины ради получения должности обязаны пройти конкурс по написанию литературного сочинения, в котором выше всего ценится красота слога. На мой взгляд, как бы ни относиться к писателям, но… Представьте, господа, если я вам составлю из них правительственный кабинет… Невозможно вообразить тот несусветный кавардак, который бы они устроили из нашей бедной России…

Заглушая разговоры, последовал доклад боцмана:

– «Разбойник» прется на рейд! Парусов не убрал, машинкой тарахтит – и прямо на нас, ажно глядеть-то страшно…

«Разбойник» всегда славился флотским шиком, потому все офицеры поспешили наверх. Карл Карлович Деливрон уже нацелился пройти своим бортом впритирку к борту «Наездника». На британском крейсере и на китайских канонерках повысыпали на палубы толпы матросов, пораженных небывалым зрелищем. Сближение двух кораблей грозило катастрофой! Уже были видны улыбки на лицах разбойников, а ветер свирепо раздувал бакенбарды на довольной физиономии Деливрона. Командир «Наездника» в ужасе схватился за голову, крича:

– Шарло! Право руля… реверсируй машиной!

– Ученых не учат, – раздался ответ Деливрона. Казалось, еще минута, и громадный лес его рангоута станет сокрушать рангоут «Наездника», калеча матросов, сверху рухнут обломки дерева, людей опутают узлы рваного такелажа. Чайковский, поставив ногу на ступень трапа, покуривал сигару. Его опытный глаз чутко реагировал на дистанцию.

– Красиво идет Шарло – можно позавидовать! – Два клипера сошлись уже так близко, что не надо было кричать, и Петр Иванович, не повышая голоса, спокойно передал Деливрону: – Эй, если тебе так хочется, так целуй нас поскорее…

Расчет Деливрона был ювелирным: блок на ноке грота-рея «Разбойника» звонко ударился в блок фока-рея «Наездника», будто два приятеля, радуясь встрече, чокнулись бокалами. Мимо пронесло громаду клипера, с которого крикнули:

– Never mind, Captain, all right!

– Благодарю, – отвечал Атрыганьев. – Вы были столь деликатны, что у нас не проснулись ни кот, ни поп, ни доктор. Но с вас бутылку шампанского за разбитый блок… слышите?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Адмирал Лесовский нарочно перегнал лихого «Разбойника» в Чифу, чтобы поддержать «Наездника» в его одиночестве, и китайские канонерки убрались в Вэйхайвэй. Англичане были явно шокированы высоким маневренным мастерством русских, командир крейсера нанес офицерам клиперов краткие вежливые визиты. Однако международной дружбы кораблей, какая обычно завязывается на пустынных рейдах, не возникло. Да и откуда ей быть?..

Капитан второго ранга Деливрон появился в кают-компании «Наездника», широким жестом выставил шампанское:

– Если вы такие бедные, так вот вам за разбитый блок…

Его спрашивали – какие новости на эскадре?

– «Дядька Степан» ногу сломал. Во время шторма. Разлетелся, как всегда, по палубе и ногой под вантину – крак! Теперь флагманская «Европа» заляпана гипсом, словно больница. Но старик счастлив: его Клавдия Алексеевна облачилась в балахон Красного Креста, что дает ей право быть подле мужа на корабле. Очень милая и симпатичная особа…

Пребывание на рейде Чифу было столь тягостно, что впору запить, посему офицеры клиперов договорились вообще не пить ничего, кроме чая. Оттого и разговоры были серьезные, без присущего морякам «трепачества». Молодежь с «Наездника» не могла налюбоваться на кавторанга Деливрона – это был человек смелый и дерзкий! Потомок французских аристократов, которые спасались от гильотины в России, он наперекор истории выписывал чересчур сложную циркуляцию. Внук роялистов, кавторанг превратился в ярого демократа, высказывая порой страшные вещи о неизбежности революции в России, но, как истый француз, перестрадавший катастрофу под Седаном, он не забывал лягнуть и Германию:

– Немцы утверждают, будто мы, скифы, владея мощью армии и флота, помогаем кайзеру душить стремление немцев к революции, и она бы непременно случилась в Германии, если бы не мы, русские вандалы, со своими гармошками и блинами, с балалайками и самоварами. Но помилуйте! – восклицал Деливрон. – Россия давит на свободу в Германии, она сдерживает всю эту сволочь во главе с Бисмарком и его генералами. Мы еще посмотрим, – угрожал Шарло, – кто после моей Франции начнет революцию раньше – отсталая Россия или передовая Германия?..

Больше месяца «Наездник» с «Разбойником» томились в Чифу, выжидая разрыва дипломатических отношений. Наконец, пощадив их, Лесовский пригнал «Забияку» на смену одному из клиперов – по жребию! На нейтральной палубе «Забияки» бросали жребий: «Наезднику» выпало счастье покинуть опостылевший рейд. Забрав от посольства в Пекине обширную почту для «дядьки Степана», клипер уже снялся с якоря, когда вдруг вспомнили, что на берегу оставили белье в стирке – у китайских прачек. И хотя жаль было терять почти все исподнее и постельное, но желание убраться из Чифу оказалось сильнее:

– Черт с ними, с этими тряпками, наживем другие…

После быстрого бега по волнам перед ними открылась прекрасная панорама Нагасаки. «Наездник», словно гарцуя в манеже, четко обрезал корму флагманской «Европы» и подлетел к «Джигиту», сверкая покрашенными бортами:

– Эй, джигиты! Как дела в Нагасаки?

– Эскадра уходит в Иокогаму.

– А зачем – знаете?

– Нас желает видеть японский микадо Муцухито…

Разгадав нетерпение Коковцева, старший офицер сразу же отпустил его на берег, но мичман скоро вернулся на клипер, и по его лицу Эйлер догадался, что случилась беда.

– Окини-сан пропала… ее нигде нет.

Да, опустела Иноса, золотые рыбки в пруду перестали вилять золотыми хвостиками. А ресторатор Пахомов сам ничего не знал и вернул мичману деньги, полученные из Чифу:

– Поставьте крест на ней и не мучайтесь, уж чего-чего, а этого-то добра в Японии хватает…

Ленечка Эйлер не стал утешать Коковцева:

– Скажи чистякам, чтобы привели в порядок твой парад. Муцухито будем представляться в треуголках, при саблях…

Коковцев, убежав в каюту, захлопнул иллюминатор, чтобы не видеть огней Иносы, когда-то манящих своим теплом, почти человеческим… «Все пропало! Все, все…»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тронулись! Через Симоносекский пролив корабли проникли в Средиземное (внутрияпонское) море, прикрытое с океана обширным островом Сикоку; слева осталась неприметная уютная Хиросима, справа колебались на воде огни Мацуямы; ночью двигались осторожно – в карнавальной пестроте фонарей джонок слышались тягучие рыбацкие песни.

Давно уже не доводилось видеть таких чудесных ландшафтов. Покрытые хвойными лесами, высились конусы погасших вулканов, в долинах росли пальмовые и бамбуковые рощи. Русских очень удивляло множество деревень и преизбыток людского населения. Всюду купались голопузые японские ребятишки, а молоденькие японки, не стыдясь наготы, подплывали к бортам кораблей, протягивая зажатых в руках плещущих серебром рыбин:

– Тай, тай, русики! – кричали они с воды.

Это не было искаженное: «дай, дай», – японки дружелюбно предлагали русским кету (тай), только что выловленную их мужьями. Растрогавшись, лейтенант Атрыганьев сказал:

– Уж сколько я плаваю на Дальнем Востоке, а лучше Японии ничего нету. И как это замечательно, господа, что нас здесь любят, а страна эта близка нашей России…

Перед выходом в Тихий океан ненадолго зашли в Кобе, где восхищались водопадами, в шуме которых, на зеленых лужайках, ютились чайные домики с приветливыми веселыми гейшами. Атрыганьев не удержался и, взлягивая длинными ногами, показал, как пляшет канкан мадмуазель Жужу из сада-буфф «Аркадия», чем очень позабавил японок. Отсюда, от Кобе, начинались провинции, славящиеся красотой женщин. Было очень жарко. Над мостиками натянули белые прохладные тенты. Чайковский сказал, что скоро будет видна Фудзияма, а минер Атрыганьев пытался развеять печаль мичмана Коковцева:

– Золотая иголка в стоге душистого сена… забудь ее!

– Разве могу я забыть Окини-сан?

– Но забыл же ты Ольгу в Петербурге!

– Мне уже не верится, – ответил мичман, – что в Петербург вернемся. Порою кажется, здесь и останемся навсегда…

Иокогама открылась к ночи видом Фудзиямы и большим пожаром (какие в японских городах, строенных из дерева, бамбука и бумаги, случались часто). Командир стал волноваться:

– Жаль бедных японцев… чем бы помочь им?

Срочно собрали «палубную команду», приученную к схваткам с водой и огнем. Коковцев возглавил эту деловую ватагу, до зубов вооруженную топорами, переносными помпами и рукавами шлангов с «пипками». Появление русских на пожаре японцы встретили радостными возгласами. Забивая пламя водой из соседних прудов, матросы кулаками расшибали пылающие домишки, похожие на шкатулки, не давали огню перекинуться далее. Чумазые и довольные, вернулись на клипер глубокой ночью. Коковцев совсем не выспался, но его рано разбудило бренчанье посуды, перемываемой вестовыми в офицерском буфете.

– Ехать так ехать, – сказая мичман, зевая…

Поезда из Иокогамы в Токио отрывались от перрона каждые сорок минут, а шли они со свирепой скоростью, что даже удивляло. Всю дорогу офицеры простояли возле окон. Квадраты рисовых полей были оживлены фигурами согбенных крестьян, стоящих по колено в воде; над их тяжкою трудовой юдолью кружились журавлиные стаи. Русских удивляло отсутствие домашнего скота и сельской техники – японцы все делали своими руками, а широкие шляпы из соломы спасали их от прямых лучей солнца. Экспресс с гулом, наращивая скорость, проносился вдоль каналов, застроенных дачами столичных богачей и сановников императора.

Токийский вокзал, на вид неказистый, встретил гостей суматохой, свойственной всем столицам мира, только здесь было больше порядка и никто не зарился получить чаевые. В этом году открылась обширная ярмарка в парке Уэно, офицеры отдали дань почтения бронзовым Буддам в деревянных храмах, покрытых нетленным лаком, надышались разных благовоний в кумирнях, закончив утомительный день на торговой Гинзе, где за гроши скупали всякую дребедень, посмеиваясь:

– Для подарков знакомым в России сойдут любые «дровишки». Нашим что ни дай японское – за все скажут спасибо…

На следующий день состоялся парад. Офицеры с эскадрой Лесовского заняли на плацу отведенное им место, выстроившись позади русского посла К. В. Струве и чиновников его посольства. Регулярные войска Японии они подвергли суровой критике за небрежный вид, за плохое оружие. Англичане, конечно же, не удержались и продали японцам свои палаши времен Ватерлоо, которые малорослые японцы таскали по земле. Наконец показалась карета в сопровождении уланов, неловко сидящих на лошадях, впереди с развернутым штандартом проскакал адъютант микадо… Струве обернулся к офицерам:

– Господа, вы же не дети – перестаньте шушукаться!

Принц Арисугава, взмахнув саблей, скомандовал оркестру играть гимн, в мелодии которого Ленечка Эйлер сразу уловил большое влияние парижских кафешантанов, о чем он тут же и сообщил офицерам…

Струве сердито прошипел ему:

– Наконец, вы, господа, ведете себя как мальчишки…

Молоденькая микадесса Харухо лишь выглянула из кареты, моментально спрятавшись обратно, как испуганный зверек, а сам Муцухито вышел на плац – маленький подвижный человек с внимательными глазами на оливковом лице. Пересев на лошадь, накрытую травяным вальтрапом и золотыми пышными хризантемами, он неторопливо объехал войска, после чего солдаты, топоча вразброд, продефилировали перед ним в церемониальном марше. Офицеры опять подвергли критике все увиденное ими:

– Во, сено-солома… Разве же так русские солдаты ходят? Коли идут, так земля трещит! Далеко японцам до нас…

Микадо, не сказав никому ни слова, уже садился в карету, его адъютант подошел к офицерам с русских кораблей.

– Императорское величество, – сказал он, – интересуется, – кто из вас, господа, помогал тушить пожар в Иокогаме.

– Это был я, – отозвался Коковцев, заробев.

Японец укрепил на его груди орден Восходящего солнца. Мичмана поздравили вице-адмирал Кавамура и военный министр Янамото, а посол Струве приподнял над головою цилиндр. Затем было объявлено, что Муцухито, выражая морякам России особое благоволение, разрешает им осмотреть военные базы в Овари и гавань Тобо, закрытые для других иностранцев…

«Наездник» снова окунулся в сверкание моря. Доверие, оказанное японцами, приятно щекотало русское самолюбие, а Чайковский по-стариковски брюзжал, что самураи ничего путного не покажут. Высадились в бухте Миа, возле города Нагойя; влияние Европы здесь сказывалось гораздо меньше, нежели в Токио или в Нагасаки, но гостиница все же называлась «Отель дю Прогрэ» (хотя весь прогресс ограничивался наличием стульев, ножей и вилок). Спать пришлось, опять-таки упираясь затылками в жесткие макуры. Утром офицеров навестили губернатор Намура и генерал Ибисан, оба в европейских фраках и при цилиндрах; оставившие свою обувь при входе самураи нелепо выглядели в белых носках-таби. Обещая ничего не скрывать от русских, они, напротив, не столько показывали им запретное, сколько утаивали его.

Недоверчивый Чайковский бубнил:

– Я так и думал… что с них взять-то?

Зато Нагойя была чудесна! Город издревле соперничал с Киото в искусстве гейш, воспитанных на манерах «сирабуёси», истоки которых терялись в «эпохе Тоба» XII века, и русские офицеры охотно посетили уроки танцев девочек-майко, будущих куртизанок. Педагогический институт и гимназия поразили умопомрачительной чистотой. Студенты и гимназисты с особым почтением кланялись Восходящему солнцу на груди мичмана Коковцева. Это дало повод Атрыганьеву заметить, что Вовочка, при всей его бедности, может здорово разбогатеть, ежели станет показываться на Нижегородской ярмарке купцам за деньги.

– Гафф! – оскорбился мичман…

Вечером губернатор Намура устроил для русских ужин. Прислуживали японки удивительной красоты, которых портила, как всегда, густая косметика.

Во время еды, усиленно помогая русскому пищеварению, восемь почтенных стариков в белых киримонэ непрерывно стучали палками по восьми барабанам. Когда они ушли, Атрыганьев сказал:

– Наверное, сейчас нам покажут что-либо секретное, чего никто из европейцев не видел. Недаром же приказал сам микадо!

Японцы не подвели: одна из бумажных стен зала вдруг стала наполняться густым малиновым заревом и непонятным подозрительным шумом. Это явление развеселило шутников:

– Кажется, горим… не пожар ли?

Но мичману Коковцеву снова выпал случай отличиться перед японским микадо…

Присутствие в городе, из которого явилась Окини-сан, действовало на Коковцева угнетающе, он не был расположен к юмору и с мрачным видом послал шутников ко всем чертям. Стенка, за которой бушевал мнимый пожар, неожиданно исчезла. В глубокой галерее, освещенной красными фонариками, возникла волшебная пантомима. Колыша веера, гейши не столько танцевали, сколько переходили с места на место – мягкими кошачьими шажками, будто подкрадывались к добыче. А каждый их жест или поворот тела таил в себе богатую символику никому не понятных признаний и откровений.

Когда офицеры возвращались в «Отель дю Прогрэ», Чайковский сказал, что самураи ничего не показали.

– Позвольте! – хохотал Атрыганьев. – Но гейш-то они полностью разоблачили перед вами, а вам все еще мало?

– Ну их, – отвечал Чайковский. – Все они почти бестелесны, будто их вырезали ножницами из красивой бумаги. Зато вот, помню, в Алжире… Геннадий Петрович, были в Алжире?

– А как же! – отозвался Атрыганьев. – Только там я и понял, как царице Савской удалось соблазнить царя Соломона, после чего старик и впал в библейскую мудрость…

Через день, заманивая русских подальше от доков и арсеналов, японцы отвезли их на образцовую бумагопрядильную мануфактуру, губернатор Нагойи с упоением хвастал, что Япония уже обогнала несколько ткацких фабрик в Англии:

– Мы ничего от вас не скрываем! Вы сейчас и сами убедитесь, что мы работаем быстрее, лучше, дешевле…

В грохоте ткацких станков, снующих локтями деревянных сочленений, в мути едкой удушливой пыли, ряд за рядом сгибались сотни японских женщин, все как одна обнаженные до поясов, их почти детские тела маслянисто блестели от мелкого пота. Они, казалось, не видели ничего, кроме бегущего вдаль движения ниточной паутины… Офицерам флота, избалованным всякой экзотикой, было совсем нелюбопытно посещение этой сатанинской кухни; они вяло переговаривались между собою:

– Если и правда, что японки из Нагойи самые красивые, то их красоту и грацию японцы используют не совсем удачно.

– Да, эти Пенелопы быстро превратятся в старые мочалки, никакой Улисс не сыщет в них следов былой красоты.

Именно в этот момент Коковцев увидел Окини-сан… Но она-то, конечно, не видела ничего, поглощенная бегом нескончаемой нити – длиной в целую жизнь. «Как быть?..»

Коковцев подошел к ней из-за спины, сказав:

– Это я! Вечером постарайся быть в «Отеле дю Прогрэ», я дам тебе билет на пароход в Нагасаки…

Только по тому, как вздрогнули ее плечи, мичман догадался, что Окини-сан плачет. Но мичман тут же заметил, что одинаково с нею содрогаются плечи и всех других работниц, безжалостно потрясаемые чудовищным ритмом новой Японии – Японии «эпохи Мэйдзи», в которой Страна восходящего солнца не будет иметь пощады – ни к самим себе, ученикам, ни к тем, кто был их учителями… И ничего больше самураи русским не показали! А когда эскадра Лесовского вернулась в Нагасаки, берега Японии долго трясло в затяжном шторме, с домов рвало крыши, и ходили слухи, что море поглотило пять пассажирских пароходов. Коковцев не верил, что море будет безжалостно к нему и к его любви… Буря, буря! Страшная буря…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

С тех пор как в 1588 году пират Дрейк, встречая на борту корабля английскую королеву Елизавету (известную своим безобразием), сделал вид, что ослеплен ее красотой, а потому вынужден заслонить глаза ладонью, – с тех самых пор воинское приветствие стало традицией. Правда, на флоте «козырянием» не баловались – в тесноте отсеков или на мостике людям не до этого! Но зато возле наружного трапа, при встрече начальства, офицеры надолго застывали с рукою у козырька…

Адмирал Лесовский указал клиперу «Наездник» принять вице-адмирала Кавамуру с дочерью-фрейлиной О-Мунэ-сан и посла Струве с женою; если японец пожелает видеть взрыв мины – не отказывайте ему! Прибытие высоких гостей совпало с вахтой Коковцева, и он очень долго не отрывал руки от фуражки, пока по трапу не втащили толстую Марью Николаевну, госпожу посланницу, которую не слишком-то деликатно подпихивали в «корму» фалрепные матросы, одетые в белые голландки с обрезанными рукавами. В кают-компании клипера Кавамура вел себя скромно и сердечно, удостаивая улыбкой даже «чистяков», сервировавших стол для завтрака. Он не скрывал, что раньше был сторонником сёгуната Токугава.

– Я самый настоящий японский самурай и таковым останусь, – произнес он без тени аффектации, как иные люди говорят о себе, что они блондины и перекрашиваться нет смысла…

Еще недавно самурай, покупая клинок, обретал право «мамэсигири» – отрубить голову первому встречному, испытывая на его шее остроту меча. Теперь, деклассированные «эпохой Мэйдзи», самураи кинулись к новым видам оружия – офицерами в казармы и в рубки кораблей, чиновниками в банки, заправилами на заводы, дипломатами в посольства.

После сильного шторма море еще не могло успокоиться: плоско, но тяжело гуляла океанская зыбь, которая иногда бывает хуже бури. «Наездник» бежал по волнам, красивую дочь Кавамуры укачало, и она ушла наверх. Вцепившись в снасти, фрейлина застыла над бочкой с водой, служившей матросам для бросания в нее окурков. Струве просил вахтенного офицера пригласить ее в общество к моменту произнесения тоста за дружбу двух императоров – русского и японского. Не так-то легко было оторвать красавицу от бочки! Коковцев верно рассудил, что фрейлине сейчас не до политики. Он подхватил японку на руки и, балансируя на шаткой палубе, удачно спустился по трапу в жилые отсеки. Странное дело! От волос О-Мунэ-сан исходил привычный запах, напомнивший ему Окини-сан… Словно догадываясь, как ему сейчас трудно, фрейлина крепко обняла его за шею. Бросаемый со своей ношей от борта к борту, Коковцев шел вдоль длинного офицерского коридора, из своей каюты его страдальчески окликнул пластом лежавший фон Эйлер:

– Вовочка, что за красивый мешок у тебя?

– Это не мешок – фрейлина.

– Куда ж ты ее тащишь?

– На диван. И поставлю ей тазик…

Потом мичман вернулся в кают-компанию и сказал Кавамуре, что его дочь в адмиральском салоне, где ей обеспечен приличный комфорт. Этим он заслужил одобрительный оскал зубов старого самурая… «Наездник» сильно вздрогнул, вибрируя корпусом. Струве постучал лезвием ножа по пустому месту, ибо тарелка уехала от него подальше – на другой конец стола.

– Я хотел бы отразить следующий этап в истории наших симпатичных отношений с Японией, – разливался Кирилл Васильевич (которому с большим любопытством внимала его жена), а тарелка, повинуясь законам качки, сама по себе вернулась к послу России, и Струве с большим опозданием постучал по ней ножиком.

Промокший до нитки, явился сверху лейтенант Атрыганьев:

– Честь имею доложить – мина к взрыву готова!

Кавамура поднялся из-за стола, и офицеры с уважением отметили, что боевой самурай отлично держится на палубе.

– Взрыв мины – это очень интересно для моей дочери! Завтра же она расскажет об этом случае микадессе Харухо…

Чайковский на этот намек отреагировал мгновенно:

– Вахтенный офицер, прошу вас – распорядитесь…

Коковцев отделял фрейлину от дивана с таким же рвением, с каким недавно отрывал ее от бочки с окурками. Не надеясь, что она сведуща в языке английском (а сам беспомощный в японском), мичман бестолково решил объясняться по-русски:

– Я бы вас не тревожил, но ваш отец сказал, что вы любите взрывы. Я согласен ждать, но мина ждать не станет…

Миною с «Наездника» была взорвана прибрежная скала, но фрейлина, измученная качкой, даже не дрогнула, зато ее папаша был крайне внимателен ко всем действиям русских минеров. Струве желал высадиться в ближайшей бухточке, дабы устроить пикник, но Кавамура сказал:

– Для моей дочери виденного вполне достаточно!

На прощание О-Мунэ-сан слабо пожала руку Коковцеву, после чего сказала ему на хорошем французском языке:

– Я вам так обязана, господин мичман! Если будете в Петербурге, возможно, мы с вами еще не раз встретимся. Впрочем, – добавила она, потупив глаза, – я живу на даче в Тогицу, это всего лишь десять верст от Нагасаки… Ждать ли мне вас?

К мичману, растерянному от такого внимания фрейлины, вдруг подошел вице-адмирал Кавамура со свертком в руке:

– Вы встречали меня у трапа и ухаживали за моей дочерью. Я желаю выразить вам свою признательность. – Он развернул сверток, в нем оказался самурайский меч с рукоятью, обернутой в шкуру акулы (шершавой, как наждак). – Такой меч уже никогда не вырвется из руки! Он способен одинаково хорошо рассекать пополам стальные гвозди и даже тончайший женский волос, плавающий на водной поверхности.

Коковцев отдал честь, как бы заслоняя глаза от яркого солнца. Ничто еще не было решено, да и решится все не так, как он думал. В кают-компании после отбытия гостей царил настоящий погром. Чайковский велел «чистякам» поскорее убрать осколки посуды, разбитой во время качки. Коковцев заглянул в лоцию: Тогицу лежала на берегу залива Омуру, откуда вытекала речка, бегущая прямо к Иносе.

– О-Мунэ-сан прелесть, – искушал его Атрыганьев. – Даже очень хороша… На твоем месте я бы поехал в Тогицу!

Минер пригляделся и снял что-то с плеча мичмана:

– Откуда у тебя такой длинный женский волос?

Наверное, его оставила на плече О-Мунэ-сан, когда мичман нес ее с палубы до салона. Коковцев протянул руку:

– Давай! Сейчас я этот волос разрублю пополам…

Меч оказался бритвенной остроты.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Потрепанный штормом пароход пришел в Нагасаки с большим опозданием, и снова зажглись фонари на террасах в иносском саду Окини-сан.

Окини-сан с нетерпением ожидала конца августа:

– Скоро будет праздник дзюгоя, и мы проведем его вместе. В этот день, голубчик, нам будет особенно хорошо…

О случившемся с нею известились офицеры эскадры, единодушно признавая, что женщина поступила благородно: «Дай-то, бог, всем нашим женам сохранить такую же верность, как эта „мусумушка“…» Все удивлялись! Но сама Окини-сан ни разу не выразила удивления тому, что Коковцев случайно отыскал ее: случайность для всех – для японки была неведомым законом постоянства любви. Коковцев лишь смутно догадывался, что у этой женщины свой необозримый мир, никак не схожий с его мироощущением. Только теперь, после долгой разлуки, Окини-сан сделалась откровеннее. Она рассказала, что ее предки три столетия подряд были заняты одним постоянным делом: они жарили угрей на продажу подобно тому, как в других семьях веками ковали мечи, плели татами или убирали мусор на улицах. Округлив свои глаза, обычно узкие, Окини-сан шептала мичману, как сложно иметь дело с коварными угрями:

– Множество злых духов сторожат их от беды, а мои предки, прежде чем жарить угрей, произносили массу заклинаний, оберегая себя и свои противни от всяческого зла…

Вскоре стало ясно: пока в Петербурге дипломаты не договорились с Пекином, клиперу с Дальнего Востока не уйти – он превратился в «стационар». Отчасти эта задержка выпала кстати: возникло немало поломок в корпусе, потекли холодильники и зашлаковались котлы, а ремонтная база в Нагасаки была отличной, и теперь японские мастера, работая на совесть, с утра до ночи ковырялись в утробе клипера. Но затянувшаяся стоянка расслабила офицеров: отстояв вахту, они спешили к своим «мусумушкам», многие из которых были уже беременны. Это никого в Иносе не тревожило, тем более что офицеры зачастую брали японок с чужими детьми, неизменно уделяя им долю и своего «отцовского» участия.

Японцы никогда не отличались рыцарским отношением к женщине. Сделать себе харакири в момент неудачи или сложить голову во славу микадо – это они умели, но… женщина?

Понятно, что русские офицеры, воспитанные совершенно иначе (традициями, литературой и понятием чести), оказывали «мусумушкам» неподдельное внимание, стараясь по-рыцарски услужить им, ибо они… женщины, и этим все сказано! В сложном быту Иносы соблюдалась удивительная, неподкупная простота. Временность стоянки лишь подстегивала чувства, а денежный вопрос здесь никого не оскорблял – его попросту не касались. По заведенному в Иносе порядку, мусумэ домашнего хозяйства не заводили, обеды заказывались в ресторанах. Жили широко и даже бездумно, в Японии тогда все стоило баснословно дешево.

Близился японский праздник дзюгоя. Ничего не зная о сути праздника, Коковцев ожидал чего-то необыкновенного, но Атрыганьев поспешил разрушить очарование мичмана:

– Дзюгоя – обычное календарное полнолуние, но японцы в эту ночь стихийно превращаются в лунатиков. Сам увидишь!

Японская женщина не имела права вмешиваться в разговоры мужчин. Но в русских компаниях, зараженные европейской общностью, японки становились веселыми, хохотливыми, иногда даже язвительными на язычок, ловко подмечая мужские слабости. Беспечные разговоры затягивались до глубокой ночи, пока кто-либо не поднимался с татами, щелкнув крышкой часов:

– Мне на вахту, господа. Ну, пока… сайанара!

В одну из таких ночей, когда гости покинули их, Коковцев спросил Окини-сан, почему она не вышла замуж, как и все порядочные женщины. Лучше бы он и не спрашивал ее об этом.

– Обещай, что не прогонишь меня, если я расскажу тебе все… Я родилась в году Тора, который повторяется каждые двенадцать лет. И все женщины моего года обречены на одиночество и презрение. Мужчины избегают нас, не желая с нами общаться. А если бы и нашелся муж, я бы доедала после него объедки, на улице я бежала бы за ним только сзади, в гостях или в доме родителей мужа, пока он там пирует, я должна бы стоять под окнами и ждать его, как собака… хуже собаки!

– Отчего такая жестокость? – поразился Коковцев.

– Потому что мы приносим мужчинам несчастья, и я боюсь, что и тебе, голубчик, доставлю горе… Зато наш сын, если он родится в год Тора, это будет для него счастьем: мужчины Тора самые смелые, их все очень любят, и что они ни скажут – все становится законом для других…

Старая токугавская Япония еще держала Окини-сан в себе, и женщина, как заметил Коковцев, радовалась тому, что его не радовало, и огорчалась тому, чего он не понимал. В пятнадцатую ночь августа все огни в Нагасаки погасли – луна вступила в свои права. Окини-сан отворила дом для лунного света.

– Разве ты не видишь, как хорошо? – спросила она. – Я угощу тебя сладким моти, мы будем есть прекрасное дзони…

На низенькой подставке женщина с большим вкусом создала великолепный натюрморт из цветов и фруктов, она обсыпала его зернами риса. А фоном для этой картины служило небо, и женщина просила сесть лицом к лунному свету, отчего Коковцев испытал очень странное волнение:

женщина – ночь – луна – затишье – вечность…

Ему снова подумалось, что душевный мир японки гораздо богаче, нежели его мир. Тихо, почти шепотом, она спросила:

– Нас никто не слышит?

– Нет.

– А мы с тобой вместе?

– Да.

– И ты меня любишь?

– Да…

Удивительный праздник еще не закончился!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Желая подтянуть своих разболтавшихся офицеров, Лесовский выгнал эскадру в море на практические стрельбы. Коковцев по боевому расписанию руководил носовым плутонгом. Там возле пушек стояли кранцы (ящики), в которых береглись снаряды «первой подачи», заранее франтовато начищенные – на случай начальственных смотров. Дула орудий, чтобы в них не попала морская вода, были заткнуты особыми пробками. Хотя всем ясно, что перед стрельбой пробку надобно из дула вынуть, но в практике русского флота бывали прискорбные случаи, когда, торопясь с открытием огня, вынуть ее забывали.

– Вы об этом помните, – предупредил Чайковский.

– Есть! – обещал Коковцев…

Корабли расстреливали в море пирамиды артиллерийских щитов. «Наездник» тоже нащупал цель. Огонь! И с первого же выстрела, опережая в полете снаряд, с грохотом и дымом вылетела эта дурацкая пробка. Лесовский с флагмана запрашивал: «Чем стреляли?» Пришлось честно сознаться: «Пробкою». «Дядька Степан» распорядился оставить командира носового плутонга на всю неделю без берега. Чайковский бранил Коковцева:

– Вы еще смеете извиняться! Лучше скажите мне спасибо, что к дверям вашей каюты я не поставлю часового с ружьем, иначе даже в гальюн будете бегать под конвоем…

Эйлер сообщил Коковцеву, что «Наездник», кажется, оставят в Сибирской флотилии с базированием на Владивосток:

– Тогда я сразу же подаю в отставку. Я давно мечтаю учиться в парижской «Ecole Polytechnique», а здесь что?

Коковцев сказал, что останется на клипере:

– Тем более сибиряки ходят на докование в Нагасаки.

– А! Вот ты о чем. Но, послушай, – доказывал ему Эйлер, – нельзя же строить планы жизни, учитывая и эту японку. В конце концов, все мы небезгрешны. Но, вернувшись на Балтику, самой жизнью и наличием эполет мы осуждены создавать семейное счастье по общепринятым образцам. Разве не так?

– Может, и так, – пожал плечами Коковцев…

В кают-компании клипера иногда возникали разговоры о Японии: друг она или затаенный враг? Мир уже испытал первые уколы японской агрессивности, но политики Европы, кажется, восприняли их как некую «пробу пера», сделанную самураями на лишней бумажке, которую впору выкинуть. Эйлер говорил:

– Пока японцы лишь удачно копируют окружающий мир. Но что станется с Японией, если она, как разогнавшийся паровоз, слетит со стандартных рельсов и помчится своим путем? Если Японии надо бояться, то… когда начинать бояться?

Петр Иванович Чайковский неожиданно заговорил, что если Япония и правда затаила в себе будущую угрозу России, то эту угрозу надо учитывать без промедления.

– Вот с этого дня, и не позже! – сказал старший офицер. – Кавамура еще способен воевать с китайцами и корейцами, но те адмиралы, с которыми нам, очевидно, придется еще сражаться на океанской волне, служат пока гардемаринами и мичманами… Вы, молодые люди, не верите мне? Жаль. Тонуть-то вам, а не мне. Я буду уже на пенсии, играя по вечерам в кегельбан на Пятой линии Васильевского острова… Вот там можете и навестить меня тогда – на костылях!

Никто не пожелал развивать эту тему дальше, а Окини-сан была восхитительна, как никогда. Коковцев еще ни разу не застал ее врасплох, неряшливо одетой или непричесанной. Как она умудрялась постоянно быть в форме – непонятно, но, даже проснувшись средь ночи, мичман видел ее с аккуратней прической, лицо женщины казалось только что умытым, а глаза излучали радость. И не было еще случая, чтобы Окини-сан хоть единожды вызвала его недовольство. Но даже когда он сам бывал виноват, японка сохраняла нерушимое спокойствие, ничем не выразив своей обиды… А осень была томительно жаркой, на ночь раздвигали стенки дома прямо на рейд, и, лежа подле Окини-сан, мичман видел вспыхивающие клотики кораблей, огни Нагасаки, с неба струились отсветы дальних звезд…

– Ты не спишь, голубчик?

– Не спится.

– Хочешь, я расскажу тебе сказку?

– Да.

– Но она очень смешная.

– Тем лучше.

Возле своих глаз он увидел ее блестящие глаза:

– Далеко на севере жил-был тануки…

– Кто жил? – не понял Коковцев.

– Тануки. Тануки жил очень хорошо. Он любил музыку, а животик у него был толстенький… как у меня! Когда наступали зимние вечера, тануки стучал себя лапкой по животику, будто в барабанчик, и ты смотри, как у него это получалось. – Распахнув на себе кимоно, Окини-сан выбила дробь на своем животе. – Разве тебе не смешно? – спросила она.

– Очень. А что дальше?

Пальчиком она провела по его губам:

– А сейчас ты начнешь смеяться, голубчик…

И он действительно смеялся над проделками японского зверька тануки, делового и хитрого. Но сюжет этой сказки Коковцев помнил со слов деревенской няни, только ее героиней была хитрая русская лисичка с пышным хвостом. С этим он и заснул, преисполненный удивления. На его плече спала Окини-сан, которая в любой позе сохраняла сложную прическу «итагаэси». Отверженная, она ведь знала, что много будет в ее жизни разных причесок. Но никогда не собрать ей волосы в купол «марумагэ», как это делают замужние женщины. Ей доступно лишь то счастье, которое она дарит другим…

Утром в Нагасаки ворвался клипер «Разбойник»!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Амбушюр переговорной трубы, опущенный с мостика в кают-компанию, хрипло выговорил, что «Разбойник» собирается резать корму адмиральской «Европы». Чайковский поленился идти наверх, уверенный, что Шарло Деливрон проделает этот маневр идеально. Коковцев видел бурун под носом клипера, когда он первый раз обрезал корму флагмана. Но «дядька Степан» велел обрезать корму еще круче. «Разбойник» разошелся с крейсером уже в одной сажени. «Ближе!» – потребовал Лесовский, после чего раздался скрипучий треск дерева и звон стекол…

– Все в порядке? – спросил Чайковский офицеров, гурьбой спешивших по трапу с палубы обратно в кают-компанию.

– Теперь порядок: «Разбойник» без носа, а на «Европе» все стекла вылетели. На эскадре сразу два инвалида!

Чайковский со вздохом отложил загасающую «манлу»:

– Вот уже второй раз Шарло гробит свою карьеру – с треском! Сейчас по лихости, а на Балтике, когда плавал старшим офицером на придворной «Александрии», по забывчивости…

– Но! – предупредил Атрыганьев. – Не станем наивно полагать, что у Шарло не было расчета и сейчас, когда он разворотил свой форштевень о балкон адмирала. Теперь, когда нос клипера всмятку, «дядька Степан» уже не пошлет «Разбойника» торчать на чифунском рейде…

Старший офицер сделал минеру строгое внушение:

– Геннадий Петрович, при всем моем уважении к вам, должен, однако, заметить, что нравы нашей эскадры не дают вам никаких оснований думать о нашем коллеге столь нехорошо.

– Извините, – покаялся Атрыганьев. – Я уважаю капитана второго ранга Карла Карловича Деливрона, но мне показалось странным, что он, способный «чокнуться» с нами нока-блоками, вдруг не сумел развернуть клипер в обрезании кормы.

– Его подвел глазомер, – заключил беседу Чайковский…

Ближе к зиме в Нагасаки усилилась влажность воздуха, отчего начал разлагаться порох в корабельных крюйт-камерах. А зима, по словам Чайковского, выпала очень суровой – по ночам термометры отмечали —1°. Однажды выпал и снег, русским было непривычно видеть под снегом хурму и хризантемы. Но японцев это не заботило: раскрыв над собой бумажные промасленные зонтики, они спешили по своим делам, на спинах курток дженерикш, ожидающих седоков, снег засыпал большие номера (какие носили и кучера в русских городах).

Христианское Рождество не волновало безбожную Окини-сан, поклонявшуюся, как язычница, травам и воде, цветам и камням, зато новый, 1881 год она мечтала встретить с Коковцевым.

– Если клипер оставят на рейде, – обещал ей мичман.

Чайковский что-то долго подсчитывал на бумажке:

– Господа! На рейде двадцать восемь иностранных килей под военными вымпелами. Каждому кораблю наш клипер обязан принести поздравления с Рождеством. Следовательно, каждый из офицеров выпьет двадцать восемь бокалов с шампанским – при условии, если над каждым килем выпивать по одному бокалу.

Атрыганьев сказал, что двадцать восемь бокалов даже для него многовато, тем более в кают-компании клипера немало молодежи, которая пить еще совсем не умеет. Лейтенант добавил:

– Конечно, я охотно провел бы с мичманами тренировку, но до рождения Христа осталось мало времени, боюсь, что после третьей бутылки мичман фон Эйлер уже не услышит, когда на крейсере «Оклахома» американцы, танцуя джигу, станут орать ему в самое ухо: «Янки дудль дэнди»!

– Я пас, – не стал возражать Эйлер.

– Я тоже, – сознался Коковцев.

– Все ясно, – рассудил Чайковский. – Поздравления будем делать в две очереди. Когда первая партия вольет в себя дозу шампанского, эстафету от нее примет вторая группа офицеров, еще свежая и бодрая, как спешащие на урок гимназисты.

С такой же разумностью поступили на кораблях всей русской эскадры, а иностранцы, не разгадав их секрета, были удивлены похвальной трезвостью офицеров российского флота…

Новогоднюю ночь Коковцев провел с Окини-сан.

Плавным жестом руки женщина потянулась к сямисэну:

У любимого дома —бамбук и сосна.Это значит —у нас Новый год.Нам все это знакомо,как и снег у окна.Но глаза мои плачут,зато сердце поет.Ах, никак не пойму,как возникла бедав этом слове моем —никому,никогда…– Если это новогодняя песня, то почему такая грустная?

– Наверное, потому, что грустная я! Близится год Тора, в котором я снова буду несчастна, делая несчастными других. Зато как счастлив будет мальчик, если он родится под знаком Тора – тигра… Ты ни о чем не догадался, голубчик?

– Прости. Нет.

– А разве ты виноват?

Она распахнула на себе кимоно и, обнажив живот, снова отбарабанила веселую музыку, как смышленый японский зверек тануки.

Ранней весной клипер «Наездник» ушел в Шанхай.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Китай пребывал в политическом оцепенении. Весь в прошлом, он имел лишь жалкое подобие министерства иностранных дел (цзунлиямынь), зато обладал министерством китайских церемоний, министерством пыток и наказаний. Мандарины до сих пор верили, что Поднебесная империя – пуп Земли, им нечему учиться у европейцев, которых они искренно считали своими вассалами [4] . Они продолжали верить, что народы всего мира – лишь подданные богдыханов, случайно вышедшие из рабского повиновения. Мандарины не совсем-то понимали, почему эти «вассалы», вроде Франции или России, не сносят к воротам Пекина обильную дань? И уж совсем не могли объяснить народу, с какой это стати вместо принесения даров европейцы грабят Китай через таможни, укладывают, где хотят, рельсы и грозятся переставить в Китае все вверх тормашками огнем своих канонерок…

В открытом море Чайковский объявил офицерам:

– Господа! Кульджинский кризис близится к концу. Россия принимает бегущих от резни уйгуров и дунган, отводя для их расселения наше плодородное Семиречье. Из цзунлиямыня обещали нашему государю не отрубать голов послам, которые вели переговоры в начале кризиса… Теперь, – заявил Чайковский, – назревает новый кризис, Англия не даст нам спать спокойно…

Но теперь следовало ожидать нападения англичан на Владивосток и Камчатку, совсем не защищенную. «А наш солдат, – рассуждали офицеры, – топает из Москвы до этих краев пешком два-три года. В любом случае британские крейсера опередят его… Пока нет железной дороги до Золотого Рога, наш Дальний Восток всегда будет лежать на краю стола, как отрезанный от каравая ломоть». Дальневосточную Россию англичане держали в неусыпной морской блокаде, фиксируя любое перемещение кораблей под андреевским стягом. Чайковский указал штурману клипера менять курс на траверзе Окинавы. Постепенно зеленоватая вода сделалась грязно-желтой от мощного выноса речных вод Янцзы. Эйлер полюбопытствовал:

– Простите, но зачем мы суемся в Шанхай?

– Для отвода глаз… Зашвартуемся. Возьмем для приличия уголь и воду. Пообедаем в ресторане. Матросам дадим разгул, чтобы не настораживались англичане. Но если вас, офицеров, станут спрашивать о целях захода в Шанхай, отвечайте, что пришли за почтой для Струве от местных консулов…

Шанхай имел славу китайского Сан-Франциско. Британские крейсера уже торчали здесь, прилипнув бортами к набережной своего сеттльмента. Едва с клипера успели подать швартовы, как послышался цокот копыт. По набережной, обсаженной платанами, ехала кавалькада амазонок – все красивые, рыжие, длинноногие, хохочущие. Вульгарно подбоченясь, они гарцевали перед русским клипером, с вызовом поглядывая на господ офицеров; экзотические ливреи с эполетами, аксельбантами и золотыми пуговицами непристойно облегали их тела.

Атрыганьев был уже знаком с местными нравами:

– Американки. Берут страшно. Но, поднакопив на этом деле долларов в Шанхае, уплывают к себе за океан, где каждая делает себе блестящую партию, а потом эту лейб-гвардию (Атрыганьев выразился грубее!) можно встретить на раутах в Белом доме у президента. С этими суками лучше не связываться… По себе знаю – хлещут виски, пока не свалятся…

Офицеры договаривались – где провести вечер? Матросы собирались в дешевый «Космополитэн», и Чайковский, задержав их на шканцах, строго велел, чтобы до еды руки мыли обязательно с мылом, чтобы следили за чистотой посуды.

– На вас станут кидаться размалеванные шлюхи, но вы голов не теряйте. О водке, братцы, забудьте! Пить разрешаю только ликеры и хересы. Полицию не задевать – в Шанхае полисменами индусы-сикхи, вы узнаете их по красным тюрбанам, и все они очень хорошо относятся к нам, россиянам…

На берегу рикши хватали офицеров за рукава мундиров, крича по-русски: «Ехал-ехал!» Было два Шанхая в одном Шанхае – европейский и китайский. Офицеры, наняв рикш, лишь краем глаза заглянули в китайскую жизнь. Многие сидели вдоль стен на корточках, бездумно глядя перед собой, а чаще лежали посреди мостовых – целыми семьями с детьми (у этих людей никогда не было даже крыши над головой). Зато была и другая крайность: если китаец не умирал от голода и наркотиков, он лопался от жира, и такого уже несли в паланкине, нарочито замедленно, чтобы все остальные могли рассмотреть, какой он важный, какие непомерно длинные отрастил он себе ногти на пальцах. Косы этих гнусных паразитов тащились за ними в уличной пыли, донельзя похожие на крысиные хвосты… Атрыганьев вспомнил знаменитое изречение Наполеона: «Китай спит. Пусть он спит и дальше. Не дай нам бог, если Китай проснется…»

– Уйдем отсюда, господа! – взмолился Коковцев.

Зато европейский Шанхай – гладкий асфальт тротуаров, комфортабельные отели, кафешантаны с раздеванием женщин, прекрасные универсальные магазины, в которых дешевые «скороделки» бисмарковской Германии соперничали с добротными викторианскими товарами. В тенистых парках чинно прогуливалась публика, беспечное веселье царило возле клубов и баров, работали лошадиные скачки и театры, с заезжими из Европы кумирами, англичане посвящали вечерний досуг лаун-теннису, а немцы со своими увесистыми супругами совершали по дорожкам парков моцион на велосипедах. Русские офицеры навестили ресторан с вышколенной китайской прислугой в голубых фраках.

Коковцева удивило здесь европейское меню:

– Стоило плавать в Шанхай, чтобы сжевать подошву британского бекона и запить его баварским «мюншенером».

Атрыганьев сказал, что китайцы могут подать ему окорок из жирного веселого щенка:

– Еще дадут рюмку фиолетового вина из печени гадюки, после которого мужчина начинает валить на землю телеграфные столбы, принимая их в темноте за женщин. Но учти, Вовочка, что экзотика в британском сеттльменте стоит очень дорого.

Коковцев и Эйлер все-таки заказали для себя самое дешевое китайское блюдо – пельмени из енота с кунжутным маслом. Рядышком пировали офицеры английского монитора, плававшие по Янцзы, словно по родимой Темзе. Поглядывая на русских, мониторщики о чем-то переговорили, затем рыжий коммандэр с очень короткими рукавами мундира, из-под которых торчали манжеты с хрустальными запонками, встал и подошел к русским.

Четкий кивок головой, резкий щелк каблуков.

– Мы рады видеть вас в шанхайском обществе. Но почему ваш доблестный клипер не обрасопил реи крест-накрест и почему вы явились без траурного крепа на кокардах, а веселитесь, ничем не выражая скорби верноподданных?

Коммандэр оставил на столе газету «Shanghai Courier», перелистав которую мичман Эйлер ужасно огорчился.

– Какая потеря! – горевал он. – Вот, внизу петитом напечатано, что в Петербурге скончался композитор Мусоргский.

Все выразили недоумение: почему в знак траура по музыканту надо брасопить реи и закрывать императорские кокарды крепом? Атрыганьев забрал газету у Эйлера, вникая в заголовки.

– Итак, господа, первого марта сего года в Санкт-Петербурге бомбою революционеров разорван император Александр II, на престол Российской империи заступил его сын Александр III, о котором Европе известно, что он смолоду страдает врожденным алкоголизмом. Ничего не выдумал: читаю, что написано!

– Так, – задумался Эйлер. – Неужели пророчества Шарло Деливрона начинают сбываться?..

Чайковский встретил офицеров словами:

– Я все уже знаю. Это известие дает нашему клиперу отличный повод быстро убраться из Шанхая. А незаметное исчезновение корабля из гавани есть признак высокой морской культуры. Запомните мой афоризм, господа! Но прежде нам следует дождаться возвращения команды.

К полуночи по набережной английского сеттльмента закачало белую волну рубах и брюк. Послышалась песня:

Что ты задаешься, Тонька из Кронштату?Я тебя не даром же зову.Я красивше стану в новеньком бушлату.Мы в пивной назначим рандеву.

– Кажется, – заметил Чайковский издалека, – идут сами. Тащить никого не надобно, и на том спасибо великое…

Я такую кралю бусами украшу.Будешь мармелад один жевать.Обобьем батистом всю квартиру нашу.Станем в коридоре танцевать…Командир клипера желал обрасопить реи, но старший офицер отказался посылать матросов по марсам и салингам:

– Ведь свалятся к чертям собачьим!

Экипаж очухался от угара шанхайского «Космополитэна» в открытом море. За один-то часок разгула – месяцы и годы каторжной житухи. Что делать? Человек не всегда выбирает судьбу сам – иногда судьба схватит тебя за глотку и тащит в самый темный угол жизни. В темный и жуткий, как матросский кубрик, где, прыгая с койки, обязательно наступишь босой ногою в визжащую от ужаса поганую крысу:

– А, зараза! Или тебе стрихнину мало?

Вылетали за борт чуть надкусанные бананы, матросы швырялись ананасами – душа изнывала в тоске по кислой капусте.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Атрыганьев отвел от своего лица длинный хвост обезьяны, дремавшей на качавшемся абажуре кают-компании:

– Цезарь не брал с народа деньги за хлеб. В третьем веке римляне не платили государству за хлеб и вино, за соль и мясо, за орехи и масло. Викторианская Англия до такого барства еще не дошла. Но четыреста миллионов людей (вдумайтесь в эту цифру, господа!) уродуют себе позвоночники в колониях, чтобы гордый сэр, излечивающий сплин за партией бриджа, или нежная костлявая мисс, озабоченная вопросами феминизма, никогда не заботились о хлебе насущном. У нас в России – да! – было крепостное право. Но мы, русские, никогда не имели колоний. И вот теперь я, русский дворянин, думаю…

– Вы закончили? – перебил минера Чайковский.

– Нет. Но я всегда готов выслушать вас.

– Благодарю. У меня краткое сообщение… Адмирал Лесовский указал нашим клиперам провести секретную экспедицию [5] . Будем искать необитаемый остров или бухту для базирования кораблей, плывущих из России на Дальний Восток. Чем безлюднее место, найденное нами, тем лучше для нас и дипломатов. Мы не собираемся никого колонизировать и даже вступать в сношения с туземцами – нам бы только завести склад угля, поставить сарайчик для слесарной мастерской. А русский консул в Сингапуре уже закупил уголь для нашего клипера…

Тридцать лет назад писатель Гончаров, плывший на «Палладе», застал в Сингапуре болотные джунгли, населенные тиграми. Теперь с берега посвечивали жерла британских батарей, а сами колонизаторы азартно играли в футбол (уже начинавший входить в моду). Атрыганьев, все на Востоке изведавший, говорил, что Сингапур городишко паршивенький, вроде азиатского Миргорода.

– И все дорого! Дешевы лишь ананасы в консервах. Но брать не советую: такие же ананасы у Елисеева на Невском двадцать копеек за банку, и не надо для этого мотаться в Сингапур…

Знаменитый Ботанический сад имел при входе доску с русской надписью: «ЦВЕТОВ И ФРУКТОВ НЕ РВАТЬ». Минера взбесило, что надпись сделана только на русском языке, и в ярости он нарвал цветов, обломал ветви с дикими плодами:

– Назло викторианцам! Почему они вдруг решили, что одни только мы, русские, способны быть варварами?..

В его вандализме была своя логика. Из сада поехали в ресторан при «Teutonic Club» (Тевтонском клубе). Ужинали при свечах до глубокой ночи. Давно загасли огни британских офисов и контор французов, но еще светились окна германского банка, на что обратил внимание один подвыпивший немец:

– Пусть они спят! Мы, немцы, продолжаем работать! Германия переполнена народом. Улицы наших городов кишат детьми. Немки рожают, как крольчихи. Скоро нам будет не повернуться. А потому именно мы должны победить в этой забавной игре…

Германия опоздала на пир колониального грабежа, теперь немцы наверстывали упущенное. На следующий день из казенных сумм офицеры закупили для всего экипажа пробковые шлемы, обтянутые полотном, с клапанами вентиляции на макушках. Очевидно, англичане что-то уже пронюхали, ибо консул сказал, что тонна угля с 30 шиллингов поднялась в цене до 60 шиллингов; он советовал клиперу идти до угольных станций в Пенанге или в Малакке…

Петр Иванович Чайковский был взбешен:

– Идиот! Пенанг с Малаккой тоже принадлежат англичанам, а Сингапур связан с ними телеграфом, и от шестидесяти шиллингов за тонну нам уже нигде не отвертеться. Volens-nolens, а засыпать бункера «черносливом» предстоит здесь…

Грузить уголь в этом адовом пекле – каторга, на которую колонизаторы нанимали негров или индусов, но русский флот всегда авралил своими силенками. Перетаскать с берега на своем горбу и ссыпать в узкие лазы бункеров многие тонны угля, когда сверху тебя поливает раскаленное олово тропического солнца, – это, конечно, наказание господне. Острые зубья кусков угля, разрывая ткань мешков, жестоко истерзали матросские спины. Черная слякоть забивала раскрытые рты.

– Пакли давай! – хрипели матросы, как удавленники.

Комками пакли они забивали рты, но через пять-десять минут выплевывали за борт черный комок, и снова – ругань:

– Пакли давай, мать вашу… Побольше пакли!

Ендовы с вином стояли открыты, но к ним никто не подошел: кому охота пить в такую жару? Чайковский боялся, как бы не было смертных случаев. Но в лазарет легли только трое.

– Солнечный удар, – пояснил доктор. – Отлежатся…

Ночью тихо убрались из Сингапура. Индокитай с Филиппинами давно был разграничен между англичанами, французами, испанцами и голландцами. В штурманской рубке, раскладывая карты экзотических проливов, офицеры клипера рассуждали об английской морской политике – беспощадной! Нет, англичане никогда не боялись, что кто-то отнимет у них базы, но они всегда были обеспокоены, чтобы никто не завел себе таких же хороших баз. Потому британские крейсера дежурили на коммуникациях мира ничуть не хуже, чем полисмены на перекрестках Лондона. В этом русские моряки скоро убедились и сами: стоило «Наезднику» приткнуться к пустынному берегу и постоять на якоре хотя бы сутки, как будто из-под воды являлся покрытый свинцовыми белилами крейсер, с которого их вежливо окрикивали:

– Не нужна ли помощь флота британской короны?

Мимо Явы плыли, словно мимо райского сада; правда, с берега иногда в клипер пускали отравленные стрелы, а по ночам не раз встречали пиратские джонки. Но в самых безлюдных местах обязательно находился англичанин (чиновник, врач, плантатор), спешивший к «Наезднику» с обычным вопросом – не нужно ли что передать в Сингапур с помощью британского телеграфа?

– Спасибо, не нуждаемся, – отвечали с клипера…

Море нехотя качало за бортом желтые скользкие волны. Матросы купались в парусе, который опускали за борт, образуя закрытый бассейн, через края которого заглядывали противные морские гадины с плоскими змеиными головами. Жарища была такая, что смола, пузырясь, выступала из пазов палубы, и казалось, что кровь уже закипает в жилах. Мичман Эйлер хотел выработать свою систему акклиматизации.

– Главное, – доказывал он, – лечь и не шевелиться. Тогда пот на тебе обсыхает, и можно дышать. Любое же движение превращает организм в аккумулятор потовыделения…

В безветрии часто хлопали паруса, среди кочегаров и машинистов участились обмороки. Изнуренные до предела, люди с ласкою поминали прохладную дождливую Балтику с ее невзгодами и ледоставами. На мостик вдруг поднялся растерянный механик и доложил, что старые запасы кардифа кончились, он открыл бункер, в который засыпали уголь, купленный в Сингапуре, а там…

– Это не уголь! Нам продали бенгальский камень…

Бенгальский камень по виду ничем не отличался от хорошего кардифа. «Наездник», словно загнанный рысак, сбавлял скорость. Не мытьем, так катаньем англичане своего добились: в топках котлов угасало ревущее пламя, бенгальский камень не разгорался, забивая колосники шлаком, кочегары падали с ног от бессилия. Чайковский сказал на мостике, что это подлость.

– Диверсия! – ответил ему Атрыганьев. – Лучше всего добраться на парусах до голландцев или французов.

Брать уголь снова? Но для этого надо расчистить бункера от негодного «чернослива». Двойная работа! А вытаскивать бенгальский хлам через узкие лазы наружу – это примерно так же весело, как вязальной спицей выковыривать из бутылки пробку. В довершение всех бед разом обвисли паруса – штиль. Температура воды за бортом была близкой к сорока градусам.

В лазарете лежали уже двенадцать матросов. Чайковский велел команде построиться на шканцах.

– Ребята, – сказал он, раздвоив бороду. – Другого выхода нет и не будет: берись за дело, выбрасывай «чернослив» в море. Пока же не задул ветер, спустим баркас, пойдем на веслах… А вам, господа, – обратился он к мичманам, – несправедливо избегать общей доли. Вы еще недавно были гардемаринами, посему и прошу разделить с матросами их труды.

– Есть! – в один голос ответили юные офицеры…

Баркас на десяти веслах выгребал впереди клипера, буксируя корабль за собою на скорости не больше одного узла, а Коковцев с Эйлером, натянув на голые тела черные робы, помогали матросам освобождать бункера от бенгальского камня, проданного англичанами по 60 шиллингов за одну тонну.

– Кто его покупал? – хрипели матросы сквозь паклю. – Консул? У, сволочь! За шею бы его, гада, и – на рею!

– Чего там вешать? – возражали. – Под килем пропустить! Чтобы, пока тащим, его акулы до костей обкусали…

Один молодой матрос средь бела дня на глазах всего экипажа шлепнулся вниз головой за борт. Никаких следов не осталось – будто и не было никогда человека.

– Только бульбочка пшикнула, – говорили матросы…

Счастье, что повстречали совершенно случайно «Джигита», который обшаривал острова у берега голландской Суматры:

– Эй, наездники! Что с вами?

– Тащите нас, – отозвались гребцы с баркаса, и мокрыми лбами они разом упали на забитые свинцом вальки весел…

Кое-как дотянулись до голландской Батавии: после пережитого странно было видеть город со всеми благами цивилизации. Офицеры сразу же сняли номера в гостиницах, чтобы принять ванну, пообедать в ресторане и провести ночь на берегу. К столу им подали жареного павлина и рисовых птичек в красивых бумажных корзиночках. Все отметили удивительное радушие добрых и чутких яванцев и непомерную черствость голландских колонизаторов… Атрыганьев сказал:

– Точно такой же характер и у буров в Африке!

На ночь офицеры расположились в лонгшезах, под сенью шелестящих пальмовых листьев. Эйлер спросил Коковцева:

– Тебе не кажется, что мы вернулись с того света? Теперь я окончательно убедился, что, как бы я ни любил море, оно меня отвергает, как чужака, который забрался не куда надо. А помнишь, что говорил князь Багратион? Умные слова: каждый гусар – хвастун, но не каждый хвастун – гусар…

Коковцев не ответил: он уже спал. В городе лаяли батавские собаки, но мичману снилось, будто он в порховской деревеньке и брешут под заборами лохматые Трезоры и Шарики.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лесовский был обескуражен, когда все клиперы вернулись в Нагасаки ни с чем, вице-адмирал не хотел даже верить:

– Неужели не нашли ни одного необитаемого острова?

– Их полно, необитаемых, но стоит положить якоря в лагунах, как являются англичане, куда ни сунешься, везде «интересы британской короны», и если нет чиновника с телеграфом, то имеются британские плантации кокосов или манго.

– Видно, не судьба! – огорчился «дядька Степан». – Вам, господа, – обратился он персонально к офицерам «Наездника», – справедливость требует дать вполне заслуженный отдых…

Возвращаясь на клипер, офицеры недоумевали:

– Что значит отдых? Или сделают «стационерами» во Владивостоке, или погонят обратно на Балтику?..

Коковцев, поникший, признался Эйлеру, что получил письмо от матушки, давно ждавшее его у консула в Нагасаки: сельские кулаки все-таки выжили нищую дворянку из ее именьишка, она устроилась по чужой милости в Смольный институт.

– Классной дамой или надзирательницей?

– Стыдно сказать – кастеляншей… Я думаю, мне лучше остаться на Дальнем Востоке, – сказал Коковцев.

Он просил Чайковского дать ему две недели, свободные от вахт и службы, желая провести время с Окини-сан в тихом уединении. Петр Иванович душевно посоветовал мичману:

– Езжайте на воды в Арима-Гучи, там один день жизни – два рубля на наши деньги и, поверьте, совсем нет комаров…

Арима была наполнена журчанием ручьев. Влюбленные остановились в сельской гостинице, заросшей мальвами, кусты чайных роз заглядывали в их окна. Всюду поскрипывали колеса водяных мельниц, высокие горы шумели сосновым лесом. Коковцева приятно удивляло радушие местных крестьян, которые, казалось, искренне радуются его любви к японской женщине. Здесь, в провинциальной глуши, мичман впервые увидел нищего. Босой, повязав голову платком, он держал в руке короткую бамбучину, неся перед собой лист бумаги, на котором красною тушью был разбрызган загадочный иероглиф, похожий на окровавленного паука. Коковцев протянул бедняге доллар, но последовал удар палкой, и монета откатилась прочь. Нищий удалился…

– Почему он так невежлив со мной? – удивился Коковцев.

Окини-сан, смутившись, сказала, что это один из самураев-роннинов, каких еще немало в Японии и которые, не признавая новой эпохи, ненавидят всех иностранцев без разбора. Коковцев был поражен быстротой и силой удара палкою самурая; он пытался скорее забыть этот случай…

Пребывание в Арима было наполнено небывалой щемящей тревогой, и Коковцев любил Окини-сан с обостренной страстью, а женщина вдруг стала очень требовательна в любви, словно она тоже ощутила близкую разлуку.

В один из дней мичман смотрел, как Окини-сан шла через ручей по узкому мостику, а в руке держала ветку цветущей магнолии, и была она в этот миг необыкновенно хороша! Сначала он залюбовался ею, потом его пронзила зловещая тоска. «Боже, – невольно содрогнулся Коковцев, – как же я смогу жить без тебя?..» Утром мичман пробудился чуть свет и, оставив дремлющую Окини-сан, отправился к источнику «Тайзан». Вокруг не было ни души. Он разделся, с замиранием сердца погрузился в воду, шипящую, как лимонад. Над ним медленно уплывали в сторону России облака. Коковцев не сразу заметил, когда на краю бассейна появилась Окини-сан. Он молчал, глядя на нее. Женщина (тоже молча) развязала на спине оби, и кимоно, струясь шелком вдоль плеч и бедер, плавно опустилось к ее ногам. Перешагнув через ворох одежды, она не торопилась к нему. Зевнув своим нежним ротиком, Окини-сан сладостно потянулась солнечным стройным тельцем. Потом, тихо рассмеявшись чему-то, с размаху бросилась в теплый искрящийся омут. Радуясь этому утру и счастию бытия, женщина устроила в бассейне веселую возню, брызгаясь в Коковцева водой, как шаловливая девочка; она то поддавалась его объятиям, то ускользала из его рук…

Коковцев привлек Окини-сан к себе, и она – притихла.

– А как мне жить без тебя? – спросил он ее.

Женщина прильнула к нему выпуклым животом:

– А разве ты сможешь жить без меня? Твоя первая, я хочу быть и твоей последней… Послушай, что писал Оно-но Садаки:

Когда в столице, может быть, случайнотебя вдруг спросят, как живу здесь я, —ты будь спокоен:как выси гор туманны,туманно так же в сердце у меня…Всегда такая чуткая к его настроениям, она сделала в этот день все, доступное женщине, чтобы развеять его мрачные мысли. А ночью на крыши Арима обрушился ливень с грозою – отголосок тайфуна, огибающего всю Японию; в краткие ослепления молнией Коковцев видел лицо Окини-сан с закрытыми в счастье глазами… Над ними, любящими, с чудовищным грохотом разверзалось черное и страшное японское небо!

Через две недели они были уже в Нагасаки.

– Рад вас видеть, – сказал Чайковский мичману. – Кажется, все складывается к лучшему: наш клипер возвращается в Кронштадт, на этот раз пойдем Суэцким каналом – через Аден…

Навестив ресторан «Россия», мичман просил Пахомова не оставить вниманием Окини-сан, выложил 500 мексиканских долларов.

– Куда так много-то? – удивился земляк.

– Боюсь, что мало. Окини, кажется, беременна.

– Плывите спокойно, – заверил его Пахомов.

– А будете в порховских краях, уж вы за меня откланяйтесь нашим коровушкам, березкам да ромашечкам. Коковцевым я по гроб жизни обязан и все исполню в ажуре, за Окини-сан пригляжу…

На клипере боцмана уже готовили «прощальный» вымпел! Этот вымпел имел длину корабля плюс еще по сотне футов за каждый год заграничного плавания, а чтобы он при безветрии не тонул в море, на конце вымпела привязывались стеклянные поплавки.

Атрыганьев, заметив отчаяние Коковцева, сказал:

– Японки очень ценят тонкость чувств и никогда не станут доводить их до грубых крайностей. Японка прощается без истерик и валерьянки, как это частенько случается с нашими образованными дамами, страдающими напоказ перед публикой по проверенным рецептам… Завтра и сам убедишься в этом!

– Завтра? – ужаснулся Коковцев.

– Да. Завтра. Кливер уже поднят… Видишь?

Поднятый на носу кливер означает, что корабль покончил с делами на берегу, все счета и долги оплачены. Остающиеся на земле, увидев кливер, вправе предъявить «Наезднику» последние свои претензии. Но какие могут быть претензии к честным людям, которые простились с честными людьми!

Все слова остались на берегу, а теперь, когда якоря, источая зловоние грунтов, стали заползать в клюзы, осталось только махать рукою… «Наездник» разворачивался в тесноте бухты, рядом с ним плыли множество фунэ с японскими женщинами, державшими над собой зажженные фонарики, и Коковцев часто терял из виду фонарь, который высоко поднимала над своей идеальной прической милая, милая, милая… Окини-сан!

Матросы рядами стояли на тонких реях, торжественно проплывая под самыми облаками, живыми гроздьями они обвисали марсы и салинги. По давней традиции, матросы швыряли в море свои бескозырки, иные сбрасывали с высоты даже бушлаты.

– Урра-а! – разносилось сверху. – Домой… в Россию!

Небо расцветилось тысячами хлопушек, которые, громко лопаясь, выбрасывали из себя струи ракет, золотых рыб и огненных драконов. Над ними струились бумажные змеи с фонариками.

Иноса прощалась с клипером «Наездник»!

– Ты видишь Окини-сан? – спросил Эйлер друга.

– Увы, я уже потерял ее в этой суматохе…

Нагасаки потонул в вечерней дымке, а на теплой воде еще долго дрожали огни Иносы, потом и они померкли навсегда.

Берега незаметно растерло в дожде и тумане.

– Ну, вот и все! – сказал Коковцев. – Господи, где же еще я буду так счастлив?..

Из рощи высоких пиний мигнул на прощание маяк Нагасаки. Клипер, подхваченный ветром, вползал на волну. Вода, как бы играючи, захлестнула палубу и легко исчезла в водостоках шпигатов. Чайковский с бородой, раздуваемой ветром, кричал:

– Кончать балаган! Пора наводить порядок… Владимир Васильевич, прописываю вам усиленные вахты, а заодно посидите со штурманом над прокладкой, это пойдет вам на пользу.

Дело есть дело. Штурман сказал, что мимо Цейлона повернуть к Адену не удастся – в это время года возле берегов Аравии задувают сильные муссоны, противные курсу, а потому клиперу надобно отклониться к южным тропикам:

– Спустимся до Кокосовых островов, к Сейшельским, потом, прижимаясь к Африке, поймаем в паруса попутный пассат, который и вытащит нас – прямо к Адену…

Кубрики матросов и каюты офицеров напоминали маленькие музеи восточных искусств, а плавание в тропиках превратило клипер в плавучий склад всяческой экзотики. Всюду прыгали обезьяны, истошно кричали попугаи; на вантах висли связки бананов, пучки ананасов, мешки с кокосами, сушились раковины и кораллы. Но сейчас мысли людей все чаще обращались к родине, уже начинавшей ждать их… Из России доходили нехорошие, саднящие душу слухи, будто в стране наступила пора глухой реакции, а новый царь Александр III «закручивает гайки».

Даже механик, обычно молчаливый, сказал за ужином:

– У меня вот вчера машинист Баранников тоже гайку на фланцах так закрутил, что резьбу сорвал… сволочь такая!

Атрыганьев сравнил Россию с кораблем, который, положив рули на борт, выписывает крутейшую циркуляцию, что всегда грозит кораблю опрокидыванием кверху килем. Внутри офицерской общины неизменно царствовала полная свобода слова, никак не допустимая в условиях пресноводного существования. Сама атмосфера кают-компаний располагала к тому, чтобы любой гардемарин мог открыто высказывать все, что думается, пренебрегая конспирацией. Понятие офицерской чести, нивелируя возрасты и ранги, служило отличной и надежной порукой тому, что из замкнутого мира ничто не вырвется наружу.

А теперь… Теперь Чайковский предупредил:

– Вернемся домой, и надо помалкивать… до получения пенсии! Кажется, настал исторический момент, когда пословицу «хлеб-соль ешь, а правду режь» приходится заменять другою: «ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами»…

Японская ваза из фальшивого «амори», купленная по ошибке Эйлером, вдруг поехала по крышке рояля при сильном крене, и Атрыганьев едва успел перехватить ее. Он сказал:

– А вдруг эти дрова еще пригодятся?..

Аден был выжжен солнцем. Казалось, что и собака тут не выживет, но англичане жили и не тужили, ибо Аден держал на викторианском замке подступы к Суэцкому каналу. Здесь Коковцев, в дополнение к банке ванили, купил для маменьки банку аравийского «Мокко». Медленно втянулись в Красное море: на зубьях рифов торчали обломки разбитых кораблей, низко стелились мертвые берега. Лишь изредка по горизонту тянулась жиденькая ниточка верблюжьего каравана. Вот и Суэцкий канал: в долинах паслись стаи пеликанов, поблизости вилась линия рельсов. Вровень с клипером бежали по берегу арабчата, горланя по-русски: «Давай, давай, давай!» Один матрос бросил им с корабля пятак, но арабчата даже не остановились.

– Робу давай… робу! – требовали они настырно.

Матросы бросали за борт свои парусиновые голландки.

Суэцким каналом плыли с опаскою: власть в Каире захватили египетские офицеры, на берегу слышалась перестрелка. Никто не понял, отчего Атрыганьева охватил приступ тоски.

– Каир, Каир, – твердил он. – Неужели пройдем мимо?

Чайковский сказал, что задержка клипера в Египте сейчас нежелательна по мотивам политическим.

Утром Коковцев проснулся от крика: «Европа, братцы! Гляди, уже и Мальта…» Первое, что увидели в Европе, опять-таки английские крейсера: шли они очень красиво, отбрасывая за корму клочья рваного дыма. Из Ла-Валетты вышел катер под флагом русского консула, с него передали пачку телеграмм, изучение которых всех озаботило:

– Нам следует спешно красить клипер для смотра на Большом рейде, а тут… таскайся на посылках, вроде извозчика!

Морское собрание Кронштадта просило закупить побольше марсалы с мадерой, Гвардейский экипаж требовал тридцать бочек хереса марки Lacrima qristi, Дворянское собрание Петербурга, не имевшее к флоту никакого отношения, слезно умоляло доставить для зимних балов испанской malaga. Кроме того, члены Адмиралтейств-совета тоже любили вино, и каждый адмирал имел свой вкус. Закупка вин по списку задержала клипер возле берегов Испании. В результате «Наездник» осел в воду на целый фут ниже ватерлинии. Но с начальством не спорят…

Было уже начало августа, когда клипер вошел в Балтийское море, и все радостно умилились: в парусах шуршал серенький дождичек; на курсе разминулись с эстонской лайбой, загруженной серебристой салакой; по правому борту выплыли из тумана и снова пропали тонкие шпили ревельских башен и кирок.

Вечером клипер затрясло в лихорадке отдачи якорей на Большом рейде Кронштадта. Жестокая вибрация корпуса пробудила корабельного священника, отца Паисия: с крестом на шее поверх рясы, из-под которой торчали штрипки ночных кальсон, он поднялся на мостик и глазам своим не поверил.

– Никак Кронштадт? Матерь ты моя, пресвятая богородица… А что вы хохочете, мичманцы? – обиделся он. – Вам раньше казалось, что тяжело, а тяжелое-то сейчас и начнется. Свои наших всегда больней лупят. Райская жизнь кончилась.

Клипер поднял свои позывные. Мачта над штабом командира порта ответила: СООБЩЕНИЕ С БЕРЕГОМ ЗАПРЕЩЕНО.

– Ничего интересного больше не будет, – сказал Атрыганьев и пошел прочь с мостика, на ходу злобно срывая тужурку.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Итак, интересное закончилось… На палубу клипера выбрался заспанный котище и, облизав себе хвост, долго взирал на Кронштадт – тот ли это город, где он бывал счастлив? Наверное, что-то очень родное и приятное опахнуло кота от помоек матросских казарм, а может, и вспомнились былые победы над кронштадтскими кошками! Не в силах более сносить монашеской романтики моря, он единым махом вспрыгнул на бушприт, издав в сторону города трагический вопль любовного призыва. Послушав, нет ли отклика, кот возобновил арию на усиленных тонах.

– Браво-брависсимо, – сказал Атрыганьев, выходя из душевой с полотенцем. – Я великолепно понимаю настроение кота. Но… удастся ли нам поспать в эту ночь?

Его мнение полностью совпадало с матросским.

– Во, зараза какая! – ругали они кота. – Ведь до утра глотку драть будет. За хвост бы его размотать – и за борт!

Кот невыразимо продолжил арию, усиливая ее в crescendo, и тогда из каюты вылетел разъяренный Чайковский:

– Это невыносимо, наконец! Спустить вельбот на воду, подвахтенным на весла… Срочно доставить кота в Кронштадт!

Ему отвечали, что сделать это никак нельзя:

– Сообщение с берегом нам строго запрещено.

– Так это же – н а м, а коту кто запретит?..

Непредвиденный эпизод с котом заразил всех бесшабашным весельем. Чайковский тоже поддался общему настроению:

– А что, господа? Не выпить ли нам малаги?

Когда поднимали из трюма малагу, треснул бочонок мадеры. Каждый офицер понимал, что бочонок матросы разбили нарочно, но Петр Иванович (добрая душа!) решил не придираться:

– Ладно! Не одним же нам, господа, вина хочется…

Была волшебная балтийская ночь, вдали догорали огни дач Ораниенбаума и Мартышкина, где-то совсем уже рядом жили их друзья и близкие родственники, тосковали по ним невесты. Ну, откуда же знать им, что они уже на рейде Кронштадта распивают бочонок превосходной малаги из Кадикса? Ленечка Эйлер, дурачась, схватил с рояля фальшивый «амори»:

– Господа, кокнем его по случаю возвращения!

– Оставь дрова в покое, – указал ему Атрыганьев.

Доктор подсчитал на бумажке, что плавание длилось 25 месяцев и за такой долгий срок имели лишь одного покойника:

– Да и тот кинулся за борт по доброй воле… Господа, «Наездником» свершено беспримерное плавание в тропиках!

Атрыганьев все время порывался сказать тост, но его каждый раз удерживал старший офицер. Лейтенант клялся Чайковскому, что ни единого худого слова об Англии не скажет.

– Тем более – воздержитесь, – просил Чайковский…

Утром клипер напоминал винную ярмарку: подходили катера, забирали бочки с вином – кому малага, кому лакрима-кристи, кому мало, кому много, одному дешево, другому дорого. Матросы под шумок аврала разбили в трюме еще три бочки с испанским аликанте. Но пили с похвальным смирением – ни одного пьяного на корабле не было…

Чайковский потом велел:

– Прошу еще раз проверить состояние клипера, чтобы «Наездник» сверкал, как новый пятак с Монетного двора…

Дальнее плавание на Восток и обратно, приравненное к условиям боевого, сулило офицерам немалые деньги. Через день казна выплатила их прямо на рейде – аккордно, и холостяцкая молодежь сразу ощутила себя богачами. Атрыганьев, не отягощенный узами Гименея, потрясал пачкою ассигнаций:

– Господа! Приглашаю всех в «Минерашки» – смотреть мадмуазель Жужу. Я видел ее последний раз перед отплытием в Японию. Она горько рыдала, когда судебный пристав выводил ее из зала, тряся перед публикой лифчиком и панталонами – как доказательство того, что в момент танца они были отделены от тела божественной и несравненной Жужу…

Эйлер сказал Коковцеву, что «аккорд» кстати: можно ехать в Париж для экзаменов в «Ecole Polytechnique».

– А я, – ответил Коковцев, – наверное, совершил ошибку, что вернулся на Балтику, не оставшись на Востоке.

– Тебя на Кронверкском, помни, ждет Оленька.

– Не надо лепить гаффов, Ленечка…

С наружной вахты раздались свистки, катер доставил на клипер свору жандармов.

Атрыганьев прищурил глаз:

– Я же говорил, что ничего интересного уже не будет!

В кают-компании жандармы объявили, что клипер подвержен обыску – нет ли нелегальной литературы? Петр Иванович Чайковский с презрением к «бирюзовым» господам отвечал:

– Ищите! А я в чужих вещах не копался.

– Мы должны осмотреть и офицерские каюты.

– Если вам позволят господа офицеры…

– Я не позволю! – заявил Атрыганьев и врезал пощечину обезьяне, занявшей его любимое место в углу дивана. Усевшись, он расправил бакенбарды. – Видите ли, я человек холостой и привез пикантные картинки не для вашего лицезрения.

Макака, запрыгнув на абажур, громко плакала.

– Я протестую тоже, – сказал Эйлер.

– Представьтесь нам, господин мичман.

– Леон Эгбертович фон Эйлер, честь имею!

Конструкция внутренних отсеков клипера была сложной, и жандармы боялись погружаться в узкие люки, ведущие в преисподнюю, без провожатого. Чайковский велел Коковцеву:

– Владимир Васильевич, проводите… гостей!

Матросы встретили жандармов с откровенной враждебностью. Коковцев встал у трапа, не желая участвовать в обыске. Жандармы перетряхнули койки, общупали подушки. Им было явно не по себе в этом мрачном ущелье, пропитанном ароматами дорогих вин и заморских фруктов, а вся эта экзотика заглушалась вонью крысиной падали из трюмов, в которых плескалась загнившая вода. Покидая клипер, старший, жандарм откозырял офицерам:

– Вы напрасно обижаетесь на нас! Без этой формальности не может состояться императорский смотр, а следовательно, вам не видеть и берега… Всего доброго, господа!

После их отбытия над штабом порта взлетели флаги: ОБЩЕНИЕ С БЕРЕГОМ РАЗРЕШАЕТСЯ, но в город никто уже не кинулся.

– Коту сейчас хорошо, – мудро изрек Атрыганьев. – В худшем случае его могут только кастрировать, но обыскивать его родимую помойку вряд ли кто рискнет… Вот так!

Вдали уже показалась придворная яхта «Царевна». Первым ступил на палубу клипера император Александр III, рыжий бородатый дядька в белом мундире флотского офицера (при кортике). За ним шла императрица Мария Федоровна, узенькая в талии, вертлявая дама с очень красивыми глазами (при жемчужном ожерелье на шее). Следом их дети: наследник престола Николай, еще мальчик, и его сестра Ксения (оба в матросках). Поднялся по трапу разжиревший генерал-адмирал Алексей, и Коковцев сразу вспомнил брошку на кимоно Оя-сан в Иносе; за великим князем явился управляющий морским министерством адмирал Пещуров, а потом посыпались чины императорской свиты, статс-дамы и фрейлины… Чайковский был большой умница.

– Ваше величество, – сказал он после отдачи рапортов, – по флотскому обычаю, не откажите в высочайшей милости!

«Чистяк» держал поднос с пузатою чаркой водки.

Коковцев, стоя подле, слышал, как императрица шепнула мужу:

– Ах, Сашка! Ты обещал мне… тебе же нельзя…

– Одну-то всегда можно, – басом ответил царь.

Словно подтверждая мнение шанхайской газеты, он выпил первую чарку с большим чувством, почти проникновенно, и было видно, что не прочь выпить еще. Горнисты «пробили» сигнал к постановке парусов, что матросы исполнили с залихватской скоростью, через минуту ветер наполнил даже верхние брамсели. Все стояли внизу, задрав головы, невольно приходя в ужас при виде акробатических номеров, проделанных под куполом неба.

– Молодцы! – гаркнул царь. – Я восхищен. Даже в цирке Чинизелли я, клянусь, не видывал ничего подобного…

Обстановка сразу разрядилась, гости понемногу разбредались по кораблю, с интересом его оглядывая. Императрица выразила желание осмотреть каюты офицеров. Коковцеву было неудобно, когда Мария Федоровна с большим интересом, поднося к глазам лорнет, разглядывала фотографии Окини-сан, которые мичман оригинальным веером развесил над своим рабочим столом.

– Это моя знакомая, ваше величество, – сказал он.

Императрица в упор лорнировала смущенного мичмана:

– Я знаю, какие у вас бывают знакомые в Нагасаки…

С детьми, конечно, все было проще: наследнику престола захотелось иметь обезьяну, а его сестре понравился попугай. Атрыганьев поймал его за хвост и подарил девочке:

– Ваше высочество, отныне это «попка» вашего высочества.

Эйлер сообщил Коковцеву, что царь засел в штурманской рубке, где ему объясняют обратный маршрут с пассатами и муссонами, которые клипер удачно «поймал» парусами в океане.

– По отбытии государя следует давать салют в тридцать один выстрел… Вовочка, не забудь вынуть пробку.

– Что ты, Леня! Как можно?..

Среди разряженной публики кидался из стороны в сторону запаренный Чайковский, которого высокопоставленные гости буквально задергали – тому покажи это, второму другое, а тут еще дамы проявили желание посетить гальюн, и надо их провожать со всеми любезностями, заодно проследив, чтобы туда случайно не вломились представители сильного пола. В отсеках сделалось жарко, офицеры истомились в мундирах и треуголках, не снимая белой лайки перчаток, их парадные сабли, столь неудобные в тесноте, гремели ножнами по крутым трапам. Наконец в кают-компании появилась и Мария Федоровна, сразу воззрившись на дурацкую вазу фальшивого «амори».

– Боже, какая красота! – восхитилась она.

Атрыганьев всегда был отличным кавалером, и, подхватив вазу с рояля, он элегантно преподнес ее императрице:

– Кают-компания нашего славного клипера будет счастлива угодить вашему величеству этим дивным произведением, достойным занять место в любом европейском музее. Поверьте, я разбираюсь в японском фарфоре и сам удивлен, что нам достался этот драгоценный фарфор древнейшей марки «амори»… Прошу!

– Мне, право, неудобно грабить господ офицеров.

Но тут все офицеры стали взывать к ней хором:

– Просим! Умоляем ваше величество… не обижайте нас.

Коковцев глянул на Эйлера, который, пряча лицо за портьерой, переламывался от хохота, и этого было достаточно, чтобы Коковцева тоже охватил приступ смеха. Офицеры клипера едва сдерживали хохот, и только один Атрыганьев был неподражаем в своем спокойствии. Минут на пять, не меньше, он занял внимание императрицы лекцией о качествах японского фарфора, и Мария Федоровна забрала вазу с собой:

– Благодарю. Я буду держать ее в своем кабинете…

Измотанный Чайковский перехватил на трапе Коковцева:

– Слава богу, государь всем доволен. Артиллерийского учения не будет, но при салюте не забудьте вынуть пробку.

– Петр Иванович, как можно забыть?..

Пора прощаться. Матросы и офицеры снова построились. Императрица, не расставаясь с вазой, что-то нашептала своему мужу, и Александр III отыскал взором Атрыганьева:

– Лейтенант, сколько лет вы в этом чине?

– Тринадцать, ваше императорское величество.

– А сколько имеете кампаний?

– Одних кругосветных три плавания, ваше величество.

– Почему же вы еще лейтенант?

Рука Атрыганьева задержалась у фаса треуголки:

– Ваше величество, все мы, мужчины, небезгрешны. Извините великодушно, что вынужден признаваться в присутствии вашей супруги. Но страсть к женщинам всегда губила мою карьеру!

Царю такая откровенность пришлась по душе:

– Поздравляю! Отныне вы – капитан второго ранга.

– Рад служить вашему величеству…

Эйлера опять стало коробить от хохота, и Коковцев, тоже готовый прыснуть смехом, судорожно прошептал:

– Леня… умоляю… не надо… потом…

В этот патетический момент царю явно чего-то не хватало. Александр III посмотрел на жену – невыразительно. Глянул на вестового с чаркой водки – выразительно. При этом он сделал жест, как бы поднимая стопку, но его пальцы были пусты, и он произнес слова, чтобы все сомнения разом отпали:

– Я желаю поднять чарку за бравую команду «Наездника», который не устрашился ни бурь, ни врагов, ни…

– Чистяк, чего разинулся? – внятно сказал Чайковский.

Император охотнейшим образом снял чарку с подноса:

– За ваше здоровье пью, братцы!

– Ах, Сашка… – простонала императрица.

Наблюдая за движениями кадыка, алчно ворочавшегося в шевелюре бороды, пока царь сосал водку, матросы кричали:

– Уррра-а!.. Урррра-а-а!.. Уррра-а-а!..

Царь уже направился в сторону забортного трапа, за ним вереницей двигались остальные: императрица с «дровами», наследник престола с обезьяной, Ксения с «попкой», потом и все прочие… Чайковский, смахнув со лба пот, указал:

– Носовой плутонг, по местам – к салютации!

Коковцев первым делом спросил комендоров:

– Братцы, а пробку вынули?

– Так точно, – заверили его матросы.

Стрельба должна вестись пороховыми зарядами – громом и пламенем холостых выстрелов. Надо лишь выждать, чтобы придворная яхта «Царевна» отошла от клипера подальше. Этот момент наступил!

– Начать салютацию. Первая – огонь!

Пушка, присев на барбете и откатившись назад, как испуганная баба, изрыгнула смерч пламени, а по волнам Большого рейда, догоняя царя и его семейство, закувыркался… снаряд.

Это видели все. Это видели и на царской яхте. Фугасный снаряд летел точно в «Царевну», срезая верхушки волн. Потом зарылся в море и утонул. Наступила тишина…

На фалах царского корабля подняли флажный сигнал.

– Спрашивают: ЧЕМ СТРЕЛЯЛИ? – прочел сигнальщик.

Все растерялись, не зная, что отвечать.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Все растерялись, кроме Чайковского.

– На фалах! – зарычал он, раздваивая свою бородищу.

– Есть на фалах! – отреагировали сигнальщики.

– Поднять сигнал: СТРЕЛЯЛИ ПРОБКОЮ.

– Вы с ума сошли, – перепугался командир клипера.

– Лучше сойду с ума, но в тюрьму не сяду…

Спрыгнув с «банкета», Чайковский добежал до носового плутонга и, свирепея, поднес кулак к носу старшего комендора:

– А ты что? Или с тачкой по Сахалину захотел побегать?

Потом – Коковцеву (бледному как смерть):

– Держать фасон! Пробку – за борт!

Коковцев схватил пробку и утопил ее в море.

– Открыть кранцы, – догадался Чайковский.

В кранце первой подачи, чего и следовало ожидать, не хватало снаряда. Как случилось, что прежде заряда вложили в пушку боевой фугас – выяснять уже некогда.

– В крюйт-камерах, – позвал Чайковский «низы».

– Есть крюйт-камеры, – глухо отвечали из погребов. – Фугасный на подачу.

– Есть подача… – отозвались в «низах».

Коковцева била дрожь. Дело подсудное: будет виноват старший офицер, сорвут погоны с мичмана, а в действиях комендоров усмотрят злодеяние. От «Царевны» уже отваливал катер, там сверкали мундиры свиты. Сейчас начнется допрос по всем правилам жандармской науки – следовало спешить.

Петр Иванович, шагая между пушек, побуждал матросов:

– Торопись, братцы, чтобы кандалами потом не брякать…

Все делалось архимгновенно. На поданный из низов снаряд наводили «фасон» – кирпичной пылью и мелом, натирая фугас до солнечного блеска, чтобы он ничем не отличался от тех снарядов, что постоянно хранились в кранце первой подачи.

Матросы старались, работая, как черти:

– Вашбродь, мы ж не махонькие, сами знаем, что по царям, как и по воробьям, из пушек никто палить не станет…

Горнисты снова исполнили «захождение», когда на палубу высыпало высокое начальство, а Пещуров был даже бледнее Коковцева. Вся свита царя, словно легавые по следу робкого зайца, кинулись следом за адмиралом прямо в носовой плутонг.

Сначала они решили взять наездников на арапа:

– Где пробка от салютовавшей пушки?

Коковцев шагнул вперед (пан или пропал):

– Осмелюсь доложить, пробку вышибло при выстреле.

Пещуров не поверил, крикнув матросам:

– Раздрай кранцы первой подачи!

Мигом подлетели комендоры, распахивая дверцы железного ящика. А изнутри полыхнуло сиянием наяренной бронзы, что всегда приятно для адмиральского глаза. Улики выстрела были уничтожены. Пещуров начал орать на Коковцева:

– Как можно быть таким бестолковым? Вы же, собираясь распить бутылку с вином, прежде вынимаете из нее пробку?

– Иногда вынимаем, – отвечал Коковцев.

– Иногда? – удивился Пещуров. – А почему же сейчас, в такой высокоторжественный момент, не вынули ее из пушки?

– Извините. Растерялся. Виноват один я!

– Вы, мичман, плавали вахтенным начальником?

– Никак нет. Только вахтенным офицером.

В этом была разница, понятная одним морякам, и весь гнев адмирал Пещуров обрушил на старшего офицера клипера:

– Почему неопытным мичманам доверяют плутонги?

Но Чайковский был уже с большой бородой, он много чего повидал на белом свете, и на испуг его не возьмешь. На все окрики адмирала он отвечал сверхчетко, сверхкратко:

– Есть!.. Есть!.. Есть!..

Искаженное на русский лад «иес, сэр», превратившись в простецкое «есть», уже не раз выручало флот от неприятностей. Так случилось и сейчас. Пещуров переговорил со свитой царя.

– Составьте рапорт по всем правилам, – указал он…

Свита удалилась, а Чайковский отдал честь Коковцеву:

– Господин мичман, благодарю за рвение! Должен заметить, к вашему вящему удовольствию, что прицел вами был взять отлично: этот проклятый фугас кувыркался точно в борт императорской «Царевны»… Кто порол вашу милость последний раз?

Коковцев, очень мрачный, нехотя, отвечал:

– Не помню – я ведь не злопамятный.

– Но я сохранюсь в вашей памяти… Пошли!

В каюте он отцепил саблю, бросил ее на постель. Зашвырнул треуголку в шкаф, потянул с пальцев лайку перчаток.

– Ладно, что так обошлось. Когда станете составлять рапорт о салюте пробкой , не забудьте, что одного фугаса в крюйт-камерах не хватает. Потому вы спишите его по ведомости как растраченный где-либо в море близ берегов Японии.

– Есть! Есть! Есть! – покорно соглашался Коковцев.

Чайковский внимательно оглядел мичмана:

– Это у нас здорово получилось! Весной Александра Второго угробили народовольцы, Желябов с Перовской, а в конце лета Александра Третьего убирали фугасом вы да я с бравыми комендорами… Самое же удивительное в этой истории, что вы рассчитали прицел подозрительно точно!

– Нечаянно всегда бывает точнее, – ответил Коковцев. – По себе знаю: если очень стараться, никогда в цель не попадешь…

Далее в действие пришел механизм круговой поруки: кубрик не выдаст кают-компанию, а кают-компания не выдаст кубриков. Скоро с Большого рейда клипер перегнали в Военный Угол, стали готовить для постановки в док. После дальнего плавания команде и офицерам полагался шестидесятидневный отпуск. «Наездник» осторожно вошел в док, а когда его обсушили, все увидели днище корабля, с которого свисали длинные бороды водорослей, гроздьями присосались к нему ракушки дальних морей. Настал час расставания. Пожилой матрос с бронзовой серьгою в ухе поднес старшему офицеру клипера икону Николы Морского, поверх которого, в святочном нимбе, сияла надпись: «НАЕЗДНИК».

– Ваше высокородь, – сказал матрос, – это на память вам от команды, извиняйте за скромность. Конешно, мы не святые, всяко бывалоча. Оно и правда, что пять бочек аликанты мы в трюмах за ваше здоровьице высосали. Но спасибо вам, Петр Иваныч, что, сколь ни плавали, никому кубаря по ноздрям не совали. А што до энтих матюгов касательно, так это шоб дисциплина не убывала. Мы ж не звери – все понимаем. Грамотные!

Тогда редко кто из офицеров получал подарки от матросов за гуманность. Чайковский растрогался, с его глаз сорвались слезы, он взял «Николу наездника», расцеловал матроса:

– Спасибо, Тимофеев, и вам, братцы, спасибо… Теперь разъедутся матросы по всяким там рязанским, курским и тамбовским деревням, при свете лучин станут рассказывать землякам, как ярко горели звезды в тропиках, о дивной стране Японии, где из шелка можно портянки наматывать, как плыли Суэцом и мимо Везувия. А какое вино пили… эх! По высоким сходням спускались на днище дока, и каждый матрос не забывал ласково тронуть усталое днище усталого корабля:

– Прощай, «Наездник»: уж побегали мы с тобой по свету.

Все матросы тащили на себе громадные парусиновые чемоданы, полные японских и китайских даров для заждавшихся Тонек и Марусек, а на чемоданах заранее сделаны броские девизы: «МОРЯКЪ ТИХАВА ОКIЯНУ». Когда идет человек с таким чемоданом, балтийцы, сидящие за решетками крепостных казематов, с тоскою думают: «Повезло же людям… а когда нам повезет?»

– Отплавались, – надрывно вздохнул Атрыганьев.

Вестовые с Якорной площади уже подогнали пролетки, чтобы развезти офицеров с их багажом на пристань или по квартирам. Все перецеловались, старший офицер сказал мичманам:

– Господа, если что нужно, вы меня можете найти по вечерам в кегельбане Бернара на Пятой линии Васильевского острова…

Атрыганьев печально глянул на Вовочку Коковцева:

– Ах, Каир! Как жаль, что я не показал тебе Каира…

Что ему дался этот Каир? Коковцев оставался в Кронштадте, сняв комнатенку в обширной квартире клепальщика с Пароходного завода; пытаясь наладить уют, мичман украсил свое убогое жилье восточными безделушками. Хозяйка Глафира свет Ивановна весь день пекла и жарила, закармливая его всякими сдобами и творожниками, а ему было страшно одиноко. Вечерами Коковцев усаживался возле окна и подолгу смотрел, как вспыхивают клотики кораблей на рейде, а вдали загораются дачные огни Ораниенбаума и Стрельны, до боли похожие на огни Иносы, давно угасшие… Жить-то, конечно, надо. Но как?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Эйлер уже подал в отставку, а Коковцева еще долго мучило сознание, что «Наездник» затих в доке, пустой и мертвый, голодные крысы шуршат в его трюмах… Мичман лежал на перине, покуривая папиросу, в соседней комнате стучали ходики, жизнь представала перед ним бессодержательной, как глупый роман, где он ее полюбил, а она его не полюбила. Давно бы уже следовало навестить мать, но Коковцев все откладывал свидание с нею, угнетаемый чувством ложного стыда: он мичман, а она… кастелянша! Нехотя прифрантился, отложил в бумажник деньги, прихватил банки с «Мокко» и ванилью, рейсовым пароходиком приплыл в Петербург, высадившись напротив Летнего сада…

В громадном вестибюле Смольного института его задержал привратник, вызвав дежурную надзирательницу, учинившую мичману расспрос – кто он, откуда, нет ли у него иных причин для посещение института, помимо свидания с матерью?

– Поверьте, мадам, и быть их не может.

– Вам придется подождать здесь.

Ждать пришлось долго, пока не разогнали по дортуарам смолянок, которые не должны видеть молодых холостых мужчин, паче того, офицеров флота, о которых ходят самые ужасные легенды. Коковцев, бряцая кортиком у пояса, едва поспевал за сухопарой и злющей, как ведьма, надзирательницей.

– Здесь вы спуститесь ниже, – сказала она мичману.

Коковцев оказался в подвальных помещениях Смольного, следуя длинным коридором, отыскал склад постельного белья и здесь увидел состарившуюся маму.

– Вова… ты? – И она расплакалась.

Мать провела его в свою казенную комнату, где было чистенько и убогонько, словно в келье. Второпях рассказывала сыну, что начальство ею довольно, у нее в хозяйстве полный порядок, но очень много хлопот с вороватыми прачками. В двери иногда заглядывали женщины в чепцах и белых фартуках.

– Как хорошо, что они тебя видели, – призналась мать. – Никто ведь не верит, что у меня сын офицер флота. Думают, что я привираю. Ах, если бы тебя могла видеть еще инспектриса! А то она даже не отвечает на мои поклоны…

Коковцеву было неуютно. За низким окном виднелись ноги прохожих. Чистота была какая-то больничная, вымученная, флоту несвойственная. Он сказал, что извозчик стоит за углом:

– Я не отпускал его, мама, поедем в «Квисисану»…

За столиком кафе ему стало лучше. Он просил подать пирожные и фрукты, для себя заказал бордо.

– Вова, – забеспокоилась мать, – как ты можешь? Еще день на дворе, а ты уже пьешь вино?

– О чем ты, мамочка? Если бы тебе показать, как мы плыли из Кадикса на бочках с вином, ты бы ахнула… Жаль, что мой папа не дожил. Пусть бы он на меня посмотрел.

– У нас никого с тобой нет, – вдруг сказала мать.

Это верно. С родственниками отношения не ладились.

– Бог с ними со всеми! – сказал Коковцев. – Не имея никакой протекции, я должен надеяться на себя. Так даже лучше…

Маменька с бедняцкой аккуратностью откусывала от эклера, косилась по сторонам – не смеются ли над нею, все ли она делает как надо, жалкая провинциалка? Коковцев отсчитал для нее деньги, сказал, что лейтенантом будет получать сто двадцать три рубля.

– На кота широко, а на собаку узко… Знаешь, у нас на флоте принято жить, совсем не задумываясь о сбережении.

Мать спросила: когда же он станет лейтенантом?

– Ценз для этого мною уже выплаван.

Маменька не совсем-то понимала, что такое «ценз», но ему лень было объяснять ей. Он сказал:

– О цензе расскажу потом. Наверное, мама, снова уйду в море. Вот вернулись, стали на якоря, и сразу будто опустилась заслонка перед носом – хлоп! Ощущение такое, словно угодил в мышеловку… Так и живу. А ты сыта, мама?

– Да, сынок. – Мать с жалостью оставляла недоеденные пирожные и недопитый кофе. – Ты куда сейчас, Вовочка?

– Наверное, в Кронштадт… Кстати, мамуля, извозчика я не отпустил, уже расплатился, он и довезет тебя до Смольного.

– Так жить, – никаких денег не хватит, – сказала мать.

– Иначе нельзя. Я ведь офицер флота. Принадлежу флотской касте, которая имеет свои законы…

Коковцев навестил Эйлера, поселившегося в старинной просторной квартире родителей на фешенебельной Английской набережной. Бывший мичман разгуливал в удобном японском кимоно, его мать Эмма Фрицевна, еще моложавая корпулентная дама, вполне одобряла решение сына ехать учиться в Париж.

– Конечно, – говорила она, – германская профессура намного лучше, но, если Леон желает непременно в Париж, я не возражаю: Париж – это все-таки солиднее Нагасаки, где вы шлялись бог знает где, так что до сих пор не можете опомниться.

Коковцеву стало смешно. Эйлер захохотал тоже.

– Вообще, я считаю (и так считают все порядочные люди), что флотская служба способна только портить нравственно. Правда, – сказала Эмма Фрицевна, – «Ecole Polytechnique» – это не Морской корпус, куда берут без разбора всяких оболтусов, с юности загрустивших о выпивке и женщинах. Леон штудирует сейчас учебник в две тысячи страниц – сплошные интегралы. Но в мире формул наша фамилия говорит сама за себя!

Эйлер увлек Коковцева в свой кабинет. Через широкие окна барской квартиры вливалась прохлада Невы, по которой скользили белые речные трамваи, развозящие публику на острова, из зелени садов слышалась музыка Оффенбаха и Штрауса.

Эйлер ожесточенно всадил штопор в пробку бутыли:

– Шамбертен из запасов дедушки… Хорошо, что зашел. Я хотел с тобою поговорить. У меня пробоина в сердце. Давай пей. Я, как последний дурак, признался своей невесте, что в Иносе завел роман с «мусумушкой», и невеста, святая непорочная девушка, отвергла меня. На этом белая акация засохла, соловьи умолкли, а последний дачный поезд ушел без меня.

Эйлер пылко пробежался пальцами по клавишам:

О, неверная! Где же вы, где же вы?..

– Не бесись, Ленечка, – сказал ему Коковцев.

– На всякий случай, – ответил Эйлер, – ты будь умнее меня, и об Окини-сан афиш по заборам столицы не расклеивай.

– А я так и не был у Воротниковых.

– Это фамилия твоей Оленьки?

– Да.

Эйлер с размаху, спиною вперед, плюхнулся на диван:

– Воротниковы? Сначала наведи справку в департаменте герольдии правительствующего сената: похоже, что предок твоей пассии шил-пошивал воротники из собачьего меха.

– Наверное, – не возражал Коковцев. – Но после всего, что было в Иносе, являться на Кронверкском мне очень неловко…

Ленечка пухленькой дланью растер румяный лоб:

– Наверное, затем и плаваем в Нагасаки, чтобы в России не выдали, что мы там вытворяем. Но я бы на твоем месте не мешкал. – Эйлер щедро дополнил бокалы из богемского стекла. – Смотри сам…. Сейчас ты в самой завидной форме. Денег полные карманы. Выглядишь великолепно. Ценз выплаван! Это очень важно. К Новому году следует ожидать чинопроизводства… Это не она тебя – это ты ее осчастливишь!

– Я пока воздержусь… С моими замашками скоро будет как у Салтыкова-Щедрина: «Баланцу подвели, фитанцу выдали, в лоро и ностро увековечили, а денежки-то – тю-тю, плакали-с!» Останется мне пятьдесят семь рублей мичманских.

– Но получишь лейтенанта!

– Сто двадцать три рубля. А молодую жену, volens-nolens, хоть раз в месяц надобно выводить на рейд светской жизни, чтобы ее все видели и чтобы она на всех поглазела…

Коковцев вернулся в Кронштадт ночным пароходом. В дороге размышлял: как легко живет по корабельному расписанию и как трудно составить для себя расписание жизни. «Что делать?»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

На Финляндском вокзале он купил «Парголовский листок», напичканный дачными сплетнями; среди отдыхающих персон, внесших посильную лепту на создание купальных мостков, мичман обнаружил ценное указание: «Г-нъ В.С. ВОРОТНИКОВЪ – 30 коп.» При сановном положении мог бы и рубля не пожалеть… Коковцев задумался, правильно ли он поступает, оказавшись в этом вагоне, который уже бежал мимо зелени Шуваловского парка. Дачную публику встречал на перроне духовой оркестр Парголовской пожарной команды. Возле палисадника станции, кого-то поджидая, томился капитан первого ранга с золотым шнуром флигель-адъютантского аксельбанта; под его окладистой бородой расположилась на груди гирлянда орденов – Георгия, Анны и двух Станиславов. Коковцев почтительно приветствовал кавторанга, мучительно соображая: «Откуда я знаю этого человека?» Музыканты в сверкающих касках беспечно выдували на трубах «Невозвратное время», и мичман с тоскою припомнил вальс в Морском собрании Владивостока: «Напрасно я там не остался!»

Вот и дачная калитка, за нею склонились ветви жасмина, а спаниель умными человечьими глазами смотрел на мичмана.

– Ты разве не узнал меня, дружище? Или вырос и уже не помнишь, кто тащил тебя из пруда за длинное ухо…

Спаниель, мотая ушами, вдруг радостно взвизгнул, описывая круги вокруг Коковцева, словно «Разбойник», обрезающий корму флагмана. Проявление собачьей радости было приятно.

– Ну, если ты узнал меня, надеюсь, узнает и твоя хозяйка…

Из сада слышались голоса, сухое щелканье деревянных шаров. Оленька была не одна. Партию в крокет она разыгрывала с тремя молодыми людьми. Это были: упитанный юноша в мундире лицеиста, бледная личность в сюртуке правоведа и долговязый ротмистр в пенсне, очень гордый от сознания, что он уже ротмистр. Все они уставились на мичмана, успевшего заметить в Ольге большую перемену: она похорошела, белое летнее платье ладно облегало ее тонкую фигурку.

Девушка застыла с молотком в опущенной руке.

Пауза в таких случаях недопустима. Коковцев сказал:

– Гомен кудасай, как говорят японцы. Прошло всего два года, и ваш скиталец возвратился. Я не помешаю вам, господа?

Последний вопрос был произнесен с оттенком явного пренебрежения. Ольга растерялась, ее слова прозвучали наивно:

– Боже мой, но откуда же вы?

Крокет оставлен. Все потянулись к дому. Отец Ольги задерживался в столице, на даче Коковцева встретила мать:

– О-о, я вас и забыла… кажется, мичман?

– Но скоро лейтенант!

– Это много или мало?

– Для меня пока достаточно.

– Я в этом ничего не понимаю, – сказала дама, жеманничая. – В гражданских чинах проще: там одни советники. Коллежские, надворные, статские и, наконец, тайные с добавкою «действительные». Прожив с Виктором Сергеевичем бездну лет, я так и не выяснила: если он советник, то он советует или выслушивает советы от других… Скажите, откуда у вас такой очаровательный загар? Вы случайно не из Севастополя?

– Нет, Вера Федоровна, меня обжаривали в иных местах, куда черноморцы, запертые Босфором, никогда не плавают.

География даму не интриговала.

– Ольга, – распорядилась она, – передай Фене, чтобы накрывала к чаю на веранде… Прошу всех к столу, господа.

Минуя зеркало, Коковцев отогнул жесткие от крахмала лиселя воротничка, торчавшие возле щек, словно острые крылья ласточки. Румян, пригож, устроен, неотразим. Очень хорошо! Над столичными пригородами вечерело. Мохнатые мотыльки кружились над керосиновой лампой, из сада тянулись к веранде гроздья жасмина. Ольга, явно кокетничая, отломила три ветки. Коковцев пожелал составить для нее букет.

– Это ведь так просто! – сказал он. – Ветвь, обращенная к небу, означает стремление к возвышенному. Вторую склоняю как олицетворение земной любви. А средняя между ними – судьба человека… Так делала в Иносе одна моя знакомая японка.

Правовед стушевался сразу. Лицеист, кажется, тоже признал свое поражение. И только один кавалерист еще не сдавался.

– А вот эти гейши! – сказал он с апломбом. – В полку говорили, что, закончив танец, они делают акробатическую стойку на голове… Вы, конечно, видели этот номер-прима?

Коковцев пожал плечами.

Вера Федоровна сказала:

– Надеюсь, если они и вставали ногами кверху, то прежде перевязывали себя ниже колен, дабы не потерять пристойности.

– Мама, ну как тебе не стыдно! – вспыхнула Оленька.

– Есть вещи, о которых вообще не следует говорить.

– Не следует, – согласился Коковцев. – Но ошибочно думать, будто все японки обязательно гейши. Японские женщины имеют очень много обязанностей. Я, например, видел гейш всего лишь раза три-четыре. Очень скромные и милые женщины…

Он уловил на себе скользящий взгляд Ольги. Конечно, мичман заметно выигрывал подле правоведа, лицеиста и ротмистра.

Из глубин веранды шумно вздохнула горничная Феня:

– Мне кум сказывал, будто япошки уж больно вежливы. А у нас, как пойдешь на рынок, всю тебя растолкают.

– Да, – подтвердил Коковцев. – Я только один раз встретил японцев, ведущих себя грубо на улице. Это случилось в Кобе. Мое внимание привлекла хохочущая толпа. В середине этой толпы сжалась от стыда несчастная японская женщина.

– Что же она сделала дурного? – спросила Ольга.

– Ничего. Но ростом была чуть выше полутора метров. По японским канонам такой рост для женщины – уже безобразие…

Лишь единожды из потемок сада выступила легкая тень Окини-сан с улыбкой на застенчивых губах. Но рядом сидела Оленька – цветущая, источавшая здоровую свежесть тела, и мичман отогнал нечаянную тоску. От станции крикнул паровоз.

– Я, кажется, засиделся, – извинился Коковцев.

Вера Федоровна не пожелала отпускать мичмана, пока ее дочь не предстанет в самом лучшем свете.

– Молодые люди давно ждут, когда ты споешь им. – Мать сама открыла рояль, указав дочери даже романс: – «Не верь, дитя, не верь напрасно…» У тебя это «не верь» всегда производит на мужчин несравненное впечатление!

Назло матери, капризничая, Ольга отбарабанила вульгарного «чижика». Ее глаза вдруг встретились с глазами Коковцева.

– Хорошо, – сказала она. – Не верить, так не верить…

В отлива час не верь измене моря,Оно к земле воротится, любя:Не верь, мой друг, когда в избытке горяЯ говорил, что разлюбил тебя.

Рояль звучал хорошо. Мотыльки бились о стекло лампы.

Уж я тоскую, прежней страсти полный,Мою свободу вновь тебе отдам,И уж бегут с обратным шумом волны —Издалека к родимым берегам…Это была победа! Откланиваясь Вере Федоровне, мичман испытал удовольствие, когда вслед за ним поднялась и Ольга:

– Как быстро стало темнеть. Пожалуй, я провожу вас…

Они спустились с веранды в потемки сада. Между ними бежал спаниель, указывая едва заметную тропинку.

– А сколько комаров! – заметил Коковцев. – Однажды в Киото, когда я гулял в храмовом парке, они, тоже облепили меня тучей. Но японский бонза что-то вдруг крикнул, и все комары разом исчезли. – У калитки он кивнул на освещенные окна веранды: – Эти вот… три идиота! Женихи?

– Да, – призналась Ольга. – Но вас они не должны тревожить. Ради бога, не надо: ведь вы лучше их.

Этой фразой она нечаянно призналась ему в любви.

– Я их всех разгоню, – торжествовал Коковцев.

– Стоит ли? – шепотом ответила Ольга. – Они исчезнут сами по себе, как и те комары, которых испугал японский бонза.

Коковцев нагнулся и взял спаниеля за мягкую лапу:

– Я верю, что ты не мог разлюбить меня… Это правда?

– Правда, – сказала Оленька, смутившись.

Когда Коковцев обернулся, возле калитки еще белело смутное пятно ее платья. Это напомнило ему Окини-сан, кимоно которой тихо растворялось в потемках гавани Нагасаки.

– Сайанара! – крикнул он на прощание…

Трое кавалеров плелись в отдалении. До столицы ехали в одном вагоне, но Коковцев не подошел к ним. «Каста есть каста. Пошли они все к чертям… сухопутная мелюзга!»

Вспоминая вечер на даче, он мурлыкал в черное окно:

И уж бегут с обратным шумом волны —Издалека к родимым берегам.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Флот на Балтике имел две дивизии. В дивизии – по три эскадры. В каждой эскадре – два флотских экипажа, обслуживающих корабли теплокровной силой матросских мускулов и энергией офицеров. Экипаж по значимости приравнивался к полку. Балтийский флот имел двадцать семь экипажей, Черноморский насчитывал их с № 28-го по № 37-й, были еще – Сибирский, Каспийский, Архангельский, а выше всех стоял гвардейский экипаж.

Коковцев был причислен к 4-му флотскому Экипажу, расквартированному в Кронштадте. Отпуск продолжался, и, не зная, куда деть свое время, мичман пришел в Морское собрание, уплатил вступительные взносы. Служитель спросил его:

– За пользование бильярдом будете платить?

– Спасибо. Но я не умею играть.

Ему вручили месячную программу лекций и концертов, просили ознакомиться с правилами Морского собрания:

– Как и на корабле, карты изгнаны. При дамах курить не положено до отбытия оных. Появляться на балах с девицами, не имеющими к флоту никакого отношения, никак нельзя…

Каста! С душевным трепетом мичман вступил в святая святых русского флота. Удобные теплые помещения, прекрасная библиотека со всеми зарубежными новинками. Здесь, в доме графа Миниха, еще в 1786 году адмирал Грейг впервые собрал при свечах офицеров, жаждущих разумного общения; технический прогресс продлевали лампы, масляные и керосиновые, а теперь в Собрании блекло светились, чуть потрескивая, газовые горелки. Старые матросы, украшенные шевронами за множество плаваний, служили дворецкими, швейцарами, полотерами. Говорили тихо, выслушивая офицеров с достойным почтением. Морское собрание в Кронштадте было клубом серьезным. Балы допускались не чаще двух раз в месяц; в буфете хранились лучшие вина мира, но выпивки не одобрялись. Офицеры имели право являться сюда с женами, а невесты попадали в Собрание после тщательной проверки их генеалогии и нравственности. Но зато с почетом принимались вдовы и дочери моряков, погибших в боях за Отечество или утонувших при кораблекрушениях.

Коковцев проследовал к общему табльдоту. Под картинами кисти Лагорио, Айвазовского, Боголюбова и Ендогурова сидели заслуженные офицеры флота; общительные между собой, давно дружные семьями, они не замечали мичмана, как великолепные бульдоги стараются не замечать ничтожных болонок. Коковцев и сам понимал свою незначительность перед людьми, ордена которых осияли еще бомбежки Севастополя, минные атаки катеров на турецкие корабли. В этом почтенном обществе мичману лучше не чирикать. Коковцев даже постеснялся просить к обеду рюмку водки, довольствуя себя молочным супом и отварной телятиной, а мусс из клубники завершил его пиршество ценою всего в 35 копеек… За табльдотом рассуждали: нужно ли в морской войне будущего уповать на удар таранным шпироном в борт противника? Среди офицеров был и тот кавторанг, которого Коковцев повстречал на перроне Парголова, и мичман заметил, что слова этого человека выслушиваются с почтением.

– Таран опасен и для нападающего, – доказывал он. – Ибо от сильного удара в корпус неприятеля команда свалится с ног, мачты несомненно обрушатся, котлы сорвутся с фундаментов, а пушки, откатившись назад, всмятку раздавят комендоров…

«Откуда я знаю этого человека?» – думал Коковцев, а офицеры согласились, что будущее за минным оружием. Коковцеву очень хотелось послушать разговоры, но сидеть, разинув рот над пустой тарелкой, он счел для себя неудобным и удалился в библиотеку, занимавшую весь первый этаж здания.

– Читать будете? – спросил его матрос-служитель.

– Что-нибудь почитаю.

– Тады извольте гривенник по таксе за газ.

– Возьми, братец, изволь…

По соседству с ним обложился книгами бородатый контр-адмирал с умными маленькими глазами, часто мигающими. Это был Константин Павлович Пилкин, царь и бог в жутком подводном царстве мин и торпед будущего. Отвлекшись от чтения, Пилкин курил папиросу, посматривая в окно на прохожих. Он сказал:

– У вас, мичман, такой ядреный загар, что за версту видно, где вы плавали. Ну-кась, представьтесь без стеснения.

Коковцев рассказал о себе все – вплоть до маменьки с ее простынями и наволочками в Смольном институте.

– А что вы взяли для чтения, Владимир Васильевич?

– «Флот нашего времени» Гравьера и «Война на море с помощью пара» Говарда.

– Читаете свободно?

– Да, Константин Павлович.

– Какими еще языками владеете?

– Немножко немецким и… болтаю по-японски.

Над головой мичмана с треском разгорелась газовая лампа.

Пилкин похвалил выбор книг, заметив, что на смену пара уже явился новый зверь – электричество, могучий двигатель мира:

– Пока мы сидим здесь при свете газовых горелок, этот зверюга начинает вращать колеса. Природа электричества пока не выяснена никем, но человек уже приручает его ходить в своей упряжке: совсем недавно пустили по рельсам первый электрический трамвай… Зверь забегал! Именно сейчас, – убеждал его Пилкин, – с ростом техники, вам, строевым офицерам флота, следует освободиться от ложной кастовости. Будущий офицер будущего флота – инженер! Не бойтесь этого слова. Оно никак не опорочит ваши новенькие эполеты… Скажите честно, вас никак не прельщает минное дело?

– Признаюсь, с артиллерией мне не везет.

– Тогда ступайте в Минные офицерские классы. У нас подобрана лучшая столичная профессура, да и каждый офицер, если он не дурак, выходит знающим специалистом минного дела, гальванного, электрического… Подумайте, мичман!

– Благодарю, Константин Павлович, я подумаю…

В смятении чувств, понимая всю важность этого разговора, Коковцев приехал в Петербург, навестив кегельбан на Пятой линии, где вечеряли старые офицеры флота. Чайковский разыгрывал «гамбургскую» (групповую) партию, и потому мичман не стал отвлекать его. Он дождался, когда Петр Иванович послал в желоб последний шар и натянул сюртук. Выслушав мичмана, Чайковский сказал, что минное дело – заманчиво и опасно.

– С артиллерией же у вас завязались чересчур странные, я бы сказал, отношения: то вы лупите пробкой по цели, то вдруг заколачиваете целый фугас в штандарт государя-императора.

– Вижу и сам, что это – не моя стихия.

Чайковский одобрил Минные классы, но предупредил:

– Не следует, однако, отрываться от моря. Если я поговорю с приятелями на Минном отряде, чтобы дали вам миноноску?

– Как дали? Мне? – обрадовался Коковцев, не смея верить.

– Вам. Двадцать четыре тонны водоизмещения. Десяток человек команды с боцманом. Узлов тринадцать дает машиной свободно. Базируется на Гельсингфорсе и Дюнамюнде с частыми заходами в Ревель. Офицер один – вы! Берите и не раздумывайте…

Русский флот переживал трудные времена: офицеров много, а кораблей еще мало. Не имея свободных вакансий, моряки старели на берегу, выхолащиваясь душевно. От этого не было продвижения по службе, ибо для успешной карьеры требовался «ценз». Всегда помня об этом и зная, что за него никто не похлопочет, Коковцев ухватился за первую попавшуюся корабельную вакансию: бери, что есть, пока другие не взяли. Он навестил Пилкина:

– Я решил, господин контр-адмирал! Но быть обязательным слушателем Минных офицерских классов подожду, ибо хочется продлевать ценз. Прошу зачислить меня в необязательные…

Из состава 4-го экипажа мичман был переведен в 20-й флотский экипаж, квартировавший в Финляндии для обслуживания миноносцев. Загруженный литературой и программами классов, он приехал в Гельсингфорс, где базировался Минный отряд, в штабе которого явно скучал капитан 2-го ранга Атрыганьев.

– Пошли, Вовочка, – сказал он так, будто они и не расставались; в гавани, борт к борту, качались узкие тела миноносок. – Вот они, полюбуйся: никаких деревяшек с калабашками – только железо и бронза. Страшные корабли. Недавно на одной миноноске котел взорвало, трое заживо сварились. Бульон был крепкий – человечий, а в гробах лежали куски вареного мяса… Ну, как? – спросил Атрыганьев, распушив бакенбарды. – Согласен командовать такой чудесной кастрюлькой?

– С удовольствием, – ответил Коковцев…

Но из гаванской тесноты в море уже выбегал внушительный «Взрыв» – не миноноска, а миноносец! На верфях обдумывались проекты эскадренных миноносцев (эсминцев), и Россия, гордая своим минным оружием, быстро обгоняла флоты Европы… У почтенных лордов Британского адмиралтейства портилось настроение. Германия не стала ждать у моря погоды и быстро спустила на воду целую дивизию миноносок – в семьдесят боевых килей… Коковцев стал командиром миноноски «Бекас».

Незабываем был день посвящения в миноносники! Если офицеры с крейсеров носили золотые перстни с именами своих кораблей, а плававшие на броненосцах имели в ушах крохотные сережки с жемчужинами, то миноносники гордились наручными браслетами из чистого золота, украшенными славянской вязью:

МИННЫЙ ОТРЯД. ПОГИБАЮ,

НО НЕ СДАЮСЬ.

– Боже, как мне повезло! – радовался Коковцев…

Соленые брызги, вылетавшие из-под форштевня, казались ему брызгами шампанского, откупоренного в его честь ради великого торжества жизни. Кто из флотской молодежи не завидовал тогда славе героев первых минных атак – Степану Макарову, Измаилу Зацаренному, Федору Дубасову и прочим!

Надвинулась осень, сырая и дождливая, секущая лицо ветром и снегом, а Коковцев гонял своего «Бекаса» в узостях финского побережья, обретая опыт вождения миноноски там, где другие корабли, более уважаемые и драгоценные, старались не плавать. Перед мичманом сразу же возникла дилемма: или «Бекас», или Ольга? Выбирать не приходилось: должность командира корабля, пусть даже маленького, всегда для офицера священна, а Ольга… Ольгу ему заменила бесшабашная компания офицеров-миноносников! Отчаянные ребята, ежедневно игравшие со смертью, скрипящие мокрой кожей штормовых тужурок, они ценили жизнь в копейку, а потому, вернувшись с моря, не щадили червонцев в разгулах. Излюбленным местом в Гельсингфорсе стал для них ресторан «Балканы», дрожавший от залихватского гимна 20-го экипажа:

Нам, миноносникам, – вперед!И что там рифы, что туманы?Приказ в машину – полный ход,А денег полные карманы.Спешим на самых острых галсахВ разрывах пламени и дыма.Поправим перед смертью галстукИ выпьем за своих любимых.Погибнем от чего угодно,Но только б смерть не от тоски.Нет панихиды похоронной,Как нет и гробовой доски:Что лучше пламенных минут,Чем наша гибель в этой стуже?И только женщины взгрустнут,Слезу пролив тайком от мужа.Но, даже мертвые, впередСтремимся мы в отсеках душных,Живым останется почет,А мертвым орденов не нужно…Лежим на грунте, очень тихие,А ведь ребята – хоть куда!И нас от Балтики до ТихогоКачает мутная вода.

Зима прервала эту бравурную жизнь. Под Новый год офицеры всегда ожидали указа о наградах и чинопроизводствах. Коковцев получил эполеты лейтенанта. Одновременно с этим в управляющие морским министерством выдвинулся адмирал Шестаков. В молодости он умудрился вдребезги разбить на камнях клипер, которым командовал, и теперь любил рассказывать об этом случае, заканчивая свою новеллу обязательным нравоучением:

– Господа, вот как надо разбивать клипера!..

Морозное солнце освещало корабли в хрустком инее. Коковцеву было радостно козырять на улицах юным мичманам, женщины улыбались красивому лейтенанту из пышного меха громадных муфт, карьера складывалась отлично, программы и учебники Минных классов были молодецки заброшены – это ли не жизнь? В феврале Коковцев ночным поездом выехал в Петербург, появясь на Кронверкском. Наверное, не его вина, что он, гордый, как петух, своим званием, сознательно облачился в парадный мундир с золотым шитьем, был при сабле и эполетах. Кажется, madame Воротниковой он в чине лейтенанта понравился гораздо больше, нежели ранее, когда был в мичманах.

– Я не служила во флоте, – сказала Вера Федоровна с ехидцей, – но, очевидно, у вас так принято – пропадать надолго…

На этот раз Коковцев осмелился явиться с подарками. Вере Федоровне он поднес сиреневую шаль из японского крепдешина, Виктору Сергеевичу подарил пепельницу из раковины, а перед Оленькой, вспыхнувшей от удовольствия, лейтенант раскрыл дивный черепаховый веер, расписанный голубыми ирисами. Наконец, тишком от родителей, он вручил ей красивое мыло, шепнув:

– Японское, оно очень долго сохраняет аромат хризантем…

Кажется, мичман Эйлер был прав; лейтенант в отличной форме, и семейство Воротниковых сразу же оценило, какое сокровище прибило к порогу их чиновной квартиры. Коковцев был подвергнут перекрестному допросу – о родстве и имущественном положении. Это отчасти задело лейтенанта, который уже выяснил, что дед Виктора Сергеевича выслужил герб при Николае I, начиная карьеру с побегушек в канцелярии графа Канкрина, после чего министерство финансов сделалось наследственной «кормушкой» в роде Воротниковых… Приосанясь, лейтенант сказал:

– Коковцевы со времен Екатерины Великой служили на флоте, мой прадед Матвей Григорьевич был в Чесменской битве, потом увлекся изучением Африки, оставив после себя труды, и в научном мире его считают первым русским африканистом. Кстати уж, мой прадед был влюбчив, у него возник роман с чернокожей красавицей, он привез ее в Петербург, где она представлялась императрице… У нас в именьице долго хранился ее портрет!

Вера Федоровна сказала, что не понимает этой любви ни с чернокожими, ни с желтокожими…

Коковцеву и в голову не приходило, что его Окини-сан «желтокожая», и за домашним столом «белолицых» Воротниковых он ощутил некоторую уязвленность души. Виктор Сергеевич угощал его бенедиктином, столь модным тогда в кругу петербургских чиновников. Ольга восторженно смотрела на лейтенанта поверх растворенного японского веера с голубыми ирисами, а ее мать повела дальновидную атаку на… Владивосток:

– Говорят, очень развратный город, и даже директрису тамошней женской прогимназии зовут «царицей ада». Вы были там?

Коковцев догадался, куда она клонит, и пояснил:

– На каждого мужчину во Владивостоке приходится лишь одна двадцать девятая часть женщины… До разврата ли тут?

Разговор был ему неприятен, и он даже обрадовался, когда Воротников стал расспрашивать о видах на карьеру:

– Есть ли на флоте перспективы для продвижения?

– Их немало. Мое долгое отсутствие у вас объясняется именно тем, что я желал выплавать ценз…

Он объяснил, что цензом называется стаж плавания. Например, в чине лейтенанта он обязан пробыть двенадцать лет, но следующего чина не получит, если пять лет из двенадцати не проведет в море. Воротниковы ловко выудили из Коковцева, что именьишко продано, мать служит ныне в Смольном институте. Виктор Сергеевич спросил:

– А простите, любезнейший, кем она служит?

Коковцев стыдился матери-кастелянши:

– Она… кажется, классною дамой.

Воротников оказался настырен, как прокурор:

– В каких классах? В младших или в старших?

Коковцеву пришлось врать и изворачиваться.

Возвращаясь от Воротниковых, он ругал не только себя: «Черт меня угораздил солгать им! Да провались вы все со своим допросом… не велики бояре! Может, и не бывать в этом доме?» Однако, прожив в столице полмесяца, он продолжал навещать Воротниковых. Наверное, его сочли за жениха, ибо он получил разрешение сидеть в комнате Ольги до семи вечера, но Коковцев осмотрительно не выражал никакой нежности.

В одно из свиданий Ольга расплакалась. Коковцев догадался о причине слез: своим появлением на даче в Парголове он вспугнул женихов, но сам-то в женихи не слишком напрашивался.

– Вы разлюбили меня, – плакала Ольга чересчур громко. – А мама права: морякам никогда нельзя верить…

Это взбодрило Коковцева для бурных объяснений. Он стал пылко убеждать Ольгу, что его отношение к ней прекрасное, он всегда рад ее видеть, что она удивительная девушка.

– Не верю, пока не поцелуете меня, – сказала Ольга.

Коковцев не замедлил исполнить ее просьбу.

Двери растворились – явилась Вера Федоровна.

– Будьте счастливы, дети мои, – прослезилась она. – Владимир Васильевич, я отдаю вам самое святое… Виктор, где же вы? – перешла она на французский. – Идите скорей сюда. Нашей Оленьке сейчас было сделано страстное предложение…

На улице трещал морозище, для обогрева прохожих полыхали костры, возле них хлопали рукавицами замерзшие извозчики и дворники. Коковцев тоже постоял у костра, размышляя. К сожалению, в кегельбане Чайковского не было, он уехал из Питера в свое имение – болеть и умирать… С кем посоветоваться?

– Дофорсился… дурак! – сказал Коковцев сам себе.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Атрыганьев отыскался в отдельном кабинете «Балкан».

– Даже пить больше не могу, – сказал он. – Эта проклятая тщедушная Европа, черт бы ее побрал… хочу на Восток! Неизбежное случилось: Англия захватила Суэцкий канал, выставив оттуда французов, и это удар для меня. Сейчас «Таймс» откровенно пишет, что безопасность Англии возможна лишь в том случае, если ей будут принадлежать Тибет и Памир… Я уже перестал понимать, где предел викторианской наглости!

Коковцеву было сейчас не до Англии и ее каверз: он честно рассказал, как его сделали женихом в одном доме.

– Я хочу взять свое слово обратно, – сообщил он.

Атрыганьев долго соображал. Потом спросил:

– Ты был при кортике и при погонах?

– Нет, при сабле и эполетах.

– Тогда надо жениться, – решил Атрыганьев. – В каждом деле существует священный ритуал. Не будь ты при параде, можно и отказаться. Но мы же – каста! А каждая каста имеет свои традиции, будь любезен им подчиняться. Офицер флота его императорского величества, застигнутый наедине с женщиной при сабле и эполетах, отвечает за все, что он там успел наболтать.

– Геннадий Петрович, а если я все-таки откажусь?

– Я первый стану говорить на Минном отряде, что лейтенант Коковцев обесчестил свой мундир и ему не место на флоте.

Вслед за этим Атрыганьев пожелал произнести тост.

– В другой раз, – отказался слушать его Коковцев…

Ближе к весне состоялась церемония обручения, потом суетная закупка нарядов в магазинах Пассажа. В канун свадьбы Ольга призналась, что до него испытала лишь одну гимназическую страсть к тенору Мельникову, а Коковцев сказал, что гардемарином бегал в цирк Чинизелли, пылая к его дочери Эмме, вольтижировавшей в манеже. Оленька тут же предала фотографию тенора жестокому аутодафе над пламенем свечи.

– Очень хорошо, что мы объяснились, – сказала она. – Но я жажду экзекуции над этой гадкой наездницей из цирка.

Коковцев обещал уничтожить цирковую афишу, на которой легкокрылая Эмма Чинизелли в газовой юбочке пролетала через горящий обруч. Впрочем, это не помешало ему спрятать фотографии Окини-сан как можно дальше. Коковцев пошел под венец, невольно вспомнив давнее напутствие: «Жизнь есть любви небесный дар! Устрой ее себе к покою, и вместе с чистою душою благослови судеб удар…»

Вера Федоровна стала называть его Вольдемаром, а Ольга звала мужа Владей; Коковцев никому не перечил. После свадьбы лейтенант заметил, что в доме появилась новая горничная – ужасная мегера из лифляндских аккуратисток, именовавшая русский завтрак немецким «фриштыком». Он спросил:

– А куда же делась симпатичная Фенечка?

Фенечку, оказывается, уволили, ибо теща сочла неприличным держать молодую прислугу в доме, в котором появился офицер флота. Ольга сослалась на авторитет матери:

– Мама считает, что моряки опасны для женщин.

– Что за чушь! – фыркнул Коковцев. – Я никогда не был бабником, и… что мне эта Феня? Ах, как все это нехорошо…

Дом жены – полная чаша, будущее казалось праздничным, но Коковцеву отчасти было неловко ощущать себя в обстановке чиновного дома. Он даже не совсем понимал, к чему в большой зале белая мебель с позолотой, в гостиной красного дерева, в столовой дуб, в спальнях палисандр, а паркеты в доме оливковые. Тюлевые занавески для окон покупались не в Гостином дворе – их заказывали по размерам окон в самом городе Тюле. После убожества мелкопоместной порховской усадебки, после строгих дортуаров Морского корпуса многое в этом доме казалось ему излишне стесняющим свободу. Особенно – родители жены! С тестем он мог бы еще поладить, но Ольга находилась под сильным влиянием матери, учившей доченьку не всегда тому, что может нравиться мужу. Коковцев почти физически явственно ощутил, что Воротниковы желали бы приладить его к своему дому, как притирают пробку к флакону дорогих духов. Первый семейный скандал возник из-за ерунды: лейтенант всегда пользовался коляской, щедро давая кучерам «на чай», на что Вера Федоровна и обратила однажды самое серьезное внимание:

– Могли бы ездить и на конке, дорогой Вольдемар.

– Но я лейтенант флота! – вспылил Коковцев. – И по чину обязан пользоваться извозчиком, а не конкой…

Ночью долго не мог уснуть, обуреваемый злостью.

– Чиновники служат только из-за денег, – сказал он Ольге, – а офицеры ради чести. Мы снимем пансион в Доббельне на Рижском штранде, будешь жить там на всем готовом, а я иногда стану гонять «Бекаса» к тебе… Не спорь, пожалуйста!

После отмены в России крепостного права, после реформы о всеобщей воинской повинности, после появления на кораблях матросов, имевших техническую подготовку, флот начал меняться: между офицерами и матросами складывались новые отношения, отличные от прежних. Если раньше матрос пребывал лишь в роли подчиненного, то теперь он становился как бы помощником офицеру, иногда сведущим в том, чего господин офицер не знал. На корабле, оснащенном механизмами, матрос и офицер становились зубьями одной и той же шестеренки. Техника разрушала кастовость, и горе тому, кто не понимал сути этого процесса, требовавшего от офицеров жертв… Атрыганьев не пожелал жертвовать ничем.

– Я ухожу, Вовочка, – сказал он, – ибо мне претит подсчитывать лошадиные силы в обществе вчерашнего студента из голодранцев. Поверь, в этом случае даже корабельный поп, отец Паисий, с крестом на шее, и тот для меня ближе и роднее.

– Но это же глупо, – возразил Коковцев.

– Слышу гафф! – Атрыганьев, однако, не обиделся. – Я пойду на суда Добровольного флота [6] . Уж лучше перевозить солдат на Амур или таскать арестантов на Сахалин, нежели наблюдать распадение нашего ордена… Эти электрические аккумуляторы и гальваномашины до добра не доведут. Вслед за механикой из технологов в чине прапорщика, который рассядется, будто барин, на моем месте в кают-компании, в кубрики спустятся слесаря с заводов. А я не желаю ни пачкаться в извержениях машин, ни гасить на кораблях забастовки. Я ведь только офицер флота, но я не машинист и не городовой с перекрестка улиц…

Летом Минный отряд перебазировался в Дюнамюнде, рижские поезда возили публику на песчаные штранды, унизанные пансионами и курортами. Коковцев часто навещал Ольгу в Доббельне за Майоренгофом, в курзале они слушали симфоническую музыку, прогуливались вдоль променада. Коковцев небрежно наблюдал, как комната жены заполняется коробками со шляпами последних фасонов, коллекция туфель и чулок быстро увеличивалась. Но Ольга и сама не скрывала, что покупки делает на деньги родителей. За этим признанием стояло: ты меня любишь тоже, но с твоих ста двадцати трех рублей по рижским магазинам не разбегаешься. Был ли он счастлив в эти дни? Наверное… Плескалось в камнях море, шумели сосны над дюнами, кричали чайки. Дни были наполнены медовым покоем, радостью насыщения любовью молодой женщины, доверчиво льнувшей к нему.

– Ты меня любишь… скажи! – часто просила Ольга.

– Конечно, – отвечал ей Коковцев.

Среди ночи он проснулся в тревоге. Ольга сидела на постели, подобрав ноги, вспышка молнии осветила ее испуганное лицо.

– Владя, что ты говоришь? Мне страшно.

– Я? Что я мог говорить во сне?

– Кажется, по-японски.

– Глупости…

Над штрандом бушевала гроза с ливнем – такая же, как и в Арима, когда он был с Окини-сан. Ольга прилегла рядом:

– Как жаль, что я не поняла твоих слов…

После ночной бури в природе все потишало, ранним поездом Коковцев вернулся в гавань Дюнамюнде, откуда ему предстояло выйти на Виндаву – через Ирбены – на своем «Бекасе».

– У нас все в сборе? – спросил он боцмана. – Тогда можно сразу отдавать швартовы, чего тут еще раздумывать!..

Рижский залив затянуло теплым одеялом тумана, вдали от берегов сыпало мелким дождиком, но рулевой точно выдерживал курс – на Ирбены. Коковцев убедился, что все идет как надо, протиснулся в клетушку каюты, желая вздремнуть. А когда вернулся на мостик, туман сделался плотнее. Он сказал:

– Что-то мне перестало все это нравиться.

– И мне! – честно отвечал рулевой, зевая во всю ширь Тамбовской губернии. – Сколь жмем на десяти узлах, пора бы в Ирбены сунуться, а тут – прорва.

Он снова зевнул. Коковцев перенял рукояти штурвала:

– Иди-ка лучше поспи. Я постою за тебя… Однако туман такой, будто мы попали в хорошую прачечную. Иди, иди…

Рулевой шагнул вниз, но с трапа его сорвало сильным ударом в днище миноноски. «Бекас» встал на дыбы, с хрустом рвало железо корпуса. Вода шумно ринулась в его отсеки, и Коковцев (молодец!) не растерялся, крикнув в кочегарку:

– Трави пар… Из «низов» – все наверх! Быстро…

Лейтенант заткнул уши пальцами: свист выходящего в атмосферу пара казался нестерпим. Этот звук, похожий на сирену, расщепил на атомы плотность тумана, стало видно, что «Бекас» застрял носом в черных замшелых камнях, а перепуганная крестьянская девочка пасла свиней на зеленой лужайке.

– Малюточка! – позвал ее боцман. – Кудыть занесло нас?

– На Руну, – ответила девочка, в страхе убегая.

– Кажись, докатались, – сказал рулевой и, проведя ладонью по лицу, с кровью выплюнул на палубу передние зубы.

Ошибка в курсе была значительна. Коковцев зафиксировал в бортовом журнале обстоятельства катастрофы, не исправляя на карте прокладку, чтобы судейская коллегия разобралась сама. В числе судей был и кавторанг Карл Деливрон.

– В момент аварии кто стоял на руле?

– Я, – отвечал Коковцев, беря всю вину на себя…

Лейтенант был оправдан: виновата магнитная девиация! Корабельное железо столь сильно влияло на компас, что ошибка в курсе была неизбежна, а плавали еще по старинке, как на деревянных кораблях. «Бекас» был разворочен на камнях Руну основательно, о чем и доложили адмиралу Шестакову. Адмирал (по непонятной логике) решил ставить Коковцева в пример другим:

– Господа, вот как надо разбивать миноноски!

Неожиданно Коковцев сделался на флоте известен; стоило ему появиться где-либо в обществе офицеров, как он слышал за своей спиной: «А-а, это тот самый Коковцев, что здорово умеет разбивать миноноски…»

Владимир Васильевич вскоре сообразил, что повседневная рутина флотской жизни может засосать его: эти бесконечные ползания в шхерах, бессонные ночи на мостиках, мертвые дни стоянок, офицерские пирушки в ресторанах, где ума никак не прибавится, – а что же дальше? Как жить?..

Он появился в Кронштадте перед старым Пилкиным:

– Константин Павлович! Я все продумал и прошу ваше превосходительство из необязательных слушателей Минных офицерских классов перевести меня в слушатели обязательные.

Пилкин был очень доволен таким оборотом дела:

– Очень рад, что вы решили взяться за ум…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Женщины купались в юбках и чепцах, мужчины в штанах до колен и в шляпах. Коковцев заметил, что половина людей ходит купаться, другая – глазеть на купающихся. Причем женщины озирали мужчин, а мужчины бдительно следили за выходящими из воды женщинами. Иногда слышались осуждающие возгласы людей старшего поколения:

– Совсем уже совесть потеряли… У нее мокрое платье облепило все тело, а эта мерзавка даже не покраснела от стыда!

На пляже Коковцев завел разговор с женою: он решил учиться, потому ей предстоит вернуться на Кронверкский:

– Ты можешь навещать меня в Кронштадте по субботам.

Кстати, он выразил Ольге свое недоумение – почему она до сей поры не ощутила себя матерью? Ольга ему отвечала:

– Мама говорит, что в этом виноваты мужчины…

Лейтенант опять поселился на знакомой квартире мастера-клепальщика, добрейшая Глафира Ивановна снова пичкала его изделиями своей кухни. По утрам Коковцев, как примерный ученик, спешил в Минные классы. Отныне вся его жизнь озарилась новым светом – электрическим! Пар и броня уже застилали былую поэзию парусов. На флоте отживали век немало заслуженных адмиралов, видевших в машинах только источник грязи, какой в парусную эпоху флот не ведал. Но Коковцев сообразил, что цепляться за кастовость сугубо строевых офицеров – значило похоронить себя среди якорных цепей и рангоута, между малярными работами и приборками палуб. Конечно, это нужные знания, но за их пределами флот уже четко делил матросов и офицеров по специальностям… Электротоки врывались в шумы моря!

Минные офицерские классы были тогда передовой школой технического опыта, вобрав в себя все самое лучшее из русской и зарубежной науки. Коковцев не сразу вошел в курс лекций: высшая математика, физика и химия, теория корабля и… подводных лодок! Профессор А. С. Степанов подсказал ему тему для диссертации: «Вторичные свинцовые электроэлементы французского физика Plantе"&gt;». Коковцев подружился с Васенькой Игнациусом, плававшим на фрегате «Светлана»; молодые лейтенанты дотемна пропадали в лабораториях, ставя опыты над аккумуляторами Планте и Фора. Вскоре профессор Степанов выступил в Морском собрании Кронштадта перед офицерами Балтийского флота.

– Господа, – объявил он, – наш солидный журнал «Электричество» опубликовал статью об опытах английского физика Спенсера, но пусть нас радует, что наши юные лейтенанты, Коковцев с Игнациусом, достигли тех же результатов с аккумуляторами, но гораздо раньше известного английского физика…

Первые аплодисменты в жизни – какое это счастье!

На финской вейке, до глаз закутанная в шубу, приехала в Кронштадт и Оленька, румяная от мороза. Расцеловала мужа:

– Меня послала мама – узнать, как ты живешь?

– Опять мама! – горько усмехнулся Коковцев…

Глафира Ивановна сразу же замесила тесто для создания пышек с изюмом. Радуясь встрече с женою, Коковцев взахлеб читал отрывки из диссертации, измучив Ольгу разными непонятностями. Зато как была счастлива она, когда вечером пошли на бал в Морское собрание – только тут, под оглушительные всплески музыки, в ослеплении мундиров и эполет, в пересверке бриллиантов на титулованных адмиральшах, Ольга вдруг осознала, какой волшебный мир ожидает ее в будущем, если…

– Если ты будешь меня слушаться, – шепнула она.

Коковцева радовало оживление Ольги, ее безобидное кокетство, с каким она танцевала, наконец в ресторане Собрания к ним подсел контр-адмирал Пилкин.

– Мадам, – сказал он женщине, – я предрекаю вашему супругу скорую и блистательную карьеру. Поверьте, так оно и будет…

Когда супруги вернулись домой, на квартиру судоремонтного мастера, Ольга, даже не сняв бального платья, опрокинулась на диван, блаженно улыбаясь, и, кажется, не замечала ни ободранных тусклых обоев на стенках комнаты, ни мокрых тряпок, подложенных под текущий от изморози подоконник, – молодая и красивая женщина, она была еще т а м, в этом сверкающем электрическом зале Морского собрания.

С отчетливым стуком упали на пол ее бальные туфельки.

– Владечка, иди ко мне, – позвала его Ольга. – Я так счастлива сегодня… Ах, как бы я хотела быть адмиральшей!

– Ты и будешь ею, – отвечал Коковцев. – Но все-таки ответь: почему до сих пор ты не стала матерью?

– Боже мой! Ну, откуда я что знаю, Владечка? Если тебя это так тревожит, спроси у моей мамы…

Минные офицерские классы поддерживали тогда научные связи с университетом, Коковцев не раз выезжал в столицу для консультаций с профессурой. Воротниковы, кажется, не совсем-то понимали его устремления. Им было бы, наверное, приятнее видеть зятя делающим карьеру под «шпицем», а не бегающим вприпрыжку на уроки, зажимая под локтем студенческие учебники. Диссертацию его опубликовали в «Известиях Минных офицерских классов», и Коковцев не находил себе места от счастья… Ну, скажите, какая дубина не дрогнет, увидев свое имя, свой труд в печати? Лейтенант шагал по Грейговской улице Кронштадта, не в силах сдержать улыбки, и нес журнал в руке, уверенный, что все прохожие смотрят на него – вот, видите, идет сам автор! После этой научной публикации Владимир Васильевич удостоился почетного диплома члена «Русского физико-химического общества при СПб. Императорском Университете».

– Ну, вы у меня молодцом, – похвалил его Пилкин. – А теперь нам предстоит поработать напоказ. Как выяснилось, Россия не имеет специалистов по электричеству, кроме… офицеров Минных классов! Император в мае будет короноваться в Москве, а устройство пышной иллюминации поручается нам.

С бригадою матросов-гальванеров Коковцев спешно перебрался в первопрестольную. Он уже имел опыт электроосвещения казарм в Кронштадте, но теперь предстояло нечто грандиозное. Требовалось растянуть шестьдесят верст проводки и соединить три тысячи лампочек. Иностранные фирмы просили за иллюминацию Кремля миллион золотом – флот взялся за это дело из принципа: искусство ради искусства! В мировой практике еще не было подобных случаев, чтобы осветить такое гигантское сооружение, каковым являлся ансамбль Московского Кремля. Обычно цари при коронации баловались «шкаликами» с фитилями, которые задувал на высоте ветер, а копоть от сальных плошек неудачно гримировала придворных красавиц. Коковцев не успел еще поставить генераторы, как архитекторы набросились на него с требованием: электромонтаж никак не должен испортить контуры кремлевского силуэта. Но возникла еще одна трудность – политическая: когда гальванеры с веселым гомоном разносили шнуры, опутывая Кремль электропаутиной проводки, царская фамилия испугалась – как бы эти шустрые ребята не взорвали их по всем правилам современной науки! Коковцев заявил жандармам, что не может работать спокойно, если под ногами путаются… посторонние. Колокольня Ивана Великого была выше любой корабельной мачты, а лесов вокруг храмов архитектуры возводить не разрешали. Матросы поневоле сделались альпинистами. С земли было страшно видеть, как, обвязавшись ниточками веревок, они букашками переползают округлость храмового купола, тянут за собой арматуру. Но тысячи лампочек имели последовательное включение в сеть, отчего неисправность хоть одной ламфочки гасила сразу всю иллюминацию… Матросы спустились с Ивана Великого:

– Мы свое дело сделали. Хотите проверить – пожалуйста!

Конечно, если бы Коковцев смолоду не побегал по реям и вантам, ставя паруса в штормах, вряд ли рискнул бы он забираться до самого креста Ивана Великого! На высоте он оценил подвиг матросов: купол храма покрывал скользкий иней, его обдувало свирепым, обжигающим ветром. Подтягиваясь на руках, лишенный всякой страховки, боясь смотреть на Москву, что лежала перед ним как на ладони, Коковцев проверил работу матросов, выкинул вниз одну неисправную лампу, достал из кармана цельную и вставил в общую сеть иллюминации… Смотреть вниз – жутко! Скорее бы на землю. Наградою ему был орден Станислава 3-й степени.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Только теперь, став российским кавалером, лейтенант не стыдился носить и японский орден Восходящего солнца. Впрочем, не раз попадал в неловкое положение. Станислава приходилось объяснять иллюминацией Ивана Великого, а Восходящее солнце тушением пожара в трущобах Иокогамы, – не слишком-то романтично все это выглядело, но что поделаешь?

Осенью 1883 года в Вене открылась Международная электротехническая выставка, куда Коковцев и выехал вместе с Ольгою (разочарованной дороговизною в магазинах), но в конце ноября телеграммой из-под «шпица» он был срочно отозван на родину. Поезд прямого сообщения «Вена – С.-Петербург» прошел через ночную Варшаву, не останавливаясь, мимо окон стремительно пронесло сверкание вокзальных огней, потом в купе снова хлынула тьма. Рано утром были уже в пограничной Режице.

Коковцев заранее приготовил для жандармов паспорт.

– Жены моей, – сказал он. – Потише. Она еще спит.

Поезд разом окунулся в овсяные и льняные поля родины, мокнущие под заунывными дождями. Ольга открыла сонные глаза:

– Владечка, как хорошо мне с тобою… Ты заказал чаю?

Под «шпицем» решилась судьба: Коковцев был определен на должность флагманского офицера по электрогальванике и обслуживанию «самодвижущихся мин Уайтхэда» (так назывались тогда первые торпеды). Вскоре последовал номерной приказ о назначении лейтенанта на корабли Практической эскадры, стационировавшей в регионе Средиземного моря:

– Я, дорогая, телеграфирую тебе, когда ты сможешь на недельку выбраться ко мне – в Неаполь или в Афины…

Здесь, в Средиземном море, русские Практические эскадры издавна несли стационарную службу, как и в портах Дальнего Востока, наносили «визиты вежливости» дружественным странам, вели гидрографические работы, своей мощью противостояли недругам России. Политическая обстановка требовала присутствия русских в бассейне Средиземного моря: Англия обосновалась в Египте, а эвентуальные враги России (Германия, Австро-Венгрия и, возможно, Италия) объединились в могучем Тройственном союзе… Адмиралтейство умышленно послало к берегам Африки наилучший броненосец «Петр Великий», и он был действительно лучшим в мире, этот массивный великан, облаченный в панцирь путиловской брони.

А в кают-компании крейсера «Африка» часто слышались разговоры:

– Государство без флота подобно голосу певца за сценой: его выслушивают, но с ним никто не считается. Мы, офицеры кораблей, как никто другой, связаны политикой, и любое ее колебание отражается сначала на флоте, потом на армии, а затем уже газеты доносят вибрацию дипломатов до широкой публики.

– Сначала, – добавил Коковцев со смехом, – политика отражается на флоте, правда, затем сразу же на наших женах.

– Само собой разумеется, – согласились с ним…

Пробыв на Практической эскадре почти целый год, Коковцев покинул ее в Неаполе, где нищие просили сольдо «на макароны» (как в России клянчат пятак «на чаек»). Поездом он вернулся в Петербург, где стояла такая неслыханная жарища, что на булыжниках мостовых, казалось, можно печь блины, как на сковородах. Коковцев даже не заглянув на Кронверкский, сразу же поехал в Парголово. На перроне станции ему опять встретился тот самый офицер с бородой и орденами, но теперь он был в чине капитана первого ранга. Очень приветливо каперанг сказал:

– Вторично и снова на том же месте, не так ли?

– А ваше лицо мне очень знакомо.

– Очевидно, по портретам… Степан Осипович Макаров, – представился каперанг. – А вы не с Практической? Как-то там поживает командир крейсера «Африка»?

Понятно, что Макаров спрашивал о Федоре Дубасове, и Коковцев не скрывал, что с Дубасовым никто из офицеров не мог ужиться, а когда «Африку» покинул и старший офицер, Коковцев его подменял, хотя с Дубасовым они как-то сошлись.

– У меня, наверное, покладистый характер.

Макаров спросил – где Коковцев служил на Балтике?

– На Минном отряде.

– А ведь я им командовал! Вы какого экипажа?

– Был четвертого, теперь в двадцатом.

– И я одно время служил в четвертом… У вас здесь дача?

– Не моя – женина. Во втором Парголове.

– Это неподалеку от дачи Стасовых?

– Почти рядом. Из моих окон видны Юкки.

– А я селюсь в Старожиловке, возле Шуваловского парка. При случае заходите. – К нему подошла дородная, очень нарядная дама вызывающей красоты, и Макаров протянул руку Коковцеву: – Извините, лейтенант. Кучер ждет… А это равнозначно флотскому докладу с вахты: «Катер у трапа!»

Общение с народными героями всегда лестно для самолюбия, и Коковцев радовался этому знакомству. Воротниковы же с некоторой иронией сообщили, что дача у Макарова – развалюха, а жена – мотовка, каких свет не видывал. Вера Федоровна сказала, что Макарова «окрутили» на Принцевых островах, его Капочка училась в иезуитском монастыре в Бельгии.

– Но от монашенки там капли не осталось! Одевается только у Дусэ и Редфрэна, а сам Макаров – сущий мужик.

– Побольше бы нам таких… мужиков, – ответил Коковцев.

Оставшись наедине с Ольгой, он сладостно ее расцеловал. Жена ему понравилась – загорелая, стройная, ладная.

– Плавание было интересным, – говорил он, раскрывая чемоданы с подарками. – Шесть месяцев не видел берега! Законов на флоте нет, зато полно всяческих негласных традиций. Одна из них гласит непреложную истину: старший офицер не просится на берег, ожидая, когда командир сам предложит ему прогулку. Но Федька Дубасов, горлопан такой, берега ни разу не предложил… Вот и сидел в каюте, будто клоп в щели!

Ночь была душной. Ольга спросила его:

– Если не спишь, так о чем думаешь, Владечка?

– О послужном списке. Считай сама: клипером на Дальний Восток, разбил «Бекаса» на Руну, затем Минные классы, иллюминация Кремля, минером на Практической, где подменял старшего офицера на «Африке». А ведь мне нет и тридцати лет!

– Ты у меня умница. Помни, что я хочу быть адмиральшей…

Вскоре из-под «шпица» сообщили: открылась вакансия командира уже не миноноски, а миноносца «Самопал», недавно построенного на заводе «Вулкан». Перед отбытием в Гельсингфорс, случайно заглянув в туалет жены, Коковцев обнаружил набор предохранительных средств парижской выделки.

Он обозлился. И даже накричал на Ольгу:

– Школа твоей мамочки! Полагая, что я развратник, она изгнала из дома Фенечку, но подавила в себе скромность, обучив тебя этим хитростям… Сейчас же все вон – на помойку!

После этой ссоры Ольга Викторовна очутилась в положении, какое в русской литературе было принято называть «интересным». По прошествии срока, определенного природой, она родила первенца – Георгия (Воротниковы звали мальчика Гогой). Коковцев понял, что этот ребенок не станет любимцем матери…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Самопал» ретиво вспахивал крутую балтийскую волну. Зажав в углу рта папиросу, Коковцев колдовал над курсами, напевая:

Рвутся в цепях контрафорсы —Это ваш прощальный час.От причалов ГельсингфорсаПровожали дамы нас…Время было интересное… Софья Ковалевская недавно стала первой русской женщиной-профессором, великий Пастер трудился над предупреждением бешенства, автомобиль уже отфыркнул в атмосферу бензиновый чад, еще не ведая, что станет погубителем всего цветущего на планете, а воздушный шар Крэбса-Ренара совершил новое чудо – он опустился на землю в том самом месте, с которого и поднялся к небу… Победа! Опять победа. Молодой Фритьоф Нансен замышлял пересечь на лыжах ледниковое плато Гренландии, человечество уже имело два грандиозных проекта: украсить Париж высочайшим в мире сооружением – Эйфелевой башней и прокопать в теле земли Панамский канал… Неужели все это возможно? «Нет, это невозможно!» – говорили люди. Но достижения науки постоянно перемежались злокачественными лихорадками политических кризисов. Пусть читатель, мой современник, не думает, будто эти кризисы, волнующие его мирное бытие, ранее случались реже, нежели сейчас… Германия вдруг с небывалым ожесточением вломилась в Африку, колонизируя ее в Того и Камеруне, флот кайзера бросил якоря у берегов Новой Гвинеи, Франция воевала с Китаем из-за Вьетнама (Аннама), Англия деловито и торопливо прибрала к рукам Бирму.

Шел дележ мира. Точнее – грабеж его!

Русский флот учащенно маневрировал на морях, торопливо обстреливая полигоны Транзунда и Бьёрке, чтобы иметь полную боевую готовность. Коковцев, пригнав «Самопал» в Ревель, забирал с береговых складов запасы для команды миноносца: солонины и сухарей, пшена и гороха, чечевицы и водки, на борт брали бочонок коньяку и ящик египетских папирос для офицеров. Тонкая сталь палубы мелко дрожала от перегрева машины… Теперь в роли командира Коковцев уже на самом себе испытал всю горечь салонного отчуждения. Преступив морскую традицию, он, командир, сам же и напросился обедать в кают-компании. Просто ему хотелось поговорить, и он – говорил:

– А смешно выглядит Япония, бегущая за Европой с такой завидной скоростью, что позади уже остались гэта и киримонэ, догоняющие ее по воздуху… Но самое смешное, господа, уже стало оборачиваться кровавыми слезами для бедных корейцев!

Это верно. Самураи недавно устроили в Сеуле переворот, желая устранить из политической жизни страны королеву Мин, которая ориентировалась на защиту от японцев со стороны России. Но тут поднялись сеульские горожане, а Ли Чунчжан («китайский Бисмарк») помог Корее своими войсками. В этой ситуации японцы явно проиграли. Однако их мечи не легли в ножны – их заново оттачивали в Токио… Корейская королева Мин, женщина умная и энергичная, в какой уже раз просила Петербург взять Страну утренней свежести под свой протекторат, ибо на китайцев у нее надежды были слабые. Помимо японцев, в Корею лезли и нахальные американцы, без стыда и совести позволявшие себе грабить даже могилы корейских властелинов. Певческий мост испытывал чудовищные колебания: встать на защиту Кореи опасно, ибо за каждым движением России пристально следила Англия, не снимавшая руки с политического пульса мира…

– Благодарю, господа, что накормили, – сказал Коковцев, наговорившись; в открытых иллюминаторах голубино отсвечивала сизая балтийская свежесть; юные мичмана натягивали тужурки, отчаянно скрипящие.

Коковцев занял свое место на мостике.

– Однако, – сказал он, – если верить питерским слухам, вопрос о строительстве железной дороги до Владивостока скоро решится. Именно сейчас, когда англичане укрепились в Египте и лезут в Персию, желательно, чтобы наши грузы для Дальнего Востока не зависели от прохождения через Суэцкий канал…

Было прохладное лето 1885 года – русский народ жил в тревоге: война с Англией казалась неизбежной! Наш солдат поднялся на вершины пограничной Кушки (где стоит на часах и поныне), и, конечно, политики Уайтхолла отреагировали на это моментально: британские крейсера снова замелькали на подходах к Владивостоку, их часто видели возле берегов забытой богом Камчатки.

Свежий упругий ветер летел навстречу миноносцу.

– Выходим на дистанцию залпа, – доложил минер.

– Залпируйте, – разрешил Коковцев.

Есть: попадание! Это привело его в благодушное состояние.

Завтра утром развернемсяМы к погасшим маякам.Далеко от ГельсингфорсаДо прекрасных наших дам…Поздней осенью Владимир Васильевич перегнал миноносец обратно в Гельсингфорс, где снимал удобную квартирку возле финского Сената; здесь его поджидала Ольга, приехавшая недавно.

– А я измотан вконец, – сказал ей Коковцев.

Он с удовольствием погрузился в удобное шведское кресло.

– Как прошли стрельбы, Владя? – спросила жена.

Коковцев молча протянул ей золотые часы. Щелкнул крышкою, изнутри которой Ольга прочитала гравировку: «Лейтенанту В. В. Коковцеву за отличныzе минные стрельбы в Высочайшем Присутствии Их Императорских Величеств».

– Их? – удивилась Ольга Викторовна.

– Да. Ты же знаешь, что Сашка никогда не расстается со своей Машкой, следящей за ним, чтобы он не устроил выпивона. – Крышка часов захлопнулась. – Если и дальше пойдет все так, – сказал он, – я раньше срока получу капитана второго ранга [7] .

Далее говорить ему было трудно: в кармане мундира, прожигая его до самого сердца, лежало письмо из Нагасаки от ресторатора Пахомова, сообщавшего, что мальчик, рожденный Окини-сан, подрастает, скоро надо думать о школе, цены в Японии сейчас бешеные, за обязательное учение дерут три шкуры, а бедная и одинокая Окини-сан живет крайне скудно…

Коковцев начал разговор издалека:

– Я встретил на эскадре Дубасова.

– Федора Васильевича?

– Да. Он вернулся из Нагасаки и…

Как ни было тяжело Коковцеву, он все-таки набрался мужества рассказать Ольге все об Окини-сан, не скрыл от жены и того, что в Японии остался мальчик – его сын.

– Прости. Но молчать об этом я тоже не могу…

Странно повела себя Ольга! Не успев огорчиться, она тут же взяла себя в руки, рассуждая с трезвой ясностью:

– Конечно, я всегда догадывалась, что тут не обошлось одним цирком с попрыгуньей Эммой Чинизелли. Впрочем, ты поступил правильно, что сказал мне об этом. Иноса настолько далека от меня, что мне порой кажется, будто ты любил эту женщину на планете, недоступной для моего понимания… Бог с тобой, я даже не ревную, – великодушно простила она его.

Потом долго и сосредоточенно раскуривала дамскую папиросу «Сафо» с золотым наконечником и легла на кушетку.

– Ты хоть знаешь ли, как зовут твоего сына?

– Иитиро.

– Что значит Иитиро?

– Тигр… Эта женщина родилась в год Тора, но ее сын, по японским поверьям, должен быть счастлив в жизни, и его все должны бояться, как тигра, а несчастная мать утешится на старости лет счастием и могуществом своего сына…

– Тигр Владимирович Коковцев, – съязвила Ольга Викторовна. – Звучит совсем неплохо… Но сейчас я, поверь, обеспокоена только твоей порядочностью. Я сама недавно стала матерью, и я не хочу, чтобы по твоей вине эта несчастная, как ты объясняешь мне, оказалась на уличной панели…

Она сказала, чтобы он отсылал в Иносу денежный пансион, достаточный для того, чтобы не нуждалась Окини-сан и чтобы не нуждался ее «тигренок». Коковцев никак не ожидал такого благородства от жены, урожденной Воротниковой, в доме которых принято считать каждую копейку, и он, опустившись на колени, с большим и неподдельным чувством расцеловал ее руки:

– Спасибо, Оленька…

Она показала привезенные из столицы новые платья:

– Я ведь надеялась, что мы куда-нибудь пойдем.

– Конечно. Лучше в шведский «Кэмп», там уютнее.

Коковцеву стало легче на душе. В ресторане Ольга Викторовна охотно вальсировала с молодыми мичманами, которые за ней давно увивались, а сам Коковцев, командир «Самопала» и владелец этой женщины, подвыпил, кажется, лишнего. Он пел:

Господа, к чему вам нервы?Жизнь на карту – полный ход.В этих виках, в этих шхерахЧерт костей не соберет…Его нога в замшевом ботинке, пошитом на заказ у ревельского сапожника, отбивала музыкальный такт, а на руке лейтенанта крутился золотой браслет с затейливою славянской вязью:

МИННЫЙ ОТРЯД. ПОГИБАЮ,

НО НЕ СДАЮСЬ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Европа, как и Америка, предвзято самоуверенные, еще не догадывались, что в их компанию затесался новый конкурент – внешне очень благожелательный (и безжалостный!), подкупающе-радушный (и хищно-оскаленный!). Японцы были приятными гостями во всех странах: вежливые и чуть наивные, они возлюбили посещения арсеналов и заводов, гаваней и полигонов. Их еще не трогала идеология европейской мысли, они не придавали значения той гигантской сумме философии, выстраданной Европой за множество столетий. Попав за границу, японец не шлялся во Дворец Правосудия, чтобы внимать парижским адвокатам, делающим из чертей ангелов, японца не пленяли Лувр или Прадо, Эрмитаж или галерея Уффици, – нет, он возвращался домой с дипломом инженера, хирурга, биолога или химика. Результат был налицо: японские врачи очень быстро обрели высокий международный авторитет, ученые Европы стали цитировать японских коллег; началось повальное увлечение японским искусством, в домах русской интеллигенции считалось хорошим тоном иметь на стене гостиной гравюру Хокусаи с неизбежным видом Фудзиямы…

Время от времени японское посольство в Петербурге устраивало великолепные приемы. В числе приглашенных бывал и Коковцев с женою – как кавалер ордена Восходящего солнца. Распорядок церемонии японцы писали на листьях лотоса, которые аккуратно приклеивали потом на благоухающие дамские веера.

Ольга была обескуражена японским меню:

– Владя, подскажи, что мне просить из этого?

– Проси сушеную каракатицу с вареньем, это вкусно. Хорошо, что я еще не имею ордена Двойного дракона от коварной и подлой Цыси, иначе твой выбор был бы еще затруднительнее…

Ни Коковцев, ни другие русские люди, бывавшие в Японии, не хотели верить, что эта страна может стать опасным врагом. А между тем многие видели в Японии только красивую декорацию, еще не догадываясь, что за прелестными бамбуковыми ширмами, расписанными журавлями и вишнями, скрывается нечто, таящее угрозу другим народам. Яйца были уже разбиты – из них вылуплялись зловещие гарпии. И офицеры германского генштаба муштровали самурайскую армию. И капитаны британского флота тренировали в океанах экипажи японских броненосцев… Увлеченный беседою с секретарем шведского посольства, Коковцев не мешал жене кокетничать с молодым маркизом из французского атташата.

– Кто лучше всего выражает дух народа – мужчины или женщины? Если в Японии зеркалом ее души являются женщины, то мне не придется воевать с этой страной. У японцев есть даже поговорка: в улыбающееся лицо стрел из луков не выпускают…

Гости уже подвыпили, зал наполнялся общим говором.

– Гомэн кудасай, – вдруг коснулось слуха Коковцева.

Он увидел перед собой изящную японку, сильно перетянутую в талии поясом-оби. Удивителен был тонкий овал ее лица (Коковцев вспомнил, что такие лица в Японии называются «уридзангао» – дынное семечко). Кланяясь, женщина спросила его:

– Вы разве не узнали меня, Кокоцу-сан?

– Напротив! Я даже помню ваше имя, О-Мунэ-сан…

Это была дочь самурайского адмирала Кавамуры.

– А это мой муж, – указала без жеста, одними глазами, на группу японцев, стоявших поодаль (но кто из них был ее мужем, так и осталось невыясненным). – А почему вы тогда не навестили меня в Тогицу? – вдруг спросила его бывшая фрейлина.

Коковцев игриво отвечал, что вся человеческая жизнь, очевидно, соткана из одних лишь утраченных возможностей:

– Но я безумно рад видеть вас здесь… Вы бы знали, как вы сейчас прелестны! Гораздо лучше, нежели тогда – на клипере «Наездник», когда в вашу честь была взорвана нами мина.

От волос японки исходил тонкий специфический аромат. Это был запах цветов и фруктов Японии, о близости которой моряки догадываются еще далеко в море – по запаху.

– Я ведь ждала вас тогда, – вздохнула О-Мунэ-сан. – Правда, песчаная дорога до Тогицу неудобна, но зато много красивых пейзажей. Вы могли бы взять носильщиков с паланкином…

Она как будто уговаривала его вернуться в Тогицу! Коковцев отыскал глазами Ольгу, которую вполне устраивало общество француза. Невольно он сделал для себя открытие: его жена хороша и нравится мужчинам. Переняв с подноса лакея бокалы с шампанским, Коковцев и О-Мунэ-сан тихо чокнулись. В этот момент их головы нечаянно соприкоснулись. Он снова ощутил дуновение ветра, летящего над мандариновыми рощами Нагасаки.

– Я жалею, что не приехал тогда в Тогицу, – шепнул он женщине. – Наверное, я многое потерял…

Из этого очарования его вывел вопрос О-Мунэ-сан:

– Кокоцу-сан, вы командуете большим кораблем?

Владимир Васильевич откровенно любовался японкой:

– Нет, маленьким… всего лишь миноносцем.

– О, я знаю, как это страшно и опасно для вас. Нет, я не забыла ту мину, которую вы взорвали для меня! Но почему она прыгала по волнам, словно бешеная лягушка?

О-Мунэ-сан спрашивала его о метательных (инерционных) минах, внешне похожих на торпеды, зато не имевших двигателя. От этих мин русский флот давно не знал как избавиться, и секрета они не составляли. Однако Коковцев все же ушел от прямого ответа, указав на французского маркиза, увлеченного его женой:

– Это как раз морской атташе Франции, он вам расскажет об этих «лягушках» со всеми подробностями… А я, увы, – сказал Коковцев, – я в этих делах ничего не понимаю!

Супруги покинули японское посольство далеко за полночь, возвращались домой на извозчике. В коляске возник разговор:

– Ну как, тебе понравился этот вечер?

– Очень! – ответила Ольга, не глядя на мужа.

– Особенно понравился ты. Если б ты мог видеть себя со стороны…

– Не пойму, чем я успел провиниться?

– Ты был похож на кота, учуявшего запах валерьянки.

– Перестань! О-Мунэ-сан моя давняя знакомая по Японии.

– Сколько их было там у тебя? Я должна покрывать твои же грехи, отрывая последний кусок у себя и нашего сына. И мне было противно видеть, как ты вешался на эту японку… Они ведь все у тебя несчастные – одна лишь я счастливая!

Коковцев решил молчать. Петербург спал в тишине белой ночи. Усталые лошади цокали копытами по торцам влажных мостовых. Супруги, оба сдержанные, вернулись домой. В постели Коковцев сделал робкую попытку обнять жену и получил от нее оплеуху, прозвучавшую в тишине квартиры чересчур громко.

– Убирайся со своими поцелуями! – сказала Ольга, включая свет и хватая папиросу. – Я ведь знаю, что, обнимая меня, ты станешь думать об этой японке… Не-на-ви-жу!

Коковцев удалился на кухню, открыл бутылку с коньяком, из чулана мэдхенциммер выглянула сонная кухарка:

– Свят-свят, да што ж вы туточки делаете-то?

– Пью, как видишь.

– Ночью-то? Ольга Викторовна осерчать может.

– Не лезь не в свое дело…

Под утро, невыспавшийся и раздраженный, Коковцев кое-как приоделся, возле Тучкова моста его поджидал катер, доставивший его на Гутуевский остров, возле которого стоял его миноносец.

– По местам стоять – со швартов сниматься!

На мостике штурман спрашивал его:

– У вас дурное настроение, Владимир Васильевич?

– Счастье так же относительно, как и понятие координат на прокладочных картах… К чертовой матери! – сказал Коковцев, переставив ручку машинного телеграфа на «полный». – Только в море и чувствуешь себя человеком. Пошли, пошли…

Эта встреча с О-Мунэ-сан все в нем перевернула. Еще долго вспоминался запах волос – запах глициний и магнолий, зацветающих на зеленых террасах Нагасаки, это был аромат его былой, неповторимой любви. «Неужели все кончено?..»

Разве мог Коковцев предполагать, что не он вернется к Окини-сан – все будет гораздо сложнее: его вернут к ней!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Давно уже не было такой веселой зимы в Кронштадте. Город наполнили вдовушки и девицы. Морское собрание выписывало из Питера лучших певцов и музыкантов, гремели балы и маскарады, на масленицу форты пропитались блинным угаром, офицеры с дамами укатывали на вейках по льду залива до ночных ресторанов Сестрорецка, до утра гремящих бубнами цыганок и рыдающих проникновенными румынскими скрипками…

Уже появились первые полыньи, когда Ольга Викторовна родила второго сына, нареченного добрым именем – Никита.

– Больше детей у нас не будет, – твердо решила жена.

Коковцев предчуял, что и этот ребенок не станет любимцем матери, как не стал и первенец Гога.

На все лето он ушел к Транзунду, где успешно провел торпедные стрельбы, вернувшись в Кронштадт лишь под осень. На Грейговской улице его чуть не окатило грязью, выплеснувшей из-под коляски на дутых шинах, в которой сидела элегантная стерва – жена Дубасова.

– Вы получили письмо от Феди? – крикнула она.

– Нет, Александра Сергеевна, а что?

– Государь-император очень недоволен, что наследник Ники связался с этой… Кшесинской. При дворе решили проветрить ему голову в дальнем плавании до Японии [8] , а мой Федя никак не найдет старшего офицера для «Владимира Мономаха».

– Что-то у меня… с легкими, – приврал Коковцев.

– Поправляйтесь! Федя говорил, что на «Владимире Мономахе», близ наследника, вы раньше срока станете кавторангом…

Стороною Коковцев пронюхал, что от Дубасова бежали куда глаза глядят уже три старших офицера, а теперь он стал уповать на «покладистого» лейтенанта Коковцева, который сразу сказал себе: basta! Отличный моряк, но махровый реакционер, Дубасов из гаваней Триеста, где околачивался его «Мономах», нажал потаенные пружины под «шпицем», и Коковцев получил чин капитана второго ранга. Но этим он Коковцева не соблазнил! Владимир Васильевич не скрывал от жены, что присутствие на фрегате наследника престола, склонного к выпивкам и безобразиям, никак не будет способствовать укреплению дисциплины.

– Но, подумай, какая карьера! – всплеснула руками жена.

– Моя карьера и без того складывается отлично.

– Тебе так повезло, – говорила Ольга. – Когда наследник Николай взойдет на престол, разве он забудет старшего офицера с «Владимира Мономаха»?.. Хотя бы ради наших детей!

– Э, – небрежно ответил Коковцев. – Ты говоришь о детях так, будто они, сиротки, сидят неглиже по лавкам и рыдают от голода. На флоте полно всяких ситуаций не для женского понимания. Когда матрос является с берега пьяным, я ему вежливо говорю: «Ты, пес паршивый, где успел так надраться? Пшшшел в карцер!» И он меня уважает. А при наличии наследника, спроси я матроса об этом, он мне на будущего царя пальцем станет показывать: «Им, значица, можно закладывать, а нам уже и нельзя… Это по какому такому праву?»

Ольга Викторовна уязвила мужа словами:

– Если бы мы не посылали еще и в Нагасаки, я бы об этом тебя и не просила, ты сам хорошо это понимаешь…

– Хватит для меня гаффов! – обозлился Коковцев.

Вспышка семейного скандала продолжения не имела, ибо сияние новых эполет уже отразилось на новых туалетах жены. «В конце концов, – размышлял Коковцев, – чего ты беснуешься, моя прелесть? Леня Эйлер прав: не ты меня, а я тебя осчастливил…» Ольга Викторовна вступала в возраст светской дамы. Беременности не испортили ее фигуры (чего она так боялась!). Коковцеву было приятно не отказывать ей в обновках, которые она шила у Дусэ и Редфрэна, как и Капитолина Николаевна Макарова…

Вскоре газеты донесли весть об ужасающем землетрясении в Японии: там провалилась огромная площадь, унося в небытие сразу несколько городов и 80 000 жизней. Коковцев (тайком от жены) переслал для Окини-сан и сына Иитиро ощутимую сумму денег. Это было дело его совести!

Только теперь, досрочно выслужив кавторанга, Владимир Васильевич убедился, что мир не состоит из одних друзей – бывают еще и завистники. Впрочем, человек широкой души, он оправдывал эту зависть положением о цензе. Больше сорока процентов адмиралов и высших офицеров не имели корабельных вакансий, и хотя флот рос как на дрожжах, но Морской корпус ежегодно штамповал пачки новеньких мичманов, жадных до плаваний и всяческих удовольствий от пребывания за границей. Эта пикантная «безработица» вынуждала офицеров держаться что есть сил за борта кораблей, командиров было не оторвать от мостиков. А недавно закон о цензе еще более ожесточился. Не успевшие отбыть ценза в море стали вылетать в отставку… Коковцев пока что сидел на своих минах прочно, а новое положение о цензе давало плавающим хорошее материальное обеспечение семьям, в случае же гибели мужей их жены получали большую пенсию.

Но Ольга Викторовна уже начинала тосковать:

– Ценз, ценз, ценз… А я совсем не вижу тебя!

На это у Коковцева был готов ответ:

– Ты хочешь быть адмиральшей в молодости?

– Хочу.

– Хочешь быть с титулом ея превосходительства?

– Какая же дура откажется?

– Тогда… терпи. А я буду плавать.

В один из дней Воротников по секрету сообщил зятю, что вопрос о строительстве Сибирской железнодорожной магистрали решен в верхах положительно. Русский рабочий, с удалью размахнувшись, уже забил первый костыль в первую шпалу. Грандиозные просторы обязывали русский народ мыслить в таких невероятных масштабах, какие не снились даже предприимчивым американцам. Но сразу же заволновались японские самураи. Вскоре майор Фукусима, военный атташе в Германии, верхом на лошади проехал за триста четыре дня из Берлина до Владивостока, на родине его встречали как триумфатора. Фукусима двигался вдоль будущей трассы Великого Сибирского пути… Увы, майор Фукусима не был спортсменом – он был шпионом японского генштаба.

В это сумбурное и шаткое время Россия начала сближение с Францией.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Униженная поражением под Седаном, эта чудесная жизнестойкая Франция видела в России естественного защитника свобод, добытых на баррикадах. Монархическая Россия, подозрительная к барабанному бою Берлина, через голову кайзера, оснащенную железным шлемом – фельдграу, протянула руку республиканской подруге, и Александр III, крякнув, вынужден был снять шапку, чтобы выслушать революционную «Марсельезу», зовущую граждан к оружию. Впрочем, как говорили очевидцы, Сашку толкнула Машка, чтобы он не стоял в шапке: гимн есть гимн!

Летом 1891 года Кронштадт встречал французскую эскадру адмирала Жерве; плохо зная русские фарватеры, французы выкатились килями на мель, с которой любезные хозяева сдергивали будущих союзников мощью портовых буксиров. Не знаю, что там думали в эти дни дипломаты, но флотским дамам гости задали немало хлопот: портнихи работали круглосуточно! Это и понятно: одно дело – муж, другое дело – французы. Ольга Викторовна не отставала от других дам, и Коковцев даже упрекнул ее:

– Оставь мне хоть рубль на извозчика… умоляю!

Морское собрание Кронштадта осветилось огнями, чествуя веселых и приятных гостей. Банкетный стол на 500 персон ломился от яств, громадный зал не мог вместить публики, которую рассаживали даже в аванзалах. Парадная лестница благоухала тропическими растениями, столы утопали в аромате цветов, художник Каразин расписал карточки меню, на которых русская баба в кокошнике обнимала француженку во фригийском колпаке. Оркестром в этот день дирижировал Главач, а капеллою детских голосов управлял знаменитый Агренев-Славянский. Стоило французам показаться на лестнице, сразу грянула увертюра из оперы Глинки «Жизнь за царя», после чего был исполнен марш «Salut a la France». Флотские дамы ужасно волновались: все ли сшито как надо? Обратит ли адмирал Жерве внимание на их тюник, который они отделали кружевами, плике и меховой оторочкой.

Но следовало загладить и посадку эскадры на мель.

– Я, – сказал Жерве, – нисколько не жалею, что дорога в Кронштадт оказалась с препятствиями. Тем сильнее станет наша дружба, которой так пылко желает вся Франция…

Дамы заулыбались. После жаркого лакеи салютовали открытием огня из бутылок с игривым французским шампанским.

– А где же водка? – удивился Жерве.

– Подать водки! – скомандовали адмиралы непререкаемо, как привыкли отдавать приказы в плутонги: «Подать снаряды!»

Главач распушил усы и, не сводя глаз с Жерве, берущего с подноса бочок индейки, покрыл шум застолья бравурными звуками «Марсельезы», услышав которую, народ, стоявший на улицах, начал кричать «ура». Все разом поднялись с мест:

– Vive la France! – произносили русские офицеры.

– Vive la Russie! – вторили им офицеры французские…

Так уж случилось, что, опережая потуги дипломатов с Кэ д’Орсэ и Певческого моста, русско-французский альянс начали создавать моряки России и Франции. Всем запомнился день отплытия эскадры, последние слова адмирала Жерве:

– Русские друзья! Ждем всех вас в нашем Тулоне…

Два года Коковцев отслужил флагманским минером (флагмином) на крейсерах второго и первого рангов, побывал в Италии, на Мадере, в Америке и в Палестине. За время его отсутствия Виктор Сергеевич, ездивший в полтавское поместье, погиб в железнодорожной катастрофе. Вернувшись домой, кавторанг застал Веру Федоровну поникшей и растерянной. Умерла и мать Коковцева, не дождавшись сына с моря. Две смерти подряд подрасстроили бюджет семьи, но теща, как видно, не собиралась делиться доходами со своих черноземных десятин.

– А, бог с ними! – говорил Коковцев, отмахиваясь…

Русская эскадра адмирала Авелана отправилась в Тулон, чтобы закрепить союзное торжество, Владимир Васильевич знал, что французы народ экспансивный, но даже он растерялся, когда толпы горожан ринулись на русские корабли, женщины целовали всех подряд без разбора – хоть адмирала, хоть кочегара, матери протягивали русским матросам своих младенцев:

– Ради него! Седану не повториться…

– Франция спасена! Да здравствует великая Россия!

Это была политика не та, о какой глаголят дипломаты на конгрессах, а политика сердца. Военные оркестры гремели маршем «Кронштадт – Тулон»; ухали литавры и завывали геликоны:

Кронштадт – Тулон!Тулон – Кронштадт!Мы победим в борьбе неравной.Кронштадт – Тулон!Тулон – Кронштадт!Вперед, вперед, флоты и армии.Никто не сомневался, что война с Германией неизбежна.

Каждый русский матрос получил на руку массивный браслет из чистого золота с надписью: НЕВЕСТАМ РОССИИ – ЖЕНЩИНЫ ФРАНЦИИ. Делегация офицеров с эскадры Авелана отъехала в Париж, где ее принял президент республики. В числе прочих Коковцев тоже стал кавалером Почетного легиона; к этому времени он уже имел орден Владимира и Анну 2-й степени. Флагмина любезно пригласили на маневры французского флота. В кают-компании французского крейсера «Латуш-Тревилль» кавторанг освоился очень быстро, найдя общий язык с хозяевами. Коковцева удивило лишь одно обстоятельство: стоило раздаться звучанию «Марсельезы», лица офицеров застывали как мертвые. На вопрос – почему они так реагируют на свой гимн, аристократ де Буггенвиль ответил: «Нас под эти аккорды еще недавно расстреливали…» За столом вино употреблялось умеренно, зато открыто стояли большие кувшины с шампанским, которое даже матросы пили, как в России мужики хлещут из бочек квас. В штурманской рубке Коковцев заметил, что карты разбиты на пронумерованные квадраты.

– Что это значит? – обратился он к штурману.

– Для удобства. Передавать многоцифровые координаты всегда сложно, бывают ошибки сигнальщиков в цифрах, что может привести к трагическим неувязкам. А здесь все просто: из квадрата тридцать восьмого перехожу в квадрат шестнадцатый. Один взгляд на карту – и все сразу видно. Никакой путаницы!

Об этом способе квадратирования карт Коковцев послал донесение под «шпиц», а там хорошее дело адмиралы торжественно погребли в своих пирамидальных анналах. Впрочем, в развитии минного оружия ничего нового Коковцев не обнаружил. На маневрах присутствовали и офицеры флота королевы Виктории, от них он получил приглашение посетить Ла-Маншскую эскадру… У англичан было много такого, чему можно позавидовать. Особенно восхищали отличные мореходные качества кораблей и командиров. В самую теснотищу гаваней они влетали на полном ходу, как угорелые, не боясь выброса на камни или столкновения. Но боевой распорядок их дня напоминал дикую оргию кухарки, помешавшейся на чистоте. Матросы драили сибирлетом (каменными брусками) не только палубы, но даже… пушки!

Коковцев уже слышал, что в минном оружии Англия плетется в самом хвосте других флотов мира. Он выразил по этому поводу свое недоумение и получил надменный ответ:

– Зачем нам обороняться минами, если со времен Нельсона мы знаем одну формулу боя – наступать, подавлять, преследовать. А мина – оружие слабейшего против сильнейшего…

Владимир Васильевич, гость вежливый, не стал утверждать, что такая прямолинейная тактика есть отрыжка былой славы Трафальгара, а календари уже готовы открыть XX век… Практические стрельбы англичане именовали «нужной заразой». Содрогание кораблей на залпах калечило арматуру, гасило в отсеках лампы, механизмы сдвигались с фундаментов, текли фланцы на трубах, в стыках корпуса появлялась «слеза», – у всех ведь так! Но англичане, оберегая чистоту от «заразы», стреляли скверно. Это правда, что, много плавая, они подавляли мир своей килевой мощью, но мощь их калибров практически равнялась нулю. Немцы – вот это были мастера; им плевать, что летят стекла и кусками отскакивает от бортов защитная пробка. Прильнув к прицелам, они садят и садят по щитам с дальних дистанций, а корабли у михелей на диво прочные, выносливые. Французы шарахаются из одной крайности в другую, а теперь они стали союзниками России; это значит, что все ошибки в развитии их флота механически будут перениматься и русскими верфями, за что всем нам, господа, предстоит расплачиваться в сражениях – кровью, ожогами, ампутациями…

Вернувшись в Петербург, Коковцев сделал в Адмиралтействе подробный доклад о виденном, закончив его словами:

– Я был крайне придирчив в своей критике и знаю очевидно недостатки нашего флота. Но у меня создалось впечатление, что российский флот все-таки иногда опережает иные флоты…

Нет, он не хотел льстить адмиралам – так и было!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Его любимый первенец Гога уже бегал по утрам в гимназию, мальчик музицировал на рояле, рисовал кораблики. Как быстро летит окаянное время, черт бы его побрал!

В своем докладе под «шпицем» Коковцев забыл упомянуть встречу на рейде «Плимута» с японским крейсером, пришедшим к англичанам с визитом вежливости. Удивительно быстро азиаты освоились с флотской цивилизацией. Побудка в пять утра – и экипаж начинал крутиться по трапам и люкам, как белка в колесе, зато рано вечером матросы переодевались в кимоно и ложились в гамаки с журналами в руках – все активно просвещались, но с этого момента рядовые вступали с офицерами в почти товарищеские отношения, каких не было на других флотах мира… Со стороны это производило очень сильное впечатление!

А теперь, читатель, обратимся к событиям, которые отразились на русской истории, определив будущую трагедию Дальнего Востока. Но прежде разложим перед собой карту…

В глубине Желтого моря – Печилийский залив. Входящие в него будто заглядывают в пасть Великого Китайского Дракона, смыкающего над кораблями челюсти полуостровов. Слева Шантунский – с городами Чифу, Вэйхайвэй и Кью-Чжао, справа – Квантунский (Ляодунский) полуостров, на острие которого торчит острый клык порт-Артура! С кораблей, плывущих в Печилийском заливе, можно видеть, как в Желтое море обрушивается Великая китайская стена; форты гаваней Таку стерегут подходы к Пекину, до которого отсюда всего 60 миль…

Где-то в этих унылейших краях и родился Конфуций!

Япония решила не ждать, пока русские протянут рельсы до причалов Владивостока – ее эскадра уже входила в Печилийский залив. Нападение свершилось без объявления войны Китаю, отчего политики мира пришли в небывалое замешательство. Военные никак не ожидали побед Японии: «Что может сделать страна, лишь тридцать лет назад сбросившая кольчуги и панцири, а лук со стрелами заменившая магазинными винтовками?»

Сразу же выявилась поразительная энергия капитана первого ранга Хэйхатиро Того, командира крейсера «Нанива». Международные связи русских моряков были весьма обширны, среди офицеров нашлось немало людей, которые не раз даже выпивали в компании Того, не склонного к аскетизму. На основании их слов русское Адмиралтейство составило сводку. Того с пятнадцати лет плавал гардемарином на английском флоте, сдал экзамен на мичмана, неоднократно посещал маневры Ла-Маншской эскадры. Из британского опыта Того не стал хватать все, что плохо лежит, а тщательно отбирал лишь дельное, сразу отбрасывая все лишнее, консервативное, мешающее. Сводка завершалась фактом: Того большой приятель английского капитана Гэлсуорси, который служит ныне инструктором китайского флота…

Летом 1894 года Гэлсуорси вышел из гавани Таку, чтобы доставить в Корею громадный десант китайских солдат. Когда на крейсере «Нанива» расчехлили пушки, Гэлсуорси крикнул:

– Не дури, Того! Мы же приятели, а войны нет.

– Прыгай за борт, пока не поздно, – отвечал Того.

Гэлсуорси поднял над собой английский флаг, но эта уловка не спасла его: Того в куски разорвал китайские транспорта, вытащив из воды лишь одного человека – своего приятеля.

– Не сердись! – сказал Того, поднося ему виски. – Вы же сами учили меня, что главный принцип Нельсона – наступать…

Трескучие японские митральезы без жалости перебили в воде всех китайцев, цеплявшихся за обломки. Никто ранее не знал Того, а теперь газеты мира заполонило его краткое выразительное имя. Японские десанты уже топали через Корею, когда Токио довел до сведения держав, что Япония находится в состоянии войны с Китаем. Дипломатия Европы и Америки понесла первое поражение от нахальной дипломатии самураев. А в бою под Пхеньяном японцам «помогли» сами же полководцы Цыси: накурившись опиума, эти жалкие вояки, убоясь решающей битвы, вдохнули в свои гортани тончайшие золотые пластинки, похожие на ленты фольги; после самоубийства генералов солдаты разбежались – кто куда. Спасибо и англичанам! Они продали Китаю ржавые стволы от ружей (без прикладов), с курками где-то сверху, и потому китаец стрелял, дергая веревку, получая при этом боксерский удар стволом прямо в область солнечного сплетения. Военные наблюдатели Европы в один голос отмечали абсолютное презрение к смерти японских солдат и матросов, которые, казалось, лишены понимания разницы между жизнью и смертью. Правда, вековая вера в холодное оружие ослабляла их огневую мощь. Пехота сидела буквально по уши в кучах расстрелянных гильз – японцы гнались не за точностью огня, а лишь бессмысленно увеличивали количество выстрелов…

Мир затаил дыхание, когда в устье реки Ялу, отделявшей Корею от Маньчжурии, встретились два флота – китайский и японский. Броненосцы флота Цыси были отличного качества (Китай заказывал их на верфях Германии и Англии). Морских специалистов Европы тревожил неизбежные вопрос: что тактически нового скажут сейчас японцы с китайцами? Китайский адмирал Тинг пытался превратить бой в абордажную «свалку», но все решила артиллерия японской эскадры, способная в одну минуту выбрасывать ПЯТЬ С ПОЛОВИНОЮ ТОНН металла, и взрывчатых веществ… Японская пехота вдруг задержала победный марш на Маньчжурию, с дороги на Мукден она резко отвернула на юг, стремительно захватывая Ляодунский плацдарм. Денно и нощно стучали телеграфы столиц; петербуржцы читали в газетах, что «китайцы бегут, оставляя после себя немало луков со стрелами и разных дреколий, просто палок, а пушки Круппа до того заржавели, что японцы не в силах отворить даже их замков». Все это время английская эскадра гонялась по волнам за эскадрой японской, обеспокоенная – как бы Того сгоряча не сунулся к ним в Шанхай или в Гонконг (другое их сейчас не тревожило). В ноябре японцы вломились в улицы Порт-Артура, штыками уничтожив все население города, оставив в живых только 36 человек. Самурайский маршал Нодзу тогда же объявил:

– Их убьем тоже, когда они выроют могилы для трупов…

В море ходила крутая волна, свирепствовал мороз. Того дождался ночи. Его крейсер «Нанива» прокрался на рейд Вэйхайвэя, где собрались остатки китайского флота; он открыл огонь с двух бортов сразу, погубив массу китайцев, совершенно беспомощных в жестоких условиях корабельных отсеков. Но эта морозная ночь дорого обошлась и японцам: когда «Нанива» вернулся с моря, на его палубах возле пушек выросли ледяные столбы, внутри которых застыли матросы. На мостике – тоже столбы: в них уснули японские офицеры. Качалась в ночи громада крейсера и вместе с ним качались страшные ледяные статуи. Вот и пробил час славы нового самурайского флотоводца!

Британский крейсер «Severn» доставил письмо Того китайскому флотоводцу Тингу: «Дружба, существовавшая между нами раньше, – писал он, – так же горяча, как и прежде. Но посторонним зрителям истина виднее…» Того предлагал Тингу сдаться, а Китаю советовал брать пример с Японии, вступившей на путь обновления, культурного и научного: «Если вы отвергнете этот путь, вам не избежать гибели…» Японская армия окружила Вэйхайвэй с берега, гавань с моря запирал японский флот. Мачты погибших броненосцев торчали из воды. Но силы эскадры Цыси были еще значительны: они не сдавались, хотя каждый день осады стоил Китаю сотен жизней детей и женщин города. О них никто не думал, они не имели даже рисинки во рту, их раны никто не лечил. Одиннадцать миноносцев Цыси пытались прорвать блокаду – японцы перетопили их, словно котят. Наконец японский снаряд разворотил мостики флагманского броненосца «Чан-Ю-Ен», и тогда китайские матросы опустились на колени, умоляя своего адмирала не сопротивляться далее… Тинг не стал удушать себя золотой фольгой – он отравился опиумом.

Вэйхайвэй пал! Японцы взяли не только главную базу флота Цыси, но и остатки ее флота. Мертвому Тингу крейсер «Нанива» отдал положенное число салютных залпов (в этом случае Того пожелал остаться культурным европейцем). Япония победила Китай в самом его чувствительном месте – в Печилийском заливе, а теперь она могла брать Пекин голыми руками. Эта война наглядно выявила растущую мощь японского милитаризма, она же до самых корней обнажила перед миром бессилие самого Китая и полное ничтожество его правителей…

В разгар этих событий умер от болезни почек Александр III, престол занял последний Романов – Николай II.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Коковцев провел зиму на Черном море, а весною, когда Китай взмолился о мире, он оказался в Одессе. На бульваре у Ланжерона его внимание привлек полураздетый босяк, лежавший на земле, закрытый листом английской газеты «Standard». Коковцев внутренним наитием почуял в босяке что-то очень родное и отвел газету от его лица… Это был – конечно же – неотразимый и великолепный, как всегда, Атрыганьев.

– Не советую обольщаться, – заговорил он так напористо, будто продолжал только что прерванный разговор. – Редакция этой газеты советует кайзеру Вильгельму учиться мудрости у его бабушки, королевы Виктории, и не соваться в Африку ради мнимой дружбы с бурами, после чего кайзер возмущенно заявил, что отныне бабушки у него нет… А ты читал ли лорда Дунмора?

– Нет, – расхохотался Коковцев.

Атрыганьев в клочья разодрал английскую газету.

– Дунмор издал в Лондоне два тома, в которых доказывает, что безопасность Англии может быть обеспечена только в том случае, если Англии будут принадлежать Афганистан, Персия, Тибет и Памир. Это так же забавно, как если бы Россия потребовала себе Патагонию и Родезию ради своей безопасности… Великая английская литература сумела разжалобить читателей описанием жизни несчастных сироток! Но в политике Англия сделала сиротами миллионы людей, и ведь ни одна сволочь в Лондоне не пролила по ним даже слезинки…

Странно было видеть капитана второго ранга в образе босяка, и Коковцев спросил, почему он оказался на самом дне жизни.

Атрыганьев ответил, что на дно жизни он не опускался:

– Просто у меня не стало приличной одежды.

– Я дам денег, Геннадий Петрович, приоденься.

– Прежде я пообедаю. А вечером поужинаем?

– Есть! Только учти: я уезжаю ночным поездом…

Они встретились в ресторане. Коковцеву не терпелось услышать от Атрыганьева историю его грехопадения.

– Я ходил через Суэц, – начал он. – Груз обычный: солдаты для Амура, переселенцы в Сучан, где наши геологи докопались до угля, и тысячи арестантов для Сахалина… Кстати, вот тебе неразгаданная тайна: все преступные женщины, как правило, носят имя Екатерина: какую ни спроси – все Катьки… Конечно, – взгрустнул Атрыганьев, – в условиях тропического плавания, как и сам знаешь, всегда возникают знойные романы.

– С кем? – спросил Коковцев.

Атрыганьев пояснил, что самые приятные дамы на свете – это те, которые пошли на каторгу за мужеубийство.

– Так они же в трюмах! За решетками.

– В том-то и дело, что страсть ломает все преграды. А женщина-преступница, как и женщина-монахиня, таит в себе особую пикантную прелесть. Я сделал открытие, что труба вентиляции из арестантских трюмов проходит через ванную моего салона. Для начала я пропустил через трубу визжащую от страха корабельную кошку. Ну, а там, где прелезла кошка, там всегда пролезет и женщина… даже рубенсовских размеров!

Атрыганьев замолчал, смакуя вино. Потом спросил:

– Что новенького на Балтике?

– Ищут пропавшую канонерскую лодку «Русалка», которая вышла из Ревеля, а в Гельсингфорс не пришла.

– Бульбочка на воде осталась?

– Никакой бульбочки! Финны нашли шлюпку, в ней под самую «банку» был засунут мертвый офицер с «Русалки». Кто его туда мог запихнуть – теперь сам черт не разберется.

– Это печальное. Что веселого?

– Появился новый миноносец «Сокол».

– Котлы?

– Ярроу.

– Сколько выжимаете?

– Двадцать восемь.

– Приличная скорость. Поздравляю…

Коковцев ответил: теперь торпеды стало на залпах отбрасывать за корму, где их мотает винтами – и они тонут.

– Я состою в комиссии, которая этим и занимается.

– А кто еще там в комиссии?

– Пилкин, Витгефт, Вирениус и я. Повысились скорости – и сразу возникла нужда в переделках торпедных аппаратов.

– Удалось? – спросил Атрыганьев.

– Толчок на залпе сшибает с ног. Но испытания прошли удачно. На заводе Лесснера! Там очень толковые инженеры.

– А как ты, Вовочка, оказался у Ланжерона?

– Черноморцы просили помочь освоить новые приборы торпедной стрельбы. Вот и шлялся на Тендру, которая служит для них полигоном, как для нас, балтийцев, Транзунд или Бьёрке…

Коковцев спросил Атрыганьева, где он ночует.

– По ночам я падаю в канаву, вроде оловянного солдатика из сказки Андерсена, и течением Морфея меня уносит под волшебный мост, где живет мудрая крыса, которая каждый раз просит меня, чтобы я предъявил ей свой паспорт… Впрочем, – спохватился Атрыганьев, – еще не все потеряно! Я ведь могу продаться в капитаны на Каспий к Нобелю: у него там полно железных лоханок, в которых он перекачивает керосин из Баку до Астрахани, а потом эту жидкость раскупают всякие бабки, и даже юная гимназисточка в Саратове не может обойтись без керосиновой лампы при изучении божественного Декамерона…

Атрыганьев явно не хотел возвращаться к истории на «добровольце», которую не терпелось услышать Коковцеву.

– Ладно, – наконец-то уступил он. – Так и быть, расскажу. В последнем плавании мне попалась обворожительная арестантка с фигурой такой идеальной, будто эта стерва наяву ожила с полотен Боттичелли. Вечерами она пролезала ко мне в салон, утром я пропихивал ее через трубу обратно в арестантское отделение. Так и длился этот роман, преисполненный неги и волшебного очарования, пока не пришли в Сингапур… Кстати, а Ленечка Эйлер еще не вернулся из Парижа, загруженный мешками с формулами и чемоданами с интегралами?

– Будь любезен, Геннадий Петрович, не отвлекайся.

– Хорошо. Итак, в Сингапуре эта сволочь, достойная любви даже самого великого Аретино, протащила ко мне в салон через огнедышащую трубу вентиляции трех громил-рецидивистов, оказавшихся изворотливее ящериц. В салоне они из моего гардероба приоделись франтами, будто собрались фланировать по Дерибасовской, и бежали с корабля в город, насыщенный дивными восточными благоуханиями. Но один злодей не придумал ничего лучшего, как облачить свое каторжные естество в мой великолепный мундир капитана второго ранга с эполетами и при всех регалиях. В таком непотребном виде он и был изловлен английской колониальной полицией. А дальше вмешалось начальство Добровольного флота… Конечно, подобного афронта мне простить не могли!

Атрыганьев был похож на бродячего артиста, дававшего свой последний концерт. Где начало и где конец этому человеку? Коковцев нечаянно вспомнил давний разговор на клипере «Наездник» и спросил – была ли в его жизни романтичная акация с жасмином, был ли свой лирический полустанок? Атрыганьев, внезапно помрачнев, взял Коковцева за руку и просил его нащупать под бакенбардами глубокий ножевой шрам.

– Слушай! Это случилось на Крите… в самый разгар греко-турецкой резни. О, боже, что там делалось! А я тогда состоял гардемарином на эскадре адмирала Бутакова. Мне было всего шестнадцать. Я видел, как башибузуки разодрали на юной гречанке платье и стали над ней измываться. Поверь, что это была первая женщина в моей жизни, которую я видел обнаженной. Я, конечно, выхватил кортик и ринулся на абордаж! Спасибо матросам – иначе б мне не жить. Драка была кровавая. Но мы вырвали несчастную из лап живодеров и, завернув ее в шлюпочный парус, привезли на фрегат. Потом всю ночь матросы шили для нее платье. Можешь догадаться – из чего шили?

– Не знаю, – сказал Коковцев.

– Из сигнальных флагов. Они же большие, как простыни. Из всего славянского алфавита нам хватило трех первых букв: «аз», «буки», «веди». И когда красавица оделась, на ней можно было прочесть три сигнала по Международному своду: «Нет, Не надо. Согласия не даю», «Быстро сниматься с якоря», «Ваш курс ведет к опасности». К этому бесподобному платью я своими руками пришил пуговицы с гардемаринского мундира.

– А что же дальше? – спросил Коковцев.

Глаза Атрыганьева жалобно смотрели на него.

– Дальше был роман, который продолжается и поныне. Сейчас эта гречанка живет в Каире, где я не однажды бывал, никогда не забывая послать ей корзину живых цветов. Потому и расстроился, когда «Наездник» прошел мимо Каира… Помнишь, там шла отчаянная пальба – восстали египетские офицеры!

Коковцеву стало безумно жаль этого человека.

– Наверное, эта гречанка очень любит тебя?

Атрыганьев предложил ему выпить как следует:

– Именно за то, что она очень любит своего мужа.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Спальный вагон был почти пустынен; Владимир Васильевич не стал чаевничать, сразу улегся на ночь. Утром на вокзале в Харькове кавторанг купил в киоске ворох свежих газет. Вот и новость! Императрица Цыси вернула опальному Ли Хунчжану знаки прежней милости – желтую кофту и большое павлинье перо, в котором насчитывалось три радужных «очка»; она поручила своему «Бисмарку» добыть мир для разгромленного Китая…

Коковцев вышел в коридор вагона, чтобы выкурить папиросу подле открытого окна; земля Украины купалась в белом цветении вишневых садов, и ему невольно вспомнилось расцветание японской сакуры. Возле кавторанга задержался сосед по купе – скромный провинциальный учитель.

– Вы морской офицер и, наверное, знаете больше нашего, – сказал он Коковцеву. – Не означает ли эта японо-китайская война пролог следующей войны – русско-японской?

— Не думаю! – ответил Коковцев. – Того способен разгромить флот мандаринов, но Япония еще не имеет такой морской мощи, чтобы противостоять силам нашей эскадры на Дальнем Востоке. О чем тут говорить, если мы, русские, стационируемся непосредственно в Нагасаки, а Нагасаки, сударь, это ведь под самым боком Сасебо, где сидит и премудрый Того…

За техническую разработку новых торпедных аппаратов (с «совком», мешавшим торпеде уклониться при выбросе в сторону) он, по возвращении в Петербург, получил тысячу рублей наградных. Столица была освещена ярким весенним солнцем, звонко чирикали воробьи, на Невском девушки продавали фиалки. Ольга встретила мужа восторженно:

– Боже, как я истосковалась по тебе… Владечка!

…Это было время, когда Аляску уже встряхнуло азартом «золотой лихорадки», когда в Афинах готовились возродить из древности Олимпийские игры, но внимание России было устремлено на японский город Симоносеки, где должны состояться переговоры о мире, все русские люди удивлялись тому, как быстро и ловко маленькая Япония справилась с гигантским Китаем. Столичные дворники, тоже (поверьте!) читавшие газеты, прозвали китайскую императрицу не совсем-то уважительно, вроде паршивой собачонки: Цыська!

И – таково было ее первоначальное имя. Теперь И называлась иначе: Цы-Си-Дуань-Ю-Кан-И-Чжао-Юй-Чжуан-Чэн-Чфу-Гун-Цин-Сян-Чун-Си… Впрочем, ради экономии бумаги я не буду выписывать титул до конца. Тем более время от времени Цыси прибавляла к своему имени еще два иероглифа, что давало ей право сразу в два раза увеличивать свои доходы. Жестокая и неукротимая в страстях, дышавшая то нежностью, то ненавистью, Цыси полвека манипулировала властью богдыханов, как хотела. Богдыханы сидели перед нею на низеньких табуреточках, а Цыси восседала на троне под опахалом из павлиньих перьев и, будучи дамой сердитой, лупила богдыханов палкой по головам, а их жен топила в колодцах, словно неугодных щенят. В углах ее дворца постоянно кого-то мучили, казнили, калечили, уничтожали. С дряблыми брылями желтых сальных щек, слушая вопли наказуемых, Цыси безобразно ковыляла по дворам «Запретного города», с трудом переставляя ноги, изуродованные с детства. Такова была «китайская Клеопатра», Антонием которой считался Ли Хунчжан, бывший одним из ее многочисленных фаворитов… В придворном кругу Цыси сложилось мнение: Китай проиграл войну с пушками и ружьями, но он победил бы Японию, стреляя только из луков. Цыси была умнее своих мандаринов: она сначала хотела отрубить голову Ли Хунчжану именно за то, что он купил плохое европейское оружие. А теперь старуха не могла найти никого в Китае, кроме Ли Хунчжана, который бы смог добыть мир. «Китайский Бисмарк» работал в дипломатии не только взятками, но и путем стравливания одной державы с другой, чтобы погреть руки над пламенем чужих пожаров. Ли Хунчжан сказал старой бабе-яге вещие слова: «Японцы никого так не боятся, как русских тигров. Если мы сделаем уступки России за счет Китая, мы свяжем Японию войной с Россией, а такой войны давно хотят Англия и Америка, чтобы ослабить и русских и японцев…» В Симоносеки его встретил маркиз Хиробуми Ито (Япония уже обзавелась европейской титулатурой принцев, виконтов, графов и баронов); поначалу маркиз вообще не желал разговаривать с китайцами, выжидая, пока японская армия не захватит Формозу (Тайвань) и Пескадорские острова (Пэнхуледао). Когда японцы там утвердились, Ито сказал, что в расчет контрибуций Китай должен им двести миллионов таэлей, но дело не в бухгалтерии: «Мы имеем право на Маньчжурию, мы сохраняем свое влияние в Сеуле, мы забираем у вас Ляодунский-Квантунский полуостров с крепостью Порт-Артур, мы берем Чифу и Вэйхайвэй…» Ли Хунчжан отвечал, что на такие требования Китай согласиться не может… Вечером в спальню к нему ворвался молодой японец, выстреливший в посла из револьвера. «Я, – заявил он в оправдание, – не могу терпеть этого грубого китайца, который своим упрямством причинил печаль моему великому микадо!» Японцы обрезали провода в китайском посольстве; раненный в лицо, Ли Хунчжан общался с Пекином через европейские телеграфы. Хитрый политик, он понимал, что Китаю с Японией не справиться, но, если Китай уступит Японии в ее наглых требованиях, Европа не смирится, чтобы Япония стала равноправным партнером по расхищению Китая. Мало того! Россия не позволит японским армиям стоять на подступах к Владивостоку. Разложив все это по полочкам, Ли Хунчжан со смирением конфуцианца подписал Симоносекский договор.

А ведь старая лиса не ошиблась! Сразу возникла невообразимая коалиция России, Германии и Франции, требовавших от Японии, чтобы она «не имела рогов выше лба». Русская эскадра, собранная на рейде Чифу, подавляла японский флот своей мощью, ее присутствие заставило японцев отказаться от завоеваний в Печилийском заливе. «Мы победили, – рассуждали в Токио, – и мы же оскорблены!» Самураи, ставшие редакторами газет, приучали японцев к мысли, что сначала надо расправиться с Россией, затем покорить и всю Азию. В эти дни беседка в саду русского посольства, в которой жены дипломатов привыкли распивать со своими детьми вечерний чай, была забросана камнями с улицы.

Оскал самурайского лица делался все ужаснее!

Страна восходящего солнца уже истерзала до крови свою мирную соседку – Страну утренней свежести… Королева Мин, женщина энергичная, продолжала ориентировать политику Кореи на сближение с Россией. Не в силах отличить королеву от ее придворных дам, одинаково одетых и одинаково причесанных, самураи вырезали всех женщин во дворце Сеула, потом стали расшвыривать теплые трупы – кто здесь Мин? Найдя королеву, японцы с радостными воплями изрубили Мин в мелкие куски, останки облили керосином и сожгли… «Во всех ваших унижениях, – доказывала самурайская пропаганда рядовым японцам, – виновата больше всех стран Россия, пусть она убирается прочь из-под крыши Азии… Нам необходим весь Сахалин, вся Камчатка, все Курилы и даже Чукотка, хотя, говорят, там и очень холодно…»

Ли Хунчжан выехал в Москву на коронацию Николая II, за ним свита тащила роскошный гроб – на случай его нечаянной смерти. Под глазом «китайского Бирмарка» некрасивой бульбой нависала самурайская пуля, так и не вырезанная хирургами. Сановника Цыси сопровождали три мандарина с синими шариками на шапках: один таскал его трубку, второй полотенце для обтирания пота, третий держал миску, в которую «Бисмарк» имел обыкновение часто отхаркиваться. Здесь, в Москве, Ли Хунчжан принял от Витте взятку золотом, обещая сдать в аренду России весь Квантунский полуостров заодно с Порт-Артуром. Россия обрела право проложить рельсы через Маньчжурию, чтобы у причалов Желтого моря закончить Сибирскую магистраль новой стратегической трассой – КВЖД (Китайско-Восточной железной дорогой). Но русской экспансии на Дальнем Востоке противостояла оперативная и наглая японская агрессия…

Скромный провинциальний учитель оказался намного прозорливее Коковцева: политическая увертюра к русско-японской войне уже прозвучала. Полыхающий пламенем занавес скоро взовьется над унылыми сопками Маньчжурии, над нерушимыми бастионами Порт-Артура, над волнами – т а м, на траверзе Цусимы…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Нечаянно возник откровенный супружеский разговор.

– Владечка, – сказала как-то Ольга Викторовна, – не странно ли, что с годами я люблю тебя больше и больше. Знаешь ли, чем ты мне безумно и постоянно нравишься?

– Занятно. Чем?

– До сих пор ты остался… мичманом. Я уже мать двух детей, а ты… Нет, ты совсем не изменился: мальчишка!

– Неужели?

– Не обижайся. В этом доме, если говорить до конца откровенно, есть только один серьезный человек – это я.

– Ну и ладно, – не стал возражать Коковцев…

Гога подрос, и он отвел первенца в Морской корпус; задержавшись перед памятником Крузенштерну, отец внушал сыну, что по выходе в мичмана, согласно доброй традиции корпуса, гардемарины обязаны натянуть на бронзу памятника… тельняшку!

– Так делал я, так сделаешь и ты, запомни это.

Вакансий было всего сорок пять, а в зале собралось около полутысячи подростков с родителями, притихшими от волнения. Многие кандидаты уже прошли все гимназии и училища, отовсюду изгоняемые за тихие успехи и громкое поведение, их нещадно пороли родители, их секли инспектора, драли за уши гувернеры. Осталась последняя надежда на Морской корпус, чтобы флот добросовестно отшлифовал эти алмазы до состояния бриллиантов. Для Георгия-Гоги никаких осложнений с приемом в касту избранных не возникло: Коковцевы издавна служили России на морях – какие же тут могут быть разговоры? Конечно, приняли…

Пришло время готовить для гимназии и Никиту.

– Быстренько полетело времечко, – вздыхал Коковцев…

Год назад Вера Федоровна заявила, что она больше не хозяйка в своем доме; и гордо удалилась в свое полтавское поместье, где ее слабое сердце храбро атаковал отставной гусар, неискоренимые привычки которого, освоенные им на конюшнях лейб-гвардии, быстро спровадили дворянку в могилу. Коковцевы остались одни. Это позволило Владимиру Васильевичу упорядочить свои финансы. Первым делом он продал остатки полтавских черноземов, никак не желая связывать свою карьеру с долей помещика. Служба на Минном отряде давно требовала обзавестись семейным «гнездом» и в Гельсингфорсе; дома финской столицы строились тогда на деньги частных лиц, которые распределяли квартиры по жеребьевке. Финны строили добротно и быстро, Коковцев очень скоро получил ключи от квартиры… Избавясь от надоевшей ему опеки Воротниковых, капитан второго ранга стал наводить порядок и в обиталище на Кронверкском проспекте.

– Когда я сажусь за стол, – заявил он Ольге, – я хочу видеть симпатичную молодую горничную в кружевном фартучке, а не эту костлявую ведьму с ее дурацкими «фриштыками». Будь любезна, подай заявление в контору по найму прислуги…

Все эти годы Коковцев не порывал связей с Минными офицерскими классами, а недавно опубликовал статью о конденсировании блуждающих токов Фуко на обмотках подводных электрокабелей, за что получил диплом Почетного члена РТО (Русского технического общества). Радуясь отсутствию жены, Коковцев созвал на новоселье сослуживцев по Минному отряду. Была белая балтийская ночь, Гельсингфорс видел первые сны. Пристроясь на диванах, миноносники говорили о первых успехах корабельного радио, уже входившего в быт флота. Не посвященным в их заботы, эти разговоры были бы неинтересны: офицеры обсуждали последние труды электротехников Мерлинга и Тверитинова, Верховского и Эрквардта. Молодое электричество уже воздвигло горы научных монографий, а недавно Германия застучала на весь мир первым двигателем внутреннего сгорания инженера Дизеля… Было уже четыре часа утра, когда Коковцев разлил остатки вина по бокалам:

– Господа, прошу по кораблям. Один часочек сна, после чего извольте бриться, дабы к подъему флага всем быть в полном порядке. Отряду – в море… Ну, допьем!

Люди были здоровые, бессонная ночь никак не отразилась на них. Пробежав с отрядом до мыса Тахкона, Владимир Васильевич развернул миноносцы на свет разгоравшихся маяков. Миноносцы – узкие веретена! – вонзались в хлесткую балтийскую волну, вымотавшую все души наизнанку. За ужином, толпясь в тесноте буфета, офицеры в мокрых тужурках наспех проглатывали рюмку коньяку, закусывая шведским ассорти с тостами. Коковцев провел миноносцы Густавсверкским проливом, еще издали, из зелени Брунспарка, ему подмигнули ярко освещенные окна его новой гельсингфорсской квартиры.

– Кажется, господа, холостяцкая жизнь кончилась… Моя жена вернулась из Петербурга… увы, увы!

Ольга Викторовна встретила его чересчур строго.

– Ну, конечно! – говорила она, указывая на стол, заставленный бутылками и бокалами. – Кого ты пытаешься обмануть, Владя? Я ведь вижу, что у тебя опять были женщины. Теперь-то я знаю, ради чего ты завел эту квартиру в Гельсингфорсе… Ты становишься невыносимым! – вспылила она. – Я несчастное созданье: сначала этот проклятый ценз, а теперь, когда ты достиг высшего положения на флоте, у тебя начались бесконечные гулянки. Не забывай, что тебе уже сорок лет, а я еще не дождалась, чтобы ты стал адмиралом.

– Не преувеличивай: мне сорока еще нету.

– Нет, так скоро будет. Мог бы и успокоиться…

Коковцев сам убирал со стола посуду. Конечно, во время заходов в Ревель или в Ригу у него иногда возникали краткие, но очень бурные романы с женщинами, вешавшимися ему на шею, однако эти дамы не оставляли рубцов на сердце. Он сказал:

– Как мне объяснить тебе, что не было никаких женщин! Были хорошие друзья… Ну, выпили. Ну, поболтали.

– У тебя все хорошие. Со всеми ты готов выпить, со всеми готов болтать. – Ольга резким жестом извлекла из ридикюля визитную карточку, отпечатанную на трех языках: русском, немецком, французском. – Это переслал тебе на Кронверкский старый приятель по клиперу – фон Эйлер, он просит зайти.

– И зайдем. Кстати, Леня тебе понравится…

Появясь в столице, он прежде позвонил ему по телефону:

– Леня, прости, что все эти годы не искал тебя. А я, представь, живу сумасшедшей жизнью. Выросли уже два оболтуса. Я – в море, Ольга отвыкла от меня…

Он спросил Эйлера, как сложилась жизнь после окончания «Ecole Polytechnique»? Эйлер растолковал, что служил инженером у Крезо, пришлось поработать на кайзера в Гамбурге, кое-что освоил на верфях Армстронга в Глазго и в Ньюкасле. А сейчас он увлечен идеями адмирала Макарова:

– Меня волнует мысль о непотопляемости кораблей…

Коковцев ответил, что, как не существует бессмертия в жизни, так же невозможно добиться и вечности кораблей:

– Как пускали пузыри, так и будем пускать, Ленечка.

– Чудак! На что же водонепроницаемые переборки? Теперь я занят трюмными системами. С одного борта отсасываю воду, с другого всасываю… Корабли должны быть непотопляемы!

Эйлер предупредил, что вернулся из Парижа с женой:

– Настоящей француженкой! Вова, она – прелесть.

– А как зовут эту прелесть?

– Ивоной.

– Ленечка, тебе повезло! Такое красивое имя…

Перед сном Коковцевы навестили детскую, где спал их второй сын Никита, и любуясь мальчиком, они банально спорили, на кого он больше похож? Неожиданно Ольга решила:

– Уж его-то – по министерству финансов.

– Пятаки считать? Он же не Воротников, а Коковцев…

В постели Ольга разгладила волосы мужа:

– Владька, никак ты лысеешь? О, боже! Тюник сейчас выходит из моды. А я, став адмиральшей, – размечталась она, – сошью себе казакин с горностаевым мехом. Владечка, ты спишь?

– Слушаю.

– А когда поедем отдыхать в Биариццу?

– Скоро… в Порт-Артур, – сонно отвечал Коковцев.

Во сне перед ним развернулась штурманская карта. От Владивостока до Порт-Артура пролегло тысяча триста морских миль, а в каждой морской миле одна тысяча восемьсот пятьдесят два метра. Не в этой ли чудовищной дистанции и затаилось будущее бедствие наших эскадр?

…Окини-сан переступала во второй возраст любви. Ольга Викторовна – тоже!

Нынче не принято писать сентиментальных романов. Заранее предвижу упреки критиков: ведь не бедная карамзинская Лиза утопилась с горя в лирическом пруду, а с грохотом опрокинулась в бездну целая эскадра, опозоренная поражением:

Где море, сжатое скалами,Рекой торжественной течет,Под знойно-южными волнами,Изнеможен, почил наш флот.Но в траур по флоту вложено столько страстей и чувств, Россия пережила такую неслыханную боль, что я вынужден снова оплакать наших пропавших аргонавтов… Срок давности миновал. Прошлое оказалось как бы «рассекречено». История – наука терпеливая: порой она открывает истину, выждав смерти целого поколения, иногда потомки еще долго живут в неведении того, что пережили их пращуры. Но эту незабываемую боль, боль Цусимы, мы, читатель, свято донесли до осени 1945 года!

Одно время считали, что русские корабли оказались «самотопами», а теперь признано, что передовые броненосцы эскадры были не виноваты: гореть и переворачиваться их заставляли не наша русская безграмотность, а точные законы физики, применимые ко всем флотам мира, включая и русский флот.

Раньше писали, что морские офицеры были способны только напиваться и лупцевать матросов, а теперь пишут, что офицерский корпус эскадры был составлен из грамотных специалистов, верных своему долгу патриотов, многие из которых в советское время заняли научные кафедры в институтах, создавали новые корабли и умерли в почете и признании их заслуг.

Не раз толковали, что матросы шли на убой, гонимые, как скотина, буквально из-под палки, но в битве при Цусиме весь коллектив русский эскадры сражался, не щадя жизни, преподав миру еще один внушительный образец массового героизма и самоотверженности, издавна присущих русскому воинству…

Если это так, почему же мы потерпели поражение?

Иногда полезно вспомнить и слова главного виновника нашего поражения при Цусиме, вице-адмирала Хэйхатиро Того; сразу же после битвы, еще не остывший после нее, он, триумфатор, дал интервью газете «The Japan Times»:

«Неприятельский флот не оказался ниже нашего по своим качествам (!), и следует признать, что русские офицеры и все матросские экипажи сражались за свое отечество с величайшей энергией (!). То, что наш японский флот одержал победу, объясняется только незримым духом императорских предков, а не какой-либо человеческой мощью…»

Оставим духов в покое. Ныне былые страсти улеглись, а кривизна мнений выпрямилась. Теперь историки сошлись в едином мнении: любая эскадра (будь она хоть английской), попав в условия, в каких находилась эскадра России, все равно была обречена на поражение. Об этом хорошо знали плывущие на смерть наши деды и прадеды, читатель. «Ах, знали? – спросите вы меня. – Так зачем они плыли, если знали?»

Но это уже вопрос воинской чести…

Я никогда, сознаюсь, не бывал в Нагасаки! Хотя извещен, как было там раньше и как там теперь. Теплые огни пригорода Иносы и поныне светят плывущим с моря кораблям. Сейчас в Нагасаки многое изменилось с той поры, когда на засыпающий рейд ворвался, опуская паруса, русский клипер «Наездник».

Но многое осталось и по-прежнему. Когда-то скромные доки, в которых парусники чистили свои днища от водорослей, теперь превратились в могучий промышленный концерн «Мицубиси», известный всему миру, а на кладбище Иносы – прежняя тишина, только стрекочут цикады.

А напротив Иносы, уже на другом берегу бухты, шумит праздничный сад Дэдзима, и на выступе суши возвышается дивная скульптура, обращенная опять-таки к морю. Она поставлена тут – как олицетворение прошлого японской женщины, полюбившей иностранца, и теперь, верная своей любви, она вечно ожидает того, с кем ее разлучили океаны, политика, распри, несчастья. Украшенная высокой старинной прической, она вытянутой рукой показывает своему ребенку на корабли, плывущие из дальних стран в Нагасаки. Она еще ждет. Но… дождется ли?

Ей ли, покинутой, не знать этих стихов Ки-но Тосисада:

Хоть знаю я: сегодня мы простились,А завтра я опять приду к тебе.Но все-таки…Как будто ночь спустилась.Росинки слез дрожат на рукаве.Итак, я продолжаю свой сентиментальный роман!

Возраст второй

РАССТРЕЛ АРГОНАВТОВ

И я, поэт, в Японии рожденный,

В стране твоих врагов, на дальнем

берегу,

Я, горестною вестью потрясенный,

Сдержать порыва скорби не могу…

Ты плыл вперед с решимостью

железной

В бой за Россию, доблестный моряк,

Высоко реял над ревущей бездной

На мачте гордый адмиральский флаг.

Исикава Такубоку

Был день как день, обычный день. Коковцев вернулся домой. Из гостиной доносились звуки давно расхлябанного рояля, а молодые голоса распевали с задором:

Прощай! Корабль взмахнул крылом,Зовет труба моей дружины…Клянуся сердцем и мечом —Иль на щите, иль со щитом!Коковцев бережно прислонил саблю в углу прихожей.

– У нас Гога? – спросил он жену, целуя ее.

– Да, со своими товарищами из корпуса…

Ольга Викторовна выглядела наивно-смущенно.

– Мне стыдно! – вдруг сказала она. – Сын кадет, скоро станет гардемарином, а его глупая мамочка опять будет иметь большущий живот… Какой позор!

Сто битв, сто рек, сто городовО имени твоем узнают,На ста языках сто певцовИ запоют и заиграют…Клянуся сердцем и мечом —Иль на щите, иль со щитом!Роды предстояли трудными. Ольга Викторовна заранее легла в клинику Отта, ребенок не хотел покидать утробы, пришлось извлекать его на свет божий щипцами. Осенние дожди, тусклые и шуршащие, окутывали Петербург туманною прелестью.

Коковцев принес в палату к жене корзины цветов.

Ольга Викторовна кормила младенца.

– У меня так много молока, что он захлебывается. Мы назовем его Игорем… Смотри, как он радуется жизни! Это действительно мой последний ребенок, и я выкормлю его сама…

Коковцев правильно рассудил, что Игорь станет любимцем матери. Он родился осенью 1897 года, когда германская эскадра вломилась в китайский порт Кью-Чжао (Циндао), – кайзер словно подстрекал Николая II на захваты Маньчжурии, чтобы, связав Россию делами дальневосточными, самому остаться в роли европейского деспота. Англия открыто натравливала мир против России, подталкивая японцев на войну с русскими. Из Владивостока приехал Николай Оттович Эссен, авторитетный офицер флота. Он решил подлечить в столице гастрит и рассказывал Коковцеву:

– Теперь все жарят на немецком маргарине, и все подорожало. Иногда забегу на крейсере в Шанхай или в Гонконг, и – что? Кухня, составленная из двух омерзительных кухонь мира: английской и китайской. Съешь какую-нибудь дрянь, после этого даже марсельский «буй-аббес» кажется небесной амброзией…

Эссен рассказал, что адмирал Того назначен префектом Сасебо; сейчас всю энергию он направил на модернизацию флота, лично вникая в проекты боевых кораблей, добиваясь от них повышенной мощи залпа и высокой контрактной скорости.

– Можно считать, что Того на проливы у Цусимы повесил замок. В Сасебо он соорудил чудесную причальную линию, кораблям удобно брать уголь и накачиваться водой.

– Но ведь нас не гонят из Японии, – сказал Коковцев.

– Пока нет. Эскадра под брейд-вымпелом Федьки Дубасова торчит в Нагасаки, но стоило ей бросить якоря, как на рейд сразу же влетела английская эскадра адмирала Бульера и тоже встала на плехт… Теперь, – сказал Эссен, – важно одно: кто скорее войдет в Порт-Артур – мы или англичане?..

Степан Осипович Макаров, уже в чине вице-адмирала, недавно спустил свой флаг над кораблями Практической эскадры Балтийского моря, он увлекся чтением публичных лекций по вопросам морской тактики. Недавняя попытка шведа Соломона Андрэ достичь Северного полюса на воздушном шаре закончилась ничем: шар пропал безвестно! Коковцев встретился с Макаровым на заседании Географического общества, где адмирал выступал с докладом «К Северному полюсу – напролом». В перерыве он сказал, что отъезжает в Ньюкасл, где на верфях Армстронга будет закладываться ледокол «Ермак». На дела в Печилийском заливе Макаров смотрел глазами разумного стратега:

– Без Порт-Артура нам, русским, будет нелегко, ибо Владивосток – порт замерзающий, и в случае нападения японцев нашим крейсерам не выбраться изо льда.

– Но ваш ледокол «Ермак»… – намекнул Коковцев.

– Я строю его исключительно для научных целей.

Бывая под «шпицем», Коковцев не забывал справляться – как там дела в Нагасаки на эскадре Дубасова?

– Решения с Певческого моста еще не поступало…

Великая Сибирская магистраль уже протянулась до Омска (одновременно укладывались рельсы и со стороны Владивостока). Над сказочным Петербургом мели синие вихри, запуржило дворцы, монументы и памятники. А в далеком Нагасаки все цвело и благоухали глицинии. Эскадра Дубасова держала котлы на подогреве, но подле нее подымливала английская эскадра Бульера. В нагасакском Bowling Club офицеры русского флота резались в бридж с офицерами флота британского. Корректные, вежливые, и лишь настороженные взгляды выдавали всеобщее напряжение…

Была ранняя весна, когда однажды утром на русской эскадре проснулись, но рейд опустел: ночью англичане незаметно убрались. Дубасов срочно выбрал якоря и повел корабли в Порт-Артур. Но вчерашние партнеры по бриджу уже стояли там, Бульер выстроил свои крейсера так, что они загораживали русским проходы в гавань. Стало ясно, что англичане решили сделать из Порт-Артура примерно то же, что им удалось с Шанхаем или Гонконгом. Дубасов подобрал самые грубые слова, чтобы расшевелить столичных дипломатов. На Певческом мосту подобрали самые изощренные выражения, чтобы Уайтхолл ощутил привкус пороховой гари. После русского ультиматума крейсера Альбиона, жалобно подвывая сиренами, будто их очень обидели, покинули Порт-Артур. Но адмирал Бульер, держа флаг на броненосце «Центурион», тут же пересек Печилийский залив и с ходу захватил китайский порт Вэйхайвэй…

Расстановка сил в этом печально-памятном регионе закончилась! Так весною 1898 года наш флот оказался в Порт-Артуре, полностью разрушенном японцами. В городе застали лишь китайскую полицию с дубьем и бедноту-кули. Всех женщин заранее вывезли в Чифу, ибо Цыси заранее распустила слух, будто каждый русский матрос задался целью похитить по две китаянки. Порт-Артур получил статут города-крепости. Но моментально явились рослые, очень вежливые японцы, открывшие в Порт-Артуре парикмахерскую; это были офицеры самурайского флота, которые искусно брили и опрыскивали вежеталем головы русских офицеров. Прошу не сомневаться: они хорошо разбирались в делах русской эскадры, панорама которой во всем великолепии открывалась перед ними из окон фешенебельной парикмахерской.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Летом Гога вернулся из кадетского плавания вокруг Европы, переполненный впечатлениями, и Коковцев подарил ему велосипед. Первенец вырастал общительным, разудалым, пригожим, однажды за столом – при матери! – он уже осмелился допустить гафф по отношению к женщинам, за что папа-минер, имея характер взрывчатый, тут же залепил ему полновесную затрещину:

– Дослужись хотя бы до мичмана… сопляк!

Это никак не испортило их отношений. Готовясь к экзамену по военно-морской истории флотов, Гога просил отца напомнить пример доблести и мужества. Коковцев охотно поведал сыну о подвиге французского капитана Дюпти-Туара:

– Англичане разбили его «Tonnaut», разрушив мачты и пушки, а сам Дюпти-Туар превратился в обрубок человека. Ядрами ему оторвало сначала одну ногу, потом вторую, затем и руку. Матросы бросили туловище в кадку с пшеничными отрубями, которая сразу намокла от крови. Но благородный Дюпти-Туар продолжал управлять боем, и последние его слова были: «Взорвать этот чертов кузов, но не сдаваться!» Он заслужил похвалу Нельсона, сказавшего: «Этот француз дрался, как бешеная собака, и дрался бы дальше, если бы мы не свалили его в яму». А ты, – заключил Коковцев рассказ, – должен помнить свято: русский флот никогда не позорил славного Андреевского стяга.

– Я помню, – ответил сын. – «Погибаю, но не сдаюсь!»

– Это еще не все, – строго заметил отец. – Сядь. Выслушай. Для идиотов, видящих в женщине только женщину, существуют публичные дома. Я прожил сорок лет, а не знаю, как в них отворяются двери, хотя пришлось немало покуролесить по белу свету. Это я говорю тебе в знак аттестации той пощечины, которой ты от меня и удостоился сегодня…

Вечером, прифрантившись, он с женою решил навестить Эйлеров на Английской набережной. В коляске жена спросила:

– Владя, ты чем-то озабочен, а – чем?

– Я устал. Каждая война приносит новые заботы…

Он не притворялся: любой военный конфликт, возникни он хоть на задворках мира, всегда привлекает обостренное внимание специалистов. Сейчас завершилась война США и Испании – война двух флотов. Американцы в двух сражениях уничтожили морское могущество Испании, лишив испанских королей их последних колониальных «кормушек» – Кубы и Филиппинских островов. В результате Испания была вычеркнута из списка великих морских держав, а Штаты, к удивлению многих, сразу превратились в великую морскую державу…

Эйлеры ждали их на балконе, Леня крикнул:

– Наконец-то! Как я рад вас видеть…

Родители Эйлера переселились в прусские поместья близ Тильзита, Леня остался господином в обширной старомодной квартире. По-русски троекратно облобызал он друга юности, подтолкнув к нему смущенную Ивону, которая сразу поразила Коковцева громадными лучезарными глазами. Леня расшаркался перед Ольгой Викторовной, а Коковцев сказал, что чиниться не надо:

– К чему? Мы же старые друзья. Будем проще…

Дамы прошли в туалетную, чтобы присмотреться одна к другой, заодно поправить прическу, а толстенький Эйлер (уже с брюшком) ретиво хлопотал у роскошно накрытого стола:

– Прислугу я отпустил, чтобы не мешала. Вовочка, знай, что я вернулся из Европы богатым человеком… Ей-ей!

– А не думал остаться в Европе?

– Как можно? Россия – моя отчизна, и, накопив опыта на верфях Европы, я обязан передать его в русскую копилку… Отвечай сразу: что ты собираешься пить?

Коковцев впал в дурашливое настроение:

– Плавсостав флота пьет все. Впрочем, если ты уж взялся за бордо, так не открывай его с таким трепетом, будто это корабельные кингстоны.

Эйлер от души хохотал, радуясь встрече:

– О, не дай бог нам касаться кингстонов…

В гостиной растворили окна, теплый ветер с Невы раздувал кисейные занавески, издалека слышалась музыка, гудки речных трамваев… Владимир Васильевич провозгласил первый тост за прекрасных дам. Эйлер нетерпеливо спрашивал – каков был процент попаданий у американцев?

– Я не знаю, как при Кавите на Филиппинах, но в битве у Сантьяго на Кубе янки имели полтора процента.

– А испанцы?

– Ни одного попадания с их стороны не зафиксировано.

– Не может быть. Ты шутишь, Вова!

– Сущая правда. Испанский адмирал Сервера (мне очень жаль этого человека!) велел подать командам перед боем вино. За эти бутылки с вином, поданные к пушкам одновременно со снарядами первой подачи, испанцы жестоко и поплатились. Обрати внимание: японцы разбили Китай, янки разнесли испанцев – и все на волнах! Иногда я начинаю думать: не есть ли господство на море решающим фактором будущих войн?..

Ивона говорила по-русски ужасно, коверкая слова до безобразия. Коковцев перешел на французский:

– Как вам нравится наша сумбурная русская жизнь?

– Все хорошо, кроме блинов, – отвечала женщина. – Не могу привыкнуть еще к соленым огурцам и к паюсной икре.

Коковцев извлек из мундира самшитовый портсигар.

– Это еще из Нагасаки, – небрежно пояснил он.

Эйлер через стол многозначительно переглянулся с другом, но выйти из-за стола, чтобы побеседовать по душам о прошлом, у мужчин не достало смелости. Эйлер рисовал на салфетке схему трюмных систем. Развивая свои теории, он ссылался на авторитет Макарова.

– Ленечка, – отвечал Коковцев, – ты стараешься научно обосновать причины, по которым мне придется тонуть. Но когда я стану булькать пузырями, мне, поверь, будет уже не до того, чтобы думать – научно я погибаю или безграмотно?

– Невежа, ты ничего не понял! – возражал Эйлер. – Моя задача, как трюмного инженера, сделать все возможное, чтобы корабль, даже истерзанный пробоинами, даже принявший в отсеки тонны забортной воды, мог бы сражаться на ровном киле – без крена! Если не веришь мне, спроси парголовского соседа, Степана Осипыча Макарова… Кстати, известно ли тебе, что Макаров не только флотоводец – он и автор фантастического романа!

– Впервые слышу.

– А ты почитай. В своем романе Макаров высказал, по сути дела, гениальное пророчество о будущей войне на море… Это так страшно, Вовочка, это так ужасно!

Ивона сказала мужу, чтобы доппель-кюммель больше не пил.

– Нет, я выпью! – разбушевался Леня, хмельной…

Коковцев совершил быструю «рокировку» среди бутылок:

– Леня, – сказал он, – почтим отсутствие доппель-кюммеля минутой молчания… Ты меня уже очаровал волшебными тайнами трюмов, а твоя жена очаровала меня своею бесподобною красотой и грацией. Я хотел бы сказать…

– Нам пора домой, – строго произнесла жена.

– Так уж сразу?

– У нас дети, – еще строже отвечала Ольга.

Спорить было нельзя. В прихожей Леня с пьяным упрямством настаивал, чтобы Коковцев расцеловал Ивону, как свою жену, без стеснения. Ольга Викторовна истерзала свои перчатки. Садясь в коляску, Владимир Васильевич сказал ей:

– Леня такой милый и забавный, правда?

– Но ты, кажется, приехал сюда не ради Лени… Я ведь видела, как ты впивался в эту француженку! И что самое противное, она прижималась к тебе, будто шлюха.

– О чем говоришь, Оля? Я не понимаю тебя.

– Зато я все хорошо понимаю… Ладно. Оставим этот дурацкий разговор. Думаю, нам не следует бывать у Эйлеров и по иным причинам. У нас давно сложилось свое общество, а Леон Эгбертович воспитан иначе, нежели люди нашего круга.

– Прости! Леня не просто Эйлер, он еще и фон Эйлер, и поверь, что вести себя он умеет лучше нас с тобою. Он не виноват, что я затопил его трюмы крепкой «брыкаловкой».

– Владя, что за выражения! – возмутилась Ольга.

– Отличное! Брыкаловкой зовут на флоте коньяк…

Ольга Викторовна жестоко высмеяла Ивону, карикатурно представив ее платье, и вдруг стала жалеть Леню Эйлера:

– Конечно, выбор его неудачен, но тут уж ничего не поделаешь. Хотя на тебя она и произвела сильное впечатление.

– Перестань! – взмолился Коковцев. – Если Ивона и пожелает прицепить к своему подолу собачий хвост, так это нас не касается. Она парижанка – из особой породы женщин…

Ехали молча. Ревнивая Ольга не выдержала:

– Теперь я вижу, зачем тебе нужна горничная, непременно молодая, симпатичная и в кружевном фартучке.

– Кстати ты нашла такую?

– Именно такую, какая тебе надобна. Утешься!

– Ну, спасибо… выручила, – засмеялся Коковцев.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В домоводстве он придерживался старинных понятий: самый лучший и лакомый кусок – жене и матери детей, затем – прислуге, чтобы ценила свое место и старалась, потом уж ему – хозяину, а что останется детям! В этом распорядке, если вникнуть в его смысл, все было разумно: будет здорова жена и мать, будет все хорошо в семье, а детей совсем необязательно баловать. За примерами он далеко не ходил:

– Так было в доме моих родителей, так есть в моем доме, пусть так останется и в доме моих детей после меня…

Игорь усердно ломал игрушки, а Никита с ранцем на спине бегал в гимназию. Глядя на своих детей, Коковцев никак не мог представить японского сына Иитиро (а ведь ему, наверное, уже девятнадцать лет). Денег в Нагасаки он больше не отсылал – после того, как Эссен сообщил, что Окини-сан разбогатела, занимая в Иносе примерно такое же положение, какое раньше имела Оя-сан… В один из дней Коковцев сообщил жене, что в правительстве готовится важное политическое решение, о сути которого он может пока только догадываться:

– Очевидно, гонке вооружения придет конец. Если не поняла, растолкую. Эсминец годен на десять-пятнадцать лет службы. Но пока его собирают на стапелях, его успевают обогнать другие, и при спуске на воду он уже считается устаревшим. Надо спешно закладывать другой. Такая чехарда и называется гонкой. А если бы мужики и бабы узнали, что мы, выстрелив из пятидюймовки, посылаем в эвклидово пространство сразу пятьдесят пять рублей, они бы сказали, что профуканы пять удойных коров…

Ольга Викторовна приняла эту «гонку» на свой счет:

– Ты хочешь сказать, что мое последнее платье от Дусэ – как твои три выстрела из пятидюймовки? Но я не виновата, что портнихи посходили с ума и берут страшно дорого…

В эти дни появилась новая горничная Глаша, быстро вошедшая во вкусы их семейства; чистоплотная и привлекательная толстушка, она ловко прислуживала господам, а вечерами запиралась в мэдхенциммер, распевая наедине под гитару:

Грек из Одессы и поляк из Варшавы,Юный корнет и седой генерал —Каждый искал в ней любви и забавыИ на груди у нее засыпал.Где же они, в какой новой богинеИщут теперь идеалов своих?Вы, только вы, и верны ей поныне,пара гведых,пара гнедых…

Ольга Викторовна поначалу вела себя настороженно, когда в их дом ворвалась свежая хлопотунья-резвушка, но скоро успокоилась: Владимир Васильевич в общении с Глашей допускал лишь корректное похлопывание горничной по румяной щечке:

– Все хорошеешь? Не пора ли замуж?

– Дотерплю до следующего века, – отвечала Глаша.

– Смотри! Тебе ведь недолго осталось ждать…

В самый канун XX века цивилизации было суждено испытать шоковый удар. Английская армия Китченера спускалась по меридиану Нила, чтобы выйти к его верховьям. Перед захватчиками лежал еще Судан, нафанатизированный дервишами-махдистами. Китченер два года полз, как слизняк по стеклу: день пройдет, а месяц стоит, поджидая, пока к его бивуакам не проложат рельсы железной дороги, пока из низовий Нила не подойдут пароходы. Наконец англичане встретили суданские войска, оснащенные первобытными дротиками и кремневыми ружьями. Китченер выждал, когда толпы дервишей заполнят долину, и тут… Тут впервые за всю историю громыхнули пулеметы системы Максима! Мир еще не знал такого чудовищного избиения: 26 тысяч человек разом полегли в долине, скошенные струями свинца, а когда все было кончено, Китченер повелел:

– Добейте тех, кто еще шевелится…

Он получил от королевы Виктории титул пэра и графа Хартумского, а благодарный парламент отсыпал для него 300 тысяч золотых гиней. «За что?» – спрашивали газеты читателей. Общественное мнение мира было возмущено, военные люди даже растеряны. Офицеры Минного отряда тоже негодовали:

– Самое верное, если сейчас вмешаются дипломаты, объявив пулеметы запретным и бесчеловечным видом вооружения.

И хотя один вид пулеметов, похожих на пауков, застывших на тонких растопыренных ногах, внушал Коковцеву какое-то отвращение, почти физиологическое, он все же признал:

– Если завтра на Минный отряд привезут эти машинки, я прикажу расставить их на мостиках. Отставать нам нельзя!

Было хмурое утро, по окнам барабанил осенний дождь: Коковцев ночевал сегодня дома. Явилась Глаша с подносом в руках:

– Доброе утречко, господа! Несу вам «мокко».

Коковцев приоткрыл один глаз.

– Таких, как ты, – сказал он горничной, – надо бы брать на флот. Чтобы ты заведовала кранцем «первой подачи».

Нехотя он продел ноги в мягкие шлепанцы:

– Оля, меня сегодня вызывают к Дикову.

– Что-нибудь серьезное?

– Иметь дело с минами всегда слишком серьезно…

Адмирал Диков был главным минным инспектором флота. Сообразительный видный старик, он выглядел молодцевато. Коковцев застал его за изучением сводок погоды.

– К метеорологии я отношусь примерно с таким же решпектом, как к хиромантии или к черной магии. А вы?

Коковцев ответил, что доля шарлатанства в этой «лавочке» всегда ощутима. Впрочем, на Балтике сильно штормит.

– Надо выйти в море, – сказал Диков. – А мы, – вдруг произнес он, – допустили ошибку. Россия, кажется, здорово сглупила, гарантируя Китаю заем для оплаты контрибуций Японии. Тем самым мы, русские, обеспечили самураям мощный финансовый источник для развития их флота. И вот вам результат: Того закладывает серию броненосцев, которые по контракту дают восемнадцать узлов… Как вам это нравится?

– Совсем не нравится. Но, если верить газетам, Гаагская мирная конференция, созванная по почину России, приструнит и японцев. Наверное, контроль над вооружением нужен.

– Наше дело готовиться к войне. Стоит нам превратиться в пацифистов и завтра же от нашего бедного козлика останутся рожки да ножки. – Затем адмирал сообщил, что сейчас в Петербурге военно-морским атташе Японии состоит капитан-лейтенант Хиросо. – Он желает видеть наши минные стрельбы.

Коковцев ответил, что секреты военной техники утаить так же невозможно, как и удержать воду в решете:

– Но, очевидно, их все-таки следует утаивать.

Диков по диагонали пересек свой обширный кабинет:

– Нет смысла скрывать то, чем японцы владеют уже в достаточной степени. Скажите, вас устроит выход в субботу? Тогда у мостика Лебяжьей канавки будет ждать катер.

– Есть! – отвечал Коковцев, исполнительный…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Хиросо помимо русского свободно владел английским, немецким, французским, китайским и корейским языками. Он недавно был переведен на берега Невы из Берлина.

– А раньше? – спросил его Коковцев.

– Плавал… как и все.

Было что-то подкупающее в этом рослом человеке, мало похожем на японца, с небольшой русой бородкой и усами. Дул сильный ветер. Коковцев извинился, что опаздывает катер:

– А вам, наверное, холодно?

– Нет. Я ведь с севера – с острова Иецо-Мацмай…

Коковцев вспомнил сказку Окини-сан: жил да был на севере забавный зверек тануки, развлекавший себя хлопаньем лапками по сытому животику.

В разговоре они нечаянно коснулись и Гаагской конференции. Хиросо говорил даже запальчиво:

– О чем они там хлопочут? Вечный мир возможен только на кладбищах, а Бисмарк был прав: великие вопросы не разрешаются голосованием посредством поднятия руки…

Коковцев был сбит с толку не крайностью мнения, а той прямотой, с какой Хиросо все это высказал. Он спросил – где сейчас О-Мунэ-сан, бывшая при посольстве в Петербурге.

– Кажется, ее мужа отозвали в Японию…

Катер подали. Напротив горного института их ожидал миноносец, который сразу же, выбрасывая клочья дыма, помчался в белую заваруху моря. Мимо проплыли огни Кронштадта, и Коковцев, поднимаясь на мостик, повесил на шею свисток, чтобы сигнализировать о поворотах, а матросы втихомолку посмеивались:

– Нацепил! Бытто городовой али дворник…

Навстречу как раз двигался транспорт германского Ллойда, спешащий к мучным лабазам русской столицы, и Коковцев дал с мостика длинный свисток, означавший по Международному своду: «Поворачивай влево!» Хиросо заметил пулеметы и сказал:

– У нас митральезы тоже заменяют пулеметами…

Измотанные качкой, весь переход до Транзунда они посвятили специальным вопросам (причем, если Коковцев что-то утаивал от японца, Хиросо, словно разоблачая его, подробно докладывал, как это дело налажено на их флоте). Очевидно, атташе хорошо разбирался в минном оружии, и, когда миноносец стал раскладывать по траверзам торпедные залпы, на лице Хиросо не дрогнул ни один мускул. Коковцев решил про себя, что адмирал Диков, наверное, прав: японцы знают уже не меньше русских. Но вот просветлел огнями Гельсингфорс, и кавторанг сказал:

– Слушай, а не поужинать ли нам с тобою?..

Очень быстро они перешли на приятельский тон. Через Скаттуден прошагали на гельсингфорсскую Эспланаду. Коковцев повел Хиросо в «Cдstgifveziet», где его хорошо знала шведская прислуга, из каминов приятно дышало ласкающим теплом.

– Frцken, var god, – сказал Коковцев официанткам, приглашая Хиросо к столу, и японец недоверчиво оглядел зал, заполненный публикой. – Что будем пить? – спросил Коковцев.

– Мне все равно. Но я никак не могу привыкнуть, что здесь, в Европе, на меня смотрят как на дикаря.

– Они смотрят на тебя, как на меня смотрели в Японии.

Хиросо пожелал к вину еще и крепкой водки:

– Она напомнит мне сакэ… А знаешь, – сказал он, – ведь когда я был в Шанхае, меня вытолкали прочь из английского ресторана, потому что я… желтый!

– Здесь не вытолкнут. Наоборот, если начнешь падать, тебя еще поддержат. Поверь, русские меньше всего думают, какова шкура у человека – лишь бы человек был хороший.

Он просил Хиросо говорить по-японски, желая проверить себя – не забылось ли понимание чужой речи?

– Ведь у меня был роман… с японкой.

– А у меня сейчас! С русской. Очень приятная дама, но боюсь, что она приставлена ко мне вашими жандармами.

– Такое тоже бывает, – засмеялся Коковцев…

Он заметил, что водка с вином сорвали Хиросо со стопоров, и решил «открыть свое лицо». Со времени арендования Порт-Артура японцы стали выживать русские корабли из Нагасаки, нарочно медлили с ремонтом, а уголь давали самый негодный – английский, в брикетах: от него заводится конъюнктивит и экзема. Сказав все это, он спросил Хиросо в упор:

– Зачем вы так рьяно лезете в Китай и Корею?

Хиросо резким жестом сорвал с груди салфетку.

– Конечно, – сказал он, – мы с тобою не дипломаты, мы, люди военные, еще сохранили право на откровенность… Япония опоздала! – почти выкрикнул он. – Когда же мы появились в обширном театре Азии, то все места в партерах и ложах оказались уже забронированы вами, европейцами, на столетие вперед. Почему, – спросил Хиросо, – вам, европейцам, можно заводить базы и сеттльменты в Китае, а почему вы возражаете, если мы тоже желаем иметь все это? Если ты откровенен в своем вопросе, буду откровенен я в своем ответе… Когда мы взяли Порт-Артур, вы заставили нас покинуть его. Но тут же забрали его для себя! Мы добыли его кровью своих солдат и матросов, а вы через взятки Ли Хунчжану… Так?

Ответ Коковцева прозвучал в академическом тоне:

– Но, взяв Порт-Артур, ваша Квантунская армия не застряла бы там, она пошла бы и далее, а в конечном итоге штыки вашей армии блеснули бы на окраинах Владивостока… Так?

Хиросо хладнокровно затолкал салфетку за воротник.

– Возможно, – ответил он дружелюбно…

Они покинули ресторан. Хиросо сказал, что поищет гостиницу. Коковцев удержал его, предложив свое гостеприимство:

– Стоит ли тебе шляться по ночному городу?

Утром Хиросо загадочно улыбнулся.

– В истории народов, – сказал он, – иногда самые ничтожные поводы приводят к серьезным последствиям. Голландцы, повысив цены на перец, не могли предвидеть, что погоня англичан за дешевым перцем приведет их к завоеванию Индии. Я согласен, что ваше правительство, арендуя Порт-Артур, тоже не могло предугадать, каковы будут последствия…

Хиросо пробыл военно-морским атташе в Петербурге до 1901 года, после чего был отозван адмиралом Того на флот в Японию.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Из Гааги доходили вести мало утешительные: ни Германия, ни даже Франция не желали расстаться с любимыми пушками. На все призывы к разоружению Берлин издавал рев, словно бык, которого тащили на бойню, чтобы прикончить ударом обуха между рогами. Англия в корректной форме называла отказ от современного оружия «возвращением к варварству». О том, чтобы уменьшить количество килей своего флота, милорды и думать не желали! Американцы заявляли прямо: если вы, в Европе, хотите разоружаться – пожалуйста, мешать вам не станем, а нас это дело не касается. Русскую инициативу (и то очень робко) поддержали одни итальянцы… Деловитые янки вовсю торговали мотками колючей проволоки. У себя дома, в Техасе или Оклахоме, они окружали железным терновником коррали для загона скота. Но кто знает этих дремучих идиотов-европейцев? Может, они скоро пожелают устроить загоны и для людей? Во всяком случае, от покупателей не было отбоя!

Россия спешно стелила рельсы через тайгу и болота к великому океану. До начала XX века оставались считанные дни, когда Англия открыла огонь в Южной Африке – началась война с бурами, и русские люди с большим чувством запели:

Трансвааль, Трансвааль, страна моя,Ты вся горишь в огне…Интеллигентная Россия перелистывала ветхие альманахи, изданные на стыке 1799—1800 годов, чтобы отыскать в них ситуации, схожие с 1899—1900 годами. Как это ни странно, люди в столетней давности, встречая XIX век, уповали на то, что он станет веком разума и безмятежного спокойствия. Но роковою нотой вонзались в розовые облака стрелы-строки Шиллера, который приветствовал рождение уходящего сейчас века словами: «Где приют для мира уготован? Где найдет свободу человек? Старый век грозой ознаменован, и в крови родился новый век». В эти дни историк Ключевский закончил предновогоднюю лекцию так: «Пролог XX века – это пороховой арсенал, а эпилог его – барак Красного Креста!»

По всей великой стране, утонувшей в снежных сугробах, отстучали ходики в избах крестьян, откуковали кукушки в мещанских домиках на окраинах городов, хрипло и сдавленно отзвенели бронзою напольные часы в дворянских усадьбах – век XX вступил в свои права. Пулеметы расставлены, колючая проволока растянута. Дети, рожденные в эту ночь, будут баловаться картинками броненосцев, спешащих в Цусиму, они вырастут в огне мировой и гражданской войн, им стоять насмерть в 1941 году…

Итак, читатель, мы переходим в раздел ближайшей нам современности!

Были первые дни января, за окнами квартиры на Кронверкском солнечно сыпало морозною изморозью, всегда столь приятной для русского глаза. Коковцев проснулся в чудесном настроении, какого давно не бывало. Возвращаясь из ванной, он игриво шлепнул Глашу полотенцем по оттопыренной попке:

– Двадцатый век настал! Готовься срочно замуж.

– А я вам не эсминец, чтобы все срочно, – отвечала горничная. – Это вы там у себя на флоте командуйте…

Ольга Викторовна еще нежилась в постели, когда квартиру огласил телефонный звонок. Она окликнула мужа из спальни:

– Владечка, кто там в такую рань?

– Из-под «шпица»! От самого Тыртова…

Монархическая Россия еще не могла избавиться от династического «генерал-адмирала» великого князя Алексея; управляющим морским министерством (а не министром!) был в это время адмирал Тыртов. Ольга, накинув халат, вышла к столу.

– Это свинство! – сказала она, намазывая маслом горячие гренки. – Все-таки не просто новый год, когда бывают чинопроизводства, наступил новый век – хотя бы ради этого могли дать тебе чин каперанга. Ты больше других плавал!

– С колокольни виднее, – утешил ее Коковцев.

В передней ему услужала Глаша:

– Кашне. Треуголка. Сабля. Я вам подам шинель.

Напряжение нервов все-таки прорвалось:

– Сколько раз талдычить тебе, любезная, что шинель бывает в пехоте. Мы же, офицеры флота, носим форменное пальто…

Тыртов ожидал его, стоя посредине громадного ковра.

– Разговор для вас неприятный, – предупредил он.

Коковцев незримо подтянулся, замер навытяжку. Только указательный палец, нервно дергаясь, отбивая дробь по эфесу сабли. Тыртов сказал, что пришло время послужить на берегу:

– Вы уже много лет на ходу или на подогреве. Ценз достаточный! Между тем флот имеет офицеров, годами ждущих корабельных вакансий. У меня списки переполнены людьми, которые отвыкли от моря, а кавторанги согласны командовать хоть землечерпалками… Пора и честь знать! – заключил Тыртов.

Для Коковцова это был удар. Он вручил флоту лучшие годы своей жизни, не жалея сил для развития минного оружия, но сейчас его ретивость одернули. Тыртов понял его состояние, буркнув, что у него в запасе есть две захудалые вакансии.

– Сейчас в Китае неспокойно, началось восстание «боксеров». Хунхузы вырезают по ночам бригады рабочих-путейцев, развинчивают рельсы КВЖД, пилят на дрова шпалы, крадут телеграфные столбы. Возникла надобность в создании Амурской флотилии. Но я предупреждаю – перспектив для роста там мало.

– Вторая вакансия? – встрепенулся Коковцев.

– Это ближе – на Мурмане, командиром пограничного судна «Бакан». Северное побережье России никак не ограждено с моря, английские крейсера шляются там, где хотят, заглядывая даже в горло Белого моря… Подумайте, Владимир Васильевич.

– А что предложите на берегу? – спросил Коковцев.

– Вас охотно берет к себе в штаб вице-адмирал Макаров…

Степан Осипович занимал высокий пост военного губернатора Кронштадта и главного командира Кронштадтского порта. Служить под личным руководством этого человека Коковцев счел за честь для себя. Он сразу же согласился:

– Надеюсь, я останусь флагмином при штабе?

– Иначе и быть не может, – отвечал ему Тыртов…

Минный отряд устроил ему пышные проводы – с шампанским и речами. Владимир Васильевич провозгласил тост:

– Я был счастлив служить с вами, господа, и уношу в своем сердце любовь к вам и к нашим миноносцам. Если броненосцы приравнивают к боевым слонам, а крейсера к легавым, которых пускают по следу крупного зверя, мы, миноносники, похожи на скорпионов, готовых смертельно ужалить противника. Выпьем за наши будущие победы. Гимн, господа… гимн!

В едином движении сдвинулись бокалы:

Погибнем от чего угодно,Но только б смерть не от тоски.Нет панихиды похоронной,Как нет и гробовой доски…Но, даже мертвые, впередСтремимся мы в отсеках душных.Живым останется почет,А мертвым орденов не нужно…

Коковцев получил казенную квартиру в Кронштадте. Он решил прочесть «фантастический роман» адмирала Макарова!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Фантастика была слишком реальна. «Весь мир, – начинал Макаров, – был, как громом, поражен неожиданным известием о появлении грозного броненосного флота, принадлежащего какому-то государству, о существовании которого никто не знал». Где-то далеко в океане укрылась неизвестная страна с талантливым народом древней культуры. Наконец ему надоело жить в самоизоляции, он решил сбросить с себя покрывало тайны «и смело положить свой меч на весы равновесия всего мира». Макаров писал, что этот загадочный народ уже давно наблюдал за политикой европейцев, а «вечные интриги и притязания англичан окончательно вывели островитян из терпения, и одним взмахом меча они надеялись рассечь все дипломатические узлы, чтобы переместить центр политического равновесия на Тихий океан…» Коковцев позвонил Эйлеру по телефону:

– Леня, но ведь Макаров пишет конкретно о Японии!

– Ага, ты понял? – обрадовался Эйлер. – А дочитал ли до момента, когда островитяне разгромили все флоты мира? Потому что они изучили недостатки наших закоснелых флотов и создали свой флот – идеальный… Читай дальше.

Макаров писал, что непотопляемость – падчерица морского дела, флоты Европы пренебрегают ею, все внимание и деньги вкладывая в броню и пушки. Теоретически каждый корабль непотопляем, ибо разделен на самостоятельные отсеки, при заполнении водой лишь части их корабль обязан существовать! Но практически они тонут от любой дырки в борту. Почему?.. Корабль безропотно переносит удары неприятеля, он честно исполняет долг и с честью гибнет. Но не к чести моряков и строителей служат эти потопления, за которые они ответственны перед своей совестью… Только восторженный Ленечка Эйлер мог назвать статью Макарова романом. Какой там роман! Это же призыв к действию. Это пророчество о гибели…

– Вова, ты дочитал до конца? – спрашивал Эйлер.

– Нет.

– А жаль…

Коковцеву что-то мешало дочитать «роман», а что – не мог понять. Санки с морского льда вынесли его на кронштадтский берег. На балконе здания командира порта – подзорная труба на штативе, чтобы Макаров мог озирать всю эскадру, прямо из своего кабинета выискивая промахи в корабельной службе. В приемной теснилась притихшая очередь матросов и рабочих Пароходного завода. Кавторанг подошел к адъютанту Шульцу:

– Я прибыл представиться адмиралу.

– В неудачное время. Адмирал до часу дня принимает жалобщиков. – Шульц придвинул стопку ежемесячников флотов Англии, Франции и Германии. – Полистайте, чтобы не скучать, подчеркивая интересное. Потом все подчеркнутое адмирал проглядит.

В кабинет двинулся старый матрос Иван Хренков, неся на подносе кофе. Из дверей высунулась бородища Макарова:

– Владимир Васильевич, входите… – Он сразу заговорил, круто и напористо, будто возражая кому-то: – Думаете, я на месте? Нет. Меня пошлют туда, где я нужен, когда наши дела станут плохи. А пока меня держат за этим столом, как собаку на привязи. Мое место там – на Дальнем Востоке…

Коковцев спросил, чем ему сейчас заниматься.

– Не знаю, – честно отвечая Макаров. – Минировать тут пока нечего… Я, например, успел до полудня запретить распитие водки на улицах, указал не разорять птичьих гнезд в парке, заглянул на рынок, чтобы посмотреть, каким мясом торгуют, потом на камбузе Экипажа, повязав фартук, учил коков, как следует варить вкусные щи…

– Рад исполнить любое ваше поручение.

– Отправляйтесь в четвертый экипаж, проверьте в библиотеке, что читают матросы и есть ли у них тяга к классике. Это первое. Второе: в том же экипаже, чтобы далеко не ездить, разденьте матросов догола и переставьте их на весы. Тощих и пузатых в три шеи гоните к врачам, пусть выясняют, отчего такая ненормальность, для флота неугодная… Желаю успеха. А вечером прошу ужинать ко мне.

С шести часов утра на ногах, Макаров неистово трудился в поте лица, принимая доклады, выслушивая дураков и умников, выезжал в порт, посещал корабли, все замечая, все перетрогав, оправдывая неудобную для него славу «беспокойного адмирала». Но при этом, как бы его ни взбесили, Макаров оставался вежлив, а грубость офицеров резко пресекал:

– Флот – не казармы Аракчеева! Извольте выслушать матроса даже в том случае, если он несет ахинею. Бойтесь пассивного подчинения себе. Такое повиновение уже есть скрытая форма пассивного сопротивления. Пусть матрос выболтается. Ему приятно, а вам, господа, не так уж и противно.

В десять часов он возвращался домой и сорок пять минут спал как убитый. Пообедав в кругу семьи, запирался в кабинете с библиотекой, куда имел доступ только его вестовой. Макаров писал острыми, как штыки, карандашами, отбрасывая затупленные в сторону. Тихим голосом называл он Хренкову книги, которые надо подать, номера папок, которые следовало открыть. В восемь часов опять был свободен для службы, вызывал начальников, распекал их, вставлял в них «фитили» и подпаливал их снизу, требуя служебного рвения. К десяти вечера отъехал в Морское собрание, где слушал или сам читал лекции. Вернувшись домой, Степан Осипович писал новое, или редактировал раньше написанное. В половине двенадцатого ночи, прихлебывая чай из стакана, диктовал машинистке письма друзьям, а гостиная уже наполнялась близкими ему людьми – для ужина… Макаров разбудил дремавшего в кресле Коковцева.

– Вот как вас разморило! Разве не проголодались?

За столом адмирала – мужская компания, ни одной женщины, а прислуживали матросы.

Ровно в час ночи адмирал поднимался:

– Господа, завтра у нас новый служебный день!

Коковцева разбудил звонок жены из Петербурга.

– Ну, конечно! – сказала Ольга. – Я барабаню целый день, а тебя нигде не могут найти… Очень ловко придумано: затем ты и пошел на берег, чтобы удобнее было мне изменять.

– Одумайся! Я едва на ногах держусь от усталости.

– Владя, поклянись мне, что ты один.

– Не сходи с ума, – отвечал Коковцев…

Служить с Макаровым было очень утомительно, но зато интересно. Незаметно прошло жаркое лето, а на Амуре творилось что-то ужасное. Три недели подряд китайцы громили из пушек Благовещенск, в улицах зыкали пули хунхузов. Вырезав наши погранпосты, войска Цыси форсировали Амур, зверствуя в деревнях, убивали людей и грабили напропалую. В речных станицах остались дети и старики – все мужчины и женщины взялись за оружие. Пассажирские пароходы, наспех закрывшись листами котельного железа, превратились в самодельные канонерки. Особенно отличилась одна из них – «Селенга»: вся как решето, в команде убитые и раненые, она огнем своих пушек сметала с берега врагов. Доблестная «Селенга» и положила начало славной Амурской флотилии… Из этого нападения следовало делать скорые и решительные выводы! Коковцев нашел время изучить материалы, английские и австрийские, опубликовав статью о развитии канонерской мощи Амура, чтобы впредь таких кровавых историй больше не повторялось. За основу амурской канонерки он взял канонерки, плававшие у англичан по Нилу, у австрийцев по Дунаю…

– Это интересно, – похвалил его работу Макаров. – Пошлите-ка статью в Сормово… там народ очень сообразительный.

В кабинете Макарова висел плакат: «ПОМНИ ВОЙНУ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Коковцев больше не появлялся в доме Эйлеров с женою: «Опять раскритикует – не так едят и пьют, не так одеваются». Леня, человек тактичный, все понял и потому не стал допытываться – где же, мол, Ольга? Втроем было хорошо. Но кавторанг иногда пугался мысли, что Ивона нравится ему больше, чем надо бы нравиться… Только теперь, когда удалось поговорить по душам, Коковцев понял, как изменился бывший мичман с «Наездника». В его библиотеке, среди старых томов Вольтера и Монтескье, доставшихся от почтенных предков, затаилась современная «нелегальщина». Эйлер мыслил уже радикально:

– На флоте знают только матросские бунты, а я, общаясь каждодневно с рабочими, наблюдаю нечто большее.

– Ты имеешь в виду экономические забастовки?

– Че-пу-ха! Россия страна немелочная, – копейки считать не любит. Конечно, революция неизбежна… Недавно я был в Берлине у родственников, они подарили мне гостевой билет в рейхстаг. Послушал, что говорят. Я бы не сказал, что социалисты обижают кайзера. В квартирах немецких рабочих портреты Вильгельма и Лассаля висят рядышком, как иконки в русских избах: этот, мол, святой от потрясухи, а этот, мол, от бесплодия. Привелось побеседовать даже с Бебелем, он уверен, что Германия начнет, а Россия подхватит…

Две войны полыхали в мире: буры в Африке колотили англичан, а в Китае объединенный флот Европы (включая и русский) расшибал форты Таку, чтобы сделать бросок на Пекин.

– Но любая война, – рассуждал Эйлер, – станет величайшим потрясением для нашей монархии. Александр Третий недаром же объявил себя «миротворцем» – этот алкоголик был далеко не дурак! Нынешний «суслик» тоже чует, что война может обернуться гильотиной… Что тебе объяснять? Сам великолепно понимаешь, что взрыв в крюйт-камерах намного опаснее, нежели наружные попадания в корпус.

Коковцев сказал: пусть «немчура» бесится, а Россия, как говорят цыганки, «останется при своих интересах».

– Вовочка, – отвечал Эйлер, – в политике ты инфантилен, как и все офицеры русского флота. Это опасно.

– Для кого?

– Для тех же офицеров. Для тебя лично… я ведь, как и ты, окончил Морской его величества корпус. Учили хорошо! Я тоже заклеймен извечной формулой русского флота: погибай, но не сдавайся. Помирать мы научены, это правда. И мужества хватит. Но хватит ли, Вовочка, мужества у тебя, чтобы реверсировать машиной от монархии к республике?

– Я ведь об этом не думал.

– А хочешь думать?

– Нет. Не хочу.

– В этом-то и заключается наша общая беда…

Но однажды (это случилось в начале лета) Коковцев в пустой квартире застал печально-одинокую Ивону:

– Гомэн кудасай! А где наш трюмач?

– На испытаниях нового крейсера – в Ревеле.

Коковцев смотрел на Ивону. Ивона смотрела на него.

– Жаль, что у меня нет сейчас под рукой миноносца.

– А зачем он нужен? – спросила женщина.

Коковцев показал ключи от квартиры в Гельсингфорсе:

– До счастья шесть часов приличного хода…

Ивона попросила его «ne perdons pas la tete» (не терять головы). Коковцев, смутившись, предложил ей прогулку на острова, и, судя по тому, с каким удовольствием женщина засуетилась, Коковцев догадался, что она рада приглашению. Фиолетовый муслин облегал ее бока, из-под широкой шляпы блеснули озорные глаза.

– У меня условие – чтобы Леон ничего не знал!

Коковцев условие принял, но вскользь заметил:

– Однако мы с тобой далеко не дети, чтобы нам бояться грозных родителей… Ты готова?

Величавым жестом, словно завершая свое торжество, Ивона до локтей натянула длинные перчатки и щелкнула кнопками.

– Так? – спросила она, повернувшись перед ним.

– Так, – ответил Коковцев, оглядев ее…

В этот вечер они катались по Стрелке, где всегда полно гуляющей публики. Подле Ивоны кавторанг ощутил себя молодо, будто вернулся в беззаботную мичманскую эпоху. Он спросил, где бы она хотела поужинать? Ивона удивила его, назвав скромный ресторан Балашова в Летнем саду, который обычно посещался чиновниками среднего делового пошиба.

– Водить такую женщину, как ты, под зонтики к Балашову – это все равно что бриллиант оправлять в деревяшку.

– А мы с Леоном ели там вкусное мороженое.

– Вы… простаки! – засмеялся Коковцев.

У Кюба (бывший ресторан Бореля) играл румынский оркестр, а знаменитый скрипач Долеско на цыпочках, будто вор, подкрадывался к дамам и в сердце каждой оставлял своей музыкой глубокую интимную рану. Коковцев догадался, что в Париже, наверное, Ивона ограничивала себя уличными кафе. Она кому-то вдруг кивнула в зале и покраснела, шепнув:

– Вот и все! Меня узнали. Там сидит коллега Леона с Балтийского завода, он бывал у нас дома.

– Успокойся, деточка. Никто не станет звать полицию для составления протокола о твоих похождениях со мною…

Он заказал легкомысленный ужин с клубникой и ананасами, его память увлекло в тропические моря, когда он был молод. Воспоминания прервало явление из отдельного кабинета пьяного кавторанга Коломейцева. Очевидно, он принял Ивону за даму легкого поведения, берущую с мужчин солидные гонорары, и постеснялся просить денег для расчета за кабинет.

– Боже, какой декаданс! – восхитился он Ивоною, добавив: – Боюсь, Вовочка, тебе и самому-то теперь не хватит…

– Коля, не дури, – сказал Коковцев. – Сколько надо?

Он дал ему денег, а Коломейцев нежно спел для Ивоны:

В мире нет прекрасней радости,Кроме ваших чистых слез,Я восточные вам сладостиИз далеких стран привез…– Ты пришел на «Буйном»? А где стоишь?

– У стенки Франко-Русского.

– Котлы холодные?

– На подогреве. А тебе куда надо? Я готов. Всегда…

Коковцев многозначительно посмотрел на Ивону.

– Нет, – отказала она, и «Буйный» отчалил от них…

– Так на чем меня прервал этот нищий конферансье?

– Ты начал рассказ о втором открытии Америки.

– Да! Это было удивительное зрелище. Я тогда плавал на «Минине», входившем в международную эскадру для встречи каравеллы «Santa Maria». Испанцы сделали точную копию корабля, на котором Колумб открыл Америку. Представь же всеобщий восторг, когда с океана приплыла «Santa Maria», как и четыреста лет назад. День в день, час в час! Командовал каравеллой адмирал Сервера, что ныне морской министр Испании. Америка сделала его кумиром дня, Серверу носили по улицам на руках, будто сам великий Колумб восстал из праха. А через шесть лет, у берегов Кубы, разгромив испанскую эскадру, янки вытащили из воды израненного, рыдающего от позора человека. Это был их почетный гость – адмирал Сервера!

Ивона вращала бокал, как ребенок игрушку:

– А где же конец истории?

– Тебе еще мало трагедий?

– Я люблю смешные концы…

Во втором часу ночи ехали по пустынным улицам. На Английской набережной Коковцев проводил Ивону до глубокой ниши парадной лестницы. В тишине уснувшего города отчетливо стучали каблуки женских туфель. Ивона вдруг обернулась:

– Знаешь, милый, когда в кармане мужчины заводятся лишние деньги и ключи от пустой квартиры, он всегда становится глуповат… Это, поверь уж мне, правда!

Коковцев вернулся на Кронверкский, ему открыла двери Глаша, в одной сорочке, босоногая, быстро юркнувшая в свою мэдхенциммер. В темноте супружеской спальни он хотел улечься бесшумно, ящерицей нырнув под одеяло.

– И где ты был? – спросила Ольга, включая свет.

Коковцеву показалось, будто мостик его миноносца в ночной темени ослепил луч прожектора с крейсера.

– Случайно повстречал Эссена. Заболтались. Прости.

– Николай Оттович разве не в Порт-Артуре?

– Был! Но его там обкормили германским маргарином… Мучается бедняга, – вдруг пожалел он Эссена. – Вот и опять прикатил в Питер, чтобы подлечить хронический гастрит.

Ольга погасила лампу, произнеся во мраке ночи:

– Вы напрасно беситесь, господа! Гастрит – болезнь серьезная. Скажи Николаю Оттовичу, чтобы не относился к ней так небрежно. Кстати, и тебе не грех подумать о своем здоровье. Отвернись к стенке!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Больше всего на свете вице-адмирал Макаров любил цветы!

Это была его слабость, трогательная и наивная. Ни жену, ни дам к своим цветам он решительно не подпускал:

– Дуры-бабы обязательно что-нибудь испортят…

Раблезианский язык Макарова непередаваем!

Коковцев застал его сегодня в дурном настроении.

– Слышали? Англичане отказывают в угле нашим кораблям. Стоит зайти к ним, как в порту возникает забастовка. Они провоцируют их нарочно, дабы парализовать наш флот…

В своей жизни он сделал так много для науки, что адмирала легче всего представить мыслителем-аскетом, но это неверно. Степан Осипович обожал шумные мужские застолья, женщины всегда льнули к нему, и адмирал сам обожал их общество. Это был живой и удивительно веселый человек, которому ничто человеческое не чуждо. Однако неудачное супружество сделало его ироничным по отношению к светским дамам, а о жене лучше его не спрашивать.

– Моя Капочка блистает… талией! – говорил он. – Зато в невестах была скромницей, на мои ордена глаз не смела поднять, при ней слова «яйца» не скажи, следовало называть их «куриными фруктами»… Уж ладно, если бы я взял графиню Кампо-де-Сципион-Кассини, а то ведь Якимовскую! Я вот сын боцмана, сам гальюны драил, мне и притворяться не надо…

Коковцеву вдвойне было неловко и даже больно видеть, как этот заслуженный флотоводец, вроде обнищавшего мичмана, вынужден иногда в карете объезжать своих приятелей и просить у них двадцать пять рублей в долг до получения жалованья:

– Иначе завтра в доме нечего будет жрать…

Четвертную просил адмирал, известный во всем мире, внешне хорошо обеспеченный, имеющий казенный дом, собственный выезд и свою яхту! Капитолина Николаевна не хотела понять, в какое глупое положение ставит она мужа своим транжирством. Но самое страшное, что подрастающую Дину, любимицу адмирала, она сделала такой же беспардонной мотовкой.

В один из дней Макаров выложил на стол кусок угля:

– А вот и наш… из Сучанских копей!

– Боевой ли? – осмотрел уголь Коковцев.

– К счастью! Близок к кардифу. Испытан в топках фрегата «Память Азова». Дал отличные результаты. Плотность. Чистота сгорания. Бездымность. И большая экономичность… Боевой! – повторил он радостно. – Не пойдем на поклон англичанам… В этом году, – продолжил он, – мы не будем соседями по даче. Летом я уйду на «Ермаке» к устью Енисея, и, возможно, предстоит зимовка во льдах. Вас не зову. Экипаж прежний.

Коковцев очень ценил редкие минуты, когда можно было послушать Макарова; с языка адмирала срывались порой резкие мнения, и было понятно, почему у него так много недоброжелателей в свете.

Об Олимпийских играх он выразился так:

– Когда они состоялись первый раз, русские устроили свои игры – одна Ходынка чего стоит. Кажется, что именно на коронации царя мы побили все европейские рекорды.

Придворное окружение Николая II он называл «шушерой».

– А самая злобная собака на флоте… «шпиц»! Что великий князь Алексей, что сидящие под «шпицем» – одна говядина, лишь проштампованы разно: вторым или третьим сортом…

Только человек, начинавший с юнги и достигший высокого положения своим трудом, способен высказывать все, что думает, без оглядки на раздутые авторитеты. Но когда один человек смело выплывает против общего течения, угадывая желания нации, такой человек останется в памяти народа пророком! Во льдах Арктики адмирал видел торжественный «фасад» России, а в делах Дальнего Востока чуял зарождение страшных бурь…

Но вот что странно! Хотя Коковцев и соседствовал с Макаровым по дачному участку, хотя его дети гоняли серсо с детьми адмирала, сближения между ними не возникало. Макаров оставался откровенен, как со всеми, но душевного содружества не было. Один случай решил их отношения. Весною 1901 года, едва прошел лед, Балтика с чего-то взъерепенилась на людей и, всегда капризная, стала рвать на рейде корабли с якорей, она раскачала их даже в тесных «ковшах» гаваней. Катера заливало водой, сообщение рейда с берегом было прервано. А на рейде стояли корабли, готовые уйти в дальние моря. Традиции флота обязывали штаб Кронштадта проводить их. «Форма – пальто!» – объявил Макаров еще с вечера. Утром Коковцев явился на Петровскую пристань – ни души! Подъехала коляска адмирала.

– Вы разве одни? – прокричал Макаров издали, шагая навстречу, почти склоненный штормом к доскам причала. – Неужели мой штаб боится проветрить свои штаны? Но корабли уходят на долгие годы, и не попрощаться с людьми, покидающими родной берег, это уж, простите, натуральное хамство…

С флагмана сигнальщик уже давал отмашку «вызова».

– Читайте, – велел адмирал Коковцеву.

– Ка-те-ра пе-ре-во-ра-чи-ва-ет, – прочел Коковцев.

– За это хвалю! – одобрил его Макаров. – Каждый офицер должен уметь делать все то, что делают и его матросы…

Надо полагать, штабисты Кронштадта не явились на пристань, заведомо уверенные, что адмирал отменит прощание с кораблями. Но Макаров вызвал портовой буксир, который сразу вознесло кверху и шнырнуло вниз, весь в мыльной пене.

– Вот это по мне! – воскликнул Степан Осипович.

С флагмана, завидев Макарова на буксире, спустили «адмиральский» трап с фалрепами, обтянутыми малиновым бархатом. Но волна треснула буксир об этот роскошный трап с такой силой, что от него только щепки полетели..

– Убрать трап, подать выстрел! – гаркнул Макаров.

От борта флагмана отвели длинное бревно «выстрела», с которого свешивались, мотаемые ветром, веревочные шторм-трапы и шкентеля с узлами-мусингами. Макарову было уже пятьдесят три года. Но с ловкостью юнги он быстро подтягивался на руках. Осталось главное: пробежать по длинному буму «выстрела», под которым море хороводило бурные смерчи… Есть! Оба они стояли на палубе крейсера, а экипажи кричали «ура».

Вернулись в Кронштадт – мокрые, хоть выжимай их, но физически бодрые от мускульного напряжения и сознания, что долг перед людьми выполнен. Иван Хренков внес в кабинет поднос с двумя пузатыми чарками.

Макаров чокнулся с Коковцевым:

– Жалею, что экипаж «Ермака» уже расписан – я бы вас взял! Сам старый миноносник, я люблю этот отчаянный народ. Миноносцы – моя первая юношеская любовь! А вот и память о ней, – сказал Макаров, тронув на себе жгут аксельбанта…

Он подарил Коковцеву свою книгу «Ермак» во льдах», размашисто начертав на титуле: «My ship is my home».

– Мой корабль – мой дом, а в море всегда мы дома…

Этот же ветер, который сроднил их, трепал сейчас над крышею Зимнего дворца траурные стяги: скончалась королева Виктория (бабка последней русской императрицы и бабка последнего германского императора). Именно при ней развился всеобъемлющий и всепожирающий британский империализм. Викторианская Англия очень любила декларировать пышные фразы о цивилизации и любви к миру. Но эта подленькая ханжа из дома Ганноверского всю свою жизнь вела одни лишь грабительские войны. Виктория отправилась в усыпальницу предков, сраженная неудачами в войне с бурами. Китченер требовал от метрополии как можно больше колючей проволоки!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Буры – народ обстоятельный, и уж если они взялись бить Англию, так делали это прилежно и старательно. Когда муж погибал, винтовку поднимала жена. Англичане убивали жену, за винтовку брался ее сын – ребенок! «Никогда еще ни одна колониальная война не возбудила столько внимания в мире и не вызвала такого единодушия в моральной оценке ее. Без преувеличения можно сказать, что общественное мнение всего мира – мнение не только демократических, но и реакционных кругов, не только народных масс, но и самих правительств! – целиком стало на сторону буров и жестоко осуждало англичан» [9] . Народам мира уже давно надоело выслушивать хвастливые песни англичан, будто у Англии «we’ve got the men, we’ve got the ships, we’ve got the money, too» (вдоволь кораблей, вдоволь людей, вдоволь и денег). Теперь выяснилось, что ни могучий флот Виктории, ни обилие населения, ни банки Сити, переполненные златом, – ничто не может спасти Англию от всеобщего глумления. Мир праздновал победы буров, злорадствуя над трусостью английских «томми» и бездарностью кичливых британских генералов. Англичане спасались бегством, вкладывая в движение ног большой стратегический смысл, а газеты всего мира улюлюкали им вслед! Дипломаты с удовольствием повторяли слова покойного Бисмарка: «Если бы Англия осмелилась высадить десант, я бы позвонил в полицию, велев шуцманам арестовать их, как жалких воришек…» Англичане удирали от буров с такой неподражаемой гордостью на лицах, с какой иные народы привыкли наступать. Никогда не умея (и не желая) сражаться своими руками, Лондон призвал наемников из доминионов – Австралии, Канады и Новой Зеландии. Но бородатый и мрачный бур нерушимо стоял на пороге своего дома; за ним была жена с детьми, его огород, его сад, его коровы, его Библия, его церковь… Каждый бур был снайпером!

«Ермак» возвратился на родину только осенью, его корпус отлично выдержал невероятные сжатия льдов, а машины ледокола работали, как сердце здорового человека. Но в этих сжатиях началось сжатие сердца адмирала Макарова; вернувшись, он рассказывал, что пришлось отказаться от вина, папирос и кофе. Его огорчало, что ледовая обстановка оказалась слишком суровой, исполнить всех планов не удалось, зато он таранил ледяные поля к Земле Франца-Иосифа, заглянув в такие гиблые места, где Арктика уже заменяет понятие «север»… Николай II распорядился: «Ограничить деятельность ледокола „Ермак“ проводкою судов в портах Балтийского моря».

Повалил мокрый снег. Макаров долго стоял у окна.

– Вот как легко у нас посадить человека на кол! Впрочем, вернемся к выполнению прямых служебных обязанностей…

Он, как и «Ермак», начал ломать лед равнодушия к делам Дальнего Востока, настаивая на усилении Порт-Артурской эскадры. Скоро в морских кругах стали поговаривать, что адмирал Вирениус начинает готовить эскадру, в которую войдут броненосец «Ослябя», крейсер «Аврора» и миноносцы.

– Это все, что мне удалось выцарапать, – сказал Макаров; занятый делами флота, он не забывал следить и за событиями в Африке. – Боюсь, что в Лондоне именно сейчас будут крайне податливы к японцам, которые с подозрительной спешностью загружают английские верфи своими заказами…

Степан Осипович не ошибся в своих предположениях. Япония заключила союз с Англией – самураев искушал золотой запас дельцов Сити! На офицеров русского флота этот внезапный англо-японский альянс произвел сильное впечатление.

– Ясно, что он направлен против России. Но, господа, удивляет, с каким восторгом его восприняли и в Берлине, и в Вашингтоне. Мы, кажется, опять вкатываемся в вакуум политической изоляции, и только одни французы еще с нами!

– А чего Вирениус ждет? Надо скорее уводить эскадру.

– Лед держит. Крепкий лед. Морозы!

– А на что же «Ермак»? Сейчас надобно отправлять на Дальний Восток эскадру за эскадрой… Черноморскую тоже!

– Но ее через Босфор не пропустят турки.

– Босфор! О, как надоело жить со сдавленным горлом.

– А мне приятель с владивостокских крейсеров пишет, что там живут весело и никто о войне не думает…

Не в силах победить буров, Китченер из колючей проволоки образовал скотские загоны для жен буров, для их детей. Так возникли первые в мире концлагеря . Безжалостно уничтожая детей и женщин, англичане вынудили буров сложить оружие, и они сдались, чтобы спасти свои семьи. При подписании мира буры получили контрибуции от… англичан! История не знает подобных примеров, чтобы победитель платил побежденному.

Коковцев, расстроенный, признался Макарову:

– По натуре я, вы сами знаете, чистокровный европеец, но жизнь каким-то дьявольским образом все время поворачивает меня лицом к Дальнему Востоку, а когда эта карусель кончится – не знаю.

– Боюсь, что никогда, – ответил Степан Осипович. – Я провел на Дальнем Востоке юность, плавал там гораздо больше вашего. В тех краях русские дела намечены пока жалким пунктиром: ничего основательно не сделано. Сейчас особенно я ощущаю необходимость своего присутствия в Порт-Артуре…

Коковцев знал, что Макаров живет уже в 1923 году.

– Хочу не умереть до этого года, – говорил он.

Очень немногие тогда его понимали…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Коковцев переступил через сорокалетие. Годы не угнетали его, а крутизна корабельных трапов не тяготила. Кавторанг умел спать почти сутки, но, когда требовала служба, мог вообще обходиться без отдыха. Любил изысканные обеды в лучших ресторанах, но умел быть сытым и сухарем. А прослышав однажды, что адмирал Рейценштейн упал на маневрах с трапа, Владимир Васильевич долго и взахлеб хохотал:

– С трапа? Для моряка это так же постыдно, как если бы кот свалился с лавки или гусар выпал из седла…

Возраст никак не отразился на его внешности. Коковцев выглядел видным, интересным мужчиной, и на улицах городов ему было лестно внимание женщин, с удовольствием озиравших его крепкую молодцеватую стать, свежее обветренное лицо с ослепительной улыбкой. Так что Ольга Викторовна ревновала его не напрасно! Бывая в обществе, Коковцев легко сходился с людьми, а специально для дам умел сварить предательский крюшон, на вкус очень слабенький, но дамы, попробовав его, смеялись чересчур подозрительно… Жил он исключительно жалованьем, а положение обязывало ко многому. Теперь у него три квартиры (в Петербурге, в Гельсингфорсе и Кронштадте) да еще дача в Парголове, требующая ухода, и, чем больше возрастали доходы, тем больше возникало расходов на всякую ерунду. Приходились поддерживать общение с людьми, нужными или совсем не нужными, но зато нравившимися Ольге Викторовне.

Был обычный мирный день в дворянской семье Коковцевых. Чинно и благородно супруги обедали, а горничная Глаша услужала господам.

Ольга Викторовна неожиданно сказала:

– Можешь полюбоваться на ее фигуру.

– А в чем дело?

– Ты посмотри, и все поймешь…

Только сейчас Коковцев заметил приподнятый живот горничной, украшенный накрахмаленным фартучком с кружевами.

– Глаша, что это значит? – спросил кавторанг.

– То самое и значит…

– Я не могу на нее жаловаться, – снова заговорила Ольга, – она не шлялась по бульварам и не торчала в подворотнях. Все произошло дома – в этой квартире. Твой любимец Гога решил срочно продолжить славный и древний род дворян Коковцевых.

Коковцев перестал есть суп:

– Глаша, это… Георгий Владимирович?

– Да, – созналась горничная.

– С абортом уже опоздали, – произнесла Ольга Викторовна. – Но я не стану держать в своем доме эту псину.

Глаша вдруг запустила подносом в стену:

– А вот рожу и плакать не стану! Меня любой и с дитем возьмет. Уж если хотите, так я скажу… Гога ваш ни при чем тут! Сама на него вешалась – сама за все и отвечу!

Ольга Викторовна строжайше указала Глаше:

– Сейчас же подними поднос и убирайся в мэдхенциммер. А как у вас будет с Гогою дальше, это уж мне решать.

– Может, и мне решать? – с вызовом ответила Глаша.

Коковцеву сделалось тяжело. Он по себе знал, какую страшную силу может иметь женщина, и, если Глаша сумела покорить сына, эта цепкая плотская память останется на всю жизнь несмываемой, как глубокая японская татуировка. Подавленный внутренним признанием своей слабости (и потому сразу же начиная оправдывать слабость и сына), Коковцев не находил нужных слов. Ясным и чистым голосом жена сказала:

– Все это результат женской распущенности…

– Прекрати, – тихо велел ей Коковцев.

– Почему ты кричишь на меня? – вышла из-за стола Ольга. – Ты кричи на нее! Кричи на сына! Кричи на своих матросов!

Глаша подняла поднос и одернула на себе фартук.

– Жаркое подавать? – спросила она, вдруг улыбнувшись, будто скандал в доме Коковцевых доставил ей удовольствие.

Ольга Викторовна нехотя вернулась за стол:

– Подавай! Но с Гогой продолжения у тебя не будет. Уж я сама позабочусь об этом, миленькая.

– А куда он денется… от меня? – хмыкнула Глаша.

– Глаша, – сказал Коковцев, – ты сейчас лучше молчи…

В субботу из корпуса вернулся цветущий Гога.

– Гардемаринов отпустили сегодня раньше, – сообщил он.

– Вот и отлично, – ответил отец. – Значит, у тебя хватит времени, чтобы иногда побыть и с родителями.

Лицо сына сделалось настороженным.

– А что здесь произошло? – спросил он.

– Ни-че-го.

– Но, папа, ты это так сказал… таким тоном…

– Я всегда, ты знаешь, говорю таким тоном.

В комнате Гоги воцарилась долгая тишина.

Ольга Викторовна в раздражении сказала мужу:

– Наблудил и притих. Ты разве еще не говорил с ним?

– О чем мне говорить с этим балбесом?

– Сам знаешь, что следует ему сказать.

Коковцев был очень далек от семейной дипломатии:

– Зачем же я, как попугай, стану повторять сыну то, что ему наверняка успела доложить сама же Глашенька.

– Но она представила ему все в ином свете.

– Свет на всех один: я дед, ты бабка… успокойся.

– А это мы еще посмотрим, – последовал ответ, и ловким ударом туфли Ольга отбросила длинный трен платья…

Среди ночи она растолкала спящего мужа:

– Скрипнула дверь. Гога опять у нее.

Коковцеву совсем не хотелось просыпаться:

– А что я, по-твоему, должен делать в таком случае? Ну, скрипнула дверь. Так что? У нас все двери скрипят.

Ольга Викторовна жалко расплакалась:

– Так же нельзя… пойми, что нельзя так!

Коковцев спустил ноги с постели и задумался:

– Чего ты от меня требуешь? Чтобы я тащил сына за волосы? Я не стану унижать ни себя, ни его. Я мог бы сделать это в одном лишь случае: если бы Гога насиловал Глашу… Но если она для него первая женщина, так она для него свята!

Ольга Викторовна, продолжая плакать, стала раскуривать папиросу, роняя на ковер спичку за спичкой:

– Я ее завтра же выгоню… не могу так больше!

– Выгонишь? Беременную?

– Черт с ней!

– Не груби. Утром я поговорю с ними. Ложись и спи…

Утром Коковцев прошел к Глаше на кухню.

– Нельзя ли вам этот роман прекратить?

Сказал и сам понял, что ляпнул глупость.

Глаша сделала ему большие удивленные глаза:

– Владимир Васильевич, а почему вы меня об этом спрашиваете? Разве я хожу в комнату к вашему Гоге? Нет, он сам бегает ко мне. Вот вы ему и внушайте…

Что ж, вполне логично. Коковцев навестил сына.

– Кого ты читаешь? – спросил он.

– Максима Горького. Рассказы его. О босяках.

– И как?

– Да ничего. Страшно…

– А тебе, сукину сыну, не страшно, что мать твоя заливается слезами, а Глашу ты сделал навек несчастной?

Два коковцевских характера соприкоснулись. Гога величаво отряхнул пепел с папиросы и закинул ногу за ногу.

– Глаша об этом ничего не говорила, – ответил он.

– Не понимать ли так, что ты сделал ее счастливой?

– Спроси у нее сам, – отозвался Гога.

Коковцев как-то по-новому взглянул на сына. Перед ним в красивой посадке корпуса сидел здоровущий нахал в матросской рубахе, на рукаве – шевроны за отличные успехи в учебе, на левом плече кованный из бронзы эполетик будущего офицера.

– Папочка, если хочешь дать мне по морде – так дай!

– Поздно… – вздохнул Коковцев.

В этот день, разгорячась, он выпорол второго сына, Никиту, схватил лупцевать и младшего – Игоря:

– Будете слушаться? Будете? Будете?

– Оставь Игоречка в покое, – велела ему жена.

– Ну да! Это же твой любимчик. Как я не сообразил?

– Пусть так. Но дери своего любимца – первенького…

Со скандалом он ушел из дому. Его потом видели на Островах, где он катался с обворожительной Ивоной фон Эйлер.

Ольга Викторовна не ошиблась: гастрит – болезнь серьезная!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Эскадра Вирениуса через Гибралтар уже вошла в Средиземное море, направляясь к Мальте для докового ремонта. Британский флот проводил большие маневры в Канале: атташе из Лондона докладывал, что в боевых порядках англичан вдруг резко выявилось значение быстроходных кораблей, которые пытались охватить голову колонны… «Что это значит?»

– Это значит, – горько усмехнулся Макаров, – что меня, кажется, опять обворовали. Уже половину из того, что я придумал на благо нашего российского флота, используют на иностранных флотах, выдавая за собственное изобретение…

Степан Осипович считал, что бой на море следует вести в кильватерных колоннах. Когда ему возражали, что в струе кильватера концевым кораблям трудно разобрать сигналы флагмана, идущего в голове колонны, он отвечал, что эскадра в зтом случае должна следовать маневру самого флагмана. Макаров советовал «обрезать» противника с головы и хвоста, группируя мощь огня на авангарде противника. Но под «шпицем», как обычно, отмахнулись от его рекомендаций. Зато англичане оказались более внимательны к тому, что писал и что говорил Макаров. Скоро в морской практике мира родилось странное выражение: «поставить палочку над „Т“ (crossing the „Т“). Если кильватерную линию представить в виде длинной вертикали, то охват головы противника как бы проводит сверху короткую черту, образуя букву „Т“. Теперь следовало ожидать, как японцы, неизменно бдительные, отреагируют на „crossing the «Т“…

Степан Осипович после долгого молчания сказал:

– До тех пор, пока Россия имеет флот, Европа вынуждена с нами считаться. Правда, мы держимся еще на былой славе, а недостатки стараемся не замечать. Не имей мы этой славы, нас давно бы схватили за шкирку и утопили в первой луже… Нет, я не имею права умереть до двадцать третьего года!

В конце декабря 1902 года Коковцев (за отличие и усердие) получил следующий чин – капитана первого ранга; по случаю повышения он в группе офицеров флота представлялся в Зимнем дворце императору. Николай II неизменно носил мундир полковника, но, появляясь перед моряками, обязательно надевал мундир капитана 1-го ранга. Каждому из «пожалованных» Николай II счел своим долгом сказать приятные слова или задать вопросы, на которые совсем нетрудно ответить. Наконец дошла очередь и до Коковцева…

– Теперь мы с вами в одном чине, – сыронизировал царь. – А я до сих пор глубоко сожалею, что не привелось плавать с вами на «Владимире Мономахе». Но я вас помню.

Коковцев отвечал как положено:

– Счастлив сохраниться в памяти вашего величества!

– Может, у вас есть личные просьбы ко мне?

Владимир Васильевич вспомнил о семейном скандале:

– Есть!

– Прошу, – любезно склонился к нему император.

– Мой сын Георгий заканчивает корпус гардемарином с отличными оценками в учебе, но… Как и все молодые люди, он отчасти шалопай. Не могли бы вы указать высочайше, дабы его досрочно выпустили из корпуса на эскадру контр-адмирала Вирениуса? Молодой человек нуждается в дальнем плавании, чтобы не избаловаться на берегу среди различных соблазнов.

– С удовольствием я исполню вашу просьбу…

Царь не был пустомелей: вскоре же последовал высочайший приказ – гардемарина Г. В. Коковцева выпустить мичманом на эскадру Вирениуса с назначением в экипаж броненосца «Ослябя». Все произошло настолько четко и стремительно, что даже не Гога, а скорее сам отец был растерян. Коковцев увидел сына уже с билетом на венский экспресс в кармане. Владимир Васильевич не желал видеть слез жены, ему хотелось избежать семейных сцен, в которые непременно вмешалась бы и Глаша, а потому ресторан Варшавского вокзала стал местом их свидания перед разлукой. Каперанг подарил сыну спасательный жилет типа «дельфин», добротно сработанный на знаменитой петербургской фабрике «Треугольник». При этом он сказал сыну:

– Извини! Я бы не желал тебе пользоваться когда-либо этой резиновой штукой, но… море есть море. Возьми.

Гога с веселым смехом отверг подарок:

– Я ведь еще не забыл доблестного Дюпти-Туара! – Он долго наблюдал за оживлением публики в суете вокзального ресторана. – Папа, – вдруг сказал Гога, – я все понимаю, но в этом случае с Глашей я тебя не понял. Мама мне все рассказала! О твоем давнем романе в Нагасаки с этой японкой и то, что у тебя в Японии остался сын от нее. А ведь он мой единокровный брат… Прости, папа, я не помню, как его зовут!

Коковцеву стало тошно.

– Если ты считаешь себя таким взрослым и разумным, что смеешь осуждать своего отца за его мимолетное увлечение юности, тогда… Ну что ж! Давай тогда выпьем… Салют!

– Салют, папа. Но я бы не хотел никого обижать.

Владимир Васильевич догадался, о чем говорит Гога.

– Глаша не должна тебя беспокоить, – заверил он сына. – Если ей что-либо понадобится, я помогу ей сам…

Экспресс оторвался от перрона, будто большой корабль от родного причала. Коковцев вернулся домой.

– Глаша, – сказал он горничной, – Гога через день будет в Триесте, потом на Мальте… Он велел тебе кланяться.

Девушка спрятала лицо в сливочных кружевах передника, ее живот обозначился сейчас особенно выпукло.

– Слишком жестоко! – всхлипнула она. – Бог накажет всех вас за это… и за меня и за него. Конечно, виновата я буду. Но… любила Гогу, это уж правда. Он хороший, хороший…

Она убежала к себе, чтобы дать волю слезам. Утром ее уже не было в квартире на Кронверкском – Глаша ушла от них…

Был самый гадостный день в биографии Коковцева. Жена его спросила – кто командует эскадрой Средиземного моря:

– Вильгельм Карлович Витгефт?

– Нет. Вирениус. Андрей Андреевич.

– Я их всегда путаю. А какие у тебя с ним отношения?

– Если ты рассчитываешь, что я стану просить Вирениуса за нашего сына, ты глубоко ошибаешься, дорогая. Не стану!

– А куда идет эскадра Вирениуса?

– Куда и все. На Дальний Восток – в Порт-Артур, где и войдет в состав Первой Тихоокеанской эскадры…

Ольга Викторовна иногда умела быть и жестокой:

– Слава богу, что не в Нагасаки, – съязвила она…

Вскоре от Гоги пришла открытка с видом Везувия, заклейменная штемпелями многих стран и городов Средиземноморья.

– Читай сама, – сказал Коковцев жене.

Гога издалека информировал родителей:

В Италии красоты напоказИ черных глаз большой запас.А мы, российские валеты,Ушли из доков Ла-Валетты.Трясется больше всех Вирениус,Не признанный на флоте гениус.На станции Шарко-ОслабиДрожит сигнал моей «Осляби».На курсе, деловито-скоро,Лежит прекрасная «Аврора».Сейчас идем торчать в Джибути,Все остальное – трутти-фрутти.Всегда почтительный ваш сын,Еще вчера гардемарин.Целуя маму с папой в щечки,На этом ставлю жирно точку.

– Объясни, что все это значит? – спросила жена.

– Как же не понять такой ерунды? Вирениус дал эскадре погулять в Италии, потом задоковались на Мальте для ремонта, но англичане из доков их бессовестно выгнали. Вирениус боится дипломатических осложнений. Шарко-Ослаби – система радиосвязи на броненосце «Ослябя». Сейчас эскадра через Суэц перетянется в Джибути, – остальное мелочи – трутти-фрутти… Ольга, я удивлен твоей бестолковости!

Утром он долго возился с новыми запонками.

– Помоги же мне наконец, – взмолился он.

Ольга вдевала запонки в манжеты и приникла к нему:

– Что происходит с нами, Владечка?

– Не понимаю, о чем ты спрашиваешь?

– Но я люблю тебя. Я никогда еще так не любила…

– Ради бога! К чему весь этот пафос?

– А к тому, мой Владечка, чтобы ты больше не бывал на Английской набережной… я ведь уже догадываюсь…

– Глупости. У меня с Ивоною приятельские отношения.

– Ах, милый! Это не я, а ты говоришь глупости.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1903 год был для Макарова решающим! Он работал над секретным планом «О программе судостроения на 20 лет», в котором доказывал, что Россия обязана иметь самый могучий флот, а конфликт с Японией неизбежен. «Чтобы этого не случилось, – писал Степан Осипович, – нужно иметь на Дальнем Востоке флот значительно более сильный, чем у Японии… Разрыв последует со стороны Японии, а не с нашей, и весь японский народ, как один человек, поднимется, чтобы добиться успеха…»

Коковцев имел доступ к его планам. Макаров утверждал:

– Флот на Балтике должен равняться германскому и шведскому, на Черном море количеством килей мы должны подавлять турецкий, на Тихом океане превышать японский. Только такие пропорции позволят России держать голову высоко!

Красное море он называл «мерзким аппендиксом», через который трудно проталкивать корабли. Если прошли через Суэц, все равно жди, что застрянут в Баб-эль-Мандебском проливе – в Джибути (у французов) или в Адене (у англичан). Так случится и с эскадрой Вирениуса… Макаров сказал:

– На кой бес им там жариться? Сейчас надо форсировать машинами, чтобы скорее укреплять эскадру в Порт-Артуре…

Военный министр Куропаткин загостился в Японии, где ему показали войска очень плохие, а хорошие спрятали, где ему показали плавающее старье-гнилье, а новые корабли Того укрыл на секретных базах, и Куропаткин завитал в розовых облаках, заранее уверясь (и уверяя Петербург!), что Япония не посмеет напасть на Россию, столь могучую и обильную…

Поливая из лейки свои любимые цветы, Макаров ругался:

– Куропаткин сейчас застрял у дальневосточного наместника адмирала Алексеева, провозглашая на банкетах подхалимские тосты в экспромтах: «Пью за здешних мест гения – за Алексеева Евгения!» Вот они и сделают всем на «крантик»…

Срезав орхидею, он протянул ее Коковцеву:

– Передайте от меня Ольге Викторовне…

Коковцев, опечаленный, передал орхидею жене:

– Оленька, это тебе от нашего адмирала.

– Боже, какое очарование! – восхитилась супруга.

За столом, очень скучным, Коковцев сказал ей:

– Меня не покидает ощущение, что мы с тобой допустили подлость не только по отношению к Глаше, но и к нашему сыну Гоге тоже… Поверь, мне очень и очень больно!

Унылая пустота царила в квартире на Кронверкском. Никита, уже взрослый мальчик, как-то притих, перечитывая собрание дедовской беллетристики, Игорь тоже замолк. Ольга и сама, как женщина, понимала, что случилось непоправимое.

– Владечка, не надо мне ничего говорить. Ты сам видишь, что я места себе не нахожу… Мне порой кажется, что, вернись сейчас Гога и Глаша, я взяла бы их ребенка, все бы им простила… В конце-то концов, с кем греха не бывает.

Это был не ответ ему – это был скорее вопрос.

– Да, – сказал Коковцев, – наверное, со всеми так бывает. Но исправить уже ничего нельзя…

Эйлер залучил его к себе, и Коковцев остался благодарен Ивоне за то, что ни единым словом или жестом она не выдала своих чувств к нему, оставаясь пленительно-ровной (впрочем, как всегда). В разговоре ему вспомнился Атрыганьев:

– Леня, не знаешь ли, где сейчас Геннадий Петрович?

Эйлер сказал, что Атрыганьев последнее время плавал на танкерах у Нобеля, а потом судился в Астрахани.

– Судился? За что? Честнейший человек.

– Сначала он похитил изящную персиянку, бежав с нею в Дербент, это вскрылось. Затем из лабазов Астрахани выкрал толстенную, как селедочная бочка, замужнюю купчиху и бежал с нею уже обратно – в Персию, но это тоже вскрылось. А сейчас, я слышал, Геннадий Петрович вникает в Библию.

– Но при чем здесь Библия? – ужаснулся Коковцев.

– Когда черт стареет, он делается монахом…

Коковцев – раздраженным тоном – рассказал новости:

– Наш морской атташе в Токио сообщает, что Япония начнет с нами войну в январе следующего года. Куропаткин же уверен в слабости японцев, а дипломаты с Певческого моста игнорируют японские ноты… Не знаю, чем эта чехарда кончится.

– Революцией, – ухмыльнулся Эйлер.

Это замечание вдруг обозлило Коковцева:

– Перестань, Леня! Мы с тобою давали присягу в корпусе не ради того, чтобы заниматься революциями…

Эйлер сказал, что на минутку покинет их, надобно проследить за лакеем – правильно ли он варит глинтвейн. Коковцев упорным взглядом вызвал на себя ответный взор Ивоны.

– Что-то у нас с тобою все не так. Лучше бы мы были до конца грешны перед этим хорошим человеком…

На столе появился горячий глинтвейн.

– Так на чем мы остановились? – спросил Эйлер.

– На Порт-Артурской эскадре, где сплаванный и бодрый состав, «шпиц» стал менять офицеров на тех, которые не имеют ценза. Их берут из казарм экипажей и гонят в Порт-Артур, а людей, знающих условия плавания в тамошних морях, выкидывают с чемоданами на берег… Этот глинтвейн ты, Леня, пей сам. А мне налей чего-либо покрепче. Вот так. Спасибо…

– Я не считаю, что закон о цензе так уж плох!

– Но любой закон, если его исполнять буквально (вроде инструкции для вагоновожатого трамвая), может обернуться для флота катастрофой… Я уже решил для себя, что, случись война, и я в Петербурге не останусь.

– Я тоже, – тихо, но уверенно откликнулся Эйлер.

– А как же я… одна? – удивилась Ивона.

Коковцев ушел от Эйлеров около полуночи, но еще долго блуждал по ночному городу, пытаясь сообразить, что с ним (и со всеми другими) происходит. Если морская агентура в Токио поставила верный диагноз планам Японии, то в следующем году, возможно, ему, капитану первого ранга Коковцеву, предстоит взглянуть в улыбающееся симпатичное лицо Японии через линзы безжалостных артиллерийских и минных прицелов.

…1903 год вообще был роковым для русского флота!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Именно в этом году начальником Главного Морского штаба назначили контр-адмирала Зиновия Петровича Рожественского, с которым Коковцев не раз соприкасался по службе, искренно и безоговорочно уважая этого человека, имевшего сильный характер и большую организаторскую волю. «Первый лорд» российского Адмиралтейства был фигурою достаточно цельной, ретивой и, кажется, мало зависимой от прихотей двора! Коковцева роднило с Рожественским еще и то, что Зиновий Петрович не принадлежал к числу врагов Макарова, напротив, он всегда был внимателен к его рассуждениям, будучи, как и Макаров, убежденным сторонником боя в кильватерных колоннах, но до расстановки «палочки над „Т“, увы, кажется, еще не дорос…

Коковцев отдыхал на даче в Парголове, в тишине и безделье, когда флотский курьер оповестил его, чтобы завтра он предстал перед Рожественским. Изленившись на даче, Владимир Васильевич нехотя облачился в парадный белый мундир – поехал. В дачном поезде он страдал от жары, а вахта в подъезде Адмиралтейства сказала, что «первый лорд» сейчас проезжает на лошади по бульвару – ради моциона.

– А, кстати, вам повезло: вот и он сам…

Зиновий Петрович спрыгнул из седла на землю.

– Моряк на лошади хуже собаки на заборе, – сказал он, приветствуя Коковцева. – Однако нам, морякам, иногда тоже полезно вытряхнуть из своих ушей соленую воду.

Его рослая импозантная фигура привлекала внимание прохожих (особенно дам!), ради чего, кажется, Рожественский и гарцевал по бульвару. Они вступили в прохладную сень Адмиралтейства. Мимо полотен Айвазовского, мимо носовых наяд кораблей былой славы поднимались по ласкающему взор мрамору торжественных лестниц, беседуя вполне откровенно…

– Адмирал Того, – говорил Рожественский, – выполнил программу «Постбеллум» развития флота раньше нас. Ему удалось в три раза увеличить свой флот… в три! Но против наших двенадцати броненосцев он способен выставить на батальную линию огня только шесть своих броненосцев. Эта детская арифметика в какой-то степени меня утешает.

– Но у Того, – отвечал Коковцев, – броненосцы самые новейшие, скоростные, а мы с новейшими опаздываем.

В кабинете был сервирован на золоте и серебре чай… с сухарями, какие едят матросы! Коковцев уже привык ко всяким причудам начальства и охотно придвинул к себе сухарь.

– К нам в Питер прибывает японская делегация, желающая ознакомиться с работой наших судостроительных верфей. Вас и буду просить показать японцам, какие мы мастера! Чем больше мы запугаем их нашей мощью, тем выгоднее для нас.

Коковцев не соглашался: Россия, пусть лапотная и сермяжная, имела на стапелях новейшие броненосцы, которые в некоторых качествах преобладали над иностранными, и демонстрировать их заведомым врагам… не глупо ли?

– Ведь в игре никто не открывает своих карт.

– А мы разве шулеры? – ответил Рожественский.

– Что же я должен показать японцам?

– Все! – разрешил Зиновий Петрович. – Согласен, что без секретности нельзя. Но излишняя таинственность – абсурд, как и другая крайность ее – беспечность. Что вы так возмущены? Открывая перед японцами забрала своих боевых шлемов, мы тем самым показываем, что нисколько их не боимся.

– Нет ли фатальной ошибки в этом решении?

– Я фаталист, но… Это и есть мое решение. Ошибок не допускаю. Прошу исполнить все, как я сказал.

– Есть! – Коковцев оставил свой сухарь недоеденным…

Петербургские заводы, исполнявшие заказы флота (Путиловский, Балтийский, Франко-Русский, Невский и Канонерский), имели немало производственных секретов, до которых японцы и были допущены. В результате решения Адмиралтейства, желавшего запугать японцев ускоренною работой верфей, японцы, нисколько не испугавшись, сразу же выяснили, в какой стадии строительства находятся лучшие русские броненосцы типа «Бородино», точно рассчитав время их боевой готовности после спуска на воду. А сама поездка по Великой Сибирской магистрали (туда и обратно) дала самураям богатейший материал для сбора сведений о пропускной способности железной дороги, перерезанной тогда озером Байкал – с паромным еще сообщением…

Убедившись в том, что Россия и ее флот к войне не готовы, японцы заметно усилили политическое напряжение на оси Токио – Петербург, и без того шаткой. Колебания этой оси поколебали устои Певческого моста, но сначала, как это и водится, напряжение отразилось на делах флота….

– Я чертовски устал, – сказал Коковцев жене.

Осенние дожди зарядили над Петербургом, они обстучали подоконники, ливни с грохотом низвергались на мостовые по трубам, Нева взбурлила под окнами дворцов и трущоб на окраинах. Коковцев ощутил доверчивую робость жены.

– Я теперь жалею, что у нас нет четвертого сына.

– Но у нас и так их трое, Оленька.

– Одного с нами уже нет. – Кажется, в эту ночь Ольга не сомкнула глаз. – Владечка, я тебя очень прошу, – взмолилась она под утро, – сделай так, чтоб Глаша вернулась к нам… Я согласна приютить ее, с ребенком. Пусть живет. Я посажу ее за тот стол, за которым сижу сама. И пусть н а ш внук будет с нами… Ладно?

Коковцев вернулся вечером, не стал ужинать:

– Я набегался, как собака, по всяким участкам полиции, был даже в Департаменте полиции, но Глафира Рябова уже не значится в числе лиц, проживающих в Санкт-Петербурге…

А зима выдалась очень морозной, снег был на диво пушистый, радостный. В декабре адмирал Макаров сообщил Кокореву, что война с Японией, кажется, дело решенное:

– Сейчас в наших верхах трясогузы и рукосуи решают вопрос: не лучше ли самим напасть на Японию, нежели ожидать нападения японцев? Тысячу лет стоит мать-Россия и почему не дрогнула от глупостей – не понимаю. Впрочем, – резко заключил Макаров, – у иезуитов на этот счет имеется циничное, но верное указание: чем гаже, тем лучше! Верю, что в 1923 году русские люди будут все-таки умнее нынешних.

– Надеюсь, – вежливо согласился Коковцев…

О, если бы он мог увидеть себя в 1923 году!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Зимний дворец (обычно мертвый) засверкал множеством огней, начались торжественные балы, с приглашенными по рангам. Первый бал открылся для знати и высших чинов империи 12 января. Коковцев по своему служебному положению попал в список лишь «третьей очереди» – на 26-е число. Но, желая хоть как-то оживить Ольгу от уныния, каперанг приложил все старания, используя свои связи, чтобы посетить Зимний дворец во «второй очереди» – 19 января 1904 года. Это ему удалось, и он радовался восхищению Ольги новым платьем, жемчужным ожерельем от Обюссона и прекрасными бальными перчатками, выписанными из Парижа специально для этого бала.

Ольга Викторовна (слишком уж женщина!) снова похорошела. Ей, конечно, было приятно побывать в этом мире статс-дам и фрейлин, облаченных в старомодные «робы» времен Екатерины II, окунуться в блаженное сияние люстр и музыку придворных оркестров. Ольге явно польстило, когда после чопорного полонеза адмирал Рожественский пригласил ее к вальсу. Коковцев, пока они там танцевали, проследовал в боковую галерею дворца, где были накрыты столы для угощения, и начал пить дармовое шампанское. Было десять часов вечера, когда он вернулся в зал, так и не отыскав Ольги во всеобщем кружении пар, но зато встретил адмирала Макарова, в скромном удалении застывшего возле колонны. Капитан первого ранга спросил адмирала:

– А где ваша Капитолина Николаевна?

– Там же, где и ваша Ольга Викторовна… Бог с ними! Лучше понаблюдаем за японским послом Курино – вон, голубчик, о чем-то перешептывается с коллегами. Смотрите, – сказал Макаров, – кажется, важный момент истории наступил…

Владимир Васильевич издали пронаблюдал, как секретарь японского посольства, быстро лавируя среди танцующих, вручил послу Курино телеграмму, прочтя которую посол (в плотном окружении сладко улыбавшейся свиты) медленно, явно стараясь не привлекать к себе внимания, тронулся к выходу из зала.

– Что бы это означало, Степан Осипович?

– Сами видите, что остаться для ужина самураи не пожелали. Даю голову на отсечение, что чемоданы давно упакованы, сейчас Курино прямо с бала отъедет на Финляндский вокзал, чтобы завтра быть в Швеции… А мы с вами, – невесело рассмеялся Макаров, – от ужина, конечно же, не откажемся, паче того, у меня сегодня дома – хоть шаром покати!

Ольга Викторовна, запыхавшаяся от танцев, счастливая, оживленная, отыскала мужа.

– Вовочка, как я тебе благодарна…

– А что успел нашептать на ушко Зиновий Петрович?

– Мои прекрасные глаза покорили его.

– Это пошлость. А – серьезное?

– Только то, что Япония маленькая, а Россия большая.

– Скажи, какая новость! Сразу видно, что Рожественский не забыл, чему учили его в гимназии.

Бурные всплески музыки мешали им разговаривать.

– Зиновий Петрович отзывался о тебе в самых лестных выражениях. Он считает тебя превосходным минером…

– Да что ты? – отшучивался Коковцев.

– Да. Именно у тебя большое будущее. Такие, как ты, Владечка, еще будут командовать флотами. – Она обернулась к мужу всей статью, лицом, улыбкой, губами. – Владечка, – спросила его Ольга, – неужели я доживу до этого дня?

– Я не доживу, – ответил Коковцев. – Но для твоего дамского понимания сказанного Рожественским вполне достаточно. И все-таки я добавлю (а в мазурке можешь передать это Зиновию Петровичу), что Китай по своим размерам тоже был гораздо больше японского желудка. Однако…

– Однако ты, кажется, выпил лишнее.

– За тебя! И за своего адмирала. Не пора ли домой?..

Утром следующего дня Петербург был встревожен: Япония прервала дипломатические отношения с Россией. Газеты сразу отбили барабанную дробь, в мещанской публике уже слышались глупейшие разговоры: «Да мы этих япошек шапками закидаем… У япошки тонки ножки, у макаки мелки вошки!» Но в штабе Кронштадта хранилось строгое деловое напряжение – без болтовни, без умственных выкрутасов, без фантастики.

Макаров был очень далек от шапкозакидательства:

– Дислокация наших кораблей меня уже настораживает… «Варяг» и «Кореец» в порту Чемульпо, «Маньчжур» на чистке котлов в Шанхае, а часть миноносцев застряла в Чифу и Кью-Чжао – у немцев. Вчера я отправил под «шпиц» предупреждение, чтобы броненосцы загнали во внутренний бассейн Порт-Артура, ибо, случись минная атака, и мы дорого заплатим за эту ошибку! Того – умный и не упустит случая ослабить нашу эскадру, чтобы сразу лишить Россию преобладания в броненосцах: тогда он, а не мы, станет хозяином на театре…

Куропаткин разъезжал по России, собрав несколько вагонов икон, отчего в публике возникали шутки: «Шапки побережем! Мы их всех иконами закидаем…» Но в ночь с 26 на 27 января пророчество Макарова сбылось: японские миноносцы, подкравшись с моря, выбросили торпеды в русские корабли, подорвав на внешнем рейде Порт-Артура два эскадренных броненосца «Ретвизан» с «Цесаревичем» и крейсер «Паллада»; лишь после этого 1-я Тихоокеанская эскадра перетащилась во внутренний бассейн гавани Порт-Артура…

Макаров признал:

– Того уже начал побеждать! А дураков бьют…

Коковцев вдруг вспомнил быстрый и ловкий удар бамбуковой палкой от японского самурая в Арима: не успел опомниться, как резкая боль заполнила тело, а обидчика уже и след простыл! Столица между тем бурлила от негодования.

– Как? – слышались всюду возмущенные голоса. – Напасть, даже не оповестив нотой о состоянии войны! Это же чистый разбой на большой дороге! Боже, какое вероломство! Одни пираты нападают без предупреждения…

Храмы столицы наполнились возгласами молебнов «о даровании победы над супостатом». Степан Осипович говорил:

– Глупая у нас публика! Японцы напали вероломно – согласен. Но разве напали неожиданно? Нет, простите. Война готовилась не вчера, о ней судачили, как хотели, давно, и мы уже имели пример японского нападения на Китай. Свой удачный опыт они повторили и в Порт-Артуре… Чего же тут дивиться мнимой внезапности? Но мне хотелось бы знать: кто будет третьим глупцом, который, разинув рот, подвергнется разбою японцев по такому же точно шаблону?

…История любит жестоко мстить всем тем, кто истории не знает! Через тридцать семь лет, 7 декабря 1941 года, японцы в клочья разнесли мощнейшую эскадру США в гаванях Перл-Харбора, успешно повторив тот опыт, который был извлечен ими из войны с Китаем, из минных атак талантливого адмирала Того на русскую эскадру в Порт-Артуре.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Поздним вечером Коковцевы возвращались из гостей. Ольга Викторовна была в пышной шубе из канадских опоссумов, которые скрадывали ее фигуру, она держала в муфте свои зябкие миниатюрные руки. Швейцар отворил им двери, жена переступала по лестнице через одну ступеньку. Бережно. Неторопливо. Чересчур грациозно.

Профиль ее лица был удивительно прекрасен.

– Порой я тебя ненавижу, – вдруг резко сказала она.

– В чем же я виноват? – оторопел Коковцев.

– Владечка, я ведь все знаю… Я знаю даже и то, что близких отношений с мадам Эйлер у тебя еще нет. Только не надо притворяться. И не унижай себя ложью.

– Пойми, что Леня – мой старый приятель…

Он отстал от нее на три ступеньки. Она обернулась.

– Но при чем здесь он? – ответила Ольга. – Я достаточно понятлива и понимаю, ради кого ты бываешь у Эйлеров.

Он поклялся, что с Ивоною ничего нет. Нет, нет!

– Но это ведь всегда может случиться. Пойдем.

– Пошли. Но почему ты решила так?

– Потому что я сама женщина…

В передней он принял с ее плеч шубу. Ему хотелось уйти от неприятного разговора. Коковцев сказал:

– Эскадру Вирениуса, кажется, отзывают обратно.

– Значит, скоро я увижу Гогу?

– Увидишь…

Ее материнскую радость легко понять! Но не так отнесся к возвращению Вирениуса на Балтику адмирал Макаров, пославший энергичный протест против этого бестолкового решения. «Считаю, – писал он, – безусловно необходимым, чтобы отряд судов (Вирениуса) следовал на Дальний Восток…» Ему суждено погибнуть, так и не узнав, что в архивах Адмиралтейства его рапорт был погребен с такой резолюцией: «ШТАБ. НЕ исполнять. Отряд (Вирениуса) по Высочайшему повелению уже возвращается обратно». Иначе говоря, в этой стратегической ошибке повинен сам император… Степан Осипович, пребывая в угрюмом настроении, ознакомил Коковцева с телеграммой консула из Сингапура: оказывается, через Малаккский пролив проследовали недавно два японских крейсера «Ниссин» и «Кассуга», оперативно закупленные в Аргентине.

– Просчетов уже достаточно! Сейчас во Владивосток назначают адмирала Скрыдлова, который, очевидно, позавидовал «урожаю» Куропаткина и тоже поехал по святой Руси давать гастроли с молебнами, выклянчивая иконы у безобидного населения. А меня отправляют в Порт-Артур… Я забираю пять вагонов с инструментами и материалами для ремонта подорванных броненосцев. Со мною едут помимо штаба рабочие Путиловского и Франко-Русского заводов. Прошу вас, Владимир Васильевич, сопровождать меня до Москвы, чтобы в дороге продолжить разбор штабных бумаг по делам Кронштадта.

Коковцев объявил жене, что через день-два вернется:

– Собери меня. Я возьму не больше портфеля.

Ольга Викторовна поняла эту разлуку на свой лад:

– Надеюсь, ты не станешь навещать Эйлеров?

– Если не веришь, сама и посади меня в поезд. Кстати, на вокзале соберется весь столичный beau monde, так что у тебя есть лишний повод показать свою новую шляпу…

Ольга Викторовна подошла к зеркалу. Именно в этот миг произошло что-то очень важное, могущее очаровать навеки.

– Владечка, – тихо позвала его жена, – ты живешь со мной столько лет, а до сих пор не осознал любви моей.

– Объясни, что последнее время с тобой происходит?

Из глубины громадного трюмо, словно из бездонной пропасти, на него смотрели глаза – глаза любящей женщины.

– Ты ничего не понял, Владечка, – вздохнула она с напряжением. – Не понял даже того, что я уже начинаю страдать …

В газетах об отъезде Макарова не сообщалось. Однако весь перрон Николаевского вокзала был заполнен публикой. Возле вагонов экспресса царила почти праздничная суматоха, дамы блистали мехами и улыбками, слышался французский говор, счастливый смех и возгласы радости. Степан Осипович выделялся среди провожавших его монументальным спокойствием и уверенной статью, лентой ордена Георгия в петлице адмиральского пальто с барашковым воротником. Коковцев оставил Ольгу щебетать со знакомыми ей дамами, сам же протиснулся через толпу к начальнику макаровского штаба – контр-адмиралу Моласу (это был дядя жены композитора Римского-Корсакова). Он спросил Михаила Павловича, какие новости.

– На своих же минах подорвался минзаг «Енисей», масса убитых, а кавторанг Степанов застрелился на мостике.

– Как же это могло случиться?

– Не учли разворота корабля при сильном течении. Вот их и затащило на свое же минное поле.

– Понимаю Степанова: допустить такую ошибку…

Возле Макарова стояли его дети: любимица адмирала – Дина, уже взрослая барышня, и сын Вадим – кадет Морского корпуса. Среди провожавших был генерал-адмирал, великий князь Алексей (старый потомственный алкоголик), который предложил Макарову «дернуть» по случаю отъезда. Макаров отказался.

– Ваше высочество, – желчно произнес он, – вы же знаете, что я люблю мужские компании и не дурак выпить. Но сейчас возбуждения нервов не требуется, ибо мои нервы достаточно возбуждены нашими военными неудачами…

В морозном воздухе, под куполом вокзала, прозвучал удар гонга. Контр-адмирал Молас крикнул в толпу провожавших:

– Якоря подняты! Отбывающих прошу по вагонам…

В штабном салоне Капитолина Николаевна прощалась с мужем. Владимиру Васильевичу было неловко слышать, как адмирал внушал своей Капочке прописные истины: «Тебе, как и Диночке, совсем неприлично наряжаться в пух и перья. Я еду без копейки в кармане, а тебе оставляю пять с половиной тысяч. Подозреваю, что первым делом ты пожелаешь обновить свои туалеты, а у нас уже было немало случаев, когда мы сидели без обеда. Пойми, что сейчас, когда ко мне приковано внимание всего русского общества, тебе, моей жене, стыдно ходить расфуфыренной, и люди в народе верно решат, что для тебя война – это только повод для блистания в свете».

Наконец-то перрон с его дрязгами и суматохой остался позади. Вагон за вагоном потянуло в сумерки – как в бездну…

– Теперь за работу, – сказал Макаров, сбрасывая пальто.

Проходы между купе были завалены книгами по Дальнему Востоку, свертками карт дальневосточных морей. Макаров уже вникал в дела Порт-Артура. Очевидец пишет: «В пути он беспрерывно работал, диктуя чинам своего штаба различные инструкции, приказы и проч., чтобы с первого же дня по прибытии в Артур все знали, кому что делать ». Всю ночь напропалую стучал «ремингтон», на котором печатал приказы кавторанг Васильев, бывший командир ледокола «Ермак», а ныне флаг-капитан адмирала; из его растрепанной бороды смешно торчала тонкая папироска… Накурено было нещадно! Коковцев, как и все, не спал всю ночь, помогая штабу в оформлении сдаточных документов по Кронштадту, которые ему следовало вернуть обратно в Адмиралтейство.

Мерно вздрагивали вагоны. За окнами просветлело.

– Успеете сделать все до Москвы? – спросил Макаров. – А то, если не успеете, махнем по рельсам и дальше.

– Может, прямо до Порт-Артура?

– Нет уж! Ваш опыт пригодится еще на Балтике…

Было раннее, очень морозное утро, когда экспресс домчал до первопрестольной, но Макаров даже не вышел на перрон, чтобы размяться. Коковцев, загрузив портфель, обошел вагон, прощаясь с людьми, а Степан Осипович душевно обнял его.

– Ну! – сказал он. – Я ведь не Куропаткин и потому не зову вас в Токио, чтобы шелковыми веревками вязать японского Микадо. Даст бог, и мы еще повидаемся!

Коковцев имел обратный билет на поезд, отходивший около полудня. Он позавтракал на вокзале блинами с паюсной икрой, ему очень хотелось спать. Гуляя по Москве, каперанг прошел внутрь Кремля, глянул на Ивана Великого и даже не поверил, что в молодости забирался на такую высотищу безо всякой страховки. Да, крепкие были руки. И еще крепче были нервы.

С душевным огорчением Коковцев признался себе, что сейчас уже не рискнул бы забраться на такую высоту!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ранним утром Коковцев вернулся домой. Ольга Викторовна выдала свою тоску в первых же словах:

– Владечка, а где сейчас эскадра Вирениуса?..

Вскоре место Степана Осиповича в Кронштадте занял его злостный недоброжелатель – адмирал Бирилев, и, естественно, он стал сокрушать все «макаровские» порядки. Досталось за компанию и Коковцеву: его вымели из штаба в береговой экипаж, что Коковцев воспринял как личное оскорбление. К счастью, контр-адмирал Рожественский уже начинал формирование 2-й Тихоокеанской эскадры для отправления ее на Дальний Восток (а Порт-Артурская эскадра, под командованием Макарова, именовалась 1-й Тихоокеанской эскадрой).

Коковцев повидался с Зиновием Петровичем.

– Должность флагмана, – сказал ему флагман, – уже занята. Не советую отказываться от положения флаг-капитана моего походного штаба. Вы будете допущены до всех моих секретов. Для начала прошу проверить подготовку кондукторов…

Далеко от родины адмирал Макаров уже сражался с противником, заманивая его ради дуэли главных калибров, но Того явно уклонялся от боя, сберегая свои силы. По слухам, дела в Порт-Артуре налаживались.

Конечно, при выходе из Адмиралтейства Коковцеву было печально прочесть:

«ПРИКАЗ ПО МОРСКОМУ

ВЕДОМСТВУ № 59

Государь-император 15 марта сего года Высочайше повелеть соизволил: исключить из списков судов флота погибшие в боях: крейсер 1-го ранга «ВАРЯГ», мореходную канонерскую лодку «КОРЕЕЦ», миноносец «СТЕРЕГУЩИЙ» и утонувший минный транспорт «ЕНИСЕЙ».

Подписал: Генерал-адмирал АЛЕКСЕЙ».

За черствыми словами номерного приказа – три неувядающих в истории подвига и одна нелепейшая ошибка. Копию этого приказа Коковцев прихватил с собою, чтобы показать жене:

– Оля, а вот так пишется официальная история…

Он ревизовал кондукторские штаты на эскадре. Кондукторы – полуофицеры флота, вышедшие из матросов. Отличные специалисты, на практике освоившие то, что офицеры не всегда могли постичь даже в теории. Они жили в отдельных каютах, их баловали закусками с табльдотов, кондукторы носили офицерские тужурки, а фуражки украшали офицерскими кокардами. Заодно их обязывали служить как бы буферной прослойкой между кубриками и кают-компаниями, дабы смягчить неизбежные трения между матросами и офицерами. В просторечии кондукторы именовались «шкурами»! Коковцев отчитался:

– Все штаты кондукторов укомплектованы прекрасно.

– Благодарю, – отвечал ему Рожественский…

В последний день марта Макаров, держа свой флаг на броненосце «Петропавловск», повел эскадры из гавани Порт-Артура в сражение… Никто в столице еще ничего не знал, а Коковцев вернулся домой только глубокой ночью.

– Владя, на тебе лица нет… Что случилось?

– Да, Оленька, случилось: «Петропавловск» наскочил на букет мин. Погреба сдетонировали. Сразу рвануло и котлы. Броненосец держался на воде одну-две минуты. Винты еще вращались. А когда люди бросились из отсеков наверх, их встретила лавина бурного пламени… Все кончено!

– А как же… Степан Осипыч?

– Подцепили из воды пальто. Вот и все. Всплыл еще труп флаг-капитана Васильева. Но уже ни контрадмирала Моласа, ни художника Верещагина… все-все на грунте.

Только теперь, когда Макарова не стало, Владимир Васильевич дочитал его «фантастический роман». Макаров писал: «Сила взрыва была такова, что орудия сбросило со станков, летели мачты и шлюпки. Сдвинутые котлы оборвали все паропроводы. Пар и горячая вода бросились в кочегарки и машины, задушили там все, что было живого. Затем огромная масса воды хлынула… ничто уже не задерживало страшного потока, и броненосец быстро погрузился в воду».

– Наверное, так и было, – сказал Коковцев.

Он отложил «Морской сборник» от 1887 года, в котором Макаров, как провидец, представил картину гибели «Петропавловска», а воображение автора верно обрисовало ситуацию собственной гибели. Аналогия была тем более поразительной, что время умирания корабля в «романе» точно совпадало с теми долями минуты, что были отпущены самому адмиралу Макарову после взрыва минного букета и детонации погребов.

– Прямо мистика какая-то, – ужаснулся Коковцев; Ольга плакала, жалея овдовевшую Капитолину Николаевну.

– За нее ты не волнуйся: она даже из панихиды театр устроит…

Его отвлекло известие: Кронштадт не может снабдить эскадру 20% снарядов сверх нормы, что полагалось по штатам для боевых действий. Рожественский справедливо ставил вопрос: как ему проводить практические стрельбы? Бирилев заверял флагмана, что недостающие боезапасы он вышлет транспортом «Иртыш» к берегам Мадагаскара.

– А если не вышлет? – сомневался Коковцев.

Флагман выматерился так, что всем чертям в аду завидно стало. Эскадра уже собиралась на рейде Кронштадта, корабельные оркестры поспешно разучивали «Марш Рожественского»:

Эс-кадра! Эс-кадра!Выходим мы на смертный бой.Про-щайте! Про-щайте!Не все вернемся мы домой…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Было странно видеть Ленечку Эйлера в мундире штабс-капитана корпуса корабельных инженеров. Рожественский приманил его службою на флагманском броненосце «Суворов».

– Трюмные системы, – говорил Эйлер, – чересчур сложные, народ еще не успел их освоить как следует. Вот я и согласился: где мои системы, там и я со своими системами…

Когда он спал – непонятно. Сутками не вылезал из корабельной утробы, ковыряясь в путанице клапанов, кингстонов, фланцев; потомок великого математика, Эйлер имел теперь руки мастерового, – в ссадинах и кровоподтеках, едва отмытые от грязи, масел и красок. «Таблицы непотопляемости кораблей» профессора А. Н. Крылова стали его настольной книгой. Эйлер помешался на разговорах о метацентрической остойчивости корабля, о выпрямлении кренов и дифферентов.

– Не верю я в это дело: тонули и тонуть будем! – заявил Коковцев, сказавший, что более полагается на талант Рожественского. – Конечно, нас не ждет веселый пикник! Но Зиновий Петрович дерзостно возвращает нас ко временам аргонавтов. В конце пути, даст бог, острижем руно с золотого барана.

Эйлер соглашался пройти восемнадцать тысяч миль без отдыха, без наличия собственных баз, дважды погружаясь в тропическое пекло, – да, это задача, вполне достойная аргонавтов.

– Но в моем представлении, – сказал он, – Рожественский все же карьерист… Конечно, не тот, что лебезит и шаркает ножкой. Кажется, что под внешней грубостью выражений он затаивает ту правду-матку, которая лично ему выгодна!

В этот день они чуть было не поссорились.

– Если ты, Леня, не веришь в своего флагмана, так скажи, на кой черт залезаешь ты в наши вонючие трюмы?

– Но я же офицер русского флота… это долг чести!

За большим рейдом Кронштадта, пронизанным сеткой теплых дождей, в панораму «маркизовой лужи» вписывались новейшие и лучшие броненосцы России, флагманом которых был «Князь Суворов». Не все ладилось на эскадре. Старые корабли нуждались в ремонтах, новым требовалась доработка машин, проверочные испытания на ходу, обкатка орудийных башен и – стрельбы, стрельбы, стрельбы… Снарядов для этого не было!

– Все будет у Мадагаскара, – заклинал Бирилев.

Кронштадтский рейд сильно обмелел, броненосцы вязли днищами в грунтах, Бибишка (как звали Бирилева на флоте) старался изо всех сил спровадить эскадру в Ревель, а потом в Либаву. Коковцев, презирая Бирилева, именовал его маляром – за то, что адмирал был автором книги о малярно-покрасочных работах: «На большее этот дуралей и не способен…» Коковцев молился теперь на иного бога! Не только он, но и многие офицеры невольно подпадали под влияние популярной личности Рожественского, умевшего покорять людей непререкаемым тоном отрывистых речей, громадной силой волевого убеждения и размахом предстоящей операции. Тишком поговаривали, что Зиновий Петрович сам же и навязал Николаю II этот поход аргонавтов за тридевять земель. Коковцев был рад, что командиром «Суворова» стал его приятель – капитан первого ранга Игнациус. Миновали те блаженные времена, когда они, юные лейтенантики, упоенно аккумулировали электротоки в батареях Планке. Теперь перед Коковцевым предстал желчный скептик, с бородой и множеством орденов, безо всяких надежд на лучшее. Он и сказал Коковцеву, что каждый броненосец типа «Бородино» обошелся государству в ТРИНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ рублей, а один лишь залп одной только башни броненосца высаживает в небеса ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ народных рублей.

– Что же касается меня лично, – добавил Игнациус, – то я уверен в своей гибели. Но охотно иду на смерть, ибо в соленой воде лежать гигиеничнее, нежели валяться в земле, просверленной червями… Я уже ни во что не верю!

Коковцева даже передернуло. Он выразил надежду на то, что Аргентина продаст России четыре, а республика Чили продаст два крейсера для укрепления эскадры Рожественского.

– Экзотика для гимназисток! – высмеял его Игнациус. – У меня иные новости: англичане отдали Вэйхайвэй под стоянку японских кораблей, а это – как раз напротив Порт-Артура…

Мало того, газеты Лондона зафрахтовали пароходы, которые курсировали перед русской эскадрой, информируя Того обо всем, что творилось на рейдах Порт-Артура, а международное право не позволяло отогнать шпионов силой оружия. Коковцев пожалел, что нет поблизости Атрыганьева, – он бы, конечно, внес полную ясность в этот вопрос об английском коварстве.

Вечером в каюту Коковцева, размещенную в корме броненосца, близ салона флагмана эскадры, заявился Леня Эйлер и сказал, что в Ревель прикатила Ивона, она купила собачонку по имени Жако, которая вчера и прокусила ему палец:

– Ивона остановилась в номерах Нольде.

– Это где? – спросил Коковцев рассеянно.

– На Рыцарской. Там уютно. Может, навестишь ее?

– Извини, некогда, – отказался Коковцев…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Летом 1904 года, пользуясь тем, что руки России связаны войною, Англия вторглась в Тибет: скорострельные пушки Виккерса легко разгромили толпы наивных монахов-лам и кочевых пастухов этой труднодоступной, но очень слабой страны… Английские газеты – без тени юмора! – давали с русско-японского фронта бесподобную информацию: «Вчера на рассвете японские солдаты с бравыми возгласами: „Хэйка банзай!“ (что означает: „Да здравствует микадо!“) бросились в атаку на русские позиции. Русские солдаты со свирепым воплем: „Опять – ту их мать!“ (что тоже означает: „Да здравствует император!“) успешно отбили японскую атаку».

После гибели Макарова 1-й Тихоокеанской эскадрой стал командовать адмирал Витгефт. А дальневосточный наместник Алексеев («Евгений-гений», по выражению Куропаткина) улизнул из Порт-Артура в Мукден, оставив крепость на попечение генерала Стесселя и его жены. Того уже десантировал армию маршала Куроки на сухопутье, Квантунский плацдарм оказался под угрозой, японцы блокировали Порт-Артур с моря и с суши. Началась изнурительная битва, в которой, что ни день, писалась кровью новая страница русской отваги…

Ночным поездом Коковцев вернулся из Ревеля.

– Я измучилась в ожидании… Ну, где же Гога?

– Эскадра Вирениуса уже на подходе. – Коковцев объяснил Ольге, что «Ослябя» и все другие корабли идут хорошо, но их задерживают номерные миноносцы, которые плохо выносят встречную волну. – В машинах частые аварии, вентиляцию заплескивает волной, духотища, а кочегары валятся с ног…

– Как хорошо, что наш Гога не попал на миноносцы!

– Ты забыла, дорогая, с чего я начинал…

Гога вернулся ночью, всполошив весь дом, – загорелый, веселый, бодрый. С порога он почуял, что Глаши в доме нет, но спрашивать о ней родителей не пожелал. Мичман привез подарки: отцу бельгийский браунинг, покрытый никелем, матери пористый арабский графин, способный в жаркие дни хранить воду прохладной, а младших братьев одарил всякой заграничной ерундой.

Ольга Викторовна второпях шепнула мужу:

– Это ты … Когда я увидела Гогу, мне показалось, что не мой сын вернулся из Джибути, а ты, Владечка, снова приплыл ко мне из Японии… О, как он похож на тебя – на молодого!

На молодом и чистом лице мичмана – красные, будто выжженные глаза, и мать спросила – что с ними случилось?

– Конъюнктивит, мамочка. Как у всех! Англичане скупили в портах весь кардиф, чтобы нам не досталось. Пришлось от самой Бизерты шлепать на какой-то дряни. Сгорание в топках паршивое, над палубой «Осляби» несло горячие вихри искр…

За столом Гога с удовольствием уплетал все, что подсовывала ему материнская щедрая рука. Владимир Васильевич спросил сына – как ему понравилось в Джибути?

– Хуже, чем в Порт-Саиде! Днем на улицах – ни души. К вечеру выползают. Сонные. Шантаны работают до утра. Возле туземных лавок сидят на привязи, как собаки, черные пантеры. Купцы просят покупателей не бояться, ибо, по их мнению, пантерам мясо европейцев не нравится. На базарах полно безногих и безруких сомалийцев. Это ныряльщики за пенсами туристов. Донырялись, пока акула не отхарчила от них.

– Надеюсь, ты был умницей и не купался там?

– Напротив, мамочка, я даже играл на волнах с акулами. Это не лишнее для полноты жизненных ощущений. Ради этого я даже гладил пантер по загривкам, и они доверчиво терлись о мои ноги, как домашние киски, просящие сметанки…

Гога сказал, что ему, очевидно, уготована должность башенного начальника на «Ослябе» – в носовой башне.

– А вам не встречались «Ниссин» и «Кассуга»?

– Те, что закуплены японцами у Аргентины? – Гога глянул на отца исподлобья. – В гавани Порт-Саида мы стояли рядом с этими крейсерами… «Ниссин» прилип к нашей корме, а «Кассуга» бросил якоря как раз по носу «Осляби».

Коковцев, резко отодвинув стул, поднялся:

– А куда же смотрел ваш Вирениус? Или не догадался разбить им борта тараном – вроде бы случайно, а потом они до конца войны пусть и торчат в Египте?

– Вирениус не мог этого сделать. Хотя крейсера шли под японскими флагами, но их экипажи были набраны из безработных итальянцев… Кого таранить? Этих несчастных? Все было гораздо сложнее, папа, нежели вам из Питера кажется… Ты знай: «Ниссин» и «Кассуга» пришли в Порт-Саид под конвоем броненосного английского крейсера с мощным вооружением, орудия которого держали «Ослябю» на прицеле…

Ольга Викторовна потом спрашивала мужа:

– Как ты думаешь, почему он не спросил о Глаше?

– Потому что знал – тебе ответить ему нечего…

Он договорился с женой, что она приедет в Ревель, куда и сам выехал вместе с сыном.

Младший флагман эскадры, контр-адмирал Фелькерзам, держал флаг на «Ослябе», и Коковцев однажды слышал, как Рожественский говорил кому-то:

– Бедный Дмитрий Густавович! Боюсь, не доплывет…

В экипажах кораблей больных было много. Даже скоротечной чахоткой, которая убьет их сразу же, как только эскадра проникнет во влажную духотищу тропиков. Но люди шли! Флагманский штурман Филипповский, добрейший старикан, давно уже кормился едино лишь перетертою пищей.

– Со мною все ясно, – посмеивался он. – У меня рак желудка. Если не берутся вылечить врачи, так, надеюсь, вылечат самураи: одним снарядом – бац! И нет ни меня, ни рака…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Куроки буквально «выдавил» русские войска с Квантунского плацдарма, и только на юге его, вся в сотрясении канонады, геройски сражалась крепость Порт-Артура. Был конец июля, когда адмирал Витгефт стронул 1-ю Тихоокеанскую эскадру с рейда, подняв над броненосцем «Цесаревич» сигнал: К БОЮ. ИМПЕРАТОР ПОВЕЛЕВАЕТ СЛЕДОВАТЬ НА ВЛАДИВОСТОК. Навстречу выплывали главные силы японского флота под командою Того, который пытался охватить голову русской колонны, но Витгефт умело выводил эскадру из-под удара. Бой в Желтом море складывался не так уж плохо для русских и не так уж хорошо для японцев. Но война иногда бывает игрой в лотерею. Японский снаряд лопнул над мостиком «Цесаревича», сразу убив Витгефта и весь его штаб. Командир броненосца, сам искалеченный, вел флагман дальше. Второй снаряд убил всех на мостике, включая и командира, а громада броненосца, потерявшего управление, покатилась влево. Идущие за флагманом корабли, не зная о гибели командования, покорно следовали за «Цесаревичем», подразумевая, что Витгефт этой циркуляцией путает японские карты. И вся эскадра (вся!) легла в повороте – тоже влево. Бой завершился тем, что большая часть кораблей вернулась обратно в Порт-Артур, остальные сумели прорваться в порты Китая, где и были интернированы…

Известие об этой битве аукнулось в салоне Рожественского, где он собрал флаг-капитанов и флаг-офицеров. Присутствовали флагарты, флагмины, флагштуры, флаг-врач и флаг-интендант. Адмирал возвышался надо всеми.

– По свидетельству англичан, – сказал он, – Того уже топтал свою фуражку на мостике броненосца «Миказа», считая себя пораженным, когда «Цесаревич» вышел из строя, и тогда Того надел фуражку на голову. Газеты врут: Вильгельм Карлович не просто убит – его разорвало как тряпку, от него осталась одна нога с ботинком. В результате, господа, эскадра снова блокирована в Порт-Артуре, а Того обеспечил для себя господство на море… Останемся же тверды в несчастии!

Балтийский флот служил панихиды по убиенным на эскадре Витгефта. Солнечные зайчики, отраженные от воды через иллюминаторы, весело бегали по переборкам адмиральского салона. Клапье де Колонг, первый флаг-капитан 2-й Тихоокеанской эскадры, вкрадчиво спросил Рожественского:

– Ваше превосходительство, после того, что случилось с Первой эскадрой, есть ли смысл отправляться Второй?

Смысла не было! Взирая пасмурно, флагман ответил:

– До нашего прихода Порт-Артур будет держаться…

Броненосцы днем и ночью наполнял адский грохот: рабочие заколачивали в их борта дополнительные заклепки, в переборках сверлили отверстия, через которые электрики протягивали кабели, машинисты тянули проводку магистралей. «Суворов» еще не обрел жилого (корабельного!) аромата, в отсеках разило формалиновой дезинфекцией, красками и сулемой, которой санитары обмывали помещения.

Ольга Викторовна, приехав в Ревель, навестила мужа на корабле и ужаснулась:

– Владя, как ты можешь жить в этом аду?

– Не могу. Но жить все равно надо. Ничего, привыкну… Вчера купил два ящика консервов Малышева, из которых можно сварить щи с мясом и гречневую кашу с маслом. Сейчас-то еще хорошо, а в море, уж я знаю, зубами нащелкаемся…

– Я хотела бы видеть Гогу, это можно?

Коковцев показал ей «Ослябю», дымившего на рейде:

– Гогу следует искать по вечерам в варьете «Дю-Норд» на Колесной улице… Кутит и гуляет! Если и далее будет так продолжаться, я попрошу Фелькерзама, чтобы списал его на плавучую мастерскую «Камчатка», на которой вместе с нами плывут питерские судоремонтники. Там он успокоится.

– Ты бы поговорил с ним… помягче.

– О чем говорить с этим жизнерадостным оболтусом!

Настала поздняя осень, секущая лицо холодными дождями. Порт-Артур держался, и это всех бодрило. Престиж Рожественского был укреплен в эти дни присвоением ему чина вице-адмирала. Сентябрь уже был на исходе, корабли по мере готовности переходили из Ревеля в Либаву, где в полном составе собиралась 2-я Тихоокеанская эскадра.

– Мы простимся в Ревеле? – спросил Коковцев жену.

– А можно я поездом поеду за вами в Либаву?..

Либава долго не забывала тех дней! Город был переполнен приезжими: женами, сестрами, невестами и родителями моряков, уходящих на самый край света. Круглосуточно работали рестораны и кондитерские цукерни, офицеры и матросы оставляли в них все до последней копейки. Гога растратился вконец и последние дни скромно провел с родителями.

– Что тебе, мамочка, привезти из Японии? – спросил он.

– Привези целую голову, две руки и две ноги, а больше мне от тебя никаких подарков и не нужно, дорогой мой…

По окнам гостиницы хлестало мокрым снегом; далеко на рейде светились огни эскадры, снежную кутерьму рассекали яркие вспышки сигнальных фонарей Табулевича и Ратьера. Агентура предупреждала, что нападение японских миноносцев, построенных в Англии, не исключено даже в Либаве, а потому корабли, качаясь на резкой волне, окружали свой борта противоминными сетями. Было скучно.

Гога полировал свои ногти с таким тщанием, будто от этого зависела вся его карьера.

– «Сисой Великий» вчера потерял якорь, – говорил он. – Весь день ползал по рейду с «кошками», якоря не нашел, зато подцепили с грунта утопленницу. Откуда она там взялась?.. Я, папа, не понимаю – зачем мы взяли старого «Сисоя»? Новые броненосцы дают по восемнадцать узлов, а этот едва выжмет из машин, дай боже, четырнадцать.

Коковцев с отчаянием в голосе признался сыну:

– Четырнадцать, но даст их наверняка! А вот мы, новейшие… На «Бородино» эксцентрики греются уже на двенадцати, а «Орел»? Он вообще не успел пройти испытаний на мерной миле, и сколько узлов выжмет – никому еще не известно.

– Вас послушать, – сказала Ольга Викторовна, – так лучше бы вы, миленькие, сидели дома и никуда не высовывались…

Гога спросил отца: а что думает Рожественский?

– Не твое дело, – отвечал отец. – А я вот думаю, что в восемь утра «Ослябя» начнет сниматься, и тебе… пора!

– Как? – всем телом напряглась Ольга. – Уже?

– Да, мамочка. Давай простимся…

Он оставил ее в слезах. Коковцев натягивал пальто.

– И ты? – припала к мужу Ольга Викторовна. – Владечка, только сохрани мне сына… умоляю тебя!

Владимир Васильевич погладил ее по голове:

– Фелькерзам с утра поведет старые броненосцы, после него тронется «Аврора» за транспортами, а мы – в полдень. Успокойся: мир наступит раньше, нежели мы будем у Мадагаскара…

Других слов он не нашел (да, кажется, и не искал их).

Было еще темно, когда эскадра пробудилась ради свершения молебна в ознаменование будущей победы. В промозглом воздухе отсыревших отсеков звучало – молитвенно:

– Болярину Зиновию и дружине его здравия и спасения на водах и во всем благого поспешения, на враги же болярина Зиновия и дружины его – победы и а-а-о-о-одоления супостата!

– Репетиция похорон, – шепнул Игнациус Коковцеву.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рассвет был тусклый, цепенящий. Матросы задирали воротники бушлатов, офицеры грели руки в карманах тужурок. Тяжелые броненосцы утюжили своими железными брюхами жидкие рейдовые грунты, их мощные винты взбивали пакостные илы, как вертушки взбивают пышные кремы для торжественных тортов на именины… Жутко! Но всюду – хохочут:

– Никак не отпускает нас Либава, хоть ты тресни!

– А погодка-то – как раз для прогулки на кладбище.

– Да еще пятница сегодня, господа! К несчастью…

Коковцев с небывалой болью вспоминал последние слова Ольги. Наконец на мостик «Суворова» поднялся вице-адмирал. Желая как можно скорее «эшелонировать» эскадру в дорогу, он рассыпал над рейдом выговоры кораблям. Дело простое:

позывные «Осляби», выстрел – выговор,

позывные «Донского», выстрел – выговор,

позывные «Камчатки», выстрел – выговор…

Получив по выговору, корабли медленно растворялись в тусклой мороси непогодья. Прощай, матушка-Россия, вернемся ли? Коковцев начал креститься, к нему подошел Эйлер:

– Не хочу думать, чем это кончится для нас, но для России, надо полагать, все еще только начинается.

– Леня, и без тебя тошно! Хоть сегодня не каркай…

Из гавани, нагоняя броненосец, выскочил либавский буксир под флагом порта. На его корме толпились родственники моряков, и Коковцев издалека расслышал напутствие жены:

– Bon voyage, Владечка! Счастливого пути вам всем…

Коковцев разглядел на буксире Ивону с собачкой.

– Это и есть Жако? – спросил он Эйлера.

– Да. Песик скрасит ее одиночество.

– Возможно, – согласился Коковцев…

…Аргонавты пересекали моря отъявленной лжи, плыли в океанах клеветы. Английские газеты называли русскую эскадру «сворою бешеных собак», достойной потопления еще в водах Европы (к чему они, кажется, и стремились, внезапно объявив мобилизацию своего флота). Некоторые депутаты рейхстага требовали от правительства кайзера: «Не давать русским убийцам ни единого куска угля, ни единого глотка пресной воды – пусть убираются обратно в Кронштадт!» Одна лишь Франция, заинтересованная в союзе с Россией, оставалась неизменно благожелательна. Покинув родные берега 2 октября 1904 года, эскадра Рожественского обогнула Африку и, выдержав шторм небывалой мощности, пересекла меридиан Петербурга в Южном полушарии, а 16 декабря увидела перед собой зеленые берега Мадагаскара… Рожественский задал вопрос:

– Хочу точно знать, где отряд Фелькерзама?

Фелькерзам еще в Танжере подчинил себе корабли с малой осадкой, которые вел Суэцким каналом, а рандеву с ним было заранее обусловлено возле берегов Мадагаскара.

– Ваше превосходительство, – доложил Коковцев флагману, – Токио произвело внушительный нажим на Францию, и французы, при всей их любезности, определяют для нас глухую стоянку в Носси-Бэ, для чего нашей эскадре предстоит удлинить маршрут еще на шестьсот миль…

Адмирала было не узнать. За два с половиной месяца пути он, еще недавно глядевший орлом, превратился в изможденного старика. Перемена была столь разительна, что даже Коковцев, ежедневно с ним общавшийся, поражался его внезапной дряхлости. Впрочем, в таком возрасте нельзя по десять суток не слезать с мостика, лишь урывками задремывая в кресле штурмана. Рожественский уже не говорил – он кричал:

– Так куда же, черт побери, провалился Фелькерзам?

– Фелькерзам ведет свой отряд в Носси-Бэ.

– Хорошо. Пошлите буксир «Русь» до телеграфа в Таматаве, чтобы прояснить обстановку в мире и… в Порт-Артуре.

– Есть! Хоронить умерших прикажете в море?

– Оставьте их в банях… погребем в Носси-Бэ.

Уже зашитые в парусину, мертвецы хранились на полках в корабельных банях. Все помыслы адмирала – о транспорте «Иртыш», который должен доставить на эскадру те злополучные двадцать процентов снарядов сверх штата – для практических стрельб.

– А где «Иртыш»? – рассуждал Рожественский. – Адмиралтейство молчит. Но должны там понять, что без проведения практических стрельб боевая значимость эскадры равносильна нулю… Наконец, что вы едите, Владимир Васильевич?

– Консервы Малышева, – отвечал Коковцев.

– Вот! А матросы судят справедливо, что из ананасов с кокосами щей да каши не сваришь… Мне нужен «Иртыш». Мне нужен Фелькерзам со своим отрядом. Порт-Артур держится. Он обязан устоять до появления моей эскадры. Но даже малую задержку на Мадагаскаре считают стратегически недопустимой и политически вредной для нашего состояния…

А за белой полосой пляжей, окантованных лентами прибоя, стояла плотная стенка тропических джунглей, наполненных райской тишиной и диковинными ароматами. Полураздетые и босые матросы с голодным блеском в глазах глядели на незнакомые кущи чужестранных лесов. Температура в кочегарках броненосцев поднималась до 55° по Цельсию, машинисты, отстояв вахту, выдавливались из люков, как скользкие мокрые черви, и ложились на палубу в обморочном состоянии… Слева – Африка, справа – Индийский океан! Но им было уже не до экзотики.

Флаг-капитан Клапье де Колонг доложил адмиралу:

– Радиостанция французов передала для сведения: японские крейсера недавно шлялись у Мозамбика, искали нас…

Рожественский остался невозмутим. Всю дорогу от Либавы молчавший, как проклятый, флагман лишь у берегов Мадагаскара раскрыл перед штабом ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ задачу его эскадры: деблокировать Порт-Артур и, объединяясь с 1-й Тихоокеанской эскадрой, мощью двух эскадр обрушить на японский флот сокрушающий удар, после чего следовало утвердить свое господство на море . В этом случае, доказывал Рожественский, японская армия будет отрезана от метрополии и сама по себе растает в кровопролитных боях, не имея подвоза припасов и подкреплений.

– Все это вполне пригодный материал для исполнения, но он годен лишь при условии, если Порт-Артур выдержит осаду до нашего прихода, – сказал флагман в конце речи. – Прежде мы подождем, что привезет буксир «Русь» из Таматаве!

Буксир доставил страшную новость: ПОРТ-АРТУР ПАЛ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ситуация разом изменилась: «Если уничтожена Первая эскадра, которая при начале войны была сильнее японской, то вести под удары врага Вторую, слабейшую Первой, – значило доставить японцам лишний случай пожать дешевые лавры успеха, а потому – надо возвращаться, так как идея прорыва во Владивосток основана главным образом на счастье, на удаче, а удача-то как раз была на стороне японцев» – таково было мнение одного из офицеров походного штаба эскадры.

Но слышались и другие голоса:

– Вернуться домой? А с какими глазами? Чтобы родина сочла нас трусами? Нет уж, господа, лучше пропадать…

Эскадра плыла в Носси-Бэ; подле «Суворова» держался «Александр III», команда которого целиком набрана из Гвардейского экипажа с высокою дисциплиной и чистоплотностью (даже непонятно, почему Зиновий Петрович не сделал этот броненосец своим флагманом). На кораблях работали церкви и походные сберкассы, куда матросы вносили свои гроши ради сбережения.

– Пивную бы нам ишо! – говорили. – Да с закусками…

За время перехода вокруг Европы и Африки, в частых угольных бункеровках матросы эскадры износились и оборвались так, что их стыдно было отпускать на берег – на потеху иностранцам. Еще в Либаве Бибишка обещал новую обувь, но так и не дал, теперь экипажи сделались форменными босяками. А каково машинным командам, которые приплясывали на рифленой стали дрожащих площадок, раскаленных, будто противни! Кто бы мог поверить, что на эскадре повадились расплетать старые тросы, из их прядей матросы плели для себя… лапти. Сказать, что голодали – нельзя, но и сыты редко бывали. Адмирал большую часть дня проводил за столом, лично вникая в нужды баталерок, прачечных и камбузов. Рефрижератор «Эсперанс» следовал за эскадрою с запасами мяса. Но у него скисли холодильники, а бочки с солониною в тропической жаре раздуло, словно нарывы, из них текла бурая зловонная жижа. Рожественский распорядился все содержимое холодильников побросать в море, и семьсот тонн гнилого мяса алчно раздергали небрезгливые акулы. Если в роду акул и существует генетическая память, то их потомство, наверное, до сих пор кишмя кишит у берегов Мадагаскара, вспоминая о былой великолепной обжорке – невиданной в океане…

Флагман затребовал у Петербурга разрешения следовать на Дальний Восток никак не позже 1 января. Из-под «шпица» ему отбили категорический приказ: оставаться на Мадагаскаре до прибытия вспомогательных крейсеров, наскоро переделанных из грузовых пароходов. Одновременно Петербург известил Рожественского, что ради усиления 2-й Тихоокеанской эскадры в море уже вышла 3-я Тихоокеанская эскадра под флагом контр-адмирала Небогатова… Рожественский мрачнел все больше.

– Мало мне обузы от пароходов, – говорил он, – так мне еще подсовывают никудышный балласт. Наше положение сейчас могло бы спасти только прибытие сюда всего Черноморского флота! Но разве турки пропустят его через Босфор?

В последние дни 1904 года эскадра Рожественского вошла в ярко-лазурную лагуну Носси-Бэ, где ее ожидали корабли отряда Фелькерзама, который снова перенес флаг с «Сисоя Великого» на полюбившийся ему броненосец «Ослябя». Вместе с флагом на «Ослябю» перенесли и больного Фелькерзама. На кораблях соловьями распелись боцманские серебряные дудки:

– Которые тута хворые, теих с врачами велено адмиралом пущать до берега, штобы попаслись на травке…

Зиновий Петрович решил повидаться с Фелькерзамом, любезно пригласив с собою на «Ослябю» и Коковцева.

– Дмитрий Густавович, – начал он разговор, – Небогатов со своим хламом будет хватать нас за пятки, его антикварное старье лишь помешает нашему прорыву на Владивосток, который и без того потребует от нас немало крови… Это не подкрепление, а лишний камень на шею! Срочное движение вперед – последний шанс. Я снимаю эскадру первого января. Предельный срок. Нельзя ждать… ждать больше нельзя! Все.

– Зиновий, ты уйдешь, а… Небогатов?

– Да кому он нужен здесь? Пошел он к чертовой матери!

Фелькерзам утопал в глубоком кресле салона.

– Крейсерам необходим ремонт. Две недели.

– Димочка, – сказал флагман старший флагману младшему, – мы знаем один другого не первый год. Выслушай меня. Того под Порт-Артуром уже так раскатал свою артиллерию, что снаряды в его пушках болтаются, как нога младенца в валенке взрослого человека. Ему, конечно, потребуется замена орудийных стволов и безусловная чистка засоленных котлов. Мы сейчас форсируем машинами через Индийский океан, не жалея отставших и аварийных – только вперед, на прорыв! Это единственная гарантия хоть какого-либо успеха в нынешней ситуации.

– Зиновий, – отвечал Фелькерзам, – о чем ты хлопочешь? Любое движение эскадры на восток – еще один шаг к гибели. Не о себе же думаю – о других. Не хватит ли авантюр?

– Возвращаться? – спросил Рожественский.

– Да…

Рожественский резко повернулся к флаг-капитану:

– Оставьте нас одних. Можете повидать сына…

Коковцев не видел Гогу после бункеровки в Дакаре.

– В твои годы, – сказал он сыну в каюте, – я проходил этим же путем, но тогда, сознаюсь, жара переносилась легче.

– Есть банка пива. Еще с Дакара. Хочешь, папа?

– Дай. У меня сердце колотится от духоты. Помню, что под брамселями мы давали одиннадцать узлов…

– Ха! А сейчас, в век пара и электричества, эскадра ползет хуже беременной черепахи – пять-семь узлов.

– Скажи спасибо адмиралу, что щадил броненосцы на экономическом режиме хода, иначе мы бы не вылезали из поломок в машинах. Или не знаешь, как Бибишка формировал эскадру, желая поскорее выпихнуть нас из Либавы… Негодяй!

– Он и выпихнул, папа. Но в Ревеле нам поставили оптические прицелы, не обучив с ними работать, а на мостике торчит дальномер Барра и Струда, который дает не дистанцию до цели, а точно показывает цену на дрова… Кто виноват, папа?

Коковцев не успел ответить: раздались свистки вахты от забортного трапа – Рожественский уже садился на катер, но тайну своей беседы с Фелькерзамом он никому не выдал. Однако в нем что-то свихнулось, он сказал Коковцеву:

– Если мало было жертв, согласен жертвовать и далее. Дмитрий Густавович по-своему тоже прав…

Кажется, он запросил Петербург о возвращении эскадры на Балтику. Суровой директивой на этот раз его одернул сам император Николай II, конкретно указавший, что эскадре надобно завладеть «господством на морском театре».

– Теперь хотя бы все ясно. Его величество настоятельно требует соединения с небогатовской эскадрой… Я подожду «Иртыш» с боеприпасами, чтобы провести учебные стрельбы. Если не научились палить на Транзундском рейде, так устроим на потеху мальгашам цирк у берегов Мадагаскара…

Открылся 1905 год; для японцев он был 38-м годом «эпохи Мэйдзи» или 2565 годом с восшествия на престол первого микадо – для нас он стал годом первой русской революции.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Бурные тропические ливни обмывали раскаленные борта броненосцев. По утрам корабельные оркестры начинали день исполнением «Марсельезы» – в честь Франции, приютившей их в своих владениях, а после «Боже, царя храни!» начинали орать боцмана:

– Ходи босиком! Вино наверх! В палубах прибраться!

По вечерам музыканты провожали заходящее солнце грустной мелодией «Коль славен наш господь». Дисциплина ухудшалась. То на одном, то на другом корабле звонко выстреливала пушка, на фок-мачту взлетал гюйс – это слуховое и зрительное восприятие означало: открывается судебное заседание. Но адмирал разумно не утвердил ни одного смертного приговора:

– Зачем казнить людей, идущих на смерть? В этом случае любая конфирмация выглядит комедией. Все равно я обязан исполнить пункт Морского устава, согласно которому при встрече с противником даже висельники выдергиваются из петли, чтобы занять свое место на боевых постах…

После всего, что было пережито в пути, после глумления Европы и губительных кренов до сорока градусов судьба вроде бы решила полакомить аргонавтов, приняв их усталые тела и души в удивительном раю… Носси-Бэ, Носси-Бэ! Глаза не могли вобрать полностью эту красоту первозданного мира – с вулканами, покрытыми цветами ванили, с пальмами, что шумят над морем, с непередаваемо яркою красотою женщин, многие из которых были королевами племен. Врач с крейсера «Аврора» записал в дневнике: «Женщины сложены прекрасно: высокая грудь, стройная талия, походка гордая; золотые украшения – серьги в ушах и в носу, на руках и ногах красавиц масса серебряных браслетов… Костюмы классические: тонкие хламиды самых пестрых цветов, в которые женщины очень искусно драпируются». Но и в этом «раю» люди продолжали умирать от изнурения. Покойников покрывали ветвями пальм и лианами, их забрасывали невиданными на Руси цветами тропиков. Команды выстраивались во фронт, дежурный миноносец с мертвецами на борту спешил вдоль линии кораблей, потом – команда:

– Расходись! Матросам петь песни и веселиться…

Рожественский, явно раздавленный той массой ответственности, которую он сам же и взвалил на себя, старел все больше. Поник, сгорбился, поседел. Но, старея, адмирал начинал звереть, и если раньше для общения с матросами ему хватало сакраментальных слов, взятых из летописи заборов, то теперь он саморучно колотил матросов по зубам. Это факт! Офицеры не уважали его, гордеца, между салоном флагмана и кают-компаниями вырастало зияние пропасти. Офицеры считали за честь бойкотировать указания штаба Рожественского, а матросы, которым сам черт не брат, плохо подчинялись офицерам. Тоже факт! Никакие угрозы ареста уже не действовали.

– Сам посадишь – сам и выпустишь! – с небывалой дерзостью говорили они офицерам. – Чего ты меня пугаешь и сам пугаешься? Ведь нам с тобой едино под одной броняжкою подыхать! Вот кады пузырями забулькаем, тады и потолкуем…

В глубине бухты Носси-Бэ – чистенький, беленький городишко Helleville (человек с полсотни французов, больше тысячей местных жителей). Здесь губернатор и клуб, хороший рынок под куполом, магазины парижской галантереи и парфюмерии, кафе и кабачки, игорные дома, а вокруг города бамбуковые хижины, в которых найдешь радушный приют и уникальную чистоту. Мужчин на улицах не видать – одни женщины, никому ничего не предлагавшие, но никому ни в чем и не отказывающие. Свобода нравов поразительная! Офицеры с утра пораньше бесцельно шлялись в липкой духоте улиц, обедали в «Cafe de Paris»; на их кошельки, раздутые от золота, уже слетелись международные аферисты, а еще больше аферисток, выдававших себя за парижских этуалей. Молоденькие мичмана забавлялись купанием в лагунах среди крокодилов, стонущих от аппетита, или играли в лаун-теннис с дочками местного губернатора. А матросы, если не сидят за пивом по кабачкам, часами волынятся на солнцепеке перед почтой, дабы отправить в далекую Россию сбереженные от выпивки деньжата. Очередь движется нестерпимо медленно, солнце жарит сверху нещадно, снизу тебя подпекает раскаленный песок, слышна брань:

– Чего они тянут кота за это самое? Или сдохли?..

Из иностранных газет офицеры уже знали о событиях в России, но старались скрыть от «низов» правду о революции. Английский наблюдатель Ричард Хоу отметил тогда же: «Даже у многих ревностных офицеров эскадры оказались поколебленными чувства преданности императорской семье. Наиболее радикальные элементы в экипажах организовали ячейки, которые с тех пор поддерживали между собой постоянные контакты… Первый мятеж вспыхнул на борту крейсера „Адмирал Нахимов“!»

В эти дни Гога навестил отца на «Суворове».

– Папа, – сказал он, свободно усаживаясь в кресло-вертушку, – ты слышал, что командир «Урала» кавторанг Истомин указал господам офицерам не осуждать действия правительства, за что лейтенант Кикин и набил ему морду… при всех!

— Кикин по суду лишен эполет и орденов, с исключением из службы навечно. Но Зиновий Петрович заменил этот жестокий приговор четырехмесячным арестом в каюте с приставлением к его дверям часового с карабином… Ну и что?

– А разве бунт на «Адмирале Нахимове» не зеркальное отражение всего того, что происходит в России? На эскадре немало матросов, умеющих читать по-французски, и теперь все команды извещены о том, что царь-батюшка девятого января расстрелял демонстрацию рабочих… вполне ведь мирную, папа!

– Нас это не касается. У нас свои задачи.

– Но скрывать и далее от «низов» новости из России – не значит ли еще больше усугублять недоверие матросов к нам, офицерам? Ты разве не можешь подсказать адмиралу, чтобы не делал из революции тайн мадридского двора?

– Зиновий Петрович занят более важными делами. Я не стану отвлекать его всякою газетной ерундой.

– Не ошибаешься ли ты, папа, в своем небрежении к революции? Ведь случись она, и российский флот великолепно исполнит хором не только «Марсельезу», но для всех тугоухих он способен пропеть и кровавую «Карманьолу»!

На грот-стеньге «Суворова» трепещет флаг адмирала. Оркестры в какой уже раз репетируют «Марш Рожественского»:

Эс-кадра! Эс-кадра!

Выходим мы на смертный бой…

– Слышишь? – спросил Коковцев сына. – Вот это и есть главная тема наших хористов… Давай поговорим о другом. Меня возмущает твое поведение. Мне неприятно, что ты завел шуры-муры с мальгашской королевой племени Самарива, и я не понимаю, какие у тебя могут быть с ней отношения?

– Только королевские… – отвечал Гога.

– Нахал! Знаешь ли, сколько у Самарива мужей?

– Тринадцать, папочка.

– Так чего ты лезешь туда, дурак?

– Но Самарива любит четырнадцатого – меня…

Коковцев щелкнул крышкою именных часов, украшенных по золоту вязью: «Лейтенанту В.В. Коковцеву за отличные стрельбы в Высочайшем присутствии Их…» и так далее.

– Уже шестой! Убирайся вон на свою «Ослябю»…

В шесть часов вечера всем быть на кораблях – таков приказ адмирала. Вот и валят с берега шумливыми толпами, на катерах и шлюпках, под парусами на туземных катамаранах, обязательно с зеленью или со зверьем… Очевидно, человек так уж устроен, что, даже идя на верную гибель, он продолжает любить все живое. На палубу крейсера «Аврора» (тогда, еще нелегендарного!) втаскивают строптивого крокодила, потом, держа его за лапы и разъятые челюсти, торжественно окунают в офицерскую ванну. На «Ослябе» приручили лемура: с салфеткою на шее он сидел на диване кают-компании, поедая из банки сардины – его любимое блюдо. Офицеры заводили в каютах хамелеонов, которые гневно раздувались, меняя окраску. На «Изумруде» милый барашек терся о ноги вахтенных, нежно блея о вкусной травке. На «Грозном» держали под роялем ядовитую кобру. И только на броненосном крейсере «Дмитрий Донской» никакого зверья заводить не стали. А на все попреки в жадности крейсерская братва отвечала:

– Да на кой хрен сдались нам энти облизьяны да хады ползучие, ежели мы от клопов и тараканов не знаем, как избавиться… Пожрать не дают, паскуды, сами в рот залезают!

Очевидец писал: «Экое горе, и спать-то страшно: из одного угла крокодил ползет, в другом удав свернулся калачиком, встанешь с койки – и со всех ног летишь носом в палубу, споткнувшись о громадную черепаху, жующую край твоего одеяла… там хрюкают во мраке лемуры, здесь хамелеоны шипят на тебя. Господи, и куда ж это мы заехали?»

Да, заехали они очень далеко – прямо в рай!

А по соседству с раем находится и ад…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Япония вдруг перестала засыпать Францию протестами по поводу задержки русской эскадры возле берегов Мадагаскара. Сначала этому радовались, потом стали подозревать:

– С чего бы это? Наверное, задержка выгодна Того, который имеет время, чтобы обновить изношенную артиллерию…

Рассуждавшие так были недалеки от истины, но сама истина оказалась потом более ужасна. Рожественский надеялся, что после падения Порт-Артура эскадру отзовут обратно. В этом случае он остался бы в истории России как превосходный флотоводец, отвернувший от битвы по приказу свыше. Но царь энергично толкал его далее на восток, а Рожественский не видел выхода из того тупика, в который не сам ли он и загнал себя ради успешной карьеры? Жене своей он писал искренно: «Ума не приложу, как выкрутиться… всякая задержка здесь гибельна, дает японцам делать широкие приготовления. А мы попадем в период ураганов, которые могут истребить половину эскадры безо всякого участия японцев… Несчастный флот!»

Коковцев за время стоянки в Носси-Бэ редко встречался даже с Эйлером: владения трюмного инженера располагались в катакомбах днища, а ему, флаг-капитану, приходилось порхать по трапам между салоном адмирала и мостиками броненосца. Эйлер задыхался в каюте – в исподнем, босой.

– Вовочка, когда же будет обувь, а?

Над его койкою – фотография Ивоны, жмурившей глаза. Коковцев ответил, что «Иртыш» уже осточертело ждать:

– Там обувь и провизия. Но главное – боеприпасы.

– Выпить хочешь?

– В такую-то жарищу? Свалимся.

– Нам ли сейчас думать о драгоценном здоровье… Вот и закуска – бананчик. Французские колонизаторы сплошь меркантильная сволочь: за один ананас, который и свинья жрать не станет, готовы спустить с тебя последние штаны [10] …

Далее он заговорил об угле. Эскадра платила за него от 90 до 110 шиллингов за тонну. Это значило, что пуд угля обходился русской казне от 67 до 82 копеек.

– Дороже, чем за пуд ржи! – подсчитал Леня Эйлер. – Но при этом мы получаем не бездымный кардиф, необходимый для боя, а китайские и австралийские угли, которые засоряют топки котлов и дают такие облака черного дыма, что сразу же нас размаскировывают… Того увидит нас издалека!

Коковцева беспокоило сейчас совсем другое:

– Фелькерзам уже не встает, а Рожественский, добредая до гальюна, волочит левую ногу, словно паралитик…

В ответ Леня протянул ему телеграмму агентства «Гавас»: «Японцы взяли 50 000 пленных, Мукден пал, Владивосток под угрозой японского нападения, Рожественский умер».

– А мы идем во Владивосток? В лаптях из ворса канатов и с комками пакли в зубах? Если идем, то – когда?

– Пойми, нас задерживает приход «Иртыша»…

«Иртыш» не являлся, и Рожественский на свой страх и риск решил все-таки провести учебные стрельбы, регламентировав расход снарядов не более двадцати процентов от общего запаса в погребах. С мостика «Суворова» штабисты свысока поглядывали на корабли. Но именно эти корабли, имевшие сплаванные экипажи с большим опытом, показали прекрасное маневрирование и четкую организацию стрельбы. Особенно отличились броненосец «Ослябя» и крейсер «Аврора», которые с первых залпов разнесли все целевые щиты. Зато новейшие броненосцы – это главная-то мощь эскадры! – выбивались из строя, а стреляли негодно.

Сразу после стрельб Рожественский слег в постель; поговаривали, что он заболел, огорченный приказом царя объединиться с эскадрою Небогатова, и уже якобы запросил отставку по болезни… Ежедневно работали водолазы, сбивая с килей броненосцев ракушку, стараясь оборвать с бортов водоросли, и Коковцев доложил, что узла полтора от этого выиграем.

– Один бес! – мрачно отвечал ему Рожественский. – Ставь нас хоть на докование. Того будет иметь в запасе три узла…

Наконец-то появился в Носси-Бэ долгожданный «Иртыш». Транспорт доставил «босякам» двенадцать тысяч пар сапог, но зато не привез главного – боезапаса для битвы с японской эскадрой! Выяснилось, что «шпиц» премудро рассудил отправить снаряды по рельсам… во Владивосток. Это известие могло свести с ума: ведь до Владивостока предстояло еще прорываться – с боем! Капитан «Иртыша» только разводил руками:

– У меня полные трюмы капусты и солонины…

«Огромный процент бочонков капусты и солонины, – сообщал очевидец, – при вскрытии давали мощные взрывы, сопровождавшиеся обильным извержением зловонных газов, и содержимое их приходилось поспешно бросать за борт». Рожественский, не вставая с постели, собрал у себя совещание флагманов.

– Преступление! – выразился адмирал. – Мы не собирались учиться стрелять во Владивостоке, боезапас нужен был нам здесь, ради прорыва именно во Владивосток… Проведя же практические стрельбы, мы еще до боя (!) потеряли два снаряда из десяти имевшихся. Дополнение погребов не получено. Одна капуста и вонища! Готовьтесь к угольной бункеровке…

Он попросил Коковцева остаться с ним наедине:

– Вчера мичман Георгий Коковцев с «Осляби» оскорбил лично меня. После вечерних склянок брандвахта задержала катер, на котором ваш сын навещал медсестру Обольянинову на госпитальном судне «Орел». Посаженный мною под арест, он бравировал дерзостью. С мадам Обольяниновой проще: я отправлю ее в Россию с письмом к мужу, дабы он осудил ее недостойное поведение… А как быть с вашим сыном?

Коковцев живо представил свой позор, если его любимый сын будет списан с эскадры. Мало того, Обольянинова наверняка уедет в компании с Гогой, и что они там еще накуролесят по дороге – потом сами жалеть будут! Он просил позволения разобраться с сыном келейно – без свидетелей.

Без свидетелей он надавал Гоге хлестких пощечин:

– Из-за тебя, негодяй, должна пострадать замужняя дама, которую выкидывают с эскадры, как последнюю шлюху из пивной. Сначала ты напаскудничал с Глашей, теперь опорочил честь замужней женщины… столбовой дворянки!

Гога у раковины ополоснул горевшее лицо забортной водой. Резким жестом он сорвал с вешалки полотенце:

– Глашу ты помянул некстати! Если уж кто и виноват перед ней, так это ты… и мама! Я ведь молчал, когда пришел из Джибути. Но догадывался, что вы, благородные родители, попросту выгнали ее из дома… именно как шлюху из пивной!

– Мы не выгоняли. Но, возможно, она и заслуживала того. А ты связался с бабой, силуэт которой способен закрыть горизонт на шестнадцать румбов… Что отвечу я адмиралу?

Гога зашвырнул полотенце в угол:

– Скажи, что мичман Коковцев плевать на него хотел! Прощай, папа… больше я видеть тебя не желаю!

– Я тоже!

Коковцев снова предстал перед Рожественским:

– Мой непутевый сын просит вашего снисхождения. Осмелюсь обратить внимание на то, что, командуя носовой башней броненосца «Ослябя», мичман Коковцев стрелял отлично.

– Хорошо. Я его прощаю, – ответил флагман…

Снова бункеровка. Люди на эскадре почуяли, что решение адмиралом принято, и работали с удвоенной лихостью, не боясь вывихов, переломов, ранений и смертей, всегда неизбежных при угольных погрузках. Даже корабельные обер-офицеры, уподобясь матросам, не гнушались подставлять свои спины под мешки с брикетным углем. В отсеках было не повернуться. Уголь лежал всюду, даже в узких проходах между каютами, он вытеснил людей из кубриков, заставив команды спать под открытым небом, уголь покрывал батарейные палубы, уголь хрустел в каше, от угля люди чесались по ночам, как шелудивые собаки. Рожественский указал бункероваться намного выше предельной нормы, отчего корабли осели намного ниже ватерлиний. Эйлер сказал Коковцеву, что океан не прощает таких перегрузок, метацентры кораблей критически изменились:

– При волнении это грозит кое-кому «опрокидонтом».

– Не первый раз, Леня! Пока обошлось.

3 марта Коковцев был разбужен звонками. Он поспешил в салон адмирала с вопросом – неужели Небогатов на подходе?

– Мне он не нужен, – отвечал Рожественский, волоча ногу по коврам. – Напротив, мы… удираем от Небогатова! Если он сыщет мою эскадру в океане, приму. Не найдет – не надо.

Тронулись! Два французских эсминца провожали эскадру, наигрывая оркестрами «Марсельезу», потом отстали, засыпанные искрами шлака, вылетавшего из труб броненосцев. Миновав рифы и узости, эскадра обогнула Мадагаскар с норда – впереди распахнулся океан. Армада двигалась в двух кильватерных колоннах. К вечеру на палубах зажгли пиронафтовые фонари, в синеющих сумерках возникло видение плывущего города. С мостиков казалось, будто в океане кто-то осветил великолепный проспект, и сигнальщики удивлялись даже:

– Светло, как на Невском! Только Марусек не видать…

Опустилась удушливая неспокойная ночь. Южные созвездия смотрели на аргонавтов чужими азиатскими глазами.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рожественский никого из подчиненных в свой внутренний мир не допускал; Коковцеву было лишь известно, что он счастливо женат, у него одна дочь, он имеет, как генерал-адъютант, казенную квартиру в Петербурге и пожизненную пенсию в шестьсот тридцать рублей, полученную за подвиги в войне за освобождение Болгарии… В одну из лунных ночей, посреди Индийского океана, в трепетном мигании созвездий, Зиновий Петрович разнежился в удобном лонгшезе и тихонько, чтобы не слышали сигнальщики, вдруг заговорил о своей молодости.

– Помню, я был лейтенантом, в Одессе у меня завелся хороший приятель, преподававший словесность в частной гимназии полковника Хотовицкого. Я в ту пору командовал миноносцем. Мы с этим учителем, веселые и молодые, иногда брали корзину с вином и фруктами, до утра уходили далеко в море. Это были волшебные ночи… – Он замолк, а Коковцев тактично ему не мешал. – Я забыл вас предупредить, – сказал адмирал, – что моего приятеля звали Андреем Ивановичем Желябовым! Для меня дружба с этим человеком прошла, к счастью, без ущерба для карьеры. Но иногда я с душевным содроганием думаю – ах, судьба! Какие странные зигзаги выписывает она порою… Один из нас повис в петле, как государственный преступник, а другой ведет эскадру в Индийском океане, как доверенная особа из свиты его императорского величества…

Коковцев, выждав деликатную паузу, спросил адмирала – каким проливом пойдет эскадра? Начинался восход солнца, и его лучи предательски высветили помаду, втертую в морщины розового лица флотоводца. Он ответил с пожиманием плеч:

– Каким проливом? Я и сам пока что не знаю…

«В самом деле, – думал Коковцев, – куда он тащит нас?» Об этом рассуждали и офицеры в кают-компаниях:

– Английский адмирал Фримэнтль сделал в печати заявление, что, будь он на месте Рожественского, он бы повел эскадру вокруг Австралии, огибая ее с южной стороны.

– Чепуха! Мы развалимся по дороге, как старые телеги. Лучше следовать через Зондский пролив между Явой и Суматрой.

– Простите, коллега, но Япония заранее послала Голландии энергичный протест, чтобы мы не входили в ее воды.

– Тогда остается пролив Малаккский?

– О нем и думать нельзя: у Сингапура нас не пропустят англичане, Того уже сторожит нашу эскадру в проливах.

– А не вернуться ли нам в Либаву? Ха-ха-ха…

За двадцать три дня пути было пять бункеровок в открытом океане, экипажи проделали эту каторжную работу без ропота, почти вдохновенно. Вдали от берегов, где не надо бояться шпионов, Рожественский вдруг объявил, что эскадра пойдет Малаккским проливом – под самым носом англичан. При вхождении в пролив корабли, маскируясь от наблюдения, осветились синими огнями. Слева тянуло ароматами Азии, справа темнели берега Суматры с запахами пряностей. Случайный пароход, ослепленный прожектором с крейсера «Жемчуг», быстро юркнул в ночную темень, словно испуганная ящерица в тень. На мостике «Суворова» разом заговорили сигнальщики:

– Во, зараза паршивая! Завтра же растрезвонит по всему свету, что мы ползем мимо Сингапура.

– А где же Того, братцы? Неужто задрых в Сасебо?

Сингапур эскадра проходила в торжественном молчании средь бела дня – назло англичанам! Город просверкал им издали, весь в зелени, словно курорт, но два британских крейсера, отлично видимые с моря, уже подымливали из труб, готовые сорваться по следам русской армады.

– Сейчас они Того разбудят, – решил Игнациус.

Рожественский высился на мостике своего флагмана, выделяясь среди людей могучей осанкой и надменным взором громовержца. Что думалось ему сейчас?

– К повороту! – скомандовал он…

Форштевни броненосцев раздвинули перед собой волны уже не Индийского, а Тихого океана. Южно-Китайское море нехотя выстилалось под тяжкими килями. Коки нещадно резали на палубах кур и потрошили свиней, взятых на Мадагаскаре, корабельные рефрижераторы напичкали мясом – подкормиться для боя. До этого капусту заменяли корнями маниока, вместо гречки варили рис, а макароны, по мнению флаг-интенданта, способны заменить кашу… Возле пушек, расставив ноги пошире, качались вахтенные комендоры, полусонные офицеры с надувными резиновыми подушками бродили по палубам и мостикам, отыскивая местечко, где бы можно было прикорнуть на ветерке, вне каютной духоты. Утром Рожественский собрал в салоне совещание.

– Первый номер в рулетку нами выигран, – сказал адмирал. – Мы избежали встречи с Того в Малаккском проливе, но мы не можем избежать встречи с эскадрою Небогатова…

Коковцев высказал то, что мучило его эти дни:

– Небогатов не навязывается нам в гости – он идет с нами в сражение, и лишать его этого удовольствия не следует… Хотя бы ради его полного боевого комплекта в погребах!

– Я не враг Небогатову, – пояснил Рожественский, – но я не выношу те археологические ископаемые, которые он тащит, запакостив полмира дымом доисторического происхождения. Какая нам польза от его броненосцев береговой обороны?

Игнациус, человек желчный, сказал что думал – резко:

– Россия увлечена революцией, и если мы собрались говорить откровенно, то следует от фантастики наших решений перейти к деловым разговорам о заключении мира с японцами.

– Не ради мира я вел эскадру, – сказал Рожественский.

– А я не имел в виду ваше превосходительство, – язвительно отвечал Игнациус. – Но в Зимнем дворце должны бы и почесаться, пока нам, как говорят матросы, не сделали «крантик»…

В утренней дымке пронесло мимо силуэт четырехтрубного английского крейсера. Не успели опомниться от неожиданности, как вдали, словно мазнули по горизонту акварельной кисточкой, показался второй британский крейсер.

– «Жемчугу» – на пересечку! – приказал флагман.

Англичане подняли издевательский сигнал: «Не различаю вашего флага. Прошу разрешения не салютовать». Все они различали через оптику, но салютовать не хотели. Это было международное оскорбление, презентованное ими лично адмиралу Рожественскому. Но крейсер исчез, а русскую эскадру вдруг начал огибать по кругу третий британский крейсер.

– Воронье… уже слетаются на наши кости!

Это ругались матросы. Игнациус опустил бинокль:

– Броненосный «Крэсси» – ходок отличный!

Радиотелеграфисты улавливали из эфира внятную работу британских станций, и ни у кого на эскадре не возникло сомнений, что эти радиоимпульсы сейчас перехватывали японцы на аппаратах германской фирмы «Телефункен». Рожественский спокойным тоном просил Филипповского приготовить карты:

– От Гонконга до Владивостока! А вы, – обратился он к Коковцеву, – запросите все корабли эскадры, чтобы по точному обмеру бункеров доложили о количестве остатков угля…

К вечеру на «Ослябе» приспустили до середины кормовой флаг, на мачту взлетел крест флага молитвенного: по своду «хер» означал, что на борту броненосца появился покойник.

– Уж не Фелькерзам ли отдал концы? – обеспокоился адмирал. – Ну-ка, дайте семафор на «Ослябю»: КТО УМЕР. ВОПРОС.

«Ослябя» дал ответ: «Лейтенант Гедеонов. Разрыв сердца». Рожественский отозвал Коковцева подальше от матросов:

– Смотайтесь катером до «Осляби», договоритесь с командиром Бэром, чтобы в случае смерти Фелькерзама спрятал его труп подальше и никому не объявлял о смерти моего младшего флагмана, пусть Бэр даст мне условный сигнал.

– Какой? – спросил Коковцев.

– Допустим, так: СЛОМАЛАСЬ ШЛЮПБАЛКА…

Корабельные сны – не береговые: усталый мозг продолжает фиксировать сипение пара в магистралях, чмоканье питательных донок, беготню по трапам, звонки с вахты и тяжкие удары железных дверей и люков. Коковцев проснулся от грохота цепей, убегавших в глубину моря за якорями. Эскадра вошла в бухту Камранг, расположенную к северу от Сайгона; слева зеленела земля Аннама (Вьетнама), колонизированного Францией.

– Владимир Васильевич, – повелел Рожественский, – вы ведь кавалер ордена Legion d’honneur, вам и предстоит переговорить с французским адмиралом Жонкьером…

Жонкьер, милейший человек, сообщил Коковцеву, что за неделю до прихода эскадры японские крейсера Того обрыскали побережья Тонкина, Аннама, Камбоджи и Сиама, беззастенчиво заглядывая в каждую «дырку» этих захолустий. Он сказал:

– Кажется, японцы сторожили вас в Зондском проливе. А может, на Того повлияло мнение британских авторитетов, что вы потащитесь вокруг Австралии, дабы затем выйти на Каролинские острова, захваченные германцами… Я не понимаю, – удивлялся француз, – зачем России иметь такой флот, если он до сей поры не владеет базами на океанских коммуникациях! Впрочем, – добавил Жонкьер, – вы наши союзники, и я, верный союзному долгу, буду закрывать глаза на ваше пребывание в водах Аннама до поры, пока не поднимется шум о нарушении Францией условий декларации о нейтралитете.

– Благодарю и за это, – откланялся ему Коковцев.

В лесу разгуливали павлины, противно кричащие, а по ночам, пугая вахтенных, с берега грозно порыкивали тигры, зловеще стонали какие-то диковинные существа. Матросы говорили:

– Ой, до чего ж здесь паршиво! Хоть бы пришел Небогатов, и делу конец. Хуже того, что есть, уже не будет…

Зачем, спрашивается, Того иметь разведку, если разведку вела за японцев Англия, уже давно опутавшая Дальний Восток кабелями своих телеграфов. От наблюдения англичан не укрылась якорная стоянка русской эскадры; Токио, известясь о ней, выразил Парижу протест, который поддержали, конечно же, и политики Уайтхолла; французские колониальные власти, боясь политических осложнений, просили Жонкьера повлиять на Рожественского, и русская эскадра перебазировалась севернее – в почти безлюдную бухту Ван-Фонг. Отсюда флагман гонял дежурные миноносцы до Сайгона, бомбардируя Петербург телеграммами о болезни Фелькерзама и своем недомогании; адмирал явно указывал правительству, что операция прорыва во Владивосток отныне никаких шансов на успех не имеет! Петербург отвечал в прежнем духе, что снаряды ожидают эскадру во Владивостоке, но прежде следует дождаться эскадры Небогатова…

Жонкьер, появясь на палубе «Суворова», заявил:

– Париж требует от меня, чтобы я настоятельно просил вашу эскадру покинуть территориальные воды Франции…

Весь апрель бездомные аргонавты блуждали возле берегов Аннама, корабли едва шевелили воду винтами, давая от силы два-три узла, чтобы не транжирить напрасно запасов топлива. В ночных тренировках по отражению минных атак прожекторы, ощупывая горизонт, иногда освещали края облаков, отчего присутствие эскадры становилось видимо на 60 миль. На рассвете 25 апреля флагман назначил в разведку крейсера «Рион», «Жемчуг» и «Изумруд», чтобы они отыскали следы пребывания Того или же обнаружили контакт с кораблями 3-й Тихоокеанской эскадры. Крейсера вернулись через день, не отыскав ни Того, ни Небогатова: океан был пустынен, как заброшенное кладбище. Вдруг, не веря своим ушам, радиотелеграфисты выудили из какофонии эфира переговоры «Вл. Мономаха» с «Николаем I», флагманским броненосцем Небогатова. Рожественский сразу же развернул свою эскадру на эти далекие голоса. Из белесой мглы океана сначала выступили пышные букеты дымов, затем мачты и трубы старых броненосцев России… Наблюдая за их появлением, Зиновий Петрович заметил с некоторым сарказмом:

– Того не верил, что я рискну пройти мимо Сингапура, и его крейсера напрасно дежурили в воротах Зондского пролива. Допустив промах, он не мог поверить, что Небогатов совершит глупость, вторично после нас пройдя Малаккским проливом. Того, как верный Трезор, опять-таки напрасно караулил его возле берегов голландской Батавии… Забавный анекдот, господа! Но кому придет в голову посылать загнанную клячу на ипподромные скачки после того, как она протащила громадный воз по ухабистой и длинной дороге?

При встрече эскадр было так много слез радости и криков восторга, будто на перепутье жизни после долгой разлуки встретились счастливые родственники. В пять часов дня Небогатов поднялся по трапу на борт «Суворова». В свите флаг-капитанов Коковцев сопровождал флотоводцев до салона в корме, невольно прислушиваясь к их милой перебранке.

– Вы очень быстро нагоняли меня, – заметил Рожественский. – Я никак не ожидал такой прыти от вашей рухляди.

Небогатов, упитанный и флегматичный, сказал:

– А вы убегали от меня с такой поспешностью, словно не хотели долгов отдавать. Между прочим, я ведь не знал, где ваша эскадра. Сам господь бог натолкнул меня на вас!

– Николай Иваныч, этот бог называется радио…

Вечером в раздевалке офицерской бани Коковцев разговорился с Эйлером, который с усмешкой спросил его:

– Столковались ли наши Монтекки и Капулетти?

– Небогатов выбрался от Зиновия, словно морж из проруби, фыркая оглушительно… Зиновий погнал его дальше в Дайотт, где он сначала забункеруется, а потом можно и в путь!

– Я слышал, Фелькерзам плох, правда? – Эйлер сидел на скамье, царапая пальцами жирную грудь, покрытую расчесами и тропической сыпью. – А если Фелькерзам вылетит в мешке за борт, кто заменит тогда убитого Рожественского?

– Не спеши, Леня! Его еще не убили…

Офицеры с нескрываемым отвращением садились к столам кают-компаний. Участник этих трапез писал: «Даже в штабе командующего не могли похвалиться питанием. Иной раз погрустишь у вечного супа с солониной, а уж потом утоляешь голод чаем с сухарями. Правда, у нас были консервы в жестянках, но мы держали их про черный день, так как на объедение во Владивостоке тоже не рассчитывали». Офицеры обнищали, обносились, запаршивели, как и матросы: сыпь, фурункулы, конъюнктивиты, чесотка… 28 апреля Рожественский издал приказ, который лучше бы и не читать! Поздравляя своих аргонавтов с прибытием эскадры Небогатова, он каждый абзац начинял страхом, как патрон начиняют порохом: «У японцев больше быстроходных судов… У японцев гораздо больше миноносцев… У японцев важные преимущества перед нами… Японцы беспредельно преданы родине и престолу… Но и мы клялись перед Престолом Всевышнего…» И вот настал великий день – 1 мая 1905 года!

Россия отмечала его маевками, улицы городов заполнили демонстрации революционной молодежи, на окраинах ревели бастующие заводы, рабочие дрались с полицией, лилась кровь. Именно в этот день Рожественский указал служить молебны с водосвятием, а священника броненосца «Суворов» одернул:

– Только покороче, отец Палладий: пора в море!

Корабли потянулись в океан – навстречу судьбе… Первый день уверенно держались на девяти узлах, без аварий и простоев, транспорта тащили на буксирах миноносцы. Македонский, старший офицер «Суворова», все удивлялся:

– Не понимаю, почему Зиновий так и не созвал Военного совета? Даже младшие флагманы не извещены о тактике предстоящего боя… Господа, но ведь в наше подлое время даже в ресторан с дамою никто не ходит без четкого плана!

– Прем на рожон, – сказал лейтенант Кржижановский.

– Игра в рулетку, – добавил лейтенант Богданов.

– А не продуемся? – спросил мичман Кульнев.

Игнациусу пришлось вмешаться, чтобы разговор не перешел в открытую брань по адресу адмирала.

К ночи транспорта прятались внутри боевой эскадры. Корабли тушили топовые огни на мачтах, а гака-бортные фонари светили вполнакала. Переговоры велись клотиковыми «мигалками». И… только госпитальные суда, с женщинами в командах, оснащенные лечебными кабинетами, операционными и аптеками, несли на себе полное освещение, отчего над ними постоянно струилось до небес волшебное мирное зарево. В небе ярко отпечатался Южный Крест, но уже завиднелась Большая Медведица, напомнив аргонавтам о милой покинутой родине. От Петербурга до этих мест было уже семь часов разницы во времени по долготе, и Коковцев ночью живо представил себе квартиру на Кронверкском проспекте, залитую утренней свежестью. Ольга в халате, чуть позевывая, делает бутерброд для Игоря; Никита, наверное, марширует из дортуаров Морского корпуса в классы по навигации, а старший сын…

Старший здесь, он рядом, по траверзу – на «Ослябе»!

Владимир Васильевич отогнул толстое стекло иллюминатора: вровень с «Суворовым», загребая носом толщу океанской воды, нерушимо и тяжко проплывал «Ослябя». В эту первомайскую ночь Коковцев вложил в бумажник фотографии – жены, уже недоступной, и своих детей, очень далеких от него.

Руку привычно облегал браслет: ПОГИБАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ.

…Я, читатель, не рискну описывать всю полноту сражения при Цусиме, желая показать лишь те события, которые могли войти в кругозор одного героя, и этим я, конечно, сужаю подлинную картину боя до самых критических крайностей.

Но странно было слышать беседы семейных кондукторов:

– А яйца-то на базаре во Владивостоке почем ныне?

– Пишут, что за штуку дерут по семьдесят копеек.

– А, скажем, вот масло… оно?

– Фунт по два рубля, хоть ты тресни.

– Совсем уж тамо сдурели!

Эти ребята в офицерских тужурках, с кокардами офицеров на фуражках, кажется, еще надеялись побывать на базаре.

А почему бы и нет? Может, еще и побывают…

Корабельные сберкассы уже вывесили объявления: вкладчиков просим забрать свои деньги! Было достаточно жарко…

В кают-компании «Суворова» офицеры пили пиво, купленное в Ван-Фонге с немецкого углевоза. Эскадра миновала Формозу и Филиппины, но еще никто не знал, куда поведет ее Рожественский. Это неведение главного вопроса порождало массу соображений. Среди офицеров имелось немало сторонников обойти Японию даже с восточной ее стороны.

– На худой конец, – утверждали они, – можно обогнуть и Сахалин, чтобы прошмыгнуть Татарским проливом.

– Ого! Это через Федькин огород до Парижу?..

Коковцеву эти разговоры прискучили:

– У нас есть наикратчайший путь: мимо Цусимы…

Днем флагман пытался эволюционировать, но корабли Небогатова маневрировали скверно, и Зиновий Петрович, не стыдясь сигнальщиков, обложил коллегу матом, сказав: «Из всех видов построений Николаю Иванычу удается пока один – куча…» Под утро 6 мая английский пароход «Ольдгамия» выскочил на свет огней эскадры, приняв ее за японскую. Абордажная партия с крейсера «Олег» донесла адмиралу, что «Ольдгамия» имеет груз керосина в жестянках, а в бункерах угля едва хватит до Нагасаки…

Рожественский послал запрос:

– Почему они шли без огней? Проверьте коносамент.

Коносамент (договор о грузе) англичане пытались спрятать, а вели себя вызывающе и нагло, угрожая русским кулаками. На мостик, вытирая руки ветошью, вдруг поднялся Леон Эгбертович.

– Ваше превосходительство, – обратился он к адмиралу, – имею честь быть вашим трюмным инженером… Если у англичан в угольных ямах пусто, то керосин наводит меня на некоторые подозрения. Керосин в жестянках всегда занимает очень много места, но удельный вес его незначителен. А вы посмотрите, что «эвэл» (ватерлиния) «Ольдгамии» ушла глубоко в море.

– Верно! – удивился Рожественский. – «Эвэл» не видать.

– Значит, – объяснил Эйлер, – под банками с безобидным керосином сокрыто нечто тяжелое… Очень тяжелое!

Рожественский указал прокопать шахту среди жестянок, чтобы добраться до серьезной начинки. Один немец кочегар, служивший у англичан по найму, подсказал русским, что в носовых трюмах «Ольдгамии» артиллерия для японцев, а в корме спрятаны снаряды для пушек. Рожественский велел арестовать судно, как явно контрабандное, нарушающее законы нейтралитета:

– Довольно чикаться с этой заносчивой сволочью!

Англичан, особо буйных, переправили на госпитальное судно «Орел», а пароход – вокруг Японии – отправили в Россию. 9 мая адмирал хотел догрузить корабли углем с транспортов, заранее оповестив эскадру, что это будет последний аврал перед боем. Но появилась резкая качка, бункеровку пришлось отложить. Справа по борту сгинули острова Лиу-Киу, южнее остались острова Миу-Киу, принадлежащие микадо. Сыпал неприятный дождик, градусники показывали понижение температуры. После пребывания в тропиках люди недомогали: кашель, ломота в костях, судороги в мышцах. Флагманский врач настаивал, чтобы команды облачились в сукно.

Ночью горизонт пронзало росчерками молний. Термометры показывали +12°. Санитары таскали по кубрикам касторку, хинин и аспирин для заболевших матросов. Классные специалисты и кондукторы (кроме машинистов и кочегаров) прицепили к поясам заряженные револьверы. Утром врачи гнали офицеров обратно по каютам, чтобы надели походные тужурки:

– Как вы можете в кителях? Вы же простудитесь…

Туманное утро началось последней погрузкой. Корабли снова поглощали в разъятые прорвы бункеров свой хлеб насущный – уголь! Главная забота: как бы распихать по отсекам побольше угля, а где выспаться – об этом старались не думать. Дождь прибил на палубах черную пылищу, она тут же превратилась в черную слякоть. Как ни стремились к чистоте люди, все равно разнесли ногами эту грязь по жилым отсекам, по рубкам, трапам и мостикам. Усталые матросы отмахивались:

– Вот сделают нам «крантик» – и враз отмоемся…

Перегруженные углем броненосцы настолько осели в море своими брюхами, что издали напоминали плоские мониторы. Эйлер стал доказывать Коковцеву, что, утопив броневые пояса, корабли оставили снаружи только незащищенные борта:

– Теперь это даже не броненосцы, а корабли какой-то еще никому не ведомой в мире классификации.

– Сам вижу, – огрызнулся Коковцев. – Но ты пойми, что надо выдержать бой и добраться до Владивостока… Без угля?

Их перебранку пресек истошный вопль сигнальщика:

– «Ослябя» несет сигнал: СЛОМАЛАСЬ ШЛЮПБАЛКА.

Итак, Фелькерзама не стало! Но флаг покойника продолжало трепать ветром на грот-стеньге «Осляби» – Рожественский пожелал скрыть эту смерть от экипажей. Втиснутый в заранее сколоченный гроб, младший флагман лежал под судовыми иконами, отныне его уже ничего не касалось… 12 мая адмирал отпустил в Шанхай все транспорта, оставив при эскадре лишь три быстроходных. На боевых кораблях сооружали «траверзы» – ограждения от осколков, составленные из противоминных сетей, из баррикад матросских коек, свернутых в крепкие плотные коконы. Среди офицеров не утихали споры, какой путь изберет Рожественский мимо Цусимы – пойдет ли он вдоль берегов Кореи проливом Броутона или проливом Корейским у берегов японских?

Флагманский штурман Филипповский сказал:

– Идти надо у берегов Японии, ибо пролив Броутона сужается к северу, а Корейский расширяется, как воронка, что и выгодно нам для развертывания к бою…

Тактически это верно! Броненосцы погружались в океан по самые носовые башни, потом их форштевни возносило кверху, с покатых палуб схлестывало за борт пенные каскады свирепой воды. Качало. В офицерском буфете звенела посуда. Все удивлялись, что эскадра едва тащилась на пяти узлах. Чем это вызвано? Нашлись умники, подсчитавшие, что на такой скорости соприкосновение с Того у Цусимы возможно 13 мая – в пятницу. Старший офицер Македонский высмеял эти расчеты:

– Господа, внесите поправку на суеверие! Зиновий Петрович нарочно убавил обороты винтов, замедлив эскадренный ход, чтобы ни в коем случае не сражаться тринадцатого числа, да еще в пятницу… Встреча с эскадрою Того может произойти не раньше четырнадцатого мая – в субботу!

Рожественский не покидал штурманской рубки «Суворова»; полеживая на диване с папиросой в зубах, флагман читал на английском языке Блаватскую – о фокусах индийской магии.

– Добрый вечер, – сказал он Коковцеву. – Что там?

– Пока все тихо. Японцев в эфире не слыхать.

– А вам не кажется, милейший Владимир Васильевич, что от самой Формозы японцы нашей эскадры не могли видеть?

– Согласен. Визуального соприкосновения не было. Но зато нас под хвостом усердно обнюхивали англичане…

Однако догадка Рожественского (чисто интуитивная) оказалась верной: 12 и 13 мая адмирал Того ничего не знал о координатах русской эскадры. Его броненосные силы, бесцельно пожиравшие массы угля и тонны смазочных масел, горы рассыпчатого риса и цистерны крепкого сакэ, торчали у берегов Кореи, готовые по первому сигналу сорваться с якорей…

Настала ночь. Игнациусу не спалось. Он позвал Коковцева в командирский салон, обвешанный циновками и обложенный коврами. За чаем он сказал, что перед смертью принял ванну.

– Ты надоел мне с этим! К чему думать о смерти?

Игнациус капнул себе на бороду вареньем с ложечки.

– Мы же – флагманский броненосец, пойми ты, Володя. Значит, все первые и самые крупные шишки полетят в нашу голову. Как бы то ни было, – сказал Игнациус, вытирая бороду салфеткою, – а мы обязаны спасти адмирала. Небогатов не обладает таким авторитетом, как наш Зиновий… В случае беды флагмана должны снимать с «Суворова» миноносцы «Бедовый» или «Быстрый» – какой раньше подскочит, тот и снимет!

– О чем ты? – отвечал Коковцев. – У нас двенадцать в броне, у Того двенадцать… игра будет равная.

– Не забывай, что в запасе у Того два-три узла лишку…

Ночь. Непроницаемая. Молчащая. Жуткая.

В этой ночи броненосцы тащили под своими килями громадные «бороды» тропических водорослей, волочившихся за ними, что тоже снижало эскадренную скорость. У японцев же таких «бород» не было: они заранее прошли чистку в доках Сасебо; сколько положено дать узлов, столько и дадут – без помех!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Эскадра приближалась к Цусиме в составе тридцати восьми вымпелов, из которых только тридцать вымпелов имели боевое значение (остальные: транспорта, буксиры, плавучая мастерская, два госпиталя). «Искровой телеграф», как тогда называли радиоаппараты, принимал обрывки депеш на японском языке. Студенты-востоковеды, взятые в поход из Лазаревского института, не могли разгадать их смысла. «Урал», обладавший самой мощной радиостанцией, запрашивал разрешения адмирала – глушить работу радиостанций противника помехами. Но Рожественский в этом случае оказался грамотнее других, строго запретив эскадре вмешиваться в близкие переговоры японских кораблей.

– Если мы это сделаем, – разумно доказывал он, – японцы сразу же засекут нас, понимая, что мы находимся рядом…

На мостиках кораблей лежали обычные мешки с обычными кирпичами – на случай срочного затопления в них сигнальных книг и секретной документации. Казначеи сволакивали ближе к люкам железные сундуки с золотом и деньгами – тоже для затопления. Все эти необходимые церемонии проделывались без суматохи, никого не пугая… Война есть война!

На мостике тревожно спал адмирал Рожественский; тяжелые веки его глаз иногда поднимались, глаза оглядывали горизонт, он снова задремывал, склоняя на грудь белую голову.

– Орите потише, – просили офицеры сигнальщиков.

Эйлер постучал в каюту Коковцева:

– Боюсь, наш «Суворов» до Владивостока не дотянет.

Коковцев заметил его обожженные руки – в бинтах:

– Что случилось, Ленечка?

– Эти проклятые михели в Камранге и Ван-Фонге насовали нам в бункера самую отличную дрянь… Сейчас началось самовозгорание угля в бункерах. Под нами уже бушует пламя.

– А ты заливаешь?

– Да. Но горевший уголь теряет тридцать процентов качеств. Потому и говорю, что нам его не хватит до Владивостока. А перерасход страшный – до тысячи тонн в сутки.

– Ты никому не болтай об этом, Ленечка.

– Я не скажу. Но ты, флаг-капитан, знай.

– Хорошо. Лучше бы мне и не знать…

На рассвете с «Авроры» заметили белый стремительный корабль, сказочно пролетавший через хмурую мглу; его привлек яркий свет, исходивший от госпитальных судов, и он не был задержан кораблями эскадры для проверки.

– Очевидно, пассажирский, – гадали на «Суворове».

Македонский шепотом подсказал Игнациусу:

– Это был их крейсер «Синано-Мару»… В с ё!

Да, теперь всё. Они открыты. Они разоблачены.

Над «Суворовым» взвились флаги: ГОТОВНОСТЬ К БОЮ.

– А что, эти плавающие дворцы медицины? – спросил адмирал раздраженно. – Или для них закон не писан?

Рожественский не запретил яркое освещение «Костромы» и «Орла», не велел госпиталям идти в отдалении. Стучащие аппараты «Слаби-Арко» вытягивали из себя длинные бумажные ленты, на которых молоточек выбивал одно и то же сочетание: «ре-ре-ре-ре…» – очевидно, Того давал позывные какого-то своего корабля.

Радиотелеграфисты ругались:

– Какой уж час он, паразит, одно и то же колотит…

Коковцев спустился в кают-компанию броненосца, там, на диванах, даже не скинув обуви, в походных тужурках подремывали артиллерийские офицеры – Богданов и мичман Кульнев.

– Господа, чего вы тут кейфуете?

– Я заведую подачей из погребов, – объяснил мичман.

– А я с ближних плутонгов, – ответил Богданов, лейтенант. – Если что брякнет, мой пост рядышком. Не волнуйтесь.

Коковцев и не думал волноваться. Он-то знал, какую скорость может развить человек на трапах и в люках, когда его призывают на боевой пост «колокола громкого боя».

– Тогда и я прилягу, господа, вместе с вами…

За бортом тихо шелестела вода океана.

Неожиданно для себя Коковцев очень крепко уснул и был пробужден радостным перезвоном бокалов. Он открыл глаза и сел на диване. Кают-компания была переполнена офицерами разных возрастов и различных рангов, вестовые с азартом открывали шампанское.

– Что празднуете, господа? – спросил Коковцев.

– Японский крейсер. По правому траверзу. Видите?

Низко прижатая к воде тень (по-морскому «зализанная»):

– Тогда налейте и мне, господа!

– Эй, чистяки! Бокал господину флаг-капитану…

Старший офицер Македонский чокнулся с Коковцевым:

– Кажется, вровень с нами шпарит «Идзумо». Врезать бы ему хорошего леща под винты, чтобы отлип от славян. А то ведь он все уши прозвонил Того своими сигналами…

Серенький рассвет не спеша разгорался над океаном.

– А где мы сейчас идем? – зябко поежился Коковцев.

– Идем к Цусиме… прямо через воронку! Буль-буль…

Откуда столько веселья, почему так радостны лица?

В дверях кают-компании появился Игнациус, укладывая в портсигар три гаванские сигары, при этом он мрачно сказал:

– Думаю, что до конца жизни мне хватит…

Шампанское разливали чересчур щедро, брызжущее искрами вино беззаботно проливалось на ковры, на скатерть.

– Ну, с богом! Сейчас начнется.

– Дождались… наконец-то! – радовались мичмана.

– Господа, за прекрасных женщин, что ждут нас.

Македонский призывал молодежь:

– Будем же свято помнить, что славный Андреевский флаг не раз погибал в пучине, но еще никогда не был опозорен!

Забежав в каюту, Коковцев сдернул с вешалки тужурку, глянул в иллюминатор – да, сомнений не было, это «Идзумо». Память точно подсказала все данные: японский крейсер нес на себе восемь восьмидюймовых, двенадцать шестидюймовых орудий, а его британские машины могли развить двадцать с половиной узлов.

– Недурно для тех, кто в этом деле что-либо кумекает. – Сказав так, Коковцев бодро взбежал на мостик. – Да не листайте таблицы – это «Идзумо»… Его надо накрыть. Накрыть немедленно… Полным залпом, иначе…

В этот момент обтекаемый силуэт японского крейсера, обрамленный белым буруном, показался ему даже красивым. Пользуясь выигрышем в скорости, «Идзумо» то легко опережал русскую эскадру, то резво отбегал назад, словно рысак, гарцующий в манеже. На «Суворове» пробили барабаны музыкантов.

– На молитву – пошел все наверх! Ходи веселей до церкви…

– Да отгоните же «Идзумо», – призывали с мостиков.

Кормовая башня «Суворова» вперилась в наглеца жерлами пушек, и тогда «Идзумо» поспешно вильнул в сторону. «Ослябя» высоко-высоко нес флаг адмирала Фелькерзама, и Коковцеву вдруг стало очень нехорошо от сознания, что его сын, его любимый первенец плывет в битву под флагом… покойника!

В отдалении, зыбко и расплывчато, уже возникали силуэты еще шести японских крейсеров – таких же «зализанных».

Рожественский неторопливо откинул с колен шерстяной плед, выбрался из удобного лонгшеза. Сказал:

– Это пока разведка. Времени у нас достаточно… Кстати, арестованным и осужденным можно дать для боя свободу!

Внешне на эскадре ничего не изменилось, и лишь слабое передвижение башен и дальномеров указывало на то, что корабли не вымерли. Но стоит заглянуть в тесноту отсеков, как слух наполнится шумами моторов и шипением гидравлики, звонками телефонов, окриками через амбушюры переговорных труб, здесь все в движении, а мускулы людей иногда перегоняют скорости механизмов, воют элеваторы подачи снарядов, по изгибам магистралей, опутывающих внутри корабль, словно вены и артерии организм человека, помпы перегоняют воду, в них быстро пульсируют технические масла и глицерины, шумно ревет мощная вентиляция, алчно засасывая в отсеки лавины свежего воздуха, а палубные раструбы тут же выбрасывают в атмосферу массы воздуха отработанного, уже испорченного…

Вот это живое теплое существо и называется кораблем!

Где-то во мгле, прямо по курсу, едва угадывался остров Цусима; зыбь шла от норда – навстречу кораблям, сумрачный горизонт визуально «прощупывался» до семи миль. Японские крейсера держались правого траверза, подробно информируя Того по «Телефункену» обо всех эволюциях русской эскадры. Рожественский выглядел спокойным, как были спокойны и его экипажи. Около одиннадцати часов дня флагман распорядился:

– Аллярам бить рано! Команды имеют время обедать. Однако, – обратился он к Коковцеву, – в газетах пишут, что генералы прячутся в блиндажах, отчего они более решительны в бою; адмиралы же обязаны погибать заодно с матросами, и потому они боятся рисковать своей жизнью…

Коковцев согласился с его превосходительством!

– Генералы посылают войска вперед, адмиралы же ведут за собой эскадры… Разница, конечно, существенная! Но сейчас перестала существовать и разница между офицером и матросом: все стали равны перед богом.

Безмолвный поединок с крейсерами затянулся. Тут не выдержали нервы комендора с броненосца «Орел» – он ударил по «Кассаге» снарядом. Орудийная прислуга других кораблей восприняла этот нечаянный выстрел за сигнал флагмана, и вмиг заработала артиллерия всей эскадры, опахивая ее борта ярким пламенем залпов. Рожественский поднял над «Суворовым» соцветие флагов: ДАРОМ СНАРЯДОВ НЕ КИДАТЬ. Японские крейсера исполнили поворот «все вдруг», поразив окраскою, позволявшей им быстро сливаться с мутью океанского горизонта. Рожественский указал:

– Курс – NO 23°, направление – Владивосток…

Не покидая постов, возле механизмов и пушек, матросы наспех хлебали из мисок, зажатых между колен, опостылевшую баланду. Офицеры срывались по трапам в буфет, чтобы перекусить до боя, и снова разбегались по местам. Замелькали балахоны врачей и санитаров, в корабельных лазаретах противно режуще звенела их никелированная, отточенная техника. Флагманский иеромонах Палладий обходил батареи броненосца, окропляя с метелочки фугасы, снятые с лотков электрических элеваторов. В коридоре между каютами Коковцев торопливо разминулся с Эйлером.

– Трюмно-пожарный дивизион в порядке?

– Да. Иду управляться. А ты, Вова?

– Мое дело проще – быть у адмирала на побегушках…

Эскадра уже миновала узость Корейского пролива, выстроясь в две кильватерные колонны, сбоку скользили крейсера и миноносцы, строй замыкали госпитальные суда – с женщинами и врачами. Поодаль из тонких «карандашей» труб отчаянно дымила плавучая мастерская «Камчатка», половину экипажа которой составляли питерские рабочие – добровольцы!

Старший офицер Македонский поторапливал людей:

– По местам, по местам! Того на подходе…

Желтое знамя Того реяло над броненосцем «Миказа». Коковцев поднялся в боевую рубку; здесь было не повернуться от множества офицеров и кондукторов, застывших возле приборов управления и расчетов стрельбы. Очень быстро наплывали с норда дымы броненосных сил Того. Клапье де Колонг докладывал о них так, словно читал раскрытую книгу:

– «Сикисима», «Асахи», «Фудзи», «Ниссин» и…

– Хватит! – велел ему флагман. – Здесь все!

Коковцев с особой ненавистью следил за крейсером «Идзумо», и эту ненависть разделяли сигнальщики на мостике:

– С утра пристал словно банный лист и не отлипнет… Во, гадье какое! Всыпать бы ему соли под кормушку…

Слева по борту двигался «Ослябя», а там, укрывшись под накатом башенной брони, плыл в сражение его сын, его кровь, его мозг, его характер… «Господи, спаси и помилуй Георгия!»

Стрелки машинных тахометров показывали шестьдесят восемь оборотов.

– Тринадцать сорок пять, – доложил время флагманский штурман Филипповский, у которого застарелый рак желудка, и потому эта битва любую его смерть превратит в лучезарную, почетную гибель во славу любезного Отечества…

С клацаньем упали на окна рубки броневые щитки, и Рожественский озирал противника через узкие смотровые щели:

– Я не понимаю Того, что он делает? И – зачем?

Взгляд на тахометры: 68 оборотов на винты давали лишь 9 узлов. Коковцев обратился к сигнальному кондуктору:

– А сколько выжимают японцы?

– Кажись, шашнадцать… сссволочи! Хороши бегать.

Форштевень «Миказы» крошил под собой высокий бурун. Того начинал охват головы русской эскадры – так гигантский питон-боа обнимает свою жертву за глотку, почти ласково, и Коковцев ужаснулся от увиденной им картины: все это было ему до боли знакомо – японцы «ставили палочку над „Т“!

– Того делает crossing the «Т», – доложил он флагману.

Идеи адмирала Макарова предстали в наглядном действии: японцы прикладывали к русским русскую же тактику. Зиновий Петрович уже почуял угрозу ведущим броненосцам, «Суворову» и «Ослябе»: он удачно и вовремя склонил эскадру на два румба вправо. Этим флагман избежал охвата своей «головы», но при повороте противника неизбежно выкатились килями на параллельные курсы. Сигнальный кондуктор прикинул дистанцию:

– До япошек тридцать пять – сорок кабельтовых.

– Аллярм! – повелел Рожественский…

Башни передовых броненосцев извергли пристрелочные снаряды. Увлеченные началом поединка, флагманские специалисты не заметили, что японские крейсера, забежав в «хвост» русской эскадры, отсекли от нее и тут же взяли на абордаж госпитальные суда, плывущие под красным крестом милосердия. Отныне тонущие не будут иметь спасения, а раненые могут искать медицинской помощи только в корабельных лазаретах…

Коковцев расслышал над собой странный шорох и невнятное бормотание, какое он слышал однажды в Алжире, когда из пустыни летела саранча. Не понимая причины этих звуков, каперанг выставился наружу из боевой рубки и заметил движение японских снарядов: отлично видимые в полете, они кувыркались будто городошные палки. А вдалеке японские крейсера пытались накрыть старый броненосец «Николай I», на котором держал флаг Небогатов, но стреляли плохо – на недолетах. Удивительно, что снаряды японцев – даже при ударе об воду! – давали высоченные всплески разрывов, украшенные шапками черного или желто-лимонного дыма. «В чем дело?..» Коковцева тешило сознание, что устройство русских снарядов разрывало их лишь после пробития брони, внутри японских кораблей. Так ли это?

– Но где же дым? – спросил он Богданова.

– Наши дыма не дают, оттого и пристрелка у нас – дерьмо!

Игнациус повелительно указал Коковцеву:

– Сейчас же закрой двери в рубку – башку снесет.

Коковцев пренебрег советом, наблюдая за «Ослябей»: броненосец, пропуская перед собой «Орла», не только уменьшил ход, но временно застопорил машины, развернувшись к неприятелю бортом. Этого было достаточно: шесть японских крейсеров оставили «Николая I» в покое, сразу вцепившись в «Ослябю» клыками своих главных калибров… Коковцев крикнул в рубку:

– «Ослябя» в пробоинах… пожар в центре!

– Задраишь ты двери или нет? – выругался Игнациус.

Коковцев захлопнул за собою пластину брони, чтобы не видеть «Ослябю». Посреди рубки лежал сигнальный кондуктор. У него не было половины лица, отсеченной осколком, залетевшим внутрь рубки через узкую боевую прорезь.

– Адмирал уже ранен, – хмуро сообщил Филипповский.

По затылку Рожественского стекала кровь, что-то противно-серое, выпучиваясь из черепа, облипало седые волосы, стекая за воротник тужурки, пачкая ее.

– Не стоит вашего внимания, – ответил он на вопросы о самочувствии. – «Единицу» не спускать, а курс иметь прежний…

Голос его звучал свежо. На мачте развевало бело-синюю «единицу», означавшую: бить по головным кораблям противника. Но японцы тоже стреляли по ведущим броненосцам Рожественского, и, прильнув к боевой щели, Коковцев видел, как быстро разгорается пожар над «Ослябей», а его первая башня, в которой замурован мичман Георгий Коковцев, высаживала по кораблям Того снаряд за снарядом… Было страшно!

– Боже праведный, что я скажу Ольге… что?

«Ослябя» умирал. Но умирал героической смертью. Как и знаменитый инок Ослябя, павший в битве на поле Куликовом.

Недостаток в скорости, пусть даже малый, постепенно превращал русские корабли в мишени для японских снарядов.

– Уже горим, – деловито произнес Игнациус и, словно, ему не хватало дыма сражения, воткнул в рот сигару…

Грохот от попаданий был такой, что рубка подпрыгивала на барбете, а сам броненосец напоминал железопрокатный цех в разгар рабочего дня. Рожественский указал Коковцеву пробиться через пылающие ростры на ют, дабы приготовить командный пост в корме, ибо носовой скоро будет разрушен. Что-то огненное врезалось внутрь рубки, из-под броневых «козырьков» брызнуло во все стороны тысячами искр, люди мгновенно схватились за грудь, давясь кашлем от газов, заглатывая в свои легкие белые невесомые хлопья, похожие на клочки ваты. Рожественский, громко простонав, схватился за бок – покачнулся.

– Санитаров с носилками! – крикнул Игнациус.

– Нет, – выпрямился адмирал. – Не надо… пусть берут других. Они, да, пристрелялись, – сказал он о японцах. – Но мы ведь тоже не дурачки… Продолжать движение!

Поручни трапа, уже раскаленные, обожгли ладони Коковцеву. «Суворов» горел (а как горел, сохранилось свидетельство: «сгорали надстройки, шлюпки, настилы палуб… каменный уголь, сухари, тросы, резиновые шпанги, койки матросов и все другое…»). Флаг-капитал закрывался от жара руками.

– А это еще что? Неужели «Ослябя»?

«Ослябя» нес красно-синий флаг «како» – «Не могу управляться!». Но в ту же секунду пламя спалило фалы, сигнал бедствия исчез в пламени. Продолжая стрелять, броненосец выкатился прочь из кильватера, его борта были разворочены, огонь бушевал на уровне мачт, носом он оседал в море по самые клюзы. При таком дифференте «Ослябя» начал ложиться на левый борт, как бы в предсмертном изнеможении. Его трубы поливали холодные волны густейшим и черным дымом, а люди, подобно букашкам, сыпались в море… Все это Коковцев наблюдал своими глазами, а в мозгу пульсировала одинокая мысль:

– Но что я скажу Ольге? что я скажу? что?..

Носовая башня мичмана Коковцева изрыгнула последний залп.

Этот залп – последний! – пришелся уже прямо в воду.

Правый винт броненосца еще вращался, с ненасытной яростью рассекая задымленный воздух. Из кормовых кингстонов «Осляби» вдруг выбило чудовищный водяной фонтан – так высоко, будто заработал петергофский «Самсон», извергающий воду из разодранной пасти льва! Это был конец… К месту гибели броненосца спешили «Бравый», «Буйный» и «Быстрый», за ними торопился буксир «Свирь»; они стали выхватывать людей из воды, реверсируя машинами то вперед, то назад, чтобы сбить пристрелку японцев по этому скоплению погибающих людей и кораблей, их спасающих… «Туда лучше не смотреть! Спасут ли они сына?»

Коковцев проник на ростры, где матросы разносили шланги, уже все иссеченные осколками, из рукавов выметывало тонкие струи воды, поливая мертвецов, разбросанных взрывами в самых причудливых позах. Здесь же умирал старший офицер Македонский, ползая среди воды и огня, а вместо ног за ним волочились грязные штанины, из которых торчали раздробленные кости голеней… Коковцев пробивался дальше – к юту!

– Никола Святый, но что я скажу Ольге?

Только сейчас он заметил, что «Суворов» выписывает ложную циркуляцию, – значит, рули заклинило, но следующие за ним корабли, не зная того, пристраивались в кильватер флагмана. Повторялась ситуация, подобная бою Порт-Артурской эскадры, когда был убит адмирал Витгефт… «Но жив ли еще Рожественский?» Из огня пожаров – знакомый голос:

– Не шалей, братцы! Давай воду… качай, разноси!

Это командовал трюмно-пожарным дивизионом Эйлер.

– Леня, – позвал его Коковцев, – ты жив?

– И ни царапинки… будто заговоренный!

Коковцева что-то шмякнуло в спину, и он присел:

– А я… уже. Получил. Да. Но меня в корму… в корму…

Это счастье, что не мог пробиться на кормовой пост сразу: там все уже было размозжено. Мертвые валялись неряшливой кучей, отброшенные взрывом к переборке поста. Поверх матросов почему-то лежала офицерская фуражка, словно ее туда специально положили. Чья-то рука в кожаной перчатке еще сжимала бинокль. Но броненосец – факел огня! – катился дальше на циркуляции, и было непонятно, как работают его машины…

– Люди-и-и… – звал кто-то. – Спа-а-аси-те-е-е…

Волна горячего воздуха приподняла Коковцева над пожаром и удивительно мягко распластала по палубе: это взорвало кормовую башню, ее броневая крыша рухнула на ют, свергая на своем пути все надстройки, расплющивая все живое… Перед Коковцевым возникла фигура матроса:

– Тебе помочь? – спросил он на «ты».

– Я сам, – начал подниматься Коковцев.

– «Сисой»-то горит, – сказал матрос, помогая ему.

– Все горим… Пить! Пить хочу.

– Да где взять? Лакай из шлюпок… эвона!

Из шлюпок броненосца, пробитых осколками, били упругие струи воды, которая заполняла их, чтобы они не горели. На переходах трапов матросы с матюгами раскидывали «траверзы» пылающих коек. Санитары волокли раненых, оравших от боли. Новые разрывы тотчас обрывали их крик, а санитаров сметало в море, как мусор. В этом хаосе Коковцева вежливо позвали из противоминной батареи, предложив ему… ч а ю! Сверкая начищенными ботинками, при накрахмаленной манишке с галстуком-киской, украшенной жемчужиной, в башне сидел мичман Головнин, любезно протягивая флаг-капитану бутылку с чаем.

– Холодный, – сказал он. – Но это сейчас и лучше.

– Благодарю. А что у вас с башней?

– Заклинило… язву! Не провернуть… Сейчас допьем с ребятами чаек и грянем тушить пожары. А что еще-то делать?

Все это в грохоте, в треске. Ветер на повороте отнес дым в сторону, и Коковцев показал Головнину, что мачт на «Суворове» уже нет, но мичман не удивился, говоря:

– Все-таки по «Миказе» мы врезали разочек или два под самую печенку Того. «Идзумо» от «Осляби» тоже досталось.

Коковцев просил его посмотреть – что там, на спине, жалуясь, что штаны намокли от крови. Головнин откинул броняжку.

– Санитары! – позвал он. – Извините, господин флаг-капитан, что отказываю вам, но я с детства… брезгливый.

– Не надо, тогда не надо, – заторопился Коковцев, благодаря артиллериста за чай, и броня двери захлопнулась за ним, снова запечатывая прислугу пушек в железной коробке…

Эйлер не получил еще ни одного ранения.

– Здесь, на рострах, жарко. Но жить можно, – сказал он. – А в батарейных палубах сгорели заживо. Им некуда было выйти, переборки раскалены добела… Когда все это кончится, а?

– Скоро, – односложно ответил Коковцев…

За рострами, у входа в прачечную, пожилой кондуктор без руки целою рукой вставлял в рот себе дуло револьвера.

– Не глупи! – гаркнул ему Коковцев, подбегая.

Ответ кондуктора поразил его спокойствием.

– Ты што? – спросил он. – Или слепой? Рази не видишь сам, какая тут кутерьма пошла… Если б я был глупым, так, наверное, уже орал бы, что нас предали. Но я-то ведь не дурак и вижу, что влипли… как мухи в патоку. Уйди! Не мешай…

Гвардейский броненосец «Александр III» тоже горел.

– Но почему горим? – скорчился Коковцев, отказываясь понимать, что случилось сегодня с ним и со всеми…

Пылающий «Суворов» еще двигался, он еще сражался, как и положено флагману, – до конца. Пока не сгорит. Пока не утонет. Японский вице-адмирал Камимура, командовавший при Цусиме крейсерами, оставил нам запись о подвиге броненосца «Суворов» – вот она: «Его мачты давно упали, трубы одна за другой рухнули, он потерял способность управляться, а пожар все усиливался. Но он все еще продолжал сражаться и сражался с нами так храбро, что я вынужден был указать своим воинам отдать должное его небывалому героическому сопротивлению».

Иногда объективности следует учиться у противника…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Не станем возвеличивать тактику Того! Того действовал по шаблону: ставя «палочку над „Т“, он группировал всю мощь артиллерии на головных броненосцах России, а когда их заменяли следующие за ними корабли, Того, описав маневренную дугу, опять суммировал свой огонь на броненосцах, ставших головными после поражения впереди идущих. Рожественский, в отличие от Того, не имел даже шаблонного плана, кроме твердого указания – следовать на Владивосток! Разве же это бой? Скорее это было одиночное стремление русских кораблей к призрачному, как пустынный мираж, волшебному русскому городу, раскинувшему на зеленых холмах уютные дома и гостиницы, рестораны и магазины, танцклассы и базары, цветы и овощи, галстуки и корсеты, веера и зонтики… Где все это? Не выдумка ли?

«Суворов», похожий на костер, вышел из строя.

Эскадру теперь вели броненосцы – «Бородино» и его гвардейский собрат «Александр III»; прожженные огнем пожаров, заливаемые водой через пробоины, они стойко выдерживали заданный курс. Кажется, именно от них Того и получил десять прямых попаданий, все-таки пронзивших корпус флагманского «Миказа»… Ах, если бы еще десять, да еще таких десять! Все понимали, что битва при Цусиме проиграна, но прорыв, очевидно, возможен. Ведь за ними, ведущими и новейшими, в целости двигались старые броненосцы Небогатова, рыскали в отдалении залихватские крейсера, косо стригли бурунами горизонт ретивые миноносцы. А все море, насколько хватал глаз, было усеяно унитарными патронами из латуни, плававшими встояка, будто опорожненные бутылки, разбросанные миллионами праздных гуляк. Тут накидали расстрелянных гильз и русские, и японцы. Теперь масса кораблей двигалась в этом мусоре боевых отходов, медные унитары звончайше стучались в их железные борта…

Неужели сдаваться?

Нет, нет и нет – этого никак нельзя допустить!

Русский флот помнит: ПОГИБАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ…

Именно здесь, в самый разгар боя, я прерываю повествование, испытывая потребность к авторскому отступлению. Коковцев не понимал, отчего горят броненосцы, а в Носси-Бэ не могли понять, почему Япония смирилась с долгой стоянкой русской эскадры, не докучая Парижу гневными протестами.

Все дело было в проклятой шимозе!

Я не химик и пишу не для химиков, но все же вынужден коснуться этой злосчастной темы, что дает химическая реакция бертолетовой соли с магнием и какова убойная сила плавленого тринитрофенола?.. От этого адского варева броня стекала с бортов, как воск, у людей при вдохе сгорали легкие, а взрывы давали такую массу мельчайших осколков, что спастись от них практически было немыслимо. Русские матросы при Цусиме, имея в теле тридцать, сорок, даже полсотни таких осколков, не считали себя увечными, продолжая сражаться. Но откуда же взялась она, эта проклятая шимоза? Какой дьявол придумал ее в своей бесовской лаборатории?

Можно догадываться, почему Япония не протестовала против стационирования нашей эскадры в Носси-Бэ. Того был заинтересован в обратном: чтобы стоянка у Мадагаскара затянулась как можно дольше, пока его флот, после падения Порт-Артура, начинял шимозой свои снаряды. Понятно, почему Токио закидало Париж протестами, когда эскадра Рожественского очутилась у берегов Аннама (Вьетнама), – это значило, что шимоза, обернутая в мягкую фланель и обложенная красивой конфетной фольгой, уже до отказа заполнила стаканы корабельных снарядов… Думается, что Того все-таки не успел! Не успел сделать все. Артиллерия отряда адмирала Катаоки, судя по результатам Цусимского боя, не обладала снарядами с шимозой, и потому русские корабли, даже под ожесточенным огнем, легко выдерживали разрушения, не имея в соприкосновениях с Катаокой тех губительных пожаров, которые буквально изжарили передовые броненосцы 2-й Тихоокеанской эскадры…

А сейчас пойдем с эскадрою к цели: NO 23°.

Словно издеваясь над бессилием русской эскадры, мимо нее снова проходил этот проклятый «Идзумо», а с его палуб японские матросы, выкидывая вперед жилистые кулаки в белых перчатках, как на параде, трижды провозгласили славу микадо:

– Хэйка банзай! Хэйка банзай! Хэйка банзай!

Был четвертый час пополудни. Неожиданный наплыв тумана дал русским передышку в тридцать минут. «Суворов» циркулировал на одном месте, работая то левой, то правой машинами, чтобы, управляясь ими (вместо рулей), следовать за эскадрой. Это ему не удавалось… Телефоны отказали. Переговорные трубы извергали не слова команд с мостика, а лишь соленую воду океана. Вентиляция еще трудилась, всасывая в нижние отсеки не воздух, а густой дым, пронизанный белыми хлопьями шимозы, которая и удушала людей, безнадежно задраенных в придонных отсеках. В боевой рубке флагмана убило всех кондукторов, уцелел лишь один матрос. Офицеры были изранены через амбразуры смотровых щелей. Спасительные «козырьки» оказались, напротив, губительны: они экранировали осколки, не отражая их, а загоняя внутрь боевой рубки, – непростительная ошибка конструкторов! Мостик полыхал, отчего сама рубка напоминала плотно закрытый котел с грибовидною крышкой, поставленный на пламя жаровни…

Филипповский сказал Игнациусу:

– Не пора ли нам уходить?

– Куда? – спросил его Рожественский.

– В пост.

– Как?

– Через мостик, – решился лейтенант Богданов.

Он шагнул в двери, что-то под ним затрещало, и офицер провалился в яму прогара. Зиновий Петрович мелко крестился:

– Вечная память, спаси и помилуй… раздрайте люк!

Из боевой рубки в боевой пост вела узкая труба шахты. Оттащив убитых, Игнациус с Филипповским открыли люк. К этому времени флагман уже имел два осколка в голове, один в правой ноге, несколько осколков застряли в его теле, но спуск в шахту он преодолел еще достаточно бодро.

– Конечно, – сказал он в боевом посту, – здесь можно спасать свою шкуру, но отсюда ни бельмеса не увидишь, что творится на белом свете… Я пойду, господа, наверх!

Его не удерживали. Как и все офицеры эскадры, Рожественский был в кожаной тужурке, на ногах – высокие кожаные сапоги. В треске горящих надстроек он пытался пробиться к бортовой башне, и тут его ранило в левую ногу, очень болезненно, адмирал закричал. Из дыма возник его флаг-капитан.

– А, это вы? – сказал он Коковцеву. – Что в корме?

– Уже ничего не осталось. Все горит… людей в сечку!

– Я ранен… помогите встать, – просил адмирал.

Коковцев сам ранен. Он кликнул людей из батарейной палубы:

– Эй, тащите адмирала! В носовую – она цела!

Могучая заслонка брони со скрежетом растворилась, матросы просунули флагмана внутрь носовой башни, которой командовал лейтенант Кржижановский; он подставил под адмирала ящик.

– Вы бы знали, какая боль… боль! – сказал Рожественский. – Сейчас не мне одному больно, но… Разве я виноват? И все время вижу гроб, в котором лежит Дмитрий Густавович Фелькерзам – счастливец! В этом гробу он так и ушел на грунт, а я могу только завидовать ему… Ой, как больно!

Коковцев сказал Рожественскому, что «Ослябя», покидая этот мир, унес в пучину не только мертвых, но и живых:

– Боюсь, что и моего сына… Что я скажу жене?

Рожественский пошатнулся, его поддержали.

– Была договоренность, – произнес он. – Весь мой штаб и меня с «Суворова» должны снять миноносцы… Где они?

Сказав так, адмирал потерял сознание. Туман распался, а Того снова начал выписывать «палочку над „Т“. Осыпаемый снарядами, „Суворов“ беспомощно кружился на месте, подставляя противнику свои израненные борта. Коковцев часто слышал непонятный треск, за которым следовало шипение. Это срывались с заклепок пластины могучей брони, подобно листам фанеры, и, раскаленные, утопали в море, извергая клубы пара.

– Адмирала надо снимать. Но где же миноносцы?

– Вот они! – воскликнул Кржижановский, а матросы нащупали в панораме прицела бегущие по волнам, низко прижатые тени миноносцев японских. – Огонь! – С первого же выстрела удалось разбить борт японского «Чихайя», а кормовые пушки двумя попаданиями отбросили и истребитель «Сиракумо». Кржижановский, устало выругавшись, повернулся к Коковцеву: – Не так уж плохо! Идите на перевязку. За адмиралом я присмотрю…

Лазарет был разрушен еще в начале боя, раненые собирались в жилой палубе. Здесь же сидел жестоко израненный Игнациус.

– Володя, что наверху? – спросил он стонуще.

– Крепко влетело «Александру» и «Бородино».

– Горят?

– Сгорим! – раздался вопль сверху. – Эй, братва! Кончай тут с бинтами чикаться, валяй все во вторую батарейную…

– А чего там? – поднимались с палубы головы людей.

– Деньги, балда, делить стали, тебя ждут!

Игнациус, подавая пример матросам, поднялся:

– За мной, ребята! Живем один раз… так бабка сказала!

Коковцев тоже лез по трапу в люк, за ним двигались даже санитары, даже врачи – пожар, опять пожар! На этот раз он свирепел рядом с лазаретом, и надо было спасать увечных.

– Не гореть же им, ядри все в лапоть…

Яркая вспышка ослепила людей на палубе. Коковцев в последний раз увидел Игнациуса! В желтом пламени разрыва железную лестницу трапа закрутило, словно полотенце, обвивая ее вокруг тела командира флагманского броненосца. А когда дым развеяло, живые разглядели, что из этого безобразного рулона торчат только плечи с эполетами капитана первого ранга. Головы не было! Но именно в этой голове скептика впервые (еще с Либавы) возникла мысль, что весь этот поход аргонавтов – безумная авантюра. Вспомнив об этом, Коковцев упал, ничего больше не видя и ничего не помня.

Он очнулся от воды, которой его поливали из шланга, как дворники поливают мостовые в жаркие дни. С трудом обретя сознание, он увидел Леню Эйлера.

– Жив? – спросил он его. – А меня еще не задело.

– Кто ведет броненосец?

– Не знаю. Но машины еще работают.

– Дожили… Голгофа какая-то… За что, господи?

Коковцев повернул голову, и перед ним возникло невероятное зрелище: мимо «Суворова» прокатило остов корабля, уже не имевшего ни мачт, ни труб, он шел с сильным креном, его правый борт раскалился докрасна, будто противень, дым из кочегарок вырывался не из труб, а прямо из палубы, будто там, внутри корабля, работали огнедышащие вулканы. А вся носовая часть была вскрыта, словно жалкая консервная банка.

Но он все-таки шел. Он все-таки стрелял!

– Кто же это? – не мог узнать корабль Коковцев.

– Это «Александр III», досталось ему… бедняге.

Не это поразило Коковцева – другое! На мостике броненосца, в очень спокойных позах, как дачники на веранде, стояли, облокотясь на поручни, офицеры и мирно беседовали, а вокруг них все рушилось к чертям, все погибало в пламени.

– Гвардия, – произнес Коковцев. – Помогай им бог. А кто ведет эскадру теперь? Небогатов?

– Нет, «Бородино»… горит тоже. Он и ведет.

Цусимское сражение еще не кончилось. Эйлер показал на мертвых матросов, лежавших в грязной после пожара воде:

– Ну, ладно мы с тобой! А что они… что им?

Коковцев с помощью Эйлера поднялся на ноги.

– Как жаль, что я связан адмиралом, – с ожесточением вдруг сказал он. – Лучше бы я шел на миноносцах. Тогда бы я хоть знал точно, как надо красиво помирать!

После гибели «Бородина» эскадру поведет броненосец «Орел»: еще не все потеряно, а русские моряки не сдаются.

Когда человек проявляет героизм при свидетелях – это одно. Когда человек знает, что его подвиг останется неизвестен, и все-таки он свершает подвиг, – это другое. К сожалению, мы очень мало знаем о подлинной Цусиме, а она-то как раз и напиталась кровью подвигов людей, оставшихся для нас неизвестными… Мы знаем мало. Как они грудью кидались на пробоины. Голыми руками вращали маховики механизмов, раскаленных так, что мясо оставалось шипеть на металле штурвалов. Наконец, жертвуя собой, не раз заслоняли офицеров, принимая на себя удар пламени, рванувшего из люка, или смертоносный пучок шимозы… Рожественского и его штаб обязаны были снять «Бедовый» или «Быстрый». Но их закружило в сумятице боя, полыхающего взрывами, в вихрях воронок над тонущими кораблями. Да и как отыскать «Суворова», если даже опытные сигнальщики не могли различить броненосцы по именам, – эти обгорелые изуродованные обрубки меньше всего напоминали сейчас тех гордых красавцев, что еще недавно покачивались на пасмурных рейдах Кронштадта, Ревеля и Либавы…

В половине пятого часа на «Суворове» осталась лишь одна малокалиберная пушчонка. Японские эсминцы (их было четыре) снова пошли в атаку. Они двигались рывками и зигзагами, издалека примериваясь к выбросу торпед… Лейтенант Вырубов, неунывающий парень в разодранном кителе, сказал Коковцеву:

– Чем черт не шутит! Попробую еще раз!

Он сразу накрыл «Асагири», остальных разогнал огонь с эскадры, выручившей своего бывшего флагмана. Итак, все кончено. Но, исполняя приказ адмирала (уже отрекшегося от участия в битве), эскадра снова – в какой уже раз! – ложилась на указанный адмиралом курс.

Коковцева отыскал почти обезумевший Эйлер:

– Динамо ослабели, электричество едва теплится. Даже пиронафтовые фонари гаснут от обилия газов. Я кричу в каждый люк – никакого отклика… Неужели в нижних отсеках одни трупы? Мрак и трупы! Открыть кингстоны? Я не сыщу штурвалов!

– О чем ты, Леня? Какие кингстоны? Это уже конец…

Словно подтверждая эти слова, рядом лопнул японский снаряд, и Коковцева с Эйлером разбросало в разные стороны. Трюмный штабс-капитан катился среди обломков рваного железа, хватаясь руками за лицо, кричал, что он ничего не видит:

– Я не вижу! Вова-а… где ты? Не вижу, не вижу…

Коковцев встал и рухнул снова. Что такое? Сапог разорван, из его обрывков торчала развороченная ступня. Боли не было. Дохромав до Эйлера, он оторвал его руки от лица. По щекам трюмного инженера, противно и дрябло, вытекли глаза.

– Держись! – сказал Коковцев. – Я отведу тебя.

– Куда? – орал Эйлер. – Куда? Я не вижу…

А в самом деле – куда вести? Из ада в ад?

– Сиди. Вот так. Сиди. Сейчас я разыщу санитаров…

Эйлер судорожно хватал руками желтые газы:

– Я никуда не уйду… Что кричат там, в корме? Вова-а…

– Да здесь я, здесь. К нам подходит миноносец.

– Японский, да? Мы разве в плену? Вова-а.

– Нет, нет! К правому борту подходит «Буйный»…

«Буйным» командовал кавторанг Коломейцев.

– Коля, – окликнул его Коковцев, – ты откуда взялся?

Под бортом «Суворова» море швыряло маленький миноносец. Коковцев глядел вниз, Коломейцев задирал голову кверху:

– Слушай, что у вас тут творится? Я ведь ничего не знаю. Приказов не получал. Шел мимо. Вижу, горите. Думаю – дай-ка спрошу, не надо ли помощи… Рад видеть тебя живым!

– Коля, принимай адмирала, – объявил Коковцев.

Волна, приподняв эсминец, обрушила его вниз, и шумные потоки воды неслись по его палубе. Коломейцев – в рупор:

– Я ни хрена не слышу… повтори!

Коковцев повторил, чтобы снимал Рожественского.

– Не болтай глупостей! Ты же сам миноносник… видишь, какая прет волна. Как я сниму? Есть ли у вас шлюпки?

– Сгорели или разбиты… нету. Ничего нету.

Заметив корабль под бортом броненосца, японские крейсера Камимуры открыли по ним интенсивный огонь. Далее весь нервный диалог двух миноносников строился в редких паузах между бросками волн и взрывами снарядов.

Коковцев доказывал:

– Ломай борт в щепки… пусть трещит мостик и даже твои кости! Но адмирала надобно снять… Слышишь? Это приказ.

– Черт с тобой, Володя, давай Зиновия!

Легко сказать – дай! Но исполнить это – все равно, что с крыши многоэтажного горящего здания, которое сейчас обрушится, передать младенца на крышу маленького сарая, готового вот-вот быть раздавленным. Оценить всю дерзость подобного маневра могут, кажется, одни моряки, да и то лишь те, что уже побывали в различных переделках!

Рысцой прибежал вестовой адмирала – Петька Пучков:

– А хучь убейте: не идет адмирал, и все тут.

– Ты сказал ему, что «Буйного» нам бог послал?

– Сказал. А он – кувырк, и папироска во рте…

Коковцев рванулся вперед, но тут же упал от боли в ноге:

– Где Клапье де Колонг? Где, наконец, все?

Лейтенант Кржижановский не покидал носовой башни:

– Адмирал еще у меня. Иногда без сознания. А иногда спрашивает, что с эскадрой? От перевязок отказывается. А дверь в башню заклинило. Осталась щель… Во! Крыса не пролезет.

– Ничего. Протиснусь, – сказал Коковцев, и, теряя пуговицы с тужурки, страдая от ран, он проник в башню, внутри которой сидел Рожественский, голова его была замотана окровавленным полотенцем, возле ног адмирала валялись погасшие окурки, это удивило Коковцева. – Что, он еще курит?

– А! – отмахнулся Кржижановский. – Лишь покуривает…

Рожественский на минуту снова обрел сознание:

– Отыщите мне Филипповского… флагштура!

– Если он не сгорел в посту, – ответил Коковцев.

– Хоть пепел от него! Он помнит наши маневры. Он, единственный, должен знать все, чего не знает никто…

Филипповский не мог двигаться. Старика притащили на себе матросы. Лицо флагманского штурмана было сплошь залито кровью, будто в него выпалили заряд мелкой дроби, а эту ужасную маску лица покрывало копотью пожаров и пиронафтовых фонарей.

– Без вас я никуда, – объявил ему Рожественский.

– Если решили уйти, – отвечал штурман эскадры, – так оставьте меня на «Суворове»: хочу с ним и умереть.

Кржижановский притянул к себе за рукав Коковцева:

– Что их, дураков, слушать? Они ведь уже ни черта не соображают. Думайте, как вытащить адмирала из башни!

Все происходило под неустанным огнем крейсеров Камимуры. С палубы позвали матросов. Забравшись в башню, они дружно вцепились в адмирала, и он, вскрикнув, снова потерял сознание.

– Оно и лучше, – говорили матросы, пропихивая Рожественского, словно дряблый большой мешок, в узкий просвет заклиненной двери. – Трещит… ой, трещит! Чего там трещит? Это япошка натрещал и навонял тута… Тужурка, балда, трещит! Так што нам с того? Не мы ее шили, не мы пропьем… Давай, Ванька, меньше думай – умнее станешь! Тащи… тащи яво!

Адмирала хотели передать на связанных койках, но боцман с «Буйного», человек опытный, концов не принимал:

– Эй, халявы! Кого передавать на концах хотите?

– Да адмирала… кого ж еще?

– Бурдюк с твоим поносом – и тот лопнет сразу! Или не вишь, пентюх, какая волна накатывает… Соображать надо!

Коковцев понял, что ему спасаться бессмысленно.

– Коля, – позвал он Коломейцева, – попрощаемся. Меня в спину… ходить не могу. Но прими адмирала… Рискни!

В обычных условиях за такой риск командирам кораблей если не снимали с них голову, то срывали с плеч эполеты. Но Коломейцев понял и сам, что ждать больше нельзя.

– Мы отходим! – отвечал он. – Не дури… прыгай!

Уродливые изломы железа бортов, выпученные из батарей обрубки орудийных стволов, вся рвань сетевых заграждений, еще горевшая в смраде, – Коломейцев рисковал распороть свой миноносец обо все это, режущее и торчащее наружу, словно ножи.

– Адмирал на «Буйном», – раздались голоса.

– Давай других… смелее! – кричали с эсминца.

«Буйный» снял с броненосца пять офицеров штаба. Матросы перебросили Коковцева на миноносец, выбрав такой идеальный момент, когда «Суворова» опустило на волне вниз, а другая волна подняла «Буйный» кверху: их палубы на секунду образовали единую плоскость. Подвывая от боли, каперанг взобрался на теплый кожух машинного отделения и затих там – в муках. Он слышал, как на мостике «Буйного» давал свистки Коломейцев.

– А вы что? – кричал он оставшимся на «Суворове».

Офицеры флагманского броненосца выстроились на срезе батарейной палубы – вровень с матросами. Стояли рядом:

– Мы остаемся вместе с кораблем… Ура, ура, ура!

– Уррра-а-а… – подхватила команда миноносца, прощаясь с ними навеки, и «Буйный» задрожал от работы машин.

В последний миг Коковцев заметил, что на том месте, где оставил он Эйлера, зияла страшная дыра прямого попадания. Потом из этой пробоины жарко выбросило длинный лоскут яркого пламени – снова пожар! Но… кто будет тушить его? Больше никто и никогда не видел «Суворова».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Никто и никогда, кроме японцев… Для нас, русских, «Суворов» попросту растворился в безбрежии моря, удаленный течением из эпицентра битвы, и мы знаем о нем лишь то, что сообщили потом сами же японцы. Совершенно случайно, вдали от боя, тринадцать кораблей Того заметили разбитый и сгорающий броненосец, а где-то еще дальше дымила пожарами работящая «Камчатка». С плавучей мастерской японцы разделались в два счета, не позволив уцелеть с нее никому – ни офицерам, ни матросам, ни питерским пролетариям…

Вот тогда броненосец «Суворов» открыл огонь!

Сам в огне, он повел огонь по врагу.

Запомним: он сражался единственной маленькой пушкой.

Один – против тринадцати! Он сражался… Казалось бы, уже все? Нет, не все.

Полтора часа подряд японцы уничтожали русского флагмана, невольно восхищенные его мужеством и непотопляемостью. Но вот солнце склонилось к горизонту, и «Суворов», освещенный последним его лучом, с шипением и треском, в дыму и пламени, медленно и величаво погрузился в бездну, так и не став побежденным. Японские миноносцы обрыскали место его гибели.

Ни единой щепки. Ни единого человека! Пусто…

У каждого корабля своя биография, свой некролог.

Гвардейский броненосец «Александр III» покинул строй с губительным креном, который, быстро увеличиваясь, заставил его перевернуться. Люди облипали его черное днище, цепляясь за водоросли, растущие на нем, словно чудовищный лес, а японские снаряды сбрасывали в море целые толпы людей. «Александр III» увлек за собой всех, ни одного спасенного не было.

«Бородино», почти весь день водивший за собой эскадру, объятый пламенем, продолжал стрельбу. Он тоже перевернулся. Но до самого конца не покинул строя, и следующие за ним корабли прошлись над его клокочущей могилой, из которой они успели выхватить только одного человека – это был матрос Семен Ющенко, георгиевский кавалер…

Темнота нахлынула сразу – без сумерек. Небогатов на своем «Николае I» обогнал разрушенного в битве «Орла» и, заняв место впереди, повел остатки разгромленной эскадры далее.

К чудесному городу по имени Владивосток!

Адмирал Того выпустил во мрак ночи разъяренные стаи гончих – это его эсминцы, кренясь, ринулись в атаку.

Их командиры жаждали. Славы. Орденов. Чести. Денег.

Добить. Доломать. Дожечь. Истребить все…

Чтобы ничего не осталось от русских на волнах моря.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вернемся на «Буйный»… Рожественский и офицеры его штаба были сняты эсминцем с флагмана за два часа до захода солнца.

– Держать ли мне ваш флаг? – спросил Коломейцев.

– У меня нет флага, – ответил ему Рожественский…

Он распорядился поднять сигнал: КОМАНДОВАНИЕ ЭСКАДРОЙ ПЕРЕДАЮ АДМИРАЛУ НЕБОГАТОВУ. Затем впал в бредовое состояние, но – уже с носилок – вдруг произнес очень внятно:

– О чем речь? Курс прежний – на Владивосток, и пусть эти слова станут для всех моим – последним приказом …

В дымной мгле сражений не могли разобрать флагов, тогда кавторанг Коломейцев подогнал своего «Буйного» к «Безупречному», обратясь через рупор к его командиру Матусевичу:

– У меня адмирал. Ранен. Будь другом, выручи: сбегай до Небогатова, передай ему сигнал голосом… Понял?

«Безупречный» помчался. «Николай I» отреагировал на это флагами: КОМАНДОВАНИЕ ПРИНЯЛ. СЛЕДОВАТЬ ЗА МНОЙ. Коковцев, цепляясь за поручни трапа, поднялся на мостик миноносца. Клапье де Колонг был, кажется, недоволен его появлением.

– Шли бы вы отсюда, – сказал он. – Вы же с ног валитесь. А на мостике и без вас народу хватает, не повернуться…

Это обидело Коковцева, с возмущением он ответил:

– Я такой же флаг-капитан, как и вы, Константин Константинович, а поднялся, чтобы узнать о судьбе сына с «Осляби».

Коломейцев дружески подтолкнул его к трапу:

– Володя, не спорь. В носовом кубрике и х полно…

Коковцев не стал спорить, но спросил: куда идем?

– Напролом – к Дажелету, а там что бог даст…

Меркнущий горизонт пронзали яркие вспышки – как зарницы над хлебными полями, когда созревает колос: это вдалеке продолжалось Цусимское сражение.

Пристанывая от боли ранений, Владимир Васильевич спустился в кубрик. «Буйный» сумел спасти много людей из экипажа «Осляби», и теперь, в синем полумраке ночных ламп, перед Коковцевым ворочалась стонущая, хрипящая, желающая жить и тут же умирающая, громадная, переплетенная ногами и руками масса живого, но уже негодного ни к чему человеческого материала. Он спросил наугад:

– Мичман Георгий Коковцев… нет ли его?

Умирающий от кашля, мичман Басманов сказал:

– Здесь четверо офицеров. Но вашего сына нет с нами… Не отчаивайтесь: нас хватали с воды четыре миноносца. Может, он на «Блестящем» или «Бравом»?

Явилась робкая надежда, что Гога еще жив. Но к горлу подступила вдруг липкая тошнота. Владимир Васильевич прислонился к пиллерсу, креном его сбросило на палубу. Он долго лежал в груде людей, которые еще утром общались с его сыном… Очнулся от ужасного озноба, бившего все тело. Над ним склонился фельдшер Кудинов и еще кто-то, незнакомый.

– Кто вы? – спросил его Коковцев.

– Мичман Храбро-Василевский, прямо с мостика.

– Зачем меня разбудили? Так было хорошо.

– Нас прислал командир. Мы уж думали, что вас смыло волной за борт. С трудом отыскали. Пойдемте отсюда…

Его отволокли в кают-компанию, где Коковцеву показалось намного хуже, чем в «низах». На узких диванчиках лежали раненые (или, может, подвахтенные, которым хотелось просто выспаться?). Коковцев расплакался, как ребенок.

– Потерпите… до Владивостока, – сказал ему мичман.

– Какой тут к черту Владивосток? Оставьте меня…

«Буйный» взлетал на гребень волны, потом его опускало вниз, и было слышно, как потоки воды омывают его карапасную палубу. Коковцев сам забрался под стол. Притих, сжавшись. Фельдшер Кудинов разрезал сапог на его ноге, упрекнул:

– Что же вы? Надо было ранее босиком ходить. А то, сами видите, какой уж час в грязи да мрази шлепали…

Он перевязал ступню, кое-как приделал к ноге распоротые ошметки сапога, велел из-под стола не вылезать:

– Иначе вас тут в темноте затопчут… Не дай бог, аллярм сыграют, тогда все, как стадо, в люк кинутся…

Странно, что сейчас для Коковцева не было на белом свете никого роднее и ближе этого безвестного фельдшера, и, схватив матроса за руку, он благоговейно ее поцеловал.

– Что вы, ваше высокоблагородие, – застыдился Кудинов…

«Буйный» опять вздымало кверху, душа неслась, будто в городском лифте, отчего вдруг вспомнилась тихая квартира на Кронверкском, пахнущая озоном ванная с ворохом пушистых и мягких полотенец. Он ерзал телом на голом железе палубы, над ним скрипела доска обеденного стола, грязная вода сочно шлепалась вокруг него. И сладостные, уверенные гимны прошлой блаженной жизни бушевали в разрушающемся сознании:

Нет панихиды похоронной,Как нет и гробовой доски…Но, даже мертвые, впередСтремимся мы в отсеках душных,Живым останется почет,А мертвым орденов не нужно…С этим он погрузился в мучительный сон. Его взбодрила возня на верхней палубе, резкие призывные голоса. Коковцев подтянулся к иллюминатору: в круглом стекле, будто в аккуратной рамочке, качался кусок моря, в нем – крейсер «Дмитрий Донской», а вдалеке захлестывало пеной эсминцы «Бедовый» и «Грозный». Он вспомнил их командиров – Баранова и Андржеевского…

– Эй, – окликнули через люк, – которые тута из штаба?

– А что? – спросил Коковцев.

– Машины не тянут. Угля – кот наплакал. Так што, которые, значит, при адмирале были, теих просят на крейсер…

Хмурый рассвет начинался над океаном. Матросы уже тащили носилки, к которым был привязан Рожественский. Недавно еще грозный владыка могучей эскадры, он теперь напоминал бездушную куклу, с которой можно вытворять все, что хочешь.

Кажется, он и сам это понял. Понял и взбеленился.

– На крейсер не пойду, – вдруг заартачился он.

Клапье де Колонг уговаривал: на «Дмитрии Донском» безопаснее, нежели на этих трясучках-миноносцах, крейсер имеет отличный лазарет, офицеры – хороший стол.

– С…ть я хотел на твой стол, – нахамил ему адмирал. – Лучше уж на «Бедовый», к Баранову… тащите, братцы. Марш!..

Почему он так решил? Почему отказался от крейсера? Может, в душе адмирала еще не угасли порывы юности, связанной с жизнью на миноносцах? Этого мы никогда не узнаем. Носилки с Рожественским, поставленные на попа, воткнулись сверху в палубу катера, и адмирала чуть было не сковырнули в море.

– А вы? – спросил Клапье де Колонг Коковцева.

– У вас ноги целы… прыгайте… я за вами…

Но сразу решил, что лучше оставаться на «Буйном». Коковцев проследил, как в кипении моря быстро исчезли «Бедовый» и «Грозный». Коломейцев позвал его с высоты шаткого мостика:

– Ты остался? Смерти с нами ищешь?

– Надоело слушать всякую ерунду. Будем умнее.

– Тогда спускайся ко мне в каюту. Я сейчас…

Чашка чаю с коньяком и порошком лимонной кислоты была кстати: Коковцев чуть оживился. В углу командирской каюты валялись комки окровавленных бинтов – после перевязки Рожественского. «Буйный» мотало в дрейфе, пока крейсерские шлюпки перевозили на «Дмитрия Донского» спасенных с броненосца «Ослябя»…

Николай Николаевич Коломейцев сказал:

– Нелепый фарс! Зиновий от Либавы до Ван-Фонга дрожал над каждым куском угля, делая из бункеровок пытку для экипажей, а в самом конце пути всевышний наказал его – угля не стало… Очень больно, Володя? – спросил он участливо.

– Иногда – хоть кричи. А сейчас полегчало…

На трапе Коломейцев поддерживал его за локоть.

– Что мне делать с «Буйным», когда уголь кончится?

– Топи его… не сдавать же японцам!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Многое из того, что творилось за чертой горизонта, было недоступно пониманию моряков… В ночь на 15 мая Того атаковал остатки русской эскадры, плывущей под флагом Небогатова. Море было пропитано фосфорным блеском – все вокруг светилось с такой непостижимою красотой, будто плавилось серебро, под форштевнями броненосцев буруны росли как драгоценные слитки. Отчаянные атаки японцев разрушили систему эскадренного строя, и множество кораблей, потеряв связь с флагманом, в трагическом одиночестве рассекали эту страшную ночь килями, помня одно – курс: Владивосток!.. В луче прожектора запечатлелась одна сцена. Вот она: на мостике подбитого японского миноносца стоял командир, еще молодой офицер, и с философским спокойствием докуривал свою последнюю папиросу. Самурай был настолько преисполнен презрения к русским, что даже не повернул головы, когда броненосец проходил мимо. Его эсминец сильно парил разорванными котлами… Залп! Японский корабль разорвало на две части, которые, встав вертикально, с шумом и свистом ушли в бездну, и огонек папиросы самурая погас навеки.

Небогатов тогда восхищенно сказал:

– Умеют они, сволочи, помирать… а мы?

К рассвету у него остались лишь флагманский «Николай I», «Орел», сильно избитый в дневном бою, «Адмирал Сенявин», «Генерал-адмирал Апраксин» и крейсер «Изумруд»… Еще не было пяти часов утра, когда горизонт начал заполняться дымами японских кораблей. Того крепко спал в салоне своей «Миказы», качавшейся в тридцати милях от острова Дажелет; его разбудила радиосводка от вице-адмирала Катаоки, наблюдавшего движение русских к югу от Дажелета. Того поспешил на пересечку, и в 10 часов утра небогатовская эскадра (в пять вымпелов) увидела перед собой такое незабываемое зрелище, от которого даже у бесшабашных смельчаков кровь стыла в жилах.

Куда ни бросишь взор, сверкали сталью японские эскадры – адмиралов Катаоки, Уриу, Камимуры, Девы и самого Того, всего 28 боевых вымпелов! Крейсер «Изумруд», почуяв на шее удавку, сразу выбросил сигнал: «Прошу разрешения идти на Владивосток». Небогатов не дал ему ответа, срочно собирая на мостике флагмана военный совет: что делать? как быть?.. Железные тиски, в которые японцы удачно замкнули русских, казались нерасторжимы. Но самое удивительное в том, что издалека японская армада выглядела свежо и добротно, будто вчера не было никакой битвы. С дистанции в шестьдесят кабельтовых они открыли огонь по флагманскому «Николаю I», но отвечал на их выстрелы лишь доблестный, весь израненный броненосец «Орел».

Небогатов якобы сказал тогда своему штабу:

– Эти пять старых, истерзанных развалин не стоят многих человеческих жизней… Готовьте «953» к подъему!

«Николай I» поставил машины на стоп, он спустил флаги, а на мачту взлетел сигнал «953», означавший: «Сдаюсь». Сигнальщики броненосцев репетовали сигнал, переведенный с Международного свода на общедоступный язык: ОКРУЖЕННЫЙ ПРЕВОСХОДЯЩИМИ СИЛАМИ ПРОТИВНИКА, ВЫНУЖДЕН СДАТЬСЯ.

Японцы, не разобрав цифровой код, продолжали забрасывать «Николая I» снарядами, и тогда, чтобы спасти флагмана от расстрела, «Орел» задробил стрельбу своих башен. Все умолкло. На мачту «Николая I» медленно вползало знамя Страны восходящего солнца…

Слышались рыдания измученных людей, крики:

– К едреней матери! Не сдаваться! Вперед! На прорыв! Эй, трюмачи, какого хрена спите? Раздраивай кингстоны…

«Изумруд» тоже стал поднимать над собой флаг Японии, но в середине подъема сигнальщик резко дернул фалы назад. Вот этого никто не ожидал – ни Того, ни сам Небогатов. «Изумруд» воздел стеньговые красные флаги (означающие: к бою!) и рванулся в узкий промежуток между эскадрами адмиралов Девы и Того. За дерзким и непокорным погнались отличные ходоки – «Читозе» и «Касаги», но «Изумруд» прорвал кольцо блокады и пошел, пошел, пошел… прямо во Владивосток! Пусть же память об этом «Изумруде» останется для нас, читатель, священна…

Но такой памяти не заслужил миноносец «Бедовый».

Зиновий Петрович часто терял сознание, безжизненно отдаваясь качке, и даже опытный врач с «Дмитрия Донского» (так и оставшийся на «Бедовом») считал положение адмирала безнадежным. Командир «Грозного», кавторанг Андржеевский, вел свой эсминец впереди «Бедового», хорошо различая на его мостике две фигуры в дождевых плащах – флаг-капитана Клапье де Колонга и командира кавторанга Баранова. Ни «Бедовый», ни «Грозный» никаких повреждений не имели, их машины работали хорошо. Миновало уже четыре часа после того, как они расстались с «Дмитрием Донским» и «Буйным», добиравшим из бункерных ям последние остатки угля… Сигнальщик сорванным голосом вдруг доложил Андржеевскому, что по левому крамболу – два дыма. Это шли японские миноносцы. Напряжение на мостике проявилось в суровом молчании, которое нарушил сам Андржеевский:

– «Сазанами» и «Кагеро»… Передайте на «Бедовый», чтобы набирали обороты. Японцы, чувствую, от нас уже не отвяжутся, а посему… По местам стоять, орудия – к бою!

Но ручка телеграфа на «Бедовом» осталась в положении «средний ход». Клапье де Колонг сказал Баранову:

– Нельзя же рисковать жизнью адмирала ради одного паршивого миноносца… Нам этого никто не простит!

Эти два человека сразу отказались от мысли о сопротивлении двух эсминцев против двух эсминцев противника. Впрочем, ради соблюдения проформы, Клапье де Колонг навестил в каюте Рожественского, доложив ему о преследовании:

– «Кагеро» и «Сазанами»… уже близко. Нам не уйти!

Рожественский ни слова не ответил. Он открыл глаза и снова закрыл их. Затем последовал внятный кивок умирающего человека. Это был момент, когда с мостика «Грозного» Андржеевский разглядел, что «Бедовый» совсем застопорил машины. На его фалах развернулся флаг, умолявший врага о милосердии, флаг Международного Красного Креста, который боевой эсминец превращал в плавучую больницу. А потом…

– Мерзавцы! – сказал Андржеевский, ставя телеграф на «полный вперед». – Господа, мы сорвем банк на отходе…

«На отходе» – это значит, что действует кормовой плутонг. Пушки его метелят преследующего по носу. А любая дырка в носу преследователя – на скорости погони! – становится брандспойтом, из которого вода вонзается внутрь такими бивнями, что способна убить человека насмерть. «Сазанами» остался сторожить «Бедового» с адмиралом, за «Грозным» погнался быстроходный «Кагеро». Бой на отходе длился сорок пять минут. Иногда японцы (в смелости им не откажешь) сближались до двадцати шести кабельтовых. Поражали друг друга в упор: настигающий «Кагеро» бил под корму «Грозного», отходящий «Грозный» заколачивал снаряды в «скулы» японского миноносца. В результате «Кагеро» вдруг закутался облаком пара, осел носом и, быстро отставая, исчез в волнах. На мостике «Грозного» – каша из убитых, а на лице Андржеевского вместо глаза – страшная кровавая впадина… С трудом он отвел руки от израненного лица.

– Но банк сорвали, – сказал он. – Пошли дальше…

На остатках топлива, спалив в котлах пробку и дерево обшивки, кидая в котлы штаны и рубахи, сухари и книги, они вечером 16 мая вышли к острову Аскольд, где, не в силах уже двигаться, запустили под облака воздушного змея с радиоантенной, передав во Владивосток скромную просьбу: «Пришлите врача, воды и угля. Дойдем сами…».

Итак, Небогатов сдался. Рожественского сдали.

Но мы оставили Коковцева на миноносце «Буйный».

Только что им делать? У них же угля – кот наплакал…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В ходовой рубке «Буйного» ругался рулевой кондуктор:

– Прогадили честь флота русского… ах, прогадили! Сколь лет табаню, в пятку тянусь, да рази ж мне пришло бы такое в голову? Был до флоту приказчиком в магазине, бабам ситцы аршином мерил, а меня, дурака, сюда потянуло, пофорсить захотелось… Вот и влип в самое дерьмо! Ой, беда, беда…

– Не шуми, – сказал Коломейцев. – Опять три дыма…

Сначала их было шесть. Теперь остались три. Но два уплыли к северу, нагоняя крейсер «Дмитрий Донской», а один начал сближение с отставшим русским миноносцем. Коломейцев сказал:

– Кажется, сейчас нас будут разносить в куски…

Коковцев взором опытного миноносника правильно оценил обстановку, даже забыв о боли, вытянулся, весь в напряжении:

– Приводи японца на правую раковину, тогда, Коля, можно действовать двумя плутонгами сразу – и с носа, и с кормы.

– Попробую, – согласился Коломейцев, и струя воды, взбаламученной винтами эсминца, описала по морю широкую дугу разворота: теперь японцы настигали «Буйный» с кормы, но чуть отступив вправо, подставляя свой левый крамбол.

– Там его и удерживай! – крикнул Коковцев. – Можете ли дать хотя бы сто двадцать несчастных оборотов?

– Мог… только не здесь, а на Транзундском рейде.

– У-у, черт побери… – Понимая, что «Буйный» все равно обречен, Владимир Васильевич приник к амбушюру переговорной трубы, командуя: – Прибавьте оборотов… сколько можно!

– Машины разнесет, – утробно отвечала труба.

– Плевать! Игра стоит свеч… давай, выжимай узлы!

Физически он ощутил напряжение эсминца, который задрожал, будто человек в лихорадке. Пушки заговорили разом. Четырехствольные автоматы системы Норденфельда выпускали снаряды с таким противным скрипом, словно где-то во тьме ночного Парголова хулиганы отрывали от забора доски с гвоздями…

Кондуктор, осунувшись телом, еще стоял у руля:

– Амба… открасовался! Примите штурвал…

Ничком он сунулся в кучу сигнальных флагов, быстро их переворошив, будто искал что-то потерянное, и – умер. Так быстро умер, словно ему дали смертельный яд… Эсминец валило в затяжном крене, корпус его сотрясался на залпах плутонгов, кормового и носового. Японский миноносец отвернул в сторону, не выдержав огня. Коломейцев опустил бинокль:

– Связался черт с младенцем… Санитары, убрать убитого!

На последних остатках топлива «Буйный» нагнал «Дмитрия Донского», задержав его сигналом: «Просим остановиться». На мостике крейсера реяла рыжая бородища командира – Лебедева.

– Что еще там стряслось? – зычно вопросил он без рупора.

– Машины – вдрызг, котлы засолились, угля – на лопате…

После короткого совещания решили: команду миноносца заберет крейсер, после чего Лебедев указал штурману:

– Отметьте координаты и время. По «Буйному», господи благослови и прости ты нас, грешных, – огонь!

Эсминец, вздрагивая от попаданий, никак не желал тонуть от своих же снарядов, его трудная кончина задержала крейсер в семидесяти милях к югу от Дажелета. Затем «Дмитрий Донской» набрал ход, но ближе к вечеру вокруг крейсера возникло множество дымовых шлейфов, скоро проступили и очертания японских кораблей… Коковцев спросил каперанга Лебедева:

– Иван Николаич, а сколько еще до Владивостока?

– Миль триста… если ничего не случится.

– Так уже случилось, – ответил Коковцев.

Он спустился в лазарет, чтобы сменить перевязку.

– Что веселого? – спросил врач, кивая на потолок.

– Дымы.

– Много?

– Четыре крейсера и, кажется, отряд миноносцев.

– Вам бы лучше остаться в лазарете и полежать.

– Благодарю. Что лежа, что стоя – один черт…

Когда он, хромая, выбрался из лазарета, старший офицер Блохин сообщил, что появились еще два крейсера:

– Честь имеем: противу нас вся эскадра Уриу.

Настигая русский крейсер, японский адмирал Уриу расцветил свои мачты сигналом: АДМИРАЛ НЕБОГАТОВ СДАЛСЯ.

– Огонь! – скомандовал Лебедев, и порыв горячего воздуха распушил его бороду, словно веник.

Погоня за одиноким крейсером длилась до позднего вечера, когда по левому траверзу «Донского» обрисовались контуры мрачной и нелюдимой скалы Дажелета. Уриу вызвал по радио от берегов Кореи еще два крейсера, еще два эсминца. Забежав на пересечку курса, они захлопнули то крохотное «окошко», через которое корабль устремлялся к Владивостоку. Но пока еще не стемнело совсем, Уриу поднял второй сигнал, чтобы русские знали: РОЖЕСТВЕНСКИЙ ТОЖЕ В ПЛЕНУ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СДАТЬСЯ.

– Усилить огонь, – отвечал Лебедев, а офицеры крейсера оживленно заговорили:

– Что, разве и Зиновий сдался?

– Если это правда, то мы, русские, стали на морях хуже испанцев…

Коковцев вспомнил адмирала Сервера, рыдающего взахлеб, когда у берегов Кубы победители-янки тащили его из воды за шкирку. «Неужели и нам уготован такой позор?..» На секунду его мысли перекинулись в недавнее былое, когда у Кюба играл румынский оркестр, а он, по-юношески оживленный, чаровал большеглазую Ивону своими новеллами… Чем же теперь закрыть дыру на том месте, где навсегда оставил он кричащего от ужаса Леню Эйлера? Об этом лучше не думать…

Лебедев, развеваясь бородищей, словно сказочный витязь, держал в громадных кулаках рукояти машинного телеграфа; его крейсер отстреливался с двух бортов сразу, и он, оглядывая горизонт, говорил в паузах между регулярными залпами:

– Наверное, в салонах Питера всякие мудрецы в пенсне и резвые дамочки уже обливают нас помоями. Им кажется, что дойти до Владивостока примерно так же приятно, как на речном трамвае до променада в Мартышкине… Господа, не пришло ли время топить корабельную казну и все тайные шифры?

С секретными кодами топили и казенные деньги. За борт сыпалось чистое русское золото. Возле стояли матросы, у которых дома гнилая соломка покрывала избяные крыши, но ни у кого не возникло ничтожкой мыслишки – сунуть в карман штанов хотя бы один червонец. Казначей, расщедрясь, взывал:

– Налетай, братцы! Кому деньжат хоца?

Какие там деньги? Жить – вот главное сейчас…

– А вот и меня! – вдруг гаркнул Лебедев.

С этими словами богатырь грохнулся навзничь на решетки мостика, дрожащие вместе с крейсером от напряжения машин.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Кто уже пережил расстрел шимозою и вкусил от тьмы пучины, для тех вторичное испытание огнем и водою вдвойне невыносимо. Именно в таком положении и оказались на «Дмитрии Донском» спасенные с «Осляби» и «Буйного»: число убитых и раненых среди них перевалило уже за двести человек. Сами не участвуя в бою, они погибали, как посторонние свидетели этого беспримерного боя… По мере приближения Дажелета японцы активизировали стрельбу, пространство вокруг крейсера наполнялось нескончаемым гулом, пожар за пожаром вспыхивали в надстройках. Старый корабль разрушался под ударами, внутри отсеков все билось и трещало – стекла, посуда, картины, лампы, шпаклевка. Кусками отскакивала от бортов защитная пробка. От страшного шума люди глохли и теперь кричали. Место командира занял старший офицер Блохин, сказавший офицерам:

– Погреба истощены, насосы холостят, в нижних отсеках полно забортной воды… Пусть меня судят, но я выброшу крейсер на камни Дажелета, чтобы спасти людей… хотя бы с «Осляби»!

Из погребов кондукторы докладывали на мостик:

– Снарядов осталось минут на десять боя. Открывайте кингстоны… здесь, в погребах, больше не выдержать. Вода-а! Мы торчим по шею в воде. Элеваторы отказывают… все!

Последние пиронафтовые фонари чадили на переходах, трапы сбило огнем, валялись трупы, похожие на вялые мешки, разбросанные кем-то повсюду. Дажелет приближался, и Блохин отдал команду к спасению:

– Первых с «Осляби», потом с «Буйного», затем мы.

Спасаться? Но – как? Шлюпки и катера давно разбиты.

– Выносить раненых наверх, вязать их к койкам и выбрасывать за борт, – распоряжался Блохин с мостика.

Коковцев попрощался с офицерами крейсера, на палубе его придержал молодой матрос с приятным лицом. Даже козырнул:

– Ваш высокобродь, а что дале-то будет?

– Я бы сам хотел знать это, братец… Ранен?

– Бог миловал, – отвечал матрос. – Ошалел, это верно.

– Помоги мне… можешь? Вместе выкупаемся.

– Как не понять? Вместях завсегда веселее…

Над ними, упавшими в быстробегущую воду, тяжело и мощно промчало крейсерский корпус. Вынырнув, Коковцев увидел, что японцы спускают шлюпки, а все море усеяно головами людей, плывущих к Дажелету. «Дмитрий Донской», кажется, уже сбросил давление в котлах, он качался на большой глубине, впуская в себя через кингстоны забортную воду. Его мостик по-прежнему был заполнен офицерами – они уйдут последними… Неистовый кашель удушал Коковцева после того, как он заглянул во впадину бездны, где так темно и жутко (и где, может быть, уже навеки затих его сын). Матрос вцепился во флаг-капитана, усердно его поддерживая, орал прямо в ухо, сочувствуя:

– Сблюй!.. Сблюй – легше станет, трави, трави, трави…

Волна несла их на пенистых плюмажах гребня, потом сбрасывала пловцов куда-то низко, и в эти моменты Коковцев не различал ничего, кроме водяных стен, окружавших его. Японцы со своих кораблей старательно светили прожекторами, отчего море, и без того мрачное, казалось еще ужаснее.

– Как зовут? – спросил Коковцев, чуть отдышавшись.

– Бирюков я… Пашка… гальванер… мы-то рязанские!

Волна несла дальше, то вздымая наверх, то погружая в глубину, и Коковцев сорвал с ремешка именные часы.

– Ты моложе меня, – сказал он Бирюкову. – Может, и доплывешь до Дажелета, а я… возьми! Держи часы…

Бирюков, словно он сошел с ума, дико захохотал.

– Да куды ж я опаздываю? – спросил Пашка, длинной струйкой выпуская изо рта лишнюю воду. – На што мне в ваши часы глядеть? Или уж остатние минутки считать? Ха-ха-ха…

– Слушай… не дури! Коли спасешься, отдай часы сыну моему… Никите Коковцеву! Запомни и адрес, братец: Петербург, Кронверкский… дом со швейцаром. Я там живу… там я жил!

Бирюков перехватил часы, волна тут же разорвала их руки, офицера повлекла в одну сторону, матроса в другую.

– Отда-а-а-ам… – пропаще замерло вдалеке.

Одиночество сразу ослабило волю. Утопающий за бритву хватается, но сейчас перед Коковцевым – только волны, и не было даже бритвы, чтобы за нее ухватиться. Дажелет высился в освещении прожекторов, напоминая театральную декорацию, мимо с адским шумом промчало большое тело незнакомого корабля, и Коковцева чуть не затянуло под его работающие винты. Волшебной чередой в сознании возникали вещи, которые он трогал, женщины, которых целовал, деньги, которые транжирил, и застолья, на которых роскошествовал… Это был конец!

В шуме моря – скрипы уключин и всплески весел.

– Скорее… скорее… – шепотом умолял Коковцев.

Волна вскинула его выше, он увидел белый вельбот, а японский офицер, сидевший на румпеле, показался спасителем.

– Хаяку… хаяку! – звал его Коковцев. – Скорее…

Грубые руки вцепились в воротник тужурки, потащили Коковцева внутрь шлюпки; японский офицер держал в руке русско-японский разговорник, из которого с улыбкой вычитал слова:

– За-да-расту, – сказал он. – Каки пожи-ва-те?

– Камау-на, – отвечал Коковцев. – Исибани дес…

Да! Теперь все хорошо, даже великолепно. Японский офицер, вроде бы даже разочарованный таким оборотом дела, сунул разговорник в карман. Под банкою вельбота, выпучив глаза, сидел крейсерский священник и, громогласно икая от ужаса, держал на вытянутой руке клетку с попугаем. Попугай был мертв! А вокруг Коковцева вяло, словно сонные крабы, шевелились тела спасенных, сотрясаемые приступами надрывного кашля. Это клокотала в их легких вода… Коковцева бурно вырвало. В состоянии шока, он еще не понимал, что открывается новая страница его биографии – он в плену!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Внутри японского крейсера – как в хорошем доме, и тепло и чисто; под ногами плетенки манильских матов; ровное гудение машин и вытяжной вентиляции. Надо отдать должное японцам: вели они себя удивительно сдержанно, не проявляя перед русскими никакой радости по случаю победы над ними. Коковцева провели по отсекам так замечательно, что при всем желании флаг-капитан не смог бы заметить ни боевых разрушений, ни особенностей в японском вооружении. Он оказался в низком полутемном отсеке, покрытом линолеумом. Здесь горевали пленные офицеры с кораблей Рожественского и Небогатова, еще не вышедшие из транса после событий 14 и 15 мая… А в углу каюты плоско вытянулся мертвец, закинутый желтым одеялом. Сидевшие потеснились, освобождая место для Коковцева, и он сел, представившись офицерам. «Что им сказать?»

– Я ничего не понимаю, – сказал он. – Мы ведь в этом деле не были дурачками. Слава богу, честно трудились на благо флота. Не спали ночей на мостиках, отстреливались на полигонах Транзунда и Бьёрке, мы тщательно изучали опыт чужих флотов, и вдруг… Кто виноват в том, что мы оказались поражены?

Только сейчас он все осознал и стал плакать.

Никто его не утешал, но вежливо спросили – что с ногою?

– Погано, – отвечал он, поглядывая на мертвеца под желтым одеялом. – При взрывах летит столько черной пыли, этот кошмарный дым из разбитых труб… все разжижается водою, и моя бедная нога двое суток подряд квасилась в этом грязно-соленом растворе… А сейчас даже не болит: отупело.

– Кого там били сейчас? – спросили его.

– «Дмитрия Донского». Затонул. Через кингстоны. Глубина здесь хорошая, сажен двести, так что японцы вряд ли станут возиться с подъемом этого старья. Мы, господа, у Дажелета…

Крейсер сильно качало. Коковцев ощущал приторный запах гниющего тела – мертвец все время привлекал его внимание.

– Кто это с нами, господа?

– Он тут лежал, когда вас сюда посадили…

Владимир Васильевич отдернул край одеяла. Это был капитан второго ранга с оторванной нижней челюстью, а из верхней блеснули коронки золотых зубов. Коковцев снова закинул его.

– Где-то встречались. А где – не могу вспомнить…

Лязгнула дверь. Два японских матроса со штыками у поясов без слов подхватили Коковцева с таким палаческим видом, будто его пора тащить на плаху, и действительно, потащили на плаху операционного стола. Прямо над собой он увидел яркую лампу, лицо хирурга, который по-французски грубо сказал:

– Ладно. Ладно. Давай сюда ногу.

– А-а-а-а! – заорал Коковцев, выгибаясь от боли.

– Тихо. Я сделаю тебе только то, что надо…

Без хлороформа, под одним кокаином, хирург великолепно и быстро обработал ступню. Потом с похвальным проворством извлекал из тела осколки, о которых Коковцев даже не подозревал, страдая всем телом. Он считал их по стуку, с каким они падали в фаянсовую чашку, и был удивлен, досчитав до восемнадцати. Потом начал сильно волноваться:

– Где мой китель? Там в кармане бумажник.

– Не волнуйся. Китель в сушилке. Тебе дадут чистое белье. А что в бумажнике, Кокоцу-сан?

– Фотографии. Я столько времени провел в воде.

– Высушим и фотографии… Сакэ? – предложил врач.

– Нет уж! Лучше коньяк, – ответил Коковцев.

Хирург, рассмеявшись, шлепнул его по животу:

– Только для тебя. Я ведь учился в Париже и понимаю толк в коньяке… Скажи, марка «Maria Brizard» устроит?

Японские офицеры, прекрасно владея английским языком, выведывали у Коковцева результаты действия шимозы.

– Можете судить по мне, – отвечал Коковцев, а хирург, встряхнув чашкой, в которой дребезжали осколки, засмеялся.

При имени Лебедева японцы добавляли «доблестный»:

– Он храбро дрался, и мы испытываем уважение к его экипажу. Сейчас кончаем снимать его с Дажелета, утром пойдем в Сасебо, где размещены сразу два госпиталя для русских.

Коковцеву вернули бумажник с фотографиями. Выдали на руки обычный ассортимент пленного офицера – десять папирос, бутылку вина, игральные карты, пачку печенья, пучок редиски. В карман кителя деликатно опустили пакетик туалетного пипифакса. В плоских иллюминаторах розовой чертой обозначился рассвет. Японские офицеры в один голос поздравили Коковцева…

– С чем? – удивился он.

– Ваш император уже прислал телеграмму адмиралу Рожественскому, благодаря его за пролитие крови… Какая честь!

Они были ошарашены, что на Коковцева это известие не произвело никакого впечатления. Офицеры, очень любезные, листали перед ним таблицы с силуэтами кораблей русского флота, некоторые из них были ими уже вычеркнуты.

– А вот и ваш «Бедовый»! – похвастались они.

Покидая операционную, Владимир Васильевич пожаловался, что мертвое тело начинает издавать скверный запах и не мешало бы его спровадить за борт. Однако японцы покойника в чине кавторанга хранили для погребения на кладбище в Иносе (в Нагасаки). Матросы посыпали его каким-то зеленым порошком, после чего запах тления моментально исчез. Утром крейсера адмирала Уриу отошли от Дажелета. Один пленный офицер вспоминал: «Кормили нас так, как мы отнюдь не ели на своем корабле. Японцы для нас готовили европейский стол… приглашали в кают-компанию на завтраки, подавали шампанское». Коковцев, однажды ужиная подле командира крейсера, спросил его:

– Если не секрет, где сейчас Рожественский?

– Он уже в Сасебо на лечении.

– А контр-адмирал Небогатов?

– Он… в Киото. Они не встречались.

Ночью японские крейсера, переполненные пленными, проходили место сражения у Цусимы: громадное пространство было перенасыщено плавающими мертвецами, которых держали на воде пробковые пояса и койки; победители шли напрямик, не сворачивая с курса на Сасебо, и форштевни крейсеров раздвигали по бортам жуткое скопище людей, еще вчера живших, еще вчера надеявшихся, а теперь они пропадали за кормой, и винты крейсеров, бешено молотя воду, заставляли трупы вращаться, ставя их кверху ногами, опрокидывая без жалости, топя в глубине и отбрасывая в сторону, будто ненужный хлам… Предстоял день позора – день прибытия в Сасебо!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Очевидно, я поступлю справедливо, если сразу же подведу итоги Цусимы, людские и материальные. Русскую эскадру вели и обслуживали в бою 14 313 матросов, из числа коих 4937 человек не вернулись домой. Кроме рядовых океан поглотил 166 офицеров и 79 кондукторов-сверхсрочников. Сдались в плен 4 броненосца с адмиралом Небогатовым и миноносец «Бедовый» с адмиралом Рожественским, да еще незаконно были захвачены японцами два госпитальных судна – вот, пожалуй, и все трофеи Того! Без вести пропал один миноносец – «Безупречный»; но многие корабли эскадры уцелели, будучи интернированы в иностранных портах – в Чифу, Гонконге, Кью-Чжао, Шанхае, Сайгоне, на Филиппинах и даже в Сан-Франциско у американцев. Владивостока, столь желанного, достигли три корабля: слабейший из крейсеров «Алмаз» [11] , миноносцы «Бравый» и «Грозный», а военный транспорт «Анадырь» совершил вообще чудо из чудес – он вернулся в Россию…

Англия ликовала больше Японии: война, которую она вела с Россией чужими руками, была блистательно выиграна. Не меньшее ликование царило и в самой Японии, но не столько от побед на суше, сколько именно после Цусимы! Престиж России на Дальнем Востоке, и военный и политический, был надолго поколеблен, а Япония сразу вышла в число великих морских держав. Из Токио поступали сообщения: «После Порт-Артура, Ляояна и Мукдена ликовала одна японская пресса, а народ Японии, отягощенный нуждой и поборами, оставался безучастным; теперь ликуют все города и деревни… известный философ Тепуцджиро Инупе составил семь причин величия Японии, превосходящей все народы мира!» Дух самурайства уже насквозь пронизывал поры сложного (и не всегда понятного европейцам) организма императорской Японии. Не будем удивляться, что при этом отношение простых японцев к русским пленным было не только вежливое, но даже почтительное. «На всех станциях собиралось много народа, отношение публики к нам чудесное: японки разносят по вагонам чай, радушно им угощая, а когда поезд трогается, женщины отвешивают всем нам низкие поклоны». В ресторанах японские певицы давали русские концерты, безбожно коверкая наш язык: «Я на горку шра, уморирася…» В эти дни после Цусимы даже трамваи в Японии были обильно украшены цветами и яркими плакатами с иероглифами победы, толпы людей, зажигая фонарики, заполняли вечерние улицы городов, в исступлении выкрикивая по команде самураев: «Хэйка банзай!.. Хэйка банзай!..» Хэйхатиро Того стал национальным героем! В госпитале Сасебо японский адмирал встретился с адмиралом Рожественским, перенесшим тяжелую операцию на черепе; сейчас он чувствовал себя намного лучше, хотя и принял победителя еще в постели, но уже с папиросой в руке.

– Я не рассчитывал встретить вас в Японии, – начал Того после слов соболезнования. – Когда из газет стало известно, что вы собираетесь в путь, я счел это блефом. Беспокойство зародилось во мне после вашего отплытия из Носси-Бэ, и тут я понял, что вы исполнены серьезных намерений… Не моя вина в победе над вами – так было угодно богам! Извините.

– Где вы ждали меня? – спросил Рожественский.

– У берегов Кореи – в гавани Мозампо… Мне пришлось поломать голову! – сознался Того. – Когда вы направились в обход восточнее Формозы, я пребывал в растерянности. Ибо этот маневр заставил меня предполагать, что вы изберете любой путь, только не мимо Цусимы, не Корейским проливом. В этом случае я должен был бы искать вашу эскадру в открытом океане возле «воронок» – Сангарской или Лаперузовой. Не так ли, коллега?

– Когда же вы уверились, что я направляюсь к Цусиме?

– Двенадцатого мая. В этот день вы имели неосторожность отпустить в Шанхай свои транспорта. В этот день я выпил на радостях очень много сакэ – я понял, что битва разгорится возле Цусимы… Меня это вполне устраивало!

– Это моя ошибка, – задумался Зиновий Петрович.

– И я вам глубоко сочувствую, – отвечал Того.

Рожественский тронул забинтованную голову. Он сознался, что делал попытку обмануть Того, когда арестовал норвежский пароход с грузами для Японии и сознательно отпустил его, сказав капитану, что скоро будет у Цусимы в Корейском проливе:

– Я рассчитывал: вы не поверите, что я способен выдать свои планы постороннему человеку, и на этом основании, подозревая обман, отведете свои силы от Цусимы для поисков моей эскадры в ином месте… Но, получилось, я сам разоблачил себя, отпустив транспорта в Шанхай, вы правы!

Естественно, в беседе нельзя было миновать и вопроса о сдаче кораблей Небогатовым, которого Хэйхатиро Того оправдывал (как оправдывали его тогда все японцы):

– Наши офицеры считают, что им необходимо погибать заодно с кораблями, и за это вы, европейцы, подвергаете нас, японцев, суровой критике, как варваров. Но здесь вы смешали два понятия. Небогатов, окруженный мною с тридцати двух румбов, поступил именно по европейским канонам: он пожертвовал кораблями, желая сохранить жизни экипажам своей эскадры. Не можете же вы, европейцы, требовать от европейца Небогатова, чтобы он сделал себе харакири! Мы, японцы, смотрим на сдачу Небогатова вашими же глазами, не стараясь применять к его осуждению наш моральный кодекс «бусидо».

– Скажите, адмирал, – спросил Рожественский, – если бы на месте Небогатова оказался японец, сдался бы он?

И вот тут адмирал Того скрыл презрительную усмешку.

– Н е т! – отвечал он. – Когда ваши войска взяли у наших Путиловскую сопку, командир, ее защищавший, жестоко израненный, ночью приполз до своего штаба, и тут офицеры живым зарыли его в землю, как недостойного жизни и службы под знаменами нашего микадо… Так повелевает кодекс «бусидо»!

Из палаты госпиталя Сасебо Рожественский телеграфировал Николаю II краткий отчет о случившемся при Цусиме. Император отвечал незамедлительно: «От души благодарю Вас и всех тех чинов эскадры, которые честно исполнили свой долг в бою, за самоотверженную их службу России и Мне. Волею Всевышнего не суждено было увенчать ваш подвиг успехом… Желаю вам скорого выздоровления, и да утешит вас всех Господь!»

Крейсера вице-адмирала Уриу, жалобно подвывая сиренами, вошли в Сасебо, где стояли, невредимые, но очень запущенные, корабли небогатовской эскадры. Лишь у «Николая I» виднелась пробоина ниже мостика. Над русскими броненосцами реяли флаги Страны восходящего солнца. Японцы перегружали пленных на пассажирские пароходы, чтобы развезти их по лагерям. Ни у кого не было никаких вещей, и пленные матросы застыли в молчании, почти похоронном, когда на причалах показалась длинная вереница людей, тащивших на своих загривках чемоданы и сундуки с родимым барахлом. Это шли команды со сдавшихся броненосцев Небогатова. Страшное молчание прорвалось в воплях:

– Шкурники! Куркули собачьи! За барахло продались!

В них плевались, им грозили кулачной расправой, но матросы Небогатова, понурив головы, не отвечали. Лишь один крикнул:

– Что вы нас-то лаете? Не мы сдавались – нас сдали…

Коковцева удивило, что его сразу отделили от штаба Рожественского, изолировав в отдельной палате госпиталя; вместо санитаров к нему приставили двух дюжих самураев со штыками, которые, казалось, только и ждут, чтобы выпустить из Коковцева все кишки. Наконец, пленные офицеры имели право дать через французское посольство телеграммы в Россию, чтобы родные о них не тревожились: жив, здоров, в плену. От Коковцева такой телеграммы японцы не приняли, а когда он стал выражать возмущение, ему было заявлено:

– Мы бы приняли телеграмму от Кокоцу-сан, если бы он оказался среди наших пленных. Но Кокоцу-сан в числе наших пленных не числится, и нам очень бы хотелось теперь узнать, кто вы такой и что вам в Японии нужно?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Его допрашивал капитан-лейтенант Такасума, владеющий русским языком в той же степени, в какой Владимир Васильевич владел языком японским. Такасума был неприятен Коковцеву: квадратное лицо, жесткая щетка усов, резкий командный голос, негибкий склад ума. Русские офицеры во время войны с Японией сняли со своих мундиров все японские ордена, но Такасума продолжал таскать на груди Анну с мечами, полученную им за разгром китайских «боксеров» при штурме фортов Таку.

– Если вы Коковцев, – утверждал Такасума, – то почему оказались на эскадре Рожественского, а не там, где вы должны быть и где мы вас, к сожалению, не обнаружили.

– К чему загадки? – возражал Коковцев, начиная выходить из себя. – Я еще раз повторяю, что в должности флаг-капитана состоял при штабе вице-адмирала Рожественского…

Однажды его выслушивал целый синклит военных японцев.

– Опять вы говорите неправду, – не верили они Коковцеву. – Если вы состояли при Рожественском, то почему же вас не взяли в плен на миноносце «Бедовом» с Клапье де Колонгом?

Скоро вместо супа ему стали давать подсоленную воду, в которой плавали лепестки зеленого лука, а кусочек мяса уменьшился до размеров мизинца. Наконец, подушку заменили валиком макуры, набитым жестким морским песком (почти галькой). Счастье, что врач Осо-сан, лечивший Коковцева, оказался золотым человеком, он подкармливал своего пациента молоком и хлебом, иногда угощал и пивом, которое продавалось пленным тут же – в буфете сасебоского морского госпиталя.

– Я не знаю, кто вы, Кокоцу-сан, – говорил Осо, посверкивая цейсовскими линзами очков. – Для меня вы прежде всего больной, и я обязан вылечить вас… О, русские люди крепкие! Вы поглощаете с пищей очень много белков, чего не хватает нам, японцам, от этого и раны у нас залечиваются труднее…

Осо-сан кромсал русских скальпелем без пощады, словно мясник, но еще не было случая, чтобы не спас человека. Он искренно горевал, когда в муках скончался один лейтенант, обожженный при взрыве. Осо жаловался Коковцеву, что среди башенных офицеров многие ранены в глаза, и ему приходится оставлять юных мичманов безглазыми инвалидами… Между тем Коковцева продолжали мытарить идиотскими допросами, и, наконец, капитан первого ранга не выдержал:

– Впредь я отказываюсь отвечать вам, а буду разговаривать только с Хиросо, что был военно-морским атташе в Петербурге. Вы удивлены? Но я был приятелем этого человека. Я даже показывал ему на Транзунде наши торпедные стрельбы…

Это сообщение привело японцев в замешательство. При имени Хиросо они разом поднялись, кланяясь портрету императора, а Такасума, став лебезяще-угодливым, показал Коковцеву литографию в форме народного лубка. На картинке, довольно-таки аляповатой, Хиросо, размахивая саблей, спасал из пламени взрывов японских матросов. Такасума с почтением объяснил, что Коковцев имел честь общаться с героем японского народа. Оказывается, именно Хиросо возглавил отчаянную атаку брандеров, чтобы запечатать 1-ю Тихоокеанскую эскадру в бассейне Порт-Артура, и он погиб смертью отважной, но абсолютно бесполезной, ибо адмирал Макаров разбил его брандеры…

– Я сожалею о кончине Хиросо, – сказал Коковцев.

Отношение к нему резко переменилось.

– Кого еще из японцев вы знали в Петербурге?

– О-Мунэ-сан… Понятия не имею, где сейчас эта женщина, но я сохранил о ней самую приятную память.

В этот день у него разболелись раны, он с раздражением слушал, как в палате за стенкой беседуют офицеры двух эскадр, взятые в плен японцами в Порт-Артуре и при Цусиме.

– Не забыть мне одного матроса, – рассказывал кто-то. – Ему оторвало руку, но он отнесся к этой потере, словно ящерица, способная восстановить конечность. Такого хладнокровия, господа, я никогда не видывал. Он протянул мне оторванную руку со смехом: «Во! Куды прикажете девать, вашбродь?» Я ему говорю: «Дурак! Кидай за борт». Он мне встретился уже здесь, в Сасебо. Опять хохочет: «Вашбродь, а лапу-то мою помните? Так я похоронил ее с ногой своего адмирала…» Это была нога адмирала Витгефта!

– Матросам еще можно смеяться, – звучал за стенкою иной голос. – А вот с нас, офицеров, будет взыскано полной мерой. Россия никогда не простит нам цусимского позора!

– О каком позоре толкуете, мичман? Разве мы не сражались и не умирали, как повелевает нам долг? Разве кто дрогнул в бою? Да вспомните хотя бы «Ослябю»… Э-э, да что там! Но в одном вы правы: vae victis – горе побежденным!

Коковцева раздражали эти бесполезные споры: после драки кулаками не машут, – и он попросил сделать ему укол морфия. Сон был глубокий, но тяжкий. Когда же проснулся, возле стояли в вазе дивные японские ирисы.

– Кто принес их мне? – удивился каперанг.

Осо пояснил, что, пока он спал, его навещала О-Мунэ-сан, подтвердившая Такасуме, что он – Коковцев.

– Однако, – сомневались еще самураи, – если вы и Коковцев, то как же оказались на эскадре Рожественского? Мы долго искали вас в Порт-Артуре и не нашли ни среди убитых, ни среди плененных. Это нас чрезвычайно озадачило, а вы не станете отрицать, что отъехали в Порт-Артур из Петербурга в одном вагоне с покойными доблестным адмиралом Макаровым…

Только теперь Коковцев все понял! Когда Степан Осипович отбывал на Дальний Восток, на перроне Николаевского вокзала столицы наверняка его провожали и японские шпионы. Они точно зафиксировали Коковцева в числе отъезжающих офицеров штаба. Но они прохлопали, что он покинул адмирала в Москве, и теперь настырно искали того Коковцева, который для них пропал. Всю эту ситуацию Владимир Васильевич растолковал французскому консулу, на свидании с которым он настоял, а потом долго наслаждался смущенным видом капитан-лейтенанта Такасумы.

Переведенный в общую палату, он начал поправляться, гулял с костылем в садике госпиталя, где кормил хлебом в пруду золотых рыбок и двух сонных черепах, приученных подплывать к мосткам, если громко хлопнуть в ладоши. По вечерам же тоскливо слушал японских лягушек, исполнявших такие же свадебные концерты, что и лягушки парголовские. Думалось: «Как-то там Ольга? Наверное, уже на даче… Хорошо ли ведут себя Никита с Игорем?» Но среди этих житейских вопросов был мучителен главный: «Что я скажу Ольге о нашем Гоге?..»

В конце мая президент США Рузвельт, обеспокоенный усилением военной мощи Японии, предложил свое посредничество к миру. Пленные офицеры ждали мира, но и боялись его.

– Осточертело тут хуже горькой редьки, – делились они между собой, расхаживая в белых кимоно по вечерним коридорам притихшего госпиталя. – Но, вернись в Россию, и любая тварь станет в глаза плевать… за Цусиму!

Здесь, в Сасебо, Коковцев случайно повстречал Евгения Криницкого, плененного в Порт-Артуре, где он командовал миноносцем «Сильный», который сам же и взорвал накануне падения крепости, чтобы он не достался врагу. Речь зашла о второй атаке японских брандеров, которой руководил Хиросо.

– Я и угробил его! – сказал Криницкий с улыбкой. – Как Соловей-разбойник – свистом… Макаров выслал нас в море на перехват брандеров. Я удачно залепил одному в борт мину – только брызги полетели! Затем черт меня дернул дать один длинный свисток. А по Международному своду это означает «Прошу повернуть влево». На японцев или дурь нашла, или они между собой раньше договорились о свистках – не знаю. Только гляжу, Хиросо развернулся влево. А за ним и другие брандеры повыскакивали на камни и там стали взрываться… Вот и вся история.

– Но для меня странная, – призадумался Коковцев.

Ему невольно вспомнился поход к Транзунду и свисток, висевший у него на шее, которым он пользовался в присутствии Хиросо. Бывают в жизни загадочные ситуации…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Я боюсь, как бы у читателя не возникло неверное представление о пребывании в японском плену, как о хорошо налаженном отдыхе, вполне заслуженном после похода и боя эскадры.

С офицерами флота все ясно! Японцы дали им волю вольную, лишь не позволяли иметь тросточки толще мизинца, которые и отбирали без разговоров, как опасное оружие. Нужды офицеры не испытывали – японцы выплачивали деньги аккуратнее, нежели русская казна. Можешь гулять, где хочешь, но сидеть в ресторане более трех часов запрещалось. Если кто задерживался, полицейский страж, переодетый в кимоно, вежливо напоминал об истекшем времени. В таких случаях русские не спорили и, выкурив на улице папиросу, возвращались обратно в ресторан – еще на три часа… К пленным матросам отношение японцев было иное. Одетые кто во что горазд, а иногда полуголые (при спасении в море, как известно, о фраках не думают), русские матросы терпели отчаянную нужду. Их держали на отшибе страны, на пустых и одичалых островах, в кое-как сколоченных бараках, кормили впроголодь. И там, в лагерях Синосима, где в горах выла по ночам собака, брошенная Стесселями, матросы постоянно бунтовали, а дрались с охраной столь озверело, что огнестрельное оружие не раз переходило из рук в руки…

Совсем уж негодно и даже отвратительно относились японцы к пленным Маньчжурской армии: их подвергали издевательствам, отнимали часы и бинокли, с пальцев офицеров срывали обручальные кольца. Среди японцев иногда встречались настоящие изверги, особенно из числа тех, кто получил на время войны чины прапорщиков – за знание русского языка, который они освоили, стирая белье в Хабаровске или торгуя редиской на базаре Владивостока. Одному такому мерзавцу было достойно сказано: «Ты не сын Восходящего солнца – ты просто сукин сын!» Впрочем, можно было жаловаться – сколько хочешь и кому хочешь, пиши хоть самому микадо. А если пожаловался, японцы никогда не спорили, неугодного для русских человека тут же заменяли другим, более покладистым…

И все это время Коковцев не прекращал поиски своего сына. Подробно расспрашивал пленных о судьбе спасенных с «Осляби». В госпитале Сасебо лежал тяжело раненный мичман с «Осляби», князь Сергей Горчаков; он и рассказал Коковцеву, что в первой башне пневматика продувания отказала сразу, потом сплоховала гидравлика и башню проворачивали вручную, но где был Гога в момент гибели броненосца – он этого не знает. Газеты в России изо дня в день публиковали списки увечных, убиенных, умерших в плену и пропавших бесследно. «А что, если имя мичмана Г. В. Коковцева уже значится среди погибших? Кто же даст Ольге сил – пережить этот удар?..» Он еще не терял надежды, что Гога остался жив. А если он жив, то… где же он? Искал одного сына, но случайно нашел другого. Капитан-лейтенант Такасума залучил его в офицерский буфет, где они стали пить пиво. Неожиданно японец признался:

– Русским очень повезло в этой войне. Не скрою, что Японии сейчас важно предстать в свете великой и победоносной державой, склонной к соблюдению норм международного права, выработанного вами, европейцами. В дальнейшем мы не собираемся относиться к своим пленным столь же хорошо, как сейчас относимся к вам. – Безо всякого перехода он завел речь об Окини-сан. – Ведь у вас был и сын – Кокоцу Иитиро? Не удивляйтесь, что так исказили вашу фамилию, если даже сын польского революционера Куровского стал у нас знаменитым маршалом Куроки…

Далее самурай сказал, что Иитиро, будучи артиллерийским констапелем на славном крейсере «Идзумо», отлично сражался во славу микадо и погиб в битве при Цусиме.

– Вы сказали – на крейсере «Идзумо»?

– Да. Этот крейсер вынес из боя немалые жертвы…

Владимира Васильевича пошатнуло. Как объяснить, что «Идзумо» именно от «Осляби» и получил несколько отличных попаданий? Неужели Иитиро убил Георгия, а Георгий убил Иитиро? Помедлив, Коковцев ответил Такасуме, что Окини-сан, наверное, сейчас очень тяжело, и он хотел бы известить ее о себе.

Что-то человеческое проступило в жестком лице самурая.

– Вы этого хотите? – спросил Такасума.

– Ради нее… Надеюсь, это не затруднит вас?

– Нисколько! Я это сделаю, Кокоцу-сан, уважая в вашем лице кавалера нашего ордена Священного сокровища… О, не торопитесь расплачиваться за это пиво. Я охотно сделаю это за вас. Спокойной ночи, Кокоцу-сан!

Коковцев пожелал самураю того же:

– Домо аригато! О’ясуми насай…

Ночью пришлось многое передумать. При свете луны он раскладывал фотографии Ольги и своих детей, но в дальний путь до Цусимы он не взял портрета Окини-сан, а Иитиро никогда не видел. В эту ночь, наполненную повизгиванием цикад, Коковцев вдруг явственно представил себе, что его сын не покинул башни броненосца… Нет, он так и остался в ней.

Скорее всего так и было: ПОГИБАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ.

– Я ведь сам воспитал его на примере Дюпти-Туара…

О том, как погиб Иитиро, он в эту ночь не думал!

Утром в Сасебо стало известно, что Рожественский, очевидно, выезжает в Киото – ради свидания с Небогатовым.

– Зачем ему это? – удивился Коковцев. – Японцы правильно делают, не желая держать двух пауков в одной банке…

Пленные знали, что Того нанес визит и Небогатову, который, будучи глупее Рожественского, непомерно расхваливал достижения японской науки и техники, а Того, будучи умнее Небогатова, цокал языком, деликатно возражая ему: «Да что вы говорите? Не может быть! Я не заметил превосходства своего флота перед вашим флотом…» Из американского города Портсмута, где Витте уже встретился с японским министром Комурой, доходили невероятные слухи, будто Япония претендует на половину Сибири с Камчаткой и Сахалином в придачу. Не слишком-то доверяя газетам английским (и сразу отбрасывая русские), Коковцев прочитывал газеты японские. Их издатели представляли дело так, будто Россия, полностью разгромленная, давно валяется в ногах священного микадо, слезно взывая к нему о милосердии… Но однажды Коковцев выудил из прессы сообщение, что в России молодыми офицерами создана «Лига обновления флота».

– Господа, – сказал он, – это любопытная новость. Мы сидим тут, а в России народ собирает пятаки на новые корабли.

Его спросили: а кто в этой «Лиге» верховодит?

– В числе основателей – лейтенант Колчак.

– Это какой же Колчак? Не тот ли, что в Порт-Артуре командовал «Сердитым», а потом вернулся домой через Америку?..

Японцы, не желая держать нахлебников, многих офицеров Порт-Артурской эскадры давно отправили на родину. Они умышленно не держали врачей, интендантов, священников, отпускали в Россию и тех раненых, которые докучали им заботами. Пленные евреи сразу просили о подданстве США, многие католики тоже не пожелали возвращаться из плена… Русские? Некоторые из русских решили остаться в Японии, особенно те, кого дома ожидала тюрьма или житейские невзгоды. Не все нравилось русским в Японии, а многое попросту обескураживало. Коковцев однажды слышал на улице, как пожилой армейский капитан огорченно признался прапорщику:

– Где уж нам воевать с япошками, ежели у них на каждой улице – школа, а прививки от оспы и умение плавать для всех обязательны. Гляди, у них и дети-то соплями не шмыгают!

Это верно: сопливых не было. Но Коковцев, в отличие от этого армейца, мог уже сравнивать две Японии, прежнюю с настоящей, и он заметил большие перемены: девочки в матросках маршировали, мальчики обучались приемам штыкового боя. Разве это не дико? Да и что хорошего, если паршивый фельдфебель идет по улице и вся улица начинает ему кланяться?..

В конце августа Владимир Васильевич решил съездить в Киото; на вокзале к нему подошел глупый немолодой матрос с «Адмирала Нахимова», лежавшего у Цусимы на глубине в сорок сажен.

– Извиняйте на просьбе, вашскородь. А вот со сберкнижками-то как быть? – Речь шла о деньгах, вложенных на хранение в сберкассу погибшего крейсера. – Кады эта пальба была, о деньгах не соображал. А тут мир… ведь я не украл! Скопил. По копеечке. Бывало, и чарочки не выпьешь.

Коковцеву стало жаль матроса. Он сказал:

– Но ведь еще перед боем всюду вывесили объявления, чтобы вкладчики забрали свои деньги обратно.

– Так это для умных. А я, дурак такой, понадеялся, что, в сберкассе-то оно верней будет, нежели в кармане таскать…

– Ну вот, – развел руками Коковцев. – Теперь плыви до Цусимы и ныряй глубже… может, и достанешь свои рубли. А я слышал, что вы там, в лагерях своих, бунтуете?

– Взбунтуешься, вашскородь, ежели давеча киску с горчицей умяли за здорово живешь. Мне от нее полхвоста да уши остались. Што нам эта трава японская? Опять же, войдите в наше положение, от рисику сыт не станешь – нам бы хлебца!

– Куда ж, братец, ты сейчас едешь?

– До Киоты… жаловаться. Чтобы деньги вернули.

– На кого ж ты собираешься жаловаться? Уж не на адмирала ли Того, который твои рубли на дно отправил?

– А мне все равно на кого… Сколь лет складывал. Все копил. Надеялся. Думал, вот возвернусь в деревню и всем чертям тошно станет! И часики обрести было желательно…

Напоминание о часах было кстати:

– А тебе Павел Бирюков с «Донского» не попадался?

– Так он уже тягу дал… с пальцем.

– С каким еще пальцем?

– А так. Начал драку с конвоиром японским. Чтобы тот к нему в окошко не смотрел. Японец-то неопытный, возьми и сунь в рот ему палец. Пашка хрясь яво – и откусил! А палец-то непростой! Указательный. С правой руки. Таким пальцем стреляют. Ну, суд. Оно конешно. Не без этого. Вить Пашка-то из самурая инвалида сделал. Вот и бежал. Потому как не дуралей, Пашка-то Бирюков… в тюрьме кому охота сидеть?

– Как же бежал? Не зная японского языка?

– А ему на все языки плевать. Сел на французский пароход и поплыл. Уже письмо в Синосима прислал. Из Кронштадту. В тюрьме сидит… Такой уж человек: как приехал, так сразу в революцию пошел и очень, пишет, ему понравилось.

– Пошел вон… пентюх! – ответил ему Коковцев.

Он приехал в Киото, в саду храма «Миокоин», который был отведен для размещения небогатовского штаба, Владимир Васильевич встретил контр-адмирала, заочно преданного суду на родине. Николай Иванович Небогатов ему сказал:

– Я имел неосторожность, по примеру Рожественского, послать царю телеграмму о сдаче эскадры. Но его величество даже не удостоил меня ответом, и теперь ясно, кто будет виноват… Неужели я думал о себе, сдавая корабли? В конце-то уж мне-то спасательный круг всегда дали. И хотел бы утопиться, меня первого за волосы бы вытащили. Ценою своего позора я сознательно купил у противника тысячи русских жизней, которые, хочется верить, еще сгодятся отечеству для лучшей жизни…

К сожалению, Коковцеву не удалось в Киото отыскать никаких сведений о спасенных с «Осляби»; Небогатов посоветовал флаг-капитану ехать в Токио, где епископ Николай, глава православной церкви в Японии, собрал очень большие материалы о судьбах всех спасенных с эскадры. На вокзале снова пришлось встретить этого немудреного матроса с «Адмирала Нахимова».

– Ну, как? Выяснил вопрос о сберкнижке?

– Говорят – пиши пропало. Но я этого безобразия так не оставлю. Тока бы домой выбраться, уж я нажалуюсь кому следоваит. Свое-то кровное – из глотки вырву!

– Много ли, братец, накоплено у тебя было?

– Куча! Трех рублей до сотни не дотянул. А теперича вот и на билет нету, чтобы до Синосима отселе выбраться.

Коковцев купил ему билет до лагеря в Синосима.

– Держи! У тебя вот сотенная бумажка на крейсере размокла, а у меня, братец, сын погиб на «Ослябе».

– Тады я заткнусь, – сказал матрос, и они поехали…

Каждому свое! Япония была прекрасна, и на ее болотах, среди священных лотосов, бродили белые птицы-ибисы, очень доверчивые к людям, которые никогда их не обижали… Отвернувшись к окну, Владимир Васильевич тихо глотал слезы.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Японские водолазы, лучшие водолазы мира, поднимали погибшие русские броненосцы и крейсера, их отводили для ремонта в доки Майдзуру, переименовывая: «Пересвет» в «Сагами», «Полтаву» в «Танго», героический «Варяг» стал у японцев «Сойя», а небогатовский флагман «Николай I» – «Ики». Все это было весьма унизительно для русской чести, но что заслужил, то и получай… Красную полосу милосердия вдоль борта госпитальной «Костромы» японцы перекрасили в зеленый цвет…

– «Кострома», – пояснил Такасума, – оборудована под госпиталь не частными лицами, как «Орел», а на средства государства и потому обязана нести зеленую полосу.

– Вы не имели права их арестовывать, – сказал Коковцев.

– Если бы вы не держали на них пленных англичан с парохода «Ольдгамия», который плыл к нам с грузом керосина.

– Да какой там керосин! – обозлился Коковцев…

1 октября 1905 года до русских в Японии дошло известие, что мир в Портсмуте подписан, но обмен пленными состоится после ратификации договора. Из своих обширных владений Россия потеряла лишь южную часть Сахалина, отдав Японии и двести миллионов рублей за содержание пленных. Все понимали, что такова цена замаскированной контрибуции, ибо даже простейший подсчет наглядно показывал нереальность оплаты.

– Если бы каждому из нас, – рассуждали в лагерях, – такие деньги да на руки, так на них можно было бы трамвай купить или пять лет по ресторанам пить без просыпу. А мы тута за каждой рисинкой гонялись, пучку редиски радовались…

Портсмутский мир едва не вызвал всеобщего народного восстания, а барону Комуре грозили смертью, его дом в Токио был сожжен. Япония давно истощала себя войною, цены на продукты питания возросли втрое, народ бедствовал, а перспективы на урожай риса в этом году были плачевны. Всюду возникали грандиозные митинги, требующие отказа от мира, который-де «оскорбляет» честь нации, не давая стране никаких выгод; горели полицейские участки, в пролетарских кварталах столицы рабочие дрались с войсками, на улицах лежали трупы убитых.

В эти дни пленным запретили появляться на улицах.

– Чем все это вызвано? – недоумевали офицеры.

Коковцев, читавший японские газеты, понимал причины этого «э дзянай ка», выраженного в озверелой ярости народной стихии. Самурайская пресса, раздувая любой успех военщины в небывалые триумфы, всю войну обманывала народ, внушая японцам, что каждая семья, давшая солдата армии или матроса флоту, после победы над Россией получит от контрибуций столько денег, что будет обеспечена до конца жизни. Теперь, прослышав о мире, крестьяне бросали рисовые поля, толпами двигались в большие города, где настойчиво требовали от чиновников Муцухито обещанных «русских» денег…

Кормить пленных после заключения мира японцы стали омерзительно и так скудно, что все испытывали голод. Даже офицеры! А что же сказать о нижних чинах, которым отводилось по двадцать три копейки в день, исходя из русского жалованья, тогда как фунт тощего мяса стоил в Японии сорок пять копеек… Голодуха!

– И за это дерьмо давать им еще двести миллионов?

Красный Крест пересылал пленным: офицерам – египетские папиросы и французское шампанское, солдатам и матросам – сухари и махорку в неограниченном количестве да еще всякие книжечки вроде такой – «Что нужно знать воину-христианину?». Но бурные всплески русской революции докатывались и сюда, в лагеря и бараки рядовых пленных, которые рвались на родину, чтобы не опоздать к переделу старого мира…

За воротами госпиталя Сасебо явилась Окини-сан!

Коковцев узнал о ее приезде от Такасумы.

– Нам, – заявил он, – нет смысла держать вас и далее в Сасебо, я могу хоть сейчас выдать вам бирку «дзюсампо», с которой вы можете проживать в Японии, где вам угодно. Но… я не советую вам уезжать в Нагасаки!

– Почему же так? – был удивлен Коковцев.

Такасума через зубы со свистом втянул в себя воздух. На суровом лице его, как и в прошлый раз, проглянуло что-то сострадательное. Он сказал:

– Япония столь горда своими победами, что отныне не станет прощать японским женщинам былых отношений с европейцами. Вы и сами знаете, – пояснил он, – как печально заканчивались все попытки пленных завести любовную интригу…

Коковцев об этом знал: «Дав время русскому офицеру найти временную жену (на что тратится немалая сумма денег), полиция накрывает их при первом же свидании, новобрачных разлучают, имя офицера публикуется в газетах, а женщина регистрируется в полиции проституткой!»

– Вы вернетесь в свою семью, – убеждал его Такасума, – а госпожа Окини до самой смерти осуждена носить этот позор. Я не ожидал ее приезда в Сасебо и, если вам угодно, согласен объявить ей, что вы уже покинули нашу страну!

Коковцев погладил костыль из самшитового дерева.

– Зачем так грубо? Мы не виделись двадцать пять лет, и вы должны понять мои прежние чувства. Ведь у нас был сын! А крейсер «Идзумо» до сих пор стоит у меня перед глазами… Если Окини-сан согласна на позор, то как же я могу отвергнуть ее сейчас? Именно сейчас…

Такасума выдал ему бирку «дзюсампо», которую Коковцев и навесил на шею, чтобы к нему не придиралась японская полиция. Он завязал в платок-фуросики скромные пожитки пленного офицера, сердечно простился с врачами, санитарками, товарищами по палате и, опираясь на костыль, побрел к выходу. Две сонные черепахи, выбравшись из тины пруда, грелись на солнце, растопырив лапы и вытянув шеи. Японский часовой в белых обмотках отдал у калитки честь офицеру российского флота.

– Сайанара, – сказал ему Коковцев на прощание…

Четыре озябших носильщика в коротких штанах до колен и в сандалиях на босу ногу стояли наготове возле богато убранного паланкина. За стеклом дверцы Коковцев увидел профиль женщины, переступившей второй возраст любви. Окини-сан легко вышла из паланкина: она не выдала ничем ни женской радости, ни материнской печали. Одета она была с изысканной роскошью, а богатый пояс-оби напоминал большую стрекозу, раскинувшую крылья за ее спиною. Окини-сан гибко переломилась в поклоне. Коковцев поразился прежней чистоте ее чарующего голоса.

– Гомэн кудасай, голубчик! Ирасяй – пожалуй…

Носильщики дружно оторвали паланкин от земли, шагая размеренной походкой, чтобы раненый не испытывал неудобств. А подле, придерживая края кимоно, шла Окини-сан, держа руку Коковцева в своей маленькой ладони… Даже не верилось, что минуло много-много лет с той поры, когда «Наездник» ворвался, как буря, в Нагасаки!

Дальше вагон поезда, спешащего к лучезарным видениям мичманской юности. Среди пассажиров никто не выражал презрения к Коковцеву, но по лукавым затаенным улыбкам японцев каперанг догадывался, что все эти люди, совсем не злые, все-таки рады видеть поверженного врага, несущего бирку на шее, как блудливое животное, которое теперь не посмеет далеко убежать. Но зато сколько неприкрытой ненависти выражали взгляды, исподтишка направленные в сторону Окини-сан, и только сейчас Коковцев понял, что женщина, приехавшая за ним, согласная на унижение ради него, осталась по-прежнему верна прошлой и наивной любви.

«А может, Такасума и прав?» – стал сомневаться Коковцев…

Поезд увлекал его к югу, пролетая через обессиленную и негодующую от лишений страну. Окини-сан незаметным жестом поправила на шее Коковцева иероглиф «дзюсампо», тихонько спросила, был ли он счастлив все эти годы – без нее?

– Не думал об этом. Наверное… А ты?

Паровоз неистовым воплем заглушил ответ женщины.

Вот и вокзал Нагасаки… Под проливным дождем ехали на рикше, из-под босых пяток бедняка комьями вылетала сочная слякоть. От офицеров Тихоокеанской эскадры до Коковцева и раньше доходили неприятные слухи, что Окини-сан стала очень богатой дамой. Слухи подтвердились… Большой уютный дом в садах квартала Маруяма, красное дерево веранды, покорные прислужницы-мусумэ – все это подсказало Коковцеву, что, наверное, недаром он посылал деньги на воспитание сына Иитиро.

Владимир Васильевич поведал Окини-сан, что его старший сын погиб на броненосце «Ослябя».

– Твой старший не погиб на «Ослябе», – отвечала женщина. – Твой старший сын погиб на «Идзумо»… Ты не был виноват ни в чем! Виновата одна я, рожденная в год Тора…

На самом почетном месте ее жилья, в глубине ниши-токонома, среди ваз и свитков старинной живописи, украшенная неувядающей зеленью, покоилась фотография Иитиро, артиллерийского констапеля самурайского флота. Коковцев перекрестился.

Окини-сан низко опустила голову:

– Рожденный в год Тора, наш сын был счастлив…

На фотографии Иитиро был в матросской блузе с глубоким вырезом на груди, его фуражку венчала императорская кокарда, а в лице констапеля было что-то очень японское, но он мог бы вполне сойти и за русского парня. В какой-то момент Коковцеву даже показалось, что Иитиро похож на Гогу.

– Да, он был очень счастлив, – продолжила Окини-сан. – И он без печали ушел в море на своем прославленном крейсере. Нас было много, матерей. С какой радостью мы провожали своих сыновей, как мы гордились ими в тот день!

Неприятно-скользкая тень «Идзумо» снова, как и в бою при Цусиме, резанула Коковцева по глазам, будто острое лезвие. Он стряхнул с себя это проклятое наваждение. Но как сказать ей, матери, потерявшей сына, что он (именно он, отец ее сына!) призывал стрелять именно по «Идзумо»?

– «Идзумо» стрелял по «Ослябе», – сказал он.

– Наверное, и «Ослябя» стрелял по «Идзумо»…

В красивых подставках курились ароматные свечи, дым которых отпугивал комаров. Окини-сан, отстранив прислугу, сама разливала чай. Коковцев извлек из кармана бумажник, сморщенный от морской воды и ставший седым от соли Цусимы, пропитавшей кожу. Он достал покоробленную фотографию своего пропавшего любимца. Подхватив с татами костыль, дохромал до токонома и поставил портрет Георгия подле портрета Иитиро.

– Пусть они будут вместе, – сказал он Окини-сан.

– Да, голубчик… Их сейчас уже ничто не разделяет…

Так они и остались в траурной нише, оба молодые и счастливые, глядя один на другого с таким вниманием, с каким, наверное, разглядывали себя через граненую оптику прицелов прямой наводки по цели.

Окини-сан, встав на колени, поднесла Коковцеву чай. Как и много лет назад…

В садах Нагасаки тревожно шумели морские ветры…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сколько неудач и поражений было в этой войне, но траур Россия надела именно со дня Цусимы! Ибо даже неграмотный крестьянин, знающий о флоте лишь понаслышке, даже он сердцем понимал, что возле берегов страны с непонятным названием произошло нечто ужасное для всех русских людей…

Эта боль от Цусимы долго не заживала в народе!

Как говорили древние: vae victis – горе побежденным!

Возраст третий

VAE VICTIS

Нет, то не снег цветы в саду роняет,

Когда от ветра в лепестках земля, —

то седина!

Не лепестки слетают,

С земли уходят не цветы, а я.

Нюдо-саки-но Дайдзёдайдзин

В штурманских рубках хранятся особые карты, на которых отмечены координаты гибели не только советских, но и кораблей старого русского флота. Недавно ракетный крейсер «Суворов» навестил место вечного успокоения своего павшего в бою предтечи – броненосца «Князь Суворов». По сигналу горнистов экипаж выстроился на палубе, оркестры исполнили гимн СССР, флаг был приспущен, а траурная команда возложила на волны цветы и венок из неувядаемой хвои сибирских елей.

Да, так надо! Ибо ничего нельзя забывать…

Где вечно гремят океаны,Вдали от родимой земли,В Цусимском проливе туманномЗабытые спят корабли.Там мертвые спят адмиралыИ дремлют матросы вокруг —У них прорастают кораллыМеж пальцев раскинутых рук.Так пели в народе раньше… Но по волнам еще носило раздутые трупы героев Цусимы, когда газеты царской России уже начали оскорблять всех подряд – и живых, и мертвых! Поголовная морская безграмотность русского общества позволяла борзописцам империи пороть любую чепуху, а читатель всему верил.

Каждая война дает богатый материал для всяческих рассуждений. Опыт победителей считается положительным (на нем учатся), опыт побежденных считается отрицательным (его отвергают). В отдельные моменты Цусимского боя японцам повезло чисто случайно. Но из этой случайности кабинетные стратеги делали поспешные выводы, которые осваивались флотами всех стран, становясь непреложными законами будущих войн на море. И даже явные ошибки адмирала Того, заворожив наблюдателей его триумфом, внедрялись в сознание флотоводцев. На этом «японском гипнозе» возникла порочная тактика, которую развивали в первой мировой войне, а освобождаться от наследия Цусимы пришлось уже в годы второй мировой войны… Такова иногда бывает несокрушимая сила ложного убеждения!

Англия на удивление миру порождала невообразимое чудовище по названию «дредноут», и казалось, что один такой дредноут, если он сорвется с цепи, загрызет насмерть любую эскадру, так что от нее и «бульбочки» не останется. Русские моряки сначала восприняли появление дредноутов критически:

– Англия раскормила громадного бегемота, заковала его в непрошибаемый панцирь, понатыкала везде пушек и минных аппаратов, а теперь думает – все в порядке. Однако случись с бегемотом накануне битвы, допустим, понос – что тогда?..

Парадоксы всегда оживляют историю. Создавая дредноут, англичане хотели устрашить немцев, но вместо этого они возбудили повышенную работу германских верфей, срочно заложивших свои дредноуты. Позже это заставило молодого Уинстона Черчилля выступить с угрозою: на каждый киль, заложенный в Германии, Англия ответит закладкою двух килей. Начиналась бурная эпоха политического «маринизма»! Патология этого явления выразилась в дредноутизации всех флотов мира, ибо линейный корабль (дредноут) стал главным критерием морской силы государства. В этой гонке за тоннажем, броней, калибром и скоростью проиграли сами же англичане: создав новый класс суперброненосцев, они оказались вынуждены начинать развитие своего флота как бы с нуля! Но в таком же положении оказалась и Германия… С нуля начинала и Россия, похоронившая у Цусимы свои эскадры. В морских кругах Петербурга уже говорили о строительстве дредноутов, которым позже суждено было воплотиться в грозные цитадели боевой мощи и революционного духа. Эти наши линкоры типа «Севастополь» отжили свой век на почетной вахте после Великой Отечественной войны…

Но я не сказал еще самого главного. Памятуя о высокой доблести наших моряков в Цусиме, мы иногда забываем другое, чрезвычайно важное обстоятельство. Если бы даже переход эскадры Рожественского совершался в мирное время, то ее плавание все равно вошло бы в летопись флотов всего мира как неслыханное предприятие, какому нет примеров в истории! Мы, живущие в конце XX века, уже не представляем себе небывалую трудность подобного прохождения эскадры вокруг трех континентов, когда масса кораблей различной классификации, не имея на своем пути баз снабжения, маневрируя из одного климатического пояса в другой, все-таки проделала этот путь, который уже сам по себе достоин всеобщего восхищения.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рожественский не пожелал повторять позорной дороги Стесселя, протащившего свой багаж вокруг всей Азии до Одессы, – он сказал, что вернется в Петербург через Россию. Коковцев не составил ему компании, ибо раны еще давали себя знать; он решил плыть с комфортом на лайнере «Травэ», хотя билет первого класса стоил сто шестьдесят пять рублей; а ведь следовало еще сбросить цусимские лохмотья и как-нибудь приодеться. Недостающие деньги он занял у земляка – Гордея Ивановича Пахомова. Его ресторан «Россия» процветал, как и раньше, в дверях под зонтиками стояли миниатюрные японки, зазывая гуляющих пленных:

– Ходи сюда, русскэ аната, посиди надо, пожару-стра, едишка кусай, парка-хаси нету, у нас вирка и рошка…

Пахомов овдовел, дела вел сын, женатый на очаровательной японочке. Коковцев застал старика в клетушке задних комнат, куда едва достигали тонкие голоса японских хористок:

Динь-бом, динь-бом.Слышен звон кандальный.Динь-бом, динь-бом.Путь сибирский дальний…Гордей Иванович зябко кутался в русский полушубок, наверняка купленный у пленного портартурца.

– Это вот ему, – показал он на сына, – уже все равно, что Россия, что Япония, один бес, лишь бы все столики были заняты! А вы-то, господа, куды глядели? Не дикари же вы, не в корытах по лужам плавали. Поглядишь – броня во какая! А пушки? Да в любую эдакую махину самого жирного порося затолкать можно свободно… Ведь смеются теперь над вами!

– Смеются те, кто ничего не смыслит. Англичане же смеются с пониманием дела. По их мнению, мы совершили глупость. Сначала надо бы захватить у Китая какой-либо порт, из которого уже и начинать действия, имея в тылу прочную базу. Но мы же не англичане – мы привыкли оставаться джентльменами!

Коковцев покинул Пахомова в дурном настроении: уж если так осмеливается говорить этот старик, что же предстоит выслушивать в Петербурге? Рожественский уже отбыл на родину. Не задерживаясь во Владивостоке, адмирал 17 ноября тронулся в путь по линии КВЖД, минуя Харбин, на перроне которого качалась серая стенка пьяных демобилизованных; прослышав, что едет сам Рожественский, они кричали «ура» перед его вагоном.

Всю дорогу питались скудно – консервами. За Хинганом начиналась снежная зима; в тупиках разъездов мерзли эшелоны раненых и запасных; они посылали делегатов, просивших, чтобы адмирал к ним вышел. Солдаты произносили речи, Зиновий Петрович благодарил за сочувствие и даже целовался с бородачами в папахах, которые плакали, говоря: «Ты вить тож ранетый… не как иные сволочи!» Всеобщая забастовка путейцев передвинула стрелки России, революция зажгла красный свет семафоров. Но стачечные комитеты постановили: экстренный-бис с адмиралом не задерживать! Офицеры свиты Рожественского закупали на станциях мороженых рябчиков. Военные оркестры на вокзале Читы беспрерывно играли «Марсельезу», всюду реяли красные стяги. При виде адмирала в окне вагона гуляющая публика аплодировала ему. На таежном разъезде Зиновий Петрович ел в буфете щи, к его столу подали даже гуся, и он, изголодавшийся на японских «едишках», ел с большим аппетитом. За Байкалом власть уже не имела власти: гарнизоны поддерживали рабочих, офицеры митинговали, как и солдаты, в тамбур адмиральского вагона поставили караул с добрыми намерениями – чтобы ротозеи не мешали больному человеку. Иногда возникали стихийные митинги перед вагоном адмирала. Рожественский с забинтованной головою, открытой на сибирском морозе, держался прямо, обращения на «ты» не шокировали его. Рабочие депо просили рассказать о Цусиме, задавали каверзные вопросы о Небогатове.

– Скажи, старик, не было ли измены? – спрашивали его.

– Измены не было, – твердо отвечал Рожественский…

Так ехали до Самары, где экспресс был задержан. Но имя адмирала действовало на всех магически: снова многотысячные толпы народа, опять бурные овации – семафоры открылись. Бастующие телеграфисты отстукивали по линии: «Экспресс адмирала Рожественского пропускать на Петербург без задержек…»

– А ведь едем на эшафот! – говорили офицеры штаба.

По прибытии в столицу вице-адмирал Рожественский 21 декабря 1905 года опубликовал в газете «Новое время» скандальную статью, в которой честно признался, что он не знал о дислокации эскадры Того в Мозампо, как не знал об этом «даже адмирал английского флота, сосредоточивший свои силы у Вэйхайвэя в ожидании категоричного приказа – истребить весь русский флот, если бы эта конечная цель английской политики оказалась не под силу японцам». После подобного заявления Уайтхолл пришел в ярость… Это никак не остановило Зиновия Петровича, который официальным порядком потребовал суда над собою, заодно дав интервью корреспондентам столичных газет.

– Британские крейсера охотились за нами от самой Доггербанки, эскадра Альбиона группировалась в китайских портах. Я утверждаю: если бы адмирал Того не разбил нас при Цусиме, в дело вступил бы флот Англии, желавший доломать то, что после нас останется. И как в свое время Скобелев говорил, что в будущем наш враг – Германия, так и я заявляю, что Англия была, есть и всегда будет главным врагом России!

– Можете ли сказать то же самое о Японии?

– Вопрос нелегкий… Алчность японской нации чересчур велика. Но осмелятся ли они залезать в нашу Сибирь, на это мне ответить трудно: я не политик. Однако Азия слишком обширна, и она слаба, зато Япония слишком мала, и она очень сильна… Понимайте меня, господа, как вам угодно!

Конечно, его спрашивали о сдаче эскадры Небогатова:

– Находите ли какие-либо тому оправдания?

– Никаких! – огрызнулся Рожественский. – Позорное слабодушие нельзя маскировать декорациями гуманности. Морской устав прав: думать о спасении экипажа дозволено лишь в том случае, если корабль гарантирован от захвата его противником.

– Но, позвольте, не вы ли и сдались на «Бедовом»?

– Я.

– И после этого осуждаете своего коллегу?

– Прежде всего, – был ответ адмирала, – осуждаю самого себя… Если угодно, могу процитировать статью № 279 Морского устава о наказаниях, гласящую: «Кто, командуя флотом, эскадрою, отрядом судов или кораблем, спустит пред неприятелем флаг или сложит оружие… если таковые действия совершены без боя, тот подвергается СМЕРТНОЙ КАЗНИ».

– Зачем же вы, адмирал, вернулись в Россию?

– Именно за этим я и вернулся.

– Правильно ли ваше суждение? – сомневались газетчики. – Ведь если каждого офицера за поражение в бою будут наказывать смертью, то кто же из русской молодежи пожелает поступать в кадетские корпуса или военные училища? Молодые люди России, убоясь такой ответственности, лучше пойдут в университеты или в консерваторию.

– Ну и пусть идут… куда хотят!

Его бесило, что газеты пишут не «крейсера», а «крейсеры», фамилию же переделывают на поповский лад: не Рожественский, а Рождественский… Адмирал озлобленно ругался:

– Все это – наша похабная деревенщина!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Коковцев обещал Окини-сан, что в ноябре поедет с нею в Токио, где открывалась ежегодная выставка хризантем. Ночи были тревожными, а соседство женщины, когда-то желанной, не могло утешить. Неподалеку размещался русский госпиталь, по улицам расхаживали одетые в разноцветные хаори (короткие кимоно) всякие калеки. На кладбище Иносы стучали отрывистые залпы – это японские матросы отдавали последний воинский долг умершим матросам и офицерам русского флота. Религиозная веротерпимость японцев была удивительна! В православном соборе Токио, даже в самый разгар боев, епископ Николай легально служил молебны о «даровании победы над супостатом».

Полюбовавшись на выставке хризантемами, Коковцев оставил Окини-сан в отеле, а сам навестил епископа на его подворье, прося отслужить панихиду по убиенному на морях рабу божию Георгию:

– Это мой сын – мичман, он утонул на «Ослябе».

– Не стану, – отказал епископ. – А вдруг жив?

Николай полистал списки экипажей русских эскадр, сообщения посольств – французского, немецкого, британского. На его столе фундаментально покоилось обширное японское издание «Ниппонкай тай кайсён», в котором японцы четко и объективно изложили всю канву Цусимской битвы – в подробностях.

– Они сами признают, что засыпали снарядами миноносцы, спасавшие людей с «Осляби». Однако «Буйный» спас многих!

– Моего сына, ваше преосвященство, на «Буйном» не было. Не ищите его и среди мичманов в японском плену. Я их знаю: Бартенев, князь Горчаков, Кузьмичев, барон Ливен, Максимов!

– «Бравый» прорвался во Владивосток, правда, среди спасенных им четырех офицеров с «Осляби» ваш сын не значится. Внушите себе надежду на милость божию: эсминец «Блестящий»…

– «Блестящий» открыл кингстоны, чтобы не сдаваться!

– Но успел передать восемь человек с «Осляби» на борт миноносца «Бодрый». Спалив весь уголь в котлах, на «Бодром» сшили из коек паруса и достигли Шанхая. Я не могу отпевать человека, пока не знаю точно, что его нет на «Бодром»… У вас есть еще дети? – спросил Николай, снимая очки.

– Двое сыновей. Тоже по флоту.

– Да хранит их господь на зыбких водах…

Вернувшись в Нагасаки, Владимир Васильевич отнес ворох японских цветов на могилу отважного каперанга Лебедева, рухнувшего на решетки мостика крейсера «Дмитрий Донской». Большие белые облака, проплывая над Японией, сквозили на высоте все дальше и дальше – завтра их увидят в России… Надо было думать об отъезде. Коковцев приобрел твидовый английский пиджак в клетку, приспособил к голове котелок, обулся в американские ботинки со шнурками, каких до этого ни разу в жизни не носил. Окини-сан провожала его с обворожительным спокойствием, а все ненужно беспокоящее Коковцев решительно отметал от себя.

На прощание Окини-сан подарила ему каллиграфический список, сделанный красивою тушью со старинного стихотворения Токомори:

Как пояса концы – налево и направорасходятся сперва,чтоб вместе их связать.Так мы с тобой:расстанемся —но, право,лишь для того, чтоб встретиться опять!«Центральное бюро военнопленных» в Японии оповестило его телеграммой, что отплытие «Травэ» назначено на 12 декабря. Коковцев поразился вопросу Окини-сан:

– Когда мне снова ждать тебя, голубчик?

– Давай простимся, и лучше – навсегда.

– Но это же невозможно… – загадочно ответила женщина. – Я все равно буду ждать каждый праздник дзюгоя, я буду варить сладкий рассыпчатый дзони – для тебя, для нас.

Японская администрация устроила в день отъезда пленных завтрак для них «a la fourchette» с шампанским, на котором присутствовал и Коковцев с Окини-сан.

В каюте «Травэ» он сразу расшнуровал ботинок, чтобы не так жало больную ногу. Владимир Васильевич представил, как Окини-сан возвращается в Маруяму на рикше, вечером прольется дождь, и, может быть, мертвые на кладбище Иносы тоже будут чувствовать, что идет дождь. «Об этом лучше и не думать», – сказал он себе…

На «Травэ» плыло домой самое разнообразное общество – инвалиды, потерявшие ноги под Ляояном, и брюзгливые генералы, растерявшие свои дивизии в боях под Мукденом; врачи, офицеры, священники, сестры милосердия, даже дети… Все это общество было уверено, что через месяц высадится в Одессе и никакие забастовки в океане им не угрожают.

Новый, 1906 год встречали на подходах к Сингапуру, в салоне лайнера были устроены танцы, официанты разносили вино и тропические фрукты, играл корабельный квинтет. Подвыпив, Коковцев рассуждал:

– Я не могу признать, что вся наша политика на Дальнем Востоке сплошь состояла из ошибок, как диктант отупелого гимназиста. Да, мы нуждаемся в обладании Порт-Артуром, да, рельсы КВЖД имеют важное значение для обороны Уссурийского края, и что бы там ни болтали занюханные интеллигенты, но делить Сахалин на две части, русскую и японскую, нельзя!

Его тирада предназначалась скромным армейским офицерам, которые вдруг искренно возмутились:

– Разве вам мало досталось от японцев? Или вы хотите устроить вторую Цусиму? А сколько стоит один броненосец?

– Смотря какой! Миллионов до пятнадцати.

– Вот! – разом заговорили армейцы. – Где же вы наскребете деньжат на новые эскадры? Да и мы, армия, не позволим вам, флоту, выбрасывать миллионы в воду, если у нас нет самого необходимого для войны…

Путешествие заняло 33 дня. В последний день января «Травэ» оповестил спящую Одессу о своем прибытии. Владимир Васильевич не стал телеграфировать Ольге: сел на поезд и поехал!

Еще в Японии офицеров флота предупреждали, чтобы на родине держались скромнее, желательно носить цивильное платье, дабы не нарваться на оскорбление мундира, – флот после Цусимы не возбранялось ругать кому не лень. С этим явлением Коковцев сразу же и соприкоснулся. Соседом по купе оказался развязный магазинный приказчик, который удивительно точно отражал мещанское и обывательское отношение к делам флота.

– Армия, та хоша воевала, – разглагольствовал он. – А энти, сундуки железные, только, знай себе, по бабам шастали. Мне один умнейший человек, он в Уфе гвоздями торгует, про флотских все как есть обсказал. Такие они фулиганы – ну, спасу нет! Бабья у них – в кажином городе по три штуки. И вот между городами на пароходах и шлындрают. Опосля всего ясно же, почему флотские не могли Японии взять… Я читал, бытто пузыри из моря выскакивали – шире энтого вагона!

Будь другие времена, Коковцев припугнул бы невежу составлением через полицию протокола об «оскорблении флота его величества». Но тут, слушая податливое хихиканье пассажиров, приходилось помалкивать…

Вот и Петербург! Здесь, кажется, ничего не изменилось, и билеты «на Шаляпина», если верить аншлагам, давно проданы. Был тихий рассветный час. Подмораживало. Коковцеву всегда были приятны эти по-зимнему тишайшие, освещенные из окон улицы столицы, первые дворники, еще зевая в рукавицы, скребли совками панели, сгребая в кучи снежок, выпавший за ночь. Парадные двери на Кронверкском были закрыты, он позвонил, разбудив швейцара, и тот радостно суетился:

– Эк вас угораздило-то – и года не прошло, как уже с костылем вернулись! Вот радость-то семье будет какая…

В передней разыгралась именно та сцена, которой так страшился Коковцев и которой было не избежать.

– А где же Гога? – спросила жена.

Коковцев приставил в угол костыль, как еще недавно прислонял звонко поющую саблю – знак доблести и чести.

– У нас двое сыновей, – с натугой ответил он.

Ольга Викторовна дернулась головой:

– Я так и знала… я так и знала…

На пороге гостиной появился второй сын – Никита. Радостно-просветленный, он показал отцу его именные часы:

– Папа! Они вернулись к нам раньше тебя.

Никита уже носил эполет гардемарина.

– Можешь занять комнату Гоги, – сказал ему отец.

Надломленная в страшном поклоне, из которого ей уже не дано выпрямиться, Ольга Викторовна повторяла:

– Я так и знала… О, боже, я ведь знала!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

На самом деле она ничего не знала, да и разве мог ли Коковцев сказать ей правду? Сказать, что мичман Георгий Коковцев – живым – ушел с броненосцем на грунт океана и долго мучился, собирая остатки воздуха из тех «подушек», что прессуются в углах помещений корабля, пока смерть не стала для него избавлением от страданий…

– И нет даже могилы! – убивалась Ольга Викторовна.

А что он мог ответить в утешение? Да ничего.

– Не плачь. Могила одна на всех…

В эти первые дни он навестил Морской корпус, справился об успехах и поведении сына. Его успокоили: Никита Коковцев, юноша скромный, является добрым примером для разгильдяев.

– Как отец погибшего в бою сына, вы теперь можете без экзаменов зачислить в корпус и своего младшего.

– Благодарю. Не премину так поступить…

Он залег в морской госпиталь на Фонтанке, с удивлением обнаружив, что здоровье, всегда казавшееся ему железным, перестало внушать доверие медицине. Это обескуражило каперанга, который, отказываясь верить диагнозам, выписался из госпиталя раньше срока и оставил там свои костыли.

– Врачи ничего не понимают, – сказал он жене. – Меня тревожит другое: отчего так трясется твоя голова?

– А ты можешь вернуть мне сына? – спросила Ольга.

Коковцев вдруг подумал: если Гога был его любимцем, а мать обожает младшего Игоря, то средний Никита вырастал как-то сам по себе. Этот незаметный тихоня, проводивший все воскресенья в шахматном клубе столицы, не меньше отца был потрясен поражением флота. Совсем не склонный к кутежам и флирту, свойственным гардемаринской младости, Никита основал в корпусе серьезный кружок думающих друзей, старавшихся анализировать причины разгрома не только со стороны неудачной тактики боя, но и – политически… Отец сказал Никите:

– Не рано ли тебе ковыряться в наших язвах?

– Папа, это необходимо для будущего. Сейчас, куда ни приди, везде твердят стихи Владимира Соловьева: «О, Русь! Забудь былую славу, орел двуглавый посрамлен, и желтым детям на забаву даны клочки твоих знамен…» Бог уж с ним, с этим орлом, но согласись, что посрамление Руси было слишком жестоко!

Втайне Коковцев побаивался, что сейчас, после Цусимы, его устранят с флота, но, слава богу, под «шпицем» все-таки догадались считать его в отпуске ради лечения.

– Врачи советуют ехать на теплые воды. Это даже смешно, Оленька: после Цусимы искупаться в Биаррице…

Чтобы отвлечь жену от тягостных мыслей, Коковцев некстати помянул бал в Зимнем дворце; реакция Ольги Викторовны последовала совсем не та, какую он ожидал.

– Мог бы и не вспоминать, – сказала она. – Я расплясалась там, будто последняя деревенская дурочка. Если бы знать, какие страшные беды готовил всем нам этот вечер!

– Ну, прости. – Коковцев заговорил совсем о другом: – Кажется, сейчас на флоте возможны всякие перемены.

– Перемены? – хмыкнула Ольга. – Владечка, может, для тебя будет лучше именно сейчас подать в отставку?

Разговор об отставке был неприятен Коковцеву:

– А все эти годы – кошкам под хвост? Сам не уйду. Пусть выкидывают, если так надо… Я готов! Знаю, что под «шпицем» найдутся люди, которые несмываемое кровавое пятно Цусимы постараются размазать в грязную кляксу…

Отослав прислугу, Ольга тряскими пальцами сама прибирала со стола посуду. Коковцев неспроста завел речь о переменах. Четверть века подряд во главе русского флота стоял (вернее – сидел, как виночерпий во главе стола) человек, хорошо изучивший два дела – выпить и закусить! Это был родной дядя царя, великий князь Алексей. За счет флотской казны он содержал французскую балерину Элизу Балетта, всю обвешанную такими бриллиантами, что, если бы их продать, эскадра Рожественского могла бы иметь два боевых запаса. Но испытывать терпение моряков и далее было нельзя, и Николай II освободил дядю от звания «генерал-адмирала». Отныне в России вместо управляющих морскими делами флота явились полновластные морские министры…

Коковцев жалобными глазами досмотрел, как его жена закончила убирать посуду.

– Все бы ничего, – сказал он ей, – но меня огорчает, что министром стал Бибишка – Бирилев, немало испортивший крови покойному Степану Осипычу… Этот «маляр» и меня не терпит!

– Не лезь к нему на глаза, – рассудила жена. – Самое лучшее сейчас: вести себя тихо, не привлекая внимания…

Но случилось обратное: Коковцев выступил в печати, яростно порицая тех критиков, которые, сидя на берегу, пытались вразумить читателя, что в море случилась беда только оттого, что адмиралы их не слушались. Широкого понимания цусимской катастрофы в стране еще не было. Популярное «Новое время» печатало корреспонденции одного громовержца, считавшего себя знатоком морских вопросов лишь на том веском основании, что он два года служил в Либаве… полицмейстером! Конечно, два года подряд таская матросов до своего участка, он уже возомнил себя великороссийским Нельсоном. Коковцева коробило от невежества журналистов, он открыто негодовал:

– Акулы всегда плывут за большими кораблями, ожидая, не сбросят ли с кормы покойника, чтобы они могли нажраться!

Его не раз предупреждали друзья, чтобы он не ратовал за Рожественского, ибо сейчас, напротив, стало очень модно оскорблять адмирала на каждом перекрестке.

– Но я хочу надавать пощечин тем негодяям, которые раньше подхалимствовали перед Рожественским и которые теперь оплевывают его эполеты, желая вызвать одобрение своему хамству…

При министре Бирилеве нельзя было рассчитывать на успешную карьеру. В этом Коковцев и сам убедился, случайно повстречав Бибишку под сводами торжественного Адмиралтейства.

– Зайдите ко мне, – велел Бирилев.

В кабинете, наедине, он сказал с усмешкой:

– А что вы там пишете?

– Извините – правду!

– Правда в наши времена подвержена строжайшей цензуре. Я вам заявляю об этом без тени намека на юмор. Ради всего святого, ничего не публикуйте без моего одобрения.

– Как же вы не понимаете, – возмутился Коковцев, – что я могу уговорить дворника, и пусть он за трешку возьмет на себя грех подписывать мои статьи своим кондовым именем.

– Но вы же – офицер, вам честь того не позволит.

– В том-то и дело! А сохранение тайны всегда будет способствовать.развитию клеветы и всяческих мерзких инсинуаций…

Бирилев ответил, что по указанию императора образована авторитетная «Следственная комиссия по выяснению Цусимского боя» [12] , и, ежели Коковцеву угодно осветить некоторые моменты катастрофы, он может дать показания в комиссии, за что она будет ему благодарна. Последнее замечание министра напоминало ловушку, и Коковцев решил не внимать предостережениям министра.

Но как сигнал боевой тревоги взбудораживает корабль, так в один из дней звонок телефона буквально взорвал тишину уютной барской квартиры на Кронверкском.

– Что еще там, Владя? – спросила жена.

– Меня привлекают к суду.

– Тебя? За что?

– За Цусиму… Vae victis!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Еще один звонок, не менее опасный.

– Это я, – женский голос (с придыханием).

– Простите, но – кто вы?

– Ивона. Я, кажется, уезжаю.

– Куда?

– А если в Париж?

Что за глупая манера отвечать вопросами!

– Нам следует повидаться, – сказал он.

– Конечно… Мне ждать?

Ольга Викторовна догадалась:

– Это телефонировала мадам фон Эйлер?

– Да.

– Что ей от тебя надобно?

– Желает знать о последних минутах Лени.

– Своего фон-мужа? Зачем?

– Вполне естественное желание.

– Если так, пусть придет к нам, ты расскажешь.

– Она стесняется.

– Удивлена – почему?

– Ты у меня все-таки светская дама, а Ивона осталась парижской простушкой, и она сама это понимает.

– Простушка никогда бы этого не поняла… Бог с ней!..

Вскоре Владимир Васильевич сообщил жене, что вопрос о сдаче миноносца «Бедовый» с Рожественским на борту выделен комиссией в особую секретную папку.

– Владечка, а что это значит?

– Для меня – многое. Я реабилитирован за дела на эскадре, ибо никогда не был ответственен за исход боя. Но причастен к «Бедовому»… Эх, нельзя давать подобных имен кораблям!

– Бедовый – в смысле «отчаянный». Сорвиголова.

– Но публика поняла иначе – от слова «беда». Это дает повод для газетных карикатур! Все они глупейшие, но глупеньким читателям умнее ничего и не требуется…

В цитадели Кронштадта, где еще недавно так пышно чествовали Рожественского, теперь судили его – высоченного седовласого старца в старомодном сюртуке. На лбу и затылке Зиновия Петровича ярко алели плохо заживающие рубцы от осколков японской шимозы. Вставая перед судом, он опирался на палку. Коковцев тоже угодил на скамью подсудимых – заодно с флаг-капитаном Клапье де Колонгом, флагманским штурманом Филипповским и прочими чинами штаба эскадры, в компанию которых затесался и командир «Бедового», кавторанг Гвардейского экипажа – Баранов. Протискиваясь на свое место, Коковцев руки Баранова демонстративно не принял:

– Вы обязаны были снять адмирала с броненосца и не сделали этого под видом спасения тонущих с «Осляби». Однако, покружив возле «Осляби», вы, в отличие от командиров других миноносцев, не спасли никого и с «Осляби»!

В этой реплике Коковцева прорвалась затаенная боль от потери сына. Но он отверг и руку Клапье де Колонга:

– Я ведь не стоял на мостике «Бедового», когда вы с Барановым договаривались сдавать миноносец противнику…

Старый и больной Филипповский шепнул Коковцеву:

– Что вы на рожон-то лезете? Адмирал, конечно, останется пострадавшим машинистом, а кому-то нужны и стрелочники, обязанные быть виноватыми… Смиритесь и подумайте, как обеспечить семью в том случае, если вас не станет!

Коковцев вызвал в Кронштадт жену, впервые пожалев, что сгоряча продал когда-то жирные полтавские черноземы:

– Оля, если я буду приговорен к худшему, дачу в Парголове постарайся продать. С квартиры на Кронверкском, очевидно, придется съехать: она дорогая. Думаю, ты сможешь неплохо устроиться в Гельсингфорсе, где жизнь намного дешевле…

Ольга Викторовна тихо плакала:

– Владя! Бедный мой Владечка… за что нам все это?

Она привезла свежие столичные газеты, в которых Коковцева именовали «прихвостнем адмирала», о нем писали, будто он вешал «бедных матросиков» десятками на реях головами вниз. Это была мерзкая ложь, возмутившая каперанга:

– Если не вешал флагман, не вешал и я, его флаг-капитан!

В прическе жены он разглядел первые седины.

– Владечка, я вызову в Кронштадт и детей.

– Как хочешь. Но… стоит ли?

Обвинителем выступал чиновник министерства юстиции Вогак, которому ради вящей авторитетности присвоили чин генерал-майора. Рожественского он явно щадил:

– Напоминаю вам, свидетель , что в момент сдачи «Бедового» вы находились в бессознательном состоянии.

Адмирал сразу встал, опираясь на палку:

– Но я обрел сознание, услышав отдаленные выстрелы, следовательно, могу отвечать за последствия сдачи миноносца. С мостика вдруг застопорили машину. Стал звонить по расблоку – никого, даже вестового! У меня, прошу верить, просто не было под рукой револьвера, чтобы застрелиться, когда мой флаг-капитан Клапье де Колонг появился в каюте с японцами.

– Достаточно! Вы, адмирал, не волнуйтесь…

Судили: Гильденбрандт, барон Штакельберг, граф Гейден и Шульц. Вогак, очевидно, ознакомился со статьями Коковцева в печати, почему этот автор и привлек его особое внимание:

– Вы уже немало тиснули статеек в защиту себе. Но… кто сказал, что жизнь адмирала дороже миноносца?

– Я не мог сказать подобной ерунды, ибо нет бухгалтера, который бы осмелился скалькулировать ценность жизни адмирала и стоимость эскадренного миноносца. Если бы я так думал, я бы не остался на «Буйном», лишенном угля, с повреждениями в машинах, заведомо зная, что «Буйный» обречен на гибель.

Конечно, решение о сдаче миноносца «Бедовый» было принято не духом святым. Но Клапье де Колонг ссылался на Рожественского, Баранов все взваливал на первого флаг-капитана эскадры. Вогак почему-то особенно невзлюбил Коковцева, который уже догадывался, что над ним хотят учинить расправу за то, что он осмелился публично критиковать не тех, кто сражался в Цусиме, а тех неподсудных, что послали эскадру в Цусиму.

– Что вы делали на «Буйном»? – допытывался Вогак.

Коковцеву опротивела эта игра в кошки-мышки:

– Можете считать, что я ничего не делал.

– А где вы находились в момент, когда принималось решение о переходе адмирала и его штаба на «Бедовый»?

Зал судебных заседаний Кронштадтского порта заполняла публика – офицеры с кораблей, их жены и любопытные до всего дамочки. Коковцеву было стыдно перед людьми, знавшими его еще мичманом, а теперь они из великодушного отчуждения разглядывали его, как физиологи подопытную собачонку.

– Так я не слышу ответа, – напомнил Вогак.

– Я был… под столом, – сознался Коковцев.

Зал наполнился тихим, унижающим его смехом.

– Объясните, как вы могли оказаться под столом?

Теперь ему (и не только ему) приходилось расплачиваться за все, в чем виноваты другие – те, что кормились от некачественной брони, слетавшей с бортов, от нехватки угля, установок иностранных прицелов и дальномеров…

– Да! – ожесточился он. – И не стоит смеяться, дамы и господа: я действительно лежал под столом. Это, пожалуй, единственное место, где можно было не бояться, что тебя затопчут в случае тревоги. Потому я и оказался под столом. Рентгеновские снимки, сделанные японцами в Сасебо, сейчас переданы в петербургский госпиталь. Они могут служить доказательством тому, что под стол кают-компании «Буйного» меня загнала не трусость, а лишь естественное желание израненного человека, мечтающего об одном – хоть на минуту спастись от боли…

Выручил его граф Гейден, сурово заметивший Вогаку:

– А вы же не плавали! Как можно требовать от человека с размозженной ступней, чтобы он при сильной качке отважился прыгнуть с борта миноносца на днище шлюпки?

Из зала послышались возмущенные голоса моряков:

– Тут и здоровые-то все кости переломаешь!

Все внимание публики было приковано, конечно же, к Рожественскому, и, как ни старался председательствующий, адмирал упрямо брал всю вину на себя:

– Мне приписывают невменяемость в момент сдачи «Бедового», это не так… Да, верно, я никогда не отдавал словесного приказа сдать корабль противнику. Однако на вопрос Клапье де Колонга, сдавать или не сдавать корабль, я допустил кивок головы , который объективно можно расценивать как мое согласие… Прошу суд вынести мне смертный приговор через расстрел, которого я и заслуживаю, как не исполнивший долга перед отечеством и опозоривший свое положение флотоводца!

Адмирал был оправдан. Коковцев тоже, и он крикнул:

– Оправдан, но все-таки опозорен вами, господа!..

К расстрелу приговорили Клапье де Колонга, Баранова и Филипповского; смертную казнь им заменили удалением со службы, и плачущий флагманский штурман говорил:

– Опять не повезло мне, Владимир Василич… У меня же застарелый рак желудка. Надеялся, что в бою японцы излечат. Бог миловал при Цусиме, так и здесь не удалось умереть!

Коковцев за эти дни суда не поседел, но Ольга Викторовна вздрагивала по ночам, она похудела, издергалась.

– Дачу в Парголове все равно лучше продать, – сказал он ей. – Может, и в самом деле поехать в Биаррицу?

– Владя, как ты не можешь понять моего состояния? Не Биаррица нужна мне сейчас… Верни мне Глашу и ее ребенка! Я тебя умоляю: где хочешь, но разыщи нашего внука.

– Хорошо, – сказал Коковцев. – Это я тебе обещаю.

Департамент тайной полиции дал ему обстоятельную справку: Глафира Матвеевна Рябова, в прошлом проститутка, затем окончившая «Классы горничных и нянек» в школе Трудолюбия на Обводном канале, ныне проживает в Уфе, где стала женою телеграфиста Ивана Ивановича Гредякина. Отпечатков пальцев Рябовой не имеется, во время ее пребывания в публичном доме г-жи Слонимской на Кирочной улице она проходила среди клиентов под кличкой – Чистюля.

– Зачем она нужна вам? – спросили в департаменте.

– Значит, нужна… Благодарю, господа, за справку.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Этой информации жандармов Коковцев не придал отрицательного значения; напротив, сейчас для него Глаша оставалась последним звеном, что связывало его с сыном…

Уфа показалась ему приличным и чистеньким городочком. Коковцев зашел на телеграфную станцию, из-под аппарата Морзе выбегала длинная линия текста, которую телеграфист и надорвал.

– Вы, случайно, не Иван Иванович Гредякин?

Молодой парень в распахнутом кителе ответил:

– Да. А с кем имею честь?..

– Владимир Васильевич Коковцев.

– Знаю, знаю… Глаша обрадуется. Вы устали с дороги? Я сдам дежурство, и, ежели угодно, вместе пойдем домой.

– Спасибо. Сын или дочка у Глаши?

– Сынишка. Назвали Сережей.

– Имя хорошее…

– Да и мальчик хороший! – ответил телеграфист.

На окраине Уфы догорал теплый осенний вечер. Глаша, подоткнув подол, внаклонку полола на огороде. Коковцеву вдруг стало тяжело от сознания, что жизнь во всем ее разнообразии еще продолжается, но Гога уже не участвует в ней, для него не существует тепла вечерней земли, краски жизни померкли для него в броневой теснине «Осляби»…

– Владимир Васильевич, никак вы?

И, подбежав, Глаша прильнула к Коковцеву.

– Меня прислала Ольга Викторовна, – сказал он.

– Господи, да разве ж я зло на нее имею?

– И не надо, миленькая. Ей очень плохо сейчас…

В комнатах были разостланы половики, из горшков росли сочные фикусы, на окнах полыхала яркая герань, над кроватью висела гитара, украшенная голубым бантом. Так вот куда занесло Глашеньку из квартиры на Кронверкском (и, кажется, она счастлива). В сенях женщина дала ему умыться, поливая из ковшика на руки, протянула чистое полотенце.

– Ваня все знает, – шепнула она. – Я не скрывала о Гоге. Да и зачем? Он хороший. И любит Сереженьку.

– Тем лучше, – ответил Коковцев.– А где же внук?

Мальчик дичился незнакомого дяди. Глаша вытерла ребенку измазанный ягодами рот, указав на Коковцева:

– А это твой дедушка. Ты любишь деда Володю?..

Ужинали при свете керосиновой лампы. Владимир Васильевич заметил, что Глаша помыкает мужем, а тот охотно ей повинуется. Коковцев понял: женщина любима… Она спросила:

– Смерть-то у Гоги хоть легкая была?

– Нет, Глаша, кончина была мученическая…

Глаша разлила старку по серебряным стопочкам:

– Как бы я хотела вернуть его… хоть на день! Мой грех, бабий, любила его. Вы-то еще не догадывались, а я, бывало, по субботам звонка ждала с лестницы – вот-вот заявится он из корпуса! Встречаю в передней, а у самой коленки подгибаются. Фотографию Гогочкину стащила у вас… вон висит!

– Да, Глаша, я ее сразу заметил…

Она подложила на тарелку Коковцева огурцов в сметане, просила пробовать творожники. Гредякин деликатно не мешал им, часто удаляясь на кухню, гремел там сковородками.

– Он у меня хороший, – сказала Глаша. – Но того, что было с Гогою, уже никогда не будет… Ни с кем!

Как вести себя далее? Владимир Васильевич стал говорить о страданиях жены, которая, потеряв сына, способна восполнить свою потерю тем, что обретет себе внука.

– Отдать Сережу? – отпрянула от стола Глаша.

– Прости, что я так сказал…

– Да уж ничего. Я ведь тоже баба и все понимаю. Но и вы, Владимир Васильевич, должны меня понять.

– Погоди. Выслушай… У меня, и сама знаешь, связи в обществе. Есть знакомцы и в Департаменте герольдии при сенате. Ну, что ты можешь дать Сереже в этой захудалой Уфе? Поверь, я сделаю так, что Сережа обретет мою фамилию, а дворянину Коковцеву – открыта дверь в Морской корпус…

С шипящей сковородкой в руке появился Гредякин:

– А вот и яичница… Извините, не помешаю?

– Да сядь! – указала ему Глаша. – Можешь слушать, что говорим… Жалко мне Ольгу Викторовну, очень жалко. Но как же я дите-то свое отдам? Вот и Ваня любит Сережу… Он с ребенком меня и взял. При нем скажу – спасибо ему!

Коковцев понял, что разговор окончен:

– А что передать Ольге Викторовне? Я ведь не приехал отнимать у тебя ребенка. Сам вижу, что ему здесь хорошо. Но, может, ты время от времени будешь навещать нас в Питере?

Глаша расцеловала его, порывисто обняв за шею:

– Приеду! – И слезы срывались по ее упругим щекам…

Возле стола суетился покорный и любящий муж.

– Вам чего-либо еще подать? – спрашивал…

Коковцеву было ясно, что этот сугубо мещанский мир, в быту которого укрылась Глаша, останется нерушим: Гредякин будет стучать до старости на телеграфе. Глаша станет засаливать на зиму огурцы в бочках. Но куда тронется жизнь этого мальчика? Куда?.. Ночью Владимир Васильевич слышал, как за стенкою горячо перешептывались супруги. Стоит ли ему тревожить их жизнь!

Утром Глаша сказала Коковцеву:

– Не соображу, что послать Ольге Викторовне?

– А ничего! Лучше сфотографируйся для нас с Сережей…

Коковцев вернулся в Петербург и снова обратил внимание, как сильно дергается голова Ольги Викторовны. Ему было невыносимо трудно находить для нее слова утешения:

– Мальчик очень хороший. Одет, умыт, накормлен. Может, и лучше, если Глаша изредка будет приезжать к нам… с внуком вместе! В самом деле, подумай сама, ну куда нам еще и ребенок? Я на службе, у тебя хватает своих забот…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Бирилева удалили с поста министра, его место занял Иван Михайлович Диков, бывший ранее главным минным инспектором флота. Он ценил Коковцева как отличного минера и в январе 1907 года переслал ему эполеты контр-адмирала с приказом о чинопроизводстве, подписанным царем. По времени это совпало с суровым приговором, вынесенным контр-адмиралу Небогатову и его штабу – их приговорили к расстрелу, который царь заменил тюремным заключением на разные сроки. За Небогатовым на долгие десять лет затворились тяжкие ворота Петропавловской крепости.

– А ведь по-своему он был прав, – решил Коковцев…

Поздно вечером в квартире зазвонил телефон.

– Контр-адмирал Коковцев… слушаю вас.

– Это я, – шепнула Ивона. – Опять я.

По чину контр-адмирала Коковцев имел жалованье в две тысячи триста рублей, «столовых» денег – три тысячи двести рублей и еще в расчет командировок по пятьсот сорок рублей ежегодно. Так что унывать было рано: и семье хватит, и на Ивону останется!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

При свидании с нею он рассказал очень мало:

– Кроме одиночек из штаба Рожественского, больше никто из экипажа «Князя Суворова» не уцелел… Никто! Думаю, что ты, конечно, права, решив вернуться в Париж.

А что осталось от Ленечки Эйлера? Коковцев как бы снова оглянулся с «Буйного» назад – в Цусиму, там виднелась большая дыра в броне, из разломов которой сквозняк пожара выбивал купол яркого пламени – вот и все. Он сидел в эйлеровской квартире, хозяин которой наивно смотрел на Коковцева из рамочки, обвитой ради приличия траурной ленточкой.

– Скажи, он тебе никогда не мешает?

– А тебе? – спросила Ивона.

– Не скрою, что иногда мешает.

– Но я ведь никогда не была с ним счастлива…

Коковцев об этом и сам догадывался. Через приоткрытую дверь он видел обширную спальню, две кровати под балдахином с кистями, а на боковом столике – американскую машинку «Ундервуд». Ивона пояснила, что взяла перепечатывать роли для актеров французской труппы Михайловского театра.

– Ты разве нуждаешься в деньгах?

– Нет, я нуждаюсь в другом…

Эти кровати и лист сердечной драмы Викториена Сарду, заложенный в машинку, наводили Коковцева на подозрения:

– Кажется, я опять что-то потерял…

Ивона отлично распознала подоплеку его досады:

– Наверное, легко терять то, чего не имеешь.

– А если бы имел?

– Тогда и теряй. – Ивона полулегла на кушетку, и Коковцев мельком заметил овальный выгиб ее бедра. – Я шучу… А ты? – спросила женщина, не меняя позы.

– Я тоже. – Коковцев встал, затворил двери в спальню. – Я отвык от театра, – сказал он. – Карты ненавижу. Люблю рестораны да еще кегельбан Бернара на Васильевском острове… Кажется, и сегодня я проведу там вечер.

– Adie, mon amiral, – сладостно зевнула Ивона, показав ему свой ротик, нежный и розовый – как у котеночка.

В кегельбане он повстречал Ивана Михайловича Дикова; молодому министру было далеко за семьдесят, но он не потерял четкой ясности ума, был деятелен и бодр, становясь неким пугалом для имперской кубышки, ибо на воссоздание нового флота желал исхитить более двух годовых бюджетов.

– Вы еще не получили должности? – спросил он.

– Вроде бы есть вакансия минера в Либаве.

– Охота вам торчать в этой глуши? Не лучше ли вместо Либавы прокатиться за счет казны в Фиуме?

Давний поставщик русского флота Уайтхед снова модернизировал свою торпеду, дающую теперь до сорока узлов под водой. Скорость зависела от подогрева сжатого воздуха в цилиндрах. Коковцев отвечал Дикову, что на заводах у Лесснера и на Обуховском достигли подобных же результатов:

– Сорок – не сорок, а торпеды превосходные!

– Но образцом-то подогрева все равно остался принцип Уайтхеда. А теперь, – сказал Диков, засучивая рукава и беря с полки игровой шар, – теперь эти нахалы из Фиуме требуют от нас по тридцать пять фунтов стерлингов за каждую нашу же торпеду. Стреляем-то, дай боже, не воздухом, а деньгами. Может, смотаетесь на недельку в Фиуме с бандою оголтелых юристов?

Поездка казалась заманчивой, но Коковцев сказал, что в Петербурге его сейчас удерживает болезнь жены:

– Гибель сына надломила ее… Это все Цусима!

– Положите жену в клинику Бехтерева.

– Не придумаю, как предложить ей это?

– Так и скажите, что вы здоровый мужчина, а она больная женщина, – чересчур жестоко рассудил старец.

Ольга Викторовна, отослав прислугу, еще не ложилась.

– Владечка, тебе надо покушать, – хлопотала она.

Коковцев повесил на раскрылку в передней свое адмиральское пальто, влажное от апрельской непогоды.

– Спасибо. Я только что от Бернара. Выпил, прости.

В его отсутствие было всего два звонка.

– Один из японского посольства. Деньги, которые ты переслал на имя Пахомова, вручены его сыну… старик умер. А потом телефонировал какой-то Александр Колчак.

– Я знаю трех Колчаков на флоте, и все они Александры: Александр Федорович, Александр Васильевич и Александр Александрович… Так какому из них я понадобился?

– Тому, который просил тебя зайти в Морской Генштаб.

– Тогда это второй, он тоже прыгал на костылях.

– Тебе под «шпиц» пришло письмо из Испании.

– Откуда? – поразился Коковцев.

– Из Мадрида…

Итак, предстояло знакомство с Колчаком. Лейтенантом он участвовал в полярных экспедициях, потом командовал миноносцем «Сердитый», удачно поставив минную банку, на которой взорвался японский крейсер «Такасаго». Японцы пленили его в госпитале Порт-Артура, и Колчак, еще до подписания мира, вернулся домой через Америку. Он был совершенным инвалидом и по прибытии в Петербург работал в области гидрографии и магнитологии. Географическое общество наградило его Большой золотой медалью за освоение Арктики. Казалось бы, что этот человек, целиком погруженный в дела физической лаборатории в Пулкове, навсегда потерян для флота. Но это только казалось… Перед расстрелом Колчак дал показания: «После того как наш флот был уничтожен, группа молодых офицеров, в числе которых был и я, решила заняться самостоятельной работой, чтобы снова подвинуть дело воссоздания флота… на началах более научных и систематизированных. В сущности, – говорил Колчак, – единственным светлым деятелем русского флота был адмирал Макаров… Нашей задачей явилась идея возрождения русского флота и русского морского могущества!» Колчак основал «Военно-морской кружок», который в контакте с Морской академией намечал на будущее подготовку к новой войне – с Германией! Активная деятельность кружка привела к тому, что подле Морского Главного штаба, ведавшего личным составом флота, возник Морской Генеральный штаб, ведавший развитием флота – в оперативном, в техническом отношении. Колчак одним из первых вошел в состав Генштаба, руководя работой Балтийского театра, самого ответственного в стране, а плечи лейтенанта оснастились эполетами кавторанга. Внешне это был щуплый человек с большим носом («рубильником», как принято говорить на флоте), а голос Колчака казался сиплым от неизлечимой хронической простуды…

– Вот и письмо, – сказал он при встрече с Коковцевым. – Рад познакомиться. Статьи ваши просматривал, и мне понятно ваше возмущение нашими порядками в этом кабаке…

Он стал цитировать слова химика Менделеева: если бы правительство истратило на освоение Великого северного пути половину тех средств, что ныне угроблены возле Цусимы, то и самой Цусимы не было бы в истории нашего государства! Эскадры Рожественского и Небогатова, пройдя вдоль Сибири, из Берингова пролива спустились бы прямо во Владивосток, и в этом случае никакие Того не могли бы им помешать. Естественно, что в разговоре коснулись и возрождения флота.

– Мы можем стоять на паперти сколько угодно, но сейчас, после революции, – сказал Коковцев, – без одобрения Думы никто и копейки нам не подаст. Плюнуть в руку – да, могут!

Колчак ответил: задерживая ассигнования на флот, Государственная дума, по сути дела, работает на руку врагам.

– А на паперти еще настоимся, – закончил он резко…

Эта встреча с Колчаком не вызвала особых эмоций!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ему писал испанский адмирал Паскаль дон-Сервера-и-Топете, разгромленный американцами в сражении у Сантьяго на Кубе! Пережив горечь позора, он понимал состояние русских моряков после Цусимы. Сервера одобрительно отнесся к статьям Коковцева, которые он распорядился перевести на испанский язык – для издания отдельной книжкой в солидной фирме «Эспаса-дель-Кальпе». Сервера сравнивал положение эскадры России с положением могучего быка, приведенного на скотобойню – под удары механического молота. Живые, писал он, критикуют мертвых не для того, чтобы они переворачивались в гробах: мы учимся на ошибках мертвых… Коковцева очень растрогало это письмо.

– Я всегда испытывал симпатию к адмиралу Сервере!

Устроив жену в клинику, он повидался с Ивоной.

– Помнишь, я рассказывал тебе о Сервере, который привел к берегам Америки колумбовскую каравеллу «Santa-Maria»… Так вот, недавно он утешил меня! Именно он, выловленный из воды американцами, понял меня, выловленного японцами…

Ивона Эйлер стала хохотать – до слез:

– Наконец-то у этой истории появился смешной конец…

Оскорбленный ее смехом, Коковцев сначала встряхнул женщину за плечи, потом прижал к себе, и она сказала:

– На нас ведь смотрят. – Она отвернула к стене портрет своего мужа. – Мертвым этого видеть не стоит…

Дома адмирал проверил гимназический дневник Игоря и прочел суровую нотацию о пользе учения, пригрозив, что будет за неуспеваемость пороть его как сидорову козу. С ним все ясно! А вот Никита задавал отцу все новые загадки. Он стал носить бескозырку «по-нахимовски», заломленной на затылок, а недавно в приложениях к «Морскому сборнику» опубликовал «Сравнительные таблицы» технических особенностей флотов России, Германии и Швеции… Коковцев сказал Никите:

– Не пойму, в кого ты удался? В тебе мало что от нашего рода, ты не пошел даже в Воротниковых по матушке. Но я бы хотел присутствовать на выпускном вечере в корпусе, чтобы увидеть на мраморных досках твое имя – Ко-ков-цев!

– Увидишь, папочка. Как сейчас поют в частушках про министра финансов: «Жить со мною нелегко, я не из толстовцев, я – ко-ко-ко-ко, я – Ко-ко-ко-ковцев».

– А ну его! – сказал Коковцев-старший младшему. – Наш однофамилец сидит на мешках с золотом и не дает денег флоту…

Наступал тот великий момент, который предвосхитил Салтыков-Щедрин: если обыватель имеет в кармане рубль, можно отнять у него полтину, но последний четвертак следует все же оставить русскому человеку на благо личных нужд и веселья – пусть он нагуливает жир и мясо, иначе, если отнять все до копейки, налогоплательщик впадет в прискорбную меланхолию. Трудно сообразить, куда русская казна девала полтину, но четвертак от налогов, это уже точно, расходовался на флот!

Интеллигенция судила-рядила, что Россия, мол, страна сухопутная, достаточно иметь сильную армию, а флот – «дорогая игрушка». Высказывая такое мнение, люди не понимали, что повторяют сказанное до них – врагами России, желавшими ее ослабления. Коковцев полагал, что прежде надобно переломить в обществе отрицательное отношение к флоту, а затем разумною пропагандой привлечь к флоту всенародное внимание. Он читал публичные лекции в «Лиге обновления флота», ратовал за морские экскурсии для простонародья, за школы на кораблях для мальчиков, за устройство выставок о жизни моряков. Однажды выступил даже перед студентами университета. Молодежь, настроенная архиреволюционно, встретила его появление на кафедре чуть ли не свистом, как встречают знаменитого певца, который долго бравировал перед публикой, а потом безнадежно спился и потерял голос.

– Но мой голос, – заявил Коковцев, – «поставлен» на мостиках миноносцев. И если я способен перекричать свист ветра и грохот машин, так, наверное, перекричу и вас… Вы разве не признаете, что Россия – великая морская держава?

– Признаем, – весело галдели студенты. – Окончательно убедились в этом после Цусимы… А что дальше?

– Если вы признаете Россию за морскую страну, так объясните, пожалуйста, почему мы, русские, до сих пор не стали морским народом? – Такой вопрос насторожил аудиторию. – Допустим, – продолжал Коковцев, – английский писатель начертал в романе фразу: «Джон Кэннигэм шагал по улице, а его грудь была как стрингер». Англичанам сразу ясно, что у Джона грудь была колесом. А вот в России для понимания такой фразы требуется подстрочное примечание. Наша страна в кольце морей и океанов, а морской язык остается для нас языком иностранным. Пора бы и привыкнуть… Я не раз выступал в печати и заведомо знаю, что, если в тексте мною употреблено слово «репетовать» (то есть – повторять сигнал), газета обязательно исправит «репетацию» на «репетицию», а эскадренный миноносец переделают в «эскадронный». Кобыла под седлом нам понятнее…

– Вы нам лучше про Цусиму! – требовали студенты.

– Лучше о ее последствиях… Даже малая держава, обладающая могучим флотом, становится державой великой. И напротив, самая большая страна, флота не имеющая, скатывается в разряд третьестепенных государств, с которыми на политической бирже мало кто считается. Цусима отбросила Россию назад…

– Но ведь Англию мы не перегоним!

– Скажу и об Англии. Когда Россия начала возрождать флот после Севастополя, англичанин Рид надоумил адмирала Попова строить круглые «поповки», которые крутились на воде, как плевки на горячей сковородке, но плавать не плавали. Этим самым Англия достигла своей цели: мы ухнули деньги в идиотские «поповки», а кораблей не обрели, зато Англия исполнила завет Вальполя: «ВСЕМЕРНО И ПОСТОЯННО СБИВАТЬ РУССКИЙ ФЛОТ С МОРСКИХ ПУТЕЙ».

Это было сказано еще при Екатерине Великой, но давний завет британских политиков остается в силе и поныне. А теперь? Когда флот требует ассигнований для своего развития, думские кадеты вопят с мест: «Россия страна сухопутная! Цусимы не надо!» И почему мы, моряки, должны вдувать в уши миллионеру Гучкову идеи о значении флота ради сохранения безопасности нашей отчизны? Пора бы уж и самому догадаться, что Россия без флота – это еще не Россия, а паршивая уродина: одна рука, одна нога и один глаз…

…В конце лекции студенты охотно вносили свои медяки на воссоздание флота. А сколько еще таких подаяний было собрано в те годы! Хороша пословица: с миру по нитке – нищему рубашка…

Ольга Викторовна вернулась из клиники Бехтерева – тихонькая, небывало ясная, очень ласковая, с лучистыми глазами, источавшими на всех супружескую и материнскую нежность.

– Владечка, – сказала она, – я все переживу. Но об одном умоляю тебя: никогда-никогда не оскорби ты любви моей.

– Дорогая, меня об этом и просить не надо.

– Если б было не надо, я бы и не просила!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Коковцев числился в штатах флота «состоящим» при морском министре вроде чиновника особых поручений при губернаторе; он и сам не раз подшучивал над собой, что пока еще не устроился, а лишь временно пристроился. Правда, перед друзьями у него была хорошая отговорка:

– Ольга больна – далеко от Питера не уплывешь…

Но ему никто и не сулил плаваний! После Цусимы плыть некуда, ибо и кораблей не стало. Теперь казна подкармливала на будущее 9 адмиралов, 16 вице-адмиралов и 25 контр-адмиралов. Их содержали не столько для глобальных походов, сколько ради утрясания разных вопросов, возникающих на флоте со скоростью грибов после хорошего дождика. Иногда получалось как в сказке: «Они нас циркуляром, а мы их инструкцией; они нас предписанием, а мы их наказанием!» Между тем англичане, извлекая из «crossing the „Т“ адмирала Того квинтэссенцию победы, уже разрабатывали не только охват головы колонны противника, но отсекали хвосты, делали охваты с траверзов…

Иван Михайлович Диков был интересен в суждениях:

– Меня иногда всякие психопатки в очках спрашивают: «А зачем вам флот?» Я вежливо отвечаю: «А затем, чтобы всякие дуры не задавали идиотских вопросов». В самом деле: для чего флот? Нападать или защищаться? Культурное человечество, в отличие от крокодилов, нуждалось более в самообороне, нежели в нападении. Это сложный вопрос: флот ради агрессии или флот ради самозащиты? Но в споре о том, кто победит, дредноуты или подводные лодки, я участвовать на старости лет не желаю, ибо этот вопрос разрешит только война.

Проблема рождена – надобно в ней поковыряться.

– Мне думается, – отвечал Коковцев, – что стремление флота к обороне объяснимо еще и географическим фактором. Морские нации не боятся дальних плаваний, длящихся иногда годами, они менее подвержены тоске по семьям, их жены легче переносят разлуку с мужьями. Моряки же стран континентальных более привязаны к земле, отсюда, мне кажется, возникли броненосцы береговой обороны, мониторы и канонерские лодки… Вы простите, если я вдруг сказал ересь.

– Ересь! Но вашу ересь продолжу. Солдат служит два года, матрос лопатит пять лет. Попробуйте уговорить новобранца из деревни Сивухи, что пять лет морской службы на свежем воздухе и в здоровом движении заманчивее и полезнее двух лет пребывания в казарме, пропахшей г….., капустой и портянками. Я буду благодарен вам, – сказал Диков, – если вы эту «ересь» разовьете для практического употребления…

Благодаря близости к министру, Коковцев вскоре стал свидетелем ожесточенной борьбы высших инстанций империи, и эта борьба наглядно выявила перед ним слабости монархии. Далекий от осуждения царизма, контр-адмирал не стал делать радикальных выводов, хотя поводов для возмущения было достаточно. Финансы решали все! Но они-то как раз и не могли ничего решить, ибо царская казна имела бюджет с хроническим дефицитом. «Это примерно так же весело, – говорил Диков, – как если бы я проедал в день больше, нежели зарабатывал в неделю. Но мне плевать на их дефицит!» Именно Диков, стоящий на пороге могилы, проводил в жизнь «Большую программу кораблестроения», нуждавшуюся в пяти миллиардах рублей. Этот грабеж государства средь бела дня горячо одобрял министр иностранных дел, полагавший, что усиление флота вернет России внешнеполитический престиж, утерянный ею после Цусимы. Но заявка флота на пять миллиардов совершенно обескровила холеное лицо министра финансов – Владимира Николаевича Коковцева.

– Я не ослышался, Иван Михайлыч? Вы забираете у меня два с половиной годовых бюджета всей нашей могучей империи?

– Забираю, – радостно отвечал старец.

– На что же мы жить будем?

– Как раньше жили погано, так и далее проживем паршиво, – не унывал Диков, благо ему все равно скоро помирать. – Не я же ведаю финансами, а вы… Вот вы и доставайте деньги! Своих нету – в долг просите. Хотя бы у француженок!

Прослышав о притязаниях флота на два годовых бюджета, армия тоже ринулась в атаку. Открыто признав свою полную небоеспособность, армия пожелала таких же благ на разведение казарм и пушек, какие флотский Мафусаил требовал на разведение дредноутов, крейсеров и эсминцев. Министр финансов В. Н. Коковцев нарочно поддерживал армию в ее справедливых (!) заявлениях. А сам царь, носивший белый мундир капитана 1-го ранга, не уступал генералам; министру финансов он сказал: «Вы нас, моряков, не учите, мы, моряки, лучше вас знаем о нуждах флота…» Скандал на верхних этажах империи закончился тем, что Николай II утвердил «Малую программу» развития флота, которая и потянула из казны восемьсот семьдесят миллионов рублей. Коковцеву прискучило наблюдать эту грызню из-за денег, он намекнул Дикову:

– Не знаю, как сложится моя карьера далее, но хотелось бы год-два провести на эскадре, чтобы выплавать ценз.

На этот раз – ценз адмиральский, без которого не будет дальнейшего продвижения по службе. Диков это понимал.

– А где я возьму для вас эскадру?

Балтийский флот все, что имел, оставил возле Цусимы, и теперь даже маститые флотоводцы рады-радешеньки командовать учебными отрядами. Иван Михайлович полистал свои бумаги:

– Берите торпедно-пристрелочную станцию у Копорья.

– А нет ли дела для меня поживее?

– Живо преподавать в Минные классы, пойдете?

– Не пойду. Скучно.

– Дача у вас под Питером есть?

– Была. Продали. Жалеем.

– Тогда лучшего дачного места, чем эта торпедная станция на берегу озера, вам в жизни не найти…

…Россия закладывала четыре дредноута типа «Севастополь». Их создавал знаменитый кораблестроитель А.Н. Крылов, а электросистемы управления огнем налаживал прекрасный инженер и замечательный большевик Л.Б. Красин… Даже враги признавали, что это лучшие дредноуты в мире!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Только теперь, перешагнув за полвека, Коковцев, травмированный Цусимой и ее последствиями, начал предаваться мучительным размышлениям о моральной сути военного дела, которому (и после нас!) всегда останется предан человек с настроениями патриота. Пора решить: что это за тип, однажды и навсегда давший присягу? Если он только паразит, даром пожирающий блага от народа и ничего путного сам не производящий, то стоило ли ему, Коковцеву, столь нелепо и безрассудно отдавать жизнь в угоду присяге? Однако, поразмыслив, адмирал склонялся к убеждению, что служение воинское все-таки самое непогрешимое на свете, если, конечно, отдаваться ему целиком, без зазрения совести. И, придя к такому выводу, Владимир Васильевич испытал душевную тревогу от мысли, что зловещая и капризная фортуна воспрепятствовала ему завершить до конца многое и полезное, к чему он всегда устремлялся.

– Карьера не удалась, – честно признался он Ольге.

Она рассудила это на свой лад, чисто по-женски:

– Но ведь получил орла на эполеты, нашил на штаны золотой лампас адмирала… Владя, что с тобой происходит?

– Ничего, кроме… старости! Иногда мне хочется снова бродягой-мичманом открыть калитку в том саду, в котором ты играла в крокет с тремя кретинами-женихами. Все-таки, согласись, я тогда очень быстро разогнал… этих комаров!

– Ты же всегда, Владечка, был неотразимый…

Военные люди знают: когда кончится война , начинается служба . Коковцев за время войны отвык от службы, теперь с некоторой ревностью наблюдая, как «набирают обороты», опережая его, приятели былых лет, даже молодые офицеры. Правда, никаких претензий к выдвижению Николая Оттовича фон Эссена не возникало. Любимый ученик адмирала Макарова, Эссен, никогда не имел протекции свыше, напротив, его горячий и независимый характер мог только повредить карьере. Эссен не имел ничего, кроме личной отваги, больших знаний, энергии и золотой сабли за Порт-Артур с надписью: «ЗА ХРАБРОСТЬ».

– Я съезжу на станцию, – сказал Коковцев жене…

Диков не обманул его: пристрелочная станция оказалась лучше любой дачи – на берегу чудесного озера, близ Копорской бухты, вагончики электрических фуникулеров тихо скользили над верхушками берез, доставляя к озеру людей и торпеды для испытаний.

Был 1908 год… Летом Никита в чине корабельного гардемарина [13] ушел в практическое плавание к берегам Норвегии, а младшего сына Коковцев отвел за руку в подготовительные классы Морского корпуса. Он не стал говорить Игорю о подвиге Дюпти-Туара, вспомнив свое детство:

– Я был еще совсем клопом, когда отец, твой дедушка, вернувшись в деревню из Порхова, собрал всех домочадцев, чтобы показать чудо века. Он долго тер какую-то бумажку, измазанную чем-то гадостным. И вдруг чудо – явилось пламя!

– А что это было, папа? – спросил Игорь.

– Спички… из Парижа! А я перед отъездом на станцию все время думаю, удастся ли мне на компрессорах зажать сто пятьдесят атмосфер в резервуарах торпеды. Как быстро изменяются времена! У меня уже голова пухнет от взрывчатки: всюду мелениты, лиддиты, тротилы, толиты, титы, тритолы и… шимоза, не будь она ко сну помянута.

Накануне Ольга Викторовна завела с мужем серьезный разговор – нельзя же, доказывала она ему, трех сыновей подряд отдавать морской службе, такой опасной и тревожной:

– Подумай сам, а вдруг что-либо опять случится?

– Никто как бог… – отвечал Коковцев.

В пустой квартире остались двое – он и она!

– Владя, – сказала Ольга Викторовна, – когда ты станешь помирать, вспомни, пожалуйста, что в этом мире тебя любила женщина, много прощавшая тебе… Это была я!

Владимир Васильевич даже растерялся:

– Оля! Не говори, пожалуйста, загадками.

– Ты уедешь на станцию, со мною нет даже Игоря, только прислуга. А я одна в этой квартире. Не спорь. Я замечаю, как ты постепенно удаляешься от меня, становясь чужим.

Чтобы отвести ее подозрения, он ей сказал:

– Ну, хорошо. Собирайся. Едем вместе…

Коковцеву отвели на станции маленький домик с кухонькой и верандой, из спальни открывался лирический пейзаж с озером. Темный лес не колыхнулся даже веточкой, на глади воды тихо дремали усталые чайки. После первой ночи на Копенском озере Ольга Викторовна призналась:

– Хорошо бы нам и остаться здесь на веки вечные. Столько уже пережито, и не знаю, что еще предстоит пережить…

Свободного времени было девать некуда, и, чтобы не терять его зря, Коковцев выписал из города испанские словари, ибо переписка с адмиралом Серверой продолжалась.

– Владя, зачем это тебе? – спросила жена.

– Не знаю, честно говоря… Наверное, от скуки. А может, чем черт не шутит, еще придется помирать в Испании.

– Нет, Владечка, я останусь в своем доме…

Однажды их навестил Коломейцев; мужчины лениво шлепали на своих шеях докучливых комаров, Николай Николаевич шутливо бранил Петра Первого:

– Тоже мне нашелся «великий»! Выбрал местечко – комары, болота да клюква. Нет того, чтобы взять, скажем, Ямайку или, на худой конец, отжулить у мальгашей Мадагаскар с Носси-Бэ… Ах, какие там женщины, какие женщины!

Коковцев спросил – что слышно о бюджете?

– Опять двести миллионов в дефиците.

– Как же строить флот и армию?

– А вот так и строят… нам не привыкать. Но теперь, – сказал Коломейцев, – в Думе новая буза: эти садисты из кадетской партии требуют отставки заслуженных адмиралов.

– Каких-каких? – спросил Коковцев, закусывая.

– Заслуженных . И ты попал в их черный список.

– Оля, ты слышишь, что сказал Николай Николаич?

Из потемок притихшей спальни вздохнула жена:

– Слышу. Я давно этого ожидала…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Поздней осенью вернулся из плавания Никита.

– Ты чем-то огорчен, папа? – спросил он отца.

– Дума требует от флота искупительных жертв. Торговля с Адмиралтейством – как на базаре! Если флот удалит в отставку дюжину адмиралов, кадеты с остолопами-октябристами согласны вотировать ассигнования на развитие флота.

– Не сплетни, папа?

– Да нет. Уже составлены проскрипционные списки.

– Надеюсь, тебя это не коснется?

– Именно тех, кто пережил Цусиму, это и касается…

Коковцев занимался личным составом. Пять лет служения на флоте он считал мизерным сроком, ибо матрос, едва освоясь с морем, уходит в запас, на его место присылают очередного барана, которого изволь учить всему заново. Но если учесть, что сама подготовка матроса-специалиста отнимает два-три года, то… вот и считай: много он там наслужится?

– Попрыгает по трапам, как воробей, и пора вязать чемоданы. Вся беда в том, – доказывал он сыну, – что наш флот, единственный в мире, отвергает принцип добровольного найма. Новобранцу смотрят в зубы и в задний проход, но лучше бы заглянуть ему в душу: есть ли там тяга к морю? Для флота людей не выбирают, а назначают по выбору врачей – самых здоровых. От этого и терпим бедствие: громадные деревенские телята даже при волне в три балла не могут оторвать головы от рундука. А ты подумай – чем они виноваты?

Никита внимательно слушал. Коковцев спросил сына: где, по его мнению, лучше всего налажена подготовка кадров для флота? Никита сослался на интересный опыт Бразилии:

– Там на флот берут с двенадцати лет, мальчики три года остаются школьниками, десять лет привыкают к морю, обретая профессию, а еще десять лет табанят по всем правилам – как специалисты. Италия ведет учет даже мальчишкам, ловящим рыбу в море. Наконец, папа, и Германия дает материал для размышлений: если рабочего призвали на флот, он так и остается матросом. Но если кто начинал службу с юнги, чин «палубного» офицера ему заранее обеспечен…

– Никита…

– А?

– Я думаю, перед тобою прямая дорога в Морской Генштаб, у тебя склонность к теоретизации флота. Карьеру сделаешь!..

На зиму станцию законсервировали. Коковцевы вернулись на городскую квартиру, и сразу загромыхал телефон.

– Это фон-мадам Эйлер? – съязвила Ольга Викторовна. – Что ей на этот раз нужно от тебя? Или ей понадобились новые подробности гибели своего несчастного фон-мужа?

– Да нет… успокойся – это не она.

– Ах, Владя, Владя! Зачем ты меня обманываешь?..

Коковцев прошел в кабинет. Со слов сына он начертал в проекте, что Англия, Германия, Франция, Италия и даже Швеция всегда черпали кадры для своих флотов из ю н г, для которых море – родная колыбель. С этим он и навестил Дикова:

– Я к вам с очередной своей ересью…

– Ну, хорошо, – крякнул министр, прочитав проект. – А какая матка отдаст нам своего любимого сопляка? Вы же знаете, что за ужасы рассказывает о нас русский обыватель. Будто мы плаваем в железных гробах, начиненных порохом и серой. Поднеси спичку, и мы – пфук! Уже на небеси, господи, пронеси.

– Примерно так оно и есть, – засмеялся Коковцев. – Но вы забыли, сколько в России сирот, подкидышей, бездомных, питомцев разных приютов и ночлежек. Если их оторвать от никчемной среды, накормить, обучить и сказать им, что «my ship is my home», они ведь прильнут к флоту, как к титьке родной матери. Вот вам разрешение вопроса о маринизме такой причудливой нации, к которой мы имеем честь принадлежать!

– Вы, – отвечал Диков, – рассуждаете забавно. Но в нынешних условиях, когда Россия не верит в свои морские силы, никто не позволит натягивать тельняшку на худосочные тела грядущих поколений. Впрочем, – сказал старик, – все это очень интересно, оставьте проект у меня. Заодно готовьтесь к самому худшему, – предупредил его Диков…

Коковцев еще не верил, что «шпиц» выдаст его на съедение думцам, которых он органически не переваривал за их опереточное словоблудие. Над Небогатовым, сидевшим в крепости, сверху не капало, а в Думе, потеряв всякое чувство меры, витийствовали, что народ не потерпит на флоте ни будущих Небогатовых, ни будущих Рожественских… В новогоднюю ночь на 1 января 1909 года адмирал Рожественский тихо скончался.

– Зиновий подал в отставку, – сказал Диков у гроба флотоводца, накрытого Андреевским флагом. – Можно и позавидовать. Дума и меня на лопату сажает, чтобы вышвырнуть за борт на повороте. Сейчас нужны помоложе да поувертливее, чтобы облизывать хвосты всяким фракционерам из Таврического дворца. Увы, состарился на службе России – и к тому негоден!

Сломленный душевно, Коковцев вернулся домой.

– Дикова тоже выгоняют, – сказал он Ольге. – Не знаю, что делать. Если сам подам в отставку, пять тысяч рублей пенсии обеспечено. Но существует закон, по которому адмиралы, не желающие вылетать с флота по доброй воле, осуждены иметь всего три тысячи в год… А на что нам жить?

– Подавай в отставку сам, – советовала жена.

– Но ведь и пяти тысяч нам не хватит…

Ольга Викторовна сказала: отставных адмиралов охотно берут консультантами на заводы, связанные с производством вооружения, они зарабатывают так, что их семьи катаются словно сыр в масле. Но свободных вакансий на питерских заводах не оказалось: свято место пусто не бывает! Коковцев избрал служение в «Русском обществе пароходства и торговли» (в РОПиТе, как называлось тогда это весьма солидное учреждение, ведавшее коммерческими рейсами на дальних коммуникациях).

– Но для этого придется мне жить в Одессе. Ты, Оленька, не огорчайся: я буду наезжать, может, и ты приедешь?

– У нас все может быть, – вздохнула жена…

В тяжком настроении Владимир Васильевич собрался и уехал в Одессу. Следом за ним тронулась Ивона Эйлер, которая уже привыкла стелить постель на двоих, хотя Ольга Викторовна могла об этом лишь подозревать… А если бы она знала точно? Разве что-нибудь изменилось бы? О-о, эта жалкая и ничтожная арифметика женского возраста! Как часто она подводит мужчин.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ольга Викторовна называла его Владечкой.

РОПиТ величал «ваше превосходительство».

Ивона подзывала к себе словами: mon amiral.

На улицах Одессы, завидев офицеров флота, Коковцев надвигал на глаза котелок, стыдясь своего отставного положения. И никогда еще не носил он таких мятых воротничков и таких нечистых манжет, никогда не терял так много запонок и булавок для галстука. Не раз пытался разобраться в своих настроениях, но впереди не было ничего, кроме отчаяния близкой старости, которую Коковцев ощущал хотя бы потому, что на шумных и веселых улицах черноморского Вавилона женщины уже перестали обращать на него внимание! Началась ужасная жизнь, всю мерзость которой понимал и сам Владимир Васильевич, не в силах что-либо изменить или исправить. Впрочем, покорился не сразу. Желая избавить себя от любовницы, иногда он сознательно оскорблял ее – Ивона оскорбляла его, он уезжал по делам РОПиТа в Николаев – она укатывала в Севастополь. Однажды Коковцев влепил ей пощечину и тут же получил ответную. А ночами…

– Шарман, шарман, – шептала ему Ивона.

Губы у нее были чересчур мягкие, почти дряблые. Коковцев уже привык к ним, и ему казалось, что других губ не бывает. Он зарабатывал в РОПиТе сумасшедшие деньги, переводя половину из них на Кронверкский, а другую транжирил с Ивоной. Скоро ему стало не хватать на жизнь, и Коковцев отправлял семье лишь треть доходов от службы… Изредка он появлялся в Петербурге, похожий скорее на гостя в своем же доме. Ольга Викторовна все уже знала. Поникшая от страданий, она иногда гладила мужа по голове, как непутевого ребенка:

– Ты похудел… ты изменился, Владечка. Тебе обязательно надо покушать. Позволь, я покормлю тебя.

В глазах ее светилась страшная мука. Но только единожды Ольга не смогла сдержать своей нестерпимой боли:

– Дождалась я светлого часу! Сын погиб неизвестно где, муж пропадает с любовницей, но зато я стала адмиральшей с титулом «превосходительства»… За что, скажи, такое мне унижение? В чем я, мать твоих детей, провинилась? Ну да! Была и виновата… наверное. Прости, что много тратила. Прости, что хотела нравиться. Это уж правда. Но неужто мой женский грех столь уж велик, чтобы ты наказывал меня… негодяй! Не в счастье и не в радостях ты бросил меня. Ты оставил меня в беде и горе, когда я нуждалась в тебе больше всего… Господи, да забери ты меня к себе, чтобы я больше не страдала!

А что осталось от женщины, когда-то цветущей и полнокровной? Да ничего уж не осталось. Один тощий скелет, обтянутый старомодным платьем, а на исхудалом личике продолжали сиять глаза, жалобно молившие его о пощаде.

– Оля, за что ты меня еще любишь? – спросил он.

– За что? Не смей даже спрашивать меня об этом…

Отчуждение к жене отразилось на детях: Никита явно сторонился отца, Игорь смотрел исподлобья, будто на врага своего. Коковцев пытался узнать у Никиты – как его дела?

– Ничего. Спасибо.

– Я тебе ничем не могу помочь?

– Справлюсь сам.

– Желаю тебе попасть на мраморную доску корпуса.

– Благодарю. Постараюсь…

Ольга Викторовна сама же и провожала его в Одессу:

– Бог судья тебе, Владечка, но я была, поверь, рада видеть тебя… даже такого жалкого! Когда снова появишься у нас?..

Прекрасный и удобный «микст», простеганный изнутри штофом и кожей, увозил адмирала в нестерпимое сияние южного солнца, в непутевый базарный город, где все пело и торговало, а шарманщики наигрывали мотивы из опер Беллини и Доницетти… РОПиТ не слишком обременял его службою. Чтобы не отставать от других деляг, Коковцев приобрел пятьдесят акций РОПиТа, переписав их на Ивону фон Эйлер, чем доставил молодой женщине приятное волнение. За нею стал ухаживать греческий торговец зерном Земфир Влахопуло, а после Ивоною увлекся поручик Стригайло из жандармского управления. И вечерами в ресторане Коковцев осоловело наблюдал, как Ивона отплясывает моднейший «шерлокинет», придуманный англичанами для отражения тревожной жизни Шерлока Холмса, отыскивающего преступников во всех классах буржуазного общества…

Явно огорченный, Коковцев купил для Ивоны еще пятьдесят акций:

– Куплю еще! Только, деточка, перестань вилять задом.

– Ты это заметил? А разве тебе не нравится моя fanny?

Но каждый мужчина, плохой или хороший, всегда осознает перелом в судьбе, и каждый отмечает его по-разному. Коковцеву захотелось оставить себя таким, какой он есть, на самой грани рискованного для всех момента, за которым непременно следует мужское увядание. За пятьсот рублей (чего их жалеть?) он заказал свой портрет одесскому художнику Кузнецову. Живописец, оглядев Коковцева, отказался писать его:

– Внешность у вас приятная, но не представляющая для меня интереса. Я человек богатый, владею под Одессой хутором и фермой, пишу не ради заработка. Впрочем, – сжалился он над адмиралом, – поведайте что либо самое интересное из своей жизни. Главное в вашей душе, может, и отразится снаружи, чтобы это главное я мог запечатлеть на полотне. Итак, слушаю…

Коковцев вспомнил молодость, клипер «Наездник», живописную бухту Нагасаки, на воде которой трепетно отражались заманчивые огни Иносы. Постепенно и сам увлекся, рассказывая о своем японском романе с Окини-сан, такой милой, и даже не заметил, когда Кузнецов размешал на палитре краски.

– Нечто подобное рассказывала мне в Париже моя дочь, а она слышала эту историю от самого Джакомо Пуччини.

– Простите, Николай Дмитриевич, а кто ваша дочь?

– Марья Николаевна Кузнецова-Бенуа…

Это была примадонна парижской и петербургской опер, красота этой удивительной женщины была почти невозможна, Коковцев не раз встречал ее портреты и фотографии в журналах – как образец таланта и женственности. Ему было даже странно, что такое разъевшееся мурло, как этот одесский передвижник, могло ослепить Европу в своем ближайшем потомстве. Кузнецов говорил о Джакомо Пуччини, на протяжении всей жизни подвергавшемся яростной травле критиков, которая тут же искупалась единодушной любовью публики:

– Публика всегда плевала и будет плевать на мнение критиков, если музыка уже заплеснула улицы всей Европы…

Коковцев сознался, что он не меломан, но из газет знает, что последняя опера Пуччини, кажется, неудачна:

– И даже публика не пожелала ее дослушать.

– Это опера «Мадам Баттерфляй», она провалилась с треском в миланском театре «Ла Скала», но перед этим бедный Джакомо едва остался жив в автомобильной катастрофе. Он большой чудак, этот Джакомо, и любит сидеть за рулем. Моя доченька дружит с ним, бывая у него на вилле в Торре-дель-Лаго, Пуччини слизал сюжет у кого-то из американских писателей. Там примерно то же, что случилось в Нагасаки и с вами… Опять вы, адмирал, выбились из света. Чуть левее… так. Благодарю. Я думаю, мы с этим портретом не станем волынить. Еще денек-два, и поедем ко мне на хутор. Друзья прислали мне черное вино из палестинской Яффы, заодно мы и выпьем…

Законченный портрет был отправлен на Кронверкский – с указанием Ольге, где и как его лучше повесить.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

И вдруг приехал Никита – уже мичман, элегантный, красивый, с хорошим фибровым чемоданом; поверх его мундира шелестел черный плащ с золочеными застежками в форме оскаленных львиных голов, какие (по традиции) носили одни лишь офицеры флота. Никита, конечно, не пожелал видеться с Ивоною, отца он вызвал карточкой через портье гостиницы «Париж», в которой Коковцев снимал обширный номер. Никак не желая усугублять и без того сложные отношения, Никита приветствовал отца очень радушно, сразу же сообщив, что выпущен из корпуса с занесением на мраморную доску – как первый среди лучших.

– А мы с тобой, папа, недаром тогда беседовали о юнгах. Первая школа юнг в России открылась уже в Кронштадте…

– Тебя, наверное, прислала мама?

– Нет. Приехал сам. Чтобы проститься.

– Хорошо. Переоденусь, и мы вместе поужинаем…

Он увел сына на Приморский к Ланжерону, где морской ресторан на берегу, где рокотало море в камнях и крепко пахло кожурою греческих апельсинов. Из-под широченных полей дамских шляп медово и сонно глядели на мичмана глаза загорелых женщин, раскормленных и холеных. Космополитическая Одесса, живущая в непрестанном общении со всем миром, раскрыла перед Коковцевым щедрое меню. Болонские колбаски, итальянские спагетти с пармезаном, ароматное масло из Милана, сицилийские каштаны, баклажаны из Анатолии, свежайшая днестровская икра, знаменитые одесские кулебяки из пекарен Чурилова и Портнова…

Коковцев смачно прищелкнул пальцами.

– Еще, – сказал он лакею, – прошу подать абрикосов с тех деревьев, что посажены самим герцогом Ришелье…

– Ты хорошо живешь, папа, – заметил Никита.

– Неплохо, ибо пятаков не считаю. – Коковцев просил не судить его за Ивону. – Ты еще молод. Многого не понимаешь. Тут – сразу все, а главное – Цусима, будь она проклята!

– Но ты ведь не трясешься после Цусимы, как мама. Жизнь, я вижу, стала для тебя откровенным удовольствием.

– Никита, стоит ли тебе думать об этом?

– Конечно, я не стану осуждать тебя. Но ведь не ты, а мама воспитала всех нас. Ты ушел, и тебя нет с нами. А мама никогда не уйдет, она всегда останется с нами.

Никита раскрыл бумажник, чтобы показать отцу фотографии, присланные из Уфы Глашей, но Коковцев заметил и другое:

– А что у тебя там еще… Невеста? – Нет, это был портрет лейтенанта [14] Шмидта. – К чему он тебе? – удивился Коковцев. – Твой старший брат предпочитал славного Дюпти-Туара!

– Но времена изменчивы, – отвечал Никита. – А подвиг Шмидта ради революции уже затмевает бесподобное мужество Дюпти-Туара во славу короля Франции.

Коковцеву спорить с Никитой не хотелось.

– Спрячь своего героя и никому не показывай, иначе вылетишь с флота, как пробка из бутылки шампанского.

– Кстати, папа, я не прочь выпить шампанского.

– Будет, и марка «Мумм». Ну, рассказывай о себе…

Под окнами ресторана расположились старые еврейские музыканты, они дружно вскинули смычки над потертыми скрипками. Никита сообщил отцу, что по доброй воле просил командование отправить его для служения на мониторах или канонерках Амурской флотилии… Смычки разом упали на печальные струны:

Прощай, моя Одесса,веселый Карантин,нас завтра отсылаютна остров Сахалин…Для Коковцева это был удар – страшный, непоправимый.

– Ты соображал ли, когда сделал это?

Его сын, которого ожидала такая блистательная карьера, и вдруг избирает для себя… Амур?

– Ты полез туда, куда других на аркане не затащить.

– Наверное, потому и полез, что другие не хотят… О чем спорим, папа? Я не вижу повода для твоих огорчений.

– Ты, балбес, газеты читаешь? – спросил его папа.

– Не всегда.

– Но о том, что в Китае сейчас чума, слышал?

– Извещен. Немало.

– Тебе в барак, захотелось? Или не знаешь, что офицеры, попав на Амур, бегут куда глаза глядят? Они считают себя на положении ссыльных. Флотилию и комплектуют из шулеров и пьяниц. А матросня – сплошь бунтари и революционеры!

Никита Коковцев спокойно отвечал:

– В практике флотилии сохранилась морская терминология. Зима там длинная. Есть время для размышлений.

– Размышлять надо было раньше, а не тогда, когда твоим мониторам дровишек не хватит. Там и баб нет– одни шлюхи!

– Зато начальства там меньше, – договорил Никита.

Владимир Васильевич велел лакею заплатить музыкантам:

– Не могу слышать их тоску по Сахалину! – Озлобясь на сына, он резал болонские колбаски, из-под ножа прыснуло янтарным жиром на брюки. Наконец ему показалось, что он нашел убедительный довод. – Как ты мог? – упрекнул он сына. – Оставил больную маму… ради чего? Ради этой дровяной флотилии?

– А ты, – резко ответил ему Никита, – оставил нашу мамочку… ради чего? Извини. Не хочу божий дар путать с яичницей.

Намек на отношения с Ивоной не образумил Коковцева:

– Вернись на Балтику… хотя бы ради мамы!

– Почему бы не вернуться и тебе… ради мамы?

– Ты приехал в Одессу изгадить мне настроение?

– Я приехал проститься перед отбытием на Амур…

И они простились.

Вернувшись в гостиницу, Коковцев не мог скрыть от Ивоны своего душевного надрыва:

– Он уехал, и мы расстались подобно тому, как в Носси-Бэ я простился с Гогою – навсегда … Если в этом и есть божие провидение, то – кто виноват? Неужели я?

Ивона, лежа в постели, сосредоточенно жевала сушеную малагу. Красный сок пролился из угла ее мягких и дряблых губ, словно струйка крови. Додумав что-то свое, она откинула край одеяла, обнажив пухлые ноги в сиреневых чулках.

– Ну и что? – спросила она, подзывая его…

– С тобою я снова стал мичманом… слышишь?

– Адмиралом! – отвечала она, не раскрывая глаз. – Это твой глупый сын сделался мичманом… Шарман, шарман!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Так прошло два мучительных года, которые Коковцев хотел бы вычеркнуть из своей жизни, чтобы не вспоминать их потом. Унизительное положение закончилось для него в 1912 году, и тому были причины политического порядка… Европа ощутила признаки будущей грозы. Балканские войны стали неприятным откровением для официального Петербурга, который с удивлением обнаружил, что Балканы неуправляемы Россией, а интересы южных славян не всегда совпадают с русскими. Попахивало порохом и на Дальнем Востоке: революционный переворот в Китае превратил «Небесную империю» в «Срединную республику» (отказаться от мысли, что они в самом центре вселенной, китайцы не могли). С русского берега Амура уже не раз наблюдали тучи пыли, в которых утопала китайская регулярная пехота, а русские люди, свившие семейные гнезда в этом краю, уповали исключительно на защиту моряков Амурской флотилии… В этом году Россия стала забрасывать верфи срочными заказами на новые крейсера, эскадренные миноносцы и подводные лодки.

Коковцев нашел в себе мужество заявить Ивоне:

– Теперь самое время вернуться тебе в Париж.

Он слышал ее ровное, невозмутимое дыхание:

– А как ты вернешься к своей старой жене?

– Адмиралтейство отзывает меня из отставки, а со старой женой всегда разобраться легче, нежели с молодою…

Коковцев снова потребовался флоту, нуждавшемуся в опытных минерах. Плечи его обрели внушительную весомость эполет, и, когда он тронулся в Петербург, с ним поехала и очаровательная Ивона. За окном вагона пролетала черная украинская ночь, изредка освещаемая снопами искр, отбрасываемых назад из трубы локомотива. Коковцев размышлял – как примут его сейчас те люди, утопающие в глубоких креслах министерства, движением бровей внушающие ужас и повиновение в робкие душеньки нижестоящих… А он? Он глядит в беспросветную тьму окна, чтобы не видеть, как, шурша юбками, готовится к последней ночи его последняя сладостная женщина.

– А ведь ты без меня не проживешь, – сказала она…

Петербург заливали дожди. От вокзала коляски развезли их в разные стороны: ей надо на Английскую набережную, а ему давно пора вернуться на родимое пепелище Кронверкского. Ольга Викторовна, кажется, уже смирилась со своей нелегкою долей и потому встретила мужа как… гостя:

– Ты надолго ли, Владечка?

– Прости. Я виноват…

Было странно и жутко слышать ее горький смех:

– Ты как собака сейчас.

– Да. Как собака. Прости.

– Не прощу. Даже собаке…

Ольга Викторовна велела горничной поторопить кухарку с обедом. За столом он пожалел ее иссохшиеся ручки, ее седые волосы, собранные в пучок на затылке. Он сказал:

– Мне очень стыдно, что так случилось…

– Стоит ли вспоминать об этой непристойной фон-даме, которой я от чистого сердца желаю угодить под трамвай.

Вместе они перечитали письма Никиты с Амура. Он писал, что Морское собрание в Сретенске напоминает буфет захудалой станции – со стаканами помоев вместо чая, водкой и бутербродами с сыром. В библиотеке Благовещенска можно прочесть «новейшие» указания к стрельбе от 1853 года и определения координат по способу Сомнера, хотя корабли давно определяются в море по способу Сент-Иллера. Это рассмешило Коковцева!

– Никита всегда был идеалистом, – сказала жена, оправдывая сына во всем. – Он не считает, как другие офицеры, что его репутация подмочена амурскими волнами.

– Уже лейтенант! Быстро он пошагал. А вот что будет со мною, еще не знаю. Хотелось бы заполучить минную дивизию.

– Подумай о себе. Разве теперь способен ты сутками торчать на мостике эсминца, под дождем и снегом? Ты все время забываешь, что тебе уже на шестой десяток.

– Так много? – удивился Коковцев…

Он возвращался к флоту, когда морским министром был адмирал Иван Константинович Григорович, умевший ладить с Государственной думой, за что его ценили при дворе, а Балтийским флотом командовал фон Эссен, смотревший на сухопутных людишек с таким же любезным интересом, с каким породистый бульдог озирает ноги непрошеных гостей… Ложась на ночь, Коковцев был уверен, что Эссен даст ему минную дивизию. В эти дни он навестил гостевую ложу Таврического дворца, где Дума разрешала вопрос – давать флоту еще пятьсот миллионов или не давать? Пришлось, скрывая отвращение, выслушать галиматью, которую нес с трибуны московский промышленник Челноков:

– Адмиралы внушают, что на эти миллионы они смогут отстоять Финский залив от вторжения мнимого противника. Но, помилуйте, чтобы оградить двадцать девять верст «Маркизовой лужи» …пятьсот миллионов? Ради чего понадобились дредноуты с большой осадкой, если им и плавать-то негде? Зачем нужны быстроходные миноносцы, если стоит наставить на берегах армейских пушек, и они продырявят любой корабль противника. Господа! Адмиралы нарочно выдумывают мнимую опасность Петербургу, дабы еще раз обшарить карманы населения. На самом же деле, строя флот, они, видимо, желают вновь испытать свое позорное искусство самозатопления, как это было при Цусиме. Но мы, представители передовой русской общественности…

«Чтоб ты треснул… представитель!» – выругался в душе Коковцев. В кулуарах Думы случайно повстречал Григоровича, за которым свита флаг-офицеров таскала фолианты папок, как студенты консерватории, идущие на занятия по контрапункту. Григорович вооружился данными, чтобы оправдать русский флот перед нищей, зато «передовой» русской общественностью. Он сказал Коковцеву, чтобы тот благодарил Эссена:

– Который и вытащил вас из отставки. Уж я и не знаю, какой свист издаст Дума при моем появлении на трибуне, когда станет известно, что мое министерство начинает возвращать флоту старых опытных офицеров.

– Могу ли я надеяться на флаг минной дивизии?

– Этим вы привлечете внимание Думы.

Так! Влияние говорильни возросло еще больше.

– Иван Константинович, – спросил он министра, – неужели флот России настолько ослабел, что не может паклей заткнуть эти фонтаны мудрости в Таврическом дворце? Неужели и дальше служить с оглядкой на Гучкова и прочих господ, которые в наших делах разбираются, как свиньи в апельсинах.

– Надо! Надо прислушиваться к голосу общественного мнения. Вы поговорите с Эссеном, а я, извините, сейчас занят…

Вернувшись домой, Владимир Васильевич сказал супруге, что не узнает прежних офицеров русского флота:

– Кого я раньше встречал без рубля в кармане, теперь, заняв кресла под «шпицем», раскатывают в собственных автомобилях. Говорят, у многих завелись солидные счета в банках. Не хочу верить сплетням, будто и Григорович наживается от программы строительства флота… Ну, с каких бы шишей я мог бы завести для себя автомобиль? Да и какой из меня шофер?

– До первого столба, Владечка…

На шоферов тогда смотрели одинаково, как и на авиаторов. Почему-то считалось, что люди этих профессий все равно добром не кончат. А потому самые прекрасные женщины спешили исполнить любое желание героев, готовых свернуть себе шеи на первом же повороте.

В радости Ольга заметила и удрученность мужа:

– У тебя что-нибудь не так, как тебе хочется?

– Да. Меня неприятно удивило, что Колчак, будучи командиром эсминца «Пограничник», значится и флаг-капитаном Эссена, которого я никак не могу поймать за хлястик…

Эссен гонялся по шхерам, викам и зундам Балтики, словно настеганный; за ним гонялись дивизионы, отряды, дивизии и эскадра. Коковцев испытал ущемление самолюбия, когда Николай Оттович, ссылаясь на занятость, доверил вести беседу с ним своему флаг-капитану. Колчак же разговаривал слегка небрежно, как мэтр с профаном, жаждущим поступления в его масонскую ложу. Он сразу предупредил: война с Германией (а возможно, и со Швецией) начнется в 1915 году.

– В этом нас убеждает тщательный анализ всей военной и политической схемы Европы. Таким образом, эта война никак не может стать для России войной непредвиденной – она попросту запланирована нами заранее, нападение же будет совершено не Россией, а непременно германцами со шведами.

– Вы не ошибаетесь в сроках начала войны?

– Ошибка допустима. Плюс – минус шесть месяцев.

– Готов ли флот отразить нападение немцев?

– Нет, не готов! – Колчак в резких выражениях разругал канцелярщину и волокиту в судостроении, где чертежи застревают в тормозах бюрократии, на каждый болт или пружину надобно сочинять по десять рапортов. – Болты болтают! – заключил он речь каламбуром. – С дредноутами опаздываем на три года, с эсминцами и подлодками тоже не справляемся…

Владимир Васильевич не мог скрыть своего огорчения, когда Колчак сказал, что Школе юнг требуется толковый начальник:

– Вы же сами и подали флоту эту идею о юнгах…

Но одно дело идея, а другое практика: возиться с мальчишками, которых нельзя даже выдрать как следует, для этого нужен особый талант, который на базаре не купишь.

– Неужели мой опыт миноносника уже ненадобен?

– Мы не хотели обидеть вас, – отвечал Колчак (и этим «мы» он как бы поднимал себя выше Коковцева). – Николай оттович уважает вас. Но именно он и выразил сомнение в вашей готовности для эсминцев, скорости которых резко повысились. Ведь сейчас даем играючи тридцать узлов!

– Я вполне здоров для таких скоростей.

– Но турбина еще здоровее, – ухмыльнулся Колчак.

Коковцев сказал, что среди миноносцев на Балтике есть старые «немки», строенные в Германии, одряхлевшие «француженки», строенные во Франции: согласен и на малые обороты.

– Тогда подождите, что скажет Эссен, а Эссен успокоится лишь к зиме, когда Балтика замерзнет. Всего доброго…

Свою обиду Коковцев высказал Коломейцеву, который к этому времени тоже обзавелся адмиральским лампасом.

– Я не понимаю, ради чего Эссен обнюхивает Колчака? Говорят, знающий минер. Допускаю. Однако он рассуждал со мною так, будто сейчас пошлет меня в прихожую, чтобы я в зубах притащил ему ночные шлепанцы… Каков камуфлет?

– Обыкновенная выскочка, – отвечал Коломейцев. – Мы уже по трапам гремели, когда этот Санька Колчак соблазнял барышень тянучками без бумажек… Карьерист! К тому же, заметь, якшается с Гучковым, а мы разве испоганимся в думской мрази?

Над русской столицей просыпался первый чистейший снег, когда с Амура приехал навестить родителей молодой лейтенант Никита Коковцев. Он принес в квартиру, прогретую каминами, морозную бодрость далеких просторов и молодости, наполнил комнаты хрипловатым баском человека, наглотавшегося сибирских вьюг и ветров. Никита растряхнул перед матерью подарок – шкуру уссурийского тигра, убитого им на охоте.

– Каков злодей? Сожрал четырех собак, трех китайцев и одну русскую бабу, о которой в Сретенске все знали, что она воровка… Тебе, мамочка! Будешь класть под ноги в спальне.

На вопрос, как его молодая жизнь, сын дал ответ:

– Если покровителем водолазов и подводников служит Иона, побывавший во чреве китовом, то для нас, амурцев, свят останется Иов Многострадальный… Ты был прав, папа: живу в бараке, топлю по ночам печку и читаю Гегеля, размышляя. Можете и поздравить: перед вами командир канонерской лодки «Орочанин», построенной далеко от Амура – на Волге, в Сормове!

Мать смотрела на него влюбленными глазами. Когда Никиту отослали принять ванну после дороги, она сказала мужу:

– И ты еще смел говорить, что он не твоя копия? Да весь в Коковцевых… Хотя, – помрачнела Ольга Викторовна, – бедный наш Гога был еще больше похож на тебя.

За столом сын рассказывал, каково было на Амуре, когда в Маньчжурии свирепствовала чума, а Благовещенск, еще не забывший обстрелов «боксеров», жил в тревоге.

– Тревога была и на флотилии! Мы охраняли город, боясь нападения, в затонах держали наготове пулеметы и десантные пушки системы Барановского, по ночам освещали китайский берег прожекторами. Если б не эта готовность флотилии к бою, китайские дипломаты не уступили бы нам в свободном плавании по Амуру, Сунгари и Аргуни с Шилкой… Вот так и живу!

После завтрака Никита заглянул в комнату Игоря:

– А каковы успехи моего братца в корпусе?

– Его теперь не узнаешь, – сказала Ольга Викторовна. – Такой стал высоченный – под потолок, я едва достаю ему до плеча. Сейчас повадился проводить воскресенья на скеттингринге Марсова поля, катается на роликах, как метеор. И, кажется, уже влюблен в одну глупенькую гимназисточку.

– Весь в Гогу! – сказал Никита. – Будет сорвиголова…

Вечером отец с сыном (тайком от матери) вели разговор.

– А ведь я, папа, с приветом к тебе – с Амура.

– От кого? Я ведь там никого не знаю.

– Атрыганьева помнишь? Геннадия Петровича.

– Господи, конечно! А что с ним?

– Он на Амуре. Водит пассажирские пароходы, превосходный знаток речного фарватера и перекатов, его лоцманскими услугами пользуется наша флотилия. Чудесный и добрый человек!

– Да, да, – подхватил Коковцев, – он всегда таким и был, очень милый, но в маске некоторого мефистофельства. Геннадий Петрович, помню, был отчасти подвержен кастовости.

– Он очень изменился с тех пор, папочка.

– Наверное, уже состарился, одряхлел?

– Да нет. Женщины от него без ума! Только иногда, – сказал Никита, – Атрыганьев начинает ходить кругами…

– Кругами? Как это понимать?

– А так. Идет себе по улице, как и все добрые люди, и вдруг ни с того ни с сего начинает описывать циркуляцию, словно крейсер, у которого заклинило рулевую машинку.

– Раньше с ним этого не было… Отчего так?

– Он после Цусимы решил, что жить не стоит, и выстрелил себе в висок. Но допустил ошибку в знании анатомии черепа. А вот тут, – Никита показал пальцами на виски, – имеются пазухи, заполненные воздухом, и пуля из правого виска выскочила через левый. С тех пор Атрыганьев и циркулирует, но ясность ума сохранилась. Фантазия неистощима… Мы не слишком громко рассуждаем, маму не разбудим?

– Да нет. Счастливая, она спит всегда крепко…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Зима заковала Балтику в панцирь льда, перед отъездом в Гельсингфорс для свидания с Эссеном контр-адмирал сказал Никите, что война с Германией стала неизбежностью.

– Но эта война, – ответил сын, – как и прежняя с Японией, способна породить новую революцию. И особенно – на флоте, где вакуум между кубриками и каютами бестолково заполняют кондукторами… Кстати, такого же мнения и Атрыганьев!

– Странно, что он стал рассуждать о таких вопросах. Ему более подходит спорить об Англии и восхищаться женщинами.

– Но я ведь сказал, папа, что он сильно изменился. И только ты, уж извини меня, один ты остался прежним…

В промерзлой квартире Гельсингфорса контр-адмирал сразу включил паровое отопление. Идти в ресторан обедать ему не хотелось, в домашнем кафетерии он насытил себя шведской булкой с тмином, запив ее бутылкой жирного финского кефира. Эссен обещал ждать его на «Пограничнике» после шести вечера. Пока можно полистать газеты. Из них он узнал, что тема всеобщего разоружения, столь насущная перед началом XX века, снова обуревает людские помыслы. Запасы оружия в странах были уже таковы, что никакие Везувии и даже вулканы Кракатау не способны вызвать такой взрыв, как эти склады боеприпасов… Коковцев не ожидал, что предстоящее свидание со старым приятелем заставит его волноваться. Это и понятно: слава Эссена была уже велика, в прессе Европы его имя ставили в один ряд с именами японского Того, германского Тирпица, британских адмиралов Битти, Фишера и прочих. Как раньше говорили об офицерах «макаровской» школы, так и сейчас была популярна «эссеновская» выучка [15] .

Николай Оттович встретил Коковцева в салоне. Коренастый, он чуть располнел, на румяном лице по-прежнему «читались» светлые глаза. По возрасту они были одногодки: в общей сумме – 106 лет… Эссен начал так:

– Я не знаю, что там натрепал тебе мой флаг-капитан, изволь послушать меня. Откровенно? Да. Ни одного слова исповеди из этой молельни не должно выйти наружу. Можешь считать, что флота на Балтике пока нет… Говорил это Колчак?

– Намекнул. А что?

– Ничего. Зато у нас есть четкий план войны на этом сложнейшем Балтийском театре… Как здоровье Ольги?

– Сейчас ожила. Был в гостях Никита.

– А третий где?

– Через два года выйдет из корпуса.

– Ну, слава богу. Слушай далее. Для исполнения этого плана нужны грамотные минеры. От пушечной пальбы звон в ушах, а минное дело – тихое, оно требует внимания и… ласки.

Коковцев спросил Эссена напрямик:

– Николай Оттович, что ты мне дашь?

– Минную дивизию хочешь?

– Хочу! – отвечал Коковцев, обрадованный.

– А я не дам.

– Но просиживать стулья на берегу – уволь.

– А кому ты нужен на стульях? Ни-ко-му! Терпеть не могу, когда меня перебивают… даже друзья. Сейчас германский флот настолько силен, что уже способен протаранить любые ворота на Балтике, и морды германских дредноутов, окованные крупповской броней, влезут прямо в «Маркизову лужу» – в Неву!

Коковцев ответил, что существуют же передовые позиции, вынесенные далеко к Мемелю, наконец, и база в Либаве..

– Прогноз будущей обстановки неутешителен: не только Поланген, но даже Либаву придется сразу оставить разбойникам. Главная позиция – Финский залив… Ужинать будешь?

– Не откажусь. Спасибо.

За ужином Эссен продолжил – напористо:

– По меридиану от Гельсингфорса до Порккала-Удд рукой подать. Там базируются минные заградители с дивизионом «француженок». Ты в Порккала-Удд поднимешь свой флаг… Понял? Минные арсеналы расположены внутри устарелых мониторов, из которых котлы и машины вынули. Там весь слякотный дивизион: «Шквал», «Дождь», «Град», «Снег», «Иней» и прочая мура. Да, позвони жене. Отныне до весны в Питер тебя не отпущу…

Россия, отставая от других стран в кораблестроении, обогнала все страны мира, особенно Англию и Америку, в искусстве минных постановок. Русские верфи создавали превосходные минные заградители (минзаги), со стапелей готовился прыгнуть в морскую пучину первый в мире подводный минзаг «Краб». Жить с минами страшно, зато весело… Чтобы русские секреты не попали в руки шпионов, отряд минных заградителей выдерживали в безлюдных местах. И сейчас он курился уютными дымками камбузов средь снежного безлюдия Порккала-Удд.

Песни здесь распевали на мотив некрасовских коробейников:

На отряде минных заградителейЦелый день идет аврал.За грехи не наших ли родителейНас на мины черт загнал?Очевидец писал: «Тяжелая была школа… Придирки в точности постановки мины на глубине до четверти фута (т.е. 7 см). Каждую мину проверить и записать, как младенца в метрику. Минных офицеров или гладят по головке, либо заставляют глотать пилюли выговоров. Жизнь беспросветная. Разнообразие доставляется одной лишь переменой погоды…» Коковцев лишь одиножды вырвался в Гельсингфорс – встретить Ольгу Викторовну на вокзале. Войдя в квартиру, женщина внимательно осмотрелась, тихими шажками обойдя все комнаты.

Коковцев не выдержал – рассмеялся:

– Ты как кошка, попавшая в новую обстановку.

– Надеюсь, – отвечала жена, бросая шубу на диван, а муфту кидая на трюмо, – ты более не станешь делать глупостей. Пойми, что в твоем возрасте это непристойно и банально.

Он не стал возражать, а просто взял ее за руку:

– Хорошо, что ты у меня есть.

– И хорошо, что есть дети, которые еще долго будут нуждаться в нашем внимании… У тебя все в порядке?

– Что ты имеешь в виду?

– Дела на отряде заградителей.

– Когда с минами непорядок, они, черти, взрываются.

– Вот как миленько! Ты меня утешил…

«Награды, призы, отличия служили для подбадривания, чем-то вроде компенсации, дабы выветрить из голов сознание, что за „грехи родителей“ загнаны мы на заградители».

Это не мой текст – минный!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Игорь Коковцев, любимец матери, уже заимел нагрудный жетон «За отличную стрельбу из револьвера». Катание на скеттингринге все-таки добром не кончилось: на полном ходу он слетел с роликов, и мама лечила ему разбитый нос, прикладывая к нему примочки из арники. Конечно, в ранней младости свойственно украсить себя чем-либо оригинальным, чтобы наивные гимназистки смотрели на тебя, остолбенев от восторга, с выпученными глазками. Если старший, Никита, носил фуражку «по-нахимовски», то для Игоря одного жетона не хватало для разбития сердец, он уже не раз умолял отца подарить ему браслет с надписью: «МИННЫЙ ОТРЯД. ПОГИБАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ».

– Пусть тебе не кажется, – отвечал отец, – что все барышни, увидев его на твоей руке, сразу же погибнут без боя. Больше не приставай! Этот браслет стал для меня вроде кандалов для бессрочного каторжанина. Врос в руку – не снимешь!

– Папа, а знаешь ли ты, как зовут всех вас?

– Как?

– Минное мясо.

– Не смей говорить подобное отцу, – возмутилась мать.

– Он прав, – сказал Коковцев. – Мы и есть «минное мясо», в отличие от солдат, именуемых «мясом пушечным».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Была яркая весна 1913 года. Японский водолаз Сакураи, человек большой отваги, предполагая, что с «Петропавловском», флагманским броненосцем Макарова, очевидно, погибла и золотая казна Порт-Артурской эскадры, совершил удивительный спуск на глубину, протащив за собой резиновые шланги в отсеки мертвого броненосца. Ему удалось обшарить каюты, которые не дали никакой добычи. Зато в корме корабля Сакураи обнаружил «подушку» спертого давлением воздуха, а в ней – гнилостные останки человека, украшенные адмиральскими эполетами. В бумажнике мертвеца уцелели визитные карточки с домашним адресом контр-адмирала М. П. Моласа, бывшего начальником макаровского походного штаба. Бумажник с этими карточками водолаз переслал в Петербург сестре Моласа – Марии Павловне.

– Я не понимаю, как Молас оказался в корме, – удивлялся Коковцев. – Ведь его место было на мостике. Великий князь Кирилл хотя и забулдыга порядочный, но врать не станет: он видел Моласа после первого взрыва уже с раскроенным черепом. Кирилл даже перешагнул через него, пролагая дорогу к своему спасению… Казалось, все забыто, вдруг опять!

– Не заставляй меня даже думать об этом, – отвечала Ольга Викторовна. – Это так ужасно… так ужасно. Бедная Капитолина Николаевна, – вспомнила она вдову адмирала Макарова.

Степан Осипович не дожил до 1923 года, когда флот должен был обрести значительную мощь; теперь программы строительства кораблей менялись, и под «шпицем» были уверены, что флот России окончательно окрепнет лишь в 1917 году. Но станет ли ждать Германия? Железные мускулы будущей войны обозначились уже рельефно, будто обнаженные мышцы в анатомическом атласе. Кайзеровская Германия настырно требовала передела мира, флот Вильгельма II, активно растущий, внушал страх английским колонизаторам, боявшимся потерять свои заморские владения. Англия запустила в серию линкоры типа «Орайон» (не дредноуты, а супердредноуты); у немцев появились «Нассау» и несокрушимые «Байерны»; типа «Данте Алигьери» у итальянцев; янки гордились своими «Невада», а россияне с нетерпением ожидали спуска на воду своих линкоров типа «Севастополь»…

Получив недельный отпуск, Коковцев с женою выехал в Петербург. У него не было никаких планов, лишь хотелось сыграть партию в кегельбан у Бернара, а Ивона перестала волновать его. К тому же нашлись доброжелатели, нашептавшие об этой женщине нечто слишком для него унизительное.

– А, черт с ней! – сказал он, загоняя шар по желобу кегельбана, которые с треском обрушил фигуры в конце длинного туннеля. – Господа, я пас. Чья теперь очередь?

В жизни все было расписано: Игорь должен выйти из корпуса в «корабельные» гардемарины осенью 1914 года, когда ему исполнится 19 лет. Что ж, совсем неплохо, даже отлично!

– Но уж его-то я не пущу на Амур или на Мурман…

Приходя домой, младший сын усердно зубрил сложный курс взрывчатых веществ: «Пироксилиновые пороха состоят из нитроклетчатки, желатированной рафинированным ацетоном». Из другой комнаты ему громко подсказывал отец:

– Помни, что ацетон можно заменять алкоголем с эфиром.

– Папа, а отчего пироксилины самовозгораются?

– От разложения… такая дрянь! То им жарко, то холодно, будто их трясет в малярии. И вдруг они возносят в небеса целые броненосцы, как это было недавно на флотах Америки и Японии. Дам хороший совет: не разевай рот, если корабль ведет огонь против сильного ветра на скорости. При открывании затворов пушки выбрасывают назад длинные факелы пламени, пережигающие человека пополам, как соломенное чучело.

– Прекратите! – взмолилась Ольга Викторовна. – В кои веки собрались отец с сыном, и… страшно их слушать!

– Оля, но ведь надо же ему готовиться к экзаменам.

– Мамочка, это моя профессия, как ты не понимаешь? – смеялся Игорь. – Наконец, это верный кусок хлеба в жизни.

– Пироксилин – не хлеб! Я понимаю – быть адвокатом. Стать инженером-путейцем. Они хорошо живут. Разве плохо?

– Неплохо, но скучно. Насыпи, шпалы, рельсы…

– Ладно. Бубни про себя, – велел сыну отец…

Эссен физиологически не выносил жизни на берегу, годами не покидая кораблей ради земли, и потому для многих его сослуживцев оставалось загадкой – когда он успел породить четверых детей. Николай Оттович доказывал:

– На кораблях чисто, а на берегу грязно, здесь порядок, а на берегу, как всегда, великолепный бардак…

Адмирал был потомком тех шведов, которые после Великой Северной войны не пожелали терять поместья в Ингерманландии, приняв ради сохранения усадеб русское подданство. Это не мешало ему с подозрением относиться к своей праматери – Швеции, насыщавшей домны Германии железной рудой отличного качества. Как человек воистину православный (а он таковым и являлся), Эссен в общении с подчиненными иногда прибегал к помощи тех слов, что отсутствуют в словаре Даля, но зато их можно отыскать в дополнениях к словарю Даля.

Коковцев застал Эссена в стадии накопления слов.

– Заряди в мины патроны кальция, – сказал он. – Царь с царицей желают видеть, как ставятся мины. А так как они в этом деле ни хрена не смыслят и, конечно, им будет скучно, мы станем их веселить, мать, мать, мать. Устрой-ка ты им ночную постановку! Водрузи кресла на мостике «Енисея». У тебя холодильники на минзагах как? Жужжат, мать, мать, мать?

– Жужжат, – отвечал Коковцев. – Пошли буфетных в Гельсингфорс за мороженым. Навали этим сусликам полным верхом тарелки. И разбавь в графине морс коньяком. В пять созвездий, мать, мать! Пусть царь подзаймется астрономией. Но чтобы царица того не заметила. А матросов предупреди, чтобы при царице громко не матюкались. Если уж так припрет, пусть матерятся шепотом, мать, мать…

Коковцев вывел отряд в море, чтобы, поставив мины, завтра уже выловить их обратно, а заодно следовало пощекотать нервы царю и его супруге. Николай II с императрицей наблюдали, как загораются во мраке патроны кальция – их зеленые огни, словно навьи чары на ведьмином болоте, курились над местом каждой мины, утонувшей в море. «Царскосельский суслик», как именовали царя на флоте, остался очень доволен.

– Прекрасно, феерично! – благодарил он Коковцева. – Признаюсь, что я и моя супруга давно не видели такой удивительной пантомимы… Ах, какая же волшебная красота!

За эту «красоту», способную ломать днища крейсеров, Владимир Васильевич получил от него орден Владимира с бантом. К тому времени, если не считать русских отличий, он имел уже немало иностранных: Священного сокровища – от микадо, Почетного легиона – Франции, тунисского – бея Нишан-Ифтикар, датский крест Данеброга, черногорский – князя Данилы и прочие. Когда он выступал при полном параде, придерживая у бедра золоченую саблю, вся эта витрина на его груди оказывала сильное впечатление на публику…

Настало изнурительно-жаркое лето, и вот, в середине его, Коковцеву пришлось облачаться в мундир, при всех орденах и при сабле – он собрался в Кронштадт, сказав жене:

– Если ты, Оля, желаешь посмотреть Капитолину Николаевну Макарову, я не возражаю – поехали вместе…

Ольга Викторовна надела в поездку черное платье, черные перчатки и опустила черный флер на шляпе – все эти признаки наружно свидетельствовали, что ее сердцу не удалось изжить утрату своего первого сына. С утра на площади перед Морским собором Кронштадта шпалерами строились матросы, рота подростков из Школы юнг, народные хоры, оркестры, караулы, дамы, адмиралы, цветочницы, рабочие с семьями, министры, горничные, а на рейде, в строгом молчании, оцепенели корабли Балтийской эскадры, и средь них красовался крейсер, носивший славное имя: АДМИРАЛ МАКАРОВ.

Под белым балдахином скрывался памятник – ему же!

Вдова адмирала, Капитолина Николаевна, с явным удовольствием воспринимала внимание толпы, возле нее стоял юный мичман, и Коковцев шепнул Ольге Викторовне:

– Вадим Макаров, сын адмирала, он служит на крейсере имени своего отца… Не всем сыновьям выпадает такая честь!

Ольга Викторовна сказала, что подходить к Капитолине Николаевне совсем не намерена, и даже осудила ее:

– Изо всего на свете она делает спектакли…

Николай II высадился у Петровской пристани с дочерьми, одетыми в летние дешевенькие платьица. Буцая казенными сапогами в булыжники площади, рота юнг, промаршировав, замерла вокруг памятника. Над цитаделью зазвонили колокола, духовенство флота, во главе с протопресвитером, провозгласило «Вечную память» Макарову… Корабли эскадры салютовали ему – залпами! Вслед за царем вся площадь пришла в движение, опускаясь на колени. Завеса, покрывавшая памятник, разом упала, собираясь в складки, и взорам тысяч людей предстал он – в своем адмиральском пальто, указывая вдаль – в штормы, в расстояния, в тревоги. А живые цветы быстро покрыли его подножие. Хор матросов, сверкая бляхами, пел:

Спи, северный витязь, спи, честный боец,Безвременной взятый кончиной.Не лавры победы – терновый венецТы принял с бесстрашной дружиной.000000000000000000Ольга Викторовна слеповатенько щурилась:

– Владечка, что там написано на памятнике Макарову?

– «Помни войну»… Он очень любил эти слова!

Матросы пели трубяще, их рты разевались синхронно и с такой мощью, будто стонали обширные геликоны:

Твой гроб – броненосец, могила твоя —Бездонная глубь океана,А верных матросов родная семья —Твоя вековая охрана…

Было как-то очень неспокойно, очень торжественно и очень печально. В толпе рабочих и матросов снова возникли старые порт-артурские слухи: Макаров не погиб – его убили, убили еще на мостике!

Ольга Викторовна не могла в это поверить:

– Неужели на флоте возможно такое злодейство?

– Однако, – сказал ей Коковцев, – легенда не умирает… Открой дома пятый нумер «Летописи войны с Японией», там напечатаны воспоминания сигнальщика «Петропавловска». Он утверждает клятвенно, что видел Степана Осиповича на мостике, лежащим в луже крови. Матрос кинулся помочь ему, но тут вторично сдетонировали погреба… его смыло за борт!

Адмиральский катер к вечеру доставил Коковцевых из Кронштадта в столицу, высадив их возле Горного института. Устали оба, и хотелось спать. Но, еще стоя на лестничной площадке перед своей квартирой, они услышали за дверями знакомый голос, топотню детских ножек.

– Это… внук, – сказала Ольга Викторовна и, нажав на звонок, не отпустила его до тех пор, пока сама же Глаша не открыла им двери, как в былые добрые времена.

– А вот и я, – сказала она. – Не ждали?

Спасибо, что навестила: свидание с внуком чистейшим бальзамом пролилось на душевные раны Ольги Викторовны, и она, нянчась с мальчиком, стала оживать от беды, от прежних оскорблений, от женского и материнского одиночества. А востроглазая Глаша, конечно, заметила висевший на стенке портрет Коковцева, добротно выписанный художником Кузнецовым.

– Какой вы здесь хороший-то… молоденький.

– Мужчина чуть лучше черта – уже красавец!

Ивона больше не терзала его. Но зато с театральных афиш приманивало лицо обворожительной женщины. Это была Мария Николаевна Кузнецова-Бенуа, загримированная под японку, и теперь театральная «мадам Баттерфляй» напоминала Коковцеву, что в Иносе, наверное, еще сохранился тот дом, где его встретила Окини-сан… «Жива ли она? О, годы – необратимые!»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Близость Ревеля надоумила Коковцева обзавестись жильем в эстляндской столице, куда и переехала Ольга Викторовна с Глашей и Сережей. Сам он появлялся в Ревеле изредка. Желая покоя, попросил Ольгу снять дачу на станции Немме в семи верстах от города, по вечерам всей семьей ужинали в местном ресторане, наслаждаясь видом панорамы древнего города, резкими вспышками маяков. Ольга с удовольствием кормила мужа.

– Ты, наверное, плохо высыпаешься, Владечка?

– Для меня ставят на мостике лонгшез. Дремлю.

– А если война, то кто с кем будет воевать?

– Наверное, все против всех, – ответил он…

Только единожды, уже осенью, ему удалось по делам службы выбраться в Петербург, и Коковцев все-таки не устоял перед искушением побывать в Мариинском театре, где давали оперу Джакомо Пуччини о любви японки Чио-Чио-сан к лейтенанту американского флота Пинкертону. Владимир Васильевич совершенно отвык от посещения театров и сейчас с новым интересом присматривался к разряженной публике, занимающей богатые ложи, вслушивался в разнобой инструментов из ямы оркестра. В какой-то момент он даже пожалел, что не пошел в кегельбан у Бернара. Но вот взвился занавес, перед ним возник пейзаж окрестностей Нагасаки. В саду, зацветающем вишнею, возник домик с террасой… Сначала было просто неинтересно. Он ожидал появления Кузнецовой-Бенуа, и она, обладая прекрасным голосом, заставила его сосредоточиться на том, что происходит на сцене. В действии оперы контр-адмирал обнаружил немало несообразностей с теми условиями, какие он в свое время застал в Японии. Конечно, никакие сто иен Чио-Чио-сан не стоила, конкубинат в Нагасаки обходился дешевле, а принц Ямадори не станет брать в жены себе гейшу, хотя и дочь самурая, но покинутую чужеземцем, да еще с ребенком на руках. Наверное, японская женщина сделает себе харакири вслед за любимым мужем (и по его приказу!), но резаться из-за несчастной любви вряд ли она станет. Пинкертон тоже выглядел порядочным олухом, не придумав ничего лучшего, как вдруг заявиться в Нагасаки с молодой женой, да не как-нибудь, а приплыв в гости обязательно на броненосце…

Раскритиковав сюжет оперы, Владимир Васильевич, однако, покорился чудесной музыке Пуччини, а Мария Николаевна вела свою партию Чио-Чио-сан с таким проникновением и так чудно пела, что Коковцев охотнейше бисировал ей в конце каждой арии. Наконец огни рампы погасли, на сцену посыпались цветы, но Коковцев разумно приготовил для Кузнецовой-Бенуа иной дар – более оригинальный, нежели корзины с цветами.

Однако повидать певицу оказалось нелегко. Избалованная вниманием, парижская примадонна навещала Петербург лишь по капризной прихоти, и теперь возле дверей ее туалетной комнаты толпились мужчины всех возрастов и различного положения, желающие непременно выразить ей свои восторги. Понимая, что через эту суетную толпу ему добром не пробиться, Коковцев вручил камеристке свою визитную карточку:

– Передайте Марье Николаевне, что в Одессе я встречался с ее отцом, именно он и просил меня повидать ее…

Такой подход оказался самым верным, тем более что диво дивное провело детство на хуторе под Одессой, среди индюков и поросят, а отца своего Мария Николаевна очень любила. В ее уборной царил аромат фиалок из Ниццы, красовался букет васильков из Берлина, она сидела еще в японском кимоно, снимая грим перед зеркалом, в окружении корзин ослепительных хризантем, которые ей прислали из японского посольства.

Женщина встретила контр-адмирала шутливо:

– Вы, случайно, не были лейтенантом Пинкертоном?

– Я был еще мичманом, когда со мною в Нагасаки произошло нечто подобное, о чем я и рассказывал Николаю Дмитриевичу, когда он писал с меня портрет.

– Ах, мой папочка сколько раз пробовал писать с меня, но еще не было случая, чтобы я осталась его мазнею довольна. Мне нравится Слефогт! Значит, вы тоже бывали в Японии?

– Не только бывал, но и жил там подолгу.

– Интересно, правда? Скажите, адмирал, откровенно: я сегодня хоть немножко была похожа на японку?

– Вы пели очаровательно, но, простите великодушно, вы совсем не были похожи на японку. Однако все недостающее на сцене дорисовала моя память и досказало мое сердце.

Мария Николаевна спросила, насколько любовь Пинкертона схожа с его юношеским романом. Коковцев отвечал певице, что между ним и героем оперы нет никакого сходства:

– Но во мне родилось чувство виноватости.

– Неужели? – удивилась певица.

– Поверьте, что ваша ария в последнем акте заставила меня поневоле задуматься: какова степень моей вины перед несчастной Окини-сан? Японцы, наверное, могли предлагать европейцам своих дочерей за деньги, но мы, европейцы, все-таки не имели права покупать их. Этим мы невольно оскорбляли в первую очередь самих японцев. Раньше этого они не понимали, но, миновав «эпоху Мэйдзи», стали уже понимать.

– Об этом я никогда не думала, mon amiral…

Коковцев протянул женщине сложенный веер, и, когда Кузнецова-Бенуа распахнула его, перед нею явилось красочное изображение японки, гуляющей в саду под зонтиком, а откуда-то из-за кустов за ее движениями следило некое дикое подобие европейца, жаждущего вкусить любви от иной расы.

– Кто же это? – спросила Мария Николаевна.

Коковцев заметил, что подарок ей понравился.

– Та самая женщина, что послужила для Пуччини прообразом вашей роли… Это знаменитая Тодзи Акити-сан, о которой знает каждый японец, о ней слагают стихи поэты, поют песни на праздниках, ее портреты висят в каждом доме, в виде куколок ее вырезают из яшмы и дерева. Но подлинная судьба этой женщины оказалась очень жестока…

Мария Николаевна опахнулась веером:

– Жестока? Неужели как у моей мадам Баттерфляй?

– Когда Акити-сан покинул жених, она перебралась в Токио, где стала безобразно пьянствовать, преследуемая всеобщим позором, и, наконец, бросилась в море [16] …

Затем Коковцев сказал, что провел с Окини-сан два периода своей жизни, и каждый из них послужил для него указательной вехой для поворота в его личной судьбе.

– Но видеть ее третий раз я бы уже не хотел.

– Почему?

– С годами, мадам, все сильнее страх перед будущим…

В квартире на Кронверкском его встретила жена.

– Ты? Вот не ожидал. А где Глаша?

– Я оставила ее в Ревеле.

– А ради чего ты ринулась за мной в Петербург?

Ольга Викторовна промолчала. С самыми добрыми чувствами Коковцев подошел к жене, поцеловал ее в лоб:

– Если у тебя возникли сомнения в моей порядочности, ты должна быть спокойна. Эта женщина с Английской набережной переживает сейчас бурный роман с шофером герцога Максимилиана Лейхтенбергского, и тут ничего не исправишь.

Ольга Викторовна вдруг зло расхохоталась:

– После адмирала и… шофер?

Она произносила это слово по принятой тогда манере – не «шофер», а «шоффэўр» (с ударением на втором слоге). Коковцев и сам понимал, что его мужское самолюбие сильно задето.

– Но шофер-то в чине поручика гвардии!

– А что это меняет, глупый? – спросила жена.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Макаров оставил для флота дельный совет: «В любой обстановке надо уметь поесть и поспать. Это ведь тоже искусство, которое необходимо в себе воспитывать. Какой нам толк с человека, который три ночи подряд не смыкал глаз по службе? Да ведь он ни к черту уже негоден! А тот хорош, кто при любом аврале найдет время перекусить и выспаться». Этот афоризм пригодился Коковцеву в условиях жизни на заградителях.

Днем отсыпались, а к ночи вставали с бранью:

– Опять нам в море – икру метать. Разве это жизнь?

Спереди минные заградители выглядели мощно, словно крейсера, а кормы у них были с «подзором», как у грузовых транспортов. В этих кормах открывались двери лоц-портов, из них выпадали в море мины с якорями, и тогда минзаги казались живородящими неких уродцев, отчего на отряде и привилось это странное выражение – икру метать! Ночь за ночь – одно и то же.

– Даже напиться некогда, – жаловались матросы…

Это был титанический труд балтийцев! Отряд Коковцева ставил мины по ночам, тральщики по утрам выуживали их с глубины. Мины обсушивали, заново проверяли, а к постановке готовили другие. Таким образом за две навигации 1912—1913 годов Балтийский флот (краса и гордость России) тщательно отбраковывал все мины с фабричными изъянами, заполнив трюмы плавучих арсеналов только теми минами, что проверены в тренировках… Внешне молодящийся, стараясь не отставать от мичманов на трапах, Коковцев боялся показать командам, как он устал! Офицерам минзагов (тоже усталым) он говорил:

– Зимою отдохнем. А сейчас выспитесь, чтобы не клевать носами на мостиках, когда снова пойдем икру метать…

В сером море, взбаламученном осенними штормами, строем уступа прошли три богини преклонного возраста – крейсера «Паллада», «Диана» и «Аврора»; притягательна была эта картина, когда крейсера скрыли за горизонт свои корпуса, потом утопили мостики, выставив над морем лишь одни мачты, да еще долго текли шлейфы дыма, распластанные над непогодью балтийских вод. Бригадою крейсеров на Балтике командовал Коломейцев.

– Попрошу Колю взять на крейсер нашего Игоря.

– Конечно, было бы неплохо, – ответила Ольга.

Проводив Глашу с ребенком в Уфу, она возвратилась в ревельскую квартиру на Селедочной улице, откуда недалеко до парков Екатериненталя, где она лечилась, принимая целебные ванны. Сама вела скромное хозяйство, сама следила за чистотой.

– В конце концов, – говорила она, – сяду на поезд вечером и утром буду на Кронверкском. Если Игорю угодно, он может приезжать к нам каждое воскресенье.

– Поступай, как тебе хочется, – не возражал Коковцев.

Перед новым, 1914 годом, когда минзаги в Порккала-Удд до весны закостенели во льдах, министр Григорович предложил Коковцеву инспекционную поездку на Амурскую флотилию.

– Я отказался, – сообщил он Ольге.

– Разве было бы плохо повидать Никиту?

– Потому и не поехал, чтобы не мешать его службе. А то появится папа-адмирал к сыночку-лейтенанту… Думаю, что и Никите мое появление не пришлось бы по душе.

Никита сообщал, что у него все в порядке, на Амуре создан кружок по изучению края, водку из меню офицерского собрания сообща изгнали, а карты признаются только одни – географические. Морозы страшные. Недавно два месяца провел во Владивостоке, проходя стажировку на крепостных батареях, а в конце письма стояла загадочная приписка: «Кажется, я нашел что мне надо» . Почему-то именно эту фразу Никита подчеркнул.

– Не понимаю, – удивилась Ольга Викторовна. – Что он хотел этим сказать? Или нашел во Владивостоке невесту?

– Скорее доволен тем, что попал на Амур.

– Тогда зачем же он еще и подчеркивает?

– Спроси у него сама….

Игорь, появляясь в Ревеле, первым делом хватал коньки и отправлялся в немецкий клуб «Фолькспарк», где по вечерам работал каток с духовою музыкой. Однажды его уже видели гуляющим с какой-то местной Аспазией, весьма сомнительной. К своему будущему Игорь относился легко и хотя в учебе не отставал, но и не ставил себе целью обогнать других. К жетону за стрельбу из револьвера он прибавил второй: «За отличное фехтование». Глаша, гостившая у Коковцевых, была очень внимательна именно к Игорю, и это внимание легко объяснимо: своими замашками Игорь напоминал ей Гогу… Однажды, в кругу родителей, гардемарин сказал, что карьеру сделает быстро:

– Поеду в Либаву и окончу школу подводного плавания.

– И не думай! – возразила мать. – Мало мне горя, когда вы по воде плаваете, так тебя еще и на дно потянуло.

– Но это же так интересно, мамочка.

– У тебя все интересно… Избавь тебя Бог!

– А что вы подарите мне, когда я выйду из корпуса?

– Секундомер. Как заядлому спортсмену…

После отъезда Игоря в столицу Коковцев сказал жене:

– Звезд с неба не нахватает и пороху не придумает.

– Но он же еще ребенок. Ты разве не видишь?

– Какой там ребенок, если через год ему уже людей навытяжку ставить… Завтра – офицер!

– Владечка, ну какой из него офицер? Никита – да.

Разговор супруги продолжили в спальне.

– А я, Оля, все время думаю,– что хотел сказать Никита этой дурацкой фразой: «Кажется, я нашел что мне надо». Вообще-то самые страшные люди на свете – идеалисты.

– К чему это? – не поняла его Ольга Викторовна.

– Я опять о Никите… Мир должен принадлежать материалистам, вроде Цезаря или Екатерины Великой, на худой конец пусть даже Наполеонам и Бисмаркам! А с этим идеализмом рождаются всякие завихрения в голове, и как бы чего…

Коковцев не закончил фразу – он уже спал. За него домыслила эту фразу жена: «как бы чего не вышло». Она лежала на спине с открытыми глазами. Затем потихоньку достала из портсигара мужа папиросу и закурила (чего ей делать было никак нельзя, об этом и врачи предупреждали). Над заснеженным городом, над его старинными башнями и гаванями, над переулками и замками воцарилось ночное безмолвие. Ольга Викторовна, покуривая, решила: «Хорошо, что здесь нет телефона, из которого сыплются прямо в ухо всякие гадости и приказы…»

Страшным воплем разорвалась эта дремучая тишина!

Это вдруг закричал сам Коковцев…

– Владя, Владя, – тормошила она его. – Что с тобою?

Он сел на постели. Долго приходил в себя.

– Сахар, – отчетливо произнес он.

– Ты сведешь меня с ума… Какой сахар?

– В минах…

Во всех минах есть сахар. Пока он не растаял, он удерживает боевую пружину, и мина тогда безопасна. Но стоит морской воде растворить сахар, будто в стакане горячего чая, пружина заполняет освободившееся после сахара пространство. Внятный щелчок – и все: теперь только тронь эту заразу, и полетишь так, что куда твоя голова, а куда твои рукавицы…

Коковцев еще не мог прийти в себя:

– Мне приснилось, будто сахар растаял, я всунул палец под эту проклятую пружину и держу ее. Держу, держу… Это был кошмар! А ты, кажется, курила? – принюхался он.

– Только одну. Больше не буду. Ложись.

– До сна ли тут после всего… Надо бы провести сюда телефон, – сказал он. – А то живем, как в лесу. Может, я нужен в Порккала-Удд? А может, ледоколы уже начинают ломать там лед?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Зима прошла, словно сон, лед на Балтике посерел. Вот и отсвистали на кораблях первые весенние дудки боцманматов:

– Вино наверх! В палубах прибраться! Ходи веселее! Сейчас и пообедаем.

Баталеры бережно, будто мать родного дитятю, тащут ведьму-ендову с водкою. На камбузе заградителя «Енисей» коки готовят пробу для начальства:

– Снизу, ты снизу черпай, шалява! Штобы с мясцом попалось… подцепляй яво! Да жирком сверху прикрась… во!

На флоте все делается четко и ясно. Без выкрутас.

– Проба готова, ваше благородие! – вахтенному офицеру.

– Проба готова, ваше высокоблагородие! – командиру.

– Проба готова, ваше превосходительство…

Последнее обращение касается уже Коковцева; ложкой он размешивает на дне гущу и, выудив из тарелки мясо, будто опытный тральщик забытую богом мину, схлебывает одну жижу. А пока он вникает во вкус борща и каши, подчиненные отдают ему «честь», имея при этом на лицах сострадательное благоговение, ибо – не секрет! – не только ему, адмиралу, но и всем иным давно жрать хочется. Ну, прямо спасу нет…

– А лавровый лист? А перец? Не чувствую. Передайте кокам, чтобы впредь не жалели. Впрочем, обед хорош.

На минзагах Порккала-Удд бьют склянки: полдень!

– Команде пить вино и обедать, – заливаются дудки…

Вдоль шканцев тянется длинная очередь серых голландок и парусиновых штанов – к ендове. Вскидывается голова – кувырк, и нет чарки. Недреманным ястребиным оком следят боцманматы за порядком в поглощении казенной, от царя-батюшки, водки.

– Эй, ей! А чевой-то по второму разу подбегнул?

– Христом-богом, пошто забижаете? Я ж по первой.

– Осади! Осади, тебе говорят…

– Христом-богом! Спросите кого угодно. Или уж я зверь какой? Я ж и сам понимаю, что по две сразу нельзя.

– А я тебе по-хорошему вдалбачиваю – уйди от греха.

– Да я вить… хосподи! Побожиться могу.

– Ежели не отвернешь, чичас тебя в книжку карандашом вставлю. До конца службы из гальюнов не выберешься…

Весело живется на флоте. Даже очень весело!

Хотя люди тут как люди. То ласковы. То сердиты.

В кают-компании «Енисея» рассаживаются офицеры:

– Что у нас тут сегодня? Суп из тресковой печени, филе из барашка с картофелем, мокко со сливочным тортом. О, как все это осточертело. Хорошо бы гречневой каши со шкварками!

За столом рассуждали: флоту кайзера предстоит война на два фронта, и он наверняка станет оперировать между Северным и Балтийским морями, используя Кильский канал, словно хороший насос, для перекачивания своих кораблей с одного морского театра на другой и обратно. Эссен поторапливал людей, доказывая: «Делать хорошо можно лишь то, что делаешь не от случая к случаю, а – постоянно». Посему он выслал к Порккала-Удд ледоколы, которые обкололи лед вокруг заградителей, чтобы они скорее вышли на чистую воду. В канале разбитого льда тянулись «Енисей», «Амур», «Ладога», «Нарова». Вдруг Коковцев крикнул, чтобы ставили машины на «стоп»:

– И дайте на ледоколы парочку зеленых ракет…

«Ермак» и «Петр Великий» с разгону уперли свои бивни в торосы, из разводий удивленно глядели на корабли лупоглазые балтийские тюлени. В чем дело? Просто Коковцев заметил, что на острова едут в санях финны. Ему польстили:

– Ваше превосходительство, у вас отличное зрение.

Недовольство офицеров остановкою Коковцев пресек словами:

– Господа, поймите островитян: у них дома остались дети и семьи, ждущие их с базара, а может, они везут доктора к больному. Куда ж им деваться, если мы разворотим лед?

Мимо кораблей с гиканьем пронеслись финские вейки, с которых благодарные островитяне махали шапками. Коковцев, скорчась, опустился на разножку штурмана возле телеграфа:

– Зрение отличное – да. Но… печень? Кажется, господа, не следовало мне сегодня есть этот жирный суп и торт…

Образованием камней печень начинала свое отмщение, чтобы теперь он муками расплачивался за все, что выпито и съедено в ресторанах, бездумно и бесшабашно.

До конца мая Коковцев лежал в госпитале Гельсингфорса, куда спешно перебралась и Ольга Викторовна, убеждавшая мужа соблюдать строгую диету:

– Владечка, дорогой, пойми, что ты уже не молод.

– А ты не кури, – отвечал он ей раздраженно.

– А ты, миленький, больше не пей. Ни рюмки!

– Ладно. Не буду… – смирился Коковцев.

Игорь уже готовился пройти летнюю практику корабельного гардемарина, Коломейцев, по дружбе с Коковцевым, взял его на бригаду своих крейсеров. Навестив отца, Игорь спросил – трудно ли было ему объясняться в любви маме?

– А ты знаешь, сынок, я даже не помню. По-моему, если не ошибаюсь, она сама объяснилась мне. – Адмирал не забыл и наставлений Атрыганьева. – Если не хочешь, чтобы тебя утащили под венец, объясняйся без сабли и эполет. Надень замызганный кителечек, оставь кортик в передней. Иначе честь твоего мундира, подкрепленная эполетами и саблей, обяжет тебя остаться верным любому данному слову.

– Чему ты учишь ребенка? – возмутилась Ольга…

Из госпиталя Владимир Васильевич вышел, удрученный не столько здоровьем, сколько разговорами, которых он там наслушался в общении с офицерами высших рангов. Случись война – ни одного дредноута, ни одного крейсера со стапелей не спущено, а из новейших имеются лишь эсминец «Новик», побивающий рекорды мира в оружии и скорости, да превосходная подводная лодка «Акула». Броненосец «Слава» в 1904 году не успел уйти с Балтики за эскадрой Рожественского, Цусима миновала его, сейчас он красовался в строю – уже как линкор, и потому слышались горькие шуточки: «Господа, что осталось от русского флота? Одна слава, да и та дурная». Коковцев загибал пальцы:

– Крымская кампания – не готовы, турецкая – не готовы, японская – не готовы, сейчас ждем войны с немцами – опять не готовы… Что за ерунда такая? Почему Россия всегда опаздывает?

Зато подготовка кадров не внушала ему никакой тревоги. Флот – не армия, постоянно нуждающаяся в пополнении людьми. Флоту почти не требуется пополнений, ибо при гибели корабля с ним, как правило, погибает весь экипаж. Остатков же из числа спасенных вполне хватает для замены выбывших. Колчака в штабе не было, он в Либаве читал лекции для офицеров подводного плавания. Эссен держал флаг на крейсере «Рюрик», куда и пригласил Коковцева в теплый летний день. Они прошли к закусочному табльдоту. В петрушечной зелени покоились громадные волжские осетры, в нежном соку плавали розовые омары, в серебряных корытцах нежилась янтарно-лучистая гурьевская икра. К услугам начальства наготове стояли коньяки и водки, рыжая старка наполняла графин, здесь же – ежевичная, рябиновая. Коковцев с вожделением обозрел это убранство стола.

– У меня строгая диета, – пожалел он себя.

– По случаю диеты обязательно выпьем и как следует закусим, – отвечал Эссен. – Если ничего такого уже нельзя, так возьми хоть грибочков. У меня ведь тоже гастрит!

– Придется, – с грустью согласился Коковцев…

Эссен спросил о количестве мин на арсеналах-мониторах.

– Шесть тысяч, и все проверены.

– Готовность флота повышенная, ты это учти.

– Николай Оттович, а не рано мы стали пороть горячку? По газетам судить, так Германия настроена благодушно.

– А ты не читай газет – умнее будешь.

Коковцев перетащил к себе на тарелку жирного прусского угря, еще вчера жившего в свое удовольствие возле унылых берегов германской Померании.

Эссен провозгласил «салют»:

– За мой гастрит и за булыжники в твоих печенках.

– Салют! – отвечал Коковцев, чокаясь с ним….

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ольга Викторовна была крайне недовольна.

– Ты опять выпил. Ну, что мне с тобою делать?

Коковцев разматывал с шеи белое кашне:

– Ольга, целуя меня, не принюхивайся. Обнюхивают только матросов, вернувшихся с берега. А я все-таки адмирал!

– Это для других ты адмирал, а для меня ты муж… И не забывай, сколько тебе лет. Если не думаешь о себе, так подумай обо мне. Наконец, мог бы подумать и о детях…

– Ну, начинается, – приуныл Коковцев…

– Где ты был?

– Я с крейсера «Рюрик» – прямо из штаба флота.

– Так что у вас там на крейсере – шалман?

– Не шалман, а кают-компания.

– Вот я позвоню Николаю Оттовичу и скажу…

– Звони сколько угодно.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Был разгар лета, когда модный исполнитель романсов Юрий Морфесси давал платный концерт для офицеров флота в Ревеле. Ольга Викторовна нарочно вытащила мужа в Морское собрание, чтобы избавить его от необъяснимой хандры.

Морфесси объявил:

– Дамы и господа, с вашего соизволения я начну этот вечер со старинного русского романса «Эгейские волны».

– Старинный… – заворчал Коковцев. – Это для него, мальчишки, он старинный, но его распевали на станции Порхова, когда на клипере «Наездник» я первый раз ходил в Японию.

Ольга Викторовна шепнула мужу:

– Владя, ты становишься брюзглив, как противный старик.

– Но я и есть старик, моя дорогая. Не забывай об этом.

Женщина смежила глаза. Что вспоминалось сейчас ей, бедной? Может, тот невозвратный далекий вечер в Парголове, сад в цветении жасмина, ушастый спаниель на крыльце веранды, положивший умную морду на лапы, и она, молодая и стройная, с теннисной ракеткой в руке, ожидающая, когда скрипнет калитка…

С нежностью она тронула его руку:

– Где же ты, очаровательный мичман Коковцев?

– Хватит гаффов! – отвечал адмирал жене…

Юрий Морфесси красиво пел, прижимая к груди платок:

Раскинулось мире широко,Теряются волны вдали,Опять мы уходим далеко,Подальше от грешной земли.А что Коковцев? Его молодость уже откачалась за кормою волнами морей, то синих, то желтых, то зеленых, и он, кажется, забыл уже все, но память цепко держала нескончаемое, как сама жизнь, движение волн… Ах, эти эгейские волны!

Не слышно на палубе песен,Эгейские волны шумят.Нам берег и мрачен и тесен —Суровые стражи не спят.Ольга Викторовна прикрыла лицо надушенным веером.

Не правда ль, ты долго страдала?Минуты свиданья лови.Так долго меня ожидала —Приплыл я на голос любви.Кто-то потихоньку тронул Коковцева за плечо:

– Вас просят позвонить по телефону: 11—78.

Спалив бригантину султана,Я в море врагов утопил.И к милой с турецкою раной,Как с лучшим подарком, приплыл.

– Чей это нумер, Владечка? – спросила жена.

– Штабной. Сейчас вернусь…

Он уже не вернулся, и они встретились на Селедочной.

– Так что там опять стряслось у вас на флоте?

– Ничего. Но какой-то дурак студент в Сараеве застрелил другого дурака, наследника австрийского престола. А чтобы ему на том свете не было скучно, заодно пришлепнул и жену наследника… Австрия предъявила сербам ультиматум!

– Стоило ли ради этого тащить тебя с концерта?

– Конечно, не стоило…

Настал незабываемый «июльский» кризис 1914 года! Он совпал с удушающей жарой, вокруг Петербурга сгорали массивы лесов и угодий, полыхали древние торфяные болота, окрестности столицы были в пожарах, огонь подкрадывался к загородным дачам, плотный дым затянул не только улицы парадиза империи, но даже рейды Кронштадта. Кризис, опять кризис… Однако мало кто верил, что этот «июльский» кризис, как и другие, ему подобные, способен прервать международное затишье. Ну, убили австрийского наследника. Ну, всадили пулю и в жену его. Ну и что? В конце-то концов, если поковыряться в истории Европы, так в ней постоянно кого-то резали, душили, отравляли, вешали и так далее… На минных заградителях, пришедших в Ревель, готовились к летним маневрам, благодушничая:

– Читали мы всякие ультиматумы… Ни черта-с!

– Ну их! Газеты всегда вопят, что война неизбежна. Три года назад, когда на Балканах все перегрызлись хуже собак, черноморцы спали вполглаза, готовые брать Босфор, дабы поддержать братьев-славян… И что? Да ничего. С мостика задробили «аллярм», и все, напомадившись, пошли фланировать по бульварам.

Коковцев хранил молчание. Он-то был предупрежден заранее: если радисты уловят из эфира слова: ДЫМ, ДЫМ, ДЫМ, его минзагам оставаться на местах, но если в наушники ворвутся слова: ОГОНЬ, ОГОНЬ, ОГОНЬ, то все заградители ступят на тропу смерти…

Эссен срочно повидался с Коковцевым:

– Пока «дым»! Но добром не кончится. А мне уже связали руки: государь-император указал под мою личную ответственность, чтобы ставить мины только по его личному распоряжению. Сигнал к постановке мин на Центральной позиции словом: «МОЛНИЯ!» Но прежде «буки»… чем пугают младенцев.

Буква «б» (буки) означала по сигнальному своду: «всем вдруг сняться с якоря, начать движение». Хватаясь за прогретые солнцем, сверкающие поручни трапов, Коковцев поднялся на мостик «Амура». Уселся я на кожаную вертушку наводчика. Развернул дальномер на Ревель. Откинул коричневые светофильтры, чтобы солнце не слепило глаза. Он узнавал знакомые по очертанию лютеранские кирхи и купола православных храмов, левее краснели руины Бригеттен, вот и пляжи Екатериненталя: купаются женщины, дети, няни. Дальномер, плавно журча, перекатывал перед ним панораму чужой мирной жизни. В песок купального штранца воткнут щит рекламы. Худосочный мальчик, а внизу надпись: «Я не ем геркулес». Коковцев сдвинул дальномер дальше, осмотрев краснощекого мальчика: «А я ем геркулес!» Он откинулся в кресле, слушая далекую музыку вальса из ревельского Концертгардена: там еще танцевали… Ему принесли от радистов телеграмму из штаба флота: Сербия отклонила немыслимый ультиматум Вены, дипломатические отношения прерваны. Коковцев спрыгнул на решетки мостика.

– Тринадцатое июля – недобрый день, – сказал он.

– Есть! – отвечали сигнальщики…

Григорович диктовал Эссену: гардемаринов, проходящих корабельную практику, вернуть в корпус для ускоренного выпуска на флот – мичманами. Владимир Васильевич третий раз в жизни наблюдал зарождение войны… Из чего она возникает? Кажется, она подобна течи в трюмах: сначала вода копится в крысиных ямах, потом росою, будто пот на изможденном лице, выступает на рифленых площадках кочегарок, и вот ее бурные потоки уже начинают гулять по отсекам, все вокруг себя заполняя неотвратимой бедой. Наспех он заглянул домой – на Селедочную:

– Ольга, срочно перебирайся в Петербург, приготовь мне чистое белье… Игорь, скажи, не забегал?

– Нет. А что?

– Значит, уже отъехал с первым же поездом…

Вечером Колчак примчался на «Пограничнике» из Либавы, он подал Коковцеву телеграмму из столицы: «Австрия объявила войну Сербии, мобилизация восьми корпусов». Сказал:

– Либава эвакуируется. У меня там квартира, жена и сынишка. Хорошо, что не успел нажить всякого барахла…

Коковцев потряс перед ним телеграммой:

– Эта поганая машинка никак не даст заднего хода?

– Боюсь, у нее не сработает реверс…

Эссен ел булку, запивая ее простоквашей.

– Нет «дыма» без «огня», – сказал он, ругаясь. – Пусть я лучше пойду под трибунал, как нарушивший личный приказ императора, но я выкачу все минные запасы на центральную позицию, чтобы перекрыть немцам пути к Петербургу… Григорович на мои запросы не отвечает: струсил, мать, мать, мать! Сейчас выбегу на «Рюрике» до Оденсхольма, прошу все минные заградители сгруппировать в Порккала-Удд и ждать сигнала «буки»… Ни капли вина! Пейте чай, кофе, какао, кефир и простоквашу. Все.

Царь не учитывал творческой активности Эссена. «Прошу, – требовал он у Петербурга, – сообщить о политическом положении. Если не получу ответа сегодня ночью, утром поставлю заграждение». Царь молчал.

Ну и черт с ним! Царь есть царь, а флот сам по себе.

План был четок: забросав минами море по меридиану между Ревелем и Гельсингфорсом, возле берегов Финского залива доґлжно оставить узкие проходы фарватеров – без мин, но они тут же перекрывались огнем батарей с острова Нарген (со стороны Эстляндии) и Порккала-Удд (со стороны Финляндии).

Центральная позиция называлась: «Крепость Петра Великого».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Кризис затягивался. С потушенными огнями, невидимые, покинули ревельский рейд и перетянулись в Гельсингфорс линейные ветераны – «Цесаревич», «Павел I» и «Слава», крейсера болтались у Гангэ, все в ореолах пены и брызг. Не боясь конфликтовать с самим императором, Эссен затребовал у царя, чтобы он вернул в ряды флота 1-й и 7-й дивизионы миноносцев, которые торчали у Бьёрке, охраняя «Штандарт» от покушений революционеров. Подводные лодки заняли передовые позиции. Маяки на Балтике мигнули последний раз и погасли…

ДЫМ, ДЫМ, ДЫМ – никакого движения. Ждали «буки».

– Будет война или нет? – запрашивал Эссен столицу.

Ответа не было. Как выяснилось после войны из секретных материалов, военно-морской министр Григорович спал. Его разбудили офицеры Морского Генштаба, настаивая, чтобы он, в свою очередь, разбудил «суслика» (тоже спавшего).

– Если сейчас не дать «молнию»,.Эссен плюнет на весь ваш «дым» и все равно прикажет флоту «огонь». Вильгельм не спит, передвигая свой флот из Киля в Данциг…

Хитрый царедворец, умевший ладить и с вашими и с нашими, Григорович наотрез отказался будить Николая II:

– Никаких минных постановок! Что вы, господа? Германия и Австрия войны еще не объявляли, а если Эссену приспичит «метать икру», Берлин и Вена сочтут это деяние вызывающим актом агрессии… Вот тогда-то все и начнется!

Генштабисты, покинув министра, совещались: «Худшее в этой ситуации, что Эссен может нарушить приказ царя и его потом выкинут с флота, как нагадившего щенка. Но еще опаснее, если Эссен исполнит приказ царя и не обеспечит центральной позиции в самом узком месте Финского залива… Давайте думать. Как быть?» Этот же вопрос мучил весь флот, его задавали себе и на отряде минных заградителей, которые во мраке ночи, перегруженные минами, тяжко качались на рейде Порккала-Удд под охраною 4-го дивизиона «француженок». В темноте позвякивали якорные цепи. Никто не спал. Люди нервничали:

– Дадут нам «буки» или нет, раздери их всех!..

Дым горящих лесов наплывал на затаенные рейды. Коковцев, щелкая подошвами по балясинам трапа, взбежал на мостик, в штурманской рубке скинул на диван тужурку. Циркуль в руке адмирала отмерял точные шаги измерений по карте:

– Неужели там, наверху, не могут понять, что германский флот, имея эскадренную скорость в шестнадцать узлов, завтра уже способен выйти к центральной позиции?..

Это был момент, когда в 04.18 Эссен спросил:

– Есть ответ от олухов царя небесного?

– Нету.

– Дрыхнут… А я ведь предупреждал, что жду четыре часа. Пусть меня хоть вешают, но родина простит… Буки!

Коковцев, не выдержав напряжения, протиснулся в радиорубку «Енисея», спросил – что слышно?

– Дым… дым… дым… Буки! – выкрикнул матрос. Следом за «буки» какофонию эфиров пронзила «МОЛНИЯ».

Все разом пришло в движение, якоря, вырывая из грунта лохмы водорослей и всякую гнилую пакость, поползли в клюзы. Линейная бригада развернулась на траверзе Пакерорта, крейсера выбежали в море, арестовывая все пассажирские и грузовые пароходы, дабы не возникло «утечки информации». В 05.25 утра Балтийский флот занял боевую готовность, а минные заградители вышли в район постановки. Коковцев держал флаг на «Енисее», которым командовал капитан первого ранга Прохоров, прекрасный навигатор, бывший в Цусиме штурманом крейсера «Аврора», а на руле стоял лучший рулевой Балтики – кондуктор Ванька Мылов. Заградители в идеальном строю фронта шли ровно, словно бабы вдоль грядок, сажая в море мины, будто капусту на огороде: мины срывались в море – плюх, плюх, плюх! Поднятые руки минных офицеров сжаты в кулаки, по секундомерам отсчитывались интервалы.

– Сто девятнадцатая партия – товсь! Сто двадцатая…

– Товсь сто двадцатая! – отвечают с кормы.

– Пошла сто двадцатая. Сто двадцать первая.

– Товсь! – кричат в трубки телефонов…

В минных отсеках гудели рельсы, по которым бежали, дергаясь на стыках, будто железнодорожные вагоны, мины, мины, мины… Нет конца этому длиннейшему эшелону! До самой двери лоц-порта мины еще без сахара – их боевые пружины удерживают деревянные калабашки. Карманы минных кондукторов напичканы кусковым рафинадом, как это бывает в цирке у дрессировщиков диких зверей, чтобы ободрить хищников к веселой работе. В самый последний момент кондукторы заменяют калабашки кусками сладкого сахара. «Сосай… зараза!» – говорят они почти любовно и с той же фамильярностью, с какой укротители осмеливаются трепать загривки рыкающих львов, они похлопывают мины по их бокам, жирным от смазки. Море, как лакомка, сразу начинает рассасывать предохранительный сахар. Где-то на глубине раздается щелчок – все: оторвавшись от якоря, мина приводится в боевое положение. На мостике флагманского «Енисея» сам Коковцев и Прохоров, здесь же лучшие минеры отряда – лейтенанты Матусевич и братья Унтербергеры, мичмана Вольбек и Вася Печаткин.

Коковцев стоял подле рулевого Мылова:

– Ванюшка, проси у меня, что хочешь, но курс…

– Есть, ваше превосходительство! Держу как по нитке.

Настал ясный день. Внутри отсеков по-прежнему гудели минные рельсы, слышались бодрые голоса матросов:

– И останется от кайзера одна бульбочка на воде!

– Кати, Емеля! Хорошо бы и Николашку тудыть…

– Да в рот ему – кусок сахару, пущай сосает.

– Эй, помалкивай, дура! Карцер-то пустой…

Две тысячи сто двадцать четыре мины выстроились поперек Финского залива в восемь точных линий. Прохоров щелкнул крышкой часов и сказал:

– Сколько лет гробились на учениях, а спровадили эту канитель за три часа и тридцать восемь минут…

С этого момента столица была ограждена от нападения германского флота, мины прикрыли от врага мобилизацию северо-западных округов страны. Славная балтийская ночь 18 (31) июля 1914 года вошла в историю флотов мира, как самое талантливое предприятие, проделанное русскими с блистательным успехом. Николай II никогда не простил флоту этой самостоятельности, но… помалкивал. Лишь единожды, в беседе с французским послом Морисом Палеологом, император сознался:

– Балтийский флот нарушил мой приказ: они перегородили море минами до объявления войны и без моего ведома…

Эссен встретил Коковцева с распахнутыми объятиями:

– Я получил от этих невежд из Питера сигнал «молния», когда мины уже качались под водою… Два дня отдыха! Теперь центральная позиция создана, и можно не волноваться.

Коковцев позвонил Ольге на Кронверкский:

– Я сейчас на дежурном миноносце прибегу в Неву, приготовься быть отдохнувшей и нарядной… Надо, чтобы в день выпуска Игоря мы с тобой, дорогая, не выглядели бедными родственниками на богатых именинах. Целую. Пока все.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Перед отплытием его задержал на привале Коломейцев:

– Что вы, сукины дети, натворили этой ночью?

Он был против минной постановки. Коковцев сказал:

– Не хочу тебя даже слушать.

– Нет, выслушай. Я ведь не последний человек в этой банде. Сам знаешь, когда я снял Рожественского с «Суворова», даже английские газеты пришли в восхищение… Так? Я и вправе спросить. С кем война? Ради чего запоганили море?

– Спроси Эссена.

– Спрошу! Пусть он скажет, что ему шлют из Питера… «Шансы на мир значительно окрепли»! Германия уже стала хватать Австрию за фалды, чтобы с сербами она не зарывалась. Посол кайзера вчера заклинал нашего министра иностранных дел не спешить с мобилизацией. Наконец, Ники приятель «Васьки»: на кой черт им колошматить один другого?

Прибыв в столицу, Коковцев сказал жене:

– Всю дорогу терзался: а вдруг войны не будет? А я вывалил мины за борт, и теперь, случись мир, экономика России будет подорвана на множество лет, пока все это не протралим.

– Не терзайся, – ответила Ольга Викторовна.

Она протянула ему газеты, в которых жирным шрифтом были выделены заголовки: ГЕРМАНИЯ ОБЪЯВИЛА ВОЙНУ РОССИИ.

– Теперь хоть ясно… Ты готова?

– Да. Ты можешь даже танцевать, но я не стану! Не к добру расплясалась я тогда перед Цусимой с Рожественским…

Морской корпус утопал в живых цветах, было много невест. По углам, будто сычи, сидели затрушенные прабабки, помнившие времена Николая I, чтобы посмотреть на ликование правнуков, ставших офицерами при Николае II. Коковцевы скромненько стояли в Нахимовском зале, где находился фрегат, подаренный корпусу самим адмиралом Нахимовым – целиком, как есть! Продольно обрезанный вдоль ватерлинии, сохранив всю оснастку, корабль, казалось, вечно плывет в океане музыки и восторгов молодого поколения России. На время танцев были включены бортовые и топовые огни, освещавшие ему путь под самым куполом зала.

– Как красиво, правда? – сказала Ольга Викторовна.

– Очень, – согласился Коковцев, вспомнив свою юность…

Игорь время от времени навещал родителей, возбужденный танцами. Мать спросила его:

– А где твоя пассия? И почему танцуешь с чужими?

– С чужими, мамочка, всегда интереснее…

– Владя, это твоя школа, – недовольно заметила жена.

Возник посторонний шум, забегало начальство, всполошились дамы. В дверях показался полицейский пристав.

– Что случилось? – встревожились родители.

Коковцев со смехом рассказал Ольге Викторовне:

– Случилось то, что случается каждый год. Будущие господа офицеры все-таки умудрились натянуть тельняшку на памятник Крузенштерну… Вот это и есть моя школа!

– А куда же смотрела полиция на набережной?

– Она валяется у памятника. Ее заранее споили…

Когда вернулись домой, Игорь еще витал в кружении вальсов и девичьих улыбок, он беспрекословно решил:

– В мичманах засиживаться не собираюсь. Один благородный подвиг, как у Дюпти-Туара, и я лейтенант! И раньше говорил вам, что сделаю такую быструю карьеру, что вы… ахнете…

– Ложись спать, – велела ему Ольга Викторовна. – Ты, мой миленький, выпил сегодня шампанского больше, чем надо.

Флот в Ревеле буквально сидел на яйцах, конфискованных при задержании германского парохода «Эйтель-Фридрих». Триста тысяч килограммов свежих яиц, которые немцы не успели вывезти в фатерлянд из России, достались морякам. Началось яичное помешательство! Всмятку, в «мешочке», вкрутую. Омлеты, яичницы, запеканки, гоголь-моголи, всюду взбивались пышные яичные муссы, на камбузах химичили яичные ликеры…

Коковцевы (отец и сын) прибыли в Ревель ночным поездом. Игорь сразу же с вокзала отправился на извозчике в гавань, где стояла его «Паллада», а Владимир Васильевич поспешил повидать Эссена. В штабе он наткнулся на веселого флаг-капитана Колчака.

– Наконец-то я счастлив, – сообщил он Коковцеву. – Я ждал этой войны, как жених первой брачной ночи. Я эту войну готовил, начало ее стало самыми радостными днями всей моей жизни… А немцы уже обстреляли с моря Либаву!

Немцы рассадили дома в порту, где были устроены квартиры для офицерских семей. Затем для острастки с кораблей врезали осколочными по пляжной полосе, заполненной купающимися дамами и детьми. Все прыснули в разные стороны.

– Повезло же дамам! – сказал Колчак, смеясь. – Ни одну даже не задело осколком, только растеряли на штранде свои халаты, шлепанцы, зонтики, игрушки…

Эссен пребывал в мрачном настроении – его флот, который он выпестовал для битвы, царь подчинил в оперативном отношении Северо-Западному фронту. Нет, Николай Оттович никогда не отрицал, что взаимодействие флота с армией исключается:

– Но еще не было в истории случая, чтобы флот выигрывал, находясь в подчинении генералов, плохо понимающих морские условия. Нынешнюю войну ведем по секундомеру, а генералы воюют так, будто на их часах отсутствует минутная стрелка.

Из бороды Эссена торчал янтарный мундштук с папиросой. Он рассуждал с уважением к противнику. Германия создала отличный флот, его боевая подготовка лучше нашей, оптика и механизмы замечательные. Иконами тут не закидаешь! Адмирал перебросил Коковцеву телеграмму с маяка Тахкона:

– Служители маяка видели, что кто-то взорвался в море. Наших кораблей там не было… Странно поведение немцев: их крейсера крутятся в устье Финского залива, словно желая выманить нас из-за центральной позиции. Что это значит? Ради чего они вешают у нас под носом кусок жирного сала?

– Надо подумать, – отвечал Коковцев.

– Думай по секундомеру!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Утром к берегу Даго подгребла шлюпка, переполненная мокрыми ранеными и обожженными людьми. Это были голландцы с парохода, идущего с грузом из Петербурга. Именно они-то и взорвались, после чего стало ясно: крейсера кайзера выманивали русских в устье Финского залива, чтобы навести их на минное поле, которое они тайно поставили, перед русской центральной позицией. Эссен сделал стратегический вывод:

– Постановка немцами минной банки свидетельствует о том, что у противника сейчас нет сил для прорыва в Финский залив, чтобы высадить десант, уничтожить наш флот и разрушить главную в России базу судостроения. В этом случае, если противник переходит к пассивным действиям, мы с вами должны переходить к действиям активным. Единственное, что может остановить нас, это подчиненное положение Балтийского флота, ибо армейские начальники указывают нам одно: «флот должен сохранять бдительность». Но одной лишь бдительностью войны не выиграешь! Бдительность хороша в отношениях с любовницей, а с женою… Чего скрывать? Она видела нас во всяких видах.

Англия включилась в войну, и дредноуты кайзера заторопились в Немецкое море, форсируя Кильский канал с такой поспешностью, что волна, отраженная их бортами, размывала слабо укрепленные берега. Русская агентура в Германии докладывала, что экипажи германского флота горят желанием испробовать силы в открытой битве с лучшим флотом мира – с Грандфлитом Англии! Впрочем, «Василий Федорович» оставил на Балтийском театре достаточно кораблей для успешного единоборства с русским флотом. Коковцев, помнивший появление первых спичек, удивлялся значению авиации, кружившей над гаванями, а зарождение в России радиопеленгации даже умиляло его, как забавная игрушка, из которой со временем выйдет толк, подобно тому, как из детского волчка родились гироскопические компасы Сперри и Аншютца. Всего полвека – и такие разительные перемены в технике! Это при том, что в России жило еще множество людей, умиравших, так и не увидев паровоза, а дачников, катавшихся по деревне на велосипедах, мужики и бабы не раз побивали камнями, как явление сатанинской силы…

Балтийский флот имел пока ничтожные потери в тральщиках, зато кайзер уже потерял на Балтике свой лучший крейсер «Магдебург», который в тумане выскочил на камни острова Оденсхольм.

6 сентября Коковцев ночевал на «Рюрике», вызванный в Ревель по делу: на Даго наивные рыбаки стали подбирать выброшенные прибоем непонятные для них «железные бочки с рожками» (мины!). Проснувшись, Владимир Васильевич сразу вспомнил об этих «рожках» – взрывателях.

– Гальваноударного типа! – сказал он Колчаку за чаем в кают-компании «Рюрика». – Не дай-то бог, если эстляндцы надумают тяпнуть топором по этим рожкам, желая посмотреть – что там внутри, не потечет ли керосин, нужный в хозяйстве?

Колчак был озабочен: на рассвете у Виндавы видели плотное облако дыма на горизонте. Он спросил Коковцева:

– Вы сами поковыряетесь в немецких минах?

– Со мною братья Унтербергеры, уже ковыряются…

В полдень Эссен оповестил флот: южнее маяка Богшер появились пять германских линкоров типа «Виттельсбах» и «Мекленбург», в плотном дыму двигается вражеская завеса из крейсеров типа «Ундина» и «Газелле». Назревало сражение.

Коковцев спросил оперативников – где «Паллада»?

– «Паллада» вместе с «Баяном», – пояснили ему, – сейчас на меридиане Дегерорта в сорока милях к весту от Оденсхольма, где крейсер «Аврора» охраняет работу наших водолазов. Они там ползают по грунту, подбирая даже покойников…

Коковцев оставался пока спокоен. В самом деле, почему бы его мальчику не хлебнуть соленой воды и не понюхать, чем пахнут сгоревшие пироксилины? Волнение пришло к нему после трех часов дня, когда немцы забили эфир своими переговорами, а с Дагерорта докладывали, что дым германской эскадры уплотняется, наши крейсера вынуждены отходить к зюйду. Но почему к зюйду? Как же они вернутся обратно?

За обедом Колчак сказал, что «Паллада» с «Баяном» уже попали в немецкие клещи. Возможно, противник погонит их на мелководье «банки Глотова» или заставит крейсера выброситься на минное поле в «квадрате № 39». Эссен уже вызвал из Гельсингфорса бригаду линкоров, «Громобою» и «Адмиралу Макарову» указано следовать на помощь. Коковцев подумал об Ольге Викторовне: как хорошо, что она следит за войной по газетам, но ей никто не приносит радиограммы с моря. Посты оповещения докладывали: наши крейсера на повороте форсировали скорость до 15 узлов. На огонь противника они не отвечали, и это было умно: зачем же показывать немцам, какова дальность их стрельбы? Шифровальщики не успевали раскодировать сообщения, поступавшие с «Паллады». Крейсер извещал штаб, четко нумеруя свои доклады: № 179, № 180, № 181, № 182, предупреждая флот аншлагом: «ВСЕМ, СРОЧНО». Из радиограммы № 182 Коковцев выделил одну фразу, радостную для его отцовского сердца: «Попаданий еще не имею». Затем с моря отбили новость: немцы ведут поспешные переговоры прожекторами. После этого в «переписке» возникла пауза…

– И я ничего не понял, – сознался Эссен. – А ты?

– Тем более, – ответил ему Коковцев.

Случилось невероятное: германская армада, оставив преследование крейсеров, разом отвернула, будто увидела дьявола. Двадцать три боевых вымпела энергично отступили перед двумя.

– Что могло их так напугать? – недоумевал Эссен.

Перед Балтийским флотом немцы поставили громадный знак вопроса. Когда «Паллада» и «Баян» вернулись из боя, их командиры сами удивлялись поспешному отходу неприятеля.

– Для нас это тоже загадка! – разводили они руками…

Загадка вскоре разрешилась: оказывается, в самой гуще боя между кораблями сверлила винтами глубину подводная лодка «Акула», которая никак не могла выйти в атаку на противника, и тогда командир «Акулы» решился на отчаянный поступок – он всплыл на виду немцев, которые, увидев субмарину, в панике и бежали. Вывод: немцы придавали подводным лодкам несколько иное значение, нежели моряки других наций…

Повидав сына, Коковцев потрепал его за ухо:

– Щенок! Из-за тебя я тут вибрировал нервами…

Игорь, захлебываясь от восторга, радовался тому, что он пережил и увидел в бою на своей «Палладе»:

– Первые выстрелы немцев были для меня, как для дебютанта первые аплодисменты в жизни… Иногда сближение с противником было таково, что мы слышали даже возгласы немецких матросов «Hoch Kaiser!», как и ты, папа, в Цусиму слышал крики японских моряков, оравших «Хэйка банзай!».

– Напиши маме, – сказал Коковцев. – Она волнуется. Ведь она читает газеты, а там такие трепачи.

– Напиши ей сам, а мне, поверь, некогда…

Браслет с руки отца Игорь более не просил – офицеры крейсеров имели золотые перстни с именами своих кораблей.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вскоре агентство Рейтер известило мир, что германской подлодкой потоплены один за другим сразу три британских крейсера: «Кресси», «Хуг» и «Абукир»… Вот это новость! Множество государств, идя на поводу признанного морского авторитета Англии, держали свои народы впроголодь, бухая миллиарды золотом на дредноутизацию флотов, но из глубины тихо подкралась субмарина и четкими попаданиями торпед заявила миру о своем первостепенном престиже на море.

Мир был шокирован. Русские флоты тоже.

Англия облачилась в траур: не часто бывает, чтобы три крейсера легли рядом на грунт за несколько минут. Британские адмиралы, явно растерянные, составляли инструкции: впредь, дабы подобного не повторилось, кораблям не заниматься спасением экипажей, а удирать от подлодок как можно скорее!

– Открывается новая эра войны на море, – размышлял Эссен на «Рюрике». – Чем черт не шутит, но эта нырялка способна, кажется, перевернуть всю морскую стратегию… Посмотрим!

В эти дни он дезавуировал устарелую тактику контр-адмирала Коломейцева, бригада крейсеров которого имела просчеты в соприкосновениях с противником, а сам Николай Николаевич не всегда верно ориентировался в боевой обстановке.

– На этот раз, учитывая ваши прежние заслуги, я удаляю лишь командира «Адмирала Макарова», но, если и впредь случится что-либо с вашими крейсерами, удалю с флота и вас!

– Я вам не менее честно заявляю, – отвечал Коломейцев, – что в море следует держать одни лишь дестройеры [17] и подводные лодки. А я вам не святой, чтобы без потерь плавать.

Вице-адмирал прекратил этот спор с контр-адмиралом. Но Коломейцев, уже переступив комингс, напрасно добавил:

– Пока флот английского короля не расчихвостит флот Открытого моря кайзера, нам бы следовало вести себя поскромнее. Извините, Николай Оттович, но вы… зарвались!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Поздней осенью Коковцев выходил в море на «полудивизионе особого назначения», бывших минных крейсерах, построенных на народные пожертвования после Цусимы. Тьма была такая, что на эсминцах не видели даже своего дыма. Штурман спросил:

– Ваше превосходительство, а не может ли так случиться, что мы, тоже не подозревая, уже шлепаем по немецким минам?

Коковцев удобнее разлегся на диване.

– Возможно! – ответил он. – Но вспомните факт из гражданской войны в Америке… Когда адмирал Фаррахоут плыл по Миссисипи, чтобы разнести пушками Ньо-Орлеан, ему доложили, что река плотно минирована. «К чертям все эти штучки!» – воскликнул Фаррахоут и благополучно прошел прямо по минам…

Мины ставили к западу от Виндавы; на этот раз Коковцев отказался от линейного заграждения, накидав в море «букетов» на разных отметках углубления, в бессистемном порядке интервалов. В этом случае немецким тральщикам предстояло разрешать формулы со многими неизвестными. Пошли обратно. Качало сильно. Коковцев снова ощутил боли в области печени.

– Если это камни, – сказал он штурману, – то мне тонуть с камнями легко. Но каково вам, молодым и здоровым?

Загремели «колокола громкого боя», призывая людей к постам. Могли бы и не греметь. На контркурсах промчались эсминцы противника, но враждующих разнесло столь быстро, что не успели опомниться – ни русские, ни сами немцы. А возвращаться ради дуэли никто не стал. Эссен радировал, чтобы полудивизион следовал прямо в Гельсингфорс – брать мины снова! Здесь Коковцева навестил барон Ферзен, командир линейной бригады.

– Вернулись? – спросил он обрадованно. – Ну, слава богу. А я со вчерашнего дня вас вспоминаю. Мы плохо знакомы, но почему-то помнил именно вас – не случилось ли беды?

– Беды нет, барон. А где сейчас «Паллада»?

– Снова в дозоре. Коломейцев радировал с «Адмирала Макарова», что атакован германской подлодкой, но сумел увернуться от трех торпед… До чего же свято имя Степана Осиповича! А ведь на «Макарове» и сын покойного адмирала.

– А мой на «Палладе»… мичманец!

Утром 29 сентября Коковцев еще нежился в постели, слыша, как бренчат в буфете посудой, когда сквозь приятную дрему заметил вестового, положившего на стол каюты газету. После этого уснуть контр-адмирал не мог. Протянув руку, он взял газету. Красным карандашом было отчеркнуто сообщение:

«РЕВЕЛЬ. 28 сентября. Сегодня в 1 ч. 15 м. пополудни крейсер „Паллада“, взорванный немецкой миной, погиб со всею командой».

Кто-то (заботливый) постучал снаружи в дверь каюты:

– Ваше превосходительство, извольте завтракать…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Палладу» балтийцы любили, как и ее сестер – «Диану» с «Авророй». Три богини русского флота были неразлучны, разделяя все тревоги своей далеко не божественной жизни. «Паллада» была и самою молодой, появясь на свет в революцию 1905 года. Она была испорченное дитя старого Адмиралтейства, пытавшегося – после Цусимы! – создать в народе видимость укрепления флота. Ведь когда газеты трубят, что на воду спущен новейший крейсер, публика не вникает в технические подробности. Для рядового читателя все эти калибры в дюймах и осадка в футах, трюмные системы и количество узлов – все это как темный лес. Поди тут разберись, что хорошо, что плохо! Один только флот понимал врожденные слабости «Паллады», но все равно обожал ее, ибо крейсер имел блестящую боевую репутацию и отличный сплаванный экипаж…

Эссен распорядился на «Россию» и «Аврору», чтобы сменили в дозоре усталые крейсера «Палладу» с «Баяном», которых охраняли от субмарин «Мощный» и «Стройный». Было 11.35, когда (при сдаче вахты) экипажи «Паллады» и «Баяна» выстроились на палубах во фронт, криком «ура» приветствуя боевую смену. Миноносцы-дестройеры, поступая в распоряжение новых хозяев, разом выдохнули из труб клубы черного дыма, сделав тем самым вроде прощального реверанса. Вскоре с «России» заметили трубы и мачты германских кораблей, выступавшие из моря. Коломейцев, оповестясь об этом, срочно вышел из Гангэ на «Громобое» и «Адмирале Макарове», приказав быстроходному «Новику» нагнать ушедшие на отдых «Палладу» и «Баян», чтобы предохранить их от возможных минных атак. «Новик», молодой и бодрый, исполнительно развернулся на «пятке» – побежал.

Часы в рубках кораблей отметили время: 12.15.

«Громобой» первым отбил тревогу: «По пеленгу SW 71° в антретном расстоянии 15—20 миль наблюдаю столб белого газа, держащийся в воздухе 3—4 минуты». Пожалуй, только одна «Аврора» имела точный ориентир – маяк Бенгшер, чтобы определить высоту этого столба – в три тысячи футов (почти километр). Этот же столб вырос перед «Баяном», который следовал за «Палладою» на дистанции семь кабельтовых – по-морскому это почти рядом.

Именно с «Баяна» видели то, чего не видел никто. Все было тихо и ясно. После недавнего обеда команды отдыхали на боевых постах. «Паллада» шла впереди, кокетливо виляя кормой перед «Баяном», и вдруг… исчезла. Вместо нее образовался гигантский выброс черного дыма, понизу которого бушевали ярко-красные факелы пламени.

– Stopping! – отреагировал командир «Баяна».

Перед потрясенными людьми бил из глубин моря устрашающий гейзер – газов, воды, пламени, дыма, и «Баян» на инерции с шестнадцати узлов чуть не въехал в эпицентр этого извержения. Их было (как будто) два или три взрыва подряд, слившиеся воедино. «Баян» продолжал еще двигаться, командир крикнул в машину:

– Full speed… самый полный назад!

Облако газа оторвалось от пламени, торжественно уплывая в небо, с «Баяна» видели, как клокотала вода, из которой выскакивали гигантские капсулы пузырей, и пузыри тут же лопались, извергая в атмосферу обильное зловоние газов. А белейшее и чистое облако еще отлетало ввысь, и со стороны казалось, что рай все-таки существует: не химия, а сама вышняя сила будто уносила под небеса 584 души моряков, только что живших. Торопливо примчались миноносцы, с их высоких и шатких мостиков гортанно кричали молодые командиры:

– Эй, баянцы! Что подбирать?

На «Баяне» царило молчание. Потом ответили:

– Ни хрена не осталось… одна бульбочка! Ищите лодку…

Она была здесь. О том, как ее зовут, узнали в России позже – «V-26» (запомним ее номер). Эссен рассудил так, что виноват Коломейцев, не обеспечивший отход крейсеров защитою, а Николай Николаевич, мужчина сердитый, обвинял Эссена:

– Я ведь предупреждал ваше превосходительство, что эта игра с немцами добром не кончится.

– Для вас! – прервал его Эссен. – А я не могу держать при себе офицеров только за то, что в прошлом они имели отличный служебный формуляр. Мне важен сегодняшний результат…

Впечатление от гибели «Паллады» сковало даже смельчаков. В штабе Эссена некоторые офицеры уклонялись в мистику:

– Фатальная жертва войны… прямо рок какой-то! И в четвертом году, при нападении на Порт-Артур, «Паллада» первой от японцев пострадала. Смастерили другую, опять счет открылся с «Паллады»… Ох, уж эти античные богини! Ну, чья дальше очередь? Может, рванет «Диану»? Или… «Аврору»?

Когда появился в штабе Коковцев, перед ним все молча расступились. Эссен обнял его, просил крепиться:

– Не мне тебя утешать. Поезжай в Питер к жене…

Колчак протянул Коковцеву бумажку с координатами гибели «Паллады»; место могилы таково: 59°36’N – 26°46’O.

– Благодарствую, – сказал он Колчаку и ушел…

Санкт-Петербурга не было – ура-патриотам захотелось сделать из него Петроград. Владимир Васильевич первым делом отослал телеграмму в Уфу, чтобы Глаша срочно выезжала с сыном. Идти домой он боялся. В нелепом оцепенении долго сидел на скамье Александровского бульвара, засыпанного порыжевшей листвой, потом резко встал и прошел в Адмиралтейство, где просил доложить о себе морскому министру Григоровичу:

– Я еще не видел своей жены… У нас остался единственный сын. Если можно, скорее верните его с Амурской флотилии на Балтику. Думаю, что моя просьба вполне основательна.

Григорович нажал кнопку звонка. Вызвал флаг-офицера.

– Ваше желание будет исполнено без промедления…

Шаркая ногами, Коковцев удалился. Он не мог возвращаться домой, но понимал, что это необходимо хотя бы ради памяти сына. Он всегда удивлялся интуиции жены: Ольга ожидала его, встретив в передней. Перед ним возникла лишь тень ее! Выплаканные глаза были как два куска сырого мяса. Жена все знала. Из газет. Скользя руками по стенке, опустилась перед ним на колени. Сгорбленная. Упадшая. Совсем седая.

– Скажи мне, что все это – неправда!

Коковцев тоже встал на колени:

– Ольга, я уже ничем не могу утешить тебя. Нам осталось одно утешение: смерть Игоря была мгновенна. Один удар, одна вспышка – и его не стало. Поверь, он даже не мучился.

– Не говори так, Владя! Не говори, не говори… Ну, оставь же мне хоть единую каплю надежды, – взмолилась она.

Коковцев видел, как Ольга трясется всем телом.

– В этом горе мы не одиноки с тобой, и ты не одна мать…

Ольга Викторовна стучала кулачками в стенку:

– И опять! И опять! Как тогда… нет даже могилы!

Коковцев машинально показал ей координаты:

– Он вот здесь. Где и все остальные.

– Бумажка! Осталась бумажка. Будь он проклят, ваш флот!

– Успокойся, Оленька, я уже вызвал Никиту.

– Да? – еле слышно переспросила она, обессилев.

– Приедет. Глаша тоже. Вместе с Сережей…

Коковцев понял: Ольга уже никогда не снимет траура.

Вечером ему позвонила Ивона фон Эйлер:

– Я глубоко сочувствую… Когда мне ждать тебя?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Панихиду по убиенным на крейсере «Паллада» служили в Адмиралтейском соборе при небывалом скоплении публики. Тут собрались не только родственники погибших, но и почти все адмиралы, бывшие тогда в столице. С ними явились их жены и дети, очень много вдов и сирот – еще со времен Цусимы…

– А я все не верю, – говорила Ольга Викторовна.

К ней подошла Капитолина Николаевна Макарова, постаревшая, она с небывалым чувством искренности расцеловала ее.

– Не убивайтесь так, – сказала она, тоже плача. – Мы сами виноваты, что связали судьбу с моряками. Ах, боже… лучше не вспоминать! Что мы понимали тогда, наивные девочки, ослепленные их славою и мундирами?

Давясь слезами, Ольга Викторовна отвечала:

– Игорь ведь был еще совсем ребенок.

– Мой Вадим тоже на крейсерах, и я каждый день света белого не вижу. Будем уповать на единого Бога…

Глаша скоро приехала, и унылейшая квартира малость оживилась от ее присутствия, ее деловитости, а Сережа, уже десятилетний мальчик, стал называть Ольгу Викторовну бабушкой. Коковцевыми было сказано Глаше так:

– С чего бы тебе, дорогая, тесниться в мэдхенциммер? Занимай любую из комнат – Гогину или Игоря…

Глаша, проявив деликатность, ничего в обстановке не меняла, только над диваном, на котором спал Сережа, она укрепила красочную открытку с видом броненосца «Ослябя»:

– Это пароход, на котором утонул очень хороший дядечка, и, когда подрастешь, я расскажу тебе о нем больше…

Коковцев всегда был в меру сентиментален, но теперь, глядя на жену, как она хлопочет над внуком, адмирал не раз отворачивался, желая скрыть выступавшие слезы. Все чаще задумывался он над концом своей жизни: «Хорошо, что хоть так… пусть все будут вместе!» Обедали они, конечно, за одним столом, хотя прислуга всем своим видом старалась выявить небрежение к бывшей горничной. Глаша очень долго терпела это с улыбочкой, потом возмутилась, заявив однажды:

– Я и не скрываю, что была на вашем месте. Но все-таки не вы, а я сижу за господским столом, так будьте любезны оказывать мне должное внимание.

Ольга Викторовна охотно поддержала Глашу:

– Прошу моей невестке услужать, как и мне…

Снег в этом году выпал рано, припудрил осеннюю слякоть. Был уже поздний час. Коковцевы собирались ложиться спать. С лестницы раздался звонок. Ольга Викторовна накинула халат.

– Никита, – уверенно произнесла она…

За окном задувала пурга. Никита ввалился в переднюю с чемоданом, весь засыпанный снегом, мать припала к нему, рыдающая. Он похлопывал ее по спине, говорил:

– Ничего… ничего. Мы уже не расстанемся. Никогда!

Владимир Васильевич не выдержал – расплакался.

– У нас и Глаша, – сказал он. – Спасибо ей. Приехала…

Молодой женщине Никита улыбнулся:

– Давно не виделись. Давай и тебя обниму…

За столом он извинился, что не привез подарков:

– Так быстро собрался, что не было времени о них думать.

– Куда же ты теперь? – спросила его мать.

Никита отвечал наигранно бодро:

– Амур по мне плачет, а Балтика рыдает.

– Хоть бы побыл на берегу… со мною.

– Нет, мама. Плавать-то все равно надо… Воевать! Не я напал на Германию – она, подлая, напала на меня. А я – русский человек. Патриот-с! – закончил Никита по-нахимовски.

Через несколько дней он уже получил назначение:

– Велено прибыть в Гапсаль.

– Так это же курорт, – просияла Ольга Викторовна.

– Верно. Очень хорош для ревматиков и для тех, кто в лунные ночи страдает лирической ипохондрией.

Так сказал он матери, чтобы не волновать ее понапрасну, но отец-то знал, что Эссен организовал в Гапсале ремонтную базу миноносцев, оттуда открывалась дорога в тревожные ворота Моонзунда.

Вечером Никита был предельно откровенен с отцом:

– Мне предложили в командование старенький дестройер «Рьяный». Двести сорок тонн. Двадцать семь узлов. Две пушчонки, два минных аппарата, в каждом по две торпеды. Четыре трубы, большой бурун под носом и большая туча дыма… Ну?

– Экипаж сплаванный? – спросил отец.

– Сплавался. Ребята хорошие.

– Возьмешь?

– Дал согласие.

Владимир Васильевич открыл форточку в комнате: за окном кружился приятный снежок.

– Бери, что дают, – сказал он сыну. – Я ведь тоже начинал с «Бекаса», который и раздробил на камнях Руну. Вот как надо разбивать миноноски!.. Никита, а я ведь, между прочим, так и не понял твоей фразы: «Кажется, я нашел что мне надо».

– Откуда, папа, ты взял ее?

– Из твоего же письма.

– Извини. Не помню.

Коковцев-отец догадался, что Коковцев-сын все помнит, но говорить на эту тему почему-то не желает. А, ладно. Перед отъездом на флот было решено, что Глашенька и Сережа останутся пока с Ольгой Викторовной. Настала минута прощания. Отец и сын надели форменные пальто. Но в последний момент, легонько отстранив мать, Никита вернулся в комнаты, он резко открыл крышку рояля и на прощание пропел:

Но, если приговор судьбыВ боях пошлет мне смерть навстречу,На грозный зов ее трубыЯ именем твоим отвечу!Паду на щит, чтоб вензель твойВрагам не выдать, умирая…Владимир Васильевич, натягивая перчатки, шепнул жене:

– Он, конечно, нашел для себя что-то такое, что ему надобно. А что – об этом молчит… Дай-то нам Бог!

Тряской рукою Ольга перекрестила и мужа и сына.

В голос (навзрыд!) вдруг расплакалась Глаша, и Коковцев, уже внизу лестничной площадки, спросил Никиту:

– Ты не знаешь, с чего она так разревелась?

– Не гулять же мы идем, папа…

Никита поездом отправился далее, в сторону Моонзунда, а Коковцева в Ревеле, тишайшем и заснеженном, ожидала невеселая новость: при загадочных обстоятельствах ушли из жизни миноносцы «Исполнительный» и «Летучий», спешившие с минами на борту в сторону Либавы… Коковцеву рассказывали очевидцы:

– «Летучий» перевернулся на полном ходу, будто кто-то дернул его за киль, а «Исполнительный» разорвало. Вроде бы там была немецкая субмарина, и «Летучий» опрокинулся, неудачно ее таранив… Гибель останется для нас тайной!

Вторая новость касалась Государственной думы: была арестована социал-демократическая фракция, депутатов обвинили в измене государству. По мнению многих офицеров флота, левые депутаты должны бы протестовать не против войны, начатой Германией, а против той неразберихи, что царила в тылу, против разложения в верхах, где владычил Гришка Распутин со сворою жуликов и мерзавцев. В штабе Эссена ходила по рукам открытка – одна из тех, которыми немцы забрасывали русские позиции. В левой ее части был изображен деловитый и бодрый Вильгельм II с метром в руках, измеряющий калибр германского снаряда. В правой части открытки был представлен унылый Николай II, который, благоговейно опустясь на колени, аршином измерял калибр тайного удилища у Распутина… Все это было мерзко, и Коковцеву делалось стыдно за Россию:

– Может, и правы иезуиты: чем гаже, тем лучше!

Эссен говорил с ним о резком падении дисциплины на флоте – результат всеобщего недовольства правительством. Голода народ не испытывает, рассуждал он, и это еще как-то сдерживает людей, но если возникнет нужда в продовольствии (не дай бог и карточки на продукты, как в Германии!), то повторение 1905 года сделается, по мнению Эссена, неминуемо:

– Карцеры на кораблях переполнены, из блокшифа «Волхов» пришлось сделать плавучую тюрьму. Я подписал приказ о списании с кораблей в 1-й Экипаж всю сволочь, призванную из запаса, которая уже немало мутила воду на Балтике еще в пятом и в двенадцатом годах… Помните?

– Не лучше ли, – подсказал Коковцев, – все эти отбросы отправлять в Астрахань, на Амур или в Архангельск? Нельзя же из 1-го Экипажа, отличного, делать политическую свалку.

– Но вот что удивительно! – отвечал Эссен. – Среди матросов ныне совершенно отсутствуют доносчики, которых в пятом и в двенадцатом было хоть пруд пруди. И от этого мы не можем просветить рентгеном атмосферу в нижних жилых палубах…

Коковцев был далек от понимания обстановки в стране; вся его «политика» сводилась к примитиву – ругать, что не нравится ему, или нахваливать то, что казалось ему приятным. Но сейчас политика вторгалась даже в офицерскую среду (хотя уставом в кают-компаниях строго запрещалось вести всякие беседы на религиозные или политические темы, дабы в касте избранных не возникало разногласий, мешающих службе). Посторонние наблюдатели, случайно побывав в среде офицеров флота, бывали крайне изумлены свободою услышанных ими речей. Они не понимали, как эти заслуженные дядьки в белых мундирах в золоте, обвешанные до самого пупка орденами всех монархий мира, открыто лают своего «суслика» и кроют матюгами весь тот бардак, что разведен при дворе; причем они ругаются так отъявленно, что любой жандарм, послушав их, мог бы сразу составить протокол «о тягчайшем оскорблении Его Императорского Величества…». Никакого почтения к Романовым офицеры флота давно не испытывали. А тот из них, что позволял себе выражать уважение к династии, вызывал недоумение, будто он с печки свалился. Но (и тут роковое «но») весь радикализм офицерского корпуса ограничивался едино лишь бранью. Прекрасные специалисты флота, чуткие патриоты, офицеры были беспомощны в социальных вопросах и сами не понимали этого, но, хуже того, они сознательно отгораживались от понимания. В революции они видели лишь «беспорядки», вредящие их службе, которые следует подавить, чтобы все стало на прежние места. А потом за рюмкою коньяка они снова рассядутся в уютных кают-компаниях и будут с презрением облаивать царя и его окружение… Не в этом ли и заключался подлинный трагизм офицеров флота?

Владимир Васильевич, пренебрегая сухим законом, объявленным по всей стране, все чаще взбадривал себя для службы «брыкаловкой», которую приходилось держать в платяном шкафу каюты – за чемоданом. Несмотря на свои годы, контр-адмирал был еще крепок на выпивку, лишнего не городил, а если и доводилось пошатнуться, отшучивался: «Никогда не поймешь, кто кого качает: я качаю корабль или корабль качает меня!» В эту зиму морозы завернули такие жестокие, что в начале декабря лед сковал даже проливы Моонзунда, но Эссен, верный себе, слал и слал корабли – на чистую воду Балтики и Ботники, к берегам Пруссии, где над морем парили холодные туманы. Эсминцы трудились больше всех, и под гитарные надрывы тогда распевали, перефразируя пушкинские строки из поэмы «Цыганы»:

Эсминцы шумною толпоюОпять за Эзелем кочуют,Им и сегодня нет покоя —В волнах у Готланда ночуют…Коковцев до самой весны занимался планированием минных постановок – с крейсеров и эсминцев, даже с подводных лодок. Для минных банок им выбирались места, где чаще всего ходили немецкие корабли, и флот кайзера терпел на Балтике большие потери. Сами же немцы открыто признавались: «Из всех мин на свете самая опасная была одна лишь мина – русская!» В апреле тайная агентура из Германии доложила, что «Паллада» была потоплена подводной лодкой «V-26». Коковцеву было тяжко!

– Знать имя убийцы не всегда обязательно, – сказал он. – Но мне хотелось затоптать эту субмарину килями эсминцев.

Немецкая армия уже была на подходе к Либаве…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вечером дежурный миноносец доставил из Гельсингфорса в Ревель заболевшего Николая Оттовича фон Эссена. Сначала все сводилось к типичной простуде – ничего страшного.

– Но в госпиталь я не лягу, – заявил Эссен, когда его вынесли на причал. – Как вы не поймете, – доказывал он врачам, – что море и корабль – лучшие лекарства.

Его с трудом уговорили болеть на минном заградителе «Урал», где больше комфорта в каютах. Здесь, нарушая постельный режим, Эссен шлялся на апрельском ветру по верхней палубе, желая остудить жар в теле. Из столицы прибыл профессор Сиротинин:

– Крупозное воспаление легких. Надежд мало…

Эссен и сам догадался, что его дела плохи:

– Вызывайте жену и эсминец «Пограничник»…

Он умер. На эсминце приспустили флаг, в последний раз на грот-матче подняли вымпел командующего флотом. «Пограничник» помчался в столицу.

Эссена отпевали в храме «Спаса на водах», открытый гроб стоял среди мраморных скрижалей, осиянных золотом славных имен – людских и корабельных, хоронили его на Новодевичьем кладбище. Как и подразумевал Коковцев, над могилой начался неприличный «базар» – адмиралы делили эссеновское «наследство». Получить под свое начало целый флот (да еще какой флот!) хотелось многим. В очень тягостном настроении Коковцев вернулся в Гельсингфорс, где застал «Рьяный».

– Никто из этой сволочи – Романовых, – сказал он Никите, – не почтил похороны хорошего и талантливого человека. Царь не простил минных постановок без его ведома. После смерти Николая Оттовича меня удерживает на флоте лишь чувство присяжного долга. Со здоровьем у меня что-то неважно. Не говори матери, что врачи не советуют мне выходить в море…

Коковцев и не собирался в море. Сейчас он занимал каюту на заградителе «Амур», который любил за то радушие, которым отличалась его команда и кают-компания. На «Амуре» же и был извещен, что «Енисей», такой отличный боевой корабль, не желает выходить в море – забастовка! В чем дело? Владимир Васильевич решил это выяснить… Капитан первого ранга Прохоров у себя в салоне весь день разбирал свои бумаги:

– Перед смертью надо привести свою жизнь в порядок.

Немцы рвались в Рижский залив, чтобы забросать минами выходы из Моонзунда, в Ирбенах шел жестокий бой двух флотов.

Коковцев не стал ругаться. Он говорил спокойно:

– Отчего у вас тут погребальное настроение?

– Сам не знаю, – ответил Прохоров. – Но вдруг кто-то вспомнил вчера за ужином, что «Енисей» – имя недоброй памяти. И в японскую войну «Енисей» нанесло течением на свои же мины, и сейчас вот… что-то будет?

– Стоит ли верить в такую мистику?

– А как не верить, если Цусима была четырнадцатого мая?

– Не понимаю вас, – пожал плечами Коковцев. – Ходынка, как и Цусима, тоже четырнадцатого мая…

По лакированной крышке командирского стола Коковцев отбил пальцами «Бьернеборгский марш», слышанный им у финнов.

– Ладно, – сказал. – А что в кубриках?

– То же самое. Матросы спорят, как лучше спасаться после гибели корабля – хорошо одетым или раздеться догола?

Коковцев не спорил. Переломить подобные настроения можно, пожалуй, только личным присутствием.

Все-таки, когда на мостике стоит адмирал, матросы бывают бодрее.

– Прошу господ офицеров спуститься в кубрики и рассказать матросам о сути предстоящей операции…

Мины с «Енисея» были заранее сняты и складированы на мониторах. От Ревеля проливами Моонзунда следовало спуститься в Рижский залив, чтобы (на правах легкого крейсера), работая одной артиллерией, разогнать в Ирбенах германцев.

– Где у вас сводки наблюдения с береговых постов?

– В штурманской рубке, у мичмана Вольбека.

– Поднимемся к нему… Прошу, – сказал Коковцев, пропуская на трапе командира минзага впереди себя. Изучив сводки, он хмыкнул. – Обстановка приличная, а наружные посты уже третий день не видят ни одного корабля неприятеля. Причин для тревоги не вижу. Не пора ли нам сразу отдавать швартовы?

– Есть, – повиновался Прохоров…

Коковцев просил поставить для него на мостике лонгшез, в котором и полулежал. Легкий упругий ветер обвевал лицо. Звонок лага мелодично отзванивал каждую шестую часть мили (иначе говоря, каждые пройденные 308 метров). Суропским проливом, между эстляндским берегом и Наргеном, «Енисей» вышел в открытое море, миновав Оденсхольм, где штормы уже развалили на камнях германский крейсер «Магдебург»…

– Сегодня какое число? – спросил вдруг Коковцев.

– Двадцать второе мая, – подсказал Печаткин.

На качке мостик забросало россыпью брызг и пены.

– А вода-то, мичман, еще очень холодная.

– Я обычно начинаю купаться с июня. Тогда ничего…

Прохоров не вникал в разговор, лейтенант Матусевич рассказывал французский анекдот мичману Вольбеку, а братья Унтербергеры рассуждали, какая будет встряска в Ирбенах:

– Добро, что идем без мин, иначе…

Последний звонок лага совпал со взрывом. Коковцева выкинуло из лонгшеза, он услышал шлепок собственного тела, с размаху брошенного на стенку ходовой рубки. Сама по себе включилась сирена, и «Енисей» оглашал равнину моря жалобным воем.

– Стоять на месте! – орал Прохоров с мостика на матросов, готовых бросаться за борт. – Куда вас понесла нелегкая? Старайтесь дольше оставаться сухими… А минут пять-десять мы еще продержимся, – спокойно доложил он Коковцеву.

– Этого нам хватит, – отвечал тот, поднимаясь.

При взрыве у Коковцева был рассечен лоб, с которого, закрывая глаза, свисал лоскут содранной кожи. Адмирал опомнился от контузии, когда матросы застегнули на нем лямки пробкового пояса. Сирена еще выла. Коковцев благодарил людей:

– Спасибо… Вот уж спасибо! Хорошо, хорошо…

Крен увеличивался с такой скоростью, что всем стала ясна вся тщета к спасению: шлюпок не спустить, за бортом ходила высокая волна, а до берега далеко. Коковцев взял папиросу:

– У кого спички? Дайте. Я забыл свои в каюте…

Порыв ветра вырвал из его зубов папиросу. Палуба заполнялась людьми, тащившими койки, вязавшими на себя пробковые пакеты. А возле спасательных кругов собирались по пять-десять человек, словно в забавном хороводе, и крепко держались за шкеты: вот-вот сорвутся в пляске! Паники не было. Все понимали, что еще наплаваются вдоволь. Мичман Вольбек просил матросов крикнуть «ура», когда вода захлестнет мостик. Рулевой кондуктор Ванька Мылов уговаривал лейтенанта Матусевича взять его пояс – так нежно, будто признавался ему в любви…

– Не спешите, – покрикивал с мостика Прохоров. – Я скажу, когда надо… Старайтесь спасти адмирала!

– Благодарю. А где ваш пояс? – спросил его Коковцев.

– Мне сейчас не до этого… извините.

Он велел Печаткину спустить адмирала с мостика.

– Я плохо плаваю, – сознался мичман Коковцеву.

– Все моряки плавают плохо… утешьтесь!

Стоя на палубе среди матросов, Коковцев, как и они, выжидал момента, когда палуба, словно скоростной лифт, вдруг поедет из-под ног, и тогда надо энергично плыть подальше, иначе засосет водоворотом, образующим свистящую воронку.

– За борт! С богом! – гаркнул с мостика Прохоров.

Братья Унтербергеры, держа в руках револьверы, одновременно выстрелили друг в друга и мешками свалились в море. Коковцев, заробев, судорожно крестился, напором матросских тел его смело в воду, и он долго выгребал руками, пока тьма глубины, объявшая его, не прояснела над ним. Печаткина возле него уже не было. Пояс держал хорошо – спасибо ребятам, выручили! Рукою адмирал отбросил со лба лоскут кожи, облепленный мокрыми волосами. Было видно, как с мостика сорвало мичмана Вольбека, а Матусевич с трапа махал рукою…

– Урра-а-а! – закричал Коковцев заодно с матросами, которые прощались с гибнущим «Енисеем», и еще раз «ура» – командиру, который погружался вместе с кораблем в пучину…

Кондуктор Мылов еще нашел в себе сил – для шуток.

– Братва! – орал он. – Самое главное в этом собачьем холоде ни за что не терять хладнокровия. А мы…

Разрыв сердца оборвал его крик. Коковцев видел над собой бездонный купол неба. До чего же быстро редели шеренги матросов, плававших, взявшись за руки, словно играющие дети. Но, отпустив мертвеца, они тут же смыкали свои братские пожатья.

– Адмирал, к нам… к нам! – звали они издалека.

– Я не могу… прощайте, – отвечал Коковцев.

…Никто из этих людей не знал, что «Енисей» взорвала германская подводная лодка «V-26», которая потопила и крейсер «Паллада». И не могли они предвидеть, что их погубительнице «V-26» осталось жить недолго: она погибнет со всем экипажем на тех самых минах, что поставили русские минные заградители под руководством Коковцева! Их оставалось на воде лишь девятнадцать человек, когда по горизонту мазнуло дымком… Заметят их или пройдут мимо?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Коковцев очнулся от резкой качки, он лежал на койке в знакомой каюте, потом перевернулся на бок, его тошнило, над ним болталась штора из голубого бархата, концом ее он вытер рот, дернул «грушу» звонка, вызывая кого-либо с вахты, вестовой явился в белом фартуке – словно заправский официант.

– Где я, братец? – спросил Коковцев.

– На «Рьяном».

– Передай на мостик, чтобы спустился командир. – Никите он сказал: – Извини, сынок, я тут натравил… сплоховал!

– Ерунда. С кем не бывает? Сейчас уберут, папа.

В иллюминаторе качались сизые гребни волн, по вибрации корпуса Коковцев определил скорость – в пятнадцать узлов.

– О том, что стряслось со мною, не проговорись матери. Ей сейчас и без меня бед хватает…

Он спросил сына – сколько человек удалось спасти?

– Девятнадцать при одном офицере – механике.

– А народу было полно на палубе…

С мостика «Енисея» не видели даже перископа, подводную лодку, конечно, прохлопали и береговые посты. Только сейчас он заметил, что голова его забинтована.

– Меня так швырнуло из лонгшеза, будто выбило из пушки, – сказал Коковцев сыну. – А где мы сейчас идем?

– Уже показался Нарген – скоро Ревель.

– Раненых спасли?

– Ни одного! Но и здоровые хуже раненых…

В госпитале неудачно зашили лоб, и, когда Никита пришел навестить отца, Коковцев жаловался:

– Мама, конечно, заметит и станет допытываться – что ей сказать?.. А как дела в Ирбенах? Отбили немцев?

– Отбиваются. По всей стране – забастовки.

– Чего хотят добиться, бастуя?

– Смены режима.

– На этот счет у англичан есть хорошая поговорка: при переправе через брод лошадей в упряжке не меняют…

После гибели «Паллады» и «Енисея» Коковцев окончательно осознал свою душевную надломленность и непригодность для корабельной службы. Григорович сам и предложил контр-адмиралу выехать в Архангельск, куда стекались стратегические грузы, прибывавшие от союзников. Вкратце министр объяснил обстановку. Порты Черного и Балтийского морей блокированы противником, доставка промышленного сырья и вооружения через Владивосток отнимает массу времени, а от Вологды до Архангельска еще до войны Савва Мамонтов протянул узкоколейку для вывоза на Москву рыбных продуктов. Сейчас узкая колея спешно перешивается на колею стандартную.

– А мы срочно закупаем в Канаде ледоколы и ледорезы с укрепленными бортами, чтобы они смогли удлинить сроки навигации в замерзающем Белом море… Там бардак! – заключил Григорович весьма прямолинейно и просил Владимира Васильевича навести в порту Архангельска должный флотский порядок.

С этим напутствием он явился к себе домой.

– Не смотри на меня так, Оленька, – сказал Коковцев жене. – Была штормовая погода, и я сорвался с трапа. Никита в добром здравии, служится ему хорошо. А как ты?

Она показала ему справку из Максимилиановской лечебницы: врачи определили у нее опущение желудка и матки при полном отсутствии жировой прослойки в организме, истощенном нервным перенапряжением. Коковцев и сам заметил, что Ольга Викторовна снова стала дергаться: это уже не Цусима – это «Паллада»!

– Я поеду в Архангельск пока один, там, говорят, живут очень богато, все есть, как до войны, зато нет канализации, и вообще я сам точно не знаю, сколько там пробуду…

Иногда он даже восхищался женой: Ольга Викторовна перенесла такие страшные бури, и все-таки она, пусть поседевшая и трясущаяся, но ведь выстояла! Где же предел женской и материнской любви? Ненадолго они выехали поездом в Гельсингфорс, чтобы распорядиться продажей квартиры, ставшей ненужной. В этом им помог бывший адмирал Вирениус, ставший в Финляндии сенатором и министром народного просвещения. Андрей Андреевич еще не потерял чувства флотской солидарности, но за обедом, на который пригласил и супругов Коковцевых, он допустил бестактность, сказав, что в Германии начинается голод:

– Немцы вывозят все съестное из Прибалтики и Польши, но голод не коснется Финляндии, если немцы ее десантируют. Мы уже дали добровольцев для германской армии, и это понятно: Финляндия скоро обретет самостоятельность.

– Уйдем, – шепнула Ольга Викторовна мужу…

Он никогда не думал, что она такая патриотка! Коковцев отбыл в Архангельск, в порту которого динамо-машины перепутались с брикетами шоколада от Жоржа Бормана, а витки кабелей были завалены ящиками какао от Ван-Гутена. Все это мокло и догнивало в отвратительной бесхозяйственности. Коковцеву с трудом удалось «протолкнуть» часть грузов для фронта лишь в начале 1916 года, когда закончилась перешивка железной дороги. На далеком Мурмане возникал новый город и порт – Романов-на-Мурмане, будущий Мурманск, там создавалась флотилия СЛО (Северного Ледовитого океана). Владимир Васильевич занимался проводкою кораблей через льды и минные банки горла Белого моря, в которое уже совали свои форштевни немецкие крейсера и подводные лодки… Летом этого года Колчак уже получил от царя орла на погоны и уехал в Севастополь командовать Черноморским флотом. Издалека приглядываясь к событиям в столице, Коковцев не одобрял бешеной карьеры Колчака:

– Конечно, тут не столько царь, сколько влияние этих поганых думцев с Гучковым: честный офицер флота делает карьеру на мостиках кораблей, а не в кулуарах Думы… Сейчас Колчак летает на своих «орлах», но посмотрим, где-то он сядет!

Его малость утешило в конце года известие, что нашлись на Руси добрые люди, укокошившие Распутина, а вслед за этим телеграфы донесли по всем городам и весям: в Петрограде началась революция, не доставившая Коковцеву никакой радости.

– Ну, конечно! – рассуждал он в кругу архангельских лоцманов. – И здесь не обошлось без этой Думы… Это прямо какие-то масоны, сделавшие себе «ложу» из Таврического дворца, и оттуда они вертят Россией, как хотят…

Фронт разваливался, офицеров на Балтике убивали, Ольга Викторовна телеграммой вызвала мужа в Петроград.

– Vae victis, – думалось Коковцеву в поезде…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Перед Петроградом проводник обходил вагоны:

– Которые тута господа офицеры, погоны снять, а оружие спрячьте. Не угодно ли купить красный бантик? У нас есть. И недорого берем – всего гривенник за штуку…

Коковцева потрясло, что офицеры охотно покупали бантики, срывали погоны, оружие прятали. Адмиралу объяснили:

– Без бантика да с погонами лучше и не показывайся…

На Николаевском вокзале какие-то люди с угрюмым видом пропускали пассажиров через турникет, офицеров сразу отводили в комендатуру. Коковцев спрыгнул с перрона под насыпь и вывернулся – через запасные пути – на Лиговку, где нанял извозчика, велел ему ехать на Кронверкский поскорее. Где-то в переулках постукивали выстрелы: та-ку, та-ку, та-ку!

– Что у вас тут происходит? – спросил он извозчика.

– Свобода, – отвечал тот, сморкаясь в рукавицу…

Двери открыла больная Ольга Викторовна.

– Зачем ты встаешь? Где же прислуга?

– Ушла на митинг. Хлопотать о равноправии.

– А кухарка? Могла бы она открыть.

– Кухарка уволена: чего ей теперь готовить?

Коковцев обнял жену, ощутив ее остренькие ключицы.

– Я, кажется, пас… с флотом кончено! А что Никита?

– Недавно заходил.

– Глаша?

– У нее, пишет, все по-старому.

– Для меня не было никакой почты?

– Нет. Но я собрала все нумера «Морского сборника»…

Из Архангельска, где жители лопались от сала и мяса, от выловленной семги, от привозной «сгущенки» и банок с ананасами, Коковцев привез в голодающий Петроград толику союзных благ. Угощая жену, заметил, как мало она ест.

– Я отвыкла от еды, – сказала Ольга, будто извиняясь.

– Надо куда-либо уехать… снова привыкнешь.

Коковцев раскрыл мартовский номер «Морского сборника».

– У нас что-то холодно, – сказал, поеживаясь.

– Давно не топим. Дров нету.

– Хоть бы завела кошку – пусть греет ноги.

– А чем ее кормить? Ананасами из твоих банок?

«Морской сборник» открывался передовицей:

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДНАЯ РОССИЯ!

Свободная Россия вступила в новый счастливый период своей жизни. Великий русский народ, придавленный тяжестью деспотическаго правления, скованный бесчисленными ограничениями всякаго проявления народнаго творчества, одним мощным движением сбросил свои путы и может теперь свободно использовать свои творческие силы для дальнейшего культурнаго развития и улучшения материальнаго благосостояния широких масс населения…»

– Во, болтуны! – заметил Коковцев; со следующих страниц ему стало известно, что морским и военным министром сделался не матрос или солдат, а сам Гучков, о чем «Морской сборник» оповестил господ офицерой флота в таких выражениях: «Первым шагом А. И. Гучкова в Морском министерстве является замена им лиц, стоявших во главе его, более свежими и непричастными к прежнему порядку вещей людьми». – Ну какой мерзавец! – возмутился Коковцев, забрасывая журнал в угол. – Сколько лет подкрадывался к делам флота и все-таки влез в Адмиралтейство, будто червяк в яблоко. Неужели этот подлец рассчитывает, что мы станем ему подчиняться? Ни-ко-гда!

Ольга Викторовна вдела в уши фамильные бриллианты, укрепила на пальцах драгоценные перстни. Припудрилась.

– Ты куда собралась? – спросил ее Коковцев.

– Оболмасовых уже обыскивали. Пусть видят, что у нас есть. Чтобы в доме не все перевернули вверх тормашками…

Их навестил Никита, но лучше бы он не появлялся.

– Поздравляю папочку с революцией, – сказал сын.

– Дурак! – вразумительно отвечал отец. – Скажи спасибо своей революции за то, что тебя еще не прирезали матросы, пока ты дрыхнешь в каюте своего дестройера.

– Матросы, папа, убивали только царских сатрапов!

– А ты кто? Разве не сатрап? Или не из Морского корпуса? Не твое ли это имя золотом выбито на мраморной доске?

– Только не ссорьтесь… умоляю, – просила Ольга Викторовна.

Коковцев с недоброй усмешкой обошел вокруг сына. Никита уже не имел погон на кителе, не было и кокарды на фуражке, лишенной главного отличия чести – белого канта.

– Ишь как приодели тебя Гучковы да Керенские! Ободрали будто липу на лапти. Ни золота, ни кантов, ни эполет, ни сабли. Раньше, когда я, бывало, шагал по улице, у всех женщин свихивались шеи – так импозантны были офицеры царского флота, а теперь… Теперь мне стыдно смотреть на тебя!

Никиту было трудно вывести из терпения.

– Папа, – отвечал он, – но ведь Англия дорожит своим королем, однако офицеры Гранд-флита не имеют погон и не гордятся белым кантом. Какое отношение вся эта мишура имеет к тому, что происходит сейчас в потрясенной России?

Коковцев-отец на этот счет не заблуждался:

– Если бы погоны и канты были только мишурой, их бы не срывали с нас на улицах. А прекрасный флот Франции времен Кольбера был загублен нивелированием офицера с матросами. Абукир и Трафальгар стали надгробиями его былого величия!

– В твоем выводе нет закономерности, – сказал Никита. – Монархический флот Сервера погиб от флота республиканского, а революция никак не виновата в поражении при Цусиме.

– Но революции всегда разрушают дисциплину!

– В этом, папа, ты прав. С дисциплиной стало у нас плохо. Марусек на корабли водят. В кубриках семечки щелкают. Ханжу распивают в машинах. Матросы дезертируют толпами, и все они вдруг стали бояться войны…

Обстановка в доме Коковцевых обострилась, и напрасно Ольга Викторовна хлопотала, желая примирить отца с сыном, – они перестали разговаривать. А на улицах творилось черт знает что, и кого из ораторов ни послушаешь, все требовали мира «без аннексий и контрибуций». Коковцев воспринимал эти слова, как слова чужие и бесполезные для продолжения войны.

Он сказал Ольге, что во всем свинстве виновата безответственная интеллигенция, которая, не подумав как следует, разбудила в народе глупые иллюзии, а Керенского с Гучковым надо повесить на люстре Таврического дворца. Неожиданно квартиру огласил долгий звонок с лестницы.

– Поздравляю… с обыском! Чего ты расселся? – сказал Коковцев сыну. – Отныне прислуги у нас в доме не водится. Иди и открывай сам.

– Кому, папа? – не шелохнулся Никита.

– Может, вернулся твой брат Георгий из Цусимы? Наверное, пришел Игорь с погибшей «Паллады»… Ты жив – иди!

Никита открыл двери, и на руки ему упала навзрыд плачущая Глаша; за нею стоял вытянувшийся Сережа, облаченный в несуразное пальто с чужого плеча. Никита быстро выглянул на площадку лестницы и подхватил одинокий чемодан.

– Это все? – спросил он у Глаши.

– Все. Больше ничего не осталось…

Она бежала из Уфы – вдовою! Дезертиры застрелили Гредякина, отказавшегося передать по телеграфу запрос о прибытии эшелона – специально для этих господ, для дезертиров.

– Куда ж мне теперь? – горевала Глаша. – Я к вам… Уж не оставьте меня. Приютите. Мне больше некуда…

– Конечно, – в один голос отвечали ей Коковцевы.

Адмирал погладил Сережу по голове и сказал Ольге:

– Я просто изнемог. Немного пройдусь.

– Ах, Владя! Кто в такое время бродит по городу?..

Ноги сами привели его на Английскую набережную. Горничная встретила адмирала в передней, изумленно оглядывая пожилого человека в форменном пальто, из плеч которого торчали нитки от споротых погон. Квартира мадам фон Эйлер была хорошо протоплена, стол накрыт к ужину, а Ивона даже похорошела…

– Надеюсь, твой дурацкий «автомобильный» роман кончился?

– Где ты видел автомобиль? – отвечала она вопросом…

Как он не мог понять, что эта женщина возникает в его жизни после гибели каждого сына, а сейчас он, кажется, терял и третьего – последнего. Все это непостижимо!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

С обыском нагрянули под вечер сразу трое: пожилой рабочий с наганом, солдат с ружьем и студент-технолог с сильным насморком. Сразу же спросили – есть ли в доме оружие? Коковцев свято хранил бельгийский браунинг, подаренный ему Гогой, и расставаться с ним не собирался.

– Нету оружия, – сказал он. – Не верите, так ищите.

– Придется обыскать. Ну-ка, Лева, – сказал солдат сопливому студенту, – ты это самое… пошуруй-ка!

Но тут мощной грудью выступила вперед Глаша:

– А не дам по шкафам шарить! За что цепляетесь к хорошим людям? Или вам буржуев мало? Пришли незваны, наследили тут с улицы, нагаверзили… А кто вас звал-то сюда?

Ей (а не Коковцевым) предъявили ордер на обыск.

– Иди, иди… бог подаст! – отвечала Глаша, разъярясь.

Неизвестно, чем бы кончилась перепалка, но тут рабочий с наганом заметил на столе Коковцева два портрета офицеров, обвитые поверху единой черно-оранжевой лентой.

– Кто такие? – спросил он Коковцева.

– Офицеры флота его величества – мои сыновья.

– Та-ак… А вы – адмирал?

– Имею честь быть им.

При этом солдат пристукнул в паркет прикладом:

– В едином-то доме – и сразу столько контры!

– А где ваши сыновья сейчас? – спросил рабочий.

Коковцев объяснил – Цусимой и «Палладой».

– Ну, извините, адмирал, – сказал рабочий, засовывая наган за ремень. – Пошли, товарищи, тут нам делать нечего…

Коковцев все же был вскоре арестован, убежденный, что не обошлось без доноса соседей по дому, трясущихся от страха перед обысками. Временное правительство адмирал считал временным явлением в истории русской государственности, а его почти физиологическая ненависть к Гучкову заметно обогатилась еще презрением к сладкоглаголящему Сашке Керенскому. Даже в тюремной камере, затиснутый среди сенаторов и карманников, затертый между генералами и спекулянтами, Владимир Васильевич от своих убеждений не отказался:

– Паршивый адвокатишко! Нахватался разных словечек, будто сучка блох, и теперь мутит православных речами… Гадина!

Следователь ему попался из политкаторжан, возвращенный из ссылки буржуазной революцией, но кто он – эсер, меньшевик или анархист, – Коковцеву было глубоко безразлично.

– Почему дезертировали с флота? – первый вопрос.

– А кому служить, если флот отдали этому… Гучкову! – Относительно погон и прочих регалий военного человека Коковцев твердо заявил, что они необходимы. – Когда мы носили погоны, мы воевали. А теперь, когда с нас рвут погоны, вся армия разбежалась, флот попросту разложился.

– В этом вопросе с вами согласен, – сказал следователь. – Но советую все же исполнять приказы народа.

– Народ – это не власть! – отвечал Коковцев.– Назовите мне конкретно человека, за которым идти, и я… подумаю.

Придираться к его словам следователь не стал.

– Как вы отнеслись к отречению Николая Кровавого?

– Я не подпрыгнул от радости. Тем более не стал, как видите, Робеспьером или Маратом… Впрочем, – добавил адмирал, – я видел, что монархия не в состоянии выиграть войну.

– А если бы она оказалась к тому способна?

– Вы меня решили поймать на слове?

– Да нет. К чему же? Просто мне интересно.

– Конечно, я сражался бы под знаменами монархии.

– Этим-то вы мне и нравитесь, – улыбнулся следователь. – Другие, знаете, как? Попав сюда, начинают притворяться, будто с молоком матери всосали в себя революционные идеи. И какого ни спросишь, обязательно найдут родственника – революционера… Кстати, у вас таковых не сыщется?

– Слава богу, Коковцевы революцией не грешили…

На следующем допросе следователь снова вернулся к «Приказу № 1» по флоту и армии за подписью Совета рабочих и солдатских депутатов. Согласно этому приказу объявлялось равенство чинов, уничтожение всех знаков отличия, отмена отдания офицерам чести, а все действия начальников ставились под контроль нижних чинов. Коковцев ответил так:

– Если мне никогда не плевали в лицо, так высморкались в лицо этим приказом. С него и начался развал армии и хаос на флоте. Если масон Соколов, составлявший этот приказ, и хотел разрушить оборону страны, он этого добился. Железный крест от германского кайзера ему, негодяю, обеспечен!

– Вы правы, Владимир Васильевич, что «Приказ № 1» состряпан людьми, далекими от понимания военной службы… На прошлом допросе вы доказали, что среди ваших родственников никогда не было революционеров. Подтверждаете?

– Вне всякого сомнения. Не было и не будет!

– Так вот один обнаружился – ваш сын …

Это было так неожиданно, что Коковцев растерялся.

– А зачем ему это нужно? – спросил адмирал наивно.

– Узнайте у него сами… Вы свободны.

Арестованный летом и одетый очень легко, Коковцев был выпущен из тюрьмы осенью, в разгар боев при Моонзунде, и, шлепая по лужам, сильно озяб, пока под дождем пешком добирался до своего дома. Ольга Викторовна велела мужу снять мокрую обувь, дала ему сухие носки.

– Оля, мне после тюрьмы необходимо помыться…

Но, увы, мыла давно не было в продаже.

– И у нас нету, Владечка. Но я тебе что-то покажу…

Она вынесла красивый футляр, в котором лежало японское мыло, которое он подарил ей вместе с веером. Давным-давно! Но это мыло, уже сморщенное от старости, еще хранило в себе тончайший аромат японских хризантем.

Не так ли и сама жизнь, как это удивительное мыло?

– Все уже смылилось… к чертям! – ругался Коковцев.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Коковцев отверг Февральскую революцию, но и не принял Октябрьскую, не понимая ни ее сути, ни ее значения. Когда в Адмиралтействе, перед взятием Зимнего дворца, были арестованы адмиралы, служившие в Морском министерстве и Морском Генштабе, а на их место пришли матросы, Коковцев обрел лишний повод оправдывать свое отсутствие в рядах флота. Ему уже доставляло удовольствие бранить все и вся, он часто цитировал стихи Зинаиды Гиппиус:

Лежим, оплеваны и связаны,по всем углам,плевки матросские размазаныу нас по лбам.

Соседи, встречая Коковцева на лестнице, спрашивали:

– А вы еще не уехали, господин адмирал?

– Да нет. А вы?

– Мы собираемся… на юг.

На юге страны уже формировалась белая гвардия. Зима, как назло, выпала лютой, в домах полопались трубы, канализация не действовала. Коковцев топил «буржуйку», с неистовым озлоблением сокрушал старые гарнитуры орехового и палисандрового дерева – наследство дворян Воротниковых. Глаша стояла в очередях за отрубями и кониной, по ночам ломала соседние заборы, принося трухлявые доски…

В заслугу большевикам Коковцев ставил только разгон ими Учредительного собрания, от болтологии которого адмирал не ожидал ничего путного, предвидя в этой «учредилке» лишь новую формацию Государственной думы, приказавшей долго жить.

Лишь единожды, и то наспех, на Кронверкском появился Никита. Привез чай, сало, хлеб и банки мясных консервов.

– Кажется, – сказал ему отец, – теперь я начинаю догадываться, в чем смысл той загадочной фразы: ты и в самом деле нашел то, что тебе надобно… Жри сам!

– Спасибо. Я сыт, – отвечал Никита. – И не о себе думаю. Стоит ли нам ссориться? Если я сумел забросить шапку на дерево, так сумею, наверное, и снять ее оттуда… Извини, пожалуйста, что не мог сказать тебе раньше. Я ведь еще на Амурской флотилии стал социал-демократом, и меня, как и тебя, кстати, никак не могли устраивать ни прежняя революция, ни Временное правительство, ни это Учредительное собрание.

– И тебе возжаждалось новой Геростратовой славы? Но ведь ты давал присягу не перед Смольным институтом, ты склонял колена перед славным Андреевским стягом…

Сын начал перечислять офицеров царского флота, принявших советскую власть: Ружек, Беренс, Зеленый, Галлер, Киткин, Гончаров, Пилсудский, Альтфатер, Максимов, Немитц, братья Кукели-Краевские, Модест Иванов и Егорьев, сын командира крейсера «Аврора», погибшего геройски еще при Цусиме:

– Время рассудит нас, папа… Теперь ты ешь!

Коковцев стал есть. Никита удалился с Глашей в промерзлую мэдхенциммер, там они очень долго перешептывались.

– Оля, не напоминает ли это тебе былое? Только покойный Гога умудрялся навещать Глашеньку по ночам, а?

– Оставь их в покое, – раздраженно отвечала жена. – Что у тебя, Владечка, стал такой нехороший язык?..

В прихожей Глаша подала Никите форменное пальто, одернула на нем хлястик, просила поднять воротник. Коковцев не удивился, что она, свой человек в доме, расцеловала Никиту.

– Папа, – сказал он на прощание, – я не хочу продлевать наши споры, но все-таки в присяге ты ошибаешься. Отречением от престола император сам освободил всех нас (и тебя тоже!) от присяги. А от присяги народу не отказываются…

Через несколько дней Ольга Викторовна сказала:

– Владя, не знаю, как ты к этому отнесешься, но скрывать не могу долее: Никита сделал предложение Глаше…

– Я выгоню их вон… со щенком вместе… на мороз!

Резкий удар пощечины ошеломил адмирала.

– А кто тебе позволит это сделать? – спросила Ольга. – Скорее я расстанусь с тобой, мой милый… Владечка.

Во тьме остылой спальни сверкнули в ее ушах бриллианты. Завороженный их блеском, Коковцев протянул руку:

– Вынь их… Завтра продам. На толкучке…

Ольга Викторовна равнодушно отдала ему драгоценные серьги, стала срывать с себя кольца. Коковцеву сделалось стыдно.

– Прости, – сказал он жене.

– За что? – удивилась Ольга Викторовна.

– Я, наверное, ничтожен, да?

– Пока нет…

Три дня и три ночи он отсутствовал. А вернулся от Ивоны тихо, как нашкодивший кот. Домашние извелись, думая о нем самое страшное. Сдергивая в передней фетровые боты, Коковцев, в оправдание себе, разлаял советскую власть:

– Только успел продать серьги, набрал пшена и сала, вдруг – облава! Забрали в Чека на Гороховую, где и сидел… Не знаю, как и живым оттуда выбрался. Вот времена…

Ольга Викторовна вдруг страшно разрыдалась:

– Владечка, если это правда, Бог накажет злодеев! Но если это ложь, Бог накажет и тебя, Владечка…

Глаша провела контр-адмирала на кухню – на табуретку:

– Ешьте. Я вчера костей достала. Вас ждали…

Что может быть горше мук, нежели муки совести? Коковцев топил «буржуйку», рвал на растопку книги из библиотеки Воротниковых. В один из дней ему попался том Салтыкова-Щедрина, и, сунув в огонь страницу, он успел прочитать слова, которые быстро охватило пламенем: «Вы не можете объяснить, как совершилась победа, но вы чувствуете, что она совершилась и что вчерашний день утонул навсегда… Vae victis!»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1918 год открылся двумя декретами – об организации регулярной Красной Армии, о роспуске старого флота и создании его на новых началах. Германская армия наступала от Черного до Балтийского моря, по широкой дуге отнимая у России необъятные просторы, вывозя в голодный фатерлянд колоссальные запасы продовольствия. Коковцев искренно переживал подвиг Балтийского флота, зажатого в гаванях Гельсингфорса, когда свершился неслыханный в истории «Ледовый поход»; из-под носа кайзера балтийцы увели не только линкоры, но даже подводные лодки. Однако ни на какие призывы советской власти служить ей контр-адмирал не откликнулся.

– Чем гаже, тем лучше, – упрямо твердил он…

В городе постепенно исчезли собаки и кошки, лошади и даже крысы. Тротуары зарастали травой, на улицах поражало малолюдство и небывалая пустота в домах: петербуржцы покидали город, переставший быть столицею, искали сытости в провинции. Газеты изо дня в день публиковали списки расстрелянных за контрреволюцию. Странно, что почта еще работала. Коковцеву доставили на дом № 7—8 «Морского сборника», в редакционной статье которого оплакивались «дни великого национального бедствия, когда под двойным натиском неслыханной военной бури и решительной усобицы в изнеможении опустила знамена и меч уронила на землю побежденная родина. По смутным ширям русской равнины зловеще бродят голод и рознь…» Коковцев был озабочен не созданием нового флота, а копанием огорода во дворе дома, где он посадил картошку, старательно окучивая ее, а вечерами, не зная куда деть себя, обучал Сережу английскому языку. Все его помыслы сводились к осенней благодати, когда он наполнит кладовку запасами картофеля. Лето прошло в бестолковой маете, а в одну из августовских ночей кто-то, немного догадливее Коковцева, без шума собрал все то, что посеяно адмиралом. Над развороченными грядками он рыдал, как ребенок. Ни жена, ни Глаша не могли его утешить… Глаша сказала:

– Я знаю, кто нашу картошку собрал. Это Оболмасовы, что выше нас этажом живут. Я давно их подозреваю…

О почтенном Оболмасове ходили по дому нехорошие слухи. Он запугивал жильцов угрозами близкого ареста, советуя им поскорее покинуть Петроград; люди исчезали, доверив ключи от своих квартир тому же Оболмасову, а Глаша утверждала, что по ночам он стаскивает чужое добро к себе. Ольга Викторовна уверяла, что Оболмасов пишет ложные доносы на тех людей, которые не страшатся его угроз, но Коковцев никак не мог поверить, чтобы статский советник и кавалер, дворянин боярского рода был способен на такую гнусную подлость.

Оболмасов при встрече с Коковцевым уже не раз спрашивал:

– А каков у вас послужной список, адмирал?

– Отличный.

– Это плохо. Сейчас большевики перерывают архивы военного и морского министерств, выискивая людей с заслугами перед престолом, чтобы поставить их к стенке… Я крайне удивлен: весь наш дом уже опустел, одни вы остались.

– А почему вы, любезный, сами не уедете?

Оболмасов приник к уху адмирала, нашептав, что служит в советском учреждении, дабы удобнее вредить большевикам. А в одну из встреч на лестнице он Коковцева предупредил:

– Если завтра не скроетесь, вам ареста не избежать. Вчера один студент ухлопал Моисея Соломоновича Урицкого, а он председательствовал в петроградской Чека.

– Но я-то при чем? – удивился Коковцев.

– Сейчас-то все и начнется…

Совпало день в день: в Петрограде эсер Канегисер застрелил М. С. Урицкого, в Москве эсерка Фанни Каплан совершила злодейское покушение на вождя революции Ленина. Это случилось 30 августа 1918 года, а 5 сентября Совет Народных Комиссаров издал постановление, призывая граждан свободной России ответить на «белый» террор железным кулаком «красного» террора. В эти дни были арестованы не только контрреволюционеры, но и высшие сановники былой империи, ВЧК произвела массовые аресты многих генералов и адмиралов. Коковцев был удивлен, что его не тронули, относя этот либерализм ВЧК за счет положения своего сына на «красном» флоте… Его взяли не дома, а на Английской набережной. Полураздетая Ивона отделалась легким испугом, загородясь от чекистов французским паспортом:

– Я только и жду возможности вернуться в Париж!

– Пардон, мадам, а это кто? – показали ей на Коковцева.

Ивона пальчиком тоже показала чекистам на Коковцева:

– Вы его сами об этом и спрашивайте!

– Я… контр-адмирал… контр, – сказал он, стыдясь.

На вопрос, что он тут делает, Коковцев не мог сказать, что навещает вдову своего друга, ибо у вдов друзей, даже самых лучших, после полуночи обычно не задерживаются.

– Собирайтесь… пошли, – велели Коковцеву. В этот момент он вспомнил заклинание Ольги: Бог накажет тебя, если сказал ты неправду. Открытый грузовик заносило на крутых поворотах переулков. Вот и Гороховая, дом № 2 – вылезай! На этот раз следователь попался не из тех, что сами сидели, а из тех, которые других сажают. Человек явно озлобленный и, как заметил Коковцев, никогда не высыпавшийся.

С первого же допроса адмирал заявил протест:

– Я не имел счастия удостоиться общения с вашим Моисеем Соломоновичем, о котором, каюсь, до нынешнего года даже не подозревал, что такой существует, и я не могу понять, за что меня взяли, если его застрелил какой-то ваш психопат.

– Не наш! Идет классовая борьба, – мрачно заявил следователь, шлепнув на стол рыхлую папку. – У вас отличный послужной список… прямо душа радуется, как полистаешь! Вот бы вам волю дать, вы бы сразу нас за горло схватили…

Коковцев даже вздрогнул: «Неужели Оболмасов прав?»

– Старался как мог, – отвечал он.

– Я вижу… Монархист?

Коковцев объяснил то, что пришлось объяснять ранее, еще при Февральской революции, добавив не совсем осторожно:

– Но и вашей катавасии я тоже не приветствую…

– Оттого и давили революцию на царском флоте?

– Царский флот – для вас, а для нас – русский флот. Для вас – революция, а для нас – беспорядки, для флота губительные. Флот, как боевая сила, основан не на «лозунгах» и митингах со щелканьем семечек, а на приказах и дисциплине. Хотел бы я посмотреть – много ли навоюете вы с вашей анархией в нижних кадрах? Сами давить будете… еще как станете!

Коковцев понял, что расстрела ему не миновать:

– Спрашивайте! Я ведь изворачиваться не стану.

– И не советую, – кивнул следователь. – По вашим словам, адмирал, вы не приемлете монархии. Но когда монархию свергли, вы отвергаете и власть народа… Хорошо вам при царе было?

– Замечательно! – отвечал Коковцев. – Я прослужил полвека и даже в карцере не сидел. А по вашей милости и года не прошло, как я дважды обыскан и дважды арестован. Так почему я должел пылать к вам особой нежностью? Вы оставьте формуляр в покое. Я не режиму служил – России! Единой, великой и неделимой… Такова уж она есть, матушка.

– Да кому она была нужна, эта ваша прогнившая и вонючая Россия с ее темным забитым народом?

Допрос превратился в яростную дискуссию:

– Не забывайте, что эта самая «прогнившая и вонючая» два столетия подряд стояла во главе всей европейской политики!

– Мировая революция всю Европу охватит пожаром.

– Черта с два! – отвечал Коковцев. – Скорее Европа покончит с вами, господа! Я ведь вашу «Правду» читал внимательно: сами признаете, что начинается поход двунадесяти языков, во всех портах России высаживаются не милые гости, а интервенты, вооруженные лучше вас, намного лучше… Ну, что скажете?

– Скажу одно: теперь мне ясно, почему тебя, контру, взяли не дома, а на квартире французской подданной, да еще с немецкой фамилией, уснащенной приставкою фон…

Время для оправданий было неудобное: ВЧК была отлично извещена о совместной службе Коковцева с Колчаком, который недавно прибыл в Омск английским поездом резидента Нокса и при поддержке интервентов и эсеров объявил себя «Верховным Правителем России»…

– Колчак – ваш приятель? – спрашивал следователь.

– Сослуживец. Александра Васильевича я хорошо знаю. И не думайте, что я стану отзываться о нем скверно, чтобы угодить вам. Хотя, говоря откровенно, я всегда его недолюбливал…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Скоро среди арестованных возникли слухи, что в Петроград прибыл из Москвы комиссар для проверки работы ВЧК, и этот комиссар «стрижет всех под одну гребенку». Он появился в камере – весь в коже, с маузером у пояса. Пригляделся.

– А меня не помнишь? – спросил Коковцева.

– Не имел чести быть представленным.

– Имел, имел… Часики-то твои как? Еще стучат?

Это был Павел Бирюков, гальванер с крейсера «Дмитрий Донской», который спасал Коковцева при Цусиме, затем в Нагасаки совершил дерзкий побег из японского плена, чтобы сразу включиться в ритм русской революции на Балтийском море.

– Плохо сидится? – спросил он адмирала.

– Да чего уж тут хорошего.

– Верно. Сам сидел – знаю, что гаже не бывает…

Невыспавшийся следователь подал Бирюкову пухлое дело бывшего контр-адмирала Владимира Васильевича Коковцева.

– Та-ак, поглядим, что тут написали… Орденов – хоть на кальсоны навешивай! Минер – хоть куда! Поместий не имел… та-ак. Крепостными не владел… та-ак. Проживал лишь то, что боженька даст. Ну, и царь, конечно! Он тоже давал. А бесплатно только дураки служат. Очень хорошо. Отличный формуляр… Так какого же хрена его коптят тут?

Коковцев мстительно указал на следователя:

– Товарищу, видите ли, не нравится, что я не служил делу пролетариата, за что и приношу ему глубочайшие извинения.

– Так и я, – отвечал Бирюков, – тоже не служил делу пролетариата, когда меня остригли, будто барана, в Крюковских казармах и написали на спине красным мелом две буквы: «ГЭ» – Гвардейский экипаж! Сэляви, как говорят француженки, быстренько раздеваясь. Чему тут удивляться? А если бы мы не воевали с тобой, адмирал, так от нашей России небось один пшик на постном масле остался… Верно ведь?

Следователь упомянул обстоятельства ареста Коковцева, и Коковцев сказал, что объяснит это Бирюкову наедине. Через минуту вернулись обратно в камеру, Бирюков отмахнулся:

– Это шашни! Нас не касается… Вот что, – распорядился он. – Я этого человека знаю. Вреда от него матросам никогда не было. А в заговорах контрреволюции он замешан?

– Нет, – отвечал следователь со вздохом.

– Тогда реверсируй машину назад…

Коковцев оказался на свободе, и надо же было так случиться, что первый, кого он встретил на лестнице своего дома, был опять-таки статский советник и кавалер Оболмасов.

– Вы… сбежали? – спросил он, крайне удивленный.

Коковцев показал ему справку из ВЧК: выпустили.

– Быть того не может! Впрочем, это их прием. Сначала выпустят, а потом присматривают, что говорить станете…

– Да бог с вами, – отвечал Коковцев. – Я домой хочу.

Ольга Викторовна встретила мужа холодно:

– Бог тебя наказал, Владя, пусть Бог и прощает…

Тут он понял, что Ольге все известно. Глаша добавила:

– Ведь она жена вам, не какая-нибудь сбоку припека. Вы бы и нас могли послушаться – мы ведь худого не скажем… Что вы на старости лет связались с какой-то сучкой?

Сколько уже лет Коковцев свято соблюдал тайну досье на Глашу из архивов департамента полиции, никогда не выдав ее даже пустячным намеком на прошлое, но сейчас выпалил:

– Помолчи хоть ты… Чистюля!

Глаша закрыла лицо руками, будто ее ударили:

– Да бог с вами… что вы такое говорите-то?

– Все знаю про тебя. Отстань…

Сережа уже не подходил к нему. Ольга Викторовна с мнимой сосредоточенностью перечитывала нудные романы Поля Бурже. «Неужели и конец жизни, как тот кусок японского мыла?» Подумав, Коковцев вынул из тайника бельгийский браунинг, сунул его в карман. Это не укрылось от проницательной жены:

– Я не узнаю тебя, Владя… посмотри – кем ты стал? Ведь ты уже не человек, а хуже зверя. Я боюсь тебя.

– Ты боишься одного меня, а я боюсь всех…

Переполненный радостью бытия, приехал Никита. На этот раз свой первый поцелуй он отдал уже не матери – Глаше.

– Папа, – крикнул он еще из передней, – в продолжение той амурской истории я скажу тебе нечто приятное для меня: на днях меня приняли в партию большевиков.

Нахохлившись под пледом, адмирал не двинулся в кресле:

– И так закончился славный род дворян Коковцевых, но уже нет департамента герольдии, дабы отметить это событие, достойное сожаления генеалогов… Что еще скажешь?

– Еще, – сказал сын, проходя в гостиную, – я выбран в командиры минной дивизии… Надеюсь, это тебе приятнее?

– Это позорнее, – сказал отец. – Я! Даже я, адмирал с богатым морским цензом, не мог получить минной дивизии от Эссена, а ты… ты… тебя выбрали?

– У меня не было причин, папа, отказываться от избрания снизу, как у тебя не возникло бы их при назначении сверху.

Коковцев указал Никите на портреты его братьев:

– Пади в ноги им! Они не вернулись с моря еще в чинах мичманских, но память их останется для меня священна. А ты… Шкурник, христопродавец, отщепенец и мразь!

Сережа боязливо передвинулся ближе к матери, которая, слабо ойкнув, закрыла рот ладонью. Ольга Викторовна вдруг пристукнула сухоньким кулачком, посинелым от холода.

– В этом доме все уже было, – произнесла женщина резким голосом. – И ты достаточно оскорблял меня. Теперь оскорбляешь моего сына… Не смей! Если Никите это нужно, пусть он и делает то, что ему нужно. Это его право.

Тягостное молчание стало невыносимо. Всегда сдержанный, Никита все же не вытерпел, обратясь к матери:

– Я хочу всем только самого лучшего. Папе тоже. Пора бы уж понять, что старая Россия не сдохла, как загнанная кляча, и она не смердит вроде трупа. Она жива и будет жить, возрожденная в новом обличье, а наш российский флот…

– Не касайся флота! – крикнул ему отец. – Я потерял двух сыновей, оплакав их горькими слезами. Разве же я мог думать, что потеряю и тебя… последнего! Но оплакивать тебя, скомороха, я не стану… уходи! Чтоб я тебя больше не видел!

Никита резко повернулся. В передней сдернул с раскрылки свое пальто, и было слышно, как затихают его шаги на пустынной лестнице. Глаша издала протяжный стон – из души:

– Он такой же хоро-о-ший… как и Го-о-ога!..

Ольга Викторовна, наперекор своей женской судьбе, тасовала колоду карт, точными жестами раскладывая пасьянс.

– Ну? – спросила она. – А что будет дальше?

Владимир Васильевич сбросил с колен женский плед.

– Не знаю, что дальше, но в этом доме я стал чужим! Пожалуй, мне лучше уйти. Хочешь, поедем вместе… к Колчаку!

Глаша, еще плача, натягивала на сына несуразное и длинное, как салоп, пальтишко, кутала его тонкую шею шарфиком.

– И зачем вам уезжать? – говорила, всхлипывая. – Я и сама могу уехать от вас… мешать никому не стану.

– Не в тебе дело. Сядь и не дури! – жестко повелела Ольга Викторовна, переворачивая туза и валета. – Уж если вопрос ставится так, что кто-то должен отсюда уехать, так ты обязана остаться со мной… Если, дорогая моя, ты еще не усвоила этого, так за тебя понимаю я. И вообще, – сказала она, – в этом доме есть только одна хозяйка – это я!

Ольга встала. Выпрямилась. Ее голова тряслась. Но в этот момент она была очаровательна и прекрасна, как никогда.

– Разве ты не поедешь со мною в Сибирь? – спросил он ее.

– Нет. У меня есть сын. Есть внук. Я не отдам их никому. Ни немцам. Ни англичанам. Ни французам. Ни тебе. Ни Колчаку… В этой квартире, не забывай, я увидела свет божий. Здесь я играла с куклами. Отсюда бегала в гимназию, восторженная девочка. Нет, это не я к тебе – ты пришел ко мне! Но здесь я впервые познала с тобою любовь… Ты можешь ехать, Владечка, – закончила она с бесподобным торжеством.

– Не люби меня! И зачем я тебе? Избавь меня от любви!

Ольга Викторовна рассмеялась – с надрывом:

– Нет уж! Я буду любить. Я хочу любить. Назло тебе! Я любила всегда. Как кошка… И люблю даже сейчас. Мне стыдиться нечего. Люблю, да! У меня нет и не было любви больше, кроме любви к тебе… Это на всю мою жизнь – одна любовь!

Коковцев, сжавшись в комок, просил ее:

– Так не бросай же меня. Мы много прожили.

– Была и счастлива. Спасибо за это. А теперь… уходи!

За спиною адмирала, словно взведенное ружье, четко клацнул замок. Он вдруг стал дубасить в двери ногою:

– Ольга! Но ведь нельзя же нам так… прости!

Ольга Викторовна не впустила его обратно. Поникший адмирал шаткою походкой побрел через сугробы на Английскую набережную. Петроградский голод и холод коснулись и Ивоны: кутаясь в шубу, которой одарил ее «шоффэўр» герцога Лейхтенбергского, она грызла шоколад, полученный от французского консульства. Коковцев, даже не сняв пальто, опустился на стул.

– Чего ты сидишь и ждешь, моя прелесть?

– Надеюсь, мне можно погреть свою нежную fanny?

Коковцев сказал, как быстрее выбраться из этого города:

– Сейчас с Дальнего Востока гораздо ближе до Парижа, нежели отсюда… Вставай и собирайся.

– Хочешь шоколаду? – ответила Ивона и, подобрав под себя ноги, еще плотнее закуталась в шубу. – Если бы ты предлагал ехать в Испанию к адмиралу Сервере, я бы еще подумала. Но замерзать в армии Колчака… Нет, mon amiral!

Он всегда удивлялся ее встревоженным глазам.

– Зачем я жил? Скажи, ради чего оскорблял свою жену, мать моих детей? Чтобы ты меня сейчас предала?

– Не приставай с глупостями, – предельно ясно отвечала Ивона. – Разве я оскорбляла твою жену? Или я виновата в гибели твоих детей? И зачем ты пришел сюда, если заранее знал, что конец у нас будет смешным?

– Трагическим! – Коковцев опустил руку в карман пальто. Он сказал женщине, что все эти годы она была для него только дурным наваждением. – Я ведь не говорил тебе правды. Выслушай ее: когда «Буйный» отходил от борта «Суворова», на том месте, где я оставил твоего несчастного мужа, оставалась лишь дыра от прямого попадания снаряда… Дыра, и все!

– Тебе захотелось облегчить свою совесть?

– Не смейся надо мною. Это ведь страшно!

– А мне смешно. Кому ты нужен сейчас?

– Встань! Одевайся. Едем в Сибирь.

– Я уезжаю завтра в Париж… не с тобою, пойми.

Коковцев выдернул из кармана браунинг:

– Мерзавка… на! на! на! Получай…

Ивона ничком сунулась в угол дивана, умерев бессловесно и тихо. Струйка крови, медленно выползая из уголка дряблых губ, напомнила Коковцеву сок разжеванной ею малаги.

– Господи, простишь ли меня? – взмолился он…

Поезд уносил его прочь и навсегда. Кто-то, невидимый в потемках вагона, рассказывал, что во Владивостоке порядок:

– Матросы даже честь отдают, офицеров глазами едят. Колчак – фигура, атаман Семенов еще крепче. Чуть что не так – в прорубь башкою: бултых! Потому там особенно не размусоливают. Есть! – козырнули тебе, и катись к едреней матери….

Всю ночь под Коковцевым ерзали визжащие рельсы, переговариваясь на промерзлых стыках отчаянно: «Кол-чаку! Кол-чаку! Кол-чаку!» Страшным пронзительным воем паровоз разрезал великие российские пространства… Неужели все кончено?

«Где же вы, очаровательный мичман Коковцев?»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Омск – столица страны, что называлась «Колчакия». Над вокзалом реяло бело-зеленое знамя. Приказом Колчака мордобитие в армии было запрещено. Но как слышал Коковцев еще в поезде: «Приказ приказом, адмирал адмиралом, а морда есть морда!» Владимира Васильевича мучил голод… Бывшее здание губернатора, где размещался штаб Колчака, было обтянуто на площади веревкой, вдоль которой ходили вооруженные белочехи, а по булыжникам дефилировал английский батальон Миддльсекского полка – преторианская гвардия «верховного». Коковцев безо всякого интереса наблюдал, как англичане топчутся на одном месте, отрабатывая «шаг на месте», и вспоминал почему-то конские ребра, которые, простаивая в очередях, добывала Глаша в голодном Петрограде. И очень остро, страшно болезненно резануло сердце тоскою по Ольге:

Где ты, мой грозный бич, каравший столь жестоко?Где ты, мой светлый луч, ласкавший так тепло?..Это были строки Апухтина, которые сейчас и вспомнились. Проникнув за веревку, Владимир Васильевич, завшивевший и немытый, представился в штабе дежурному офицеру:

– Доложите верховному, что его желает видеть контр-адмирал Коковцев, его коллега по Балтике… он меня знает!

– Верховный не принимает. А вы откуда?

– Из Петрограда. Вырвался.

– Стоило вам мотаться в такую даль! Возле Уфы фронт красных уже прорван, мы идем на Казань и Самару, и месяца не минует, как будем в Москве и Петрограде…

Была весна 1919 года. С вокзала протяжно стонали колчаковские бронепоезда. В сквере перед штабом оркестр из военнопленных австрийцев заиграл: «Там, где Амур свои волны несет, ветер тревожную песню поет, да поет…» Тоскливо думалось: «Где бы поесть?» В приемной адмирала он присматривался к людям – в чаянии найти знакомцев по прежней вольготной жизни, которые бы пригласили его к обеду. Удивляло оживление господ, похожих на биржевых дельцов, и множество женщин, среди которых выделялась ангельской красотой Анна Васильевна Тимирева, дочь директора московской консерватории; Коковцев знал ее по Балтике, как жену командира крейсера «Баян», и, плохо разбираясь в омской обстановке, напомнил Тимиревой о ее храбром муже, сражавшемся с немцами в битве при Моонзунде.

– Храбрец остался на Балтике, – отвечала женщина, – а я в Сибири… Мишель! – позвала она кого-то.

Мимо проходил флаг-капитан Смирнов – при аксельбанте, в высоких фетровых валенках (тоже контрадмирал). Коковцев напомнил ему, что они встречались на Черном море, когда вместе ходили на Тендру опробовать минные прицелы.

– Ты к адмиралу? Не советую. Он сегодня кипит, как молочный суп. Чуть отвернись – льется через край… Аничка, – сказал он Тимиревой, – с телеграфа приняли приветствие Клемансо и декларацию от французского правительства. Будь любезна, отнеси верховному сама. – Смирнов провел Коковцева в кабинет. – Ради бога, – нашептал он, – никогда не напоминай этой бабе о ее первом муже, командире «Баяна».

– А я уже ляпнул! – сознался Коковцев.

– Ну и глупо… У верховного с нею такой роман, что их, как собак, водою не разольешь. Не хочу тебя пугать, но адмирал что-то плох и глаза закатывает, как петух с горошиной в горле.

Коковцев сказал, что дела на фронте идут хорошо.

– Так это на фронте, – ответил ему Смирнов. – А тут помимо романа, кажется, примешан и морфий… Сам увидишь!

Коковцев признался, что умирает с голоду. Кастовая консолидация сработала моментально, и часть содержимого бумажника Смирнова перебазировалась в карман Владимира Васильевича. Смирнов посоветовал остановиться в меблированных номерах мадам Щепанской, но в разговорах быть осторожным.

– Здесь все шиворот-навыворот, – сказал он. – Убежденные монархисты уклоняются в левизну демократий, а господа эсеры и меньшевики перековываются в убежденных монархистов. Главная же наша беда, что в Омске очень мало джентльменов.

– А разве среди союзников?..

– Это не союзники, а самые настоящие сволочи…

Поборов чувство голода, Коковцев нашел в себе силы прежде навестить Алчедавские бани на берегу Оми, где обмыл грязь и пропарил вшей, после чего, услаждаясь пивом, спросил банщика – что в Омске, помимо верховного, есть примечательного?

– Желаете взглянуть на кадетский корпус… кирпичный! В два этажа. Опять же Вознесенский собор примечателен. В нем знамя Ермака вывешено. Абалакская икона божьей матери.

– А «мертвый дом» Достоевского – где он?

– Извините, о таком слышать не доводилось…

В номерах Щепанской он обедал, разговорившись с соседом – полковником Генштаба, дезертиром из Красной Армии.

– А вы-то зачем здесь? – спросил он Коковцева.

– Бежал. Меня в «Совдепии» ставили к стенке.

– Ну, вот! А меня в «Колчакии» прислоняли к стенке. За большевизм. Едва отбрехался… Куда же вы теперь?

– Не знаю. Наверное, во Владивосток…

Но «верховный» не спешил повидать коллегу, а Коковцев, изнывая от тоски, блуждал по хлипким мосткам тротуаров, поражаясь отсутствию растительности и безалаберности города, похожего на большое кулацкое село. Над крышами тарахтели аэропланы с летчиками-французами, на Иртыше крутились пропеллеры аэросаней с британскими водителями. Весна пробуждала Омск, в окрестных рощах его – будто раскинулся цыганский табор беженцев. На кострах варили еду, откапывали землянки для жилья, здесь же паслись лошади и коровы. На базаре казаки в лохматых шапках маклачили добром, награбленным в карательных экспедициях, один бородатый дядя растягивал над собой, как гармошку, бюстгальтер невероятных габаритов, крича в толпу:

– Кому титишник? Эй, бабье, налетай – подешевело!

На лбу Коковцева не написано, кто он такой, и мужик с воза сказал адмиралу с явным озлоблением:

– Рази это люди? Шпана паршивая. Придет на постой, нажрет, у крыльца нагадит, твою же бабу изволохает, а на прощание хоть ведро, да упрет с собою. Прямо вредители какие-то! Посидит казак на лавке, и лавка сломана. Чаю попьет, и крантик от самовара отвалится… Нет уж! – сказал мужик с высоты воза. – Пущай лучше большаки приходят. При них, сказывали, тоже паршиво, да зато хоть свинства они не делают…

Вечером к Коковцеву подсел какой-то юркий недобитый эсер, начал жаловаться, пугливо озираясь по сторонам:

– Здесь воцарился такой ужасный произвол, что времена царствования Романовых кажутся из Омска библейским раем.

– А! – злорадно отвечал Коковцев. – Терпите, как мы от вас, шибко грамотных, терпели…

Как раз в это время Колчак аннулировал хождение по рукам «керенок», вызвав недовольство армии, особенно казачества.

– Черт дернул адмирала! – ругались офицеры. – Бывалоча, карманы пленному вывернешь, а оттуда тысячные бумажки так и сыплются. Я жене четыре швейных машинки купил…

Из лесов Прикамья «верховный» правитель уже видел златоглавые пейзажи Москвы, его звезда разгоралась все ярче.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Его не хотел признавать только атаман Семенов, засевший со своими бандами в Забайкалье и грабивший эшелоны с добром по примеру кинобоевиков о нравах Дикого Запада: Семенов действовал без страха, ибо за его спиной торчали штыки самурайской Японии, не желавшей вмешательства Антанты в дела Сибири, чтобы превратить Сибирь во владения японского императора… Об этом, конечно, «верховный» не стал говорить Коковцеву при свидании, которое состоялось на квартире обворожительной Анички Тимиревой. Колчак начал беседу раздраженно:

– А я вас не ждал! И мы, простите великодушно, не обтирали пыль с кресла – в ожидании вашего появления…

Начало не предвещало ничего доброго. Коковцев сжался. Может, и лучше бы глодать конские кости в Петрограде?

– Я немного и требую, – сказал он. – Неужели в вашем обширном аппарате не найдется местечка и для меня?

– В одном только Омске шесть тысяч бездельников требуют от меня квартир и пайков, ничего не делая и не умея делать, кроме того, чтобы пьянствовать по шалманам и отвинчивать от дверей моего штаба золоченые ручки, дабы затем «толкнуть» их на базаре на очередную выпивку. Где набраться стульев?

Это был гафф! Но Коковцев проглотил оскорбление. Мишка Смирнов, свой человек в этом доме, расселся за столом, по-хозяйски наливая себе побольше, а другим поменьше.

– Саня, – сказал он Колчаку, – может, Владимир Васильевич подойдет для классов школы гардемаринов во Владивостоке?

– Там своих дармоедов достаточно…

Опять гафф! Наступил вечер, и в окне пробегали искры – это работала мощная радиостанция, построенная французами в Омске ради поддержания связи с Деникиным на юге, с интервентами на Мурмане и во Владивостоке. Колчак вдруг заявил, что Ленин прав… Коковцеву показалось, что он ослышался.

– Ленин прав, – повторил Колчак, – что не боится даже сейчас проявлять внимание к тем же задачам, разрешению которых я посвятил свою молодость. Он опередил меня, уже послав геологов, чтобы поковырялись в норильских рудах – что там? Сейчас очень важно, кто скорее освоит Северный морской путь вокруг берегов Сибири – я или он?

Только сейчас его мысли выпрямились. А до этого адмирал говорил сумбурно, часто откидывая голову назад и закатывая глаза, почему Коковцев и думал: «Неужели тут не обошлось без морфия?» Он заметил резкое постарение «верховного»: глаза и щеки ввалились, а «рубильник» казался еще длиннее.

– Морской путь через льды, – продолжал Колчак, – необходим для связи с союзниками, чтобы они подкрепили мое движение материалами и людьми. Наконец я расплачусь пудами золота. Еще год-два, и запасы его иссякнут. Но еще имеется пушнина, которую можно вывезти за границу морем… Миша, – спросил он, – а как дела у капитана Грюнберга?

– Пароходы готовы выйти к устью Колымы, концессия на вывоз пушнины компаниями «Эйтингтоншелл» и «Фумстен» уже обговорена. Американцы согласны выплатить нам кредит.

Коковцев понял, что Колчак решил от него избавиться. Он сам налил себе коньяку и сказал, что в полярную экспедицию негоден:

– Не забывайте, что я старик перед вами. Если вы даже сейчас сидите передо мною в валенках, так каково будет мне на Колыме? Вряд ли и вы, господа, пошли бы сейчас на зимовку?

Колчак не настаивал. Неожиданно он признался:

– Мне повезло! Если бы я начал свое движение в бедных губерниях, ничего бы не вышло. Антибольшевизм развивается только там, где люди живут богато и сытно. Догадываюсь: стоит сибирякам вкусить горечи от нищеты, и я сразу перестану быть нужен Сибири… Знаете ли, как зовут меня ныне? Маргариновым диктатором! Поэтому и говорю вам, Владимир Васильевич, пока еще не поздно, пошлите-ка вы меня подальше.

– Как послать? – удивился Коковцев.

– А так и посылайте к… Не стесняйтесь!

Смирнов вышел проводить Коковцева, и тот спросил его – как понимать депрессию адмирала, в чем дело? Флаг-капитан смотрел, как радиоантенны рассыпают в ночи красные искры.

– Это роковой человек… очень роковой, – сказал он. – Но в одном он прав: России нужна диктатура, пусть даже маргариновая. В конце концов, если нет масла, жарят на маргарине, и ничего – не дохнут! Адмирал признает одну волю – волю милитаризма. Война для него выше справедливости, выше личного счастья, выше самой жизни… Да, это роковой человек!

Последним напряжением сил взяли Глазов. Но затем, сбив колчаковские заслоны, Красная Армия перешла в наступление по всему фронту, вернув Уфу, Златоуст и Екатеринбург, затем, перевалив через хребты Урала, она устремилась в Сибирь – вдоль Великой Сибирской магистрали – прямо на Омск.

Начинался «бег к морю» – к причалам Владивостока.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В ресторане Щепанской офицеры, прикатившие с фронта, открыто признавали, что большевиков теперь не узнать:

– Одним махом всех побивахом! А союзники уже вяжут свои манатки. Все, что они нам дали, уже перешло к красным. Эшелоны с подкреплением выгружаются на станциях, и, подняв лапки, наши солдаты строевым шагом идут сдаваться большевикам, будто в «Совдепии» их станут медом мазать… Катастрофа! Нужен мордоворот-переворот. Адмирала – ко всем псам! Оздоровить белое движение демократическими тенденциями. Признать перед мужиком: урожай тому, кто землю вспахал и засеял…

Омск обжирался пшеничными блинами с икрой и сибирским маслом, отвергая диктатуру, взопревшую на тощем привозном маргарине. Мобилизованных захлестывала всеобщая волна «драпа», люди, бросая оружие, разбредались по деревням, ожидая прихода большевиков. Если их брали за «цугундер», они бежали в тайгу, где и грелись подле партизанских костров. Железной дорогой целиком овладели белочехи; прикрываясь своими бронепоездами, они хозяйничали на станциях, забирая себе фураж и дрова, паровозы и машинистов. Колчаковская армия, по сути дела, превратилась для них в арьергард, прикрывавший их эшелоны, а дезертиров, цеплявшихся за подножки вагонов, белочехи на полном ходу сбрасывали под насыпь. О грандиозности «бега к морю» можно судить по его железнодорожным масштабам: от Петропавловска до Владивостока протянулся вроде бы один сплошной эшелон – с арсеналами и мастерскими, с госпиталями и покойницкими, с канцеляриями и массою беженцев, стронутых с родных мест невзгодами и гражданской войной. На крышах теплушек складывали поленницы дров и телеги, даже комоды и кровати, а внутри вагонов держали коз и коров, которых, кажется, не столько кормили, сколько выдаивали из них последние капли молока… В этой сумятице Колчак стал никому не нужен.

Коковцев, попав в подчинение к Смирнову, обрел стул в его канцелярии, аккуратно подшивая в папочку входящие-исходящие с номерами далеко за тысячу. Он был сыт и до самого лета не волновался, пока Смирнов не сказал ему однажды, что Челябинск сдан красным.

– Каппелевцы сражались доблестно! Но из депо вдруг вышли тысячи рабочих с оружием, решив эту партию не в нашу пользу. Рок пришел в действие. Сибирь все еще толчет воду в ступе: все мужики за Советы, но чтобы и царь был! А сменить адмирала никак нельзя: Европа и Америка привыкли к нему…

В сентябре Колчак вернулся в Омск из поездки по фронту, и Коковцев присутствовал при свидании «верховного» с послами и генералами союзных армий, которые предложили адмиралу сдать золотой запас России под международную гарантию, клятвенно обещая доставить его во Владивосток. Колчак ответил, что золото будет там, где он сам, где его армия и его министры. Далее, нервно вскочив с места, адмирал крикнул:

– Я вам не верю! Скорее оставлю все золото большевикам, но только не вам… мародерам и спекулянтам!

Очевидец писал: «Эта фраза должна перейти в историю. Уже тогда родилось то, что потом стало формулироваться словами: лучше с большевиками, чем с союзниками». Колчак отправил часть золота впереди армии, но за Байкалом на эшелон напали шайки Семенова, разграбившие банковские вагоны.

Над крышами Омска несло вихри мокрого снега, но Иртыш не замерзал, образуя на путях отступающей армии непреодолимую преграду. Колчак уже не мог обрести равновесия, пребывая в постоянном состоянии сатанинского бешенства. В одну из минут тяжелейшей депрессии, когда он притих и посерел, Коковцев спросил его:

– Если падет и Омск, что последует далее?

– Мы связаны железной дорогой, ведущей к спасению на Дальнем Востоке. Отныне мы не правительство, а лишь путешественники, пересчитывающие верстовые столбы. Жалею, что не успел повесить японскую собаку – атамана Семенова, а теперь он, подлец, обворовав меня, еще и потешается над моим же бессилием. Моим делегатам он выколол глаза и безглазых прислал ко мне. Я велел схватить его подручных на магистрали, отрубить им лапы и отослал к атаману. Пусть знают все: земной суд страшнее суда небесного!

Кажется, что Мишка Смирнов, забулдыга и запивоха, был все-таки прав – судьба, которой он, Коковцев, всегда желал управлять сам, теперь оказалась неподвластна ему, – и оставалось лишь следовать велению зловещего фатума. Распутица продолжалась, по тротуарам Омска хлестала вода… Это ли еще не подтверждение рока? Чтобы в Сибири? Чтобы в ноябре? Чтобы ростепель? Штаб превратился в грязный зал ожидания провинциального вокзала: командование и министры с домочадцами дремали на чемоданах, ожидая, когда сформируют состав. То не было вагонов, то не сыскать паровоза. Саботаж? Колчак, облаченный в романовский полушубок и с малахаем на голове, рвал трубки телефонов, кричал, что саботажников – к расстрелу! Глубокой ночью Смирнов явился со станции, доложив, что состав собран, начинается морозище, и все разом задвигались:

– Мороз, мороз… значит, Иртыш станет!

Колчак ногою в валенке пихал чемоданы Тимиревой:

– Этот… этот… и этот. Хватайте. В машину и на вокзал. Владимир Васильевич, – обратился он к Коковцеву, – вы останетесь при штабе. Еще могут быть служебные телеграммы. Вам позвонят с вокзала, когда все устроится. Не прощаюсь…

Стало пусто. Коковцев открыл бутылку виски. Иртыш замерзал, окна покрывались наледью. В штабе было холодно. Под утро, обеспокоенный, он сам позвонил на вокзал.

– Поезд «верховного» ночью ушел, – отвечали ему. Трубка выпала из руки Коковцева: «Ну, какая подлость!» Владимир Васильевич еще не догадывался, что в этом – его спасение – рок уже не властен над ним, а он снова свободен…

Но свободен лишь относительно. Несколько дней в голове Коковцева неотступно крутились почему-то пушкинские строчки: «Всю жизнь провел в дороге и умер в Таганроге…» Думалось: «Хорошо еще, если в Таганроге, а то ведь…» Volens-nolens, пришлось задержаться в Омске, из которого разом исчезли союзники. Офицеры, сняв погоны и портупеи, очумело шлялись по шалманам, где до утра голосили осипшие от кокаина певички.

Владивосток казался теперь недосягаемым, как и Петербург. С большим трудом Коковцев пристроился в вагоне, в котором размещался цыганский табор, ехавший из Польши в Маньчжурию, а цыгане, как никто, умели ладить с начальством на станциях, и адмирал благополучно добрался до Ачинска.

Здесь цыганский «барон» уговорил Коковцева отказаться от адмиральского мундира, выдав взамен английский френч с накладными карманами и американские бутсы, которые в армии Колчака было принято называть «танками». В Ачинске Коковцев с умилением увидел симпатичных румяных гимназисточек, спешащих на занятия, и пожалел, что не может остаться в этом городе навсегда, чтобы преподавать этим милейшим юным созданиям хотя бы арифметику… Волна «драпа» понесла его дальше!

В красноярском ресторане «Палермо» довелось ночевать под бильярдом в компании того самого полковника Генштаба, с которым он встречался в Омске; теперь полковник вспоминал служение в Красной Армии, называя Коковцеву имена Фрунзе, Блюхера, Тухачевского, Азина, Шорина, Вацетиса… и Троцкого.

– О последнем я что-то слышал, – сказал Коковцев. – Но вы мне прискучили своей ностальгией по большевизму.

– Ах, господин адмирал! Если бы большевики хоть один раз сказали, что они стоят за единую и неделимую Россию, я пошел бы с ними и дальше, не раздумывая. Но они этого не сказали, и в результате я, великоросс, удираю от их Интернационала…

На станции Зыково, близ старого Сибирского тракта, Коковцеву повстречался кавторанг Тихменев, командовавший в армии Колчака дивизионом английских броневиков. Он сказал:

– Если вам угодно, место в броневике найдется. Правда, холодрыга там страшная, на ухабах трясет так, что зубы лязгают. Но где-то по трактам еще бродит железная армия генерала Каппеля, а нам главное – пробиться к Иркутску…

Эшелоны стояли уже впритык, кто был сильнее и нахальнее, тот и брал паровозы, сбрасывая передние вагоны под откос. Морозы усиливались, машинистов, заморозивших в паровозах воду, привязывали к трубам локомотивов, говоря: «Теперь околевай и сам». Вся артиллерия Колчака давно осталась в снегах, разбросанная от поселка Тайга до Ачинска, а броневики Тихменева погибли в сугробах, не доехав до станции Тайшет. Вдоль полотна Сибирской магистрали протянулись только обозы, обозы, обозы – несть числа им (а статистика была жуткая: на двадцать пять тысяч боевых штыков – сто сорок тысяч беженцев, кормящихся из котлов разрушенной армии). На полустанке Разгон Тихменев застрелил свою жену, после чего застрелился и сам, матросские команды его броневиков разбежались.

Коковцев двигался за обозами иногда пешком, из милости его пускали на дровни. Возницы пальцами выковыривали из лошадиных ноздрей сосульки, похожие на ледяные морковки. Вокруг трещали костры, небеса освещались пожарами деревень. Фырканье конницы и матерщина, детский плач и причитания над умершими. Одинокие выстрелы, хруст снега под валенками тысяч ног, надсадные скрипы санных полозьев и полная неизвестность – что впереди?

Там, где на картах отмечались большие станции, находили жалкие заимки, а на пустом месте, среди лесов, вдруг возникали села, почти города, с двухэтажными домами из камня, внутри которых тепло и сытно, а на стенках, возле икон, висели портреты Николая II и Иоанна Кронштадтского. Пробиться в блаженную теплынь не удавалось, Коковцев привык ютиться в хлевах, иногда грелся возле лошадиного брюха. Даже будки путевых обходчиков были забиты столь плотно, что, если открыть дверь, люди выдавливались на мороз, словно мешки… Стало известно, что какой-то колчаковский генерал Зиневич не пропускает далее ни эшелонов, ни обозов, требуя разоружиться, подчинившись какой-то новой «земской» власти, которая якобы обязалась сдавать города Красной Армии. Коковцев ехал среди каппелевцев, а сам Каппель, накрытый ворохом шуб, лежал в розвальнях, и, умиравший, он еще хрипел:

– Да застрелите же предателя Зиневича… Дальше, дальше! Еще не все потеряно, Колчак в Иркутске, там новый фронт…

На станции Зима известились, что Колчак отказался от власти, передав ее… атаману Семенову, которого адмирал призывал в Иркутск, чтобы он перевешал его министров и генералов, за что и обещал атаману отсыпать из своих вагонов чистого золота. «Наверное, опять морфий», – думал Коковцев, не понимая, как флотский офицер может идти на сговор с этим уголовным типом. Ночь под новый, 1920 год Коковцев встретил под лавкой зала ожидания на вокзале станции Зима, и эта ночь под лавкой почему-то напомнила ему ночь под столом кают-компании миноносца «Буйный». Но в Цусиме все было иначе, тогда еще не угасли надежды, а теперь… Утром он ощутил жар и озноб. Телеграф принес новость: в Иркутске восстание, власть захватил некий «Политический центр» («центропуп», как его окрестили сибиряки), составленный из эсеров и меньшевиков. Хрен редьки не слаще, но этот «центропуп» задержал белочешские эшелоны, стремившиеся к причалам Владивостока, где японцы обещали чехам корабли для отъезда в Европу. Иркутск соглашался пропустить чехов далее, если они сдадут Колчака, если не тронут вагонов с золотом, которые тащил за собою «маргариновый диктатор».

Чехи сдали Колчака, сдали его штаб, сдали и золото.

Коковцев не успел добраться до Иркутска, когда Колчак был уже расстрелян, а его труп, опущенный в прорубь, подхватила стремительная Ангара и понесла адмирала к Ледовитому океану.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Коковцев с трудом помнил, как выбрался со станции Зима, в сильном жару, почти в бредовом состоянии. За десять тысяч колчаковских бонов чехи согласились взять адмирала в приемный покой своего бронепоезда «Орлик», который двигался в арьергарде их эшелонов. На станции Иннокентьево, в семи верстах от Иркутска, они сказали Коковцеву, что дальше не повезут его, ибо у них существует соглашение с иркутскими властями – ни в каком обличье не провозить русских офицеров.

Коковцев нанял на станции извозчика до Иркутска:

– Вези меня в любую больницу, какая ближе…

Коковцев попал в «солдатскую» больницу на Семеновской улице, где больные лежали даже на лестничных ступенях, врачи и сестры перешагивали через тифозных. Дежурный врач сказал:

– Извините, но вы, кажется, офицер, а всем офицерам сначала следует пройти регистрацию в ревкоме. Если ревком не будет возражать, я вас приму. Но, сами видите, надежд на излечение очень мало, лекарств в больнице нету.

Впрочем, он надоумил, как избежать регистрации, дав адрес частной клиники братьев-врачей Бондаревских в Глазковском поместье города. Бондаревские сказали Коковцеву:

– У нас такса: две недели – две тысячи… Есть?

– Бонами или керенками? – пошатнуло Коковцева.

– Кому нужны боны Колчака? Клади керенками…

Они лихо выпотрошили его карманы, но не столько лечили, сколько запугивали декретами, которые обязывали Коковцева предстать перед властью «центропупа», чтобы получить от них искупительное удостоверение, после чего каждую субботу надо отмечаться в милиции. Весь курс лечения ограничился однажды принятой ванной, но каждый день кормили киселем из ягод облепихи. Из «Иркутского вестника» Коковцев узнал, что в Сибири восстанавливается советская власть, армия Колчака сложила оружие, а каппелевцы, обходя Иркутск лесами, прорываются в Забайкалье – к Семенову. Коковцев говорил о себе, что он школьный учитель, потерявший семью. Напрасно! Бондаревские без разговоров вышвырнули его на улицу, еще слабого, сразу же как миновали две недели. В Казанском соборе, куда Владимир Васильевич забрел, желая погреть свои старые кости, ему опять повстречался тот же полковник Генштаба.

– Вы теперь кто? – спросил он, крестясь.

– Притворяюсь учителем.

– А я политическим ссыльным. Регистрацию прошли?

– Что вы! Не дай бог.

– Я тоже решил не соваться в эту петлю. – Он сказал, что еще можно бежать в Монголию. – Но вот беда: монголы бумажных денег не берут, им давай только чистое золото… Нету?

– Откуда у меня золото? – пожался Коковцев.

– Надо пробиваться к японцам… Иены есть?

Иен не было! Но теперь Коковцев пожалел об этом. В канун отъезда Колчака из Омска в штабе потрошили мешки с японскими деньгами, все брали сколько желательно, а Владимир Васильевич… постеснялся. Он сказал полковнику, что Сибирской флотилией командует его приятель по Балтийскому флоту, контр-адмирал Жорка Старк, – только бы до него добраться:

– Уж как-нибудь! Миноносец от него получу. Сейчас не до жиру – быть бы живу… Давайте, полковник, едем вместе.

– Хорошо. Я буду изображать идиота, а вы, адмирал, оставьте свое наивное учительство, никто вам не поверит…

Образованный генштабист в поезде объяснял Коковцеву географию и экономику богатого Забайкальского края.

– Профессор Тимонов, – говорил он, – был убежден, что внутри Амуро-Уссурийской области необходимо создать Софийский морской порт, тактически выгодный для России, ибо притоки Амура сулят немалую выгоду для развития этого захолустья…

– Ваши документы! – незаметно подошел к ним патруль.

– Это… идиот, – показал Коковцев на полковника.

– Тогда мы тоже идиоты. А вы кто, гражданин во френче?

– Я… нормальный. Контр-адмирал, честь имею.

– Куда путь держите?

– На Амурскую флотилию, где меня ждут.

– А какие-либо бумаги имеете?

– Вы видите, как я одет? У меня ничего не осталось.

Странно, что его, назвавшегося адмиралом, пропустили, а «идиота», сведущего в вопросах геоэкономики, арестовали, и он навсегда пропал в неизвестности. Обстановка же при японцах была совсем не та, что в «Колчакии» при союзниках. Если Антанта делала вид, что занята «спасением России от ужасов большевизма», то самураи не скрывали, что они плевать хотели на демократию, они сторонники возрождения русской монархии. Япония поделила Дальний Восток между своими вассалами: Семенову – Забайкалье с престолом в Чите, Гамову – Приамурье, Калмыкову – Хабаровский край. Это была оголтелая «атаманщина», и, встретив на таежной тропе голодного тигра, легче было у зверя вымолить пощады, нежели у этих живодеров. Семенов был особенно «колоритен». Приехав в город, где имелось железнодорожное депо, он порол всех подряд – от главного инженера до ученика слесаря. Если входил в деревню старообрядцев, то раздевал всех догола и опять порол… Зачем? А просто так: ради хулиганской экзотики…

Поезд медленно тянулся от станции к станции. Японский офицер в отличной шубе с воротником из волчьей шкуры оставил на скамье газету «Ници-Ници», которую и просмотрел Коковцев; генерал Танаки писал: «Большевистская волна гонит на Восток подлинных хозяев страны. Они заслужили у японцев сочувствие, и потому мы используем их в качестве социальной и политической базы будущего административного устройства Приморья, Приамурья и Восточной Сибири». Штыки русского народа упирались в неприкасаемые шубы с пышными волчьими воротниками.

Это был февраль 1920 года, когда Ленин открыто признал: «Вести войну с Японией мы не можем… нам она по понятным условиям сейчас непосильна»! Коковцев, конечно, ничего этого не знал, да и знать ему не хотелось. Ему сказали, что в Сретенске есть на станции кипяток и дешевая обжорка…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Когда он вышел на перрон, кто-то его окликнул.

– Вы меня? – удивился Коковцев.

– Тебя, тебя, – отвечал молодой человек с приятной, располагающей внешностью (без всяких признаков оружия).

– Простите, не имею чести знать вас.

– Ротмистр Саламаха! С приездом… гнида!

Удар кулаком в лицо поверг контр-адмирала наземь. Саламаха (откуда силы берутся?) встряхнул Коковцева, будто тряпку. Только теперь в его руке появился револьвер:

– Вперед, не оглядывайся. Здесь тебе не Москва…

На путях отфыркивался заиндевелый бронепоезд атамана Семенова, составленный из четырех блиндированных вагонов. В первом – штаб-салон атамана с картами и выпивкой, во втором – запасы золота и награбленное добро, в третьем – тюрьма и пыточная камера, а в четвертом – гарем атамана, в котором подбор женщин свидетельствовал о том, что Семенов не грешил расовыми предрассудками. В тамбуре растопырился пулемет-кольт, вдоль коридора тянулась пирамида с японскими карабинами системы «арисака». Саламаха, шагая сзади, очень ловко выудил из кармана Коковцева бельгийский браунинг. Пинок в зад не столько оскорбил, сколько ускорил движение адмирала навстречу гибели… Семенов гулял по cалону, обставленному, как хорошая гостиная, он был в кавалерийских галифе и шелковой сорочке. Его распухшая от алкоголя морда выглядела вполне добродушно. На спинке стула висел желтый мундир офицера Забайкальского казачьего войска.

– Ну, что? – спросил он. – Попался?

Спокойно им был выслушан подробный рассказ адмирала.

– А зачем врешь? – спросил Семенов, смачно зевая. – Беда мне с этими адмиралами… Сколько с Колчаком грызлись, а теперь тебя черт принес. Думаешь, я тебе поверил? Или эти краснозадые в патруле такими уж были дурачками?

– Выходит, что дурачками, – сказал Коковцев.

– Но я-то не дурак! Когда выехал из Москвы? Что тебе надо в моих краях? И что велено у меня тут вынюхать, а?

Саламаха с приятной улыбкой обрушил адмирала на ковер. Потом показал Семенову браунинг, блещущий никелем.

– Вот у него, гада, что было… Григорий Михайлович, может, сразу тащить в третий вагон? – спросил он атамана.

– Погоди. Сначала общупай его до костей…

В карманах было пусто. Но бандитов очень удивил наручный браслет Коковцева: «МИННЫЙ ОТРЯД. ПОГИБАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ».

– Кажется, не врет… адмирал! – заметил Семенов.

Коковцеву было страшно. Саламаха заставил его вытянуть руку с браслетом на столе, под нее он подложил японскую газету, чтобы не просыпать мимо золотые опилки. Он стал распиливать браслет напильником, а Владимир Васильевич в смятении чувств вычитал заголовок статьи: «АЗИЯ ДЛЯ АЗИАТОВ. XX век станет золотым веком для утверждения теории единения всех цветных народов против белых!» Саламаха успел сделать только надрез на браслете, как раздалось шипение пара, и вровень с вагонами Семенова остановился японский бронепоезд, прибывший от пограничной станции Маньчжурия.

– Убирай все это дело, – сказал Семенов ротмистру.

В салон бодро вошел генерал Оой-сан, которому Коковцев и заметил по-японски, что Танаки в «Ници-Ници» пишет одно, а на деле получается совсем другое. Он сказал:

– Я не успел еще ступить на эту землю Забайкалья, как сразу же стал избит, ограблен и обесчещен.

Оой-сан с улыбкой вручил ему свою визитную карточку:

– Пусть она послужит для вас пропуском… куда угодно!

Коковцев разговаривал с генералом, не забывая о суффиксе вежливости – «сан». Но и сам понял, что задерживаться здесь никак нельзя. С визитной карточкой японского сатрапа в кармане английского френча он остался в незнакомом русском городе, где все вызывало в нем отвращение – заборы, дома, люди, деревья, похабщина. Ему хотелось тепла и покоя. Впереди него плелся по улице прохожий, который вдруг сделал круг, будто пьяный, но тут же выровнялся и пошел далее нормально, как и все люди…

– Геннадий Петрович, это я… постой! – крикнул Коковцев.

Атрыганьев спросил его как ни в чем не бывало:

– Слушай, Вовочка, а бывал ли ты в кегельбане Бернара на Пятой линии Васильевского острова?

Вот каким он стал: жилистый старик с длинною бородой, а виски отмечены розовыми впадинами – то следы пули, вошедшей в голову после Цусимы справа и вышедшей из головы слева.

– Да, бывал у Бернара, и не раз, – отвечал Коковцев.

– Значит, и ты состарился, дружок… Ах, если б можно было вернуться на клипер «Наездник» и начать все сначала!

Атрыганьев двинулся дальше, время от времени описывая круги, с утоптанной тропы он сворачивал в сугробы…

Он уводил Коковцева в село Кокуй на Шилке, где впервые в русской истории был поднят гордый флаг Амурской флотилии. Делая круги, но рассуждая логично и здраво, Геннадий Петрович сказал, что Москва создает политический буфер, образуя автономную Дальневосточную Республику (ДВР), а нарком Чичерин недавно заявил, что Советская Россия отныне не имеет никакого отношения к войне Японии с населением дальневосточной России… Атрыганьев похлопал рукавицами.

– Очень мудрое решение, – сказал он. – Инженеры придумали буфера, чтобы смягчить удары при столкновении вагонов. Большевики додумались до создания политического буфера. Отныне от Байкала до Тихого океана перед японцами воздвиглась некая загадочная для них страна, к которой не придерешься – она не грешит ни коммунизмом, ни капитализмом. Каков пассаж?

Коковцев еще весь был в переживании того оскорбления, которое испытал в первом вагоне атамана Семенова.

– Если бы не этот Оой-сан, я не знаю, что было бы!

Геннадий Петрович сделал перед ним еще один круг:

– Дыши глубже, Вовочка! По Цельсию с утра было тридцать семь градусов. Кстати, обрати внимание на те похабные рожи, что ты видишь. Население Сретенска обозначается пятизначным эпитетом: уголовно-каторжно-казачье-скотски-разбойничье!

Неподалеку от Сретенска, в Муравьевском затоне, зимовали во льду канонерки и мониторы. На берегу высился добротный барак из бревен, внутри которого работал котел и машина, снятые с миноносца, чтобы давать пар для обогрева, чтобы давать энергию для электроосвещения флотилии. Атрыганьев воткнул ключ в дверь комнаты с табличкой «Главный лоцман АОПТ – Г.П. Атрыганьев».

Коковцев спросил его – что такое «АОПТ»?

– Амурское общество пароходства и торговли…

Дверь открылась. В комнате топила печку молоденькая китаянка в штанишках из черного ситца, шаловливая и резвая, как бесенок. Атрыганьев сказал Коковцеву:

– А как быть иначе? Когда мужчине далеко за семьдесят, он всегда бережет свою женщину под замком…

Лоцман выставил флягу с самогонкой местного (отвратного) производства и водрузил перед другом буженину из медвежатины, присыпанную для вкуса тертым оленьим рогом. Выпив и закусив, Коковцев оттаял душою. Стало тепло. Он сказал:

– Сколько прожил, я всегда считал себя человеком хорошим. А теперь, на пороге смерти, вдруг понял: человек я плохой.

– У меня наоборот! – бодро отвечал Атрыганьев. – Всю жизнь страдал от сознания, что человек я пустой и ненужный, а ныне, в конце пути, я понял, что прожил добрым и честным, и надеюсь завершить свое плавание у доброй пристани…

Он снял с полки номера «Вестника Амурской флотилии»:

– Погляди! Здесь и статьи твоего сына – Никиты Коковцева, умный и славный был мальчик… Где ты его оставил?

– Он остался сам – на Балтике.

– Был бы дураком, если бы не остался. Балтика начала флот великороссийский, Балтика и возродит его заново…

Коковцев показал ему визитную карточку Оой-сан:

– С нею я, наверное, доберусь до Владивостока?

– Одумайся, Вовочка! Даже каппелевцы, спасаясь в Даурии, отрыгнули Семенова и японцев, как падаль, так не уподобляйся же ты рептилиям. В нашем мерзостном состоянии должно оставаться предельно честными. В честности – наше спасение…

Ближе к весне 1920 года, когда чуть упали морозы, Приморская земская управа, которой (исподволь!) управляли большевики Владивостока, начала готовить флотилию к боевой и активной жизни. Атрыганьев внушил Коковцеву, чтобы он не торопился повидать Жорку Старка во Владивостоке:

– Японцы там устроили недавно резню. На улицах кучи убитых, говорят, в топках паровоза сожгли и Лазо, очень порядочного человека… Что тебе дался Старк с его трухой от последних миноносцев, если самураи, и тот же Оой-сан, вертят им, как хотят! Почитай, что они сами пишут во «Владиво-ниппо»…

«Владиво-ниппо» (на русском языке) писала о Приморской управе: «Из-под овечьей шкуры так и несет собачьим мясом…» Атрыганьев устроил Коковцева на службу в АОПТ – писарем.

Когда пришла весна, Семенову возжаждалось прибрать корабли к своим рукам, но это ему не удалось. Два парохода даже покинули его, найдя прибежище в затонах Амурской флотилии, которая стала именоваться Красной Амурской флотилией. В ответ на это японцы устроили резню и в Хабаровске. Геннадий Петрович посоветовал Коковцеву оставить свою писарскую науку:

– Ты же минер, Вовочка, и отличный минер…

В одну из летних ночей Владимир Васильевич (как всегда, мастерски) забросал минами фарватер Амура у слияния его с Сунгари, преградив японцам и китайцам все пути к городам этого края, пусть несчастного и кровавого, но все-таки русского! Вернувшись, застал Атрыганьева в сильном подпитии.

– А я был у Семенова, – сообщил он. – Снова отказался от проводки его кораблей по фарватерам. Если сволочи угодно, пусть еще покатается на своих бронепоездах, но прекрасный вальс «Амурские волны» ему, скотине, больше не танцевать…

– Ты в каком был вагоне? – спросил его Коковцев.

– На этот раз в третьем. Саламаха показал мне китайские пытки, искусству которых научили его приятели – хунхузы Чжан Цзолиня. Но за эти два года я прошел через все четыре вагона. Ты не поверишь, Вовочка, что бывал даже в четвертом. Семенов – неотесанное мужичье, и ум у него мужицкий. Когда человек ему надобен, он становится с ним ласков, вроде теленка. Но меня, с белой костью и голубой кровью, никакая сволочь не купит! Даже девочками тринадцати лет, которых он не раз и предлагал мне со всей любезностью, на какую способна лишь гадина. Нет! Лучше умру, но не поведу его по амурским фарватерам…

По Амуру давно уже ходили легенды об Атрыганьеве, который в лицо атаману высказывал все, что он думал о нем, как о мерзавце и палаче, а Семенов с мрачным отупением, положив челюсть на эфес шашки, выслушивал от лоцмана такие слова, каких не посмел бы ему сказать никто. Наверное, атаман просто шалел от дерзости, вроде хищника, который привык, что перед ним все разбегаются, и вдруг кто-то трогает его за усы… В один из дней Атрыганьев сообщил:

– Семенов вчера послал аэроплан в Читу на разведку, и летчик видел на площади парад армии ДВР и Красные флаги. Атаман пьет без просыпу. Пьет и вешает…

Летом армия Каппеля порвала с бандами Семенова; среди каппелевцев были сделаны попытки просить правительство ДВР, чтобы их включили в состав Народной армии, а люди старшего поколения умоляли вернуть их к семьям, оставшимся на Волге и за Уралом. В августе ушли с русского Дальнего Востока отряды китайских интервентов. Японцы тоже потихоньку убирались из Забайкалья в сторону моря. Лучшие корабли они перегоняли на Сахалин, а на тех кораблях, которые не могли увести с собою, самураи обливали серною кислотой не только механизмы, но даже палубы. В пушки они заклинили снаряды, обернутые паклей, пропитав ее предварительно разъедающими металл составами. Японцы крушили все подряд, без разбора! В городских домах разбивали мебель и швейные машинки, отвинчивали краны водопровода, дробили в куски даже унитазы. На прощание самураи раздали русским детишкам очень красивые конфетки с ядом, от которого дети и умерли в страшных мучениях… Ушли.

Коковцев закончил подсчет убытков Амурской флотилии:

– Одиннадцать миллионов пятьсот шестьдесят рублей чистым золотом… Геннадий Петрович, ты слышишь?

Он постучался к нему, думая, что старый лоцмаи вздремнул. Но Атрыганьева в комнате не было. Он не пришел к ночи, не вернулся в Муравьевский затон и утром. Кто-то вспомнил, что последняя телеграмма от лоцмана поступила в Сретенск с борта моторного катера «Пантера»:

– Кажется, он ушел по Аргуни до станции Маньчжурия…

Была осень 1920 года; бронепоезд «Атаман Семенов» реверсировал на перегоне от Булака до пограничного «разъезда № 86», затравленный враждебностью населения. Конец был близок! Владимир Васильевич боялся думать плохое. Ему было очень страшно, но все-таки, поборов страх, он выехал на станцию Маньчжурия, за которой рельсы КВЖД стелились уже по чужой земле…

На самой границе двух миров, старого и нового, скрипела виселица. Удушенные в петлях, тихо покачивались шесть человек: пожилой рабочий депо с бутылкой в кармане, генерал царской армии с расстегнутой ради срама ширинкой, неизвестный матрос с выколотыми глазами, женщина в неприлично разодранной юбке, юный телеграфист с бланком телеграммы во рту и… он!

Честный русский человек и офицер Атрыганьев…

Стоя под виселицей, Коковцев решил вернуться в Петербург.

Страшный взрыв вывел его из оцепенения. Это бронепоезд «Атаман Семенов», покидая Даурию, взорвал за собой железнодорожные пути. После этого оставалось одно: вдоль линии КВЖД ехать во Владивосток. Коковцев так и сделал. А мог бы и не делать!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

За взорванными путями через конечный «разъезд № 86» уже вваливалась в Китай полностью разгромленная, оборванная и грязная армия из остатков колчаковщины и семеновщины. Здесь они с матюгами бросали оружие под ноги китайских солдат, а некоторые рассовывали гранаты и револьверы в свои лохмотья…

Кажется, все? Нет, не все. Эта мерзкая орава вояк, не знавших иного ремесла, кроме убийств и грабежей, поспешно загружала эшелоны дешевой китайской водкой. Она катила далее – туда же, куда влекло сейчас и Коковцева: в Приморье! Всю ночь захарканные и расшатанные вагоны КВЖД тряслись от очумелого топота безоружных, но страшных в пьянстве людей, вместе с родиной и семьями потерявших человеческий облик. Из великого песнетворчества русского народа, из чистых родников русской поэзии они вывозили в «полосу отчуждения», к баракам Хун-Чуня и к берегам озера Ханко зловоние самодельных частушек.

Вот и Харбин; здесь они желали обновить запасы выпивки, но китайские власти, слепо повинуясь генералу Оой-сан, не только не пустили голодранцев до буфетов вокзала, но даже замкнули в вагонах двери уборных, и так держали составы половину суток, невозмутимо слушая, как изнутри запертых эшелонов русские громят стекла и стены, требуя:

– Эй, косые! Хоть оправиться дайте! Или в окно фурить?

После «разъезда № 86» Коковцев окончательно надломился. В нем самом и вокруг него, кажется, ничего святого уже не осталось. Впереди эшелонов катили битком забитые санитарные поезда, откуда выбрасывали под насыпь умерших, мчался бронепоезд «Атаман Семенов», во всех четырех вагонах которого продолжалась обычная жизнь: прикидывали, подсчитывали, замучивали, блудили… В тамбуре безмятежно покуривал генерал Бангерский.

– Можно поговорить с вами откровенно, генерал? Неужели еще не конец, на что вы рассчитываете?

Над головою Бангерского давно уже выцвели и обветшали знамена разных оттенков и значений (а закончит он жизнь под флагами латышского правителя Ульманиса).

– Видите ли, – ответил он, давая адмиралу прикурить от австрийской зажигалки, – японцы ушли из Сибири, но покидать Приморье они не собираются. Если большевики умудрились создать свой «буфер» ДВР, то почему бы нам, с помощью Токио, не создать в Приморье свой «буфер»? За тем и едем…

Только сейчас Коковцев сообразил, что сел не в свои сани!

Лишь в январе, в самые-то холода, добрались до полосы отчуждения. Здесь пора бы и рассыпаться в разные стороны, как ненужному хламу, единожды собранному в одну общую кучу ради уничтожения. Но каппелевский сброд, построившись, перешел в Никольск и Раздольное; семеновцы нахрапом овладели поселком Гродеково. Здесь к ним иногда приезжали комиссары от ДВР, убеждая озверелых людей по-хорошему:

– Кончайте волынить! Все уже к чертовой матери давно разрушено, а вы никак не можете взяться за дело. Народная власть прощает вам старое, надо и поработать.

– А что делать-то нам? – спрашивали люди.

– Рыбу ловить на промыслах… пойдете?

– Ты сам лови, дурак! А нас не трогай. Иначе так вжарим!..

Коковцев ни с кем себя не связывал; но и рыбу ловить тоже не пожелал. Своими ногами в «танках» он пешком добрел до Владивостока, увиденного им еще на заре жизни, и сумбурный город встретил его леденящим ветром весны 1921 года. Контр-адмирал стал ютиться в общежитии бездомных офицеров, которых во Владивостоке было как собак нерезаных, а кормился очень скудно, по долговой книжке в столовой Морского собрания, где гадко готовили, зато был великолепен соус всяческих слухов… Коковцев был удивлен, когда в Морском собрании к его столу подошел человек в офицерском френче и высоких солдатских сапогах: это был премьер ДВР – товарищ Никифоров.

– Здравствуйте, господин адмирал, – сказал он.

– Здравствуйте, господин премьер… или товарищ?

– Сейчас это нам безразлично. – После такого вступления Никифоров спросил прямо: – Вы до самого конца были у Колчака?

– Но не в армии, а при его омском штабе, до Иркутска я отступал в обозах генерала Каппеля… Если вы думаете, что я загонял раскаленные иголки под ногти ваших правоверных коммунистов, то вы глубоко ошибаетесь…

– Петр Михайлович, – назвался премьер ДВР.

– Очень польщен. Владимир Васильевич.

– Бывает и так, Владимир Васильевич, что иголки тоже прощаем, если человек чистосердечно раскаялся.

– Уверяю вас, мне раскаиваться не в чем.

– Тем лучше, что ваша гражданская совесть осталась чиста. Мы бы хотели видеть вас в составе нашего правительства.

– Неужели в… Москве?

– Нет, в Чите.

– А в качестве кого же, простите за вопрос?

– Народная власть ДВР могла бы доверить вам управление морскими делами. Вы же сами видите, что от Сибирской флотилии остались рожки да ножки… Позволите присесть рядом?

– Пожалуйста. Ради бога.

– Благодарю. Так вот. Эти рожки да ножки сейчас обгладывает не совсем-то развитый политически адмирал Старк.

– Вы полагаете, что я развит более Старка?

– Не полагаю. Но зато полагаюсь на большую честность. Вы, надеюсь, не станете требовать четырнадцать тысяч иен для покупки в Японии разноцветных шелков для украшения флагами того флота, которого в природе более не существует.

– Не существует. Но к чему так жестоко шутить?

– Какие же тут шутки, если ДВР, не отвергая института частной собственности, согласна работать в контакте даже с капиталистами. Я не так давно виделся с товарищем Лениным на пленуме ЦК в Москве, и, провожая меня в Сибирь, он сказал буквально следующее: «Вот вы и докажите всему миру, что коммунисты могут организовать буржуазную республику и управлять ею» [Цит. по: Никифоров П. М. Записки премьера ДВР.– М.: Госполитиздат, 1963. – С. 239.

]. Кстати, ваша семья здесь? А то вызовем в Читу.

– Это невозможно, – почти задохнулся Коковцев от волнения. – Спасибо, конечно, за такое милое предложение, но мои убеждения мешают мне следовать вашему совету. Я ведь не признаю вашего Интернационала, я убежденный сторонник единой, великой и неделимой России… Как же я могу служить не России, а лишь какой-то области России, ставшей вдруг самостоятельной?

– Жаль, – сказал премьер ДВР и отошел.

«Мне тоже, конечно, очень жаль», – подумал Коковцев. Из двенадцати газет Владивостока он выбрал для чтения «Голос Родины», который обыватели прозвали «Голос Уродины».

Ну, что новенького? Японцы обещают поделиться с жителями селедкой-иваси, пойманной ими у берегов Сахалина… так. Америка согласна признать ДВР как крупное государство, и пусть японцы не думают, что их присутствие в Приморье терпимо и далее… так. Что еще? Редакция газеты призывает всех интеллектуально развитых горожан посетить подвал «Би-Ба-Бо» (Светланская, дом № 23), где по вечерам можно встретить лучшие таланты России, бежавшие от большевистского гнета на спасительные берега Золотого Рога. Там же, в подвале, можно осмотреть выставку гениальных картин знаменитого и непревзойденного мастера слова и кисти Давида Бурлюка, короля русского футуризма.

Странно, что Жорка Старк назначил Коковцеву свидание не где-нибудь, а именно в подвале дальневосточной богемы, где собирались кокаинисты-футуристы и гурманы-эротоманы. Владимир Васильевич еще на лестнице услышал чей-то гнусавый голос:

В кощнице гор Владивостока,когда лишенным перьев света,еще дрожа, в ладьи восток,стрелу вонзает Пересвета…В дверях подвала стоял начальник уголовного розыска Владивостока, показавший гранату, похожую на апельсин.

– Вот стою и думаю, – сказал он Коковцеву. – Сразу ее туда швырять или подождать, пока они сами сдохнут!

В прокуренной дыре подвала «Би-Ба-Бо» стенки были завешаны мазней Давида Бурлюка, выбравшего из всех красок жизни смесь охры с чернилами. Гениальный автор к своим холстам наклеил для полноты впечатления собственные окурки и презервативы, которые он когда-то имел счастье использовать. А вот и он сам! Смотреть на футуро-гения – одно удовольствие. Рожа – как у старой, потасканной бабы, в глазу – монокль прусского лейтенанта, щеки и лоб он разрисовал кружками и стрелочками, на лысине – тюбетейка казанского татарина, одна штанина у него красная, а другая зеленая…

Собравшись с духом, Коковцев дослушал его «фуро-поэзу»:

…дом мод, рог гор, потоп,тип-топ!Суда, объятые пожаром,у мыса Амбр – гелиотроп,клеят к стеклянной коже рам,Дам-дам!– Садись сюда и ничему не удивляйся, – сказал контр-адмирал Старк контр-адмиралу Коковцеву, приглашая его за столик.

К ним, пошатываясь, как сомнамбула, сразу же подошла стройная и красивая поэтесса Варвара Статьева, провывшая:

– Горбатые ландыши задушили мне горло…

– Брысь! – сказал ей Старк, продолжая спокойно: – Очень хорошо, что Никифорову не удалось соблазнить тебя. У них там в Чите министры получают, как и рабочие, по пять рублей в месяц. А здесь еще можно заработать… если быть умным, конечно. Вон Давидка Бурлюк! Такие гонорары гребет… со всех двенадцати газет Владивостока, особо с «Уродины»!..

Разговор, начатый в «Би-Ба-Бо», пришлось возобновить в официальной обстановке штаба Сибирской флотилии. Коковцев просил должность – поближе к морю.

– Мы и так у самого моря, – отвечал Старк. – Хочешь моря, смотри на него в окошко. У меня, если хочешь знать правду, осталось всего семь миноносцев, четыре из которых просят продать японцы. Обещают дать шелку для пошива новых флагов…

В беседе выяснилось: японцы отняли у флотилии мины, снаряды и все торпеды вынули из аппаратов. Мало того, на выход из гавани необходимо испрашивать у них разрешения, на каждую тонну угля или бочку мазута самураи разводят нескончаемую переписку, которая, как обычно, завершается резолюцией: «Отказать! Генерал Оой-сан». Коковцев сказал Старку: если из семи миноносцев продать еще четыре, то… что же останется?

– Наверное, три корабля. Их тоже можно продать, чтобы более и не мучиться. Если хочешь, входи в общую долю. Знаешь, жизнь еще впереди, и ням-ням каждый день хочется…

– Нет уж, – сказал он. – Торговля не по моей части. Ты вот смеешься, Жорж, над Никифоровым, который пять рублей в месяц имеет, а ведь он «ням-ням» на свои кровные имеет. Премьер!

– Мне премьер – не пример. Чего ты меня учишь?..

Подобру-поздорову самураи из Приморья уходить не хотели, притворялись, будто охраняют «порядок», немыслимый при наличии коммунистов. На самом же деле японцы охраняли те дивизии белогвардейцев, скопившиеся под городом, и те невообразимо колоссальные склады, сваленные Антантой на причалах Владивостока еще для нужд армии Колчака; японцы набивали русским сырьем брюхи своих пароходов, а говорить о лососине, которую черпали из наших морей, даже не приходится: в эти годы японцы могли есть икру ложками, словно рисовую кашу.

Самураи большие мастера на всякие перевороты, но во Владивостоке, как они ни старались, из переворотов у них получались «недовороты». В начале лета в улицах города снова разразилась стрельба, и Старк, боясь вмешиваться в «политику», попросил Коковцева позвонить в японскую комендатуру:

– Скажи ты им, чтобы навели наконец порядок!

Коковцев кричал в трубку телефона по-японски:

– Вы собираетесь что-нибудь делать?

– Нет, не собираемся. Нам надоело вмешиваться в русские дела, тем более что любая наша акция вызывает реакцию американцев. На этот раз мы решили так. С вечера ляжем и будем спать всю ночь, накрывшись одеялами с головой. А утром мы признаем ту власть в городе, которая победила ночью…

Из этого ответа стало ясно, что братцы-мошенники Меркуловы, захватившие власть в городе, были ставленниками японцев. На кораблях флотилии Старк сразу же заменил комиссаров священниками. Однако самураи чувствовали: сделали то, да не совсем то, что хотелось! Переворот грозил обернуться новым «недоворотом», и тогда из Порт-Артура на японском крейсере примчался во Владивосток атаман Семенов. Политическую деятельность будущего «императора» Приморья (как это и водится среди атаманов) он начал с банкета, из-за стола которого и был вынесен на ручках почитателями его талантов. Давид Бурлюк с удивительным проворством скатал свои шедевры в трубки и спешно уехал в Японию – устраивать там новую выставку картин.

Коковцев воспринял «меркуловщину» с равнодушием:

– За эти годы я этих переворотов столько уже насмотрелся, что с меня хватит… Лишь бы дали мне умереть спокойно!

Семенов, проспавшись, выходил на балкон гостиницы «Тихий океан» с салфеткой на шее и, поднимая чарку, кричал «ура» самому себе. Члены меркуловского «кабинета», поднаторевшие в приемах джиу-джитсу, вели борьбу за «портфели». На подступах к Владивостоку гремели пушки: это каппелевцы начали сражение с семеновцами – шла борьба за власть: кто кого? Оренбуржцы и енисейцы просили прощения у советской власти. Сергей Третьяков, товарищ министра внутренних дел, требовал «отдать плечистым Малютам на растленье малютку утр». А по улицам надсадно скрипели дроги: с фронта везли гробы, в которых лежали убитые юнкера и гардемарины, почти мальчишки. Тут даже самураи поняли, что из переворота вышел «недоворот» – самый настоящий!

Старк в эти дни спрашивал Коковцева – не было ли в его роду немцев, поляков, французов или еще кого-либо, только бы не русских. Коковцев представил свою генеалогию:

– Возможно, что в каком-то из нисходящих колен мои предки и роднились с иностранками. Но точно могу указать лишь приток негритянской крови в царствование Екатерины Великой. Там был какой-то очень темный грех у моего пращура.

– К неграм не поедешь! – ответил Старк. – Со мною проще: я все-таки из шведов, и шведский флот уже приглашает меня, чтобы я передал ему свой опыт возни с минами. Тебе же советую обращаться к китайцам: Гоминьдан нуждается в опытном инструкторе минного дела. Платить ходи-ходи обещают в долларах…

Осенью случилось то, чего никто не ожидал: каппелевцы (маскируясь под «белоповстанцев») разбили войска ДВР в районе Анучино, добыв себе богатые трофеи. Они взяли Хабаровск, доказав, что воевать умеют. Но они прошли шестьсот верст, неся потери, а население не дало им людских пополнений. Владивосток тоже не дал! Тут ударили морозы – ни валенок, ни полушубков, ни кальсон. Белогвардейский Харбин быстро собрал эшелон теплых вещей, однако китайцы не выпустили его дальше КВЖД, арестовав груз в компенсацию того ущерба, который нанесли Китаю пьяные орды атамана Семенова.

Открылся 1922 год – по снежной целине двигались, урча моторами, броневики, за броневиками шагали хорошо экипированные бойцы Народной армии ДВР, которую вел за собой легендарный Блюхер! В казармы Владивостока стали возвращаться разбитые «белоповстанцы», с мрачным видом катившие впереди себя пушки, отбитые под Анучино у красных, но японцы отняли у них эти пушки сразу все, говоря вежливо:

– Вам теперь они вряд ли понадобятся…

Братья Меркуловы во всем обвиняли генералов:

– Если вы не способны воевать, наше правительство не станет вам и платить. Только вчера из подвала у нас пропали стеклянные банки для варенья на общую сумму в двести рублей. Подозреваем армию и флот… Теперь собирайтесь – в Китай!

Генералы кричали на братьев Меркуловых:

– Мы не трогали ваших банок! Но зачем же в Китай, как будто, на земле нет места получше? Тогда уж давайте на Камчатку, где с помощью американцев еще можно образовать идеальное государство с самыми благородными социальными тенденциями. А что касается ваших банок, то мы подозреваем… флот!

– Разве флот унизит себя до того, чтобы воровать банки, тем более пустые? – горячо возражал адмирал Старк.

– Флот, – подтвердили братья Меркуловы, – единственная неразложившаяся сила. Вот с кого надо брать нам пример!

Генералы обиделись: флот не разложился лишь потому, что паек и жалованье у них лучше, нежели в армии.

– А вас мы арестуем! – угрожали они Меркуловым.

– Вот только попробуйте, – отвечали братья, смеясь. – Вы и не успеете, как прикатит атаман Семенов, он вам сразу шеи посворачивает. А если вам атамана мало, из-за полосы отчуждения пригласим хунхузов Чжан Цзолиня. Лучше не будем спорить, – решили братья Меркуловы, – а устроим по случаю годовщины нашей «революции» отличный парад на Светланской.

26 мая парад устроили, а Меркуловых арестовали. Старк заявил во всеуслышание, что «революции» ему надоели:

– Как хотите, а мой флот революций не признает…

Чтобы правительство не зашибли, он к дверям меркуловских квартир поставил матросов с карабинами. В благодарность за это братья-правители назначили Старка главнокомандующим – против Блюхера. Коковцев в Морском собрании сказал: «Если уж против Блюхера послали Старка, мы долго тут не засидимся…»

С утра до ночи братья с балконов своих квартир выступали перед народом, щелкавшим семечки с такой быстротой, что по улице распространялся шорох от падающей на мостовую шелухи. Коковцев долго не мог вспомнить, что эти звуки напоминают ему? И наконец догадался: с таким же шорохом летела противная саранча, с таким же шорохом проносились в бою при Цусиме японские снаряды, начиненные шимозой… Единственной реальной силой в Приморье оставались японцы, штыки которых торчали на каждом разъезде, на каждой пристани, и потому Народная армия сдерживала победный марш на Владивосток, дабы избежать военного конфликта с Японией. Это понимали и белогвардейцы, готовясь к эвакуации без спешки и паники. А самураи вдруг стали такими добрыми, что разрешили русским брать со складов, ими охраняемых, ватные штаны – сколько душе угодно!

Старк просил Коковцева навестить его в штабе.

– Можешь поздравить, – сказал он, – японцы выдали столько топлива, что до корейского Гензана вполне хратит, если выдерживать в машинах экономический ход. Я распорядился, чтобы в кубриках как-нибудь разместили сорок восемь тысяч ватных штанов. Добункеруемся в Гензане и пойдем до Шанхая.

– А потом?

– Пропьем ватные штаны и разбежимся. У меня к тебе просьба! Никто не хочет вести миноносцы. Сколько было офицеров, а сейчас все жмутся по углам: мол, подождем большевиков, поглядим что и как, может, и при них выживем…

Коковцев сжался в глубине кресла, вспоминая Владивосток своей юности: в ушах еще звучал вальс «Невозвратное время», и где же ныне та гимназистка, шепнувшая подруге, что с мичманом трудно прожить на пятьдесят семь рублей в месяц? Он встал:

– Хорошо, я поведу миноносцы. Но с одним условием: никакой шантрапы вроде семеновцев или каппелевцев брать не стану. Едино лишь возьму семьи беженцев, ну и калек… до Гензана?

Последний раз в жизни он поднялся на мостик миноносца.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Гензан! Салют нации – 21 выстрел, и еще дали 13 выстрелов – салют кораблям в гавани. В отсеках плакали дети…

Первый вопрос, который задал Коковцев, был таков:

– А что слышно из России, господа?

Издали родина казалась другой – в святочном нимбе…

Флотилия миноносцев вывезла в Корею семь тысяч беженцев, которые два года подряд мотались по фронтам в теплушках и вагонах. Дети, высаженные на чужом берегу, будут заново осваивать свою родину после 1945 года – уже взрослыми людьми! Телеграф доставил известие: японцы навсегда убрались из Владивостока, в который вступили войска советские… Коковцеву запомнился безногий инвалид; оглядев Гензан, он сказал:

– Дык што? Корею посмотрел, пора и домой ехать…

Японцы советовали просить подданства США, искать работу в Корее или оставаться в Маньчжурии. Коковцев навестил Старка:

– Кажется, пришло время прощаться, Жорж?

– Умоляю тебя – доведем эти корабли до Шанхая…

В самом конце года флотилия бросила якоря на шанхайском рейде, и здесь, в космополитическом городе, насыщенном всякими соблазнами, команды миноносцев ударились в такой разгул, что всем чертям тошно стало. Только погодя, очухавшись от пьянства и скандалов по кабакам Шанхая, матросы стали посматривать на яхту «Адмирал Завойко», поднявшую Красный флаг:

– Эй, завойковцы! Вы что, в Россию собрались?

– Домой, – отвечали с яхты.

– Может, и нас прихватите, а?..

Командир яхты стал вроде консула РСФСР:

– Имею на руках воззвание ВЦИК – об амнистии всем матросам и офицерам флотилии, но амнистия действительна лишь в том случае, если вернете во Владивосток и свои миноносцы. Относительно амнистии для адмиралов указаний не имею…

Ясно и доходчиво. Старк сказал Коковцеву:

– Сейчас забункеруемся и махнем дальше – на Филиппины.

Манила не манила! Владимир Васильевич ответил:

– Жорж, я уже нагулялся по свету… во как! – Он провел рукою по горлу. – Веди миноносцы сам. Хоть к черту на рога. А я останусь здесь. Все ближе к России…

Последний раз Коковцев вдохнул теплый запах машин миноносца. Он оторвался от поручней трапа почти силком, будто от рук прекрасной женщины, разлюбившей его – навсегда! В русском клубе Шанхая, обедая среди соотечественников, осевших здесь задолго до революции, Коковцев убедился, что предлагать флоту Гоминьдана свои услуги нет смысла: китайцы ориентировались на Америку и Японию, их устраивали инструкторы из немецких офицеров, паче того – не Россия победила Германию, а Германия в Брест-Литовске ставила на колени Россию, именно так считали китайцы, и в памяти Коковцева снова всплыли эти горькие слова: vae victis…

Русские оседали в Китае «гнездами», имея тяготение к Харбину, типично русскому городу с русской администрацией. Маньчжурия казалась Коковцеву самой надежной пристанью для швартовки возле родимых берегов после бури. Переполненный город с населением во много сотен тысяч жителей Сунгари делила на два обособленных мира. «Новый» город с бульварами и магазинами населяли люди побогаче, управлявшие КВЖД и антисоветскими заговорами. «Пристань» – торгово-промышленный центр Харбина с тихими переулками, как в русской провинции, из окон домишек, обсаженных подсолнухами, виднелись обширные посевы пшеницы и маковые поля, тут кричали поезда и пароходы – жители «пристани» обслуживали магистраль КВЖД, а все их помыслы сводились к получению советского паспорта.

Коковцев устроился прилично – заведующим учебными пособиями в Коммерческом училище, выпускавшем до революции высокообразованных экономистов со знанием восточных языков. Адмирал жил очень скромно в доме Зибера на Тюремной улице, он купил себе на окошко герань и не забывал поливать ее. Явилось даже беспокойство: после его смерти не завянут ли они, одинокие и заброшенные, как и он сам? На все письма в Петроград по старому адресу ответа никакого не было. Иногда ему начинало казаться, что Ольги Викторовны уже нет в живых…

Владимир Васильевич аккуратно вносил ежемесячный налог в «Общество скорой помощи», чтобы на случай приступа печени иметь медицинскую помощь на дому. Выпивать он выпивал по-прежнему, но в самых скромных шалманах Фрида и Вольфсона на Китайской улице. Серьезно он заболел осенью: вдруг не стало хватать дыхания, сердце билось с перебоями, возникли боли в загрудине, с болями появился и страх смерти. В частной клинике врач Голубцова сказала ему, что здоровье неважное.

– Вам бы курортное лечение, но здесь это возможно лишь на водах в Японии. А каковы были потрясения в вашей жизни?

– Потрясения? – переспросил он. – Разве их было мало? Впрочем, дважды тонул… Первый раз при Цусиме, еще молодым. Потом на Балтике, в пятнадцатом. Очень, помню, была холодная вода, доктор. Я до сих пор не знаю, как удалось тогда уцелеть.

– Все это теперь и сказывается. – Голубцова, выбирая слова поделикатнее, дала понять Коковцеву, что он инвалид, ему необходимы покой и заботы близких людей.

– У меня никого нет, – сказал он, прослезясь.

– А у меня нет лекарства от старости. Возьмите рецепт в японскую аптеку Хаки-эн-до: там лекарства дешевле…

Вечерами русская молодежь Харбина шла под окнами с гитарами, будя старика неповторимою русскою песней:

До-орогой длинною да ночью лунною,да с песней той, что вдаль летит, звеня,да со старинною, да с семиструнною,что по ночам так мучила меня…Конечно, где ж ему знать, что через двадцать лет, когда от него и костей не останется, именно эта молодежь будет бросать цветы на раскаленную броню советских танков, ворвавшихся в улицы русского Харбина! У них впереди будущее, у Коковцева – пустота и отчаяние, он весь был в прошлом. Как говорил великий флорентиец Данте: «Нет большего страдания, чем вспоминать о днях счастливых во дни несчастья». А больной никому не нужен: из Коммерческого училища Коковцева уволили. Владимир Васильевич полил герань и пошел занимать очередь перед советским консульством, которое возглавлял Э. К. Озарнин. Ходили слухи, что этот большевик не рычит и не кусается, напротив, внимателен и отзывчив. Коковцеву импонировало, что Озарнин раньше был офицером крепостной артиллерии в царской армии.

Он начал беседу с ним откровенно:

– Эспер Константинович, я никогда не участвовал в заговорах против советской власти и хотел бы оптироваться в отечественном гражданстве, дабы вернуться к себе.

– Вы продумали причины своего возвращения?

– Я все-таки адмирал. Мои знания, мой опыт…

– Адмирал – чин. А – профессия?

– У меня нет профессии, я не везу на родину и мемуаров, разоблачающих ужасы царизма, как это делают некоторые. Я никого не хочу разоблачать. Я хочу лишь умереть дома.

Озарнин дал ему бланк анкеты и лист бумаги:

– Подайте заявление по всей форме. Желательно подробнее. Но я, честно говоря, не уверен в успехе. Оптирование для вас было бы легче, если бы вы служили на линии КВЖД. Зайдите месяца через два…

Экономический кризис в мире аукнулся беспросветною безработицей: паровые мельницы Харбина крутили жернова вхолостую, а вместо пшеницы теперь сеяли один мак, охотно скупаемый для производства наркотиков. Коковцев устроился калькулятором в пригороде Хулань-Чене, где четыреста китайских фирм с миллионными оборотами выпускали в Маньчжурию опиум и свечки, вермишель и пиво, тапочки для покойников и конфеты для детей, круглосуточно шла выгонка китайской водки-ханжи (хан-шина). Коковцеву приходилось очень рано вставать, добираясь до службы поездом за двадцать верст от Харбина, и не опаздывать, чтобы не вызвать грубой матерной ругани управляющего Чин-Тай-и, красивого молодого китайца, получившего диплом химика в Берлине.

Коковцев снова явился в советское консульство, на этот раз Озарнин уже имел об адмирале побольше сведений:

– Не вы ли угнали из Владивостока наши миноносцы?

– Я не ставил себе такой цели – угнать миноносцы, я попросту эвакуировал на миноносцах беженцев.

– А теперь беженцы обивают пороги моего консульства, умоляя вернуть их на родину… Благодарны ли они вам?

– Думаю, даже очень, – отвечал Коковцев. – Если бы я не вывез их морем, им бы пришлось от бухты Посьета тащиться за телегами по грязи рисовых полей до самого Хунь-Чуня, а там ведь было немало и калек. Их ждал лагерь в Гирине.

Озарнин выслушал Коковцева с большим вниманием.

– Вы сами осложнили свою судьбу, – сказал он. – Допускаю, что вывезли беженцев. Но вернись вы сразу же из Шанхая на яхте «Адмирал Завойко», и, поверьте, с вас бы – как с гуся вода: даже не придирались бы… – Консул потянулся было к пачке чистых анкет, но задержал руку. – Это вам ничего не даст, – сказал он. – Попробуйте устроиться на КВЖД, а годика через два-три приходите снова, тогда и поговорим…

Легко сказать – устройся! Тем более Коковцев о железных дорогах знал лишь то, что поверх насыпи кладутся шпалы, а на шпалы стелются рельсы. Владимир Васильевич обильно полил герань и пригородным поездом отправился на станцию Имянь-по, где в живописной местности расположились виллы коммерсантов и остатков того общества, которое принято называть «отбросами белогвардейщины». Генерал Хорват, бывший управляющий КВЖД, отослал адмирала к князю Дмитрию Викторовичу Мещерскому, бывшему русскому консулу в Харбине, который сказал, что, к сожалению, прежние связи на КВЖД у него потеряны:

– Не поедете же вы торговать билетами в Цицикаре?

Коковцев был согласен сидеть в кассе и Цицикара.

– Учтите, там бытует китайский язык и маньчжурский.

Харбин напоминал русским Новочеркасск или Ростов-на-Дону, а Цицикар уже ничего не напоминал, кроме самих русских, которые, пребывая в беспробудном пьянстве, занимали середину мостовых, обнюхиваемые бродячими собаками.

Вокруг крепости, заселенной местными властями, тянулись пыльные невзрачные улицы с харчевнями и ломбардами, постоялые дворы для монголов и кумирни в честь Конфуция и драконов, значения которых Коковцев так и не выяснил. Странно было видеть в Цицикаре, удаленном в самую голь и сушь Маньчжурии, гостиницу «Тихий океан» и рекламу швейных машин фирмы «Зингер». Русские обитатели Цицикара были настроены озлобленно-антисоветски: здесь, в этой тусклой яме эмиграции, образовалось застойное болото из самых грязных опитков атаманщины – Семенова, Гамона, Калмыкова и Анненкова. Эти люди не столько пропивались «ханжой», сколько прокуривались опиумом; китайцы обходили русских стороною, как явных бандитов.

На вокзальной кассе Цицикара был встречен и новый, 1923 год – тот самый год, в котором, по мнению адмирала Макарова, русские люди станут умнее, а флот России обретет полноценную боевую значимость. Коковцев выписывал харбинскую газету «Новости жизни», редактор которой Д.И. Чернявский был недавно зарезан на улице за просоветские взгляды; в разделе «Вести с родины» однажды бросилась в глаза примечательная заметка: «МАНЕВРЫ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. Как нам сообщили из достоверных источников, большевики в прошлом году сдали на слом корабли общим водоизмещением в 82 тыс. тонн. На уцелевших кораблях они провели „красные“ маневры с линкором „Марат“ и дивизионом эсминцев, командир которых, некто Н.В. Коковцев, был награжден Климом Ворошиловым золотыми именными часами».

Сомнений быть не могло: Н. В. Коковцев – это его сын Никита, это его кровь! Владимир Васильевич невольно испытал гордую радость от сознания, что род Коковцевых все же не вычеркнут из славной летописи русского флота! Аккуратненько он вырезал эту заметку из газеты и впредь носил ее при себе – среди порыжевших семейных фотографий и аптечных рецептов. Но в один из дней, торгуя билетами, он увидел в окошечке кассы чью-то бандитскую харю.

– Твой? – спросили его, тыча пальцем в газету.

– Да, это мой сын… комдив!

– Убирайся отселе, иначе пришибем вусмерть…

Коковцев захлопнул окошечко. Он, контр-адмирал флота российского, отец двух сыновей, отдавших жизнь за отечество, и вот, расплата… плевок в лицо! Но убираться надо – убьют. Владимир Васильевич вернулся в Харбин, охваченный слухами о чудесной жизни в Шанхае: стоит туда приехать – и тебя с руками и ногами возьмут в любую фирму, особенно со знанием языков. Все это очень заманчиво, но где взять денег на дорогу, на что жить, пока устроишься? Коковцева, в знак симпатии к его адмиральскому положению, принял на работу Деденев, бывший предводитель дворянства Щигровского уезда Курской губернии, который варил дешевое мыло. Слушая отвратительное бульканье в котлах, где разваривались дохлые собаки и задавленные кошки, Коковцев однажды понял: «Долго не выдержу… Господи, помоги уехать!» Он пришел в ювелирную лавку Анцелевича на Диагональной улице, предложил купить наручный браслет Минного отряда:

– Распилите его! Мне нужно добраться до Шанхая…

Анцелевич заметил на браслете свежий надрез, грубо и неумело сделанный слесарным напильником:

– Кто же был этот золотых дел мастер?

– Ротмистр Саламаха… слышали о таком? Я был рад узнать, что в монгольской Урге его пристрелили китайцы.

– Что же он не закончил своей работы?

– Ему помешало появление японского генерала.

Анцелевич с профессиональной ловкостью избавил руку Коковцева от браслета, отсчитал деньги.

– На дорогу до Шанхая хватит. Желаю вам, господин адмирал, жить так же богато, как я живу бедно…

Отсутствие на руке браслета с заклинающим девизом иногда пугало Коковцера так, будто его обворовали.

– И погибаю, и сдаюсь, – говорил он себе…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Слухи о привольной жизни эмигрантов в Шанхае оказались ложными, в поzисках службы, сытости и ночлега под крышей быстро растаяли деньги. В русском клубе ему сказали, что многие из эмигрантов укатили осваивать сельву в Бразилию и Аргентину: «Только до Австралии мало охотников, и очень бедствует колония в Японии, русским мешает незнание японского языка». Об этом он и задумался: если Окини-сан еще жива, разве она отвергнет его? Японский консул в Шанхае был крайне почтителен с кавалером ордена Восходящего солнца, сын которого в чине констапеля погиб на героическом крейсере «Идзумо»… Цусима обернулась для Коковцева иной стороной, обнадеживающей, а в Нагасаки, куда он приплыл на рассвете, по-прежнему все благоухало, как раньше, мандаринами и магнолиями.

Но третьего возраста любви Окини-сан не могло быть…

Он искал ее дом в квартале Маруяма, но там возникли новые постройки. Все вокруг изменилось. Коковцев пересек залив, побывав в Иносе, он уверился, что на кладбище японцы ухаживают за могилой капитана первого ранга Лебедева, но уже никто из жителей Иносы не помнил Окини-сан… Отчаявшись, Коковцев решил, что, наверное, живы сын или внуки Пахомова, и легко отыскал ресторан «Россия», где все было по-старому, только за стойкою бара стоял незнакомый молодой человек, обликом вылитый японец. Американская машина с ловкостью циркового престидижитатора сбросила с диска одну пластинку, поставив другую:

О юных днях в краю родном,Где я любил, где отчий дом…Русская экзотика с кислыми щами и кулебяками, видимо, интриговала публику, как японскую, так и европейскую. Мембрана, скользя по кругу, выцарапывала из диска слова:

И сколько нет теперь в живых,Тогда веселых, молодых,И крепок их могильный сон,Не слышен им вечерний звон.Коковцев подошел к стойке и сказал, что перед ним, наверное, внук Гордея Ивановича Пахомова, с чем молодой хозяин и согласился, нехотя отвечая Коковцеву по-английски.

– Вы разве уже не знаете русского языка?

– И знать не надобно… Что вам угодно, сэр?

Коковцев заметил потомку порховского земляка, что в его ресторане не все обстоит благополучно с этикетом:

– Так, например, к зелени следует подавать шатоикем, а мускат-люнель хорош в рюмках из желтого стекла. Я имел счастье окончить Морской корпус его императорского величества, в котором нас приучали смолоду, как вести себя за столом…

– Ты уберешься отсюда? – спросил его Пахомов-сан.

Музыкальная машина докручивала «Вечерний звон».

– Вы были бы внимательнее ко мне, если бы знали, что этот ресторан, которым вы владеете, завелся с денег русских дворян Коковцевых… Я мог бы, если вам это угодно, исполнять в вашем ресторане роль метрдотеля.

– Ты не первый с таким предложением, – отвечал Пахомов-сан, – и я уже знаю, как в таких случаях поступать с русскими попрошайками… Еще одно слово, и я вышибу тебя на улицу!

– Не надо унижать мою старость. Я уйду сам…

Больше никого из земляков Коковцев в Нагасаки не обнаружил. Русский клуб в Японии существовал, эмигранты выпускали даже газету, устраивали для своих детей рождественские елки, но все это – в Токио, а Коковцев не мог уже оторваться от Нагасаки, где затерялась Окини-сан. Центральный район Цукимати был дотла выжжен недавним пожаром, но быстро отстраивался, и в его переулках уже торговали дешевые сунакку-закусочные. В одной из сунакку Коковцев разговорился с пожилым японцем, очень добродушным, который охотно выслушал русского адмирала.

– Я мог бы служить в любой конторе, – сказал ему Коковцев.

– А какие языки вам знакомы, адмирал?

– Английский, немецкий, французский, отчасти испанский и шведский. Болтаю по-японски, понимаю китайский.

– И даже испанский? – усомнился японец.

– Я состоял в переписке с адмиралом Серверой.

– А что вас с ним связывало?

– Наши громкие поражения – Сантьяго и Цусима.

– О, Цусима! – расплылся в улыбке японец. – Мои дети были тогда еще маленькими и до сих пор вспоминают, как много ели они сладких моти в те прекрасные дни нашей победы. Вряд ли какой-либо фирме вы понадобитесь сейчас. Но сразу после Цусимы, извините, вас бы взяли хоть в «Мицубиси»!

Он посоветовал Коковцеву искать Окини-сан за кварталами Дэдзима, в районе трущоб Хамамати, которые населяли нищие, инвалиды войны и бездомные бродяги.

– Сколько лет вашей Окини-сан? – спросил он.

– Примерно как и мне. Чуть моложе.

– Тогда ей только и быть в Хамамати. Всего доброго.

Совет оказался правильным. Только теперь, увидев Окини-сан, Коковцев понял, что искать ее было не надо…

Но и отступать было уже поздно.

– Гомэн кудасай, – сказал он в растерянности.

– Ирассяй, – отвечала ему женщина…

В нищенской лачуге, собранной из досок и листов ржавой кровельной жести, поджав под себя ноги, сидела облысевшая старуха с желтой кожей, высохшей от нужды и непосильного труда. Перед нею, грязной и отвратной, стояла бутылка дешевейшего сакэ, уже наполовину опорожненная. И лежали еще три сливы. Три раздавленные сливы – ужин ее! Она улыбнулась:

– Ты не сердись на меня… пьяную. Разве я виновата в том, что родилась в проклятый год Тора, отчего ты и сделался снова несчастным. Как и я, как и я. Но когда двое несчастливых собираются под одной крышей, над ними образуются четыре божественных угла, между которыми легче рассеивать мечты о счастье…

Но можно ли мечтать о счастье в этой лачуге? Коковцев пугливо огляделся в потемках. Несколько горшков да замызганная циновка – вот, кажется, и все, что осталось у нее от прошлого.

Присев подле старухи, он извинился:

– Ты прости, что я пришел к тебе. У меня теперь никого, кроме тебя, нет в этом мире. Никого, никого…

– А у меня есть! – вдруг засмеялась Окини-сан.

Утешением ей – полевой кузнечик, она показала Коковцеву крохотную клеточку, в которой кормила тварь молодым пыреем, и за это он, вполне довольный жизнью, услаждал ее старческое убожество незатейливым, беззаботным стрекотанием.

– Он всегда счастливый, – похвасталась Окини-сан, обнажая в улыбке крупные, желтые, редко расставленные зубы.

Странно, что память не изменила пьяной старухе, и Окини-сан без напряжения вспомнила стихи Токомори:

Как пояса концы – налево и направорасходятся сперва,чтоб вместе их связать,так мы с тобой:расстанемся —но, право,лишь для того, чтоб встретиться опять!– Это хорошо, что ты пришел, – говорила она, скатываясь во тьму лачуги. – Одной так холодно спать на земле…

Пронзительный свет луны коснулся лысины Окини-сан, потом затарахтела ржавая цепочка, видимо, добытая на свалке от выброшенного велосипеда, на цепочке покачивалась медная жаровня-хибати с дымнотлеющими углями.

– Так будет теплее, – бормотала старуха. – Пусть мы несчастны с тобой, но зато как был счастлив наш сын! А когда он служил на «Идзумо», ему каждый день давали пырей…

– Спи, – сказал ей Коковцев…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Со смертью императора Муцухито закончилась бурная «эпоха Мэйдзи», что дало повод некоторым самураям, прославленным в войне с Россией, сделать себе харакири. Милитаризованная Япония вступила в новую «эпоху Тайсё», обогащая военный психоз «Хаккоиттю» претензиями на владычество в Азии и Тихом океане. Для простого японца оставался один путь достичь уважения в обществе – отдать сына в армию или на флот императора. В высокопарных рескриптах новобранцам внушали: «Ты сам – ничто, твоя жизнь принадлежит не тебе, а микадо». Адмирал Хэйхатиро Того был еще жив, но к власти над флотом пришла другая личность, не менее напористая и талантливая – адмирал Гомбей Ямамото, и если за Того оставался триумф Цусимы, то Ямамото в будущем предстояло разгромить американский флот в Перл-Харборе. В истории, как и в стихотворении Токомори, концы одного пояса сначала расходятся, а потом соединяются в общем нерасторжимом узле…

Япония новой «эпохи Тайсё» не могла похвалиться достатком народного благополучия. Для голодающих японцев газеты публиковали статьи о пользе голодания, а богатым японцам внушалось свыше, что носить драгоценности непристойно для самурая, лучше отдать их на «хранение» государству. Рис можно заменить ячменем, а ячмень картофелем. Зачем, спрашивается, устраивать легкомысленные вечеринки, если можно посидеть дома, в кругу семьи, размышляя о собственной бренности…

Как и другие несчастные женщины, которых отвергли мужья, которые потеряли кормильцев в войнах, Окини-сан не нашла себе лучшей доли, кроме самой обычной, которая и склонила ее над стиральным чаном с грязно-булькающей водой. Год за годом изо дня в день женщина перестирывала кальсоны солдат из ближайшей казармы, рубахи матросов с заходящих в Нагасаки кораблей. А вечером на татами, поверх которого прыгали блохи, Окини-сан ставила бутылку сакэ, ела из котелка плохо разваренные бобы. Стебельком пырея она угощала кузнечика, а корешок пырея всегда доставался адмиралу Коковцеву.

– Мне жаль тебя, – говорила Окини-сан, еще не успев напиться допьяна. – Я всегда хотела делать людей счастливыми и никак не пойму – почему они всегда оставались несчастны?

Она просила его есть, а забота пьяной старухи напоминала Коковцеву прежнюю жизнь – с безответной любовью Ольги, которая (неужели?) так и не простила его. Владимир Васильевич съедал все, не сразу научившись понимать, что в доме больше ничего нет – Окини-сан и сегодня, как вчера, уснет голодной.

– Я не могу так жить, – часто повторял он.

– Если ты голоден, – отвечала Окини-сан,– не огорчайся, голубчик. Скоро будет праздник дзюгоя, и неужели я не настираю столько корзин белья, чтобы купить вкусных моти? Мы наедимся рису-дзони с овощами… Разве ты забыл праздник дзюгоя?

– Помню. Но тогда все было иное…

Ночью Коковцев проснулся от густого протяжного рева: как некормленые коровы, мычали подводные лодки, уходящие в море.

– Я к ним привыкла, привыкни и ты, – сказала Окини-сан. – Мир стал чужим для нас. А какие белые паруса были на твоем корабле! А какая тишина наступала вечерами в Иносе!

– Да. Раньше было тихо. И паруса были чистые…

Утром в Нагасаки входил американский крейсер – без флага о присутствии на мостике лоцмана. Он шел сам, без поводыря, воинственно-гордый, неприкасаемо-белый, отчетливо пробуя под собою грунт импульсами кварцевых эхолотов. И бросил якорь на том же месте, где когда-то стоял клипер «Наездник»…

Коковцев опустил наземь тяжелую корзину с бельем.

– Сколько нам еще мучиться? – спросил он.

– Подумай, что станет с кузнечиком, если меня вдруг не станет? Кто подберет его? Кто накормит? Идем…

Коковцев не сводил глаз с крейсера, отметив дисциплину его экипажа, перемещавшегося по ходу движения часовой стрелки: в нос бежали по левому борту, в корму – по правому.

– И все они в белых штанах и рубахах, – сказала Окини-сан. – А белое пачкается быстрее. Значит, голубчик, у меня снова будет немало работы.

Коковцев за всю свою жизнь не выстирал себе даже носового платка, и разве думал он, что нужда может быть такой неистребимой, такой угнетающей? В самом деле, что произошло? Жил-был человек. Дослужился до контр-адмирала. Имел хорошую семью и квартиры в трех городах. Любил красивых женщин и сорил деньгами. А теперь? Теперь ему радостно, что эта старуха притащила с крейсера грязное белье, тряся перед ним кулачками.

– Нет, мы не ляжем спать голодными в ночь дзю-гоя! – говорила она. – Мы выпьем сакэ и наедимся дзони. Мы будем есть дзони! Вкусный, рассыпчатый дзони…

Всю неделю, пока крейсер США околачивался на рейде, белье заполняло лачугу Окини-сан, и Коковцев даже определил некую закономерность: после увольнения на берег пьяные матросы так усердно обтирали панели и лужи, что стирки сразу же прибавлялось. Груды белья заполняли корзины, на смену чистому вырастали кучи грязных штанов и рубах, трусов и манишек. С жалостью глядя на Окини-сан, трудившуюся с утра до ночи, Коковцев вспоминал восходы над зелеными горами Арима, юная и тоненькая женщина появлялась на берегу, над нею плыли безмятежные облака, и она, сбросив с себя кимоно, тянулась к солнцу стройным тельцем. «Где все это? И было ли это?» Он сказал:

– Для тебя дзюгоя, может, и праздник, а для меня календарное полнолуние. Не мучайся сама и не мучай больше меня…

Кузнечик в клеточке засвиристел, радуясь жизни. Окини-сан отжала белье в жилистых руках, обваренных кипятком. Ее глаза, выеденные горячим паром, смотрели печально.

Вечером в канун праздника Коковцев вскинул на плечо большую корзину с выстиранным бельем, в свободную руку взял вторую корзину. Окини-сан подперла двери лачуги палкой, они тронулись. Быстро темнело, в зелени садов разгорались фонарики, украшенные паучками иероглифов с именами домохозяев. В квадратах растворенных стенок Коковцев не раз видел сидящих точно в центре комнат молодых японок в привлекательных кимоно, они лениво опахивались веерами и ждали, ждали, ждали… Чего?

– Ты слишком устал? – спросила Окини-сан.

– Тяжело, – пожаловался он.

За спиной он слышал ее прерывистое дыхание.

– Не купить ли нам сегодня сакэ, голубчик?

– Хорошо, – согласился Коковцев. – Мы купим сакэ.

Окини-сан сказала, что американцы богатые:

– Они дадут нам деньги, и мы купим сакэ?

– Если ты хочешь, конечно, купим сакэ.

Свободных фунэ у пристани не было. Но рядом садились в вельбот американские матросы, спешившие на свои крейсера с берега. Все они были, как на подбор, сытые, холеные, розовощекие, и, глядя на них, Коковцев невольно вспомнил красочный щит рекламы на ревельском пляже: «Я ем геркулес!» Сам же адмирал сейчас мог годиться для рекламы: «Я не ем геркулес!» Опустив корзины на пристани, он по-английски окликнул американских матросов:

– Хэлло, подбросьте на вельботе до крейсера…

Американцы с явным уважением к старому человеку подхватили корзины с пристани, помогли ему спуститься в вельбот. Довольный, что не пришлось тратиться на гребца фунэ, Владимир Васильевич сел на транцевую доску в корме шлюпки, сказав:

– Out! – Он пошутил, но, повинуясь команде, хохочущие матросы вставили весла в уключины. – Hold water! – И весла разом, с шумом загребая воду, закинулись в сильном гребке.

Старшина шлюпки треснул Коковцева по плечу:

– Приятель! Похоже, ты из нашего клуба?

– Ты не ошибся, дружище.

– А за какую ты команду играл?

– Играл за Россию… вот и продулся.

– Ого! Не был ли ты, как и я, старшиною?

– Был… адмиралом.

Крейсер наплывал ближе, с него откинули забортный трап, на нижней площадке которого встали фалрепные, чтобы подхватить пьяных. Вахтенный офицер уже сунул в зубы свисток для объявления штрафа в десять долларов тому из них, кто споткнется на трапе. Вельбот на большой скорости мог повредить весла.

– Шабаш! End of a day’s work! – предупредил Коковцев.

Весла исправно прилегли к борту. Зашвартовались.

– Кто на транце? – крикнул сверху вахтенный офицер.

– Русский адмирал… прачка!

– Помогите старику, если не врет…

На палубе крейсера быстро разобрали чистое белье из корзин. Набежало немало матросов; пихая один другого локтями в бока, они недоуменно показывали на Коковцева:

– Надо же так! Русский адмирал… Черт побери, неужели он сам выстирал мои трусы и манишку под галстук?

Вряд ли с какой-нибудь прачкой в Нагасаки расплачивались так щедро, как расплатились сегодня с Коковцевым, который едва поспевал раскладывать выручку по карманам, не забывая благодарить дающих. Слов нет, ему, конечно, было приятно снова ощущать под собой дыхание корабельных машин, вибрация которых передавалась его ногам через прогретый металл палубы. Чуткий глаз профессионала уже отметил несуразную конфигурацию крейсерских мачт. Грандиозные и ажурные, они упирались в палубу снизу четырьмя растопыренными ногами, внешне похожие на Эйфелеву башню, внутри их железной арматуры провисали, будто ласточкины гнезда, сигнальные марсы и рубки управления стрельбою. Коковцев знал, что все это – наследие Цусимы, результаты которой перепугали конструкторов американского флота. К нему подошел вахтенный офицер крейсера:

– Вы и правда были адмиралом русского флота?

– Вам не верится? Могу доказать. Это верно, что в Цусиму японцы сбили мачты наших броненосцев сразу же, как и дымовые трубы. Из этого горького опыта вы напрасно извлекли такое решение… – Он показал на эйфелевы башни мачт.

– В чем дело? Собьет одну ногу – останется еще три.

– Не думаю. Наш флот перенял такие же конструкции мачт у вашего флота, но в первые же дни войны с Германией мы спилили их под корень, вернувшись к обычным мачтам…

Вахтенный офицер сделал ему под козырек:

– В таком случае надо бы выпить, и чем скорее, тем лучше. Офицерский бар крейсера к вашим услугам…

На прощание офицеры положили ему в бельевую корзину две бутылки превосходного виски. Коковцев вернулся на берег:

– Смотри! Ты ведь хотела сегодня сакэ…

Окини-сан стала пить еще на пристани:

– Виски лучше сакэ. Не будем стоять под фонарями.

– Теперь, – говорил ей Коковцев, – я сам буду отвозить белье на корабли. Ты только стирай, отвозить стану я… А не зайти ли нам в ближайшую сунакку, чтобы поужинать?

– Куда же нам идти, если все вокруг так хорошо!

Кажется, они уже миновали Дэдзима, свернули в сторону бухты – к берегу, возле которого покоился старый причал.

– Здесь нету фонарей, – сказала Окини-сан. На другом берегу загорались огни Иносы, оттуда слышалась музыка, а здесь их никто не видел, звонко повизгивали цикады в кустах, ночные жуки пролетали, светясь, как маленькие ракеты, трепеща крыльями… Коковцев вдруг спохватился:

– А где же наши корзины?

– Ты забыл их на пристани в Дэдзима, голубчик. – Пьяная, безобразная старуха, кривляясь, вдруг начала хохотать, издеваясь над ним. – Ты забыл их в Дэдзима! – кричала она. – Ах, как смешно!.. Но мы не забыли виски! А корзины забыли…

Близился праздник луны, большой и яркой. С высоты старого причала Коковцев видел, как внизу тихо колышется пленка нефти на поверхности гаваньской воды. Лишь на какую-то долю секунды лицо Окини-сан повернулось к лунному свету, и он, казалось, узнал в ней черты прежней и невозвратной женщины… Пошатываясь, Коковцев доставал из карманов деньги.

– Это все тебе, – говорил он. – Видишь, как много? Здесь нам хватит надолго… Может, купим новые корзины?

– Я давно не видела столько денег. Да, мы купим громадные корзины, а наш кузнечик заживет в новой красивой клеточке. – Окини-сан распечатала вторую бутылку виски.

Коковцев наотмашь ударил старуху по лицу:

– Оставайся тут… пьяная ведьма. Я не могу больше так жить! Я ненавижу тебя и всю нашу постылую жизнь… Прочь!

Бутылка выпала из руки Окини-сан, кулак ее разжался, и ветер развеял деньги над нефтяной пленкой воды.

– Я так и знала, – тихо сказала она. – Никто не может… – Со стоном вдруг обняла его – страшно крепко. – А разве я могу? – раздался ее крик.

В кустах затихли цикады. Коковцев ощутил костлявые ключицы, исчахшую грудь этой уродливой старухи.

– Прости, – ответил он ей, плача.

– А ты не виноват. Виновата одна лишь я, рожденная в этот ужасный год Тора… Ты сам должен простить меня!

Окини-сан уже не казалась пьяной. Коковцев перехватил ее взгляд – он был в эти минуты такой же, каким она (в юности) любовалась замшелыми камнями, светом луны в праздник дзюгоя. А лицо ее сделалось почти молодым…

В поведении женщины что-то вдруг изменилось.

– Ты не можешь? – переспросила она. – А я?

Над Иносой разгорались огни, слышалась музыка.

– Отпусти меня, – сказал Коковцев.

Стоя спиною к обрыву причала, женщина склонялась над морем, продолжая удерживать его в своих объятьях.

– Не бойся… не надо, – шепнула она.

Только сейчас его охватил ужас.

– Не держи меня! – успел крикнуть он.

Короткий всплеск и холодный мрак. Третий раз в жизни море забирало его к себе. Он не вытерпел, жадно заглотав воду в легкие. Угасающее сознание еще было способно отметить, что Окини-сан, припавшая к нему, вдруг захотела вернуться обратно.

Куда? К своей лачуге? К свету луны? К своему кузнечику?..

Коковцев сам удержал ее на илистом дне гавани, забросанном бутылками, разложившейся падалью и консервными банками. Там, среди отбросов большого города, они и затихли, еще шевелясь и вздрагивая в агонии, пока глаза не закрылись в усталом сне – глубоком и безнадежном.

Где-то очень далеко звучала веселая музыка.

Жизнь продолжалась, но это была уже не их жизнь!

Через несколько дней местная газета коротко сообщила в числе городских происшествий, что море выбросило два трупа. Полиции удалось опознать в них известную когда-то куртизанку из Иносы по имени Окини и русского адмирала, имевшего честь удостоиться от божественного микадо ордена Восходящего солнца. Больше ничего. А больше ничего и не надо!

Восходящее солнце осветило две новые могилы на иносском кладбище. Я не знаю – как было в действительности, но хочется верить, что Коковцева и Окини-сан похоронили рядом. Вряд ли остались следы их могил…

9 августа 1945 года над цветущим городом пронесся раскаленный, испепеляющий ураган радиоактивного взрыва, часы жителей Нагасаки моментально расплавились, а их стрелки навеки застыли, отметив время – 12 часов и 2 минуты.

Мертвые этого взрыва, конечно, не заметили.

А живые в тот день позавидовали мертвым…

Жалею об одном: как мало мне удалось сказать!

Остров Булли, осень 1979 – осень 1980 г.

КОММЕНТАРИИ

Сентиментальный роман «Три возраста Окини-сан» был написан Валентином Саввичем в 1980 году. Предварительно ознакомившись с рукописью, редакция журнала «Нева» в январе 1981 года заключила с В. Пикулем договор на издание романа. В пожеланиях говорилось:

«Заключая договор с автором, редакция просит его о следующем:

1. Несколько сократить рукопись, дав нам журнальный вариант романа. Думается, что сокращение рукописи до 20 а. л. не очень отразится на качестве произведения.

2. Хотелось бы, чтобы автор уделил больше внимания образу сына Коковцева, который стал большевиком.

Главный редактор Д. Т. Хренков

Зав. отделом прозы К. И. Курбатов».

Идя навстречу редакции, Валентин Саввич сократил роман: из «Первого возраста» он убрал 462 строки, или 16 страниц, из «Второго» – 787 строк, или 27 страниц, «Третий возраст» потерял 1153 строки, или 40 страниц. С большой неохотой производил он эту непривычную для него работу. Пикуль любил писать, созидать. А делать «пластические операции» своим творениям считал занятием непутевым.

Но время было особенное. После публикации отрывков из «Нечистой силы» в журнале «Наш современник» в 1979 го­ду и соответствующей реакции верхних эшелонов власти, обнародованной устами М. Суслова, Пикуля не просто не печатали – от него боязненно шарахались. А надо было как-то жить, на что-то существовать, надо было сохранить силы на воплощение в новые книги еще многого, уже хорошо обдуманного. Поэтому Валентин Саввич согласился на публикацию журнального варианта, который и появился в № 9-11 журнала «Нева» за 1981 год.

Почти в это же время ленинградское отделение издательства «Советский писатель» в лице директора В.П. Набирухина заключило договор с автором на издание романа отдельной книгой. Видимо, чтобы подстраховать себя, редакция заказала на «Три возраста» столько же и рецензий: литературную – писателю С. Тхоржевскому и специальные – доктору исторических наук профессору И. Козлову и доктору филологических наук В. Горегляду. Первые две рецензии были положительными, а третья – резко отрицательная. Прочитав роман, Горегляд пришел к выводу, что у автора нет марксистско-ленинского понимания исторических событий и классового подхода к оценке героев. Строго следуя привычным канонам марксизма-ленинизма, рецензент находил подпорки своим шатким аргументам, ссылаясь на труды людей более известных.

Пригласив в союзники Ленина, Горегляд нотационно наставлял: «Нужно избегать упоминания о действительных (?! – А. П.) или мнимых пограничных конфликтах. Они могут послужить лишь дальнейшему раздуванию антисоветской пропаганды…»

Чтобы взгляд на правду выглядел поприличнее, на помощь призывался Горький: «К историческому роману более всего приложим горьковский принцип – если художник говорит: „Я писал правду“, мы вправе спросить его, которую и зачем…»

Вот так! Не больше и не меньше.

Да и сейчас еще у нас немало людей, которые привыкли делить правду на партийную и общечеловеческую, на рабочую и сельскую, на чистую и чистейшую и т. д.

Для Валентина Саввича Пикуля правда была понятием целостным, однозначным.

Хотя рецензент имеет право совещательного голоса, издательство среагировало на клеветнический приговор Горегляда, гласившего: «Главные пороки романа в том, что все его герои, от матроса до аристократа, имеют одинаковую психологию – мелкого торгаша, одинаково безграмотны и одинаково пошлы. Целые народы – русские, англичане, китайцы обливаются грязью… Роман В. Пикуля „Три возраста Окини-сан“ печатать нельзя».

Автору было предложено переработать роман. В ответе на редакционное заключение, подписанное и. о. главного редактора Цакуновым и ст. редактором Зубковой, Валентин Пикуль писал: «…Получил рецензию В. Горегляда, с выводами которой я не согласен. Мне думается, автор вышел за рамки литературной и специальной критики, переводя всю озлобленность ко мне в иную плоскость, очень далекую от литературы… Нет у меня пошляков, как нет и торгашей… И „гнев писателя“ сосредоточен не на англичанах, а на подлейшей „викторианской“ политике колониальных захватов, не на несчастных индейцах, которым писатель выказывает авторское сочувствие, а на омерзительном правительстве императрицы ЦЫСИ…»

Пикуль отказался калечить роман, и он на сей раз не состоялся.

Произведение не опубликовалось книгой до 1983 года, когда нашелся смелый русский человек – Гусев Геннадий Михайлович бывший в ту пору директором издательства «Современник»), который на основании договора с автором выпустил журнальный вариант книги. Это была маленькая, но такая нужная победа! В 1985 году областное Калининградское издательство (директор – С.Т. Карманов) взялось за издание полного текста романа, которое и было осуществлено на следующий год в серии «морской роман».

В этом же году с Окини-сан в журнальном варианте познакомились болгарские читатели. Следует сказать добрые слова в адрес отличной переводчицы Виолетты Московой.

В Праге роман вышел под названием «Адмирал и гейша» в издательстве «Наше войско».

В 1987 году роман «Три возраста Окини-сан» вышел в Варшаве на польском языке.

Но все же наибольшее удовлетворение автор получил в тот миг, когда держал в руках книгу с замысловатыми, непонятными иероглифами. Несмотря на это, она была очень родной. Потому что с суперобложки на него смотрели знакомые лица: В. Пикуль и Окини-сан из его коллекции, подаренная переводчику книги господину Масахису Судзукаве.

Интерес к истории русского Дальнего Востока у Валентина Саввича неизбежно пересекался с Японией, к искусству, природе и людям которой он, как художник, питал определенную любовь.

Однажды, просматривая альбом из коллекции доктора Сукарно, В. Пикуль увидел репродукцию, изображающую прелестную японку в дорогом кимоно. Именно она и стала прототипом Окини-сан, хотя в портретной картотеке Валентина Саввича имелись два фотоснимка реально существовавшей гейши.

Концовка романа во многом навеяна старинной японской гравюрой, на которой изображены мужчина и женщина, бросающиеся в море, чтобы прервать так неудачно сложившуюся жизнь.

Выходу книги на японском языке был посвящен целый ряд мероприятий, проведенных в генеральном консульстве города Осака 28 июля 1989 года. Состоялись торжественный прием с художественной программой, пресс-конференция с речами и выражением надежд на дальнейшее укрепление культурных связей.

Как важно сейчас, в это сложное, неспокойное время, развивать добрые, дружеские отношения и совместными усилиями воскрешать забытые страницы истории, как это делал Валентин Саввич Пикуль.

От автора

Юность… Она была тревожной, как порыв ветра, ударивший в откинутое крыло паруса.

Эта книга и посвящается юности – нелегкой юности поколения, к которому я имею честь принадлежать.

Тогда было суровое время жертв, и мы были готовы жертвовать. Многие из нас тогда же ступили на палубы боевых кораблей.

Эту повесть составляют подлинные события. Но имена героев, как и названия некоторых кораблей, я сознательно изменил. А возможные совпадения – чистая случайность.

Технические и специальные термины я умышленно упростил, дабы не утомлять моего читателя.

Разговор первый

Еще ни разу в жизни я не видел ни одного юнги…

Я проштудировал четыре тома «Педагогической энциклопедии», безуспешно отыскивая в ней хотя бы намек на юнг. Энциклопедия добросовестно перечисляла все школы нашей страны – передового опыта и фабрично-заводские, не были забыты даже уникальные школы для поздно оглохших и слабо видящих от рождения.

Но нигде не была упомянута Школа юнг ВМФ – Военно-Морского Флота…

Размышляя над этим казусом, я спешил на свидание с Саввой Яковлевичем Огурцовым.

Двери квартиры открыл не моряк, а человек в кителе служащего Аэрофлота.

– Простите, я, кажется, не туда попал. Мне нужен юнга Огурцов… Вернее, – поправился, – бывший юнга Огурцов!

– Проходите, – последовал краткий ответ.

Огурцов провел меня в свой кабинет, где ничто не напоминало о прошлом хозяина.

Большая библиотека говорила о любви Огурцова к русской истории. У меня глаза разбежались при виде книг, о существовании которых я даже не подозревал. А на столе я заметил дичайшее разнообразие вещей, тоже никак не определявших склонности хозяина к морю.

Лежала стопка книг по тропической медицине. В банке из-под сметаны покоилась жухлая трава, сорванная на поле Куликовом (это я выяснил уже потом). Тут же валялся молоток с гвоздями. А под лампой грелся холеный котище – черный, а глаза с желтизною.

– Итак, я к вашим услугам, – нелюбезно буркнул Огурцов.

Выслушав меня, он задумчиво погладил кота.

– Вы хотите написать книгу о юнгах? Но это почти невозможно. Школа юнг лежит ныне в руинах, а литературы о ней нет. Из славной летописи флота выпала целая страница, и этого никто даже не заметил. Печально!

– Но мне думается, – отвечал я Огурцову, – вы поможете мне. Вспомните. Подскажете. А кое-что, поверьте, я уже сам знаю…

Савва Яковлевич недоверчиво хмыкнул:

– Что же вы можете знать о юнгах? Сейчас все это уже история.

– Знаю! Например, мне известен даже такой факт, что вы попали на эсминцы, почти не владея одной рукой…

Хозяин сурово нахмурился:

– Да. Было со мною такое. А теперь… Смотрите!

Взял молоток и до самой шляпки засадил в стол гвоздище. Только сейчас я заметил, что стол у Огурцова был необычным. Грубо сколоченный из толстых досок, он скорее напоминал верстак.

– Очень удобно, – сказал Огурцов, отбрасывая молоток. – Такой стол можно очистить двумя взмахами рубанка. Терпеть не могу помешанных на лакированной мебели. Как правило, за такими столами сидят бездельники, которые не способны думать о работе. Они озабочены только одной трясогузочной мыслишкой – как бы не капнуть на полиранс, как бы не оцарапать его запонкой. А стол, – упоенно заключил Огурцов, – это не украшение жилища, а прекрасный плацдарм для распределения труда и мыслей…

Удары молотка не понравились коту, и он, недовольно фыркнув, спрыгнул со стола. Я раскрыл свой блокнот.

– Может, расскажете, Савва Яковлевич, как же все начиналось в вашей жизни? Что привело вас к морю? И как вы попали на флот?

– Самые простые вопросы – самые сложные. Мне трудно ответить вам в двух словах. Вообще-то, – призадумался Огурцов, – море и корабли я любил с детства. А кто их не любит? Во Дворце пионеров учился в кружке «Юный моряк». Помню, даже значок носил… голубенький такой. Тогда выдавали их. Не знаю, как сейчас. Конечно, мечтал о дальних странствиях. А кто о них не мечтает? Однако не забывайте, что ненависть к врагу у меня в душе воспиталась не по газетам. Так что, помимо морской романтики, было еще и великое желание воевать. А началось все с колеса…

– С какого колеса?

– С самого обыкновенного. С колеса товарного вагона на станции Вологда-Сортировочная. Да, именно с этого проклятого колеса и началась моя зрелая жизнь. С той поры прошло уже тридцать лет, а это колесо иногда еще накатывается на меня по ночам…

– Что ж, вот и название первой части. «Колесо»!

Огурцов сразу остудил мой горячий восторг:

– Заранее условимся, что каждую часть вашей книги я буду завершать своим очерком. Вроде эпилога. Моряки пишут худо, но довольно искренно, – это заметил еще Крузенштерн.

На прощанье я сказал:

– Возникли два мучительных вопроса…

– Заранее догадываюсь, о чем вы спросите. Вы увидели на столе книги по тропической медицине. Но человек должен много знать, а я… самоучка. Затем вы хотели спросить, почему я в этом кителе. Нет, я не летчик. Моя специальность – компасы. Я служу на аэродроме компасным мастером.

– А какие компасы на самолетах?

– Принцип прежний, проверенный – гироскопический. Ну а что такое гироскоп, вы еще узнаете от меня. Вам необходимо это знать, иначе с книжкою у вас ничего не получится… Всего вам доброго. До свидания!

Часть первая

Колесо

О вы, которых ожидает

Отечество от недр своих…

Ломоносов

Ближе к ночи эшелон с эвакуированными из Ленинграда втиснулся в неразбериху путей на сортировочной станции Вологда. Город уже спал, и только вокзал еще бурлил насыщенной заботами жизнью – жизнью военного времени. Жесткие графики вдруг срывали с места стылые эшелоны, раздвигали стрелки перед молчаливыми составами, что укатывали в строгую весну года тысяча девятьсот сорок второго – года героического!

Кто-то сказал, что ленинградцев в Вологде кормят по разовому талончику. Бесплатно и без карточек. А столовая для эвакуированных из Ленинграда работает в городе даже по ночам.

В мерцающем свете путевых фонарей по-весеннему тяжелел грязный, истоптанный снег. Сыро было и зябко. Закутанный в платок своей бабушки, Савка на себе вытащил мать из теплушки на зашлакованную насыпь.

Идти было трудно, мать часто опускалась на землю. Савка поднимал ее и тащил дальше, окликая редких прохожих:

– Эй, где здесь блокадников кормят по разовому?

Был уже второй час ночи, когда они, изможденные и усталые от поисков, окунулись в теплую благодать барака, над дверями которого висела надпись: «Питательный пункт № 3».

– Сынок, – ожила мать, – а эшелон-то наш сыщем ли?

Тьма-тьмущая стояла за окнами барака. Савка понимал, что мать по-хозяйски тревожится за свое барахло, оставленное в теплушке. Там у нее даже швейная «головка», отвинченная от машинки «Зингер». А вот Савке ничего не жаль, кроме двух больших тетрадей, исписанных им в любовном прилежании. По праву считал он себя автором двухтомного труда по военно-морскому делу; картинками и чертежиками разукрасил свои рукописи.

Им подали гороховый суп. Савка ел неторопливо, как и все блокадники, маленькими глотками, с удивительной бережливостью к хлебу. Поначалу выбирал из супа всю жидкость, чтобы потом насладить себя густотой горячего варева. Старуха-подавальщица по-доброму заметила Савке:

– Милый, не оставляй гущу на второе. Будет и каша.

– А какая, бабушка?

– Пшенка. Со свиным смальцем… Уж не обидим вас!

Кое-кто за столами барака умер, не доев своей пайки по разовому талону, и теперь смирнехонько, никому не мешая, сидел за сытным столом – в ряд с живыми. Но к нечаянным и быстрым смертям в дороге уже привыкли.

Обратный путь до станции оказался гораздо труднее, и мать все чаще садилась на землю. Тащить ее было невмоготу, и Савка ослабел. А на сортировочной – столько путей и столько эшелонов, что казалось, в ночной темени они уже никогда не отыщут своего вагона. Лазать через высокие тамбуры они были не и силах, а потому Савка волоком тащил мать через рельсы, под вагонами.

– Наш или не наш? – спрашивала мать от земли.

Все теплушки казались одинаковыми, как бобы с одного поля.

– Найдем, – отвечал Савка. – Без нас не уедут.

Он снова поднырнул под тяжелую платформу, на которой сверкал инеем промерзлый танк, грозя в ночь хоботом орудия. Схватив мать за воротник пальто, Савка потянул ее через рельс. Но сортировочная жила своим временем, своим напряжением. И едва удалось дотащить мать до середины рельса, как сработало неумолимое расписание. Издалека уже накатывался перезвон буферных тарелок, бивших все ближе и ближе… Удар! Эшелон тронулся.

– Ма-ама! – истошно прокричал Савка.

Большое колесо платформы черной тенью подкрадывалось к матери, которая лицом вниз лежала поперек рельса. Сидя на корточках под платформой, Савка пытался сдернуть мать на шпалы. Но последние силенки отказали ему, и мальчик в ужасе смотрел, как едет, медленно и неотвратимо, жирное колесо, источая в темени ночи неживые запахи масла и гари…

– Мама, вставай! Раздавит же!

Мать слабо подняла голову. Колесо уже прищемило край материнского пальто… Но тут снова раздался звончатый перебой буферов. Савка не сразу понял, что эшелон еще не тронулся – он лишь брал разбег для долгой дороги. Колесо двинулось обратно, освобождая прижатый к рельсу край пальто матери. Они прижались к шпалам, а над ними, быстро наращивая скорость, пошло перекатывать вагоны, теплушки, цистерны и платформы.

Савка видел между бегущими колесами как бы узкий туннель, наполненный грохотом и воем гудящего железа. Вот уже глянул просвет в конце туннеля, под самым последним вагоном. Савка не успел увернуться, и громадный крюк сцепления, болтавшийся в самом хвосте эшелона, сильно ударил его в плечо, проволочил по шпалам…

Ярчайше сияли звезды. Было тихо, когда Савка очнулся, а в отдалении еще помигивал красный огонек уходящего эшелона. Плечу сразу стало больно, но он встал. Подошел к матери, все так же безвольно лежавшей на шпалах.

– Пойдем, – сказал Савка.

…В эту ночь он явственно ощутил, что детство кончилось. Наступила иная пора жизни, которую он еще не знал, как назвать, но в которой нужно было отыскивать свое место…

\* \* \*

А на грандиозном перегоне Вологда – Архангельск жизнь сразу повеселела. И хотя снежок за окнами поезда лежал еще не тронутый мартовским солнцем, воронье уже вовсю радовалось, галдя над лесными полянами. Да и вагон был уже не теплушкой, а настоящим купейным дальнего следования – с полками для спанья, даже с зеркалами. Военные угостили Савку куском сахара, и он охотно сообщил им:

– Вот везу… маму-то! Уже немного осталось.

– До Архангельска?

– Ага.

– К родным, выходит?

Савка показал конверт последнего письма от отца.

– И адрес имеется – номер полевой почты. Он у меня не как-нибудь… Комиссар!

– Это фигура, – оценили его отца военные. – Только, милый, номер полевой почты – это еще не номер дома.

– Я найду. Только бы в Архангельск поскорее… Чего уж!

Вот и конец пути. Вокзал – на левом берегу Двины, а город – на правом. Моста через реку нет, и пассажиры дружно топают через подталый лед. Даже не верится, что там, в этих улицах города, в хитросплетении корабельных мачт, где-то сейчас находится отец Савки, который еще не ведает, что они уже здесь, только на другом берегу… Савка сгрузил все вещи в горку на перроне вокзала, поверх скарба усадил мать, и она ткнула кулаком в синий узел, проверяя:

– Машинка-то еще здесь? Здесь будто…

Савка перед уходом строжайше наказал ей:

– Ты сиди, пока я папу не найду. Главное, стереги чемодан – в нем мои сочинения.

По скользкой, наезженной санками тропе он съехал с берега на лед реки. Где же искать отца? Напрасно он расспрашивал прохожих, показывал им конверт:

– Где тут найти – вот по такому номеру?

– По номеру? Не знаю, – отвечали прохожие.

А один даже повертел конверт в руках, потом сказал:

– Ну и комик же ты, приятель!

Забрел Савка и на почту, где выстоял длиннющую очередь, чтобы задать все тот же вопрос. Но и здесь его постигло жестокое разочарование:

– По номерам полевой почты справок не даем…

Его уже шатало. От голода. От холода. От недосыпа. Плечо сильно болело, и Савка заметил, что пальцы левой руки разжимаются с трудом.

В пустынной сберкассе, куда Савка зашел обогреться, за стеклами окошечек сидели две барышни. Яростно и жарко пуляла искрами железная печка.

– Тебе тут чего? – спросили барышни.

– А… нельзя? – ответил вопросом Савка.

– Можно. Только не укради чего-нибудь.

– Чего у вас красть-то. Мне бы так… погреться. Из Ленинграда я, из блокады. Приехал вот… а не знаю…

Отношение к нему сразу переменилось, и Савка снова тряс конвертом, рассказывал про отца, что тот служит на кораблях, и не как-нибудь, а комиссаром.

– Так тебе в Соломбалу надо.

– А что это такое? – спросил Савка, запоминая.

– Остров. Ну, как в Ленинграде – Васильевский. В Соломбале, на второй лесобирже – флотский Экипаж. Старый кирпичный дом в пять этажей. Вот там свой конверт и покажи…

Пришлось опять переходить речку, и – правда! – показался большущий домина казенного вида, без занавесок на окнах. Возле пропускного пункта похаживал румяный матрос-новобранец с винтовкой. Ему было явно скучно, и он припугнул Савку штыком:

– Вот я тебя на шомпол насажу, а потом изжарю!

Савка штыка не испугался.

– Нашел чем пугать… ленинградского-то! Мне бы вот комиссара Огурцова. Может, слышал?

– А ты кто такой? На што тебе сдался комиссар?

– Так я же его сын буду… Савка Огурцов!

– Минутку. – И матрос стал куда-то названивать.

Скоро явился запаренный рассыльный в бушлате.

– Вот этого пацана – в политотдел.

– Есть! – развернулся рассыльный.

Он провел Савку на третий этаж, в просторный кабинет, где за столами (под плакатами, зовущими к победе) сидели и что-то писали четыре морских офицера. Савка понял, насколько он плох, когда при виде его один офицер схватился за голову, второй свистнул, третий охнул, а четвертый, самый деловой, спросил:

– Что делать с ним для начала? Мыть или кормить?

Состоялась краткая дискуссия, в которой Савка скромнейше участия не принимал. Коллегиально было решено – сначала кормить, но не до отвала, чтобы не помер.

– Иди на камбуз, но соблюдай норму. Потом ешь сколько влезет, а поначалу воздержись. Отец твой на тральщиках, мы ему сейчас позвоним, и он скоро прибудет…

Столовая в Экипаже – громадный зал вроде театра, и в глубь его тянутся столы, столы, столы… Они накрыты к обеду – миски, ложки, чумички, а вилок матросам не положено. Сбежались официантки. Сочувственно охая, усадили Савку за отдельный стол и сами уселись напротив. Горестно подпершись руками, женщины смотрели, как он подчистую умял и первое, и второе, и третье. Одна из них, постарше, сказала ему:

– Нам не жалко. Мы бы еще дали, да из политотдела звонили. Не велено тебе сразу много есть.

Опять явился рассыльный и объявил Савке весело:

– Ходи вниз по трапам. Тут недалече… только до баржи!

Привел он Савку на баржу, вмерзшую в лед под берегом, а на барже была мыльня. Пожилой матрос-банщик вопросил строго:

– А вша у вашего величества имеется?

– Хватает, – робко признался Савка.

– Тогда сымай все с себя, кукарача!

Первым делом банщик пожелал остричь Савку под машинку.

– Нагнись. Я тебя под нуль оболваню.

Савкины пожитки он завязал в узел и поднял его двумя пальцами.

– Вша, – сказал матрос внушительно, – животная загадочная. Когда человек в тепле, в счастье и в сытости – ее нету! Как только война, смерть, голод и горе людское – тут она появляется, стерва, и ты скребешься, как не в себе… Вот что, – закончил он, – от прежней шикарной жизни оставлю я тебе пальтишко, порты да валенцы. Остальное в печку брошу.

– Кидайте, – согласился Савка. – Чего тут жалеть?

Моясь казенным мылом, он заметил, что его левое плечо все синее от удара поездным крюком. В трюме баржи – жаркая парилка, лежат на полках исхлестанные веники. Когда Савка вымылся, банщик бросил ему все чистое – морское. От кальсон и тельняшки исходил особый – казенный, что ли, – запашок.

– Флот жертвует, – сказал банщик, довольный собой.

Отец прибыл в Экипаж, отрывисто спросил сына:

– А где мать?

– На вокзале, с вещами. Я тебя искать пошел.

Быстро подали базовый грузовик. Отец сел в кабину с шофером.

– Жди! – крикнул. – Сейчас привезу…

Вернулся скоро. Выбрался из кабины и только теперь поцеловал сына. «Где же мама?» – подумал Савка, и, словно отвечая его мыслям, отец показал рукою на кузов машины:

– Она… там.

Савка глянул через борт грузовика. Мать лежала, ровно вытянувшись на спине, посреди узлов, уже распоротых ножами вокзальных жуликов. Широко открытыми глазами она смотрела на яркое весеннее солнце. Смотрела, уже не мигая от его блеска.

– Пойдем, – сказал Савке отец.

А кладбище в Соломбале было старинное, могилы там перевиты цепями, и в грунт последнего людского пристанища вцепились ржавые якоря.

\* \* \*

Отец поселил сына в комнатенке, снятой на время в деревянном соломбальском доме, на самом берегу речушки Курьи. Далекие возгласы горнов, поющих по утрам на дворах Экипажа, неустанно взывали к подвигам. Проснешься – и сразу видишь в окне, за бутонами пышных гераней, путаницу снастей, неразбериху корабельных рангоутов. Все напоминало о море. Кажется, Соломбала издревле так уж устроена, чтобы уводить подростков в заманчивые дали морских скитаний. Отсюда, от ее причалов, где сейчас рычат дизеля «морских охотников», начинали свои пути Лазарев и Чичагов, Литке и Русанов, Седов и Воронин! От могилы матроса, погибшего у мыса Желания, прямая дорога приведет тебя в кривые проулочки Соломбалы, и ты постучишься в дом, где живут его потомки. Именно здесь рождались и росли скитальцы-непоседы, которым хорошо только в море. Даже дети Соломбалы, до позднего вечера играя на воде, поют свои особые песни.

У папы лодку попросил,Ремнем мне папа пригрозил:– Вот те лодка с веслами,Мал гулять с матросами!В город Савка даже не заглядывал. Днями пропадал на улицах и речках Соломбалы, бродил возле пристаней, вдыхая едкую гарь судоремонтных мастерских, и не раз блуждал в лабиринтах лесобиржи, среди штабелей леса, уложенных в «проспекты». Соломбала – старейшая верфь России, и жители ее не ведают почвы под своими ногами: дома стоят на многовековых отложениях щепок и опилок – отходов от строительства кораблей, давно пропавших в походах, забытых.

Оттого-то, наверное, жилища соломбальских мастеровых и погружались в зыбкую землю, словно тонущие корабли в пучину. Идешь по скрипучим мосткам, а вровень с ними глядят на мир форточки первых этажей – хозяева уже перебрались на второй этаж. Над речками Соломбалы, будто в Венеции, перекинуты горбатые мостики, а берега их вплотную заставлены лодками, весельными и моторными.

По весне залило Соломбалу обширным половодьем, но жизнь продолжалась обычным порядком. На моторках плыли в школу дети, на лодках плыли из магазинов бабки с авоськами, а возле дверей парикмахерской покачивало на волне катера соломбальских мужиков, стоявших в кильватере, чтобы побриться и освежиться.

Настало лето. Иногда, наскоками, отец навещал сына.

– Тебе надо поправляться, – говорил он.

После блокады Савка испытывал постоянный голод и готов был есть с утра до ночи. Отец отдавал ему свой «сухой» бортпаек офицера: тресковую печень, бруски желтого сливочного масла и тушенку. Приносил в бутылках хвойный экстракт.

– Пей вот. Да не кривься. Это спасает от цинги.

Как-то отец принес большую розовую семгу.

– Не вари ее и не жарь, – сказал он Савке. – Ешь, как едят поморы, – сырую. Отрежь ломтик, посоли и съешь.

– Папа, ты сам поймал?

– Нет. Когда «охотники» швыряют на врага глубинные бомбы, то после взрывов всплывает масса оглушенной рыбы. Очумелые, кверху брюхами, виляют хвостами… Зрелище не из приятных.

Лето выдалось жаркое. Архангельск как тыловой город еще не знал светомаскировки, и по вечерам его бульвары и набережные освещались уютными огнями. Посреди Двины, рея флагами США, Англии и Канады, стояли толстобокие транспорты типа «либерти» и «виктория». Вдоль берега сидели на корточках чистоплотные, как еноты, малайцы и стирали свое бельишко, еще не просохшее после вчерашней стирки. Возле них примостились матросы-негры – сами грязные, как черти, они усердно крахмалили белоснежные воротнички и манжеты. А рядом купались белые полярные медведи из цирка шапито, и это разнообразие настраивало Савку на приключенческий лад…

Появился отец, взъерошил Савке волосы.

– Поздравляю. Тебе сегодня исполнилось четырнадцать.

– Разве? А я и забыл…

Отец рассказал, что немцы приближаются к Волге, образован новый фронт – Сталинградский.

– Сегодня у нас митинг. Будем выкликать добровольцев в морскую пехоту…

В июле буйно отцветала северная черемуха. Она совсем скрывала дома соломбальских мастеровых. В один из таких дней Савка от нечего делать поплелся на перевоз и еще издали заметил, что от реки в сторону Экипажа валит нескончаемая колонна подростков, почти его одногодков – чуть постарше. В руках мальчишек тряслись фанерные чемоданы, болтались на спинах родимые домашние мешки. Вся эта ватага, галдящая и расхристанная, двигалась неровным строем в сопровождении вспотевших от усердия флотских старшин.

– Эй, кто вы такие? – крикнул Савка.

– Юнги, – донеслось в ответ.

– Какие юнги? – обомлел Савка. – Вы откуда взялись?

Из рядов ему вразброд отвечали, что они из Москвы, из Караганды, из Иркутска, с Волги.

Старшина отодвинул Савку прочь:

– Не мешай! Разговаривать со строем нельзя.

А дальше все было как во сне. Одним махом Савка домчал до дому, из чемодана выхватил два тома своих сочинений и понесся вдоль речки Курьи, не чуя под собой земли, в сторону Экипажа. Юнги уже прошли через ворота в теснины дворов флотской цитадели, и Савка нагло соврал часовому:

– Я же с ними! Ей-ей, отстал на перевозе.

Штык часового откинулся, освобождая дорогу в новый волшебный мир, который зовется флотом. Иногда бывает так, что судьба человека решается в считанные минуты. И да будут они благословенны! Стоял июль – жаркий июль сорок второго года.

Хроника тасс (июль 1942 года)

1 – на севастопольском участке фронта германские войска ценою огромных потерь продвинулись вперед; завязались рукопашные схватки.

4 – на курском направлении ожесточенные танковые атаки противника. Советские войска оставили Севастополь.

5 – в Баренцевом море советской подводной лодкой торпедирован германский линкор «Тирпитц».

14 – ожесточенные бои советских войск с группировкой противника, прорвавшейся в район Воронежа, и тяжелые бои с наступающими силами врага южнее Богучара.

15 – советские войска после ожесточенных боев оставили Богучар.

17 – советские войска оставили Ворошиловград.

21 – налет советской авиации на Кенигсберг.

23 – югославские партизаны за последние 12 дней заняли семь городов.

24 – ожесточенные бои в районах Воронежа, Новочеркасска и Ростова.

Растет партизанское движение в Польше; убийство германских полицейских стало повседневным явлением.

27 – британские войска на египетском фронте отошли на исходные позиции.

30 – оккупация японскими войсками островов Ару, Кэй и Тенимберских близ Северной Австралии.

Митинг на Трафальгар-сквер в Лондоне с участием около 70 тысяч человек обратился к правительству с призывом ускорить открытие второго фронта…

Это был горячий, изнуряющий июль, когда на советском флоте появилось новое воинское звание – юнга!

\* \* \*

В гулких коридорах Экипажа не протолкнуться, всюду галдеж молодых голосов. Прибывший молодняк невольно терялся в новой обстановке, а потому, дабы чувствовать себя увереннее, земляки держались друг друга. Скучивались москвичи, волжане, сибиряки, ярославцы.

Савке совсем некуда было приткнуться.

– Ленинградских нету? – спрашивал он.

Нет, питерских не было, давала себя знать блокада. Савка почувствовал себя отрезанным ломтем. В коридоре ему встретился какой-то мичман с аршинной ведомостью в руке; на ходу приложив бумагу к стене, он что-то наспех исправлял в ней.

– Где тут в юнги записываются? – спросил его Савка.

– Ты откуда такой свалился? – буркнул мичман, зачеркивая в ведомости: «Копч. сел., 300 г» и заново вписывая: «Мясо, 75 г». – Экипаж только принимает годных к службе на флоте и бракует негодных, а отбор в юнги проходил по месту жительства…

– Выходит, другим и нельзя? – обиделся Савка.

– Другие – отвались!

– А если я море люблю? Если жить без него не могу?

– Как угодно, – ответил, уходя, мичман. – Можешь помирать. Только не здесь, а валяй на улицу.

Сотрясая коридор Экипажа, мимо пронеслась большая толпа кандидатов в юнги, и каждый восторженно потрясал белым листком, еще чистеньким, без отметок и помарок. Савку подхватило и понесло за ними.

– Вы куда, ребята? – спрашивал он на бегу.

– На комиссию. Для первого опроса.

– А что это за опрос такой?

– Если б знать! Говорят, по всем наукам гоняют.

– Я тоже с вами, – не отставал от них Савка.

– А где лист у тебя?

– Какой?

– А вот такой. Для комиссии.

– Нету листа! – отвечал Савка и мчался дальше.

Перевели дух возле дверей кабинета, где заседала комиссия. Через толпу ребят пробирался хмурый капитан третьего ранга, и вдруг он цепко схватил одного юнгу за локоть.

– Покажи руки! Это что у тебя?

Руки были испещрены татуировкой. Капитан третьего ранга грубо распахнул куртку и обнажил грудь кандидата в юнги, разрисованную русалками и якорями.

– Дай лист, – приказал офицер и тут же порвал лист в клочья. – Можешь идти. Ты флоту не нужен.

– Простите! – взмолился тот. – Это можно свести… сырым мясом прикладывать… Дурак я был…

– Сведешь – поговорим! – Капитан третьего ранга открыл дверь в кабинет. – Входите по одному. Кто первый?

Первого выставили с треском через три минуты.

– Сразу засыпали, – говорил он, очумелый. – Мол, политически неподкован…

– Следующий! – потребовали от дверей.

Кто-то сзади больно треснул Савку по затылку, он влетел в кабинет и узрел пред собой грозное судилище.

– Где твой лист? – спросили от стола.

Савка выдернул из-за пазухи бухгалтерские тетради, заполненные «собственными сочинениями».

– Вот сколько листов! – сказал он в растерянности.

За столом оживились:

– Что это тут у него? Ну-ка, ну-ка…

На обложках было аккуратно выведено: «Военно-морское дело». Внутри тетрадей, под рубриками дебета и кредита, был размещен текст, украшенный рисунками на морские темы. Потому и разговор начался узкоспециальный.

– Какие огни несет судно, стоящее на рейде?

– Штаговый и якорный гакабортный.

– Что такое штаг и что такое гакаборт?

Савка отрубил слово в слово, как у него было записано в тетради.

– Каких систем якоря знаешь?

– Знаю по алфавиту: Болда, Гаукинса, Денна, Инглефильда, Марелля…

– Стой, передохни! Какой якорь принят на нашем флоте?

– Холла. Самый надежный. С поворотными лапами.

Капитан третьего ранга нацепил очки, притянул к себе Савкины тетради.

– Хочу знать имя автора, – сказал он и вдруг спросил: – Ты случайно не родственник нашему комиссару?

– Это мой отец.

– А обходного листа нет?

– Нет.

Капитан третьего ранга извлек из стола чистую анкету, вписал в нее фамилию, имя и отчество Савки, потом спросил:

– В каком родился?

– В двадцать восьмом.

– Не пойдет. Хорош ты парень, но… мал. Набор в юнги производится среди тех, кому уже пятнадцать.

– Клянусь! – ответил Савка. – Мне пошел пятнадцатый.

– Ладно, – слегка подобрел капитан третьего ранга. – О чем мы толкуем, ежели под носом телефон стоит. Позвоним отцу. А ты, товарищ Огурцов, пока выйди и поскучай за дверью.

Скоро его позвали обратно в кабинет.

– Отец не возражает. Мы тоже. Забирай лист. Первую отметку «годен» ты уже получил. Не подгадь на медицинской комиссии. Там мы тебе помочь не сможем: врачи у нас строгие…

\* \* \*

Отбор в юнги шел безостановочно, жестоко разделяя мальчишек на годных и негодных, на счастливых и несчастливых.

Врачи заняли гимнастический зал, отодвинули к стенкам спортивные снаряды. Подростков гоняли от стола к столу. Голые, они стыдливо прикрывались обходными листами, на которых появлялось все больше непонятных записей. Поспешность сверстников заразила и Савку: он тоже начал метаться между столами, по диагонали рассекая зал, от одного врача к другому.

Седой дядька в больших чинах обстукал его.

– Наклонись. Выпрямись. Руки вперед. Глаза закрой. Раздвинь пальцы… Водку пил?

– Нет. Что вы!

– Куришь?

– И не думаю.

– Когда собираешься?

– Что?

– Курить.

– Пока не хочется.

– Ну и ладно. Тощий ты, правда. Но на флотских харчах откормишься. Иди с богом на вертушку… Кто следующий?

Садиться в кресло-вертушку было страшно. Как раз перед Савкой одного кандидата в юнги так повело в сторону, что, полностью потеряв равновесие, он врезался лбом в стенку.

Красивая врачиха во флотском кителе велела Савке:

– Садись. Зажимаю руки. Ноги в ремни. Начали!

В одну полоску сразу вытянулись все лица, неслась перед глазами – уже без углов! – стенка зала, слились в одно окна. Но вот добавилось вертикальное вращение. Теперь кресло кувыркалось. Сплошная матовая дуга стала пестрой, и Савка уже не знал, где пол, где потолок.

Неожиданная тишина. Внезапный покой.

– Вылезай, – сказали ему, освобождая ремни.

Едва коснулся пола, как швырнуло в сторону. Савка сделал шаг, и его тут же вклеило грудью в подоконник. «Все пропало!» – было его первой мыслью. Но у докторов на этот счет, очевидно, было какое-то свое мнение, и по движению руки красивой врачихи Савка догадался, что она пишет ему «годен».

– Теперь на силомер, – сказали ему.

Из рук врачихи он благодарно принял лист.

– А что со мной было? – спросил неуверенно.

– Ничего страшного, – отвечала она с улыбкой. – Ты, мальчик, наверное, будешь в море укачиваться. Но пусть это тебя не пугает… Адмиралы Ушаков и Нельсон тоже укачивались.

Савка занял очередь на силомер. Поинтересовался:

– А как тут? Не слишком придираются?

– Ерунда! – отвечали ему. – Нужно рвануть от пола рычаг, чтобы стрелка прибора указала не меньше семидесяти.

– Чего «семидесяти»?

– Килограммов, конечно.

Савка глянул на свой лист. Такого счастливого результата он сам не ожидал. Всюду «годен», «годен», «годен». Осталось заполнить последнюю графу на силомере, и тогда флот, издавна зовущий и такой заманчивый, сразу приблизится к нему. Дрожа котельными установками, дымя из широких труб эсминцев, флот обласкает его теплым дыханием воздуходувок…

Семьдесят килограммов!

И как назло острая ломота потекла от плеча вниз, пальцы будто налились ртутью. А очередь двигалась с роковой неумолимостью. Юнги рвали от пола рукоять прибора, который точно оценивал мускульное напряжение. На силомере гораздо чаще, чем у других столов, слышалось бодро-подгоняющее:

– Отходи! Следующий… Так, отходи! Следующий…

Судьба наплывала на Савку, как то вагонное колесо в ночи, безжалостное и равнодушное к его мальчишеской доле.

Ближе, ближе, ближе…

Сколько он выжмет? Ну, сорок. Не больше.

Что делать? Как быть? Только бы не разреветься!

Савка сделал шаг в сторону из очереди…

Сто двадцать пять граммов хлеба в сутки, холод нетопленых жилищ, взрывы снарядов в соседних домах, ночные зарева пожаров – все это, вместе взятое, еще держало его в кольце жестокой фашистской блокады.

«Нет, мне не выжать!» И он выскочил в коридор.

\* \* \*

В коридоре толпились счастливчики, уже прошедшие все стадии проверки. Кто-то сзади положил руку на плечо Савке. Перед ним стоял остроскулый, чуть косоватый паренек, улыбался по-хорошему.

– Ты каковский? – спросил он, явно радуясь жизни.

– Был ленинградский, а теперь… Вон мой дом виднеется.

– А меня зовут Мазгутом Назыповым.

– Узбек ты или… Откуда будешь?

– Татарин касимовский буду. Касимов знаешь?

– Нет.

– Ну, я тебе расскажу потом… Давай дружить, хочешь?

– Еще бы! А ты море видел?

– Откуда мне его видеть было? Из Касимова?

– А чего же тогда на флот пошлепал?

– Чудак-человек! Кто же от флота откажется? Ты вот скажи, сколько раз «Мы из Кронштадта» смотрел?

– Два раза.

– А я – четыре. Есть хочешь?

– Всегда хочу, – ответил Савка.

– Я тоже, – помрачнел Мазгут. – Знаешь, у нас в Касимове голодно. Я уезжал, так в доме куска хлеба не было… Но скоро нас поведут на обед. Это правда, что на флоте компот дают?

Савка живо обернулся к новому товарищу.

– Мазгут, ты мне сам дружбу предложил, так? Вот и выручи меня. Бери мой лист, ступай в зал и дерни там ручку на семьдесят килограмм. А?

– Что, сам не можешь?

– В том-то и дело. После цинги. И рука болит.

Назыпов слегка отодвинулся от Савки:

– Лучше я тебе свой компот за обедом отдам.

– Зачем он мне? Ты дерни лучше за меня.

– А если застукают? Тогда ни флота, ни компота.

Савка даже обиделся:

– Ты же моря не видел! На что оно тебе-то?

Они разошлись, и Савка, ища поддержки, придвинулся к компании великовозрастных юнг, которые прятали цигарки в кулаках, тоже довольные жизнью. Среди них выделялся здоровяк, говоривший этак небрежно, кривя толстогубый ротище:

– Мы тут с ребятами из нашего двора магазинчик один накололи. Взяли патефон с пластинками, даже Лемешева пластиночки попались, конфеты «Кис-кис» и четыре бутылки водки. Ну, засыпались всей бражкой. Мне – повестка: явиться тогда-то в милицию, к следователю. А тут шухер пошел по городу, что пацанов постарше в юнги записывают. Я вместо милиции к военкому. Ну, парень я здоровый, меня – сюда. А то бы засадили.

Довольный собой, он размял цигарку о радиатор парового отопления и зашвырнул окурок в угол коридора.

– А что нам! – добавил, не унывая. – Мне уже почти семнадцать. Еще бы годок покрутился дома, потом призыв – и в окопы. Так лучше уж в юнги. Тачка-то от нас не убежит!

Савка выбрал удобный момент и дернул силача за рукав.

– Как фамилия? – спросил он его.

Тот даже посерел от ярости:

– А ты кто? Из угрозыска, чтобы фамилию спрашивать?

– Да нет, я так. Мне бы кого посильнее.

– Или в ухо захотел посильнее? Могу по блату устроить.

– Постой! Меня вот, например, зовут Савкой Огурцовым…

– А что мне с того? – наступал на него верзила.

– Будь другом, – взмолился Савка. – Вижу я, что тебе сил девать некуда. Так спаси – выжми за меня…

– Что тебе выжать надо?

– Да эти килограммы. Хотя бы семьдесят! Здесь, смотри, народу сколько, все голые бегают, врачи уже затыркались с нами. Для них мы все на одно лицо. Будь другом…

Парень призадумался. Взял у Савки анкету.

– Идет! – сказал бодро. – А фамилию мою ты запомнишь на всю жизнь – Синяков… Витька Синяков. Ясно?

Разделся, прикрыл себя Савкиным листом и смело шагнул в двери гимнастического зала. Скоро вернулся обратно.

– Я без очереди пролез. Сто двадцать пять, не мало ли?

– Ой, куда мне столько… Хватило бы и семидесяти! Вот спасибо, вот спасибо… Так выручил, так выручил, так выручил!

Витька Синяков проворно пролез ногами в штаны.

– Я с твоего «спасиба» здоровее не стану, – отвечал он. – И помни, хиляк, твердо: Витька Синяков даром никому и никогда ничего не делал и делать не будет…

За стенами Экипажа навзрыд пропели тревожные горны.

Свершилось!

\* \* \*

Вот он, самый вожделенный миг – получение моряцкой формы. Впервые для них, еще вчера бегавших в школу, специально для их слуха распелись соловьями старшинские дудки:

– Ходи до баталера. Бегом по трапам!

И хотя в здании Экипажа обыкновенная лестница с перилами, отныне она становится трапом, столовая – камбузом, уборная – гальюном, полы – палубами, потолки – подволоками, пороги – комингсами, а стены – переборками. Ошибаться никак нельзя, иначе засмеют!

Длиннющие очереди выстроились возле дверей баталерок, в нетерпении ожидая, когда можно будет покрасоваться матросской формой. Баталеры запускали на склады человек по двадцать. Юнги вставали шеренгой вдоль длинного, как на базаре, прилавка. На прилавке были заранее уложены кучками вещи, начиная от ремня с бляхой и кончая шинелью. Кто возле какой кучки встал, тот ее и получил, без всяких примерок.

Отовсюду неслись душераздирающие вопли:

– Товарищ старшина, бескозырка – словно таз!

– Отрасти кумпол пошире, – отвечали баталеры.

– Мне обувь – сорок четвертый размер попался.

– Твое счастье! А здесь не универмаг, чтобы копаться.

– А где же ленточка к бескозырке? – спрашивали юнги.

При этом вопросе взмокшие баталеры сатанели:

– Ты что? Первый день на свете живешь? Или папа с мамой не говорили тебе, что ленточка выдается только тому матросу, который уже принял присягу?

– А-а-а…

– Вот тебе и «а-а-а»! Забирай хурду и отчаливай.

Савка трепетно похватал свои вещички и понесся к лестнице Экипажа, на ступеньках которой юнги спешно переодевались. Все коридоры были забросаны пиджаками, джемперами, сорочками, футболками; всюду валялись полуботинки, спортсменки и сапоги (встречались даже лапти). Савке повезло: случайно ему досталась форма от малорослого моряка, и он, недолго думая, раздобыл мелу, начал яростно надраивать бляху на ремне. Многое было юнгам еще неясно, никто не понимал значения «галстука», который должно носить только при шинели или при бушлате. Наконец все переоделись, простились с узлами и чемоданами, распихали по карманам формы дорогое и заветное. Юнг повели в актовый зал Экипажа, велели снять бескозырки, но сесть не позволили.

– Кино покажут, – говорили одни.

– Не кино, а концерт шарахнут.

– Сейчас речугу толкать будут, – подозревали другие.

На сцену вдруг вышел комиссар Экипажа:

– Двери закрыть. Смир-рна! Слушай приказ…

Это был знаменитый приказ наркома обороны за номером 227, который зачитывался только перед военными. В крутых и резких словах было сказано начистоту, что дела наши плохи; что отступать больше нельзя; что решается судьба всего советского строя и всей великой русской нации; что пора покончить с паникерами; что главным девизом армии и флота отныне должны быть слова: «Ни шагу назад!».

Слушали затаив дыхание. Комиссар не допустил никаких комментариев к приказу, ничего не добавил от себя. И без того все было ясно.

– Старшины! Выводите людей.

– Головные уборы на-а-деть! Выходи строиться…

Нестройной колонной вытянулись на улицы Соломбалы; какая-то старуха перебежала юнгам дорогу, испуганно крестясь:

– Хосподи-сусе, всего-то годочек отвоевали, а уже деток малых на войну тащат. Свят-свят, с нами крестная сила!

Угасли последние огни глухих окраин Архангельска.

– Идти чтоб с песнями! – послышалась команда.

В самом начале колонны возник, струясь в полумраке, чистый серебряный голос:

Все вымпелы вьются, и цепи гремят —Наверх якоря выбирают…Тысяча юных голосов повела песню по печальной дороге, еще не ведая, куда эта дорога ведет.

Не скажут ни камень, ни крест, где леглиВо славу мы русского флага,Лишь волны морские прославят одниГеройскую гибель «Варяга»…

От «Варяга» давно и следа на воде не осталось. Но его флаги вечно будут реять над русскими моряками.

\* \* \*

Кажется, пришли. Показался лагерь бараков, обтянутых колючей проволокой. С высокой будки, где стоял часовой, плацы лагеря подсветили лучом прожектора. Витька Синяков оповестил всех:

– Это, братцы, пересылка. Сейчас дадут нам по сроку без адвоката, и – прощай, мамочка, загубил я молодость во цвете лет…

Никто не засмеялся. Из болотистого леска тучами налетали комары. Старшины развели юнг по баракам, отвечали одно:

– Спать, ребята, спать. Отвыкай спрашивать!

Савка с самого начала решил, что станет дисциплинированным юнгой, и когда ему велели спать, он тут же безмятежно заснул на голых нарах. А пока он дрыхнул, юнги побойчей не терялись. Судя по тихой возне, всю ночь напролет происходил свободный обмен формы. Савка утром встал, а шинель на нем уже волочится по земле. Фланелевка сама собой выросла до колен. Клеши тащатся по лужам, пояс брюк расположен выше груди. Бескозырку тоже подменили: теперь она, паря над ушами, свободно вращалась на стриженой макушке. В довершение всего ноги болтались в обуви, словно в ведрах. В таком виде Савка мало напоминал бедовых матросов из фильма «Мы из Кронштадта». Никак он не походил на скитальца, альбатроса и гордого ценителя океанов!

От обиды поплакал он в уголку, чтобы никто не видел, и пошел жаловаться старшине барака. Тот, замотанный до предела, только отмахнулся:

– А где ж ты был, когда тебя переодевали?

– Я спал, – отвечал Савка.

– На флоте никто не спит. На флоте лишь отдыхают.

Впрочем, старшина утешил его, пообещав, что по прибытии на место службы всем юнгам подгонят форму по росту. Особенно трудно было справиться с брюками. Савка и ремнем-то их у пояса перетянул, и снизу-то до самых колен загнул, а все лишнее, что болталось выше ремня, премудро свесил наружу с напуском. Ради идеалов стоило и пострадать!

С утра юнг уже строили между рядами бараков. Экипажные старшины, во всем черном, как большие гладкие кошки, двигались вдоль шеренг мягко и неслышно, словно присматриваясь к добыче, из которой следовало в ближайшие дни выпустить бесшабашный дух.

– Внимание! Никто не имеет права выходить с территории лагеря. Самовольщики поплатятся. Писать письма родным можете сколько угодно, но все письма будут отправлены лишь с места постоянной службы. А сейчас… вывернуть карманы!

Расчет был правильным: сколько имелось куряк среди юнг, все высыпали табак на землю.

– Юнгам курить не положено, – заявили старшины.

Витька Синяков зычным басом спросил:

– А ежели я с одиннадцати лет курящий… подыхать мне?

– И подохнешь, если с одиннадцати начал. Шаг вперед!

– Мне?

– Исполнять команду.

Синяков шагнул вперед. Как и следовало ожидать, старшины обнаружили при нем табачище, припрятанный на будущее.

– За неисполнение приказа – один наряд вне очереди.

– За что-о? – взвыл Синяков.

– Два наряда – за разговоры. Повтори!

– Ну, есть два.

– Без «ну»!

– Есть – без «ну»: два наряда… А за что-о?

После обеда Синяков дружески подсел к Савке:

– Как тебе понравилось на флотской малине?

– Мне пока нравится. А тебе как?

– Жить можно, – отвечал Синяков. – Если ты еще и гальюны за меня выдраишь, так совсем хорошо будет.

– А наряды получал не я, – возразил Савка.

– Силу богатырскую тоже ведь не ты демонстрировал в Экипаже. А я ведь тебя предупреждал, что Витька Синяков даром ничего не делает. Не пойдешь гальюны драить, я кому надо капну, что ты смухлевал в комиссии. Тогда тебе такого пинкаря с флота дадут, что будешь только лететь и назад оглядываться.

– Ладно. Пойду. Выдраю.

– А еще с тебя десять хлебных паек, – добавил Синяков.

Придется отдать. Чтобы шума не поднимал.

\* \* \*

Спору нет, народ собрался разный… В основном – горожане, дети пролетариев и интеллигентов. Как это ни странно, очень мало юнг вышло из семей моряков. Больше всего явилось из провинции, где и моря-то никогда не видели. Но из русской истории известно: знаменитые флотоводцы, как правило, родились в раздолье полей и лесов, детство провели на берегах тихих, задумчивых речек, где водились скромные пескари, никогда не мечтавшие об океанах.

Были среди юнг и такие сорвиголовы, что перешли линию фронта, чтобы не жить в оккупации. Были детдомовцы, серьезные покладистые ребята, потерявшие родителей или никогда их не знавшие. Были и беспризорники, которых милиция подобрала на вокзалах, где они погибали от грязи и голода, попрошайничая или воруя. Наконец, был один парнишка из партизанского отряда, который уже изрядно хлебнул военного лиха, прежде чем исполнилась его мечта о море.

Сытых среди юнг не встречалось, а молодые растущие организмы требовали обильной кормежки. Война внесла свои жестокие нормы, и хлеб по карточкам приобрел для людей особый вкус и ценность. Оттого-то юнги, попав на флотский паек, вдохнув ароматов камбуза, обрели чудовищный аппетит, который не могли позволить себе прежде. Появились и «шакалы», что с утра до вечера маячили возле камбуза, обещая кокам вымыть баки из-под супа, в чаянии, что за это им что-либо перепадет. Подростки с более гордым характером клянчить не могли, зато изобретали свои способы предельного насыщения.

Мазгут Назыпов первым протянул Савке руку.

– Здравствуй. Ты на меня не сердишься?

– Нет. Я нашел другого.

– Вот и хорошо, – обрадовался Мазгут. – Давай условимся так: сегодня за ужином ты съедаешь мою и свою горбушку, а завтра я ем за тебя и за себя… Согласен?

– Конечно. Две горбушки всегда лучше.

К ним подошел рослый красивый подросток, который случайно слышал их разговор. Он сказал, что ему все это нравится.

– Включайте и меня в свою комбинацию. Съесть три пайки сразу еще лучше, нежели только две. Кстати, будем знакомы – Джек Баранов, москвич, будущий подводник.

– А почему ты Джек? – спросили его.

– Вообще-то я чистокровный Женька. Но я не понимаю, почему хуже называться Джеком. Вы Джека Лондона читали?

– Здорово пишет!

– Со временем собираюсь писать не хуже.

– Ого! Джек, но пока ты не Лондон, а только Лондоненок.

– Идет и это! Я разве обижусь? Итак, кинем жребий.

Но жеребьевку пришлось отменить за неимением монет и спичек. Договорились на словах, что обжорствовать начинает Савка: сегодня ему предстоит слопать сразу три пайки!

За ужином юнгам объявили, что завтра придут врачи. При этом у Савки екнуло сердце: опять станут крутить и щупать каждого. А вдруг обратят внимание, что левая рука у него не в порядке? Но старшины тут же его успокоили:

– Завтра всем будут сделаны уколы! Не отлынивать…

Большие чайники ходили вдоль длинных столов, а перед Савкой лежали сразу три горбушки хлеба. Только он было вознамерился запивать их чаем, как сзади к нему подкрался Витька Синяков:

– А-а, вот ты где затаился от суда истории…

Заметил три горбушки и заграбастал их себе.

– Ого, сколько ты нашакалил! С тебя еще семь таких же. Войди в мое трагическое положение: курить охота, а хлеб при случае можно обменять на табак. – И похлопал Савку по плечу, чтобы тот не раскисал: – Не плачь, дитя, не плачь напрасно. Спроси любого грамотного, и тебе скажут, что наедаться на ночь вредно.

Перед отбоем Савку прижали в угол Джек с Мазгутом:

– Слушай, ты зачем отдал наш хлеб этому прохиндею?

Савка признался, что, если бы не этот Синяков с его развитыми бицепсами, не видать бы ему флота как своих ушей.

– По-моему, – сказал на это Джек Баранов, – Витьке хлеба не давать, а лучше сообща набьем ему морду.

– Набей! – возразил Мазгут. – Ты ему банок накидаешь, а он доложит, что Савка врачей обдурил.

После чего друзья решили несколько вечеров поголодать, но чтобы Савка сразу рассчитался со своим вымогателем.

– И больше с ним не связывайся, – внушали они ему. – Врачей пока избегай. Приживись на флоте, чтобы тебя оценили. Попадешь на корабль, там доктора не такие живоглоты, как в тылу. Там тебя подлечат и – порядок… Пошли спать, ребята.

Но от Синякова не так-то легко было отвязаться.

– Уже кололи тебя? – спросил он Савку утром.

– Во какой шприц… А тебя?

– Моя нежная натура этого не выносит. Будь другом, подставь врачам попку и за меня. Назовись моей фамилией, как я когда-то назвался твоей… Или забыл услугу?

Пристав к очередной партии юнг, Огурцов покорно спустил штаны и принял второй укол. С болью чувствуя, как входит в тело игла, Савка уяснил для себя житейскую истину: одна ложь цепляется за другую, и из маленькой лжи вырастает большая ложь…

За два дня он рассчитался с Синяковым хлебом:

– Мы в расчете, и больше ко мне не лезь.

– Насколько я понимаю в политике, – ответил Витька, потрясенный честностью Савки, – ты моим верным вассалом быть не желаешь.

– Не желаю. У меня другие друзья.

Синяков откусил сразу половину пайки. Жуя хлеб, промычал:

– Ну, валяй. Посмотрим. Кстати, что у тебя с лапой? В каких дверях тебе ее прищемили? Может, ты инвалид какой?

Савка побежал прочь. Ну и липуч, проклятый.

\* \* \*

До самого конца июля томились юнги по баракам, отрезанные от общения с городом, лишенные права переписки. Старшины читали им строевой и дисциплинарный уставы. Но эти книжки навевали на юнг непроходимую тоску. Не веселее казались и строевые занятия, отработка шага и поворотов между стенами унылых бараков.

Тоска ожидания иногда рассеивалась лекциями комиссаров о славе и героизме русского флота. Изучали юнги и винтовку с гранатой – это уже охотно! Ни одного кинофильма юнгам не показали.

На все вопросы старшины отвечали:

– Умей ждать. Флот любит терпеливых ребят.

Среди юнг стали блуждать самые нелепые слухи.

– Вот гадом буду, – клялся один, – если совру. Это уж точно: всех нас скоро забабахают на Землю Франца-Иосифа.

– Вранье! – отвечали ему. – Сейчас каждого из нас втихаря проверяют, а потом станут готовить в десант. Севастополь обратно брать! Кто накроется – тому вечная память. А кто живым из десанта вернется, того допустят до сдачи экзаменов.

– Каких еще экзаменов? Мало мы их в школе сдавали?

– Говорят, по математике гонять станут. Икс равен игреку, тангенс-котангенс, ну и прочая мура…

В один из дней раздался голос дневального:

– Юнга Огурцов – на выход!

– С вещами? – спросил Савка.

А сердце, казалось, сломает все ребра в груди. Зачем на выход? Неужели дознались, что с рукой неладно?

– Без вещей! Тебя батька на ка-пэ-пэ дожидается.

Курящие хватали Савку у дверей, терзая просьбами:

– Папан твой с папиросами? Слямзи для нас по штучке.

– Да ну вас! – угрюмо увертывался Савка от просителей. – Он же меня выдерет, если я у него курева попрошу.

Отец, еще издали заметив сына, принялся хохотать. В самом деле, картина была уморительная: маленький человечек во фланелевке до колен, рукава закатаны, штаны подвернуты, а вырез фланелевки, в котором видна тельняшка, доходит до самого пупа.

– Ловко тебя принарядили, брат! – сказал отец, просмеявшись. – Ну, не беда. Давай отойдем в сторонку. Ты как живешь-то?

– Хорошо.

– Правду сказал?

– Конечно. Юнги, бывает, и в адмиралы выходят.

– Далеко тебе еще… до адмирала-то! Одного я боюсь, сынок. Учеба твоя в дальнейшем может сорваться, вот что. Вырастешь, и с каждым годом будет труднее садиться за учебники. Это я по себе знаю!

Отец начал службу на «новиках» Балтики, масленщиком в котельных отсеках. Прирожденный певец-артист, певцом он не стал. Прирожденный математик, ученым он не стал тоже. Флот заполонил его всего, и, хотя потом ему открылись все двери, он так и остался на кораблях. Прошел нелегкий путь от масленщика на эсминцах до комиссара.

– Твой поступок не осуждаю, – сказал отец. – Хотя ты и не посоветовался со мной. А я сегодня пришел попрощаться.

– Уходишь? Опять в море?

– Да. Ухожу. Только не в море – под Сталинград.

– Неужели, – спросил Савка, – у нас солдат не хватает?

Отец ответил ему:

– Если в добровольцы идут мои матросы, то мне, их комиссару, отставать не пристало. Положение на фронте сейчас тяжелое, как никогда. Война, сынок, кончится не скоро… Помяни мои слова: тебе предстоит воевать! А война на море – очень жестокая вещь. Как отец я желаю тебе только хорошего. И не дай Бог когда-нибудь тонуть с кораблем. Это штука малопривлекательная. Все совсем не так, как показывают в кинокартинах.

– А… как? – спросил Савка.

– Этого тебе знать пока не нужно. – Отогнув рукав кителя, отец глянул на часы: похлопал себя по карманам, словно отыскивая что-то. – Мне как-то нечего оставить тебе… на память.

– А разве, папа, мы больше не увидимся?

– В ближайшее время – вряд ли… Будем писать друг другу, но пока я еще не знаю номера своей почты. А ты?

– Нам тоже номер пока не сообщали…

– Тогда договоримся, – решил отец. – Ты пиши бабушке в Ленинград на старую квартиру, и я тоже стану писать туда.

– А если бабушка… если ее нет? – спросил Савка.

Отец нахлобучил ему на глаза бескозырку.

– Не болтай! Старые люди живучи. – Еще раз глянул на часы и спросил: – Хочешь, я оставлю их тебе?

– Не надо, папа. Тебе на фронте они будут нужнее.

– Ну, прощай. На всякий случай я тебе завещаю: не будь выскочкой, но за чужие спины тоже не прячься. До двадцати лет обещай мне не курить… Не забывай бабушку! Она совсем одна.

Отец поцеловал сына и шагнул за ворота. Савка долго смотрел ему вслед, но отец шагал ускоренно, не оборачиваясь.

А в бараках шла суматоха, юнги кидались к вешалкам, разбирая шинели.

– Эй, торопись, – сказали Савке. – Построение с вещами.

На дворе колонну разбили на отдельные шеренги. Юнгам велели разложить перед собой все вещи из мешков, самим раздеться до пояса и вывернуть тельняшку наружу. Старшины рыскали вдоль строя, придирчиво осматривая швы на белье:

– На предмет того, не завелись ли у вас звери.

Одного такого нашли. Напрасно он уверял:

– Это ж не гниды! Это сахарный песок я просыпал…

Его вместе с пожитками загнали в вошебойку. Вернулся он наново остриженный, и пахло от него аптекой.

– Запомните! – провозгласили старшины. – На кораблях советского флота существует закон: одна вошь – и в штаб флота уже даются о ней сведения, как о злостном вражеском диверсанте…

Перед юнгами – наконец-то! – раздвинулись ворота печального лагеря, обмотанные колючей проволокой, и колонна тронулась в неизвестность. В вечернем тумане, клубившемся над болотами, чуялась близость большой воды. Придорожный лесок вскоре поредел, и все увидели трухлявый причалец. Возле него стоял большой войсковой транспорт – неласково-серый, будто его обсыпали золой. Это было госпитальное судно «Волхов», ходившее под флагом вспомогательной службы флота. Началась погрузка юнг по высоким трапам. Сначала – на палубу, потом – в низы корабля. Светлые и просторные кубы трюмов заливало теплом и электричеством, в них бодро пели голоса вентиляции. Под самую полночь транспорт отвалил от топкого берега, не спеша разворачиваясь на фарватер. А когда дельта Двины кончилась и на горизонте просветлело жемчужным маревом, откуда-то из-за песчаного мыска вдруг вырвались два «морских охотника» и, расчехлив пушки, законвоировали госпитальное судно.

Команда «Волхова» наполовину состояла из женщин – врачей и санитарок, одетых в офицерскую и матросскую форму. Остальные – мужики-поморы, призванные на флот из запаса.

– Куда едем? – спрашивали юнги.

– Ездят лошади, а мы – идем. А куда – не твое дело.

Было приказано спать, и Савка долго залезал по скобам на свою койку, что размещалась на верхотуре трюма. Желтый свет померк – отсек залило мертвенно-синим (это врубили ночное освещение).

«Ну вот и море!» – думал сейчас каждый, переживая…

\* \* \*

Савка проснулся от качки – в остром наслаждении от нее. До чего же приятна эта стихийная колыбель. Но едва оторвал голову от подушки, как что-то вязкое и муторное клубком прокатилось по пищеводу, судорогой схватило горло. Устыдясь слабости, он заставил себя подняться. По железной этажерке нар слез на палубу трюма. Здесь в полном беспорядке ерзали с борта на борт заблеванные ботинки, раскрытые пеналы мыльниц, катались кружки и ложки. Отовсюду слышалось: шлеп… шлеп… шлеп! – это летели с высоты нар использованные полотенца. Из темного угла трюма до Савки донеслось чье-то жалкое и вялое бормотанье:

– Ой, мамуля, зачем я тебя не послушался? Ой, папочка, зачем только ты меня отпустил?

В лежку валялся и Витька Синяков; не вставая с койки, он потянул Савку за штанину, часто и стонуще повторяя:

– Какой я дурак… какой же я дурак… вот дурак!

«Волхов» положило в затяжном крене. Савка полетел, скользя, на другой борт. Он рухнул на какого-то юнгу, и тот с руганью отпихнул Огурцова обратно.

– За что, Витька, ругаешь себя? – спросил Савка.

Синяков отвечал ему от души, честнейше:

– Лучше бы меня в тюрягу посадили, чем так вот мучиться… – Он попросил воды из лагуна, но, отхлебнув из кружки, тут же выплеснул воду на палубу. – Противно… теплая. А пахнет железом и маслом. Ты пробовал?

Савка налил воды и себе. Выпил полкружки.

– Вода корабельных опреснителей. Нормальная…

И его тут же опорожнило от этой воды.

– А-а, баламут! – обрадовался Витька. – И тебя понесло!

Балансируя на палубе, уходящей из-под ног, Савка ответил:

– Пищать рано. Качаться нам еще и качаться…

Он выбрался на верхнюю палубу. Переходы трапов, сверкая медью, заманивали его в высоту. Трап… еще трап… еще. Дверь. Савке казалось, что если он в форме, то может ходить где хочет. Он открыл дверь, и в лицо ударило жарким шумом множества агрегатов, которые нагнетали в утробы корабля свежий ветер вентиляции. Вахтенный матрос грудью встал перед Савкой.

– Тебе чего? – грубо спросил он.

– Я так… посмотреть.

– Уматывай отсюда. Шляются тут… Нельзя.

Савка вновь оказался на палубе. Здесь, наполовину ослепленный брызгами, косо взлетающими из-за борта, он встретил Назыпова, мокрого и счастливого. Мазгут прокричал ему в восторге:

– Ох и красотища! Ты полюбуйся только на эти волны!

Савка глянул на волны, словно с крыши трехэтажного дома. Но корабль очень быстро провалился вниз, будто его спустили на быстроходном лифте, и волны оказались совсем рядом, возле самых поручней. От этой картины, в которой не было постоянства, а все непрестанно изменялось, Савке снова стало дурно.

– Эх, ты! – сказал ему Мазгут. – Еще питерский… Смотри на меня: хоть и касимовский, а хоть бы что…

Рассвет заполнял горизонт. Стали видны в отдалении «охотники». Море нещадно било их, взметывая на гребнях столь высоко, что иногда обнажались их черные днища.

Изредка через палубы катеров пробегали матросы в штормовой одежде.

– Вот это служба! – говорили юнги. – Как их там кидает… Неужели и нам такая судьба выпадет?

Не все оказались молодцами в море. Кое-кто уже проклинал тот день, когда рискнул связать свою жизнь с флотом. Сейчас многое вспоминалось. Кому – тихий садик дедушки на окраине города, где скоро поспеет сочный крыжовник. Кому – занятия в школе, где остались привычные классы, в которых никогда не качаются парты. А кто вспомнил и предостережения родителей: «Подумай прежде как следует. Флот – это тебе не шуточки!»

«Волхов» прилегал на борт, над его палубой несло водяные смерчи, и пена, похожая на разорванные капустные листья, еще долго лежала на трапах, гневно пузырясь и вскипая. Юнги удивились бы, узнай они, что служба погоды флота в эти дни штормов не отмечала. «Свежий ветер», – вот о чем говорила шкала Бофорта.

Обед был выдан роскошный: рисовая каша с изюмом, компот с черносливом. Однако напрасно старались корабельные коки – все полетело за борт, на прожор рыбам. Зато житье настало для тех, к кому море оказалось милостиво. Посмеиваясь, ели за десятерых. Мазали хлеб маслом толщиной в палец. Выдували по кастрюле компота и гуляли по трюмам, говоря небрежно:

– Развели тут свинарник. Сдержаться не могут.

Синяков поманил к себе Савку:

– Не знаешь, когда эта мука окончится?

Савка испытывал мстительное торжество победителя:

– А ты подумал, сколько плыли каравеллы Колумба? Больше двух месяцев. А что ты знаешь о моряках-скитальцах, которые у берегов Патагонии, огибая мыс Горн, дрейфовали иногда по году?

– Я бы… сдох! – ответил Витька, присматриваясь к Огурцову внимательней. – Щуплый ты. Тоже позарез укачался. Но, скажи мне честно, с чего это ты в бодрячка играешь?

– Я не играю. Мне и плохо, да все равно хорошо. Тебе этого не понять. Я на флоте по любви, а ты по хитрости…

Через сутки на горизонте показалась слабая искорка. Потом обозначился и конус высокой горы.

Качка заметно потишала. Юнги ожили, высыпав на верхнюю палубу. Как в старину на каравеллах Колумба, кто-то восторженно прогорланил:

– Земля… вижу землю!

Стали отряхиваться, приводили себя в порядок. Драили трюмы. Уже обрисовалась вдали полоска берега, словно вырезанная из зеленого малахита. «Охотники» вдруг отвернули в открытое море – обратно.

«Волхов» воем сирены уже оповещал землю о своем прибытии. Медленно он заходил в сказочную гавань, прямо в лазурь которой обрывались замшелые стены крепости, сложенные из диких валунов. Старинные пушки глядели на пришельцев из узких бойниц, словно выглядывая из другого века.

Суетясь, юнги спрашивали у команды «Волхова»:

– Что же это такое? Куда нас доставили?

Готовя швартовы для подачи на берег, один матрос ответил:

– Соловки.

При этом Витька Синяков сплюнул за борт:

– Ну, вот мы и влипли! Это же знаменитая тюряга.

Витькины дружки сразу завели нудную песню:

Вот умру я, умру, похоронят меня,И никто не узнает, где могилка моя…

Стены крепости наплывали все ближе. Черный конус крутился на вышке метеостанции. С поста службы наблюдения у корабля запрашивали позывные. По дороге из леса босая старуха гнала хворостиной большущую свинью. Скоро на причале показалась фигура военного моряка.

\* \* \*

Лежал там грубо обтесанный камень. Если содрать с него мох, проступили бы древнеславянские письмена:

ОТ СЕГО ОСТРОВУ

ДО МОСКВЫ-МАТУШКИ – 1235 ВЕРСТ,

В ТУРЦИЮ ДО ЦАРЬГРАДА – 4818 ВЕРСТ,

ДО ВЕНЕЦИИ – 3900 ВЕРСТ,

В ГИШПАНИЮ ДО МАДРИДА – 5589 ВЕРСТ,

ДО ПАРИЖА ВО ФРАНЦИИ – 4096 ВЕРСТ…

А внутри острова – никем не тронутая глухомань. Через густой ельник едва проникают лучи солнца, горькие осины трепетно дрожат ветвями. В душных зарослях можжевельника и вереска, в россыпях брусники и клюквы кроются тропы зверей, еще не обиженных человеком. Среди обилия дикой малины, срывая ее пухлыми теплыми губами, бродят олени. Слепые лисицы живут на том острове – слепые, ибо чайки смолоду выклевывают им глаза, чтобы лисицы не воровали яиц из их гнездовий. А в глуши острова величаво покоятся десятки озер – красоты удивительной! И веками висит над лесом тишина, освященная древностью. Лишь бьется о берег море, гудят вершинами рыжестволые сосны да чайка, пролетая над озером, крикнет – и отзовется крик птицы над островом печально и одиноко…

Полтысячи лет назад на островах Соловецкого архипелага высадились первые русские люди. Это были новгородцы. Они и заложили обитель, ставшую потом столь прославленной. На островах нашли приют люди, гонимые властью. «Цари, охраняя свой покой, выбрасывали их сюда, в полное, казалось, небытие. А они и здесь продолжали думать и строить. На протяжении многих веков атмосфера Соловецких островов пропитывалась не только аскетической тоской и неудовлетворенностью отшельничества, она еще наполнялась огромной творческой энергией, которая и создала в конце концов чудо, имя которому – Соловки!» Так пишут сейчас наши историки… Во времена монгольского ига, во времена смутные Русь хоронила от врагов в монастыре Соловецком древние акты государства, памятники народной письменности; Русь сберегала за этими стенами ценности духовные. Монастырь был не только форпостом русской культуры в Поморье – обитель превратилась в мощный бастион, ограждавший Россию с севера от любого нападения. Инок соловецкий носил под рясой кольчугу воинскую, рядом с молитвенником он держал боевой меч. А цари московские привыкли одаривать Соловки не иконами с колоколами, а пищалями с пороховым зельем.

Суровая природа не давала лениться. Соловецкие монахи были тружениками, спорившими с природой. Они соединили острова архипелага дамбами, а между озерами прокопали судоходные каналы; системы шлюзов, водяных мельниц и подземных туннелей были достойны восхищения! На Соловках был создан первый в России «небоскреб» – храм Преображения, выше московского Успенского собора; он виден с моря за многие десятки миль. Инженеры-самородки в рясах создали такую систему докования кораблей, что даже английские инженеры приезжали на Соловки копировать эти доки для своего Лондона.

В 150 верстах от Полярного круга иноки выращивали в оранжереях дивные цветы, а в парниках вызревали арбузы, дыни, огурцы и даже персики.

Здесь каждый камень – сама история. На сбережение для потомства отдал на Соловки свою саблю князь Пожарский. Писатель и воин Авраамий Палицын трудился здесь, философствуя над судьбами Отчизны. Здесь укрывались от рабства беглые, прятались ученые начетчики, пережидали время гонений буйные ватаги Степана Разина, и здесь же скончался последний атаман Запорожской Сечи – Степан Кальнишевский. Страшным бунтом ответил Соловецкий монастырь на притеснения царей московских, и восемь лет без передыху иноки бились мечами на стенах обители с войсками правительства. А потом, уже в Крымскую кампанию, под стены монастыря подплыл английский флот. Он избил дворы и стены монастыря бомбами, но Соловки не сдались, выстояв под мощным огнем противника.

В зените богатства и могущества Соловецкий монастырь желал сыскать на островах только золотую жилу да источник горючего – все остальное было в избытке. Пять заводов работало в монастыре, где монахи строили пароходы и лили сталь. Они были капитанами и механиками собственного флота. Они были художниками, картины которых попали в Третьяковскую галерею. У них работали свои типографии и литографии. Они были сукноделы, фотографы, кузнецы, гончары, ювелиры, огородники, сыровары, сапожники, архитекторы, скотоводы, рыбаки, зверобои, косторезы… Невозможно перечислить ремесла, которые процветали на Соловках! Сюда шла многоликая Русь не только на поклон Святыням, но и чтобы восхититься плодами рук человека, дабы наглядно узреть чудеса, на какие способен русский человек в суровейших условиях, вблизи Полярного круга.

Соловки – настоящий оазис русского Севера, который раскинул свои пленительные кущи посреди студеного Белого моря.

И вот в 1942 году советское командование решило, что лучшего места для обучения юнг не найти. Здесь здоровый климат, от сосен и моря дух насыщается бодростью, а целительная вода озер закаляет тело.

\* \* \*

«Волхов» уже втянулся в гавань Благополучия; стали различимы отдельные камни на берегу; выводки чаячьих птенцов, не боясь людей, ковыляли по тине прибрежья.

Транспорт с юнгами встречал пожилой капитан третьего ранга. Сам в далеком прошлом начинавший флотскую службу мальчишкой, старик сильно волновался. С «Волхова» подали на причал сходни, и толпа юнг повалила на берег, а он шутливо покрикивал:

– Бодрости не вижу, черт побери! Ты же – юнга, так по трапам дьяволом порхай…

Ну, вот и прибыли. Что-то будет дальше?

Эпилог первый

(Написан Саввой Яковлевичем Огурцовым)

Была в Заполярье прохладная весна – весна 1945 года.

Мне вот-вот должно было исполниться семнадцать лет, и штурман с эсминца сказал с улыбкой:

– Огурцов, не пришло ли тебе время побриться?

Я тронул подбородок, ставший колючим, и сразу заробел:

– Не умею! Еще никогда не брился. Можно, я так похожу?

– Так нельзя. Бриться все равно когда-то надо…

Ночью дивизион эсминцев Северного флота получил приказ о переходе на повышенную боевую готовность. Ребята опытные, мы уже знали, чего следует ожидать. Скоро плотный, как тесто, ветер полетел нам навстречу. Брандвахта сообщила, что на Кильдинском плесе запеленгованы четыре германские подводные лодки: видать, они дружно всплыли, чтобы подышать свежим воздухом, проветрить зловонные отсеки.

Сколько было таких спешных выходов, и сколько раз пред нами распахивался океан! Дивизион шел хорошо, и за кормами эсминцев, часто приседающими на разворотах, вырастали буруны. Вода ярко фосфорилась от работы винтов.

На трапе мне встретился штурман, заметил:

– Так и не побрился? После похода – обязательно.

Перед рассветом команды получили горячий чай с клюквенным экстрактом, белый хлеб с консервированной колбасой. Колокола громкого боя, как я заметил, всегда начинают бить в самые неподходящие моменты. Вот и сейчас все побросали кружки, чай полетел на палубу. Я занял место в своем посту, гудящем моторами и аппаратурой. Как это делал сотни раз, я сказал штурману в телефон:

– Бэ-пэ-два бэ-че-один – к бою готов! [1]

В соседнем отсеке провыли лифты элеваторов, подавая на орудия боезапас. Я слышал, как в погребах старшина подачи крикнул:

– Пять ныряющих и два фугаса… подавай!

Очевидно, на локаторах засекли рубку всплывшей подлодки противника. Замкнутый в своем посту, я по звукам определял, что творится на эсминце. Ну, так и есть: выходим на бомбометание. Бомбы кидали на врага сериями, штук по пять сразу, и при каждом взрыве стрелки датчиков нервно вздрагивали под стеклами. С гвардейского «Гремящего» сообщали, что бомбы они свалили хорошо, и сейчас удалось подцепить из моря полное ведро немецкого соляра, всплывшего с подводной лодки. Утром оперативники флота велели дивизиону возвращаться на базу, и мы, выстроившись в кильватер, рассекали форштевнями слякоть рассвета, еще не зная, что этот выход эсминцев в море явится нашей последней боевой операцией.

Восьмого мая на рейде Ваенги [2] началось необычное оживление. Поднялась дикая пальба на союзных кораблях. Рейд покрылся шлюпками с разноцветными, как рекламные плакаты, парусами. С конвойного корвета флота свободной Норвегии бородатые люди возносили к небесам божественные псалмы. А из иллюминаторов американского авианосца то и дело выскакивали в море опорожненные бутылки. Шлюпки подруливали к бортам наших эсминцев, союзники спрашивали, почему мы не ликуем. Они кричали, что война с Гитлером окончена. Мы говорили в ответ, что Москва еще молчит…

Было пять часов ночи, когда трансляция ворвалась в спящие кубрики. Радисты врубили ее на полную мощность, отчего динамики репродукторов, привинченные к переборкам, содрогались и с них слоями отлетала краска, словно с орудий при беглой стрельбе.

Это была весть о победе! Полураздетые, вскакивали мы с коек и рундуков, целовались и обнимались. А потом по трансляции выступил командир эсминца:

– Я думаю, что хотя побудка сегодня произошла раньше срока, но это самая счастливая побудка в нашей жизни. Спать мы, конечно, уже не ляжем. А потому, товарищи, убирайте койки, начнем авральную приборку… Готовьтесь к параду Победы!

После аврала я снова попался на глаза своему штурману.

– Ну, что мне с тобой делать, Огурцов? Вроде бы дисциплинированный юнга, а… Когда ты наконец побреешься?

Мы перешли в Полярный, и ветер здорово покрепчал. Это был отжимной ветер – он отталкивал наш эсминец от берега на середину гавани, и швартовы вытянулись в струны. По носу у нас стоял тральщик, а за кормой – американский корвет, экипаж которого не просыхал от выпивки.

Командир велел подать на причалы еще несколько швартовых. Как сейчас помню, за берег нас держали уже одиннадцать стальных тросов толщиной в руку ребенка. Эсминец готовился идти на парадное построение кораблей в Кольском заливе. Был дан сигнал короткого отдыха, и матросы, утомленные праздничной суетой, прикорнули на рундуках. Пользуясь затишьем, я взял у старшины бритву, намылил щеки и – мне стало смешно. Вспомнил я, каким молокососом пришел в экипаж Соломбалы, прямо из детских штанишек перебрался в гигантские клеши, и от этого стало еще смешней…

Около зеркала я отдраил иллюминатор, в его кругляше виднелись ослизлые сваи причала. Даже не сообразил я сразу, что такое произошло, когда эти сваи вдруг поплыли мимо иллюминатора. Затем сверху, через воронку люка, раздался противный треск. Бросив бритву, я кинулся по трапу на полубак, и надо мной взвизгнул лопнувший швартов. Глянул на мостик – там ни одного офицера, только метался одинокий сигнальщик, голося в ужасе:

– Ход дали… обороты на среднем… авария!

Я не сразу осознал всю дикость обстановки! На палубе – ни души. Корабль, держась за берег тросами, начал движение.

Форштевнем он таранил тральщик, один наш швартов случайно подцепил американца под корму, трос натягивался и уже начал вытаскивать союзника из воды. От юта бежал босой, прямо с койки, боцман, крича издали:

– Отдавай концы! Отдавай, отдавай!

Уловив миг ослабления швартовов, я стал раскручивать «восьмерки» с кнехтов. Конечно – без рукавиц, причем натянутые до предела тросы ранили руки. Эсминец продолжал работать турбинами. Швартовы лопались с такой силой, что, саданув по борту рваными концами, оставляли шрамы на прочном металле. Снова острое вжиканье, будто мимо пронесся снаряд, и трос мотнулся над моей головой. Даже прическу задело! Хорошо, что я пригнулся секундой раньше, иначе снесло бы за борт половину черепа. На пару с боцманом мы отдали носовые… А союзный корвет вздернуло тросом за корму так, что обнажились его винты, и там в панике бегали два нетрезвых американца, один с аккордеоном, другой с мандолиной. На мостик уже взлетел наш командир, не успевший накинуть китель. Из люков и дверей перло наверх команду по сигналу тревоги…

Потом выяснилось, что телеграф на мостике остался зачехленным, рукояти его стояли на «стопе». А в машинах диск телеграфа почему-то отработал «средний вперед». Котельный машинист повиновался движению стрелки и дал пар на турбины. Эсминец со спящей командой, не выбрав швартовых, тронулся вперед. Хорошо, что ЧП случилось не в море на боевой позиции, а в родимой гавани. Обошлось без катастрофы.

Я снова спустился в кубрик и окончил свое первое в жизни бритье.

По трансляции с мостика объявили:

– Юнге Эс Огурцову за проявленную инициативу и активные действия в аварийной обстановке объявляется благодарность…

Это была последняя благодарность, полученная мной на флоте.

Парад кораблей в честь нашей победы на всю жизнь остался в памяти. Никогда не забуду, как изрыгнули огненные смерчи башни линкора «Архангельск», как чеканно качались вдоль палуб одетые в черное прославленные экипажи подводных лодок. Наш эсминец тоже выпаливал в небо из пятидюймовок. Гирлянды огней повисали под облаками, неслышно опадая в воду, а от Мурманска гремела музыка – там тоже линовали победившие люди.

Штурман стрелял из ТТ, а мне достался пистолет системы Верри, похожий на пиратский. Я заталкивал в него нарядные патроны фальшвейров, выстреливая их над собой. Мои ракеты взметывало ввысь, и они сгорали в удивительной красоте праздника, а я стрелял и стрелял. Я, как ребенок, стрелял и плакал. Патрон за патроном! Хлоп да хлоп! Ракета за ракетой! Мне было очень хорошо.

– Ура! Мы победили…

Так я, юнга Эс Огурцов, закончил войну…

Разговор второй

На этот раз вместо книг по тропической медицине я увидел на столе Огурцова стопку книг о древнерусской живописи.

– Возник новый интерес? – спросил я.

– У меня всегда так… Я привык обкладывать себя книгами на тему, которая мне мало известна или непонятна. Я поставил себе за правило: в день не меньше сорока страниц нового текста. Если свежих книг нет, я перечитываю что-нибудь знакомое, но уже не сорок, а сто страниц… Этим я постоянно держу себя в норме.

– Но ведь на это у вас уходит все свободное время?

– Как понимать «свободное время»? – спросил Огурцов. – Что значит «свободное»? Разве время должно быть незаполненным? Или вне работы человек должен гонять лодыря? Неверно! Карл Маркс называл свободное время пространством для развития личности…

Потом мы заговорили об отношении ремесла к образованию. Огурцов, кажется, гордился своей принадлежностью к «великому цеху мастеровых и ремесленников».

– Значит, у вас нет никакого диплома?

– Школа юнг была единственным учебным заведением, которое я окончил. С тех пор я учу себя сам, и мне это нравится.

Очевидно, я задел больную струну в душе Огурцова.

– Диплом ведь еще не делает человека счастливым, – продолжал он. – Разве плохо быть хорошим ювелиром, скорняком или стеклодувом? Ведь чудеса можно творить! Вот я, компасный мастер, знаю русскую историю не хуже аспиранта в университете. Но я же не требую для себя диплома историка. По пять лет сидят на шее у родителей и государства, протирают себе штаны, а потом выясняется, что профессия им не нравится. Они, видите ли, ошиблись! Вот откуда рождается неудовлетворенность жизнью.

Постепенно наш разговор переключился на юнг.

– Сейчас я вам кое-что покажу. – Огурцов вышел и вернулся с бескозыркой размером не больше десертной тарелки. – Вот это – моя… Смешно, правда? Глядя на нее, понимаю, какой я был тогда маленький. А счастлив я был тогда безмерно! Но первый пот с нас сошел именно на Соловках. Пришлось делать то, к чему некоторые из нас никак не готовились. Нам казалось, что главное – надеть форму. Однако еще никто не становился моряком от ношения тельняшки и бескозырки. Одного желания сражаться с врагом еще мало.

– Ну, а романтика… – напомнил я неосторожно.

Савва Яковлевич неопределенно хмыкнул.

– Романтика – фея нежная и весьма капризная. С нею надобно обращаться осторожно. Для тех, кто действительно любил флот, трудности только укрепляли их романтическое стремление. А из таких, что случайно увлеклись морем, романтику вышибло сразу, как пыль из мешка. Такие люди видят в морской службе лишь тяжкую повинность, которую приходится отбывать в расплату за минутное увлечение юности.

– Вы мне подали мысль, – сказал я. – Следующую часть я с ваших же слов назову так: «Без романтики».

– Вы все перепутали, – сердито отвечал Огурцов. – Таких слов я никогда не произносил. Как я, романтик в душе, могу отказаться от романтики? Нет, романтика как раз была. Только путь к ней лежал через преодоление трудностей. Тут скрывать нечего: было нелегко.

– Так как же мы назовем следующую часть?

– А как хотите, – отмахнулся от меня Огурцов.

В конце разговора, собираясь уходить, я спросил:

– Савва Яковлевич, вы сегодня чем-то огорчены?

– Да. В газетах пишут, что какой-то мерзавец застрелил на Соловках последнего оленя. Это был самец. А год назад браконьер убил самку. Убил ее, сожрал тишком, а обглоданные кости забросил в крапиву… Архипелаг лишился большого семейства. Много веков назад монахи завезли оленей из тундры на остров и приучили их к жизни в этом дивном лесу. У красоты отнята часть ее! Соловки, – заключил Огурцов, – драгоценная жемчужина в короне нашего государства, а любой жемчуг, как вы знаете, нуждается в уходе. Иначе он померкнет и ему уже не вернуть былого блеска!

Часть вторая

Гавань благополучия

Не секрет, что в начале войны на самые опасные участки фронта командование бросало «черную смерть» – матросов! Тогда-то и появилась эта отчаянная песня:

А когда бои вскипаютИ тебе сам черт не брат,В жаркой схватке возникаютБескозырка и бушлат.Это в бой идут ма-тро-сы!Это в бой идут мо-ря!Никогда не сдаваясь в плен, предпочитая смерть с последним патроном, многие моряки не вернулись из атак на свои корабли. Уже на втором году войны флот испытывал острую нехватку в хорошо обученных специалистах. Ведь те, кто погиб на сухопутье, были минерами, радистами, рулевыми, гальванерами, оптиками и электриками…

Павших должны были заместить юнги. Хотя по званию они и ниже краснофлотца, но Школа юнг должна дать им полный курс обучения старшин флота.

Царский флот имел своих юнг. В советском же флоте юнги никогда не числились. Имелись лишь воспитанники кораблей, но плачевный опыт их «воспитания» привел к тому, что во время войны их на кораблях не держали. Эти воспитанники были, по сути дела, живой игрушкой в команде взрослых людей. Они хорошо умели только есть, спать, капризничать и получать в школе двойки, ссылаясь на свою исключительность.

Совсем иное дело – юнги! Это тебе не воспитанник, которому не прикажешь. Юнга – ответственный человек, знающий дело моряк. Приняв присягу, он согласен добровольно и честно участвовать в битве за Отчизну, и смерть вместе со взрослыми его не страшит, как не страшит и любая черная работа.

Слово «юнга» – голландского происхождения, как и большинство морских терминов, пришедших на Русь в пору зарождения русского флота. Основав в 1703 году легендарный Кронштадт, Петр I открыл в нем и первое в стране училище юнг. Сам император, будущий шаутбенахт флота российского, начинал службу на флоте в чине «каютного юнги». А это значило, что если адмирал Корнелий Крюйс прорычит с похмелья в каюте: «Рррому… или расшибу всех!» – то император должен покорнейше ответствовать: «Не извольте серчать. Сейчас подам…»

Но времена изменились круто, и нашим юнгам таскать выпивку по каютам офицеров уже никогда не придется.

\* \* \*

«Волхов» высадил юнг на Соловках утром второго августа, и первые пять дней они провели в кремле, где их все восторгало. Ощущение такое, что эти гиганты-камни сложены не муравьями-людишками, а сказочными циклопами. Обедали юнги в Трапезной палате кремля, которая по величине сводов и дерзости архитектурной мысли могла бы соперничать и с Грановитой палатой Московского Кремля. Странно было просыпаться в кубриках, где когда-то томились декабристы…

Постепенно юнги усвоили, что они становятся военнослужащими, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Одно из таких последствий вменяло им в обязанность трудиться. Но пошли гиблые разговоры, что «ишачить не нанимались», и от работ некоторые отлынивали.

– Сачок! – говорили о таких. – Опять сачкует.

Помимо морской терминологии, давно вошедшей в уставный и литературный обиход, существовал на флоте еще и жаргон. К примеру, «гауптвахта» – слово пришлое из неметчины, хотя всем понятное, но как оно превратилось в «губу» – этого уже никакой академик не выяснит.

Когда один юнга говорил в бане другому: «Ну-ка, подрай мне спину мочалкой», – то это говорилось по-морскому точно, и греха в такой фразе не было. Но когда за обедом слышалось над мисками: «Рубай кашу живей!» – то это уже был не язык моряков, а глупейшее пижонство.

Савка Огурцов почему-то сразу невзлюбил дурацкий жаргон и тогда же решил, что он не станет осквернять свой язык. Сачков он называл по-русски лодырями, а на камбузе не рубал, а просто ел (или, как говорили любители уставов, принимал пищу).

Кремль тогда принадлежал учебному отряду.

– Видал-миндал? – говорил Синяков. – Вот как гайку у них закручивают… Ежели и нас таким же манером завернут, убегу.

– И станешь дезертиром, – отвечал ему Савка.

– Какой же я дезертир, коли присяги еще не давал. Я не дурнее тебя и сам знаю, что бежать после присяги опасненько…

Скоро юнгам выдали первое их оружие – противогазы. Конечно, они по-мальчишески тут же развинтили и свинтили все, что в противогазах откручивалось. Это кончилось для любопытных плохо, потому что юнг сразу погнали в герметические камеры, где их окуривали хлорацетафеноном. У кого противогазы оказались неисправными, те потом до вечера не могли открыть глаз, из которых струями текли обильные слезы.

Юнги изучали положения воинских уставов. Им велели твердо помнить нумерацию форм одежды.

– Вот сейчас вы одеты по форме номер три. При температуре воздуха до минус шести, когда положены шинели, форма будет шестой. Но если смените бескозырку на зимнюю шапку, это форма седьмая…

Выяснилось, что некоторым номерам юнги не могли соответствовать, ибо у них не было бушлатов, не было и белоснежных форменок – только фланелевки. Начинался бунт:

– А когда бушлаты дадут?

– У меня ботинки каши просят…

– Почему нам белых форменок не дали? Или мы других хуже?

– Спокойно! – утихомиривали юнг офицеры. – Форменок вы и не увидите, ибо на Северном флоте они не входят в форму одежды. Бушлаты выпишут позже. А кто, недели не прослужив, умудрился ботинки порвать, ну это, знаете ли… На вас не напасешься! По аттестату обувь выдается матросу на год службы. Нечего в футбол гонять булыжниками вместо мячей!

Занятия пошли на пользу, и скоро шутники изобрели новую форму для ношения в тропических морях. Они прыгали по койкам в нижнем белье и с противогазными масками на лицах:

– Стройся по форме раз – кальсоны и противогаз!

А за монастырем лежало глубокое Святое озеро, и юнги, стоило отвернуться начальству, нещадно, до синевы, до дрожания губ купались в нем. Савка при этом сиживал на бережку.

– Огурцов, – звали его с воды, – полезай к нам.

– Не хочется, – отвечал он, завидуя товарищам острой завистью отверженного. – Да и не жарко сегодня.

Огурцов… врал! Он врал от позора, что угнетал его.

Огурцов не умел плавать! Да, так уж случилось, что, мечтая о большом море, он не выучился плавать в той мелкой речке, возле которой жил на даче. И вот теперь Савку мучил стыд перед товарищами, когда они хором обсуждали достоинства кроля, брасса или баттерфляя.

Чтобы не оказаться в одиночестве, Савка вставлял и свои лживенькие слова:

– А я так больше саженками…

Мирное житие в тихой обители неожиданно кончилось. Юнгам еще разок вкатили по два укола, так что сесть было нельзя, и велели выходить из кремля с вещами. Святые ворота, похожие на въезд в боярский терем, выпустили их на берег Гавани Благополучия.

Колонна миновала поселок, юнги углубились в густой лес. Опять никто ничего не знал – куда, зачем, почему?

Савка глянул назад и поразился:

– Я и не думал, что нас так много.

Рядом с ним шагал рыжий юнга с фальшивой железной коронкой во рту.

– Поднабрали нас немало, – согласился он. – Если все станут одного лупцевать, то сразу пиши – амба! Живым не уйдешь.

Лес, лес, лес… гуще, темнее, сырее. Куда ведут?

– Ишачить, наверное, – пророчили пессимисты.

\* \* \*

Зато оптимисты радовались… Она была прекрасна, эта дорога, и юнги, вчерашние горожане, даже малость попритихли при виде ее красот.

Сколько озер! Сложная система старинных дамб, возведенных трудом богомольцев, была создана вполне художественно – гармония с природой соблюдена. Идешь по такой дамбе, справа возле самых ног плещет рыбой озеро, слева внизу, будто в пропасти, тоже затуманилось волшебное озерко.

Как люди умудрялись одной лопатой творить такие чудеса – непостижимо!

Юнги шагали целый день и наконец устали.

Над лесом уже вырастала коническая гора, на вершине ее стояла церковь, в куполе которой расположился маяк. Это был тот самый маяк, теплые огни которого посветили юнгам в ночи их первого плавания. А по склону горы спускался к дороге заброшенный фруктовый сад.

– Товарищ старшина, а далеко нам еще топать?

– Теперь уже близко. Почитай, все Соловки прошли мы сегодня, с юга прямо на север. Движемся к заливу Сосновому.

– А там что? Или опять секрет?

– Там колхоз рыбацкий. Место старинное.

– Неужели и мы в колхозе жить будем?

– До Соснового мы не дойдем. Скоро покажется наше озеро.

В просвете величавых сосен и вправду засветилось озеро – длинное, мрачное, колдовское. Хотелось верить, что по ночам, когда притихнет природа, в этом озере начинают играть водяные, высоко всплеснет воду чаровница-русалка… Совсем неожиданно, разрушая очарование, громадная черная крыса с длинным хвостом спрыгнула с кочки в воду. За ней – другая, третья, еще, еще крыса.

– Бей их! – закричали юнги, ломая строй.

Кто – за камень, кто – за палку. И – понеслись.

– Стой! – властно задержал их офицер, сопровождавший колонну. – Это мускусные крысы из Канады. Называются – ондатры. Для человека безобидны, а мех отличный, дорого ценится на международных пушных аукционах.

Побросали камни и палки. Вернулись в строй.

– Надо же! А я-то обрадовался… вот дурак.

Еще один поворот, и за лесом открылась сваленная из камней конюшня, в воротах которой устало фыркала одинокая лошадь. Там, где есть лошадь, должны быть и люди. Верно, вот и баня топится, тоже каменная, тоже древняя. Показался дом, совсем неподходящий для такой глуши, – в два этажа, с резными карнизами, а на крыше – башенка, вроде беседки, для обзора окрестностей. Перед домом был разбит сквер – с клумбами и березками. А за садиком возникла угрюмая постройка с черными глазницами окон, и на каждом окне – тюремная решетка. Возле этого здания, почти впритык к нему, красовалась церковь святой Одигитрии. Едва держась на последнем гвозде, висела над мрачным домом доска с непонятной надписью:

С. Л. О. Н.

– Стой! – скомандовали старшины. – Напра-во! Вольно.

День уже мерк, последние чайки отлетали на север, откуда пошумливало близкое море.

Перед строем появился флотский офицер политработник. С тремя нашивками, в том же звании, в каком ходил и Савкин отец. Осмотрев строй, он сказал:

– Поздравляю вас, товарищи юнги, с прибытием к месту вашей будущей службы. Именно здесь будет создана первая в нашей стране Школа юнг Военно-Морского Флота, и отсюда, товарищи, вы уйдете на боевые корабли.

Над лесом замерло эхо. От озерной осоки тянуло туманцем. В общей тишине прозвучал отчетливый хлопок по шее.

– Эй, чего ты спохватился?

– Да комар… вон их сколько!

– Товарищи, – продолжал офицер, – давайте познакомимся. Я в звании батальонного комиссара, зовут меня Щедровский, буду заместителем начальника школы. А место, где мы сейчас с вами находимся, зовется Савватьевым – по имени новгородца Савватия, одного из первых русских людей, который полтысячи лет назад высадился на Соловках с моря. Гора с маяком, мимо которой вы сейчас проходили, называется Секирной… Секирная, потому что в древности там кого-то здорово высекли, но кого – точно не извещен… У кого есть какие вопросы – прошу задавать.

Один юнга, видать, приготовил свой вопрос заранее:

– А в отпуск можно будет съездить?

– Разве ты успел утрудиться? – спросил его комиссар.

– А тогда можно, чтобы моя мама сюда приехала?

– Никаких мам и пап! – отрезал Щедровский. – Здесь вам не детский сад.

Попросил слова рыжий юнга по фамилии Финикин:

– А кормить будут? Или сегодня ужин зажмут?

– Что за выражение! – возмутился комиссар. – Ужина никто не «зажмет», он просто не состоится. На берегу озера только начали складывать печи, чтобы приготовить вам обеды. Пока предстоит кушать под открытым небом. Завтра утром получите горячий чай. Ну, хлеб, конечно. Ну, по кусочку масла. Со временем, когда все наладится, обед ваш будет по-флотски состоять из трех блюд. Еще вопросы?

Огурцов точно по уставу назвал себя, потом спросил:

– Скажите, что означает эта надпись: «С.Л.О.Н.»?

Щедровский обернулся к фасаду мрачного здания.

– Ах эта, – засмеялся он. – Она расшифровывается очень просто: «Соловецкий лагерь особого назначения». Здесь, товарищи, когда вас еще на свете не было, размещалась знаменитая тюрьма. В ней сидели бандиты-убийцы, взломщики-рецидивисты и мастера по ограблению банков. Их давно уже здесь нет, тюрьма в Савватьеве ликвидирована еще в двадцать восьмом году…

Как раз в этом двадцать восьмом году Савка появился на свет.

Щедровский велел старшинам разводить юнг ко сну.

Внутри бывшей тюрьмы – длинные коридоры, большие камеры. Лампочки едва светятся в пыли.

Старшины кричат:

– Прессуйся, молодняк! Запихивайся для ночлега.

– Да тут уже ступить некуда, – попискивали малыши.

– Ничего, утрясетесь. Или в лесу ночевать лучше?

Стены полуметровой толщины. Глазки, проделанные для надзора за бандитами, начинались в коридорах кружочками с монету, зато и камерах они расширялись в громадные кратеры в полметра радиусом, чтобы глаз надзирателя охватывал все пространство камеры. Кто-то из числа неунывающих уже бегал по коридору, вставлял губы в эти дырки, кричал радостно:

– Тю-тю, тю-тю! Вот мы и дома… зовите в гости маму!

Было холодно.

Синяков растолкал юнг послабее, широко разлегся на полу, положив мешок под голову. Мешок был тощий, подушки заменить не мог, и потому Витька голову свою положил на живот одного малыша, который не сопротивлялся.

– Ну, влипли! – посулил Витька всем. – Наобещали нам бочку арестантов, так и вышло. Всех за арестантскую решетку забодали… У-у черт бы побрал, до чего курить хочется…

Раздался тонкий вскрик. В углу юнги стали ругаться.

– Эй, чего там авралите? Спать надо… ша!

Кто-то чиркнул спичкой, и в потемках камеры она высветила на стене выскобленные гвоздем слова: «Здесь страдал по мокрому делу знаменитый от Риги до Сахалина московский налетчик Ванька Вырви Глаз. Боже, помоги убежать!» Спичка погасла.

\* \* \*

«Здравствуй, дорогая бабушка!

Мечта моей жизни исполнилась – я стал моряком, а мама умерла на вокзале, так и не повидав папы, а сам папа ушел на фронт. Сейчас я пишу тебе перед построением и потому спешу. Вот мой номер полевой почты… А нахожусь я в таком чудесном месте, какое известно всем русским людям, только называть его не имею права. Ты поймешь, где я нахожусь, если я скажу, что тут или молились, или сидели за всякие делишки. Здесь очень красиво. Кормят нас хорошо, но мне все равно не хватает на воздухе. Один врач сказал, что при строгом военном режиме я поправляюсь после блокады скорее, чем на карточку иждивенца. Бабушка, я тебя очень люблю…»

Писание письма прервал сигнал на построение. Щедровский отобрал серебряную дудку у вахтенного юнги.

– Это тебе не свистулька! – заявил сердито. – А ты не дворник, который высунулся из подворотни и зовет милицию… Старшины, – наказал он, – впредь юнг ставить на дежурства, отработав с ними морские сигналы на дудке.

Утром пошел короткий, но крупный дождь. В мокрой листве зябко вздрогнул на дереве репродуктор, и Москва передала на Соловки последнюю сводку событий. Юнги молча слушали об ожесточенных боях и степи близ Котельникова, в районе Армавира на Кавказе; военно-морские силы союзников совместно с авиацией начали наступление в районе Соломоновых островов; в Индии большие волнения, англичане арестовали Ганди и Неру. Сталинград в сводке еще не упоминался…

Щедровский начал разговор неожиданно:

– Товарищи, кто из вас любит возить тачку?

Юнги подумали, что комиссар шутит, а Витька Синяков присел, чтобы его не заметили, и пропел залихватски:

Грязной тачкойРуки пачкать?Ха-ха!Это дело перекурим как-нибудь!– Перекурить не удастся, – сказал комиссар. – А эту песенку я на первый раз вам прощаю. Итак, деловой вопрос: кто согласен работать на тачках? Кто хочет копать землю? Или быть лесорубом?

Вот уж не ожидали юнги, что флот предложит им такие профессии. Строй не шелохнулся. Щедровский был явно огорчен.

– Товарищи, – заговорил он, – что-то я не совсем понимаю ваши настроения. Школа юнг сама собой не построится. Вас ведь никто за шиворот на флот не тянул. Вы пришли сами, по доброй воле, и это накладывает на всех юнг особые обязанности…

Перед строем появился мужик с плоской бородкой, держа за поясом остро отточенный топор. Это был местный прораб-трудяга, и нежелание юнг с радостью схватиться за тачку он расценил как злостное хулиганство. Прораб вмешался в речь комиссара.

– Да что вы этой шпане байки рассказываете, товарищ начальник? Они же сюда озоровать приехали. Сплошное жулье – по глазам видно. Пороть бы их всех по понедельникам, чтобы во вторник еще добавить…

Юнги грянули хохотом, а Щедровский посуровел.

– Если вам кажется, что флот станет кормить и одевать тунеядцев, то вы здорово ошиблись. Не такое сейчас время, чтобы с вами тут цацкались… Старшины, начинайте!

Старшины были новые: видать, они уже давненько прозябали в скуке Савватьева, ожидая прибытия юнг, и теперь рады были проявить служебное рвение. Нет, они не деликатничали:

– Вы в землекопы – отходи в сторону. Вторая группа, пойдете на валку леса. Третья – кру-хом! На дергание мха и сортировку пакли. Четвертая… Отставить! Что за вид у вас?

Открылась истина: Школы юнг как таковой вообще не существует. Имеется лишь вот эта бывшая тюрьма, приютившая юнг за своими решетками. В лесу домик санчасти. Бывшая гостиница для богомольцев, где разместилось начальство. И все. Школы же и жилья – н е т… Флот оборачивался другой стороной – не парадным шествием кораблей в кильватере, не шелестом вымпелов над головой. Флот предлагал лопату и тачку как пропуск в морской мир!

Савка попал в группу юнг, созданную для набивки матрасов водорослями. Подчинялись они старшине Росомахе – щеголю и скептику лет тридцати. Он завел юнг подальше в лес и там прочитал нудную лекцию о том, что за восемь лет службы он и не таких обламывал. После чего показал на Огурцова:

– Ты не кровь с молоком, вот и будь за старшего…

В просвете могучих сосен открылось море. Это была Сосновая губа, в устье которой виднелись домики рыболовецкого колхоза. Вдоль берега, обнимая старинные камни, обвешивая стволы прибрежных деревьев, квасились завалы морской капусты. Юнги пихали в матрасы водоросли посуше.

– Во спать-то лафа будет! Мягче сена.

– И пахнет… А чем пахнет?

– Йодом. Из такой капусты йод выжигают.

– А японцы едят ее. Может, и мне попробовать?

Кое-кто попробовал. Пожевав, выплевывали:

– Даром давай – не надо! Сосиски лучше…

Савка так и не понял, в чем заключались его обязанности старшего. Вместе со всеми он усердно тащил на загривке тяжелый матрасище, на котором предстояло спать кому-то другому. Однажды, когда он скинул ношу, чтобы передохнуть, возле него сбросил матрас еще один юнга.

Кажется, это был тот самый, что вчера спрашивал комиссара, не пора ли ему в отпуск.

– Давай тикать отсюда, – вполне серьезно предложил он Савке. – Все интересное нам уже показали, а дальше ничего веселого не ожидается. Видишь, вкалываем…

Савка бежать отказался наотрез.

– Разве тебе не хочется домой? – удивился юнга.

– У меня нет дома. Ты как хочешь, а для меня теперь флот – дом родной, он мне и папа, он мне и мама. И лучше не подначивай меня, а то я комиссару скажу.

– Если накапаешь, я ребят подговорю, устроят тебе темную.

Савка взвалил на себя громадный матрас, который был в два раза больше его самого. Попер его дальше на горбу, задевая ветви елок. Когда поздно вечером юнги свалили последние матрасы в Савватьеве, Росомаха пересчитал свою группу. Одного не хватало.

– Куда делся человек? – набросился он на Савку.

В группе не хватало как раз того самого юнги, что подговаривал Савку сбежать. Огурцов об этом промолчал.

– Как его фамилия? – не отставал Росомаха.

– Не знаю. Не спрашивал.

– Какой же ты к черту старший? – возмутился Росомаха. – На флоте ты кем рассчитываешь быть? Матросом или матрасом?

Этим каламбуром неприятности для Савки пока и закончились…

\* \* \*

Выдали робу. Рабочая одежда боевого флота – штаны и голландка из парусины. Темно-синюю форму юнги теперь должны были надевать только по табельным дням – по праздникам страны или заступая на караул. Отныне ходить им в робе, и только в робе! Юнги поняли, что в иных книжках моряков рисуют неверно – нарядными, как на параде. Жесткая и прочная роба – не для того, чтобы франтить, а чтобы трудиться. Новенькая, она обдирает тело, словно наждачная бумага, но после нескольких стирок мягчает, и к ней скоро привыкаешь. Ботинки у юнг тоже отобрали, взамен они получили со склада здоровенные кирзовые бутсы. Идешь в них по лесу – звери прячутся…

Школа юнг строилась на голом месте и голыми руками.

Командование верно рассудило, что юнга должен уметь делать все, и потому слова «я не умею» не принимались во внимание. Если уж ты пришел на флот, так будь любезен делать, что тебе велено. Не хватало лопат и кирок, молотков и гвоздей, а топоры ценились на вес золота. Юнги пальцами соскребали в лесу подушку мха, и под ним обнажалась земля – сочная, перевитая корнями деревьев, унизанная прожилками червяков. Особая команда юнг наловчилась корчевать пни – без трактора и даже без рукавиц. На одном мальчишеском задоре вытягивались из земли корни, помнившие первых новгородцев. Учитывая особую тяжесть труда, корчеватели получали на камбузе по две миски каши. В землю, освобожденную от корней и камней, вонзались лопаты других юнг: копали глубокий котлован для будущего кубрика. Кубрики строились из расчета, что в них будет жить по пятьдесят человек. Увы, кубрики строились в виде землянок (как на фронте).

Постепенно в работе выяснялись наклонности юнг. Один был мастер-конопатчик, второй с тридцати ударов топора валил любую сосну, третий умел запрягать лошадь, четвертый перенял от дедушки печное ремесло, а пятый, склонный к ваянию, обожал месить глину и бывал сам не свой от радости, когда топтал ее босыми ногами в глубокой яме. Работа обрела смысл: не бывать тебе мокрым в море, пока не вспотеешь на берегу!

Уже образовалась комсомольская организация, и с комсомольцев требовали особенно строго. Многие еще не были готовы вступить в комсомол по возрасту. В число таких малолеток попал и Савка Огурцов.

Росомаха определил его в бригаду «разрушителей». Это была такая работенка, что по ночам кости стонали. Чтобы тюрьма перестала быть тюрьмой, нужно было привести ее в порядок, а для начала выдернуть из окон решетки.

Два силача сунули ломы между решеткой и карнизом окна, поднатужились, но решетка даже не крякнула.

– До чего же хорошо сделано! – огорчились юнги.

– В таком случае, – распорядился Росомаха, – нам предстоит как бы блатная работа: будем решетки эти самые пилить. Я, конечно, в тюрьме не сидел. Но читать приходилось, что решетки пилят.

Первая решетка рухнула, и в окно глянула красота уже ничем не обезображенная. Скоро пришлось Савке побыть в роли водопроводчика. Следовало привести в порядок гальюны на первом и втором этажах. Работа грязная и пахучая. После этого стелить полы считалось чистоплюйством. В труде не раз подтверждалась русская поговорка: глаза боятся, а руки делают. Это правда: только возьмись – работа закрутится и сам ты закрутишься в работе.

В один из вечеров перед юнгами выступил комиссар Щедровский.

– Товарищи! Хочу сообщить радостную весть: осталось выкопать четыре котлована, и можно закладывать кубрики в землю. Своими руками вы приближаете день, когда сможете сесть за учебу. Пока все идет хорошо, – сказал комиссар. – Просто замечательно идет! Однако, как это ни печально, и в нашей семье не без урода. Стыдно сказать, но завелся у нас дезертир…

Из штаба два матроса вывели юнгу, и Савка про себя ахнул: тот самый, что бросил матрас в лесу, а сам куда-то скрылся.

Щедровский выставил беглеца на всеобщее обозрение.

– Вот полюбуйтесь! Задержан катером морпогранохраны на шлюпке, в трех милях от берега. Недалеко ушел. Вообще-то перед вами стоит неуч! Чтобы плыть морем, нужно обладать знаниями. И дезертир еще должен сказать спасибо тем пограничникам, что его поймали. Ведь этот олух царя небесного поплыл на восток от Соловков, а там сильное течение уже понесло его в море. Так бы и выперло его через Горло [3] туда, откуда уже нет возврата. А шлюпку, – закончил комиссар, – он украл у колхозных рыбаков.

Беглец, понуря голову, вращал в руках бескозырку.

– Я больше не буду, – сказал он вдруг.

– А тебя никто и не спрашивает, будешь ты или не будешь. Товарищи, этот юнга присяги еще не принимал и суду военного трибунала не подлежит. Мы поступим с ним по долгу совести.

Беглецу велели снять форму. Поверх шинели он водрузил свою бескозырку – так осторожно, словно возлагал венок на собственную могилу. Дезертир остался в одних кальсонах.

Откуда-то притащили пиджачок, брючки, кепочку с шарфиком. Все это, с помощью конвоиров, быстро намотали на дезертира. Вот тогда-то он заревел – страшно, громко. Но ему вручили документы, и Щедровский сказал:

– А теперь проваливай, чтобы тебя здесь не видели…

Август кончился. Северное лето короткое, и на Соловки надвинулась осень. Зарядили дожди. Набухла почва. Кубрики строились верстах в двух от Савватьева – между озерами Банным, Утинкой и Заводным, в глухой чащобе леса, где порскали по соснам белки, а тетерева и куропатки лениво выбегали из-под ног. Савка попал на рытье последнего котлована. Там, в глубокой яме, залитой водою, он встретил Джека Баранова. Облокотившись на лопату, Джек о чем-то крепко задумался.

– О чем ты, Джек? – спросил его Савка.

Баранов с трудом отвлекся от мыслей.

– А ведь сегодня первое сентября. Будь я дома, пошел бы в школу. Ох и не любил же я ее! – признался он откровенно. – А вот сейчас стою здесь, жрать хочу, которые сутки просыпаюсь от холода и… Моя мечта, – закончил Джек, – служить на подводных лодках. Только на подлодках. Ради этого я здесь!

И со страшной злостью он всадил лопату в скользкую глину. Рядом с ним стал работать и Савка. Здесь тоже быть школе. Только не той, которая чинно выводит в институт, – эта выведет их прямо в море. Здесь они получат право сражаться наравне со взрослыми!

Именно в этот день, 1 сентября 1942 года, исполнилось три года с начала второй мировой войны. В этой грандиозной битве мы вели войну Великую, мы вели войну Отечественную…

К вечеру котлован сдали прорабу.

\* \* \*

Хотя в юности хандрить и не принято, но иногда (чаще по воскресеньям) тоска все же одолевала. Печально шумел по вечерам черный осенний лес, затекший дождями, и ты казался себе маленьким, заброшенным на край света, всеми забытым… Остров! Географическое понятие суши, окруженной со всех сторон водою, иногда все же сказывается на психике. И очень редко, в исключительных случаях, начинал работать маяк на Секирной горе – яростные проблески света, отрывисто посланные в безлюдность осеннего моря, только усиливали одиночество.

Осень – но юнги еще обедали под открытым небом, сидя за столами на берегу озера, а старшины, всегда верные букве устава, командовали с присущей им безжалостностью:

– Головные уборы – снять! Отставить… Кто это там опоздал? Бескозырку надо в момент скидывать. Головные – снять! Вот теперь хорошо. Сесть! Отставить… Вот теперь плохо. Синяков, тебя команда не касается? Сесть! Можете принимать пищу.

У многих юнг из разодранной обуви вылезали пальцы, но во время войны вещевой аттестат был неумолим: ты в тылу, а не на фронте! Они глотали суп пополам с дождем. Они ели кашу, присыпанную снегом. Черные низкие облака проносило над их трапезой. Однажды прилетела с материка ворона, села на башню маяка и каркала весь день напропалую. Каркала до вечера, словно вещая беду, и чайки вдруг разом снялись с гнездовий и улетели вслед за облаками, в сторону океана. А с материка уже неслись к острову несметные тучи ворон, которые и заполнили архипелаг до самой весны.

Барак санчасти уже был забит простуженными, придавленными в лесу. От холода и грязи юнги покрывались фурункулами, у многих болели зубы. Всех лечили и возвращали в строй. Артель наемных плотников подновляла в лесу барак для клуба юнг; в глухомани между озерами создавался колоссальный камбуз, способный вмещать сразу по триста человек; на окраине Савватьева поставили в конюшне изношенный дизель с подводной лодки, он долго чихал в холодной ночи, потом его клапаны затрещали выстрелами, словно открыла огонь многоствольная митральеза, и электростанция Школы юнг дала первый ток. Жизнь как будто налаживалась, но конца работам еще не было видно.

Раньше они – за папами и мамами! – жили припеваючи, как за стенами крепости. А теперь, милый друг, ты обязан и себя обслужить. Бельишко свое, будь любезен, постирай-ка в озере, студя руки в ледяной воде, и тогда поймешь, сколь неблагодарен труд матерей и бабушек. Надо заготовить дровишки на зиму, и никто, кроме тебя, этого уже не сделает. Давай пили! Давай коли! Не кубометр и не два – сто и двести кубометров: ты не один, а твоя семья большая. Раньше ведь как? Гонят в баню, а ты не хочешь, и родители в конце концов отстанут. Теперь никто не спрашивает, есть у тебя настроение мыться или такового не наблюдается. «Выходи строиться с мылом!» – и шагаешь в баню, и моешься как миленький. В той самой бане, где, если верить преданиям, мылся сам император Петр Первый. Дома, бывало, поешь и тарелку на столе оставишь… Дальше тебя ничто не касается…

Дежурства по камбузу особенно лестны для юнг с развитым аппетитом. Савка же Огурцов не выносил этих круглосуточных бдений возле еды, которая и за одни сутки может стать ненавистной. Склонившись над гигантской лоханью с горячей водой, он с утра до глубокой ночи перемывал тысячи мисок и тысячи ложек – мочалкой и мылом, чтобы они треснули. Хорошо еще, что юнги подчищали миски так, будто их собака вылизала, а то бы совсем беда.

Но среди прочих обязанностей была и караульная служба – четкая и строгая. О заступлении в караул юнги предупреждались заранее, чтобы могли привести себя в порядок. Утюгов не было, а от брюк требовалось соблюдение идеальных складок. В таких случаях брюки клались под матрас, и когда выспишься на них, складки отпечатывались сами собой в надлежащем виде… Жить надо уметь!

В начале сентября заступил в караул и Савка Огурцов.

Начальником караула был старшина Колесник – чернобровый красавец-украинец, еще молодой парень с черноморских крейсеров. Словно припечатанный к плечу старшины, ни на шаг не отходил от него юнга Мишка Здыбнев – подросток крупный телом, не по годам серьезный. Командование его уже отличало: Мишку назначили разводящим. Савка много читал об ответственности часовых, о строгих требованиях в карауле и потому был настроен приподнято.

Стоять ему выпало у склада боепитания.

Колесник еще раз обошел юнг. Кое-где штыки винтовок торчали на полметра выше тех, кто держал в руках оружие.

– Служба понятна? Обязанности ясны? Вопросы имеются?

– Имеются, – сказал вдруг один малыш, самый дотошный. – У меня в казеннике винтовки какой-то вредитель просверлил дырку, в которую даже спичка пролезет.

– Товарищи, – объяснил Колесник, – у всех у нас винтовки дырявые. Но это не есть акт вредительства. Вам выданы учебные винтовки, из которых нельзя произвести выстрела. Потому как при сгорании пороха в патроне газы не выталкивают пулю из ствола, а через эту самую дырку бесцельно вырываются в атмосферу. Чего же тут не понять?

Не в меру серьезный Здыбнев приосанился:

– Кому что-либо еще объяснить?

– А патроны не дадут? – обратился к старшине Огурцов.

– Как не принявшие еще присяги, – отвечал Колесник, – вы имеете оружие лишь для видимости. При таком дырявом оружии и патроны вам не нужны. Пуля-то все равно никуда не полетит.

– А если враг? – не унимался Савка.

– Какой враг? Соображай, что воркуешь! Фронт далече и хорошо держится, а на острове люди проверены так, что комар носу не подточит. Но, товарищи, вахту несите бдительно. Так, словно вы находитесь в боевой обстановке…

Первую смену уже развели по боевым постам. В двенадцать ночи, когда, согласно сказкам, в лесу шевелится всякая чертовщина, именно в полночь Савка должен был заступить на «собаку». Так на флоте издавна называлась самая трудная вахта – от ноля до четырех часов, когда особенно хочется спать… «Собака»! Первая «собака» в жизни человека!

Есть от чего волноваться.

\* \* \*

Без четверти двенадцать Здыбнев его растолкал:

– «Собака» ждет. Пошли на пост.

Склад боепитания размещался в отдаленной землянке, когда-то служившей монахам погребом для хранения мороженой рыбы. Идти до него было порядочно. Погасли за спиной огни Савватьева, глухой мрак обступил шумящий под ветром лес, и разводящий освещал фонарем узкую тропинку… Беседовали они больше о пустяках.

– У тебя сколько классов? – спросил Здыбнев.

– Пять. С похвальной грамотой.

– У меня шесть, но без грамоты. Зато я с военного завода. Имел рабочую карточку. Пятьсот граммов хлеба – не как-нибудь! А сестренка иждивенческую получала, так я ее подкармливал.

– А кем ты работал на заводе?

– На слесаря выходил. Как и батька. Целый день на ногах. Работали-то для фронта. По шестнадцати часов у станка, хоть тресни. Я лишь на Соловках отоспался.

– А я отъедаться начал. На еду уже не кидаюсь.

– Вот видишь, – заметил рассудительный Здыбнев, – нам с тобой здорово повезло… Кстати, ты не курящий ли?

– Нет.

– Жаль. Курить охота. Триста граммов песка сахарного дали взамен табаку, а курить – баста! Что ж, – погоревал Мишка, – я потом, когда все в караулке заснут, у Колесника стрельну махорки. Он мужик добрый, даст мне втихаря потянуть.

– А ты такого Витьку Синякова знаешь?

– Здоровый бугай. Вола свертит. А что?

– Нет, ничего. Вот он тоже курящий.

– Он в юнги-то и пьющим попал. Говорят, это он у нашего прораба топор увел. А потом прораб свой же топор за осьмушку махорки обратно выкупал… Витька – блатной, стерва!

Этот ничего не значащий разговор вывел Савку из состояния торжественности. Соседство же сильного и уверенного товарища придало ему спокойствия. Скоро из темноты, обступившей лес, раздался окрик часового: «Стой! Кто идет?» Сошлись возле дверей погреба. Узкий луч фонаря в руке Здыбнева осветил громадный купеческий замок, сургучные печати.

– Все в порядке, – сказал Мишка, – стой. А мы пошли. В четыре ноль-ноль жди меня со сменой. Я – как из пушки…

Шаги уходящих юнг слышны были еще долго. Потом настала цепенящая душу тишина. Один только раз донесся шумок от дороги – это, наверное, грузовик привез из кремлевской пекарни свежий хлеб к завтраку. Конечно, если ты родился и провел детство в большом, ярко освещенном городе, тебе жутковато очутиться одному в ночном лесу. Мало того, ты не костер палишь в пионерском лагере, а охраняешь склад боепитания. Чтобы придать себе бодрости, Савка с винтовкой обошел весь погреб. Знать бы, сколько он уже отстоял? Напрасно отказался взять часы. Отец достал бы себе другие, а Савке часы были бы кстати… Когда он вырастет, он заведет себе не карманные, а чтобы носить на руке – пусть все видят. От этих мыслей о часах мечты его потекли в будущее. Под неспокойным мраком ночи, в котором шум ветвей заглушался ропотом моря, Савка сладчайше грезил о тех блаженных днях, когда война закончится и он вернется домой героем. Вряд ли кому из его однокашников выпала такая судьба, как ему. Коля Претро остался в Ленинграде, в блокаде… выживет ли? Яшка Гриншпан эвакуировался из Ленинграда еще осенью, когда в булочных батоны продавали; теперь, наверное, сидит за партой в какой-нибудь алма-атинской школе. А где Наташка Сосипатрова? Где пухленькая Ниночка Плетнева? Небось отощала…

Страшный треск оборвал его мысли. Страшный – потому что он вмиг разрушил все видения. Стало ясно: кто-то сломал под ногой ветку. Савкина спина покрылась мурашками. Он вскинул винтовку – дырявую, без единого патрона.

– Стой! Кто идет? – окликнул точно по уставу.

Лес молчал. Может, показалось?

И вдруг Савка расслышал отчетливые шаги за кустами.

Это был шаг человека. Вот еще шаг…

– Стой! Стрелять буду!

Савка бросился в кусты, жестоко пронзая их черноту длинным лезвием штыка. Но вспомнил о сургучных печатях на двери склада и отбежал обратно, встав спиною к двери. Попробовал запугать криком:

– Стой, зараза, тебе говорят… Я же застрелю тебя!

Но кто-то невидимый и зловещий продолжал деловито обшагивать склад боепитания по кругу. Удивительная враждебность чуялась Савке в его спокойных, размеренных движениях. Сейчас юнга был слабой, беззащитной стороной. А противник вел себя так, словно заранее был уверен в своей неуязвимости…

«Может, подшучивают? Свои же ребята?»

– Здыбнев! Мишка… это ты? – тихо спросил он у леса.

Шаги замерли. Стало совсем тихо и страшно.

– Хоть бы один патрончик, – бормотал Савка.

Со штыком наперевес юнга снова кинулся на кусты, раня их острием штыка. Ему было страшно. Так страшно не бывало даже в блокадные ночи, когда дом, наполняясь пылью, ходил ходуном под бомбами; когда, лежа под одеялами. Савка слышал выстрел немецкого орудия, а потом отсчитывал, как метроном, до шестнадцати, после чего снаряд коверкал гранит Фрунзенского универмага.

Неуловимый кто-то был здесь, рядом. Савка заставил себя успокоиться. Что должен делать часовой в таких случаях? Дать знать своим. Но как? Телефона нет. И нечем выстрелить, чтобы поднять караул по тревоге. Часов тоже нет, да и неизвестно, сколько времени продлится этот поединок на одних нервах. Савка поступил на свой лад: вжался в двери склада, так что замок впился ему в спину, и, выставив оружие перед собой, замер.

– Вот только подойди, – шептал он. – Вот только сунься…

Он чувствовал, что из мрака за ним наблюдают чужие глаза.

А дальше произошло то, чего никак не ожидал Савка. Буквально в пяти шагах от него выбило из кустов хлопок приглушенного, но очень сильного выстрела. Выпорхнула голубая искра пламени, и в небо, прямо над складом, ушла зеленая ракета. Она погасла, после чего шаги человека пропали в отдалении. Замелькал фонарь разводящего – Здыбнев вел смену. Еще никогда в жизни Савка так не радовался товарищам.

– Замерз? – окликнули его юнги, подходя ближе.

– Вспотел даже.

– Чего так? Ночь-то холодная. Ниже нуля.

– А я… страху натерпелся, – сознался Савка.

– Страху? – хмыкнул Мишка. – Отчего?

– Ходили вокруг меня.

– Да брось! Наверное, корова. Колхоз-то рядом.

– Корову я бы признал. Но это был двуногий зверюга.

– Не ерунди! Корова…

Здыбнев сменил часовых и вместе с Савкой пошел обратно в караулку. Савка долго шагал молча, потом сказал:

– А знаешь, Мишка, корова-то эта ракету запустила…

Колеснику он сразу доложил о событиях во время «собаки».

– Почудилось? – не поверил старшина спросонья. – Кипяток вон там, накрыли подушкой. Попей чаю да ложись кемарить.

– Я лягу, – сказал Савка, раздергивая крючки шинели. – Да не заснуть. Он же под боком у меня ракету выстрелил в небо…

Из головы Колесника выбило сонную одурь.

– Вот как? Ну, ладно. Я доложу по команде, кому следует.

\* \* \*

Острота ночного возбуждения не пропала и днем. Савка охотно делился со всеми своими переживаниями на посту. Охотников послушать было немало, и он бестолково рассказывал:

– Стою я, как положено. А он ходил, ходил, ходил…

– Кто ходил-то?

– Да этот… шпион, наверное. Вдруг как пальнет…

– В тебя?

– Нет. Прямо в небо…

В четыре часа дня Савка готовился заступить на пост во вторую очередь, чтобы смениться, отстояв до восьми. Но случилось иначе. После обеда в Савватьево неожиданно прикатил заляпанный грязью пикап, из него устало выбрался пожилой боец-пограничник со старомодным наганом у пояса.

– Юнга Огурцов – тебя. За тобой приехали.

Савка подошел к пограничнику.

– Ты будешь Эс Я Огурцов двадцать восьмого года?

– Я.

– Садись. Поехали…

Выяснилось, что из Архангельска прибыл представитель контрразведки.

(Позднее она получит наименование «смерш».

Савке доходчиво растолкуют:

– Смерш – это значит «смерть шпионам». Военная контрразведка по обнаружению врагов и паникеров.)

Всю дорогу до кремля боец горячо убеждал Савку:

– Только правду говори. Упаси тебя Бог соврать! Там ведь у нас не дураки сидят. Понимают что к чему. Ежели ты чистосердечно покаешься, тебя, может, и простят по малолетству.

Вот и кремль. Конвоир провел Савку на второй этаж бывших архиерейских покоев, открыл дверь, обитую черной кожей, и ввел в кабинет, где юнгу поджидал капитан в сухопутной гимнастерке и широких галифе. Без всяких предисловий он стал орать на Савку:

– Тебя зачем привезли сюда?! Чтобы ты панические слухи распространял?! От горшка два вершка, а уже вредительством занимаешься на руку врагу? Ты эти штучки брось… Каких еще шпионов ты выдумал? Приснилось тебе? Ты злостные вымыслы оставь при себе. Небось от страха штаны прохудил, а теперь ходишь всюду и треплешься.

Савка дал капитану честный ответ:

– Мне было страшно. Не скрою. Но я не струсил.

– Не было никаких диверсантов! – настаивал капитан. – И никто вокруг тебя по лесу не шлялся… Выдумал черт знает что! А зачем же мы тут сидим, если враг под боком ходит?

– Нет, были, – ответил ему Савка. – И по лесу шлялись.

Капитан вскочил из-за стола, побледнел.

– Отвечать не умеешь! Повтори, что тебе сказано.

Давясь от обиды слезами, Савка повторил:

– Есть не было диверсантов. Есть никто не шлялся.

– Ну вот! – Капитан, довольный, вернулся за стол. – Это уже другое дело. А то городишь тут… Придется мне тебя задержать и проверить, чтобы ты больше честных людей не баламутил. Нашлись бдительные товарищи. Просили пресечь злостные слухи.

Савка тут же плеснул масла в угасающий костер:

– Он и ракету выпустил от склада боепитания.

– Кто выпустил? – снова взвился капитан.

– Да этот вот… как его? Не знаю кто.

– Опять ты в паникерство ударился? Звезда с неба скатилась, а тебе она со страху ракетой показалась.

Тут Савка не выдержал – разрыдался.

– Как звезда? – говорил он, всхлипывая. – Я же ленинградский, из блокады. На Международном жил… Там, знаете, как было? Из нашего же дома тетка, как только объявили воздушную, в одной рубашке на подоконник села – и ракету в небо! Я же зажигалки тушил, не пугался. Как же я могу спутать ракету со звездой? Это был враг! Если хотите правду знать, мне в жакте управдом говорил, что была бы его воля, он бы мне медаль «За отвагу» выдал…

Капитан почти с огорчением развел руками.

– Я тебе, дураку, как лучше хочу, а ты опять за свое… Чтобы такой город – Ленинград, и чтобы какая-то баба на подоконник садилась? Ты эти враждебные сплетни оставь в кармане, иначе я тебя живым отсюда не выпущу…

За спиной юнги вдруг хлобыстнула дверь, и Савкин мучитель вскочил, поспешно одергивая гимнастерку. В кабинет вошел (а точнее – ворвался!) капитан третьего ранга. Не обращая внимания на мальчишку, он набросился на капитана:

– Тебя зачем сюда прислали? Чем ты занимаешься?

В растерянности особист еще раз дернул гимнастерку.

– Прорабатываем… – произнес неуверенно.

– Чего прорабатываешь? Я тебя так проработаю, что ты завтра же в окопах за Кандалакшей проснешься.

– Вот… – показал капитан на Савку. – Можете посмотреть.

Капитан третьего ранга мельком глянул на юнгу, но, кажется, не понял, какая тут шла проработка. Сказал уже более спокойно:

– Почему мне ничего не было доложено сразу? Сейчас за Лапушечным озером берут диверсанта. Он при гранатах и при шмайсере. Отбивается отлично. Как зверь! Матросы будут брать сукина сына живьем и притащат сюда… Разберись!

Капитан сразу переменился.

– Этот вопрос я и выясняю, – сказал он, кивая на юнгу. – Вот и товарищ Огурцов подтвердит. Молод, а уже проявил похвальную бдительность на посту.

Капитан третьего ранга круто развернулся в сторону Савки.

– Из Савватьева? – спросил отрывисто. – Ну, ясно. Мне как раз на рассвете звонили рыбаки. Одна бабка встретила в лесу подозрительного человека. Молодец! – похвалил он Савку. – Хорошо служишь, юнга. Что надо отвечать в таких случаях… знаешь?

– Служу Советскому Союзу, – ответил Савка. В сторону капитана в галифе он даже не глянул.

– Иди. Тебе будет объявлена особая благодарность.

Особист распорядился, чтобы юнга не топал обратно тринадцать верст по лесу, и Савку отвезли домой на пикапе. Сопровождал его тот же солдат.

– Ну вот, – говорил он с лаской, – а ты, дурачок, ехал и боялся. Выпустили же тебя – не съели. Видать, послушался совета и не врал, а сказал правду…

Через день юнгам был зачитан приказ:

– Юнге Эс Огурцову за образцовое несение караульной службы объявляется благодарность с занесением в личное дело.

Эта первая благодарность за службу не доставила Савке никакой радости. Будто ему залепили крепкую оплеуху, а потом вдруг погладили по головке. Но эта благодарность открыла собой череду других, и они будут вспоминаться Савке совсем иначе, по-хорошему…

В ту ночь, когда Огурцов воевал дырявой винтовкой, выданной для макетной видимости, катера охраны водного района засекли летевший от Коми самолет противника. Недалеко от Соловков рыбаки подцепили в море отстегнутый парашют немецкого производства.

Конечно, от вражеской разведки, действовавшей на ближайшем участке фронта, не укрылось, что 2 августа на Соловках был высажен большой отряд юных добровольцев флота. Помешать созданию Школы юнг противник не мог. Но в дальнейшем он еще не раз пожелает сорвать их учебу…

Ондатры, отремонтировав свои хатки на воде, готовились встретить зиму. Звери давно были готовы к зиме, а вот юнги, кажется, опаздывали. Не так-то легко без помощи техники, одними лопатами отрыть громадные котлованы, потом из досок и бревен собрать под землей благоустроенные жилища на полсотни человек каждое, утеплить их сверху пластами дерна, сложить внутри печи и выстроить нары в три этажа. Теперь юнги хвастали мозолями:

– Пощупай, какие у меня. Вот здесь.

– Это что! А у меня – во…

Уже валил мокрый снег, когда бабушка переслала Савке первое письмо отца, написанное еще в августе. Отец был по-фронтовому краток, а общий тон его письма суров. Он сообщал, что уже многие его матросы погибли, что Волга рядом, но все время мучает жажда. В конце письма отец словно прощался: «Сынок! Война – жестокая штука, ты уже взрослый и должен понять меня правильно. Может случиться и так, что живым из этих развалин на берегу Волги я не выберусь. Не помню, какой писатель сказал: „Да возвеличится Россия – да сгинут наши имена!“ Это сказано точно. Я очень рад, что ты сейчас на флоте, где человек никогда не может быть одинок…» Отец и в морской пехоте оставался комиссаром, но вскоре юнгам зачитали приказ об установлении единоначалия. Должности комиссаров в армии и на флоте упразднялись. Если отец жив, он стал офицером морской пехоты – «черной смерти»!

Встретив Щедровского, которого теперь стали называть замполитом, Савка спросил у него, когда начнутся занятия.

– Скоро. Кубрики нас держат.

– А долго ли нас будут учить? Воевать хочется.

– Осенью следующего года ты будешь уже на корабле.

– А в комсомол мне все еще нельзя?

– Исполнится пятнадцать – приходи, примем.

Скоро в Савватьеве появились новые офицеры. В основном – строевые командиры с кораблей, которых ради воспитания юнг оторвали от боевой службы, и, кажется, многие из них болезненно переживали это перемещение в тыл. Среди них заметно выделялся высокий и стройный лейтенант Кравцов, в прошлом командир «морского охотника». Ходили слухи, будто Кравцов за отчаянную храбрость был представлен к званию Героя, но совершил крупный проступок и на Соловках появился уже без единого ордена. Особым жестом он поддергивал на руках перчатки и был явно недоволен обстановкой.

– Не было печали, так черти накачали. Возись тут с детьми…

Среди прибывших встречались и старшины-специалисты. Внимание юнг привлек к себе Фокин – человек болезненного вида, слегка заикающийся. С подводной лодки «М-172» Фокин привез пакет сушеной картошки – большая диковинка по тем временам! Добродушно предлагал юнгам попробовать:

– Угощайтесь, пожалуйста. Не стесняйтесь.

Чемодан старшины был наполнен разными чудесами.

– А вот лампочка с моей «малютки». Дорогая память!

Обыкновенная лампочка пальчикового типа. Но она пережила большую передрягу: баллон ее оторван от цоколя, под стеклом жалко болтались обрывки вольфрамовых паутинок. Фокин объяснял:

– Это недавно… в мае нас фрицы так бомбили, что все полетело кувырком. В отсеках плавал туман из распыленных масел. А с бортов отлетали покрытия.

– А почему вы ушли с подлодок? – спросил Джек Баранов. – Я бы за такое счастье держался руками и ногами.

– Нервы у меня истрепались… Врачи признали негодным. Вот и прислан на должность педагога.

– А чему вы нас учить будете?

– Мое дело хитрое – дело сигнальное…

В одно из воскресений Синяков внимательно следил, как Савка драит бляху ремня. Потрет суконкой, полюбуется зеркальным отражением своей личности, дыхнет пожарче, чтобы бляха слегка запотела, и с новым усердием – драит, драит, драит…

– Стараешься, – начал Синяков. – Но чистеньким да гладеньким все равно жизнь не проживешь. Обязательно сам измараешься или другие в лужу толкнут. Знаешь, как писал поэт: «А вечно причесанным быть невозможно…» Вникни!

– Это ты к чему? – не понял его Савка.

– А к тому, чтобы ты не порол горячку. Тебе кажется, что ты фигура на флоте, а на самом деле ты пешка… жалкая и маленькая.

– Пока мы все тут люди маленькие, – согласился Савка. – Но через год мы уже запоем другие песни.

– Адмиралом во сне себя видишь?

– Для начала хотел бы я стать боцманом.

– Допустим, – засмеялся Витька. – Стал ты, доходяга, боцманом. А когда на гражданку тебя выкинут, кому ты будешь нужен со своей «полундрой»?

– Вот ты о чем! – прозрел Савка. – Но я на флот не за хлебом пришел. И за мое будущее ты не беспокойся.

В воскресенье юнг неожиданно вывели на улицу для общего построения. С моря тянуло обжигающей стужей. Намокшие и озябшие, юнги покорно стыли под ветром. Бескозырки наползали малышам на красные от холода уши. Юнги тихонько переговаривались.

– А чего стоим?

– Да стой. Тебе-то что?

– Мне ничего. Митинг будет, что ли?

– Опять, наверное, на аврал погонят.

– Может, с фронта какое известие…

От штабного дома в окружении офицеров двинулся на них совершенно незнакомый человек в кожаном пальто без нашивок. Лейтенант Кравцов молодцевато подошел к нему с рапортом.

– Товарищ капитан первого ранга. Школа юнг построена по вашему приказанию для представления по случаю вашего прибытия.

Каперанг козырнул и пошагал дальше на юнг без тени улыбки. Лицом он напоминал хищного беркута. Из-под мохнатых бровей клювом налезал на сизые губы крючковатый носина. Глаза ярко горели. Неизвестно, что испытывали другие юнги, но Савка при виде этого человека вдруг мелко завибрировал. Казалось, что, слова доброго не сказав, человек в кожаном врежется в строй и всех раскидает…

Юнги притихли. Щедровский вышел вперед и объявил, что перед ними – начальник Школы юнг, капитан первого ранга Николай Юрьевич Аграмов. Никто не запомнил, что сказал начальник школы в приветствие. Но голос его звенящим клинком пролетел над строем, словно одним взмахом он хотел срубить все легкомысленные головы. Аграмов метнул рукою под мокрый козырек, приветствуя юность.

– …будет трудно! – эту фразу расслышали все. – Будет очень нелегко, но разве можно чем-нибудь запугать русского юнгу?

– Р-разойдись! – последовала команда, и все разбежались.

Человек сам не выбирает для себя внешность, но первое впечатление о нем складывается именно по его внешности.

– Ты видел? Глаза-то у него… так и зыркает.

– Ух, и страшный же человечище! – говорили юнги.

– Ну, держись, братва. Теперь гайку закрутят.

– Долго для нас выбирали начальника и вот прислали.

– Задаст он перцу! Ох задаст!

– Ша! Сюда Кравцов идет… улыбается.

Лейтенант, умудрявшийся среди луж сохранить яростный блеск своих ботинок, подошел к юнгам, подтянул перчатки.

– Ну, молодые, отвечайте по совести – струсили?

Спрашивал он добродушно, и юнги разом загалдели:

– Расскажите нам о каперанге… Кто он такой?

Кравцов отвечал с подчеркнутым уважением:

– Лучшего начальника вам и не надо. По книгам Аграмова училось не одно поколение моряков, даже я, грешный. Это один из лучших моряков нашего флота, знающий морпрактику, как никто в стране. Обещаю: с ним вам будет очень хорошо.

– А где он воевал?

– Не волнуйтесь, – утешил Кравцов. – Аграмов вояка старый. Еще будучи мичманом, участвовал в Цусимском сражении и тогда же получил именное золотое оружие за храбрость.

Юнги плохо представляли себе, что такое золотое оружие, но зато были достаточно сведущи по части Цусимы: легко проявить мужество, когда твоя эскадра идет к победе, но двойное мужество нужно, когда эскадра идет навстречу верной гибели…

\* \* \*

Уже на следующий день Аграмов прошелся по камерам бывшей тюрьмы, где временно в страшной теснотище селились юнги, разложив на полу матрасы. По-отечески побеседовал, вызывая на откровенность, иных пожурил, но как-то смешно пожурил, и юнги – галдящей оравой – сразу же потянулись к нему, как к отцу родному.

Стоило ему прибыть в Савватьево, как дело заспорилось. В окна землянок уже вставляли стекла. Словно с неба свалились на Соловки флотские портные, стали беспощадно пороть и кромсать форму на юнгах, подгоняя ее по фигуре. И когда шинель на тебе по росту, а рубаха плотно облегает грудь, тебе уже хочется держать подбородок чуточку повыше… Повеселело!

– Ходить только с песнями, – приказал Аграмов.

Маршировать было хорошо. Спасибо соловецким монахам: опутали остров крепкими дорогами. Две роты расходились на контркурсах, не залезая при этом на обочины… Юнги пели:

Ты не плачь и не горюй, моя дорогая,Если в море потону, знать, судьба такая!Аграмов остановил колонну юнг на марше.

– Уже пузыри пускать вознамерились? – спросил недовольно. – Если в ваших планах потонуть как можно скорее, тогда Школу юнг надо сразу прикрыть, ибо утопленники флоту не нужны. А «моей дорогой» у вас еще не было… Продумайте репертуар!

Война обновляла старинные водевильные тексты, и многие песни звучали теперь совсем по-иному. Запевалы начали:

За кормой земля полоской узкой —Там живет моя родня.Ветерок, лети на берег русский —Поцелуй их за меня.И долго еще качались за лесом слова припева:

По морям, по волнам,Нынче здесь, завтра там.Эх, по морям, морям, морям, морям.Эх, нынче здесь, а завтра там!Против таких слов Аграмов не возражал. А скоро прибыла в Савватьево опытная медицинская комиссия, среди членов которой был даже профессор «уха-горла-носа». Вызываемых для осмотра даже не раздевали. Комиссия проверяла только слух и зрение.

По слуху Савка в радисты не прошел и был этому рад: к радиотехнике он пристрастия не имел. Указка в руке врача гоняла Савку по таблице буквенных обозначений. Глазник начал с верха таблицы – с крупных букв, но указка его быстро сползала ниже, ниже, ниже… Наконец она коснулась самого края таблицы, где Савка, нисколько не напрягаясь, прочел крохотные буквочки. Потом окулист раскрыл перед юнгой дальтонический альбом, где на странице пестрела яркая россыпь разноцветных кружков.

– Зрение отличное, – сказал окулист. – Ступай, мальчик. Очки тебе не понадобятся. Годишься на сигнальщика!

Но врачи ничего не решали сами, и была создана еще одна комиссия, которая, сверяясь с медицинской карточкой, вела с юнгами собеседования. Беседы эти носили самый дружелюбный характер. Офицеры как бы прощупывали каждого юнгу на смышленость, особо отмечали любовь к технике. Савка показал на комиссии свои сочинения, и ему сказали:

– Школа станет готовить мотористов-дизелистов, боцманов торпедных катеров, радистов-операторов и рулевых-сигнальщиков. В боцмана ты не годишься: слишком хрупок, а там работа тяжелая. Слух у тебя неважный. Вот и выбирай сам…

Ясно! Кто стоит на мостике? Кто больше всех видит?

– Конечно, рулевым! Конечно, хочу сигнальщиком!

– Ну, так и запишем…

Вышел он, счастливый до изнеможения:

– Я в рулевые… вот здорово!

– Еще один извозчик, – засмеялись радисты.

На дворе уже построили отдельно двадцать пять юнг, самых крупных, самых здоровых, которым суждено стать боцманами. Среди них Савка разглядел Мишку Здыбнева и Витьку Синякова.

Мимо Савки рысцой пробежал Мазгут Назыпов.

– Еще увидимся! – крикнул он на бегу.

Да! Сейчас рушились прежние знакомства и приятельства, отныне юнги должны были обрести новые дружбы – по учебе, по специальности. Кто-то зашел за спину Савки, закрыл ему глаза руками.

– Джек! – догадался Савка.

– Честь имею, – ответил Баранов. – И тоже зачислен в рулевые. Желательно, конечно, попасть на подводные лодки…

В отдалении от всех строились, уже с вещами, мотористы. Учебный отряд, живший в кремле, вынужден потесниться, чтобы принять юнг-мотористов; там оснащенные аудитории, там на занятиях трещат клапаны дизелей… Всюду шла веселейшая перетасовка! Ротой рулевых будет командовать лейтенант Кравцов, под его начало попал и взвод боцманов. А два первых класса роты Кравцова приняли в свое подчинение знакомые старшины – Росомаха и Колесник… Как все хорошо! И черные роты уходили в черный лес, чтобы занять свои кубрики. Иногда слышалось:

– Рулевым – легкота: лево на борт, право руля. Это не то что у радистов. Плешь проедят разные там катоды и аноды!

– А вот дизелистам, тем еще труднее. Сопромат дают, как в институте. Механику, физику… А нам – ерунда: штурвал да флажки! Вот в кино рулевые: стоят себе на ветерке, баранку одним пальчиком покручивают…

Вдоль строя, развевая полами шинели, пробежал Кравцов:

– Прекратить болтовню! Или устава не знаете?

…Ничего-то они еще не знают. Но скоро узнают.

\* \* \*

Расселялись в лесу поротно. Возле озера Банного осели в землянках радисты, а боцмана и рулевые – подальше от Савватьева, в версте от камбуза. Зато здесь было полное раздолье: сказочный лес на холмистых угорьях, вокруг плещут озера, а море недалеко.

– Вот на лыжах-то будем… Красота!

Равнодушных не было, когда занимали кубрики. Не обошлось и без потасовок – кто посильнее, старался выжить слабейших с верхнего, третьего, яруса коек, чтобы самому наслаждаться «верхотурой». В многоликой ораве сорванцов, что наехали сюда со всех концов страны, уже чуялся воинский коллектив, но еще не спаянный духом боевого товарищества. Это придет позже…

Савку тоже сшибли вниз – с мешком вместе.

– Товарищ старшина, – пожаловался он Росомахе, – а меня рыжий спихнул сверху и сам забрался под потолок.

Росомаха был занят. Он свой класс размещал по левому «борту» землянки, а Колесник судил, рядил и мирил двадцать пять своих рулевых – по правому «борту».

– Ну, чего тебе? – не сразу отозвался Росомаха. – Как звать рыжего?

– Не знаю. У него во рту еще зуб железный.

Росомаха задрал голову:

– Эй, как тебя там? Объявись, красно солнышко.

Из-за бортика койки вспыхнула ярко-огненная голова, словно подсолнух высунулся из-за плетня.

– А обзываться нельзя! – заявил юнга с высоты яруса, сверкая стальной коронкой. – Я вам не рыжий и не красно солнышко, а товарищ Финикин.

– Пошто, товарищ Финикин, ты маленьких обижаешь?

– И не думал. С чего бы это? Я и сам небольшой…

Ладно! Савка расстелил свой матрас в нижнем ярусе, у самой палубы. С наслаждением вытянулся на койке. До чего же хорошо, когда у человека есть свой постоянный уголок, куда он складывает вещи и где нежит свои мечты… Тумбочек юнгам не полагалось, но зато над головой каждого плотники приспособили полочку. Савка аккуратнейшим образом разложил на ней свое богатейшее личное хозяйство: два тома собственных сочинений, ярко-розовый кусок туалетного мыла, трафарет для чистки пуговиц и полотенце. Разложил все это и затих на матрасе, блаженствуя. Он недурно себя чувствовал и в нижнем ряду, тем более что рядом с ним, голова к голове, разлегся милый и славный дружище Джек Баранов – будущий покоритель глубин.

– Нравится? – спрашивал Джек, взбивая подушку.

– Еще бы! И читать будет удобно.

Росомаха уже гонялся вдоль «борта», срывая юнг с коек:

– Что вы тут разлеглись, словно паралитики? А ну вставай! На койках лежать в дневное время не положено. Ты что? Или дачником вообразил себя? Ишь развалились кверху бляхами, будто их, инвалидов труда, привезли на отдых в Сочи или в Пицунду…

Старшины стали учить, как заправлять койки. Одеяло подоткнуть с двух сторон под матрас. Вторую простыню стелить навыпуск.

– Финикин, ты все понял, что я сказал?

– Так точно. Когда по-русски – я все понимаю.

– Уже застелил свою коечку?

– Как приказывали. На ять!

Финикин думал, что старшина не рискнет акробатничать. Но Росомаха немало в жизни побегал по трапам, и через секунду он уже взлетел под самый потолок. Тотчас же сверху вниз, на «палубу», кувырнулся матрас Финикина, за матрасом – подушка и одеяло.

– Зачем врешь? – спокойно сказал старшина. – Думал, я поленюсь слазать? Перестилай заново!

Пришлось Финикину затаскивать матрас наверх – в зубах: руки-то заняты. Савка кинул ему под потолок подушку.

– Так тебе и надо, – отомстил он на словах.

Посреди кубрика – две железные койки для старшин. Возле них столы – для учебных занятий и чтения. Колесник прибил к своему «борту» плакат: «Краснофлотец, отомсти!». Росомаха гвоздями укрепил над своим «бортом» красочный лозунг политотдела флота: «Врагов не считают – их бьют!». Порядок в кубрике определился.

Росомаха погрозил своему классу молотком:

– Я разные эти морские фокусы знаю. Сам, будучи первогодком, в ботинки старшине объедки от ужина по ночам сыпал. Бывали случаи, когда старшина спит, а к его койке подключают электрические провода. Но со мной вам этого провернуть не удастся! Я вас всех, – энергично заключил он, – сразу выведу на чистую воду.

Забил в стенку гвоздь и развесил на нем свой бушлат.

– Кто среди вас московский? – спросил Росомаха.

Перед ним мгновенно вырос, как из-под земли, расторопный и быстроглазый подросток.

– Есть! – отпечатал он, приударив бутсами.

– Будешь старшим в классе… мне помощником. По опыту жизни знаю, что московские сообразительны и никогда не теряются.

– Есть быть старшим. Только я не московский, а ярославский.

– Так чего ты петушком таким выпорхнул?

– Вы же меня позвали!

– Ярославских не звал, звал московского.

– Я и есть Московский, а зовут меня Игорем.

Росомаха скребанул себя в затылке:

– Все равно. Ярославские еще похлеще московских. Тоже пальца в рот не клади, откусят.

От дверей послышалась дудка дневального по роте.

– Внимание… Каперанг обходит кубрики.

В землянку шагнул Аграмов. Принял рапорты от старшин. Оглядел всех. Поплясал на «палубе», проверяя, не скрипят ли половицы. Потом сказал:

– Печи топить круглосуточно. Чтобы дерево просохло. Старшины, ввести на топку печей особое дежурство.

Хитро прищурясь, Аграмов вдруг присел на корточки.

– Посмотрим, где у вас табачок секретный хранится.

С этими словами Аграмов полез рукою на одну из полочек. Крякнул и извлек наружу «Критику чистого разума» Канта. Кажется, если бы начальник школы достал бы с полочки гремучую змею, и то не столь велико было бы его удивление.

– Кант… Чей?

К нему резво шагнул юнга ростом с ноготок:

– Николай Поскочин. Это я читаю.

– Поскочин? – переспросил Аграмов. – Фамилия знакомая, известна из истории флота… А не рано ли ты взялся за Канта?

– Для Гегеля рановато, – ответил юнга, – а Кант вполне по зубам. – И пошел шпарить насчет дедукции категорий.

Аграмов со вниманием его выслушал. Не перебил.

Юнги притихли по углам, потрясенные тем, что среди рулевых объявился философ. Росомаха растерянно смотрел на Колесника, а Колесник глуповато взирал на Росомаху. Немая сцена продолжалась недолго. Аграмов спросил философа:

– А где твой отец, юнга Поскочин? Не на флоте?

– Его уже нет. Он… пропал.

– А мать?

– Она уцелела. Теперь работает уборщицей.

Аграмов помрачнел. Сняв перчатку, он положил ладонь на стриженую голову Коли Поскочина.

– Только смотри, – внушил он ему, – чтобы Кант и Гегель не помешали твоим занятиям. – Тут каперанг заметил золотую голову Финикина. – А ты? Учился до службы или работал?

– Работал в Ногинске на фабрике.

– Что делал?

– Точил иголки для патефонов.

Финикин с его иголками Аграмова не заинтересовал. Начальник школы уже прицелился взглядом в другого юнгу, который стоял в сторонке и всей своей осанкой выражал внутреннее достоинство.

– Тоже работал? – поманил его Аграмов. – Или учился?

– Я… воровал, товарищ капитан первого ранга.

– Зачем?

– Так уж случилось. Отец погиб. Мать немцы угнали. Жить негде. Голод. Холод. Спасибо, что милиция меня подобрала.

– Как фамилия.

– Артюхов я… зовут Федором. По батюшке – Иваныч.

– Воровство на флоте строжайше карается.

– Я это хорошо знаю, – невозмутимо ответил Артюхов.

Аграмов, скрипнув кожаным пальто, повернулся к дверям.

– Кстати! – напомнил, задержавшись у порога. – Прошу вас, товарищи, чаще писать родителям. Обычно ваши мамы, чуть задержка с письмом от вас, в панике запрашивают командование, что случилось с их Вовочкой. Так избавьте мой штаб от лишней писанины. У нас и своих бумажек хватает… Пишите мамам!

Покидая кубрик рулевых, Аграмов позвал с собой Поскочина. Юнга долго беседовал с начальником наедине и вернулся взволнованный.

– О чем вы там? – спросил Савка, любопытничая.

– Не скажу, – ответил Коля.

Был месяц ноябрь – впечатляющий ноябрь. В этом месяце войска под Сталинградом перешли в решительное контрнаступление.

\* \* \*

На том месте, где когда-то болталась ржавая доска с надписью «С.Л.О.Н.», теперь появилась новая надпись:

ШЮ ВМФ СССР

Уже ноябрь и вокруг белым-бело, запуржило леса. Савватьевский репродуктор доносил до юнг голос далекой Москвы; звучали приветствия, полученные от друзей к двадцать пятой годовщине Октября. Над затишьем соловецкой зимы Москва произносила имена Рахманинова и Чойбалсана, Эптона Синклера и де Голля, Теодора Драйзера и Колдуэлла, Иосипа Броз Тито и Томаса Манна.

Заметен был перелом в войне, открывающий дорогу к победе! От этого и настроение юнг было праздничным:

– Скоро всем фюрерам по шапке накидают.

– Наши не теряются – наставят Гитлеру банок…

Теперь они имели право и на собственную гордость. Куда ни повернись, все сделано своими руками. Что здесь было? Среди плакучих берез стыла захламленная тюрьма и постоялый двор для богомольцев. А теперь в лесу создана флотская база, большой учебный комбинат.

Есть все, что надо. Начиная с любимой юнговской лошади Бутылки и кончая крейсерским радиопередатчиком, который вчера едва вперли по лестнице на второй этаж, в класс радистов. Аудитории рулевых заполнила навигационная техника. Благородно отсвечивало красное дерево нактоузов, бронза и сталь приборов. Холодно мерцали выпуклые «чечевицы» компасных линз.

– А какой самый главный прибор в кораблевождении?

– Голова, – отвечали педагоги…

Вот и вечер. Зажглись окна в землянках радистов, а в роте рулевых затопили печи. Потекли над лесом вкусные дымки.

Большая человеческая жизнь каждого юнги только начиналась. Именно в ноябре, когда русские солдаты начали уничтожение армии Паулюса под Сталинградом, когда врага сбросили с предгорий Кавказа, юнг привели к присяге.

Было в этот день как-то необычно тихо над озерами и лесами древних российских островов. Неслышно падал мягкий снежок. Даже не хотелось верить, что за тысячи миль отсюда грохочет, звеня гусеницами танков, великая битва…

Еще с побудки юнги ощутили некоторую торжественность. По случаю праздника стол в кубрике был застелен красной материей. С плакатов взирали на юнг – из славного былого – Ушаков и Сенявин, Нахимов и Макаров. На камбузе было особенно чисто и нарядно. Вместо чая – какао. Обратно до своих рот шли с песнями о морской гвардии:

Где враг ни появится – только бНайти нам его поскорей!Форсунки – на полный, и в топкахБушуют потоки огней.Врывайтесь, торпеды, в глубины,Лети за снарядом, снаряд…

От тамбура дневальный оповестил кубрик:

– У боцманов уже приняли присягу… Сюда идут!

Классы Колесника и Росомахи выстроились по «бортам» кубриков. С улицы внесли связки заснеженных карабинов. Флотского образца, укороченные с дула, они в уюте тепла хранили строгий нежилой холодок. Вороненая чернь стволов невольно настраивала на суровость, Савка подумал об отце: «Только одно письмо, а в Сталинграде уже наступают… Неужели письмо было последним?»

– Смирно! – вытянулись старшины.

В кубрик рулевых шагнули контр-адмирал Броневский, офицеры политотдела гарнизона, Аграмов со Щедровским. За ними ловкий писарь базы нес под локтем папку с текстом присяги. Юнг поздравили, потом стали выкликать по алфавиту.

Первым шагнул к столу Федя Артюхов. Волнение свое он выдал только тем, что читал присягу повышенно громким голосом… Он ее принял!

– Распишись вот здесь, – сказал ему писарь.

Звонко и радостно дал присягу Джек Баранов, второй по алфавиту. Савка терпеливо ждал своей очереди.

– Огурцов! – позвали наконец от стола.

Оружие еще не отогрелось в кубрике – студило руку.

– …клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом, – произносил Савка. – Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему народу…

Уже подступали в конце мрачноватые, но необходимые в клятве слова, и Савка прочел их, невольно приглушив голос:

– Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона… всеобщая ненависть… презрение трудящихся!

После чего неторопливо расписался. Заняв место в строю, не мог удержаться, чтобы не оглядеть полученное оружие. Это был настоящий боевой карабин, уже без глупой дырки. Вот бы такой ему тогда, ночью, когда он стоял в карауле, страдая от своей беспомощности!

\* \* \*

Итак, с этого дня начиналась новая жизнь.

Теперь юнги наступали на своего командира роты:

– А когда ленточки на бескозырки? Раньше говорили, что нельзя без присяги. Но ведь присягу-то мы дали!

Кравцов в ответ ослеплял юнг белозубыми улыбками:

– Вы не матросы, а юнги! А начальство еще не решило, что начертать на ваших ленточках… Подумайте сами – что?

Юнги изощряли фантазию. Коля Поскочин повершил всех:

– Пусть напишут нам золотом: «Не тронь меня!»

Эпилог второй

(Написан Саввой Яковлевичем Огурцовым)

Глубокой осенью, в самое предзимье, Ледовитый океан страшен – он высоко бросает эсминцы. Мрак долгой ночи уже нависает над волнами. Радисты мучаются на вахтах, ибо радиопосылки штабов разрушаются треском разрядов полярного сияния. В одну из таких ночей – в мороз и ветер – миноносцы вышли из Ваенги, чтобы отконвоировать в Киркенес три корабля. Это были транспорты, трюмы которых забиты подарками норвежцам из Советского Союза: хлеб, медикаменты, строительный лес и прочее. На скорости эсминцы своими скулами гулко выбивали из волн каскады брызг, и брызги смерзались на лету, словно пулями осыпая стекла рубок.

Один из транспортов в составе эскорта показался мне знакомым по силуэту, и я спросил сигнальщика:

– А кто это нарезает по правому от нас траверзу?

– Это «Волхов»… госпитальный.

Старый знакомый – на этом судне я плыл из Соломбалы на Соловки.

Между тем обстановка в океане была тревожной. Фашисты резко увеличили в Заполярье количество подводных лодок. Под конец войны их подлодки были значительно усовершенствованы, покрыты слоем изоляционных пенопластиков, чтобы затруднить их обнаружение в воде. Они имели дыхательные хоботы – «шнорхели» – и широко применяли акустические торпеды, целившие в машину или под винты кораблей.

К утру я почувствовал себя скверно. Разламывалась голова. Раз, наверное, пятнадцать за ночь меня срочно вызывали на мостик, чтобы снять с навигационной оптики пленку льда. Из духоты кубриков – на мороз, обратно в люки валишься мокрый, хоть выжимай, зуб на зуб не попадает. Заболели многие, особенно наружная команда. Но своих постов, конечно, никто не покинул. Вот и день настал – серый; в сером тумане качались серые тени кораблей. Я прилег на рундук, как вдруг раздался взрыв и тут же проиграли тревогу. Подлодка противника торпедировала «Волхов», от которого мгновенно не осталось и следа, только где-то очень далеко прыгали на волнах головы людей, будто в море кто-то побросал мячи. Пока миноносцы вели гидропоиск, бомбами загоняя противника на критическую для него глубину, наш эсминец пробежал над местом гибели корабля. Люди с «Волхова» еще плавали, ибо их держали на волнах спасательные жилеты, надутые воздухом. Но все они, пробыв в море не больше пяти минут, были уже мертвы. В Баренцевом море разрыв сердца от резкого охлаждения почти неминуем. Кое-кого удалось подхватить из воды. Их складывали на цементный пол душевой. Мимо меня матросы пронесли женщину в кителе и юбке – женской форме флотского офицера. Волосы ее висели длинными ледяными сосульками, вмиг закостенев на морозе. Женщина была врачом.

Это был тяжелый поход, полный жертв. Волной смыло с эрликонов двух автоматчиков. Спасти их было никак невозможно, и эсминцы прошли мимо…

Когда пришли в Киркенес, очень многие в командах грипповали и с трудом несли вахту. Миноносцы развернулись и, набрав побольше оборотов, давали до дому узлов восемнадцать. На скорости пена полетела еще выше, и меня опять звали на мостик. Помню, я уже плохо соображал, чуть не бредил. Можно бы сбегать в лазарет, но я не такой уж дурак, чтобы бежать в корму за аспиринчиком. Пробежки по обледенелой палубе обычно скверно кончаются. Короче говоря, когда мы пришли в Ваенгу, на пирсе уже поджидали санитарные машины, и заболевших повезли в госпиталь. Ехать было недалеко – до губы Грязной, где средь голых сопок стоял пятиэтажный корпус госпиталя. Тут я даже обалдел. После двух лет жизни на корабле, среди люков, горловин и трапов, так странно было видеть обыкновенные двери и окна, стоять не на железе, а на деревянных половицах.

На первых порах меня поместили в палату для умирающих. Молодость не хочет думать, что любая жизнь имеет скорбный финал, а потому я с любопытством вступил в страшный мир мучительных стонов и хрипов, свиста кислорода, рвущегося из баллонов в омертвелые легкие, в запах предсмертного пота. Сейчас я понимаю, что был тогда безнадежно глуп, и, помню, радовался, что попал в компанию умирающих, потому что в этой палате не надо было делать по утрам физзарядку. Возле меня лежал молодой парень, летчик, ничем не примечательный. Когда его накрыли простыней и вынесли, в палату вошел плачущий полковник флотской авиации и вынул из-под подушки летчика Звезду Героя Советского Союза. Так я познавал жизнь…

Возле окна лежал молоденький солдатик и все время порывался что-то спросить у меня. Мы с ним встретились после войны. Это был Ленька Тепляков из квартиры на Малодетскосельском проспекте, где жила моя бабушка. В детстве мы с ним играли на Обводном канале. Странно, но так оно и было: лежа в одной палате, мы не узнали друг друга – вот как изменяет людей война!

Скоро главный врач госпиталя отправил меня в команду выздоравливающих, куда я прибыл, получил отметку об этом в документах и… тут же сбежал на эсминец. Снова меня закачало на волне. А когда война окончилась, я обратился к командованию с просьбой перевести меня на Балтику – поближе к Ленинграду, где жила моя бабушка, единственный оставшийся в живых человек из всей моей родни. Просьбу мою уважили, и летом тысяча девятьсот сорок пятого года на попутной машине я уехал из Ваенги на мурманский вокзал.

Разговор третий

Этот разговор начал я:

– А понимали тогда юнги, что Родина вправе потребовать от них больших жертв, может, даже и жизни?

– Хотя и были мальчишками, но отлично сознавали, на что идем. Именно к войне нас и готовили! Вообще-то, – призадумался Огурцов, – на флоте многое не так, как на земле. Существует особое флотское равенство перед смертью, непохожее на солдатское. Команда корабля, как правило, или в с я побеждает, или в с я погибает. Таким образом, на флоте как нигде уместен этот славный призыв: «Смерть или победа!»

– Простите за такой вопрос: а много юнг погибло?

– К чему извиняться? Вопрос не праздный. Война с фашизмом была очень жестокой, и если гибли подростки в партизанских отрядах, то почему судьба должна была щадить нас? Из юнг вышло немало подлинных героев. Вспомните хотя бы Сашу Ковалева, которому уже поставлен памятник. Я знал Сашу плохо: он учился на моториста не в Савватьеве, а в кремле. Когда его торпедный катер в Варангер-фиорде пошел в атаку, осколок пробил радиатор мотора. Саша грудью закрыл пробоину, из которой бил горящий бензин. Это все равно что закрыть собой амбразуру дота. Саша погиб… Вот вам и мальчик! Саша был в Школе юнг скромным и тихим, а когда понадобилось – проявился большой человек. Обычно у нас пишут: каждый на его месте поступил бы точно так же. Но в том-то и дело, что каждый так поступить бы не смог. Потому-то мы и называем героями тех, кто способен поступать так, как не способен поступить каждый из нас…

Огурцов задумался, а потом продолжал:

– Вообще-то мне чертовски повезло! Смолоду рядом со мной находились старшие товарищи. Это очень хорошо, когда рядом с юнцом есть зрелый человек. Такой человек попался мне на Соловках, а потом встретился и на эсминце. После войны я тоже отыскал себе друга в два раза старше себя. Сначала дружил с его сыном, моим одногодком. Мы с ним больше обормотничали. Но потом я понял, что отец интереснее и умнее сына… Было бы идеально, – сказал Огурцов, – если бы наше юношество соприкасалось не только с ровесниками, а имело бы друзей, по возрасту годящихся в отцы. Зрелый человек вовремя одернет, удержит от ненужных поступков. Своя же развеселая компания этого не сделает. А то еще и подтолкнет на какую-нибудь глупость, припахивающую протоколом… Ну, всего!

В пролете лестницы меня нагнал голос Огурцова.

– Советую вам, – крикнул он на прощание, – назвать третью часть «Истинный меридиан»!

– Какое странное название.

– Назовите именно так. По содержанию читатель и сам поймет, что такое истинный меридиан.

– Вы думаете?

– Я знаю! – донеслось сверху, и дверь захлопнулась.

Так закончился третий разговор.

Часть третья

Истинный меридиан

Великие шлюзы, ведущие в мир чудес, сразу раскрылись настежь…

Г. Мелвилл. «Моби Дик»

Соловки уже надели на себя теплую зимнюю шубу, день был ясный и чистый, казалось, ничем не примечательный, когда юнги собрались на митинг. Вся школа, по ротам, по специальностям, выстроилась с соблюдением ранжира, и капитан первого ранга Аграмов закончил речь словами:

– …кто будет плохо учиться, тот приготовит себе незавидную судьбу. Флот в лишнем балласте не нуждается. А потому у вас не уроки, а боевая подготовка. Не экзамен, а – бой, который надо выиграть. Помните, – сказал он с ударением, – отличники боевой и политической подготовки получат право выбора любого флота страны и любого класса кораблей!

Шеренги юнг слабо дрогнули, возник шепоток:

– Ты слышал? Любой флот. Любой корабль.

Это была новость обнадеживающая и радостная, и юнги долго кричали «ура». После чего открылись классы.

\* \* \*

Раз в месяц для юнг наступала сладкая жизнь – не в переносном, а в буквальном смысле. Юнги получали сахарный паек. Дня выдачи они ждали с таким же нетерпением, с каким штурман ждет в облачную погоду появления Полярной звезды. Сахар! Кажется, ерунда. А что может быть слаще? Недавно выйдя из детства, юнги оставались грешниками-сладкоежками, хотя в классе боцманов некоторые уже серьезно нуждались в услугах бритвы. Даже философ Коля Поскочин, познавший строгую диалектику вещей, и тот невыносимо страдал в конце каждого месяца.

– Как подумаю о варенье, так мне даже худо становится.

Сахар выдавался в канцелярской землянке роты. Там возле весов с гирями стояла бой-девка в матросской форме, про которую юнги знали одно – зовут ее Танькой. А еще знали то, что знать им было не положено: Росомаха безнадежно влюблен в эту Таньку, но после каждого свидания с нею возвращается злее черта! За неимением другой тары юнги принимали сахарный песок с весов прямо в бескозырки и бережно несли до дому. По дороге беседовали:

– Ох и стерва же эта Танька! Так обвешивает…

– Что делать, если женщины, как и мы, обожают сладкое.

– Ладно. Не судиться же нам с нею. Пускай по три ложки на стакан себе сыплет. Может, добрее к нашему старшине станет.

Сладкая жизнь продолжалась краткие мгновения. Иные по дороге до кубрика успевали слизать половину бескозырки. Сидя на лавках, юнги ели сахар ложками, как едят кашу.

Не проходило и часу, как отовсюду слышались стыдливые признания:

– Кажется, я свое кончаю. А ты?

– У меня немножко. Вытрясу бескозырку и оставлю чуток.

– Зачем оставишь?

– Завтра утром чаек себе подслащу.

Бережливость в этом вопросе строго осуждалась.

– Придумаешь же ты! Как будто чай и так нельзя выдуть.

Сомневающийся быстро соглашался с таким железным доводом.

– Это верно, – говорил он. – Чего тут тянуть?

К отбою бескозырки бывали уже чистыми. А на следующий день если кто и сластил свой чай, то делал это робко, с виноватой оглядкой по сторонам. Один только Финикин ухитрялся растянуть пайку на целый месяц. Мало того, этот премудрый пескарь для сбережения сахара сшил себе кисет, а не таскал его в бескозырке, как другие. Злые языки говорили, что Финикин даже спит с кисетом на груди. Он не стеснялся весь месяц подряд пить чай с сахаром.

– Я ведь не украл, – говорил он, глядя в глаза товарищам.

Джек Баранов не раз просил у него в шутку:

– Может, сыпанешь малость в мою кружку?

– А ты мне много насыпал, когда свою пайку ложкой наворачивал? Дано на месяц – так и тянись все тридцать дней.

Поскочин смотрел на Финикина поверх пустой кружки.

– Неужели тебе самому не противно экономить? Это же сущая меркантильность.

На что Финикин, упорствуя, отвечал:

– Не лезь ко мне с иностранными словами…

Савка по ранжиру класса стоял возле Финикина, а когда строй поворачивался и превращался в колонну, ему самой судьбой было предназначено шагать Финикину в затылок. Честно говоря, он этого рыжего недолюбливал. Железный зуб его раздражал своим фальшивым блеском. Ногинский граммофонщик, как прозвали юнги Финикина, жил особнячком, не вмешиваясь в споры, но чуялось, что он себе на уме. Особенно был он непригляден в обстановке камбуза. Финикин резал свой хлеб на маленькие квадратики – так бабушка Савки колола сахар, дабы пить чай вприкуску. Хлеб надо откусывать, а не мельчить ломоть, чтобы потом жевать всю дорогу с камбуза, будто корова. Савке нравилось, как ест Федя Артюхов: раз откусил, два откусил – порядок.

– Я-то кушаю, – говорил Финикин, – а вы как с голодного острова сорвались и принимаете пищу, словно горючее в бензобаки.

– Говорить про себя, что ты кушаешь, – заметил ему Поскочин, – это слишком уважительно к собственной персоне и выдает твою бескультурность. Подумай об этом на досуге.

Громадные чайники, фыркая паром, гуляли между рядами юнг и наконец, сдвинутые в концы столов, остывали, пустые. С камбуза уходили с песнями.

Их сегодня ждал учебный корпус, где так уютно от протопленных за ночь печей. Уже не повернется язык назвать «тюрягой» это светлое здание, пахнущее свежей краской и насыщенное техникой. Одного только не могли исправить юнги – не уничтожили глазки для надзирания за бандитами в камерах.

Расписание занятий поражало обилием тем. Для рулевых: морпрактика, сигнальное дело, устройство корабля, навигация и штурманское дело, карты и лоции, рули и поворотливость корабля, метеорология, вождение шлюпки, мореходные приборы и электронавигационные инструменты, – как много предстоит знать!

Маленький Поскочин, волнуясь, загибал пальцы:

– Смотри! Еще стрельба, гранатометание, лыжи, рукопашный бой, плавание и ныряние, походы летом под парусами…

Прозвенел звонок, как в школе. Первый урок в классе Росомахи – дело сигнальное. Нужное дело, без которого корабли плывут слепые и глухие. Преподаватель электронавигационных инструментов еще не прибыл, и Росомаха даже обрадовался.

– Вот и ладно! В свободные часы вместо этих самых инструментов я вас увлеку романтикой строевой подготовки. Шаг на месте, ать-два, ать-два! Что может быть занимательнее?

\* \* \*

В класс вошел старшина Фокин, и юнги встали. Сигнальщик с подводной лодки «М-172» не был педагогом, но командование смело доверило ему преподавательскую работу. Запас учебных пособий Фокина скромен – два флажка, скрученные в кокон. Под мышкой он принес набор сигнальных флагов, пошитых из особой материи, называемой «флагдух».

– Без флажков трудно представить себе сигнальщика, – начал Фокин. – Так вот, давайте сегодня побеседуем о флагах вообще. Начнем со старины. Какой флаг был в старом русском флоте?

– Андреевский! – резво поднялся Огурцов. – Это такое большое белое поле, пересеченное по диагоналям синим крестом.

– А кто мне скажет, почему эти же самые расцветки присущи и советскому военно-морскому флагу?

Никто не знал. Даже Савка помалкивал.

– Кто-нибудь из вас слышал о символике цветов?

– Позвольте мне. – Коля Поскочин отштамповал полный набор: – Белый цвет означает благородство и честь воинскую, красный – мужество и братство по крови, черный – мудрость и осторожность, синий – безупречность в верности долгу, а желтый – могущество, знатность и богатство рода.

– Таким образом, – подхватил Фокин, – в основу советского морского флага легли белизна, синева и красный цвет. Это означает: честь воинская, верность долгу и братство. Сейчас в нашем флоте появился новый флаг – гвардейский, на котором вьется черно-оранжевая лента. Эти цвета означают огонь и дым сражений, в которых кораблем завоевана особая честь…

Савка испытал некоторое беспокойство. Он уже настроил себя на первенство в учебе.

Слова Аграмова о праве отличников на выбор флота и корабля только подстегнули его самолюбие. Но в Поскочине он почуял опасного соперника.

– Военно-морской флаг, – продолжал Фокин, – носится кораблем на корме. Как только выбраны якоря, его переносят на гафель мачты. Флаг чаще всего и называют «кормовым». В носу же полощется гюйс, убираемый на время похода. Вымпел означает готовность корабля к походу и бою. Брейд-вымпел поднимается сразу, едва нога начальника соединения кораблей коснулась нашего борта… Когда всходите по трапу на корабль, вы обязаны приветствовать флаг. Неотдача чести флагу карается. Оскорблением корабля будет поднятие его флага «крыжом» – кверху ногами. В первом Морском уставе Петра сказано: «Все воинские корабли Российские не должны ни перед кем спускать флаги, вымпелы и марсели под страхом лишения живота своего». Этот закон свят и поныне… А теперь, – сказал Фокин, – перейдем к флагам сигнальным. Но сначала, ребята, вам нужно изучить алфавит.

– Мы его знаем! – отозвался Финикин. – А, бэ, вэ…

– Такой алфавит для флота не подходит, – отвечал старшина. – На мостиках кораблей, во время боя или когда шумит ветер, сигнальщик не может крикнуть, что флагман поднял «Б», ибо ветер скомкает его возглас, и командиру может послышаться, что флагман поднял «П». Таким образом, командир из-за неверного восприятия исполнит приказ «к повороту вправо» вместо «прибавить ход». А это может привести к гибели корабля.

– Как же тогда выкрутиться? – заинтересовался Артюхов.

– Выкручиваться не надо. На вооружение флота принят церковно-славянский алфавит. «Б» и «П» читаются в этом алфавите как «буки» и «покой». Слова же не спутает никакой ветер. Итак, повторяйте за мною: аз, буки, веди, глаголь, добро, есть, живете, земля, иже, како, люди, мыслете, наш…

Фокин стал показывать юнгам флаги двух сводов – Военно-морского Свода СССР и Свода Международного. Говорил он быстро:

– Аз! Флаг красный с косицами, в поле белый квадрат. Означает: «Нет. Не согласен. Не имею. Не разрешаю». А по Международному Своду флаг тоже с косицами, но у шкаторины белое поле, а косицы синие. Означает: «Произвожу испытание скорости». Буки! Белый конус с красным кружком. Означает: «Сняться с якоря. Больше ход. Дать ход (если машины корабля на стопе)». По Международному Своду это флаг красный с косицами, и он означает: «Занят погрузкой взрывчатых веществ»…

Тут юнги взвыли.

– Что с вами? – удивился Фокин.

– Где же это все запомнить!

– Тихо! – прикрикнул Фокин. – Я занятий с вами еще и не начинал. Я только познакомился с вами сегодня и вижу, что вас надо гонять и гонять. Чего испугались? Да вы и сами не заметите, как все эти сигналы застрянут в ваших головах так, что клещами обратно не вытащишь…

Он успокоился, сел за стол и кротко улыбнулся. Юнги стали просить, чтобы старшина рассказал какой-нибудь случай.

– Когда лодка пробует балласт «на всплытие», первым на мостик выскакивает командир, а за ним сигнальщик. Только после них комендоры бегут к пушке. Из этого вы можете заключить, сколь ценится на флоте сигнальщик! Служба, правда, хлопотная и слякотная. Мы не просыхаем! Но зато много знаем. Мы присутствуем при сложных решениях командования, обеспечивая связь и наблюдение. Нет секрета, который укрылся бы от нашего глаза. Горизонт, воздух и вода – вот три сферы, в которых царит глаз и слух сигнальщика. В море нельзя упустить ничтожной мелочи. Иногда вдруг видишь топляк – бревно, которое плывет стоймя. Не стыдись доложить, что по правому борту, пеленг сорок – перископ подлодки! Пусть объявят лишний раз тревогу, но зато не возникнет трагической ошибки. Тем более что противник хитер и линзы своего перископа иногда маскирует как раз вот таким топляком…

– Ну а смешное в море бывает? – спросил Поскочин.

Фокин и на это ответил серьезно:

– Однажды я здорово хохотал, когда нам чемодан попался. Плывет себе и плывет. В открытом океане, где ни души. Из хорошей кожи чемодан. С ручкой. Честь по чести. Плывет в океане один-одинешенек по своим чемоданным делам. Докладываю командиру, что по пеленгу такому-то вижу чемодан, а сам стоять не могу от хохота… Однажды и Гитлера встретил. Как раз на мою вахту пришелся. Большой портрет фюрера, рама дубовая, вся в позолоте. Тоже стоймя плавал, не хуже топляка. И как всякий мусор, не тонул…

– И вы его не потопили?

– Ну вот еще… связываться.

Прозвенел звонок. Фокин встал, собрал свои флаги.

– Сигнальное дело простое – обходимся без логарифмов. Надо лишь иметь прилежание. Я еще посмотрю, как вы запоете, когда вам станут читать электронавигационные инструменты!

\* \* \*

Перемена. Юнги повыскакивали на улицу, в воздухе замелькали снежки. Савке встретился Мазгут Назыпов.

– Ну, как у вас? А мы будто студенты: индукция, частоты, синусоиды…

– Нас тоже электротехникой пугают.

Здыбнев врезал в лицо Савке крепкий снежок.

– Больно? – спросил он, подходя. – Это не со зла. Ну как, баранку свою уже начали изучать? Как она у вас там крутится?

– До баранки еще не доехали. Так пока… по сигналам.

– А нам на первом занятии корабельный набор давали: киль, шпангоуты, бимсы, стрингеры, пиллерсы, отсеки, люки, горловины и лазы. Сейчас второе занятие будет: лаки, краски, эмали и кисти.

– В маляры готовят? – ухмыльнулся Мазгут.

– Кому-то надо и корабли красить, – не унывал Здыбнев. – А по боевому расписанию, я уже знаю, боцмана торпедных катеров сидят по самые уши в турели и кроют по врагу из спаренной установки… Кто на торпедных катерах погибает больше всего? Боцмана! Кто замещает командира, если его убило? Опять боцмана…

Звонок к уроку очистил двор, все кинулись по классам. Было приятно после возни в снегу раскрыть чистую тетрадку, обмакнуть новенькое перышко в чернильницу. Савка испытывал радость, что снова учится: блокада выбила его из школьной колеи, и год он пропустил. На тетради он аккуратно вывел: «НАВИГАЦИЯ. Курс лейтенанта Зайцева. Юнга С. Огурцов». Подумал и добавил: «Кто возьмет тетрадь без спросу, тот останется без носу».

Игорь Московский уже занял позицию возле дверей.

– Идет! – выглянул он в коридор. – Внимание… встать!

Вошел щеголеватый лейтенант Зайцев, шлепнул на крышку стола классный журнал. Московский отрапортовал ему, что все юнги к занятиям готовы.

– В чем я ни минуты не сомневаюсь, – ответил Зайцев.

Заполняя журнал, лейтенант беседовал сам с собой.

– Науки юношей питают, отраду старым подают… Как дальше? Ага, вспомнил: в счастливой жизни украшают, а в несчастьях от чего-то берегут… Итак, – сказал он, отодвинув журнал, – я буду читать вам навигацию, метеорологию и астрономию в тех пределах, что необходимы для служения на почетной ниве морского искусства.

За окнами класса – пустынная белизна озера.

Огненно-рыжая голова Финикина невольно привлекала к себе внимание, и Зайцев обратился к нему с вопросом:

– Вот скажи по совести – что такое метр?

– Метр – это когда… когда сто сантиметров.

– Слабо! – ответил Зайцев. – Юнга должен знать, что метр составляет одну сорокамиллионную часть Парижского меридиана. Навигация – древнейшая в мире наука о кораблевождении, и начинается она с познания земного шара. В широком понимании задача навигации – провести корабль безопасным путем, предположим, из точки А в точку Б. Навигатора в пути подстерегают опасности – течения, ураганы, мели, айсберги, рифы и… корабли противника! Современный штурман – это инженер, прокладывающий самый точный курс кораблю и умеющий в любой момент определить место корабля в море. Определить по видимым ориентирам. По глубинам. По звездам. Даже по цвету и солености воды! Рулевой же не только ведет корабль – он прямой помощник штурмана. И должен понимать ту работу, которую его начальник исполняет. Рулевой обязан знать лоции и карты, приборы управления и навигации. Должен уметь производить гидро– и метеонаблюдения. На нем лежит и почетная служба времени, точность и завод корабельных часов…

Юнги невольно глянули на эти часы, повешенные в классе. Привыкнуть к ним трудно. Циферблат разбит на двадцать четыре деления, а глаз юнги еще не отвык от берегового лада. Когда часовая стрелка смотрит строго вниз, кажется, что сейчас шесть часов вечера. На самом же деле наступил полдень.

Зайцев энергично разрисовал доску чертежами. Сначала все просто – широта, долгота, выведение координат, деление горизонта на градусы, минуты и секунды.

– Все понятно? – спрашивал лейтенант от доски.

– Все! – хором отвечали юнги.

Доска вытерта начисто. Она покрывается новой сеткой.

Началась голая арифметика, без всяких иксов и игреков – на радость юнгам.

– Морская миля, – рассуждал вслух Зайцев, – есть длина одной минуты дуги земного меридиана. В нашей стране она равняется тысяче восьмистам пятидесяти двум метрам. Точнее – с тридцатью сантиметрами. Такую же длину имеет и узел, служащий на флоте мерою движения корабля. Они равнозначны. Но миля означает расстояние, а узел – скорость. Нельзя сказать: «Мы шли со скоростью десять узлов в час». Эта фраза архибезграмотна, ибо само слово «узел» означает расстояние, пройденное кораблем за часовой отрезок времени. Моряки говорят: «Даем (или – делаем) десять узлов». Вот это правильно! Морская миля, в свою очередь, делится на кабельтовы. В миле их десять. В каждом по сто восемьдесят два метра. Плюс еще три сантиметрика, но эта ерунда редко учитывается…

Зайцев нравился юнгам. Он был хорош возле доски, на сложном фоне параллелей, обнимающих земной шар, и меридианов, бегущих к полюсам.

Земной шар с доски исчез. Вместо него распустился пышный цветок румбов.

– Завтра перейдем к курсам и пеленгованию. А пока зарисуйте в тетради вот эту румбовую картушку. Можете забыть свое имя, но названия всех тридцати двух румбов вы должны помнить даже ночью, если вас внезапно разбудят. Тут не надо быть большим мудрецом, а надо просто-напросто запомнить по ходу часовой стрелки: норд, норд-тень-ост, норд-норд-ост, норд-ост-тень-норд, норд-ост и так далее.

Сильнее всех пыхтел над румбами Финикин:

– Постойте! Я же русский, а тут все по-иностранному.

Зайцеву такой подход к делу не понравился.

– Если ты русский, так тебе не прикажут держать курс на два лаптя правее солнца! Пожалуйста, – вдруг заявил он, – специально для тебя перевожу названия румбов на русский язык: север, стрик севера к полуношнику, меж севера полуношник, стрик полуношника к северу и, наконец, полуношник, то есть норд-ост. Боюсь, что русские названия сложнее голландских… Хорошо китайцам – у них всего восемь румбов, чтобы не мучиться. Но ты же ведь не китаец.

– Все равно не пойму, – уперся на своем Финикин. – Я не виноват, что у меня котелок слабый и не варит слов иностранных.

Зайцев – отличный педагог! – даже обиделся:

– Но здесь не школа-семилетка, и твоих родителей к завучу не потащат. Если котелок слабый, так тебя выпроводят в хозвзвод – и будешь там гнилую картошку разгребать…

Игорь Московский пихнул Финикина в бок локтем:

– Присягу давал? Давал. Тогда сиди и помалкивай.

– А при чем здесь присяга? – засопел Финикин.

– А при том, что в ней есть слова: «Клянусь добросовестно изучать военное дело…» Коли так, теперь зубри!

Прозвенел звонок. Лейтенант поднялся:

– Это еще только азы… Когда вам станут читать электронавигационные приборы, вот тогда покряхтите!

Что за зверь такой – эти приборы, которыми их пугают?

В середине дня повели обедать. Было морозно.

– Ать-два! Ать-два! – командовал Росомаха, будучи в хорошем настроении. – Задери носы кверху. Не стесняйся ножку поднять повыше…

Из-за дремучего леса уже потянуло от камбуза запахами.

– Опять суп гороховый, – точно определил Джек Баранов.

И все разом заныли, будто их обидели. Артюхов сказал:

– Зажрались вы, как я посмотрю. Если бы голодными были, так радовались бы, что горох да пшено ежедневно молотим.

– Верно! – поддержал его маленький Поскочин. – Не пойму, отчего вы боитесь гороха. В древности на Руси гороховая пища входила в ежедневный рацион воинов-витязей. Ибо горох укрепляет мышцы для боя, придает человеку силу и мужество…

Над кашей Савка Огурцов задумался о своей дальнейшей судьбе. Он уже твердо решил, что служить надо обязательно на эсминцах. На этих стремительных, как гончие, кораблях – на них, кстати, начинал служить и отец Савки – масленщиком!

А вот флот Савка еще не выбрал. Балтика, конечно, ближе к родному дому, но…

Тут старшина Росомаха постучал ему ложкой.

– Огурцов! Я могу подождать. Рота тоже подождет. Даже война согласна тебя подождать. Но каша ждать тебя не будет.

После плотного обеда юнги всегда обретали некоторую сонливость. Строились перед камбузом не спеша. Куряки рыскали в поисках окурков. Конечно, дома юнги завалились бы на диван с кошкой. А тут опять надо идти в классы. Сегодня еще две лекции: основы службы погоды на море и устройство корабельных рулей. До кубриков добрались лишь после ужина. И таким славным, таким милым показался им их подземный дом. Между «бортами» вовсю шла перекличка двух классов рулевых.

– Ух и дали нам… Аж голова вспухла.

– У вас метео была сегодня?

– Нет. Зато вам еще не читали устройство корабля.

Ближе к вечеру кубрики огласились криками радости:

– Почту самолетом привезли! Письма несут!

Огурцов тоже получил письмо от бабушки. Она сообщала, что от отца вестей нет. Беспокоилась, как бы внучек на флоте не простудился, и от души советовала просить бескозырку пошире, чтобы прикрывала уши. Сама же она, как истощенная, помещена на пункт усиленного питания, где всегда тепло и можно пить чай.

Вчера ей дали кусочек сахару без карточек, половину она откусила, а другую приберегла…

Савка вспомнил свое обжорство сахарным пайком. Как он ложкой-то его наворачивал! И страшным стыдом обожгло его. До чего стыдно перед бабушкой!

Джек Баранов похвастал домашней новостью:

– Ты не поверишь – у меня сестренка!

– Откуда она взялась?

– Как откуда? Мама родила. И знаешь когда? Первого сентября. Помнишь, мы с тобой в этот день по колено в воде котлованы рыли… Назвали Клавочкой.

– Котлован?

– Спятил ты, что ли? Сестренку. Вот кончится война, приеду в Москву в шикарных клешах, а Клавочка уже подрастет и спросит: «Кто этот дядя?»

Что-то хмуро и сосредоточенно вычитывал из письма родителей Финикин. Потом он обратился к Росомахе:

– Товарищ старшина, обдираловка тут какая-то.

– Это ты о чем?

– Пишут родители, что посылку мне выслали. А где она, эта посылка? Видать, зажали. Знаем, как это делается.

– А я тебе не Главпочтамт, – обозлился Росомаха. – Самолетом доставили лишь письмишки, а посылки не поместились. Здесь тебе не материк, а остров… Соловки! Или это я твою посылку зажал?

Финикин был не таков, чтобы много рассказывать о себе. Знали о нем юнги мало. Видать, дома у него, в Ногинске, все было благополучно, отец имел броню и в армию призван не был, и жили, видать, не только на то, что выдавалось по карточкам. А через денек после получения писем дневальный оповестил:

– Где ногинский граммофонщик? Его к командиру.

Финикин схватил шинель, перетянул ее ремнем.

– За что меня-то? Я не как другие!

Вернулся от Кравцова с посылкой в руках. Большущая тяжелая посылка была обшита холстиной.

– Помочь открыть? – предложил Игорь Московский.

– Еще чего! Не надо, – отказался Финикин.

Взял посылку за бечевку в зубы, словно собака жирную кость, и полез с нею под потолок. Юнги испытали даже неловкость, когда с поднебесья кубрика раздался страшный треск – это Финикин раздраконивал свое сокровище, выдирая гвозди из крышки. Юнги с подчеркнуто равнодушными лицами занимались своими делами. А с верхотуры уже послышалось чавканье. Стоя на корточках, прижатый сверху низким потолком, Финикин черпал из банок домашнее вареньице. Никто не сказал ни слова, но про себя юнги подумали, на редкость проницательно, что варенье-то небось сладкое!

– Эй, тебе какое варенье прислали?

– А тебе зачем это знать? – ответил Финикин, прежде как следует подумав.

– Просто так, – смутился Коля, – я вот люблю вишневое.

С недосягаемой для Поскочина высоты донеслось:

– Вишневое тоже есть, да не про вашу честь!

Спать юнги ложились в скверном настроении, какого давно у них не бывало. Конечно, люди они гордые, никто не будет напрашиваться на даровое угощение. Но все равно противно: свой же товарищ ведет себя как последняя свинья.

Коля Поскочин перед сном шепнул Савке:

– Мог бы и угостить… хотя бы ложечку.

– Перестань! – И Савка отвернулся к стенке, терзаемый все тем же жгучим стыдом перед бабушкой.

– Так сладкого хочется, даже мутит.

– Спи, – ответил ему Савка. – Люди бывают разные, и с этим приходится считаться.

– Но они-то, эти люди, – возразил Коля, подразумевая Финикина, – они с нами ведь никогда не считаются…

Уже задремывая, Савка вспомнил блокадные дни, когда он возил на саночках с пожарища Бадаевских складов, разбомбленных фашистами, мешки с землей. С настоящей черной землей, впитавшей в себя сахар, расплавленный в огне. Мама варила эту землю в кастрюле. Получался пахучий черный настой, слегка сладковатый, и эту воду они с бабушкой пили, считая за счастье.

Рано утром он навестил командира роты рулевых. Кравцов, стоя у зеркала, собирался бриться. Он был красив той особой красотой подтянутости, которая свойственна большинству офицеров флота.

– У тебя что ко мне?

– Не знаю, как это делается, – пояснил Савка, – но я хотел бы отправить бабушке в Ленинград свой сахарный паек.

– Посылки с Соловков не отправляют.

Савка перетопнулся бутсами на пороге:

– И никак нельзя? От вас разве не приняли бы?

– Приняли бы… – Кравцов, намылив щеку, повернулся к юнге. – Слушай, – заметил он душевно, – я тебе советую как старший: не связывайся ты с этим…

– Почему?

– Бабушка есть бабушка, все это так. Но сахар должен съесть ты сам! Организм твой быстро растет, и лишать его сахара никак нельзя. Сам знаешь, как сейчас всем трудно. И все-таки вам, юнгам, выделен колоссальный паек. Да еще вдобавок триста граммов сахару как некурящим. Почти два кило сахару зараз! Где ты еще такое видел по карточкам?

– Нигде не видел, – согласился Савка. – Но мне-то ведь все равно не хватает. Так лучше уж послать бабушке.

В руке лейтенанта страшно сверкнула бритва.

– Ах, не хватает? – крикнул он, наступая на Савку. – Но командование флота не виновато, что вы у меня такие дикари! Весь паек трескаете быстрее, чем мыши крупу! А потом вас же при виде сладкого чуть не в обморок кидает. Ступай на построение. Опоздаешь – влетит. Я проверю. Марш отсюда!

\* \* \*

Капитан-лейтенант Симонов, полный живой брюнет, начал, как водится, с компаса. Он сразу предупредил, что верная двойка обеспечена тому, кто скажет коўмпас, а не компаўс! В классе стоял высокий шкафчик красного дерева, вроде тумбочки, а сверху его закрывала медная сфера с иллюминатором, внешне похожая на водолазный шлем.

– Перед вами магнитный компас. Тумбочка, в которой он помещается, зовется нактоузом. Сам же компас – вот!

Симонов снял с нактоуза колпак и велел юнгам подойти поближе. В сцеплении колец безмятежно колыхался небольшой котелок из меди, а внутри его тихо плавала картушка с румбами.

– Такое подвешивание прибора на кольцах, которое называется кардановым, обеспечивает компасу в любую качку горизонтальное положение. Как бы ни бросало корабль, компас все равно станет ровно. Магнитные стрелки, прикрепленные снизу картушки, плавают в спирте, отчего картушка движется в котелке плавно. Почему не вода? Так ведь вода-то при морозе замерзнет… Что непонятно?

– А спирт из компаса можно выпить? – спросил Финикин.

– Выпить можно всё, – последовал ответ. – В том числе и спирт из этого компаса. Но я вам, коллега, не советую даже думать об этом, ибо спирт в компасе заранее отравлен… Итак, продолжим!

Каким простым и надежным был компас, который они брали летом в туристские походы. И каким сложным и капризным вдруг стал компас, когда Симонов заговорил о нем далее.

Юнгам следовало знать: стрелка компаса не тянется к тем полюсам, что обозначены на картах и глобусах. Нет! Нордовый, северный конец ее устремлен к магнитному полюсу планеты – примерно к полуострову Бутия на севере Канады. Симонов провел на классной доске прямую вертикаль меридиана, а рядом с ним пролегла косая линия. Угол между ними он соединил дужкою измерения.

– Этот угол между географическим меридианом, который называется истинным, и направлением стрелки компаса и есть магнитное склонение. Следовательно, мы имеем первую поправку к курсу корабля. Мало того, в открытом океане корабль может войти в область более высокого магнитного влияния, и тогда поправка изменится. Наконец, случаются магнитные бури, когда компас может просто взбеситься. Склонение же бывает к осту или весту – с плюсом или минусом. Прошу так и записать.

Кажется, капитан-лейтенант решил сделать все, чтобы юнги потеряли веру в магнитный компас. Юнги знали, что склонение – не единственный порок компаса, есть и другие, более сложные. Корабли, как известно, собирают из металлов. Железо активно воздействует на стрелки корабельных компасов – с такой силой, что компасы способны показать север на юге. Это – девиация, опасный враг мореплавания. Рассказав о ней, Симонов возле двух линий – истинного и магнитного меридианов – провел третью, косую линию.

– Образовался еще один угол поправки к курсу нашего корабля. Задача усложнилась. А теперь допустим, что наш корабль выбросил в противника тонны снарядов. Погреба его опустели. Значит, воздействие железа на компас уменьшилось, а поправка на девиацию снова изменилась. Противник стал нас преследовать. Или мы его. На форсаже машин прогрелись трубы и палубы. Воздействие тепла на стрелку компаса усилилось, и она опять отклонилась. Рядом с ходовой рубкой включили мотор – сейчас же возникло магнитное поле, которое сбивает нас с курса, и штурман уже измучился от внесения все новых и новых поправок к курсу…

Закончил Симонов предупреждением:

– Таким образом, при заступлении на ходовую вахту рулевой обязан проверить даже свои карманы. Нет ли в них чего железного? В число запрещенных предметов входят ключи, перочинные ножики. И даже… тонкий прутик стального каркаса в бескозырке.

Финикин при этих словах тронул свой железный зуб.

– Придется вырвать, – улыбнулся Симонов.

– Это как?

– Очень просто. Щипцами. А вставить, например, золотой. Золото относится к числу нейтральных металлов, которые не могут воздействовать на стрелки магнитных компасов.

Финикин растерянно понурился, бормоча:

– Золото… где взять-то? Небось денег стоит. Хоть бы предупреждали, когда в рулевые записывали.

– Магнитный курс корабля устарел! – закончил лекцию Симонов. – Сейчас флот равняется по истинному курсу, в основе которого лежит прямая и четкая линия между полюсами – истинный меридиан.

В коридорах уже бегали дежурные со звонками, оповещая о конце занятий, но юнги-рулевые выждали заключительного аккорда лекции.

– Истинный меридиан! – повторил Симонов. – Сейчас флот идет по истинному курсу. А дает этот курс гироскопический компас. Но гирокомпасы – область знаний штурманских электриков. Подготовка этих специалистов обходится государству недешево, на флоте их мало. На подводной лодке – один, на Эсминце – два человека. На линкоре – точно не скажу. На линкорах я не плавал.

– А мы тоже будем изучать гирокомпасы?

– Быть рулевым и не знать электронавигационных приборов нельзя. Но ознакомят вас с гирокомпасами кратенько. Без углубления в тему. Преподаватель еще не прибыл. Ждем его с флота. Скоро приедет, и тогда берегитесь, как бы не нахватать двоек. Дело трудное…

В перерыве все обступили Финикина.

– Когда зуб-то рвать пойдем?

– А хоть сейчас! Только пускай золотой вставят.

Федя Артюхов буркнул:

– Охота вам связываться… с этим.

Савка всегда уважал Артюхова, иногда почему-то даже жалел. Однажды он тихонько спросил его:

– Федя, скажи – а воровать… страшно?

– Не знаю, – ответил Артюхов. – У сытого да жадного, когда ты сам голодный, своровать еще можно. Но совсем уж противно голодному красть у голодного. И больше ты ко мне с этим не приставай.

\* \* \*

В роте их ждала радость – привезли лыжи. Боцмана кинулись на них первыми, вмиг расхватали самые лучшие, с хорошими палками. Боцмана вообще задирали носы не в меру. Они как-никак единственные из юнг, которым предстоит лично вести огонь по противнику.

В кубрике рулевых шла суетливая возня. Если полсотни мальчишек запихнуть в одно помещение, они могут так побеседовать между собою, что у взрослых через десять минут затрещат головы. Росомаха уже разбирал свою койку, а Колесника еще не было, он утащился в соседний колхоз на танцульки.

– Ти-ха! Ти-ха! – взывал к юнгам Росомаха.

Стало чуть-чуть потише, и в этой случайной паузе все расслышали, как Финикин обратился к старшине:

– Разрешите доложить, что у меня банку варенья сперли. Вчера была, а сегодня – нету.

Росомаха вновь застегнул манжеты своей фланелевки.

– Ти-ха! Кто у этого товарища банку варенья увел?

Вот теперь в кубрике стало совсем тихо.

– Никто не сознается? – вопросил старшина. – Или вам неизвестно, что воровство особо жестоко карается на флоте?

Все молчали. Кто был удивлен. Кто пристыжен.

– Становись! – скомандовал Росомаха.

Вдоль левого «борта» вытянулась шеренга колесниковского класса, вдоль правого – класса Росомахи. Лампочки светили вполнакала, от печки несло жаром. Забытые учебники и тетрадки валялись на столах и койках.

Росомаха рысцой пробежал вдоль шеренг.

– Еще раз спрашиваю – кто взял банку?

Финикин проговорил:

– Артюхова допросите. Пусть он мое варенье отдаст.

– Артюхов, это случайно не твоя работа?

Тот отвечал старшине с достоинством:

– А почему вы именно меня спрашиваете?

– Так ты же… – начал было Росомаха и умолк.

Из шеренги левого «борта» кричали:

– У нашего Серебрякова вчера кто-то перышко из ручки выдернул. Может, это один и тот же гад работает!

Растерявшийся Росомаха вызвал из строя Московского.

– Старший, – сказал он Игорю, – этого дела мы так не оставим. Ты начинай с того конца кубрика, а я с этого. Из строя никому не выходить, пока не обыщем все койки.

Росомаха разворошил постель Феди Артюхова, заглянул на его полочку, отвернул матрас. Нигде вареньем даже не капнуто. Московский нехотя пощупал рукой книги на полке Коли Поскочина, отодвинул куски мыла и… вытащил банку.

– Вот она! – сказал Игорь в полном изумлении.

Из банки торчала ложка. Половины варенья уже не было.

Финикин сразу полез на Колю Поскочина.

– Умника из себя строишь, а сам… Твое это было варенье? Тебе его прислали? Я вот сейчас как врежу…

Но тут прозвучал резкий голос Артюхова:

– Не тронь маленького. Что он тебе худого сделал?

– Как что сделал? Он же мое варенье слопал.

– Захотел и слопал. А тебя это не касается.

– Видали? Мое варенье едят, а меня это не касается.

– Дурак! – ответил Артюхов. – Ты еще жизни не видывал…

– А ты… Ты сам вор и другого вора покрыть хочешь.

Артюхов, побледнев, двинулся на Финикина:

– Слушай, ты! За такие слова я тебя так кокну по твоей банке, что из нее последнее варенье вытечет. Да, я крал. Чтобы не подохнуть. Но я копейки не украл с тех пор, как попал на флот…

– Кокну, кокну… Ишь кокальщик какой нашелся. Эво, старшина рядом стоит. Он тебя живо на отсидку отправит.

– Прекратите! – вмешался в спор Росомаха. – А то и правда возьму и обоих вас закатаю на гауптвахту… Кончайте баланду! Дело ясное. Юнга Поскочин, ты зачем чужое хватаешь?

Бедный «философ» горчайше разрыдался:

– Сам не знаю… сладкого захотелось… не удержался!

Росомаха еще крутил в руках липкую банку.

– Держи сам! – и сунул банку Финикину. – Юнга Поскочин, а тебе известно, что воровать нехорошо?

– Известно… конечно же! – отвечал Коля.

– А если так, то, выходит, действовал сознательно. Это как понимать? Всяких там Кантов изучаешь, а к себе философски отнестись не можешь… Чего молчишь? Отвечай.

Явился с танцев Колесник – заснеженный, румяный.

– Что за ярмарка? – удивился он с порога.

– Да вот… вора нашли, – мрачно пояснил Росомаха.

Из класса Колесника надрывно взывали к честности:

– Заодно и перышко поищите. Писать человеку нечем!

Савка слышал, как Росомаха тихо сказал Колеснику:

– Мне этого Канта, чтоб ему ни дна, ни покрышки, честно-то говоря, позарез жалко. Лучше бы он, сукин сын, слопал варенье, а банку в сугроб закинул…

Шепотком отвечал ему Колесник:

– У нас на крейсере такого Финикина давно бы в гальюн сунули и воду спустили. Поскочин-то – пацан. А кто не тягал варенья у бабушки из буфета?

– Сравнил. Дома высекут – и порядок. А здесь из-за такой ерунды может кончиться плачевно…

Савке стало безумно жаль Колю, и никак не укладывалось в голове, что он может украсть.

– Коля, – спросил он, – зачем ты это сделал?

Тот поднял лицо – страдальческое, в слезах:

– Да не вор же я… Просто сладкого хотелось.

Росомаха велел юнгам отходить ко сну, но кубрик еще долго бурлил, по углам ожесточенно спорили. Гнев рулевых, как ни странно, был направлен в основном против Финикина с его банками.

– Хозяин! – с презрением говорили ему. – Если б не твои сласти, так и позора не было бы. Нашли, что прислать, родители – варенье! Лучше бы гуталину для сапог прислали или порошку зубного, чтобы бляхи драить.

– Чего вы на меня-то накидываетесь? Я разве украл?

– Провокатор ты! – было заявлено от Игоря Московского.

– Я провокатор? – изумился Финикин.

– А кто же ты еще? Расставил свои банки и лижет. То малиновое. То вишневое. То собачье. Вот человек и не выдержал. А кто его подначил, как не ты?

Финикин отбивался, как мог:

– По-вашему, я всех должен угощать? Вас двадцать пять едоков в классе. Да по другому «борту» еще столько же облизывается. Моим родителям на полсотни ртов не напастись.

– Давись сам, – отвечали ему юнги. – Только слопай поскорее и кончай эту канитель. Не порти нам настроение.

– Дневальный! – требовал Росомаха. – Гаси свет!

Один лишь Джек Баранов отмолчался в этих спорах.

– А ты что? – спросил его Савка.

– У меня на этот счет свое мнение.

\* \* \*

В соседних классах радистов уже стала попискивать, как мышь в подвале, морзянка: та-ти-ти, та, та-та-ти, ти-та… Сначала робкая и сбивчивая, она все чаще взрывалась каскадами бравурных передач. Уже появились юнги-мастера, гнавшие количество знаков по секундомеру – все быстрее, все больше. Рота радистов, чтобы юнги не потеряли чуткость руки, была освобождена от тяжелых работ – валки леса, пилки дров и прочего.

Такая же морзянка проникла и в классы роты рулевых. Только здесь она беззвучно билась в пучках света. Старшина Фокин отщелкивал ее на клавишах Ратьера, и рулевые по проблескам фонаря хором читали слова, а потом и целые фразы:

– По пра-во-му бор-ту и-ме-ю бар-жу с топ-ли-вом…

Флажный семафор казался юнгам труднее. Допустим, дается «веди»: правая рука держит флажок горизонтально. Но при чтении сигнал виден читающему зеркально: для него флажок реет уже не справа, а слева. Фокин не спешил. Поначалу писал флажками простые обозначения: «вызываю на разговор», «понял», «не разобрал», «повтори», «передвинься», «не могу принимать». Затем старшина стал писать текст.

– Не бойтесь, буду давать медленно.

Класс рулевых загудел, прочитывая слова, и отдельные ошибки одиночек потерялись в общем правильном хоре.

– Како… он… рцы… аз… буки… люди… мягко.

Фокин дал отмашку «оканчиваю». Получилось слово «корабль». Быстрее всех выдал шестьдесят знаков в минуту Федя Артюхов. Фокин обрадовался:

– Ставлю тебе пятерку. Первая в вашем классе! – И добавил: – А сейчас открою один секрет, известный всем сигнальщикам флота. Мы никогда не разводим руки так широко, как это делает новичок, стараясь, чтобы его поняли. Смотрите, в чем заключается секрет стремительной передачи семафора…

Фокин стал писать. Но руки старшины при этом не разлетались в стороны, как это рисуют на картинках. Руки мелькали лишь впереди корпуса. Фокин сократил размах флажков, и движения его рук стали взрывчатократкими, напоминая жесты экспансивного человека при разговоре.

– Только так! – сказал он, окончив передачу. – Можно ставить рекорды, если уверен, что тебя поймет читающий. Издали-то даже сокращенные размахи рук читаются легко. Особенно – на фоне неба.

Следующий урок – устройство рулей, поворотливость и маневренность корабля при эволюциях. Вел этот предмет инженер-капитан третьего ранга Плакидов, человек бывалый и строгий. Он не делал никаких скидок на то, знаком юнга с физикой или нет. Плакидов в случае недоразумения говорил:

– Удивляюсь! Чему вас в школе учат?

Урок, ответственный и трудный, начался.

– Для начала повторим пройденное, – сказал Плакидов, ни на кого не глядя. – Юнга Огурцов!

– Есть юнга Огурцов.

– Прошу. Составные части руля.

– Есть! Плоскость руля называется пером, ось вращения – баллер. Баллер связан с румпелем и рулевым приводом, который ведет к штурвалу на мостик. Передняя кромка руля, что прикасается к ахтерштевню, называется рудерписом, а нижняя кромка – пяткой.

– Ты забыл гельмпорт и рудерпост. Повторить!

– Есть. – Савка, недовольный собой, садится на место.

– Юнга Баранов, что вам известно о «гитаре»?

– «Гитарой» моряки зовут рулевой привод Дэвиса.

– Прошу. Устройство.

Класс слушает, как Джек с трудом выгребается из гаек с ползунами и червячно-дифференциальных редукторов… Выгребся!

– Ставлю четыре, – говорит Плакидов. – Юнга Поскочин…

Тягостное молчание класса рулевых.

– Нет Поскочина? Дежурный!

– Есть дежурный, – поднимается с места Финикин.

– Почему отсутствует юнга Поскочин?

– В роте уборку делает. Он к занятиям не допущен. У своего же товарища банку вишневого…

Игорь Московский резко дергает Финикина за подол голландки, заставляя его прервать гневное прокурорское выступление.

– Тогда, – говорит Плакидов, – вам, Финикин, придется ответить за отсутствующего Поскочина. Для начала обрисуйте нам процессы, происходящие при работе винта правого шага, и явление отбрасываемой струи. Предстоит похудожничать, а потому идите к доске.

Финикин берет мел, но до рисования ему далеко.

– Ну, винт… – говорит он.

– Так. Винт! – охотно подтверждает Плакидов, вышагивая по классу.

– Он работает…

– Так. Работает.

– Ну, он правого шага. Крутится в эту сторону…

– В какую «эту»? – возмущается Плакидов, забравшийся тем временем в угол класса. – Флотский язык точен! Представьте себя наблюдателем работы винта правого шага… Что вы наблюдаете?

Финикин, надувшись, отмалчивается у доски.

– Значит, ничего не наблюдаете… Ни завихрений, ни сил реакции? – Плакидов удручен. – О чем вы думаете?

– Забыл… – сознается Финикин.

– Садитесь. Для развития памяти ставлю вам двойку.

– Не успел, – оправдывается Финикин. – Расстроился вчера.

Плакидов не терпит таких ответов.

– Какие могут быть у юнги причины для расстройства? Или вы отец семейства, обремененный чадами? Сыты, обуты, одеты…

Инженер-капитан третьего ранга развешивает по стенам схемы и технические чертежи, которые по вечерам рисует сам – искусно и добротно. Чувствуется большая любовь Плакидова к делу, и класс невольно сжимается, когда он берется за указку. Сейчас на всех немощных в физике горохом посыплются всякие там векторы всасывающих струй…

– Итак, – начинает Плакидов, – вы стоите на мостике у штурвала. Положение руля нулевое. То есть, говоря по-морскому, руль в диаметральной плоскости. У вас на корабле винт правого шага. Дали «средний вперед». В какую сторону покатится ваш корабль?

– Прямо! – хором сообщают юнги.

– Почему?

– Потому что руль-то стоит прямо… на нуле!

– Ох, опасное заблуждение, – причмокивает Плакидов. – Если руль стоит прямо и дан ход винту правого шага, то корма вашего корабля будет заброшена тоже вправо. А нос корабля круто рванется влево. Произойдет разворот «на пятке», опасный в тесноте гавани. Понятно? Теперь рассмотрим загадочные процессы, происходящие под килем корабля…

Плакидов выводит юнг в море. На переменных скоростях они ведут корабли. Под ними вращаются винты правого и левого шага. На эсминцах по два винта. На крейсерах по три. На линкорах до пяти. Возникает дикий хаос мощных водяных струй. С полного вперед машины реверсируют на полный назад. За сорок минут урока юнги не раз терпят жестокие катастрофы. Их кормы забрасывает на соседние корабли. Они повинны в чудовищных авариях. Встреча с опасной инерцией кончается тем, что корабли таранят причалы и стальные бивни форштевней с хрустом разбрасывают по воде просмоленные бревна…

– Теперь вы понимаете, – заканчивает лекцию Плакидов, – насколько безмятежна была ваша жизнь раньше. Вам ведь казалось, что рулевой на мостике – вроде опереточного героя. Сказали ему «вправо» – он покатил штурвал вправо. Сказали «влево» – пожалуйста, готово дело, лево руля. Но управление кораблем – это наука, построенная на знании, глазомере, опыте – и на риске! Бывают дикие случаи, когда руль до предела положен вправо, по корабль катится влево…

Плакидов берет под локоть журнал и указку. На прощание его стальной перст выстукивает по рыжей маковке Финикина:

– У вас не должно быть никаких забот, кроме одной: учиться, учиться и учиться. А что еще? Че-пу-ха!

\* \* \*

В кубрике их ждал приунывший Росомаха. Честно говоря, насколько Колесник был весел и бесшабашен, настолько Росомаха по характеру был занудой. Он утюжил через тряпку свои клеши, и от широких штанин валил пар, пахнувший уксусом. Плаксивым голосом Росомаха заговорил:

– Драть бы вас всех! Теперь нам из этого поганого варенья не вылезти, влипли в него всем классом, как мухи. Уже и начальство пронюхало.

– Ну и что ж, – бодрились юнги. – Мы рассудим по-товарищески.

– Вы по-товарищески, а командование – по уставу. Могут вашего философа и с флота попросить. Он несовершеннолетний, его демобилизовывать не будут, а просто вышибут, и дело с концом!

Поскочин, совсем опечаленный, весь день мыл полы в землянках, колол дрова, топил печки. Кажется, он был готов к самому худшему. Юнги сочувствовали ему:

– Не грусти! Мы тебе пропасть не дадим…

Открытое комсомольское собрание проводили в кубрике рулевых. Присутствовали и те юнги, что не были комсомольцами по малолетству. Пришел заснеженный с ног до головы Щедровский, явился и Кравцов.

– Случай возмутительный, – сказал замполит. – Конечно, варенье – ерунда, важен сам факт воровства. Поскочин еще только начинает служить и уже так опозорился. Вам известно, что подобные вещи на флоте не прощаются. Мы должны быть принципиальными и строгими. Дурную траву – с поля вон.

Росомаху попросили дать характеристику Поскочину.

– Дурного не замечалось. Я всегда считал его хорошим, дисциплинированным юнгой. Что с ним стряслось, и сам не пойму.

Поскочин, тоже не комсомолец по причине малых лет, плакал и твердил одно:

– Как вы не понимаете? Просто сладкого захотелось…

Кравцов твердо бил ребром ладони по краю стола:

– Ты прежде подумал ли о мерзости своего поступка?

– Нет, не думал. Как увидел сладкое, так меня и потянуло.

Савка, страдая за Колю, поднял руку.

– Можно я?

Ему дали слово, и он сказал кратко, но горячо:

– Я так думаю, что юнга Поскочин понял всю нехорошесть своего поступка, и больше он так делать не будет.

– Ну, это уже разговор для детских яслей, – вступился Щедровский. – Если все на флоте, совершив проступок, станут говорить, что они больше не будут, то во что обратится служба? Надо рассуждать серьезно.

Росомаха, кашлянув в кулак, робко сказал:

– В самом деле, товарищи, давайте серьезнее…

Замполит оглядел юнг постарше:

– Из комсомольцев кто выскажется?

– Я!

Над столом поднялся комсорг Джек Баранов. Он был красивым юношей. Широкая голландка навыпуск великолепно шла к его стройной фигуре, и даже стрижка наголо не портила его, как других юнг, а казалась особой прической.

– Давай! – сказал ему Кравцов.

– Мое мнение особое, – начал Джек. – Считаю, что Коля Поскочин поступил с этим дурацким вареньем правильно!

Это было так неожиданно, что поначалу Джека не поняли. Упрямо мотнув головой, он продолжал:

– Флот кулацких замашек не терпит. Юнга Поскочин самовольно раскулачил Финикина, но раскулачил правильно. Как принято на флоте? Твое – мое. А мое – твое. Представьте на минуту, что мы сейчас сидим не в землянке, а в отсеке подводной лодки. Завтра в этом отсеке мы, может быть, задохнемся на грунте, так разве ты или я станем прятать друг от друга какую-то банку варенья?

Тишина в кубрике рулевых. Тишина…

– Поскочин, – продолжал Джек, – поступил по законам святого морского братства. Твое, Финикин, он взял у тебя, как свое. Но если ты возьмешь у Поскочина все, что пожелаешь, он жалеть не будет, в этом можешь не сомневаться. – Джек повернулся к Щедровскому: – Поймите меня правильно. На чужое мы не заримся. Посылка пришла не нам, и Финикин вправе ею распоряжаться. Но если уж он такой жадюга, взял бы две банки варенья, принес бы к завтраку на камбуз и выставил бы на стол: вот вам, ребята! Это было бы честнее и порядочнее, чем забираться на верхотуру и там, согнувшись в три погибели, наслаждаться в одиночку… Мы не защищаем Поскочина! Но мы осуждаем и Финикина.

Игорь Московский был краток:

– Поскочин всегда был хорошим товарищем, и с ним я пошел бы в любую заваруху, хоть на гибель. А что касается товарища Финикина… я бы еще подумал, идти с ним или не идти.

Остальные юнги соглашались:

– Верно! Чего уж там. Не варенье дорого, а чтобы все по-человечески было… Разве можно так, как Финикин?

Поскочин всхлипнул, счастливый. Финикин проворчал:

– Это не по существу! Варенье-то мое съели… Факт!

Щедровский велел ему замолчать:

– Не лезь со своим вареньем. Тут вопрос посложнее…

Кажется, офицеры поняли суть дела. И поняли ее правильно. Обстановка разрядилась, и Кравцов лукаво подмигнул Поскочину:

– Не рыдай! Флот не выдаст – свинья не съест…

После отбоя, когда погасили свет в кубрике, с высоты третьего этажа долго слышался печальный перезвон. Это Финикин в потемках сортировал свои банки с вареньем.

– Меня же обчистили, и я же виноватым остался. Где же справедливость?

Возня с банками была прервана окриком Росомахи:

– Слушай! Тебе еще не надоела твоя сладкая жизнь?

Все затихло. Мир и покой…

А в шесть утра – еще темнотища над Соловками – от большака уже поют залихватские горны: вставай, побудка… Никто потом ни словом не упрекнул Колю Поскочина за его житейское прегрешение, но зато слова Джека Баранова о морском братстве прочно засели в памяти каждого, и они, эти слова, определят еще многое…

Юнги учились быть щедрыми. Иначе нельзя!

\* \* \*

Когда закончилось комсомольское собрание, Савка на улице возле землянок нагнал Щедровского.

– А, Огурцов! Что скажешь?

Савка рассказал о своих заботах. Бабушка в Ленинграде, отец еще летом ушел в морскую пехоту, под Сталинград, и с тех пор не пишет.

– Ничего мне не сигналит! – закончил Савка свой рассказ.

– Насколько я понял, ты хочешь навести справки об отце. Это нелегко. Если погиб – скорее ответят. А если пропал без вести, тогда устанешь дожидаться. Откуда отец призывался?

– Он не призывался. Служил на Северном флоте в таком же звании, как и вы… Был комиссаром.

– Ну, комиссаров теперь нет. Ладно, – сказал замполит. – Пошлем запрос, но скорого ответа не жди. Сам знаешь, какая идет война. Не до переписки.

Щедровский глянул на часы, потом на небо, вдоль которого распускался павлиний хвост полярного сияния. Шумел черный лес.

– Комиссар Огурцов… Кажется, я его знал. Да, встречались однажды на конференции. – Щедровский вдруг снял перчатку и подал Савке теплую ладонь. – Беги в кубрик. Уши отморозишь.

Утром, после умывания в ледяных прорубях, юнги обычно толпились в кубриках возле расписания занятий, еще красные с мороза, запыхавшиеся от беготни по сугробам. Обсуждали предстоящий день.

– Первый урок – служба погоды, Зайцев ведет.

Метеорология, тайны стихий… Лейтенант Зайцев, щеголеватый, чуточку язвительный, интересовал юнг сам по себе, но и предмет свой вел интересно.

– Что у нас было в субботу? – спросил он, усаживаясь за стол.

– Давление. Циклоны. Муссоны и пассаты.

– Ага. Анероиды и барографы я вам уже читал?

– Читали. Остановились на влажности воздуха.

– Так. Значит, сегодня пробежим дальше.

Зайцев отправился гулять между рядами столов, источая запах одеколона.

– Значение службы погоды в нынешней войне неизмеримо возросло. От метеосводок зависят действия армий и флотов, зависит исход битв на воде и в воздухе. Перед вами – гигрограф, прибор для автоматической записи влажности воздуха. Его действие основано на свойстве человеческого волоса укорачиваться или удлиняться с изменением влажности в атмосфере. Причем, как выяснили ученые, лучше всего реагирует на влажность рыжий волос.

Класс дружно обрадовался:

– У нас Финикин рыжий! Если его два года не стричь, он весь флот обеспечит рыжими волосами. Можно за границу продавать!

Зайцев даже не улыбнулся.

– При всем моем уважении к товарищу Финикину должен сразу его огорчить. Волосы для приборов берутся от рыжих женщин. Век живи – век учись.

– А почему от женщин, товарищ лейтенант?

– Женский волос мягче, восприимчивее и эластичнее. Подойдите к столу. Спокойнее, без давки. Вот он, этот прибор, который так важен в морской метеорологии. Он же позволяет кораблям вовремя избежать взрывоопасной сухости или влажности в погребах, где хранятся боеприпасы.

Зайцев позволял юнгам не только смотреть, но и щупать пальцами, крутить барабан автомата. Не беда, если испортят учебный прибор, – важно научить!

– Насмотрелись? По местам. Откройте тетради. Кто из вас читал книгу Лухманова «Соленый ветер»?

Выяснилось, что половина класса знакома с нею.

– Добро, – похвалил их Зайцев. – Лухманов, бывший капитан парусного судна, написал стихи… Многовековый опыт мореплавателей выявил ряд удивительно точных примет погоды. Лухманов, чтобы легче запомнить, изложил эти приметы в стихах. Конечно, все знают: если небо красно к вечеру, моряку бояться нечего, если красно поутру, моряку не по нутру… А вот приметы по облакам:

Радуга утром – дело плохое,Радуга вечером – дело иное.Если солнце село в воду,Жди хорошую погоду.Если солнце село в тучку,Берегись – получишь взбучку.Вечером небо коль полно огня,Утром же зорю туман застилает, —Верные признаки ясного дня,Старый моряк парусов прибавляет.Савка, записывая стихи, наслаждался, и урок окончился незаметно.

– Поздравляю вас, – сказал Зайцев на прощание, – в Савватьево прибыл преподаватель электронавигационных инструментов. Толковый специалист флота, мичман Сайгин, прошу любить и жаловать.

– Уррр-а! – обрадовались юнги, вскакивая из-за столов.

– Чему вы радуетесь? – удивился Зайцев. – Мичман Сайгин сейчас задаст вам перцу…

– Мы радуемся другому, – признались юнги…

\* \* \*

Звонок – и с чемоданчиком в руке мичман явился в класс рулевых. Обыкновенный мичман, каких много на флоте. Только маленького роста. Да на левом рукаве кителя два золотых шеврона, означающих десять лет службы сверх срока. Что было неприятным в Сайгине, так это сладенькая улыбочка. Впрочем, юнги уже понимали, что внешность человека бывает обманчивой. Вон Аграмов – уж каким страшилой показался на первых порах, а теперь они в нем души не чают.

Сайгин действовал молча. Покопался в своем чемодане, и в руках его вдруг оказался волчок. Самая обычная детская игрушка-волчок. Не спеша мичман поместил чемодан под стол и – улыбка! улыбка! улыбка! – раскрутил волчок на плоскости стола. Юнги смотрели, как вращается игрушка, и ничего не понимали. Ведь Сайгин им еще и слова не сказал. Похоже было, что мичман просто решил поиграть немного…

Наконец мичман произнес:

– Оп! – И линейкой подсек волчок снизу.

Теперь волчок вертелся на самом конце линейки, и Сайгин обошел с ним весь класс, продолжая улыбаться. Раздалось:

– Оп! – И с линейки волчок перепрыгнул на подоконник.

Вращение его угасло, а мичман перестал улыбаться.

– Всем вам знакома эта игрушка, – заговорил он. – Между тем великий Леонард Эйлер уже относился к волчку с большим почтением. Он подозревал, что в волчке скрыта загадка, но… какая? Если бы волчок был только игрушкой, то его свойства не стали бы изучать такие корифеи науки, как Софья Ковалевская, академик князь Голицын, кораблестроитель Крылов и отец русского воздухоплавания Жуковский. Советую вам забыть об игрушке… Сейчас перед вами откроется окно в новый мир.

Сайгин подтянул рукава, словно фокусник на эстраде, и снова сунулся носом в свой волшебный чемоданчик. Он извлек оттуда блещущее никелем сооружение. В системе кардановых колец покоился волчок – только массивный, на шарикоподшипниках.

– Карданов подвес вам уже знаком. Именно благодаря ему ось волчка вращается в любом направлении, а сам волчок как бы подвешен в свободном пространстве. Поэтому он и перестал быть игрушкой, а превратился в особый прибор, название которому – гироскоп… Вот вы – все равно, кто из вас – подойдите!

Артюхов шагнул к гироскопу. Мичман велел ему:

– Надавите на любой конец оси слева направо.

Федя тихонько толкнул гироскоп по горизонтали.

– Теперь ткните его снизу вверх… смелее!

Артюхов выполнил приказание.

– Вы убедились, что гироскоп охотно вам подчиняется?

– Да, – кивнул Федя. – Отлично убедился.

– Тогда садитесь на место.

Сайгин достал из кармана длинный тонкий шнурок.

– Сейчас мы заставим этот гироскоп работать.

Он продел шнурок в отверстие на оси гироскопа и во всю длину намотал его на ось. Потом взялся за кончик шнурка, притих, напрягаясь перед рывком, и сильно дернул шнурок на себя. Гироскоп стремительно вошел во вращение, класс наполнился ровным ноющим звуком. Сайгин спрятал шнурок в карман.

– Гироскоп работает, – сказал он, опять сладко улыбаясь. – Обратите внимание, сейчас его ось глядит вон в тот угол класса. Представьте себе, что он вращается час, два, три, четыре часа… Куда, по вашему мнению, будет направлена ось гироскопа, скажем, часов эдак через пять-шесть?

Никто не знал. Послышались предположения:

– Туда же… в угол.

– Неправда! – вдруг крикнул Сайгин. – Через пять-шесть часов постоянного вращения гироскоп направит свою ось вот в это окно. Единый вздох удивления юнг. – А все просто, – ошарашил их мичман. – Вы совсем забыли о Земле! Гироскоп сохранит свое положение в пространстве неизменным. Но Земля-то ведь за это время совершит четверть оборота. За двадцать четыре часа работы гироскоп обведет своей осью всю комнату и через сутки уставится опять в этот угол… Вы меня поняли?

Вращалась планета, и как бы независимо от нее крутился гироскоп. Сайгин рукою остановил его движение. Ротор сразу ожил. Чередуясь в блеске никеля, замелькали его кардановы кольца, обнимающие гироскоп, уже отдыхающий от быстрого бега.

– Откройте тетради. Запишите крупными буквами. Слово в слово, как я вам скажу. Диктую: ОСЬ СВОБОДНО ПОДВЕШЕННОГО ГИРОСКОПА СОХРАНЯЕТ В МИРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ НЕИЗМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ… Вот это и есть первое, самое значимое правило гироскопа!

Шнурком он раскрутил гироскоп еще сильнее.

– Меня, – сказал мичман, – не удивляет, когда ребята катаются на велосипедах, сняв руки с руля. По сути дела, колеса велосипеда есть такой же гироскоп. Снаряду, летящему во врага, нарезы в стволе орудия придают вращательное движение – вот вам еще один гироскоп! Торпеда знаменитой лунинской подлодки, поразившая гитлеровский флагман «Тирпитц», управлялась в своем стремлении под водой прибором Обри – вот еще один гироскоп! Перед войной в нашей стране проводились опыты по созданию однорельсового пути и одноколесного вагона – в основу положен принцип гироскопа! Океанские лайнеры не боятся шторма – любую их качку успокаивают гигантские роторы гироскопов… По сути дела, – заключил Сайгин, – мы с вами живем в окружении гироскопов, сами того не подозревая. Мало того, наша планета Земля, населенная мыслящими существами, тоже является гироскопом, заключенным в мировом пространстве гироскопических галактик… Разве это не прекрасно?

Гироскоп перед мичманом еще вращался.

– Вот ты… Как тебя зовут?

Савку сдернуло со скамьи навстречу учителю-волшебнику.

– Подойди сюда… Артюхов уже убедил вас, что в спокойном состоянии ось гироскопа покорно подчиняется внешней силе. Теперь попросим юнгу Огурцова поставить опыт на работающем гироскопе. Дави на ось в любом направлении, – сказал мичман.

Кончиком карандаша Савка тронул ось, и вдруг гироскоп рванулся в другую сторону. Савка направил усилие точно сверху вниз. Но гироскоп, сердито воя, развернул свою ось по горизонту. Савка стал нажимать слева направо – тогда ротор вдруг полез осью куда-то кверху, строптивый и непокорный.

– Садись! – велел мичман Савке. – Как видите, волчок не так уж прост. Он не подчиняется той силе, которая к нему извне прикладывается. Вот и родилось второе правило гироскопа… Запишите и подчеркните: ЕСЛИ К ОСИ СВОБОДНОГО ГИРОСКОПА В РАБОТАЮЩЕМ СОСТОЯНИИ ПРИЛОЖИТЬ ВНЕШНЮЮ СИЛУ, ТО ОСЬ ЕГО ПОСЛЕДУЕТ НЕ В НАПРАВЛЕНИИ ПРИЛОЖЕННОЙ СИЛЫ, А В ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОМ НАПРАВЛЕНИИ. Эти два правила знать твердо, иначе никогда не поймете дальнейшего…

Совсем некстати прозвенел звонок на перерыв.

– Десять минут отдыха, – сказал Сайгин, – после чего мы перейдем к главному, без чего современный флот не способен сражаться…

В коридоре юнги делились:

– Ну вот! О баранке теперь и речи быть не может.

– Понимаешь, – волновался Поскочин, – здесь что-то есть. Тут заключена тайна. Я чувствую, что мичман куда-то клонит.

– Я тоже подозреваю, – согласился Джек Баранов. – Еще не знаю, что будет, но уверен, что что-то будет…

Финикин вставил в общий разговор свое веское слово:

– Ведь сказали же: рулевым это можно знать, а можно и не знать. Только бы поменьше слов иностранных…

Из боцманского класса к ним подошел Синяков:

– Привет извозчикам! – И попросил басом: – Нет ли чинарика какого курнуть? Сейчас опять двояк схватил по такелажу.

Курева ни у кого не было.

– Во нищета! – обозлился Витька, явно страдая. – Курить хочу – спасу нет. Сколько на флоте прослужил, а половину всей службы только тем и занимался, что сшибал чинарики разные…

После перерыва Сайгин взял быка за рога:

– Свойство гироскопа перпендикулярно уклоняться от направления силы носит в науке название прецессии. Представьте себе, что мы имеем гироскоп, работающий постоянно. И так же постоянно будет воздействовать на него внешняя сила. Гироскоп способен работать без остановки, если вращать его электричеством, а не шнурком, как это делал я. Постоянная внешняя сила у нас тоже имеется в запасе с избытком. Это – земное притяжение!..

Не все юнги поняли Сайгина, и мичман пояснил:

– Если к гироскопу подвесить маятник (проще говоря, груз), то маятник, испытывая на себе силу земного притяжения, станет постоянно воздействовать на гироскоп. Не забывайте о притяжении Земли! Совместите эту силу притяжения с двумя правилами гироскопа, которые я велел вам записать в тетради… Ну?

Класс молчал, завороженный. Сайгин неслышной походкой двигался между юнгами, давая им время подумать самим.

– Кто понял, что произойдет? – спросил он.

Нет! Юнги еще не понимали, но они упорно думали.

– Маятник, – сказал Сайгин, помогая им мыслить, – можно ведь сделать из двух сообщающихся сосудов, наполненных какой-либо тяжелой жидкостью… например, ртутью! Она переливается в сосудах, которые стремятся занять положение в зависимости от земного притяжения. А при этом вес ртути постоянно воздействует на ось гироскопа. Земля вращается, гироскоп тоже… Движение оси гироскопа перпендикулярно! Неужели еще не догадались, что произойдет?

Сайгин нарисовал на доске земной шар. Повесил в пространстве роторы гироскопов. Обозначил притяжение Земли, а к гироскопам условно прикрепил маятники – сосуды с переливающейся в них ртутью.

Остановился перед Огурцовым.

– Подумай, – сказал Сайгин, заглядывая Савке в глаза. – Ну, представь себе эту картину… проанализируй все с самого начала.

Савка зажмурился. Гироскоп вращался. Маслянистая ртуть неслышно переливалась в сосудах. Не покоряясь этой силе, ось гироскопа разворачивалась в перпендикулярном направлении и ползла… выше, выше, выше!

В жизни каждого человека бывают моменты некоего озарения, и нечто подобное испытал сейчас Огурцов. От неожиданности он даже вскрикнул:

– Я понял… понял от начала и до конца!

Сайгин остановил гироскоп, и в классе наступила тишина.

– Теперь расскажи нам, что ты понял…

Савка заговорил. Гироскоп уже превратился в ГИРОКОМПАС. Ртуть текла по трубкам. Земля воздействовала на нее, и вот ось гироскопа, противодействуя силе притяжения, стала взбираться… выше, выше, выше – к полюсу! Это и был ИСТИННЫЙ МЕРИДИАН. Теперь ничто не мешало гироскопу – он ведь не подвластен магнитным искажениям, ему не вредит никакое корабельное железо. Установя свою ось в истинном меридиане, гирокомпас давал кораблям ИСТИННЫЙ КУРС.

– Без угла склонения! Без угла девиации!

Класс ожил. Задвигался. Зашелестел.

– Вот это ловко, – произнес Поскочин, переживая. – Как все это сложно. И одновременно просто… Неужели без девиации?

Улыбка растаяла на губах Сайгина:

– Девиация у гирокомпасов есть тоже, но она, возникая при сильной качке, совсем незначительна. Современная война на море невозможна без гирокомпасов! Из лекции капитан-лейтенанта Симонова вы уже знаете, сколь капризен магнитный компас. А гирокомпас, дающий кораблям истинный курс, можно укрыть от осколков внутри отсека. Под защитой брони он и стоит, называемый «маткой», словно царственная пчела в улье. От матки бегут провода на репитеры, отражающие на своих датчиках истинный курс. Практически число репитеров неограниченно. Но гирокомпас не сразу приходит в меридиан (нужно четыре часа, пока его ось не отыщет истинный норд). Магнитный же действует все время. Гирокомпас питается от судового тока, при разрушении энергосистемы он замирает. Это страшно, когда корабль лишится гирокомпаса, от которого зависима и стрельба артиллерии… Две различные системы гирокомпасов – Сперри и Аншютца – вошли в научный обиход под именами их создателей. Поэтому штурманские электрики зовутся по-разному – сперристы или аншютисты.

– А кем были вы на корабле? – спросили юнги.

– Вообще-то я аншютист, но умею работать и на гирокомпасах «сперри». Шестнадцать лет жизни я посвятил службе гирокомпасам и благодарен флоту за такую чудесную профессию.

После занятий Савка Огурцов подошел к Сайгину:

– Не дадите ли почитать что-либо о гироскопах?

– Я бы дал. Да боюсь отпугнуть. Там ведь формулы.

– А я как-нибудь… посижу. Подумаю сам.

Мичман завел юнгу в боковую комнатушку учебного корпуса, которая примыкала к церкви Одигитрии; тут были свалены ящики с приборами. Порылся в столе, достал книгу.

– Вот, почитай Михайлова, нашего моряка-ученого.

– Спасибо. А подчеркивать можно?

– Что хочешь делай. Я дарю ее тебе. А вечером навести меня.

– С удовольствием. А что будем делать?

– Будем монтировать схему гироскопа. Увидишь матку, самую настоящую. Только не увлекайся – тебе быть рулевым!

…Не знал тогда мичман Сайгин, что его ученик уже отравлен ядом. Самым сладким ядом – отравой познания. Савка в эту ночь спал плохо. Сверкающие никелем гироскопы, ровно жужжа, вращались над его койкой, ртуть переливалась из сосуда в сосуд, и оси гирокомпасов – эти колдовские оси! – сами собой искали и находили истинный меридиан… Позже, став намного старше, он говорил о мичмане Сайгине:

– Это был змий-искуситель. С эдакой бесовской улыбочкой. Что он сделал со мной! Весь мир обратился для меня в гироскоп!

\* \* \*

Хроника ТАСС (декабрь 1942 года)

4 – в Магнитогорске зажжена крупнейшая в Европе новая домна объемом в 1340 куб. м.

13 – сообщение Совинформбюро о трофеях советских войск и потерях противника под Сталинградом. Взято в плен 72 400 вражеских солдат и офицеров, убито более 94 000.

16 – объявлено, что в Афинах умерло от голода 100 000 человек и что в Греции против оккупантов ведут борьбу 30 000 партизан.

22 – советские войска в районе Среднего Дона продолжают успешно развивать наступление, преследуя отходящие в беспорядке разбитые немецко-фашистские войска.

27 – английский король выступил по радио с обращением к народу Англии: «Армия Советского Союза нанесла противнику потрясающие удары, действие которых на физическое и моральное состояние германского народа трудно измерить».

28 – советские войска южнее Сталинграда продолжали успешно развивать наступление.

Близился год решающих побед – 1943 год, в котором юнгам уже предстоит сражаться за Родину.

\* \* \*

Зимний день на Соловках краток, зато хорошо спится юнгам под сполохами полярного сияния… Зима, зима. До самой трубы завалило кубрики снегом – тепло и уютно под глубоким снежным одеялом. Выбежишь утром в одной тельняшке (плевать, что Полярный круг рядом!), припустишь километра три по большаку, и так славно потом вернуться в жилище, ставшее уже родным.

Началась негласная борьба юнг за первенство в учебе. Никто не желал плестись в хвосте – «на шкентеле», как говорят моряки. Велась отчаянная борьба за каждую пятерку. Савке пришлось немало потягаться, ибо соперники обнаружились опасные – Коля Поскочин, Джек Баранов да и Федя Артюхов из троечников перепрыгнул в прочные четверочники, наступал на пятки отличникам. Поскочин, правда, давал в учебе перебои. Увлекался посторонним. Обложится книгами, забыв обо всем на свете, и запустит занятия. Недавно он «заболел» Рембрандтом; вызывался на погрузку хлеба, в страшную стужу его мотало на грузовике до пекарен кремля, зато из библиотеки гарнизона привозил книги, каких не достать в Савватьеве. Кончилось это увлечение тем, что в простенке между нарами Поскочин приколотил репродукцию с рембрандтовской «Данаи». Росомаха отнесся к ней с подозрением:

– Что это? Никак раздетая? И не стыдно ей?

– Древний мир вообще не стыдился наготы.

– Ты уверен? Ну, ладно. Пускай висит… до лейтенанта!

Лейтенант Кравцов к Рембрандту относился с почтением.

– Но голых вешать в кубрике никак нельзя.

– Она же не голая, товарищ лейтенант, с чего вы взяли?

– Поскочин, я ведь не слепой.

– Голые бывают в бане. А в искусстве, товарищ лейтенант, бывают только обнаженные… Большая разница!

Кравцов отодрал «Данаю» от стенки и утащил к себе.

– Ты лучше не спорь, – сказал он Коле. – Может, она и обнаженная. Но как бы не нагорело нам от политотдела.

Вокруг зима. Тишь, глухомань. Под лютым морозом в полное безветрие не колыхнется елка, ни одна искорка не упадет с ее ветвей. Письма от мам летают к юнгам самолетом. Юнги никуда не летают. Сидят и зубрят. В роте радистов живет тюлень – еще молодой, его держат в корыте. Хозяйственные боцмана завели себе кота; каждый вечер идет перепалка из-за того, с кем Васька будет спать. Рулевые животными не обжились. Но зато рота Кравцова держит первое место в школе по чистоте и порядку. В самом деле, дома таких полов не бывает. Уронил кусок хлеба – подними и ешь: ни пылинки. Русский моряк славится чистоплотностью, а палуба на флоте священна.

Новые кинофильмы доставлялись в Савватьево редко, зрелищами юнг не баловали. Напряжение страны познавалось по сводкам Информбюро и на политзанятиях: от юнг требовали знания военного и политического положения в мире. Иногда по вечерам далекая Москва транслировала на Соловки отличные концерты. Над святыми озерами, над усопшими в древности скитами, над землянками юнг разливалась бравурная хабанера Бизе, звучала патетическая Арагонская хота Глинки, печали и восторги жизни пробуждал гениальный Чайковский… Музыка обретала особую красоту.

– Вот ведь как! – говорили юнги. – Плевать я раньше хотел на эту музыку. А сейчас она всю душу переворачивает, даже непонятно: что со мною? Слезы сами выжимаются…

В клубе юнг появилась самодеятельность – слабенькая, потому что юнги нажимали на учение, а в самодеятельность шли больше лентяи; пристроился туда и Витька Синяков, лихо работавший ногами – чечеточник! Но зато рота радистов уже породила своего поэта – Эс Васильева, и по Школе юнг блуждали нездоровые, панические слухи, будто поэту на камбузе дают по три порции…

Настал последний день сорок второго года. В этот день педагоги, благодушествуя, никому не «врезали» двойки. Чувствовался праздник – большой и веселый. Но все было иначе – не как дома! Елок не покупали, ибо на каждом шагу стояла праздничная елка, украшенная серебром инея. На ужин дали какао, после чего юнги отправились в клуб на концерт. Витька Синяков и в самом деле подметок не жалел, словно грохотом казенной обуви он хотел заглушить свои двойки и тройки. Роль конферансье исполнял старшина Колесник, любивший покрасоваться. Он объявил:

– А сейчас с собственным сочинением в стихах выступит перед вами известный соловецкий писатель – юнга Эс Васильев…

Рота радистов заранее кричала «бис». Савка вытянул шею из воротника шинели, мял в руках шапку с курчавым мехом. Первый писатель в его жизни, и вот сейчас он его увидит. Качнулся занавес, поэт предстал, сверкая надраенной бляхой на сытом животе. Голова у Эс Васильева – громадная, как котел. Он громко прочитал:

Эсминцы – любовь моя ранняя.Как я завидовал старшим,Что на мостиках мокрых ранены,Выводили эсминцы в марше.Этот марш – по волнам, по зыбям,Этот марш – под осколочный свист,Этот марш – по звездам, по рыбам,Только ветра натужный свист.От судьбы никаких мне гостинцевНе нужно. А лишь бы иметьЮность звонкую на эсминцах,На эсминцах принять мне смерть!

Никто не заметил, что во второй строфе поэт не нашел рифмы. Из рядов поднялся капитан первого ранга Аграмов в своем кожаном пальто и пожал руку Васильеву – такой чести мало кто удостаивался.

Роты расходились в новогоднюю ночь. Радисты пели:

Мы юнги флота – крепки, как бронь,За жизнь народа несем огонь.Германским зверям мы отомстим.В победу верим – мы победим!Рулевые, колыхаясь на снегу черной и плотной стенкой, вели свою песню, и грубые голоса боцманов, входивших в состав этой роты, задавали тон остальным:

Пусть в море нас ветер встречает,«Гремящий» не сбавит свой ход,И стаи стремительных чаекПроводят гвардейцев в поход…Вот и новогодняя ночь – для многих она первая, которую они проведут вне дома. Перед разводом по кубрикам Кравцов поздравил юнг.

– В новом году, – пожелал он роте, – усильте свои успехи в учебе и дисциплине. А сейчас можете весело праздновать.

– Чего праздновать? – спросил Синяков. – Выпить дадут?

– Я дам тебе выпить, – сказал лейтенант Витьке. – Кусок хозяйственного мыла разведу в самом большом ведре с водой – и можешь пить, сколько душа твоя примет…

Время шло к двенадцати, но старшина Росомаха сегодня не рычал, чтобы юнги расползались по нарам. По радио передавали новогоднюю речь Калинина. Савка вышел в тамбур, взял лыжи покороче и прямо с горушки нырнул в ночной лес. Ему хотелось побыть одному, чтобы домечтать обо всем, что еще не исполнилось в жизни и, кажется, не скоро исполнится.

Савка чересчур размечтался и на крутом спуске врезался в ствол сосны. Еще не опомнился, глядя на яркую россыпь звезд над собою, как рядом с ним просвистели чьи-то лыжи и тень человека воткнула в глубокий снег палки.

– Вставай, пентюх, – сказал ему Джек Баранов.

– Это ты? Чего ты здесь?

– Да увидел, что ты ушел, тоже стал на лыжи и побежал за тобой. Ночь… лес… мороз… Мало ли что может случиться!

Так закончилась эта новогодняя ночь, и когда юнги вернулись в кубрик, рота жила уже в году следующем, а Росомаха рычал так же, как и в прошлом году:

– Задрай все пробоины, какие имеешь… Спать, спать!

\* \* \*

Утром Росомаха тащил со спящих одеяла:

– Раздрай глаза, кончай пухнуть… Эй, с Новым годом тебя!

Еще босой, старшина прибавил в репродукторе громкость, и кубрик заполнил голос московского диктора. Совинформбюро сообщало о провале гитлеровских планов под Сталинградом: уже разгромлено полностью тридцать шесть дивизий противника, из их числа шесть танковых полегли в степях крупповскими костьми. В конце сводки диктор сказал: вступила в строй третья очередь Московского метрополитена.

– Здорово! – торжествовали москвичи. – Москва-то строится…

Савка, стеля койку, спросил Баранова:

– Джек, тебе в Москву хочется?

– А чего я там не видел, кроме Клавочки? Москва от меня не убежит. Главное сейчас – подводные лодки. Без них мне – труба!..

Год начался великолепно; что ни день, то новое сообщение: второго января отбиты у врага Великие Луки, третьего – Моздок, четвертого – Нальчик, а пятого – взяли Цымлянскую и Прохладный. Шестого января в кубрик ворвался до предела взволнованный Игорь Московский:

– Слушайте, братцы! Я сейчас такое узнал, что даже сомневаюсь – верить или не верить?

– А что опять случилось?

Старшой класса пожался в дверях:

– Да ведь скажу вам, так вы меня поколотите.

– Выкладывай, что унюхал. Примем с миром.

– Погоны у нас вводят… Погоны!

Долго молчали, потом Артюхов сказал Игорю:

– Перекрестись, бобик… Какие еще там погоны?

– Ей-ей. Слышал, как лейтенант говорил об этом.

Джек Баранов был явно растерян – даже поглупел:

– Да как же так? В кино, бывало, конники кричали: «Бей белопогонников!» А теперь… Ничего не понимаю.

Финикин тоже не отказался от дискуссии:

– Так то белые, а нам нашьют красные.

На него заорали изо всех углов:

– Иди ты! Какие красные… на флоте-то!

– Это не пойдет! Уж тогда синие… или белые.

Посидели и подумали. Коля Поскочин сказал:

– Не знаю, как вам, а мне это нравится. Честно скажу, все у нас есть, а вот на плечах всегда чего-то не хватало.

– Вообще-то, конечно, правильно, – поддержал его Артюхов. – Разве можно представить себе Нахимова или Макарова без погон? Вон развешаны у нас по кубрику их портреты… Что тут позорного? Все армии мира носят погоны, и нам, русским, они тоже к лицу!

Скоро им зачитали приказ: для поднятия воинской дисциплины и выправки, ради большей авторитетности советского воина в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР ввести ношение погонных знаков отличия. «Надевая традиционное отличие – погоны в дни великих победоносных боев против полчищ немецких захватчиков, Красная Армия и Военно-Морской Флот тем самым подчеркивают, что они являются преемниками и продолжателями славных дел русской армии и флота, чьи подвиги нашли признание всего мира…»

– Вопросы есть? – спросил Кравцов, закончив чтение.

Был ясный морозный денек, вовсю наяривало солнце.

– Есть! Когда наденем погоны?

– Без погон не останетесь. Что положено, то положено.

– А что напишут на юнговских погонах?

– Тоже не советую волноваться: что-нибудь придумают.

– Какие там погоны! Нам еще и ленточек не выдали…

– Ты же в шапке стоишь, – отвечал Кравцов. – Зачем тебе на ушанку ленточка? Подожди лета, а сейчас не теряй хладнокровия… Товарищи юнги, – призвал роту лейтенант, – прошу ответить на этот указ новым подъемом в учебе и особенно – в дисциплине…

Только все разошлись, как из тамбура раздался голос:

– Идите скорее смотреть! Там боцмана насмерть бьются.

Все кинулись в землянку боцманов, над входом в которую висела броская надпись: «ЛУЧШИЙ КУБРИК ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ПОРЯДКА И ДИСЦИПЛИНЫ». Словно подтверждая эту широковещательную вывеску, Мишка Здыбнев давал прикурить Витьке Синякову. Парни они оба здоровущие, кулаки у них крепкие – по кубрику летали лавки, кровать старшины грохнулась в сторону… Бились!

Один боцман держал кошку, чтобы кисоньку в драке не помяли.

– За что они так? – спросил его Савка.

– Точно и сам не знаю, – ответил тот, гладя кошку. – Но оба они курящие. Думаю, не из-за махры ли сцепились?

Два парня бились зверски – кулаки их работали, словно шатуны в паровой машине. Хрясть да хрясть! Кто-то из юнг кричал:

– Эй, не пора ли кончать? Побаловались – и хватит!

Другие на это возражали:

– Погоди ты! Пускай Витьке хотя бы нокдаун сделают…

Обрушив вешалку с шинелями, Синяков треснулся на идеально чистую «палубу», пахнущую мылом, содой и хвоей. Здыбнев сказал:

– Ну, как? Получил свое?

Прибежал командир роты, и драка кончилась.

– Ведь только что, минуту назад, я говорил о дисциплине. Здыбнев, как не стыдно? Отличник и старшой… За что бил Синякова?

– Он знает, за что ему дали, – ответил Мишка лейтенанту.

Синяков выбрался из груды шинелей, потрогал разбитую губу.

– За что тебя избил юнга Здыбнев?

– Не знаю, – хмуро буркнул Витька. – Нотами не обменивались.

Явился боцманский старшина, и Кравцов наказал ему:

– Готовь документы в кремль… отправим на гауптвахту!

– На которого готовить?

– Оба хороши…

Савка Огурцов пошел за Мишкой к проруби озера. Боцман брызгал на себя ледяной водой, озлобленно фыркал в черную впадину полыньи. Потом Мишка накрепко вытерся вафельным полотенцем.

– Вот собака! – сказал он, глядя на другой берег.

– За что ты Витьку так изметелил?

– И тебе не скажу, – ответил Савке Здыбнев. – Но, поверь, не за себя. За одного нашего дурака морду Витьке набил…

В одну из ночей Савка дневалил по роте, когда из Савватьева притащилась Бутылка, волоча за собой санки по снегу. Из кубрика боцманов вывели юнгу, с одеялом на плечах, в сильном жару.

– Что это с ним? – спросил Савка. – Простудился?

– Ну да! Мы не простудные… Он накололся!

– Как это… накололся? – не сразу понял Савка.

– Татуировку ему кто-то сделал. Говорят на Синякова.

Бутылка, прядая заиндевелыми ушами, повезла пижона в санчасть. Савка тут догадался, за что бил Витьку славный парень Здыбнев.

– А что он хоть наколол-то себе? – спрашивал.

– Да штурвал на груди… баранку с рогульками.

Боцмана гнали Савку из кубрика, чтобы не мешал досыпать.

– Штурвал, – сказал он, уходя, – это же старомодно. Сейчас с моторами. Медленный поворот – отработаешь одной рукоятью. Нужен резкий – кладешь на борт сразу две рукояти.

– Иди, иди! – выставили его. – Без тебя все знаем!

…В январе была прорвана блокада Ленинграда.

– Теперь бабушка выживет, – сказал себе Савка.

\* \* \*

Шло время. Юнги учились, здоровели, глубоко дышали и всячески развивались. Морские понятия, всегда точные и кратко выраженные, мореходная техника, блещущая медью и оптикой, уже заполнили сознание юнг, – они входили в их быт, как неизбежные представления о жизни. Человек ведь не удивляется тому, что в мире существуют тарелки, ложки и вилки, – так же и рулевые стали считать неотъемлемыми от жизни секстан, эхолот, анемометр, одограф и пеленгатор.

Язык юнг тоже изменился.

– Сегодня, – говорил старшой, входя утром в землянку, – ветер от норд-оста, балла в три, не больше. На зюйде клубятся темные кумуле-нимбус. Наверное, я так думаю, опять будет снегопад…

Знание семафора приносило свои плоды. Раньше, издалека завидев своего товарища, юнги начинали орать ему, надрывая горло в крике. Теперь в каждую руку по шапке – и пошел отмахивать. Рулевые должны знать и астрономию; правда, без высшей математики, без телескопов. Алмазный небосвод над Савватьевом наполнился новой и понятной азбукой. Уже не просто глазели на звезды – искали, что нужно.

– Вот эта, ниже Гончей Собаки, видишь? Это Волосы Вероники, а между Медведицами, словно рассыпали соль, протянулось созвездие Дракона… Где же тут Честь Фридриха? Не могу найти…

Все почувствовали, что незаметно повзрослели. Ответственность, она ведь тоже подтягивает человека. Долг, честь, присяга – это не пустые слова, такими словами понапрасну не кидаются. Огурцов был малым добросовестным, но, помня завет отца, не желал быть выскочкой. А потому свою любовь к гирокомпасам, бурную и нечаянную, он от товарищей скрывал. Савкой двигал в этой любви простой интерес, в ту пору – еще мальчишеский…

До войны в Доме занимательной науки и техники Савка видел стиральную машину, которая казалась ему тогда чудом двадцатого века. И гирокомпас Аншютца внешне чем-то напоминал ее; но, заглянув сверху в стеклянное окошечко, он увидел там, конечно, не крутящееся в мыльной пене бельишко, а строгую румбовую картушку. Рядом с «аншютцем» в кабинете Сайгина стоял и «сперри», но Савку он менее привлекал из-за своей примитивности. Юнга разочаровался, узнав от мичмана, что ротор «сперри» при запуске подталкивают руками в направлении истинного меридиана…

Помогая мичману оборудовать кабинет, Савка, спрашивал:

– Вот соберем схему, тогда «аншютца» запустим?

– Нет нужной энергии. Гирокомпас берет судовой ток, перерабатывает его на генераторе в трехфазное питание, снабжая им матку и всю свою схему. Необходим и четкий пульс водяного охлаждения…

Савка немел от восторга! Два гирокомпаса Аншютца помещены в гиросферу, напоминавшую планету, – у нее были полюсные шапки и даже экватор с градусной маркировкой. Из учебника Савка уже знал: вскрыть гиросферу – значит разломать ее, гиросфера создается в точнейших лабораториях страны один раз и навсегда! Плавая в жидкости, как планета в мировом пространстве, гиросфера начинает свое движение – влево, вправо, влево, вправо: так она отыскивает истинный меридиан! Постепенно ее колебания становятся мельче, и, наконец, они затухают совсем – гирокомпас нашел истинный норд, стал показывать истинный курс!

Сайгин, радуясь тому, что сыскал в ученике беззаветную любовь к гирокомпасам, охотно давал объяснения.

– Все очень просто! – говорил он Савке. – Температура «шарика» в работе приближена к человеческой. Когда же термостат подскочит к сорока одному градусу, значит, между сферами перегрелась жидкость. В этом случае «горячка» гирокомпаса может привести к катастрофе весь корабль и его команду.

– А если я прохлопаю этот момент?

– Должна выручить автоматика. При перегреве в гиропосту корабля вспыхивают красные лампы аварийного освещения.

– А я… заснул и не вижу никаких ламп. Тогда как?

– Тебя разбудит сирена ревуна. Гирокомпас потребует, чтобы срочно усилили подкачку воды на помпе. Опасный жар в нем исчезнет, и гирокомпас сам погасит красные лампы. Снова врубит спокойные – синие… Ты штудируй учебник Дэ Михайлова, а читать профессора Бэ Кудревича тебе рановато.

В руке мичмана – маленькая книжечка с загадочным названием: «ПШС». [4]

– Дадите с собой почитать?

– Нет. Читай здесь. У меня такая только одна…

Савка забрел в клуб, где размещалась юнговская библиотека. Здесь он встретил и Аграмова, который, водрузив на нос очки, блуждал среди стеллажей, отыскивая для себя чтение.

– Мне, – сказал Савка вольнонаемной библиотекарше, – дайте «ПШС».

Лохматые клочки бровей Аграмова удивленно вздернулись над стеклами очков, но он смолчал, прислушиваясь.

– Нету такой, – отвечала библиотекарша. – Почитай-ка лучше «Морскую практику» своего начальника товарища Аграмова.

Эта попытка беспардонной лести, кажется, не пришлась по вкусу каперангу, и он сердито крякнул за стеллажом.

– Спасибо, – приуныл Савка. – «Морская практика» у нас в классе лежит, по ней учимся. Значит, «ПШС» нету… Жалко, что нету. Ну, тогда дайте мне каких-нибудь стихов. Чтобы покрасивей были!

Библиотекарша долго не размышляла:

– Вот тебе песенник для самодеятельности.

Савка взял песенник и уже собрался уходить, когда Аграмов выбрался из-за стеллажей. Палец капитана первого ранга, словно хищный крючок – дерг, дерг, дерг! – притянул юнгу к золотым пуговицам его мундира (начальник Школы юнг уже носил на плечах погоны).

– Напомни мне, пожалуйста, – сказал Аграмов, – о чем говорится в «ПШС»?

– Гирокомпас «новый аншютц» советского производства.

Начальник школы снял очки и сунул их в карман.

– А зачем тебе это? – вопросил строго.

– Хочу знать. Очень интересно. Сейчас-то уже попривык, а раньше спать не мог… Жаль, нет на Соловках трехфазового питания!

Аграмов веселейше расхохотался:

– Как же нет? Именно трехфазовое питание: завтрак, обед и ужин… А зачем тебе, рулевому, три электрофазы?

– Если б наша подстанция в Савватьеве дала три фазы по триста тридцать герц, мы бы его запустили.

– Кого запустили?

– Гирокомпас…

Аграмов с любопытством взирал на маленького юнгу.

– А откуда ты знаешь, как надо его запускать?

– Это просто. Врубаю переключатели на борт. Вспыхивает синяя лампа. Потом – щелк! Значит, реле сработали. Ага, думаю, все в порядке. Теперь не зевай. Смотрю на ампердатчики. Стрелки показывают от двух до трех ампер – я спокоен! Все идет как надо. Тогда я лезу прямо под койку и там… там…

– Стой! – задержал Аграмов бурную Ниагару слов. – Под какую же койку ты собираешься залезать?

– Так надо.

– Да при чем койка-то?

– Я собираюсь служить непременно на эсминцах, – деловито растолковал Савка, – а мичман Сайгин сказал мне, что моторы водяных помп на эсминцах установлены ради экономии места под койкой штурманского электрика… Вот я и полез туда! Чтобы включить…

Аграмов круто повернулся к библиотекарше:

– Выдайте ему «ПШС»! Он, ей-ей, стоит того.

– И дала бы. С превеликим удовольствием, – отвечала барышня. – Да нам не прислали. Он же из роты рулевых, а штурманских электриков у нас не готовят…

– Жаль, – вздохнул на это Аграмов.

Он забрал из рук Савки песенник, раскрыл наугад:

Эх, гармонь моя, гармонь —Говорливы планки.Каждый вечер по селуБродят три тальянки.– И тебе это нравится? – хмыкнул он, спрашивая.

Савка молчал. По наивности он думал, что все напечатанное хорошо уже только потому, что оно напечатано.

– Не трать попусту время, мальчик, – наказал ему Аграмов, возвращая песенник библиотекарше. – Заберите у него это… барах-ло! Дайте Блока! И запомни, юнга Огурцов, на всю жизнь: лучше уж совсем без книги, нежели с плохой книгой.

– Есть! – ответил Савка.

Свершилось: капитан первого ранга Аграмов пожал ему руку.

\* \* \*

С первого апреля юнги станут сдавать экзамены за первый семестр обучения. Эта весть словно подхлестнула каждого – алчно, как голодные на еду, юнги набросились на учебники. Даже плохо успевающий Финикин оживился: ходил по кубрику и бубнил, бубнил:

– Вся служба корабля делится на боевые части, всего их семь. БЧ-I – штурманская, БЧ-II – артиллерийская, БЧ-III – минно-торпедная, БЧ-IV – наблюдательная и связи… Люки и горловины имеют маскировку из трех литеров: «З» – задраены постоянно, «П» – по приказу, а с литером «Т» их задраивают только по тревоге…

Заскочил в кубрик рулевых Витька Синяков.

– Извозчики, неужто чинарика не найдется?

– Мы некурящие, – сказал Коля Поскочин.

– По соплям вижу, – приуныл Синяков…

Очевидно, потому, что несчастный все время мечтал о табачной затяжке, у него совсем не было времени как следует учиться.

Росомаха так сказал Витьке:

– Обалдуй и охломон ты порядочный. Таких, как ты, у которых мозги в дыму, будут при выпуске отправлять прямо на ТОФ.

– Меня? На торф? – очумело спросил Синяков, ослышавшись.

– Балда! На Тихоокеанский флот, где воевать пока не надо…

Синяков отмахнулся:

– А плевать! Как-нибудь и там прошкандыбаюсь. Вам-то всем, – обратился он к юнцам, – еще табанить и табанить. А мне уже призывной возраст подходит. Пяток лет отваляю во славу Отечества и – кепочку в зубы, фертом пойду на бережок…

Когда двери за ним закрылись, Джек Баранов сказал:

– Топить таких надо. Чтобы они до берега не доплыли!

Скоро стало известно, что те юнги, которые ловчили на политзанятиях, хлопая ушами, должны жестоко поплатиться за свою халатность. События в войне на суше и на море, политическая обстановка в стране и за рубежом были включены в программу предстоящих экзаменов. Германия после поражения под Сталинградом была погружена в траур, а на фронте наступила полоса короткого затишья. Но враг еще силен и коварен, он еще не однажды способен напрячь свои силы, и им – юнгам! – еще предстоит с этим врагом схватиться…

Кравцов частенько появлялся в роте; правая рука обязательно в кожаной перчатке, а левая держит смятую перчатку.

Аккуратист флотского толка, лейтенант был помешан на чистоте.

– Посмотри на мои ногти… видишь? Неужели так трудно привести и свои в порядок? Как же ты собираешься на флоте служить, если грязно под ногтями? Старшина, я недоволен. Плохо, плохо…

Росомаха, навытяжку, «ел» лейтенанта глазами.

– Слежу. В уши по утрам заглядываю. Ноги мыть заставляю…

Кравцова юнги спрашивали о предстоящих экзаменах.

– Все будет, как было в школе, – успокаивал их лейтенант. – Подходите к столу и тянете билет. Кто знает – отвечает, кто не знает – тому кол.

Да, он был прав! Все было как в школе. Тунеядцы мастерили шпаргалки. В этом искусстве особенно отличался Финикин, в котором не угасала странная любовь ко всему миниатюрному. Раньше, пока его не отучили, он резал свою пайку хлеба на крохотные долечки, словно воробьев кормить собирался. Теперь столь же микроскопически он исписывал свои шпаргалки, и мельчайший бисер пота покрывал его незадачливую голову… Перед отбоем он долго ворочался.

– Мне бы на Черноморский! – вдруг сознался, терзаясь.

– Зачем тебе на Че-эф? – удивились юнги.

– Тепло там… опять же и фрукты.

Федя Артюхов терпеть не мог Финикина и сказал:

– Эй! А ты Гольфстрима не хочешь? Он тоже теплый…

– Ловчила ты, Финикин, – раздался голос Джека Баранова. – Черноморцы зубами в горло врагам цеплялись, а он, видите ли, собирается абрикосы на флоте шамать…

Финикин обиженно свесил с высоты свой рыжий котелок:

– Чего ты там треплешься? Лежишь внизу – и лежи дальше. Фрукты – это так, к слову пришлось. А я знаю, что Севастополь брать надо!

– Подпустил под климат сознательности, – заметил Коля Поскочин…

Колесник уже спал на своей койке, замотавшись с головой одеялом. Росомаха скинул штаны, прошлепал через кубрик к штепселю:

– Гашу свет! Задрай на себе все люки и горловины…

Во мраке кто-то измененным голосом сказал:

– Тоже мне старшина! Не знает, что на флоте не гасят и не выключают. На флоте иначе говорят – вырубить!

Росомаха нырнул под одеяло и потом ответил:

– Ты мне там еще поговори. Яйца курицу учат…

Скрипнула под ним койка, и наступила тишина. Красные отсветы пламени, исходя от жаркой печки, долго блуждали по рядам коечных нар. Никто не хотел спать по команде. Вскоре в потемках кубрика заквакали лягухи, закуковали кукушки, замяукали кошки и со звоном залетали комары. Это началась ежедневная проверка старшин «на бдительность».

– Ку-ку! Мяу-у… Взззззз… Ква-ква!

Старшины не шевелились. Уже задрыхли как мертвые.

Джек Баранов первым скинул ноги с койки:

– Уморились они за день с нашей бандой. Вставай, ребята.

Во мраке поднимались юнги. Бесшумно и ловко, как обезьяны, они карабкались с верхних этажей на палубу. Сходились к печке.

– Теперь, – радовались, – и поговорить можно от души…

К полуночникам подсел Финикин.

– Знать бы, – терзался он, – какие вопросики на экзаменах будут? Вот бы где-нибудь достать их заранее. Тогда подковался бы!

Коля Поскочин запихнул в утробу печки большое полено.

– История, – сказал он, – любит повторяться. Гардемарины Морского корпуса его величества перед экзаменами бывали обеспокоены таким же вопросом, какой задал нам сейчас и товарищ Финикин…

Мечтательно он смотрел на пламя, лизнувшее сырое дерево.

– Обычно, – начал Коля, заметив, что от него ждут рассказа, – к весне гардемарины складывались, от подачек родителей у них образовывалась немалая сумма. А вопросники к экзаменам печатались в типографии Адмиралтейства. Литограф, готовивший камень для производства печатных оттисков с вопросами, был гардемаринами давно и прочно закуплен. Он с машины снимал несколько лишних оттисков, отдавал их гардемаринам заранее и за этот риск каждую весну имел с них полтысячи рублей… Деньги тогда немалые!

Коля замолчал, вспоминая, но его тут же затеребили:

– Чего застопорил? Трави дальше до жвака-галса.

– Значит, так. Адмиралтейство пронюхало, что дело с экзаменами в корпусе его величества не совсем чисто. Самые отъявленные лентяи сдавали весной экзамены превосходно. Дознались, откуда исходит предательство казенных интересов, и к типографской машине Адмиралтейства приставили жандармов. А литограф, человек многосемейный, страсть как нуждался в дополнительном заработке. Что делать? Жандармы – народец строгий. Положено дать сто оттисков, после чего – ни одного лишнего, и камень жандармы тут же раскалывают на куски. Наш бедный литограф заметался… Машина стучит, уже прошло за полсотни. Вот и все сто! А задаток-то от гардемаринов он уже получил. И уже проел его… На один только миг отвернулись жандармы, как литограф спустил с себя панталоны и сел на литографский камень, пардон, ягодицами.

– И что?

– И все вопросы отпечатались с камня на его двух половинках. Пошел он к гардемаринам, повиливая этими вопросами. Так, мол, и так, господа. Строгости невозможные. Но один оттиск удалось для вас сделать. Прежде, позвольте, сниму штаны… А надо знать гардемаринов – белая кость, дворяне, графы, князья! Возмутились они. «Чтобы я, гардемарин Кампо-де-Сципион, ведущий происхождение от царицы Савской, – чтобы я с этого кретина вопросы сдувал? Да никогда! Лучше уж завалюсь на экзаменах…» Никто не хотел снимать копию.

Литограф стоял между господами без штанов и ждал, когда ему отвалят все пятьсот рублей. Наконец гардемарины решили бросить жребий: кому достанется из них списывать?

В рассказ вмешался Джек Баранов:

– А не травишь ли ты? У меня отец всю жизнь в типографии работал. Я знаю, что литографская краска несмываема. А как же он потом в баню ходил, если на нем можно вопрос прочитать: «Что вы знаете об отношении величины параллакса к данным удаления небесных светил?» Ведь он так и помер с этим вопросом!

Поскочин помолчал, затем тихонько признался:

– Нет, это не травля… сущая правда. Мне это рассказывал мой дедушка. Ему по жребию и выпало тогда списывать.

Отсвет огня упал на глаза Поскочина, и Савка заметил, что глаза Коли блеснули затаенной печалью… Финикин сказал:

– Ага, сам проболтался! Выходит, ты из «бывших»?

Поскочин ответил ему – в ярости:

– Я тебе не бывший! Я самый настоящий сегодняшний. А если я бывший, так ради чего, спрашивается, я на флот пошел?

Скрипнула кровать старшины, и Росомаха вскочил:

– По-хорошему вы не понимаете, что спать надо? А ну, брысь от печки! Баранов, срочно прими балласт и иди на погружение… Иначе завтра всех пошлю с лопатами снег убирать…

Перед сном Поскочин все же успел шепнуть Савке:

– А помнишь, меня Аграмов однажды из кубрика вызвал?

– Помню. Так и не сказал ты, о чем тогда говорили…

– Теперь скажу. Мой дядя, будучи мичманом, вместе с Аграмовым на броненосце «Ослябя» сражался в Цусиму… На руках мичмана Аграмова в третьей батарейной палубе и умер тогда мичман Поскочин! Двести лет подряд Поскочины умирали за Россию на морях и океанах. А потому в отношении меня это лишний разговор – люблю я море или не люблю. Я просто обязан быть на море.

\* \* \*

В кубрике рулевых висела карта страны, и в обязанности дневальных входило передвижение булавок с красными флажками. За последние четыре месяца флажки далеко шагнули на запад – некоторые до семисот километров… Март закончился, начало апреля было отмечено снежным бураном.

– Первый апрель – никому не верь, – сказал Росомаха. – Во как задувает… Вы только послушайте! Будто в трубе…

Коля Поскочин прочитал стихи на апрельскую тему:

Брови царь нахмуря,Говорил: «ВчераПовалила буряПамятник Петра».Тот перепугался:«Я не знал – ужель?»Царь расхохотался:«Первый, брат, апрель!»

– Это кто? – спросили юнги.

– Пушкин… Кто же еще? – ответил Поскочин и снова уткнулся в пятидесятый параграф «Учебника рулевого» (разборка и сборка лага Уокера).

С улицы шагнул в кубрик Федя Артюхов. Он был без шинели, на воротнике его гюйса лежал пласт сырого тяжелого снега.

– Вот это метель! – сообщил он. – А говорят, Аграмов сегодня утром укатил в кремль… У мотористов уже принимают экзамены.

Савка зажал себе уши ладонями, впился в учебник по маневренности корабля. Плакидов – зверь и обещал всех юнг съесть без масла, даже не посолив, если подведут его на экзаменах. Кубрик наполнялся бубнением, шепотами, долбежкой. Кто смотрел в потолок, а кто, наоборот, крепко зажмуривался. В середине дня, в самый разгар метели, вдруг приехала особая комиссия из высших чинов. Росомаха с Колесником даже побледнели. Высшие офицеры вошли в кубрик и выставили старшин за двери. Кравцов тоже допущен не был. Юнг построили классами – по «бортам».

– Мы прибыли для выявления жалоб и претензий. Каждый имеет право, никого не боясь, высказать недовольство по службе или по начальству. Но говорить вы должны только за себя. Коллективных жалоб принимать от вас не будем… Пожалуйста! Просим вас…

Юнги стойко молчали. Наверное, в этот момент кой-какие обидные мыслишки у них шевелились. Вот старшина послал гальюны драить вне очереди, хотя… Все это не то – мелочи!

В составе комиссии был и контр-адмирал Броневский.

– Что же молчите? – спросил он. – Неужели все у вас так уж гладенько? Наверное, имеются и недовольные чем-либо. Или незаслуженно обиженные. Говорите, мы вас слушаем…

Нет, таких не было.

– У меня есть жалоба! – выкрикнул Поскочин.

Члены комиссии, кажется, даже обрадовались, что не уйдут пустыми. Сияя золотом погон и нашивок, они двинулись на маленького юнгу, нагнулись к нему с заботой, готовые слушать…

– У меня претензии к командиру нашей роты лейтенанту Кравцову. Я повесил над своей койкой «Данаю» Рембрандта, а он сказал, что такие темы не для кубриков. Насколько мне известно, – смело продолжал Коля, – на флоте не запрещено вешать над койкой картинку. Тем более я вырезал «Данаю» из советского журнала, вышедшего в грозный военный год. И я не виноват, что мне нравится «Даная», а не пейзажи Левитана. Что делать?! Один любит арбуз, а другой свиной хрящик. Почему мне иметь «Данаю» нельзя, а лейтенанту Кравцову можно? Мы ведь с ним равноправные служащие флота, только он лейтенант, а я пока юнга!

Выпалил и замолк.

Члены комиссии переглянулись.

– Ваша претензия будет нами рассмотрена…

Старшины уже измучились за дверью. Что-то там намолотят орлы-ребята? Как бы по шапке не попало… Наконец комиссия удалилась, унося одну-единственную претензию, в которой был замешан великий Рембрандт… Юнги с гамом разошлись.

– Тебе от лейтенанта нагорит, – сказали они Коле.

– А пускай… Надо же уважить и комиссию. Заслуженные люди тряслись в такой буран, чтобы узнать, довольны ли мы, а вы уставились на них словно бараны на новые ворота, и – ни гугу! Так хоть я оправдал их поездку… Пускай теперь выкручиваются!

К вечеру буран стих, взошла луна, на сугробы легли тени деревьев. Вокруг была такая тишь и красота, что просто дух захватывало. С удовольствием юнги строились на улице для поверки. Комиссия выявила лишь мелкие недостатки службы, и лейтенант Кравцов, судя по его частым белозубым улыбкам, был доволен. И погодой, и собой, и своими юнгами!

В конце поверки Кравцов сообщил:

– Поздравляю! Завтра первый экзамен – сигнальное дело. А сейчас… Юнга Вэ Синяков, выйти из строя.

Из рядов боцманов шагнул Витька. Бац-бац бутсами. Застыл.

– Ваша претензия относительно невыдачи вам, как курящему, табачного довольствия будет особо рассмотрена в авторитетных верхах. А пока мне велено передать всем, что отныне никто из юнг, застигнутый курящим, преследоваться мною и старшинами не будет…

От боцманской команды пружинящим шагом Кравцов приблизился к первому классу рулевых. Издали было слышно, как громко хрустит снежок под начищенными до блеска ботинками лейтенанта… Он скомандовал:

– Юнга Эн Поскочин, три шага вперед… арш!

– Тебя, – подтолкнул Савка друга. – Сейчас врежут…

Голова философа едва доходила до груди лейтенанта.

Кравцов полез в карман, извлекая оттуда бумажник. Вынул из него рембрандтовскую «Данаю».

– Комиссия рассмотрела твою претензию. Велено передать, что против Рембрандта никто не возражает. Но эту «Данаю» вешать нельзя. Поищи другую…

Он тут же порвал картинку, а Коля огорчился:

– Где я на Соловках сыщу другую «Данаю»?

В благодушном настроении Кравцов отогнутым пальцем в перчатке нажал на кнопку носа Поскочина:

– Больно говорлив… Иди в строй. Служи дальше…

\* \* \*

На следующий день юнги сняли робы, оделись табельно. Савка шагал в Савватьево, исполненный решимости добыть первую пятерку. Его устраивала только пятерка.

С треском провалился на экзамене Федя Артюхов, вышел из класса, почти шатаясь. Товарищи, сочувствуя, шлепками ладоней отряхивали мел с его фланелевки.

– Тройка, – переживал Артюхов. – Ведь я все знал. Уверен! А тут замигал Фокин на Ратьере… Ну, и пропал сразу!

Московский, как старшой, переживал за всех, взывая:

– Первый класс, чтобы ни одной двойки. С соседнего «борта» класс Колесника крепко поджимает! Не сдаваться…

Вызвали Колю Поскочина. Из-за дверей слышались бойкие ответы его, резкий свист флажков на передаче текста, потом защелкал фонарь Ратьера… Поскочин вышел – хоть бы хны:

– Пять!

Дальше пошло как по маслу: пять, четыре, ни одной тройки. Росомаха, гордый за своих, ходил по коридору именинником.

– Финикин, – говорил он, – не будь рыжим… не подгадь!

Вызвали Огурцова. Юнги, провожая Савку, хлопали по плечам, ободряли:

– Ну, ты не подведешь. Это верняк!

На первый вопрос Савка ответил легко. Фокин болел за каждого ученика. Его можно понять: сигнальный старшина с подлодки, он волею судьбы сделался педагогом, а его работу с юнгами принимали люди в больших чинах. На втором вопросе (устройство мостикового прожектора) Савка впервые споткнулся – не сообразил!

– Вы отвечайте конкретно. Проблески света прожектор дает за счет чего? Как рождаются световые точки и тире?

– Включают прожектор или выключают, – ответил Савка.

– Вопроса не знаете. Прожектор на походе постоянно врублен в бортовую сеть. А рефлектор его закрыт ширмами. Движением рычага сигнальщик то откроет их, то закроет.

С передачей флажным семафором фразы «Отбуксируйте меня в гавань, имею пробоину» Савка справился. Потом Фокин отошел подальше от юнги, прижал к груди коробку Ратьера, и в лицо Савке ударил резкий и острый пучок света. Пальцы старшины защелкали клавишами; в проблесках родилось первое слово «прошу»… после чего Савка сбился. Просил повторить.

– Читай заново, – сказал ему Фокин, досадуя на оплошку.

Савка надеялся, что Фокин станет повторять фонарем прежний текст, запомнив это начальное «прошу». Но Фокин целиком перестроил фразу, и в голове Савки все перепуталось… Ратьер, жалобно мигнув, угас в руках доброго старшины.

– Эх, Огурцов, подвел ты меня. А я-то думал…

– Тройка! – прозвучало от стола комиссии.

Савка готов был сквозь землю провалиться.

– Расквасил ты нам все, – выругал его Московский.

Рядом шагал в строю собрат по несчастью Федя Артюхов.

– Прямо зубы стучат, – признался он Савке. – Завтра-то у нас морпрактика. Принимать будет сам Аграмов. По его книгам учились, ему же и отчитываемся. Стыдно, если срежусь.

Федя подарил классу на этот раз пятерку, сразу повеселел.

– Валяй и ты! – сказал он Савке. – Ничего не бойся.

В кабинете морской практики глядят со стен портреты русских флотоводцев. Пахнет матами и лаками, манильской пенькой; на фанерном стенде висят образцы самых сложных морских узлов. Под стеклянными колпаками замерли модели эсминцев, подлодок и славных фрегатов прошлого. Готовясь отвечать, под портретами вдоль стены уже стояли Джек Баранов – под Нахимовым, Финикин – под Ушаковым, а Савка со своим билетом укрылся под бородой Макарова.

– Кто из вас готов? – спросил их Аграмов.

– Юнга Эс Огурцов готов, – шагнул Савка к столу.

– Без подготовки?

– Без. Вопрос первый. Перечислите разновидности шлюпок, какие знаете, и в чем их основные отличия?

– Так. Прекрасно, – крякнул капитан первого ранга, посуровев.

Савке невольно вспомнилась школа. Сдаешь урок по Лермонтову, но смотрит на тебя не Лермонтов, а учительница, которая и сама-то Лермонтова в глаза не видела. А здесь сдаешь экзамен – и перед тобой сидит сумрачный, внушительный, грозный любимый автор твоих учебников. Савка лихо перечислил все баркасы, ялы, тузики, катера, вельботы, двойки, четверки и фофаны. Закончил перечень знаменитой на флоте шестеркой.

– Сколько шестерка берет людей на веслах?

– В тихую погоду до тринадцати человек.

– Второй вопрос!

– Есть второй! Где находится спардек и шкафут?

– Можешь не отвечать, – сказал Аграмов. – Это и любой котенок знает, где спардек, а где шкафут… Лучше подумай: каким способом корабль может избавиться от нарастания на корпус морских микроорганизмов, не прибегая при этом к захождению в доки?

– Надо завести корабль в реку или лагуну с пресной водой, попав в которую морские микроорганизмы отомрут сами по себе.

– Добро. Какой у тебя третий вопрос?

– Детский, – ответил Савка. – Каким способом крепится якорная цепь за корпус корабля?

– На детский вопрос дай недетский ответ.

– Есть. Существует выражение: «Трави до жвака-галса». Это значит, что вслед за якорем на глубину травится цепь во всю длину, а конец цепи посредством глаголь-гака намертво соединен с кильсоном корабля особым устройством жвака-галса.

– Добро. Зачем там вмонтирован глаголь-гак?

– Когда кораблю необходимо срочно освободиться от якоря, а нет времени для выбирания его с грунта, – ну, скажем, при внезапной бомбежке, – тогда глаголь-гак может быстро отдать цепь.

– Пять. Иди. – Аграмов повернулся к Финикину и Баранову. – Вы готовы?

А впереди еще метеорология, рулевое дело, маневренность и поворотливость корабля, служба погоды и времени, политзанятия. «Мне нужны только пятерки, – внушал себе Савка, – только пятерки!»

На одних «отлично», без сучка и задоринки, шел в классе впереди всех Коля Поскочин. Вечером в кубрике он «травил до жвака-галса» цепь своей бесконечной памяти. Сейчас его якорь подхватил с грунта забвения несчастную «Данаю»…

– …была очень красивая женщина. Она приходилась дочерью Акризию, но оракул Акризию предсказал, что он погибнет от сына Данаи. И вот Акризий, мужик подлый, заключил Данаю в темницу. Но о красоте ее уже прослышал Зевс-громовержец. Чтобы проникнуть в темницу, Зевс просыпался на Данаю золотым дождем. От Зевса она породила Персея, который совершил в жизни немало подвигов. Когда поганый Акризий услышал первый крик новорожденного, он велел Данаю с сыном заточить в ящик и бросить его в морские волны. Но волны прибили их к берегу, после чего отважный Персей отрубил башку горгоне по имени Медуза…

– Вот шкет! – удивлялся Росомаха. – Откуда ты это знаешь?

– Просто я любопытен. А книги читаю внимательно.

Вскоре он опять повесил в кубрике «Данаю», но уже другую.

– Что я вижу? – узрел ее остроглазый Кравцов.

– Тициана! – вздохнул Коля Поскочин. – Хотя рембрандтовская «Даная» мне нравилась больше этой.

– Ты погоди со своим Тицианом. Откуда здесь дама?

– Все та же Даная, осыпанная золотым дождем. Вы мне сказали, что рембрандтовскую нельзя. Чтобы я поискал другую! Вот я и нашел тициановскую. Согласитесь со мной, товарищ лейтенант, что в соловецких условиях это было нелегко…

Кравцов потянулся к картинке:

– Эту тоже нельзя. Поищи другую.

Коля ответил, что он поищет. Выбор у него большой: Данаю писали еще Боль, Госсарт, Корреджо, Блумарт, Караччи, Бланшар, Варикс, де Брейн, Каольварт… И лейтенант отступился:

– Жук ты порядочный! Тебе бы в архиве флота работать… Ладно. Пускай уж висит эта. А то найдешь… Черт тебя знает!

И все привыкли к «Данае». Что тут дурного?

\* \* \*

А дальше Савка – словно заколачивал гвозди: пять, пять, пять, пять. Вот и последний экзамен – электронавигационные инструменты. Савка пошел на экзамен, как на праздник. Теперь он не волновался. Как гурман смакует острые соусы, так и Савка с наслаждением впитал в себя новые понятия: альтернатор, вендмотор, блуждающие токи, статор, дроссель, беличье колесо, соленоид, реверс… Жизнь улыбалась! Сам, по велению собственного сердца, Савка решил стать не только рулевым-сигнальщиком, но и обрести вторую флотскую специальность – штурманского электрика. Он еще не знал, каким важным было это решение!..

Принимали зачет мичман Сайгин с неизменной улыбочкой, элегантный лейтенант Зайцев и… Плакидов, вызывавший у юнг дрожь в коленках. Инженер-капитан третьего ранга был строг и, как выяснилось, знал устройство гирокомпаса ничуть не хуже, чем поворотливость и маневренность кораблей. А мичман Сайгин, завидев Савку, совершил большую ошибку с точки зрения педагогики. Огурцов едва потянул к себе билет, как он сразу влепил ему в табель пять с плюсом. От этого суровейший Плакидов моментально взъярился на Савку, как на личного врага своего.

– Что? – спросил он Сайгина. – Ваш любимчик? Какое вы имели право ставить ему пять, да еще с крестом? Разве он уже ответил?

Савка положил билет с вопросами обратно на стол и при этом заметил, как побледнел мичман Сайгин.

– Ты не можешь ответить? – удивился Зайцев.

– Могу. Но мне достались слишком простенькие вопросы. Спросите меня так… что-нибудь посложнее! А то неинтересно…

Плакидов поднялся, громыхая указкой:

– Возмутительно! Как вы себя ведете? Здесь вам не цирк, а военное учреждение… Сейчас же отвечайте, что взяли!

Но билет Савки уже затерялся в груде других билетов, и он вторично вытянул первый попавшийся.

– Есть! – сказал он. – Позвольте отвечать?

– Садитесь и подумайте, – велел Плакидов.

– Думать надо было раньше, – ответил ему Савка.

Лейтенанта Зайцева от хохота согнуло над столом.

– А мне это даже нравится! – сказал он. – Не дали человеку рта раскрыть, как уже вкатили ему пять с крестом. Теперь ему осталось одно – этот крест нести, пока не свалится…

Плакидов, не слишком-то юнгам доверяя, выхватил из рук Савки его билет, без тени улыбки прочитал сам:

– Вопрос первый: прецессионное движение и затухающие колебания гироскопов в гирокомпасе… Прошу, маэстро!

Савка говорил минут десять, и его не перебивали.

– А ведь знает! – хмыкнул Плакидов. – Второй вопрос: какие приборы работают от матки гирокомпаса?

В десяти словах был дан точный ответ.

– Ну, ладно, – нацелился на Савку Плакидов, откладывая билет в сторону. – А какой самый главный недостаток гирокомпасов?

– Их сложность.

– Еще.

– Гирокомпас, как и человек, укачивается…

– Пять! – сказал Плакидов. – Но без плюса. Уважаемые оппоненты, у кого из вас есть вопросы к этому молодцу?

Зайцев с добрыми намерениями подошел к Огурцову:

– Я вижу, ты изучил материал сверх программы. Сейчас я задам тебе один вопрос… просто так. Если не сможешь ответить, то особой беды не будет. С мостика тебе велели взять глубину под килем на эхолоте. Как ты знаешь, возвращенное от грунта эхо зажигает напротив глубинной отметки неоновую лампочку. И вот ты видишь, что на табло – вдруг! – загорелись сразу две лампочки. Одна слабый, дрожащий импульс на отметке в сто двадцать метров, а четкую вспышку дает лампочка на двухстах сорока метрах… Какую глубину из этих двух ты доложишь на мостик?

Савка глянул на Сайгина, и тот ему кивнул, ободряя. Мичман уже рассказывал юнге о подобных случаях из своей практики.

– Глубина двести сорок метров, – ответил Савка. – А на отметке в сто двадцать под кораблем проходит плотный косяк рыбы. Ультразвук, с трудом пробиваясь через рыбные массы, дает на экране ослабленное мигание лампочки. Зато, пробив толщу косяка, эхо отработает на табло устойчивый импульс от грунта – это и будет истинная глубина под килем!

– Тоже пять, – сказал Зайцев, возвращаясь за стол. – Но если, Огурцов, тебе придется служить на Северном флоте, там, при входе в гавань Полярный, эхолоты кораблей, как правило, отмечают двойной грунт. Очевидно, образовалось плотное одеяло из древних водорослей, которое ультразвук пробивает с трудом… Учти это!

– Есть, – ответил Савка. – Я учту. Спасибо за совет.

Плакидов вслед уходящему юнге погрозил пальцем.

– Не зазнавайся! – крикнул он Савке.

\* \* \*

Потом вся Школа юнг была построена во фрунт перед зданием учебного корпуса. Был зачитан приказ Аграмова: выносили благодарность юнгам-отличникам и тем, кто успешно сдал экзамены. В боцманском взводе был особо выделен Мишка Здыбнев, а среди радистов Савка расслышал имя своего друга – Мазгута Назыпова. По классу рулевых благодарили очень многих, в том числе назвали Колю Поскочина и Савку, – очевидно, тройку его сочли за случайный огрех.

– А каникулы будут? – спросил кто-то, наивничая.

– Каникул на войне не бывает, – отвечал Аграмов. – В нынешнем же году вы должны стоять боевую вахту на действующих флотах. До наступления призывного возраста вы все останетесь в звании юнги. С восемнадцати станете кадровыми матросами. Дальнейшая ваша судьба зависит от вас самих. Но я свято верю, – закончил начальник школы, – что среди вас многие достигнут высокого звания адмирала.

В морозном воздухе зычно разносились голоса ротных офицеров. Черные роты на белом снегу разворачивались и расходились.

Флот – могучий и сложный организм, лязгающий броней, ревущий бурями воздуходувок, весь в пении турбин и в пальбе дизельных клапанов, флот – насыщенный жесткими регламентами вахт, визирующий беглое скольжение противника на четких линзах оптических датчиков, – этот волшебный флот уже приближался к ним!

Эпилог третий

(Написан Саввой Яковлевичем Огурцовым)

Осенью сорок четвертого года я на центральной улице Мурманска нарвался на патруль, стал с ним спорить, и комендант города отправил меня на пять суток в гарнизонную гауптвахту. Эсминец наш тогда стоял в доке, и это меня малость утешало.

Не успел я отсидеть и суток, как утром меня вызвали из камеры. Смотрю – в коридоре похаживает штурман.

– Завтракал?

– Да какой тут завтрак… – отвечаю ему.

Вижу, конвойный несет мне ремень, тащит шнурки от ботинок, отобранные у меня при аресте, чтобы я не повесился. Чувствую, что меня сейчас выпустят. Штурман сказал на улице:

– Звонили с кораблей «плохой погоды». Им срочно нужен штурманский электрик, а своего они отправили с караваном в Исландию. Шагай в Росту – там тебя ждут…

Есть! По шпалам, прыгая через рельсы, я добрался до Росты; возле причала, вижу, тихо подымливает сторожевик. Снег на его палубе – кашей, значит, машины уже на подогреве. Корабли «плохой погоды» назывались так потому, что их имена ничего доброго морякам не сулили: «Ураган», «Мгла», «Тайфун», «Смерч», «Вихрь» и прочие прелести. Штурман на сторожевике – совсем молодой парень. Потому, наверное, и не стал удивляться, что ему прислали мальчишку.

Был он деловито краток и очень вежлив со мною:

– У нас всего три часа до съемки со швартов. Идем в Мотку на обстрел противника. Надо срочно запускать «шарик».

Я понял: за три часа гирокомпас только отыщет истинный меридиан, но его затухающие колебания в поисках норда закончатся, когда сторожевик из Польского залива уже будет выходить в океан. Медлить нельзя! Надо запускать сразу.

– Завтракал? Ну, пообедаешь после команды…

Штурман вручил мне ключи от гиропоста, как бы вверяя с этим ключом и судьбу корабля: от меня теперь зависело многое – курс, верность огня и даже расход боезапаса. Палуба уже вибрировала под ногами. Я привык к эсминцам: там в гиропост через люк лезешь. А тут из кубрика ведет дверь, как в кабинет начальника. Вошел я в гиропост и… ахнул! Передо мной стоял не «аншютц», а гирокомпас системы «сперри», который я по глупости не уважал и который, прямо скажу, знал так себе, больше в теории.

Однако назвался груздем – полезай в кузов. Скинул я бушлат на койку. Потянул через голову фланелевку. Жарко! На эсминцах гиропосты у самого днища, там прохладно, а здесь – словно курорт и через два иллюминатора наяривает осеннее солнце. Я один из них раздраил – посвежело. Обошел я вокруг гирокомпаса, словно кот ученый вокруг легендарного дуба. Не знаю, за что взяться. Весь он какой-то колючий. С ногами, как у паука. Растопырился. Провода выведены наружу. Тронул я легонько за ротор. Тяжелый, дьявол! Ну, что делать? Надо запускать… Как?

В гнезде спрятался от качки графин с водою. Налил полный стакан – хватил залпом. Хоть ты тресни, не могу вспомнить: как запускать «сперри»? Оно и понятно: волнуюсь. А время-то идет. Часы перед глазами. Тикают, проклятые. Если я не справлюсь с этим пауком, из-за меня (только из-за меня) может провалиться вся операция. Я сорву выход корабля в море… А мой предшественник, что уплыл в Исландию, мужик, видать, был хозяйственный. Вижу – целая полочка литературы. И не какая-нибудь белиберда, а комплект всяческих ПШС. Нашел я нужный номер по «сперри». Ну, я вам скажу, вот это было чтение! Каждую страницу я словно снимал в своем мозгу на фотопленку. Голова работала идеально…

Звонок:

– Мостик – гиропосту: когда запуск?

– Запускаю, – ответил я штурману.

Первым делом отключил все станционные рубильники. Быстро, но осторожно. Главное – ничего в схеме не пережечь. Чтобы не полетели предохранители. А потом измучаешься, их отыскивая. Под ротором гирокомпаса нащупал стопорный палец. Проверил уровень масла в резервуарах главных подшипников. Убедился, что в камере ротора достаточный вакуум. Сосуды с ртутью были еще до меня установлены на 69-ю параллель – эту героическую широту великой битвы на советском Севере! Наконец осталось сделать последнее. Я присел на корточки, взялся за ротор и, чтобы облегчить компасу работу, своими руками привел его как можно ближе к истинному меридиану.

Порядок! Можно запускать. Рубильник пошел вперед, бросая на генератор мощный бортовой ток. Завыли моторы. Ротор гироскопа из сплава стали с никелем взял разбег. Получив питание, он почувствовал то, чего не ощущает человек, – силу земного притяжения. Ртуть переливалась в сосудах, воздействуя на него. Передо мною скакали и прыгали стрелки приборов, отмечая начало той жизни, которую я, юнга Огурцов, дал умной человеческой машине. В беготне сигнальных ламп чуялось нечто бодрое. Казалось, дружеские глаза подмигивают мне: «Не бойся!» Генератор уже достаточно прогрелся, и тогда я врубил динамо. Опять нащупал стопорный палец и откинул его в сторону.

Дело сделано – мой «шарик» крутится!

Выдернул из боевого зажима трубку телефона и говорю:

– Гиропост – мостику: исправно вошел в затухающие колебания. Времени у нас в обрез, так я разогнал «шарик» как можно ближе к меридиану – вдоль Кольского залива.

– Можно быть спокойным? – спросил сверху штурман.

– Будьте спокойны, – отвечал я.

– Тогда сбегай на камбуз. Пообедай… Слышишь?

– Некогда! Потом…

Прозвенели звонки общего аврала – к съемке с якоря! Глянул на часы. Через пятьдесят минут гироскоп наберет нужную скорость. От компаса, как от живого существа, исходило приятное живительное тепло. Вот опять звонок:

– Мостик – гиропосту: врубай репитеры!

Да. Пока что курс может давать только матка, а надо, чтобы ее показания были отражены на репитерах – на мостике, на датчиках ПУАО, [5] в рубках управления. Эту сложную работу согласования репитеров с маткой я проделал уже с помощью штурмана. Где-то на репитерной станции меня разочек тряхнуло током, но такие вещи с нашим братом случаются. А темное пятно на пальце от укола током исчезло у меня через три года после войны. Сторожевик уже шел в океан, минуя скалистые берега. Повинуясь штурману, я наконец-то рискнул оставить гиропост – отправился на камбуз.

– Где тут, – спрашиваю, – для меня обед оставили?

– Садись, – сказали коки. – Сейчас отвалим.

Я присел на краешек узкого, как в купе вагона, столика и удивился. Обычно матросы едят ложкой из пузатых железных мисок. А тут передо мною водрузили тарелку с ножом и вилкой, как в ресторане. В окружении жареной картофельной стружки дымился какой-то очаровательный бефстроганов.

– Ребята, – говорю я кокам, растерявшись, – вы меня с кем-то путаете. Я ведь только юнга… Юнга Эс Огурцов из БЧ-один.

– Трескай без разговоров, – был ответ. – Штурман велел дать тебе с офицерского стола. Ты же – гость!

Мне стало смешно: утром хлебал баланду на гауптвахте – и вдруг такое! Я съел все, что дали, а под конец обеда сторожевик стало покачивать, – перед нами уже распахивался океан. Побежал обратно в гиропост, и вовремя прибежал. Иллюминатор, лежащий на сторожевике близ ватерлинии, собрал полную капельницу, и теперь забортная вода струилась по переборке прямо на койку. Привык я к своему днищу на эсминцах, где нет ни одного иллюминатора, и оттого с непривычки плохо задраил барашки.

Зайдя в Мотку, сторожевик открыл огонь всем бортом. Он бил по скрещениям фронтовых шоссе, где копилась техника противника. Тогда мы еще не знали, что это была артподготовка к общему наступлению на врага в Заполярье. От пальбы часто содрогалась палуба. Прямо над моей головой шарахнула баковая пушка, и графин на залпе выпрыгнул из своего гнезда – вдребезги! Система артнаводки зависела от верности работы гирокомпаса, так что в точной стрельбе сторожевика была отчасти и моя заслуга. Потом мне, как участнику наступления, выдали именную книжечку с приказом Верховного Главнокомандующего, и мне уже не пришлось возвращаться на гауптвахту, чтобы досиживать те сутки, которые я не досидел за ношение широченного клеша…

Хорошие были ребята на этих кораблях «плохой погоды». Не забыли и меня при награждениях. За участие в этой операции я получил медаль адмирала Ушакова – с цепями и якорем. И теперь каждый раз, когда я встречаю эту редкую медаль на ком-либо, мне невольно вспоминаются правила запуска «сперри». Удивительно! Сколько лет прошло с той поры, а я и сейчас наизусть помню инструкцию.

Уходя со сторожевика, я гирокомпас вырубил. Но по инерции он еще долго держался строго в истинном меридиане. Только через восемь часов его ротор закончил свой бег и затих, успокоенный.

Разговор четвертый

На столе Огурцова лежала груда книг по абстрактному искусству, и я снова выразил ему свое удивление.

– Да, – ответил он мне, – все непонятное следует знать. Музыка ведь тоже абстракция, однако, слушая ее, мы рыдаем. Уличная реклама и этикетки товаров – абстракция. Обложки книг – абстракция. Театр с его условными декорациями – тоже абстрактен. Но мы не возмущаемся этим. Очевидно, в каких-то зонах жизни абстракция попросту необходима. Но вот «Гернику» Пикассо, – признался Огурцов, – я не понимал, не понимаю и никогда не пойму…

За вечерними окнами темнело. Огурцов прижался лбом к стеклу, что-то высматривая на улице; при этом он продолжал разговор:

– Сейчас уже никто не отрицает один из способов образования – самообразование! Доверить образование самому человеку – значит признать в нем… человека! Я считаю свою жизнь сложившейся чрезвычайно интересно. Но я никогда не ждал, что кто-то придет и сделает ее интересной за меня. Глупо ехать в дом отдыха веселиться, надеясь, что тебя развеселит затейник! А посмотрите вот сюда, в подворотню дома напротив: разве они понимают это? А ведь им сейчас примерно столько же лет, сколько было и нам… тогда!

Через окно я увидел в подворотне стайку подростков. Им было явно некуда деть себя, и они бесцельно стояли, задевая прохожих.

– Сначала появляется в зубах сигарета, – сказал Огурцов. – Затем гитара, оскорбленная мраком подворотни и пошлятиной блатных песен. Сперва сопляки пьют вермут на деньги, выпрошенные у родителей. Позже появляется водка. Наконец в один из дней в этой подворотне сверкнет самодельный нож, и вот уже заливается свисток дворника…

– А вы никогда не пытались к ним выйти? – спросил я.

– Однажды.

– И что вы им сказали?

– Сказал, что они транжиры и моты, уже потерявшие в подворотне громадный капитал. Почему-то капитал всегда представляют лишь в форме рублей. Но я сказал, что главная ценность жизни – время! Они ежедневно тратят на стояние в подворотне самое малое три часа. В месяц получается около четырех суток, а за год примерно пятьдесят… Да, растратчики собственной судьбы!

– Подействовало на них?

– Не-ет, это уже убежденные олухи. Кажется, они вообще приняли меня за чокнутого. По физиономии, правда, не съездили. Не отпихнули от себя и сказали: «Хиляй, дядя, за угол. У нас часы при себе, так что время и без тебя знаем…» Некоторые, можно сказать, живут в этой подворотне. Не знаю, как вам, а мне страшно за потерянную ими юность!

Сытый котище, мягко урча, вспрыгнул на стол и баловнем разлегся под лампой. Савва Яковлевич почесал ему бок.

– Вот, например, звери! – сказал он. – Для них отсутствует понятие абстрактного. А потому они не осмысливают течения времени над миром. Нет прошлого, нет будущего – жизнь заключена лишь в настоящем моменте. Сытость, голод, страсть, негодование или опасность… Но мы-то люди! Правда, время для нас тоже неощутимо. Разве его можно потрогать? Или откусить от него кусочек? Время ведь тоже абстракция, выдумка человека. Но выдумка столь драгоценная, что, не понимая времени, мы неспособны понять и всей нашей жизни…

Он снова погладил кота, а я присматривался к его руке. Заметив мой взгляд, Огурцов несколько раз сцепил и расцепил пальцы.

– Нормально! – похвастал он. – Могу орехи давить.

– А раньше как было?

– Знаете, на Соловках я болей уже почти не испытывал. Но иногда пальцы словно бы немели. Не удалось скрыть этого только от мичмана Сайгина…

– Вы знаете, какова жизнь этого человека сейчас?

– К сожалению, нет. Но если он жив, я хочу передать ему нижайший русский поклон. Этот мичман стал моим адмиралом. Конечно, не всегда адмирал может упомнить своих матросов. Но зато матросы всегда его помнят. Ради моей памяти о мичмане Сайгине, светлой для меня и поныне, прошу вас в повести не изменять его фамилию. Сохраните его подлинную… Может, он жив? Старику станет приятно, что он не забыт.

Я обещал это сделать. Говоря о Сайгине, Огурцов произнес слова, которые я четко сохранил в памяти:

– Истинный меридиан – это ведь тоже абстракция, придуманная людьми для удобства судовождения. Но без этой абстракции сейчас уже не вывести корабля в океан!

Часть четвертая

Без каникул

Я с юных лет был постоянным свидетелем ваших трудов и готовности умереть по первому приказанию, мы сдружились давно; я горжусь вами с детства!

Адмирал Нахимов

Как Авачинская сопка открывает с моря берега Камчатки, так и Секирная гора, далеко видимая, открывает Соловки…

Ранней весной, когда леса еще додремывают под снежной шубой зимние сны, с далекого Мурмана уже летит на Соловки первая чайка. Это чайка-вестница, и отличить ее легко – на шее у нее черное ожерелье. Она садится на башню маяка, что стоит на вершине Секирной горы, и целый день над островом разносятся ее резкие крики… Все вороны, прожившие зиму на Соловках, вдруг разом снимаются, отчаянно галдя, и черная эскадрилья отбывает в сторону материка. А на следующий день уже летят на Соловки чайки, чтобы жить здесь до осени… Местные рыбаки говорили юнгам, что чайка на Соловках – особой породы, которая так и зовется «соловецкой». Впрочем, особой разницы между чайками юнги не замечали.

Весна! Загорелись первые ландыши на полянах.

\* \* \*

Глубокий тыл послал на фронт письма. Их было очень много, этих писем, и писали их, как правило, женщины. Весной часть таких писем неведомыми путями попала на Соловки. По разнарядке, чтобы никого не обидеть, несколько писем было отправлено и в Савватьево.

Росомаха прочитал на одном конверте:

– Отличнику боевой и политической подготовки – имя не указано… Кто у нас тут отличник? – И вручил письмо Огурцову: – Тебе отвечать…

Савка еще ни разу в жизни не получал писем от посторонних людей, тем более от незнакомой тетеньки. Это его так разволновало, что он не стал вскрывать письмо в присутствии класса, забрался с конвертом в густой бурелом, уселся на мягкий сугроб и там прочитал его. Неведомая корреспондентка предлагала Савке встретиться в Костроме в шесть часов вечера после войны. Переписываться она хочет с героем-моряком, который, начав с ней переписку, должен еще крепче бить фашистов. Сама она замужем еще не была, все находят ее очень симпатичной, просит героя прислать фотокарточку…

Вечером, сидя в кубрике, Савка писал ответ, старательно закрывая свое письмо от шныряющих мимо товарищей.

Уважаемая Глафира Степановна!

Сразу сообщаю, что я никакой не герой, мне скоро исполнится 15 лет, а сейчас я отличник учебы, как Вы того и желали. Когда я научусь всему, что надо знать, меня отправят на боевые корабли. Мамы у меня нету, папа пропал под Сталинградом, зато у меня есть бабушка, которая живет в Ленинграде. Вы только не беспокойтесь – кормят нас здесь хорошо. Тут собрались одни некурящие, вдобавок баталеры выдают нам 300 гр. сахарного песку. Сладкое я очень люблю и мечтаю, что после войны до отвала наемся пирожных…

Над ухом Савки раздался голос:

– Нет, вы только гляньте, что этот лопух тут сочиняет!

Письмо отняли, и на правах морского братства оно было прочитано во всеуслышание. Юнги дружно кипятились, возмущенные:

– Как тебе не стыдно? Кто же такие письма с флота шлет?

– А что? – заробел Савка. – Ошибок, кажется, нету…

Игорь Московский был особенно недоволен:

– Твое письмо – сплошная моральная ошибка. Ты кому пишешь? Женщине, которая желает видеть в тебе не сопляка, а героя… Чего ж ты расписываешь, как маленький, про сладкое?

С другого «борта» вмешался и старшина Колесник:

– Если она просит фотографию героя прислать, я согласен свою пожертвовать… У меня как раз физия неотразимая! В Костроме еще не бывал. Почему бы и не заглянуть в нее… проездом.

Савка растерялся оттого, что его личное дело стало общим. В конце концов поручили писать Игорю Московскому, и тот накатал:

Дорогая боевая подруга! Вот уже пятые сутки грохочет шторм силою в 10 баллов по шкале Бофорта. Только что выдержан жестокий бой. Противник в результате побежден. В грохоте океана уже рождается могучая симфония нашей победы. Не горюй, подруга! В шесть часов вечера после войны жди меня на вокзале. Мы не пропадем! Все штаги натянуты, ветер бьет нас в крутой бейдевинд, вовсю скрипят стрингеры, пиллерсы, бимсы со шпангоутами…

Далее по порядку были перечислены части корабельного набора.

– Вот так надо брать их за жабры! – сказал Игорь.

Колесник настойчиво пихал в конверт свою карточку – портрет морского красавца двадцати пяти лет. Но Росомаха идеи своего соседа не одобрил, а юнгам заявил откровенно:

– Сколько вас учу – и все без толку… Я только и спокоен за вас, пока вы дрыхнете… Подумайте сами. Живет себе женщина. Вкалывает по шестнадцать часов у станка. Выкупает пайку хлеба по карточкам, носит ватник и мечтает о том счастье, что настанет в шесть часов вечера после войны… Лучше уж ничего не написать, а врать – подло! Тем более – по отношению к одинокой женщине. А ты, Игорь, – сказал Росомаха старшому, – я ведь дураком тебя не считал. Что же ты? Решил ее стрингером покорить? Огурцов, конечно, сморозил глупость, но зато глупость была честной… Отбой. Дробь атаке. Ложитесь-ка спать!

От такой взбучки покорнейшим образом расползались по этажам своих нар, словно попрятались по квартирам. Долго молчали. Потом любопытный Коля Поскочин свесился в темноту с койки:

– Товарищ старшина… а товарищ старшина!

– Ну, чего тебе?

– Вы разве не спите?

– Во нахал! Разбудил, а теперь спрашивает.

– Прошу прощения. Вы на нашей Таньке женитесь?

– Это ты у нее и спроси, – сдипломатничал Росомаха.

Джек Баранов решил внести в разговор активность:

– А что вы после войны делать будете?

– Займу пост, который и до войны занимал.

– Кем же вы были?

– Я… капитаном был, – не сразу отвечал Росомаха.

– Каким капитаном? – удивился весь кубрик.

– И диплом имею. Корабли водил.

Все примолкли, как воды в рот набрали. Вот это новость!

– Ну да, – продолжал Росомаха, громко зевая. – Окончил техникум водного транспорта. Днепровского бассейна. И до войны уже плавал капитаном речного трамвая в Киеве…

Грянул хохот, от которого тряслись даже нары:

– Речной трамвай… капитаном! Ха-ха!

Росомаха в потемках повернулся к Колеснику:

– Во народец собрался! Пальца не покажи – сразу со смеху помирают… Да что вы трамвай-то мой обхохатываете? Он же шестьдесят тонн водоизмещением. Узла четыре вниз по течению нарезал…

Засыпая снова, старшина ворчал:

– Посмотрю еще, на какое корыто вас посадят…

Утром он озлобленно рвал с юнг одеяла, явно обиженный:

– Вставай! Побудка была! А чего ты дожидаешься?..

До самого учебного корпуса Росомаха заставлял петь песни. Когда репертуар истощился, Джек Баранов легкомысленно запел: «Капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка – это…»

Росомаха не выдержал.

– На месте! – скомандовал он. – Ать-два, ать-два… Ножку! Поднимай повыше, не стесняйся. Я сказал – на месте! Ать-два… – Подсчитывая ногу, он ехидно вставил: – Вам до моего диплома еще топать и топать, как до луны.

– Мы больше не будем, – взмолились юнги. – Да здравствует речной трамвай и его славный капитан Росомаха!

– Прррямо! – разрешил старшина следовать дальше.

Пошли прямо. У каждого под локтем учебники.

\* \* \*

Весна открывала перед юнгами новую красоту Соловков. В прошлую осень, таская бревна и лопатя землю, еще разобщенные и малодисциплинированные, юнги этой красоты вполне не ощутили. А сейчас Соловки хорошели для них с каждым днем. Легкий пар сквозил над подталыми прогалинами. Обнажилось под солнцем богатство леса, полное разнообразия: сосна и береза, ивняки и можжевельники, ели и лиственницы. Не боясь людей, из чащи выходили на поляну олени…

Джек Баранов уже перечитал о подводниках все, что нашел в библиотеке, ни о чем другом говорить не мог. Его предупреждали:

– Нашего брата для подплава не готовят! Учти!

– Ну и что ж? А я буду просить. Буду настаивать…

Однажды старшина Колесник собрался парить брюки. Из кармана выкатился гривенник. Это было так неожиданно, что монету юнги передавали один другому, рассматривая ее, как дикари яркую бусину: «Дай и мне глянуть… Теперь мне!» Они и в самом деле забыли о существовании денег. На всем готовом, обутые и одетые за счет государства, юнги, правда, получали по 15 рублей в месяц. Но тратить их на Соловках было абсолютно некуда, и все жалованье, даже не видя его, они тут же вносили в Фонд обороны, на нужды войны… Этот пустячный гривенник словно дал им понять, что они давненько служат… Скоро все решится, скоро!

Юнги строили планы.

– Я на эсминцы, – мечтал Савка. – Скорость и лихость.

– Линкор – вот коробка! – убеждал всех Московский. – Как шарахнет из главного калибра – костей не соберешь.

– Крейсера-то лучше… Я бы на крейсер пошел.

– «Морские охотники»! – пылко возражал Федя Артюхов. – Это класс! Маленькие. Подвижные. И ничего не боятся…

Коля Поскочин всегда помалкивал.

– А ты на какие хочешь? – спросили его.

– Не могу сказать, что мне это безразлично. Но служить буду на любом. Посадят на баржу – тоже не откажусь.

– Странно. Если так, зачем же тогда пятерки сшибаешь?

– Это мой долг – учиться хорошо. Никогда не забываю о том, что я представитель прогрессивного человечества…

Опять он всех развеселил.

– Вот чудак! Какой же из тебя представитель? Смехотура!

Поскочин ответил на это:

– Сейчас я, конечно, лишь флотская мелюзга. Но ведь все мы собираемся сражаться с фашизмом. А с этой нечистью воюет только прогрессивное человечество. Так что, братцы, с вашего позволения я и вас сопричисляю именно к лучшей, передовой части человечества… Разве не так?

Возразить было нечего. Росомаха поддержал «философа»:

– Он дельно говорит – вы его слушайте. А как с представителей прогресса я с вас еще строже требовать стану!

У него одно на уме – требовать. С него требует Кравцов, а с лейтенанта требуют повыше. Так это колесо и катится до Москвы, до наркома Кузнецова, который, кстати сказать, тоже начинал флотскую жизнь в звании юнги… Росомаха подозрительно поглядывает на своих ребят. Станет он после сажать на свой трамвай пассажиров с арбузами и чемоданами, будет он катать желающих по чудному Днепру при тихой погоде, а вот эти мазурики, остриженные наголо, пойдут дальше… Но сейчас Росомаха не особенно почтителен к будущим адмиралам: когда расшумятся, он цыкает на них:

– Ти-ха-а! В ушах от вас звон… Ти-ха!

Настал день, когда двери кубриков уже не затворяли – и внутрь землянок пахучей волной вкатывало запахи потеплевшей земли. Каждый юнга завел для себя любимую березу, на ночь ставил под надрез ее коры банку. Утром дружно бежали до своих деревьев, пили леденящий зубы настой березового сока… Под конец одного такого дня юнгам велели не расходиться от камбуза после ужина. Между стволами вековых сосен было растянуто широкое полотнище. Всех построили в каре перед экраном, и он ярким пятном вспыхнул посреди темного древнего леса. Сразу настала убийственная тишина…

Показывали хронику!

Человек лет сорока пяти в куцем пальтишке встал на пустую бочку из-под бензина. На шею ему накинули петлю. Он попросил закурить. Милиционер дал ему папироску. Крупным планом среди соловецкого леса возникло лицо предателя. Он жадно досасывал свой последний окурок. Неожиданно пропал звук, и казнь негодяя совершилась в полном молчании. Юнги, не отрываясь от экрана, смотрели, как он повис на веревке, а его небритый подбородок воткнулся в клочок немецкого шарфика на груди. Киномеханик наконец справился с аппаратурой, и над строем юных людей в бушлатах прозвучали последние слова кинодиктора:

– …пусть они знают – им не уйти от возмездия народа!

Назавтра юнги уже разбирали карабины. С утра до позднего вечера на полигоне звучали выстрелы. Из окопов юнги били по мишеням недвижимым. Целились навскидку по щиту, на одно лишь мгновение выскочившему из блиндажа. Они бежали в атаку на мнимого врага, рушились наземь и, смиряя дыхание, выпускали по три пули в силуэт фашиста, вырезанный из фанеры. От щитов летели щепки. Легкий пороховой угар висел над первой зеленью весны.

Неожиданно открылось, что Савка отличный стрелок. Федя Артюхов стал знатоком рукопашного боя – на штыках. Оружейные мастера завозили на полигон ящики с гранатами РГД и лимонками, рубленными в ананасную клеточку. Каждый юнга был обязан сделать боевой бросок гранаты, ощутить хлопок ее взрыва. Над головами юнг, печально зыкая, проносились крупные, в ноготь, осколки разорванного в куски «ананаса». В перерывах между стрельбами юнги ползали по ожившим мхам, – собирали в бескозырки восковую морошку.

– Доживем ли здесь до малины? – говорили, мечтая. – Или она созреет, когда нас уже тут не будет?

Юнгам официально разрешили курить. Сделано это было, очевидно, по настоянию врачей, ибо некоторые куряки, не в силах бросить дурную привычку, стали истреблять в самокрутках что попало – даже листья. Вряд ли это разрешение было оправдано. Получив свободный доступ к табаку, многие некурящие враз стали курящими. Молодость, еще неопытная, любит покрасоваться внешними признаками мужества. Но Савка Огурцов, помня обещание, данное отцу при расставании в Соломбале, курить не стал, продолжая получать за табак лишнюю пайку сахара…

Еще не обстрелянные, но уже всласть пострелявшие, еще не взрослые, но уже курящие, юнги теперь настойчиво требовали:

– Когда же нам дадут погоны и ленточки? Что мы, не люди? Или присяги не давали?

Кравцов устал объяснять нетерпеливым:

– Без ленточек на флот не выпустят. Но, видать, Москва еще не придумала для вас надпись. А погоны шьются…

Когда лед на Соловецких островах потемнел, готовый растопиться под лучами солнца, а первые ондатры уже покинули свои зимние хатки, Аграмов издал строжайший приказ:

– Всем юнгам, исключая больных, спать нагишом!

За долгую зиму юнги привыкли к кальсонам и тельняшкам. Без тельняшки – еще ладно. Но вот снимать вечером кальсоны и залезать под холодные простыни голым… брррр! Росомаха каждый вечер исправно циркачил по этажам нар, проверяя юнг. Бесцеремонно запускал руку под одеяла, щупая:

– Чего это у тебя надето?

– Ой, не надо, – визжал Коля Поскочин, – я щекотки боюсь.

– А что тут… такое шершавое?

– Да я полотенцем вафельным обернулся.

– Ты у нас неженка… снять! – Словно эквилибрист на проволоке, Росомаха полз под потолком дальше. – А это что?

– Трусы, – отвечал Финикин, прежде обдумав ответ.

На это следовала бурная реакция старшины:

– Скажи пожалуйста, какой барин нашелся! Он еще вздумал в трусах спать… Не смеши публику – снимай сразу же!..

В шесть часов утра юнгам разрешалось натянуть на себя только парусиновые штаны от робы. Им устраивали хорошую пробежку строем по лесным дорогам, километра в два-три.

– Дышите! – кричал Кравцов, бежавший с юнгами рядом.

Юнги бежали. Юнги дышали. Юнги привыкали.

\* \* \*

Рыбаки уже выходили в море на весенний лов, и в губе Сосновке выросла гавань юнг – там толпились новенькие шестерки, туда прибыли из кремля катера и вельботы. Сонные тюлени грелись рядом со шлюпками, вытащенными на берег, лениво играли с детенышами-бельками. Но когда юнга рисковал вступить в их игру, тюлени яростно шипели, как кошки, и не спеша култыхали на ластах к воде. Под берегом росли горбылистые березы. Вода гавани часто «задумывалась», как говорят поморы, – перед отливом. Далеко в море убегали камни-поливухи, на которых любили сидеть чайки – белые, с острыми носами. Под бутсами юнг лопались ягоды морского винограда. Визжала, словно сырой песок, морская капуста – ламинария.

Занятий по теории юнги не прекращали. Но с наступлением лета Аграмов решил ускорить физическую подготовку, чтобы юнги – с берега! – хлебнули моряцкой жизни. Условия для закалки моряка были на Соловках идеальными.

Однажды вечерком Аграмов посетил камбуз. Молча, насупив брови, он ходил между столами. Иногда остановится, сцепив пальцы рук за спиной, расставит ноги, словно чугунные кнехты, и упорно следит, как юнга старательно приканчивает свой ужин…

– Очень долго жуете! – заявил начальник школы. – Так дело дальше не пойдет. Здесь вам не харчевня для извозчиков, а флотский камбуз. Привыкайте есть быстро. На кораблях это необходимо…

А далее он произнес речь, будто пропел возвышенную сагу о веслах и парусах. Еще неизвестно, какими путями пойдет развитие флота дальше, но ясно одно, что шлюпка всегда останется главным инструментом в воспитании моряка. Невозможно перечислить все те функции, которые исполняет шлюпка в быту флота. Легче сказать о ее последней, как бы заключительной роли в жизни моряка – при гибели корабля шлюпка его спасает!

– Прошу, – сказал Аграмов, – повторить теорию и устройство шлюпки. Вам предстоит масса удовольствия, сопряженного с тяжким трудом. Обещаю романтику и мозоли тоже! Не только на руках, но и на тех местах, что в былые времена использовались для сечения… В итоге практики у вас должны развиться сноровка, глазомер, быстрота реакции на опасность, способность выходить из критических положений. Ваша воля укрепится. Наконец, что самое главное, вы заглянете в бездну моря…

Аграмов считался лучшим знатоком шлюпочного дела в стране, он был автором учебника по шлюпке, который составил до войны для подготовки офицеров флота СССР; теперь эту книжку штудировали и юнги.

С камбуза Савка возвращался печальный.

– Ты чего, словно муху проглотил? – спрашивали его.

– Да так… особых причин нету.

На самом деле причина была. Савку буквально уничтожила фраза Аграмова: «Вы заглянете в бездну моря». Сколько уже раз, когда другие купались, он сидел на берегу, отнекиваясь, – мол, не хочется сегодня. А теперь перед ним открывалась пучина, и не было сил сознаться перед товарищами в неумении плавать. В этот день Савка не просто заснул – он погрузился в сон, как в омут, его затягивала страшная, свистящая воронками глубина… Бездна!

Ранняя побудка сорвала юнг с коек, как по боевой тревоге. Схватив штаны от робы и надевая их на бегу, через пять секунд юнги занимали место в строю. Следовала команда: «Бего-ом… арш!» – начиналась обычная пробежка. Но сегодня Кравцов повел роту в другом направлении. Рулевые дружно топали к роте радистов. Вот и крутой спуск – прямо с обрыва к озеру Банному…

Савка, работая локтями, сказал на бегу:

– Не может быть, чтобы сейчас… вода-то еще холодная! – Он еще не верил, что его разоблачение состоится сегодня.

Кравцов, стоя на берегу, уже взмахивал рукой:

– Первая шеренга… в воду! Вторая… пошла!

Взметая каскады брызг, рушились юнги на глубину. Шеренгами – по четыре человека в каждой. Задние ряды уже поняли, в чем тут дело, и торопились снимать штаны, которые бросали тут же, где стояли. Савка штанов не снял, а даже крепче вцепился в них.

– Двенадцатая шеренга… в воду! – кричал лейтенант.

Послышался чей-то жалобный вскрик:

– Я не умею плавать. Скажите, чтобы задние не толкались.

– Еще что выдумал? В воду! Задние тебя поддержат…

Глубина начиналась сразу от берега. Боком-боком, таясь товарищей, Савка нырнул. Но не в озеро, а в кусты! Бежал в лес. Прочь от роты. Как можно дальше от своего позора. Казалось, его преследует издевательский хохот: «Смотрите, он не умеет плавать!» На секунду заскочил в пустой кубрик, схватил свою робу. Отчаявшись, весь исколотый когтями шиповника, вломился в бурелом. Бежал так, словно спасался… В просветах сосняка студено блеснуло призывное море. Вот она – его колыбель.

Так любить это море и не уметь плавать! Савка учился со страстью, самозабвенно поглощая все, что ему щедро отпускалось флотом: макароны и формулы, наряды вне очереди и теорию навигации. Сейчас рота, искупавшись, с еще влажными волосами, шагает на камбуз, а он сидит здесь. Потом рота с песнями двинется в класс, а он останется здесь же…

Савка с берега наблюдал, как птенцы чаек, едва вылупясь из яйца, уже плавали в море. Это они умели от рождения. Но зато от рождения им не дано умения летать. Исподлобья Савка хмуро следил, как чайка приучала к полетам своего сыночка-чабара. Птенец старался подражать матери: махал крылышками, бежал по мокрой отмели, но оторваться от нее никак не мог. Все попытки кончались позорным финалом – чабар с разбегу втыкался клювом в песок и тут же получал хорошую трепку от мамаши. Тогда он дезертировал от маменьки в воду, где стихия бездны была ему близка и понятна.

И, наблюдая за чабаром, Савка вдруг спросил себя:

– А разве человек от рождения не создан для воды?..

\* \* \*

Блуждая по лесу, он слышал разливы горна, уже зовущего роты на обед. Издалека доносило знакомый припев:

Это в бой идут ма-тро-сы!Это в бой идут мо-ря!Может, лучше выйти из леса и честно заявить, что плавать он не умеет, а воды боится? Ну конечно. Все станут хохотать, как помешанные. Но смехом дело не кончится. Возьмут за руки, схватят за ноги. Потащат на самую глубину и плавать выучат. Но у Савки не хватало силы воли на такое крутое решение… Вечером опять из-за леса его окликал горн. Весь день он проползал по холмам и низинам, безо всякого аппетита ел морошку и прошлогоднюю кислую клюкву. Кое-где встречались березы с забытыми банками – он попил из них соку. Наступала ночь. Отчаяние становилось острее.

Этот глупый птенец-чабар не выходил из головы. Если он от рождения может плавать, то почему же человек не способен на это? Мысль была навязчива, и ночью Савка вспоминал физику. Удельный вес человеческого тела гораздо меньше удельного веса воды. Если это правда, а физика не врет, то… «Почему же люди тонут?» – спрашивал он себя.

Ночь была кошмарной. Не потому, что страшно было ночевать в лесу: волков на Соловках отродясь не бывало, а в чертовщину слабо верилось. Другое обжигало сознание – права ли физика? Наука ведь тоже иногда крепко ошибается. Может, думал Савка, люди тонут лишь оттого, что нахлебаются воды, а тогда их удельный вес становится больше? Выходит, зажми рот и доверься науке? Мимо него большой тенью, ломая хрусткий валежник, прошел одинокий самец-олень и жалобно позвал свою подругу. Край неба за морем просветился. Конечно, в роте все дрыхнут нагишом, скоро сорвутся с коек, чтобы снова броситься в ледяной озноб Банного озера…

– Или я человек, – сказал себе Савка, – или я тряпка…

Птицы уже пробудились. Савка поднялся с кочки, на которой сидел так долго, что она даже согрелась под ним. Пошел выбирать озеро для проведения опыта над самим собой. Отступления не было!

Озер на Соловках не пересчитать, и потому выбор у Савки был очень большой. Одно озерко в лесу не понравилось ему цветом торфянистой воды. Другое слишком обожгло пятку стужей. Неся в руках бутсы, он вышел к третьему озеру, которое показалось ему вполне подходящим. Длинная жердина от самого берега уже не могла прощупать дна. Такое-то ему и надо, чтобы проверить себя сразу и до конца… Нечаянно вдруг вспомнилась бабушка, с которой он до войны – рано-рано утром! – ходил на Клинский рынок; там они покупали картошку и капусту, несли домой помидоры и кулечек красной смородины. На миг Савке стало страшно. Что будет с бабушкой, если он не всплывет? Ведь совсем одна…

Солнце взошло! Не было ни карандаша, ни клочка бумаги, чтобы оставить письмо. Савка вывернул свою голландку воротником наружу, где была пришита его личная метка: «С. Огурцов, 1-я рота». Еще раз он внушил себе вслух, что удельный вес тела никак не может быть больше удельного веса воды. После чего оглядел лесные дали и… стал на камень.

Продышав легкие, Савка произнес как завещание:

– Но физика-то… Или вранье все это?

Решительным толчком ног он швырнул себя в оглушительную глубину. Глаз при этом не закрывал и потому видел все… Видел глубину, но зато не видел конца ее. Вода тяжелела и уже не казалась хрустальной. Наконец что-то протемнело глубоко под ним. Савка разглядел древние коряги, похороненные на дне озера, и длинные волосы водорослей, что тянулись к нему. Теперь задача – всплыть, дабы не оставаться здесь навсегда. И вдруг почувствовал, что какая-то сила сама влечет его кверху. Хотелось глотнуть воздуха, но, сжав губы, он терпел. И поднимался… выше, выше, выше!

Ладони вдруг розово осветило солнце. Они первыми проткнули ту пленку, что делила мир на две стихии. Плечи тоже выступили из воды, и тогда, ни разу до этого не плававший, Савка поплыл, взмахивая руками, как это делают все люди. Даже не верилось! Он, он плыл. Он победил себя и победил свои страхи. Как жаль, что свидетелей его победы не было… Только шумел лес.

Далекий возглас горна призвал его к себе. Выбравшись на берег, Савка схватил робу и побежал к роте. Он настиг ее на марше, незаметно пристроившись к колонне бегущих юнг. Вот и озеро Банное. Кравцов уже отправляет с берега шеренгу за шеренгой. Вместе со всеми Савка бросился в воду, как в родную стихию кидался птенец чайки, и поплыл на глубину, радостно покрикивая. Целых двадцать минут вокруг озера расхаживали старшины, не позволяя юнгам коснуться берега, – гнали прочь!

А потом началось.

– Где был? – напустился на него Росомаха. – Мне из-за тебя с вечера шею мылят… Такой-сякой немазаный!

– Извините. Я заблудился, – неумело соврал Савка.

Росомаха не поверил: Секирная гора – прекрасный ориентир.

– Иди к лейтенанту, он тебя тоже намылит!

Кравцов задал Савке такой же вопрос:

– Где же ты пропадал, Огурцов?

– Заблудился.

– Каким образом?

– Я так далеко ушел, что совсем запутался в лесу…

Кравцов выслушал его и заглянул прямо в глаза:

– Ну, а теперь, Огурцов, ты все-таки скажи мне правду…

Пришлось рассказать все.

– Когда-нибудь, – сказал Кравцов, – с вашими фокусами я под трибунал загремлю. Голова-то на плечах имеется? Пять часов утра. Вокруг ни души. А ты, не умея плавать, ныряешь носом вперед… Растеряйся на секунду, глотни воды, как воздуха, и – амба! Мои погоны – ладно, но о своей-то жизни ты подумал?

– Я подумал. Удельный вес моего тела меньше удельного…

Лейтенант не дал ему закончить:

– Дурак ты! Только потому, что ты живой стоишь передо мною, я тебя прощаю. А утопленника я бы отправил на гауптвахту… Иди!

\* \* \*

Вот и первые похороны. Один все-таки потонул. Лошадь влекла за собой скорбную телегу, на которой лежал юнга. Гроб был открыт, вовсю засвечивало над смертью солнце. Руки покойного сложили на синем треугольнике казенной тельняшки. Мрачно, нехорошо завывали в тоске трубы духового оркестра. Школа юнг шла за гробом, и шаг был необычен – с оттяжкой, особо замедленный – траурный шаг похоронной процессии. Над свежей могилой класс боцманов залпом из карабинов сказал: «Прощай!»

Возвращаясь с похорон, юнги говорили:

– Вот бедняга! Он никогда не выйдет в море…

А сегодня уже не видать берегов: вот оно – море, море, море! Гребля на шлюпке не только спорт, но и сложное мастерство. По два гребца сидят на одной банке. Оба спиной к носу, а лицами в корму, где у транцевой доски расположился старшина. У каждого весло: одна рука – на вальке, другая обхватила рукоять. Только невежды думают, что матросы гребут руками. Нет! Гребец работает всем корпусом, мускулы его спины свиваются в крепкие веревки. Настоящий матрос знает, что вся сила движения шлюпки собрана в конце гребка. Оттого-то в этот краткий рывок вкладывается вся энергия – мускулов, нервов и духа.

Старшины в такт гребле испускают пронзительные вопли:

– Два-а-а… рраз! Два-а-а… ррвок!

При выкрике «раз» лопасть выскакивает из воды, и развернутое горизонтально весло молнией отлетает к носу шестерки. С бурлением лопасть захватывает воду для следующего гребка.

– Два-а-а… ррвок!.. ррвок!

Шлюпка идет толчками. В самом конце гребка спина гребца должна лечь на колени юнги, что сидит позади. Неукоснительное требование: замах весел делать как можно дальше. При вырывании весла из воды не полетишь вверх тормашками, ибо ноги продеты в петли на днище шлюпки. Поначалу трудно. Весло захватывает не воду, а воздух. Волна поднялась чуть выше, и весло чуть ли не до самого валька погружается в воду. Никак его не выдернуть из моря, хоть вытаскивай торчком из-за борта, как палку. Моряки в таких случаях говорят: «Поймал щуку!»

– Ой, у меня весло уплыло! – кричал Коля Поскочин.

Старшина, ругаясь, клал шестерку в развороте, юнги с хохотом выручали весло из волн.

– Башку теряй, не жаль, а весло – это тебе не башка!

Белое море – море чудесное. Никто бы раньше не подумал, сколько в нем живности и красот. Когда старшина скажет: «Суши весла!» – юнги перегибаются за борт, вглядываясь в воду. И чего тут только не увидишь – и огненных морских ангелов, и цветное желе медуз. Сонно ползают по дну жирные утюги камбал, а из глубины светятся лучи кремнистых звезд – таких идеально правильных очертаний, словно природа отштамповала их серийно на своем удивительном станке.

Загребными сидят самые сильные – Федя Артюхов и Финикин, а Савка с Поскочиным – баковыми, с укороченными веслами. Загребные с кормы задают ритм гребле, но Финикин славен своей несообразительностью. По команде «суши весла» он шабашит, убирая весло под рангоут; старшина кричит «шабаш», а Финикин «сушит» весло над водою… Посреди шестерки, разделяя ряды гребцов, покоится под чехлом рангоут – мачта с реями и парусами. Финикин уже не раз намекал Росомахе:

– А чего это мы? Уже все измочалились… Поставим парус!

Под парусом пойдешь, когда с тебя сто потов сойдет на веслах. А ты еще до четвертого пота не догреб… Навались! Два-а-а…

Вальки для равновесия залиты свинцом, а рукояти отполированы наждаком. В уключину весло ставится тем местом, где веретено охвачено кожей, и надсадный скрип мокрой кожи сопровождает все время гребли. Юнги работают обнаженные, солнце уже золотит их спины. Завтра утром с коек своих они встанут со стоном. Будут юнги, как дряхлые старцы, хвататься за поясницу. Но это завтра, а сегодня в дугу сгибаются весла из гибкого ясеня. В анкерках плещется запас пресной воды. Замах – гребок, замах – гребок!

Кажется, с таким усердием можно переплыть океан.

– Почти как на галере, – сказал Коля Поскочин. – Не хватает только профоса с плеткой, чтобы огрел нас как следует.

– А кто такой этот профос? – спросил его старшина.

– Корабельный палач. Была и такая должность на старом флоте. А русские люди «профоса» переделали в «прохвоста»…

– Ясно! Теперь помолчи, а то собьешь дыхание. – Росомаха глянул на корму. – Правая навались, левая табань!

Шлюпка волчком развернулась на месте, ее форштевень направился в сторону берега, и тогда старшина крикнул:

– Обе на воду! А то опоздаем к обеду…

Обратно из шлюпочной гавани юнги шли лесом – без строя, вразброд, полуголые, босые. Совсем рядом с ними раздался выкрик:

– Стой! Кто идет?

Случайно они выбрели на тот склад боепитания, который когда-то охранял Савка и где в ночи вокруг него шлялся враг. Часовой теперь стоял с патронами в обойме карабина.

– Да не шуми ты, – отвечали ему юнги, смеясь. – Кого испугать решил? Не видишь, свои в доску ребята идут…

В Савватьеве Савка попросил Росомаху отпустить его.

– А куда тебе?

– В политотдел хочу зайти… к Щедровскому.

– Чего тебе там?

– Отец-то совсем не пишет. Одно лишь письмо…

Щедровский удивился, увидев Савку на пороге своего кабинета.

– Кто тебя прислал ко мне?

– Никто. Сам решил зайти… насчет отца…

– Странно! Вот как раз ответ о твоем отце. Только что вскрыл пакет, и вдруг являешься ты… Бывает же такое!

Савка молча ждал, что ему скажут.

– Трудно это говорить, – сказал Щедровский. – Но ты уже взрослый человек и сможешь пережить самую горькую правду. Отца твоего нет в живых. По справке видно, что он был вычеркнут из списков части еще осенью прошлого года…

После отчаянной гребли вдруг заломило руку.

– Плакать я не буду. Но, может, он… в плену?

Щедровский отрицательно покачал головой:

– Моряков, тем более – комиссаров флота, враги в плен не берут. Да они и сами, как ты знаешь, не сдаются…

Затягивать разговор было не к чему.

– Мне скоро исполнится пятнадцать. Летом. Теперь мне можно вступить в комсомол?..

\* \* \*

Юнги в нетерпении спрашивали:

– Когда же закончится учеба? Когда на флот?

Офицеры отмалчивались. Или кратенько отвечали:

– Погоди. Еще навоюешься…

Савка как-то случайно раскрыл «Рулевое дело» и вдруг заметил, что почти все главные разделы они прошли. Взял «Управление маневрами корабля» – осталось пройти приемы буксировки кораблей.

– Ребята, – сказал он, – а ведь мы скоро уйдем!

Физическая подготовка была резко усилена. Среди ночи юнг часто поднимали по тревогам с оружием. Они проделывали длинные марши бегом по пересеченной местности. Порядок при этом был такой: попалось на пути озеро – не обходить его, а переплывать любое, какое бы ни встретилось на пути. Это были необычные ночные марши: авангард роты уже выходил из воды на берег, когда конец колонны еще только начинал заплыв, держа над собой карабины. Любовь к воде стала у юнг доходить до смешного. Как только подавался звонок на перемену, юнги швыряли на столы свою робу, голые сыпались изо всех окон и – в воду! Десять минут плавали, а когда гремели звонки к уроку, они уже чинно сидели за столами, наспех вытирая лбы подолами голландок. Море из затаенной опасности превращалось в дружескую стихию, вода становилась родной колыбелью! Юнги еще не думали, что море способно обернуться для них иной стороной – трагической…

Сейчас юность жила одним – ожиданием.

– Хочу на Балтику, – мечтал Федя Артюхов.

Джек Баранов, грезя о глубинах океана, отвечал:

– Балтика? Но там же мелко… будешь на пузе ползать.

На что суровый Федя выкладывал, что думал:

– В луже ведь тоже потонуть можно, и дело не в этом. Балтика – мать флота российского, здесь и революция начиналась. А ты глянь на карту – сколько еще балтийских земель освобождать предстоит… Сколько десантов надо выбросить с моря!

Финикин упрямо стремился к Черноморскому флоту, так и лез в крымскую теплынь.

– О парилке мечтаешь? – гневался Игорь Московский. – Севастополь – верно, баня… Только кровавая баня!

– А ты куда желаешь? – спрашивали старшого.

– Вопрос надо обдумать… Еще не решил.

Севастополь и Кронштадт – они отзываются в сердцах юнг, как призывные удары тревожного колокола. Стремление туда, на Черное или на Балтику, скорее всего – по флотской традиции.

Коля Поскочин, подмигнув, однажды заявил классу:

– Поступило деловое предложение: всей бражкой рвануть на Эльтон и Баскунчак. Организуем там свою флотилию под названием «Не тронь меня, а я тебя и сам не трону!» Кто – за?

Джек Баранов отвечал Коле:

– Мальчик, ты не шути, а то мы тебе салазки загнем…

Теперь об этом можно рассказать без утайки – дело прошлое: никто из юнг не желал попасть на Тихоокеанский флот, где не было войны. Юнги отмахивались от Каспия и разных флотилий на реках. Честно говоря, не было охотников служить и в преддверье Арктики – на Северном флоте. Вот об этом Савка частенько и размышлял. За время войны колоссально выросло боевое и международное значение Северного флота. По сути дела, этот флот в боях вырабатывал новые традиции – освоение пространств и гигантских коммуникаций. Битва проходила во мраке ночи на длинной океанской волне, покрытой морозным туманом. Это была страшная битва без оглядки на спасение, когда любой результат боя складывался из неумолимой формулы «Смерть или победа!». Постепенно созрело решение.

– Я, – сказал Савка, – попрошусь на Север. Мне нравится этот край… Помните, как по радио выступали? «Кто сказал, что здесь задворки мира? Это край, где любят до конца, как в произведениях Шекспирра, сильные и нежные сердца!»

Финикин его выбора не одобрил:

– Охота тебе добровольно в такую холодрыгу соваться? Загонят на Новую Землю, и будешь там айсберг, как эскимо, сосать…

Но у Савки нашелся хороший защитник.

– Огурцов прав! – вступился Поскочин. – Балтика и Черное – это же две старинные бутылки с узкими горлышками. Пробка – и флоты запечатаны, как тараканы в банке. Наша армия берет сейчас такой разбег до Берлина, что в этих бутылках война вскоре закончится. Атлантика – вот где непочатый край! Именно на коммуникациях океана и будет главная борьба. Если уж говорить честно, – закончил Коля, – то Средиземное море тоже русское море! Два столетия подряд Россия имела в составе своего флота особые эскадры, которые так и звались – средиземноморскими!

Был очень жаркий день, и юнги наблюдали редкое явление рефракции. На горизонте, чуть ниже облаков, возник поднятый над морем большой город со старинной церковью. Высились портовые краны, возле лесопилок стояли под загрузкою корабли. Лейтенант Зайцев на уроке объяснил юнгам:

– Очевидно, это была Кемь на поморском берегу. Возможно, что и с материка в этот день могли видеть наш соловецкий кремль…

А потом роза ветров повернулась в хаосе циклонов, и над Соловками закружился обильный снег. Правда, солнце тут же растопило его и снова зачирикали птицы, но снежный буран в июне был примечателен, а Финикин стал поднимать на смех Савку:

– Вот тебе край, где любят до конца. Это здесь такая заваруха, а поближе к Шекспиру еще не так шибанет. Кусишь еще локоть.

– Я сквозняков не боюсь, – отвечал ему Савка.

Один Коля Поскочин помалкивал о своих планах.

– Конечно, – заметил четверочник Джек, – он же у нас отличник, ему все карты в руки. Любой козырной флот себе выберет.

Поскочин отвечал Баранову вполне продуманно:

– А я свои пятерки в карьеру запрягать не собираюсь. И не стану выбирать флот. И не стану выбирать класс кораблей. Я поступлю иначе: куда пошлют, туда и пойду.

Из роты радистов явился от Банного озера Мазгут Назыпов.

– У вас, – спросил, – дыма нету? А у нас дымина такой…

Где-то горел лес. От роты радистов огонь каким-то странным образом перескочил к озеру рулевых. Сначала думали, что виноваты курящие. Всех юнг собрали вместе.

– Товарищи, – выступил перед ними Аграмов, – безобразно, что вы не уважаете лес, приютивший вас. Я никогда не запрещал вам разводить костры в лесу. Но теперь, кажется, пришло время. Лес-то горит… то там, то здесь полыхает. Неужели так трудно затоптать костер и залить его? Курящие, наконец! Смотрите же, черт вас возьми, куда бросаете окурки…

Капитан первого ранга дал им всем крепкий нагоняй. Но, кажется, сделал он это напрасно. Юнги привыкли жить в лесу. Костры они, конечно, разводили до самых небес. Курящие бросали окурки. Но и костры и окурки юнги тщательно гасили. От них потребовали усилить бдительность, и они это сделали. Стали следить, чтобы никто не поджег лес по забывчивости. Но леса загорались сами собой. Ни с того ни с сего пошло трещать в сухостое. Со свистом обугливалась хвоя сосен.

– Это не мы! – волновались юнги. – Мы не поджигатели…

Савка испытал неприятный озноб. Как в ту проклятую ночь, когда с дырявой винтовкой в руках он стоял в карауле, а вокруг него потрескивал валежник – шлялся враг!

\* \* \*

Хроника ТАСС (июль 1943 года)

5 – немецко-фашистские войска начали наступление на орловско-курском и белгородском направлениях. За день боев подбито 586 танков противника…

6 – на орловско-курском и белгородском направлениях за день подбито и уничтожено 433 танка противника…

7 – на орловско-курском и белгородском направлениях за день подбито и уничтожено 520 немецких танков…

8 – на орловско-курском и белгородском направлениях за день подбито и уничтожено 304 вражеских танка…

9 – на орловско-курском и белгородском направлениях за день подбито и уничтожено 223 танка противника…

10 – на орловско-курском и белгородском направлениях советские войска отбивали многочисленные атаки противника. Подбито и уничтожено 272 немецких танка.

Британские и американские войска высадились на острове Сицилия.

15 – севернее и восточнее Орла Красная Армия на днях перешла в наступление, прорвала оборонительную полосу противника и взяла большие трофеи.

17 – на орловском участке и орловско-курском направлении советские войска в наступательных боях продвинулись вперед.

22 – ТАСС опубликовал опровержение сообщения германского информационного бюро о якобы произведенной 20 июля попытке высадки советских войск на норвежском побережье…

25 – отставка Муссолини. Премьер-министром Италии назначен маршал Бадольо. Король Виктор-Эммануил принял на себя командование вооруженными силами.

26 – на орловском направлении советские войска продолжали наступление.

Танковая битва на огненной Курской дуге закрепляла успех нашей армии.

– Когда же на флот? – волновались юнги. – Так мы к шапочному разбору едва поспеем… А когда ленточки? А когда погоны?

– Тиха-а! Все будет.

\* \* \*

Аграмов был удивительный человек. Уже пожилой капитан первого ранга, как говорится, без минуты адмирал, он не гнушался лично проводить с юнгами парусные занятия. Вот раздалось долгожданное:

– Весла шабаш! Рангоут ставить.

Сколько ошибок сразу совершили они! Гребцы правого борта должны левую руку взять под рангоут, а правой обхватить тело мачты. С левого борта – наоборот. Надо помнить, что движение часовой стрелки – главный ориентир в движении рангоута. Первый блин всегда комом, и попытка кончилась тем, что загребного Финикина юнги треснули мачтой по рыжей башке.

– Ой, зззвери! – рассвирепел он от боли.

Аграмов пока не вмешивался, только подал Финикину пятак:

– Остуди в воде и приложи. До свадьбы заживет. А на свадьбе расскажешь невесте, как тебя на флоте мачтой били…

Финикин опустил руку за борт, остужая пятак, но вода показалась ему теплой. Он сунул руку в море ниже локтя:

– Ой, вот где лед-то!

– А ты как думал? – ухмыльнулся Аграмов, наблюдая за возней юнг с такелажем. – Успевают прогреться только верхние слои моря. А в Баренцевом вода вечно ледяная…

Мачта уже вошла в степс, ее тело юнги прихватили к банке скобою нагеля. Теория и практика – вещи разные. Савка назубок знал вант-путенсы, банты и боуты, кренгельсы и люверсы. Но совсем иное дело, когда с этими названиями надо схватиться на практике. Ветер рвал штанги из пальцев, а сырая шкаторина паруса, обтянутая понизу тросом, больно стегала по лицу, полоскаясь на ветру с гулким хлопаньем, словно стреляла пушка.

– Скверно! – сказал Аграмов, закуривая папиросу и пряча обгорелую спичку обратно в коробок, чтобы не мусорить в море. – С такими успехами вам, ребята, не на флоте служить, а работать где-нибудь… в раздевалке!

Он приказал спустить парус, разобрать рангоут и зачехлить его, как было раньше. Дьявольская работа началась заново, но Финикина мачтой уже не огрели по голове – и на том спасибо. Аграмов заставил юнг проделать всю операцию с постановкой рангоута раза четыре подряд, пока не наловчились.

– На фалах! Паруса поднять… Выбрать фалы, черт бы вас взял! Осади галсы… Шкоты, шкоты держи! Не хлопай ушами!

На берегу шкоты – обыкновенные веревки. Но в море они ведут себя, как бешеные гадюки. Савка даже взмок, удерживая их, а Федя Артюхов сорвал ноготь, кровью забрызгал штаны. Сидеть под парусом на банках уже нельзя – когда поставлен парус, команда перемещается на днище. Капитан первого ранга убрал флаг с кормы.

– Разрешаю свистеть, – сказал он, меняя на руле румпель. – Старые марсофлоты свистом подзывали к себе нужный ветер и свято верили в чудеса…

Настал покой и тишина. Все примолкли. Каперанг ловко «забрал» ветер в парус, и шлюпка легла на борт. Легла столь круто, что вода, тихо журча, неслась вровень с лицами юнг. Лишь узенький планширь отделял их от морской стихии. Жутковато!

– А не перевернемся? – спросил Поскочин.

Аграмов глянул за корму, где – в дымах пожаров – уже давно терялся соловецкий берег. На глаз он измерил расстояние:

– Надеюсь, что доплывешь, если перевернемся! – И еще круче вывел шестерку на сильный ветер. – Сейчас полный бакштаг левого галса… Вы поняли? – спросил он юнг.

– Это мы знаем… – отвечали они. – Учили… как же!

Верхушки волн уже заплескивали шлюпку, бездна неслась возле самых губ. Можно было пить таинственную глубину, насыщенную рыбой, медузами и мраком. Из этой глубины, топорща усы, иногда выскакивали солдатиком пучеглазые тюлени…

Когда возвращались обратно, Аграмов приказал:

– Раздернуть шкоты!

Парус, вырвавшись из-под власти людей, сразу заполоскал бессильно, и шлюпка, потеряв ветер, остановилась. Солнце пекло сверху мускулистые спины. Даже сюда, в такую даль, залетали с материка слепни, и юнги били их на спинах звучными шлепками ладоней. Аграмов глянул за борт – дно моря уже смутно виднелось под ним.

– Каждый пусть нырнет и в доказательство того, что он побывал на грунте, пусть принесет мне в презент сувенир со дна моря…

Штаны сразу долой! С хлопаньем пробивая головами теплые слои воды, юнги вонзались в ледяное море. Савка испытывал блаженство. Плыли перед ним раскрытые красные зонтики медуз, и он, балуясь, ловил их руками. Было забавно видеть своих друзей, что рядом с ним сильными рывками уходили в глубину, и он тоже спешил за ними – на грунт! Что-то черное завиднелось… А-а, это кормится тюлень, рылом разрыхляя залежи придонной ракуши. Вот ползет, вся в иголках, пемзо-пористая звезда. Хвать ее! Теперь наверх… До чего же странно видеть над собой пузатое днище своей шлюпки. Выпучив глаза, юнги выскакивали из моря. У каждого в кулаке размазня – все раздавлено всмятку от нервного усилия при всплытии.

– У меня – во! – кричали. – А у меня – ил!

– Молодцы, – кивал им с кормы Аграмов. – Штаны вас ждут…

В очень сильный ветер юнг в море не выпускали. Боялись, как бы они не совершили поворот «оверкиль», иначе говоря, чтобы шлюпка не опрокинулась кверху килем. Но Аграмов, когда заваривалась штормяга, напротив, бросал ветру вызов. Ставил на шестерке паруса и в одиночку уходил на ней в открытое кипящее море… в гневно кипящее!

– Вот старик, – восхищались юнги. – Ему Нептун – родной дядя… Посуди сам: нас шестеро да еще старшина на транце. Всего четырнадцать рук. И то едва справляемся с такелажем. А он один, всего-то две руки, и не боится идти в такой ветер… Силен!

Они уже по себе знали, какой это адский труд, когда жесткая парусина становится разъяренной, а ветер выплескивает из рук острые шкоты, раня ладони до крови. Аграмов проделывал это всегда один, рискуя только своей жизнью… Юнги тревожились у костра. Дневальные по шлюпочной гавани всматривались в море:

– Ничего. Только пена летит… Где же он?

К ночи – прямо из шторма! – шестерка с одинокой фигурой каперанга на корме, обрушив паруса, с яростным шипением вылезала форштевнем на мокрый песок. Аграмов шагал на свет костра.

– Откачайте воду. Приберите рангоут. Я пошел спать…

\* \* \*

Юнги готовились к выпуску. Но и враг готовился сорвать выпуск специалистов на советские флоты. Теперь уже никто не верил, что леса горят по халатности юнг. Перестали бранить и курящих. Школа юнг задыхалась в дыму. Дымом пропитались вся роба и постели. Спишь, а в ноздри тебе, словно два острых ножика, вонзается дым.

Соловки полыхали в загадочных пожарах, возникавших всегда неожиданно и в самых различных местах архипелага. Прочесывание окрестных лесов с оружием ничего не дало: враг умело прятался.

Однажды на занятиях повторяли пройденный материал. Савка мечтательно смотрел в окно класса. Видел он там озеро, видел лес, растущий на другом берегу. Ондатры плавали, воздев над водою свои крысиные мордочки, а за ними реяли флажки белых бурунов, словно по озеру двигались подлодки под перископами… До чего же прекрасны соловецкие озера и как вкусна в них вода! А названия – просто дивные: Ягодное, Пустынное, Хлебное, Благодатное, У Креста, Палладиево, Осинка, Великопорточное… Ныряешь в такие озера, будто окунаешься в давние времена Руси.

Но… что это? Савка вскочил из-за стола:

– Смотрите! На том берегу огонь!

Теперь все видели. Стоял себе лес в тишине, все было спокойно, и вот он уже в огне. А рядом учебный корпус… Класс рулевых, словно сговорившись, одним махом отворил окна и попрыгал вниз. Один за другим – бултых в озеро и поплыли в робах. Пожар быстро разбегался вдоль берега, приближаясь к Савватьеву, и сначала было непонятно, как его тушить. Джек Баранов догадался:

– Снимай голландки! Забивай пламя…

Все дружно разделись, голые, босые, мокрыми робами захлестывали огонь, бегущий на них из чащи. При этом кричали:

– Бей, ребята! Туши! Тут кто-то был… Это поджог!

Пламя они сбили, не дали ему перекинуться к базе. Но чистых голландок было теперь не узнать – в руках остались черные, обгорелые лохмотья. Все в копоти, в ожогах, юнги медленно плыли через озеро обратно. Лезли прямо в окна в свою аудиторию, рассаживались по лавкам.

– Продолжаю, – сказал лейтенант Зайцев таким тоном, будто ничего не случилось, а просто юнги вернулись с перерыва. – Мы остановились на определении места корабля по крюйс-пеленгу…

Вечером в Савватьево прибыл грузовик-полуторатонка.

Росомаха велел своему классу грузиться в кузов. Стоя, обняв друг друга за плечи, юнги приехали в Гавань Благополучия, где у причала пыхтел движком «СК-619» под зеленым флагом морпогранохраны. Это был мотобот с сильным дизелем, до войны он ловил треску и палтуса, с его борта охотились во льдах на тюленей зверобои. Теперь в его рубке юнгам предстояло испытать себя в вождении корабля по курсу. Для размещения класса юнгам отвели трюм размером с небольшую комнату. Нечто вроде ящика с запахом рыбы, куда рулевые и раскладывались для сна в тесноте, как сельди в бочке.

Мотобот сутками околачивался на малых оборотах возле каменистых луд, поросших леском. Качало там – на стыках течений – здорово. Савка по краткому опыту мореплавания на «Волхове» уже знал, что принадлежит к той несчастной породе людей, которых бьет море. Это его страшно огорчало, но он решил не сдаваться. «Флот есть флот, и его назначение – бой на море… В море – дома!» – твердил он себе высказывания прославленных адмиралов.

Поздно ночью в просвете люковицы, на фоне звездного неба, появилась мичманка Росомахи с длинным козырьком («шапка с ручкой», говорили о ней юнги).

– Огурцов, – позвал старшина, – давай к штурвалу…

Савка с трудом, словно краб из камней, выкарабкался из груды спящих тел. Когда за ним захлопнулась дверь каюты, матовая желтизна картушки компаса успокоила его сразу. Рукояти штурвала были так отполированы, что ласкали руки. Командир «СК-619» в скромном звании младшего лейтенанта угрюмо буркнул курс, и юнга погрузился в трепетное свечение румбов. Странно, но это так: ведение корабля не показалось Савке захватывающим делом, он даже малость расстроился от этой будничности. Через два часа его место за штурвалом занял Федя Артюхов, который от своей вахты на руле был в диком восторге… У каждого свое восприятие!

Зачет по вождению принимал от юнг сам командир «СК-619», никому не знакомый и сам никого не знавший. Для него все юнги, видать, были на одно лицо – одинаковы, как снаряды одного калибра. Он упростил свою задачу, устроив для юнг нечто вроде конвейера: отстоял – следующий! Не будучи педагогом, этот офицер выставил всем юнгам подряд «отлично», что самим же юнгам здорово не понравилось… Покидая кораблик, они говорили:

– За что пятерка? Неужели мы такие мастера водить по курсу? Ведь вели-то плохо – много «рыскали»…

Теперь, когда юнги слегка оморячились, среди них появились модники, никак не согласные со стандартом брючного клеша. В защиту широкого клеша они приводили весьма веский довод:

– Клеш – не роскошь, а необходимость. Для чего, спрашивается, во всем мире шьют морякам широкие брюки? Самим покроем они приспособлены для быстрого снимания их в воде. Никаких ширинок с пуговицами – один клапан. Если матрос упал за борт, клапан открывается, а клеши, намокнув и отяжелев, своим ходом снимаются с моряка и тонут. А попробуй-ка ты в море стащить с себя узенькие брюки – не получится! Захлебнешься и потонешь, как дурак, в штанах!

Старшины обычно вшивали в брюки клинья. Но юнгам для клиньев сукна взять было негде. Поступали иначе. Из фанеры вырезались особые шаблоны. По вечерам брюки спрыскивались водой и что есть силы натягивались на фанеру. С каждым днем брюки, растягиваясь, становились все шире и шире, а сукно их по низу брюк все тоньше и тоньше. Скоро через такие клеши можно было читать газеты!

Росомаха, находя у юнг шаблоны, с треском ломал их на колене:

– Фасон ваш – до первого коменданта. Пропишет он вам по первое число… Фордыбачите, ребята, по младости лет.

Юнги за шаблоны не обижались, но возражали идейно:

– А матросы революции? Сами же видели «Мы из Кронштадта», вот там клеши. Комендант тоже должен понять, что «дудочки» хороши на берегу, а не в море…

Последние минуты перед сном посвящались рассказам. На этот раз в роли новеллиста выступал сам старшина Росомаха.

– Вот слушайте, орлы! – сказал он. – Когда я перед войной проходил службу в Севастополе, был там комендант… Зверь, а не комендант! Если на какой барышне увидит морскую пуговицу с якорем, обязательно спорет, хоть она изревись. О клиньях мы в Севастополе и не мечтали. Бритву носил при себе. На улицах клеши матросам порол от паха до щиколотки. А после отведут в портновскую к Самуилу Шмейерзону (был такой, все матросы его знали), чтобы разрез зашил. Еще два рубля за работу отдай! Но вот однажды московский скульптор вылепил для Севастополя памятник матросам-черноморцам, павшим за революцию. Вылепил как надо: бескозырки набекрень, клеши – юбками, бушлаты нараспашку, а на лоб каждого свисает громадный чуб. Ладно! Построили гарнизон, играл оркестр, говорили нам разные речи, а мы кричали «ура». Сдернули с памятника покрывало. Комендант посмотрел – нарушена форма одежды – и сказал командующему флотом так: «Или я – или они!»

– И убрали памятник? – охали юнги. – Или самому коменданту по шапке надавали?

– Все осталось на месте. Но командующий флотом вызвал из Москвы скульптора. Дико ругаясь, тот отпилил матросам чубы, стамеской обкоротил им клеши, а бушлаты застегнул на все пуговицы. Памятник сразу стал хуже, зато комендант успокоился… Так устав победил творческое вдохновение! Спите.

\* \* \*

Разнеслась весть, что ночью в Гавань Благополучия вошел транспорт, доставивший на Соловки юнг второго набора, которых временно разместили в кремле, но скоро приведут в Савватьево. Эта новость еще раз подтвердила, что юнги первого набора скоро пойдут на флоты, освободив свои кубрики и классы для новичков. Теперь все зависит от того, как ты сдашь экзамены: хорошо сдашь – любой вымпел взовьется над твоей головой! С учебниками уходили юнги подальше в лес, еще задымленный после пожаров, облюбовывали для себя мшистую кочку помягче, чтобы сидеть на ней, как на пуфе, и начинали повторять все заново. Заодно подкармливали себя сочной лесной малиной, черникой и брусникой. Над остриженными головами юнг буйно вспыхивали яркие бутоны дикого шиповника…

– Пить хочется, – сказал однажды Савка.

Вместе с Поскочиным он спустился к ближнему озеру.

Нагнулся к самой воде и вдруг вскрикнул:

– Смотри, Коля…

Возле берега, оскалив крохотные зубки, лежала мертвая ондатра. Поскочин взял ее за хвост и поднял над собой, разглядывая.

– От такой шкурки никакая барыня не откажется. Шкурок тридцать-сорок – и шуба готова для аукциона.

– Брось дохлятину! Как тебе не противно?

– Она же водяная, чистенькая. Хорошие существа эти канадские крысы. Мне ее искренно жаль… Знать бы – отчего она умерла?

Савка поднялся с колен, пить не стал.

– Пройдусь дальше, там и попью…

Отошел в сторону и только было прильнул к воде, как Поскочин, забежав сзади, рванул его от берега за подол голландки.

– Не надо, – сказал он.

– А что?

– Лучше не стоит. Потерпи до кубрика.

– Ты думаешь о крысах?

– А мы ведь не знаем, отчего умерла ондатра. Там еще одна лежит в камышах… Тоже умирает, бедняга.

В этот день, возвращаясь после обеда с камбуза, Федя Артюхов, самый здоровый парнюга в классе, вдруг побледнел, осунулся.

– Что-то у меня не все в порядке… вот здесь.

– Болит? – спросил его Росомаха. – Переел, наверное.

– Да я могу и больше съесть, а это другое…

Роту на марше встретил лейтенант Кравцов, как никогда, сияющий улыбкой и сверкающий пуговицами.

– Итак, – объявил он юнгам, – готовьтесь к экзаменам. На этот раз – решающим, государственным! После чего вам вручат дипломы рулевых-сигнальщиков. Прочувствуйте ответственность и помните: в школе двойка – скандал дома и папа с ремнем; двойка же в Школе юнг – скандал на корабле и, может быть, военный трибунал. На флоте ваша неуспеваемость грозит обернуться трагедией корабля.

Пощелкал кнопкою перчатки. Сенсацию приберег для конца:

– А сегодня вам будут выданы погоны…

– Урра-а! – подхватили юнги.

– Погоны и… ленточки! – добавил Кравцов.

– Уррррр-а-а…

С погонами юнги смирились сразу же. Черные квадраты, на которых отштампована одна лишь буква «Ю». Это вполне устраивало всех, только погоны не были окантованы. Но старшины объяснили:

– Кант не положен. Ишь чего захотели! Погоны с белым кантом присвоены курсантам высших училищ… не чета вам!

Потом в роте состоялось построение. Торжественно поднялся на пригорок лейтенант Кравцов, возле него под деревом установили стол, а на столе разложили связки новеньких ленточек – для каждого класса по связке. Еще издали юнги видели, как на черном репсе благородно загорается огненное золото букв… Все невольно волновались: что там написано? Кравцов взял в руки одну из лент и растянул ее, всем показывая. Надпись на ленточке была такова:

Школа юнгов ВМФ

Какой-то грамотей неправильно написал слово «юнг». Но сначала все заметили другое – Кравцов держал ленту слишком коротенькую.

– Посмотрели? – спросил он. – А теперь маленькая подробность. Лента укорочена. Косиц, как у матросов, вам иметь не положено…

Рота нестройно загудела. Кравцов продолжал:

– Вместо косиц юнгам флота присвоен бантик!

Раздался стон – это стонала вся рота. С озера Банного слышался гвалт – там, видать, из-за того же возмущались радисты.

Лейтенант еще не закончил своей речи.

– Бантик, – пояснил он, – вяжется на бескозырке не сзади, не на затылке, а сбоку… вот здесь. Возле правого виска!

Старшины вручали ленты, юнги брали их с оговорками:

– Мы же не пай-девочки, на что нам этот бантик?

– Догадались мудрецы, нечего сказать.

– Стыдно на людях с бантиками показаться.

– Гогочку из меня делают. Без косиц нет фасона…

С пригорка распоряжался командир роты:

– Старшины, разводите классы по кубрикам и сегодня же покажете товарищам юнгам, как правильно завязывать бантики…

Расходились как оплеванные. Поскочин сказал:

– Черт с ними, с этими бантиками! Но как ходить, если у тебя на лбу золотом горит грамматическая ошибка?..

Перед Росомахой предстал Федя Артюхов:

– Товарищ старшина, не хотел бы портить праздника, но и терпеть больше не в силах… Уж такое дело! Извините меня…

– Да что с тобою? Краше в гроб кладут…

Артюхов был нехорош, его скрючило в дугу. Он не стал пришивать погоны на фланелевку, в руке безвольно болталась ленточка.

– Ни до чего мне сей день! Не могу… больно.

– А до гальюна ходил?

– Кто же там не бывал? Только святые… Тащите в санчасть. Стыдно сказать, но самому, кажется, не доползти… Не повезло!

Федю увезли в Савватьево, а в роте рулевых допоздна не смолкал галдеж, заглушаемый прокуренным басом Витьки Синякова:

– Что-о? Мне-е? Ба-а-антик!

Утром в роте многих недосчитались. Выяснилось, что юнговская Бутылка всю ночь напролет бегала между ротами и Савватьевом, отвозя в санчасть внезапно заболевших юнг.

– А что с ними?

– То же самое, что и с нашим Федей Артюховым…

\* \* \*

Выпуск близился, и флоты наплывали на них, издали подымливая перегаром угля, гулким выхлопом мазута и бензина. Пристрастие юнг к тем флотам, которые они облюбовали для себя, выражалось последнее время даже в песнях. Поклонники Черноморского флота заводили:

Севастополь, Севастополь —Город русских моряков…Не сдавались им сотни мечтающих о мглистой Балтике:

Кронштадт мы не сдадим —Моряков столицу…Маленький хор североморцев постепенно тоже крепчал:

Мы в бой идем за отчий край —За наше Баренцево море!Выпуск близился, и враг его почуял. Не удалось ему сорвать учебу пожарами – он пошел на преступную диверсию. Фашисты провели нечто вроде локальной бактериологической войны – отравили соловецкие озера! Расчет простой: идет юнга по лесу; ему жарко, обязательно напьется из ближнего озера. Берега покрылись тушками мертвых ондатр, которые первыми испытали на себе силу яда. Отравленные зверьки плыли к берегу и, беспомощные, жалкие, умирали в камышах. Савватьевский лазарет был уже переполнен до отказа, когда по дороге из кремля потянулись в Савватьево колонны юнг нового – второго! – набора. «Старики» встречали «молодежь» на шоссе:

– Москвичи есть? – окликали. – Ну, как Москва?

– Строится… повеселело!

– Горьковчане? Ярославские? Какова там житуха?

– Ничего. Ждут, когда война кончится…

Пополнение временно распихивали кого куда. Еще не спаянные воинской дисциплиной, юнги нового набора сразу попали под удар эпидемии. Кажется, противник и выжидал, когда перенаселенность в Савватьеве создаст антисанитарные условия, чтобы покончить со всеми юнгами сразу. Неизвестно, какую отраву забросили диверсанты в озера. Возможно, враг не учел то важное обстоятельство, что большинство соловецких озер соединено проточными каналами. Надо полагать, что течения – через эти каналы! – рассосали заразу по другим водоемам. Так что юнги получили отравление в меньшей степени, нежели рассчитывали враги. В этот трудный для Школы юнг период капитан первого ранга Аграмов выглядел сильно постаревшим, озабоченным судьбою своих питомцев. Кажется, эпидемия не миновала его самого и его семьи, но Аграмов не слег.

– Экзамены сдадим в срок! – объявил он юнгам.

Савватьево замкнули в блокаде карантина. Лазарет уже вынес свои койки под открытое небо. Клуб тоже вплотную заставили койками. Однако настроение у юнг было отличное, и они рассуждали:

– Не помираем же! Так чего психовать напрасно?

– Нам поносы нипочем – мы по носу кирпичом!

К новым юнгам «старики» относились покровительственно:

– Мы оставляем вам хозяйство на полном ходу. Таких землянок, как у нас, еще не бывало в мире. Это подземные дворцы! Вам уже ничего строить не предстоит, только учись. А поломались бы столько, сколько нам пришлось в прошлом году…

Прибывшие с гражданки новые юнги кидались на казенную еду так же алчно, как кидались на нее когда-то и «старики».

– Ничего, – утешали их. – Это у вас пройдет, как и у нас прошло. Даже в мисках оставлять будете. Кошек разведете…

Невзирая на эпидемию, начались экзамены. Выпускные. Самые ответственные. Отчет перед флотом, перед государством. Юнги сдавали экзамены, словно в шторм, – волна накатывала на другую. Один поток отчитается в знаниях – и в лазарет! Назавтра тянут билеты те юнги, которые только вчера из лазарета выбрались. Савка Огурцов не отличался крепким здоровьем, но – странное дело! – болезнь его миновала. Было в классе Росомахи еще человек десять, которых общее поветрие не задело. Вряд ли они чаще других мыли руки – просто случайность! Правда, врачей в Савватьево понаехало – пропасть: не успевали уколы делать, а на камбузе каждую миску оглядят – чисто ли вымыто? Припахивало карболкой и хлоркой в те дни. Но жизнь Школы юнг продолжалась по графику.

В воздухе уже повисли тонкие паутины – вестники близкой осени. Из кремля доходили слухи, что мотористы сдали экзамены. Приемная комиссия работала спокойно, но строго. Пятерки давались юнгам с большим трудом, но Савка от экзамена к экзамену шагал на одних «отлично», как и Коля Поскочин, Джек Баранов и Федя Артюхов выплывали в моря на четверках. Финикин скромно плелся на малых оборотах – троечки! Двоек ни у кого не было.

Враг просчитался: первый в СССР выпуск юнг состоялся точно в срок, не позже!

Осталось взять последний барьер – распределение на действующие флоты. Вот тут у каждого обрывалось сердце. Повезет ли?

– Я так и скажу: хоть режьте, только на Балтику!

– Мне подводные лодки, – бушевал Джек Баранов. – Пусть угроблюсь в первом же походе, но мечта должна осуществиться.

– Мне бы на Черное… Неужто не уважат?

Ждали приезда особой полномочной комиссии. Члены этой комиссии объективны и беспристрастны. Не зная юнгу в лицо, делают о нем выводы только по его успеваемости, по документам личного дела. Правда, эта комиссия не касалась назначения на корабли – ее дело проще. Вот картина страны, вот театры флотов. Но существует еще тыловая Каспийская флотилия… Кого куда?

Юнги всеми правдами и неправдами добывали себе репс для создания косиц. Бантики их не устраивали. Счастливцы, раздобывшие репс, прилаживали к бескозыркам косицы. Оторвать бантик совсем они не имели права, это сразу было бы замечено. Юнги поступали хитрее. При наличии бантика они носили косицы на макушке, прикрыв их сверху бескозыркой, так что со стороны ничего не видно. Но вот отвернулось начальство, юнга вскинул бескозырку и косицы сразу разметал ветер.

Росомаха и Колесник, предчуя близкую разлуку, были печальны и делали вид, что обмана с косицами не замечают.

– Жаль, – говорили старшины. – Вот уедете, а нам все начинать с самого начала. Вас-то мы уже знаем как облупленных. Каково-то будет с новыми… Может, понаехали какие хулиганы?

– Нам пишите на флот. На денек заскочим на Соловки и по старой дружбе к вам набьем салажню по всем правилам.

– Вы набьете… как же! Ищи вас потом, как ветра.

– Даешь флот! – слышалось по вечерам от шумящих рот.

И флот им дали.

\* \* \*

Комиссия начала распределение с боцманов торпедных катеров. Первым по учебе в этом классе был Мишка Здыбнев, и вся Школа юнг была поражена, когда он сам попросился на Северный флот.

– Ты же отличник! – говорили ему. – Круглый отличник!

– А это не значит, что я круглый дурак, – отвечал Мишка. – Не беспокойтесь: выбрал самое лучшее. Вы мне еще позавидуете…

Последним в классе боцманов по учебе и дисциплине был Витька Синяков, которому тоже выпал флот Северный. Таким образом, сразу же выявилась неожиданная тенденция: на Северный флот попадали или неуспевающие, или, наоборот, отличники учебы, идущие в туманы и штормы добровольно – по зову чистого сердца.

Затем комиссия взялась за радистов. Много юнг запросил Черноморский флот, и теплые бризы уже пронеслись над ними. Радистов требовала строгая Балтика – и ее цепенящие ветры обдували юные лица.

Двадцать радистов отъезжало в Ярославль:

– На переподготовку. Берут с отличным знанием техники, но слабых на слух. Обещают переучить на радиометристов.

– А что это такое?

– Радиолокатор… радар. Понимаешь?

– Нет. Не понимаю.

– В кино был, невежда? Ну, это как кино. Смотришь на экран и видишь точку. Она ползет, как вошь… Эта точка – противник!

Прекрасный слухач, рекордсмен школы по быстроте передачи, Мазгут Назыпов тоже избрал для себя Северный флот. Тут юнги столкнулись с особой практичностью.

– Флот везде флот, – говорил Мазгут после распределения, – а до Мурманска ехать короче. Знаете, как сейчас в дороге? И стоять подолгу приходится, и кипятку на станциях нет… А тут – шарах! – и через день я проснулся уже на флоте…

Наконец комиссия стала шерстить рулевых.

Финикин носил в кармане орех-двойчатку на счастье.

– Я верю в свою судьбу, – говорил он.

– Валяй, верь, – отвечал ему Поскочин…

Джек Баранов шлепнул Колю по спине, прямо по гюйсу:

– Чего загрустил, философ?

– Я грустно-радостный, пишется через дефис, – сказал Коля. – Радостный, что иду на флот. А грустный, что расстаемся…

– Флоты разные, но страна одна – встретимся!

– Этот вопрос остается для нас открытым, – отвечал Поскочин. – Не будем, ребята, забывать, что мы разъезжаемся не по домам из пионерлагеря. Мы едем сражаться, и правде надо смотреть в глаза… Все после войны мы собраться уже не сможем!

Двери навигационного класса, где заседала комиссия, вдруг распахнулись, и в коридор выглянул незнакомый капитан второго ранга.

– Товарищ Финикин… есть такой? Прошу в кабинет.

Сжимая в кулаке орех-двойчатку, Финикин исчез.

– Первый блин жарится, – заметил Артюхов.

Надзирательный «глазок» был предусмотрительно забит деревянным клином, чтобы юнги из коридора не могли подсматривать за своими товарищами. Игорь Московский приник ухом к скважине замка.

– Что там? – теребили его. – О чем говорят?

– Рыжий что-то о климате им вкручивает. Тепла ищет.

– Что он хоть просит-то у комиссии?

– Подлейшим образом на здоровье свое жалуется…

– Мерзавец! – озлобился Артюхов. – Ему, сквалыге, в Сочи да Пицунду хочется, а сам из трояков не выгребался.

Весь в мелком поту, будто уже опаленный южным зноем, из класса вдруг мешком вывалился в коридор ослабевший Финикин.

– Труба, – сказал он, прислоняясь к стенке.

– Какой флот достался тебе?

Финикин с трудом отклеил себя от стены.

– Каспий, – вздохнул он, – еду в Астрахань.

Поскочин даже завыл:

– У-у-у, пыли там наглотаешься, как на вешалке!

Артюхов сунул к носу Финикина здоровущий кулак.

– Домудрился? Хотел где потеплее, чтобы ватных штанов не таскать? Вот и заблатовался в самое пекло. Будешь с канонеркой торчать в Кара-Богазе, куда воду из Красноводска танкером завозят…

Финикин молча пошел прочь… Это уже отрезанный ломоть.

– Все справедливо, – заметил Московский.

Выкликнули Артюхова, и через минуту он выскочил в коридор, сияющий, ликующий! Лез целоваться, нежничал:

– Есть Балтика! Даже не просил – сами назначили…

Федю в классе любили, и все радовались за него.

Вызвали Колю Поскочина, держали за дверями очень долго. Слышался смех членов комиссии. Юнги в нетерпении подпирали стенки.

– Наш философ потравить обожает… заболтался там!

Поскочин вышел в коридор удивительно невозмутимый.

– Выбор сделан вне моего влияния. Вы же знаете, я просить не стану… Комиссия сама решила за меня – на Север!

Савка расцвел и обнял его:

– Как это хорошо! Мы будем вместе…

– Ты же в комиссии еще не был.

– Но я уже решил, что на Север… только на Север!

От дверей объявили:

– Юнга Баранов, просим пройти в кабинет…

Джек вдруг весь сжался, напружинился.

– Любой флот! Только бы на подплаве…

С этим и скрылся за дверью. Юнги обсуждали его мечту:

– Подлодки – это фантазия, а насчет флота Джек выбирать права не имеет. У него махонький троячок по метео затесался. Гул голосов в аудитории вдруг прорезало тонким всхлипом.

– Никак разревелся наш Джек Лондоненок?

Баранов выбежал в коридор – весь в слезах.

– Тихоокеанский? – спросили его.

– Хуже, – отвечал он, горько рыдая.

– Так что же хуже-то?

– Записали на Волгу… А я так мечтал… Хана мне, братцы!

Подходили юнги из другой роты, спрашивали тихонько:

– Чего это с ним? Или умер у него кто?

– Да нет. Все живы. А его на речку запекли.

– Ох, бедняга! Пусть плачет. Может, море и выплачет.

– Да не верят слезам нашим. Им пятерки подавай…

– Жаль парня, – расходились чужаки. – Обмелел он крепко.

Росомаха увел Джека за собой, дал ему свой носовой платок.

– На реках, – утешал, – тоже войнища. А реки и в Германии есть. Вот Одер, вот Рейн… всю Европу проскочишь, а войну закончишь на набережной в Берлине, где Гитлер мечтал в лунные ночи!

– На чем проскочу-то? – убивался Джек, плача.

– На бронекатерах… на чем же еще?

– Я подводные лодки хоте-е-ел… чтобы мне погружаться!

Артюхов толкнул Савку к дверям:

– Или не слышишь? Тебя зовут.

Савка шагнул в аудиторию, представ перед комиссией.

– Ленинградец? – спросили его. – А кто там из родни?

Савка подробно рассказал про свою бабушку все, что знал.

– Отличник? – Офицеры за столом комиссии переглянулись, отложили Савкино личное дело в сторону. – Думается, что с этим товарищем осложнений не возникнет. Ему прямая дорога на Балтику.

– Нет! – ответил им Савка.

– Севастополь? – спросили его, улыбаясь.

– Не надо мне ни Кронштадта, ни Севастополя… Хочу Полярный! Пожалуйста, очень прошу, пишите меня на Северный флот.

– Учти, – отвечали ему, – что Ленинград ты сможешь повидать лишь после войны. Отпусков не будет, а флот в Заполярье очень грозный флот… Там тебе будет нелегко, даже очень трудно!

– Это я знаю, – ответил им Савка.

Через несколько дней ему встретился Аграмов.

– Хвалю! – сказал кратко. – Служа на Северном флоте, ты очень многое повидаешь. Больше, чем где-либо. Ты меня понял?

– Так точно.

– Гирокомпасы по-прежнему любишь?

– Даже еще больше.

– Иди.

– Есть!

В своем выборе Савка не был одинок. Сознательно избрали для себя Северный флот многие. Пряников от судьбы они не ждали. Будут штормы, ломающие корабли, как сухие палки. Будут туманы, когда «молоко» сбивается в «сметану». Будут морозы, от которых корабли принимают вид айсбергов. Долгая арктическая ночь нависнет над их мачтами.

Коля Поскочин сказал правильно:

– Чем труднее в юности, тем легче в жизни. Надо понимать!

\* \* \*

Через несколько дней – первая команда:

– Черноморцы и азовцы – становись!

На этот раз – с вещами. Прощай, Соловки…

Все давно ждали этого волшебного момента, но счастье омрачалось болью расставания. Увидят ли они когда-нибудь эти прекрасные леса, блеснет ли им в ночи совиный глаз маяка на Секирной горе?

Последние слова, последние напутствия.

– Тихоокеанцы и амурцы, выходи строиться!

Этих мало. Они понуры и подавлены тем, что, подготовившись к войне, на войну не попадут. Пошел маленький дождик. Аграмов, в кожаном пальто, беседовал с каждой группой отъезжающих, утешал недовольных, желал счастливым доброго пути. Наконец выкликнули:

– Балтийцы, с вещами на построение!

Федя Артюхов вскинул на плечи мешок:

– Ну, вот и стал я балтийцем. – Он постоял напротив тех, кого еще не звали с вещами.

– Североморцы! – сказал им Артюхов. – Может, еще свидимся. А может, и нет. Прощайте на всякий случай, ребята… Я пошел!

Савка проводил глазами его рослую фигуру, нечаянно подумав: «Скоро он будет в Ленинграде». И что-то кольнуло в сердце: «Может, напрасно я на Север?» Но тут же он отогнал эту мысль прочь: «Я прав, недаром меня и Аграмов одобрил». Трижды вспыхнули песни уходящих и угасли за Секирной горой. Балтийцы ушли.

Теперь все ушли, а оставшиеся огляделись.

– Как мало нас, ребята!

Да, немного. Человек двести. И в любого ткни пальцем, обязательно попадешь в североморца.

Они часто спрашивали:

– Всех отправили, а когда же нас?

– Потерпите, – отвечали им. – Сначала отправляем тех, у кого дальняя дорога. А вам-то, североморцам, ехать – пустяки…

Делать было нечего. Пока они вольные птицы. Ни нарядов, ни приборок, ни занятий. Трижды в сутки сходи на камбуз, а весь день гуляй. Но гулять было невмоготу.

Юнги устали ждать.

– Ждите! Скоро в кремль придет транспорт за вами.

Савка с Поскочиным сидели на скамеечке возле учебного корпуса, когда из-за леса донеслось такое знакомое:

– Ать-два, ать-два… Нож-ку! Не стесняйся поднять повыше!

– Росомаха ведет своих гавриков, – догадался Коля.

Показался небольшой отряд юнг второго набора, старательно бивших по лужам новенькими бутсами. Рядом с ними, следуя по обочине, с кочки на кочку прыгал молодцеватый Росомаха, орлиным оком высматривая непорядки в шеренгах.

– Рука до бляхи! – поучал он молодняк. – После чего отводится назад под сорок пять градусов. Ать-два, ать-два!

– Старается, – сказал Савка. – В науку вгоняет.

Старшина подошел близко, и юнги встали перед ним.

– Ну, как новая публика? – спросил его Коля.

– Публика что надо. Что ни скажу – все делают. Не как вы, бывало, грешные. Но зато с вами, кажется, было повеселее… – Старшина повертел в руках кисет, на котором Танька вышила ему целующихся голубков. – Кажется, я женюсь на этой самой, – признался Росомаха. – Да, вот такие дела. Может, закурим?

– Спасибо. Неженатые и некурящие.

– Везет вам, ребята! – Росомаха крутил себе цигарку, не зная, что сказать юнгам в разлуку. – Ладно. Так и быть. Приглашаю вас после войны в Киев. Покатаю на речном трамвае. Без билета, конечно. Зайцами! В буфет зайдем, посидим. И вообще культурно проведем время. Ну, будьте счастливы! Не балуйте…

Он ушел к своим новым гонгам, а Савка фыркнул:

– Нашел чем соблазнять. Зайцами на речном трамвае.

Коля Поскочин вдруг зло блеснул на него глазами.

– А ты ничего не понял? – спросил он. – Росомаха ведь полюбил всех нас. Хотел найти хорошие слова. Но волнуется человек, вот и ляпнул про этот трамвай. Надо понимать людей… Если останусь жив, – закончил Коля, – я навещу его в Киеве. Пускай он катает меня себе на здоровье. Мне-то на трамвай плевать, но ему будет приятно…

– Верно, – согласился Савка. – Так ведь я разве спорю? Мужик он хороший. Зря мы нервы ему понапрасну трепали.

Издалека послышался печальный надрыв запоздалого горна. Горнист выпевал сбор.

– Пошли. У меня даже сердце заколотилось.

– У меня тоже, – сознался Коля. – Это нам…

Последовала быстрая перекличка. Североморцы отвечали сорванными от волнения голосами: «Есть! Есть! Есть!..» Вещи уже в руках. Какие там вещи у юнги! Казенное бельишко. Пара учебников. Куски мыла. Не обжились. Специально для проводов североморцев прибыл оркестр. Пожилые матросы-музыканты продували для марша трубы, опробовали звоны тарелок. Щедровский вышел из штаба, произнес речь о славных традициях русского флота, о верности долгу и Родине. Он закончил словами:

– Высоко несите по морям гордое звание юнги!

Солнце уже садилось. Блеснула медь духовых труб, юнги тронулись, все вокруг наполнилось торжественной печалью, а гигантская труба геликона еще долго выговаривала за лесом: «Будь-будь… будь-будь!» На электростанции прокудахтал им в расставание движок дизеля. В конюшне прощально заржала родная юнговская Бутылка. Вот и баня. Вышла оттуда распаренная, как свекла, Танька с веником и тазом. Была она в синем берете и тельняшке.

– Поклон защитникам отечества, – пожелала она. – Понапрасну-то под пули не суйтесь…

Витька Синяков крикнул ей на прощание:

– Ты хоть новеньких-то на сахаре не обвешивай…

Юнги переговаривались, что Аграмов не вышел на их проводы.

– Не заболел ли старик?

Вдали уже была видна крутая лестница, ведущая к маяку на Секирной горе. Капитан первого ранга ждал юнг на дороге. Он поднял руку.

– Вы, – сказал он им, – уходите последними. А на флот вы, североморцы, прибудете первыми. Ехать всего одну ночь. Товарищи юнги… дети мои! – нашел он нужное слово. – Вся большая жизнь лежит перед вами. Большая – как море. Как море! Я, старый офицер русского флота, низко кланяюсь вам…

В глазах Аграмова блеснули слезы. Он и в самом деле поклонился юнгам и велел двигаться дальше. Юнги часто оборачивались назад и долго еще видели начальника школы. Аграмов не уходил, глядел им вслед. Что он вспоминал сейчас, этот пожилой человек? Может быть, юность и кровавую пену Цусимы?

Он провожал на битву юное поколение – юнг.

У них не было прошлого – они уходили в будущее!

\* \* \*

Джек Баранов ехал до Сталинграда заодно с партией черноморцев и даже не попрощался с классом. Перед отъездом он прятался от товарищей, словно служба на реках поставила на нем позорное клеймо. Бедный Джек! Как он убивался, как плакал. Не знал он тогда своей судьбы…

Начав боевой путь на Волжской флотилии, Джек затем форсировал Днепр. Его бронекатер в громе пушек прошел вверх по Дунаю, брал Измаил, штурмовал Будапешт и Вену. В семнадцать лет Джек Баранов уже самостоятельно командовал кораблем – его пулеметно-десантный глиссер с Одера расшибал в Берлине окна и амбразуры, в которых засели фанатики с фаустпатронами. Особые заслуги Джека перед флотом были учтены, и в восемнадцать лет он стал младшим лейтенантом. А после войны началась настоящая учеба.

Подтвердилось, что реки впадают в океан! Мечта Джека Баранова о подлодках исполнилась неожиданным образом. Сейчас он в звании контр-адмирала. Савва Яковлевич сказал мне, что недавно виделся с Барановым.

– Жалуется старик! Здоровьишко уже не то. Мотор барахлить начал. Вспоминали мы с ним то время, когда моторы работали безотказно. Джек и сейчас стрижется наголо, словно он по-прежнему юнга… А у него уже сын – лейтенант. Вот сын попал на подводные лодки!

\* \* \*

Рассвет застал их на борту транспорта «Карелия». Когда на горизонте стал исчезать конус Секирной горы, Коля Поскочин, необычайно серьезный, снял бескозырку, сказав:

– Смотрите, ребята! Это мы видим в последний раз. И помните, что здесь мы были по-настоящему счастливы.

– Мы еще будем счастливы, – отвечали ему юнги.

– Будем, – согласился Коля. – Но уже совсем иначе, не так, как здесь.

Плыли мимо них каменистые луды, на которых паслись коровенки, да кое-где вилась над островами струйка дыма одинокого рыбацкого костра. Был теплый день. Тяжелый транспорт почти не качало, и на душе каждого было легко. Скоро перед юнгами открылся город, раскиданный по холмам…

– Чудеса! – сказал Савка. – Где же я видел этот город?

– Я тоже его видел. Словно во сне…

Это была Кемь, и тогда они вспомнили, что явление рефракции однажды как бы подняло этот город над морем, юнги из Савватьева наблюдали его повисшим вровень с облаками…

Высадились! Так странно было встретить в городе гражданских людей, мужчин без формы, женщин и детей. Во всем чуялась большая нужда и общая неустроенность военного быта. Жители с удивлением оглядывали невиданных моряков, на погонах «Ю», а на бескозырках бантики.

– Кто же вы такие? – спрашивали кемчане нараспев.

– Мы юнги… юнги флота.

– Эка новина! Про таких мы не слыхивали…

Юнги шли через город, бескозырки у всех имели уставной креп на правый борт. Еще в кремле им выдали сухой бортпаек: хлеб, сало, банку тушенки на троих. Вещевые мешки на спинах юнг явно обрисовывали это сказочное по тем временам богатство – горбыли буханок, острые края консервных банок. Иногда кемчане их окликали:

– Хлебца нету ли, товарищи хорошие?

Поскочин скинул с плеча мешок. Распатронил его тут же:

– Я не могу… отдам! Мы ведь сытые, а ехать нам недалеко.

Вслед за Колей отдал людям свою буханку хлеба и Савка. А потом в воздухе замелькали золотые слитки хлеба, и всем запомнился пожилой рабочий, прижимавший к себе буханку, как ребенка:

– Вот спасибо… вот спасибо, родные вы наши!

– А выпить найдется? – спросил Синяков, показывая сало. Мишка Здыбнев треснул его кулаком по затылку и скомандовал:

– Прямо!

На станции юнг поджидал состав из пяти теплушек с открытыми настежь дверями. Внутри – только нары и печурки, больше ничего. Залезали в вагоны с хохотом:

– Экспресс подан… прима-класс! Туалет направо, ванные налево!

Отправлять их не торопились, и понемногу юнги разбрелись во все стороны от станции. Прошел мимо чумазый сцепщик с фонарем.

– Эй, рабочий класс! А до Мурманска далеко ли ехать?

– К утру дотянетесь. Если не случится чего. А может, и разбомбят вашу милость. Тогда малость подзадержитесь…

Да, за лесами лежал фронт. Там постукивали одинокие выстрелы «кукушек», там стыли непроходимые болота, что тянулись к северу, до самой загадочной Лапландии…

К вечеру тронулись. На север, на север! Пошел частый и звонкий перестук разводных стрелок. Мишка Здыбнев сразу заорал:

– Витьки нет… ах, рожа поганая! Кто его видел?

– Да вон – не он ли бежит? Никак, пьяный?

– Где он взял на выпивку, паразит?

– Видать, на сало выменял…

Состав наращивал скорость. Под насыпью крутились желтые искры. Витька Синяков бежал рядом с эшелоном, его отшибало в сторону.

– Остановите поезд, – советовали иные.

– Чем я его остановлю? Пальцем, что ли? – Здыбнев скинул шинель, подтянул ремень. – Пропадет ведь… шпана худая!

И спрыгнул под насыпь. За ним – еще два боцмана. На разбеге поезда они вбросили Витьку в предпоследний вагон. Теперь все трое бежали под насыпью. Из раскрытых теплушек в воротники фланелевок вцепились десятки дружеских рук, и, болтнув ногами, боцмана исчезли внутри вагона… последнего вагона в составе!

Юнги, наблюдавшие эту картину, с облегчением перевели дух. Сказали:

– Мишка, конечно, подождет до первой остановки, а потом, как пить дать, Витьке шапочку на прическе поправит…

Обилие впечатлений и бессонная ночь на корабле сморили юнг. Все заснули на тряских нарах теплушки. Пробудились от резкой и острой стужи. Кажется, утро. Но еще совсем темно.

– Эй, у кого часы?

– Мы не аристократы. Откуда у нас?

– Вот у моториста хронометр в кармане…

Юнга-моторист долго вглядывался в циферблат:

– Не пойму. Восьмой или девятый?..

– А темнотища, – причмокнул кто-то. – Вот она, житуха!

– Закройте двери… хо-а-адно.

– Не заколеешь. Привыкай. А смотреть тоже надо.

– Чего там смотреть? В цирке ты, что ли?

– Как чего? Станем любоваться дивным пейзажем…

В полумраке проступали аспидные скалы, поросшие цепким кочкарником. В глубине грандиозных каньонов плавилось, покрытое туманом, стылое серебро озер. Иногда сверху слышался шум – это гремели бивни водопадов, вонзаясь в расщелины скал. А в мрачной вышине неба красноватым огнем догорал предрассветный Марс.

– Бранная звезда освещает наш путь, – сказал Поскочин.

Поезд, не задерживаясь, проскочил станцию Кола. Брызнуло снежной белизной, пахнуло водой – это показался Кольский залив. Стоя в дверях теплушек, юнги въехали в Мурманск.

Совсем недавно Геринг бросил на этот город «все, что летает», и столица Заполярья лежала в обломках. Всюду торчали печные трубы, на пожарищах полярных домов сплавились в огне детские кроватки, бродили одичавшие кошки. Савка, переживший блокаду Ленинграда, к разрушениям отнесся спокойно – война есть война, но на других юнг обгорелые руины произвели сильное впечатление. Однако порт работал, от воды мычали сирены кораблей, полузатопленные американские транспорты стояли вдалеке, едва дымя, выброшенные на отмели, чтобы спасти ценнейшие для войны грузы.

Поезд остановился далеко от вокзала.

– Вылезай!

Спрыгивали под насыпь. Оглядывались настороженно.

Подъехал грузовик. Какой-то старшина, словно с неба свалившийся, сразу взял команду над юнгами:

– Вещи – в машину! Стройся по четыре… Рррав-няйсь. Товарищи юнги, мурманскому порту не хватает рабочих рук. Транспорта с грузами ждут очереди под кранами. Наша святая обязанность – помочь воинам на фронте, выручить флот. Налево! Ша-агом…

Трудились до ночи. Краны черпали из корабельных недр сложенные пачками крылья «аэрокобр», ящики с механизмами. А иногда вычерпывали разную чепуху. Один ящик кокнулся об доски причала, из него посыпалось заокеанское барахло: журналы и мыльный порошок, пипифакс и ракетницы, ананасные консервы и дамские чулки – все вперемешку. Юнги пошабашили, шатаясь от усталости. На выходе из порта охрана их тщательно обыскала. Старшина привел их в Росту, что лежит на берегу залива. Огражденные колючей проволокой, здесь гнили под дождями бараки флотского экипажа…

– Обыскали нас лихо, – сказал Синяков, стоя посреди барака. – А вот в кулак мне они, дураки, заглянуть не догадались…

Разжал пальцы – и на грязный пол цветастым парашютом, тихо шелестя, опустилось тончайшее женское платье.

– Вот это штука… – пронесся гул голосов.

Здыбнев опомнился первым.

– Конечно, – заявил он авторитетно, – кое для кого такая обнова самый смак. Но для победы эта тряпка ничего не дает. Я устал от работы, и лупить Синякова сегодня не будем… Никому ни звука! Нельзя сразу, как прибыли, позориться. Ясно?

Все ясно. А что делать с платьем? Оно валялось на полу, полыхая южными красками, такое красивое, такое воздушное. Поскочин вдруг подошел к нему и невозмутимо вытер об него свои бутсы. Его поняли. Юнги молча подходили, чистили о ворованное платье обувь.

Скоро на полу барака лежала грязная тряпка…

– Вопрос считать закрытым, – объявил Здыбнев.

Эти дни, проведенные в бараках экипажа, были самыми проклятыми днями в биографии юнг. За оградою из колючей проволоки флот уже реял вымпелами, он подзывал их к себе сиренами миноносцев, пробуждал юнг по ночам тоскующим завываньем подлодок, а они, как неприкаянные, валялись по нарам и ждали… Ждали, когда соберется последняя для них комиссия, чтобы распределить юнг по кораблям.

Савка устроился на нарах между друзьями – слева Коля Поскочин, а справа Мазгут Назыпов. Они тихонько беседовали.

– Не всем повезет! Мы-то отличники, можем выбирать…

Здесь, на этих нарах, они шепотком, никому не мешая, подолгу отшлифовывали алмазные грани своих заветных мечтаний.

\* \* \*

Мазгут, словно ошпаренный, выскочил из комиссии.

– Ничего не понимаю! Обещают одно, а творят другое. Зачем тогда людям понапрасну головы задуривать?

Выяснилось, что его назначили в команду «ТАМ-216».

– А что за команда – не говорят, – возмущался Мазгут.

– Заяви, что ты отличник. Право выбора кораблей за тобой… Не хлопай ушами! На кой ляд сдалась тебе эта команда?

– Я так и сказал, – оправдывался Мазгут. – А они мне, словно попугаи, одно лишь твердят: «Не спорь! Ты будешь доволен!» А я как раз недоволен. Может, забабахают на зимовку, и я буду там загорать: ти-ти, та-ти-та, та-та-ти…

Настроение у Савки испортилось. Его трепетная мечта об эсминцах вдруг косо уплыла в даль коридора и завернула за угол, откуда из промороженных гальюнов несло сухопутной хлоркой. Вызывали юнг на комиссию вразнобой – то радиста, то боцмана, то рулевого.

Выскочил оттуда один моторист, явно смущенный:

– Я в виде исключения – на подплав, но сначала буду чинить дизеля на берегу. Назначен слесарить в плавмастерские.

Он не отчаивался: у него был шанс перескочить в дизельный отсек подлодки. Вышел из комиссии Мишка Здыбнев.

– Со мною порядок! Никаких палок в колеса не ставили.

– А куда тебя?

– Готовили в боцмана торпедных катеров, вот и направили на тэ-ка. Полгода боевой стажировки, потом – в турель…

Савка заметил, что Синяков кусает губы, – видать, завидовал.

Скоро и Огурцова пригласили в комиссию. Здесь расположился грозный синклит кадрового отдела флота; сновали с папками личных дел вышколенные писаря, возле окна с папиросой в зубах, кутаясь в платок, сидела пожилая машинистка. Савка предстал.

Поначалу – легкий опрос, вроде беглого знакомства:

– Ленинградец? Сын комиссара? Сирота?

На все вопросы Савка дал утвердительные ответы. От волнения крутил в руках бескозырку, играя с нею, как с колесом.

– Вам, – было сказано ему, – предоставлено право самому выбирать для себя класс кораблей. Любой! Кроме линкоров и крейсеров, которых на Северном флоте пока нет. Не предлагаем вам и подводные лодки, ибо для службы под водой необходимы особые знания, какими вы не обладаете… Слово за вами! Выбирайте…

Райская жар-птица сама летела ему в руки.

– Эсминцы, – выдохнул из себя Савка.

– Какие? – спросили его. – На нашем театре они двух типов. Прославленные, но устаревшие «новики» и новейшие эскадренные «семерки». Какие вас больше устроят?

Савка сообразил быстро:

– На «новиках» начинал службу еще мой отец. А мне они уже не совсем подходят… Хочу на «семерки», хотя никогда их не видел.

Члены комиссии перебрали какие-то бумаги, пошептались между собою и, резко отодвигая стулья, разом поднялись:

– Юнга Эс Огурцов, вы будете служить рулевым на Краснознаменном эскадренном миноносце «Грозящий». Поздравляем вас. Ступайте на оформление предписания. А вечером в бухту Ваенга пойдет машина…

Савка вылетел в коридор как пуля.

– На «семерки»! Ура, я – на «Грозящий»!

– Прекрасно, – поздравил его Коля Поскочин. – Тридцать узлов тебе обеспечено.

– А где несчастный Мазгут?

– А вон… закурил даже. Отчаивается.

– А тебя, Коля, еще не вызывали?

– Жду. И никаких кораблей просить не буду. Пусть комиссия сама назначит меня в ту дырку, которую требуется заткнуть мною.

Конечно, это было благородно, но Савка все-таки намекнул:

– Послушай, а ты не промахнешься со своим донкихотством?

– Нет! Если надо хлебнуть шилом патоки – я согласен…

Из комиссии Коля вышел с непонятной ухмылочкой.

– Чего тебя так долго мариновали? – спросил его Савка.

– Мурыжили крепко! Там один капитан-лейтенант оказался очень умным человеком. Мы беседовали с ним по-английски.

Савка и все другие юнги были удивлены:

– А ты разве можешь по-инглиш? И нам не говорил?

– К чему? Имеющий мускус в кармане ведь не кричит об этом на улице: запах мускуса все равно почуют. В моих документах это обстоятельство было отражено и сейчас, кажется, сыграло свою роль.

– Так куда же тебя назначили?

– Я закреплен за таинственной командой «ТАМ-216».

– Мазгут! – стал кричать Савка. – Иди скорее сюда. Вот тебе товарищ по разгадыванию шарад и кроссвордов. Ха-ха-ха!

Мазгут с тревогой заглядывал в ясные глаза Поскочина.

– Браток, куда же нас с тобой денут?

– А чего ты вибрируешь раньше времени?

– Хоть бы сказали открыто, не темнили мозги. Мы же мучаемся.

– Перестань! – отвечал Коля. – Никто нас не мучает. Просто не говорят. Давай, Мазгут, заранее считать, что нам чертовски повезло.

Словно подтверждая эти слова, в коридоре барака вдруг появился лейтенант в плаще из дорогого габардина. Золотые погоны торчали над его плечами, словно крылышки доброго ангела.

– Кто здесь назначен в команду «ТАМ-216»?

– Я, – шагнул к нему Поскочин.

– И я, – двинулся вперед Назыпов.

– Очень приятно. Рррад! – произнес лейтенант раскатисто. – Рррадист и рррулевой? Надеюсь, плохих спецов мне не дали…

– А куда мы сейчас, товарищ лейтенант?

– Сначала на переобмундирование. Вам будут шить новую форму. Из офицерского сукна. Фланелевки тоже, конечно, не из фланели.

Юнги тронулись за ним, но он вдруг раскинул руки:

– Куда вы? Попрощайтесь со своими товарищами.

– А разве… – начал было Коля.

– Да, – ответил лейтенант, – не скоро вы их увидите.

Савка второпях пожал руки друзьям.

– Быстро нас стало разбрасывать… Прощайте, ребята!

Двое уже шагнули за своим офицером в большой мир флота, насыщенный тревогами и ветром. Из тех же тревог, из того же ветра в барак экипажа шагнул громадный детина. При виде такого великана юнги ахнули. Весь в собачьем меху, одежда простегана «молниями», а штаны исполосованы слоями засохшей морской соли.

– Я с торпедных катеров. Где люди? Забираю!

Он увел за собой боцманов, как рождественский лед уводит детей на метельный веселый праздник. Только сейчас Савка заметил, что Синяков остался в бараке; слонялся по углам.

– А чего тебя не взяли на катера?

– Вместе поедем до Ваенги. Меня туда запихачили на эсминцы… Конечно, не боцманом, а – в боцманскую команду.

В эти боцманские команды обычно зачисляли матросов, которые не имели флотской специальности. Ну, вот и доигрался Витька!

– Плевать мне, – сказал он, явно рисуясь. – Мне бы только до самодеятельности добраться. Да чтобы в ансамбль флота проскочить. Я там запою… лучше вас всех! Такие, как я, не пропадут.

Савка через окно барака видел, как в метели, держа в руке вещмешок, бодро уходил Мишка Здыбнев. Флот был один, но корабли на нем разные. Корабли раскидывало, как людей. Савка всю войну не встречал Здыбнева, но имя его часто попадалось ему во флотской печати. После дерзких атак в Варангер-фиорде газеты не раз печатали Мишкины портреты. Здыбнев был снят в пулеметной турели, от лица – только овал, голова боцмана плотно облита штормовым шлемом бойца. И встретились они в одном поезде и в одном вагоне – после войны! Савка ехал в Ленинград, а Здыбнев катил в Москву на Парад Победы, как представитель Северного флота. Этот героический флот Здыбнев представлял вполне внушительно: грудь колесом, усищи рыжие, плечи в сажень, а под бряцающими рядами медалей не видать сукна фланелевки…

Савка доглядел до конца, как метель закружила следы боцманов, уходящих на свои корабли – на жизнь или насмерть!

Наконец от дверей послышалось долгожданное:

– Внимание! Машина до Ваенги… Кому на эсминцы?

Савка схватил Синякова за рукав, потянул его из барака:

– Это за нами… пошли скорее. Наша очередь!

Эпилог четвертый

(Написан Саввой Яковлевичем Огурцовым)

Была, если не изменяет мне память, ранняя весна 1944 года. Эсминцы качались, усталые, возле пирсов Ваенги. Я только что сменился с вахты, вдруг мне через люк кричат сверху:

– Ходи наверх! Тебя двое не наших спрашивают…

Выбрался я на пирс. В самом конце его, вижу, стоят два парня. На спинах их курток проштампованы крупные литеры: «ТАМ-216». Подхожу ближе. Сами они длинные, чернущие от загара. Под куртками у них не тельняшки, а свитера из добротной шерсти.

– Не узнаешь? – спрашивают. – А ты, бродяга, тоже вырос.

Передо мною стояли Коля Поскочин и Мазгут Назыпов.

– Не ожидал, – говорю. – Где вы так успели загореть?

– Даю точный адрес: штат Флорида! – ответил мне Коля. – А загорали на пляжах Майами.

Я даже не совсем поверил:

– Брось трепаться. Говори делом – откуда вы взялись?

– А я и говорю – пришли из Фриско, как зовут американцы Сан-Франциско. Ничего городишко… Спроси у Мазгута, он тебе подтвердит, что Сан-Франциско очень похож на его родной Касимов!

А сам хохочет, заливается. Мазгут добавил серьезно:

– Это правда. Сделали два перехода через Атлантику. Привели корабль, построенный для Северного флота… Всего неделю назад выспались в «собственной спальне его величества» – в Скапа-Флоу в Англии, потом пошли в Рейкьявик, на рейде там подсосали с танкеров топлива и рванули на дизелях – домой!

Коля звал меня к себе:

– Пошли! Вообще-то наш «ТАМ-216» обычный конвойный тральщик, но союзники такие коробки называют корветами. У нас там полный сервис, поначалу даже противно было. Штаны гладит машина, картошку чистит машина, белье стирает и выжимает машина. Хочешь пить – жми кнопки, любая вода с сиропом, горячая или холодная, струей льется в рот. Матросу нечего делать – только неси вахту!

За сопкой показались короткие, как пальцы, мачты незнакомого корабля. Их клотики были увенчаны массивными колпаками.

– Ходим с радарами, – пояснил мне Мазгут.

В кубрик команды вел широкий трап – не крутой, а пологий. Вместо поручней там висели фалрепы, обтянутые лиловым бархатом. Я так привык к нашей русской крутизне, что на пологом трапе чуть не сломал себе ноги. Друзья таскали из холодильника банки с соками.

Я спросил их, какая житуха за океаном.

– Живут, – рассказывает Мазгут. – Траура и голодухи не знают. Небоскребы не покачнулись. И барахла разного много. Поначалу-то глаза разбегаются. А потом быстро привыкаешь, будто так и надо. У меня в Касимове мама в сорок первом крапиву варила, а там гречу и кукурузу свиньям скармливают. Однако к русским относятся превосходно. Идешь, бывало, по улице. Видят – матрос из России. Каждая машина перед тобой остановится. Садись в нее, сочтут за честь. Сел, сразу руль тебе уступают. Веди сам! Куда тебе надо. Ну, мы вести машин не умеем. А чудаки такие были, что брались за руль. Шесть витрин во Фриско разбили. Так и въехали на машинах в магазины. Хоп хны! Даже штрафа не платили.

Я посмотрел на друзей попристальней и вдруг увидел в них красивых молодых людей, уверенных в себе и в том деле, какое они обязаны делать на благо победы. В этот момент, не скрою, мне захотелось и на себя взглянуть со стороны – насколько я изменился? Таков ли я, как они?

Мы расстались тогда, и наши пути-дороги разошлись. Один только раз возле Канина Носа я видел, как, весь в бурунах пены, прошел «ТАМ-216»; он вел так называемый свободный поиск противника. Время для меня текло тогда быстро.

Уже близился час нашей победы, когда я случайно прослышал, что на соседнем с нами «новике» служит радист-юнга. Ради любопытства я перескочил с борта «Грозящего» на палубу старого миноносца-ветерана. Эта встреча мне крепко запомнилась…

Сдвинув наушники на виски, в радиорубке эсминца сидел худой человек с проседью в волосах и страдальчески заостренным носом. Что меня особенно поразило, так это обилие электрогрелок. Четыре жаровни сразу окружали его. Он медленно повернул ко мне голову, и я с трудом узнал в нем Мазгута Назыпова.

– А где же Коля? – спросил я сразу.

…Это случилось в Карском море при полном штиле, когда арктическая вода была похожа на черное стекло. «ТАМ-216» в составе номерного конвоя держал курс на Диксон. Все было спокойно, когда с одного сторожевика дали загадочное радио – передача прервалась на полуслове. Командир эскорта приказал на «ТАМ-216» отвернуть с генерального курса и действовать самостоятельно, сообразуясь с обстановкой. На месте погибшего сторожевика плавал загустевший от стужи соляр. Из черной гущи липкого масла подхватили лишь одного матроса. Он умер на трапе, ведущем в лазарет, не успев ничего рассказать. Но было ясно, что враг шляется где-то неподалеку. «ТАМ-216» начал прощупывать под собой пучины, объятые мраком и холодом.

– Я хорошо помню этот момент, – рассказывал Мазгут, продолжая прослушивать эфир. – Акустик вдруг крикнул, что засек шум винтов, и сразу дал пеленг. Мы пошли на лодку, готовя к залпу «ежики» с бомбами. Поверь мне, Савка, что никакого следа от торпеды мы не видели. Перископа тоже никто не заметил. Взрыв раздался, и все полетело к чертовой бабушке. Приборы вырвало из бортов с мясом. Они так и повисли на пружинах амортизаторов. Радиорубка превратилась в свалку, я с трудом выбрался из груды металла. Корпус деформировало от кормы до форштевня. Наш «тамик» мелко дрожал. Никогда не забуду этой картины – из воды вдруг выперло винты корабля, и они продолжали вращаться на остатках инерции…

– А что Коля? – спросил я.

– Погоди… Мы откачали топливо за борт, чтобы хоть как-то выправить крен. Я взял радиопереноску, которая мне показалась исправной, и на мостике сел с нею возле ног командира. «Передавай, передавай!» – внушал он мне. Я стучал в эфир, что торпеда не дала следа. Что это не мина! Новая немецкая торпеда, не оставляющая следов на воде… А над мостиком уже бушевал костер.

– Вы загорелись от взрыва?

– Нет. Это Коля Поскочин спешно сжигал секретные карты и все документы. Командир велел побросать за борт понтоны. Мы с Колей остались. Мы были еще нужны… Я работал на ключе, а он выпускал в небо ракету за ракетой. Мы надеялись, что нас заметят с эскорта. Корабль вдруг стало трясти. Ох и тряска… зубы ходуном ходили! Тогда командир велел и нам, юнгам, покинуть палубу. Мне он дал пакет с партбилетами офицеров, а Коле вручил узелок с орденами. Понтоны с нашими людьми качало уже вдалеке.

– И ушли все, кроме командира? – спросил я снова.

– Что ты! В рубке остались офицеры. Они сидели на диване и курили папиросу за папиросой. Это были последние папиросы в их жизни. Не покинули пушек и два комендорских расчета.

– А что в этот момент сказал тебе Коля?

– Мы стали уже сбегать по трапу, и Коля вдруг дернул меня за куртку. «Мазгут, – сказал он мне, – кажется, амба!»

– И больше ничего?

– Ни слова больше… Мы погрузились в воду согласно инструкции. Сначала до колена, потом до паха. Медленно вошли в море грудью. Разрыва сердца от резкого охлаждения с нами не случилось, и мы с Колей поплыли. Невдалеке бултыхало красный буй, сорванный взрывом с нашей кормы. Я знал, что до подхода понтона, возле буя, мы сможем продержаться минуты три. От силы пять минут, не больше…

– Вы плыли рядом?

– Все время. Но я, как более сильный, метра на два впереди Коли. Кажется, ему мешал плыть узелок с орденами. Я часто оглядывался на Колю и вдруг увидел, как из воды – ну совсем рядом со мной! – вырвалась рубка подлодки с мокрыми флагами. Они провисли, как тряпки. Один был имперский со свастикой. А второй… Ты не поверишь, но я готов поклясться, что на черном фоне второго был череп с костями, какие рисуют на будках трансформаторов высокого напряжения. Два наших расчета открыли огонь с палубы. Врезали точно по рубке, даже поручни сорвало. После чего немцы сразу ушли под воду. Из-под воды они саданули вторую торпеду… Всплеска даже не было. Поднялся огненно-рыжий столб, в котором погибли все ребята. На этот раз все! Тогда лодка всплыла вторично, и я не сразу понял, что нас обстреливают из пулеметов. До буя было уже недалеко… Постой, – сказал Мазгут, сдвигая наушники с висков на уши; он вникнул в россыпь морзянки и откинулся на спинку вертушки. – Нет, это не нам… вызывают твой эсминец.

Замолчав, он придвинул к себе еще одну грелку:

– Страшно мерзну. Стал такой дохлятиной после того дня. Почти всех с нашего «тамика» демобилизовали. Хотели и меня! Но я вымолил у врачей право сидеть за ключом до победы. Вот только мерзну…

Мне стало страшно, я сказал:

– Мазгут, почему ты ничего не говоришь о Коле?

– Я скажу… Колю убили из пулемета. Прямо в спину. Он так и ушел на грунт, с целым узелком орденов.

– Все?

– Еще не все. Я долго потом видел Колю…

– Во сне?

– Нет, в воде… Коля долго светился из глубины белым пятном. Потом это пятно стало медленно тускнеть. И наконец бездна моря растворила его в себе… навсегда! Вот теперь, кажется, все, – твердо закончил Мазгут, не глядя мне в глаза. – Сейчас Коле было бы шестнадцать лет.

– Как и мне, – сказал я…

Мы были с ним одногодки.

Разговор пятый

Этот разговор был самым кратким.

– А дальше, – заявил мне Огурцов, – писать буду я сам. Вы только не вмешивайтесь.

– Помилуйте… отчего так? Я же автор этой книги.

– Как бы вы ни старались, вам все равно лучше меня о флоте не написать.

Я ушел обиженный. Не знаю, что у него там получится.

Теперь, когда дело идет к концу, я могу сознаться, что работать с Огурцовым было нелегко. Человек резкий и упрямый, он иногда подавлял мою волю, я невольно подпадал под его влияние. Мне было очень трудно писать о нем как о мальчике, когда я видел перед собой не мальчика, а крутого и сильного человека.

Вечером я позвонил Огурцову по телефону:

– Ладно. Пишите сами. Не будем ссориться.

– Не надо, – согласился Огурцов.

– А как вы решили назвать эту последнюю часть?

– «Капля меду»!

– При чем здесь мед? И почему только капля?

– Потому что в общей нашей победе есть и моего меду капля. Пусть маленькая, но без нее бочка не была бы полной…

Позже он сам переменил свое решение и назвал часть иначе. Правда, эта «капля меду» мне встретилась в тексте, но уже в самом конце книги… Ладно, не буду вмешиваться! Хочет писать сам – ну и пускай пишет.

Часть пятая

Держись крепче!

Кто увидит дым голубоватый,

поднимающийся над водой,

тот пойдет дорогою проклятой —

звонкою дорогою морской.

Э. Багрицкий

Вот они – качаются возле пирсов, подсасывая в свои днища пресную воду и тягучий мазут. У них узкие и хищные корпуса, расшатанные от вибраций на высоком форсаже, вмятины в бортах от штормов и бомбежек. Иногда они, обледенелые, плывут в океане, словно ожившие айсберги, и под грузом ледяных сосулек лопаются тонкие антенны. Их покатые палубы мелко вздрагивают от работы турбин, а теплые массы воздуха перемещаются над ними слоями.

Это и есть эсминцы – корабли моей любви!

С трепетом я ступил на палубу «Грозящего».

\* \* \*

Первое ощущение – все заняты, и никому нет до тебя дела. Второе впечатление – все здесь не так, как в книжках пишут. Не так думалось. Не так и мечталось. Отполированная сталь палубы, кое-где прохваченная ржавью, залита мазутом. Холодно, но редко встретишь матроса в бушлате. Команда в робах, и подолы голландок почти до колен. У многих в зубах или в карманах – отвертки. По трапам скачут обезьянами, почти не касаясь руками поручней. А трапы – как стена, чуть ли не вертикальны. Тра-та-та-та! – и уже взлетел наверх. Тру-ту-ту-ту! – и уже он внизу…

Поигрывая цепочкой дудки, ко мне подошел рассыльный.

– В первую палубу, – сказал он мне.

Вот еще новость. Сколько существует отсеков, столько и палуб. По сути дела, любое помещение на корабле – это и есть палуба. Моряки, спускаясь в кубрик, говорят: «Я хожу в палубу», – и называют ее номер.

Держа в руке вещевой мешок, я шагал по рельсам минной дорожки. За мною увязался лохматый щенок и нюхал мои узкие брюки. На трапе, ведущем на полубак, щенуля отстал. Идти было скользко. Я выбрался в самый нос эсминца, а там – люк. Стал я спускаться по крутизне спиною вперед, меня шлепнули снизу:

– Корова! Кто же раком по трапам ползает? Лицом надо…

Кубарем я скатился вниз, уронив мешок, а мне сказали:

– Собери свой скелет. Раскидался тут мослами!

Я попал в тамбур люка, откуда вела дверь в баталерку, словно в магазин: возле весов с гирями стоял человек в белом халате и напряженно резал ножом крепкое замерзшее масло.

– А где здесь первая палуба? – спросил я его.

– Ниже. Или не видишь люка?

Глянул я в круглый люк, а там полно картошки…

– Это провизионка. А ты лезь в квадратный.

Через квадратный люк я наконец-то угодил в кубрик, который должен стать моим домом. В трубах парового отопления посвистывал пар. Вдоль бортов, обитых пластинами пробки, стояли рундуки, а над ними висели старшинские койки, закинутые на цепях к переборке. Чисто и прохладно. Один матрос разговаривал по телефону.

– Это ты – юнга? – спросил он, втыкая трубку в щелкнувший замок. – Звонил штурман. Бросай хурду и ступай к нему в каюту.

Я швырнул на рундук вещи и повернул обратно к трапу.

– Куда ты? Вот здесь ближе будет…

Матрос откинул в переборке горловину лаза – чуть пошире иллюминатора, и я просунулся в него головою вперед. При этом мои руки уперлись в линолеум палубы второго кубрика, и там меня оборжали комендоры:

– Смотри! Какой-то чудик появился…

Теперь я мог ползти лишь на руках, как это делают ползунки. Моя корма застряла в первом кубрике, и там товарищи не растерялись. Схватили меня за штаны и втянули обратно.

– Олух! – было заявлено мне. – Нас тут живет тридцать четыре боевых номера. Если каждый номер будет так вылезать по боевой тревоге, то немцы нас сразу потопят, и правильно сделают… Вот смотри, как надо выскакивать!

Подпрыгнув, матрос ухватился за край стандартной койки, висевшей над лазом, и – не головой, а ногами вперед! – так и въехал в воронку горловины, только пузырем взвилась на нем рубаха. Ну, до этого мне еще далеко…

Я прошел через два кубрика и по трапу выбрался опять под полубак. Стало понятно размещение главных носовых отсеков. Рассыльный открыл передо мною массивную бронированную дверь кают-компании и сказал кратко:

– Вторая направо. Штурман Присяжнюк. Ноги вытри.

Красная дорожка ковра уводила в тишь офицерского общежития, откуда слышались звуки рояля. Коридор кончился. Вот и штурманская каюта. Штурман Присяжнюк сказал мне:

– Принято всем представляться командиру. Пошли.

Из коридора кают-компании – еще трап, ведущий в салон. А там ковер лежит уже попышнее. Четыре двери отделаны искусной инкрустацией по дереву на тему русских народных сказок. Здесь живут матрос-шифровальщик, замполит, командир и его помощник. Присяжнюк провел меня в салон, уселся в кресло, взял себе папиросу.

– Вот он! – сказал кому-то, закуривая и щурясь от дыма.

Салон делила пополам штора ярко-синего бархата, по бокам от нее висели бронзовые канделябры. Штора вдруг откинулась, словно занавес в театре, и передо мною предстал командир эсминца. Я ожидал увидеть громилу, поросшего волосами, с кулаками, как две тыквы. Но увидел я капитана третьего ранга чуть повыше меня ростом: круглолицый и румяный, как мальчик, с реденькими светлыми волосами, он потер свои пухлые ручонки и сказал весело:

– С юнгами еще не служил. Сначала расскажи о себе.

Офицеры выслушали меня. Легкими намеками пытались выяснить глубину моих знаний. Быстро нащупали дно, и тут командир насторожился:

– А что за чепуха у тебя на голове?

– Бантик, – говорю.

– Какой идиот это придумал? Еще чего не хватало, чтобы в моей команде люди с бантиками ходили… Снять!

– Есть снять! – обрадовался я.

– Выдайте ему обыкновенную ленточку. – Присяжнюк кивнул. – И пусть мальчишка постажируется у Курядова, а потом посмотрим… Завтра, – сказал мне, – ты получишь боевой номер и тебя включат в расписания. Чтобы ты знал, где находиться по тревогам – боевым, водяным и пожарным, при авралах и приборках.

Из салона мы вышли вместе со штурманом. Он подтолкнул меня к командирскому трапу, который выводил офицеров на мостик:

– Старшина рулевых Курядов там…

Еще три трапа, и я наконец мог обозреть свой эсминец с высоты мостика. Вахтенный сигнальщик стоял в большом тулупе.

– Тебе сколько лет? – спросил он меня.

– Пятнадцать.

– У-у-у, – провыл сигнальщик и поднял воротник тулупа.

Продувало на мостике здорово. Старшина Курядов, мой непосредственный начальник, был одет в ватник, а на его ногах – громадные валенки в красных галошах. Был он местный – из поморов с Кольского берега, говорил мало и тихо, словно стеснялся меня. Первое, что я заметил в ходовой рубке, – отсутствие даже намека на штурвал. На двух тумбах стояли манипуляторы, а перед ними – два табло тахометров (дающих число оборотов двух турбин) и датчики отклонений руля. Курядов позволил положить манипуляторы на борт, где-то в корме, повинуясь мне, завыли моторы, отклоняя руль, и стрелки – тик-тик-тик! – быстро побежали по градусной шкале счетчика.

– Ловко! – сказал я и посмотрел перед собой в смотровое окно по курсу. – А разве здесь «дворника» не бывает, как в машинах?

– И не нужно, – ответил старшина.

– А море-то – брызги, ветер!

– На походе окно всегда открыто, рулевой глядит по курсу не через стекло, а прямо через брызги.

– Так намокнешь весь!

– Ну и что с того? – ответил Курядов равнодушно.

Осмотрев рубку, я щелкнул по стеклу репитера.

– Вот он, голубчик… А где же матка гирокомпаса?

Для этого мне опять пришлось спуститься вниз. Из второй палубы на днище эсминца вели два люка. Я полез в один из них, по ошибке угодив в боевой погреб. Как в булочной разложены батоны и буханки, так и здесь покоились на стеллажах пушечные снаряды с разноцветными шапочками на затылках. Только в булочных, конечно, никак не может быть такого порядка и такой идеальной чистоты. Матросы работали возле воздушного лифта. Удивились:

– Смотри, какой-то типчик… Эй, тебе чего здесь надо?

– Я так… посмотреть больше.

– В кино иди смотреть. А отсюда проваливай…

Выбрался я из одного люка, откинул крышку другого. Навстречу мне потекли тонкие шумы и легкое жужжанье, будто я угодил на летнюю полянку, где стоят пчелиные ульи. Да, это был гиропост. На койке, под которой гудел генератор и подвывала помпа, лежал длинный и худущий старшина с усами в стрелку, в чистой робе. Он читал. При виде меня растерялся:

– Ты кто такой? Кто тебе дал право сюда…

Я рассказал, что, как и он, принадлежу к БЧ-I, прислан на эсминец рулевым, а гирокомпасы обожаю с детства. Не гоните, мол, меня, а дайте посмотреть.

Передо мной был старшина Лебедев, опытный аншютист флота, которому суждено было сыграть в моей судьбе немалую роль. Мичман Сайгин на Соловках дал мне начала теории, но только сейчас я увидел гирокомпас в работе.

Пальцем, кажется, некуда ткнуть – все переборки сплошь залиты эмалью приборов, и приборы эти поют, подмигивают, журчат и стрекочут.

– Красотища, – сказал я. – Можно, буду иногда заходить?

– В гости, что ли?

– Хотя бы так.

– Шляться тут нельзя, – ответил Лебедев. – Слишком ответственный пост.

– Я не шляться… я по делу!

– Какое же у тебя тут дело? Твое дело – на мостике.

Но по моим вопросам старшина догадался, что в гироскопической технике я кое-что кумекаю. Я сказал ему, что просто жить не могу без гирокомпаса, и Лебедев отложил книгу – «Всадник без головы».

– Впервые вижу человека, который помирает без гирокомпаса. Ну, если уж так, то… заходи! Не дам помереть…

Эсминец испытал мягкий толчок по корпусу, и я заметил, как под стеклом сдвинулась картушка («аншютц» мгновенно отреагировал на отклонение корабля в мировом пространстве).

– Кажись, подошла торпедная баржа, – сказал Лебедев, – пришвартовалась к нам. Сейчас с нее возьмем боеголовки торпед.

\* \* \*

В этот день я чувствовал себя среди матросов эсминца, как котенок, попавший в общество усатых тигров. «Грозящий» недавно вышел из ремонта – меняли в котлах прогоревшие трубки. Существовал закон: на время, когда вспыхивают огни электросварки и мечутся искры, основной боезапас с корабля снимается. И вот сейчас к обезглавленным телам торпед, что сонно дремали в трубах аппаратов, должны заново привинтить боеголовку, в каждой из которых по 400 килограммов взрывчатки. Баржа была сплошь загружена боеголовками, которые лежали в густой смазке на днище ее трюма. Боеголовки перегружали, зацепив их гаком за самый носик. На эсминце головки принимали минеры БЧ-III.

Один ухарь-матрос – по фамилии Дрябин – хлопал рукавицей по стальному боку торпеды, облепленному тавотом. Таким же точно жестом хороший хозяин похлопывает свинью-рекордсменку, вылезшую из хлева подышать свежим воздухом и похрюкать.

– Так, так, – кричал Дрябин на кран. – Еще дай слабину!

Я стоял возле, любопытничая, и не сразу понял, что произошло. Последовал страшный удар в палубу (эсминец загудел). Перед глазами у меня, сорвавшись с высоты, стоймя рухнула боеголовка. Замерев на секунду, она стала медленно валиться навзничь. Момент рискованный!

Дрябин рывком подставил богатырскую грудь – и боеголовка своим весом вплющила его между ростовых стоек.

Я подскочил к Дрябину и что было сил стал отводить от его груди полтонны смертоносной тяжести. Ладони мои, скользя, срывались в густой смазке тавота. Набежали еще минеры, высвободили Дрябина из-под груза…

Что сделал Дрябин? Первым делом он схватил разорванный трос от талей и, потрясая им, заорал на баржу:

– За такое дело – трибунал и расстрел вам, собакам! Забирай боеголовку обратно! И акт составим – она уже непригодна…

Потом повернулся ко мне, кладя руку на мой погон.

– «Ю»! – сказал он мне. – Ты первым подскочил. Дрябин таких вещей не забывает. Ходи за мной. Дай пять… вот так!

Стылый тавот намертво склеил наше пожатие. Мы едва расцепили свои ладони. Верткой походкой бывалого миноносника Дрябин уже шагал в корму, а я вприпрыжку уже семенил за ним.

Следом за новым другом я спустился в узкий отсек запчастей БЧ-III, похожий на слесарную кладовую. Дрябин извлек откуда-то прозрачный флакон из-под духов «Белая акация» и сказал мне:

– Дрябин не подведет… Сейчас тяпнем за дружбу!

– А что тут? – спросил я, замирая от страха.

– Этим вот протираем минные прицелы. Линзы у нас чистенькие, а спирт остался.

– Я боюсь, – признался я. – Никогда не пил.

– Чепуха! Теперь ты уже не «Ю», а миноносник…

За неимением посуды Дрябин разбулькал флакон в латунные наконечники из-под фугасных снарядов. Из собственных наблюдений за жизнью я уже знал, что взрослые, выпив, спешат закусывать.

– А чем закусим? – спросил я, стремительно мужая.

Дрябин вытянул из угла отсека закуску – большой резиновый мешок, в котором плескалась какая-то жидкость.

– Запьем вот этим. Вместо пива… Чистейший дистиллят с примесью техноглицерина. Чем плохо? Ну, пей скорее…

Я был еще весь в тавоте и ощущал себя настоящим матросом. Поборов страх, я зашиб в себя весь фугас. Дрябин дал мне запить спирт водою из мешка, тягучей, как ликер, и сладкой.

– Почти лимонад! – сказал я, отдышавшись. – Только не шипит!

– За это не беспокойся, – ответил мне Дрябин, плотно закручивая пробку в мешке. – Валяй к старшине, дыхни на него как следует – и шипение на весь день тебе обеспечено…

Когда я выбрался из отсека, мир уже стал розовым. Мне было весело, и матросы ко мне принюхались:

– Во, сопляк. Успел набраться. Мы сколько лет гремим – и трезвые. А он первый день на эсминцах и уже дернул!

Я спустился в кубрик, положил голову на свой вещмешок и задремал. Вдруг слышу, как от люка с палубы просвистали:

– Юнгу – к замполиту.

– Да он не может. Пьяный валяется…

Из люка донеслось – ответное, со свистком дудки:

– Замполит уже знает! Пускай тащится какой есть…

– Пойду, – сказал я, вставая с рундука.

В каюте замполита стоял Дрябин, отчитываясь:

– Я же не зверь какой! Ежели человек мне добро сделал, так я тоже с ним не как-нибудь, а по-людски. Верно ведь?

– Могли бы, – отвечал замполит минеру, – не поить его спиртом, а выразить юнге свою благодарность.

Дрябин даже удивился:

– Деньгами, что ли, я ему выражу? Я же не зверь… человек! Русский человек… Верно ведь? Ну, и налил ему. Всего-то – вот столько! С гулькин нос. Как матрос матросу. А ежели он сразу с копыт полетел, так зачем тогда на флот подался? Сидел бы дома…

После минера замполит взялся за меня. На бумажке он подсчитал, сколько я, сукин сын, съел и сносил за время службы, во сколько обошлись государству мои педагоги и прочее. Когда он закончил роковой подсчет, я понял, что мне не выбраться из долгов до смерти. Тут я не выдержал и разревелся. Но замполит был мужчина с характером и слез моих вытирать не стал.

– А для чего, ты думаешь, тебя учили? – говорил он. – Чтобы ты, на эсминцы придя, казенный спирт хлебал? Это возмутительно, товарищ юнга… Как ты себя ведешь? Дай адрес отца, мы напишем, что его сын не оправдал доверие Родины и комсомола.

– Нет у меня отца, – ответил я. – Погиб мой папа.

– Тогда адрес матери.

– Мама на кладбище… в Соломбале!

Замполит отбросил карандаш и порвал свои расчеты.

– Послушай, друг! А кто же у тебя есть?

– Бабушка. Она в Ленинграде…

– Ну, бабушку мы беспокоить не станем. Пускай не тужит. А ты должен служить так, чтобы загладил свой проступок… Осознал?

Офицеры не стали раздувать этой истории. Дрябин же был наказан. От тех времен у меня сохранилась его фотография, которую он мне подарил по возвращении с гауптвахты. «Моему лучшему другу на память о героических днях обороны Заполярья от подлых врагов!» – так начертал он на карточке. Дрябин был лучшим минером эсминца, и сейчас его портреты можно видеть в монографиях по истории Северного флота. Фотокорреспондент запечатлел его на крыле торпедного аппарата! Он был человек недалекий, но мужественный и добрый… Под конец войны он ослеп при случайной аварии, и я под руку отводил его в экипаж на оформление демобилизации.

Прощаясь, он меня крепко обнял и заплакал:

– А помнишь, Савка, как мы с тобой… Ох и шипели тогда на нас! Да-а, было времечко – не вернешь. Девять лет жизни – флоту! Все девять на эсминцах. Кусок большой, а?

\* \* \*

Мое дело в этой войне – маленькое, но важное. И я уже вполне дорос до понимания своей великой ответственности. Что я могу сделать для победы, я, конечно, сделаю. Если суждено погибнуть, я погибну. Так я решил сразу! Потому и отношение мое к тому ватнику, который мне выдали, было таким, какое, наверное, испытывали юные рыцари, впервые влезая в боевой панцирь для турнира. Мне выдали теплое белье, стеганые штаны, сапоги для шторма и валенки для мороза. Получил под расписку, как особо ценное снаряжение, и «лягушку» – спасательный жилет, надеваемый вроде парашюта; из нагрудника торчали резиновые трубки с пробками для надувания жилета воздухом. Наконец меня включили в боевое расписание «Грозящего». Кузбасским несмываемым лаком на кармане моей голландки отпечатали мой личный боевой номер из пяти цифр. С этим номером мне воевать! Если меня прибьет волной к берегам Родины, этот номер расскажет, кто я такой, в какой БЧ числился, на каком посту сражался, после чего по спискам флота легко установить мою фамилию. Напишут бабушке: «С прискорбием сообщаем, что юнга С. Огурцов пал смертью храбрых в боях…» Такой же номер был пришит и к кокону моей пробковой койки, которая способна держать человека на воде целых двадцать минут, если, конечно, я правильно ее уложу и свяжу потуже…

Между тем старшина Курядов на меня даже малость обиделся: Огурцова из гиропоста хоть за уши вытаскивай! Старшина Лебедев говорил в оправдание Курядову:

– Ну что ты, Вася! Мальчишка-то интересуется… Не гнать же его. Не просто глазеет, а разбирается…

Лебедев казался мне ужасно умным. Холя свои роскошные усы, он давал точный ответ на любой мой вопрос. Гирокомпас в Школе юнг стоял холодный и неподвижный. А здесь его наполняло тепло напряженной работы, которой он жил, трудясь ради нашей победы. Большая разница! В движении я быстрее понял взаимосвязь деталей, лучше осмыслил электросхему «аншютца». Я даже удивился, когда старшина Лебедев сказал мне, что до службы на флоте он был в Москве видным кондитером – готовил торты для дипломатических приемов в Кремле. От тортов до «аншютца» – расстояние немалое, и я еще больше стал уважать старшину за его знания…

Штурман эсминца Присяжнюк, этот горбоносый чистюля, аккуратный блондин лет тридцати, время от времени звал меня к себе. Давал читать «ПШС», устраивал беглые опросы по теории. Без внимания меня не оставляли… Однажды ближе к вечеру мое имя выкликнули:

– Где здесь юнга? Его «смерш» вызывает…

Честно говоря, у меня ослабли руки и ноги. И хотя заподозрить меня было не в чем, прежняя встреча с особистом на Соловках оставила в душе неприятный след. А тут еще матросы хохочут.

– Ага, попался! – говорят мне. – Сейчас тебя на полубак выведут, к гюйс-штоку привяжут и шарахнут из пятидюймовки прямой наводкой… У нас со шпионами разговор короткий!

Я отправился к «смершу» в гиблом настроении. По кумачовым коврам ступал, как по болоту. Из буфета доносились перезвоны посуды – вестовые готовили офицерам ужин. В кают-компании заводили радиолу, и оттуда неслось по коридору:

Отцвели уж давно хризантемы в саду…

С робостью я постучался в каюту-двухместку: «Смерш» оказался здоровенным дядькой, под потолок ростом, в чине капитана второго ранга. Это я определил по его кителю, который был повешен на спинку стула. А сам он стоял передо мною в сорочке с закатанными рукавами – вот-вот врежет в ухо! Однако встретил он меня, словно лучшего друга.

– А-а-а, – обрадовался. – Входи, входи, юнга… Дай-ка я посмотрю на тебя, на недоросля. – Взял меня за подбородок и заглянул в глаза. – Как живешь? – спросил кратко, но строго.

– Спасибо. Живу. Не помираю.

– А что думаешь?

– О чем?

– Вообще… о жизни, о войне?

– Ничего не думаю, – увильнул я от прямого ответа.

На что мне было заявлено с подкупающей прямотой:

– Так ты, выходит, дурак? Как можно жить в такое время и ничего не думать? Нет уж, ты хоть иногда все-таки задумывайся, – попросил меня «смерш». – Шуточки да хаханьки остались за бортом. Здесь тебе не ансамбль песни и пляски… Жизнь на эсминцах слишком серьезная. За каждый поступок надобно отвечать!

– Есть, – сказал я, вспомнив про злосчастный спирт.

Совсем неожиданно прозвучал вопрос «смерша»:

– Бабушке-то писал или еще не собрался?

– Не собрался.

– Напиши! – дружелюбно посоветовал мне «смерш». – Только не пугай ее излишней романтикой. Тебе романтика, а бабке один страх господен. Захочешь фотокарточку ей послать – посылай. Но сфотографируйся обязательно с обнаженной головой.

– А почему так? – спросил я.

Ленточкой своей я гордился, и мне было бы жаль, если бы бабушка не узнала, что ее внук стал «грозящим».

– На ленточке-то название эсминца написано. Военную тайну разгласишь. Я тебе по дружбе советую – башку ничем не покрывай…

Каюта-двухместка, в которой жили «смерш» и парторг эсминца, напоминала купе. Над одной койкой возвышалась другая. Мягкий свет. Электрогрелки. Шкаф. Умывальник.

– Я тебя позвал вот зачем, – сказал кавторанг. – Будешь в нашей двухместке приборку делать…

Я уже пришел в себя, оттаял и признался капитану второго ранга, что поначалу боялся к нему идти. Рассказал, как жучил меня особист на Соловках. «Смерш» эсминца посмеялся и не слишком уважительно отозвался о своем соловецком коллеге. Вечером во второй палубе, где селились комендоры, я наблюдал, как «смерш» забивал козла с матросами. А мичман Холин, старшина минно-торпедной команды, орал на него, как на приятеля:

– Куда ты опять со своим дублем сунулся? Я тебе шестерку скинул, а ты опять с дублем… Соображать надо!

«Смерть шпионам» продулся вконец и по уговору, как проигравший, полез под стол, с трудом пропихиваясь между узеньких ножек, а комендоры при этом грохали по столу кулаками, крича:

– Козел! Козел! Козел!..

Потом я у Курядова своего потихоньку спросил:

– Этот «смерш» небось за нами присматривает?

С невозмутимостью истинного помора старшина отвечал:

– А как же иначе? Такая его должность. За это он и деньги получает. Ты еще до Ваенги не добрался, как он твою биографию изучил и всю твою подноготную знает…

– А какие же тут шпионы? Кого он ловить собирается?

– Тебе этого не понять… Вон на «Разводящем» вскрыли для ремонта кожуха турбин. Потом закрыли. Механику пришло в голову: дай-кось еще разочек проверю. Вскрыли кожуха опять. А там между лопатками лежит винтик. Малюсенький, как булавка. Дай они пар с котлов на турбины – и все, ювелирной работы лопатки полетели бы к черту. Видать, нашелся гад, что винтик туда сунул. С умом действовал! Не открой они кожух снова – эсминец до конца войны околевал бы на приколе.

В кубрик спустился с вахты сигнальщик. Скинул тулуп, сел на рундук, потянул с себя ватные штаны.

– Продрог вконец! А машины-то у нас на подогрев ставят.

– Коли ставят, значит, пойдем, – отозвался Курядов.

Отбой дали за час до полуночи. Впервые в жизни (как многое было тогда для меня «впервые в жизни»!) я вязал к подволоку свою койку. Забраться в этот гамак с палубы никак не мог. Залезал в койку с обеденного стола. Эсминец покачивало у пирса, качался и я, лежа на пробковом матрасе в своей уютной подвесушке.

– Ну, как тебе? – спрашивали матросы. – Небось приятно?

– Замечательно! Будто на дачу приехал…

Курядов как сверхсрочнослужащий лежал на койке с пружинной сеткой.

Он сказал мне:

– Дачники мы только на базе. А на походе – хуже собак бездомных. Где приткнешься – там и ладно. По две недели ватников не снимаем. Сигнальцы, те даже спят в шапках. Разрешается на походе только ослабить ремень. Это ты, браток, еще испытаешь!

Среди ночи я вместе со своей «дачей» сверзился с потолка, трахнувшись затылком о железную палубу. Все в кубрике проснулись, врубили освещение.

Сонные матросы галдели:

– Чего тут? Будто прямое попадание!

– Да это юнга… отбомбился удачно. Койку с вечера плохо пришкертовал, на качке концы ослабли и отдались. Спим, ребята!

Но спать не пришлось. Внутрь отсека, пронизывая команду тревогой, через динамик ворвался голос вахтенного офицера:

– Корабль к походу и бою изготовить. Срочно.

Звонки, звонки, звонки… Колокола громкого боя!

Грохочут трапы, извергая через люки матроса за матросом.

По всему эсминцу лязгают крышки горловин – задраиваемые.

\* \* \*

Офицеры преобразились. Стали медведями – мохнатыми и толстыми, в меховых канадках с капюшонами, на ногах – штормовые сапоги, белые от засохшей соли, а медные застежки на них – зеленые от воздействия морской воды на медь.

Штурман перехватил меня на трапе:

– Слушай, юнга! Юности свойственно соваться куда не надо. Предупреждаю: в море исправлять ошибки некогда, ибо любая из них заканчивается… скверно. Держись крепче!

– Есть – держись крепче!

– Добро, коли понял. Не старайся пробегать под волной. И не такие орлы, как ты, пропадали. С морем не шутят! А по верхней палубе двигайся, заранее рассчитав время прохода волны. Запомни: ты – миноносник, а это весьма рискованная профессия на флоте, где люди вообще привыкли рисковать. Ясно?

Я продрог до костей и все-таки не ушел с полубака, пока эсминец двигался из Ваенги на выход из Кольского залива. Была глухая арктическая ночь, но полярное сияние полыхало вовсю. В этом феерическом свете перемешались все краски радуги, окрашивая угрюмый мир из нежно-зеленого в трагически-бордовый. Навстречу нам, устало рыча выхлопом, прошли с океана три торпедных катера. Откуда-то с берега им мигнул сигнал вызова, и головной катер отстучал в ответ свои короткие позывные.

Скалы вдруг стали круче, они как бы нехотя расступились перед эсминцем, образуя каменный коридор, и форштевень «Грозящего» вдруг подбросило кверху, весь в ослепительном сверкании пены. Вода фосфорилась столь сильно, что побеждала даже мрак ночи. Я глянул на скалы и обомлел. Гигантскими буквами на скалах были начертаны белилами напутствия Родины всем уходящим в море:

СЕВЕРОМОРЕЦ – ОТОМСТИ!

СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ!

Это была такая наглядная агитация, что пробирала до самых печенок. Политотдел флота отыскал наилучшее место для призыва к победе.

Но это было еще не все. На выходе в океан радисты врубили по жилым отсекам трансляцию, и кубрики заполнило музыкой.

Прощайте, скалистые горы!На подвиг Отчизна зовет.Выходим в открытое море —В суровый и дальний поход…

Сколько уже раз я слыхал эту песню, и никогда она не производила на меня такого сильного впечатления. Душа наполнилась особенным, возвышеным торжеством.

А волны и стонут, и плачут,И плещут о борт корабля.Растаял в тумане далеком Рыбачий —Родимая наша земля.Я глянул по левому траверзу и в далеком тумане вдруг разглядел узкую полоску Рыбачьего. В этот миг я прощался с родимой землей, давшей мне жизнь, а Родина прощалась со мною, как со своим сыном! Да! Все было точно так, как в песне. У меня с непривычки даже слезы из глаз выжало.

Корабль мой упрямо качаетКрутая морская волна.Поднимет и снова бросаетВ кипящую бездну она.Обратно вернусь я не скоро…И это правда. Ой, не скоро вернусь я домой!

И меня в жизни часто агитировали – даже тогда, когда я в агитации не нуждался. Первый мой выход в океан на эсминце раз и навсегда определил мои убеждения – двумя словами на скалах, одной песней по корабельной трансляции…

Так я вышел в океан моей юности!

\* \* \*

Я попал на Северный флот в период, когда открывался сезон жестоких предзимних бурь. «Держись крепче!» – внушал я себе. Но как я ни крепился, как ни приказывал себе держаться, хватило меня ненадолго, и сразу за островом Кильдином я подарил морю свой ужин. Оно слопало его, даже не сказав мне «спасибо», и стало ждать, когда я позавтракаю. Это меня сильно огорчило, но я решил не сдаваться и делал все, что положено юнге!

Завтрак был ранний, в шестом часу утра. Кусок хлеба с маслом застревал в горле. Первый кубрик – в самом носу эсминца. Когда «Грозящий» взбирался на верхушку волны – это было еще терпимо; но когда он, мелко вибрируя, начинал оседать в провале волн, – вот тогда… Это была килевая качка. Знатоки утверждали, что к ней привыкаешь, как к лифту. Но мне – не знатоку! – казалось, что я никогда не привыкну. Не слаще и бортовая, когда летаешь от рундука к рундуку, думая только об одном – за что бы тут уцепиться?

Столы на время похода пристегивались со сложенными ножками к подволоку кубрика, мы ходили под столами. Команда ела по углам, сидя на чем придется, а чаще всего – стоя. Сидящие ищут опоры, чтобы не сбросило при крене. Стоящие – хватаются за что попало, чтобы удержаться на ногах. В одной руке кружка, в другой – еда. Ели на походе мало и небрежно. Мне сказали:

– Корсаков отбачковал, сегодня новое дежурство. Заступай, юнга, бачковать. Принесешь с камбуза… посудку помоешь.

– Ладно, – ответил я, но предстоящее общение с пищей никак не улучшило моего настроения; подле питьевого лагуна стояла у нас бутылка с клюквенным экстрактом – таким кислым, что, как говорили шутники, им можно было исправлять косоглазие, – и я обильно уснащал свой чай экстрактом, дабы заглушить в себе муторность качки…

И вдруг как поддаст! Видать, обнажилось днище эсминца. Повиснув над волной, корабль с размаху шлепнулся килем в разъятую под ним бездну. У меня и кружку из рук выбило, я кувырнулся в сторону. Палуба встала почти вертикально. «Грозящий» теперь гремел, лежа бортом на воде. Океан показал мне свои когти. Лебедев ободрил меня, как умел:

– Держись крепче! Все укачиваются. Даже техника барахлить начинает. Так вздернуло, что схожу посмотреть – как там гирокомпас.

По отсекам всю ночь трезвонили звонки: одна смена сдавала вахту, другая ее принимала. Смены наружных постов спускались вниз, мокрые, хоть выжимай, внутренние избегали соваться наверх, чтобы не вымокнуть. Только успеют люди обсохнуть – звонки, звонки, звонки: пошел снова наверх! С тихим ужасом я наблюдал, как вода появилась в жилой палубе. Сначала она резвилась на линолеуме мелкими ручейками, потом стала всплескивать. И вот уже вода в кубрике гуляет, как ей хочется, – нам по щиколотку. Обмывает трубы парового отопления. Яростно шипит, встречаясь с раскаленным металлом, и отбегает на другой борт, где ее встречают такие же раскаленные трубы. Пшшшш… и пар столбом! Наш кубрик стал медленно наполняться кислым зловонием холодного пара. В этом неприятном тумане плавали фигуры людей и часто громыхали звонки. Поджав ноги, я сидел на рундуке и думал: «Вот она, морская жизнь, без прикрас… Это тебе не в кино!»

– Привыкай! – говорили мне матросы. – Мы же миноносники. Борта у нас слабые. Заклепки на волне вышибает. Шпангоуты мнутся. Оттого и вода… черт ее знает, откуда она берется!

С мостика по трансляции передали:

– Мороз и ветер усиливаются. Началось обледенение. Леера в районе торпедных аппаратов срублены. Держитесь крепче!

– Как это срублены? – спросил я.

– А вот пойдешь с бачком на камбуз – сам увидишь. Не топором же их срубают – просто убирают леера палубы, чтобы, случись противник, они не помешали торпедному залпу…

В обед я взял медный бачок и побежал за пищей для рулевых и штурманских электриков. Камбуз был размещен ближе к корме. От самого полубака до юта тянулись вдоль палубы минные рельсы – корабельная узкоколейка. Но сейчас эти рельсы, дающие упор ногам, уже плотно забило пористым и соленым льдом. Палуба торчала ледяным горбылем. А возле торпедных аппаратов лееров действительно не было. Можешь нырять за борт. Правда, кое-какая страховка все же имелась. Вдоль всей палубы тянулся стальной тросик. На нем – висячие кожаные петли, вроде тех, что бывают в трамваях – чтобы держалась публика. Я сунул руку в такую петлю, напором ветра меня в секунду, как на коньках, домчало до цели. Дверь камбуза раскрыта – прямо на океан. В дверях стоит кок. Плеснет бачковому половник супу в бачок и смотрит – как волна? Если она идет, кок закроет дверь. Волна минует – кок опять смотрит: кто следующий? Он набухал мне полный бачок, и я вдруг понял, что отныне у меня обе руки заняты и держаться на палубе могу только за чистый воздух.

Обжигая руки супом, я побежал обратно. Мимо первого торпедного аппарата меня пронесло как пушинку. Клокочущая бездна лишь издали погрозила мне хищно загнутым крючком гребня: «Я тебя, молокососа!» Вот и второй аппарат. Еще метров десять пути, не огражденного леерами, и можно считать, что я дома. Эсминец вдруг повалило в резком крене. Полундра! Прямым ходом, не выпуская, однако, бачка, я так и побежал… в море! Остановился на самом планшире борта и даже заглянул туда, откуда люди не возвращаются. На мое счастье, следующая волна швырнула эсминец на другой борт. Меня вместе с бачком отшибло спиной к аппарату. Хрястнулся. Но бачок не выпустил. Сжавшись в кресле наводчика, на аппарате сидел Дрябин. Он, недолго думая, хватил меня кулаком по затылку:

– Не раззевывайся, салажня худая! Беги скорей!

Через минуту, мокрый до нитки, потеряв казенную шапку, я поставил бачок с супом перед рулевыми. Проделав еще целый ряд сложных акробатических упражнений, я все-таки вылил первую чумичку с супом на голову своего старшины Курядова, после чего прямо из бачка стал плескать суп в миски.

– Ешьте, – говорил я, – а мне чего-то не хочется…

Я забыл сказать, что у Лебедева подчиненный тоже аншютист, некий Иван Васильевич Иванов. Моя бабушка, из псковских крестьян, родом была из того же Дедовичского района, из которого Иванов был призван на флот. Несмотря на близкое землячество, наши отношения назвать теплыми было никак нельзя. Иванов подозревал, что я суюсь в гиропост из каких-то тайных карьеристских вожделений. К тому же он считал, что юнга недостоин завязывать ему шнурки на ботинках.

Вот и сейчас все хлебали себе супчик и помалкивали, а Иванов попробовал его с ложки и вдруг заявил:

– Чего-то суп не такой сегодня. Жидкий и холодный.

Пришлось мне сознаться, что полбачка супу при крене я выплеснул за борт. А море тут же щедро долило его снова до самых краев.

– Хотите, я снова сбегаю? Тут недалеко…

Лебедев глянул на Иванова и отпечатал твердо:

– Леера срублены. Шкафут обледенел. Не надо!

Рисовую кашу с колбасой я принес уже без аварии. В этом случае бачок можно было держать одной рукой, а другой – самому держаться. Помыть посуду – ерунда. Покидая кубрик, Курядов сказал мне:

– Ты выспись. Сегодня тебя на руль ставить будем…

Иллюминаторы в море задраены намертво. Дневного света не увидишь. А чтобы подвахта отдыхала, освещение вырублено, горят только синие ночные лампы. В этом синем мертвенном свете через лаз, вижу, ползет к нам шифровальщик. Вот человек! Живет в салоне, по коврам ходит, спит на перине, а за едой к нам бегает. Он на ощупь растолкал меня:

– Эй, юнга! Шамовка осталась? Или все свинтили?

Я кивнул ему на шкафчик возле лагуна, там лежали про запас хлеб с маслом и сахар. Потом спрашиваю шифровальщика:

– Эсминец-то наш куда нарезает?

– А какое твое дело? – ответил он мне, жуя.

– Но ты-то ведь знаешь, куда идем?

– Еще бы не знать! Я да командир. Знаем. А ты валяйся.

Кажется, валяться – это единственное, на что я был способен. Качка вконец измотала меня.

Но вот щелкнул динамик, в палубу ворвался шум моря, слышный с мостика, в треске и свисте возникли голоса сигнальщиков, и вахтенный офицер вдруг объявил:

– Юнга Эс Огурцов, заступить на ходовую вахту.

\* \* \*

Оторвал я голову от рундука и тут же опустил ее снова. Кажется, не встать. В старом флоте таких, как я, били цепочкой. Лупцевали до тех пор, пока в острой боли человек не забывал о мучениях качки. Тогда он вставал и шел на вахту. Это жестоко, но другого выхода не было, ибо флот балласта не терпит. Каждый должен делать свое дело. А я встать не мог. Выходит, все мечты – за борт?

Неумолимая трансляция повторила:

– Юнга Эс Огурцов, тебя ждут на мостике.

Я встал. Все дрожало и тряслось вокруг меня – в грохоте, в тумане. Пошел к трапу. Вот оно, море! В полном мраке неслись надо мною черные туши волн, среди которых совсем затерялся «Грозящий», казавшийся посреди стихии маленьким и хрупким. На срезе полубака торчали дула зенитных эрликонов. На их круглых барбетах, с ног до головы опутанные проводами телефонов, сидели зенитчики и медленно покрывались льдом. Сквозь рев ветра я расслышал, как они мне крикнули:

– …рожно… тра-апе-е… олна-а… моет!

Это был самый опасный трап на эсминце – в том месте, которое часто мыла волна. Но его не миновать, если хочешь попасть на мостик. Я все-таки угодил под накат, и как меня не сорвало тогда с трапа – до сих пор не понимаю. С горечью моря во рту, мгновенно прознобленный ветром, я миновал еще четыре трапа и выбрался на платформу мостика. Вот где качало! Внизу-то – шуточки, детский лепет. Амплитуда колебаний мостика была гораздо шире, нежели в низах корабля. Под забрызганным стеклом бесновато гуляла стрелка кренометра. Дойдет до упора и онемеет там, словно застряла. Сильный крен! Возле визира со светофильтрами, проглядывая перед собой мрак и ненастье ночи, согнулся вахтенный офицер. По крыльям мостика цеплялись, чтобы не упорхнуть за борт, сигнальщики. С высоты мостика эсминец был похож на узкое длинное веретено, пронзающее бешеный хаос воды и холода. Сверху особенно заметно, как его стальной корпус прогибается на волне, словно клинок, – согнешь его, но не сломаешь…

Я шагнул в ходовую рубку и только здесь обнаружил свет: от картушки репитера исходило слабое сияние. Под маскировочным колпаком зябко вздрагивала черта нашего курса. Курядов стоял за манипуляторами, а в углу рубки были свалены какие-то тулупы. Порывом крена меня так и швырнуло на эту гору овчин. А из груды тулупов раздался сонный голос командира эсминца:

– Что вы там… Или ноги уже не держат?

Курядов цыкнул на меня:

– Дай поспать человеку. – После чего уступил мне манипуляторы. – Забирай у меня эсминец, – сказал он. – Сдаю курс в девяносто два градуса. Волна лупит нас в правую скулу… Учти это!

Руками в варежках я обхватил рукояти и вахту принял:

– Есть девяносто два. Есть по правой скуле… учту.

Старшина из рубки не ушел, поправляя мои движения:

– Если станешь психовать, это сразу отразится на курсе. Эсминец – дама очень нервная и начнет «рыскать»…

Что я видел сейчас? Передо мною качался затемненный экран ночи, на котором стихия прокручивала один и тот же бесконечный фильм. На фоне черноты и гула волн иногда вырисовывался острый нож полубака эсминца, который упрямо резал волну. Два баковых орудия прижали свои стволы к самой палубе.

– Приучи себя, – говорил Курядов. – Взгляд на картушку, взгляд по курсу. Это необходимо. Можешь заметить то, что прохлопают сигнальцы. Например, мину! Тогда быстро отработай манипуляторами до отказа, эсминец выпишет резкую кривую, после чего докладывай о мине. Но сначала исполни маневр. Ответственность на тебе.

– А командир, – спросил я, – он всегда так?

– Да. Измотан. На походе с мостика не слезает. Сюда и кормежку носят. Офицеры, те, правда, на часок в каюту заглядывают. Так что нам, матросам, совсем барская жизнь…

Рядом со старшиной мне было спокойно. Поверх моей варежки он клал свою громадную рукавицу на собачьем меху.

– Вот так… левым мотором… чуток подвинем.

В желтом свете репитера уверенно дрожала отметка – 92.

– Ну и ладно, – вздохнул старшина. – Справишься один?

– Конечно, – ответил я. – Мы же все это изучали.

Покидая ходовую рубку, старшина сказал:

– В случае чего пихни ногой командира, чтобы вскочил.

Я вытаращил глаза. Как это я, юнга Огурцов, буду пихать ногой командира, который носит звание капитана третьего ранга?

– Он не обидится. Сам просит рулевых об этом…

Старшина ушел, а я остался наедине с кораблем. Я и эсминец. Эсминец и я. Больше никого. Только возле моих ног спит командир «Грозящего».

В матовом свете легко повернулась картушка репитера – курс стал в 99 градусов. Я качнул манипуляторы в сторону, выправляя погрешность курса, но «Грозящий» меня не послушался. Под индексом курса теперь лихорадочно дрожала отметка 102… Мама дорогая! Что я натворил! Я налег на манипуляторы до предела. Ровным стучанием, словно метроном, датчик отбил мне отклонение руля. А картушка репитера поехала назад: 100… 97… 95… 92! Вот сейчас надо удержать эсминец на последней отметке. Но картушка плыла уже дальше, и я почти в панике отсчитывал: 90… 88… 85… Моя ошибка курса склонилась в другую сторону. В промерзлой коробке стальной рубки мне стало жарко, как в бане. Ведь такие же репитеры выведены напоказ в штурманской рубке, перед вахтенным офицером. А в гиропосту старшина Лебедев по матке может видеть, что я запорол эсминец в ужасном рыскании…

Неожиданно зашевелились вороха мохнатых тулупов, будто в рубке проснулся какой-то зверюга, и прозвучал из них голос командира:

– Ну что, юнга? Видать, загробил нам курс?

В оправдание не станешь ведь доказывать, что был отличником учебы. Изо всех сил я ложился грудью на манипуляторы, выправляя эсминец.

– Куда ты их давишь? – Разрыв тулупы, командир встал рядом со мной. – Отработай манипулятором и жди…

Я так и сделал, но «Грозящий» упорно резал ночную слякоть и хляби океана, не желая повиноваться слабому отклонению руля. Вдруг он дрогнул и плавно пришел на нужную отметку курса. Рядом с моей варежкой работала на манипуляторе кожаная перчатка капитана третьего ранга.

– Теперь задержи его! – учил он меня. – Вот так… Ты относишься к рулю, как к врагу своему, и давишь его, давишь. А ты верь, что руль свое дело сделает. Вот на этих рысканиях уже пережгли в котлах зазря много мазута. От рулевого же зависит и экономия топлива. Танкеры гибнут, доставляя нам этот мазут…

Через два часа меня сменил опытный рулевой Корсаков. С мостика я спустился в штурманскую рубку, где Присяжнюк почти лежал грудью на картах, работая с линейкой и транспортиром над прокладкой. Тяжелые магниты, разложенные по краям карт, плотно прижимали их к столу, – никакой сквозняк не сорвет. Я попросил разрешения глянуть на ленту курсографа.

– Смотри, смотри, – ответил он мне недовольно.

Под стеклом курсографа двигалась бумажная лента, разбитая на градусную сетку, а перышко самописца выводило по ней линию курса.

Я как глянул на время своей вахты – так и онемел. Автомат зарегистрировал линию моей вахты неровными скачками, вроде кардиограммы человека с больным сердцем. Присяжнюк сказал:

– Плохо ты вел эсминец. Прямо-таки бездарно.

Он переждал крен и рывком шагнул к курсографу.

– А теперь полюбуйся, как ведет корабль Курядов.

Это была идеальная линия, словно натянули струну. У меня же будто пьяный пытался перейти улицу, и его куролесило зигзагами.

– Простите, – сказал, испытывая неловкость. – Я старался…

В рубке заработал радиопеленгатор. Маяк Цып-Наволок сообщал в океан свои позывные, и в сумятицу ворвалось знакомое: «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы…» Присяжнюк, выждав момент при крене, кинулся к верньеру настройки, говоря мне:

– Тебя никто не обвиняет. Все так начинали. Один хуже, другой лучше. У любого корабля собственный характер. Надо изучить повадки эсминца. Знать, как он слушается руля. Не отчаивайся! Месяца через три будешь вести точно.

Штурман запеленговал еще один радиомаяк, который всю ночь напролет давал кораблям Утесова: «Как много девушек хороших, как много ласковых имен…» Над столом штурмана висел списочек популярных песен, напротив каждой песни обозначено, какой маяк эту песню транслирует. Скоро на карте протянулись две линии. Присяжнюк сел, довольный, на откидной стульчик. Дымящей папиросой он указал мне то место, где линии пеленгов пересеклись:

– Сейчас мы находимся здесь. Скоро, юнга, придем…

И я увидел, что мы подходим к Новой Земле. Странная штука – жизнь. Сидишь в школе и зубришь по географии, что есть такая земля. Она-то есть, но тебе до нее нет никакого дела. А потом судьба хватает тебя за шкирку, дает пинка – и ты летишь к Новой Земле! Дело сразу появилось…

\* \* \*

В полдень на короткий срок обозначился неясный просвет. Вот тогда, в этот просветленный промежуток времени, эсминец втянулся в дикую бухту, огражденную заснеженными скалами. Из тумана выступили безлюдье, отрешенность и запустение унылого мира. А посреди бухты, словно пришелец из другого мироздания, стоял гигантский сухогруз. Тысяч так на десять-двенадцать тонн водоизмещения. Он приплыл сюда под флагом Панамы, которая входила в антигитлеровскую коалицию держав. Не знаю, чем он был загружен, но хорошо помню, что на палубе корабля стояли, подобрав сверкающие локти, четыре больших паровоза.

Качка кончилась.

Замполит с парторгом стали обходить жилые отсеки эсминца.

– «Панамец» отбился от каравана. Сумел избегнуть атак немецких подлодок и авиации. Забрался в эту дыру и считает, что грузы в СССР уже доставлены, а их изба с краю. Порт же назначения – Архангельск! Мы его отконвоируем до Иоканги, откуда он пойдет дальше по маршруту в эскорте беломорских тральщиков. А мы в Иоканге свяжемся со штабом и получим новое задание. Заодно с танкера «Юкагир» подсосем немножко мазута, чтобы чувствовать себя уверенней…

Бухту продувало свирепым сквозняком, который срывался на воду с высоких гор. Наш командир решил завести «Грозящий» под высоченный борт транспорта, державшегося за грунт двумя якорями. На малых оборотах мы заходили под корму «панамца». Я видел, как с нашего полубака матросы подавали концы, забрасывая их кверху. Но каждый раз подскакивал какой-то негр – хохочущий! – и ногой в ярко-желтом ботинке сбрасывал швартовы обратно.

Положение у нас было скверное. Отжимной ветер тут же отгонял «Грозящий» на камни, где можно покорежить винты, и командиру приходилось заново отрабатывать опасный маневр. Над полубаком эсминца висела густая брань: наши дадут концы – негр их сбросит. Наконец это издевательство надоело. Командир взял самый большой рупор – «чертыхальник» и выругал сухогруз по-английски, используя при этом выражения, понятные во всем мире. Сразу явился на корме какой-то молодой джентльмен, в сером костюме, при галстуке бабочкой. Меня поразило, что этот господин не дал негру в ухо, а своими нежными руками не погнушался принять от нас ржавые, грязные тросы. Умелыми движениями он сделал «восьмерку» на своих кнехтах. Затем, увидев, что его идеальный пиджак испачкан, он его снял и, не глядя, швырнул за борт. Смахнув с губы сигарету, джентльмен удалился в каюту. А негр облокотился на поручни и поплевывал вниз… Вся эта поразительная сцена так врезалась в мою память, что явственно встает перед глазами и сейчас! Командир со штурманом сразу поднялись на «панамца». Там они, видать, крепко нажали на капитана, и буквально через полчаса сухогруз с паровозами на палубе потянулся в море.

Наша задача – чтобы его не потопили! Охраняя транспорт от подводных атак, мы берегли и себя. Конвойная служба всегда скучновата. Но ослабить напряжение ни на минуту нельзя. Все спокойно, но ты ведь никогда не знаешь, что произойдет в следующий момент.

Переход до Иоканги тянулся долго. Сколько ни приказывали с нашего мостика увеличить скорость, «панамец», словно глухой, шел на восьми узлах. Я слышал, как командир сказал:

– У него же турбины. Двенадцать узлов смело дать может…

Нам эта волокита надоела. Среди ночи я услышал взрывы, С кормы сбросили глубинные бомбы. Неужели атака?

– Нарочно парочку сбросили, – объяснил мне Курядов, – чтобы союзники пошевелились…

Счетчик лага застучал и отметил скорость в тринадцать узлов. Как видно, страх перед подводными лодками был силен. Шли дальше. Не могу сказать, что я привык к качке. Она стала для меня обыденной, как и тошнота, как и желание спать. Рулевых на эсминце было трое, и в моих услугах они особенно не нуждались. Но меня все же приучали к рулю, ставя в рубку когда на часок, когда на два.

До самой Иоканги прошли без приключений, если не считать того, что возле Святого Носа мимо нас проскочила немецкая торпеда. Акустики не обнаружили противника под водой: очевидно, лодка притаилась под самым берегом, выжидая удобной цели, и засечь ее приборы не смогли. Торпеда пришлась как раз на мою вахту. Я даже не понял, в чем дело. Вдруг поднялся гам на мостике, сигнальщики в тулупах кричат, а мне – команда:

– Лево на борт! Клади до предела…

Передо мною, сияя голубым фосфором, резко качнулись стрелки тахометров – мы прибавили оборотов, – а потом нервно застучали мои рулевые датчики. Отработав крутой поворот, я видел, как далеко в море от нас убегает сизо-пегая дорожка керосиновых газов, вспененных торпедным мотором. Смерть прошла мимо в самой прозаической обстановке. Я даже не удивился, будто в меня каждый день пускали по одной торпеде. Молодости вообще несвойственно испытывать страх, жить она собирается вечно.

Когда «панамец» втянулся в гавань Иоканги, мы проследовали за ним на глубокий рейд, а навстречу нам, грохоча дизелями, побежали искать подлодку «морские охотники», два маленьких героя под гвардейскими флагами. На баке у них по пушчонке, на корме – пяток-другой глубинных бомб, а они-то и есть подлинная гроза для подводного противника…

Утром я проснулся и вижу, что на рейде дымят три наших тральщика, готовые отконвоировать «панамца» дальше. Белое море уже захвачено в ледяной плен, транспорт потащат с помощью ледокола, так что насморк неграм был вполне обеспечен.

Выяснилось, что тральщики доставили из Архангельска тридцать унтер-офицеров американского флота, специалистов по радиолокации. Теперь штаб поручал нам взять эту ораву с собой в Мурманск, откуда они с обратным караваном вернутся на родину.

\* \* \*

В первой палубе эсминца жила, как тогда говорили, морская интеллигенция, к которой имел честь принадлежать и ваш покорный слуга, – рулевые, аншютисты, акустики, сигнальщики. Хотя тут и трясло порядочно на качке, но в корме было бы еще хуже: там у матросов зубы стучали от работы винтов. Потому-то гостей решили поселить в нашей палубе. Командиры боевых частей попросили нас убраться на время в другие кубрики.

– Как-нибудь, – было сказано, – приткнетесь по углам. Пойдем быстро. Узлах на восемнадцати. Так что долго мучиться не придется. А тебе, юнга, предстоит бачковать сразу на два стола.

За своих я не боялся, а вот заокеанские гости…

– Боюсь, – признался. – Вдруг не угожу американцам?

Курядов на это лишь отмахнулся:

– Да брось ты. Это же не англичане. С американцами просто. Что ни дашь – все слопают и еще просят. Они такие.

Матросы убрались из кубрика, предварительно застелив свои койки свежим бельем. Я залил лагун кипяченой водой. Баталер выдал мне больщую бутыль с клюквенным экстрактом. «Это вашей палубе… на месяц!» – предупредил он меня. Рядом с бутылкой я положил ложечку. Одной чайной ложки на большую кружку вполне достаточно, чтобы человек «окривел». Все в порядке. Позвонил я в каюту штурмана:

– Товарищ старший лейтенант, я все сделал, что еще делать? Может, уйти?

– Дождись их, – ответил штурман. – Все-таки они наши гости, а ты будь вежливым хозяином.

– А чего говорить им? По-английски я ни в зуб ногой!

– Как-нибудь столкуешься. Да они к тебе и не полезут с разговорами. Больно ты им нужен со своими речами…

Слышу, что наверху началась возня с тросами и кранцами. Нас качнуло, что-то громко затрещало – это неудачно подвалил к нам тральщик, ломая привальный брус нашего эсминца. С палубы – голоса и шум: ну, значит, идут! Я посмотрел на себя в зеркало: вполне представительный мужчина. Одернул на себе робу.

Сначала через люк долго сыпались чемоданы и узлы, банджо и балалайки. Американцев еще не видать, а по трапу кубарем катится их пестрая хурда. Вот и они! Все молодежь, лет по двадцать пять, не больше. Парни здоровые, как на подбор, с одинаковым румянцем. Не знаю отчего, но все тридцать были в чудесном настроении. Может, потому, что домой возвращались? Двигались они так быстро, что кубрик стал тесным от их толкотни и гвалта. Первым делом кинулись к иллюминаторам и спешно раздраили их. В кубрике сразу – хоть волков морозь!

Несмотря на зимнее время, американцы были в белых тропических бескозырках, на ногах – полуботинки и фильдекосовые носки с резинками. Когда сядет на рундук, брюки короткие задерутся, и видны голые волосатые ноги с крепкими мышцами. Холода они, как видно, не боялись, и я их стал за это уважать. Они дружно покидали свои длинные бушлаты куда попало, и все оказались при наших значках. У кого на груди – «Ворошиловский стрелок», у кого – «Готов к труду и обороне». На какого-то юнгу они не обратили внимания, смотрели сквозь меня, словно через пустую бутылку.

Вдруг раздался звонок телефона, один из американцев что-то сказал. Что – я не понял, но прозвучало это так:

– Уай, уай, уай, уай…

Пока я говорил по телефону, все тридцать стойко молчали, и я отметил их деликатность. Молодцы – не мешали… Звонил мне из салона помощник командира капитан-лейтенант Григорьев.

– Слушай, юнга, они уже там? – спросил он.

– Здесь, – говорю. – Уже закурили. Им можно курить?

– Пускай дымят, все-таки гости… Ты вот что! – наказал мне помощник. – По опыту жизни знаю, что американцы не терпят ничего закрытого. Ни банок, ни бутылок, ни люков, ни иллюминаторов! От этого, наверно, немцы так красиво их топят. Но мы-то в утопленники пока не торопимся…

– Товарищ капитан-лейтенант, – доложил я, – тут уже все иллюминаторы нарастопырку. Что мне делать? Лаяться с гостями? Или пускай живут, как хотят?

– Как дадим ход, сразу задрай. И – проследи… Ясно?

– Есть!

Трубкой – щелк. Разговор окончен. Все тридцать американцев сразу дружно заговорили. Один из унтеров, видать, старший в команде, стал напротив меня и что-то долго заливал мне по-английски. Хлопнул меня по лбу, потом себя хлопнул и показал на свои часы. Я, конечно, ни бельмеса не понял, но зато ответил ему правильно:

– Олл райт! – говорю. – О’кэй! – говорю…

Он сразу успокоился и опять включился в общий разговор тридцати. Слышу, как под нами с грохотом поползли якоря. Ага, уже выбирают! Стал я задраивать иллюминаторы, обходя весь кубрик по часовой стрелке. Оглянулся – за мной, тоже по часовой стрелке, идут американцы и тут же раскручивают иллюминаторы обратно. Ни злости, ни волнения. Видят же, что я закрываю, – однако спокойно раскручивают. И при этом продолжают болтать с приятелями. Тогда я запустил вентиляцию в палубу и, отроду не зная английского языка, закричал по-английски:

– Камарад, иллюминатор – ноу, а вентилятор – иес!

Поняли. И не обиделись. Эсминец потянулся из Иоканги…

Американцы стали меня замечать, когда я приволок им с камбуза первый обед. Тут до них дошло, что я не для мебели, а важная персона на корабле. Стали они меня похлопывать по плечам. По тону их голосов я понял, что они меня одобряют. Стоило мне просунуть в лаз медный бачок с супом, как союзники издавали некий вопль, почти непередаваемый. Что-то вроде:

– Ай-йо-йо! Е-е-е… Во!

Смотреть, как они едят, сущее наслаждение. Сразу просят нести второе. Смешивают его с супом. Ковыряются в компоте. Выловят грушу, сливу. Рассмотрят все это, не прекращая бурно дискутировать. Потом ахнут компот туда же, где суп и второе. Все это размешают и едят так, что за ушами пищит. Белый хлеб лучше не неси – есть не станут. Зато с жадностью кидаются на наш черный. Я таскал им черный хлеб подносами – все смолотили! Ни крошки не осталось.

После обеда, вижу, один встает из-за стола. С кружкой в руке направляется к лагуну. Взял он бутылку с экстрактом. Встряхнул и посмотрел ее на свет. Даже не понюхал – что тут, и сразу набулькал себе полкружки. Тут я его за руку схватил:

– Что ты делаешь? – говорю. – Мне ведь этого барахла не жалко, пойми ты. Но ведь ты до самой Америки косой будешь…

Кажется, он понял только одно слово «Америка». Добавил в кружку воды и тяпнул. Я думал – тут ему и конец! Ничуть не бывало. Даже не скривился. Взял зубную щетку и пошел в гальюн чистить зубы. За ним подходит второй. Тоже набухал себе полкружки экстракту. С разговорами даже водой не разбавил. Хватил до дна! И тоже потопал зубы чистить. Так прошли все тридцать. От бутылки, выданной нашим двум боевым частям на целый месяц, ни капельки не осталось.

Кто их знает! Может, им и вкусно?

Пока дошли до Мурманска, я с ног сбился. Только своих ребят покормишь, посуду ополоснешь, как надо бежать на камбуз – кормить американцев. Измучился я с ними! Но Курядов оказался прав: американцев вполне устраивала та грубая экзотика, которую мы им давали. И сошли они на берег в Мурманске в таком же чудесном настроении, в каком мы их приняли в Иоканге… После унтеров в кубрике осталась большая куча красочных журналов, где было множество фотографий – Гитлера с овчаркой, Геринга с жезлом, Гиммлера с курочкой, Геббельса с семьей – все то, что в нашей печати давали только в карикатурах. Долго еще после американцев мы из самых неожиданных мест выуживали то одинокий ботинок, то яркий носок, то пачку сигарет. Растеряхи!

Потом в наш кубрик спустился капитан второго ранга – «смерш»:

– Говорят, у вас журналы с картинками. Дадите почитать?

Мы ему отдали журналы, и он их, понятное дело, не вернул. В каюте кавторанга их тоже не было. Я так думаю, что в утиль их не бегали сдавать. «Смерш» потом спросил меня:

– По-русски кто-нибудь говорил?

– Я только по-русски и говорил. А они по-своему.

– Дарили они тебе чего-либо?

– Давали. Шоколад. Сигареты. Я их не взял.

– Мог бы и взять. Греха не было бы. Даром ты, что ли, с бачком таскался? Рядовые американцы – народ щедрый, и к русским людям они хорошо относятся…

За время войны мне не раз пришлось жить бок о бок с американцами, англичанами и норвежцами. Из этого общения я сделал для себя вывод: самые невозмутимые – норвежцы, самые покладистые – американцы, самые нетерпимые – англичане. Уважаю англичан как стойкую энергичную нацию, но жить с ними я бы не хотел! У меня есть свои причины именно так думать об англичанах. Больше всех мне нравились норвежцы, спокойно идущие на смерть и на свадьбу. От них я усвоил для себя прекрасную привычку к холоду. Вот уже тридцать лет я в любой трескучий мороз не ношу перчаток.

\* \* \*

Надо сказать, что на «Грозящем» мне не сразу нашли постоянное дело. Два похода я даже селился на корме – в пятой палубе, где жили минеры и торпедисты. Моя задача была проста: по тревоге я, словно угорелый, кидался по трапу на ют и там, при атаках на подводные лодки, помогал минерам отдавать цепи с глубинных бомб. Ют эсминца низок, через него бьет волна, работа трудная. Больше всего смытых – с юта. Здесь чаще, чем где-либо, слышалось: «Держись крепче!» Очевидно, командование все же опасалось за мою юную жизнь, потому что вскоре меня перевели на другой пост и стали обучать специальности горизонтального наводчика КДП.

КДП – это командно-дальномерный пункт, массивная башня, торчащая над мостиком. По бокам ее распялены трубы дальномеров, дающих дистанцию до противника. Хрен редьки не слаще! Сидишь в низком кресле, согнутый в три погибели, а вокруг броня обшита кожей. Ты словно наглухо запечатан в промороженном танке, который мотает из стороны в сторону – дух из тебя вон! Перед тобою – оптика прицела с вертикальной нитью, которую надо совместить с фок-мачтой корабля противника. Рядом со мною сидит вертикальный наводчик, у него в прицеле нить тянется по горизонту, и он обязан подвести ее под ватерлинию противника. Когда мы оба отработаем на оптике совмещение, можно давать залп.

Но и в КДП я долго не засиделся. Нашли, что такая работа мне не по зубам. Опасность, правда, была. Она заключалась в той обезьяньей ловкости, с какой следовало по тревоге взбираться в башню КДП. Бывали на бригаде случаи, что дальномерщиков срывало ветром при крене. Удачно сорвет – все же соберешь свои кости на решетках мостика; неудачно – порхнешь за борт, и твое личное дело сдадут в архив флота. Наконец мне поручили по боевой тревоге находиться в штурманской рубке. Тут все знакомое, все родное. Хороший кожаный диван приютил меня, и я привык видеть перед собой спину штурмана, согнутую над картами. Присяжнюк любил при расчетах разговаривать вслух и меня при этом не стеснялся. Он был хороший человек, и я его искренно уважал, хотя и дрючил он меня крепко, скрывать тут нечего…

Служба налаживалась. Но гиропост с его тайнами заманивал меня все больше. Бывало, закончишь работу по должности рулевого, а потом с мостика лезешь на днище эсминца и там помогаешь Лебедеву – уже как штурманский электрик. Иванов выходил из себя, видя, что старшина принимает мои услуги.

– Карьеру делаешь? – говорил он мне. – Не суйся, мелюзга, не в свое дело. Или у тебя своих медяшек не хватает драить?

Но я любил гирокомпасы, Лебедев был ко мне внимателен, и потому я плевать хотел на этого «земляка». Что нам делить? Я же не подсиживаю его, чтобы занять место начальника. Да и какой он, к бесу, начальник? Сам перед Лебедевым по струнке ходит и в глаза ему заглядывает. Старшина, напротив, заметив мой интерес к электронавигационным приборам, всячески поощрял меня, и скоро получилось так, будто у меня два командира – Курядов и Лебедев. Об этом старшины и сами, смеясь, поговаривали в кубрике.

– Вон твой, – говорил Лебедев. – Молодой да ранний.

– Много он ест, – отвечал Курядов. – По двум постам сразу.

– Что делать? Стал общим… Может, распилим его пополам, чтобы с единоначалием не мучиться?

Присяжнюк знал о моей страсти к гирокомпасам, но как штурман он был даже заинтересован в том, чтобы его рулевой был грамотен в инструментах и приборах навигации. Меня раздирало по службе между мостиком с манипуляторами и днищем эсминца с его гиропостом. Ах, как я жалел тогда, что Школа юнг не выпускала штурманских электриков! Впрочем, иногда Лебедев уже оставлял гиропост на мою ответственность.

– Посиди тут, – говорил он мне. – Я сейчас вернусь. Поглядывай на термостат. Если что, усиль работу на помпу…

В декабре наш «Грозящий» выходил на встречу союзного каравана. В океане стоял лютейший мороз. Дышать, стоя лицом по курсу корабля, было нельзя – обжигало легкие. Надо отвернуть лицо, вдохнуть и тогда снова глядеть вперед. Началось опасное обледенение.

Когда многие тонны воды смерзаются на палубе в глыбы пузырчатого льда, корабль тяжелеет, у него появляются опасные крены. «Грозящий» в такие моменты критически замирал на борту, с трудом возвращаясь на прямой киль. По трансляции объявили: «Комсомольцы – на обколку льда!» Мне досталась работа на полубаке – под самым накатом волны. Все мы были привязаны шкертами за пояса. Лед разбивали скребками и ломиками. Сами превратились в сосульки. Закончили работу, когда эсминец уже втягивался в Кольский залив. К пирсу подошли вместе с «Разводящим» и встали борт к борту. На «Разводящем» еще продолжали обколку льда, и среди боцманской команды я заметил Витьку Синякова.

– Привет! – окликнул я его.

Вид у него был пришибленный и потасканный. Видать, службишка ему не давалась. Ватник заляпан красками. Витька перетянул его ремнем потуже, чтобы не поддувало ветром, и выглядел неряшливо. Шапка болталась на затылке. Повзрослел он и мальчишкой никак не выглядел.

После аврала мы сошлись возле поручней эсминцев. Между нами, разделяя нас, пролегла пропасть черной воды.

– Скверно, брат, – сознался мне Синяков. – Я уже два раза по десять суток огреб. Сидел в Ваенге… Гауптвахта без клопов, кормят сносно. Да что рассказывать? Или ты сам не сидел?

– Нет, – говорю, – пока Бог миловал. А что?

– Послали уличные нужники убирать. Там все замерзло – горой! Ну, совсем как сталактиты…

– Сталагмиты, – поправил я его. – Снизу растут.

– Во-во! Точно так! Отколешь кусок в полпуда, прижмешь к себе и тащишь до моря. Бултых! А оно не тонет…

– Ты ведь в самодеятельность хотел, – напомнил я.

Витька глянул на меня как-то тускло.

– На чечетке не выедешь. Я уже совался к замполиту. Мол, так и так: талант пропадает. А он меня с порога завернул. Ансамбль Северного флота уже полный штат плясунов имеет. Говорят, пока не надо…

Мне стало жаль Витьку. Вот что значит – человек попал на флот без любви к флоту. Теперь аукались ему двойки и тройки на занятиях. Боцманская команда на эсминце – не сахар! Авральные работы, покраски корпуса, цепи якорей, швартовые концы и такелаж… Синяков – не Здыбнев, не в кожаных перчатках за пулеметом, а в брезентовых рукавицах распрямляет стальные тросы на полубаке. Что-нибудь поднять тяжелое – зовут боцманскую команду.

Больше говорить было не о чем, и мы разошлись. Но я хочу прервать свою повесть, чтобы рассказать о конце Витьки Синякова…

\* \* \*

На эсминцах был такой порядок: если ты вернулся из отпуска или из госпиталя, а твоего корабля нет на базе, являйся на любой эсминец. Тебя примут, как родного, накормят, уложат спать – и жди, когда твой эсминец вернется с моря. Рулевой при этом шел гостить к рулевым, комендор – к артиллеристам, а машинист – в кубрик БЧ-V. Всех, конечно, не упомнить, но людей связывали профессиональные интересы. Если же корабль, на котором ты временно нашел себе пристанище, снимался с базы на операцию, ты переходил на другой эсминец, на котором и ожидал прихода своего корабля.

Это случилось уже под конец войны. Как-то я встретил Синякова в кубрике наших комендоров, хотя он к БЧ-II не принадлежал.

– Ты чего здесь околачиваешься? – спрашиваю.

– Да опять с «губы»… «Разводящий»-то еще в море!

Вечером с моря вернулся на рейд «Разводящий» и, не подходя к пирсу, стал на бочку. Но Витька, кажется, не заметил его прибытия. Проходя через вторую палубу комендоров, я мимоходом сказал ему:

– Твой уже на бочке греется… Вернулись!

– О, друг! Спасибо, что сказал. Я сейчас…

Я работал на мостике, соскребая заскорузлую соль с приборов, и сверху мне все было видно. Я заметил, как Витька Синяков с нашего эсминца перепрыгнул на борт старого ветерана «Куйбышев». Огляделся по сторонам и нырнул в люк палубы. Странно. У другого конца пирса как раз стоял катерок с «Разводящего», принимавший с берега мешок с письмами. Почему же, спрашивается, Витька не прыгнул на катер?..

К ночи нас вместе с «Куйбышевым» переставили от пирса на бочку, готовя к выходу на операцию. При первых звонках аврала Витька выкинулся из люка «новика» и перескочил на палубу «Дерзновенного», который в море идти не собирался. Наш эсминец, покинув пирс, кормою вперед медленно выходил на середину рейда.

Мы ушли в море. Мы вернулись с моря. «Разводящего» на рейде Ваенги уже не было. А голова Витьки однажды промаячила в люке «Достойного». У меня там был приятель-сперрист, я спросил его:

– А чего этот пентюх? Почему он вас объедает?

– Да он с «Жестокого», а «Жестокий» на охоту ушел…

Тут я все понял. Хитро придумано. Человек вроде бы при деле. Сыт, одет и спит в тепле. А боевой пост им покинут. В поганом настроении я делал утром приборку в каюте «смерша». Надо сказать, что кавторанг относился ко мне по-отечески, никогда меня не ругал, а лишь сокрушался с шуточками: «Ах, юнга, юнга… опять после тебя пыль осталась. Пороть бы мне тебя, да устав не позволяет!» Сегодня он просто спросил:

– Огурцов, ты чего нос на квинту повесил?

Сначала я смолчал. А потом у меня вырвалось:

– Вот вы обязаны шпионов и вредителей отыскивать. А как вы относитесь к дезертирам?

Мой «смерш» был большой любитель помыться. Он со вкусом выбирал в шкафу полотенце, собираясь следовать в ванную.

– А как, – спросил он, насвистывая, – я могу относиться к дезертирам? Так же, как и ты. Не лучше. И не хуже.

Я закинул щетку за шкаф и собрался уходить из каюты.

– Глаза у вас у всех на затылке, – сказал я.

Продолжая свистеть, «смерш» взял кусок мыла.

– Постой! А с чего ты о дезертирах беспокоишься?

– Встретил тут одного.

«Смерш» сунул полотенце обратно в шкаф и выбрал себе другое.

– Дезертиров, – ответил он, – на эсминцах не бывает. Никто даже не знает, с чем их едят! Если же такой подлец сыщется, то… куда он денется? Без документов. Без денег. Без продуктовых карточек. К тому же существует на флоте порядок: через три часа после неявки матроса сведения о нем уже даются в штаб флота.

Спокойствие капитана второго ранга меня даже взбесило.

– Вы, – сказал я ему, злорадствуя, – можете перепахать носом всю страну до самого Сахалина, но никто из вас не догадается искать дезертира с эсминцев… на эсминцах!

И поведал ему о Витьке Синякове: ведь так можно до конца войны ползать с эсминца на эсминец, никуда не отлучаясь, и всюду пользоваться даровым гостеприимством. На следующий день я опять делал приборку в двухместке и ни о чем «смерша» не спрашивал. Он сам завел разговор со мною:

– А ведь ты прав… Сведения о Синякове, как о дезертире, штаб флота уже давно выслал по месту его призыва. Думали, он в родные Палестины подался. У печки кости греет. А он здесь. Сукин сын! Даже чисто выбрит оказался. Под мухою был. Ну, его взяли.

Вспомнил я тут, как бывало мне тяжело в море. Как я в сутки спал по четыре часа. Мокрый. В волосах лед. А он, гад фланелевый, порхал с эсминца на эсминец, будто воробей… там клюнет, там попьет, там побреется! Я спросил кавторанга:

– А что теперь ему будет за это?

– Если бы такой фортель выкинул ты, вышибли бы из комсомола. Списали бы с флота как несовершеннолетнего. Но этот-то обалдуй! С ним дело ясное – штрафной батальон.

– Правда, что там все погибают, как смертники?

– Не совсем так. Штрафники – не смертники, но обязаны искупать вину до первой крови. Потери в штрафбатах, конечно, большие.

Случилось так, что вскоре наш эсминец зашел в Мотовский залив, высадив на Среднем, почти у самой передовой, десант пехоты. Я не мог не побывать на полуострове, славном своей героической обороной. Как был – в робе и ватнике – зашагал по дороге, ведущей на Муста-Тунтури, где шла страшная война в скалах. Заглянул в землянку. Да, тут не те землянки, какие были у нас на Соловках, – она напомнила мне кладбищенский склеп. При свете фитиля два солдата били вшей на гимнастерках. Один из них был уже старый, с большой лысиной и бровями Мефистофеля, а другой… другой был Витька Синяков!

Он со мною охотно поздоровался:

– Жив и я, привет тебе, привет… Вот, познакомься. Мой товарищ по «бату». Вчера едва живы остались. Он штабной с Ладожской флотилии. Почти адмирал! Самовольно отвел бронекатера с позиции, и его сюда закатали. Как видишь, компания у меня приличная…

Лысый «почти адмирал» двинул бровями, как ширмами, спросил:

– Эй, оголец! Обыщи себя на предмет курева… Есть?

– Неужто до сих пор некурящий? – сказал Витька.

– Нет. Обещал отцу, что до двадцати не притронусь.

– Достань махры, – взмолился Витька.

Я сказал, что сбегаю на эсминец и принесу.

– Обманешь, – не поверил бровастый «почти адмирал».

Я не обманул их. Ноги молодые, быстро слетал на «Грозящий», вернулся обратно с пачкой самосада. Штрафники алчно накинулись на махорку.

– Спасибо, – говорил Витька, – что не забыл друга.

Мне было жалко Синякова, но щадить его я не стал.

– Не ври! – сказал я. – Друзьями мы никогда не были. Просто я расплачиваюсь с тобой по старому счету.

– Табаком-то этим? А за что?

– Что ни говори, а на флот-то я попал благодаря тебе. Мне тогда в соломбальском Экипаже после блокады и голода никак было не выжать семьдесят килограммов… Ты выжал их за меня!

Больше я его никогда не видел. Не знаю, что с ним.

Наверное, пропал. Жалеть ли его?

\* \* \*

Одограф – хитрый электромеханический жук, который, ползая по карте, автоматически вычерчивает на ней все изменения курса корабля. Обычно, когда эсминцы охотились за подлодками, под одограф подкладывали чистую кальку. Потом, по возвращении с моря, эту кальку командиры кораблей сдавали в штаб бригады. Она, эта калька, являлась важным документом атаки на противника. По кальке отмечали все промахи командира, по таким калькам офицеры учились топить вражеские подлодки. Все заходы для бомбометания, все сложнейшие эволюции эсминца при атаке вырисовывал одограф, работающий от матки гирокомпаса и от счетчика лага.

Кстати, потопить подлодку не так-то легко. Бывало не раз, что на поверхность моря, заодно с пузырями воздуха, выбрасывало содержимое гальюнов, запасы сушеной картошки и решетки разбитого взрывами мостика. Мы уже праздновали, собираясь вписать в звезду на рубке эсминца новую цифру побед, но разведка докладывала, что поврежденная подлодка дотянула до базы. Немецкие подводники были матерыми и опытными вояками.

Скоро со мной случилось одно событие, на первый взгляд малозначительное, но которое в корне изменило всю мою жизнь. Это произошло при атаке на подводную лодку, которую удачно засекли гидроакустики. Когда я взлетел по тревоге на свой пост, штурман уже пустил одограф гулять по карте. Сильные магниты удерживали прибор на качке, прижимая его к железному столу. Тихо постукивая, одограф выставил паучью лапу с карандашом и был готов записать все элементы атаки.

Присяжнюк протянул мне секундомер:

– Я взбегу на мостик, а ты время каждого взрыва проставляй на кальке… Ясно?

Конечно, ясно. Я встал, как и штурман, внаклонку над столом. Расставил ноги пошире. Надо мною – амбушюр переговорной трубы, и через этот раструб я слышал все, что делалось на мостике.

Вот раздался возглас командира БЧ-III:

– Первая серия – пошла! Вторая – товсь…

Я отметил время сброса первой серии глубинных бомб, а мой одограф, тихо стуча, передвинул карандаш, рисуя другой курс. Значит, легли в поворот. Открыв дверь рубки, я пронаблюдал, как четыре водяных гейзера выросли за кормой, прикрытые сверху шапками оранжевого дыма. Снова отметил время. С мостика было слышно, как сорванно доложил акустик:

– Лодка уходит… пеленг… глубина погружения…

– Третья – товсь! Дистанция взрыва сорок – шестьдесят.

И вдруг мой одограф остановился и замолчал.

– Одограф скис, – доложил по трубе я на мостик.

Сверху через амбушюр донесло возглас командира:

– Пропала калька, дьявол ее раздери…

Я выдернул из кармана отвертку, которую носил с собой, подражая Лебедеву. Что случилось, дружище? Соленоид забарахлил? Нет контакта с лагом? Нет, все дело в шаг-моторе, от реверсов которого и шагает одограф по карте. Я сунулся отверткой в клеммы, поджал их – и одограф застучал снова.

– Калька будет, – сообщил я на мостик…

Сбросили еще серию. Четырежды эсминец било под днище упругим водяным молотом. Заглушая все предыдущие серии взрывов, вдруг двинуло эсминец под киль пятым – очень сильным, и я услышал с мостика голоса, в которых чуялась радость:

– Пятый – не наш!

В рубку ворвался штурман и сразу – к столу:

– Что с одографом? Такая атака… жаль, что не попала на кальку!

Я сказал, что обрыв длился всего минуту – и я уже устранил неисправность.

– Слышал, как рвануло? Кажется, на лодке взорвались батареи в аккумуляторных ямах. Сейчас ляжем на контрольное бомбометание. Надо верный крест поставить на этой лодке…

Я стал в раскрытой двери рубки, чтобы видеть последние взрывы. Но на мостике звякнул телеграф, раздалась команда:

– Дробь атаке! Орудия и аппараты – на ноль…

Командир эсминца «задробил» атаку, очевидно, решив не транжирить боезапас ради контроля. Мы прошли над местом гибели лодки, и я сверху заметил, как тяжело колышется на волне жирное пятно соляровых масел. Вниз лицом, с пузырем спасжилета на спине, плавал мертвец, выброшенный с глубин. На его руку была намотана лямка парусиновой сумки. С эсминца не успели подхватить эту сумку, а покойника тут же замотало под винты, и пена, вылетая из-под кормы, стала на мгновение красной, как на закате солнца… Я вернулся в рубку:

– А сколько человек в команде такой подлодки?

Штурман выключил одограф. Калька была закончена.

– Смотря какая подлодка, – ответил он мне. – От полсотни матросов и больше, если крейсерского типа… А что?

Эти полсотни фашистских душ я мысленно поделил на сотню человек нашей команды, и у меня получился итог.

– Есть! – сказал я. – Половину фашиста я угробил. Теперь дело за второй половиной, и тогда на моем собственном боевом счету получится целый гитлеровец…

Штурман засмеялся:

– Какая-то у тебя дикая бухгалтерия. Разве можно врагов делить на четвертинки и половинки? Важен общий итог всего корабля…

Труба с мостика глухим басом спросила:

– Юнга там? Пусть поднимется на мостик…

По эсминцу проиграли отбой, и навстречу мне с мостика горохом сыпали вниз дальномерщики и подвахтенные сигнальщики. Командир сидел возле телеграфа на раскидном стульчике и натирал себе висок карандашом от головной боли. Вопрос он задал мне странный:

– Ты зачем исправил одограф?

– Он же скис…

– А разве твое дело соваться с отверткой туда, где ты ни черта не смыслишь? А если бы пережег соленоид?..

Сигнальщики оглядывали горизонт и заодно слушали, какой скрип исходит от юнги, когда его драят с песком и с мылом. Я отвечал капитану третьего ранга, что не такой уж я дурак, чтобы портить прибор, устройство которого мне хорошо знакомо. Командир настаивал:

– А вдруг бы испортил! Если тебя в базарный день продать, и то не выручили бы столько, сколько стоит этот одограф.

Рукояти телеграфа стояли на «средний вперед». Бак эсминца то глубоко уходил в море, то его подбрасывало наверх – в шуме разбегавшейся воды. Берегов не было видно.

– Чем ты хоть крутил его там? Небось ногтем?

– Вот и отвертка, – показал я командиру.

– Скажи, какой мастер объявился. С отверткой служит!

Из рубки поднялся штурман, сразу вмешавшись в разговор.

– Павел Васильевич, – сказал он командиру, – за Огурцова могу поручиться: поступал точно по инструкции. Одограф этот юнга знает, поверьте мне, не хуже штурманского электрика.

– Он же только рулевой, – буркнул командир; встал со стульчика, шагнул к визиру и погрузил свое лицо в каучуковую оправу оптики; он оглядел горизонт в солнечной стороне, откуда больше вероятность появления противника, и сказал мне отрывисто: – Ну, ладно. Ступай со своей отверткой…

Покидая мостик, я слышал, как он говорил замполиту:

– Сергей Арсеньич, а мальчишка-то старается. Видать, со временем неплохой спец выработается из него. А чтобы старался человек не зря, юнгу надобно поощрить.

– Может, благодарность ему объявим?

– Это слишком просто. У него их уже мешок. Скоро солить будет… Придумайте что-нибудь другое!

Когда вернулись на базу, замполит вызвал меня к себе. Для начала, чтобы я не зазнавался, он припомнил мне все мои просчеты и огрехи по службе. Начав за упокой, кончил он речь во здравие:

– А вообще-то, – сказал, – если подходить объективно, то служишь ты неплохо. Исходя из такой оценки твоей служебной деятельности, командование эсминца решило тебя поощрить. Благодарностью тебя не удивишь. Мы лучше сообщим твоей бабушке, что ее внук отлично служит, не из последних в боевой и политической подготовке, а потому… Потому дай адрес!

Адрес я дал. Все во мне ликовало, и на радостях я допустил замполита до своей затаенной мечты:

– Мне бы вот… в аншютисты попасть!

А дальше-то и началось… Не ожидал я от своей бабушки такой подлости!

\* \* \*

К тому времени блокаду Ленинграда прорвали окончательно, и моя бабушка жила вполне сносно, чего и мне желала… Примерно через месяц, как послали ей письмо с корабля, вызывает меня замполит. Вхожу и вижу, что лица на нем нет. Злой, как черт! В руке он трясет ответ, полученный им от бабушки.

– Читай, – говорит, – что мною здесь подчеркнуто.

Я прочитал явный донос моей драгоценной бабушки. Напрасно я писал ей, что у меня с рукой не все в порядке. Замполит подчеркнул ее слова: «…удивляюсь, как он мог обмануть Вас? Ведь левая рука у моего внука испорчена, и сколько я писала, чтобы шел к врачу, так нет же! Ему бы только собак гонять. Вы уж с ним построже, а что не так – нарвите ему уши, чтобы себя не забывал и помнил…»

– Объясни, что это значит? – сказал замполит.

Я молчал.

– Иди за мной…

Иду в салон командира – как вешаться! Во мне билась только одна мысль: «Конец… неужели конец? Провалюсь я с дымом и копотью!» Дело прошлое, но я тогда с отчаяния даже пожалел, что бабушка выжила в блокаду. Лучше бы я остался круглым сиротой…

Командир эсминца глянул в письмо бабушки и говорит:

– Так что у тебя с рукой?

Я вытянул перед собой обе руки, показывая их.

– Нормально. Развели тут панику…

– Сожми пальцы, – велели мне.

Правая рука свела пальцы в крепкий кулак, а на левой пальцы не смогли сомкнуться, только скрючились. Командир даже ахнул:

– Вот это номер! На боевом эсминце… Как же ты, мазурик, попал на флот? С каких это пор у тебя?

Тогда я заплакал. Навзрыд! Плакать мне не мешали.

– А не болит?

Я мотнул головой, и слезы сорвались с моих щек:

– Ничего у меня не болит… Это раньше болело.

Меня заставили рассказать все, и я начал с того проклятого колеса в страшную ночь на вологодской станции; я поведал им про смерть матери на архангельском вокзале; сказал, что отец как в воду канул под Сталинградом, прислав лишь одно письмо.

– Что угодно! Только с флота меня не гоните.

Командир ответил:

– Слишком долго тебя учили, чтобы теперь за борт спихнуть. Флот своих людей ценит и не базарит ими. Иди в лазарет, а мы тут подумаем, как быть с тобой дальше!

Очевидно, пока я шел по палубе в корму, из салона успели звякнуть по телефону врачу эсминца. Когда я спустился в лазарет, меня уже ждали лейтенант Эпштейн и его верный раб санитар Будкин – обжора страшный, его так и звали крупоедом. Наш врач был большим чудаком, по его словам никогда нельзя было понять – радоваться тебе или огорчаться. Вот и сейчас, завидев меня, он сделал зверское лицо.

– Попался, симулянт? А ну – снимай портки! Будкин, у тебя розги готовы?

– Так точно. Заранее вымочил. Посолил. Все как следует.

– Тогда начинай с богом. Дело тебе знакомое.

Если бы меня тогда высекли и оставили в покое, я был бы согласен. Но тут крупоед зашел сзади и, словно гвоздь в доску, засадил в меня здоровенный шприц. Я сразу перестал плакать.

– Есть! – сказал Будкин, выдергивая шприц, и невежливо помазал меня ниже копчика чем-то очень холодным.

– Укольчик, кстати, – чтобы ты не уклонялся от геройской службы, – сказал Эпштейн. – Ты, Будкин, можешь идти. А мы с тобой, гроза морей и океанов, осмотрим твою собачью лапу. Ну-ка!

Он обследовал меня всего, только потом взялся за руку. Крутил ее по-всякому. Гнул в кисти. Дергал меня за пальцы.

– Покажи, как тебя ударило тогда вагонным крюком?

Я показал как. И куда ударило. Он ответил на это:

– Везучий ты! – И сел к столу что-то писать. – Приготовься ходить в госпиталь на сеансы. Будем лечить. Травматическая контрактура – вот что у тебя! Но это пройдет, если не запускать. Завтра выдам тебе резиновый мячик. Носи его в левом кармане. Чуть свободная минута, мни и мни его в пальцах, тискай как можно крепче. Понял?

– А зачем?

– Надо развивать пальцы.

В лазарете зазвонил телефон. Видимо, звонили из салона. По ответам врача я смутно догадался, что страшного пока ничего нет.

– Иди туда, откуда пришел, – сказал мне лейтенант.

В салоне, помимо командира и замполита, я застал и штурмана. Судя по всему, они говорили обо мне. Командир сказал:

– Слушай! Мы вот тут подумали сообща и пришли к убеждению, что стоять на манипуляторах ты не можешь. Я понимаю – тебе это обидно, но ты должен понять и нас. Как рулевой ты никакой ценности для эсминца не представляешь.

Ну, что ж! Я и сам это знал. Не обиделся.

Командир выждал и показал на штурмана.

– Старший лейтенант Присяжнюк доложил нам, что ты свил гнездо в гиропосту и никаким газом тебя оттуда не выкурить. Это что? Просто любопытство? Или осознанная любовь к знаниям?

– Я люблю гирокомпасы, товарищ капитан третьего ранга.

– Любовь – это хорошо, – похвалил он меня, после чего обратился к штурману: – Брякните в бэ-пэ-два… вы сидите ближе.

Присяжнюк сказал в трубку телефона:

– Салон – гиропосту. Это ты, Лебедев? Поднимись-ка.

Я замер в напряжении. Всегда обожал старшину Лебедева, но сейчас от его слов зависело очень многое в моей жизни, которая трепыхалась, словно пескарь на раскаленной сковородке.

Раздался осторожный стук в дверь.

– Входите.

Лебедев, как всегда, в чистой робе. Серьезный. Задумчивый. Без улыбки. Как он был непохож на мичмана Сайгина!

Командир показал ему на меня:

– Старшина, знакома ли вам эта светлая личность?

Лебедев посмотрел так, будто впервые меня увидел:

– Немножко знаю, товарищ капитан третьего ранга.

– Добро. Что вы можете о нем сказать?

Я ждал, что Лебедев выплеснет посреди салона полный ушат всяческих похвал моему уму и благородству. Но старшина стал высказывать обо мне – в моем же присутствии – ужасные вещи:

– Ветер еще в голове. Что ему нравится – слушает. А что не по душе – отворачивается. Расхристан. Курядов не может загнать в душевую, чтобы робу выстирал. Воспитан безобразно. Иванов восьмой год служит, а юнга Огурцов ему грубит, как хочет.

Я выстоял под этим ушатом. Командир слушал, кивая. Замполит блуждал из угла в угол салона. Штурман курил, щурясь.

– Так! – сказал командир. – Это нам понятно. Теперь вы, старшина, переверните медаль.

– Есть, – охотно отозвался Лебедев. – Лицевая сторона медали такова: гирокомпасы любит и знает. Конечно, нахватался больше поверху. Глубины знаний еще нету. Но со временем может стать хорошим аншютистом. Ежели, конечно, отнесется к делу серьезно, а не шаляй-валяй.

– Добро. Возьметесь ли вы, Лебедев, подготовить юнгу Огурцова к должности вахтенного аншютиста в гиропосту?

Лебедев отвечал четко:

– Могу, но прежде из него надо пыль выбить. Между вахтами берусь, как за партийное поручение, накачать его с азов. Начну с законов электротехники. Да он, честно-то говоря, парень с головой. Если ему втолковать, так он все освоит.

Тут штурман подошел и постучал меня пальцем по лбу.

– Учти, – сказал, вдалбливая, – что рулевой стоит два часа, после чего четыре отдыхает. А в гиропосту вахта до двенадцати часов в сутки. А в подхвате я треплю аншютистов вызовами на мостик… Вот и подумай прежде – выдержишь ли?

– Выдержу! – ответил я так, словно давал клятву.

Замполит носком ботинка поправил загнувшийся край ковра.

– Ясно, – сказал он, закрывая разговор. – Лебедев, забирайте юнгу. Если бы без любви к делу, тогда плохо. А с любовью он выдержит…

– Есть! – отозвался Лебедев.

Я вышел из салона на полусогнутых от счастья ногах. Поначалу я даже не заметил, что мое взмокшее от пота ухо было крепко зажато в руке старшины Лебедева, – он меня увлекал за собой.

– Я те покажу, где раки зимуют! – говорил он, и я свято верил, что он действительно мне покажет.

Тогда я еще не думал, что любовь моя со временем обратится в профессию и гирокомпасы прочно войдут в мою жизнь, – они станут давать мне хлеб… Я зарабатываю свой хлеб тем делом, которое люблю. Наверное, именно потому я и счастлив.

\* \* \*

На флоте, даже если ты желаешь болеть, тебе этого никто не позволит. Не успел я опомниться, как на палубе меня настиг лейтенант Эпштейн – в шинели, при белом кашне.

– Собирайся. Быстро!

Под кормою торкал мотором катер. Мы сели в него и понеслись на середину рейда. Я спросил доктора:

– А что со мною сейчас будет?

– Утопим, чтобы больше с тобой не возиться.

Катер подошел под трап лидера – вожака эсминцев. На лидере был рентген и два врача. Меня просветили и выставили прочь из лазарета, чтобы не мешал беседовать на научные темы о моем здоровье. После чего мы вернулись на «Грозящий», где меня уже поджидал крупоед Будкин с кварцевой лампой. Взялись за меня здорово! Но взялся за меня – с другой стороны – и Лебедев. Так взялся, что уже через месяц я нес самостоятельную вахту в гиропосту.

Скоро получилась перегрузка в штате: два старших специалиста и один – я! – младший. Аншютисты всегда ценились на флоте, и похоже было, что кого-то одного следовало убрать.

Иванов говорил мне с надрывом:

– Подсиживаешь ты меня. Ты думаешь, я тебя не вижу? Я тебя насквозь вижу.

– Ты, земляк, не гунди, – отвечал я. – Если ты неуч, то я неучем быть не желаю. Не карьеру делаю, а служу!

– Вижу, как ты служишь. Я восьмой год табаню, а ты прискакал, от горшка два вершка, и уже на мое место уцепился.

Решили оставить на «Грозящем» одного старшего и одного младшего специалиста. Я боялся, что Лебедева переведут куда-нибудь и тогда старшиной надо мною станет «земляк», чтоб ему ни дна, ни покрышки… Но нет, пронесло: Иванову велели собираться с вещами.

– Подсидел ты меня, – плакался он на прощание.

Впрочем, плакался он недолго. На плечи ему тут же навесили старшинские погоны, с обратным караваном Иванов поплыл в Лондон и там первым делом побежал смотреть музей восковых фигур. А мы с Лебедевым остались на «Грозящем», чтобы по двенадцать часов в сутки нести вахту. В промежутках между вахтами спали, имея в кармане ватника отвертку, флакон со спиртом и комки ваты. В морозные ночи только и слышишь, как грохочут звонки в нашу часть: «На мостик!.. На мостик!.. На мостик!..» Значит, опять покрылись льдом линзы на пеленгаторах или покрылись инеем стекла репитеров. Надо протирать… Служба была хлопотливая и беспокойная. Книжку, бывало, возьмешь в библиотеке и держишь ее целый месяц – некогда читать!

Когда я окончательно освоился с новой специальностью, меня по боевому расписанию начали оставлять в гиропосту, а старшина Лебедев мотался наверх – к штурману. Таким образом, я стал командиром БП-II БЧ-I…

К тому времени мне исполнилось шестнадцать лет!

Когда в отсеки врывались зовущие по местам колокола громкого боя, я захлопывал над собой люк, докладывая в телефон:

– Гиропост – мостику: бэ-пэ-два бэ-чэ-один к бою готов!

Это был удивительный бой. Я сидел на днище эсминца, никогда не видя противника, только слушал, как с ревом обтекает мой эсминец яростная забортная вода. Я был молод, но понимал: случись хотя бы одно попадание торпеды – и я буду похоронен здесь же, на своем посту; отправлюсь на грунт вместе с любимым гирокомпасом, который, пока мы живы, старается дать людям для победы все, что только способна дать человеку техника.

Смолоду я не был излишне сентиментален. Но когда война завершилась победой и мне надо было уходить с корабля, я на прощание обнял гирокомпас, как обнимают верного друга. Я тогда горько заплакал над ним, сознавая, как много он мне дал и как много я с ним теряю.

Иной раз – в мирной тишине квартиры – я спрашиваю себя:

– Была ли юность? Или приснилась она, как сон?..

Юность, конечно, была. И, по-моему, такая, как надо!

Кончилась она в тот день, когда я последний раз выбрался по трапу из своего БП-II БЧ-I эскадренного миноносца «Грозящий». На память об этой юности остались две ленты – одна с именем эсминца, а другая – юнговская… Со смешным бантиком!

\* \* \*

Я был демобилизован с флота, так и не дослужившись до матроса. В документах указано мое первое и последнее звание – юнга!

С тех пор прошло немало лет.

Нет, мы еще не старые,Но бродит тем не менееЗнакомыми бульварамиДругое поколение.Но и поныне я еще живу курсом, что дал мне гирокомпас, указавший дорогу в большую жизнь, в которой меня ожидали новые тревоги и новые напряжения души.

Конечно, не я принес Родине Победу. Не я один приблизил ее волшебный день. Но я сделал что мог.

В общем прекрасном Пиру Победы была маленькая капля и моего меду.

Сейчас мне за сорок, и мне уже давно не снятся гулкие корабельные сны. Но до сих пор я иногда думаю о себе, как о юнге. Это высокое и почетное звание дает мне право быть вечно молодым. Юнгам флота не угрожает старость.

Эпилог последний

Человек и Море…

Это особая тема, и она все чаще волнует Человечество, соперничая с темой проникновения Человека в загадки Космоса.

В доисторические времена далекий предок впервые осторожно выбрался из моря на сушу, и его скользкие жабры вместо привычной воды с пронзительным свистом всосали в себя влажный удушливый воздух…

Это был наш предок, читатель!

Человечество зародилось в море. Не оттого ли в венах людских и поныне буйно пульсирует кровь – соленая, как и вода океанов? Не потому ли мы не устаем подолгу следить за поступью волн в безбрежии моря, которое пропитано солнцем и вечностью?

Что мы видим вдали? О чем мечтаем в такие минуты?

Море властно зовет нас в свою колыбель, из которой мы вышли и встали на ноги. И мы охотно откликаемся на этот зов.

Один видный ученый-океанолог, заглядывая в историю освоения морей Человеком, писал правдиво и возвышенно:

«Образ жизни моряков имел свои отрицательные следствия: беспечность, фатализм и грубость нравов. Однако наряду с этим он воспитывал у моряков и высокие моральные качества – самоотверженность, бескорыстие, настойчивость и героизм. Если эти человеческие качества когда-либо исчезнут, наша цивилизация пострадает: она не найдет ни в чем другом того, что потеряет вместе с привычкой Человека к морю…»

Человек будет вечен, пока вечно Море.

Море давно уже стало поприщем для мирной науки и ратных подвигов. Море – поилец наш и кормилец. Океаны связывают материки, они сближают нации и культуры народов.

Прогресс, скользивший когда-то под парусами каравелл, двигается теперь под дизелями на жидком топливе, он раздвигает толщи глубин атомными реакторами. А романтики и бродяги еще вяжут допотопные плоты, еще ставят над ладьями косые кливера и уходят, уходят… Уходят от нас, чтобы испытать сладкую близость прародительской пучины!

Счастливы люди, юность которых пронеслась в разгуле волн, на шатких корабельных палубах. В море юность быстрее, чем на берегу, смыкается с ожесточенным в борьбе мужеством. С высоких мостиков кораблей юноши зорче оглядывают горизонты своей жизни. Суровые регламенты вахт и боевых расписаний не терпят рискованных промедлений. Головотяпы и тунеядцы не выдерживают ритма корабельных будней. Флот смолоду приучает к дисциплине, выносливости, умению терпеть и ждать, к ответственности – за каждое слово, каждый жест. Нашей стране повезло: три океана и двенадцать морей неумолчно плещутся возле ее берегов. А флот наш вырос.

Уже Колумбу вслед,уже за Магелланомкруг света ходим мыВеликим океаном!Так пророчил нам Ломоносов, и это пророчество сбылось…

А чтобы стать моряком, совсем не обязательно родиться на маяке. Ведь часто бывает и так, что мальчишка случайно, лишь на одно мгновение увидит море из окна дачного вагона – оно мелькнет ему сизым крылом чайки… В с ё! Теперь он очарован навсегда. Иного пути для него уже нет.

Я повторяю здесь слова эпиграфа:

Кто увидит дым голубоватый,поднимающийся над водой,тот пойдет дорогою проклятой —звонкою дорогою морской.Глупо удерживать человека, если его позовет море.

Эти призывы морей особенно хорошо слышны в юности.

\* \* \*

Читатель и друг, я знаю – ты ведь тоже уйдешь! Мы еще встретимся, и ты нам много расскажешь о себе. Много удивительного – такого, что случается с человеком только на волнах, когда месяцами не видно берегов.

Три фута чистой воды – под киль тебе, читатель!

Осень 1971 года. Рига